АЛЕКСАНДР БЕНУА

ДНЕВНИК. 1918–1924

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».

- Дневник. 1918-1924
  - 1918 год. Продолжение
  - 1919 год
  - 1920 год
  - 1921 год
  - Петербург, Павловск
  - 1922 год
  - 1923 год
  - Берлин
  - 1924 год
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

Дневник. 1918-1924

1918 год. Продолжение

Пятница, 26 января

…Вернувшись с Верещагиным и Эрнстом в Зимний, мы думали и гадали, как быть, и передали дело Ятманову, который сегодня почему-то снова стал ласковым (уж не готовится ли что?). Николай Михайлович заходил к Сухотиным, только что получившим известия из Крыма: Ялта разрушена, дача княгини Орловой уничтожена, и бедная О.К.Орлова провела насколько дней в подвале. Феликсу Юсупову не позволяют видеться с матерью, хотя они живут всего на расстоянии двух верст. Здесь, у Юсупова, во дворце поселилась шведская миссия по заведованию отправкой военнопленных. Кстати, вчера целая партия австрийских офицеров приходила осматривать Зимний дворец. Это уже не первая партия экскурсантов.

Вечером у меня были Генриетта Мироновна Паскар и Петр Павлович Сазонов, приходившие посоветоваться о детском театре. Я им дал совет, кого привлечь и как быть. Они рассчитывают на помощь Луначарского. Они уже жеманируют: «Как же с большевиками!» Мне [не?] понравился его сдобный голос и энергия. Они раздражают своей слащавостью. Возмущались, впрочем, Мейерхольдом, занятым ныне выработкой футуристической пластики. Но чем он хуже Шухаева, Григорьева, Чехонина? И не плоть ли от плоти Сомова и Врубеля?

В «Эхо» интересные сведения, что уже мир подписан. Мало верю, что это уже так, но, пожалуй, все же дело не за горами. Завтра авось что-нибудь узнаю у Брука.

Щербатовы не прочь устроить в Строгановском дворце музей.

Суббота, 27 января

Сегодня я уже был на краю — подать в "отставку" Луначарскому, Выяснилось, что этот неуемный человек уже услал, в отмену данного им же Строгановскому дворцу Охранного листа, самоличное согласие и рекомендации мадам Лилиной предоставить этот дворец матросскому клубу (на просвещенность которого и он не нахвалится; вероятно, действительно они ему близки по собственной просвещенности, потому что представляют его культурное нутро, сохранившееся под маской созданной книжности) — с тем, чтобы были вывезены все ценные

вещи, и уже матросы заходят все чаще и чаще, и они уже распределяют залы под театр, читальни. Воронихинскую галерею они нашли вполне пригодной для кинематографа. Однако до ультиматума, к которому были готовы присоединиться все члены комиссии, не дошло, ибо по одним моим словам «Тут выходит трагедия» и по моему лицу (так и сказал: «Я по вашему лицу вижу») Луначарский понял, что на сей раз дело обстоит серьезным образом и что надо спасать дворец. Тут же при Щербатовой с милой откровенностью (цинизм!) признался в своей непоследовательности, заявил, что он сделает это своим делом, что сам пойдет убеждать товарищей матросов. Тут же он сочинил текст проекта декрета о превращении дворца в музей (причем запнулся на слове «национализация» и даже пояснил записку: «Не будем говорить страшных слов») и назначил его хранителем Эрнста, который, кажется, этим ужасно доволен, ибо это дает ему возможность повозиться с красивыми вещами. В то же время, однако, на бывшего Эрнста свалилась еще одна обуза: наблюдение за требуемым министерством имущества переезда предметов из Аничкова дворца (теперь уже не удержать, как я того хотел, в неприкосновенности, личные комнаты Александра II, которые чудом еще оставались до сих пор нетронутыми)[1].

Однако в глубине души я вовсе не верю, что действительно это дело улажено, ибо тут же оказалось, что он в вопросе о доме Сувчинского встал на сторону районного комитета. Отряженный им для расследования на месте товарищ Джордж, хотя и был очень мил с Сувчинским, однако привез отзыв очень неблагоприятный, что-де квартира гражданина Сувчинского простая, обыкновенная, что никакой там видимости совершающейся работы нет. И это действительно так, потому сегодня были созваны во дворец и Сувчинский, и два представителя районного Совета для объяснений, и несмотря на то, что Сувчинский привел с собой шестерых музыкантов — членов редакции (прямо материально заинтересованных в существовании журнала «Мелос»), Луначарский отдал дом Совету, причем он готов был очистить для Сувчинского какой-то особняк Боткина, предпочел выселить из «бывшего» же дома самого Сувчинского трех квартирантов, очень красно говорил о той пользе, которую принесет Совет в смысле охраны околотка (ох, ля-ля!).

Я на самом этом диспуте не присутствовал, так как побежал к Карсавиной на званый завтрак, и когда вернулся через три четверти часа, то уже все было кончено (а казалось, что ввиду чудовищного наплыва лиц, имеющих дело до Луначарского, даже пришлось наконец установить очередь и назначить особого чина

для пропуска в кабинет перед ясные очи — до очереди Сувчинского еще очень далеко). Но до моего отбытия я успел перемолвиться с Луначарским об этом, чтобы отложить рассмотрение Ятманову (такой же происходил разговор о Строгановском дворце), и увидел, что дело заранее проиграно, несмотря на то, что я самым горячим образом взывал к поддержке Сувчинского, которого я сравнивал с Дягилевым.

Вообще же неразбериха полная. Совершенно очевидно: стихия поверившего в себя пролетариата волнами ходит по головам своих вождей, так что мы уже захлебываемся и начинаем чувствовать приступы отчаяния (тончики иронии по адресу «товарищей» все яснее начинают слышаться в их недавнем поклонении Луначарскому. Сегодня он очень ядовит по поводу предоставления казарм под просветительские нужды. Говорил о том, что демобилизация приводит к милитаризации Петербурга, ибо одно бюро плодит другие, и оказывается, военному ведомству все нет достаточно места). К этим волнам, к ним навстречу появились волны, начинающие призывать своего нового барина — бюрократию (что уже видишь в приемных министров — прямо вспомнишь лучшие времена Головина, Макарова, тех, что чуть всех поспорее, победнее, да и курят много, да швейцары одряхлели, видимо, взяты из самого последнего разряда служащих Дворца). Несдобровать им, несдобровать!

А тут еще надвигается Алексеев, будто до Воронежа дошел, поляки, украинцы (будто бы снова в их руках). Зашатался снова трон и, пожалуй, от грядущего голода он скорее полетит, нежели это можно было ожидать, и, пожалуй, на сей раз мир их не спасет, зато Россию, какой бы он ни был «похабный», спасет, в чем все еще никто не желает признаться. Вот только что произойдет, когда все это полетит?!

За завтраком у Карсавиной ничего не было интересного, если не считать чудесного угощения. Всегда столь сдержанная Таточка прямо ругает теперь Фокина за его тантары [?]. При этом она отмечает в нем признаки ненормальности. Брус продолжает плакаться на свое разорение. Синард упорно молчал. Аргутон потащил меня в соседние квартиры Мертваго оценивать вещи, но там оказался один хлам и очень несчастная дама — сестра Аргутона, тоже нуждающаяся в деньгах: даже собирается продать мою акварель…

Акице он даже заикнулся о том, чтобы я фиктивно продал бы ее сестре какую-нибудь картину, дабы получить по такому чеку деньги. Но Акица на это не пошла, она и без того ничего хорошего не видит в сближении Аргутона с Добычиной, — не он ли и ввел ее к Николаю Михайловичу? Да и я не соглашусь, ибо

органически не переношу всякие грязные делишки.

Зайдя снова во дворец, имел беседу со Штеренбергом по вопросу о кустарях, изложил ему свою точку зрения (которую он как будто принял), указал на опасность руководства из центра (сведения, вполне необходимые Чехонину), говорил о красоте *подлинного* народного творчества, о необходимости создать ему сбыт в самых широких размахах, благодаря чему оно только и может оставаться на нужной высоте и развиваться согласно собственным влияниям вкуса.

С Ларисой (Рейснер) перемолвился о походе общников на Академию (в чем она видит отчасти средство к тому, чтобы вынудить Таманова искать защиты в «Детской половине»), о составе художественного предпоследнего Совета (в который я абсолютно не верю, никаких у нас художественных агитаторов в пролетариате нет). Вот уже одиннадцать месяцев, что длится революция, а я еще *ни с одним* настоящим пролетарием в контакт не входил. И, наконец, предупреждаю ее относительно недопустимости декрета об антикварах, автором которого действительно является Ятманов. С ней же послушал рассказы вернувшегося из Персии Шкловского о том, как «христолюбие» превратило в пустыню весь Курдистан, вырезав все население, разграбив все ценное (опустошали для дележа), срубив все сады, предав пламени все города, села, изнасиловав всех женщин и детей. И вот, слушая этого оголтелого, несомненно безумного, полуидиотического человека, гарцевавшего перед Ларисой своим героизмом, очень мне напоминавшим рассказы для юношества, не можешь понять, клянет он этот ужас или наслаждается им. Рожа у него преступная, и делается грустно, что и среди художников уже имеются подобные головорезы (вдобавок бездомные).

У Ятманова в приемной застал Пунина, уже заполучившего комиссариат и что-то комплотирующего недоброе. Забавно, что ни Аргутон, ни Нерадовский не обращались ко мне со своими нуждами. Ведь я в совершенном неведении о том, что там творится. Мне, положим, это только на руку.

Гиппиус, у которого я застал Сувчинского, прочел мне конец своего дневника. Он, кроме одного пассажа о России, гораздо менее приемлем для печати, нежели нечто, ибо снова он себя здесь выказывает «преемником Мережковского», пытается подняться на принципиальную высоту, готовится изложить свое исследование (само желание и понуждение к нему мне очень знакомы) и, словом, подходит к той двери, в которую ему, «директору Тенишевского училища и буржуазного до мозга костей», никак не войти. Так уже лучше быть хотя бы Закхеем, а то и просто одним из мытарей, которые «ведут знакомство с

Христом». Но на такую скромность у него не хватает сил, в глубине души он очень горд и честолюбив. И очень многое из того, что он говорит, правда, но вот рядом начинается то эксперимент «христианства», то лукавое «направление», касающееся соблюдения невинности, которое так отвратительно в трио наших боже искателей.

Вообще зараза гордыней есть еще одна из черт российской культуры, и благодаря именно ей, при всех великих дарах, русским особенно трудно выйти на тот путь, который, по всему распространенному среди них мнению, уготован той же гордыней специально для них.

Впрочем, Гиппиус в сегодняшней исповеди признается, что в нем нет ни капли русской крови, «если только не допустить, что моя бабушка и прабабушка (еще хорошо, что на мать не кивает) не согрешила с русским». Собирается писать еще дальше. Я ему посоветовал выяснить полнее, что он подразумевает под словом *Россия*. Я понимаю, что это больше идея, чем плоть, больше «астральное тело», чем тело. Но все же и идею нужно определить. Нужно, главное, ее очистить. Ведь не подлежит сомнению, что захватчица Россия распространяется на все, и все угнетающее — тоже есть нечто «неотъемлемое», «сущее», «дьявольское», «действительное». Да как все же с этим быть?

И почему тогда почти до самого последнего времени эти люди (ибо Гиппиус как-никак все еще принадлежит к «этим» людям) не хотят «похабного», с точки зрения Милюковых, но благословенного для истинно христианской России мира, почему они «приняли» войну и пели «Гром победы, раздавайся!». Не менее, нежели у любого казака или крыловца, не менее, нежели у Шкловского и Гумилева, нежели у П.Лебедева или Аргутона, и их руки обагрены кровью. А в Крыму и на Украине идут самые дикие расправы. Аргутон оплакивает гибель многих знакомых. Сын Д.И.Толстого как будто уцелел. Зато будто бы погиб сын Ольги Орловой.

В трамвае встретил Добужинского, который завтра уезжает в Москву с тревожным сердцем. Во втором трамвае встретил Попова. Девочки разочарованы, что Надя все более за ним ухаживает и таскает теперь ему каждый вечер вино из чаевых сбережений остатков отцовского погреба. Девочки продолжают фольдамурировать. Атя, влюбившаяся в Черкесова, неузнаваема и принялась снова за живопись. Вчера она была в «Привале» на вечере поэтов. «Скука без подъема». Тата Кривцова читала стихи (воображаю!).

Ввалившиеся Гржебин (он разъезжает на автомобиле, однако о нем в кулуарах Луначарский ничего не слышал) и Тихонов

ездили на вкуснейший и обывательский ужин.

Вчера повстречал Ростовцева. Грустный-прегрустный, весь съежившийся, сморщенный. Чувствую глубокие укоризны, хотя знаю, что это глупости (это у меня очень мерзкая, неизлечимая черта).

Воскресное собрание «кооперации» отложено на вторник утро, ибо все отказались прийти из-за страха перед грабителями.

Воскресенье, 28 января

Невзначай пришел Павел Шереметев: не то предложить свои услуги, не то искать заступничества. Мучительные впечатления от той окрошки, которая у него в голове и в душе. И впечатление какого-то почти социалистического идеализма, и порывы тупого христианина, и просто хитренького мужичка, который прикидывается юродивым. Лицом он теперь менее похож на Николая, хотя нависающие брови должны были бы прибавить сходства. Он имеет, главным образом, какую-то большую суетливость, неврастеничность. Ни одной мысли не может довести хотя бы до половины, ни одного ответа дослушать. И такой человек мог заседать в Государственном совете! При этом как-никак довольно доброе намерение. Действительно, он хочет, чтобы Кусково, Астафьево, Петербургский дом сохранились, и не столько для них, сколько вообще как памятники искусства и быта. Забавно и то, как он не упускает момент. Во время обсуждения, как превратить дом в музей (хотя бы для того, чтобы в нем учредить коммунальное бюро), он вдруг начинает беспокоиться о том, как на это посмотрит его отец. Ему нужно разрешение, точно и впрямь С.Д. еще полновластный господин своего имущества. Вообще же рабское подчинение отцу многое объясняет в неврастении Павла. Черствый, тупой друг Александра III изуродовал собственного сына, в котором много хорошего и милого, но оно не выражено. В этом сходство с Николаем полное.

Письма от Грабаря и Шагала. От первого, переславшего через кондуктора — вопли по поводу образовавшегося нового Совета при СР и СД, грозящего погубить все музейное дело на почве слияния художественного лжебольшевизма с простым маклачеством. Орудует рыжий Яковлев. Недаром пользовавшийся покровительством такого холуя, как Щавинский, недаром пописывающий одни статейки и недаром на десять лет спрятавшийся. Кончает бедный Грабарь призывом к помощи и заявлением, что даже он начинает уставать и близок к отчаянию. Под видом очень хитрых реверансов изъявляет претензии на то,

что его не пригласили в «Мир искусства». А почему же он не послан на жюри? И при чем я здесь? Разумеется, я б его пригласил и в члены, но что я могу поделать со своими крепколобыми товарищами? Вот намедни они прокатили Крымова, несмотря на мое определение и мотивировки. Они меня боятся, это правда, выражают, что в своей семье они меня не хотят иметь.

Днем пришел Робьен с вином и закусками в ознаменование крестин его дочки. Более мил, нежели когда-либо, и особенно его милость обнаружилась в сравнении с ирландцем Герсина, которого привел Брук, тут же удалившийся разбирать какую-то депешу.

С Робьеном мы перемолвились пацифистскими замечаниями во время того, что другой «союзник» вертел свою волынку, что-то общее с Алей Бенуа. То же завирание без достаточного основания. Он одно время до войны жил в Капселе у Хотькова, потом служил, а теперь полтора года снова здесь, не знаю при каком деле. Живет в одной квартире с Кюнером, за Хорвата не беспокоится и главным образом потому, что отправил к нему (еще осенью) какого-то приятеля, который все должен был сделать для поддержания генерала. Совсем по-английски. И глупо, и может быть в своей глупости практично. Ведь вся их сила именно в том, что они дети, что они в жизни разыгрывают Шерлока Холмса (он уже изъявил серьезное желание встать во главе партии, которая бы стала очищать Петербург от разбойников) и Майн Рида. У Робьена же он образует дело по охране французских подданных от жульнических реквизиций во имя большевизма. Забавно рассказывает, как он спасал на днях от ареста одну особу, устроившую здесь склад материи, которую большевики увезли бесследно в Смольный (мало-помалу последний становится Сезамом организованной шайки), причем кричал по-русски на товарищей и, наконец, в ответ на их угрозы револьвером спокойно вытащил свой и сказал: «Правда, хороший револьвер?» После чего те уступили. Забавно и то, как он жестом джентльмена выставил во двор красноармейца или милиционера, пришедшего его увести к исполнению повинности.

Залкинда ругает пуще других, тот окучивается все больше, великолепно говорит по-французски, устраивает сахар-медовик в общении, но при этом очень ловко отстаивает позиции Троцкого — позиции вежливых репрессий в отместку за непризнание правительства народных комиссаров. Как-то однажды он очень круто поговорил, даже дошло до оскорблений, однако Робьен его отчитал за неуважение большевиков к самым элементарным основам дипломатии.

Вечером Шейхель и Стип. Первый меня трогает тем, что он так внимательно относится к моему письму, из которого он сделал массу выписок, дабы я ему их пояснил более подробно. Этим вопросом я занимался час. Как будто понял.

Стип ругательски ругает большевиков, оказавшихся столь же глупыми, как и их предшественники. Он принес «Буревестник», вся первая страница которого призывает дворников и швейцаров открыть настежь парадные и ворота. Что за талантливая провокация! Или действительно безумие? Скорее второе, и от всего остального номера воняет бездушием и плоскостью. Я им читал выдержки из дневника за месяц до революции и за первые ее дни. Меня пугает, что я уже тогда так ясно видел, куда все клонит. Это заставляет меня думать, что все мои самые черные предчувствия (или просто «предсказания») могут осуществиться. Благодарю покорно.

Понедельник, 29 января

«Величайшее историческое событие», дошедшее до нас сегодня, а именно прекращение состояния войны с Германией, произвело самое смутное впечатление. Во всяком случае, не радостно и не убедительно. Камуфляж. В этом есть чье-то исполнение недостойного (бесконечно более недостойное, нежели «похабный» или «несчастный», но все же «честный» мир). Но с другой стороны, увы, твердо знаю, что в политике (да и во всем, пожалуй) окончательно судят по последствиям. А как вдруг действительно это подвинет и немецкий фронт положить оружие, и затем зараза творить чудеса распространится и на наших союзников! Шансов гораздо больше, что это не случится, что, напротив, скорее помирятся, чтобы совершить общий крестовый поход на новых варваров и безумцев. (Уж не для того ли ломится британский флот в Дарданеллы, чтобы, подчинив себе Константинополь, дальше спешить на помощь Алексееву, который, однако, уже разбит.) Но все же в настоящем состоянии мира имеются шансы, что не беспредельное чудо может совершиться, тем более что безумие охватило всех, вообще не скажешь, где бы могло проявиться благоразумное начало в том или ином смысле. Вот только, увы, не верится и в то, что прекратится это охватившее всех безумие света. Что случился этот ужас с согласия Божьего, в этом для меня, человека верующего, не может быть сомнения, но что именно на чьей-либо стороне правда, то уже, наверное, не там. Все — временно — в цепких когтях дьявола, который и разбивает наши несчастные

головы друг о дружку: Николая о Вильгельма, Милюкова о Ленина, Ллойд Джорджа о Вильсона и т. д. И самый маленький, совершенно лилипут имеет тоже своего партнера по этому роду повинности. И все друг перед другом виноваты, и все, в сущности, невменяемы, и не знаешь, кому приговор вынести, кого оправдать, кого за судью признать.

А тут еще более личные огорчения. Раздор с Луначарским назревает. Эрнст был сегодня в Зимнем, и оказывается, что матросы уже опечатали галерею Строгановых (зачем? во всяком случае, в качестве «настоящих владельцев») и слышать они ничего не хотят о том, чтобы отдать дворец. Двое из них приглашены Луначарским на завтрашнее заседание с нами (наконец-то я увижу «пролетариев»!), а это плохой знак, и это значит, что он сам собирается разыграть Пилата (или Мефистофеля), а нам предоставит справляться с этими неодолимыми силами. И вот во мне идет борьба. Уйти я решил, но, при всей ранимости, я не могу отделаться от опасений, что с моим уходом свистопляска разнузданности еще больше разгуляется и примет быстро финальный характер. Вот когда скажется наша изолированность (о, жалкие идиоты Тамановы и запоздавшие Толстые!). При этом страшно и за себя просто, и за своих. Ведь я теряю всякую опору и в то же время остаюсь на виду, мишенью для всей сволочи. Но не могу; с другой стороны, все равно не спасти ни русские художественные сокровища (эта мысль об их обреченности была у меня всегда, еще тогда, когда я издавал их, и это были седьмой, восьмой, девятый годы царствования Николая), ни себя. Впрочем, одно с другим связано, и если на то воля Божья, чтобы все стало жертвой безумия, бесов, войны (в которой все виноваты), то да совершится она и останется лишь молитва о минующей сей чаше, и даже о будущем возрождении для творчества и нашем личном воскресении.

Во всяком случае, то «буржуазное», что во мне есть и что встрепенулось при всяком подобном провидении, должно вызвать силы иронизировать над своими «господами». Эрдели и Алексеев разбиты. Поляки тоже оттеснены к Бобруйску. Но даже «буржуазное» не встревожено этим фактом, быть может, грандиозного значения, а принимает как эпизод, понимая, что участь будущего устроения решается иначе и не на полях брани, в международной битве или междоусобице. Просто до странности пуста, невозмутима душа. Только ночью не спишь, и все лезут какие-то проклятые загадки, все дразнят какие-то пифии, выкрикивающие отдельные слова, — непонятные, в общем. Нет, в последний раз я волновался осенью во время Совета республики, а с тех пор живу, укрощенный психологией «ничего не поднять,

пусть все само делается»!

Смешны на этом тупо-трагическом фоне такие мелочи, как сегодняшняя ссора с Акицей. Однако я запишу как нечто характерное. Поссорившись за завтраком (ненадолго, обедали у Полоцкой[2]), помирились из-за того, что я дал ей совет поэкономнее обращаться с мукой, которую привезла из Петрозаводска Дуся и которую Акица тратит, испекая грандиозные пироги, в один присест съедаемые благодаря, главным образом, ее понуканиям, унаследованным от ее матери. Разумеется, ее роль при таких спорах не так важна, я же кажусь себе каким-то архибуржуазным Гаргантюа, однако ведь именно я буду отвечать, когда наступит абсолютный голод (а ведь он близится!), и именно мне она же станет делать упреки. Но исправить ее нельзя, не только нельзя в ней ускромнить ее щедрость, но даже нельзя приучить спокойно и трезво обсуждать всякие продовольственные и хозяйственные вопросы. Тотчас же она начинает выходить из себя — точь-в-точь, как это делала Елизавета Ивановна, но с большим правом, ибо папа Кинд был действительно скуповат (и не стал ли он таким благодаря этой странной, безрассудной особенности своей семьи?).

Забыл записать, что на днях во дворце был вернувшийся из деревни в Смоленской губернии Верейский. Рассказывал, уверяя, как у них отобрали скот (заставляли их платить за каждый стакан молока тут же у них в хлеву стоящих коров). Запретили прислуге служить в их доме и чуть было его самого не убили за то, что он где-то выступил на собрании с разъяснением… Семья его остается и теперь там. В соседнем уезде полное спокойствие и старый порядок держится. Говорит, так по всей России. Все же он там рисовал и привез ряд очень недурных, немного, как всегда, бездушных, но очень удачных работ. Совершенно аналогичные вещи рассказывает Костя (на днях у нас обедавший) о своем родственнике генерале Цемирове, семья которого лишилась и пенсии, и жалования, и всех своих накоплений. Сам Костя уже более не домовладелец, а продолжает платить 125 рублей за свою квартиру, что, быть может, ему выгодно (если только не задавят налоги).

Вторник, 30 января

Наконец состоялась «предварительная» конференция. Лариса без всякого толка напригласила кучу совершенно лишнего народа: весь Эрмитаж, весь Музей Александра III (А.А.Миллер считает своим настоящим долгом быть со мной чрезвычайно

сухим), музейных людей, Академии, все дворцовые комиссии, Курбатова, Шереметева, субалтерных представителей Общины, каких-то пролетариев, среди которых М.Бухбиндер.

Луначарский, окруженный своим штабом, произнес часовую речь в «обычных тонах». Что-то слабое и закавыченное проворчал Миллер. Постарался для своего нового начальника «товарища» Пунина: взывал к тому, чтобы отворить настежь музеи и дворцы, для того чтобы народ мог взять оттуда, что ему нужно, и делать то, что ему хочется, с этим открытым добром. Зато дельно перевел на принципиальную почву обсуждение вопроса о Строгановском дворце Георгий Лукомский (в сущности, ему и принадлежит сейчас главная заслуга в спасении этой драгоценности), а вообще я могу быть доволен и этой нелепой реализацией «своего замысла», ибо главное сделано: «саботажники капитулировали» — и дальше уже потечет в этом ведомстве нормальная жизнь, которая и предохранит в значительной степени сокровища от всяких максималистических посягательств.

Оттуда поехали «небольшой комиссией» в Строгановский дворец. И сразу обнаружилась та польза, которую может приносить в наши дни «коллектив компетентных лиц». Несмотря на возмутительное подлаживание Луначарского к товарищам матросам, которых он считает лучшими «носителями пролетарской культуры», в сравнении с которой все прошлое — только жалкий вздор, несмотря на прыть юного председателя («Этот паренек пользуется у них громадным авторитетом», — шепнул мне умиленный и как будто несколько парализованный Луначарский) и его попреки в адрес художников, которые-де до сих пор не приходят на помощь пролетариату, несмотря на еще более агрессивную роль другого, уже форменного матроса, закончившего свои тирады прежними угрозами: «Нами занят Строгановский дворец, все этажи, и вам придется считаться не только с нами» (эту угрозу мы уже слышали на разные лады в речи Луначарского — несомненно, в его уступчивости матросам именно она и играла главную роль), — тем не менее, нам удалось заставить этих диких людей прийти к рещению обождать до известной степени откладывающегося разорения дворца. Их мы убедили, что для их пролетарской культуры просветителей (ох, как легко писать программы!) им нужны другие, более просторные помещения, назвали при этом солдатские дома Полякова, дворец Сергея Александровича, Синод, Смольный (идея Луначарского, который, впрочем, тут же в усладу своей аудитории ее развенчал), тогда как Строгановский дворец они возьмут как один цельный музей под свою властную руку и

превратят в «музей своего имени» (Луначарский никак не мог на этом успокоиться и все продолжал «пареньку» подсовывать, что здесь все же можно устроить часть аудиторий этого Матросского университета, однако тот реагировал на это вяло). Тут же нас попросили в этом помочь, и мы согласились, — главным образом, из чувства долга перед ценностью дворца.

Сам вопрос о том, останется ли он за семьей, меня перестал окончательно интересовать после того, как мы осмотрели все помещения дворца и убедились в том, какие варвары его нынешние владельцы. Галерея Воронихина превращена в склад мебели всего дворца, причем туда навалили вовсе не ценные вещи, а и кухонные шкафы, и рукомойники, и всякий чудовищный скарб (!) — это все «во время эвакуации». В других залах размещены конторы Красного Креста и испанского консульства, и во всем чувствуется бессмысленный индеферентизм. («Лучшие» вещи галереи увезены в Москву или упакованы для увоза, а между тем бюст Донателло и многие другие — оставлены.) Лукомского матросы просили стать их архитектором, но он, до упоения увлеченный Царским Селом (Боже, как он переполошился и взъерошился, когда перед заседанием ему сообщили о нашем коллективном намерении уйти в отставку, если не удастся отстоять Строгановский дворец!), отказался от этой чести и предложил Белогруда. Настоящими попечителями дворца будут Эрнст и Курбатов, я же буду сторожить и давать одни лишь директивы, и следить за их исполнением больше со стороны.

Для меня лично эти два заседания были последним экзаменом по вопросу: могу ли я принимать активное участие в нынешних государственных художественных делах и могу ли я войти в более тесный контакт с пролетариатом. Увы, я провалился и по тому и по другому предмету. Во-первых, я не гожусь уже потому, что многочисленность собрания обрекает меня на «судорожное» молчание, которое я могу прервать только в случае приступов бещенства. Так это и было, вслед за речью Пунина я неожиданно для себя крикнул: «Это по крайней мере демагогия чистейшей воды!» (все заседание изложено довольно верно и полно в «Вечернем часе» от 1 февраля 1918 года). И вторично я слетел с петель, когда матрос произнес свою угрозу: «Вы в каком это смысле говорите, что придется считаться с вами?» — на что Луначарский поспешил с таким разъяснением, которое вполне успокоило и матроса, и меня. А затем и по существу: я, всю свою жизнь не переносивший ярма власти, никак не могу стать агентом такой власти, которая собирается совершенно стереть всякую свободную и личную деятельность.

Луначарскому я отдаю должное — он умный и ловкий человек, к тому же благожелательный, он прекрасно сегодня лавировал и изворачивался, он как никто умеет льстить и обманывать, но то, для чего это делается, разумеется, хуже всякого монархического режима и капиталистического строя. Делается это во имя торжества пошлости, стадности, диких инстинктов, принимаемых априори за подлинную стихию воли народной. И при этом он сам слаб, безволен и, что хуже всего, — неврастеник. Вместо настоящего знания искусства у него одна директива, построенная на самом поверхностном и лишь бывшем талантливом усвоении учебников и фельетонов. Самих вещей, о которых он говорит, он не знает и не желает знать. Любопытно, что в первое свое посещение Строгановского дворца (без нас) он не полюбопытствовал его осмотреть, да и сегодня я насилу его потащил по залам (причем пришлось сломать печать у галереи, о чем был им же составлен протокол).

Матросы тоже не произвели на меня того впечатления, которое могло бы меня примирить со многим чудовищным, что имеется в текущем моменте, так что я предпочел с возбужденным любопытством наблюдать со стороны. Во-первых, бравых, настоящих матросских лиц в этой компании из 30–40 человек было всего три-четыре. Остальные же в нашем смысле не внушают доверия к тому, что они призваны отныне обновить культуру. Напротив, большинство обладает тупыми и просто зловещими, зверскими лицами. Возможно, что это в значительной степени иллюзия, что и среди этих молчаливых и понурых людей, не успевших оправиться после многолетней каторги (об этом очень громко и убедительно говорил пригрозивший нам оратор, судя по выговору, — эстонец), имеются хорошие, жаждущие, свежие натуры. Но первое впечатление в общей массе — отталкивающее (а ведь я шел подготовленный и скорее с намерением в них признать себе близких по существу) и даже жуткое.

Впрочем, еще другое впечатление произвел на меня «многообещающий паренек», одетый в нематросскую черную куртку и носящий настоящий университетский (!) значок. По типу — это канцелярист-ловелас, но хитрое, острое личико, бегающие глазки, оставшиеся от прежнего режима, заменены известной угодливостью, очень странно сплетающейся с выработанной позой «неукоснительного революционера», и указывают на то, что паренек очень себе на уме и метит высоко. Не он ли внушает Луначарскому про дальнейшее «углубление революции»? Чего же! Должен сказать, что Луначарский с его «елейным откровением» так мне стал не то что противен (он все же шармирует и

лукавством, и какой-то сентиментальной благонамеренностью), мучителен, что когда он прибегает к своему излюбленному мотиву о том, что вслед за нами пойдет уже просто пугачевщина, у меня является соблазн: уж лучше это, по крайней мере, в откровенную. И тогда «пареньки» роковым образом подготовят почву для возвращения «естественного порядка». Они же первые в этом порядке найдут себе достойное применение: свернут на ту старую дорогу, по которой шли.

Перед обедом приходил — моя детская пассия — Н.А.Шильдкнехт, присланный Каминькой (их политика — меня компрометировать — продолжается), к которой он пристал со своим проектом увеличить доход и уменьшить расход по театрам. Я ему объяснил, что я здесь ни при чем, но все же пришлось согласиться выслушать его пятиактную пьесу в стихах! И придти посмотреть его кукольный театр. Несомненно, он немного помешанный! О, как вредно встречаться с «Наинами»! О, как много прошло времени с тех пор, что он прославлял Одалисок в составе «турецкого посольства» (это было в самый разгар Турецкой войны), в которой принимала участие вся наша архитектурная молодежь в союзе, если не ошибаюсь, с Ратьковыми!

К чаю был В.Солнцев, принесший провизии. Акица готова предоставить квартиру Кати для Сувчинского — тот все не может решиться, куда деваться. Кажется, он въедет в одну из квартир в доме его матери, которую для него очистят красногвардейцы — тоже удовольствие!

Я читал Стипу [Яремичу] и Эрнсту пассаж дневника про выставку «Мира искусства». Первый совершенно согласен и даже сгущает краски, Боже, какой он был сегодня бещеный, когда Луначарский произносил свою речь (я записал главные пассажи речи в свою книжку). Он даже не мог выдержать, чтобы почти совершенно громко не шепнуть: «Холуй! Вот холуй!» Особенно его раздразнили угрозы матросов. Второй отнесся мягче и «просил снисхождения».

Слушал и Кока. Не знаю только, хорошо ли это? После их раннего (что теперь обыкновенно) ухода я еще написал письмо Шагалу и черновик послал Луначарскому. Читаю «Новь».

Среда, 31 января

Последний день старого стиля. Ну, его мне не жаль.

Мучительное ощущение капкана, или погружения в состояние пессимизма, продолжается, а умственное усиливается.

Переписываю и переделываю письмо Луначарскому, но время идет, и я еще не знаю, когда отошлю. Сегодня я не хотел ехать на заседание издательства и просил об этом предупредить зимнедворцовых людей, но рассеянный мальчишка забыл и лишь перед самым заседанием по телефону из Общества поощрения (где мы заседали по делам изданий Общины святой Евгении) попробовал отказаться: Александр Николаевич-де чувствует себя разбитым. На это Лариса сейчас же собралась сделать распоряжение, чтобы мне были высланы лошади, и так как это уже совсем не входило в мою программу, то я предпочел уступить и пошел. Само заседание прошло в тонах скорее приятных. Луначарский развивал мысли, которые вполне соответствуют нашим, и блистал, как бриллиант перед стекольщиком, рядом с заведшим свою волынку товарищем Полянским (все вновь здорово: об экспертизе тарифов, о том, что он должен быть окупаем, об его идеале книги «С севера на юг» Каразина); но все же и здесь безлюдность очевидна. Все это — опять-таки Фата-моргана поставлена в воздухе, самоотдающая словами, и больше ничего.

Порешили объявить конкурс для отыскания художника, который иллюстрировал бы Некрасова. Я высказал весьма свой скепсис, основанный на горьком опыте, но не спорил: во-первых, не вдохновляет, во-вторых, дабы они сами увидели всю свою суетность, в-третьих, потому что просто не назовешь идеального иллюстратора этого поэта (я его лично не люблю и очень плохо знаю). Ведь не Кустодиев же, не Петров-Водкин[3]. И еще мне можно будет надеяться на удачный результат: если конкурс произойдет, то будет то, что произошло с «конкурсом» почтовых марок, за устройство которого взялась самонадеянная Лариса и которая ограничилась заказом Борису Попову (его «голуби», называемые Ятмановым «рябчиками», не имели успеха), Россинэ (через Добычину), Альтману, что вместе с приглашениями из Общества поощрения и работами нынешнего конкурса (как потешно вспомнить, что тогда с нами говорили о важности каждого часа!) и составило объект суждения нашего издательства коллегии (почему, по какому статусу ее?) по окончании заседания. В это время уже было 9 часов, и я, не обедавши, валюсь от усталости; так и не дождался конца «жюри», которое было, кажется, склонно остановить свой выбор на дурацкой футуристической декадентщине Альтмана. (Нарбут, видимо, потерял свой кураж, что и правда, и достаточно, и Луначарский все недоумевал, почему Россия его так похожа на Францию!)

Когда я буду это перечитывать через год или два (ого как смело!), то даже такая мелочь, как эта, поразит меня, вероятно,

тем, что я, такой строгий и беспощадный, решил стать ныне таким складным, уступчивым, компромиссным. Но именно это и есть те зыбучие пески, с которых я начал сегодняшнюю запись. Всякий случай, действительно мелочь и просто пустяк, не стоящий отдельного обсуждения (хотя, разумеется, ответственность за марки Альтмана «перед потомством» буду нести я, а не Лариса с Луначарским, которые к тому времени сподобятся очистить свой вид, согласно самым буржуазным консервативным канонам), но и всякая песчинка зыбучего или движущегося песка, еще менее пустяк, гибнет от того, что эти пустяки принимают характер «коллективной пагубы». Тут я в коллектив верю, ибо верю я именно в пагубную силу стада. Пустяк и тот разговор, который я имел до заседания со страшилой Ятмановым, относительно его проекта централизовать все фотографическое дело[4], пустяки и та классическая по неграмотности записочка, которую мне во время заседания подсунул Д.Штеренберг и которую я здесь сохраню во всей ее неприкосновенности[5] (ответить не успел, да и что бы ответил?). Пустяки, их тысячи, подобных суждений (любимое слово Ятманова), проектов, речей, декретов и пр., коими засоряется память и развивается вампиризм, но все это вместе составляет дикую засасывающую стихию какой-то дьявольской пошлости и нелепости, из которой я не вижу выхода (а таковой едва ли имеется!). Разумеется еще и то, что долго это продолжаться не может, именно это не может, будет еще хуже, но данное марево (или эта пена умирающего организма) должно исчезнуть. И не хочется мне свое честное имя связывать с подобным позором. Не знаю, как мне быть, чтобы вырваться из их удушающих объятий? Да и до сих пор не мог я вырваться из ощущения долга перед «художественными сокровищами России». Уже сколько досады и горя принес мне этот культ, хотя и не только моих, но и «земных» сокровищ, взамен тех радостей, которые они мне доставили (но радостей было больше!). Теперь же мой отход в сторону несколько отличается благодаря окончанию саботажа «чиновников от искусства» и тому, что внушительная машина беспрепятственно начнет вбирать, хотя бы в этой области, в свои шестерни наиболее ретивых прожектов и горе-администраторов. В этой области все вскоре может принять прежний облик. А ныне и весь прежний облик со всей его бездейственностью и тусклостью представляется, по сравнению с настоящим адом, просто райским. Я не могу без умиления глядеть на Д.И.Толстого, на Д.Шмидта. Уж лучше они, нежели Пунин, Ятманов. Да мало того, я ловлю себя на наивности к предмету своей ненависти и презрения — к Николаю II. При этом, говорят, и права пословица:

«По Сеньке шапка».

И все же написать Луначарскому письмо ужасно трудно. Никак не выразить всего', и свое «личное», и свое «общее». То выходит, будто я пугливо прячусь, то будто я чего-то добиваюсь. А мне «просто» нужно отойти. Для их же пользы и для пользы дела, которое нас так художественно соединило. Написал было пассаж о моих религиозных убеждениях, писал искренно, а как перечел, как представил себе министерскую улыбочку и подмигивающий глазок Луначарского, так понял, что всякое упоминание с ним имени Христа есть уже святотатство. А как иначе ему выразить? Может быть, и можно, но время идет; на заседания ходить, глупости выслушивать, всю большевистскую долю их греха на свою душу брать, а тем временем поразительно для меня мой авторитет проваливается все глубже и глубже. Пожалуй, это угадывает Ятманов, когда он в беседах со мной так дерзко иронизирует надо мной. Какой ужас, он стал иронизировать надо мной; пожалуй, выучился у Луначарского — своего патрона — и утверждает, что я все больше становлюсь социалистом! Однако все же терпеть куража не следует, спасение еще может явиться, надо только надеяться. Много раз в моей жизни выходило уже так, что я, отдавшись стихийным внутренним шептаниям, не противоборствуя фанатичным препятствиям, был выброшен волной на берег и спасался. Авось и на сей раз такой «прилив» подхватит меня и вынесет. Может быть, просто «морской прилив», и через неделю я уже буду лучше знать, что именно мне сказать Луначарскому?

О том, как относится известная часть военных к войне в настоящую минуту (думаю, что следующее дальше типично для всех работающих над «углублением революции» в этом направлении, то есть для всех созданий Красной армии, для всех военных Советов и т. д.), я получил сегодня утром весьма характерное свидетельство в лице двух бравых братьев, москвичей Сучковых, явившихся ко мне в качестве вершителей художественных дел обновленной России (все проклятая заметка в «Вечернем часе») с докладом об организованном ими деле военного маскирования на фронте и с просьбой о том, чтобы я ныне дал возможность этому делу приобрести вес… И вот тут характерно было именно то, что они рассчитывают на распространение военного дела в России вообще с момента введения института народной армии. Иначе говоря, поголовной повинности.

Эти два беса (еще разновидность нынешней чертовщины) сильно мне напомнили Колю-преображенца. Точно такие же хорошие манеры, та же сноровка прятаться (разумеется, они все

это затеяли, чтобы под блестящим предлогом сидеть в безопасности, лишь подготавливая к обстрелу фальшивые позиции, а главное — их лаборатория в Москве) и, наконец, та же жадность до аферы, до наживы. Таким людям, разумеется, не хочется сдаваться и прекращать войну или, шире говоря, — военное дело. Они всегда найдут способы прикинуться самыми убежденными людьми, согласно формулам момента. Забавно, как они вначале, принимая меня за большевика, старались взять подходящий тон и как сыпали большевистскими словами — тоже черта сходства с Колей, и как очень быстро они раскусили, что я им не думаю помочь. Конкретно они желали бы войти в контакт с «художественным ведомством», чтобы вместе наладить дело отбывания художниками воинской повинности именно в их деле. У них уже работали и Кончаловский, и Уткин, Илья Машков и Мильман. Я их отослал к Штеренбергу и Таманову, и они сразу перешли на тон «совершенно благовоспитанных молодых людей из общества». Старший — сухой, с замашками Станиславского в «Трех сестрах», — при этом все время молчал и осматривал мои стены (ох, пора их оголить и вообще снять с моих камней Христово божество), а младший, более полный и нагловатый, все время болтал быстро и складно. Старший оказался инициатором дела, младший — его главным помощником. Рожи У них довольно забавные, но плотоядные и хищные. Характерные, выдающиеся подбородки. Одеты по-военному и очень элегантно. Показывали мне изданную книжку (экземпляр с посвящением даже обещали прислать). Я все их нелепые «художественные работы» разъяснял пространно и с иллюстрациями. Возможно, многое из того, что ими открыто (разумеется, было сказано невзначай) в русской среде, у нас поставлено лучше, нежели не только у союзников, но и врагов. На самом деле, по отзыву тут же подоспевшего А.П.Солдатенкова[6], то, что им было сделано, не принесло никакой пользы (и стоило уйму денег), — пригодно для театра. Во всяком случае, однако, теперь для меня ясно, почему с рынка исчезла краска, ведь она для того, чтобы обманывать германцев. Нет, милитаризм не так лихо умерить. Он просто плоть от плоти всего современного безумия.

На улице, идя из Общества поощрения, где после заседания Красного Креста я осматривал брик-брак аукциона Платера, встретил Мишу [своего брата] с молодым Китнером. Первый со мной разздоровался, а второй стал игриво шутить на тему, что, мол, скоро придем к вам, в Зимний дворец, просить работы. Воображаю, какие слухи ходят!

Получил и от Карпинского из Академии наук письмо с ходатайством заступиться за архивы. Кошмар! Передал это дело

Эрнсту. Сказать кстати, получается какая-то странная история с последним и Добычиной. Во время заседания в Обществе поощрения она дважды напоминала «на всякий случай», чтобы я знал о подаче двух чеков на сумму в 9000 рублей к подписи Ятманова. Ведь вот еще что: я и в материальном отношении, как снова используют мой запас, буду находиться в полной зависимости от этих разбойников. Ведь Добычина только потому и получила по чекам, что ее «дело» признано комиссаром народно-полезным. Между тем Акице она, пришедшая к нам до меня, сообщила, что мы имеем получить всего 4000. Впрочем, по ее уходе это выяснилось. Акица подозревает: нет ли здесь шахер-махеров, не пользуется ли Добычина моим именем для получения денег для других? Как раз о подобной комбинации намекал на днях Аргутон (сделавшийся закадычным другом Добычиной) для раздобывания денег его сестре Лорис-Меликовой. Акица по телефону (хотя мы и внесли 300 руб. за оный, однако по нему нельзя звонить, а мы можем звонить только на букву «Б») попросила Эрнста утром зайти для объяснений.

Четверг, 14 февраля

Весь день провел в Царском. Ехал туда в холодном вагоне первого класса запоздавшего с отходом поезда (а до вокзала — на извозчике за 8 рублей от улицы Гоголя), но все же «со всеми удобствами», в компании с обоими братьями Солдатенковыми (Александром Васильевичем и Кузьмой Васильевичем), второй должен перед старшим дуть «надменного», что безнадежно глупо, женой Александра — хорошей, очень живой и приятной (хотя и неистово «властвовавшей» после первой революции) Александрой Иосифовной и по-чему-то Мироном Рославлевым, Владиславом Слепцовым, ныне совершенно разоренным и потому окончательно поглупевшим. Во время обзора дома он делал запись моей экспертизы.

Забавные прения между контролером и забравшимся в первый класс пролетарием с билетом третьего класса, так и не пожелавшим перебраться куда следовало, впрочем, только под предлогом переполнения, что, оказалось, не соответствует истине (на возвратном пути совершенно ожесточенная и столь же безрезультатная сцена); Кузьма Солдатенков ехал из Москвы в теплушке и прямо не нахвалится: ну вот и отлично[7].

В доме очень большом и насквозь пропитанном парами разгромленного погреба (10 000 бутылок отборных вин!) мы прождали часа два и совершенно замерзли. Большинство вещей

— просто богатое безвкусие. Далее идет разряд трактирный и реже — махровая старина, и в конце концов действительно достойными предметами являются: две шпалеры начала XVII века со значком Б, увитым гвоздикой («Привал Дианы и ее подруг»). Диана и Аполлон расстреливают детей Ниобеи. Французский шкаф конца XVI века, бюст Марии Антуанетты Гудона, ряд китайских бронз, повторение картины Вильдета «Охотник с собаками». Два панно Умбрийской школы (или «Марок»), вставленные в транспортированный свадебный ларец. Меня *лично* еще пленит красивая «Венера» Прадье. К.Солдатенков очень настаивает на ценности действительно богатых с эмалью шахмат с фигурами Карла V и Франциска I. Вовсе не интересен картон В.Каульбаха, какие-то греческие воины, совсем в темноте нельзя было разглядеть картины Зичи.

Лукомский очень рекомендует часть вещей пожертвовать Царскому Селу (в библиотеку, в музей; однако не поздно ли?) и очень сомневается, чтобы удалось распродать, а также вывезти остальное. Между тем эти миллионеры уже сидят без гроша и вынуждены так или иначе находить средства для своего трутневого существования[8].

После невкусного, но все же сытного завтрака в «Кабинете» Солдатенковы отбыли, а Лукомский потащил меня осматривать дворец Павла Александровича, который чуть было не забрали под Совет Р. и С.Д., но который ему удалось отстоять, убедив хозяев сделать из дворца публичный музей. Нас водила сама княгиня Палей, все еще не лишенная приятностей (очень умно себя ведущая с революцией).

Присутствовал при осмотре и комендант Царского Села — большевик Телепнев, которого она очень умно, тонко и не впадая в безвкусие, думает укротить. Он даже целует ей ручку (с виду самый обыкновенный войсковой писарь в папахе и армяке, но, видимо, себе на уме).

Дворец, построенный любимцем наших салонов Буланже, огромен, но не выходит за пределы шедевра — ординара Петра, представляет собой острожный вариант «века Людовика», в общем, он холоден и банален! И такого же порядка вещи, его наполняющие. Мне лично понравился только один громадный брюссельский гобелен XVIII века с красивым а-ля Буше пейзажем («Триумф Амфитриды»), Лукомский, впрочем, в восторге, да и я согласен, что для него этот ординарный трофей очень хорош. Пусть смотрит и учится. Во всяком случае, положил массу усердия и даже известной приятной и поверхностной и бескровной «любви».

Улучив момент, бедняжка Пистолькорс обратилась ко мне с

вопросом: «Что же нас ждет?» На что я ей ответил несколько своеобразным утещением: «Все образуется!» Я, впрочем, действительно так думаю и, увы, почти что желаю. Из картин мне удалось (в железной кладовой, куда они составлены вместе с фарфором и серебром) увидеть только двух Гюбер Роберов, неплохих в высоту, красивого Шардена (книги и бюст) и только повторение Росленовой Марии Федоровны. «Палейчик» был в печали, очень кокетничал, дориангрействовал, а затем (тоже из кокетства?) быстро улетучился. С каждым разом он мне нравится меньше.

Я замечаю, что теперь он, познав муки тревоги и нужды, постепенно превращается в злого, беспутного Миньона. Одет он был в какую-то синюю полувоенную тужурку или пижаму. Мать объяснила эти странности вызовом социалистам, видимо, желая мне сделать этим предельное удовольствие. Что-то «болен» он своими стихами, а трудности сопряжены с их изданием. Нет, Бог с ним!

Оттуда с Лукомским во дворец Марии Павловны, который он для отвода беды от дворца Палей «жертвует» под Совет, и действительно поделом. И это, подумаешь, — жилище двух президентов Академии художеств! Что за кошмар безвкусия. Я настоял только, чтобы был взят во дворец весь Петр Соколов (акварели и меццо-тинто), несколько других акварелей, еще что-то из семейной фотографии. Огромный семейный портрет Бакста позорен и безобразен. Надо бы его уничтожить.

Оттуда зашел к Анне Петровне Небольсиной, оказавшейся очень милой дамой. Ее муж — славный отставной моряк, тоже мне понравился. Особенно тем, что у него откровенно нет никаких иллюзий относительно русского народа (но, правда же, всегда было так). Папины акварели прелестны, и я счастлив, что овладел ими. Кроме того, у них целая папка рисунков, доставшаяся ей от ее дяди — известного Булгакова. Между прочим, хороший рисунок Пармиджанино из собрания Мариетта (как будто Минерва). Из картин интересен плечный этюд А.Иванова к двум фарисеям. На камине, в неотапливаемой гостиной, под бумажным покрывалом (для отвода глаз красногвардейцев) стоят очаровательные бронзовые часы начала XIX века, изображающие даму в костюме, играющую на фортепьяно.

Историю с Добычиной Эрнст объясняет там, что 5000 рублей пришлось получить Смирнову тоже за мои вещи, проданные на его выставке. Ох, это что-то не то! Акица с ним поговорила довольно строго и, кажется, немного припугнула юношу, слишком падкого на оказание всем любезности.

О политике ничего не записываю, хотя и читаю газеты, как роман А.Дюма, ничему не веря и от всего приходя в возбуждение. Лганье, закрутившее все большим вихрем. Может быть, очень значительно по последствиям наступление румын на Одессу, но, может, и это блеф? Может быть, очень значительно, что немецкая финансовая делегация покидает Петербург, но, может быть, и это комедия?

Акицу волнует вопрос о нормировании жалованья прислуге с минимумом 75 рублей горничной. Придется еще собирать на штат (пока что нас «объедает» застрявшая Дуня).

В «Новой жизни» курьезная по своей подлости передовица. Теперь я начинаю ощущать характеристику, данную Гессеном, что «Новая жизнь» — это «Новое время». Но, увы, в прозорливости последнего здравого смысла Суворина я что-то не усматриваю. Одни только подлые характеристики и больше ничего.

Пятница, 15 февраля

Сегодня мы обедали у Горького. Будущий любопытный историк, прочтя такие слова в моем дневнике, оближется предвкушением какого-то необычайно интересного сообщения; как-никак у Горького и сейчас репутация наследника Толстого (я, даже зная его теперь хорошо, не способен отделаться от этого предрассудка), и, я думаю, такая репутация сохранится за ним до известной степени и в будущем. Но, боже мой, какое разочарование постигло бы любознательного, если бы он послушал все то, что вчера говорилось с 7 до 11 часов (самый обед был приличен на вкус, но скуден без сладкого и к чаю — только мед, да и то фальсифицирован). Присутствовали чета Тихоновых, нас двое, дока Мария Федоровна (продолжающая работать в управлении по раздаче обуви), Десницкий, г-н Х. с разными газетами и г-н У. — художник, живущий у Горького. И вот все (мы уже под давлением других?) вели исключительно коллекционерские разговоры, а когда, на секунду, подшофе — на слегка политические темы, то сейчас же Мария Федоровна (на сей раз, не перебивая Ал. Макс.) просила, чтобы политических вопросов не затрагивали, не то все перессорятся. Ни дать ни взять — беседа у Оливов или Аргутона. Поистине в таком виде коллекционерство есть зло, и недаром я совершенно от того (от действительно коллекционирования) отстал.

Только после того, что-то около 10 часов приехал Шкловский, на сей раз более со мной любезный (что это: присутствие дам или перспектива работы со мной, ибо все, *кроме меня*, уже наслышаны

о каком-то «Совете десяти», которого я буду председателем, а Шкловский одним из членов — что это еще за кошмар?), общий тон разговора оживился. Стали откровеннее критиковать Луначарского, Ларису (хотя Шкловский, видимо, к ней неравнодушен) и особенно от всех попало Ятманову. Тут же по поводу угрозы общего социализирования быта высказано Горьким глубокомысленное предположение, что никакой реставрации быть не может, а что вот русский мужичок потерпит-потерпит и годика через два такой устроит «мужицкий свой социализм», что уже тут… (не было договорено, зато многозначительно разведено руками). Все те же песенки про русского мужика. Но ведь мужик любит продавать и покупать, и для этого нужен порядок в стране. Я думаю, что мужик просто пригласит, и гораздо скорее, чем через два года, варягов, после чего и наступит правительственное благодеяние. А до этого стихия должна расплескаться вовсю и в быт проникнуть окончательно. Думаю при этом, что именно Горький не будет по хорошей своей мужицкой закваске заодно с мужичком. Пока же он постепенно становится самым отъявленным буржуем. И он, и Десницкий — оба с азартом собирают китайщину и всякую другую всячину. Между прочим. Горький недавно купил хорошую статую черного дерева какого-то философа с лицом, удивительно на него похожим. Называет он ее портретом своего дедушки. Родства с китайцами Горького я раньше не замечал, оно еще более проступило, когда он облекся в пестрый и золотом расшитый мандариновый халат и уселся в углу на красное лаковое кресло. Типично буржуазные нотки слышатся и в том, что и жена и муж (больше жена, но не менее и муж) так много говорят о своих новых друзьях и всяких князьях Михайловичах, причем он ее дразнит для проверки: ты-де, мол, таешь от счастья, что у тебя бывают высочества, но при этом и сам, видимо, чрезвычайно польщен этим. Я особенно это заприметил, когда он художнику-адъютанту, которому поручено спасать Михайловский дворец, с утрированным, простоватым тоном бросил упрек: «Что же ты его (Сергея Михайловича) сюда не привел, ведь бедняга прямо умирает со скуки!»

Мария Федоровна даже помирилась с большевиками и поступила в районную управу Выборгской части (где она имеет близких друзей — тех самых рабочих, которые несколько недель назад приходили к Горькому с попреками: пошто он их оставил?) специально для того, чтобы спасать культуру. И вот Мария Федоровна собирается спасать Михайловский дворец тем, что возьмет культурно-просветительский отдел при управлении под свое покровительство. Из этих рассказов Николая Михайловича, которого Горький называет «бедный старик», я понял, что тот с

ним взял тон угнетенной невинности. Он-де никогда политикой не занимался, всегда фрондировал, он-де — историк, ученый. Растерянность его доходит до того, что он часть своих миниатюр — несомненно, худших, и то для отвода глаз — все еще держит открыто, не находя в себе решимости заняться их сохранностью (отчасти это, может быть, и так, но отчасти, наверное, это хитрость).

Для целей же охраны избран Шкловский, который мне сегодня показался менее тупым, более юрким и потешливым. Тончик хулигана и громилы продолжает изредка звучать, но тут же он возмущается Пуниным и Ятмановым. В добрый час. Из него еще может выйти более или менее надежный (*никогда не вполне*, но таковых нет) охранник художественной старины. Он взывает, во всяком случае, к энергии и организованности, «а то сидят они все там в передней у Луначарского и только отписываются», что скорее истина. Не перечил мне и тогда, когда я стал говорить о необходимости выработать план. И вот снова я чувствую для себя опасность быть втянутым.

По поводу рекогносцировки Марии Федоровны — с большевиками и даже с Лениным, который ее принял сухо (а Ларису будто бы даже дерзко), но прощался с величайшим изъявлением нежности, затронув вообще тему о ликвидации саботажа, — Манухин молчит, и Горький возмущен тем, что интеллигенция пошла на поклон. Причину такой ненормальности Горький видит в дурном влиянии на доктора его домового комитета, во главе которого стоит Димочка [Философов] и который весь представляет собой шипящую многоголовую гидру. Сказать кстати, ставят у Судьбинина «Павла I» Мережковского. Вот куда меня не тянет, вот из-за чего не стоило делать революцию.

Завтракаем мы у Кюнерда (дивный солнечный день. Какой гимн Кесарю представляет собой в такие дни площадь Зимнего дворца!). Живет он вместе с Гессеном в первом этаже Кавосова дома (ныне барона Гинцбурга) на Миллионной, очень изящно реставрированным. Собирает крошечный фарфор с большим вкусом к цветистому, яркому. Не говорит сугубо глупостей даже о войне (видимо, полная усталость). Гастинг, очень понравившийся Акице в своей военной форме, менее приятен. Он, густо покраснев, выдал, что знаком с мадам Коллонтай, которая его учит большевизму. Она же поведала ему, что для них было полнейшей неожиданностью, что они продержались больше месяца! Верит в их честность и добродетель (теперь уже общее мнение, что Ленин брал у немцев деньги, но надул их!). Троцкий, говорит, вернулся из Бреста «разъяренный». В таком случае,

оказывается, и он не хитрил, и он никого не проводил, а просто «не думал сделать то, чего и нельзя было сделать по фактической обстановке». Или же он в последнюю минуту оробел и не решился совершить истинно героический поступок — взять на себя грех. Выходит в таком случае, что продолжение войны вовсе не дьявольски остроумная штучка, а простой камуфляж бездарности, как и все остальное, и даже включающий весь ансамбль четырехгодичных нелепостей[9].

Я продолжаю думать, что какой бы то ни было мир спас бы положение, но, разумеется, что не-мир не может ничего спасти и «обреченность» продолжает оставаться в полной силе.

Застрелился Каледин. Значит ли это, что Дон стал большевистским? Бестолковость газетных известий (едва ли всегда умышленная, — скорее просто бестолочи) не позволяет вообще судить о том, что творится на свете и в России. Думаю, во всяком случае, что все эти домашние Аустерлицы и Ватерлоо, которые происходят то тут, то там на внутреннем фронте, на самом деле не превосходят по значению смехотворный «бой под Цусимой». Все же контрреволюционные выступления похожи по характеру с нашими юнкеровскими бунтами, имевшими даже для Петербурга чисто участковое значение. Все слишком устали, слишком деморализованы. Опять те же Коллонтай: никак не ожидал, что она встрянет в такую пассивность. Кисель. Но по киселю никакой борозды, о которой мечтал Троцкий, не проведешь. Провел он, глядь — она уже сомкнулась. Вероятно, и теперь, на почве не-войны, кисель опять, может, и похлебают. Всего все равно не расхлебают. Больше выльют. Это вовсе не значит, что я не верю в Россию. Но я думаю, что все ее значение станет действенным с момента, когда она начнет прояснять проекты, когда она в значительной степени войдет в состав других политических организмов. Я верю в русскую мысль, а не в русское государство.

В Киеве убиты митрополит Владимир и генерал Иванов — два героя нашей разрухи. Возможно, что первого используют в качестве мученика. Опять-таки мадам Коллонтай недоумевает, почему, в сущности, оккупация Лавры вызывает такие разговоры. Ведь она просто попросила предоставить свободные помещения под увечных воинов! Хорошо, здесь, во всяком случае, — «грязная» работа и отсутствие отчетливости — едва ли умышленные, а скорее по легкомыслию а-ля Луначарский или невежеству а-ля Ятманов. Из газет я так и не мог понять, в чем дело, да и теперь не составил себе никакого мнения. Думаю, что «попросила» она, впрочем, так, как это сделали красногвардейцы с Сувчинским. Характерно сегодняшнее «К сведению граждан

Петрограда» в «Известиях», где за подписью двух жидков заявление о революционном величии отделения церкви от государства. Характерно и то, что никаких эксцессов на этой почве еще не было, если не считать ограбление Патриаршей ризницы (недаром я ее публиковал!), которое, может быть, произведено своими же людьми и для спасения вещей от рук нечестивцев. Снова я начинаю дрожать за эрмитажные сокровища. Что делается в Румынии? Что с Финляндией, что с итальянщиной? Ограблен, во всяком случае, в центре города итальянский посол Пассаратти.

Суббота, 16 февраля

Сегодня я был в сказке. Положим, я не целиком вошел в нее, часть меня все же остается по эту сторону кристалла и не теряет своей (злой) наблюдательности, но все же хоть часть побывала в гостях у Гофмана, у Дроссельмейера, и на том спасибо. Об этом буду вспоминать с безудержной радостью. И бывает же в наше жестокое и убийственное время такие чистые душой старые дети, как Шильдкнехт, — прямо не верится. На «спектакле» присутствовали и наш домашний делопроизводитель А.А.Труханов (наконец-то узнал его имя!) и там признавался мне, что ему все это показалось сном и прямо чем-то невероятным. Видели же мы вот что: как строгий шестидесятилетний человек неизвестно для чего (ибо практического применения его игрушка не может иметь, ею могут пользоваться всего два или же максимум четыре человека) целый вечер провозился, как ошалелый, пренебрегая даже своими обязанностями домохозяина (за это их исполняла его старательная жена Инна Федоровна, которая занимала меня с семи, назначенного часа, до девяти — начала представления, и замотанная вконец), над демонстрацией того, что им было создано, когда ему было четырнадцать лет, и что с тех пор он неустанно совершенствовал. А сама игрушка заключается в театрике, очень аккуратно склеенном, но не только состоящем из сцены, но обладающем и зрительным залом, освещаемым хрустальной люстрой. Зритель как бы глядит из центральной ложи, раскрытой, впрочем, на высоту всех пяти ярусов. Публика и оркестр, впрочем, уже исчезли. И.Ф. с умилением рассказывала, как в театре в первом ряду вставал генерал и, поклонившись партеру, обводил ложи в бинокль, как соседи когда-то потешно входили с ним в препирательство из-за того, что он оставил дверь в аванложу открытой… И то, что «шел» именно «Фауст» — одно только действие (и Маргарита и Фауст —

в белых мантильках) — все это сообщило мне впечатление чего-то очень личного, всколыхнуло мои личные воспоминания и впечатления… Но в то же время сладость этого чувства как-то сплелась во мне с какой-то горечью разочарования. Да только как же было хорошо в том волшебном мире! Не был ли он совсем таким, как теперь? Не обманываю ли я себя, когда думаю, что там была особая поэзия — не только придававшая свежесть моей фантазии, но и действительно всему показанному. Ребяческое усердие доброго Шильдкнехта доходит до того, что Мередит садится (с большим, правда, трудом и при помощи пальцев его сына; дома внезапно показываются из пола) и начинает прясть, и колесо крутится, и педаль качается, полминуты спустя она исчезает. Совсем удались Дроссельмейеру трюки «Волчьей долины».

Днем был на осмотре аукциона, устроенном Полоцкой для Красного Креста… Реализовались виды «Дерпилевского кладбища». Там узнал, что Луначарский был в Общине и полуторачасовую речь держал о ненужности аукционов. Туда и дорога. Но можно ли с таким невеждой (именно здесь — полное незнание условий того, что сказалось и в «сретении» с Ясинским) продолжать начатое дело?

В «Вечернем времени» снова слух, что меня прочат в председатели Совета по охране музеев! Все хочу собраться написать Луначарскому письмо, но дальше черновиков дело не идет, написанное превращается в черновик благодаря поправкам, дальше начисто переписанных вариантов не иду: то слишком фамильярно (он этого никак не заслужил), то слишком сухо, то просто не удается в отчетливой форме выразить мысли; и то еще портит дело, что они меня *оставляют в покое* и лишь за моей спиной компрометируют меня, говоря направо и налево о моем участии. С другой стороны, пойди придерись к этому! Старая испытанная политика «бесов» с Петром Верховенским во главе.

В обед была у меня корреспондентка Даготени Найхтре — длинная, не красивая, но приятная шведка, гранд-дама. Не знаю, что она поняла из моих ответов о русском искусстве (я, увы, разучился говорить по-немецки). Зато я узнал от нее, что в Швеции у них жизнь хотя и стесненная, но все же не выбилась из нормы, что дороговизна выражается лишь в десятках процентов, что от молока, хлеба и даже сахара они не отказались. С другой стороны, она в ужасе от нынешних обстоятельств, считает, что все это завершится вмешательством иностранных держав, которые для этого помирятся между собой, что больше всего ее поразило в ее собеседованиях с мадам Коллонтай, Луначарским, Каменевой и etc. количество их проектов и полный индеферентизм к тому,

что налицо (неглупое наблюдение!). Спиридонова не пожелала ее принять, узнав, что она не социалистка и сотрудница буржуазной газеты. От Ленина она видела только дверь его кабинета, охраняемую его лейб-гвардией. Троцкий обещал на ходу с ней встретиться, но в последнюю минуту отказался. Общее настроение поражения: германское наступление на итальянском фронте будто бы ликвидировано. Вокруг Румынии снова идет торговля, но в чем именно дело — не понять.

Мотя, узнав о самоубийстве Каледина, истово перекрестилась и сказала со смехом: «Ну слава те, Господи!» Как тут не верить в какую-то стихийность (очень жуткую), эманации и флюиды! Что ей-то до Каледина! Но она же пришла в восторг от погромов участков. Хлеба дали сегодня на всю семью столько, сколько один из нас прежде получал в один прием.

Воскресенье, 17 февраля

Среди ночи переполох от раздавшегося в кухне грохота. Оказалось, что это Дуня свалилась, истекая кровью (последствие аборта).

К завтраку у нас молчаливый Кюнер, хорошенький Герстман (выясняется, что он раньше был гувернером у Спендиаровых и отлично знает Капсель), извивающаяся в любезностях милейшая Брукса. Акица умудрилась их очень вкусно угостить. До и после завтрака разглядывали мои папки, причем, разумеется, «глория» не сходила с уст. Зато из них никто не выражал интересного. Только Герстман имел снова беседу с помощником Шхейнербергом по вопросу о пропуске сюда англичан и тут же с изумлением вопросил: «Зачем англичане сюда вообще приезжают? Ведь мы союзники!» — «Да, да, вы были союзники, но сейчас вы не признаете русское правительство!» При этом обнаружилось какое-то необычайное невежество этого господина.

Днем пришли Павлуша Развелий (отец его — восьмидесятилетний старик в буйном помешательстве, да и сам он какой-то странный), Георгий Гурьев и Ф.Ф.Нотгафт — всего трое — в сущности, явились с тем, чтобы заявить о своей готовности служить большевикам. И все же Г.Г. продолжает отказываться от участия в «Новой жизни» (из-за ее виляния), а Нотгафт отказывается от Царского Села (Лукомский нуждается еще в одном помощнике для дворца Палей). Я предложил еще вечером Бушена, и тот тоже отказался. Никому не хочется покидать кошмарный, но засасывающий «Петроград». Нотгафту, кроме того, хочется устроить отъезд своей жены к ее овдовевшей

матери в Париж. Действительно, Рене Ивановна ужасно плохо выглядит, впрочем, как и сам Ф.Ф., превратившийся из розового, тучного мужа в какое-то подобие вытрясенного мучного мешка. Мне особенно его жаль, ибо он на редкость хороший, благожелательный идеалист. Пришел он с аукциона Полоцкой, чтобы приобрести этюд Лелиной руки за 11 рублей и любопытное «Распятие» Петрова-Водкина за 170 руб. — Шухаев сделал 475 руб.

На нашей выставке народу очень много, но покупок никаких. Только Академия торгует четыре вещи. А во время их визита явилась княгиня Щербатова, которую матросы снова выселяют, ибо в Мариинском дворце им дают только пять комнат, а они хотят в третьем этаже Строгановского дома устроить свои классы. Придется снова завтра идти в Зимний. Эрнст, пришедший к чаю (после истории с Добычиной чувствуется легкая трещина в наших отношениях). Кроме того, им очень недовольны наши девы за то будто бы, что он им мешает в их романах. Думаю, что это недоразумение. Впрочем, вообще он в отчаянии от общения с матросами. Ребята очень славные, но бестолковые и капризные. Ему кажется, к тому же, что Кормин, паренек-мичман, глупо уцепился за Строгановский дом не только потому, что им понравилась банальная роскошь той залы времен Александра II, в которой они заседали (Художественная — не единственная свободная комната дворца), но и по чисто обывательским кошмарным соображениям.

Сам Кормин закончил одну из своих речей выражением надежды, что со временем их предложение удастся поставить на «коммерческую ногу». Ведь флот распускается, в Петербурге его не будет вовсе, так вот к чему клуб, когда гораздо лучше сделать гостиницу для прибывающих в столицу матросов. А уж просвещение, очевидно, приложится.

Я думаю, что не только в товарище Кормине такая подоплека под всеми громкими идеалистическими фразами. И, наверное, такая подоплека под всем шарлатанизмом Мейерхольда, которого уже сегодня превозносят — «свой человек» — в культурном, сплошь фразеологическом отчете в «Правде». Ох, молодцы! Дорогу, дорогу молодежи, свежему пролетарскому искусству. Ах, как бы отсюда уехать! Сам-пят — никуда не удерешь! На почве голода пышно распускается анархизм. У меня снова настроение, похожее на то, что было около 21 апреля, 3 июля, 25 октября.

Несомненно, назревают и вообще настроения, ведущие к событиям. Все больше глаза при этом устремляются к фронту: авось немцы выручат! (Впрочем, Нотгафт прочно держится своей союзнической немецкой германофобии.) Ходят слухи, что Двинск

уже взят. В связи с этим заявлением «советчики» отменили свои объявления вне закона «всего баронского сословия». Что-то неладно и со Швецией по вопросу об Аландских островах. Операция в Финляндии развивается удачно для красноармейцев. Сейчас бои приближаются к Сердоболю (бедный Рерих!). Димочка (Философов) с достоинством похваливает убитого владыку монархиста Владимира. Смольный с довольным ехидством подбирается к процентным бумагам вообще, требуя их регистрации, очевидно, для дальнейшей конфискации. К счастью, меня лично это не касается или касается только косвенно. Бушен считает, что Троцкий гениально поступает, бросив винтовки, — ставка рискованная, но в случае удачи дающая огромный выигрыш. Это верно, поскольку просто кончится война (если действительно она кончается), но если это поведет к укреплению большевизма, то прощай, свобода, прощай, культура, прощай, жизнь, или же прощай, Россия, ибо культура Европы вынуждена будет прийти водворять здесь порядок и большую жизненность. Безумно интересно жить в такую эпоху, но, Боже, как утомительно. Нет, я по существу ни с кем, ибо в основе всей их деятельности — идея не свободы, а рабства и порабощения. Все определеннее сказывается их подлинное (их характерно русское), их аракчеевское лицо.

Понедельник, 18 февраля

За чаем прочли вместе со Стипом статью «о революции». (Молодежь, оставшаяся в комнатах, угощает своих женихов. Причем уже Борис Попов считается Надиным!) Толстой печатается с автобиографическими пояснениями Н.Фельтена в № 1 «Культуры и политики». Этот номер Акица из жадности купила у одного кадетика. Обоих приободрила. Стип даже весь оживился, стал как-то очень громко говорить, возвеличивая и Толстого, и Достоевского, и кончил даже совершенно неожиданно руганью на «жидов» и «полячишек»! Но, странно, когда я остался один, то сразу как-то снова увял и с небывалой отчетливостью представил себе «бездарность и Толстого». Самая бытовая сторона Фельтеновских комментариев та, что он сообщает о своем свидании с ним по поводу вопроса о напечатании этой статьи без поправок (в 1906 году!), очень живо мне нарисовало подлинный образ Льва Николаевича — то, что в нем было «непосильного», что его привело к концу Степана Трофимовича. Разумеется, было бы отрадно слышать теперь хотя бы слова Толстого, его пояснения к моменту. Как-никак он был мудрый душой —

большого подвига человек. Но и он был, как принято теперь выражаться (но совершенно в ином смысле), «буржуй», но и он создал себе философию, до которой им нет дела, но и он всю жизнь стремился себя перепрыгнуть. И вот, сопоставляя эту неудачу с более чистой проповедью индивидуализма (ну хотя бы как у Ибсена или у француза), чувствуешь, что не так уж он выше их, а коли он не выше, то, значит, (сразу?) ниже. Те честные, благородные, в них при положительном уме меньше самообмана, меньше самохитрения. А коли так, коли глава русской культуры ниже глав западной (и всякой иной) культуры, то, следовательно, и здесь мы — банкроты. Нечего нам лезть с нашим Толстым. Он не пророк, а миротворец, честный, милый, во многом отрадный и содержит великую отраву лжепророка! И самый его отказ от земли правы рассматривать помещики как измену своему классу, а мужики правы на это смотреть как на никчемную блажь барина. Нет, уж лучше тогда полная честность горячего крепостника, прусского юнкера или как бы действием без лести преданного Аракчеева (нечто вроде этого Толстой в статье говорит).

Что нечто назревает, в этом не может быть сомнения. Сегодня на собрании в Зимнем дворце все признались, что они испытывают то же настроение, как перед 3 июля. И как же этому не быть, когда стук Царя-Голода в нашем дворе становится подобно граду! Но что ожидает нас — никак не скажешь. Говорят, многие дворники в городе уже анархисты. Это значило бы приближение «Еретиковой ночи», да и не одной, а целого ряда ночей и дней. Говорят, что на той стороне все время постреливают. Это примеряются. Все больше места в газетах отводится под анархизм, и это значит, что у барина-большевизма нашелся опасный соперник. Но так жизнь течет своим чередом, и даже Акица продолжает нас кормить вкусными обедами, провизию к которым она закупает теперь у «частников», от которых она в восторге и среди которых целая партия новых, необычайно расторопных и любезных (вещи совершенно необычные!) приказчиков, говорящих о себе, что они — «молодые силы» и что «они в достатке». Может быть, это уже тоже банда анархистов, овладевшая магазином. Совсем нехорошо только то, что наши капиталы исчезают с чудовищной быстротой, что новых поступлений совсем не предвидится (да и Добычина все не платит) и что Акица постепенно начинает терять свой оптимизм. Значит, дело дрянь!

В политической путанице очень трудно что-либо понять. Но как будто и здесь назревают кризисы. С Румынией мы уже теперь в войне, а в таком случае недалек и тот момент, когда она окончательно бросится в объятия Германии, о чем до сих пор

многие не оповещают официально. И вот тут, таким путем, произойдет возвращение Германии к войне с Россией. (Пришло известие, что Туган-Барановский погиб во время Киевской битвы, по другим сведениям, — в Ташкенте от рук своих.) Но тогда вступает в войну и Швеция, и пойдет кипеть новая свалка. В городе четко слышатся возгласы: «Давай хлеба, не то убьем!»

В Зимний я пошел для улаживания вопроса со Строгановским дворцом. Но оказалось, что он близок к разрещению. Лукавый хохол Рестровский натравил их на Биржу, которую представитель Флаксерман осмотрел в сопровождении

Шкловского и нашел подходящей. Обещают даже зажигать факелы ростральных колонн. Зато совсем плохо с Новомихайловским дворцом, о чем оповещает нашу комиссию Николай Михайлович, вынужденный покинуть дворец, — его и музей Михаила Николаевича местные анархисты опечатали. Случилось это, как говорит Рестровский, при Горьком и Добычиной; оказывается, она претендует на читальный зал под театр Пролеткульта Выборгского района. Это взорвало красноармейцев. Сергей успел нанять себе квартиру, Николай прямо ни с чем переехал в гостиницу.

Этот случай и энергия представителей Шкловского только пугает всех, провоцирует. Вообще культ коллективизма среди более сознательных и деятельных элементов начинает падать и заставляет меня выйти из состояния античного воздержания и впервые за все время с 25 октября перейти (очень пока осторожно и с величайшим внутренним отвращением) на тон распределительный. (Верещагин слишком нерешителен и робок, его сегодня вдобавок чуть было не раздавил грузовик.) Благодаря этому тону мне удалось заполучить от Ятманова, который как-то ухаживает за мной, специально для нас несколько комнат «за готическим залом» (их, к сожалению, очень трудно отопить), и он обещает наладить канцелярию, телефон, способы передвижения (нужда с бесхозом обостряется) и проч. В то же время сконструирован такой порядок: я, Верещагин и Вейнер образовываем какое-то центральное ядро, имеющее ежедневное присутствие в Зимнем дворце с 4-х до 6, остальные являются к нам с докладами и за поручениями. Курбатов берет на себя церкви, Нотгафт, которого я втянул, взял на себя обзор казенных учреждений, Шкловский и К.Миклашевский — полковое дело с переправлением полковых музеев в Зимний дворец (Войтинский возымел безумную мысль, что совершит в воскресение церемонию, и потому приходится торопиться). Авось удастся что-нибудь спасти, но в первую голову нужно остановить безобразную и безумную экспроприацию. Я хочу потребовать от Луначарского

декрета… [обрыв записи).

Пятница, 1 марта

В общем, вид улиц менее нормален, чувствуется везде напряжение, часто встречаются партии красноармейцев, частью уже переодетых солдатами (от форменных, даже некоторых распущенных солдат их легко отличить), частью еще в своих очень жалких одеждах, но уже с винтовкой у плеча. Много шло их (и среди них — совершенно грязная баба с повязкой Красного Креста и совершенно юные мальчики) навстречу мне у здания Армии и Флота. Вообще винтовки мелькали поминутно в толпе прохожих, в трамваях; большей частью держат винтовки так, что того и гляди — нечаянно выстрелит, кого-нибудь ранит или убьет…

С винтовками идут и кучки матросов, сопровождающих возы со своими чемоданами и узелками. Эти, очевидно, отпущены и спешат уехать в провинцию. На одном таком возе лежала груда шуб с очень богатым мехом. Скопища, в общем, запрещены, и это соблюдается с большой строгостью. Как раз когда я проходил мимо конторы, где идет запись на отъезд из Петербурга, часовой, считая, что слишком много людей застаивается у ворот, за которыми стоит самый хвост (на самом деле, не более 20–30 человек), дал три выстрела холостых в воздух, чтобы вызвать, разумеется, панику. Одна старуха купеческого вида осталась очень недовольна подобным «озорством»: «Что хотят, то и делают… нет больше никого, кто бы их…» — и многозначительно не договорила. Типичную фразу услышал я от барышни с ее ухажером, повстречавшимся мне на пути по Литейному, как раз после потока красногвардейцев: «Я сегодня предполагала пробраться к Березину, у него совесть еще имеется и прекрасные надежды…» Зашел на Моховую к В.В.Гиппиусу.

Гиппиус очень нервен, собирается устроить к весне (в связи с тем, что по ордеру Луначарского занятия уже будут отложены) в помещении Тенишевского училища народный университет. Зовет меня читать лекции об искусстве (к сожалению, я совершенно на это не способен). И этот, «влюбленный» в революцию, начинает мечтать о «хотя бы монархии», а в захват немцами Петербурга, видимо, совершенно не верит, разумеется, ощущает обыденность. Пожалуй, Дима (Философов) теперь мечтает о Венеции? Диму повстречал Гиппиус на улице. Тот мрачно подошел к Владимиру Васильевичу, пожал руку и спросил: «Вы еще живы?» — «Да». — «Я тоже покамест живу». Что это — «театр для себя» или

действительно известное провидение? На такой вопрос можно будет ответить только по окончании всей «мировой авантюры», но, спрашивается, а как не будет больше ни вопрошающего, ни отвечающего?

Вечером был у Леонтия. Он просил меня зайти, дабы я ему объяснил, в чем дело с назначением Карева. Я ему рассказал то, что знаю. Выгладит он довольно бледно и уже почти откровенно «ждет немцев». Мария Александровна не на шутку перепугалась, когда я высказал предположение, что они могут и не пожелать прийти.

Но, разумеется, в чем дело и почему именно весь отяжелевший Леонтий, и вся суетная Мария Александровна, и все российское государство повинны во всем этом несчастий и позоре от разрушения, и теперь не понимают. Для них это все идет от приказа № 1, от жидов, от немецких агентов. Впрочем, вообще я теперь иногда слышу и такие фразы: если бы мы были в союзе с немцами, то всегда бы и теперь жили мирно.

Я взял у Леонтия записки брата Николая. Говорит он там потрясающе драматично. Вообще у добрейшего Леонтия прямо культ Николая. Он уже составил биографию его и переписал его дневники и письма. Все это аккуратно переплетено. Вернула мне М.А., наконец, и синюю тетрадку XVIII в., считающуюся автобиографией дяди Бенуа. Я прочел только первые три страницы, словоохотливо, не без юмористических прикрас, прямо с циничными подробностями (и о родах), описывающие рождение этого Юлия. А не есть ли это просто копия с чего-либо? Как-нибудь загляну более толково в этот документ, бросающий свет на один из моих «источников», или «производителей»… Я бы уцепился за него сразу, если бы не то недоверие, которое во мне вызвала определенная «литературщина».

Мое собственное отношение к моменту очень странное. Я бы сказал, скорее тупо-инертное. Я почти не волнуюсь. Газеты перечитываю как скверный, но «забирающий» роман. Против немцев, разумеется, ничего не имею, ибо что немец, что русский, что француз — мне всегда было все равно, и не по признаку национальности делю я людей на приятных, близких и неприятных, далеких. Но, с другой стороны, я вовсе не возлагаю каких-то надежд на то, что вот придет немец — и все станет хорошо. Хорошее лежит совершенно в ином плане. Может, он правда нас спасет от слишком большой разрухи, одинаково грозной как для нас, буржуев, так и для обольщенных, запутавшихся, близких к отчаянию пролетариев. К последним я, во всяком случае, не чувствую ни малейшего озлобления (и думаю, что не почувствовал бы даже в том случае, если бы нас

выжили из нашей квартиры). Слишком очевидно для меня то, что и «они здесь ни при чем», что и они жестоко обмануты, и вовсе не империалистами, буржуями, и не социалистами и большевиками, а всем строем жизни, всем тем, что людей с какой-то дьявольской спешкой удаляет от единственного, наивного, верного, реально возможного, реально сущего и бросает на поиски иллюзорного и очень абсурдного счастья.

Большевики такие же пошляки и вертопрахи, как и прочие политические деятели. Но, правда, они смешнее, нежели прочие. В них элементы скоморошества, Ругон-Маккарства (о, гениальный Золя) и неплохой Буте де Монвель сказываются с чрезмерной простотой, аляповато. Но ведь «лубок» сейчас в моде, ведь иные из моих «коллег» готовы были предпочесть вывески Рафаэлю. Так чего же удивляться, что эти сальто-мортале ежеминутно рискующих сломать себе шею (но в глубине души все еще рассчитывающих во время удрать в свой «кантон Ури») вызывают восхищение миллионов зевак и простецов. И поскольку во мне живет (или привита) любовь к лубку и к цирковому зрелищу, постольку я в этом способен видеть здоровую непосредственность, «почву» и прочие прелести, постольку и я «восхищенный зевака», почти не замечающий, что тот балаганчик, в котором идет зрелище, уже пылает пожаром, а через час превратится в груду пепла. Вот *всецело* я не таков. Но только очень трудно раскрыть в себе то, что я есмь я, что во мне не от дьявола, а от Бога… Дай мне. Господь, это все же раскопать, а затем дай об этом знать другим, дабы и они тоже *взаправду* поумнели…

Суббота, 2 марта

Никогда еще я не убеждался так в разумности старого олицетворения государства в виде корабля. Иллюзия, что мы плывем по бурным волнам, — полная, вплоть до совершенно физического ощущения морской болезни. Качка и взад и вперед, и вправо и влево. Однако и тот же день приносит столь разных и «самых сильных» ощущений, что уже сами ощущения, несмотря на всю их силу, как-то больше не ощущаются, зато все это к концу дня вызывает тошноту. Вот и сегодня день начался с «катастрофы мирных переговоров», с переполоха из-за внезапного требования, делающего погоду в Новоселье и связанного с этим докладом, часть которого высказана самим Лениным (Боже, каким он сейчас стал суетливым и беспомощным), и таким образом полдня мы жили под впечатлением, что вот-вот подойдут немцы, которые уже официально в 30–40 верстах от Бологого, и начнутся уличные бои (разумеется, своя на своих). А к вечеру стало известно, что мир подписан, пришел как-то неожиданно все еще в виде извилистом (оккупация Петербурга?), условием прибавилось еще требование самоограничения областей Батума и Карса.

Вечером же Шейхель принес из Смольных кругов известие, что взят Киев и что интернационалисты и другие товарищи вышли из Совета Р.Д. Жизнь тем временем плетется по своим побрякушкам суеты.

Днем с 11 часов у нас было заседание в Музее Александра III. Меня выбрали председателем, и я не на шутку струхнул, как бы еще не выбрали директором (ползаседания я даже плохо следил за прениями, ибо все обдумывал, как мне отказаться), но затем обнаружилось (ведь я пришел совершенно непосвященный в дела, за последнее время у меня не было разговоров ни с Аргутинским, ни с Нерадовским, а более старое я уже успел позабыть), что уже большинство голосов оказалось за Миллером, и я во вторичную баллотировку тоже подал голос за него (в первый раз за Миллера, но он потом сам снял свою кандидатуру), дабы покончить с вопросом, который благодаря хлопотам А.А.Макаренко за Могилянского и угрозам Пунина мог бы запутаться совершенно. Таким образом будда-Миллер — директор. Я бы считал этот выбор удачным! Предпочел бы все же Могилянского, но за него нечего было подавать голос, ибо требовалось избрание безотлагательное ввиду грозного момента и необходимости в хозяине музея, а Могилянский застрял на неопределенное время в Киеве. Итак, я бы считал выборы удачными, если бы (как раз из

последних моих сведений о М.) я не убедился, что он путаник. Совершенно скромно был поднесен им на сегодняшнем же заседании проект статуса музея, никем не утвержденный и все же предопределяющий будущие функции директора и всего персонала. Но еще более во вкусе заседаний, происходивших среди сумасшедших доктора Гудрона, было выступление его демократического превосходительства Пунина, в котором он, с одной стороны, заверял о предоставлении полной автономии соединенному Совету музеев, а туг же оповещал о том, что контролировать и санкционировать деятельность его будет исполнительный комитет нижних служащих (тех самых, которые, по его словам, видят в Миллере, в Шеффере и в Могилянском ненавистных контрреволюционеров, Шеффера даже грозят убить), а в случае конфликта окончательное решение будет предоставлено коллегии при Луначарском, иначе говоря, «компетенции абсолютистов» — Штеренбергу и тому же Пунину. И уж никаких реверансов не было произведено по адресу лиц недавних саботажников, менее всего от Аргутинского, который все время, впрочем, молчал, быть может, льстя себя надеждой, что его изберут в директоры. Из одного отделения доктора Гудрона мы со Стипом (благодетель, накормивший меня в антракте колбасой по 16 руб. фунт!) перешли в другое отделение, на заседание «Мира искусства» в Академии. Сидели в средней ротонде за столом, некогда освященного Владимиром, Марией Павловной и прочими августейшими. Без конца обсуждали дурацкий вопрос — посылать или не посылать своих делегатов на предполагаемое вечернее заседание Академии художеств, ввиду того что Карева кооптировали перед Арбениным.

С одной стороны, чувствовалось, что именно теперь Академию желают похерить росчерком пера компетентных «абсолютистов», надо бы ее поддержать (даже я изменил себе и высказался за «объективную» необходимость отправить выборных), с другой — начавшее уже трусить начальство, которое среди заседаний милостиво являлось несколько раз к своим прежним товарищам, как Кольбер или Ней посещали своих отставленных в чинах соратников, и еще раз с каким-то смердяковским фокусом… о безжизненности такого шага, который, впрочем, нам ничто не помешает сделать (сами слова не помню, но тон был таков). Заходил он к «нему снизу, где он разбирает бумаги», одет был в новенький сюртук и вообще выглядел именинником. Мне и Бразу доставило наслаждение, как перед заседанием (когда мы еще болтались по выставке) Петров-Водкин бросился навстречу к зашедшему к нему в первый раз Кареву, как он его обнял за талию. Ведь сейчас «начальство»

более начальство, чем когда-либо. Не угоди как-нибудь — и тебя арестуют, пошлют рыть окопы, поселят к тебе семью «героя, ушедшего на революционный фронт».

Говорят, у Карева уже звучат ноты не то милостивого покровительства, не то даже какого-то «классового восторга» — вот-де мы какие мужички-простачки. Совершенными безумцами мне представляются и все прочие мои коллеги, особенно Б.Григорьев, предлагавший одну глупость за другой и вдруг обиженно выставивший собственную кандидатуру в делегаты. Был и Добужинский, приехавший вчера собственными усилиями, телеграмму же Луначарского так и не дождался (если ее вообще посылали). Он рассказал нам о том, что в Москве все художество забрал в руки «коллектив «Изограф» во главе с «рыжим Яковлевым». Грабарь, рассчитывавший затянуть передачу по описи на многие недели, таким образом остался в стаде. Ходят слухи, что с эрмитажными вещами в Кремле обстоит очень неблагополучно. А вот в «Знамени труда» какой-то В.М.Левин (уже не псевдоним ли Н.Макарова?) снова начинает хлопотать об эвакуации народных сокровищ в виду прихода вандалов-немцев! И дерзнуло же меня родиться и жить в такой идиотской стране!

Вечером были Стип и Шейхель. Я разглядывал и снабжал пометками приобретенный через Степана иллюстрированный каталог Семеновского собрания, а те двое в то время изводились в споре о моменте. Стип снова сорвался с цепи и люто ненавидел рабочих, прямо требуя предать этих лентяев и прохвостов виселице и расстрелу. Шейхель комично реагировал с восхищением: «Степан Петрович!» — и пространно заступался за рабочих, несших до сих пор такие тяжелые тяготы, в то же время пытаясь обосновать какую-то святость «революции». Акица одно время принимала тоже участие в споре, но потом удалилась, так как у нее все еще нарывает палец, что ее только раздражает. Огорчена она и за Лелю: та ей сегодня сообщила, что Борис грозно потребовал ее к себе в комнату и задал категорический вопрос: действительно ли все между ними кончено?

И когда она это подтвердила, то потребовал от нее ко вторнику письменное о том извещение. Это пахнет шантажом! Видимо, просто беспутному приятно сохранить хотя бы угрозу в виде своих поклонниц и содержанку. Надя — та сходит совсем с ума, но как будто без настоящего успеха.

Снова приходил Дементий (дворник), на сей раз перепуганный декретом о заселении буржуазных квартир. Мы как будто под эту категорию не подходим. С другой стороны, он берется нас оградить от постоя, так что запишет на нашу квартиру свою жену и жену швейцара! Беда в том, что по нашей

лестнице две квартиры пустые. Вдруг поселятся какие-нибудь разбойники! Самый декрет Володарского сильно отдает провокацией и положительно на сей раз не без немецкого подкупа (хотя, с другой стороны, и без всякого немецкого подкупа у русских людей достаточно на то глупости). Ведь в ужасе от такого сожительства петербуржцы готовы принять к себе не то что немца, но и зулуса!

Другой декрет с одновременным обложением как будто совсем нас минует, ибо мы (как будто) не подходим ни под одну из перечисленных категорий. Дворник, впрочем, утешает, что ко вторнику «их след простынет», но покамест они все же сделают, как велит данное начальство. Поистине кошмар! Кока читает книгу Эрнста о Рерихе и наслаждается (он достаточно умен, чтобы не возмущаться). Автор напропалую разошелся самой беспардонной лестью и безвкусицей, увенчанной красноречием. Нет, Эрнст очень услужливый парень, но я ему не верю ни на грош.

Воскресенье, 3 марта

Стоят дивные, не особенно холодные дни, и это еще единственное утешение. Зато политическая конъюнктура принимает все более гротескный характер. Именно трагического я ничего не усматриваю, нет, это не для Микеланджело, это для Домье и даже местами для карандаша. Ругон-Маккары ссорятся, возятся, взывают, тут же подписание мира, тут же хлопочут о партизанской войне. А Бертраны аплодируют, выносят резолюции, делают тоже вид, что «работают», но на самом деле лишь глазок их посматривает в лицо, и они только норовят, как бы вовремя стибрить и улепетнуть. Впрочем, и у Ругонов то же намерение выявляется. Недаром воскресла знаменитая российская формула: «За Урал!» (это они называют то любовью к родине, то любовью к революции), и недаром воскресли понукания к эвакуации. Господи, неужели, действительно, подлинно русские так изморены, что не сбросить одной судорогой хребта эту тень! Или этому подлинно русскому так и нужно, чтобы тыл дошел до своего предельного бесправия и чтобы тогда ее съел аккуратный, чистенький хирург-сосед!

Я не выходил, зато у меня были всякие люди. Утро ушло на длинные объяснения с архитектором Крамским, который, увидев, что большевики серьезно собираются его выставить, явился ко мне объясняться, отрекаясь от каких-то наветов, будто бы высказанных им в его докладе Обществу архитекторов по адресу

некоей комиссии (ничего подобного не слыхал, но, вероятно, на воре и шапка горит), и уверял, что он никогда не отказывался работать, а все ждал, что к нему обратятся. Я имел глупость из жалости к этому сыну знаменитости вначале поговорить с ним по душам и выяснить положение по существу. Но тогда он стал дерзить, стал обвинять комиссию в легкомыслии за то, что она вняла никому не известному Суханову, тогда как она должна была обратиться к нему. Тут я переменил тон и стал его (с соблюдением всех форм) отчитывать за его саботаж (он врет теперь, что не саботировал: в первый день он явился, а затем перестал являться, несмотря на то что мы и засылали к нему Ратиева, и справлялись о нем). На самом деле, вся беда в этой *органической неспособности понять*. Крамской принадлежит к тем людям, которые и во время самой чудовищной катастрофы будут ждать, чтобы все шло своим обычным порядком, он сам не побежит тушить пожар у соседа, хотя бы это угрожало его собственному жилищу, он будет считаться с иерархией. И эти же люди по миновании катаклизма щеголяют как герои, они-де не пошли на компромиссы и т. д.; раз, впрочем, он теперь изъявляет желание работать с нами, то милости просим, я первый буду просить Ятманова пересмотреть его дело. На самом деле мы никогда и не высказывались за его отставку, а лишь возмущались при Суханове его нежеланием принимать оградительные меры. Только К. утверждает, что нежелания не было, а была физическая невозможность. Очень может быть. Но тогда приди и скажи об этом! Ятманов же официально мотивировал необходимость отставки Крамского, ссылаясь на его якобы требование. Тем более лучше с этим делом покончить именно таким способом, что уже Крамской успел «забраться с кухонного крыльца» (вероятно, привычное дело) и заручиться сочувствием всемогущих низших служащих.

Днем пришел В.П.Белкин — еще в кавалерийской форме. Он собрался ехать из Ярославля, куда перевели его полк, к старому местопребыванию своей части, в Двинск, для каких-то последних фортификаций (командир полка, видимо, предчувствовал, чем пахнет ближайшее время, и постепенно в продолжении декабря произвел эти передвижения под предлогом необходимого отдыха). Действительно, среди солдат очень многие еще в строю с первых дней войны. Вспомнил по этому поводу то, что конфиденциально мне рассказал Браз про своего тестя. Оказывается, он отлично знает, что двинская позиция совершенно оголена, но в этом месте возможен взрыв…

И вот теперь он (Белкин) теперь застрял здесь и ищет применения, просится в нашу комиссию, которой он, человек

даровитый и энергичный, много за последнее время общавшийся с народом, может оказать пользу. И он, бывший патриот, жаждет прихода немцев и полон презрения к русским, к России: «Мне приходится теперь защищать их только потому, что я не сдвинулся со своей точки опоры, а они мечутся из одной крайности в другую». Особенно много ему дал в этом отношении внезапный большевизм солдат, дошедших в своих подозрениях до того, что и ему угрожала смертельная опасность, и он поведал то, что видел в деревнях на позициях. У ближайшего помещика, довольно богатого человека, крестьяне отняли решительно все его запасы, весь племенной скот, запретили прислуге ему служить, так что он сам колол дрова. Заставили дать подписку, что дочь его будет сама доить предоставленную им корову и т. д. — все под угрозой немедленной казни. А вот сейчас ему пишет оттуда его приятель, корнет, влюбленный в барышню, его лошадь стоит в соседнем с коровой стойле (вот сюжет для идиллического романа), что приближение немцев произвело полную метаморфозу во взаимоотношениях: крестьяне уже заискивают, провиант везут обратно, постепенно возвращают скот и всячески угодничают.

Он же мне сообщил, будто в Феодосии творится нечто чудовищное. Туда прибыло тысяч двадцать солдат с Кавказского фронта, и они как саранча съели все, что было в городе. С собой они навезли сластей, лакомства и даже жен, которых они тут же и содержат возле своих мешков и продают (вот еще современный пандант к «Бахчисарайскому фонтану» наизнанку). У г-жи Манякиной уже отобрали ее маленькое имение. Волошин каким-то чудом держится. Теперь я понимаю, что означает сопоставление телеграмм о взятии турками Трапезунда и о том, что в Севастополе паника. Очевидно, теперь тоже ожидается такая волна эвакуированных старых, сирых героев, которых, должно быть, уже переправят по морю.

Позже зашел Володя Зеленков (до чего обуяла черствость: он, несомненно, пришел пообедать, но я, зная, что у нас все в обрез, не оставил его, хотя стол уже был накрыт). У него аналогичные с Белкиным сведения из Нескучного. Добрая, сдержанная Катя (племянница) — и та не выдержала, ругает в письме крестьян «хамскими рожами» (все это расплата за идиотскую невнимательность, за пребывание в иллюзиях). Им, несмотря на разрешение местного комитета, крестьяне все же запрещают рубить их же собственный лес и даже кусты в садике. При этом холод в доме, в хуторе такой, что всем детям (один при смерти) приходится ютиться в одной комнате, которую они при помощи двух преданных слуг с трудом отапливают хворостом. На днях

была комиссия, которая составила опись всего их имущества (личные вещи, впрочем, оставили в покое). Издали, со стороны Харькова, слышится канонада. В чем дело, не знает (письмо от 20–21 февраля — самое удивительное, что вообще письма доходят!).

К чаю пришли Стип, Эрнст (он уже завтракает у нас) и Чехонин. Последний, видимо, кем-то пришиблен. Особенно его смущает готовящаяся конфискация антикварных магазинов, за которую стоит Карев. Дальше предвидится конфискация вообще художественной старины. С этой целью Чехонин уже собирается заклеить картины своего собрания (у него имеются неплохие вещи — одного хорошего испанца я видел) олеографией. Кустарная реформа так и застревает. Но его непосредственный принципал Потузов — человек, по его мнению, практичный — вовсе не намерен отдавать кустарное дело Луначарскому, который имеет свойственное всем дилетантам тяготение все объединять и якобы систематизировать (под знаком искусственного воспитания на идее коллектива анархии). Я вообще не придаю никакого значения всем этим рассуждениям и проектам, ибо одно из двух, что нынешнее все равно под влиянием каких-то внешних причин, скорее всего, под действием немецкой оккупации, полетит в ближайшие дни к черту и начнет возрождаться вновь под знаком самого простого житейского здравого смысла. Или же не полетит сейчас, и тогда просто все, или, по крайней мере, все наше, все, из-за чего нам стоило жить, постепенно и позорно погибнет.

Непрестанно с ужасом думаю я об Эрмитаже в Кремле. Так и впору это замок Кощея, в котором спрятана дивная красавица-принцесса (именно принцесса, а не царевна).

Трижды будь проклят Макаров (Павел Михайлович — бывший комиссар Временного правительства) в самом распроклятом смысле этот гражданин, инженер, дилетант, революционер, просто русский интеллигент, «англоман», не имеющий и приблизительного представления об Англии; суетливый, но презирающий чиновничество администратор, и подписчик «Старых годов», и посетитель Александровского рынка, млеющий приятель болтунов, брызжущий хамством, хам до мозга костей, прочно амбюстированный волк до конца и т. д.

Понедельник, 4 марта

Сияющее, ликующее солнце, а на улицах хвосты бледных и злых людей у Александровского рынка (я выходил утром с

Акицей к доктору Кронбергу. У Акицы все еще не проходит палец, и отек даже распространяется). Эти хвосты достигают густых толп, из которых доносятся раздраженные крики баб, снова проезжают автомобили с винтовками, бродят ободранные, бледные военнопленные, которым расклеены в виде бумажки приказы, повелевающие в сорок восемь часов регистрироваться под угрозой предания военному суду. Единственная газета — «Наши дни» — содержит лишь старые сведения и рассуждения. Уловил отрывок диалога: «Говорят, женщинам с детьми легче выбраться?» Очевидно, это «революционный красный Петроград» собирается повторить и эту глупость «царизма» — «широкую организацию беженства», иначе говоря, создание новых кадров совершенно ненужных людей.

Старший дворник, недавно еще уськавший наших прислуг на господ, и наш новый швейцар, которого в доме считают за большевика, оба теперь ждут не дождутся «немца» и открыто об этом говорят. Почему-то у обоих такая уверенность, что это восшествие должно совершиться завтра. Швейцар об этом узнал на каком-то своем собрании (бывших морских гвардейцев), на котором говорили, что нечего поддерживать обманщиков, а немец-де порядок наведет. Бедная Катя — вдова прежнего старшего, которая умоляла Акицу поселиться у нее (ее мужа, сошедшего с ума от всего виденного на войне, где он состоял в обозе, буквально убили побоями в военном госпитале для умалишенных; кажется, это даже вошло в систему, ибо вымирают несчастные больные в чудовищном количестве). Катя стала при дворнике ахать и стонать: «Что-то будет, если немец придет!» А он только на нее раскричался: «Что ты, придет немец, и хорошо будет (ох, уж больно многого ждут от немца!), от наших же ничего не дождешься!» Он же в негодовании на новые «полицейские» порядки: «Куда хуже стало; бывало, знай свое дело, записывай и выписывай жильцов, придет околоточный, посмотрит, сделано ли, и в участок без лишней нужды не потащит, а теперь, не приведи господи, просто застрелят, поминутно бьют, толку не добьешься, и все арестом грозят за всякие пустяки, а вот за мной никто не следит». Пролетариев, он ручается, что не впустят к нам: «Я им такого покажу, что они поостерегутся».

Никакого впечатления как будто не производят покамест те бомбы с аэропланов не только на нас (сегодня днем, около четырех, раздались гудки для острастки, но я даже и на небо не взглянул), но и на прислугу, несмотря на то что власти стараются использовать этот козырь для своих интересов. Распространено даже мнение, что бомбы бросали русские специально для того,

чтобы поднять народную ярость, а что немец бросал лишь прокламации. Как-то раз Мотя видела на Среднем проспекте низко летевший немецкий аэроплан, сбрасывавший прокламации, в которых говорилось, чтобы жители не опасались, что зла никому не будет сделано, что расправа ожидает только советских заправил и Красную гвардию и что-де ждите нас через десять дней. Красногвардеец опешил, только следил разинув рот за летуном. Близ же стоявший солдат взял у него винтовку и выстрелил, разумеется, зря.

Днем пришел после долгого времени Аргутон — понурый, серый, мрачный. Тоже только и мечтает о приходе немцев. Просидел у нас до обеда часа два, пообедал и еще после обеда сидел часа полтора. Утомил меня безмерно. На сей раз о «шибанерах» не говорил!

Вторник, 5 марта

Все мучаюсь тем, что не могу прервать свое молчание. Вижу и чувствую, что накопляются благодаря этому недоразумения, еще более чувствую долг высказаться. Сейчас нельзя молчать. Но что я скажу и как, этого не знаю, ибо что ни скажу, в наши дни будет понято вкривь, а снабжать каждое слово комментарием я просто не в силах, не в настроении.

Впрочем, основное, пожалуй, препятствие в том, что я сам *не понимаю до конца* того, чему являюсь свидетелем. *Никто* на всем свете этого до конца не понимает. «Свыше наших сил». Но сотни очень умных и ученых людей счастливее меня просто потому, что их кругозор, то есть горизонт — ближе, их заботы требуют решений легче. Мне же, по моему кругозору, потребовался бы «гениальный ум», ну, скажем, ум Гёте, а это мне и не дано Богом. Я ведь весь такой с очень большими возможностями и с очень большими проблемами и как «знаток» музыки, и «специалист» по истории искусства, и как творец-художник. Во всем у меня проявляется совершенно исключительное (признаю это без ложной скромности) наитие и угадывание. И при этом совершенно непозволительные проблемы в смысле «научной дисциплины». В былое время я был очень горд своим талантом, позже я очень скорбел над своими недостатками, но я к талантам получил совершенно объективное отношение, дальнейшее исправление недостатков поручаю влиянию времени, мое состояние вместе взятое при нынешних чрезвычайных обстоятельствах лишает меня нужной уверенности, смущает, удерживает от выступлений. Люди даже когда-то близкие, более

или менее знающие меня, воображают, что я чего-то испугался, что я «не так, как следует, повел свою физическую тактику», что, словом, я сел между двух стульев. На самом же деле я и раньше ни на один из сотен меня соблазнявших и манивших стульев не усаживался, да и теперь все только поглядываю на этот огромный «зал заседаний», не имея права сделать выбор. А не чувствую я этого права в деятельности оттого, что до конца *не понимаю*, для чего эти стулья. Каждый из них и все вместе — какого рода спектакль перед ними разворачивается? Разумеется, злорадствующие люди, великолепно возненавидевшие меня, мое молчание, подхватят и это мое признание. Но я ведь сознаюсь в том только, что есть грех всего нашего времени, и грех в высшей степени раздут и моими обличителями, и недоумевающими!

Ох, как трудно говорить правду. И оттого более отрадно ее говорить, что почти никогда не удается распознать до конца. Легкость тех, кто весело мнит, что им принадлежит право даже распознавать правду во всем, действует на меня устрашающе. Шарлатанизм и риторика мне отвратительны. Заблуждение и противоречие третьих — слишком очевидны. Но вот я это все отвергаю, а то я хочу, что я знаю, что истинно нужно, что доподлинно — вот это ускользает из-под формулировки. Не удается никак продумать свою мысль до конца и так, чтобы она оставалась до конца *моей*, без примеси чужого, иначе говоря, без лжи. Это чужое, несмотря на все предосторожности, где-то коварно начинает просачиваться, оно является среди зреющего и слагающего как уже чувство *готовое*, сложенное, замкнутое и, являясь, втираясь в мое, оно искажает его, сообщает моим мыслям то относительное фразерство, то качество избитого трупа.

Тут еще и незнание. Ведь для того чтобы говорить о том, что мучает мысль, чтобы перекинуть мост от своей мысли к общественной (иначе для чего говорить!), следовало бы, по крайней мере, в совершенстве знать азбуку, нотную систему, совершенное знание и сознание.

А я, как и многие из тех, кто успешно делает вид, что знает, на самом деле усвоил лишь эту азбуку очень плохо, а ряд самых основных трудов знаю только понаслышке и по заголовкам, и большинство формул, руководящих общественным умом, помню приблизительно. Мне даже с людьми самыми близкими мучительно было сознаться, до чего плохо я разбираюсь в вещах, о которых все всё время говорят (и все очень плохо в них разбираются), про целый ряд понятий я только чувствую, что они относительно ближе к моему принятому вкусу, нежели другие, но в чем именно дело, мне лень даже справиться в словаре.

В то же время я не могу не видеть, что отвращение во мне от науки, от книжки имеет свой смысл, что так нужно, что иначе я не был бы тем, что я есть, и чем мне согласно императиву «будь собой» надлежит быть. Но только взамен «науки извне» мне бы надо было выработать *собственную науку о себе*, о своем воображаемом мире, знать хотя бы себя до конца. А это труднее всего, это прямо пугает непостижимостью задачи. Вот лежит мысль, вся свежая, убедительная, наполненная, я ее охватываю еще до ее формулировки. Это вполне моя мысль; лежит она тут под боком, в лаборатории, как в кладовой моей, но нет у меня достаточно гибких и тонких щупальцев или пинцетов, чтобы схватить и поставить пред свое сознание. Нет и того терпения или той свободы от суеты, чтобы выждать, пока она сама встанет. Пока идет этот процесс выявления, другие мысли (свои и чужие) успевают поделить и затуманить первую. Особенно же это сказывается в разговоре. Всегда говоришь не совсем то, что думаешь, не совсем то, что хочешь сказать, и это (это особенно мучительно) нудит сказать. И рассыпается каждая мысль на тысячи осколков, которые тут же растаскиваешь и теряешь, часто думаешь, что держишь ее пылающий факел, а вместо него уже погасшая головешка!

Безумным представляется, в частности, настоящее намерение выразить свое нынешнее состояние, свое отношение ко всему, что происходит. И все же, я знаю, что это мой долг. Долг перед собой и другими. Перед собой я обязан во что бы то ни стало ясно и определенно поставить какие-то вехи, выяснить основные контуры, ибо я просто органически ненавижу неясность, мутность, статичность перед друзьями, и я это должен, потому что у меня есть аудитория. Тем, что я молчу, неверно истолковывают этот момент. Мне надо поговорить с этой аудиторией о себе. Но да ляжет это намерение направляющим условием в основу нашей беседы, да будут слова и мысли мной использованы иначе, нежели так, как они того заслуживают. Я не буду развивать системы, а буду говорить о себе. Эту манеру, видимо, можно назвать научным термином, который, однако, ничего не объясняет и от которого ничего по существу не изменится.

Вот только после молчания очень трудно начать. А *начать* как-нибудь нужно, хотя бы для того, чтобы нарушить заклятье магического круга. К тому же при всей моей органической ненависти к общественности, к стоглавой гидре прославляемого ныне коллектива, я еще более боюсь полного одиночества. В очень странных колебаниях проходят мои дни за днями. Мне невозможно и совершенно уйти в скорлупу, замкнуться,

отмежеваться, но мне не можется на людях, я болезненно ощущаю все, что между мной и ими враждебного, непримиримого. Церковник знал бы, как назвать это состояние. Он бы усмехнулся злорадно и сказал бы «поделом — это заслуженное мучение отпавшего». Однако можно ли говорить о «заслуженное™», когда самое отпадение произошло из невозможности перед собой иметь ложь. Не отпасть я не мог. Не мог я оставаться в одной из существующих церквей. Остается только невидимый собор верующих, в каковой я верю безусловно (без этой веры и жить нельзя было бы). Но для того чтобы приобщиться к этой из века истинной церкви, следует преодолеть многие соблазны суеты, нужны подвиги, нужно самопожертвование, нужны действия, между тем как я ленив, немощен и развращен, если ничем другим, то негой искусства и уютом очага.

Иначе мне, во всяком случае, не начать. Как не высказаться по тому вопросу, который продолжает меня больше всего волновать, о котором я напряженнее всего думаю и возбуждение которого в беседе меня острее и больше всего задевает. Этот вопрос: война!

Воскресенье, 10 марта

Только что (в 11 часов вечера) ушел от меня гном-Чехонин, и я нахожусь под сильным впечатлением этого визита. Что за кошмарное и типично русское порождение — смесь провокатора со шпионом, с предателем, и вообще выходец из вонючего подполья! Пришел он, разумеется, из-за поднятой Петровым-Водкиным против него бучи и в ожидании экстренного собрания «Мира искусства», грозящего для него стать «товарищеским судом». Речь он повел издалека и сначала «исполнил поручение» коллегии Штеренберга, отправившего его ко мне с приглашением вступить в их синклит. Я, разумеется, наотрез отказался, и вот тогда он выражал полтора часа изумительную околесицу, объясняя, что, в сущности, он только и ждет случая, чтобы уйти с «этого вулкана», что он последует своему желанию (тоже опасается, а как вдруг не откажется, ведь он, если и второй приглашенный, К. Романов, откажется, в качестве директора Штиглица заинтересован оставаться в хороших отношениях с большевиками), заверяя снова, что он вошел туда только с тем, чтобы охранять интересы товарищей и т. д. Все это вздор, не стоящий выделения, но как бытовая иллюстрация, такой разговор — отменное откровение. К сожалению только, потребовалась бы память и искусство Достоевского, чтобы изложить все его ходы.

Виляние этой мокрицы закоулками, все его шитое толстенными нитками лукавство выясняет следующее. Из желания подлизаться («Вы, разумеется, поверите, что я это не сделал для того, чтобы подлизаться!») и в связи с надеждой урвать больший куш, нежели те 700 рублей, которые ему должна была заплатить Академия за приготовленный (отвратительный) рисунок («Вы понимаете, что мной не руководила какая-либо корыстная цель»), он, как только был назначен Карев, поставил предложить комитету «ввиду изменившихся взаимоотношений комиссариата и Академии» пересмотреть дело покупки одной только его вещи, но каким-то образом вышло так, что этим случаем воспользовался Карев для пересмотра вообще, а когда я попросил выяснить, чтобы понять, как это случилось, то он начал нести путаницу о том, что курс большевиков вообще не может мириться с «непроизводственной» тратой народных денег (это они-то, печатающие в день 150 миллионов «народных керенок»), и о том, что его коллеги — те люди, которых он нарочно «вызвал» («провоцировал») для того, чтобы «довести их до абсурда» и тем самым заставить их уйти, и о том, что он прямо в «силу своих убеждений» (Карев оказался партийным социал-демократом, а его жена — старинной «партийной» работницей; не пойму, как же эсер и ненавистник большевиков Макаров души в нем не чает?) должен прибегать к актам чрезвычайным. Между прочим, они уже имеют сведения о продолжении работ в Исаакиевском соборе — это все те же раз в неделю собирающиеся семь неврастеников! И о том, что он в заботах о товарищах уже провел остроумный план подведения Коллегии художеств под понятие труд и он рассчитывает спасти их от реквизиции.

Вообще я слушал все спокойно и даже наслаждаясь, несмотря на эту смердяковщину, но за коллекционеров я все же заступился и пригрозил (в случае, если бы их обидели), что затем они в Зимний дворец придут, чтобы темя-шить по пустым башкам самодовольных вершителей!

На десерт было предложено составленное им уже от имени «Мира искусства» предложение Кареву покинуть на все время его комиссариатства наше общество, дабы это членство не стесняло его в его мировосприятии, и, кроме того, он охарактеризовал Матвеева, которого я считаю за безобидную божью коровку, самым озлобленным из этой группы художественных Маратов, вдобавок склонных к самым хамоватым мыслям в отношении товарищей, так он, главным образом, хлопочет об аннулировании покупок, а затем предложил *заплатить* за картины, «чтобы отвязаться, а самих картин не брать, но взять рамы или ярлыки». Наконец, был еще пущен род угрозы-обвинения: «Вас, Александр

Николаевич, могут за отказ принять участие в комиссии обвинить в саботаже, а теперь представилась удача, если-де вы откреститесь, то тем самым вы окончательно отречетесь от (столь важных дел, заварившихся по нынешним тяжелым временам!) покупки на аннулирование». Мне бы следовало просто, после первых же его речей, оборвать этого холуя и прогнать его, но я этого не сделал, сознавая всю бесполезность и некоторую даже опасность поступка в настоящую минуту. Напротив, я подобное выслушал со вниманием (но только без всякого выражения участия).

Сколопендра, поджаренная на медленном огне, кусала себя за хвост и с досады извергала струи злобы и на коллег, и даже на всю Россию. Он открыл, что она — «великая страна злобы и ненависти!».

Какая пытка во время большевизма быть закупоренными в одной банке с такими людьми, до войны я весь сезон утешат себя тем, что к весне выберусь из нашего подполья в милую Европу, в милую страну приличных людей!

И еще раз скажу: о, Федор Михайлович, как вы были правы! В сущности, быть может, не стоит все подобное записывать, ибо именно вся эта свистопляска гениально запечатлена им раз и навсегда со всеми ее национальными особенностями. В сущности, даже достаточно просто ограничиться ссылкой на него.

При этом изумительнее всего, как после важных вещих слов и разоблачений вы все же попались в когти «бесов»! Правда, с другой стороны, что вы сами принадлежите к их стае… Все чаше меня берет сомнение: не есть ли ваша проповедь Христа — лишь гениальная подделка и гениальный обман? Лежит же на вас огромная доля ответственности и за тот ужас, в который Россия, потянувшаяся вся за вашим Царьградом, ныне свергнута. Вы нас предостерегали от «бесов» и описали нам их жуткую, смутную, склизкую, вкрадчивую природу. Но почему же вы сами от Зосимы, от таких отпетых, переходили к Фёдору Павловичу? Не потому ли, что вы лично были одинаково близки как к первому, так и ко второму? Быть может даже так: первым всем хотелось быть, а вторым вы были. И опять, кто в этом виноват, как не родившая вас мать, как не та же Россия, «Святая Русь».

(Следующий абзац зачеркнут, но он любопытен тем, как Бенуа оригинально завершил прозорливую мысль Достоевского: попросту на этот раз осудил!][10]

Нет, вы не гениальный подлинный проповедник Христа, а вы говорите об утраченном вами знакомом образе матери-родины, думающей над вопросом ее же родных детей, которые мать поносят и дают ей самые позорные прозвища, а между тем кто как

не они должны осознавать то, что нам дороже всего на свете и начать с первого, с вас, единственного не соединенного с вами подлинного ее «беса», но подлинно знавшего Бога. Нет, вы не «гениальный» подлинный проповедник Христа, а вы говорите об утраченном рае, вам знакомом, вас вмещающем…

Утром получил письмо от Н.Ф.Обер с просьбой устроить свидание. Я понимаю, в чем дело. Она, вероятно, не на шутку взволнована за участь миниатюры бабушки ее Л.Л., которую я взял у нее и передал Аргутинскому, взявшемуся под свежим впечатлением смерти Обера продать ее за 1500–2000 рублей Фаберже. Но с той поры прошло два месяца или три. Молю я Эрнста, Атя ему напоминает об этой миниатюре. Фаберже ее не берет и нам не возвращает, и вообще в ус не дует. Прошлый раз я вздумал предложить, чтобы Н.Ф. отправилась сама за ней к Фаберже или написала ему письмо. Я чувствую накопившуюся против него злобу, и, возможно, придется разразиться новым письмом, содержащим знаменитое гневное послание. Впрочем, Яремич хочет еще испробовать путь через Тройницкого, личного и интимного приятеля А.К.Фаберже.

Другое письмо я, пожалуй, напишу Добычиной, она полтора месяца назад должна была получить 4000 рублей по чеку, уже подписанному Луначарским, и, однако, до сих пор дала мне только 1500 рублей (и 500 р. в виде моей же «Лунной мистерии», которою я поручил ей выкупить у Смирнова), остальные же не дает под разными предлогами. Сегодня Акица отправила ей письмо. Акварель Добычина отдала, но деньги обещает доставить только к четвергу. Спрашивается, кого она на них до сих пор содержала? Что это вообще за шахер-махер?

Если верить Фурману, которого я нарочно заставил остаться завтракать, чтобы узнать от него хоть что-либо о положении дела (у него должны быть немецкие связи), о частичной оккупации в «скрытых» от нас пунктах Брестского договора нет, но есть требование выезда всего правительства, персонала и аппарата из Петербурга, после чего здесь будет водружена прежняя городская дума и милиция. Если же у последней не хватит сил для охраны порядка, то будут введены на помощь отряды германских войск, имеющие сразу после въезда право занять Тосно, Лугу и Гатчину. Все это представляется довольно вероятным (о возможном наступлении); большевистской Думе необходимо передать полномочия по самоуправлению старым бригадам. Остается только ждать немцев, чтобы они поспели вовремя, иначе все развалится.

Кроме того, Фурман (врач) очень увлекательно рассказывал нам про свои впечатления от пейзажей Сибири, Владивостока,

Аральского озера, Ангары и о тамошних нравах. Кокой он остался доволен: сильное повышение температуры последних дней означало конец воспалительного процесса.

Я ему подарил свой новый вариант «Коттеджа» и «Пирамиды в Версале», и он наслаждался все время воображением, что слышит запах леса и плеск фонтанов.

Разговор о немцах, о вольном городе, о ликвидации большевиков и социалистов вообще теперь все время ведется у Горького, который сам считается больным (будто руки болят). Напугала М.Ф. меня больше всего тем, что в Гавани лежит не знаю сколько тысяч пудов какого-то взрывчатого вещества, от которого может погибнуть весь город. И ведь станет от всяких головорезов такая выходка! Или не станет? Все фразы — пыжики, «театр для себя». Авось не хватит куражу, ведь все же для них первых опасно. Мария Федоровна, разумеется, винит нашу комиссию за бездеятельность по охране дворца Н.М., однако сама не смогла мне дать настоящую характеристику Коларова, оказавшегося сыном человека, пользующегося ее большим доверием. Кроме того, было снова много говорено на темы антикварные и коллекционирования!

Под самый конец приехала Вырубова (с каким-то господином), рыхлая, в костюме и в шали, слишком толстая, розовая, «сытая». Вижу как будто ее в первый раз и просто не понимаю, чем она могла брать Высочайших. Разве тем, что она совсем по-кухонному простая, что у нее нет ни малейшего снобического сюсюканья. И тон у нее какой-то «мамушкин», то приторно-ласковый, то растерянно-озабоченный. Она приехала, чтобы узнать, «что теперь будет?». Ее особенно встревожили всякие взрывы и выстрелы, которые она слышала всю прошлую ночь (живет она где-то у Таврического), да и только что, едучи по Невскому, она слышала очень частую стрельбу.

Вечером до Чехонина были Стип и Эрнст. Выходит какая-то «боткинская» история с тремя рисунками Бларамберга и одного Моро, изображающие какие-то празднества, которые за 1500 рублей оставил за собой Аргутинский и которые купил датчанин за 3000 рублей. Аргутинский почему-то в этом винит Эрнста: он-де слишком расхваливал эти рисунки. Эрнст даже поехал объясняться с Аргутинским. Вообще же мне эта история кажется очень подозрительной, я не буду удивляться, если эти вещи окажутся у Яремича. По крайней мере, он слишком ругает Аргутинского за то, что тот сразу не взял рисунки у Шилова. И вообще вид у Стипа «страстно-стремительный».

Понедельник, 11 марта

Я был прав. Яремич здесь при чем, но иначе, нежели я предполагал (если только теперь я ясно понимаю). Сегодня чуть свет он приходит ко мне и сообщает, будто Платер ему телефонировал минувшей ночью, что Бларанбер (ночью в три часа) куплен им, что два рисунка он оставляет за собой, а третий продает. Стип рекомендует поскорее оставить этот дивный, замечательный рисунок за собой — за 1000 рублей. Минуту я боролся между чувствами дружественного долга перед Аргутинским и соблазном получить в свое владение прекрасную вещь, но в конце концов соблазн берет верх (тем более что Аргутинский, без сомнения, поступил так же, а, может быть, и хуже), и я отправился со Стипом к 9 часам к Платеру. Но, увы, здесь меня ожидало двойное огорчение (вполне заслуживающее моей вспышки коллекционной суетности): действительно первоклассного луврского достоинства оказываются оба листа Платера, пленительная Dans sons les arblees Моро и «Ночной бал» в специальном, роскошно декорированном здании Бларанбера, но они бросили «голодать» мое открытие! А памятник Людовику XV, хотя и содержит много милых деталей (в толпе зрителей на первом плане), но, к сожалению, по общему эффекту вещь скучная, с очень сухой архитектурой, с не-прорисованной вовсе статуей самого памятника и вдобавок сильно пострадавшая. Окончательную горечь мне доставило то, что при этом появилась какая-то двойная или тройная игра Яремича. Оказывается, *он* знал про эти рисунки раньше других и тогда он мне их *не* рекомендовал; у меня возникло подозрение, что он и устроил всю эту махинацию с Платером (вопрос с подосланием к Шилову Бубки, который и перепродал их Платеру), когда Аргутинский их так опрометчиво «оставил за собой». Думается мне при этом, что Стип тоже поживился, и не у кого иного, как у него, четвертый и, вероятно, лучший из рисунков, ибо ни тот ни другой не могут дать точного ответа, куда он вообще девался? Разумеется, коллекционная этика допускает и не такие еще indilicetenres, и всякий сознает, что мне следовало бы благодарить этих аферистов за то, что они мне хоть «кость бросили». Но горечь остается, и я ее даже не смогу выразить. Рисунок Бларанбера я оставил за собой (но решено скрыть это на первых порах от Аргутинского), с тем, однако, что если четвертый рисунок отыщется и он окажется лучше, то я получаю его вместо «моего». Авось еще Стип «пожалеет старого», того, кто его и всех прочих внушал любить и собирать эти вещи. Оказывается, рисунки эти идут от старого Гейслера, который их продал Шилову за 90 рублей — все четыре!

Вообще день сегодня оказался тяжелым и гадким.

Огорчает нас и Леля. Видимо, она переживает очень тяжелый для себя кризис. Это особенно выражается в ее беспокойном сне (среди ночи она даже ни с того ни с сего открыла форточку), но и вообще она вся дерганая, нервная больше, чем когда-либо, сама же говорит, что Борис, с которым она будто бы больше ничего не желает иметь общего, «терроризирует» ее (форменный Распутин), и, несмотря на наше убеждение, своими поддакиваниями (о, как я ненавижу в ней именно эту последнюю неуловимую трусливую черту) вечно прячется и хитрит, вместо того чтобы честно и мужественно относиться к себе и другим! Он по-прежнему бегает в школу и все больше бередит свою рану. А тут еще Атя приходит с известием, что Надя совершенно разочаровалась в Борисе и, следовательно, отступилась от него. Я убежден, что это в Лелю вселило новую надежду возобновить свой роман… Несмотря на старания увлечь Сазонова и отношение Саши Яши, ей удалось увлечься Борисом. Или Сазонов оказался недостаточно активным, чтобы схватить то, что ему предлагалось, или она сама разочаровалась; может, не может простить девичий вздор… Мне ее безгранично жаль, у Кулечки сердце разрывается. Разве можно человека свести с той дороги, которая ему намечена, вложена в него судьбой (иначе говоря, характером!)?

Уже все сегодня в Зимнем дворце разошлись и оставались только я, Вейнер, Перуханов, Ятманов, и шло у нас довольно спокойное обсуждение текущего дня, кто бы из нас мог присоединиться к комиссии, отправиться завтра изучать состояние работы в Исаакиевском соборе и послать делегацию в Ораниенбаум, как вдруг Ятманов неожиданно свел весь разговор на ход работ по приему полковых музеев, стал негодовать, что нам ничего не дают, обвинил комиссию в нападении, в «сидении по залам». (Комендатура Ораниенбаума, считающая дворец и все его содержание своей неотъемлемой собственностью, запросила, однако, у нашей комиссии право на имущество, как ей поступить с эвакуацией вещей, принадлежащих предприятию. Мы туда посылаем Эрнста — Ерыкалова, которым вменяется обязанность убедить товарищей оставить вещи на месте.) Первый раз Ятманову это сошло, хотя я уже стал замечать, что Вейнер очень сдержанно ему пояснил, какие трудности встречают члены комиссии при этой работе вследствие общей бестолочи; к сожалению, Шкловского, взявшегося дня четыре тому назад на себя всю эту честь, уже в это время не было, но сейчас для меня не исключена возможность, что нападение Ятманова было произведено в сговоре с ним. Черт их знает, что они там в кулисах делают со Шкловским. У Ятманова промелькнула фраза о

каких-то ящиках с полковым серебром, о котором мы до сих пор не слышали. Но я не унялся и даже усилил тон своей муштровки, и когда он, впрочем, произнес обвинение в том, что довольно сидеть членам комиссии по залам, и прибавил еще, что «если члены комиссии этого не хотят делать, то пусть слагают с себя ответственность», я вскочил и произнес: «И отлично, я с себя и слагаю, прощайте. Мне это, наконец, надоело!» Швырнул дверью и был таков. Но тут меня догнал Перуханов, который сообщил, что за сим последовало. Вейнер набросился на Ятманова: «Вот видите, что вы наделали, теперь Александр Николаевич рассердился!» И еще что-то в этом роде, воображаю волнение чувств бедного Пути, на что Ятманов ответил: «Мне это тоже надоело!»

Теперь я хочу написать письмо Верещагину с отказом от дальнейшей работы, но, впрочем, если вся комиссия станет настаивать на моем возвращении, то я сдамся и создавшийся инцидент тогда послужит общей пользе. А то *так* продолжать все равно невозможно. Я власть брать не желаю, ибо она скомпрометирована (да и вообще я к ней не приучен)… Верещагин в силу своей чиновничьей повадки и страха перед всяким начальством тоже не на высоте положения. Представитель же власти Ятманов — человек слишком отличный от нашей культуры, смешивающий «революционность» с «фельдфебелевщиной». Вообще же настроение тупое, гадкое и как будто близкое к полному отчаянию. Немцы остановлены, Совет (правительство) поехал в Москву, но, увы, здесь остались не только Луначарский, с которым все же можно говорить на человеческом языке, но и все страшилы: Троцкий (что за комедия с его отставкой?), Урицкий, Зиновьев, Менжинский, они образовывают уже официальную «Петроградскую коммуну», однако это никого не трогает, ибо никто не хочет верить, что это надолго. Ходят, впрочем, слухи, что взят Гельсингфорс, и, несмотря на путаницу в газетах, мне кажется, что Одесса накануне оккупации. О далеком Востоке — пустые догадки.

Инцидент с Зубовым тоже кончился очень печально. Оказывается, его действительно арестовали за принадлежность к заговору Михаила Александровича, с которым он вообще виделся всего один раз в жизни. Свою фразу об эвакуации он действительно произнес, но не перед всем собранием, а среди некоторых только его членов, которые и донесли на него. В Смольный он был доставлен вместе с великим князем, и здесь они были подвергнуты крайне грубому и злобному допросу Урицкого, заявившему Зубову, что он всегда был невысокого мнения о Романовых, и затем издевался над тем, что тот по-

прежнему поддерживает великого князя Михаила Александровича. Но в присутствии прибывших народных комиссаров тон его изменился, сами же комиссары обращались с арестованными очень любезно. Луначарский даже взял на себя часть вины Зубова, заявив, что то есть официальная точка зрения комиссариата на эвакуацию. Тем не менее, М.А. отправился в Пермь, а Зубов выслан за пределы Петроградской губернии. Причем Луначарский опять для его иммунитета сочинил ему какое-то поручение в Москве и снабдил его мандатом. Сам Зубов был днем до моего прихода в комиссии и все это рассказал, видимо захлебываясь от наслаждения.

Вторник, 12 марта

Письмо Верещагину В.А.

«Глубокоуважаемый Василий Андреевич! Я очень желал бы продолжать служить общему делу, но, увы, это становится невозможным. Вчерашний инцидент с г-ном Ятмановым лишний раз убедил меня в том, что мы люди слишком разной культуры, что мы не можем спеться, а следовательно и работать в гармонии, необходимой для порядка. Подробности инцидента Вам передадут П.П.Вейнер, Л.А.Перуханов, мне же остается только пожалеть о том, что наше сотрудничество из-за создавшейся обстановки ныне должно прекратиться. Прошу Вас, многоуважаемый Василий Андреевич, больше не считать меня «представителем комиссии Зимнего дворца», но будьте при том уверены, что при всяком отдельном случае готов я возобновить службу в комиссии своими знаниями и опытом.

Примите уверение в моей глубокой и совершенной преданности, Александр Бенуа».

Это письмо, уже запечатанное, не пришлось послать, ибо в ту самую минуту, как я со Стипом собирался выйти и занести его в Зимний дворец перед заседанием «Мира искусства», явилась отряженная специально Ятмановым В.А.Гайкович, которая объяснила неприезд лично самого Ятманова тем, что им два часа не давали лошадей, и таким образом он слишком запоздал на свидание комиссии о пересмотре работ в Зимнем дворце. Она за него представила мне все извинения и, кроме того, обещала, что Ятманов сам еще заедет вечером. Потешное это существо: черненькая, уже не первой свежести, быстроглазая, вечно одетая в плюшевое пальто и вечно буржуазная, все спешащая куда-то, вся исполненная доказать свою преданность делу. Она «старая

эсерка», но, по ее же словам, давно уже заслуживает обвинения в контрреволюционности и буржуазности. По-видимому, она в восторге, что наконец попала в чистую благовоспитанную комиссию с громким именем, катается в придворных санях и вообще изображает из себя нечто вроде министра-квартирмейстера. Она считает инцидент с Бобринским окончательно ликвидированным. Подвойский и Еремеев написали красноармейцам внушительную бумагу. Это подействовало, и теперь они оттуда выбираются. Она, однако, думает, что придется «национализировать дворец»…

Заседание «Мира искусства» было на сей раз менее тоскливым, нежели обычно. Объявленная задача — *суда над товарищем* — настолько захватила всех, что она даже заставила внимательно относиться Браза и Яремича. Что же касается меня, то я даже как-то все время внутренне веселился, ибо гротеск достигал поминутно своей кульминационной степени. Маленький, со всех сторон обстреливаемый Чехонин изо всех своих сил старался парировать удары, не возбуждая при этом жалости, потому что слишком отчетливо выступала вся его гнусная натура, а «благородство» его объяснений только еще подчеркивало его беспомощное мужество. И надо отдать справедливость товарищам, что на сей раз все были как-то гармонично-порядочны. Глупее всего были нападения Таманова, все старавшегося на «представителях комиссии», на «приятеле Кареве» выместить обиды, посеянные Академией, и неудачным, чрезмерно болтливым представителем выказал себя Петров-Водкин, которому, впрочем, несомненно, мешало быть более толковым то, что он в то же время как бы являлся и докладчиком, и обличителем одного из пострадавших лиц (хотя Чехонин все продолжал утверждать, что товарищи не только не пострадают, но еще окажутся в выгоде после перемены), и приятелем Карева, и просто-напросто самим саботажником; как человек крайне трусливый, он склонен себя выставить героем. Зато Григорьев был на сей раз прямо очарователен (вообще какая курьезная черта в художниках — это совмещение всякой всячины). Он громил большевиков и коллегию, высказал откровенно Чехонину то, что другие только думали, поносил, не стесняясь перед Тамановым «старую калошу» Академию и т. д. Деловитым по обыкновению был Браз (попутно еще благодаря ему обнаружилось, что Чехонин меня втянул в эту гадкую историю).

Укоризненно молчали добрейший Щуко, занятый протоколом Добужинский и все еще не пришедший в себя от упоения перед своим новым приобретением Стип, остроумно защищавший «коллегию» Альтман. В конце концов постановили взыскать с

Академии потери за несвоевременную покупку, но это только для того, чтобы и Академия могла со своей стороны взыскать с «коллегии». По отношению же к Чехонину мы постановили, что считаем его объяснение неудовлетворительным, но что все же желаем его сохранить своим сочленом. В начале заседания он для удобства обсуждения заявил о своем выходе из общества, и поэтому следует переизбирать его. Когда осужденный узнал о таком вердикте, то заявил, что он *не может* оставаться среди нас, однако, я думаю, что это решение он еще возьмет назад. Мы все, во всяком случае, его убеждали не приводить его в исполнение. Остается еще ожидать, что месть змеёныша не замедлит выразиться в самой непредвиденной форме, тем более что на его сторону втянуты все три инквизитора — Карев, Матвеев, Штеренберг.

Как я и предполагал, третий Бларанбер оказался у Стипа. Он рассказал теперь все без обиняков. Больше всего он «обвиняет» Курбатова за то, что тот назвал Шилову настоящую цену вещам — 5000 руб. Благодаря этому Шилов поднял цену с 1500 руб., которую он спрашивал с Аргутона, на 3000 руб. Тут же на сцене появился Эрнст, сообщивший об этих листах Элленбергу и Яремичу. Элленберг приходит и не покупает (идиот!). Но еще больший идиот — Аргутинский. Яремич приходит, потрясен и входит с Шиловым в сделку. Он ему делает покупку за 3000 руб., но за это пусть тот уступит ему один — лучший из листов — за 500 руб. Сошлись на 600 руб. Яремич сообщает Платеру. Платер подсовывает своего «ученика» фантошку Леву Бубкова (сегодня я случайно познакомился на выставке с этим подобием Фобласа), который и покупает три рисунка за 3000 руб. и получает в виде комиссионных две голландские марины. Хорошо все, что хорошо кончается, но, увы, это ведь не конец. Остается вопрос с Аргутоном, и он, как ни верти, грозит превратиться в настоящую драму. Одно время мне именно ввиду этого не хотелось снова отказываться от оставленного за собой листа, но потом я рассудил, что я все равно в этом деле чист, да и все дело ничего грязного в себе не имеет, если кто виноват, то это Шилов и больше всего — сам Аргутон. Напротив, честь и слава Яремичу, что он их оценил, что все равно уже Аргутинскому этих вещей не видать и что пусть лучше один из них будет у меня в руках, вполне достойных, нежели бы тот попал к Леве Губанову или к Элленбергу. Ну а затем даже чувствую известное удовлетворение, что я хоть отчасти, увы, тоже не без окисления, вознаграждаю себя за все те обиды, которые Аргутинский заставлял переживать мое коллекционерское сердце. На Степана же я больше не в претензии, больно уж радостен — прямо влюбленный, ставший,

наконец, обладателем предмета своей страсти. Однако решено во избежание недоразумений до поры до времени совершенно молчать об этой покупке.

Коке снова лучше, и в связи с этим настроение дома прояснилось. Даже меньше стал интересовать исторический кризис. Вдобавок я увлекся повторением и разработкой своих Версалей — этюдов, дающих мне иллюзию, что я там, что слышу горячий запах туи, мягкое стариковское милое зловоние фонтанов, что меня овевает ветер, гуляющий по террасе! Неужели наяву я уже никогда не буду гулять по этому песку, не подойду к холодному мрамору бассейнов, не увижу плещущихся карпов, не услышу свист ухаживающего за «Курцием», у подножья сатир и наяд, или дробь барабанов, клики фанфар? У Акицы теперь каждое третье слово — «уехать, покинуть эту ужасную страну». Но, увы, не поздно ли спохватилась? Я-то это знал всегда, но она только теперь начинает понимать весь ужас — быть русскими гражданами.

Прошелся до заседания по выставке. Необходимо направить мою первую «критику для себя». Все же у Чехонина есть два натюрморта с цветами (особенно один небольшой, на малиновом фоне с раскрытой книгой, исполнен с действительно большим мастерством). Замечательная, во всяком случае, вещь и «Улица блондинок» Григорьева. Вот только живописи в ней (да и вообще в нём) все же мало. По выставке гулял элегантный, красивейший Палей (он мне напоминает юного Сережу Дягилева). Увы, или к счастью, он ничего (еще?) не покупает. Про шухаевских офицеров он сказал, что они выглядят беспомощными перед Григорьевым, словно созданы неучем, и возмутился рисунком. Мне все же показалось, что его можно извинить и что его культура этого стоит — повторяю, он чем-то (может быть, болезненным своим юношеским самолюбием) мне до странности напоминает Сережу 1890-х годов.

Эрнст пришел из Зимнего с сообщением, что завтра в 11 часов вся коллегия Верещагина явится ко мне убеждать меня вернуться, иначе они уйдут. Ятманов навлек на себя новое неудовольствие, благодаря тому, что он без внимания оставляет чудовищные сообщения гатчинского коменданта о том, что под дворцы подведена мина.

Характерен рассказ Тани Киселис со слов земляка, приехавшего из Пскова, поведавшего характерный анекдот: на вопрос немца, занявшего город: «Где начальник станции?» последовал ответ: «Он снег убирает». «Да разве это его дело?» — «Нет, но теперь его заменил по выборам другой — стрелочник». — «Позвать его!» Стрелочник приходит. «Вы

начальник станции?» — «Так точно, ваше превосходительство!» — «Пойдемте, сделаем обход станции». Идут, приходят в отхожее место, где грязь непролазная. «Ну вот, вы были заняты не своим делом — извольте немедленно это все убрать и вычистить, и если через три часа это не будет исполнено, то получите тридцать розг». Нечего говорить, что задача была исполнена мгновенно и превосходно.

Но вот беда: они сюда могут и не прийти. Я бы на их месте, по крайней мере, не трогался. *Больно мы санктпетербуржцы* — огромный город, больно много среди нас нелепых людей, больно много здесь испорчено за век нынешний: набедокурили сменявшиеся, но одинаково бездельные хозяева. Не думаю, что народные комиссары вздумали бы подготовить почву для торжественного шествия победоносных войск (хотя положение улучшилось, за последние дни усиленно убирают снег и без участия буржуев, гора у Николаевского моста уже наполовину снята).

(Уже сегодня величайший праздник — годовщина революции, товарищ Луначарский прочтет лекцию в Александринке и другую, при демонстрации цветной фотографии в Зимнем дворце! Это ли не радость!) Разве только она не подобие своей старшей сестры 1871 г.: поразрушит кое-что из того прекрасного, что у нас имеется. О ситуации, во всяком случае, невозможно судить по единственному официозу «Правды» («Известия» уже переехали в Первопрестольную). Она скрывается за формулой: «Официальное подтверждение не получено» и довольствуется перепечаткой трехдневных телеграмм, которые нам уже известны по «Нашему веку» и «Новой жизни».

Среда, 13 марта

Сегодня, слава Богу, не было утренних газет — единственное благодеяние революции. Но вечером зато вышли все (даже до сих пор закрытые), так что Невский стал подобен лесу, заполненному щебетанием птиц: те бедствующие интеллигентные барышни, дамы и теперь десятки очень осмелевших мальчишек выкрикивают: «Эхо», «Веселая почта», «Вечерняя звезда», «Вечернее время», «Вечерний час», «Вечерняя биржевка». Но содержание этих листов оказывается очень легковесным. Главным гвоздем явилось торжественное собрание коммуны в Александринке, на котором все наговорили массу постных фраз, имеющих цель прикрыть их растерянность (или лукавство), и краше прочих соловьев — наш Анатолий Васильевич, выразивший

радость по поводу того, что он не уложил своих чемоданов, что он займется строительством при помощи молодых людей, в два-три месяца приобретающих государственную мудрость, и что он изумляется *чудовищной* быстроте, с которой крепнет русская революция. Как и полагается, все кончилось мелодией похоронного марша. Кроме того, буфет у Конюшенной — и тут же сведения о приближении немцев к Николаеву, о занятии ими Або, о готовящемся сражении под Гельсингфорсом, о том, что союзники решили занять Сибирь. Глупые и мерзкие очередные воззвания кадетов о верности союзникам в «Русских ведомостях». Теперь это уже ничего не стоит, а место идеальное, чтобы щеголять в ризах благородства.

Утром у меня была комиссия: Верещагин, Вейнер, Петровский, Надеждин, Эрнст, Перуханов — порешили считать инцидент исчерпанным, несмотря на неприход Ятманова (вечером Эрнст рассказал, что он ему горько жаловался на случившееся и говорил, что он готов уйти с занимаемого им поста, если я скажу, что он для этого не годится; может быть, это провокация), до которого, разумеется, мне никакого нет дела. Авось и тот урок будет достаточным. Заодно разобрали все случаи нашего столкновения с ним, и я убедительно просил их всех протоколировать (о чем до сих пор этот разгильдяй Верещагин не заботился совершенно, упустил из виду, что ему придется давать разъяснения по всем вопросам охраны). К счастью, этот ретроспективный протокол еще легко составить при общих усилиях памяти; такие «крючки», как милый Надеждин или как Перуханов, помнят решительно каждое слово.

До завтрака пришла еще Атя в большой эмоции: всю ночь она не спала, так как с 3-х часов у них обыск, вероятно, по доносу. Сначала они были очень напуганы, но потом освоились, а прислуга даже вошла в контакт с участниками дозора, красногвардейцами и солдатами, заигрывали с ними и стерегли (особенно прачка Серафима), обрушиваясь на них жесточайшим образом: «Ах вы, такие-сякие, спать не даете, шляетесь, воруете. Ну посмотрите, как господа живут, небось никогда не бывали в хороших домах». Вцепился в дозорных и дурень Фролов, однако красногвардейцы себя вели чинно и тихо, методично (только не с достойным вниманием) исполняя свою задачу, — открывали ящики, нащупывали, нет ли чего на шкафах. Перед шкафом с серебром, перед орденами Леонтия: «Это что же, генерал у вас жил?» — «Нет, это мои…» Последнее подействовало внушительно. Дозорные отобрали коллекцию монет, но ее Шура надеется отстоять. Вина же растаскивать не захотели. Тетя Маша была расстроена. Вероятно, она мысленно сравнивала этих ребят

с немецким штурманом, патриотом, отдавая первым предпочтение перед вторыми.

Приходила нелепая Н.Ф.Обер. Она под мою диктовку написала письмо Фаберже, которое отправит завтра со своим формовщиком, собирается (непонятно на какие средства) образовать музей произведений мужа и жить на доход с его посещений! И завещать его Москве в отместку за непризнание Обера в Петербурге! Когда я ей высказал в очень деликатной форме свои сомнения, она расплакалась и, видимо, причислила меня к той же категории петербуржцев-недоценителей Обера. И за гробовой доской этот жалкий ребенок только будет портить жизнь тому, кто в нем рассчитывал найти опору и утешение. Я ей передал рукопись Обера и одну из двух копий. Сам я до сих пор не принялся ее читать, ибо как-то жутко в такие тоскливые минуты еще ощущать «несчастье целой жизни». Успеется.

Ф.Ф.Нотгафт прибыл от Верещагина с просьбой прибыть на заседание реквизиционной комиссии в гордуму, и я собрался было идти, но в эту минуту меня перехватил И.Н.Ракитский, которому я у Горького обещал сегодня поехать к Анатолию Ефимовичу Шайкевичу. Когда я после осмотра коллекции прибыл в думу, то уже было поздно, заседание разбрелось, и я только погулял по безумно грязным лестницам и коридорам, натыкаясь на закрытые двери, на нелюбезность (выражаюсь мягко) сторожей, на каких-то большевистских барышень, слоняющимися с их кавалерами по залам, и на сопливых детишек швейцара.

В одном зале, впрочем, — там собрались низшие служащие, неуютно свирепые, — я услышал обрывки обсуждения — быть или не быть какому-то исполнительному комитету, — и сквозь густые облака курева увидел каких-то мрачных и взлохмаченных людей. Бедный, бедный папочка, убивший столько лет жизни придворным художником в этой трущобе (дума и в его время была такова!).

К обеду пришел Стип с чудесным, изящным листом Бламрабера. Акица пришла в восторг (больше не винил себя). Коля отнесся более критически к изъянам. Вечер мы завершили у И.И.Жарновского, ведя музыкальные разговоры, разглядывая каталог американца Джонсона и обжираясь омарами и компотом из абрикосов. После этого до утра поташнивало. Стип побоялся возвращаться в кромешной тьме (стаял снег, и улицы приобрели зловещий характер) и остался у нас ночевать. Я читаю «Приключения Наполеона». Все уроки пропадают даром для наших соотечественников на планете.

Живет Жарновский в очень элегантной квартире в очень мажорном доме, построенном Клейном при помощи всяких

плагиатов с Палладио и Сансовино. Дом рядом с особняком Кшесинской. Масса цветов, приятные комбинации красок. Приятная жена (актриса, мимистка Павлова), стриженая мальчиком, легкая на ногу. Много приятной мебели. Среди картин одна диковинная: стоящая в пейзаже нимфа с элементами Джорджоне, но все же отнесенная мной к Досси (или к Боттичелли) приблизительно 1510 г. Сама фигура ужасно нарисована, но на большого мастера указывает зеленая драпировка и венецианский пейзаж в технике, предвещающей Гварди (sic!). Кроме того, отличный портрет картезианского аббата, близкий к Лебрену. Хороший фламандский портрет какой-то художницы, к сожалению, очень пострадавший, повторяющий манеру «юного периода Тьеполо» (несомненно, та же рука, что писала фигуры на картинах Оливье и Мишеля). Интересный натюрморт на черном фоне «Попугай». Большая картина «Исцеление паралитика Св. Петром» Строцци [?], хозяин считает за Претти.

Ракитский уже продал своего Каррачи Гржебину за 2000 руб. Вообще он, видно, охвачен тем же торгашеским вихрем, который крутит Степаном (Яремичем), Эрнстом и, может быть. Горьким и Десницким?

Четверг, 14 марта

Снова какая-то путаница с подоходным налогом. Дворник принес бумагу от податной инстанции, в которой с меня требуется немедленно внести 6722 рубля — сумма как штраф за невнесение в срок. Я его отправил с квитанцией…

В 12 часов пошел в Зимний, однако Луначарский и Верещагин запоздали, а там первого осадили всякие делегации и просители (снова приемные полны), и таким образом наше собеседование произошло только около четырех часов. Эти же часы голодного ожидания прошли в пустой болтовне и в захаживании в нищую столовую, в которой Курбатов, Щербатов и художник Соколов резали порционный хлеб на пять дней, раздавали сахар, резали лук, стряпали салат (без соли!). Привезенные из продовольственной управы остальные порции мяса (конина!) и другие яства лежали в сыром виде. Щербатов, наконец, почувствовал себя в своей тарелке. Господи, решен ли действительно вопрос Строгановского дворца? Это очень странно вяжется со всей фигурой и гадливым лицом Штеренберга. Он и Луначарский встретили меня каждый с заготовленной фразой тревоги и сожаления о случившемся инциденте. Луначарский

даже как будто вскочил с кресла и проникновенно тряс мою руку, заверяя меня в своих чувствах. Сам же Ятманов не появлялся. Щавинский говорил, что он занят отыскиванием по всему дворцу кухонь подальше от нашей столовой — вот и отлично! Но, вероятнее всего, из конфуза, ибо он же высказал Вейнеру и Штеренбергу свое огорчение и готовность покинуть пост, если наша комиссия найдет это необходимым. Возможно, так и столковались.

Беседа с Луначарским, которого мы — Вейнер, Верещагин и я, к концу подошел Половцов — затащили в готический зал, касалась Гатчинского апроксишка, эвакуации и ассигнованных 10 000 руб. на выкуп вещей, с аукциона распроданных, Варшавского Уланского музея, демобилизуемого в Новгороде; регулирования взаимоотношений с Ятмановым. Относительно Гатчины Луначарский нас заверил, что он не верит в этот слух, но что все же откомандирует туда специального «товарища», некоего Кузьмина, который должен будет изучить на месте вопрос, выяснить точку зрения властей на сохранение исторического имущества (вполне схожей с нашей). По этому же поводу он нас выслушал поименно в том, что вообще могут быть и здесь подобные акты разрушения, ибо анархистам велено под строжайшей угрозой сидеть смирно. Эти «сомнения» невольно наводят на мысли, что СНК или «Коммуна» считаются с возможностью немецкой оккупации, но по этому вопросу

Луначарский поет самые оптимистические песни вплоть до уверенности в спасительном действии «крестьянского восстания», доставляющего много беспокойств растущей коммунистической миссии германцев. Относительно эвакуации золота и серебра утверждает, что впервые (от Вейнера) слышит, но от Соколова доподлинно нам известно, что немцы нуждаются главным образом в металлах, почему правительство спешным образом (по 400 вагонов в день) вывозит огромные трехмиллионные запасы меди, на которые немцы могли бы еще воевать полгода (тоже не без Суворина). Относительно ассигнования стал петь Лазаря вообще о бедности двух его ведомств, но все же обещал изыскивать способы позаимствовать вообще для искусства из 30 миллионов, ассигнованных на дошкольное образование, которое нам теперь значительно обещали немцы, так как отняли у нас столько земель, да и Украине, мол, мы ничего не дадим! «Относительно взаимоотношений с Ятмановым» попросил нас предоставить ему проект регламента (и я предложил его выработать сообща с Ятмановым, дабы не создавать из него непримиримого врага, с которым пришлось бы жить в одном доме).

Вообще же Анатолий Васильевич изволил все время смеяться, улыбаться, разыгрывать человека, уверенного в будущем, но тут же у него промелькнуло сравнение России с добычей (очень ненадолго), надежды которой все друзья и недруги должны слепить в один ком злобы и алчности. «И будут они ее делить до тех пор, пока не слетят вместе с ней на дно пропасти, после чего только и можно будет говорить о миротворении». Любопытно было бы знать, думает ли он в глубине своей души эту думу до конца и без митинговых фраз и верит ли он, что на самом деле будет место социализму! Моментами мне кажется, что он слишком хитер, чтобы тешить себя подобными иллюзиями, и что вообще он весь порабощен партийной дисциплиной, о которой, кстати сказать, он нам пел восторженные гимны (это по поводу *несомненной* ратификации мира в Москве).

Вечером был Стип. Кажется, я его огорчил тем, что попросил выдать расписку в получении им денег для Бубнова. Дал он ее с поспешностью, но потом сидел, скрестив ноги. Русские люди не любят такой простой вещи, как расписки (являющейся при нынешних опасных временах чем-то прямо необходимым). А может быть и то, что он не всю сумму собирался передать своему соратнику. Такого рода штучки за ним водятся, увы, я подозреваю и Эрнста в том, что он начинает постепенно заражаться «стратосферами» и попросту коллекционированием, порой дотошным. Ох, вообще напрасно он меня втянул в эту историю с Бларанбером, хотя я лично и чист перед Аргутоном, хотя я и считаю, что он заслуживает и не таких еще уроков, хотя я и уверен, что он на моем месте поступил бы так же и с полным убеждением в своей правоте, однако все же при встрече с ним теперь мне будет неловко. Долг дружбы требовал бы не участвовать (ведь он как-никак считает наши отношения дружественными, и это обязывает) в том, что причинит ему огорчение! Но как тогда быть с долгом собирателя? Лист все же прекрасен и станет совершенно прекрасен, когда он будет реставрирован.

Газеты полны странностями. Эвакуации внезапно остановлены, и проезд даже на пригородных поездах отменен для всех, за исключением служащих. Троцкий — главковерх или что-то в этом роде. Або взят. Гельсингфорс, видимо, немцы сдали, и уже там поговаривают о ликвидации гражданской войны. Немцы и украинцы в десяти верстах от Одессы, которой грозит расстрел со стороны русских военных судов в случае оккупации. Американцы согласились на вмешательство Японии и Китая, и уже начался десант во Владивостоке 50 000 армии, к которой присоединилась одна русская дивизия. Идет также осада

Эрзерума и Батума. Самое удивительное, что теперь и вот эти достали! Больше и не произведут никакого впечатления. Здесь все заинтересованы только одним: будет оккупация Петербурга или нет.

Пятница, 15 марта

На днях был у нас Гарстман, с ним была мадам Бенкендорф. Заезжал прощаться. Принимала его Акица. Разговор коснулся дальнейших военных судеб, и Гарстман наговорил много обычных союзнических глупостей о том, что конечная победа достанется им. Но больше всего возмущает Акицу его «изъявление» дружбы с Россией. Они ее доконают, и что особенно странно — это именно то, что, по всему, где разбросаны теперь гарстманы, то есть военные, — там ждет провал.

Они огорчены гибелью бедной России и с лицемерными минами пели бы панихиду по своей бывшей союзнической проблеме. Блок думает, что рыхлое, но богатырское тело России соберет в себе изумительный остов Европы. Это не исключено. Но, может быть, случится и другое? Гарстманов, как и немцев, не испугаешь пространством. Они живо его превратят в плантации. Ведь с Америкой они это сделали быстро, в какие-то сто лет. Как бы русские не разделили участи краснокожих! Страшнее всякой саранчи и всяких грызунов такая армия тупых и ожесточенных, неприятных и просто бездушных людей. Они все переживут, и придется им или поддержать своих конкурентов — немцев и японцев, или с ними поделить вселенную. Французы же могут впредь быть уверенными, что останутся на причте. Мы же остаемся добычей; сказать кстати, едва ли мы это, в конечном итоге, потерпим. В этом смысле всем знаменательна и памятна прозорливость статьи Ирецкого сегодня в «Нашем веке» — «Санкт-Петербургу быть пусту», утверждающей что вольный город Петербург будет прямо какой-то Северной Генуей — заштатным портом. И-де он же как-то исполняет волю Петра I, но последняя мысль затушевана в угоду цензурным требованиям редакции.

Встретил вчера в Зимнем Чехонина. Он, несомненно, остается, ибо теперь идет разговор о необходимости общими усилиями товарищей «Мира искусства» перевести вещи Нарбута с одной квартиры — оттуда выселяется господин, приготовивший эти вещи, — на другую. Собирается часть первую перевезти собственными силами на тачке. Там был у Чехонина самый бревенчатый и самый гладко струганный домик. Да он, может быть, и не злой человек. Забавно, что теперь Карев и Матвеев

тоже его поносят за то, что он их подвел. Ну уже эти господа — настоящее подполье Достоевского.

Вчера же был «приятно изумлен», прочитав свою фамилию рядом с Курбатовым в качестве художников, которые примут участие (не сфальсифицировано ли?) на предстоящем балу Матросского клуба в Бирже. Нечего и говорить, что помещение моего имени — есть нечто самовольное. Впрочем, возможно, что Курбатов, со свойственным ему нахальством, дал и за меня согласие, ибо он еще был на балу, а следовательно, знал о нем заранее, и даже, как говорят, очень веселился (царем же бала был гений революции — Керенский — мичман Козьмин). Спрашивается, что мне делать? Писать письмо в газету? Противно, да и опасно, ибо «культуртрегеры» матросы могут в этом усмотреть контрреволюционный акт. Ну да авось это пройдет незамеченным.

Пошел сегодня объясняться в налоговую инстанцию — все и выяснилось: они просто не могли себе объяснить, что значит справка из «Речи». В этой «ячейке власти» царит полная неразбериха и безвластие. Впрочем, кто же, кроме наших трусов, станет, как мы, в эти дни ожидания «освободителей» обращать серьезное внимание на угрозы видимости властей предержащих. А ждут *очень*, прямо не дождутся. Член нашей комиссии Некрасов рассказывает, что у них в домовом комитете готовятся к завтрашнему дню к возобновлению ночной охраны, в виду ухода всей Красной армии. Путя Вейнер, поехавший, по просьбе Луначарского, в районную управу Петроградской стороны, подслушал там странные обрывки разговора: «Чего вы рекомендуете эту братию: ведь она и опять на митинге не умнеет». — «Да, но зато она хорошо говорит по-немецки». — «В таком случае — другое дело». — «Наконец предложат старой армии оставаться в Новомихайловском дворце».

Переменили совершенно тон с нашими членами комиссии и заговорили о желательности возвращения домой великих князей (М.Философов поехал домой от нашего имени спросить Сергея Михайловича, согласен ли он на это?). Это поручение было вызвано тем, что управа сообщила Луначарскому об имеющихся у них на складе драгоценных предметах, частью реквизированных во время обысков, частью отобранных у воров. Немедленно выяснить, какие из предметов имеют художественное значение для музеев. Путя нашел все в большом порядке, но, к изумлению своему, огромная масса накопившегося серебра оказалась еще осенью выкрадена из дома Витте (нашлись даже семейные портреты в рамах от Фаберже, иначе говоря, известного характера). Путя попытался было убедить товарищей эти вещи

вернуть их владельцам, но об этом и слышать не захотели. Помещается эта «берлога честных разбойников» в доме Гречанинова. Ну этот «внук Горчакова» и «домогатель Царьграда» вполне заслужил такую кару.

С Ятмановым я встретился в нашей кухне[11], служащей комиссии референтивной. Он сразу заговорил о прискорбном случае, но вовсе не изменил своей грубости и нахальства, а скорее, пользуясь какими-то «тончиками» юмора (впрочем, может быть, тут и не без конфуза, приправленного именно такими «тончиками»). Объясняться мы ушли к нему в кабинет, но путного из этого ничего не вышло. Теперь выходит из его слов то, что он вовсе не нас старался вызвать к деятельности, а ему важно выяснить, что собой представлял Гущик, получивший будто бы мандат от комиссии (будто бы от Зубова, на которого так удобно теперь валить) поручение эвакуировать полковые музеи. Это-де Гущик ему нисколько не внушает доверия, что он уже снарядил за ним негласный контроль (просто шпионаж!) в лице какого-то выборного от общества социалистов-художников (хороши, вероятно, эти «просто художники», по-видимому, коммунисты). И тем более странен Гущик, что это он ему жалуется на полное бездействие комиссии и, в частности, «очень недоволен» за что-то Верещагиным. Я пытался было навести Ятманова на более систематическое обсуждение наших взаимоотношений, на планомерные, конструктивные начала работы, но он или просто не способен на такого рода мыслительные возможности, или же он нарочно прикидывается, что не способен на то, чтобы лучше сохранить полноту власти. Во всяком случае, потребовался и на сей раз «талант Достоевского», чтобы передать все его «приемы женской логики», все его увиливания, все его высказывания, касания новых тем и т. д. Попутно узнал, что он поручил своему закадычному приятелю Ерыкалову («единственному человеку, которому верит») ликвидировать вопрос со служащими Аничкова дворца, что там сначала старые дворцовые служащие, сообща выступившие, устроили коллектив, избрали своим начальником генерала Ерыхова, что затем ввиду опустошения дворца Ерыкалов свел число служащих с двухсот до двадцати, причем наметил и Ерыхова, теперь Ерыкалов заведует приемной дворца. Такие важные административные акты совершают даже без оповещения нас, «триумвираторов», Ятмановым и Штеренбергом. Появился там и Миллер, вызывает для прочтения лекции в коллегии по «искусству творческому» (ныне официальное название). Миллер уверяет, что ни за что не войдет в эту комиссию, но готов войти в другую специально выделенную — музейную, о которой заикнулся Ятманов, и предложил привлечь Ростовцева и Марра.

Но как сделать, чтобы не вызвать в художественной среде на себя нарекания в «назначении» или в «засилии». Сейчас приходит мысль, не пригласить ли всех в нашу автономию, всех притянуть в комиссию?

В вечерних газетах сенсационные сведения о взятии Одессы, о денационализации банков. Встревожен я и пожаром канатной фабрики на Выборгской, неужели это погорел и Эдвардс? Фаберже через Тройницкого заявил, что он берет миниатюру Обера за 2000 руб.

Стип снова остался ночевать. За вечер он «оттаял» совершенно. Сейчас он занят каким-то стратежемом в Смольном и собирается идти завтра к Рейтерну. Пили у нас чай Эрнст и Замирайло. Последний прямо не дождется немцев. Особенно он возмущен грязью и павшими лошадьми, лежащими неделями на улицах. По одной такой, у Тучкова моста, из-за сугробов ездят, и она растаскивается по кускам колесами.

Я посетил сегодня одно из сладчайших мест своего детства — кондитерскую Берэна. Боже, какая жуткая картина! Все шкафы и прилавки стоят пустыми. Торгуют конфетами «помадками» по 18 и 20 руб. за фунт… Куда все это провалилось?!

Суббота, 16 марта

Снова после большого перерыва (из-за судорог в руке) появились «Несвоевременные мысли» Горького. Одна есть сплошное надругательство над русским народом, другая содержит жалобы по поводу расстрелов, кончается призывом к единому демократическому строю (сказать иначе!). В искренность первой я не верю, во второй — сомневаюсь. Это перепевы старого Горького — «Буревестника», ныне сидящего в теплом гнездышке, познавшего, что «гнездышко» вообще неплохая вещь, что оно-то и есть то, о чем он и тогда мечтал; что значат вообще эти призывы к демократии с исключающей все другие элементы «диктатуры пролетариата»? *Но вот этого я понять и не могу*. Почему его диктатура? Какая лесть, какая реализация самого мещанского и в то же время разбойничьего (без романтики) требования: «А буржуям — никогда!» Или это просто фраза, ничего не означающая, «клише» наших дней? По Горькому подобное — никакое клише — не получается.

Имел сегодня длиннейшую и довольно занимательную беседу с Ятмановым и Штеренбергом. У нас должно было быть совещание с Верещагиным и Вейнером о взаимоотношениях, но я запоздал по милости Браза, его новых картин[12], его вкусного

вина — и теперь радость, и отсутствие трамвая на целый час, и когда я прибыл во Дворец, моих товарищей там уже не было. Тут меня сцапали эти два представителя власти. Почему-то (может быть, после того, что Ятманов был осажен) говорилось сегодня легче. Да и вышло это как-то уютно: дивное веселое солнце с Невы, играя золотыми рефлексами по откосам окон, по старинным фрейлинским занавесам, сообщило всему весеннюю радость. Благодаря ему, я думаю, во мне так на сей раз и не зашевелилась злость, обыкновенно мешающая мне развивать перед людьми, мне чуждыми, свои мысли за пределы каких-то кратких, схематических предисловий. Может быть, я даже был слишком откровенен (на откровенность меня провоцировала как явная тупая глупость Ятманова, так и хитрая улыбочка, почти что подлизывающая — я, мол, со всеми заодно — позиция Штеренберга, которому и кровь помогает быть более тактичным, для которого пребывание в Париже не прошло даром). Но когда так все прекрасно, то исчезает как-то грандиозность труднейшей расчетливости, которая обыкновенно зажимает уста. Наконец-то договорились *до конца*, хотя в конце беседы чувствую, что все равно это не дано, что все равно словами не сломать то, что является в каждом из собеседников его главной внутренней твердыней. Но авось, если мне и не сломать тюремные и участковые стены товарища Ятманова, то, по крайней мере, я такими беседами подведу под них самые огромные шурфы для закладки мин. А подобная борьба разрушает совершенно необходимость запретов, ибо он — Ятманов — может оказаться еще более фатальным для искусства человеком, нежели Макаров — ставленник Керенского.

Важно теперь перетащить на свою сторону более гибкого (как будто прямо каучукового) Штеренберга. Именно последнее имея в виду, я его позвал к себе назавтра и снова заявил о своем желании так же по душам побеседовать с Луначарским. Разговор начал с обсуждения конструкции второй (музейной) коллегии. С него очень скоро мы перешли на выяснение вообще моих отношений с ним (почему я отказываюсь вступать в первую и какие у меня сомнения относительно возможности состава второй), ведь снова не пойдут многие, и если они не пойдут, то в обществе начнутся снова нападки на правительство. Тут нужно подождать до того момента, когда власть нынешнего правительства совершенно утвердится и в то же время сама более приблизится к реальным условиям жизни. Ведь это уже типично, что большевик Штеренберг теперь говорит о своем предпочтении монархии кадетизму и соглашательскому социализму (что в порядке вещей), а оттуда мне уже было нетрудно направить

разговор снова на больной вопрос — о частной собственности, что в художественной жизни связано с этим институтом — базой всей культуры. Ятманов: «О какой культуре вы говорите, Александр Николаевич?» — «Я говорю о культуре вообще, о реальном достоянии культуры, о том, что есть и из чего следует тот же непреложный закон, будет вырастать новая, в сущности, все та же культура». — «Но ведь, Александр Николаевич, вы говорите о прошлой, ведь мы же видим, к чему эта культура нас привела!» — «Повторяю, я не знаю *эту* или *ту* культуру. Я знаю культуру вообще, одну созданную человечеством культуру, или, если хотите, то, что просто всей жизнью человечества накоплено, то, что ему дает возможность еще копать, обрабатывать землю по своему вкусу, быть хозяином жизни. А если эта культура и привела нас к ужасам войны, то это еще не значит, что она же не найдет и выход из нее. Присущий ей инстинкт самосохранения — это главный компас культуры — выведет ее из тупика!»

Конкретно мы попали снова на больной вопрос о выкупе художественных ценностей. Вопрос этот как будто частный, но в нем, как в жизни, схвачены, конденсированы многие другие самые общие вопросы. И мало того, именно он является пробным камнем для распознания, какая стихия живет в человеке: стихия свободы или стихия рабства — все равно активного (то есть порабощения) или пассивного (то есть подчинения). Прямо поразительно, как, попадая на него, нелогичный, беспомощный Ятманов становится «логическим», последовательным, энергичным, до чего он теряет обычную и нахальную робость и впадает в тон почти вещающий, экзальтированный. Видно, что это его глубоко волнует. Он даже бледнеет и закрывает глаза — что особенно усиливает сходство его головы с фотографиями кадавров из Моро. И во всем этом волнении проявляется одна только стихия полицейского, городового опричника. Я ему на это сегодня прямо указал: и ведь то, что он рекомендует — суть просто полицейские, ненавистные полицейские меры, практикуемые старой полицией, и он действительно обеспокоен тем, что столько вещей может теперь пойти по рукам, что целые коллекции могут распасться, что многое уйдет за границу. Казалось бы, чего об этом беспокоиться интернационалисту? Луначарский — тот логично, по словам Штеренберга, заявил своим коллегам, что он предпочитает любоваться картиной в Берлине, нежели знать, что она, спасаясь от врагов, погибла. Он мечтает о драконовых мерах, об учете всех художественных коллекций, о каких-то «коллекционных паспортах» (только сообщающих сведения о своих вещах: получившему паспорт собственнику будет разрешено продавать свои драгоценности, но

и то не иначе как целиком), о том, что сопротивляющихся надо сажать в Петропавловку. И забавнее всего то, что обо всем этом хлопочет человек, едва ли когда-нибудь бывавший в Эрмитаже или видевший какую-либо коллекцию. Человек совершенно дикий и невежественный. Между тем стоит ему опереться на какой-нибудь идиотский Союз художников-социалистов, стоит ему словить Луначарского в удобный момент или просто в паузе между двумя лекциями — и вот подпись под декретом; «его надо издать безотлагательно» — твердит Ятманов, а о том, что затем пойдут неимоверные беды, он не думает.

Вот и подтверждается, что с ними мне быть действительно нельзя. Их сбросит жизнь, как нечто чрезмерно глупое, как *слишком тяжелые оковы*, причину общей голодной смерти, общего обнищания. Я не сочувствую ни в малейшей степени их утопиям, которые мне представляются апофеозом мещанства (общую сытость и общее призрение можно бесконечно легче достичь без этой общей ломки всего имперского) насыщения и просто, иначе говоря, «материальной» культуры. Наконец, «стихия» их мне теперь стала более ясной и окончательно опостылой. Правда, я их и теперь предпочитаю кадетам, эсерам и прочим слюнтяям и фантазерам. Но это предпочтение есть чисто эстетическое, меня просто до известной степени (все меньше) пленит их лиризм, даже Ятмановым — этим заклятым врагом — я любуюсь, хотя именно его смертный приговор не возбудил бы во мне ни малейшей жалости. Зато на них как на личностей я больше не возлагаю надежд. Нет, не эти Пустосвяты и Аввакумы дадут того нового Петра Алексеевича, не они спасут и мир вообще. Все эти мозгляки, внежизненные книжники, только потому и заполнили всю жизнь, что она замерла, зачахла благодаря войне. Теперь же, если мир войдет в силу, жизнь возьмет постепенно свое. Может быть, и среди них имеются свои Талейраны, Бонапарты или хотя бы Сийэсы? Но покамест я их не нащупываю, покамест я все же думаю, что эти спасители выйдут из иной среды, менее одержимые болтливостью, менее одержимые теориями благополучия, более близкие к простой действительности.

Вечером у меня был Петров-Водкин. Он снова в чем-то винит Чехонина (тот теперь подбивает его написать коллегии заявление, что он, Петров-Водкин, согласен с выбором

Академии), но мне эта история достаточно опротивела, чтобы о ней здесь подробно говорить.

В Глухове — резня интеллигентов. Мотя слышала, что Варфоломеевская ночь готовится и здесь. А что значит сегодня взрыв в 10,5 часов? Симптоматично, что эсеры свой выход из

Советов хотят выразить захватом Пажеского корпуса. Чайковский так и заявил, что они ни за что не оставят столь выгодные позиции — доминирующий корпус и над Госбанком, и над Садовой, и над Невским. Чур всем вам! Пропадите без следа, без остатка!

Воскресенье, 17 марта

Пятый день пьем кофе с молоком. Это изумительно и невероятно. Но счастье это нам привалило совсем как в детской назидательной сказке…

Просматривал случайные газеты. В «Новой речи» заметка Д.Мережковского «Упырь». Он возмущается удушением печати Лениным, который ее опасается больше, чем бомбы террористов, чем яда и кинжала. Перед свободным словом Ленин беззащитен со своими тысячами штыков; Николай II начал избиением интеллигенции, Ленин — кончит. Причем оба самодержца призывали к воле народа — круг замкнулся. Когда убивают колдуна, то из его могилы выходит упырь, чтобы сосать кровь живых. Из убитого самодержца Романова вышел упырь — ленинское самодержавие. Упырям нужны темная ночь и беспамятство жертвы. Учредительное собрание — солнце русской земли. Пусть попробует разогнать — сломает себе голову. Трепетал Романов, трепещет Ленин. Карающий кинжал уже занесен над головой тирана. Последнее слово уже сказано, и не социалистами, и не буржуазией, а всенародным свободным собранием. Сказано прямо в лицо, а он молчит и молча душит и убивает свободу слова, выдвигая равенство без свободы!

Чувствую себя как бы отброшенным от переднего края уличной полемики. На то есть причины, которые указал Мережковский, но и кроме них, увы, Бог лишил меня «дара слова». Учитывая этот недостаток, перед такими внушительными трибунами-ораторами, как Моисей, я не вижу в этом ничего постыдного. Но неудобства возникают отсюда большие. «Дар слова» есть способность, невзирая на обстановку, не смущаясь ни количеством толпы, ни характером собравшихся, развивать перед ними свои мысли; делиться своими познаниями как ни в чем не бывало, и даже со значительным подъемом очертить круг проблем и беседовать с массой как с близкими людьми, мне не дано.

Сейчас мы вступили в период, когда сила созидания остается за ораторами. Отныне преимущество у тех, кто обладает зычным голосом, и наоборот, обречены фактически на безмолвие и

окажутся в проигрыше при защите своей позиции люди, не обладающие даром оратора. У меня же есть что защищать, у меня есть, за что стоять, «дел» — хоть отбавляй, и потому я так горюю над своей немощью в ораторском искусстве. Не могу сам отстоять то, что мне дорого, не могу войти в контакт с публикой. Вот почему у меня остается лишь одна возможность — обратиться через печатное слово, потому и называю свои статьи «речами письменными». Я и прошу воспринимать меня как «пишущего импровизатора», подобно тем, кто вещает с кафедр. Я за своим столом буду представлять воображаемую стотысячную аудиторию и постараюсь быть искренним и откровенным до конца.

Есть один вопрос современной жизни, развиваемый «Речью» о реванше, которого я не буду касаться, ибо даже сейчас опасно его затрагивать, но этого требует человеческая совесть. Я христианин по убеждению и по жизни и потому осуждаю войну и ратую за скорейшее прекращение этой братоубийственной бойни.

Пятница, 22 марта

Стип взял на постоянную выставку в ОПХ «Морской пейзаж» А.Ахенбаха и нацелился на Ленбаха. Их мы вдвоем донесли до Общества поощрения художеств, где я порылся в книгах Икскульши.

Оттуда к Евгении Ивановне Зыбиной, которая с величайшей тщательностью уже перепечатала первую партию дневников. Что за ценный человек! По обыкновению и поболтали с ней о всякой всячине. Она ждет немцев, и, я думаю, несмотря на все бравады нашего воинства, их ждут все, не исключая Димочки Философова, который является как бы помощником редактора «Речи» при погибающем от массы дел Ганфмана. Итак, не угасает надежда, что они еще придут… Вчера Перетц, побывавший в Главном штабе для жалованья, узнал, что все там спешно эвакуируются, ибо уже шесть эшелонов немцев двинулись от Нарвы.

Большие терзания доставляют Евгении Ивановне путаные истории с домовым комитетом, во главе которого поставлен девятнадцатилетний мальчишка с лицом кретина.

Суббота, 23 марта

Прихожу сегодня к Половцову (мы должны вместе осмотреть Инженерный замок, но мне назначили второе заседание нашей комиссии), он сидит расстроенный, бледный после бессонной ночи. Оказывается, обыск у его племянника Д.А.Шереметева (заподозрили, что часто ездит в Финляндию, но там живут его родные), а заодно и его обыскали, хотя мандата у них не было, и каждую бумажонку Половцова читали, нашли одну, которая им показалась подозрительной (просьба брата о высылке 200 или 300 тысяч). Не добрались до ящика, в котором были опасные бумаги — корреспонденция с высочайшими особами. Да этот ценный исторический материал Половцов и сжег за утро. А нечто вроде дневниковых записей он предложил мне сохранить, вырвав их из изящного переплета. Это оказались записи его поездки по фронтам и беседы военных спецов о том, кого определить в диктаторы России для ее возрождения и освобождения от красной крамолы[13].

Второе заседание коллегии убедило меня, что мне в ней не быть жильцом. Начать с того, что Ятманов водрузил, несмотря на общий протест, портреты вождей, ссылаясь просто на то, что такова воля Луначарского. На то его, Господня, воля. Ну а затем и состав подобрал не в моем вкусе. На заседании была пущена масса шпилек по адресу Луначарского.

Вернулся из деревни Верейский и рассказал массу случаев произвола среди крестьянства, о смутьянах комитета бедноты.

Воскресенье, 24 марта

На западе завязались бои. Дай Бог, чтобы это были последние, решающие. Пока будто успех на стороне русских.

В «Правде» отповедь буржуазной интеллигентной культуре, прямо упрекают мирискусников. Во многом они правы, но не им говорить. Вся культура больна омерзительной болезнью, а не одна якобы буржуазная, интеллигентская… Как ни плохи, ни грубы, ни глупы, ни противны большевики, но есть еще хуже — некультурные в основе, глупые и омерзительные, но еще более опасные правые элементы нашей интеллигенции.

Всех их соединяет одно — полное нежелание считаться с Жизнью, какая-то страсть к принуждению и порабощению, какая-то органическая неспособность быть самим свободными и

предоставлять свободу другим.

Теперь эти кретины — родственники Бушена — хлопочут о том, чтобы ринуться в объятия немцам, дабы те им помогли отвоевать обратно у германцев Россию, причем в будущем мерещатся и проливы Дарданеллы. А тем временем англичане — не промах, уже забрали Мурманскую дорогу и продвигаются сюда шестью эшелонами — кошмар. И, пожалуй, большевики слетят довольно скоро.

Вторник, 26 марта

Утром Стип относил деньги за проданные на выставке ОПХ картины Аргутинского.

В самой деспотии России Николая Палкина дышалось куда свободнее (по-пушкински свободнее!), нежели теперь, в лучах всевозможных свобод! Горький зовет меня завтра к себе…

Среда, 27 марта

Оказывается, Горький меня позвал, во-первых, чтобы отпраздновать его день рождения обедом, и, во-вторых, сообщить свой проект устройства в Петербурге Музея восточного искусства, для создания которого он хочет заручиться участием Луначарского. Я вполне согласен с идеей и предупредил, как бы не натравить большевиков на новые грабежи. Обедали Петров-Водкин, Гржебин, Смушкевич, Ракитский и Ладыжников. Горький сидел в своем золотом ристалище в китайском халате. Он был мил и доволен всем, о политике совсем не говорил, лишь иронизировал над легкомыслием Луначарского. На столе — огромная корзина с цикламенами и подношения служащих «Новой жизни». К обеду — рассольник, окорок и бутылка бордо.

Четверг, 28 марта

В «Правде» Джеймс Шмидт выступил с чисто большевистскими пожеланиями запрета вывоза произведений искусства. Он считает, что Европа к тому времени нас освободит от Ятмановых.

Пятница, 29 марта

Утром был Криднер. От него услышал, что славяне ближе к латинянам. История России намного бы выиграла в союзе с Францией и Англией. Сейчас Россию предали союзники, которые сами гибнут под ударами «грубого кулака» германцев. И снова о русском предательстве. Здесь любопытно и то, до чего русский человек падок на самооплевывание, и то, до чего вся толпа буржуазных критиков пассивна, пропитана одной и той же заразой — глупостью. Волна этой мутной водицы видна где угодно и дает совершенно идиотические элементы. Это и заставляет меня не видеть в будущем нашего и общего спасения.

Комиссаром Академии художеств определен Карев. По другую сторону Невы — комиссар Музея Александра III Пунин, и вокруг разные комиссары Киммель и Ерыкалов. Смрадно, темно, тускло. Луначарский усиленно занимает Щербатову, вероятно, он ее поучает жизни своих муравьев или же распространяется на любимую тему об абсолютных преимуществах советской власти. Со мной он какой-то сконфуженный. Я объясняю себе это тем, что ему, по всей видимости, претит моя ирония человека, столь много ему верившего в кредит и несомненно безнадежно разочарованного. Общий тон его стал, впрочем, дружественным, товарищеским и даже веселым.

В Верещагинской комиссии Луначарский излагал свой проект, общий для всех комиссий штатов. Меня поразило, до чего ни у кого нет настоящей строительной способности (старое и новое путается, не делается достоянием, на котором можно строить, как на фундаменте, прочно и логично, путаются в терминах, забывая понятия); и тут «бюрократ Верещагин» оказывается еще большим путаником, нежели все остальные. Мне, художнику, приходится их учить расчищать то, что они заваливают посторонней чепухой, выпрямлять саму линию обсуждения.

И все же не могу добиться упорядочения, чтобы по-настоящему вести заседания. Белкина я мягко заставил подать рапорт относительно осмотренного им музея Николаевского кавалерийского училища. Верещагин же никак не хочет требовать того же от таких растяп и дураков как Козлянинов, Надеждин, Пиотровский.

Вечером на заседании Коллегии так до главного вопроса — об ассигновании музеев — не дошли, застряв на очередных делах, которые я просил решить в начале. Семьдесят «речей», по торопливому и злому подсчету Миллера, было произнесено на тему: «Нужно ли им передавать содержание Ратной палаты», причем Луканин высказал чрезвычайно локальный патриотизм. Я ограничился воззванием, чтобы Коллегия не упустила из рук

верховного руководства дело — положение всех музеев — и вела планомерную, далекую от случайностей работу. Могут быть и локальные интересы, но отнюдь не в ущерб центральным. Пример Мюнхена вполне убедил всех в признании моей мысли — положить в основание деятельность Коллегии.

Суждение о полковых библиотеках: Миллер хочет их забрать в Музей Александра III. О новом воззвании правительства, которое ох как бы не заняло дворцы, усадьбы, а между тем поступают сведения, что разрушено Михайловское (Пушкинские места), частные дома. Обсудили окончательный текст нашего заступничества за И.Грабаря.

Возвращался с Джеймсом Шмидтом. Он размышлял, предавался воспоминаниям о своем сотрудничестве в «Художественных сокровищах России». Я, разумеется, забыл всякую на него злобу за вчерашнее выступление в «Правде». Что возьмешь с такого кретина, вдобавок ученого. Дома еще застал Стипа, который посоветовал, на всякий случай, говорить, что он распродал свою коллекцию уже год назад.

Верейский, с которым я должен пойти к вдове коллекционера Бутовского, купил для меня очень дешево ряд прелестных офортов Ватерлоо. Вот и маленькое утешение среди общей тоски.

Были еще в Зимнем: Гауш, хлопочущий о школе народного искусства (милый человек, но его бездарность все портит в этом деле, уже из-за него нельзя поддерживать восстановление этой неплохой, но дилетантски поставленной затеи), и Шмаков, которого я привел сюда еще вчера за разрешением на выезд в Москву, где у него умер отец.

Бедняга совсем без средств и ждет месяц от Штеренберга разрешение получить денег за медали Гинцбурга, которые он раздобыл и препровождает в Эрмитаж на хранение.

Акица в отчаянии от Лели, от ее нежелания следить за своим здоровьем.

Ленин заболел воспалением легких. Новые террористические воззвания в Коломягах. Одесса едва ли в советских руках. Умер Дебюсси.

Я до сих пор отказывался, несмотря на приставания и убеждения Верещагина, от какого-либо вознаграждения за свое участие в делах комиссии, желая сохранить свою полную независимость, быть *абсолютно* материально незаинтересованным в «контакте с большевиками» (потому не домогаюсь и гонорара за «Петрушку»), Но сегодня Коллегия в мое отсутствие решила получать за разовое посещение заседания. Уж от этого, пожалуй, не увильнуть. Кажется, это всего 25 рублей.

Воскресенье, 31 марта

День Лелиного рождения… Стип, Костя Сомов — необычайно приветливые и оба «жениха». Атя в каком-то экстазе от своего Купидона и все время дико смеется. Днем был Саша Черепнин с Машенькой…

Странно: на меня ни смерть Жени Кавоса, ни панихида больше не производят ни малейшего впечатления. Быть может, отчасти, что я скорее завидую покойнику — Жене Кавосу. Женю с детства я считал за предел элегантности. Помню его верхом на лошади посреди двора дачи на Золотой улице Петергофа, помню яхтсменом… В последние годы Женю «помял» его роман с женой НЛ.Поповой (дамой в очках), все растущая ненормальность Катеньки, путаность дел (он был директором заводов Демидова), склонность драматизировать. К тому же он слегка оглох, что придавало беседе болезненный оттенок. Его самого многие считали «ненормальным» и, пожалуй, не без основания. Я с детства знал его товарищей Ратькова, Панова, Арциловича, Колю Гарина. Их на панихиде не было, в газете «Речь» — заметка о его смерти. Женя был кавосцем — типичным венецианцем. Нос слегка рулем. У его сестры Сони Дехтеревой те же черты (подобрана нижняя губа, тревожный взгляд, склонность к остротам, «крутой жест»). Что стало с его вещами?

Говорят, дом он продал, а семья из трех дочерей и сына (тот на Урале). У них еще остатки былой роскоши, из предметов — прекрасный фламандский шкаф, картина «Смерть Софонисбы», масса бронз, портреты деда и бабушки Тютрюмова.

Заходил ни квартиру Познанских смотреть гостящую у них двухлетнюю прелестную девочку Наташу. Оттуда с Кикой — на Каменный, где ждал Машу… Живет она в особняке Л.А.Ильина среди музея, не слишком важно. Там же пил чай с М.А.Колокольцевой…

Прочел гнусную заметку, которую про меня написал в газете Дима Философов. Надо бы ответить, да лень.

Понедельник, 1 апреля

Придумал, как правильно ответить Диме. Собираюсь письмо отнести в среду, когда пойду к Сувчинскому. Утром начал новый пейзаж с архитектурным мотивом, чтобы отдохнуть от листвы и зеленой гаммы. Кроме того, это и новая тема. Вот только как бы из-за этого богатства задач не произошел затор в их исполнении.

По дороге в Зимний дворец зашел к Бразу, не застал, но Лола

мне показала новые приобретения. Соломон Рейсдал мне не очень нравится. Интересен семейный портрет художника в пейзаже, написанный Англада (цыгане) в 1650 г. Прекрасно «Святое семейство» Тинторетто 1550 г.

Вечером у В.Лебедева. Со мной потащился Петров-Водкин. Скука была чертовская (очень утомительно действует Сара Дмитриевна — жена В.Лебедева).

Вторник, 2 апреля

В час дня вынос бедного Жени Кавоса. Отпевали его в Сергиевской церкви, затем — на Волково кладбище до семейного места. Во время «прохода» Мария Андреевна сочла нужным рассказать дурацкий анекдот про Ленина в писсуаре…

Я себе испортил несколько настроение в начале обедни. Решил воспользоваться моментом и отнести Диме свое письмо (ответ на его гнусную статью в газете) и, как нарочно, налетел на него самого, отправившегося на панихиду в Преображенский собор. Вышло нехорошо, что он меня как бы уличил в каком-то утилитаризме по отношению к смерти близкого человека (племянника), и окончилось уродливой сценкой: мои братья выходили после отпевания Жени Кавоса в Сергиевской церкви — встреча «двух смертей» — и сочли нужным заявить Диме в глупо-циничной форме слегка кощунственной упрек.

Ведь вот я знаю Диму наизусть, я знаю все, что в нем маска, тартюфизм, и все же не все: одна его снисходительная мина чего стоит! И вот в этом видишь преимущество породы, силу аристократизма и, хотя бы чисто внешне, какого-то «морального папашу». О том, что я ему написал, я не заговорил (просто передав письмо для прочтения дома). Зато он не преминул меня кольнуть напоминанием о моей летней статье, где я говорил о социализме в сочувственных тонах и как бы впредь защищал вселение в буржуазные квартиры. Надо будет при случае напомнить ему, что тогда я был готов на все для мира, для действительного мира. Но, разумеется, одна злоба сменяется другой (при одинаковой пропорции глупости), чему я уже не сочувствую. По правде, «благоразумным Димам» будет всегда угодно обвинять меня в измене своей культуре или просто в легкомыслии. И я бы принял это объяснение, если бы оно было «благоразумно» всем своим трагическим приятием войны, всем своим кликушеством, всей смешанностью своих воззрений, в которых Божье и кесарево смешаны в одну гадкую чепуху, «обнаруживающее вящее безрассудство, всякую измену своей

культуре, всему тому, чем до сих пор «буржуазный класс» служит человечеству.

Оглядываясь на всю эту многочисленную интернациональную буржуазию, на всех этих Аргутонов, Леонтьевых, Милюковых, Димочек, Мережковских, на всех подобных им представителей «союзников» и «врагов», я именно вижу в них стадо предателей, более, чем в военные годы, лишь способствовавших из-за своих засад разжиганию общего костра. И недоумеваешь: у многих из этих людей с уст не сходит имя Христа и слово гуманность!

Обедали мы у Полоцкой со Стипом, Эрнстом и Костей Сомовым. Нас угостили печеным гусем, вариациями Дебюсси и Баха (которых она очень глупо играет) — и все это для того, чтобы мы придумали бы ей идею издания в пользу политического Красного Креста. А когда я ей дал такую идею — очень хорошую, как раз подходящую к задаче (силуэты Кругликовой, разных популярных деятелей «Мира искусства»), то она с мужем-пошляком, племянником До-дом вздумали нам навязать и само осуществление этой идеи. Нужно бежать без оглядки от таких кретинов [?]. Притом же они меня злят слащавой бездарностью своей игры. Вот тебе и гусь!

Днем у меня были Саша Зилоти, Сувчинский и Астров. Сувчинский просит дать что-либо для третьей книжки «Мелоса», а я и вторую еще не разрезал. Пришлось снова откровенничать, говорить о своем душевном состоянии. Недоумеваю я и перед тем, что он не желает помещать «Дневники» В.Гиппиуса, и это потому, что Гиппиус вообще отпугивает. Вообще, пожалуй, я согласен, но в частности этот дневник мне представляется очень интересным и значительным (я склонен по тому же соображению отчасти полемизировать с ним более для того, чтобы потом найти недостающий мне предлог прервать молчание). Подозреваю, что «рыхлый» Сувчинский вообще падок на испуг и на заявления шептунов. А ведь шептуны, известное дело, всегда недовольны, больше всего тем, что служит особенно укором их бездарности. Ведь за многие годы я успел превосходно изучить психологию шептунизма в общих делах на «участи» Валички Нувеля и отчасти Нурока. Кстати, бедный Нурок совсем, говорят, плох, у него стали опухать ноги.

О политических делах ничего не пишу. Все переживают пору полного отчаяния. Ни один из диссонансов не разрешается. Трогательнее всего сегодня на похоронах была древняя старушка-экономка фрау Ферридио, проводившая Ковпиля [?] пешком до самой могилы. При нас много курьезного рассказал мне Сережа. Она по происхождению немка, родилась в Варшаве, вышла замуж за итальянца — укротителя диких зверей, но почему-то

подданного англичанина. Попутно оказалось, что Сережа пишет свои мемуары и даже попросил за ним оставить чудную мадам Ферридио. Плакала она больше всех.

Благодаря Мишеньке нашел я сегодня могилу своих прародителей: дедушки и бабушки Бенуа, и во время опускания гроба в могилу осмотрел в подробностях и могилы дедушки и прадедушки Кавосов. Как это странно, что вот только теперь знаю, где лежат столь близкие мне по крови и столь далекие по жизни люди. Дед Бенуа умер в декабре 1822, дядя Кавос в 1863, прадед Кавос в 1840, бабушка Бенуа в 1852. Когда умерла родная бабушка Кавос — не знаю и не знаю, где похоронена. Бабушка Ксения Ивановна, вероятно, лежит тут же, на месте погребения, ее место как будто не отмечено. На могиле деда и бабушки Бенуа стоит один скромный памятник из мраморных плит с бронзовым распятием. Рядом круглый памятник на могиле тети Жаннетты Робер — сестры отца, умершей в 1880 г., и ее мужа… Место огорожено решеткой со сломанной калиткой и совсем занесено спилом, настолько плотным, что я по нему дошел до могил. На Кавосском месте довольно невредимый памятник во вкусе ренессанса Луи Филиппа с барельефом деда и длинной надписью, перечисляющей все его чины и ордена (не очень важные), и более скромные памятники на могиле композитора Катарино (украшен белым эмалевым крестом) и капельмейстера Джованни.

Среда, 3 апреля

Решил отказаться от заседания в Зимнем под предлогом нездоровья, сам же поехал к Сувчинскому, где только что вернувшийся из Кисловодска, загорелый, бодрый, веселый и необычайно ласковый (видно, стосковался) Прокошка нам играл 3-ю и 4-ю сонаты (в особенности мне по душе 3-я с ее нежно-меланхолической средней частью) и свои приведенные в сюиту «Собачки». Отдохнул душой, хотя разговор не особенно клеился (что-то мешает моему общению с Сувчинским и Асафьевым). Живет теперь Сувчинский на Надеждинской, 31, в квартире Белигера, более уютной, нежели его — слишком холодной, в особняке. Только слишком много Головиных по стенам, в чем он считает долгом передо мной извиняться.

Утром ездил к мадам Пёль, которая через Браза и старшего дворника меня извещала уже несколько раз о том, что она выложила из сундуков архитектурные книги своего тестя, которые она хочет продать. Но там оказался г-н Тауберг — уполномоченный нашего домового комитета, который до моего

прихода ей предложил за весь грандиозный сундук всего 300 руб. и который мне заявил, что его «интересуют все книги». Собирался его «переждать», но в конце составил опись всей той партии, которая была налицо, я все же оставил его, заручившись первоначально тем, по крайней мере, что Диттерлейн мадам Пёль будет считаться за мной. Изъявлял я претензию и на Блонделя и Пиранета, если они окажутся по вскрытии других ящиков. Но и их он пожелал себе. Как бы этот подозрительный господин не вздумал на этой почве и меня, и старушку шантажировать? Про него ходит в доме слух, что он большевик, и он очень похож, во всяком случае, на таких людей, которые всегда как-то постараются устроиться, не стесняясь в средствах.

Оттепель… Германцы не то остановлены, не то только достигли первой из намеченных целей и готовятся к новым (по плану) действиям. Очень кусливая статья Суханова в «Новой жизни». Но теперь уже знаешь цену этим стараниям обратить одних — с тем, чтобы водрузить свою персону. Убирались бы они все к черту и оставили бы добрых людей жить в мирном труде.

Четверг, 4 апреля

Пятый акт трагедии (первые части трилогии, тетралогии, пенталогии) затягивается и осложняется. Немцы действительно ушли из Одессы. Эрзерум как будто отвоеван армянами. Киевская Рада предлагает мириться Советам. Москва милостиво соглашается, назначает Смольный для съезда делегатов (ох, арестуют хохлов!), но при этом не скрывается, что сочувствуют таганрогской Раде. В Гельсингфорсе высадились немцы и вместе с белогвардейцами берут Экенес. Здесь как бы к чему-то готовятся или делают вид, что готовятся. Во Франции продолжает литься кровь и гибнут лучшие люди. Ллойд Джордж кличет как для новых гекатомб всех колонистов-переселенцев (дай-то Бог, чтобы «не услышали»!). Вильгельм продолжает блефовать и собирается послать специально для утопления подводных лодок «старых», необученных рекрутов. Япония решила приостановиться. В Мурманском совдепе рабочие вместе с союзниками.

Здесь все более настойчиво поговаривают о восстановлении банков без отмены их национализации, все острее сказывается нужда, безработица, рабочие на митингах уже говорят: «Нам не обойтись без проливов!» Дутов берет Уфу, Корнилов пробрался в горы. И немудрено, что моя добрая, святая, жизнерадостная, несравненная оптимистка Акица все еще повторяет фразу: «Хотя бы пришла комета и уничтожила всю эту пакость». И немудрено,

что умный Стип увлекается пошлостями, возрождает… под названием «Волынка — кузнецовый мастер», но не его вина, что смехачи у нас не Эразмы и не Свифты; немудрено, что и он, и сотни других людей, некогда живших чисто художественными интересами, ныне пустились в форменное художественное амикошонство, немудрено, что, например, целую организацию, превосходно печатавшую керенки, закрыли, немудрено, что хлеб наполовину смешан с соломой (это позволяет увеличивать паек), немудрено, что ночью поминутно слышишь выстрелы — и так к этому привыкли, что больше и не трудишься обращать на то внимание, немудрено, что Атя вчера весь день тщетно проходила по городу, желая разменять 1000 рублей, и с отчаяния чуть было на всю тысячу не купила провонявшего масла, немудрено, что Сувчинскому оттуда не достать 5 пудов сахара по 13 руб. за фунт, тогда как в городе его вовсе нет, немудрено, что Акице зять Кати предлагает 6 пудов муки по 6 рублей за фунт (Мотя утверждает, что это продают красногвардейцы, которые потом сами же придут реквизировать, еще оштрафуют), немудрено, что Урицкий, выставив из Набокова дома подлинных социалистов, сам туда вселился, немудрено, что великих князей выпроводили в места «не столь отдаленные» как самых ужасных ссыльных, немудрено, что императрица-мать всероссийская ютится в комнате с одним окном, немудрено, что Добычина ни гу-гу о продаже моих произведений, и последнее, сугубо неприятное для нас, ибо настал момент, когда придется идти на жалованье к большевикам (о, к тому моменту я еще успею с ними расплеваться окончательно).

Весь день провозился со своим «Версалем» (у первых ворот Сен-Сира с видом на дворец в бурный весенний день) и почти совершенно его погубил. Обедал со Стипом у Кости. Сомов живет в неведении всего, газет не читает, в современности не разбирается. Окончательно его как будто путает Валечка (Нувель) своим комментированием. Последнего я просил достать еды к обеду, но он не пожелал прийти под предлогом, что вечерами не выходит. Обнаружилось, что сейчас его дело становится все хуже. Живет он на то, что покупает ему сестра. Таманов откуда-то это узнал и обещает его устроить при Академии художеств, но теперь все это разлетелось. Признаться, я думал, что у Валечки большая практика, что он как должно оценивает теперь хороших, но иначе столь несвоевременных людей, и во всяком случае не станет прислоняться к ним. Но, видимо, на всякого мудреца довольно простоты, а когда мудрых в этом убеждают, то они начинают злиться. Я почему-то убежден, что в Валечке по отношению ко мне вырабатывается целое наставление только потому, что меня

он считает устроившимся, угодившим в лучшую часть, и вторично, как это было прошлой весной, он ко мне за помощью не обратится.

Возвращались домой пешком. Я на днях накупил за дешевую цену прелестных детских книжек 1850–1870 гг. и среди них одну, бывшую у меня в детстве: 1-й том Библиотеки издания Ашета. Это большое утешение для меня и Акицы. Мадам Пёль книг не прислала. Ну и Бог с ней и с ними.

Прочел в гранках биографию Сомова, напечатанную Эрнстом. Скорее обрадовался, что так мало обо мне, но все же читатель из этого набора фельетонных фраз, прелюбопытных лишь немногими удачными характеристиками (позднейшими вставками), не вынесет настоящего представления о развитии Кости. Последний сам давал сведения Эрнсту. Неужели на нем вина в том, что изложение так мало похоже на правду. В особенности неубедительно, бедно и с банальной жестокостью (и льстивостью — но это уже, наверное, от Эрнста) рассказан художественный генезис Костиного искусства.

Из Зимнего дворца не звонят, хотя я и просил, чтобы «ввиду моего нездоровья» они сговорились со мной относительно переноса осмотра Аничкова, Арсенала и Археологической комиссии до другого раза.

Кстати, снова Верещагин отослал одну барышню (Костину знакомую), которой я дал карточку к Советам, чтобы он дал рекомендацию к Луначарскому, который делает все, что я ни захочу. Меня это ужасно бесит.

Одно время он перестал делать вид, что верит моему «большевизму», а вот теперь, вероятно, в решимости от недовольства образованием Коллегии, являющейся институтом над ним, он опять возвращается к этому трюку.

Пикантный анекдот с натуры. Недалеко от Костиного дома встречаю двух солдат, очень громко «по душам беседующих», уже издали слышу: «Обязательно». Поравнявшись со мной, один, с рожей, отвечавшей идеалу «славные русские солдатики» (тому самому идеалу, которому с энтузиазмом в начале войны служили все наши дамы), размахивая руками и раскачиваясь от умиления, пропищал: «Да мы, брат, с тобой полдома сразу выженим, если еще с пулеметом!»

Пятница, 5 апреля

Куда это утром во весь опор мчались красноармейцы по первой линии?

Утром отчаянный телефонный звонок от плачущей дамы Паскар, которая поведала о судьбе детского театра, от которого я увиливаю, зная, что из этого ничего не выйдет. Так и есть, сегодняшнее сообщение оказалось ликвидационным. Позвонил ей в полночь Мейерхольд (она его ученица: откуда и томно-эротическая изящность манер) с вопросом: «Что бы затеять, чтобы Бенуа принял в этом участие?» И сама же отвечает: самое отдаленное. Однако, может, она прихвастнула, что я чуть ли не вдохновитель всего дела и тем самым его погубил. Явившись снова к Луначарскому и Каменевой, сначала стала милостиво с ними беседовать относительно сметы на субсидию в 30 тысяч руб. Она встретила неожиданную критику ее главного требования, чтобы их комиссия всецело признала власть и работала бы в полном контакте с ней. Паскар разругалась (по ее словам, столь несдержанно, против насилия, что даже Луначарский будто выразил изумление перед ее храбростью), ушла из его кабинета вся расстроенная и теперь она в поисках «частного капитала». Думаю, что с этой стороны помощь ей едва ли явится. Нехорошо, что без моего спроса проставила мое имя.

Новая иллюстрация «гениальности» тех же властей. Тарханов входит в кабинет к Луначарскому в Зимнем и застает такую картину: его коммунистическое превосходительство сидит на столе и читает вслух только что «за ночь им напечатанный» акт новой пьесы «Марат и Шарлотта Корде». Среди слушателей — бок о бок мадам Каменева. Всего пикантнее то, что «ночь» эта была та самая, которая последовала после повинных объяснений Луначарского относительно своего интереса, а само чтение происходило во время «приема», при коридоре, битком набитом всякими просителями. Рассказал мне это Нотгафт. Сам я сегодня снова в Зимний не пошел, хотя там и должна заседать комиссия. Нет сил видеть эти рожи, слушать эти разговоры! Да и все бесполезно. Ведь *сделать* что-либо нельзя, а только препятствовать, особенно при ощущении бессилия и полного принципиального расхождения с «властями», просто невыносимо. Луначарский со Штеренбергом уже в среду отбыли в Москву. О, если бы это означало конец этого кошмара!

Завтракал я у Стипа. Он угостил меня великолепным минестроле с бобами (о, если бы моя Акица вовремя сделала запас именно бобов!), тушеным мясом с картофелем и капустой, семгой, медом, чаем, мадерой с ромом. Готовит он сам, и тут же в кухне у него по столам, на кровати бывшей прислуги, на полках лежат кучками, вперемежку с разными запасами, книги, гравюры и всякая всячина. Его Бларамбер чудесен и без сомнения лучший из четырех листов. Изображает он фейерверк на небольшой,

обсаженной деревьями провинциальной площади. Ракеты спиралями взлетают в воздух, часть их залетает в публику и производит смятение. Чудесна и маска фигуры как будто импровизированного салюта Елизаветинского времени. На домиках все устроено. Мне он предложил очень курьезный Гамбургский альманах 1775 г. со скурильными картинами и вделанными в него четырьмя неоконченными, но прелестными миниатюрами. На таблетках из какой-то пасти зиял ряд известных хозяев: Кария, Бонелли, Диахиг и против них — цена. В конце сумма — 25 пенни. Очевидно, этот картонаж принадлежал тоже художнику, может быть, автору миниатюр. Я отказался, хотя цена очень скромная — 250 руб., так как я берегу деньги в виду приближающейся катастрофы и моей надежды на подорожание.

С ним побывал на осмотре Платеровского аукциона и оттуда с повстречавшимся Нотгафтом зашел к последнему. Очень уютно поболтали, угощаясь какао. По словам Нотгафта, финансовые круги в полной растерянности, то же подтверждает и Ося Штейнер, у которого мы провели вечер. Если банкротство одного русского банка в былое время было равносильно катастрофе международного масштаба, то как же оценить банкротство, да еще неоднократное, шестикратное — шестнадцати главных наших банков? Поистине достукались, и вся беда теперь не в том, что большевики хозяйничают, а в том, что настоящие хозяева увяли, уже сведены на полный нет. Без Рябушинских нам не обойтись! Это очень верно, ну и если сами Рябушинские теперь ни к чему не годные — труха! Совсем минорный тон и у Марии Андреевны. Я их заставил прочесть как бы в утешение и в надежде статью Изгоева в «Новом времени», поразившую меня откровенным выступлением против социализма вообще, и в частности, во имя принципа частной собственности, — против «классической» русской общины, перед которой млели и кадеты. Эти статьи следует рассматривать как очень хороший симптом оздоровления «общественного смысла», оздоровления, увы, запоздалого.

Из политических новостей меня больше всего поражает трагическое (ох, измочалено это слово!) безумие Клемансо по отношению к предложению мира Черчилля. Этому злому и глупому при всем его лукавстве адвокату Франция будет обязана гибелью Лиона, Амьена, Нуайона, Компьена, может быть, всего Парижа. Беспредельно изумительны и цитаты из речи Ллойд Джорджа (в свое время мною пропущенной), приведенные в очередной огненной статье Суханова.

Дождь и слякоть.

Сегодня праздник — годовщина погребения жертв революции. Акица подслушала следующий диалог между

старушкой, пришедшей к лавочке, оказавшейся закрытой, с мальчонкой, размышляющим: «Чего же эта лавка закрыта?» — «Да праздник похорон». — «Вот еще выдумали что праздновать»!

Суббота, 6 апреля

Тоска, апатия усиливается. Только утром способен работать, остальное же время ищешь, куда приткнуться. Сегодня ведь день в гостях у Альберта, которому исполняется 66 лет. Правда, там не было особенно весело, но было людно, была по Альбертову обыкновению масса новых людей, любопытных в разных отношениях. Среди новых — славная круглолицая балерина — подруга несносного Паре, который тоже был, танцевал мазурку с Мишей и совещался с Черепниным о музыке для своих танцев! Хорошенькая, похожая на Наташу Кавос м-м Х. с мужем моряком (с ними мы возвращались в трамвае), китайски-элегантный на европейский манер коммерсант Ли, какой-то ограниченный поляк с удивительным мальчуганом — развязным сынишкой. Альберт ему подарил за что-то свирель. Черепнин, вероятно справедливо, предполагает, что знакомство это основано на продовольственной почве. Хозяйка отсутствовала, — она была на концерте. Все присутствующие были в восторге от своего рода веселья, и, действительно, Альберт своим радушием и чисто итальянской лаской умел сообщить всему, что происходит в его несуразном доме, необычайную прелесть. Было угощение, состоявшее из белых булочек, варенья клюквенного, но на сахаре, миндаля. Из двух барышень-консерваторок и гардемарина была музыка трио и даже танцы. Одна из барышень как будто в прошлом году играла на скрипке на вечере у Мая. Русское простецкое «мурло» на очень стройном теле Дианы прекрасно, как ангел на картинах примитивов, держит скрипку.

Поговорил я и с Черепниным, который снова зазывал меня сотрудничать по подготовке оперы и очень рекомендовал сюжет из очень сложной сказки Бекфорда — «Батек». Из этого ничего не выйдет, ибо, во-первых, мне до этого просто нет никакого дела, но из подлой жалости я сделал вид, что заинтересован. На днях пришлют мне с Сашей сказку, и тогда я выработаю более точный ответ. Были также совершенно высохшие Луда и Эмма, был Леонтий, Мишенька, Кика со своим Вильгельмом, (и что он так называется, доставило большую радость «Гомбургским»), Жиль, чудная «княгиня Филидо», сам Филидан, превратившийся в какой-то «портрет юного Шумана», противный Блессон, когда-то сослуживец Альберта по министерству, и другие. *Все без*

исключения вздыхают по немцам и ждут их как освободителей. При этом — удивительный индифферентизм к судьбе союзников. Даже Леонтий не встревожен нисколько гибелью всей старой готики. Добрейший Альберт мне охотно одолжил книгу о монументах времен короля Луи XV, в которой имеется и Реймский памятник.

К обеду пришел Стип, к чаю — Замирайло, скучавшая семья Лебедевых и Эрнст. Лебедев мне рассказал про Ятманова. Он ученик школы Гольдберга, человек, не лишенный поисков, увлекался Византией… С Лебедевым встречался раза три на экзаменах в Петергофе. Юность прошла у него, вероятно, мрачно, как будто он очень настрадался от изувера и подлеца отца. Эрнст принес настойчивое приглашение Верещагина на заседание комиссии в понедельник, на котором он будет читать какой-то свой доклад о дворцовых комиссиях. В то же время он узнал, что к переименованию Царского в Детское Село подключился Ятманов, но дело решенное. Ну как же мне быть с такими идиотами! Ох, уйти куда-нибудь!

В «Вечерке» сообщение, что объяснение Луначарского принято Лениным, и там полное единение. Екатеринославу — угроза, Харькову — тоже. Германцы, шедшие от Дании, остановились. Баталия на западе возобновилась. Клемансо легкомысленно утверждает, что «Черчилль солгал», когда говорил об исходившем от него (Клемансо) предложении приступить к мирным переговорам, в ответ на что Черчилль заявил, что все дело в отказе Франции от Эльзаса. Не верю я, однако, и Клемансо! Всё это мерзавцы, лгуны, подлецы, подобно всем политическим людям. Вся беда только в том, что «партийным» политическим людям — вершителям государственных дел — все представляется вне реальных условий, лишь в освещении выгоды для своей партии, а отсюда — психология игроков, благо аппарат штата позволяет до последней крайности и даже за пределами ее распоряжаться судьбами той страны, которой правит эта категория честолюбцев. А насколько выгоднее был для человека старый порядок, «монический» или даже ограниченный «олигархией».

Читаю «Деревня св. Адама». Чуждо, устарело, многословно, наивно до глупости, без настоящей прелести.

Леля начала заниматься офортом у Штиглица. Сегодня вернулась домой с оттисками своего первого опуса «Крестьянка на жатве». Талантливая девочка.

Воскресенье, 7 апреля

Сегодня собрался ко мне в первый раз в жизни Альфред Бентковский, и я был очень рад его приходу, ибо люблю его пикантно-уродливую, кривую физиономию какого-то итальянского злодея, так забавно контрастирующую с его благодушием и порядочностью, ценю и его независимый ум, его музыкальность, наконец, я уже готовился с ним поделиться «политическими переживаниями», рассчитывая от этого верного помощника Извольского и Сазонова почерпнуть много интересного для характеристики момента, но по совершенно фантастической случайности он у меня на лестнице встретился со своей сестрой Юленькой, тоже в первый раз в жизни собравшейся к нам, и вместо милого и толкового разговора получилось чисто пессимистическая окрошка, в которой Юленька и моя Акица изливали свое негодование на революцию и большевиков. Акица при этом меня смешит и сердит! Ведь всего год прошел с ее пламенным энтузиазмом от этой революции и, в частности, от большевиков, ныне она с такой же страстностью, а главное, с такой же безусловностью их проклинает совершенно, заодно с теми самыми «дамами с хохолками», которые ввергли ее в бесконечное негодование.

Большевики ей *испортили* то, что, в сущности, она ох как ждала, — мир, прекращение бойни. И к общему миру не привели, и новую междоусобную войну вызвали, и развили еще большую вражду в людях на почве классовых домогательств, и уже хлопочут о водворении нового милитаризма. Однако, во-первых, во всех этих грехах действительно повинны *не только они*, да и, наконец, не надо же забывать, они явились как слишком естественное следствие повальной болезни международной буржуазии — психологии игорного дома, руководящей всеми поступками, психологии, нашедшей себе действительно чудовищное выявление в той кисейной «даме с хохолком» на Невском, психологии, которая, в свою очередь, дала нашим доморощенным «генералам без побед» последнюю возможность отыграться и надуть измотанный фронт, желавший только одного — мира.

Альфред не давал нам перемолвиться ни единым путным словом. Все же урывками я нащупал следующее: Извольский, оказывается, чуть ли не ежедневно восклицает: «Я ничего не понимаю в этой стране! Почему же все делается наоборот, нежели думаешь, хочешь!» В этом добрейший Альфред видит признаки европейской культурности, шокированной нашей дичью, я же вижу то, что Извольский был таким же дилетантом, как все прочие дипломаты наши. А затем характерна и точка зрения самого Альфреда на дипломатическое дело. Он очень и, видимо,

искренне ценит англичан вообще, в частности Бьюкенена, за джентльменство (о, фокстрот), очень возмущен обманчивой и расплывчатой политикой немцев, но тут же вполне и необычайно быстро согласился со мной и привел одинаковое мнение своего приятеля Тимирязева, что только союз с Германией может спасти Россию. Как будто лишь для проформы недоумеваю: «Так, значит, считаешь ошибкой всю ориентацию Извольского?» Тут же, попутно, дамы спели коротенький хвалебный (Акица, впрочем, только подтягивала) дуэт Николаю 11, что в его политических колебаниях была большая прозорливость.

Вечером собрался с Верейским и Степаном к мадам Бутковской, распродающей коллекцию гравюр ее покойного мужа, однако дома ее не застали. Оттуда заодно прошелся до адреса, значащегося на карточке И.А.Пуни, которую он после самовольного отказа Моти и Кики у меня оставил. Однако по этому адресу он не нашелся, и я не по своей вине нажил зря еще одного врага в человеке, желавшем со мной сблизиться.

Вечером пришли Эрнст, Замирайло, Черкесов. За чаем мы разглядывали фотографии французских соборов. Что от них от всех останется? Идиоты!

Сегодня Мотино рождение, и это милое существо, самым трогательным образом к нам привязавшееся, пожелало его отпраздновать с нами (у нее почти нет никого знакомых в городе). Среди дня она устроила у себя в комнате очень приветливый, солнечный и теплый, роскошный обед и закормила нас до отвалу пирогами с капустой и мозгами, булочками, лепешками и довольно сладкими конфетами. Потешная, чуть ли не насилу нас пичкала и прямо сердилась, когда мы отказывались. У Коки большой к ней интерес. Ей минуло двадцать пять лет. Катя и Текла вместе с нами, но они (особенно чуралась Текла) чувствовали себя менее уютно и свободно. Мы их всех угостили виски. Катя видит во всей разрухе и во всех творимых безобразиях орудование немцев. Это уже в русском человеке нечто органическое и по смыслу очень *жалкое*.

Понедельник, 8 апреля

Неприятной темы коснулись с Акицей во время выставки. Она поинтересовалась, получу ли что-либо я из Стокгольма, с этого переехали на получу ли я гонорар за «Петрушку». Здесь я ей не удержался сказать, что чувствую себя не в силах идти и хлопотать об этих деньгах, наперед зная, что Мейерхольд не оставит такого случая мне еще раз дать отведать своей мести. Не скрыл я от нее

и общее мое состояние: мое ощущение приближающейся непредотвратимой катастрофы. Всю жизнь я знаю, что со мной нечто подобное *должно* произойти, и теперь, когда оно надвинулось вплотную, я совершенно бессилен. Я могу писать картины, но я не могу их навязывать и вообще ими «торговать». Я могу писать в газетах, но лишь до того момента, пока мне удавалось говорить правду и я мог тешиться, что меня более или менее верно понимают. Теперь же я лишен почвы. Я лишен своей атмосферы, я лишен всяких «средств к существованию». Пойти на службу к большевикам я, никогда не служивший, тоже не могу и не хочу. Вот и выходит, что я должен готовиться встретить самую чудовищную и абсолютную нужду, повергнуть самых любимых людей в гнусные беды. А сделать что-либо для предотвращения этого я уже не в состоянии. Акица на это промолвила: «Ну, видно, *мне* тогда нужно приняться за дело». Однако, увы, я ей не верю нисколько. Она возьмет два-три урока кройки или сделает что-либо подобное, милое и бессмысленное, но тратить мы будем столько же, так же будем баловать детей и прислугу, но денег и она ниоткуда не достанет. Остается одно — ждать чуда. И я только его и жду. Даже совершенно спокоен, потому что *иного исхода нет*: или голодная смерть, или чудесное спасение. Стип — тот, по крайней мере, удержится в коммерции и он, по-видимому, зарабатывает значительные суммы. Но я на это не способен. Нет, я способен только на то, чтобы «гулять по Версалю», отравляться газетами и вести все эти никчемные записи.

Аналогичный разговор произошел и вечером, причем я еще более наговорил всяких «нервических глупостей»: о смерти, о катастрофе, после того, однако, что, излив душу, полегчало, наступило полное успокоение. Думаю, что такие нервозные стычки — явление весьма характерное для времени на всем свете.

Днем пошел по приглашению Верещагина в Зимний дворец. Однако оказалось, что собрание по плану отложено до среды, а его доклад о комиссиях — еще дальше. За время моего отсутствия происходило несколько заседаний, и одно, в субботу, — в Музее Александра III, так как признано желательным на местах знакомиться с конструкцией музейного дела. На здоровье — если это может задержать всякую чепуху, которую Ятманов стал бы проводить в большевистской поспешности. Еще раз наставлял Верещагина, чтобы он вел регистрацию своих работ, и, кажется, на сей раз убедил. Он тут же обратился с требованиями «распоряжений» к Эрнсту, которому все дело передано для бесед с организацией, занявшей дворец Кики Андреева и собирающейся в нем проводить аукцион по продаже всего имущества, не представляющего музейной ценности. Определить музейную

ценность должен Эрнст, в такой постановке вопроса получается, что он как бы заодно с этими «идейными экспроприаторами». Я посоветовал «ответственность переложить на представителя власти Ятманова», а самим отгородиться от подобных вещей — это против нашей гражданской совести. Посоветовал и Василию Андреевичу, чтобы он снова в Коллегии заявил о своем несогласии с социалистическим отрицанием частной собственности. После этого будет иная позиция. Курьезно, что эти старые чиновники сами не до чего не додумаются и договариваться не могут! Это относится к Нотгафту, к Левинсону-Лессингу (занятый Павловским полком Гущик так с тех пор и не являлся, непоследовательный Верещагин, тем не менее, посылает членов комиссии, которые всюду терпят афронты). Снова Верещагин настаивал, чтобы я согласился получить жалование. Я буду, однако, крепиться до последней возможности, чтобы не быть обязанным большевикам. Дурачок Путя меня бесит своим легкомысленным ко всему отношением. Он никогда не слушает, как, что обсуждается, лезет с посторонними вопросами.

После Эрмитажа зашел к Аргутону. Беседа, к которой присоединился Нерадовский, прошла очень мирно и ласково, но без единого намека на Бларамберга Стипа. Аргутон колеблется, купить ли предложенную ему очень загадочную картину — эффектно и бойко написанный этюд какого-то глядящего вверх поляка в странной черной шапке, с боков меховая опушка. Не то какой-то подражатель Гальса, не то Брюллова (скорее последнего). На подрамнике монограмма Т.Ш. (Шевченко?).

Анэ вернулся в Сен-Север и не уезжал. Аргутон в горе, что ушел его «превратившийся в большевика» Миланд. Нового слугу не видел. Жалуется Аргутон на продовольственные затруднения. Он принужден завтракать и обедать у сестры на Сергиевской. Жалуется и на полное безденежье. Вечером, слава Богу, никого не было.

Вторник, 9 апреля

В Смольном начались мирные переговоры, но в то же время взят Харьков (каково-то Катюше и Зине Серебряковым — там их имение). Из вчерашней «Вечерки» явствует как будто, что Одесса с Херсоном снова в руках немцев. На севере белогвардейцы взяли Таммерфорс, Тавастгус и Рауму. Самое сенсационное то, что германцы требуют разоружения флота, и на это «советские» уже изъявили согласие, однако эта «сенсация», в сущности, никому не представляется таковой. Взятие Реймса, Амьена опровергается.

Тем хуже. Ленин заговорил о возможности новой войны с японцами.

Утром был у меня Андре. Снова с предложением принять место главного художника при Экспедиции заготовления бумаг — ввиду полной безнадежности относительно получения Жени Лансере. На сей раз я был менее категоричным в своем отказе, ибо сильно обеспокоен финансовым истощением (предлагают 3000 руб. и «очень мало труда»). Я обещал «подумать» до завтра. Акица как будто тоже склонна к тому, чтобы я принял это предложение, но мне безумно претит это слишком тесное дело, перспектива лишения свободы, ужасные условия службы в наше время (из-за большевистских экспроприаций). Решил предоставить выработку ответа «подсознательному», которое, я надеюсь, его приготовит назавтра. Бедный Ростиславов совсем плох, и мне из-за него пришлось зайти сегодня в Зимний дворец, дабы выхлопотать ему пропускное свидетельство в Калугу, его родину. «Большевиков» я, однако, там не застал, зато поболтал и потом прошелся с Верещагиным и Половцовым.

У Мойки, против Михайловского сада, встретил сильно постаревшего Миту [Дмитрий Александрович Бенкендорф], который брел по тропке у самого края. Он со мной был не слишком ласков. Благодарил как будто от имени Марии Николаевны. Обе сестры Харитоненко с мужьями выпровожены из их московского дома и поселились на наемной квартире. Вера Андреева с внуком в Сумах, где она клялась, что все будет спокойно.

С 4 до 9 часов сидел у Сувчинского. Ели и пили. Слушали приятную 5-ю симфонию Мясковского в его, увы, довольно невнятном исполнении (лучше всего меланхолическая 2-я часть и танцевальная 3-я с галицийской темкой), и, кроме того, для меня специально были проиграны «Черевички», музыку коих до сих пор не знал. «Милая» вещь, но все же я по-настоящему не зажегся. Во время исполнения глядел на висящий над роялем «Вид Лауры» Головина. Что за талантище в смысле красок и какая глубокая некультурность, какие далекие от задачи сцены. Восхитительно отношение розового платья Лауры к желтым стенам, к красной занавеси, к малиновым табуретам, к страстной ночи. А *смысл* все же противен, груб, плосковат. Путаница настоящего мирового, а «национального», «провинционального» нет ни на йоту.

К завтраку была А.П.Небольсина, милая, но утомительно болтливая дама. Сегодня часа три я ей представлял выбрать в массе «подарочной» папки, и она взяла вещь наиболее интересную — этюд в Капселе с моей тенью. Очень усиленно рекламирует для лета Хунгербург. Но можно ли говорить о деле

при нынешних обстоятельствах, при безденежье и перед *огромной загадкой* будущей зимы без дров и без хлеба!

У нас домашняя драма. Акица собралась отпустить Теклу, ставшую лишней при Кате, которая бесконечно более толковая, к Н.Ф.Обер, но та, как оказалось, уже обзавелась новой донной. Говорят, был и рев, и какие-то дерзости со стороны дураковатой и за последнее время обнаглевшей Теклы.

Из газет узнал, что вчера без всякого моего спроса Союз деятелей искусств выбрал меня как представителя отдела охраны искусства (точно термин не помню) для борьбы с коллегией Карева — Штеренберга. Идиоты, не могут успокоиться.

В трамвае на пути от Сувчинского «наслаждался» общим разговором, затейщиком которого был страшного вида старый господин, точно загримированный под «типичного литератора 1870-х годов». Все ругательски ругали советскую власть и занимались усердным самооплевыванием. Слова «хамы» в применении к русскому народу так и сыпались пригоршнями, и я уже стал угадывать по лицам, от какого источника идет это грязное «самооплевывание», горячительное «самосознание». (Как раз еще за обедом Мясковский меня рассердил, что-де все наши беды произошли от того, что мы недостаточно освободились от Запада!) Вдруг мрачно молчавший солдат, или красногвардеец (кто их теперь разберет), стал вопить: «Чтой же это вы, товарищи, говорите, а не видите, что Россия немцам была продана давно, вся как есть продана, чтой-то же этому нас англичане не учили, молчали, не говорите!» Вот тебе и «немецкое братание»! Дело в том, что, пожалуй, таким станет в недалеком будущем в значительной степени общественное мнение. Ведь надо же с больной головы свалить на здоровую! Зато Сувчинский и Асафьев меня радовали своим прямо-таки «энтузиазмом» в признании необходимости «немецкого засилья». Они даже уже сознают, что победа французов и англичан — их спасение России — привела бы нас к вящей гибели. Но много ли таких, поумневших?

Среда, 10 апреля

После «передышки» сегодня снова увидел всю нашу комиссию в Музее Александра III, где происходило продолжение «воспитания начальства» — знакомство с до той поры им невиданными сокровищами этнографического музея, и, не знаю почему, они все показались мне менее противными, нежели за последнее заседание. Миллер положительно бравирует одной своей чисто немецкой фамилией (о, как он обиделся бы, если его

сочли за немца), систематичностью и огромностью своего знания. Но все же и при всем его художественном чутье он варвар, ибо оставляет, несмотря на мои неоднократные предупреждения, висеть иконы из Хара-Хото без защиты от света, а, главное, оставляет их вообще висеть, что несомненно должно вредить этим архиважным тканям и живописи. Кое-что даже явно поблекло. Я пришел в неистовое негодование перед другом народностей в зале Свиньина… Вообще же в этом Малюте Скуратове все яснее проступала черта маниловщины, и такие кротости, как Романов, Миллер, Тройницкий, должны более всего рассчитывать на эту черту в планах комиссии, направляемых к «заведованию Ятманова». Но дело вообще чудовищное, и, следовательно, его проще всего смести для того, чтобы большевизм выявил свое вкусовое преимущество перед «царизмом». Я снова поднял вопрос о необходимости мира для спасения беспризорных дворцов Стрельны и Ораниенбаума, и единственный путь к тому — сразу объявить их в национальную собственность. Но Коллегия права, когда она отклоняет от себя изготовление подобного декрета, который хочет от нее получить Ятманов.

Полное обездоливание частных лиц не годится. Все же правильно делает Миллер, аргументируя отклонение 40-го пункта нового предложения Рейтера (пункта о наследии) нашей некомпетенцией в данном вопросе общезаконодательного характера. 25 000 руб. единовременно ему за коллекцию теперь готовы дать, и даже согласиться предоставить ему казенную квартиру в музее. Но тут предвидятся протесты *истинного* начальства наших дней — коллективов низших служащих. Может быть, мне Коллегия показалась и потому не столь отвратительной, что наше «заседание» просто больше в прогулах, на три четверти разоренное (все момент эвакуации), но все еще беспокоится об этнографическом музее. Боже, какие кроются шедевры в коллекциях бухарской иль персидской пагоды, в тканях, медных вещах, сосудах из серебра или набойках, наконец, Хара-Хото!

После обеда пришел Стип, имеющий какое-то дело с Акицей по поводу продажи некоторых листов из моего собрания (их я застал в самый разгар беседы у Ати в комнате). М.В.Бабенчиков, пристающий к Леле с тем, чтобы она прочла реферат о Гольдони… Была и супруга Петрова-Водкина. Он имел со мной длинную беседу по поводу моего и его избрания Союзом деятелей искусств. Не желая отставать от меня, а может, и опасаясь испортить свое отношение с Каревым, он как будто тоже собирается отказаться от этой чести. Я сам еще не отказался по

той причине, что официально не осведомлен об избрании. Хотя в душе ему хотелось бы ужасно играть какую-то боевую роль в современной художественной междоусобице. Они тоже забрались в комнату к Ате, и два часа до нас долетали заунывные, похожие на гудение трамвая на повороте, или на фабричные, чудные ноты его «пения»…

Читаю все еще Вандаля для развлечения… Сегодня была статья Карташова о России, о фетишизме народа и проч. Очень глупая, но характерная статья — отличный материал для будущих полемик. (Ведь именно с этими элементами придется полемизировать, если мы, «они и мы», переживаем данное настороженное время!)

Четверг, 11 апреля

Первый истинно теплый и во всех отношениях прекрасный день. И в такие-то дни люди продолжают истязать друг друга, вместо того чтобы сговориться по вопросам, которые через 10–20 лет будут казаться изжитыми! Катастрофа все приближается, хотя дрова теперь стоят уже 120 р., хотя муки, крупы и etc. не достать и за большие деньги, хотя за фунт спекулятивного сахара готов платить и все 18 р., однако на этом дело не остановится, и что нас ожидает через несколько месяцев, трудно представить, не имея воображения. Остановлен подвоз продовольствия с юга, из Сибири, и ниоткуда не ожидается, через некоторое время ничего не достанешь. Правда, начались в Смольном мирные переговоры между украинской и советской властями.

Правда, Харьков — вероятно, Курск — уже взяты, и к Петербургу «элементы порядка» подойдут с севера. Ожидается высадка германцев где-то в 40 км от Петербурга, чуть ли не у Териоки. Но разве это может спасти положение, разве от этого хватка самопровозглашенного сегодняшнего социализма умерится и вся прочая чепуха явится умиротворяющим организмом, будет предлогом мира? Разве к тому моменту действительно люди на *всем свете* образумятся и пожелают заняться просто-напросто спасением реальной культуры, помимо фраз и гнуснейшего политического секвестра?! Разве теперь остановишь «друзей», спасающих нас с востока и с севера, разве успеешь здесь учредить правильный взгляд на естественного соседа, с которым судьба велит жить в дружбе, разве сам сосед, в случае удачи, вздумает найти настоящий тон с тем, кого он не так понял? Разумеется, это чисто «техническое» преувеличение, что он уже стал дурно обращаться с населением покоренных

областей; совершенно легко, что он в Нарве приказал или переходить в свое подданство, или убираться вон, однако все же рука их будет *тяжелой*, а тяжелая рука, при известной нелепости, может вызвать в нашем насквозь болезненном организме опасные реакции, и не одну… Хуже всего то, что бойня на Западе снова затягивается, и там кошмар не разряжается ни в какую сторону! Затягивает и вся наша бурда внутренней политики, а в связи с этим как будто поднимают голову эсеры.

Утром я начал красками «Бассейн Аполлона» и, после того как у меня стихла боль в ухе, удачно закончил «Ворота у оранжереи». Днем был на заседании Верещагина комиссии. Поспешный В.А., совершенно растерянный и нераспорядительный (закис как-то и Путя), выработал теперь манеру ко мне обращаться как к верховному начальству. Так все заседание прошло в том, что он сам докладывал мне, заставляя членов мне докладывать о своих действиях, и относительно каждого вопроса он тут же испрашивал мою санкцию и совет. При моей склонности к кулисе (то есть быть вторым лицом, как и при Дягилеве) я бы предпочел меньшую ответственность, но, с другой стороны, бороться с этим нельзя, а фактически без моего руководства дело их продолжало бы хиреть, как оно хирело до сих пор. Теперь, по крайней мере, распотрошат институт о подданстве (Верещагин сам от этого в восторге), можно следить за дестабильностью каждого и видеть, как все сотрудники подтягиваются. Даже Козлянинова, саботировавшего последние дни (отчасти по глупости, а отчасти вследствие невыдачи жалования), наконец как будто удается заставить работать (я бы предпочел его просто отпустить — это дурак и нахал). Сейчас он занят описанием библиотеки Николая Михайловича и собирается этот вздорный труд продлить на годы. Новомихайловский дворец мы собираемся занять под Почтовый музей (для отвода глаз). Сам Николай Михайлович уже в Вологде и поселился у тамошнего антиквара. Пожалуй, в Вятку Половцов его убедил ехать, дабы тем самым показать свою «долгожданную волю». Тем самым косвенно обеспечить отцу возможность под предлогом болезни (он фатально болен) оставаться здесь королем эллинов.

Елизавете Маврикиевне повелено покинуть Мраморный дворец через несколько дней. Надо будет все наиболее ценное из всех художественных сокровищ взять на хранение в Эрмитаж. Вместе с Аргутоном и Агафоном Фаберже, с которым я только познакомился, пошли во дворец Сергея Александровича, где управляющий им Воинов просил приступить к описи и оценке вещей. От оценки как таковой я по обыкновению отказался, но все же обратил внимание на те вещи, которые заслуживают

наибольшего внимания. Среди них — четыре Гюбера Робера, от которых мы видим только спину, две пасторали в приемной — подлинники Буше 1770 г., на самом деле превосходные, настоящего вкуса, летящий хорошенький воскресший Спаситель Прине, Котинова (скорее умбриец), посредственный натюрморт в духе Перуджино, красивый станковый раскрашенный барельеф Медичи, ряд гравюр, отличный рисунок Греза, курьезная копия Лиля с эрмитажного «Лиля» Поттера, композиция Стефано «Казаки», ряд Боголюбовых, хороший большой Премацци — в общем, типичный великолепный пель-мель, с количественным преобладанием просто хлама. Из двух барельефов, вделанных в стенки у дверей, — один с глухой подписью «Ораз Донателло Флорентиец» (кажется, так!), возможно, что подделка, другой — скорее, автопортрет, но является довольно грубой работой мастерской Пино. Жарновский, бывший у него вечером (с женой), считает его тоже за подделку.

Дивный вид из окон на Аничков мост. Фаберже — типичный швейцарец, хитренький, вежливый, с маленьким налетом нахальства, возможно, что порядочный. В общем, несомненно, коммерческий человек. Аргутинский почему-то от него в восторге. Акица отвергла выбранные мной книги, но мне предложили (и за деньги) две другие, что лежат на даче, сказали, что пришлют с дворником. Полоумные!

Я сговорился с Гершельманом А.А., что буду завтра в Экспедиции заготовления государственных бумаг, придется взять этот чуждый пост, так как денег ниоткуда не поступает, и вижу, как Акица начинает рассчитывать: теперь уже около 4 тысяч нужно в месяц!

Пятница, 12 апреля

Собирался лично объясниться с представителем Экспедиции, наполовину решив (из страха перед опустошающейся и не восполняющейся кассой) сдаться. Однако, несмотря на то, что мы не окончили как бы начавшую проглядывать со вторника беседу (Лемке идет на все мои пожелания и условия: и на то, чтобы я только был занят в году девять или даже восемь месяцев, и чтобы я только был пять раз в неделю, и то всего на три часа приезжал в Экспедицию), я все же ушел с твердым намерением не попадаться в этот капкан. Во-первых, у меня просто нет на то охоты, и что я, избалованный свободой человек, могу сделать без охоты? Затем они сказали, что мне сулят свободу, я все же чую под всеми этими раскрытыми дверями ловушку во сто крат более нудную, нежели

та, какой для меня был Художественный театр. А затем и такая немаловажная подробность: обещанный к моим услугам автомобиль (извозчик слишком утомляет меня, чтобы добираться в такую даль) оказался ненадежным, ибо он «мог бы меня брать на возвратном пути»…

Горький — ненавистный мне тип русских самородков-«кулибиных», путаников, имеющих дурную славу в смысле деловой порядочности. Я его знаю с самых «Художественных сокровищ России», знаю его бестолковую пролетариатность, его способность втирать очки и его оригинально-плохую техническую выправку…

Несмотря на твердое намерение быть на заседании комиссии в Эрмитаже, я просто не в силах был пойти туда…

Невский поразителен, он весь сплошь заставлен лотками торгующих котлетами, конфетами и папиросами. Поражает все растущее количество «интеллигентных газетчиков»; новостью являются дамы, продающие сложенные в опрятные корзиночки лепешки из миндаля, шоколада, иные лакомства домашнего приготовления. Одна такая импровизированная продавщица разложила свой товар на салфетках, которые она расстелила на ступеньках крылечка. Новые газетчики (десятки малолеток) вперемежку с профессиональными, и от их гнусавого выкрикивания — «Кровавые события в Москве!» — как не купить разгром анархистов в Первопрестольной. Бедная Дурова — главное событие произошло в ее доме, в клубе на Малой Дмитровке!

Вечером я был с Верейским у Анны Александровны Бутковской — вдовы военного профессора, собиравшего гравюры, которые она теперь распродает. Милая, трогательная старушка. Увы, коллекция оказалась очень общипанной Кестлингом, который взял всего Калло, и Стефано делла Белла, и Рени. Я набрал все же на 94 рубля всякой мелочи, и среди них — тетради с «лубками моего детства».

Акица днем была у Добычиной. К сожалению, по душам не удалось поговорить, так как тут же все время сидел «котенок» — ее муж. Акице кажется, что она что-то финтит с моими рисунками; тон у Надежды Евсеевны совсем минорный. Она в ужасе от надвигающейся беды, будто бы в Литейном районе идет вселение в квартиры, и уверяет, что один ее знакомый видел в списках Василеостровского районного комиссариата нашу квартиру, значащуюся как имеющую две пустующие комнаты. Увы, снова невыносимый холод у нас в квартире. Я замерзаю во время утренней работы. Приходится брать дрова, хотя уверяют, что дворник немилосердно ворует их.

Суббота, 13 апреля

Гельсингфорс не отвечает по телефону, японцы стараются сделать вид, что высадка во Владивостоке «не имеет серьезного значения», анархисты в Москве устроили в «Вечернем часе» разговор о превращении Петербурга в вольный город (в связи с этим считается, что Совет коммун выезжает в Москву, а на их место — немцы). Провизии все меньше; бои с белогвардейцами, говорят, идут уже в Парголово; на улицах где-то ходили солдаты (вдобавок «старые» с черными знаменами), в трамваях и на мчащихся автомобилях — масса матросов с новоприбывших кораблей. Поживем — увидим.

Днем был на заседании в Эрмитаже. На сей раз учил уму-разуму Ятманова. Полуоправившийся от болезни и беспредельно почтенный, дельный, но робкий, чинопочитающий, живущий стародавней чиновничьей субординацией Ленц и хранитель античного отдела. Ятманов полон самых грандиозных проектов, которые у него возникают по мере того, что он знакомится с держателями «мусорного царистского» хозяйства. Но тут же он затрудняется найти грошовые средства для учреждения хотя бы элементарного канцелярского обслуживания нашей комиссии. Я, по крайней мере, наслаждался чудными антиками, которые все остались на местах, и кое-чем из того, что сохранилось в витринах, но в общем музей (мы только были внизу) в своем опустошении имеет прямо трагический вид.

Дивная картина крепости, тающей под сырыми, рыхлыми облаками, и отражающейся в гладкой, но стремительно бегущей воде наполовину вскрывшейся Невы. Чехонин, которого я встретил у стоянки трамвая, ехидно мне обещал показать дрянненькую стряпню (не «Фауст и город» ли?) Луначарского, для которого он рисовал обложку, и статью Штеренберга.

К обеду Костя и Стип. Первый хлопочет за своего Лукьянова, который денежно очень пострадал и собирается поправить свои дела посредством торговли художественными предметами. Пришлось обещать что-либо дать.

Забыл записать, что третьего дня утром вызвал к себе Сюзор, который тоже все собирается распродать, и просил расценить вещи. Я на это не мастер (всегда переоцениваю), но все же сделал то, что он просил. Тут же появился татарин, который, однако, ушел ни с чем.

К концу обеда явился В. Гиппиус за советом, кого ему пригласить в лекторы по искусству в новый Народный университет (пришлось рекомендовать все того же Курбатова — никого, кроме него, нет!) и как ему поставить дело

художественного образования в Тенишевском училище. Тоже все дело в лицах, а кого назвать — и не знаешь.

С Акицей, Костей, Стипом отправились к Н.Ф.Обер, где познакомились с ее жильцом, приятным поручиком г-ном Залеманом. Выглядит она бодро и совсем не хнычет. Все скульптуры исправлены. Говорил с Тамановым по телефону по поводу моего избрания, и он требовал, чтобы я не отказывался. Чувствую себя в этих союзах очень глупо, ибо моего отношения «честности перед собой» никто толком понять не может. Ведь я не верю во благо и осмысленность всей их коллективной суеты. Мне и не надо быть с ними. А между тем просто по-человечески неловко отвечать на ту «честь», которую они мне делают, «невежливым» отказом. Позвал его завтракать (ибо надоело болтать в телефон) и вот надеюсь, как бы удалось отвертеться, не уступить. Главное, когда им *высказываешь всю правду*, без утайки, у «них» всегда остаются про запас какие-то заверения, что у них все этакое предусмотрено, против всех опасностей приняты меры и т. д. Просто не понимаю, как у людей хватает сил и времени играть, как ребята, в ка-кое-то подобие парламента.

Воскресение, 14 апреля

Один из наиболее болтливых дней моей жизни. С 11 часов до часа выдержан разговор с Тамановым и пришедшим ему на помощь Добужинским. С 2,5 до 6,5 ч. беседовал с Прокофьевым и Сувчинским, с Асафьевым. Значительная часть этой беседы ушла на то, что Сувчинский высказывал свои сомнения относительно предложения В.Гиппиуса стать его помощником в Тенишевском училище. С 6,5 ч до 8 — с Шейхелем, с 8 до 12 час. — снова разговор с целой компанией — Тамановым, Добужинским, Петровым-Водкиным, Щуко, Шухаевым (кроме того, присутствовали Эрнст и Верейский, а из глубин дальних пришли пить чай Надя и Черкесов, с которыми Атя очень похорошела и необычайно оживилась). С группой Таманова речь все время шла о моем отказе от избрания в исполком при Союзе деятелей искусств. Резоны моего отказа сводятся к следующему:

1) Я вообще не верю в Союз деятелей искусства. Не верю и в его состав (эти мысли я не мог высказать до конца, ибо неловко было доставлять неприятности Таманову, что в первую голову — смесь благонамеренности и неизлечимой глупости, какой представляется его личность), я считаю совершенно не отвечающим требованиям момента и вообще всякого общественного дела, не верю и в *программу*… Что ни слово, то

вздор. Одно мнение Дягилева или Серова разумнее, стоит всех дурацких выкладок «художественного народа», принадлежность вдобавок к тому же всячески строго устанавливается и объективным признанием. Ставя еще шире эту формулу, я вообще органически враждебен ко всякому парламентаризму как всякому засилью множественности над личностью, и враждебен именно потому, что в «коллективах» вижу только помеху делу единиц, а не подспорье, там менее деятелен.

2) Я не понимаю, зачем я буду получать санкцию от учреждения, мне враждебного (вдобавок сыгравшего такую фатальную роль для моих личных переживаний минувшего года), когда я уже и без того занят тем делом, которое мне позволяет власть, дошел до того без малейших компромиссов со своей совестью, да и сейчас остаюсь там *абсолютно чистым*.

3) Когда они мне говорят, что это дело для меня слишком легко, что они желали бы меня видеть обсуждающим все вопросы текущей жизни (против пресловутого интереса весь поход и направлен), когда они отрицают в моем избрании по отделу «охраны» *специальный* оттенок, то я там должен «отказаться от чести», ибо я чувствую себя совершенно не в силах решать вопросы, на которые моя совесть «не выставляет определенного решения». Если речь зашла бы об уничтожении памятника Петру, то я сейчас же определенно тому воспротивился, ибо я *знаю*, что это зло, что эта художественная беда. Если же меня спросят: нужна ли Академия художеств, то я *не знаю*, что ответить. Единственно, что я мог делать, — это просить власть поддержать в надежде, что «саботажники» опомнятся и войдут с нами в сношения. Но главный саботажник Таманов перетянул струну и вот теперь мечется. Я бы просто и резко отказал бы им, если бы…

Вот это «если бы» и отравляет не только мне личную жизнь, но и всю общественную жизнь наших дней, это и придает ей не стройный отчетливый характер трагедии (несмотря на изобилие трагических моментов), а характер затяжного недогадливо-безвкусного криминального романа, какой-то бездарной встряски. В данном случае, если бы комитет со своими содержательными собраниями… И как вдруг завтра, послезавтра или через неделю вместо большевиков здесь (или по всей России) встанут иные власти, ну хотя бы германцы, оккупанты, тогда, действительно, выборные учреждения со всей неизбежностью, трюкачеством окажутся очень уместными и целесообразными. Тогда нашей коллегии наступит конец благодаря отпадению главы ее (и в этом весь грех официального представительства Ятманова), и тогда какой-то комитет всего правительства окажется очень импонирующим в глазах людей новых и посторонних. Недаром

же немцы возвращают всюду думы прежнего состава, и именно думы, а не *чиновников* — это с их стороны, в смысле учитывания общественной психологии, только мудро, ибо крутое возвращение к старому дало бы слишком благодатный материал для агитации против них.

И вот потому-то при самом расставлении петель, после тьмы недоговоренных, неприятных Таманову слов (сочувствующих моему искреннему и незлобивому убеждению), я все же как-то даже неожиданно для себя взял тон более мягкий, сказал, что еще подумаю. Забавно было мне во всем этом словопрении наблюдать за товарищами. Забавно и поучительно, ибо, как в миниатюре, опять видишь все свое время, всю его душу. Все более или менее откровенно и лишь на разные лады только и говорили о том, что я должен решиться на компромиссное, «полезное для дела решение» и что вся процедура с выборами «понятно, комедия», цену которой они знают (почти в таких выражениях говорят теперь и недавние еще маниакально настроенные деятели в духе ереси избирательного начала Таманова). Но нюансы были у этих, убежденных «друзей Иова», очень пикантные. Наивно и мило бухали их Добужинский и Щуко с витиеватыми подходами лукавства; «соблазнял» Шухаев, неистово благородным метался Петров-Водкин, мучимый желанием «остаться на микеланджеловской высоте», в то же время понимающий, что иначе он окажется в зависимости от «дурака» Карева и что его проведение в Академию художеств может оказаться эфемерным. Таманов обнаружил по обыкновению изумительную тактику во всей технической стороне дела. Прямо мне непонятно, как у них терпения хватает обсуждать эти вопросы: о мандатах, о кворуме, о правомочии, о правах и преимуществах председателя (значительный запас провинциальной пошлости — все его шуточки про большевиков ужасно как «отдают Леонтием»), и, наконец, изумительную чуждость художественной психологии.

Попутно мне был рассказан скандал, произошедший на конференции учащейся молодежи, созванной примириться с большевиками, Бриком и Андреевым, с целью надломить последние устои Высшего художественного училища (для этой цели им была даже выделена Штеренбергом субсидия в 1300 руб.), и обсуждение, благодаря отпору Академии. Молодежь настолько против них, что эти полубольшевики вынуждены были удалиться из своего собрания, которое затем продолжалось без них.

Запишу себе с одной стороны то, что Союз деятелей искусств входит в какой-то, хотя бы «протестующий контакт с властью», с другой — ту «независимость», которую проявляет зеленая

молодежь.

Судя по телеграммам Дмитриева из Парижа, союзникам приходится туго. Я был перепуган, прочитав в этикетке в «Вечернем часе» про декрет о памятниках, но самый текст этого «обезьяньего» акта меня снова утешил. Какой памятник нельзя подвести под категорию, гарантирующую от разрушения, «представляющий исторический и художественный интерес»? Если не один, то другой признак будет всегда налицо. Не скрывается ли под этим следующее: какой-нибудь московский обезьяний революционер внес в Совет Р. и С. Д. проект такого декрета, отказаться от него власти не решаются, но лукавый Луначарский постарался его обезвредить, надеясь его этим первым параграфом и всеми дальнейшими благоглупостями провалить.

Завтра надо будет выяснить, что означает германский ультиматум относительно восставших с требованием арестовать какое-то большевистское бюро оных в Москве, занимавшееся распропагандированием?

Понедельник, 15 апреля

Ятманов сегодня на заседании подтвердил мою догадку, что в декрете о памятниках Луначарский уступил давлению извне и что, во всяком случае, в Петербурге нам нечего опасаться, ибо от нас будет зависеть приведение декрета в исполнение. Дай Бог, но все же боюсь, как бы такие лозунги, брошенные в ненравственную толпу (или, еще хуже, — всяким Пуниным и прочим Геростратам), не привели бы к гибели прекрасных вещей. Само заседание происходило частью в пустой галерее драгоценностей, в «гостях» у Тройницкого, развернувшего с большим блеском (и не без пыли в глаза — полезной, впрочем, Ятманову) свою систему коллекционирования и регистрации у почтенного толстяка Маркова на хорах чудного зала, и, наконец, у дурака Бобки Веселовского, который принял коллегию на ходу, так как не приглашен, и который своими поступками всячески выказывал свою непригодность и никчемность. Ятманов был снова изумлен (несмотря на пустоту всех отделов) и в то же время раздражен пылом, причем каждый его приступ выражался в каком-то воззвании ко мне: «Александр Николаевич! Ведь это удивительно, ведь тут мы нашли клад, подлинный клад!» (Особенно его отчего-то привел в возбуждение Бартоломей И.А., набор монеток, которые почему-то не эвакуированы.) Вообще все же он делает успехи, и, в сущности, при нашем подыгрывании из него мог бы

получиться неплохой художественный администратор года через два или три. Вся беда в том, что этим деятелям все хочется сейчас же переделать, переустроить.

Вернувшийся вчера Романов говорит, что никаких особых ужасов в связи с анархическими арестами он в Москве не пережил. Возвращение музейных коллекций он все же считает в высшей степени желательным, тем более что железнодорожное движение совершается почти нормально. Поезд, на котором он ехал, был вовсе не переполнен. Грабаря как будто удается отстоять.

Вечером на концерте Прокошки [Прокофьева] зал был наполовину пустой, да и те, кто были, наполовину пришли с контрамарками. Температура довольно низкая. Тем не менее, он играл с обычной яростью и на бис повторил свой шедевр — 9-ю сонату. «Мимолетности» не имели успеха у нашей молодежи (Саша Черепнин напоминает в этом отношении тех, кто считает своим долгом быть вообще разочарованным в опере «Великан»), и нужно сознаться, что вся сюита не выиграла от той полноты, которую он ей придал, прибавив еще однообразные и скудоумные аффекты в чередовании смены настроений. Прелестный музыкант, но если жизнь не углубит его интеллект и психику, то в конце концов он так же быстро потеряет интерес, как какой-нибудь Глазунов.

К чаю дворник подал обе книги, отобранные мной у хозяйки. Не знаю только: есть ли это подарок за экспертизу, или надо платить? Акица, бывшая у нее вчера, ей давала за них ту сумму, которую я за них назначил, но мадам Пёль отклонила, сказав, что это «потом», что она «пришлет». Ввиду катастрофического состояния наших финансов я лучше теперь оставлю дело без движения, но при первой крупной получке я поеду ей это дело *навязать*, авось тогда мне удастся приобрести и Премацци (акварели). Приходится подождать и с приобретением рисунка Бруни (за 300 руб.).

С величайшим трудом, после бесконечных переписываний составил письмо с отказом Лемке.

> «Многоуважаемый Михаил Константинович!
>
> При первой же проверке подтверждается то опасение, которое я Вам высказал относительно невозможности совмещения моих текущих занятий (от которых *я не в праве* отказываться), с тем новым делом, на которое Вы меня зовете. Сегодня меня потребовали на очень важное заседание, а следовательно, я уже не попаду в Экспедицию. К сожалению, я убежден при этом,

что в данном примере нужно видеть не исключение, а правило, и это убеждение заставляет меня, скрепя сердце, вернуться к моему первоначальному категорическому отказу от какой-либо штатной должности.

Из нашей беседы Вы должны были увидеть, в какой мере я оцениваю все лестное, что содержит предложение, и к тому же лично я тронут Вашим желанием заручиться моим участием. Мне и сейчас совсем нелегко выяснить создавшееся положение в отрицательном смысле, однако все же я решаюсь на последнее, так как действительные условия моей (в общем, уже перегруженной) деятельности таковы, что, и приняв Ваше предложение, я бы не был в состоянии исполнять принятые на себя обязанности.

Еще раз позвольте выразить Вам мою душевную признательность за оказанную честь и прошу Вас быть уверенным в моем глубоком уважении и совершенной преданности.

Александр Бенуа».

Завтра его отправлю. Что-то скажет столь о том хлопотавший Альберт…

Акица купила на улице новую немецкую газету «Вечерний САН-Петербург» (стоит 80 к.). К ней приложен подлинный текст Брестского договора. Бароны благодарят Вильгельма за спасение от русского ига. Немецкая колония здесь хлопочет об учреждении архива русского… Общее впечатление — культурное и очень скучное, представлены сообщения о состоянии продовольствия в Германии (ведь теперь только на нас надеются). Даже в курортах дела плохие.

Божественная Нева чиста от льда и судов, и в ней отражаются берега.

Вторник, 16 апреля

Утро провел в подготовительной работе к новому пейзажу на мотив из Трианона. Бился, не имея линейки, в отчаянии перед своей беспомощностью. Днем забрел в Зимний дворец. Приемная возвратившегося Луначарского битком набита. Скромно в углу киснет исхудавший Глазунов, деловито прохаживается Проппер, пришедший с проектом новой народной газеты, в амбразуре сидят супруги Пуни (с ними я только что познакомился — это тип

Лоренцаччо по Мюссе), пришедшие интервьюировать в пользу «новых течений». Она ужасное и зловредное дрянцо. Уже вся возбуждена декретом о памятниках — будто бы рассчитывает воспользоваться им для свержения плохих, но я-то знаю, чем это пахнет, когда такие люди берут под свое попечение интересы «истинного» искусства. Тут и случится, что фальконетовский [памятник] полетит, а Глинке — останется!

Приходил я специально для [получения] пропуска несчастному Ростиславову, который мне выдала встретившаяся жена Пиотровского, оказавшаяся уже секретарем Ятманова. На глаза самому Луначарскому я постарался не попасться. В ожидании бумаги прождал у Верещагина в зале, причем слушал интересный разговор только что вернувшегося из Перми по недоразумению вместе с Михаилом Александровичем захваченного делопроизводителя Гатчинского дворца Власова, прибывшего к нам прямо с вокзала. Ехали они туда целых семь дней по двое в купе при шести латышах. На месте об их приезде никто не знал, и лишь в тот же день в местных известиях появилось сообщение об аресте великого князя. В Перми сначала они жили в двух комнатах в каком-то казенном доме, а потом — в одной гостинице (причем Власов спал на двух креслах и лишь Михаил Александрович — на кровати). Кормили недурно и дешевле, чем здесь, но диету великий князь не мог соблюдать и т. п.

В Музее Александра III я передал Казнакову купленный мной когда-то у Березина-Шевелева портрет Нелидовой для его книги, и этот маньяк вцепился в него с яростью и стал клянчить, чтобы я ему его уступил. Однако не стану же я при его нынешней бедности брать с него деньги — придется поднести. Обсуждение было очень вялое. Нерадовский запросил неофициально передать наше мнение: приемлемо ли ему приглашение Неманова и Руманова, собирающихся открыть антикварный магазин на строго художественных началах и ищущих себе экспертов, и обещающих задерживать вещи, подходящие для музеев. Липгардт уже согласился и привлекает Стипа, который, однако, отказался. Нерадовский высказался об этой затее в отрицательном смысле, отказался и я. Ростиславова я в Коллегии не застал, вечером он позвонил. Напросился и Неманов, притащив с собой альбом, в котором рядом с превосходными рисунками — хороший швейцарский пейзаж 1839 г., удивительный восточный тип Декана. Не подозревал Неманов, что обладает сокровищем, а я ему это и выложил… Прекрасный человек Замирайло к чаю хоть и напустил своего духа в изобилии, однако на сей раз и порадовал, притащив с собой вторую серию своих каприччо.

Лучший — «Пир во время бедствий» — уже оставил за собой Яремич. Я пожелал себе приобрести два варианта удивительно странных композиций, изображающих какой-то мутный городской канал, в котором купается или же плавает веселая юная женщина; большая лодка с тремя дьяволятами — совершенные сны. В сущности, какой удивительный и подлинный художник, а вот не хватает некоторых вымыслов — и получается калька. Жаль, что у Акицы нет дара к рисованию. Она видит изумительные сны. Я тоже вижу жуткие сны про революцию, расстрелы и проч.

Вечером были Бушен, которому я прочел лекцию о технике (увы, мной не превзойденной) графики, и Володя Зеленков, совсем расклеившийся из-за отсутствия известий о своих [Серебряковых-Лансере, находящихся в имении в Харьковской губ.].

Положение на англо-французском фронте признается критическим… слухи о мире.

Среда, 17 апреля

Утро зря проторчал над Трианоном. Ничего не вышло, отчасти по вине бумаги, отчасти — от настроения.

Днем ходил по просьбе Горького к Скрыдлову, желающему сдать за 400 000 руб. восточный брик-брак, награбленный им в Иедо (Токио). Есть три буддийские иконы. С ним были два типичных «калединца» — отец и сын Кульневы.

Оттуда в Эрмитаж. Заседание происходило в библиотеке картинного отделения. Шмидт убил своим испещренными паузами докладом. Меня вызвали на заседание Коллегии искусств. Спор Чуковского и Альтмана. Последний горит желанием приложить к делу декрет о памятниках.

Вечером Прокошка играл, как Бог. 4-я сюита мне [не?] понравилась — все же это «не его» — только *превосходное упражнение*. Беседа за чаем со Стипом и Замирайло. Последний имеет ужасный изнуренный вид…

Трамваи плохи и дороги. Вся страна в летаргии, но как только наступит подлинный мир, то начнется оживление; возможно, что этот процесс будет бурно-радостным. Я даже за последнее время не так обеспокоен этой задержкой и ощущаю в ней залог *бурной* жизни, которая может смести тех бесов, которые сейчас хозяйничают, — или они сами изменятся, их зловредность окажется не более тяжелой, нежели вредность самого режима.

Суббота, 20 апреля

Становится труднее вести дневник, ибо снова посеял страницы…

Утро я стараюсь сохранить для работы. Сегодня — на заседание в Музей Александра III, а вечером непременно кто-нибудь придет, и время уходит на чепуху, на никчемную уютную русскую болтовню. Два последних вечера я провел дома. Вчера заседание коллегии в Зимнем дворце затянулось до 10 часов. Позднее сидел у Сувчинского…

Настроение у меня благодаря повороту к весне (сегодня дивный, солнечный, теплый день) и на не усиливающийся ужас жизни, скорее, улучшилось. Может быть, окрыляет уверенность, что «идет к развязке дело» во всех отношениях, даже на осатанелом Западе, который едва ли серьезно рассчитывает на возможность продолжения борьбы благодаря выступлениям американцев…

Вырабатывается состояние «сна наяву» и внедряется типичная для сна непременность «скольжения». Большинство явлений скользят мимо сознания или мимо *оценки* сознания. И все до того мерзко, что уже заранее решаешься со всем мириться. Ладно, пусть будет и так, не все ли равно, одной глупостью больше или меньше! Религиозное сознание вовсе парализовано. Даже «официальное кощунство», вроде лекций какого-то идиота, с предоставлением для них зала Зимнего дворца — не возмущает. Что взыскать с дураков, не ведающих, что творят перед обществом, заслуживающим и не такие еще издевательства! Пусть себе! Авось скорее и глубина проявится, весь абсурд чертова наваждения, авось ярче блеснет луч и рассеет его. Покаяние, во всяком случае, в воздухе, но до тех пор оно порядка «военного», «патриотического». Но, может быть, найдет и то, что самое дело было мерзко, и, в частности, что натворили величайшие зловредные глупости именно в порядке нынешних форсированных, стихийных, «благоразумных» интересов масс, почуявших, что продлена борьба за какие-то миражные выгоды, грозящая абсолютной гибелью.

Сказать кстати, дело с нашим кормлением все ухудшается. Жизнь дорожает с каждым днем. А эти безродные идиоты — истинные наследники царистских жандармов (но и дегенераты) — еще с величайшей энергией препятствуют, что попало реквизируют и свозят на списание на свои склады. За последние дни только и слышишь, до чего сурово карают и планомерно на вокзалах отбирают все продукты, привезенные пассажирами.

А факты за эти дни следующие: в четверг я осматривал со Шмидтом и Нерадовским картины в Зимнем дворце. Успели

просмотреть только часть нижнего этажа. Была открыта баталия Ходовецкого 1772 г. (гуашь), ряд искусных работ княжон, дочерей Николая (особенно вид из окна Белой гостиной), прямо для музея портрет Марии Николаевны 1839 г. и много других. Прелестны виды Берлина Гертнера. Очень ловко написана «Приапея». Считаю за Зичи, Нерадовский — за Брюллова.

Произошла встреча с Луначарским. Мы не заметили, что он в кабинете, и продолжали спокойно свою работу и после того, что заметили; я целый час исправлял журнал; выслушали Труханова о переносе военных музеев; было заседание с Гущиком, который изложил свои мысли до крайности бестолково и в таких выражениях, что никто не мог понять.

После обеда пришел Бернштам с сумасшедшим (он положительно ненормален) началом: издавать какую-то книгу о русской скульптуре, по поводу которой он собирается еще устроить, с целью поддержать художников и противоборствовать немецкому импорту, выставку скульптуры. Его сменили Лемке с Гершельманом, сделавшие последнюю, но тщетную попытку меня получить, может быть, еще чтобы я пошел на то, чтобы быть у них консультантом-гастролером. Лемке настаивает на *включении* меня в состав служащих, но я, невзирая на его отчаяние, решительно отказался, приведя очень обстоятельные и убедительные доводы.

Наконец, к чаю пожаловал Эрнст, который за последнее время меня бесит тем, что совсем сделался маклаком, вдобавок скрывающим от меня свои шашни с Яремичем. Впрочем, на сей раз я получил от этого маклачества свою выгоду — он удостоил и у меня (якобы для себя) приобрести ряд вещей (пустяков) и расплатился за них чистоганом. Каков вчерашний босяк!

В пятницу днем мы были с Нерадовским и глухарем Казнаковым на обзоре вещей у Мордвиновых, лучшие из которых решили взять на хранение в Музей Александра III. Закусив по дороге полуторарублевой миндальной лепешкой, затем с Нерадовским пешком пробрались в ОПХ (встреча с Бруни и с Чернягиным). Первый весь в какой-то религиозной затее, второй борется с низшими служащими, грозящими разорить все издательство Общины св. Евгении. Затем в Зимнем на заседание коллегии: оная заседала так утомительно, затянулась до 10 часов, причем было сказано много неприятных слов Ятманову по вопросу о памятниках. Этот хитрец вздумал нас надуть дурацким прельщением: «Ведь вам дается случай, который едва ли повторится, убрать с площадей уродливые статуи!» И по вопросу о заселении Александровского дворца пролетарскими детьми (тут он вздумал уверять, что это уже решенное дело — будто бы совершенно с нашего согласия и одобрения): «К этому мы еще

вернемся в понедельник». В свою очередь, он довольно-таки бессовестно мучил коварными придирками, являвшимися объяснением своей крамолы. Я обмолвился тремя словами со Штеренбергом, который мне отвечал вуй-вуй, хитро, как всегда, подмигивал (мы, мол, с вами авгуры, нас не проведешь) и очень пренебрежительно отозвался о своих соглашениях по Коллегии «семерки».

Выходя, мы повстречались в передней с целой гурьбой каких-то молодцов и среди них — с двумя братьями Сучковыми (словом, мясоторговцами). Оказалось, что это банда художественных учащихся Москвы, приволоченная Луначарским для борьбы с контрреволюцией, — затея Таманова. В Зимний они пришли *ужинать*, и вот в одной такой детали видишь, какие большевики — ловкие практические фрукты. Им бы заниматься коммерцией, а не государственным делом огромного формата!

Сегодня утром мы первый раз собрались для образования бытового отделения. При некоторых несущественных возражениях принят в руководство мой план, основная мысль которого — создание ансамблей, дающих понятие о разных моментах истории русской культуры. Лишь в добавление к этому главному, долженствующему «направить волю» данного музейного собирательства, — будут по мере накопления предметов образовываться отделы, собранные по признаку производства (стекло, медь, фарфор, одежда). Туда же приехал ко мне Тихонов (в последний раз, я надеюсь), пытающийся меня получить для «Новой жизни» по вопросам конференции ученой молодежи, о конфликте между Союзом и властями о памятниках.

Тут же он мне рассказал о вчерашнем собеседовании на квартире Горького (сам Алексей Максимович болен суставным ревматизмом, лежит и на диспуте не присутствовал) между представителями Союза (Алешиным, Тамановым, Ф.Сологубом и Лялевичем) и Луначарским, кончившемся вроде как бы конфузом первых, от навязывания государству участия коих Луначарский отказался. Так и заявил, что Союз «не считается с демократией, старается этого бегемота, забравшегося в посудную лавку, утихомирить, вывести», а потому пренебрегает всем, что базируется на парламентарном начале подсчета голосов и механическом коллективном подборе, оставляя за собой право проводить выборы этих коллективов, тех лиц, которые ему представляются полезными. Подобную мысль я бы мог только одобрить (вплоть до логически отсюда вытекающего образования «бесконтрольности», диктаторства), но, увы, тут же следом начинается бред.

Об этом самом диспуте сообщил мне потом в антракте

концерта, на который его затащил пришедший за выправкой заграничного паспорта Прокофьев, сам Луначарский. В общем, его рассказ не разнился с руганью Тихонова. Только он стал особенно подчеркивать предложение услуг, произошедшее вслед за собеседованием, тех самых лиц, которые только что были его оппонентами (согласно своему обычному приему, он мгновенно отпарировал глупейшую ересь представителей Союза), заторопился на другое заседание, но по дороге застрял в столовой, где выпил чаю. И отдельно появился сегодня Сологуб в Зимнем. Вчера он произнес грозную фразу а-ля Троцкий: «Значит, вы нам объявляете войну?» Ныне пришел просить субсидии или помещения для Союза литераторов. Луначарский хочет им дать дом Бобринского. В добрый час!

По вопросу о памятниках Луначарский воспарил на крыльях (авось Икаровых) самой пошлой демагогии, стал разводить какую-то ахинею о том, что это «свержение истуканов» будет происходить 1 мая при организованном участии пролетарских масс, под их *свист* (тоже организованный!). Любопытно будет узнать, каких именно «истуканов» они бросят толпе (это нашей-то благодушной инертной толпе!). Ведь нас, «Коллегию», Ятманов заверил, что ни единый художественный памятник не будет тронут! Следовательно, они хотят поставить и нашему Богу свечку, и ихнему черту кочергу. Причем со свистом полетят разве только в Москве Александр III у храма Спаса (ох, трудно будет стащить!) и царский услужник Скобелев, а у нас оба «Петрушки» Бернштама. Что за гнусное, вдобавок, *бессмысленное и опасное мошенничество*! А все-таки я постараюсь не выступать с этим в печати, дабы не дразнить гусей. Авось закулисной агитацией мне удастся больше сделать, чем прессовой шумихой. На днях по этому поводу у нас будет соединенное заседание с «семеркой». Ох, не поколотить бы кого из-за этой доктрины!

Луначарский закончил свою речь обычным освещением момента, из которого явствует беспредельное преимущество советской власти. Кроме того, Таманов мне сообщил, что приехавшая из Москвы молодежь намечает меня (!) в качестве «лидера центра и левого крыла» и собирается идти ко мне с депутацией. Они-де теперь убедились в том, что, не поддержав меня в прошлом году, они сделали тактическую ошибку. Они-де раскаиваются, они-де всецело верят мне. Увы, мне-то от этого не легче. Прожитый год отчасти и благодаря им подорвал во мне всякую иллюзию о возможности для меня участвовать в общественной работе. Теперь, с тех пор как все разорено и испорчено, ничего общего с тем, чего тогда хотели достичь, нет в такой образцовой цельности. В частности, по вопросу об

Академии художеств и о художественном воспитании я просто не имею никакого мнения (поэтому меня мало тронуло ее упразднение, и я лишь не одобрил техническую бездарность, с которой «семерка» это безрассудно исполнила!).

Днем я слушал симфониетту Прокофьева на генеральной репетиции в Певческой капелле (очень милое, но недостаточно пикантное стилизованное упражнение вундеркинда, который пожелал показать, что он и так умеет. Здесь, впрочем, не только это. Уже в 4-й сонате сказывается увлечение Прокоши классиками (очевидно, он их теперь «открывает»), здесь же это выразилось еще явственнее). Любопытно, что сам он *никогда* о них не говорит. Вообще от него никогда не услышишь нот энтузиазма. Я думаю, однако, не по отсутствию в нем оного, а по известной стыдливости. Ему приятно это беречь про себя.

Обедал я и кончил вечер у Сувчинского, где снова Про-коша играл 3-ю и 4-ю сонаты, и специально для меня Шимановский сыграл свои фортепьянные пьесы «Дон Жуан», тантрес и этюды. Последнего я понял и более или менее одобрил. Пианист он феноменальный во всяком случае, но, во-первых, я увидел лишь не лишенную нахальства и чисто внешнего мастерства подделку подо все что угодно — и в особенности Стравинского. (Боже, что сегодня Малько сделал с «Жар-птицей» — получилась просто тусклая бездарщина.) Забрел с Луначарским Лурье, которого затем умчал к «молодежи» Пунин. Снова рядом со мной очутилась несносная красавица Паскар. Присутствовали, кроме обычных — Мясковского, Асафьева, Бюцов и Прокоши, — Черепнин (необычайно ко мне располагающий и ныне восхищающийся Прокофьевым), Дидерикс и Ко-ханский, из кожи лезущий, чтобы меня убедить в архаичности Шимановского. Не слишком ли велико процентное содержание жидовщины в этом милом салоне!

Из новостей политического характера меня как петербуржского обывателя больше всего встревожила объявленная решимость не отдавать Кронштадта и Петергофа без упорного боя. Не значит ли это, что военные суда, запрудившие за последние дни всю Неву и заградившие улицы представителями «красы и гордости революции», просто устроят перед вступлением немцев (почему-то обещана и финская белогвардейщина) разнос всего и всех? А впрочем, ведь это только разговоры! Вроде тех, которые протестовали отдать Харьков и многое другое. Вот что скажут пироксилиновые склады в Гавани и запасы ненайденного тротила! В том же, что немцы пожалуют, никто не сомневается (на таковое их намерение указывают и участившиеся ультиматумы). Характерные сегодня

статьи в «Вечерних огнях» и в «Эхе». Англичан немцы продолжают теснить, но Амьен все еще не сдан.

Воскресенье, 21 апреля

Сегодня в «Новой жизни» рассказано о «собеседовании» Луначарского с Союзом в квартире Горького совсем так, как это мне передал Тихонов, и так это, вероятно, и было. В ожидании Черепнина прочел принесенную Сашей от отца сказку «Вандея» Бакрылова, но не вынес впечатления, чтобы она годилась для инсценировки — путано, нагромождено, мораль больно примитивная, герои слишком схематичны. Впрочем, быть может, если отлежится в голове, то и вынесу оттуда что-либо полезное для сцены. Черепнин, пришедший в назначенный срок — в 4 часа, сразу со мной согласился и тут же предложил новую идею, которая мне кажется более интересной: переложить в музыкально-кинематографическое действие повести Гоголя «Шинель», «Невский проспект», «Нос», «Коляску». Я бы еще рекомендовал «Портрет», но вот картинность… Несмотря на мое давнее увлечение синемой, у меня нет до сих пор никаких связей с миром ее техников. Точно какой-то рок всегда удерживал меня от этой области. Порешили, что я отыщу Арисменди, и через него попытаемся приблизиться к кинематографу бывшего Скобелевского комитета.

После его ухода полечил свою голову и в то же время рассматривал отпечатки еврейской графики, том собранных Анненковым материалов, к которым он просил, чтобы я написал текст. Вечером он пришел сам и очень подробно, со свойственными ему вкрадчивостью и покорностью, объяснял нарядную картину. Все это очень интересно, но, боже, как убого, как ничтожно. Гнусные лубки воспроизведены так, как еще не удостаивались акварели Эрмитажа. Что я напишу? Единственное, что было бы интересно, это сделать серьезное сравнение изложения, указать источники, попробовать выяснить расовые особенности, протянуть нити от волынских жидков, авторов всяких скандальных «пинкусов», к Баттистини, Алламану и Альбертинелли [?]. Но ведь это потребовало бы огромного труда, к которому у меня ввиду относительной ничтожности темы, раздуваемой «национальной гордостью» еврейских патриотов, вовсе не лежит сердце.

Наконец, приходил Пуни. Оказывается, я его вижу в *первый раз*, а то, что я смутно считал за него, не было им. Пикантно изможденный любострастием Богуславской, черный, остроносый

тип испанца. Даже годился бы для Лоренцетти. Держится он необычайно сконфуженно и робко. Милая, хотя и болезненная улыбочка. Ни за что не скажешь, что в нем живут «бури тщеславия». Да и живут ли? Не есть ли то, что мы принимаем в футуристах разного рода за «бури», просто всплески беспомощного ребячества, потому только и могущие производить впечатление бури, что вокруг так безнадежно гладко и тихо? И действительно, их отчаяние должно быть жутким. У нас сложилось отчаяние на почве нашей неприменимости. Мы прошли мимо общества, не дав ему и сотой доли, что было в нас вложено, мы разменяли очень большие возможности вследствие желания хоть что-нибудь дать невежественному и невменяемому, нами вечно ругаемому, но все же любимому обществу. У них же (у наиболее умных среди них) где-то в глубине души должно жить ощущение полной непригодности рядом с полным игнорированием общества. Они *абсолютно беспочвенные*, это уже сплошной и голый эстетизм, не имеющий никаких жизненных корней. Отсюда и их злоба, их суетня мелких бесов.

Приходил Пуни ко мне, отчасти чтобы как-то зондировать почву: не пойду ли я с ними (как я пойду вместе с мировым авангардом, против кого? во имя чего?). Тут же на мое изумление: неужели эти шашни и интриги с Союзом деятелей искусств могут его интересовать? — он мигом сдал позицию, мигом согласился, что лучше в это не впутываться, и сейчас же вслед за этим стал говорить о необходимости сплочения художественных организаций. Ну, словом, полная и жалкая сумятица. Я все же его пригрел, ибо нельзя знать, из чего может еще что-нибудь выйти. В нем есть что-то милое, расовое, близкое — при всем своем интернационализме я ведь очень чуток к этому и как-то особенно слаб к «братьям-итальянцам», а затем он все же не бездарен вообще, если судить по его литературе.

Сейчас он занят декорированием плошали Зимнего дворца. О, беспредельно наивный варвар!

В Анненкове меня еще поразила его типичная для наших дней путаница в оценке момента. Тут есть и паника перед советским разрушительным дилетантизмом, и ужас перед неизбежной «пугачевщиной» (попросту поголовным истреблением всего, что «чисто одето»), и какое-то умиление перед благодушием русского человека (причем в подтверждение был приведен длинный и очень живописный рассказ о каком-то полковнике в Волыни, который безвластно мучил и сейчас же затем миловал несчастных местных жидов). Но все же больше всего Анненков боится немцев (он-де видел виды, знает их жестокость во время галицийского похода). При этом он уже

совершенно в тонах нового времени 1914 г. говорит о планомерном немецком засилье: не то плохо, что засилье есть и будет, а то, что оно должно быть как неизбежное следствие нашей рыхлости и вот именно той бурды, которая пронизывает всю нашу русско-жидовскую культуру и отражением которой может служить как любой номер любой газеты (начиная с «Речи» и кончая «Красной»), так и речи таких почтенных и милых «русских» людей к Англии. Господи, как бы выбраться из этого сумасшедшего дома? Да куда и выбраться, когда ныне все с ума сошли, когда нигде на всем свете не слышно мудрого человеческого голоса!

Акица была, наконец, после шести месяцев, у Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой в ее новой, огромной, пустой квартире в Военно-медицинской академии. Никого им не вселили. Зато низшие служащие ровно ничего не делают (как и повсюду): типично, что швейцар в подъезде не только не отворил дверь, но даже не встал со скамейки, на которой возлежал в самой непринужденной позе. Интерьер у Анны Петровны очень приятен тем, что все окна в сад, но все же тоскливость чувствуется полная. Отчасти из-за того, что горсточка мебели, которой у них не было, совсем распылилась в тех двенадцати хоромах, которые им предназначены. Впрочем, сейчас у них большое семейное горе: родич Анны Петровны сошел с ума, тоскуя по своей родине — Варшаве, и интернирован. Самого Сергея Васильевича не было дома, но он пожелал перемолвиться с Акицей по телефону из лаборатории. Неужели все еще создает ядовитые газы?

Свидание было очень трогательным. Как будто все недоразумения забыты, однако слегка лишь коснулись политических тем. Акица убедилась, что там ничто не изменилось и что она ничем не поумнела. Ведь нынче у всех этих «кадетствующих» выработалась чудесная теория, их вполне оправдывающая. Все построено на том, что их-де не послушали. Они искренне не видят того, что милюковщина и вытекающая из нее родственная с ней керенщина загнали Россию в последнюю петлю, бросили в объятия анархии и большевистского бедлама (возможно, что этот бедлам означает в то же время начало спасения), а вот помнят они только то, что раньше («даже при Николае») было лучше, видят, что теперь гибель неминуема или, вернее, мы ее переживаем, и всю вину за такую разруху они вменяют тем, кто выступает против их кумиров, кто сейчас мнит себя хозяином земли Русской. Того, однако, что имеется на самом деле, никто не видит и не оценивает. Больше двух лет хозяином земли русской являлся *голод*, к которому нас привела непосильная (по милости нашей *неисправимой* рыхлости) война.

Не хотят они понять и то, что «страна Толстого», народ, отдавший наполовину свою священную столицу, противился войнам Крымской, Турецкой и Японской кампаний, всегда спасаемый чудом, а не стойкостью и доблестью, вообще к *войне* не способен. Мудрость Александра III заключалась именно в том, что он это главное понимал. Но весь ужас в том, что он, понимая это главное, выбрал наименее целесообразный способ, чтобы гарантировать Россию от войны — союз с врагами доброго соседа! Видно, так для чего-то нужно было. Но, во всяком случае, для массы буржуазных обывателей уроки и войны, и революции прошли даром. Они *главного* не поняли, и потому нам предстоят испытания еще более горшие…

У Анджело великолепная рембрандтовская физиономия. Верейский, подошедший к чаю, в восторге от нее.

Понедельник, 22 апреля

Утром пустяковая, но все же неприятная история с исчезновением бутылки вина — подарка Линтона, который я берег как зеницу ока в качестве врачебного средства на случай простуды. Приходится в этой пропаже заподозрить скорее Лелю, за которой водится подобная клептомания. Вероятно, она ее снесла в школу, конкурируя с Надей в изыскании милости Попова (та перетаскала половину спасенных остатков погреба). Разумеется, полное отрицание, но я уже разучился ей верить. Неприятности у нас и на кухне из-за решения Акицы расстаться с Теклой… Каждый день у нее новое решение: то едет к себе в Витебскую деревню, то остается, то просится, но грубит. Дворник Дементий уськает на нас, учит ее жаловаться в комиссариат. Она у него в подозрении относительно слишком катастрофического расхода дров. Катя уверяет, что нашими дровами отапливается Тауберг. Нет возможности бороться с этим злом — кражей дров…

Заседание у нас прошло без нашего официального председателя, который с головой ушел в приготовления к первомайскому празднику. Там в «Ятмановской» — прямо базар; в величайшем возбуждении Богуславская, она в восторге от «левого» творчества. Миллер даже в шутку утверждает, что это заседание окажется последним. Присутствовал хранитель Военно-армейского музея Печенкин, который весьма невежливо отзывается о действиях Гущика. Но и то хорошо, что теперь у нас будет контакт с почтенным деятелем старого типа. Почему Верещагин не входил с ним в общение?

Снова в кулуарах встретил Прокофьева. Он все хлопочет о

паспорте и выгодном размене своих 1000 рублей на доллары.

Акица вечером пошла на заседание домового кооператива, но, просидев четверть часа, наслушавшись пререканий, почувствовав атмосферу русской безнадежной трясины, сбежала. Пусть устраивают, как хотят… вытянут с нас аванса 100–200 рублей, но, может, и нам дадут пуд картошки или десять фунтов сахару. Теперь все вертится только вокруг того, что бы положить в свой ненасытный карман.

К чаю пришел Стип. Знаменательно, что и с ним теперь трудно становится говорить о политике, просто потому, что он совершенно охладел к ней, совсем не читает газет и лишь интересуется своими коммерческими стратижемами.

Вторник, 23 апреля

Глупость большевиков становится омерзительной. Ведь вся надежда была на то, что они умнее и жизненнее своих теорий. Это они и давали всячески понять. Их красивый социализм подкупал каким-то естественным самоотречением. Идите править с нами, с какими угодно лозунгами, но дальше дело требует жизни, не дайте погибнуть. Ведь вы умнее, ведь вы не позволите губить себя, а следовательно, и нас, подобно другим спасителям, как «мистический христианизм». На деле у трезвых умников оказался тот же авантюризм и безумие прожектерства. Последняя надежда на спасение была в столь ожидаемом возобновлении торговли с заграницей. Во имя ее — забота Ленина про «позор мира». Не тут-то было. И здесь олухи отказались от намеченного, издают декреты, объявляющие всю внешнюю торговлю *национализированной* — иначе говоря, обреченной на паралич. Разумеется, наши неисправимые оптимисты (те самые, что два года назад при катастрофе уверяли о неисчерпаемых запасах, те же самые, что год назад двигали «наступление») — эти оптимисты-маниловцы вперемежку с чичиковцами (Чичиков тоже был мошенник русской фаталистической зависти, отчего и прогорел) утверждают, что декреты будут обходить, что с ними не станут считаться, что немцы наведут порядок и т. п. Но я и во все это (истинно позорное) не верю. Обходы закона будут минимальные, сравнимые с силой его применения, и не они могут спасти нас от абсолютной гибели. И сегодня видно, «что наяву» все дополнения ко вчерашнему декрету меня ужасно глубоко потрясли…

Иду я от Зыбиной (машинистки газеты «Речь»), которой снес новую партию записок (бедная Е.И. удручена домовыми дрязгами; напротив, в «Речи», она говорит, все довольно бодро, и ее поддерживает то, что она по-прежнему думает, что они что-то знают).

Иду мимо Летнего сада, выхожу на Лебяжий мостик, с которого открывается широкий простор Царицына луга, всегда возбуждающего во мне детские воспоминания о майском параде, и вдруг глазам своим не верю: прямо передо мной на тумбе сидит кукла не кукла, человек не человек, какая-то странная фигура в одежде тех самых александровских солдат, которые дефилировали в былое время на этом плац-параде. В сияющем солнце (совершенная весна) та ветошь, в которую одет этот бравый атлет, производит ужасающее впечатление; кое-как еще

блестят позументы на французском кепи, нашивки по рукаву, пуговки медные, ярко-красные, кажется, пластрон на груди, лишенные шнуров погоны, зелень сюртука отличается от старых брюк. В каких комодах пролежало все это державное барахло, имеющее характер маскарада, какой нафталин предохранил его от моли? И где проживал сам этот старец, все еще бреющий бороды-бакены, как это делалось в 1860-х годах? В каком-нибудь инвалидном доме, из которого его теперь вышвырнули большевики. Вид у этого выходца такой жуткий и печальный, что все прохожие останавливаются и дают ему бумажные копейки, которые он с величайшим трудом своими закоченевшими пальцами старается впихнуть в кружку. В ответ на каждую подачку он вскидывает глаза к небу и патетически шепелявит беззвучные благодарности. Иногда он даже кладет кружку на колено и молитвенно складывает руки — и тогда окончательно становится похож на какого-нибудь отца церкви Гвидо Рени, и тогда особенно видно, что этот человек другого времени, других чувств, других навыков. Но человек ли? Не призрак ли? Не вымысел ли автора «Стереоскопа»?!

После обеда всей семьей пошли в кино смотреть Лину Кавальери. Ятманов занят… Аллегри по телефону меня известил, что не может по болезни быть в мастерской, и таким образом у меня случайно освободился вечер. Каково же было наше удивление, когда на полпути мы встретили Ореста в сопровождении своей Екатерины Павловны и Павлушки! Мы их потащили с собой и вместе встретили невозможную пошлятину, поданную в сопровождении дьявольских изъянов. Е.П. не очень нам понравилась. Ее определено восточная красота несомненно поблекла. Дама она энергичная и совсем забрала помолодевшего старика в руки. Павлуша тоже к ней ластится, как к родной. Более всего приятию ее мешает обывательско-претенциозный тон, ее французский говорок, насмешливость, желание показать свою монденность. Но, в общем, видно — Аллегри счастлив — и это все, что требовалось доказать.

Среда, 24 апреля

На события вне коммунистического района, иначе говоря, всего света, опустился какой-то густой флер. Мы даже в точности не знаем, что делается под боком, в Финляндии. И эти люди были против «тайного» и «обманов». Зато процветают, кроме всякой официальной лжи, всевозможные частные выдумки. Вероятно, к таковой принадлежат и исходящие тревожные, по недостатку

утешительных, сообщения в «Эхо», будто между Украиной и Германией начались серьезные нелады. Впрочем, возможно и то, что милые кривичи стали снова сеять смуту, и пришлось прибегнуть к репрессиям, что вызвало протесты лиц, боящихся, чтобы на них не пала ответственность за эти слишком решительные действия.

Сейчас занят приведением в порядок первого варианта «Помещика в деревне», который Акицей найден в одной из папок и в свое время был брошен из-за недовольства ватманной бумагой. Сейчас же он мне больше нравится, он свеж в тоне, нежели окончательное воспроизведение Кнебеля. Кроме того, занят скучнейшей работой — раскраской оттисков к «Медному всаднику». Никак не могу найти (бумага виновата) приятных комбинаций красок. Наконец, решил большинство сделать одноцветными.

Яремич взял у меня несколько старинных Бакстов для продажи и ныне принес вырученные за них деньги. Приходится прибегать к такой торговле моим архизнаменитым другом, ибо у Добычиной застой, а деньги у нас катастрофически тают. Хоть мелкое подспорье.

Яремич подозревает, что Наумов пробирается в комиссары Общества поощрения художеств, и просит меня за них заступиться перед Штеренбергом. Завтра же это исполню, уже для того, чтобы не дать этой тоскливой бездарности Наумову влезть в то дело, которое начало налаживаться. Как раз теперь Яремич развил в Обществе коммерческую сторону (основу всякой силы возрождения, а главное, *независимости*), и было бы весьма печально, если бы ему в этом явились помехи со стороны какого-либо «школьного самооправдания».

В Зимнем было два заседания: комиссии и Коллегии. На первом Путя (Вейнер) прочел свой протест против принятия членами Коллегии участия в актах экспроприации частной собственности (как раз на днях ему снова пришлось присутствовать во имя охраны художественных сокровищ при взломе железного ящика — комнаты Калинникова). Мы все единодушно к этому присоединяемся. В Коллегии, на которой снова не присутствовал совсем ушедший в празднество 1 мая Ятманов, было предложено мне постоянное «товарищество» председателя (при этом расчет тот, что отсутствие председателя вообще станет хроническим и товарищи должны его замещать), но я наотрез отказался от такой чести, сопряженной с постоянным контактом с омерзительной бездарщиной и глупостью «властей».

Начато обсуждение впечатлений, вынесенных от обзоров

Эрмитажа. Я считаю, что, с некоторыми исключениями, там обстоит все благополучно, но что нормальному развитию мешает теснота, поэтому я предлагаю художественный принцип расширить на весь Зимний дворец плюс Эрмитажный театр, который бы мог служить временно аудиторией по художественно-историческим лекциям. Предложение было очень одобрено, но, наверное, оно пойдет под сукно волокиты, которую собираются развить наши два крючкотворца: Миллер и Романов. У них всегда всякому поступившему движению по главной линии, всякому акту воли предшествует миллион «тончайших рассмотрений».

К обеду Асафьев — милый, но утомленный своей страстью к каким-то архифинансам. Сегодня без конца развивал свою идею о схемах, в которых я понимаю далеко не все, а с другой стороны, он трогателен своей поглощенностью в музыку, и радостно, что он во мне нашел, в общем, довольно «созвучного» слушателя. Я, в свою очередь, ему устроил род экзамена по Делибу, служившему у меня пробным камнем *свободы* восприятия, чуждого по существу снобизму. Экзамен он выдержал на 4+, и, кроме того, я его разбудил на то, чтобы по окончании войны заняться (в Париже, в Версальской библиотеке) изучением источников французской музыки вообще: откуда есть и пошли Куперен, шансон и шансонетка, как все эти по главной линии протягиваются через Рамо, Гретри, Обера и Гуно к Бизе, Дебюсси, Равелю. Тут и Делибу окажется весьма значительное место. Понравилось мне и то, что он не прочь признавать достоинство Массне. По нынешним временам — это просто смело до дерзости. Что бы сказали Лурье, Малько, Каратыгин или хотя бы божья коровка Тимофеев… Ох, какая мука, что нет-нет да упомянешь их. К счастью, мне Нотгафт подарил дефицитные леденцы, которые я спрятал себе в письменный стол под ключ и постепенно принимаю в минуты особенно нервного раздражения. Но что будет потом? Читаю Вилье, и все менее и менее он мне по душе. Вот что устарело и может возродиться только со временем под игом пассеизма.

Бедный архитектор Эрмитажа Крамской после каждого заседания спрашивает меня по телефону, как обстоит с его делом. Но мы даже не касаемся его дела за отсутствием Ятманова, за которым теперь слово. Все, впрочем, согласны поддержать Крамского — сына живописца, смещенного с должности.

Четверг, 25 апреля

Вчерашние известия об Украине едва ли верны. Сегодня в

«Речи» никаких подтверждений нет, а между тем ведь это было бы для них дефиницией. Главная сенсация — приезд в Москву Мирбаха. Фрондирующий тон плохо прикрывает те надежды, которые возлагаются на этого спасителя. Но в связи с этими — уже трения после обсуждения положения союзников. В «Вечерних…» чувствуется прямо какая-то досада: чего еще упрямитесь и не сдаетесь?! Неужели просыпается реальное сознание положения?

Утром ходил в шведское посольство. Никаких вестей насчет денег от Фокина нет. Г.Лундберг, заставивший меня прождать три четверти часа (ходил завтракать), был улыбчив, но куда менее любезен, нежели в те разы.

Вдоль набережной стоят теперь десять или пятнадцать новых военных судов средних калибров. Команды на них мало, вид у них понуренный. С них сносят всякие обывательские пожитки: комод, умывальники, матрасы — быть может, награбленные! У самого посольства происходил смотр (совершенно опереточный по своему разгильдяйству) какому-то отряду, часть которого тут же валялась на панели. Подойдя ближе, я убедился из возгласов и разговоров, что это финские красногвардейцы. Как же говорится, что советская власть сюда ступать не будет?

Днем в Зимний. По пути встретил Марию Александровну, которая очень встревожена каким-то покушением Щедрина. Все теперь склонны видеть во всех мошенников и экспроприаторов. Позже выяснилось, что это Чекато. Штеренбергу я успел сегодня шепнуть о Стипе и Обществе поощрения художеств: «Зачем им комиссар, если они частное общество? А впрочем, если сами хотят, то это хорошо». Ведь он стоит на точке зрения свободы школам. И, вероятно, мой забег был своевременен, ибо в приемной я встретил Наумова, которого я до сих пор в Зимнем не видел. От Штеренберга узнал и о том, что снова что-то не клеится с Грабарем. Даже получил от Татлина, превращенного в секретаря какого-то там Коллегии и обязавшегося не давать Грабаря в обиду, тревожную телеграмму о каких-то новых интригах…

Верещагин напуган сообщением, что у памятника Николаю I начались приготовления для его сноса, поставлена мина, собираются кучи народа. Сегодня же мы отправились с ним и с Нерадовским и случайно оказавшейся тут же депутацией к Луначарскому. Он успокоил нас совершенно: что-де Ятманов там предпринял какие-то украшения к 1 мая, и вообще ни единый памятник не может быть удален без предварительной санкции (или, по крайней мере, обсуждения вопроса в соединенных коллегиях). Разнесся слух, что объявленная мобилизация Пунина отменена. С особым тщанием он показывал какую-то

телефонограмму, «еще не известную самому Луначарскому», где это подтверждается, но только в области Спасского района. Позже выяснилось, что весь слух этот основан на подобных частных районных постановлениях. Замечаем, впрочем, что и слух никого не взволновал. Тут же в «Верещагинке» околачивается старик Горчаков, страшно на меня обидевшийся за то, что я нашел его скорее помолодевшим. Он отстаивает свой особняк, который до сих пор был занят каким-то ликвидационным учреждением (вероятно, земгорского типа) и на который изъявляет претензии некий «Пролеткультотдел». Курбатов убеждает его добровольно уступить часть под музей (другого не выдумаешь), причем он сам остался бы в верхних комнатах. Но глупый и упрямый старик уперся на своем: не надо, и, вероятно, это кончится его полным выселением. Говорят, он совсем разорен. Чайковские третий день обитают в костеле сестер милосердия.

Вместе с Коллегией прошлись по залам, где пишутся панно к 1 мая. Боже, какая профанация, какой безумный вздор! Не бог весть какая красота — официальные холодные залы дворца, но какими они кажутся великолепными рядом с той жалкой «брызжущей» живописью, что творится у подножия их колонн. Какие-то заморенные художники марают по миткалю футуристическую бурду по проектам Пуни, Штеренберга, Богуславской-смотрящей. Тут же некоторые из мастеров: экзальтированный Пуни, Володя Лебедев, как раз писавший какую-то страстную фабричную блядь, долженствующую выражать «работницу»! Снова полная иллюзия, что сумасшедшие завладели жизнью.

Для очистки совести прошел лично к памятнику Николая I — проверить товарища Луначарского. Вероятно, он прав. С памятника ничего не снимают. Лесенка ведет к ногам коня, и под его брюхом болтается бандероль. Идиоты! Толпится народ. Рабочих никаких.

Пятница, 26 апреля

Письмо Луначарского — верх нахальства. Все утро убил на сочинение ответа, который как будто удался. Самого Луначарского уже в Зимнем не застал (мы должны были идти к нему депутацией по вопросу о царскосельских дворцах). Я попросил доставить письмо Труханову через Штеренберга (или как будет удобно). Предварительно же его прочел Романову, Лукомскому и Вейнеру. Во дворце кипит работа для завтрашнего дня, перед дворцом идут какие-то приготовления, тащат какие-то

жерди, привязывают веревки. В общем, уже впечатление домашнего убранства и конфуза. И едва ли они поспеют. Прошел на дворик между садиком и дворцом посмотреть, в каком положении коллекции для шествия, но оказалось, и они имеют совершенно бесформенный вид и кажутся весьма жалкими рядом с исполином-дворцом. Для другой коллекции готов только трон — просто большой глухой стул, обитый красным. Тут же три художника-пролетария что-то мажут, а двое других что-то прилаживают — вяло, уныло, сопливо. Самих главарей я, к счастью, не встретил. Говорят, должен быть А.Т.Матвеев.

В Зимнем встретил Н.П.Лихачева, обросшего бородой и превратившегося в какого-то патриарха. Он лишился своего места, у него все отобрали, и он со своим странным семейством терпит форменную нужду. Всем этим «бедняга» так расстроен, что боится ходить один, и его сопровождает какой-то фамулус с веселыми пронырливыми глазами. Пришел к нам за охранным листом. Был до чрезвычайности любезен, не то что в дни славы, когда он любил подпускать важность и «невнимание». Я его постарался утешить обещанием, что все нынешнее ненадолго. Зубов был очень поражен и напуган, когда я высказал предположение, что между ним и Шаховской нелады. Напротив, я считаю, что княгине совершенно не место в Гатчине, она необычайно полезна, и мне через нее все удается сделать, хотя я там не сидел. Но страшно в это все входить, и всякая белиберда — например, из Кухонного каре сделать картинную галерею, сохранив, следовательно, все нынешние картины во дворце, — для кого?

На заседании в Музее Александра III я председательствовал, но царила такая скука, что я даже дважды под шумок словопрений заснул (надеюсь, это не заметили?). Докладывал Романов из Москвы, настаивая на возвращение экспонатов в Эрмитаж ввиду того, что там назревают события, а вещи в Кремле — под охраной лакеев, роющих друг другу ямы и вовсе не настроенных спасать вещи от гибели. Но как это сделать? И не упустить из «столицы» то, что ей надо, так как глупо отдавать в упраздненный Петроград! И как провезти, какой охраны хватит, чтобы их довезти в целости? Разве прибегнуть к универсальному средству — к латинянам?

Ожидая трамвая, чтобы ехать к Прокофьеву (пришлось все-таки дойти пешком и оттуда домой), встретился с Карсавиной. Она имеет сведения, что Брус собирается на несколько недель сюда. Как будто она этому не слишком рада.

Прощальное посещение Прокофьева сопровождалось для меня ощущением из «Стереоскопа». Он живет на той же лестнице,

на которой и мы жили (двумя этажами выше) в 1899, 1900, 1901 годах). Я поднялся до самой нашей двери. Приятного ничего не вспомнилось: но все же что-то щемило. Курьезно, что «конфигурацию» двора я совершенно забыл, зато признал совершенно загаженную роспись стен. Вспомнились почему-то визит Волконского, встреча Кости Сомова и Сережи Дягилева после ссоры, красивая швейцариха, которая сломала себе ногу.

У Прокофьева я первый раз. Обстановка самая банальная — мелкочиновничья. Некоторую артистичность ей придает беспорядок и то, что вся мебель — по-летнему в чехлах. Его отъезд ориентировали два его больших поклонника — большеголовая, непрерывно осклабляющая аферистка и гризетка мадам Миллер, вызвавшаяся переводить его роман на все языки и, видимо, готовящаяся при этом его совершенно забрать. Кроме того, были почему-то очень возбужденный Сувчинский (он был на днях у Шаляпина и видел там Экскузовича, который уже претендует на директорство театром, но в то же время низкопоклонничает перед Федором, которого по этому случаю совсем облачил в «Бориса»), совсем развратный Асанов, а теперь друг Прокошки — поэт и величайший осел и моветон с претензиями на шик, обозливший меня тем, что он «ожидает момент, когда сволокут памятник Николая Палкина»! И ведь такие господа воображают, что они очень передовые. Ох, не мешает Прокошке порыскать по свету, отведав всякой нужды и горя, чтобы отстать от подобной среды, чтобы сбросить с себя «провинциального гимназиста»! Попрощались очень трогательно. Я ему вручил письмо к Милечке Хорват в Крым и к Саше Яше [живописцу Яковлеву].

Вечером рассматривал с Верейским папку французских гравюр. Милый Верейский очень увлекается офортом. С ним смешно смотрелся Замирайло, становящийся все более ручным, и Сазонов, сын дипломата, уезжающий на днях на дачу. Напротив, Леля, хотя и сегодня туда же, но весь вечер проболтала со Стипом о духах. Сазоновым она, несомненно, не увлечена, а кокетничает с ним только из-за желания таскать за собой хвост поклонников. Масса общего с ее теткой Марией Карловной.

Все ожидают назавтра всяких бед. Но покамест мы слышим только пальбу ракет, пускаемых с судов, и видим взлеты римских свечей.

Беседовавший со мной утром по телефону Б.Романов сообщил, что мимо его окон прошел отряд матросов с черными знаменами. Сегодняшний номер «Новой жизни» до чрезвычайности характерен для наших дней.

Суббота, 27 апреля

К вечеру вчера надвинулась на всех какая-то тревога, разогнанию которой, разумеется, не способствовали ни фейерверки, ни ружейная пальба. Поговаривали, главным образом, о готовящихся протестующих манифестациях рабочих. Часов около 3-х стреляли у нашего дома, и вполне понятно, что я остаток ночи провел несносно, томясь в бесконечности, то принимая самое деятельное участие в кошмарах (особенно запомнился один — с бегством через подземелье, выведшее меня к 1-й линии, но тут на меня пошли красноармейцы, и лишь пробуждение спасло меня от расстрела).

Самый же день прошел совсем спокойно, чинно, и я даже отважился совершить со Стипом и Эрнстом, пришедшими к завтраку (первый пришел за отобранием для продажи рисунков и гравюр), большую прогулку к Зимнему дворцу, а оттуда мимо Николаевского моста к Стипу, угостившему нас дивным медом и прочими лакомствами. От шествия я видел только два фрагмента: здесь, у него на линии, и позже из окон дворца по пересекающей, очень пустынной площади. Оба эти фрагмента имели очень унылый, казенный и погребальный характер, хотя и имелись вперемежку с благоугодными красными флагами несколько черных, но это едва ли кто-нибудь принял всерьез — до того это все, в общем, смахивало на полицейскую старину. Даже отряд новой конницы, ехавший впереди эшелонов, до чрезвычайности напоминал такие же отряды черных гренадеров и казаков.

Ослепительно яркое солнце при резком холоде и неистовом ветре только поддерживало то, что всем этим было принаряжено…

Зато художники отличились. Господи, какие болваны! Какой идиот наш Вл. Лебедев (оказалось что «панно» не его, а его товарища Смотрицкого. Но его «панно», вероятно, не лучше. Оно фигурирует где-то на Марсовом поле), повесивший своего гигантского лубочного рабочего на благородный растреллиевский штаб! Остальные дали лозунги. Левые загадили таким образом здание Певческого корпуса: какой-то топчущийся тип со знаменем «Все в Красную армию!» и какая-то фигуристая пестрая бурда с шутовским заявлением: «Умрем, но не сдадим наш революционный Петроград!» С крыши до свода ворот на Зимнем дворце свещивалась потешная группа пожимающих руки рабочих и солдат (это чуть ли не Пуни) с подписью «Власть Советам!». Эта мазня болталась от ветра, хлопала и все время грозила рухнуть на кучу людей, толпившихся у главного входа во дворец, желающих попасть на даровой концерт. На фронтоне Малого театра

кривились три маленьких плакатика с подписью: «Долой мировую бойню!», «Да здравствует Третий интернационал!», «Все в Красную армию» и идиллическая нота: «Нам налаживать народное хозяйство!» Это своевременное требование было акцентировано как-то кривобоко красавицей, коровой и соответственным пейзажем. Но, пожалуй, хуже всего, глупее и гнуснее всего то, что позволил себе сделать прохвост Ятманов со статуей Николая I. Верхнюю ее часть затянули досками, а от последних к панели протянули ленты красные и желтые. Что сие означает и как это надо понимать — остается загадкой, которую мучительно старалась разгадать куча очень возбужденного и недовольного народа, все время сменяющаяся у подножия осквернённого монумента. Тут мы встретили Е.П.Петренку, которая пустилась в слишком громкий и неблагоразумный разговор, после чего мы поспешили утечь[14].

До этого мы заходили в самый Зимний посмотреть, не угрожает ли ему дерзкая затея, начавшая с его сегодняшнего открытия для публики. В него можно было войти отовсюду и гулять беспрепятственно по коридорам. Тем более поразительно, что все обошлось, как я узнал, благополучно. Да и вид типично «мелкобуржуазной публики», шарахавшейся по передним залам, был таков, что от этих овечек трудно было ожидать погромов.

Гоф-фурьер нам рассказал свои впечатления про октябрьскую ночь. Он уверяет, что перед окнами дворца не стреляли вовсе, и, действительно, все дыры в стенах произошли от пуль, летевших с площади. Некоторое сопротивление оказал только женский батальон, спрятавшийся за дровами, и кое-какие юнкера. Однако половой с ближайшей к Эрмитажу пивной даже хвастал, что подняли одного солдата на штыках. На память о нашем посещении он дал мне кусочек розового зеркального стекла в фонарик толщиной чуть ли не в дюйм.

Всего удачнее из всего торжества вышло убранство Невы, никогда еще не видевшей такого скопления всевозможных мелких, и больших, и огромных судов, которые все были убраны по снастям пестрыми трепещущими на ветру и пронизанными солнцем флажками.

Понедельник, 29 апреля

Утром с нарочным мне доставлено письмо А. В Луначарского следующего содержания:

«Дорогой Александр Николаевич! Мы с Вами

условились твердо и определенно, что Вы дадите рисунок (или два) для второго номера журнала «Пламя». Податель сего пришел за рисунками. Это «ультиматум»! А.Луначарский. P.S. Крайне желательны рисунки Попова».

Я тут же сел сочинять ответ.

«Многоуважаемый Анатолий Васильевич.

Ваше письмо было для меня большой неожиданностью. В первый раз из него я узнал, что «мы с Вами твердо и определенно условились» относительно моего участия в «Пламени». К сожалению, если бы даже такое условие существовало, мне бы пришлось отклонить Ваше пожелание по всяким причинам, среди коих не последнее место занимает моя чуждость ко всему, что носит хотя бы отдаленно официальный характер, к тому же партийного привкуса. Но и кроме того, мне сейчас не до творчества. Я совершенно подавлен и всем своим существом гляжу вниз. Стало невыносимо жить на свете, ибо слишком пышно расцветает глупость, слишком цинично царствует пошлятина. Едва ли надолго может еще хватить сил оставаться зрителем этого кошмарного спектакля, и я бы уступил желанию уйти немедленно, если бы меня не удерживало сознание своего физического долга.

Во имя этого долга я и сегодня собираюсь вместе со своими товарищами по Коллегии обратиться к Вам по двум не терпящим отлагательства делам. Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы Царскосельские дворцы не отводились под жилые помещения (решительно недопустимо устройство жилых помещений над историческими комнатами Екатерины II). И, кроме того, я лично умоляю Вас отменить распоряжение о свержении каких-либо памятников под предлогом «народного гнева».

Поверьте, Анатолий Васильевич, что через год или два вам самим будет горько вспоминать о такой уступке, об одном из наиболее уродливых приемов демагогии. Ныне же тем самым, что бессознательной массе (всякая масса бессознательна) будут брошены эти кости, в ней только может пробудиться действительное ожесточение, и уже никто не окажется тогда в силах остановить толпу, искусственно выведенную из того состояния покоя, в котором она пребывает — неизвестно, но недостатку ли

темперамента или вследствие подлинной мудрости.
С совершенным уважением, Александр Бенуа».

Вторник, 30 апреля

Еще в вагоне познакомился с А.А.Луначарской, неожиданно в компании с Ятмановым, принявшей участие в нашей экспедиции в Царское Село.

Первое впечатление — скорее певица, обследуя ее со всех сторон. Ятманов хотел ее нам навязать в начальницы. Я мигом выразил чрезвычайное неудовольствие. «Вам не нравится разве, если Царское Село будет названо Детским селом?» — последовал вопрос. «Нет, совсем не нравится», — вынужден был я ответить, но затем напал на тему о художественных восторгах: «Тихо струится…» Дипломатичность Романова здесь пригодилась. Мы вскоре вошли в более дружеский тон и расстались уже прямо амикошонски. Разумеется, А.А. — поклонница Бакста, обожает итальянские примитивы, полная восторгов и довольно убедительно делится многими художественными теориями. И вообще представляется мне скорее образованной дамой, кое-что почерпнувшей от европейской культуры в течение долгой эмиграции в Италии, Швейцарии, в Париже. Все же она провинциального нрава, но кто у нас не такой. Даже Елена Павловна, на которую она, кстати, сама смахивает, в сравнении с парижской своей аналогией показалась бы человеком, по существу, диким. Пожалуй, она даже служит своему Анатолию примером, изыскивает все способы, чтобы его кормить, заботится о нем, обменивается до 3–4 часов официозными впечатлениями. А когда же он встает? «Да, видите ли, он бы спал дольше, но ему дите наше мешает. Он это дите так любит, что просит перенести к нему на кровать». Его личная черта — буржуазное благодушие. А.А.Луначарская сама в достаточной степени буржуазна, хотя и мнит себя партийной, хотя и называет Ятманова «товарищем». Он же, в свою очередь, бесцеремонно хватает подругу и таскает за собой, как курсистку. Ехали мы с тем, чтобы отстоять шедевры от лютых большевиков. А она ехала с тем, чтобы вызволить эти вещи из жадных когтей эстетов. Но получилось вроде примирения этих позиций, от которого пострадать может только бедный Лукомский.

Красоты Царского сделали свое: большевики постепенно все более проникаются ею, и уже в конце, после обзора Большого дворца, прямо впали в своего рода экстаз. Напротив, я и, вероятно, Романов (кто его разберет?) усомнились в том, что

собирались отстаивать, а именно — необходимость сохранения в полной исправности ненавистных комнат Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце. О таком их сохранении всячески хлопочут оба брата Лукомские, особенно Владислав (во имя архитектуры), и, единственно, следовало бы оставить потомству рядом с таким великолепием, созданным монархией, и столь наглядные свидетельства того расстроения, в которое она впала за последние 20–30 лет своего существования. Разительно это до чрезвычайности — крестодержавный с яшмовыми колоннами кабинет налево, справа с фельтеновскими — малая гостиная. Но вот же до *такой* степени все это уродливо, гадко и глупо, что как-то нет сил отстаивать целость таких гнусностей. Пожалуй, я буду стоять только за самую подробную регистрацию и фотографирование в мельчайших подробностях, но пусть вселяются сюда дети, тем более что соседние прекрасные гвардейские залы единодушно признали сохранить полностью. В конце концов порешили так: разместить детей в Федоровском городке и лишь часть — в верхнем этаже Александровского дворца. От других же помещений нижнего этажа Александровского дворца — пустующего коридора и офицерских собраний — отказать. При этом каждый раз посещать и обсуждать с большевиками исполнение их планов. Сначала мне казалось, что А.А.Луначарская хочет перевезти в Царское всех пролетарских детей Петрограда, а потом оказывается, что имеются в виду лишь шестьсот ребятишек до двенадцатилетнего возраста.

С Ятмановым в Большом дворце делалось нечто невероятное, и тот убедился наконец, что он действительно натура художественная. Но при этом проявилось обычное для «этих людей» невежество. В *наибольшее* умиление он впал перед совершенно загубленной реставрацией Малышева живописи какого-то веночка на шкафчиках в спальне

Марии Федоровны и почти не желал смотреть на другие цветочные образцы того же мастера на ясеневой мебели. Вообще же дворец для меня явился — благодаря своей общипанности (для эвакуации) — скорее ужасным впечатлением.

Заходили в Китайский театр, который удалось отстоять от предоставления его городским спектаклям. Лукомский угостил нас и завтраком, и чаем с леденцами. Но за это мы, петербуржцы, ему отплатили столь черной неблагодарностью, что к концу он ходил как в воду опущенный. Во-первых, его план вселения престарелых артистов в Александровский дворец подвергся крайне недоверчивому обсуждению и, наконец, как бы был совершенно отменен. Затем Ятманов усомнился в полной устроенности нижнего этажа Большого дворца — ряда бытовых

интерьеров — и в возможности принять детскую мебель… Луначарская сожалела о церковной галерее, не слишком убежденная в необходимости устроить подобие гигиенического отделения Браины Мильман. В остальных комнатах я бы устроил публичную библиотеку, а царскосельцы — музей. Федоровский городок, по-видимому, тоже отойдет от прочих, и не под Академию ремесел, о которой он мечтал. Окончательно я разочаровал бедного Г. К. тем, что поддел его в шутку за оставленные им в спальне Екатерины II гнусные бронзовые валики от занавесей. А он так хотел форснуть тем, что оттуда теперь все недостойное вынесено.

На вокзале меня угостили буженины (не позволили, чтобы я расплатился, — счет за три порции 39 руб.), с вокзала нас развез казенный автомобиль. Луначарская усиленно зовет меня к ним, но я жду, чтобы Штеренберг устроил это свидание. Живет она в «маленькой квартире» в Доме армии и флота, комиссаром которого Анатолий Васильевич и состоит.

Германское наступление считается приостановленным. В «Вечернем часе» новая экспансия Луначарского в виде декрета.

После тщетных попыток изловить Луначарского для беседы вынужден написать ему следующее послание:

> «Многоуважаемый Анатолий Васильевич!
>
> Решаюсь обеспокоить Вас этим письмом ввиду невозможности (фактической) нам с Вами повидаться и потолковать так, как я бы этого желал и как уже давно того требуют обстоятельства. Впрочем, хочу надеяться, что по прочтении этого письма Вы все же захотите мне разрешить развить затрагиваемые темы более подробно и основательно при личном свидании, но и тогда высказанное здесь послужило бы хорошей базой для нашей беседы. Имею до Вас два дела: одно вполне общего характера, другое — более частного, но тоже имеющего большое общественное значение. Первое касается изданного недели три тому назад и подписанного Вами декрета о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников деятелям революции, второе — об Эрмитаже и его дальнейшем развитии.
>
> Декрет очень поспешный и беспощадный, сродни необдуманной статье «Идолы самодержавия» А.Амфитеатрова, требующей немедленно удалить подлинные скульптурные шедевры с городских площадей и улиц и выставить взамен их скороспелые подделки.

Это значить превратить прекрасный город в ужасающий, уродливый рассадник безвкусия, как это уже было во времена Великой французской революции в Париже — вместо прекрасных произведений город получил уродливые подделки.

Прежде чем идти к Вам, я должен разъяснить, что я защищаю. Я главным образом защищаю художественно-историческую ценность памятников. Декрет же взывает во имя революционных целей сносить подлинные шедевры. Это грозит тем, что мы лишаемся самых прекрасных вещей и получим посредственные ансамбли, как в Берлине в честь курфюрстов — мраморные поделки. Вот этого я никак не могу понять, за что мы будем себя сами обижать и обкрадывать? Зачем мы станем губить ту красоту, которая досталась нам в наследство, а не будем беречь ее, чтобы пользоваться ею? Ведь вся красота и Петербурга, и Москвы, и отчасти Парижа — «произведения царизма», что же, во имя прекрасных революционных идей нам нужно начать с того, чтобы повыбросить всю эту «чужую ветошь», которая недостойна обслуживать народ, добывший себе свободу?

Не так-то просто родить шедевр. Мало для этого высоких лозунгов, нужна еще сложившаяся культура, нужно накопление опыта, нужна проверка, нужны традиции. С одними храбрыми фразами на устах и с пустотой в руках перед новым поворотом истории не создашь шедевра.

И, наконец, об Эрмитаже. Мы уже не раз с Вами беседовали о судьбах этой величайшей в мире сокровищницы, ее следует облагородить, ликвидировать лакуны в ряде живописных школ, а сейчас главное не упустить возможность расширить экспозиционные залы за счет помещений Зимнего дворца».

Написал следующее письмо А.М.Горькому.

«Дорогой Алексей Максимович, я попросил Гржебина снять мою фамилию со списка сотрудников «Новой жизни». Не удивляйтесь этому решению. Я не стану перед Вами лукавить и оправдываться. Я ушел из газеты не по убеждению, а по малодушию. С первого же дня все близкие люди не давали мне покоя за то, что я «участвую в большевистском органе». Но это только забавляло меня, пока доброжелатели и другие не

прибегли к более хитроумному приему, распространяться о котором мне в письме не хочется. К этому вопросу прибавляется и то, что я все больше и больше отхожу от того круга, в котором провел всю жизнь, так и не оказался способным примкнуть к новым своим товарищам, как назло и Вас здесь не оказалось. Я убежден, что Ваше слово и Ваша опора помогли бы мне найти большую устойчивость. А так, представленный исключительно себе, лишенный всякой поддержки какой-либо группы или партии (ведь я никакой не социалист и в социализм не верую, не могу веровать), понуждаемый всеми теми, кого я вижу ежедневно и которых я, несмотря ни на что, по застарелой привычке люблю, я не устоял и, наконец, простился с «Новой жизнью».

За последние полтора месяца я уже и не писал ничего, и это привело к «интриге друзей» в тот момент, как безумие войны вступило в какой-то новый фазис и вовлекло в свою ложь новые категории людей. С тех пор исчезла возможность говорить о мире, так как я это понимаю, — вне партийных лозунгов и хитрений и в стороне от назревающей войны классов, и я почувствовал, что мне нечего больше говорить современникам и что мне лучше уйти совсем в свое личное художественное творчество. Увы, и тут едва ли дадут сосредоточиться. По всему видно, что готовятся какие-то пятые акты идиотской трагедии, разыгрываемой на нашей планете, и эти катастрофические развязки могут прямо вырвать всю культуру с корнем, развеять ее служителей по ветру, загубить все накопленное и воспитанное!

Дорогой Алексей Максимович, отчего Вас здесь нет? Подумайте только, уже приступили к занятию Эрмитажа и дворцов! Ведь это самоубийство безумное и нелепое. Это выражение той паники, которая охватила все наше запуганное общество перед призраком большевизма, и именно большевизма, а не немцев, ибо вошло теперь в общую поговорку — мы-де немцев не боимся, а боимся своих. Вы единственный могли бы остановить расходившихся мелких бесов революции. Вы бы могли их дилетантской игре во власть противопоставить свое сердечное слово, свою мудрость, глубокие корни которой мне так знакомы и любы по Вашему «Детству». Роковая беда именно в том, что здесь в данный момент нет

многих самых нужных людей, и благодаря этому отсутствию могут произойти дела непоправимые.

Простите бессвязность моего писания. Однако я не в состоянии придать ему ту толковость, которой ни во мне, ни вокруг меня нигде нет. Можно ли ожидать толковости от людей, видящих, как гибнет все, во что они верили. Гибнет Петербург. Заговор против Петербурга близится к осуществлению. Заговор против мозга России!

Душевно преданный Вам, Александр Бенуа».

Пятница, 3 мая

Сегодня написал письмо Луначарскому:

«Снова должен писать Вам, так как едва ли удалось бы поговорить нам без свидетелей и высказаться с той свободой и полнотой, с которыми, я считаю, это нужно сделать.

На сей раз я уже не смотрю в лес, а прямо ухожу в него. За этот год при всяких режимах я достаточно проверил свою органическую неспособность служить и быть, тем не менее, впряженным в государственную колесницу. Хоть я и ощущаю это, я все же думаю, что имею право судить о том, что творится в жизни неведомой для меня бюрократии, если не с партийной и не с политической, то хотя бы просто с человеческой точки зрения. Я рассчитывал до этого года быть вдали от государственной машины. Не забыл и престольную Москву и поэтому обращаюсь к вам не как к министру, а как к частному лицу, как к человеку, которому, мне кажется, полезно иногда взглянуть со стороны на то, что делается вашим именем.

Анатолий Васильевич, Вы знаете, что я не социалист и в социализм не верю, но Вы помните, что все же я в социализме видел выявление многих благородных человеческих убеждений и поэтому не могу отказать в своем сочувствии этой утопии, но по своему исходному чувству — прекрасной утопии, часть которой должна развиваться согласно закону, что все прежнее имеет глубокие корни в человечестве и должно расцвести в силу органической необходимости. Но то, что творится сейчас, опрокидывает такое предвидение и, напротив,

отравляет тех, кто видит в социализме добро, и ободряет тех, кто видит в социализме пришествие Хама. Внушительная природа социализма оказывается не прекрасной, а чудовищной, не человеческой, а дьявольской. Социализм оказывается даже не подлинным христианством, а каким-то его антиподом, учением величайшего зла, величайшей несправедливости, величайшего попрания личности, в сравнении с которым все прочее зло, бедствия, все былые несправедливости и попрания явились попранием чуть ли не всего на земле. И по-прежнему хочется думать, что под этим «чудовищным недоразумением» — главная беда та, что ведет к духовной гибели. Между тем только это я имею в виду и вижу. В потоках слов, которые все еще извергаются, ни одного слова настоящего — государственного, разумеется, понимания свободы и уважения личности или хотя бы здравого восприятия деятельности и ее насущных интересов.

А если переходить к отдельным случаям, фактам, то просто становится непонятным, как могли люди до такой степени обезуметь, так скоро потерять все достижения культуры (самое ценное в культуре — это быт, это основы нашего существования, это общественно-жизненные инстинкты, выработанные бесконечным, веками созданным опытом), как могло случиться, что на все еще огромном пространстве российского государства царит убогое провинциальное дилетантство, в сравнении с которым даже эпоха Николая II представляется царством мудрости и благопорядка. И Вы, Анатолий Васильевич, человек подлинной культуры, можете это терпеть, можете скреплять своим именем ужасы, нет, хуже, нелепости и мерзости, которые творятся дилетантами от социализма, людьми, не таящими в себе ничего, кроме личностных счетов, личного озлобления и плохо переваренных брошюр? Я Вам не друг и не товарищ, но в наших нынешних беседах, которые я имел с Вами, мне чудилось, что Вы человек, обладающий при очень широком уме — добрым сердцем и искренним желанием делать добро. И поэтому я готов был Вам помогать в Вашей первой задаче.

Жизненные обстоятельства отстранили меня от дела, не дали Вам досуга *хоть раз и вовремя* выслушать мой далекий от суетных забот голос, и сейчас все осложнилось так, что я только могу желать уйти

подальше, не видеть больше расплясавшуюся стихию глупости и пошлости… Но, уходя, я взываю к Вам все еще в убеждении, что Вы умный и добрый, что Вами многое понимается и что Вам, наконец, не безразлично.

Тут еще играет огромную роль *вера*. Вы *верите*. Я не хочу думать, чтобы Вы верили во все, чему учит максимальный социализм, но Вы верите в самую его стихию, в путь, в цель (больше делая вид, что верите в определенные сроки). Я же не верю в социализм, в самую его идею, лежащую в основе его. И не могу я верить в него, потому что я человек религиозный и не способен отрешиться от того, что недвусмысленно твердит мой отлично знакомый всякому религиозному сознанию голос. Твердит же моя совесть как об основном человеческом законе — о свободе. Я и Христа принял, потому что я пропитался им. Разумеется, я отчасти плохой христианин в смысле исполнения законов христовой веры (это уже другой вопрос — распущенность безобразия), но все же я принадлежность к Христу имею потому, что он учил о проявлении личной свободы и царстве Божьем, доступном для всякого, кто поверит, кого коснется благодать.

При этом я еще очень проникся истинностью слов: «Богу — божье и кесарю — кесарево!» И вот если кесарево меня и волнует и возбуждает, то все же оно *не притягивает*, оставляя меня чуждым. «Кесарево» — есть неприемлемое и при всяком строе — *принуждение, гнет, власть* (вся власть от Бога — это тоже истина), но еще не значит, что одна власть *лучше* другой (одинаково необходима и одинаково угнетающая).

Я же хочу свободы, вижу только в свободе, в *свободном* долге истинно человеческое. Напротив, социализм есть отрицание свободы личности, есть самое странное их лукавство, при воплощении государством, цезаризма, принуждения.

И все же я приветствую то самое, во что Вы верите. Именно для моего сознания это «подобие христианства» должно послужить вящему выявлению христианской идеи, ох, трудно найти подлинный подход к основным тайнам жизни. Однако как раз все, что сейчас творится, облегчает этот подход, «оголяет правду», проливает свет в самые глухие душевные тайники. Я и не страшусь того, что делается, но, понятно, я бы противоречил себе, если бы принимал в этом прямое участие.

Я готов помочь в частных случаях, там, где это могу сделать без слишком большого насилия над собой (насилие всегда будет — таков удел нашего существования). Но я не могу себя превратить в слугу принципа, который я не признаю и не могу признать. Я и предшествующий строй *не признавал*, не признаю и ни один из существующих или бывших строев. Именно потому, что я художник, я знаю слишком хорошо цену личной свободы, я влюблен в свободу. Недаром Платон предлагал таких «негодных людей», как поэтов и художников, изгонять из государства и по-своему был вполне логичен.

Итак, дорогой Анатолий Васильевич, да послужит Вам эта моя исповедь к выяснению моей позиции. Повторяю, *не принуждайте меня*, никогда не служившего, стать «чиновником от социализма», дайте мне исполнять и впредь свое назначение — быть вольной птицей. Ей-богу, нас не так много, чтобы опасаться, как бы наша деятельность не внесла дисгармонию в идеально налаженный механизм строя.

Остаюсь преданный Вам, Александр Бенуа».

Суббота, 4 мая

Сегодня наконец отправляю письмо Горькому.

«Дорогой Алексей Максимович!

Письмо с аналогичным содержанием (и лишь в несколько иной редакции) я собирался послать Вам в Крым, но не послал, так как узнал, что могу побеседовать с Вами лично, но я все же прибегаю к письменной форме, ибо она позволяет более толково высказать некоторые вещи.

Вы от Гржебина уже знаете, что я вышел из «Новой жизни». Последним и решающим побуждением может явиться упадок моего духа или малодушие моих друзей. Я долгое время сопротивлялся убеждениям друзей, настаивавших на том, чтобы я ушел из «большевистского органа», чуть ли не с первого дня моего в нем выступления, но после того доброжелатели избрали более хитрый способ. Я вынужден был уступить, не будучи в силах противостоять столь незаслуженной одиозности «Новой жизни» (которую считаю наиболее

приличной газетой). Я бы все равно не мог оставаться в ней просто потому, что я сам стал чувствовать себя в ней чужим и лишним. Ведь я «органически аполитичен» и ни в какие политические системы не верую. Между тем «Новая жизнь» есть орган по преимуществу политический и партийный.

В дни весны русской революции это мое расхождение с общим направлением «Новой жизни» представлялось не столько важным. Для меня мир делился на людей, бескорыстно ищущих доброй жизни, и людей, эгоистических заинтересованных в захвате и сохранении всяких жизненных благ. Сердце мое было с первыми, против вторых. Я пошел к Вам, считая, что я буду с людьми, свободно выступающими за правду, и совершенно не такие люди оказались среди сотрудников «Новой жизни», и Вы первый тут. В общем, одиозные черты определились, и я увидел, что это все не так, и сейчас уже ясно, что картина изменилась до неузнаваемости, что мера злобы, ненависти, мести не во имя общего блага, а во имя торжества своей партии, своего класса, и «Новая жизнь» отнюдь не представляет исключения в этом смысле, но обнаруживает как раз тот самый «дух войны», в котором я усматриваю величайшую мерзость запустения. Соблазнила меня вступить в «Новую жизнь», главным образом, возможность высказаться по вопросу о мире. Напротив, с социализмом я не имею ничего общего, да и никогда и не интересовался им, считая его религией весьма почтенной, но лишенной того, без чего трудно быть религией Бога. Я и не к *социалистам* шел, а шел к людям, *желающим водворить мир*. При этом меня вовсе не беспокоил вопрос, будет ли этот мир «демократическим» или нет, просто потому что всякий мир «демократичен», ибо снимает тяготы и нужду, лежащую наиболее удручающим бременем именно на трудовых массах. Для меня мир был бы благословен, откуда бы он ни шел и во имя чего он ни был бы заключен.

На самом деле, важный вопрос о мире получил теперь значение чисто военно-партийное. Он, о горе, приобрел значение какого-то яблока раздора (это мир-то!), и в этом смысле «Новая жизнь» не менее повинна, нежели другие газеты, ибо она стала пользоваться принятием мира для целей своей партийной тактики, а

по существу ее столбцы заполнились *«духом распри»*. Уже с средины мая я понял, что не вправе вносить диссонанс своего *абсолютного* миролюбия в хор воюющих за своих богов и за свою партию людей. Постепенно я убеждался, что по долгу перед самим собой мне необходимо их покинуть. Помянутый натиск друзей нашел уже это решение вполне созревшим, вполне готовую почву и, в сущности, только осложнил дело. Назревание шло само собой.

Вы скажете, что я мог бы эти самые мысли высказать в газете или что я мог бы вовсе не касаться политических тем. Но относительно последнего я прямо скажу: меня ничего, *кроме политики* (или, вернее, «философского отношения к действительности»), не интересует. А что касается того, чтобы об этом писать, то даже при разрешении редакции у меня не хватило бы теперь на подобный подвиг духа. Если бы еще я себя не чувствовал таким одиноким! Но именно сознание одинокости обуславливает во мне ощущение полной беспомощности. Что я прав, в этом я не сомневаюсь, но чтобы эту позицию выразить достойным образом, на это требуются иные силы, нежели те, которыми я располагаю. Больно тяжел камень!

Если бы Вы еще были со мной в момент, когда во мне усилился процесс упадка духа, вероятно, Вы вздумали бы вызвать во мне новый приток упования и веры в себя. Но, в сущности, мне думается, что это было к лучшему, что Вас здесь не оказалось. Ваше воздействие привело бы только к временному ободрению и к тому, что я углубил бы те внутренние недомогания, которыми я болен.

Так в самых общих словах кончая письмо, я не хочу от Вас скрыть, что мне было бы бесконечно больно разойтись с Вами лично по мотиву чисто общественного характера. Больше всего меня мучило бы сознание, что Вы меня не поняли и что Вы неверно оценили мой поступок. Однако я надеюсь, что Ваше сердце, которое мне знакомо по Вашим книгам, не допустит неверной оценки моего поступка. Мне было бы тяжело потерять с Вами связь и потому, что именно в Вас я продолжаю видеть того человека, который еще, можно сказать, отделяется от всякой партийной суеты, от всей «общественной военщины», выражая подлинные, абсолютные слова любви. Вы, я в этом убежден,

обладаете силой убедить и призвать вернуть гибнущих во взаимной ненависти, одичавших людей к миру, к дружной обшей (непременно *общей*), а не разбитой *по классам* работе. Именно Вы в качестве чистого художника (а не политического деятеля) можете оказаться истинным целителем погибающего и одичавшего в ненависти человечества. А мы с Вами (наверное, каждый по-своему) любим это человечество больше, чем все расходившиеся болтуны и обезумевшие в страхе обыватели.

Всегда готов Вас видеть, дорогой Алексей Максимович, но сам свидания не прошу, ибо не знаю, как Вы отнесетесь к моей «отставке». Во всяком случае, знайте, что душевно я с Вами. Александр Бенуа».

Вторник, 7 мая

Сегодня Совет художественного и историко-бытового отдела Русского музея решил ряд текущих проблем. Первым делом П.Нерадовский рассказал о своем посещении мастерской художника Б. Григорьева и наметил к приобретению «Портрет жены художника» как характерный по замыслу и интересный по исполнению, а также картины «Деревня», «Девушка на фоне избы». Рассмотрели заявление о приобретении работ Льва Бруни «Радуга», «Дождь», «Лес»; П.Львова «Тобольск», «Двор».

Обсудили принесенные Н.Е.Добычиной картины живописца Михаила Иванова «Берег с каменной грядой», «Карадагский овраг и деревья», «Кирха близ воды» и остались в недоумении. Комиссар Пунин заявил, что он «не понимает такого Иванова». Решили воздержаться.

Нерадовский сообщил также, что В.А.Ниселовская изъявила желание безвозмездно поработать в библиотеке художественного отдела. И, наконец, обсудили еще назревшее явление. В виду угрожающего положения с продовольствием музею разрешено организовать огород в сквере перед главным фасадом Дворца. Предложение принято с желанием выращивать овощи. Еще одна бытовая гримаса созрела.

Вторник, 14 мая

После сумбурного заседания коллегии остались одни недоумения, выражаю их в форме письма Луначарскому.

«Многоуважаемый Анатолий Васильевич!

Пишу Вам на сей раз не «официальную» докладную записку (как в прошлый раз), а письмо совершенно частного характера, посредством которого я хочу выяснить недоразумения, проистекающие от моего квазиучастия в Вашей работе. Теперь, когда саботаж музеев и других учреждений приходит к концу, я со спокойной совестью могу отойти в сторону. Теперь уже не страшно: попечителей у русского «исторического искусства» достаточно, и они не дадут его в обиду всяким посягательствам со стороны тех элементов, которые в порыве революционного энтузиазма или просто по невежеству способны погубить то самое, «из-за чего стоит жить».

В стороне от охраны векового наследия я не останусь и после этого буду наблюдать за тем, что будет твориться, но от активного участия меня *нужно* избавить, ибо я просто не гожусь для него по причине личных особенностей моего характера.

Опыт заседания в среду лишний раз убедил меня в моей непригодности. Я и в прежних «бюрократических заседаниях» чувствовал себя всегда неуютно и прямо-таки глупо. Я не создан для заседаний. С переменой характера оных страдания мои лишь усилились и прямо грозят «бедствием». Вспомните, я чуть было не раскричался на Лунина за его дрянненькую демагогию и чуть было не вцепился в бравого матроса (вероятно, Татлина?), которому в качестве убедительного приема вздумалось прибегнуть к угрозе по адресу художников, не желающих безропотно повиноваться новому барину!

И вообще ясно, что я непригоден для всего, что требует «коллективная жизнь» — внушительная издалека, но отпугивающая меня, неисправимо *органического* индивидуалиста, вблизи. Так, я не в состоянии выслушивать одни речи за другими (чаше всего совершенно между собой не сцепленные), в то же время как я уже имею свое мучительство — во всех своих частях созревшее мнение, я не в силах терпеть чрезмерное безвкусие и нелепость отдельных выступлений, я, наконец, не в силах творить, когда наперекор моей творческой энергии отовсюду возникают движения, ересь и никчемность которых совершенно очевидны.

Вами я при этом любуюсь, именно Вы обладаете в

высокой мере тем самым, чем я не обладаю вовсе. К тому же Вы веруете в то, во что я не верую. Я верую в другое, и вот, в сущности, все дело именно в том, что я не могу отдать себя службе принципу, который «моя душа не принимает». Повторяю, я *органический индивидуалист*.

В отдельных случаях, во имя охраны художественных интересов, я всегда буду готов помочь, если я это смогу сделать без чрезмерного насилия над собой. Но от этого и до того, чтобы превратиться в «социалистического государственника», бесконечно далеко. Увы, я слишком люблю свободу. Я «слишком художник» для социализма. Платон предлагал таких «негодных» людей, как художников и поэтов, совершенно изгонять из государства и по-своему был вполне логичен. Однако все же человечество сделало с того времени некоторые шаги в этой области, и желательность и необходимость подобных «негодных» элементов признана всеми и даже самыми последовательными сторонниками «государственного поглощения».

Благодаря художникам держится сама «идея человечности» над всеми формами человеческого устроения — и на этом спасибо! С другой стороны, ей-богу, нас не так много, чтобы мы могли представлять собой угрозу, политическую неблагонадежность или вносить слишком заметную дисгармонию в «идеально пригнанный» механизм Левиафана. Недели две тому назад я выразил Вам желание с Вами побеседовать наедине и по возможности откровенно. Это я продолжаю желать и поныне, ибо во всем, что творится, слишком многое повергает меня в недоумение. Главным образом, я никак не могу примириться с таким торжеством *глупости* и все думаю, что под этим кроется лукавство, своевременность и остроумие которого еще открывают и примиряют меня с вещами, слишком нелепыми. А ну их совсем! Все равно ничего при этом не выйдет!»

Суббота, 25 мая

В момент бессонницы неожиданным ракурсом представились события последних лет и вылились в проект книги, план которой быстро созрел, и я ее озаглавил «Проект книги, посвященной очень серьезным темам, охватывающим всю оргию глупости, которая сейчас разыгрывается во всем мире». В книге намечено

одиннадцать глав, каждая посвящается какому-либо «великому человеку» — символу созревшей пошлости истории.

1. Война против войны, против милитаризации. Подлость Германии, напавшей на беззащитную Бельгию. Мир бурлит ключом. От Канта до Круппа все перемалывается, затрагиваются Лувен и Реймс. Посвящается Жоресу.

2. Наши победы в Галиции. Возвращение ее в лоно России. Статус Священного синода.

3. Поэты и художники — воины, Сологуб и Настя, Гумилев и футуристы, Брешко-Брешковский, Репин и Петров-Водкин. Прозрение Л.Толстого. Посвящается Смердякову.

4. Галлиопольская авантюра и соотношение расходов. О народных симпатиях. Банкеты. Постепенное снятие маски: «Нам нужны проливы». Посвящается Милюкову.

5. Фарандола Распутина — Хвостова. Посвящается первому.

6. За Урал. О неиспользованном богатстве России. Воздержание. Заем за крупнейшие сборы для войны. Посвящается Философову.

7. Первые признаки новой морали. Оправдание проституции. Бойскауты. Из школы — в казарму. Гипертрофия войны. Война войне. «Отечество» и прочие патриотические журналы. Оправдание бесконечности войн. Посвящается Вячеславу Иванову, его кружку.

8. Необходимость уничтожения социализма, или, вернее, своевременного его перевода в милитаристско-научный социализм. Посвящается Марксу.

9. Цезарепаноптикум. Христианство без Христа. Преображение собора как общегрупповой образец нового христианского храма. Посвящается Наполеону Бонапарту.

10. Необходимость введения крепостного права. Оправдание крепостничества. Посвящается Чичикову.

11. Повсеместное введение военных поселений. Посвящается Арсеньеву, Скалозубу и Уэллсу.

Заключение. Кантата на единение Вильгельма II с Николаем II и Георгиями, одолевших гидру революции, умиротворивших свои дела, спокойствие за будущее. Уничтожение всех малолетних мальчиков. Государственный мир поделен и отдан на порабощение.

Написание глав распределено по всем посещающим вечера Бенуа и разделяющим позицию пацифизма. В пику бестолковым статьям Горького и иже с ним «поборникам» мира.

Понедельник, 3 июня

Борис Асафьев прислал письмо:

«Чую, что вряд ли застану Вас, и потому заготовляю письмо.

Прежде всего, Владимир Васильевич Гиппиус ожидает Вас сегодня и просил Вам об этом напомнить.

А еще вот сообщение: «те люди» (то есть большевистские коммунальники, что вселяются в дом Сувчинского) вчера опять были у Сувчинского и заявили, что дом они все-таки займут, что на Луначарского им наплевать и что они сперва поселятся, а потом уж будут «сноситься с властями».

Третье: мне очень хочется повидать Вас и, быть может, когда Вы будете у В.Гиппиуса, Вы позвоните 4-28-34, и мы сговоримся.

Приветствие всей вашей семье, искренне преданный Б.Асафьев».

Вторник, 11 июня

Часть дня сегодня провел в Русском музее, председательствуя на заседании Совета художественно-исторического и бытового отделов. Обсуждались вопросы приобретения художественных произведений, предлагаемых музею. Процедура носила случайный характер, что неизбежно вызвано неустойчивостью быта. Пришлось высказать свое мнение, чтобы как-то склонить членов Совета придерживаться определенных критериев при выборе произведений для пополнения музея. В первую очередь следовало бы руководствоваться соображениями художественной значительности предлагаемых произведений, не задаваясь целью подбирать произведения, характеризующие всякие колебания в творчестве художника. Нерадовский согласился с этим мнением, но нашел, что строгое проведение этого принципа, пожалуй, трудно осуществить по отношению к рисункам. Изучение их еще не начиналось, опыта комплектования нет. Сейчас важно собирать рисунки как документы, рассматривать с художественной точки зрения. Хотя иной рисунок на первый взгляд может не представлять интереса, но может осветить те или иные стороны творчества и поиски автором композиции картины. Фотоснимок, как известно, не всегда может передать нюансы оригинала. Согласившись с мнением Нерадовского, я попросил отразить это при разработке общей инструкции, положить в ее основу более динамичную оценку, не скатываясь к догматизму.

Заседание заслушало желание иконописца-самоучки

Ф.А.Каликина работать в Русском музее по реставрации живописи. Каликин в течение пятнадцати лет работал по найму реставратором и выявлял на севере страны старообрядческие иконы для известных собирателей-ученых Н.П.Лихачева и В.Т.Дружинина. Образцы реставрированных икон Каликин показал членам Совета, намерен их продать музею. Каликину была обещана возможность работать в реставрационном отделе.

Заслушано ходатайство художников Ордена Звезды Востока за подписью В.Н.Пушкиной о разрешении членам этого Ордена рассмотреть негативы и фотографии картин и выбрать для воспроизведения в Альбоме, иллюстрирующем идеи Ордена. Разрешение было дано, препятствий не оказалось.

Понедельник, 17 июня

Пузырево. 10 часов вечера. Первая общая прогулка мимо мельницы к казенному лесу. Дойдя до ближайшего озера, я отстал и присел у самого берега в траву. Совсем тихо. Только изредка принимаются шептать макушки сосен да откуда-то очень издалека доносится похожий на икание надрывный лай собаки. Передо мной из-за мелких оголенных кустов всяких пород вырисовывается японским изящным, жеманным и грустным силуэтом масса листвы, стелется какой-то бурлящий поток, переходящий из желтого в лиловый цвет неба. Видны зубчатые, острые вершины противоположного леса, пролегла узкая полоска серебристой ряби, опрокинутые макушки деревьев, и снова небо, лишь ненадолго посветлевшее вверху. Прямо посередине — желтая луна. От нее вверху и внизу на озере, у самых берез, на удалении перебегают движущиеся ряды зыби.

Год назад здесь все было иначе. Как живуча и как торжествует природа. Когда ее открываешь в душе, несмотря на пошлость войны, все же кажется, впереди нас ждет что-то сказочное, пожалуй, героическое. Я поневоле возбужден, восторжен и в своих обольщениях все более загораюсь мыслью ниспровергнуть насилие и поискать, несмотря на революцию, иного образа жизни, несмотря на тупость, безнадежность и покорность, в моем сердце растет решимость возражать, пережить эту муку, которую нам готовят безразличие, глупость, в которых мы повинны, ибо мы трусы, не решаемся говорить до конца и, что особенно страшно, даже не думаем о предстоящем. Сегодня я писал статью о том, что ждет нас, наше искусство после войны и революции. Вероятно, будет снова возрождаться застарелый враг мирной жизни — пресловутый патриотизм. Каждая страна начнет

рядить своих юношей в свои национальные одежды и преследовать тех, кто думает не так, как «идеально» сформированная масса уходящего поколения.

Предо мной очарование, которым я любуюсь вот уже полмесяца, запечатлевая в акварельной, нежной, присущей этой местности технике рисования ведутов. С детских лет важно познавать и хранить тот уголок природы, который выпал на твою участь, в ухоженном прибранном виде, как в Германии, любить и наслаждаться природой, как это принято во Франции. Италии, Швейцарии, Испании, виды которых мне удалось запечатлеть. И вот здесь, в родной России, я впервые создаю циклы акварелей окрестностей Петербурга и пейзажи Крыма. И эти произведения оказались так же востребованы, как и акварели Версаля, Парижа, Италии, Швейцарии. Причем их с радостью приобретали дипломаты Англии, Франции, США.

Вторник, 18 июня

Деревня Зинкино. Вид из окон комнаты, которую я превратил в свою мастерскую, где просиживаю целые часы, наблюдая перемены в том пейзаже, который виден в три моих окна.

11,5 часа дня. Яркое солнце высветляет десяток сосен, стоящих перед окном. Они разделяют плоскость вертикально. Одна из сосен выглядит светло-коричневой, другая — с пятнами серых теней и с узором еще более темным — моха. Березы ярко-белые, на их стволах сверкают отблески лучей. Еще одна сосна, ближайшая ко мне, тоже утопает в свету, и ее розоватость почти приравнялась к белизне берез. Спускаются вдали в озеро гроздья мелкой кудрявой листвы «правильной» зелени, травянистого, скорее желтого, чем голубого оттенка. Местами уже среди них мелькают желтые искры.

Четверг, 20 июня

К часу дня поехал в Эрмитаж и на заседании Совета выслушал бестолковые рассуждения, как привезенные из Москвы, так и местные, касающиеся вызволения из Кремля произведений Эрмитажа, осевших так прочно, что создается впечатление — эти драгоценности никому не нужны. И.И.Жарновский, вернувшийся из Москвы, доложил Совету, что москвичи горячо агитируют за то, чтобы все петербургские музейные экспонаты оставить в Москве для пополнения их музеев. Лишь один Грабарь

высказался, что произведения искусства должны быть возвращены по месту их прежнего нахождения. Хранящиеся в Кремле ящики с коллекциями Эрмитажа показались подозрительными для правительства, и решено избавиться от этих ящиков. Перевозка по железной дороге в Петербург еще более опасна. Тупиковая ситуация.

Коллегия по делам музеев во главе с Троцкой решает, куда переместить эти ящики: в Музей изобразительных искусств — опасно — настроены вскрывать, в Исторический музей тоже не совсем удобно. Троцкая, наконец, решила вызвать из Эрмитажа трех компетентных представителей, которые бы наблюдали за перевозкой ящиков.

Выяснилось, что смету Эрмитажа Коллегия по делам музеев забраковала, тогда как смету Русского музея одобрила.

Э.Э.Ленц уже в который раз поднимает вопрос о неразберихе в отделениях Средних веков и Возрождения, которая скоро «растворится» в обилии поступающих материалов археологических раскопок. Перевезены сюда же Арсенал из Царского Села, коллекция Базилевского. Ленц советует оставить лишь две категории оружия: художественной работы и с клеймами мастеров, а бытовое не представляет художественного интереса, его надлежит передать в другие хранилища.

М.Ростовцев решился напомнить Совету, что Эрмитаж должен быть музеем европейского искусства, а не складом случайных вещей, хотя и очень соблазнительных. Эрмитаж должен сохранить за собой славу все же художественно-исторического музея. Мнение Ростовцева близко к моему настроению. Органически сложившееся целое музейное сокровище следует пополнять достойными экспонатами и прежде всего именно сейчас использовать возможности для расширения экспозиционных помещений за счет Зимнего дворца, в котором сейчас царит полная неразбериха: вселились кинематограф, какое-то кафе и приют для детей. Сейчас рано заниматься перераспределением экспонатов, гораздо важнее разобраться с тем, что есть, и развивать Эрмитаж на основе его уникального собрания живописи и скульптуры.

Понедельник, 24 июня

Получил неожиданно от бывшего редактора газеты «Слово», а ныне инженера путей сообщения Николая Николаевича Перцова, следующее письмо.

«Многоуважаемый Александр Николаевич!

Сейчас очень многие живут продажей собранного давно, как Вам известно. Продаются картины, с которыми при иных обстоятельствах владельцы не расстались бы никогда. Мне случайно попали в руки два фламандца. Одно полотно приписывается самому Рубенсу, а другое Симону де Вое (1603–1670 гг.).

Я во фламандских мастерах разбираюсь плохо, хотя вообще в живописи кое-что понимаю. Полотно, приписываемое Рубенсу, во всяком случае, написано мастером. Вы прямо обяжете меня, если выскажете свой взгляд на эти картины. Вы специалист, и Вам карты в руки. Будьте добры, зайдите как-нибудь. Я всегда бываю дома до 5 часов дня. Предупредите меня по телефону. Я Вам звонил, но безуспешно. Всегда готовый к Вашим услугам».

Надо будет посмотреть, что это за Рубенс, но вряд ли это то полотно, которое достойно Эрмитажа. Или случайно затерялось, или одна из многочисленных подделок, выдаваемых за желаемые «шедевры», которых сейчас развелось удивительно много, на каждом шагу непременно шедевр. Надо сообщить Яремичу. Пусть он займется этим «самым Рубенсом». Ему сподручнее возиться с такими «униками» в рыночной стихии.

Вторник, 25 июня

С.П.Яремич, присутствовавший сегодня на заседании художественного Совета Русского музея, сообщил, что старообрядец Ф.А.Каликин уже занят в музее реставрацией икон. Ему поручили спасти две иконы: укрепить красочный слой, что он успешно и делает, используя рыбий клей, применяемый иконописцами Русского Севера. Рад за него. Вообще у Яремича склонность ухаживать за сирыми и бедствующими. Он рассказывал, как, будучи еще в Киеве, зимой спасал замерзающих бездомных, приводил их в ночлежку, полагая, что пристроил, а оказывается, нередко нищего вслед за Яремичем выдворяли на улицу. Необычайной доброты человек, тяжело ему в эти дни, когда нет уюта ни на его родине, ни в Петербурге.

Совет Русского музея, членом которого является Яремич как художественный эксперт, решил заняться судьбой наследия преждевременно скончавшегося ученого С.Крачковского. Его квартира оказалась разграбленной: мебель вывезена, картины

исчезли, рукописи разбросаны, побывавший там застал обосновавшихся на жилье красноармейцев, которые не в курсе, куда делась обстановка квартиры ученого, но полагают, что часть вещей находится в 18-м участке милиции.

Рассмотрен вопрос о кандидатуре регистратора коллекций в художественный отдел Л.А.Мацулевича, который оставлен при кафедре истории и теории искусства Петроградского университета, но может оказывать компетентную помощь в описании древнерусских памятников.

Совет удовлетворил просьбу учащегося школы Общества поощрения художеств Н.И.Дормидонтова выдать ему фото реставрированного портрета императора работы В.Серова, который был изуродованным доставлен в музей с площади Зимнего дворца.

С.Н.Тройницкий предложил Русскому музею карту путешествия императрицы Елизаветы II из Петербурга в Лугу в 1785 году и бытовой рисунок XVIII века. Они были приобретены.

Вторник, 2 июля

На заседании Совета художественно-исторического и бытового отделов Русского музея были преподнесены в дар музею через В.А.Дмитриева вещи от Николая Петровича Ге. С.Н.Тройницкий подарил библиотеке художественно-исторического отдела каталог старинных картин И.П.Лазаревича 1902 года, а также каталоги выставок серебра, эмали и фаянса из собрания Е.В. Шуваловой и каталог Музея Императорского фарфорового завода 1900 года.

Нерадовский предъявил членам Совета обнаруженные им в бюро на Караванной три миниатюры: две работы С. Щукина и одна — Крюкова, 1828 г. Решено приобрести их, так же как и от Л.Ф.Пантелеева картину школы Венецианова «Два мальчика».

От имени художника Михаила Степановича Грошевого С.П.Яремич преподнес в дар Русскому музею фарфоровую тарелку времен Александра II с нарисованным сепией портретом митрополита Платона.

После заседания Яремич поведал мне о нелегкой судьбе киевского художника Грошевого, работавшего в типографии Кульженко: он упаковывал и рассылал журнал «Искусство и печатное дело». Грошевой обитал на окраине Киева в Диевке, увлекался пленэром, свои этюды прятал в зарослях кустарника. Однажды их похитили. Запомнилась Степану Петровичу картина Грошевого «Пролетарская семья», где изображена хозяйка

квартиры, сидящая на шее мужа. Этому скромному бедняге так и не удалось выбиться в люди, как это смогли киевляне Замирайло и Яремич.

Суббота, 13 июля

Получил записку Аргутинского-Долгорукова.

> «Милый друг!
>
> Светлейшая княгиня Салтыкова Анна Сергеевна очень просит Вас зайти к ней вместе со мной и посмотреть ее картины. Она хотела, чтобы мы это сделали сегодня, так как она уезжает вечером. Пойти к Салтычихе следует к 4 часам»[15].

Понедельник, 15 июля

Осматривал галерею драгоценностей и вдруг: часы Петра 1, сделанные по рисунку Николая Леонтьевича Бенуа в сотрудничестве с Шуровым. Отличный брегет, бронзирован Шрейбером. Брегет предназначался в 1888–1889 годах на премию Демидова в Академии художеств. Никто не получил. Сообщил мне И.Н.Божерянов.

Четверг, 15 августа

По сообщению С.П.Яремича, очередное заседание Совета в Русском музее вел директор А.А.Миллер. Решались в основном вопросы приобретения произведений прикладного искусства. Предварительный осмотр фарфора, выбранный в магазине «Салон искусств», провели В.Н.Аргутинский-Долгоруков, П.И.Нерадовский и С.П..Яремич. Приобретены зеленая чаша, голубая чаша императорского фарфорового завода, ваза-кувшин завода Поскочина, изделия фабрик Сипягина, Терехова и Киселева. Приобретен и образец киевского фаянса.

Член Русского археологического общества с 1901 года и член Совета Русского музея П.Н.Шеффер поведал о самоотверженной работе служителя музея с 1902 года Казимира Ладукаса, который не покинул свой пост хранителя коллекции Памятного отдела в 1917 году, оставшись единственным сотрудником, и участвовал в создании отдела историко-бытового, будучи младшим сотрудником. Сейчас при пересмотре ставок следует его

перевести в старшие хранители с соответствующей оплатой его труда.

Совет согласился с доводами Шеффера.

Вторник, 20 августа

Заседание Совета Эрмитажа обсудило вопрос о том, что делать, как поступить с получением телеграммы из Москвы от Н.Троцкой, которая требует прислать в Москву представителя Эрмитажа, который бы сопровождал перевозку эвакуированных вещей Эрмитажа из Кремля в Музей изящных искусств. Комиссар Н.Н.Пунин предложил, поскольку есть возможность перевозить экспонаты Эрмитажа из Кремля, то почему бы не доставить их прямо в Эрмитаж. Решили поручить Романову К.К. это выяснить, запросить московскую Коллегию направить вещи по прямому назначению в Петроград.

Остальная часть заседания ушла на обсуждение проблем отделения Средних веков и деления его на восточное и западное, а также приобретения экспонатов: восточного шлема персидского типа, фарфора французских фабрик XVIII века и немецких фабрик XV и XVII веков.

Вечером меня навестил милый Стип. Он только что с заседания Совета Русского музея, поведал о приобретении музеем двух замечательных портретов работы Репина и портрета архитектора В.П.Стасова работы А.Г.Варнека. Издавна преклоняясь перед живописным гением Репина, Яремич бывал в Пенатах. Содействовал спасению картины «Иван Грозный и его сын», в газете «Русская молва» написал замечательное эссе о Репине-портретисте, и сегодня он безусловно восторгался мастерством живописца, рассматривая портреты «поры полного расцвета дарования Репина».

Портрет А.Г.Варнека архитектора В.П.Стасова, одного из видных зодчих Петербурга, естественно оказался в городе, в котором выдающийся зодчий создал знаменитые сооружения своего времени. Члены Совета высказались за совместное с Третьяковской галереей сотрудничество, чтобы представить в экспозициях и отразить в научных трудах во всей яркости и самобытности формирование и развитие русского изобразительного искусства, показать его главнейшие течения в наиболее характерных и лучших образцах. Несомненно, одно из центральных мест в этой эволюции живописи займет творчество Ильи Ефимовича. Хотя в музее творчество Репина представлено очень скромно, зато в качественных образцах.

К сожалению, из-за недостатка средств Совет вынужден был отложить приобретения предложенной П.Ю.Сюзором картины К.Брюллова «Императрица Александра Федоровна с дочерью Марией на прогулке верхом в Петергофском парке» за 12 тысяч рублей, а также от В.Н.Аргутинского-Долгорукова пейзаж Сильвестра Федосеевича Щедрина «Терраса на берегу моря». Особенно сожалел Яремич о том, что музей упустил возможность купить у наследников Пузино портреты живописца А.Н.Мокрицкого, и среди них картину «Семейство врача П.И.Пузино» 1837 г.

Стип сообщил, что на следующем заседании Совет рассмотрит возможность приобретения акварелей Н.Бенуа «Виды Москвы».

Среда, 21 августа

Напомнил о себе подлинный летописец «Мира искусства» любезный Мирон Ильич Рославлев. Он прислал от имени Института художественно-научной экспертизы письмо, в котором наряду с П.Вейнером, Г.Лукомским, В.Верещагиным приглашает меня сотрудничать и ожидает на заседание редакционной коллегии 23 августа, когда состоится утверждение программы названного института, размещенного в доме № 20 по Моховой. В проспекте изложено весьма остроумное решение вопросов художественной экспертизы — идти непроторенными путями. Вот его программа.

«Вступая, подобно многим уже существующим общественным кружкам и союзам на путь служения идеалам искусства, мы образовали 15 августа 1918 года Институт художественно-научной экспертизы, целью которого является путь, не протоптанный еще другими организациями. Институт вдохновлен, главным образом, желанием оказывать посильную помощь всем любителям искусства.

Институт впервые устанавливает на вполне прочных основаниях научно-художественную экспертизу произведений искусства с определением их художественного значения и материальной оценки. Правильность постановки этого нового еще у нас дела обеспечивается именами экспертов Института, многие из которых давно уже пользуются заслуженными авторитетом. В тех же целях широкого содействия просветительским задачам любительского дела Институт предполагает принимать на себя составление описей общественных и частных художественных собраний, библиотек и родовых архивов с изданием

путеводителей и указателей, собраний художественных и научно-исторических коллекций, продажу специальных изданий по искусству, устройство выставок и аукционов ценных художественных собраний и заботу об их охране, объявление художественных конкурсов, художественной обработке всякого рода произведений печати, изготовления плакатов, марок, торговых и промышленных фирм, афиш и т. п.

Институт намерен обратить исключительное внимание на столь неудовлетворительно у нас до сих пор поставленное дело научно-художественной реставрации произведений искусства и предметов старины; осуществлять непосредственное наблюдение за реставрационными работами и привлечение к их участию опытных специалистов.

В деле художественных изданий Институт в своем ежемесячнике «Хранитель» будет вести разработку вопросов по истории отдельных видов искусства, по стилям сменявшихся эпох и по творцам художественных произведений, по популяризации их идей сознательного выбора произведений искусства и создания форм стилей художественного быта. При Институте устраивается Салон с выставкой картин и скульптур. В состав совета Института входят: В.А.Верещагин, В.П.Зубов, В.К.Лукомский, Г.К.Лукомский, М.И.Рославлев, И.А.Фомин, С.В.Чехонин. Экспертами являются четырнадцать специалистов. Среди них В.Я.Адарюков, П.П.Вейнер, А.Ф.Гауш, И.И.Жарновский, Л.А.Ильин, В.Я.Курбатов, Б.В.Фармаковский, С.П.Яремич, С.Р.Эрнст и другие.

В редакционную коллегию намечаются А.Н.Бенуа, П.П.Вейнер, В.А.Верещагин, Г.К.Лукомский. Управляющий делами Института — М.И.Рославлев».

При общем огосударствлении приживется ли такой громоздкий Институт, взявший на себя непомерные задачи, например, охрану произведений искусства и старины? Следовало бы не разбрасываться в целях, а сосредоточить силы на главных проблемах — выявлении и собирании подлинных сокровищ искусства и старины. Об этом намерен сказать на заседании.

Вторник, 3 сентября

Заседание Совета Эрмитажа свелось к выяснению вопроса, поднятого исполняющим обязанности директора Эрмитажа С.Н.Тройницким и поддержанного комиссаром Пуниным: о выяснении, где находятся подлинные описи картин, находящихся в бывших казенных квартирах, а также описи картин,

находящихся во дворцах. Пунин предлагает выяснить, в каком состоянии находятся инвентари картинного отделения, образовать комиссию для проверки. Э.Ленц заявил, что, например, вещи, купленные в Париже у Салтыкова в 1861 году, были розданы императором сыновьям и другим членам царской семьи и в инвентари не попали. С.Искерский заявил, что описи до февральской революции находились у него, а затем были переданы Макарову в комиссию Ф. Головина. Среди них были описи картин Петергофского, Гатчинского, Царскосельского дворцов и Зимнего. Опись Зимнего дворца была неполной, в нее не входили картины, находящиеся в придворных и запасных помещениях.

И снова вопрос коснулся перевоза эрмитажных вещей из Москвы. Москвичи предлагают вывозить частями в 2–3 вагонах каждый раз. Я выразил протест, так как это очень рискованно. С этим согласились и решили добиваться маршрутных поездов.

Вторник, 10 сентября

На заседании Совета художественно-исторического и бытового отделов Русского музея меня избрали в две комиссии для предварительного отбора произведений искусства.

Миллер доложил, что в настоящее время Коллегия по делам музеев может кредитовать покупку картин современных художников. Музей должен заблаговременно подготовиться к этим закупкам и представить в Коллегии аргументированные заявки к приобретению, установив связи с художниками, какие произведения и за какую цену возможно приобрести. Совет тут же решил создать комиссию по приобретениям, которая бы взяла на себя ответственность за эти операции и составила бы доклад о планомерном пополнении Русского музей произведениями современных художников. В состав комиссии были избраны наряду со мной В.Н.Аргутинский-Долгоруков, П.Н.Нерадовский, В.А.Щуко и С.П.Яремич. Оглашено циркулярное сообщение Коллегии по делам музеев от 5 сентября о недопустимости участия музейных деятелей в антикварных коммерческих предприятиях. Возник спор, кого считать «музейным деятелем» — хранителя, регистратора или вахтера.

Рассмотрен запрос Невельского художественно-архитектурного музея о том, кто теперь будет снабжать их музей картинами. Эта функция лежала на Академии художеств, которая ликвидирована. Посоветовали обратиться в Коллегию по делам музеев как «восприемнице функции государственного

назначения».

Оживленно обсуждался вопрос о том, как Русский музей намерен представить все течения русского изобразительного искусства в творчестве наиболее выдающихся и характерных его деятелей. В этом направлении музей решил развивать свободную деятельность, располагая бюджетом, определенным Коллегией по делам музеев, приобретая не отдельные произведения художников, а объединения, представляющие полнее художественно-идейные выражения текущей эпохи.

Мне пришлось высказать свое мнение по этой проблеме. Первое, что следует сделать, — это расчленить вопрос на две проблемы. Вначале следует обсудить вопрос, насколько данное произведение заслуживает приобретения по своим художественным или историческим качествам, а также с точки зрения его отношения к наличному составу музейной коллекции, то есть представлен ли данный художник в музее в количестве и качестве, соответственном его значению в истории русского искусства, достаточно ли он представлен в музее. Затем подвергается рассмотрению вопрос о денежной оценке произведения в связи с условиями художественного рынка и свободными средствами музея. После чего принимается окончательное решение. Совет решил, что после исчерпывающего освещения всех сторон намеченного к приобретению произведения выносится окончательное решение.

Поскольку в музее Общества поощрения художеств нет гарантированной охраны, то Яремич как директор этого музея предложил принять на хранение в Русский музей девять рисунков Врубеля, Ге, Серова, Бакста. Совет согласился с этим предложением. Заседание рассмотрело образ Пресвятой Богородицы «Прибавление ума», предложенной Л.Н.Братолюбовой, и рекомендовало приобрести. Выяснилось, что владелец автопортрета в шлеме и латах 1792 года художника Яненко и документов о нем согласен снизить цену, поэтому решено приобрести это произведение.

Поток предложений нарастает, чувствуется тяжелое дыхание грядущего времени и проявляется это ощутимо даже в делах, далеких от бытовых забот.

Среда, 18 сентября

К часу дня на заседание Совета Эрмитажа. Обсуждался вопрос о переизбрании наличного состава сотрудников сначала по существу, а затем и в деталях. Тут и возникли недоразумения старой системы назначения и новой — выборной. Я.Смирнов по своему опыту выразил несогласие с переизбранием сослуживцев. Это, по его мнению, прерогатива Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины или, наконец, комиссариата. Э.Ленц предложил двухступенчатые выборы. Тройницкий разъяснил, что, исходя из новой инструкции, Совет Эрмитажа имеет право выбирать сотрудников согласно их опыту, знаниям и способностям. Предстоит выбрать девятнадцать хранителей вместо прежних двенадцати. Последовали предложения пригласить посторонних представителей в комиссию для голосования с правом решающего голоса, чтобы исключить приятельские и другие факторы. Решили пригласить представителей от Академии наук, от Петербургского университета, Русского музея и Археологической комиссии. Выборы намечено провести на трех заседаниях.

Запишу для памяти структуру реорганизованной Картинной галереи. Теперь отделение картин состоит из отделов по школам: итальянско-испанская, нидерландско-немецкая, французско-английская и искусства новейшего времени (XIX–XX веков). В это отделение входят: собрание бронз и скульптуры до XVIII века и собрание миниатюр. Состав отделения: четыре хранителя, из них один заведующий отделением, и четыре ассистента. Собрание бронз находится в ведении хранителя итальянско-испанской школы, а собрание миниатюр — у хранителя французско-английской школы. Отделение гравюр и рисунков состоит из двух хранителей. Отделение Нового искусства состоит из художественного и исторического отделов с двумя хранителями и двумя ассистентами.

На этот раз особенно меня поразило состояние Зимнего дворца. В него вселились детские приюты, кинематограф, совершенно чуждые данному объекту. Помещения Эрмитажа задыхаются от тесноты, негде размещать коллекции, а здесь идет экспансия беспорядочная и бесцельная. Предложил Совету Эрмитажа поставить в известность Луначарского о перспективе развития Эрмитажа за счет помещений Зимнего дворца.

Суббота, 21 сентября

На Совете вынужден снова напомнить о том, что следует поспешить с занятием помещений Зимнего дворца, отведенных Эрмитажу. Комиссар Н.Н.Пунин обязан проявить больше настойчивости в затянувшейся передаче помещений, оборудуется народная кухня, что представляет опасность.

Наряду с этим был прочитан приказ Пунина по Эрмитажу. Уличенные в крайне небрежной работе по инвентаризации Эрмитажа, на основе выводов комиссии от 18 сентября, заведующий отделением гравюр и рисунков Б.К. Веселовский и хранитель картинного отделения С.К.Искерский были отчислены от должностей. Я.Смирнов попытался было оспорить эту акцию, на что Пунин заявил, что он как комиссар имеет полное право выносить такие решения.

Освобождается место для будущих хранителей в картинном отделении.

Пришлось говорить и о том, как распорядились с вещами закрытой Академии художеств. По моему мнению, следовало бы их доставить прямо в Эрмитаж для рассмотрения, а также находящиеся в Москве предметы бывшей Академии художеств.

Вторник, 24 сентября

Художественный совет Русского музея согласился с моим мнением, что портрет князя Г.Ф.Долгорукова, подписанный инициалами С.В., 1721 года, предложенный Василием Андреевичем Верещагиным, представляет весьма большой интерес для намечаемой истории портретной галереи. Портрет характерен для живописи Петровской эпохи, и весьма редкие экземпляры достойны приобретения. Совет решил возбудить перед Коллегией по делам музеев вопрос о кредите для его покупки, а также для приобретения портрета адмирала Корнилова работы И.К.Макарова.

По разряду современных художников Совет решил приобрести серию моих рисунков и акварелей из тридцати пяти листов к «Медному всаднику» А.С.Пушкина за 15 тысяч рублей.

С.П.Яремич принес в дар от Общества поощрения художеств портрет Арсения — архиепископа Ростовского и Ярославского 80-х годов XVIII века неизвестного живописца для портретной галереи. Приняли библиотеку Остроградского и определили помещение, в котором ее намечено разместить.

П.Нерадовский доложил, что к 7 ноября Русскому музею рекомендовано срочно развесить экспонаты и приготовиться для приема публики. Решили просить денег для переоборудования

Канцелярии Его Величества в корпус Росси и, уточнив проект экспозиции, произвести ремонт залов. Предстоит работа по подготовке всего музея. А при полном отсутствии средств все это проблематично. Настрой Совета и служителей — энергично начать возрождение дворца-музея.

Из выделенных на приобретение 60 тысяч рублей оказалось израсходовано 48 300. Нерадовский предложил, нельзя ли из Москвы к 7 ноября получить эвакуированные туда экспонаты Русского музея, и взялся сам прозондировать этот вопрос.

Вторник, 8 октября

Трудная ситуация возникла на заседании Совета художественно-исторического и бытового отделов Русского музея. Предложен для приобретения портрет профессора Подвысоцкого работы Н.Н.Ге за 6 тысяч рублей. Оказалось, что из 60 тысяч, выделенных на приобретение, уже израсходовано 48 300. Да еще какие-то расходы, и остается лишь 6400 рублей. Решено оставить портрет в музее и сделать аргументированный запрос в Коллегию по делам музеев о выделении дополнительных средств.

Между прочим, Русскому музею пришло предписание срочно открыть залы для приема посетителей в честь предстоящего юбилея — первой годовщины революции. Пользуясь этим поводом, Нерадовский поставил вопрос перед Советом: нельзя ли в честь этого добиться возвращения эвакуированных в Москву экспонатов Русского музея. А пока решено срочно провести подготовительные работы в самом музее. Прежде всего, следует срочно реставрировать зал № 30, освободить его от позднейших записей, вернуть ему прежний великолепный вид. Освободить из ящиков скульптуры и вазы и поставить на место, привести в порядок и соответственно покрасить залы, в которых намечено выставить картины Кипренского. Рассмотреть и утвердить схему развески, поручив составить проект В.А.Щуко. Приспособить антресоли и третий этаж для приема и хранения сокровищ, которые оставляют музею владельцы.

Будучи в Москве, я осмотрел в Третьяковской галерее картины Борисова-Мусатова в запаснике и договорился, поскольку галерея хорошо представлена творчеством этого мастера, выделить для Русского музея следующие вещи: «Памятник», «Куст орешника», «Парк, погруженный в тень», «Портрет дамы в желтой шали», эскиз к шести дамам. Следовало бы принять экстренные меры для доставки этих произведений в Русский музей.

Среда, 9 октября

На заседании Совета Эрмитажа возник спор о приобретении картины «Астроном». Э.Липгардт ее приписывает кисти живописца Амикони, отмечает ее хорошее исполнение. При осмотре же она вызвала возражения Браза и мое, и мы высказались, что подобная картина не достойна висеть в Эрмитаже. При голосовании — одиннадцать против двоих за покупку.

Затем состоялось обсуждение вопроса о покупке пяти картин Ф.Гойи: «Портрет мужчины», «Портрет женщины», «Монограммист», «Христос перед Пилатом», «Святой Иероним» и картину Мартенса «Портрет старика». После обсуждения качества и достоверности каждой картины Совет высказался за приобретение лишь одной — «Христос перед Пилатом».

Затем был обсужден вопрос, какой должна быть инвентарная книга, и зачитаны инструкции для каждого отделения, внесены поправки.

Воскресенье, 13 октября

На заседании Коллегии по делам музеев заслушали мой доклад, вызванный желанием сотрудников иметь более полное представление о картинной галерее Эрмитажа.

Отдел картинной галереи Эрмитажа считается особенно полным, и действительно, многие первоклассные художники в нем представлены своим выдающимися произведениями, а из цельных школ две — голландская XVII века и французская XVII–XVIII веков — являются первыми по полноте коллекциями в мире после Амстердама и Парижа. Хорошо представлена в Эрмитаже и эпоха итальянского барокко. Тем не менее, и здесь необходимо указать на весьма существенные пробелы, лишающие Эрмитаж возможности в полной мере служить пособием к планомерному изучению истории живописи.

Проблемы эти распадаются на две категории. Одна касается целых эпох и школ, другая — отдельных явлений в школах, уже блестяще представленных. Самый существенный пробел замечается в отсутствии вещей, представляющих «ранние» явления в истории живописи разных школ, так называемых «примитивов», и особенно печально, что нам недостает картин и фресок раннего итальянского Возрождения от Джотто и до Боттичелли, если не считать нескольких ранних вещей. В равной степени мы обездолены в иллюстрациях позднего времени. Музей

мирового искусства не может прерываться на XVIII веке, как это случилось с Эрмитажем, а должен доходить в своем собрании до явлений последующих времен, воздерживаться лишь от тех, для которых еще не выработана и отсутствует историческая перспектива.

Наконец, что касается отдельных художественных личностей, то досадным следует признать отсутствие таких крупных явлений в школах, уже хорошо у нас представленных, как: а) в голландской: Сегерса Геркулеса, Вермеера, Хоббема, Н.Маеса, Фабрициуса, Трооста, Стрекса; б) во французской: Лебрена, Риго, Лиотара, Куапеля, Бодуэна, Буальи; в) в итальянском времени барокко: Кастильоне, Маньяско, Перуджино, Беллотто, Лонги; в других: Джотто, Мазаччо, Дюрера, Гольбейна, Хогарта, Лоранса, Моретта, Рейсдаля, Ходовецкого, Йорданса. Следовало бы пополнить коллекцию полотнами и таких мастеров, как Я.Б.Вэникс и Буше, которые представлены у нас недостаточно достойным образом и мало характерными произведениями. Из всех этих пробелов лучше восполнить последний, ибо картины названных мастеров имеются в тех петербургских и русских собраниях, которые уже принадлежат общему пользованию. Не встретило бы затруднения и образование секции живописи XIX века, если бы только было приведено в исполнение мудрое постановление Коллегии по делам искусства о передаче Эрмитажу Кушелевской галереи, служившей до злопамятной эвакуации 1917 года превосходным дополнением Эрмитажу. К сожалению, гораздо труднее осуществить пожелание Эрмитажа в отношении примитивов вообще, а также по ряду отдельных мастеров, тому может препятствовать как отсутствие в пределах России данных произведений, так и запреты. Почти во всех странах еще более замечается за последнее время тенденция закрепления художественных сокровищ за тем местом, где их застал данный исторический момент. Тем более, значит, следует использовать все возможности, которые доступны в настоящую минуту, и тут на первом месте мы снова встречаем собрания бывшей Академии художеств (в том числе и Кушелевской галереи), а кроме того — загородные дворцы-музеи, в которых их картинные коллекции отнюдь не должны служить конкурентом Мирового музея.

Следует также обратить особое внимание на собрания гравюр и рисунков. Хуже всего обстоит дело с отделением скульптуры отдела Европейской галереи Эрмитажа. Здесь отсутствуют и целые школы, и эпохи, и ряд самых выдающихся мастеров. Трудно даже в общих чертах преподать историю пластики христианской эры, если руководствоваться одними памятниками

Эрмитажа. Тем не менее, надо надеяться, что благодаря настойчивым поискам со временем мы войдем в обладание если не вполне последовательного ряда произведений, то по крайней мере предметов, иллюстрирующих главнейшие вехи истории скульптуры.

Вторник, 15 октября

Заседание художественно-исторического и бытового отделов Русского музея под моим председательством началось с рассмотрения произведений искусства, предназначенных для дарения и приобретения. Баронесса М.Д.Врангель принесла в дар музею от покойного сына два акварельных парных портрета работы Нечаева, изображающих Д.А. и М.И.Скворцовых. Затем Б.К.Чекато предложил портрет гравера Чемесова, картину художника Михайлова «Товарищи» и портрет боярыни петровского времени. Д.С.Большаков предложил картину аллегорического содержания на дереве XVIII века под названием «Чистая душа».

Н.П.Шеффер доложил, что Философовы согласны уступить Русскому музею коллекцию портретов участников известной Сибирской экспедиции 1837 года художника Кондратия Ильича Корсалина и ряд других вещей, согласны на рассрочку. Мне помнится китайская серия его картин. Где-то она?

Семья Брюлловых просит музей принять на хранение художественные и исторические вещи, чертежи, проекты Пулковской обсерватории, Мраморного дворца, Приюти-но. Решено принять на хранение.

Выслушано сообщение реставратора Н.Н.Бречия о том, что он, согласно сведению художника Ф.А.Модорова, побывал в деревне Лужского уезда, осмотрел в церкви восемь икон XVII века, которые якобы предназначены к уничтожению. Оказалось, что прихожане вместе с военкомом воспрепятствовали изъятию икон из церкви.

Н.А.Сидоров доложил Совету, что он приступил к реставрации росписей зала № 30, а Аллегри показал образцы тонов окраски стен. Начата развеска картин в зале Репина, уже доставлена и картина «Бурлаки».

М.В.Фармаковский сообщил, что антиквар Свердлов желает продать старинный фарфор из коллекции Плюшкина. Не скудеет российская, неведомая мне провинция, богатая сокровищами народного творчества и редкими образцами фарфоровых заводов. Представилась уникальная возможность, когда владельцы

вынуждены расстаться со своим фамильными редкостями. Как бы ее использовать полнее и системно?

Среда, 16 октября

Сегодня Совет принял решение объединить отделение гравюр и рисунков Картинной галереи, как это существует в европейских музеях. Б.К.Веселовский пояснил, что так было всегда, лишь недавно произошло это отделение.

Исполняющий обязанности директора Эрмитажа С.Н.Тройницкий предлагает предоставить помещение седьмой запасной половины Эрмитажа в распоряжение картинного отделения. Предложено немедленно в них экспонировать картины из собрания Семенова-Тяньшанского и Зурова.

Совет принял на хранение коллекцию А.С.Долгорукова по рекомендации Комиссии по охране памятников искусства и старины, чтобы спасти эти вещи.

Совет также высказался за приобретение двух бронзовых медалей чекана Лауэра, плакетки работы Штурма и кружку 1689 года от Фаберже.

Понедельник, 21 октября

Коллегия по делам музеев на этот раз изъявила желание заслушать мой доклад на тему: «В чем ценность Эрмитажа».

Суть моего сообщения сводилась к следующему.

На одно из первых мест среди мировых сокровищ претендует Государственный Эрмитаж в Петербурге. Среди музеев Европы и Америки он занимает положение равное, а в количественном отношении своих коллекций уступает одному только парижскому Лувру, и, подобно последнему, Эрмитаж вмещает в своих стенах и превосходное собрание скульптуры всех времен, и галерею прикладного художества и нумизматики, и, наконец, богатейшее собрание драгоценностей и камей.

С Эрмитажем не могут идти ни в какое сравнение ни Музей истории искусств в Вене, ни Берлинский музей, ни Национальная галерея в Лондоне, ни Дрезденская галерея или Мюнхенская пинакотека, от которых отделены антикварные собрания. Они, напротив того, входят — как у нас, так и в Лувре — в состав одного целого, и лишь отчасти с Эрмитажем сравниться могут еще музей в Вене или Флорентийская Уффицы, где, однако, подбор коллекций носит более односторонний характер. Эрмитаж

имеет и еще более общего с Лувром по ряду собраний, из которых складываются в обоих музеях их картинные галереи и имеют доминирующее значение. И в отношении Эрмитажа это выражается хотя бы в том, что под Эрмитажем в общепринятом мнении подразумевается не что иное, как именно его собрание картин, представляющее собой один из самых поразительных подборов памятников живописи главных европейских школ.

Со времени октябрьской революции этот подбор не только не уменьшился, но и, напротив, разросся в чрезвычайной степени, и уже теперь ему становится тесно в таком грандиозном здании, которое было сооружено при императоре Николае I. Галерея начинает распространяться на Зимний дворец, в котором она займет все бесчисленные залы и комнаты, не имеющие исторического, памятного значения. Не забывая значения мировых сокровищ искусства вообще и памятуя о том общественном значении, которое представляет сохранение их в целости, следует отнестись с должным пиететом к одной из двух главных драгоценных сокровищ — к Эрмитажу — и приступить к работе. При случайном сопоставлении экспонатов видно, что в общем все собрание носит явный отпечаток дилетантской прихоти и не одна из школ не представлена хотя бы с намеками на систему и полноту. В ряду явлений прошлого голландской живописи, безусловно, первое место занимает Рембрандт — этот гений среди гениев, самый мощный творец живописи, самый среди художников поэт живописи, обладавший жанром в убедительнейших формах передавать жизнь, радовать глаз мягкой своей автономностью и в то же время выявлять, вникая в тайны своей души и своего сердца, в чем-то таком, что мы бы назвали исповедью.

Как раз собрание произведений Рембрандта в Эрмитаже в соответствии с его значением в истории человеческого духа занимает первое место среди собраний его творчества в других, даже самых богатых, коллекциях. Правда, Амстердам, Кассель, Мюнхен безусловно обладают многими превосходными и знаменитейшими картинами мастера, но нигде они не были собраны в таком количестве, нигде мы не можем проследить эволюцию творчества великого художника с такой последовательностью и полнотой, как в Эрмитаже, нигде мы лучше не узнаем Рембрандта-чело-века (а человек в Рембрандте возбуждает первенствующий интерес), как именно в сопоставлении эрмитажных его картин (нигде нельзя постичь всю несоразмерность громадной его гениальности). Но Рембрандт не только мировой гений и один из вождей голландской живописи, он солнце целой системы, бросившее свои лучи далеко за

пределы вращения своих сотрудников, почти на все явления этой изумительной школы. Влияние Рембрандта можно отметить на всех его современников, а в дальнейшем и на многие явления европейской живописи вообще.

Но, разумеется, на своих ближайших сателлитов это влияние сказалось в чрезвычайной, в наиболее явственной форме, и соседство работ этих учеников с работами учителя является весьма поучительным. Обращаясь к работам этих одаренных мастеров, невольно поражаешься, до чего искусство учителя, преломляясь в различных темпераментах и в различных характерах, теряло значительную часть своей прелести, своего смысла. Трудно и просто невозможно, даже в самом непосредственном общении с гением, даже даровитым людям «похитить» у него самое ценное в его творчестве. И это вполне подтверждается картинами в Эрмитаже. Благодаря тому, что наш музей одинаково богат как работами учителя, так и работами, исполненными при жизни Рембрандта, особенно выпукло его творения оттеняются массой произведений его учеников и в окружении их по-своему блестящих и внушительных произведений. Однако эти творения гения кажутся особенно величественными, и несравненными, и «светлыми».

Рембрандт в этой плеяде художников обладает все же одним наиболее скромным, на поверхностный взгляд, учеником, наиболее ему близким. По существу, это художник Арент де Гелдер. Он был ребенком, когда Рембрандт стоял в зените своей славы и мог действительно считаться королем голландской живописи. Он общался с ним в суровые дни, когда престарелый художник познал тяжелые испытания судьбы и нужды. А это все не только не подрывало его творчество, но углубляло его в чрезвычайной степени, раскрывало в нем залежи великой мудрости и поэзии. И Гелдер оказался достоин стать учеником Рембрандта именно в эту пору. Его не испугала нависшая над головой любимого учителя беда, он вздумал из его наставлений почерпнуть самое ценное для художника и, почерпнув, сформировать свое собственное искусство, уступающее искусству учителя по широте размаха и его мощи и мастерства, однако родственное ему по духу, гораздо более родственное, нежели творения всех его товарищей, всех народных и виртуозных — Болей, Экхоутов, Конинков, Маесов, окружавших Рембрандта, когда он мог считать себя баловнем жизни и благополучие находило отражение в его произведениях.

Гелдер же унаследовал лишь более ценное — истину души Рембрандта, которая сказывается, впрочем, и в тех внешних формах его искусства, в благородстве гаммы красок, в его

нервной, всегда детальной вдохновляющей живописи. И вот из двух эрмитажных картин Гелдера в одном превосходном «Портрете молодого военного» художник выказал лишь толковое изучение действительного мастерства, техники, красивую красочность. Этот портрет, не будь некоторых особенностей, по своему психологическому содержанию мог бы быть приписан и Конинку, и Болю, и Экхоуту. Напротив, в другой картине Эрмитажа, происходящей из Лазенок, в «Автопортрете» Гелдер и является тем «достойнейшим и вернейшим» учеником Рембрандта, каким мы его только что охарактеризовали.

Эти примеры говорят о том, что без обращения к Эрмитажу нельзя глубоко изучать Рембрандта и его учеников. Даже для этой цели не всегда помогут амстердамские музеи.

Так точно и для изучения французской живописи недостаточно одного Лувра, а нужно опять прийти в Эрмитаж, ибо у нас имеется ряд шедевров всех корифеев этой школы, и все в целом они подобраны с удивительной полнотой.

Вторник, 22 октября

На этот раз опять мне выпала роль председателя заседания Совета художественно-исторического и бытового отделов Русского музея. Началось все с многочисленных предложений для музея, принесенных самых неожиданных предметов старины и искусства, подчас изумительно ценных, сейчас принесенных в жертву молоху войны, который не все еще аполлоново достояние уничтожил, поверг вместе с оружием, воинами и честью народа на полях сражений и добивает бедных граждан россиян [заставляя] жертвовать самым интимным, дорогим, лишь бы выжить или покинуть пределы родного пепелища. Невольно вспоминается фраза Чаадаева, сказанная Сухово-Кобылину: «Оставь все — сохрани себя — уезжай из России». В такой ситуации сколько подобных безвинных судеб, готовых пожертвовать вековыми семейными сувенирами и покинуть эти пределы. Даже на Совете обсуждался этот вопрос. Ввиду тяжелого продовольственного положения решено разбить огород вместо цветника перед Михайловским дворцом. Ведь произрастает же капуста возле Ростральных колонн, пасутся же кони в сквере Зимнего дворца, пробивается же травка сквозь щели мостовых, изучает же Комаров фауну Петрограда и находит десятки уникально приспособившихся растений. Жизнь неистребима в своей основе, но она гибнет от нелепых порции свинца на полях сражений, когда перевес берет молох войны. И снова передо мной

чередой проходит извлеченное из семейных ценностей то, что было дорого их предкам. На этот раз, уже не надеясь на покупку, предлагает Е.Г.Шварц автопортрет Заболоцкого, рисунок Кипренского «Плафон», портрет Е.Г.Шварца работы Репина.

Следом О.Браз дарует натюрморт «Связка баранок» неизвестного живописца XIX века.

И мне пришлось выполнить не очень деликатную просьбу К.Сомова: предложить как образец современных художников творчество Кости Сомова, характерные для его творчества этюд «Радуга» и мужской портрет, признанный на выставке выдающимся произведением, чрезвычайно характерным для него стилем. Сомов представлен в Русском музее случайными произведениями, между тем его произведения пользуются большим спросом. Художник уступил музею портрет за 25 тысяч рублей. Совет решил изыскивать средства для приобретения портрета работы Сомова.

В то же время мне пришлось вынести для рассмотрения Совета скульптурные произведения слабо представленного в музее Обера. Предлагает их вдова недавно скончавшегося мастера. Мной выбраны для музея: восковая модель «Бык-победитель», 10 тысяч рублей, восковая модель «Семья Йоркширов», 7 тысяч рублей, терракотовая модель «Лев, пожирающий газель», 2 тысячи рублей, гипсовые модели «Тигр с сипаем», конная статуя бывшего великого князя Дмитрия Константиновича. Пришлось демонстрировать фото скульптур Обера и доказывать, что он, несомненно, — один из выдающихся скульпторов-анималистов не только в России, но и за рубежом, почти совершенно не представлен в музее. Предлагаемые вещи принадлежат к выдающимся образцам его творчества, причем это его собственно ручные работы, а не отливки.

Среда, 23 октября

Заседание Совета началось с почтения памяти по поводу кончины академика Я.И.Смирнова и возложения венка на гроб от сослуживцев. Затем Тройницкий заявил о своем желании посетить А. В.Луначарского по поводу разницы в ставках, выработанных комиссией Рязанова, а также рассмотреть смету Эрмитажа. По словам Тройницкого, в предварительной беседе Луначарский одобрил соединение отделения гравюр и рисунков с картинным отделением и посоветовал в дальнейшем совершенствовать систему Эрмитажа, придавая ей большую стройность. Сейчас же система управления Эрмитажа выглядит

так: во главе стоит директор, во главе отделов — заведующие отделами, во главе отделений — хранители и в секциях — помощники хранителей.

Состоялось и рассмотрение приобретений. С.Н.Тройницкий предложил приобрести от княгини Голицыной фарфоровую группу «Венера и Адонис» Мейсенского завода первой половины XVIII века. От Фаберже — четырнадцать фарфоровых зверей Мейсенского завода, от г-жи Бекман — фарфоровую группу «Хозяйки» и фигуру «Садовника» завода Франкенталь, от г-на Шульца — фигуры «Горшечника» и «Медника» Мейсенского завода середины XVIII века.

С.Н.Тройницкий предложил пригласить к научному сотрудничеству в отделение драгоценностей А.П.Келлера и Д.Д.Бушена, а равно и А.А.Зилоти, уже работающего ассистентом.

Среда, 30 октября

Заседания Совета Эрмитажа началось с сообщений о том, что Художественная комиссия по охране памятников и старины располагает сведениями, что в Преображенском полку находятся две картины, изображающие Петра I и Екатерину II, поступившие из Эрмитажа в 1913 году. Решено принять меры к возвращению этих картин.

Э.К.Липгардт заявил, что в казарме конвоя Его Величества находится плафон работы Джованни Доменико Тьеполо. Д.А.Шмидт сообщил, что комиссия не нашла этот плафон, он куда-то исчез.

Зачитано сообщение Комиссариата народного просвещения (отдел по делам музеев), что при конфискации сейфов в городе Смоленске обнаружены четыре золотых, усыпанных драгоценными камнями табакерки, имеющие исторический интерес, которые посланы в Эрмитаж.

Э.К.Липгардт предложил приобрести пейзаж Добиньи. Мне пришлось заявить, что в поступивших произведениях Кушелевской галереи имеются значительные экземпляры пейзажей этого живописца и следует воздержаться от приобретения.

Был также осужден вопрос об издании путеводителей по Эрмитажу, а также сборников научных трудов или сообщений о текущих делах.

Среда, 6 ноября

Заседание Совета Эрмитажа в основном свелось к рассмотрению предметов, предложенных к приобретению. Среди них заслуживают внимания картина кисти Лагрене «Похищение Европы», принадлежавшая графу Коро, кафель с портретом Людовика XIII, три альбарелло испанской работы, белое бронзовое китайское зеркало с рельефными фигурами рогатых людей XII века, кинжал сибирский с рукоятью с птичьими головами и сердцевидным перекрестием, кинжал с Алтая с костяной рукоятью, бронзовый нож с орнаментами звериных фигур.

Сегодня реализовал натюрморт Н.И.Гордеева — 250 руб.

Бретань, акварель — 150 руб.

Крым, Коктебель — 60 руб.

Шейлок, иллюстрация — 75 руб.

Рисунок — 25 руб.

Итого 560 рублей.

Воскресенье, 10 ноября

На этот раз Коллегия заслушала мое сообщение о создании Музея «Мирового искусства».

Обсуждению сегодняшнего заседания Коллегии, если я не ошибаюсь, подлежит не рассмотрение отдельных мер, которые следует предпринять для пополнения центрального Музея «Мирового искусства» за счет загородных дворцов и музеев и реквизированных особняков, а обоснование вопроса в чисто принципиальном смысле: в какой степени таковые пополнения желательны и допустимы. Следует при этом решении иметь в виду как интересы «Мирового музея», так и названных собраний, сохранность и полнота коих дорога для каждого, кому важно русское художественное прошлое, и не требует доказательств, но и является главным пособием по изучению истории искусства во всех его областях. Я хочу предложить следующие основные формулы, которые мы бы могли положить в основу сегодняшней беседы и принятие коих явилось бы разрешением принципиальных вопросов.

1. Интересы Музея «Мирового искусства», каким является Эрмитаж, и, следовательно, он служит господствующим фактором. Являясь всероссийским хранилищем художественных сокровищ, музей должен иметь право пополнять замеченные в нем лакуны всеми доступными способами, в первую голову с использованием тех хранилищ, которые находятся в пределах России в общественном пользовании.

2. Интересы дворцов и музеев исчерпываются их значением как представителей отдельных эпох, созданных особо яркими личностями. Их следует рассматривать как повторные памятники в комплексе, неразрывно связанными с местом своего нахождения, в данной характерно обработанной местности и в соединении с другими историческими и уникальными комплексами. Дворцы, содержащие эти памятники, можно считать частями созданных ансамблей, историческими экспонатами, иллюстрирующими в характерном стиле, и изъятие из них может нарушить весь данный ансамбль. Эти дворцовые предметы особенно важны для характеристики видных исторических фигур или целых эпох, и их значение с особой силой реально выступает именно благодаря той обстановке, в которой они находятся. Центральный музей лишнего не возьмет, так как перегружен произведениями искусства и старины, которыми он готов поделиться в соответствии с особенностями пригородных дворцов-музеев. Поэтому следует завершить подбор произведений мирового значения для передачи их в Эрмитаж. Мы обязаны найти в себе силы, чтобы создать всемирный музей, полный уроков для будущего.

Гораздо сложнее осуществить эту акцию по отношению к рыночной стихии. В этом можно вполне надеяться на организаторов аукционов в Обществе поощрения художеств, наших сотрудников Яремича, Аргутинского-Долгорукова, а также Платера и Степанова.

Понедельник, 18 ноября

Заседание Совета Эрмитажа посвящено результатам выборов хранителей, произведенных 11 ноября. Как всегда, наряду с основным вопросом возникают побочные. Так и сейчас комиссар Н.Пунин огласил свое предписание: ни под каким предлогом не выпускать из Эрмитажа экспонаты. Это исходит из секретного указания правительства.

Мне пришлось сказать, что подобное распоряжение циркуляра парализует деятельность Эрмитажа, лишает возможности пополнять коллекцию музея, избавляясь от ненужного. Д.А.Шмидт сообщил, что в Эрмитаже находятся картины, скульптуры, которые приняты на хранение, для реставрации, для фотографирования и других целей. Многие из них загромождают помещения, и следует их вернуть хозяевам. Решено послать А.В.Луначарскому депутацию с ходатайством отменить циркуляр.

Совет наметил кандидатов для избрания из них заведующих отделами Эрмитажа. Закрытой баллотировкой выбраны кандидаты заведующих в картинное отделение, назначили меня и Д.А. Шмидта. Предстоит избрать двадцать три ассистента.

Состоялись и традиционные рассмотрения предложенных к приобретению вещей. Петр Ильич Мосолов предложил два офорта Лукаса Лейденского, портрет графини Замойской и пастель — женский портрет. Антиквар М.М.Савостин предложил костяной бюст Павла I, портрет вдовы фельдмаршала Кутузова работы Энгра. Евдокимова предложила три шпалеры, которые Тройницкий признал чрезвычайно редкими и интересными, Совет одобрил их покупку.

Четверг, 21 ноября

Заседание Совета Эрмитажа было посвящено выборам заведующих отделениями. За меня проголосовало девять членов, за Д.А.Шмидта — пять. Таким образом, я оказался заведующим картинным отделением. Позволил себя выбрать.

В этом есть какой-то перст судьбы — создать из Эрмитажа мировой музей живописного уклона, подобно многим европейским музеям. При современном обильном притоке предложений экспонатов можно восполнить кое-какие лакуны в скульптурной части и живописной. А отделение новой живописи придется создавать заново, так как основы у него нет, да и связи с другими странами оборваны. С появлением мирных дней эти связи непременно восстановятся, и тогда можно будет формировать хотя бы французскую живопись конца XIX века и начала XX веков. Вероятно, остались живыми мои парижские знакомые живописцы Люсьен Симон, его жена художница, Менар, Доше, Боннар, МДени, Вламинк, Дерен, Дега, картины которых должны быть в залах Эрмитажа.

Пятница, 22 ноября

На просьбу Совета Эрмитажа изыскать возможность снабдить служащих Эрмитажа продовольственными пайками сегодня получили ответ от хорошо нам знакомого Киммеля, который недавно обивал пороги Эрмитажа — эдакий маленький солдатик со злым лицом. Сейчас он является уполномоченным отдела имущества республики. И вот его ответ:

«Уведомляю вас: 1) я не нахожу возможным (где и что он искал в своем кабинете в Москве?) делать какие-либо исключения для служащих Эрмитажа в продовольственном отношении; 2) считаю ненормальным беспрерывную их службу с 10 часов утра до 4-х часов дня; 3) предлагаю срочно урегулировать их работу с двухчасовым перерывом, для чего, если требуется, начинать занятия с 8 часов утра, когда еще светло. Вообще же считаю необходимым обратить внимание Эрмитажа на то, что администрации его следует более планомерно организовать работу служащих, отнюдь не прибегая к обходу декретов Советской власти, регулирующих вопросы продовольствия и труда».

Подпись до предела лаконичная — закорючка и ясная должность: «уполномоченный комиссар». Наконец и мы, деятели культуры, получили образец «заштопанного портного» из эпохи прерафаэлитов. Умри, Денис, лучше не напишешь!

Суббота, 23 ноября

С утра писал рекомендацию Федору Федоровичу Нотгафту для включения его кандидатуры в состав будущих хранителей картинной галереи Эрмитажа.

«Горячо рекомендую включить Федора Федоровича Нотгафта в число деятелей Эрмитажа. Я могу указать на то, что он по праву являет собой редкий пример совершенно беспрекословного служения искусству и самого вдумчивого его изучения. Первое выразилось в собирании коллекции картин преимущественно новой русской школы. Второе — он себя обогатил необычайно толково составленной библиотекой, в которой доминируют книги и периодические издания, посвященные современным художникам, живущим как у нас, так и (главным образом) на Западе, и собрал литературу по живописи XIX века. Если бы Совету Эрмитажа было угодно принять Ф.Ф. в наш состав, то я бы рассчитывал на то, что он поступит помощником в мое отделение. Причем я бы поручил ему ближайшее наблюдение за картинами и скульптурой XIX века. Ввиду обширных по новизне задач это требует чрезвычайного внимания, солидной подготовки и, наконец, такой

проницательности, которую я вижу в работе Нотгафта, и имею полное основание ожидать применения этих способностей в нашем отделении.

Вообще же я считаю, что появление в нашей среде Ф.Ф. является *ценнейшим приобретением* для Эрмитажа. И мне думается, что именно с этой точки зрения мы и должны рекомендовать его, и уверен, что Нотгафт действительно сумеет подтвердить свою способность в данной деятельности».

Понедельник, 25 ноября

Обезвредить декрет.

Обладая значительными коллекционными вещами, собранными мною как в качестве материалов для моих художественных и исторических работ, так и в качестве вспомогательных документов для моих иллюстраций, декораций, картин и просто для любования, я затрудняюсь, однако: как реагировать на изданный только что декрет о регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений от 5 октября 1918 года ввиду крайней неясности текста этого документа.

Едва ли законно руководствоваться декретом, согласно которому все *необъятные массы художественных предметов* надлежит считать народным достоянием и предварительно ставить на учет, а в ближайшем будущем они должны перейти в государственную собственность. Подобное искусственное, насильственное изъятие из обращения в обществе произведений искусства и превращение их в музейно-архивное прозябание потеряет всю жизненную силу. Одни общественные музеи, за исключением некоторых, лишившись частного собирательства, окажутся весьма плохими движителями культуры, а в дальнейшем монополизация государством всего художественного дела приведет к полному омертвению всего духовного наследия. Для людей, любящих искусства, желательно, чтобы наряду с музейными богатствами значительная часть художественных сокровищ ходила по рукам, чем поддерживала бы более интимные, более живые отношения к искусству, более вдумчивое в него вникание, а это, в свою очередь, распространяло бы художественную культуру в широком смысле, создавая всюду как бы очаги эстетического энтузиазма. Наконец, для самого музейного дела частное собирательство и являлось всегда, и будет являться лучшим источником, из которого притекает все

новое и новое пополнение… Что касается самих художников и их окружения себя прекрасными вещами, то общение с ними принадлежит к самым насущным их потребностям и послужит главнейшим стимулом для их работ, лучшей наградой для их сердца.

Отнимите у подлинного художника то, что составляет главную радость его жизни, и он обречен на увядание, на тоску и на отчаяние. Так было всегда и так будет.

В силу этих соображений мне и некоторым моим друзьям пришла мысль запретить органы власти, которым поручено проводить в жизнь помянутый декрет, и обезвредить его пагубное влияние на художественную атмосферу. Все же туманно, как следует понимать его смысл, как примирить в нем противоречия и как следует поступать, чтобы исполнить его согласно с основной мыслью законодателя. Вопрос очень поспешный и путаный, тем более требующий самого серьезного рассмотрения. Он настолько сложен, что спустя неделю у меня не выработалось вполне отчетливого к нему отношения, и, приступая к его изложению, я не считаю, что я все же справлюсь как с фактической стороной, так и со скрытым смыслом того, что с этим больным вопросом более или менее связано.

Между тем время не терпит и все более запутывается смысл декрета, который входит в силу, и надо считаться с тем, чтобы постепенно обезвредить его в той части, которая непосредственно угрожает громадной массе вещей и прямо-таки целой области культуры. Мне кажется, что я не ошибусь, если предложу положить вполне замечательный принцип, чтобы спасти сколь возможно большее количество художественных и исторических памятников — намерение, которому в высшей степени нельзя не сочувствовать. Но, увы, я убежден, что действие декрета может получить как раз обратный эффект, отчасти из-за крайне неудачной его редакции, ведущей к необъятным недоразумениям, и отчасти и из-за заключенных в нем, самом его существе, противоречий. Декрет хочет охранять памятники, и с этой целью следует приступить к ознакомлению с ними, чтобы знать, что охранять. И вот тут невольно является вопрос: подлежат ли охране все без исключения памятники (что сомнительно, ибо нельзя объять необъятное), если нет, то какие именно подлежат, и, наконец, по каким признакам будут делать эту сортировку на «подлежащие» и «не подлежащие». Эта сторона дела непременно требует разъяснения, ибо в противном случае получится сумбур, который приведет к самым немыслимым последствиям, как раз обратным тем, которые имелись в виду при составлении декрета. А другая сторона дела заключается в отношении, создаваемом

декретом для самих владельцев, разумеется, к выявлению наших богатств, а приведет он к очень большому числу случаев вынужденного сокращения их, к тому, что обладание художественными произведениями явится для владельцев источником испытаний и страданий, поводом величайших тревог и т. д.

И оттого следует ожидать поступков, всегда сопровождающих подобное ущемление: желания избавиться от этих страданий, получить покой, освободиться от тех предметов, которые из источника радости и наслаждения превращаются в какой-то признак одиозности, чуть ли не в улику политической неблагонадежности. При этом как раз всего тяжелее эти испытания лягут не на тех владельцев, которые охотно с ними расстаются, а иные просто уничтожают эти «мучительные предметы», а как раз на владельцев, которые дорожат и берегут вещи как величайшее благо, которое они видят в жизни, они окажутся не способными видеть и не будут знать их судьбу. Как тут быть с этой деликатностью? Не знаю в точности, как пояснить. Скорее тут подтверждается полное отсутствие компетентных лиц, коим можно доверить экспертизу, а что хуже всего — появились факты конфискации и применения самых суровых революционных карательных мер.

Вчера я был счастливым обладателем уникальных предметов, я их показывал интимному кругу лиц, делился своей радостью с друзьями, вместе изучал свои вещи — и вдруг я становлюсь носителем зла именно потому, что напрасно эти вещи берег, что я для их собирания истратил последние свои сбережения и лишил себя многих радостей, многого того, что нужно было для повседневной жизни, вдруг я становлюсь преступником только потому, что вовремя куда-то не заявил о своих вещах, не составил каких-то каталогов, составлять которые меня никто не научил. Наконец, не решился заявить о новых вещах не из-за корысти, а просто из боязни, что эти, мною опекаемые, со мной сроднившиеся вещи у меня отнимут.

Впрочем, тут я не могу обойти вопрос с самой его принципиальной стороны. Не будучи человеком политического строя, который сейчас все более входит в силу, который должен заменить систему «старого мира», очень возможно, что я понимаю дело вкривь и вкось. В таком случае научите меня его понимать прямо и до конца. Очень возможно, что новый порядок без всяких уступок не пожелает считаться с приводимой психологией и поставит крест на все, что связано с институтом коллекционерства. Коллекционер, как поэт, как художник, по Платону, в будущем государстве является просто недопустимым.

Возможно, что и до этого додумаются люди, увлеченные ложной формулой, включая и формулу доктрины, позволят создавать условия безграничного любования жизнью и искусство жить жизнью искусства (без кавычек). Кроме того, следует сделать так, чтобы во имя сохранения ценностей, признаваемых по отношению к явлениям безобидными, никому не мешающими, мало того, могущими играть самую благодетельную роль в деле культуры вообще и безотносительно к тому или иному режиму, к тому или иному фазису культуры, не творилось беззакония.

Под той благоглупостью, которую развел Ятманов на заседании Коллегии в Зимнем дворце («Дворце искусств») в четверг, кроется возмутительный произвол в отношении безобидного во всех смыслах семидесятисемилетнего старика Горчакова. И это проделано согласно декрету самым кощунственным способом. Ятманов назвал благородным стремление районного Совета депутатов сделать дворец Горчакова своей резиденцией, а «хозяйство» — экспозицией музея, посвященной лицеистам, «общественным достоянием».

Но еще чудовищней факты были приведены на совещании в Художественном бюро Добычиной 20 ноября, когда обсуждался декрет о регистрации, и на нем присутствовали К-Сомов, О.Браз, С.Яремич, Р.Эрнст, Н.Платер, Г.Верейский, С.Тройницкий, Е.Лансере, П.Нерадовский, М.Добужинский, С.Чехонин — художники, коллекционеры, музейные деятели, подлинные вершители судеб художественного строительства. Они поведали, что под видом государственных чиновников являются неврастеники, безответственные демагоги, оскорбленные неудачники и, проникая в мастерские художников, ко владельцам коллекций, требуют присяги на верность режиму и отчетности о реализованных произведениях искусства.

Вторник, 26 ноября

Наконец подготовил рекомендацию Георгия Семеновича Верейского — кандидата в хранители гравюрного отделения.

> «По образованию Верейский художник и достаточно проявил себя в этой рисовальной сфере. Он известен как воспитанный и профессионально одаренный художник преимущественно в графике. Но, разумеется, нашей рекомендацией для его работы в Эрмитаже движет стремление не столько оценить его выдающееся дарование, сколько его знакомство и его отношение к

прошлому и современному искусству, которым он посвящает все время и которое он знает так досконально, как никто из современников. Особенно привлекает внимание Верейского родственное ему по духу творчество — собственно творчество, а именно, вся историческая область того периода графического искусства, побудившего его собрать как художественную библиотеку по данному вопросу, так и небольшую избранную коллекцию образцов минувших эпох.

Главным образом, мы можем рекомендовать Верейского Совету Эрмитажа потому, что великолепно знаем его добросовестное отношение к делу, за которое он берется и которое он выполняет квалифицированно. Это объясняется его неистощимой культурностью — подобное дарование Верейского является чрезвычайно полезным в переустройстве такого запущенного собрания, каким до сих пор пребывает графический материал Эрмитажа. Его способность сориентироваться в новых поступлениях позволит придать им достойную систему хранения и изучения. В лице Верейского, таким образом, мы приобретаем отличного специалиста. Сотрудники Эрмитажа, несомненно, увидят, какую неоценимую пользу на вверенном ему посту он принесет как науке, так и обществу. Будучи еще очень молодым, он особенно может оказаться нужным при реорганизации отделения, при осуществлении задач его оживления и доступности для широких масс публики».

Среда, 27 ноября

Состоялось заседание Совета Эрмитажа, посвященное выбору ассистентов. По картинному отделению прошли И.И.Жарновский, А.А.Зилоти, В.Н. Ракинт, Ф.Ф.Нотгафт, по кабинету рисунков и гравюр прошли Е.Г.Лисенков и Б.К.Веселовский. Снова я вынужден был ставить вопрос о наведении порядка в Зимнем дворце, о пустующих помещениях или занятых, об ответственности комнатных служителей за сохранность порядка в залах — не допускать порчи или потери вверенных им предметов. Для проведения в жизнь новых задач требуется возбудить ходатайство о передаче Эрмитажу помещений Зимнего дворца. Тройницкий заявил, что есть решение Коллегии по делам музеев, что Эрмитажу отводятся дополнительные помещения Зимнего дворца.

Рассмотрено предложение В.А.Щавинского о принятии на хранение в Эрмитаж коллекции его голландских картин, известных по каталогу, изданному Общиной св. Евгении, он просил содействовать перевозке картин.

Рассмотрены предложения покупки экспонатов. Среди них — деревянный барельеф фламандской работы XVI века, четыре большие глиняные вазы, мраморная мадонна XVII века, итальянские майоликовые блюда XVI века. Рассмотрен также вопрос о создании общей библиотеки Эрмитажа. Избрана библиотечная комиссия из трех человек и намечены способы пополнения библиотеки.

Среда, 4 декабря

Первым делом заседание Совета Эрмитажа заслушало внеочередное заявление комиссара Н.Н.Пунина о подаче ассистентом Эрмитажа В.К.Шилейко просьбы об увольнении из-за невыдачи ему жалования за время пребывания его в командировке в Москве. С.А.Жебелев выступил в защиту Шилейко как специалиста высокого класса, исключительной квалификации, как знатока клинописных таблиц. Об этом же ходатайствовал О.Ф.Вальдгауэр. Тем не менее, Н.Н.Пунин остался при своем мнении не выплачивать Шилейко зарплату и не принимать на работу в Эрмитаж. Нечто мстительное и мелкое руководит в данном случае правительственным комиссаром, весьма неэтичное.

Ассистентом по отделению древностей прошел М.Д.Философов. Комиссар Пунин протестовал против допущения к баллотировке лиц, доказавших свою непригодность к плодотворной работе.

С.Н.Тройницкий оглашает свое желание видеть в числе сотрудников Эрмитажа Валерия Федоровича Нувеля как опытного в научном сотрудничестве. Мне пришлось просить разрешения допустить г-на Эрнста к работе в Эрмитаже бесплатно.

Поступило сообщение, что похищенная картина из Зимнего дворца ван дер Нера «Лунный пейзаж» найдена. Известили телеграммой реставратора Тюнина С.П., торговца картинами.

Аргутинский-Долгоруков сообщил о согласии княгини Салтыковой А.С. продать Эрмитажу барельефы.

Четверг, 5 декабря

Первым делом на заседании Совета Эрмитажа заслушали тревожное сообщение Тройницкого из Москвы по прямому проводу от управляющего делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевича от 2 декабря о том, что 16 ноября красноармейцами в Большом Кремлевском дворце был произведен перенос ящиков с коллекциями Эрмитажа, Русского музея и Академии художеств в другое место, причем они сложены в полном беспорядке и некоторые из них оказались поврежденными и разбитыми. Кроме того, Бонч-Бруевич сообщил о состоявшемся постановлении Совнаркома об устройстве в Москве выставки коллекций перечисленных музеев.

Заслушав это сообщение, Совет по делам музеев постановил: 1) Просить комиссара Ятманова, независимо от командируемых от музеев лиц, поехать в Москву для выяснения на месте всех связанных с этим делом вопросов. 2) Выразить протест московской Коллегии за допущение переноса музейного имущества в другое место и против того, что Коллегия с 16 ноября по сие время не озаботилась сообщить администрации Эрмитажа, и о постановлении Совнаркома об устройстве выставки. 3) Постановлено принять все возможные меры к тому, чтобы Совнарком пересмотрел или отменил свое последнее постановление и чтобы в скорейшем времени была осуществлена реэвакуация музейного имущества в Петербург.

Комиссар Ятманов настаивал на посылке в Москву авторитетных представителей от музеев для выступления в Совнаркоме, что им послана телеграмма народному комиссару Луначарскому. Как известно, от Эрмитажа уже командируется в Москву Н.Е.Макаренко как лицо, осведомленное в расположении ящиков, об их шифрах и прочем.

С.Н.Тройницкий ставит вопрос о необходимости командировать в Москву кого-либо из членов Совета и предлагает мне взять эту миссию. Я же предложил, в свою очередь, послать депутацию Максиму Горькому с просьбой поддержать решение Совета Эрмитажа. На этом заседание кончилось.

Пятница, 6 декабря

На заседании Совета хранителей Эрмитажа получены сведения о том, что 16 ноября отряд красноармейцев, занявших Кремлевский дворец, самочинно распорядился передвинуть ящики с сокровищами Эрмитажа в новое помещение, в котором они были свалены в беспорядке и многие из них серьезно повреждены. По слухам, это передвижение было совершено без

какого-либо контроля компетентных лиц, без гарантий целостности ящиков, содержащих мировые ценности. Известие о совершившемся факте было доставлено Эрмитажу и другим музейным организациям через три недели после события. В то же время Совету Эрмитажа стало известно, что ныне с одобрения Совета народных комиссаров предполагается в ближайшем будущем устроить в Москве выставку эвакуированных вещей Эрмитажа.

Теми и другими известиями Совет Эрмитажа встревожен и в своих экстренных заседаниях 5 и 6 декабря пришел к единогласному решению выделить из своей среды трех делегатов, с тем чтобы изучить на месте все обстоятельства дела, произвести осмотр ящиков Эрмитажа в новом месте их нахождения, подвинуть дело возвращения эвакуированных вещей на место их постоянного хранения и указать Совету народных комиссаров на те серьезные опасности, которые Совет Эрмитажа видит при использовании своих сокровищ для выставки вообще и, тем более, при настоящих обстоятельствах, — без участия лиц, специальной обязанностью коих является хранение и защита данных сокровищ.

Из этих четырех пунктов инструкции делегатам Совет считает наиболее важным пункт о возвращении эрмитажных сокровищ. Уже более года, как первый музей России и один из главных музеев мира пребывает в самом неопределенном существовании благодаря произведенной Временным правительством эвакуации его сокровищ в Москву. Это положение становится невозможным как для внутренней жизни музея — для его штата служащих, специалистов, оторванных от прямого объекта их хранения и изучения, так и для широких народных масс, для которых наш прекрасный музей должен был бы, особенно в текущее тяжелое время, служить местом бодрящего отдохновения и центром интенсивной культуры. Приостановлены научные работы, остановилась вся широкая просветительная деятельность, к которой призван служить Эрмитаж, и, в частности, задерживается осуществление широко задуманной программы издательской деятельности, для которой уже сконструирован технический аппарат. Водворение сокровищ на места в специально оборудованное для них здание, в котором, казалось бы, они нашли себе приют на вечность, было бы праздником для всего населения Петербурга, и в то же время была бы исправлена одна из самых печальных ошибок Временного правительства, с необдуманной поспешностью распорядившегося о том, чтобы подвергнуть наши главные художественные богатства всем рискам бессмысленной авантюры.

До тех пор, когда начнет осуществляться обратное водворение вещей в Эрмитаж, Совет Эрмитажа вменяет в обязанность своим делегатам изыскать как способы обеспечения на ближайшее время полной неприкосновенности сокровищ в пределах Москвы, так и в особенности все меры к недопущению, чтобы кто-либо, кроме лиц, ответственных за сохранение этих сокровищ, имел до них какое-либо касательство.

Состав служащих Эрмитажа не представляет собой случайного набора более или менее знающих свое дело специалистов, в целом состав эрмитажных служащих представляет собой живой и сплоченный организм, обладающий своими навыками, своей специфической культурой. Это один из самых важных очагов художественно-исторической жизни государства. И вот в силу этих соображений тяжелым и грубым вандализмом представилось бы всякое вторжение — хотя бы и научно подготовленных, но посторонних лиц — в то, что составляет поистине жизненную задачу эрмитажного научного коллектива. Устройство выставки таких заповедных сокровищ всего человечества, какими являются собрания Эрмитажа, вне его стен, при устранении всего сложившегося, глубоко преданного делу состава хранителей музея не только подвергло бы эти сокровища новым рискам, одна мысль о коих представляется в столь ужасном свете величайшей катастрофой, но, несомненно, вызвало бы сильную деморализацию в среде ответственных служащих, ибо с момента распоряжения посторонними лицами вещами, подлежащими их ведению, ответственность их была бы переложена на других лиц, и в дело чрезвычайной сложности, к тому же образцово налаженное, был бы внесен губительны порядок, от которого недалеко и до смертельного хаоса.

Составленное мной это мотивированное постановление Советом Эрмитажа обсуждено на заседании, одобрено и вручено делегируемым в Москву. По моему предложению послано письмо М.Горькому с просьбой поддержать протест Эрмитажа против перемещения эрмитажных сокровищ в Большом Кремлевском дворце и предполагавшейся выставки в Москве. Горький отнесся сочувственно и присоединил свою подпись к протесту. На заседании был оглашен акт об осмотре членами Московской музейной коллегии ящиков с имуществом Эрмитажа.

Среда, 18 декабря

Совет Эрмитажа заслушал вопрос о выборе кандидата на должность директора Эрмитажа. Семью голосами выбрали

кандидатом в директоры С.Н.Тройницкого.

С.Н.Тройницкий огласил отношение комиссара Киммеля о том, что приобретения Эрмитажа подлежат предварительному рассмотрению и разрешению в Коллегии отдела имуществ Республики. Со своей стороны С.Н.Тройницкий считает, что это распоряжение исходит не от правомочного органа, так как комиссар Киммель, ведающий хозяйственно-административной частью, в данном случае вторгается в научно-художественную часть, состоящую в ведении комиссара Ятманова. Распоряжение незаконно еще и потому, что Эрмитаж — учреждение автономное и самостоятельно распоряжается средствами, отпущенными на приобретение экспонатов.

Было заслушано мое сообщение о посещении зданий бывшей Академии художеств, где было найдено много ценных в художественном отношении произведений искусства и весьма нужных документов для Эрмитажа. Я же предложил огласить список картин, находящихся во дворцах Гатчины, Царского Села, Петергофа, подлежащих возвращению в Эрмитаж.

Среда, 25 декабря

Оглашается баллотировка кандидата на должность директора Эрмитажа. За его кандидатуру было подано семь голосов. Тройницкий считается избранным директором Эрмитажа. Благодаря Совет за избрание, Тройницкий просил оставить за ним заведование историко-художественным отделом. Ввиду больших заслуг бывшего директора Эрмитажа Д.И.Толстого его решено избрать почетным членом Совета Эрмитажа.

Совет Эрмитажа намерен организовать временные выставки, используя те экспонаты, что до сих пор находятся в ящиках. У Тройницкого возникла мысль об организации временной выставки фарфора, используя по возможности и те экспонаты, которые были сданы на временное хранение, и устроить ее в комнатах 7-й запасной половины, где благоприятные условия освещения и есть отдельный ход. Публика сможет проходить прямо на выставку, минуя пустые музейные залы.

Я предложил показать на выставке и некоторые картины, обставить их и другими предметами, относящимися к фарфору и его сюжетам. Предложил ряд экспонатов из музея Общества поощрения художеств С.П.Яремич.

Вторник, 31 декабря Создана оценочно-антикварная комиссия Народного комиссариата торговли и промышленности, возглавляемая Л.Б.Красиным, которая затем перешла к

М.Горькому, переименована в Экспертную комиссию Наркомата внешней торговли, открывшая шлагбаум для распродажи Эрмитажа и всего того, что можно было сбыть за рубежом.

1919 год

Воскресенье, 12 января

Пишу проект письма Горькому, который он просил меня составить, дабы ему выступить в защиту русских художественных дел перед советскими властями во время своей поездки в Москву. В конце концов я составил эту записку, которой он едва ли воспользуется, поэтому снабдил его еще коротким меморандумом в защиту экспонатов Эрмитажа, застрявших в Москве.

«Многоуважаемый и дорогой Алексей Максимович!

Мне уже давно хотелось прибегнуть к Вашей помощи и подвигнуть Вас на выступление в защиту все более разрушающихся наших художественных дел, но всевозможные недоразумения заставляли меня откладывать это намерение, причем я рассчитывал малодушно на тот авось, что все образуется и пойдет более жизненная деятельность.

Увы, до сих пор эта надежда, да и обстоятельства, приносят грубый, более безотрадный оборот дела. Эта надежда не оставляет меня в покое, и я решаюсь, наконец, утруждать Вас «упомянутым решением» на то, что Вы пожелаете активно выступить в защиту культуры, за что именно такие люди, как Вы, будете отвечать перед последующими поколениями.

Впрочем, обо всех художественных делах в целом я сейчас не стану говорить. Я лично очень приветствовал бы полное отделение искусства от государства и лишь могу сожалеть о том плане художественного устройства, которое сейчас на личной почве невозможно, и, наоборот, по всему видно, что в советском социализме государство совершенно заполонило художественную жизнь. Если это так, то всякому живому творчеству конец. Все, что есть творчество, должно преследоваться как нечто бунтарское и нежелание подчиняться тем представлениям, которые будут выдаваться за «волю народную». Тут, несомненно, Брики и Пунины постараются наплодить образцов нового искусства.

Ну, словом, положение здесь, с моей точки зрения, обстоит так безнадежно по самому существу, что и говорить об этом не стоит, и опять же хочется думать — авось жизнь подскажет более мудрые решения, авось она спасет от порабощения строительством, благо мы имели дело все же не столько с готовым и существующим, сколько с созидающим фактором. Ведь нельзя же возлагать на одну группировку главную надежду на будущее, но и Вам известно, кто рассчитывает на какое-то

оздоровление, кто непременно имеет благие намерения, имея в виду то, что называется «просвещением».

Не так обстоит дело с искусством, уже созданным и существующим, с тем, что называется «искусством прошлого». Как будто вообще для подлинного искусства может подходить термин, означающий его принадлежность к какому-то отрезку протекающего времени. Дело здесь обстоит иначе уже потому, что искусство прошлого не есть нечто гадательное, а вполне реальный факт, вполне реальная ценность, и вот за сохранность этой ценности отвечаем все мы, и как раз наиболее сознательные среди нас. Меня, впрочем, смущает, к чему я Вам это говорю, когда Вы лучше меня все это знаете. Так вот дело охраны и сбережения искусства прошлого обстоит совсем не так благополучно; причем, разумеется, надо спасать не *какое-либо* искусство — буржуазное или не буржуазное, а просто-напросто искусство без всяких ограничений и нелепых ярлыков. А это требование приводит в первую голову к необходимости совершенно отказаться в данной сфере от условного политического требования, отмежеваться от всякой прочей партийной и деятельно красивой суеты… Только тогда искусство и служит своей миссии, когда оно является примиряющим по существу, когда оно пребывает в состоянии известного «парения над торжеством». Особенно это касается искусства созидательного, которое тем ярче преображает, чем ближе оно к торжеству «искусства прошлого»…

Опять Вы спросите, зачем я пускаюсь в эти общие рассуждения, а не держусь более конкретной темы. Но, однако, разве полагаемая тема может нас куда-либо привести, если мы не условимся заранее в главном: с чем, например.

Вы не согласны со мной в этом пункте, что касается «искусства прошлого»? Должно быть аполитичным безусловно и до конца аполитичным, так лучше тогда и не читайте дальше, ибо *это* есть главная и основная моя предпосылка. Если же Вы со мной согласны, то давайте изыскивать, как это дело поставить на здоровую почву…

Еще возникла мысль, совершенно безразличная к вопросу о том, кто останется у власти через десять или сто лет, важно, чтобы через все испытания истории памятники искусства, ценные безотносительно к тому, что они выражают, для кого созданы и даже во имя чего созданы, были бы сохранены… Разрушаются дворцы как таковые, но зачем бездумно разрушать то, что может пригодиться всем и каждому, зачем уничтожать сами условия, которые созданы трудом, делают прошлое достойным сохранения? Бегемот забрался в посудную лавку, при одном

только его посещении сказался весь кошмар разрушенного, бессмысленно разбитого того, что нужно каждому. Надо создать такие меры, чтобы подобный бегемот не смог забраться в другую посудную лавку, и ее надо держать подальше от бегемота. Или это не так, как положено, что бегемотов даже зовут во все посудные лавки, чтобы все их расколотить без остатка. Кому же мы сделаем пользу, если не призывать в конце концов к ответу таких нерадивых смотрителей за дворцами, выпустивших зверя гулять, где ему захочется.

Впрочем, прежде чем изыскивать способы спасения, я в двух словах посмею изложить осуждение создавшегося и существующего в настоящее время порядка. Создатель этого порядка — все тот же роковой и чудовищный в своей глупости саботаж, приведший все дело русской культуры в жуткий тупик. В известный момент и в расчете на то, что новая власть не продержится и месяца, никто не пожелал идти активно работать даже в этой сфере охранения. Аполитичность ее, очевидно, вовсе не представляется столь опасной даже для наиболее дорожащих ею людей, чтобы рискнуть хотя бы на этой почве войти в необходимый контакт с «захватчиками». Захватчикам и не оставалось ничего сделать иного, как то, что они и сделали — они водворили своих людей, оказавшихся совершенно случайными, до фанатичности невежественными. Эти люди постарались собрать кое-кого из тех, кто по своей безграничной любви к вещам остались на местах (активных элементов среди этих оставшихся не оказалось, и в этом *главный грех*). И постепенно, таким образом, сложился новый аппарат, ведающий художественными памятниками, отличающийся, с одной стороны, случайностью и невежеством, с другой — слабостью и неприспособленностью к делу. К тому же еще надо заметить, что на психологию оставшихся умело влияла довольно открытая окружающая их среда. К сожалению, за дальнейшие месяцы аппарат этот не только не получал направление, но постепенно пришел в полное запустение.

Вы меня попросили указать современное состояние музеев. Достаточно будет сказать, что главный музей Российского государства — Эрмитаж — до сих пор пребывает в состоянии изгнания, заколоченный в ящики, подвергаясь ежечасно угрозе разгрома, расхищения (совершенно необходимо действовать, спасая Эрмитаж), что Зимний дворец, оставшийся после первой революции в нетронутом виде и лишь пострадавший после штурма 25 октября, после уже превращен в какой-то грязный вертеп, в официальный кинематограф и в ночлежный приют, что жизнь музеев-дворцов, охрана которых была так прекрасно

налажена тем совещанием, во главе которого стояли Вы, с тех пор парализована и не объединена с центром.

Еще хуже обстоит дело с частными дворцами, национализированными, так что везде отсутствует всякая руководящая мысль во всем том, что творится в данной области, и, наконец, просто самый помянутый аппарат ныне превратился в одну огромную несуразную канцелярию, в которой единолично властвует, командует и распоряжается самое бестолковое и безалаберное существо, то самое существо, которое было в свое время посажено в качестве «советского полицмейстера» и которое ныне благодаря нелепому стечению обстоятельств, благодаря преступному равнодушию людей более культурных, благодаря общей слабости и забитости, оказался повелителем, наделенным большой полнотой власти, нежели во времена царского произвола была наделена вся официальная минц-коллегия велением князя, все главуправления вместе взятые. Достаточно сказать, что Г.С.Ятманов, которого никто в художественном мире до ноября 1917 года не знал, ныне правит всеми музейными делами России, всей художественной наукой единолично, ибо для кого же тайна, что коллегия из трех лиц — Луначарского, Киммеля и Ятманова — функционирует только на бумаге, а что свой совещательный голос Ятманов превратил в Комиссию по делам музеев и охраны, то и собираются лишь тогда, когда ему вздумается. Да и то лишь для отвода глаз. Весь грех именно в этом. Я не хочу сказать, что Г.Ятманов совершенно бездарен, и хочу сказать, что он в начале октябрьской революции принес какую-то пользу делу, которое он по-своему любит. Но одно дело любить, а другое — понимать в нем, только хозяйничать на самый рассейский безалаберный лад, а другое — строить *так*, чтобы постройка выходила и прочной, и внушительной, и прекрасной. Лично я ничего не имею против Г.Ятманова и первый стоял за то, чтобы за ним сохранить какие-то функции внешней охраны, наведения порядка в той старой огромной сфере исполнителей… И даже в некотором отношении он мне представляется почти незаменимым. Но от этого до того, чтобы играть ту роль, которую играли в дни Великой французской революции образованные и талантливые люди, как Денон и Ленуар, чтобы играть ее бесконтрольно и безапелляционно, разумеется, огромная разница, и если это расстояние продолжить, Г.Ятманов доконает Зимний дворец вместе с непоправимой разрухой и деморализацией в таком превосходном организме, как два наших главных музея, Эрмитаж и Русский музей, которые окончательно утратят способность привития разнообразия…

Куда ни взглянешь — задачи огромного значения и важности

интересов, не по силе они, может быть, и неплохому человеку, но совершенному *дикарю*, обуреваемому к тому же какой-то страстью во все входить собственной персоной…

Тот же господин Ятманов — автор одного из самых злосчастных декретов нашего времени. Это он — в соединении с одним из членов бывшей Коллегии, явившим из себя мальчишку, — за подписью Луначарского, наперекор всем нашим членам Коллегии, выдал декрет о принудительной регистрации всех частных собраний предметов искусства. Одна эта мера характеризует человека как нелепого администратора, как вредящего. Я не социалист, для меня частная собственность есть нечто неприкосновенное при всех обстоятельствах, и я убежден, что только на этом самом естественном институте зиждется вся культура. Самым роковым в войне 1914–1918 годов была не бойня, а именно «грабеж», вторжение государства в частную жизнь. Разрыв тонкой и благородной ткани быта и именно внедрение, нарушившее то, в чем этот быт находил свое главное сохранение. Таково мое личное убеждение, и нынешняя доктрина мира меня не заставляет отказаться от того, чему меня учит жизнь и чему она неминуемо научит даже всех тех, кто сейчас все еще вместо жизни предпочитает книжное видение мира. Но я готов в данном случае забыть на время свои убеждения и взглянуть на задачи с той политической точки зрения, которую я вообще отрицаю. И вот даже сегодня с этой точки зрения я никак не могу согласиться с целесообразностью означенного декрета.

Допуская с такими оговорками истинность предпосылок, что художественные произведения являются «достоянием всего народа» и их хозяин должен знать, чем он владеет, я решительно отрицаю, что этот хозяин мог бы добиться настоящего толка в данном деле и что такая его постановка приведет к сохранению, а не к гибели самого «достояния». Вопрос это тонкий и особенный. Владение художественным памятником нельзя приравнивать к владению всякими иными ценностями. Здесь личность владельца, его «душа», носит характер, слишком тесно связанный с имуществом, здесь устанавливается между вещами и личностью обладателя совершенно особенный контакт, разрыв коего не только может нарушить благополучие и всякий смысл существования обладателя, но и самым роковым образом отзовется на вещах, то, следовательно, с величайшей осторожностью надо предвидеть в этой сфере: бегемоту, чтобы ни говорил А.В.Луначарский, нет места в посудной лавке, и его надо держать на большой от нее дистанции.

Да и какой имеет смысл хотя бы произведение учета всех художественных вещей, когда, в сущности, они всегда будут

полезны и дороги лишь немногочисленной избранной кучке. Я первый сторонник музеев, но сам признаю, что музейная сеть — величайшее и нелепое зло. Считать каждую поповскую[16] чашку, каждый рисуночек, каждую гравюру за «музейную вещь» — это значит пожелать объять необъятное, обюрократить государство, обречь на тяжелое расстройство пищеварения, а главное, это значит погубить тысячи и сотни тысяч предметов, только что признанных «народным достоянием», а, следовательно, подлежащих сбережению. Погибнуть эти вещи должны от двойных причин: во-первых, в страхе перед органами регистрации (безвредную опись специально не составишь), или в результате подпольного хранения и обмена художественных произведений, потери будут неисчислимыми, не подлежащими какому-либо учету. Погибнут они уже потому, что перестанут отвечать своему прямому назначению, их запрут в секретные хранилища или припрячут в погонных километрах картинных галерей и т. д.

Сейчас часть вещей в музеях, часть не в них — это вполне нормальный порядок, ибо одна сторона как бы дополняет другую в отношении научной, так и эстетической (кому что нужно), а главное, сберегается, если уже часть вещей будет собрана. Я, впрочем, думаю, что беру на себя лишний труд, доказывая очевидное. Кто из серьезных людей (из не-Ятмановых) станет спорить, что искусству тем лучше, чем свободнее оно пронизывает всю толщу общественной жизни. Сторонникам преклонения перед рабочим классом следовало бы мечтать, чтобы и в пролетарской среде оно сохранялось. Несколько иначе обстоит дело с произведениями исключительными…»

Среда, 5 февраля

Сегодня на очередном заседании Совета хранителей Эрмитажа согласно моей рекомендации решено приобрести картину Караваджо «Бахус» за 100 тысяч рублей. Вот текст моего представления.

«Совещание Картинной галереи Эрмитажа выступает с предложением приобретения картины Караваджо «Бахус», опираясь на следующие соображения.

Принадлежность картины кисти основателя «натурализма» представляется безусловно достоверной. Начиная от технических приемов, кончая концепцией в целом, все говорит о том, что мы имеем произведение автора «Корзины фруктов» миланской Амброзианы, берлинского «Амура-победите-ля» и картин в церкви Сан Луиджи деи Франчези. Особенно характерна для мастера

трактовка тела и гроздей винограда, служащая отличительными атрибутами бога вина. Вполне в духе Караваджо и освещение картины. Если оно и не соответствует пресловутому «погребному» освещению, обычно ставившемуся в упрек художнику критиками академического толка, то все же оно отличается той резкостью, которая давала мощному кователю форм возможность их выявлять с особой пластической определенностью. При этом, однако, особенный интерес придает данной картине именно то, что в ней сделана поражающая передовитостью своего достижения попытка решить проблему реалистического пленэра. Особенно прекрасны при всей своей сдержанности столь полнозвучные отношения тонов лица, венка из виноградных листьев и пейзажных далей — к небу, покрытому плотной пеленой облаков.

Интерес к картине возрастает, если обратить внимание на то, что перед нами, по всей вероятности, та самая картина мастера, о которой упоминается в биографическом очерке, посвященном основателю натурализма, современника Караваджо Балионе в его книге о папе Урбане. Относящиеся сюда строки гласят: «И первой картиной, написанной Микель Анджело Америго по прибытии в Рим и переезде в дом художника Джузеппе Чезари, был «Бахус» с различными гроздьями винограда, сделанными с величайшим старанием в несколько суховатой манере». Основываясь на тексте того же очерка, создается почти полная уверенность в том, что мы имеем в данном случае *автопортрет* юного мастера, вынужденного в те дни из-за неимения средств на наем натурщиков пользоваться собственным отражением в зеркале, дабы писать согласно своим принципам, не отступая ни на шаг от природы.

В высшей степени интересно сопоставить «Бахуса» Караваджо с другими его картинами и с бесконечным рядом произведений его последователей всевозможных школ и национальностей. В этих картинах уже заключены элементы исканий и достижений Риберы, Хонтхорста, Гверчино, ван Эвердингена и многих других, в частности же «Бахус» является как бы прототипом для знаменитой мадридской картины Веласкеса «Пьяницы». В Эрмитаже, который уже владеет двумя капитальными произведениями художника («Мучения св. Петра» и «Лютнист»), «Бахус» явится весьма значительным для характеристики Караваджо пополнением, и с момента включения картины в галерею можно рассчитывать на то, что удастся сгруппировать картины Караваджо и его последователей в особом кабинете, общее впечатление от которого даст настоящее представление о натурализме как о важнейшем моменте истории живописи после

Ренессанса, являющимся отправной точкой для всего того течения, которое достигло своего зенита в произведениях середины минувшего столетия и особенно в творчестве «Караваджо XIX века» — Курбе. Ввиду известной наклонности к натурализму, отмечающей очень значительный период нашей отечественной живописи, следует признать особенно желательным образование в Эрмитаже по возможности полной «галереи предков» такого характера.

Сохранность картины не может быть признана вполне хорошей. Многочисленные выпады красок, зашпаклеванные, но не ретушированные, уродуют ее в настоящую минуту и вносят неприятную пестроту в ее красочное целое. Однако всякий, знакомый с состоянием картин XVII века, должен согласиться с мнением, высказанным одним из наших сочленов, опытнейшим собирателем и техником по восстановлению старинной живописи, нашедшим, что порча «Бахуса» Караваджо не представляет ничего существенного и может быть без всякого риска и даже особенного труда исправлена. Сохранность этой картины может быть отнесена к вполне удовлетворительным.

Остается вопрос цены. Собственник картины, считая ее за произведение Веласкеса, рассчитывал первоначально за нее получить сумму, которая для произведений Веласкеса не сошла бы за преувеличенную, а именно — 250 тысяч рублей. С большим трудом удалось хранителям Эрмитажа, вошедшим в переговоры с владельцем, переубедить последнего и уверить его в том, что он обладает произведением Караваджо — художника, правда, не менее значительного, нежели глава испанской живописи, но все же уступающего ему в смысле оценки на мировом рынке, после чего владелец понизил цену на половину. Наконец, после дальнейших убеждений он согласился остановиться на 100 тысяч рублей. Едва ли нужным представляется при этом напоминать, что цифра эта не может быть уподоблена тому, что она же представляла собой до войны, когда наш рубль соответствовал 3 франкам 60 сантимам. Ныне даже официальная оптимистическая оценка рубля приравнивает его к 5 прежним копейкам, а, следовательно, и за картину «Бахус» Эрмитаж дает очень скромную сумму всего 5 тысяч рублей прежних денег, на самом же деле и того меньше, если взять в основу оценки нашей денежной единицы цены на предметы первой необходимости».

Совет Эрмитажа, вполне соглашаясь с представленным совещанием Картинной галереи доводами, постановил картину Караваджо «Бахус» приобрести за 100 000 рублей как вещь исключительно ценную и дополняющую представление об одном из самых выдающихся мастеров истории живописи. Вместе с тем

Совет выражает свою признательность Э.К.Липгардту, первому обратившему внимание на приобретаемую картину и употребившему много старания к тому, чтобы Эрмитаж был обогащен столь замечательным вкладом.

Вторник, 15 апреля

Сегодня на заседании Совета художественного отдела Русского музея я выдвинул кандидатом в члены Совета архитектора-художника Андрея Яковлевича Белобородова, который по своей энергии, таланту и настойчивости по проведению в жизнь раз принятых решений вполне соответствует предъявляемым требованиям.

П.Нерадовский добавил, что Белобородов является хорошим знатоком эпохи классицизма, что для музея весьма желательно. Его архитектурные работы в доме княгини Юсуповой характеризуют его оригинальный такт и вкус.

Запишу для памяти. Сегодня же В.Н.Аргутинский-Долгоруков поднес в дар Русскому музею альбом рисунков Кипренского из собрания П.Я.Дашкова. Подарок чрезвычайно обрадовал не только Д.И.Митрохина, но весь состав Совета. Продолжается формирование кабинета рисунков и гравюр, за который со всей присущей ему серьезностью взялся милейший Дмитрий Исидорович.

Четверг, 8 мая

На Совете художественного отдела Русского музея нам с Яремичем пришлось отстаивать приобретение ряда интересных произведений. В частности, предложенный Е.Н.Давыдовой автопортрет гравера Чемесова и натюрморт

И.Репина «Яблоки и листья» 1879 г., предложенный О.Н.Каратыгиной. Натюрморт Репина, по моему мнению, является выдающимся произведением, имеющим художественное значение, как со стороны темы, необычной для его творчества, так и по отношению художника к чисто живописным задачам, отражающим явные следы парижских настроений Репина в 70-е годы и следы прямого влияния Мане. Подобному произведению место только в экспозиции Русского музея.

На этом же заседании Адарюков предложил приобрести у него 100 литографических портретов русских писателей, а также 100 листов гравюр Бореля. Митрохин высказался за приобретение

хотя бы 43-х портретов 1822 года, отсутствующих в Русском музее.

Заслушано сообщение Адарюкова и Яремича об осмотре отдела калькографии бывшей Академии художеств. Впечатление безотрадное — шкафы взломаны, гравюры смешаны, валяются в пыли, редкие работы граверов разбросаны по полу. Решили требовать перемещения эстампов для хранения в Русском музее.

П.И.Нерадовский говорил о своего рода торговом падении произведений искусства, вызванным циркуляром о регистрации художественных произведений. Владельцы, напуганные реквизицией, избегают обращаться в казенные учреждения, в музеи, опасаются предлагать свои вещи, и тем самым прекращается работа по пополнению музеев. Совет составил протест против подобного произвола и направил его в Коллегию по делам музеев на имя Троцкой в Москву.

Пятница, 4 июля

Довольно безотрадным оказалось заседание под моим председательством Совета художественного отдела Русского музея. П.Вейнер принес в дар музею оригинальную рукопись «Основные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству» часть 1, 1786 г. Следом было выслушано заявление П.И.Толстого о принятии на хранение в Русский музей собрания Д.И. и И.И. Толстых, прочитанное с весьма заметным волнением: «Обращаюсь к Совету отдела с просьбой принять временно на хранение в художественном отделе музея предметы художественного значения, частью археологического, частью же интереса бытового, архивного (частная переписка), принадлежащую моему дяде Дмитрию Ивановичу Толстому, который ныне в Петербурге отсутствует. Среди этих предметов имеются старинные миниатюры (русские и иностранные), картины и рисунки старых русских художников, предметы старинной мебели, табакерки, художественные изделия, образцы художественной ювелирной работы, а также коллекция южнорусских (керченских) древностей и так называемое финикийское стекло.

Вместе с переданными предметами предлагаю на временное хранение в художественном отделе музея некоторые археологически-художественные предметы из числа лично мне принадлежащих, как то: византийские монеты из нумизматического собрания покойного моего отца Ивана Ивановича Толстого, систематизированные серии (по годам и

чекану) разменной русской монеты, чеканенной на бывшем Монетном дворе, преимущественно серебро, старинные ювелирные украшения художественного характера, старинные пистолеты и некоторые другие предметы, имеющие научно-художественный интерес». Такое вот трогательное прощание с семейными сувенирами, которые добыты и сохранены с таким целеустремленным старанием.

Конечно, Петр Иванович весь трепетал, чувствуя безвыходность, и сразу поспешил сказать и без того всему Совету известное: «Собрание как имеющее крупное художественно и научное значение и заключающее в себе ряд выдающихся произведений русского искусства следует принять целиком».

Пришлось и мне сказать, что ввиду огромной художественной ценности собрание Толстых следует немедленно принять на хранение, чтобы спасти его от возможного расхищения, что же касается дальнейшей его судьбы, то в этом отношении оно разделит участь всех остальных предметов, хранящихся в музеях. А это особенно волновало членов Совета. Они были в курсе того, что Коллегия по делам музеев уже подняла вопрос, чтобы коллекция М.П.Боткина была немедленно распределена между музеями. Пришлось еще раз повторить то, в чем сам не был уверен: с Эрмитажем всегда можно договориться, поскольку его Совет состоит из лиц, причастных к искусству, а не к меркантилизму.

Оглашено было сообщение, что в магазине Фельтена найдены рисунки Кипренского, и я высказал намерение, что они очень ценные, поскольку датированный рисунок Кипренского, который я видел, и по технике тоже интересен, и не представлен в образцах в музее.

Адарюков принес две медные доски, с которых печатались гравюры Полякова, к великой радости Митрохина. Закончилось заседание на еще более грустной ноте: сообщением об осмотре мастерской покойного скульптора Г.Р.Залемана. Она подверглась расхищению, исчезли книги, рукописи, мелкая пластика, остались громоздкие слепки, фигуры из воска. Кое-что все же решили выбрать для музея.

1920 год

Вторник, 6 января

Как-то благодушно прошло под моим председательством заседание Совета художественного отдела Русского музея. Присутствовали члены Совета: Аничков, Аргутинский-Долгоруков, Миллер, Митрохин, Нерадовский, Околович, Яремич. За секретаря — библиограф Левинсон-Лессинг. Чинно, благородно, но скучно шло по давно отработанной системе, лишенной прелести новизны, азарта, присущих знакомству с неизвестными шедеврами, но их не оказалось. Возобладало то, что произошло в конце заседания, а именно — наплыв современных произведений. Как обычно, в начале Совет принял в дар от Общества поощрения художеств, от их аукционов, доставленные С.Яремичем последние приобретения. На сей раз оказались: альбом рисунков художника Боклевского, акварель К.Сомова «Пастораль», акварели Л.Бакста — костюмы к «Фее кукол».

АД.Стасов, выполняя волю покойного дяди В.В.Стасова, передал в дар музею статуэтку в рост В.В.Стасова работы И.Гинсбурга. Заслушали просьбу А.М.Никель о принятии на хранение сорока картин художников — Волкова, Крыжицкого, Шишкина, Крачковского. Ввиду перегруженности помещений музея отказали.

Удовлетворили ходатайство О.И.Голицыной о продлении срока хранения бумаг Е.И.Нелидовой, сданных в музей два года назад.

Последовала череда приобретений художественных произведений. Из прежних живописцев остановились на картине А.А.Боброва «В комнатах» 1869 г., предложенной Л.Р.Клокачевой за 25 тысяч рублей. Приняли как характерный образец поздних отражений творчества Венецианова. Коллекционер М.С.Свердлов предложил девять гравюр и рисунков, которые Митрохин одобрил, и было дано согласие на их приобретение.

Затем прошла череда современных произведений — «Натурщицы» Татлина за 30 тысяч руб., картины Д.Штеренберга «Электрическая лампа» и натюрморт, каждая по 30 тысяч рублей, два натюрморта И.Пуни по 30 тысяч рублей.

К. Петров-Водкин предложил картину «Утро» за 30 тысяч рублей и два рисунка за эту же цену. Приобрели, так же как и сорок шесть рисунков Б.Кустодиева, принесенных его супругой

Ю.Е.Кустодиевой.

Комиссар Н.Пунин предложил «Пейзаж» Д.Бурлюка, отклонили наряду с «Пейзажем» и «Мое-я» Э.Спандикова как не представляющими художественного интереса. Эта вялотекущая процедура вызвала у меня желание изменить систему беглого рассмотрения творений, явно не обогащающих музейный фонд. Проявились моя слабость и напористость неугомонного Петра Ивановича.

Суббота, 17 января

Сегодня с утра засели вместе с Владимиром Кузьмичом Макаровым составлять акт осмотра Гатчинского дворца-музея. Осмотрев 15 января лестницу и третий этаж среднего корпуса дворца, комиссия обнаружила следующее: каменные ступени лестницы обледенели, стены покрыты инеем, в углах комнат налет плесени, с подоконников сильная течь. Картины Щедрина и Мартынова — виды Павловска и Гатчины, расположенные на лестнице, покрыты слоем льда, инея. В прилегающих залах на серии картин Беллотто — виды Варшавы — местами налет инея, а местами ярко выраженное помутнение лака — следствие пребывания картин под инеем. На ряде картин наблюдается осыпание краски, а две картины, писанные пастелью, покоробились от сырости и оставили часть своего красочного слоя на стекле.

Все замеченные гибельные для картин и обстановки музея явления, по единогласному заключению комиссии, происходят от притока теплого и влажного воздуха в холодный (-4,5 °С) музей из отапливаемых соседних с музеем помещений, занятых в настоящее время учреждениями штаба 7-й армии. Единственной мерой пресечения вышеупомянутого явления, за невозможностью отапливания всего дворца, по мнению комиссии, является устранение отопления соседних помещений.

Ввиду того, что смена различных степеней влажности не только разрушает лак картин и их красочный слой, но, заставляя холст натягиваться то сильнее, то слабее, угрожает в конечном итоге отделением красочного слоя картин от грунта, и перенесение картин, постепенно приспособившихся к определенной, хотя бы и низкой температуре и определенному проценту влажности воздуха, в какое-либо другое помещение, является совершенно недопустимым с точки зрения их сохранности, вышеупомянутый приток теплого воздуха является особенно роковым и требует крайне срочного устранения.

Подписали: я как член Академии истории материальной культуры, О.Браз и А.Зилоти — хранители Эрмитажа, Н.Околович — хранитель Русского музея, В.Макаров — хранитель Гатчинского дворца-музея.

Воскресенье, 18 января

Составляли акт осмотра Гатчинского дворца-музея специальной комиссией в составе: меня как академика Академии истории материальной культуры, хранителей Эрмитажа О.Браза и А.Зилоти, хранителя Русского музея Н.Околовича, заведующего музейным отделом С.Исакова, хранителя Гатчинского дворца-музея В.Макарова, командированных Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины, вследствие заявления хранителя дворца-музея о появлении в здании музея сырости, угрожающей собраниям музея.

«Акт в Реввоенсовет 7-й армии.

На основании заявления, сделанного хранителем Гатчинского дворца-музея председателю Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины о предполагаемом занятии Кухонного каре Гатчинского дворца-музея штабом одной из частей Красной армии, Всероссийская Коллегия по делам музеев и охраны памятников искусства и старины настоящим заявляет, что в течение двух лет с великими усилиями нам удалось организовать первоклассный музей, имеющий мировое значение, и отстоять его от всех невзгод, связанных с гражданской войной, и что всякие попытки занять какое-либо помещение данного музея ведут только к разрушению музея, чему может служить пример пребывания комендантского управления и комендантской роты, результатом которого было сожжение ценнейшего архива Мордвинова, были взяты и отобраны назад вещи из Березового домика; парчовые подушки и матрацы, хранившиеся во дворце. Охрана музея не может быть организована, так как устройство здания не позволяет создать преграды между многолюдными канцеляриями и чисто музейными помещениями. Кроме всего вышеизложенного, вселение в Кухонное каре другого учреждения, кроме небезопасности в пожарном отношении, разрушает музейную работу, так как весь верхний этаж занят

картинной галереей, а антресоли — архивом, музейными кладовыми и прочим. Нижний этаж также занят отчасти кладовыми и музейной канцелярией.

В виду всего изложенного Всероссийская Коллегия по делам музеев обращается в Реввоенсовет с просьбой об отмене предполагаемого занятия нижнего этажа Гатчинского дворца-музея штабом Красной армии и приискании другого помещения. По имеющимся во Всероссийской коллегии сведениям, в Гатчине имеется много брошенных обывателями, ушедшими с белогвардейцами, домов и помещений, удобных для размещения под квартиры штаба.

Считая, что Реввоенсовет не допустит разрушения музея, а, наоборот, окажет нам содействие в охране этого культурного народного достояния, Всероссийская Коллегия сообщает, что в случае, если по каким бы то ни было причинам будет занято помещение Гатчинского дворца-музея, Всероссийская Коллегия сложит с себя всю ответственность за сохранение музея».

Составленный нами акт мы передали А.В.Луначарскому[17]. Марс должен уступить Аполлону.

Вторник, 30 марта

Мое председательство на этот раз вытрясло из меня все силы и навело на грустные мысли, складывается впечатление, что вся петербургская знать вдруг задалась целью мгновенно избавиться от своих семейных реликвий, от всего того, что было так дорого. На Совете художественного отдела Русского музея передо мной прошли десятки прекрасных вещей, достойные, но денег на приобретение в музее нет. Приняли дар М.Добужинского, который предложил две гуаши из серии «Из жизни Петербурга в 1920 году». Поступили десять карикатур В.Серова, два рисунка Бакста, «Семейный портрет» Нарбута, его же портрет Крылова, Сапунова «Москва ночью». Преподнес и я акварель из цикла «Смерть». Брат Альберт Бенуа подарил акварель «Закат на озере Вамильярди» и картину «На палубе парохода в Средиземном море», дочь профессора П.Чистякова — портрет ее матери работы П.Чистякова. Е.А.Нарышкина предложила купить у нее «Портрет князя А.Б.Куракина» кисти Лампи 1811 г. и портрет царевны А.А.Грузинской кисти Виже-Лебрен. Ей посоветовали обратиться в Эрмитаж.

Л.К.Савопуло принес «Портрет мужской» работы Сердюкова, который принадлежал когда-то Н.Врангелю. С.К.Тиль предложил силуэт его деда Фридриха Тиля. Передали в бытовой отдел.

Л.Е.Цытович принесла «Женский портрет» работы В.Замирайло. Нерадовский сообщил, что австрийское посольство продает картины русских художников, кому-то из нас надо посмотреть и выбрать для музея. В частности, полагает, что там есть «Женский портрет» Боровиковского. Следует составить список картин, пригодных для музея. Митрохину поручили побывать в антикварно-экспертной комиссии и осмотреть произведения, представляющие интерес для музея. Уполномоченный отдела охраны памятников С.А.Ухтомский сообщил, что у них на Моховой, 10, появились картины русских художников, поступившие из алупкинского дворца Воронцовых. Среди них якобы произведения Левицкого и Рокотова.

Во дворе здания, которое спешно переоборудуется под лазарет тифозных, в куче мусора найден архив материалов истории России XVI–XVII веков.

В Отдел по делам охраны памятников искусства и старины поступили художественные произведения из коллекции Д.А.Олсуфьева и Ферзена. В том же отделе находятся четыре портрета из бывшего Совета присяжных поверенных: А.Н.Турчанинова работы В.Серова, В.Н.Герарда и В.Д.Спасовича работы Репина, Арсеньева работы О.Браза.

Члены комиссии по приобретению работ современных художников для музейного фонда просят прислать сотрудника для осмотра работ М.О.Микешина, приобретенных с выставки. Среди них рисунки скульптора и художников Льва Бруни, Митурича, Дав. Бурлюка, а также рисунки М.Добужинского, приобретенные с выставки в Доме искусств, с выставки «Миньон» общества им. Куинджи приобретены работы Савинского, Кучумова, Лаховского. Митрохин огласил акт о приеме Адарюковым гравюр, литографий из собрания Е.Е.Рейтерна.

Заведующий музейным отделом С.Исаков сообщил, что в собрании Госфонда в Зимнем дворце находятся альбом Г.Г.Гагарина, часть его коллекции, а также рисунки Кипренского, гравюры Махаева. Митрохину поручено побывать там и составить список тех вещей, которые следует переправить в Русский музей.

Пятница, 23 апреля

Иногда мне кажется, что неисчерпаема бездна глупости, а художественный Совет Русского музея напоминает оазис

честности в пустыни невежества. Это случилось на объединенном заседании Совета, в котором приняли участие заведующий садово-парковой секцией археологического отдела В.Я.Курбатов, член общего Совета Русского музея, директор Эрмитажа С.Н.Тройницкий и заведующий работами по устройству парка на Марсовом поле архитектор И.А.Фомин. Последний и высказал явно непродуманную затею, направленную на возвеличивание священного захоронения на Марсовом поле. Кстати, еще в 1917 году нам удалось предотвратить намерение властей устроить кладбище на Дворцовой площади, мы посоветовали захоронение жертв революции устроить на Марсовом поле. И вот родился новый план наступления на самые основы петербургской культуры. Фомин высказал, что в связи с подготовкой к празднованию 1 мая в Смольном решили срочно вырубить сорок деревьев в саду Михайловского дворца, сделать просеку, чтобы открыть вид с Марсова поля на фасад Русского музея. Наряду с этим намечено соединить мостами парк Марсова поля с парком при Русском музее и с Летним садом. Просека, по мысли Фомина, якобы не нарушит цельность Михайловского парка, который не имеет определенного характера и напоминает английский парк, и все это в целом оправдано тем, что Михайловский дворец переходит в обезличенное общественное пользование. Если в эпоху Росси вполне было естественно замаскировать Михайловский дворец группами деревьев как частное жилище, то теперь желательно открыть вид на него для всех горожан. Для осуществления этой цели Фомин заявил, что в его распоряжении имеются опытные садоводы, которые выполнят работу к 1 мая.

Вот тут и сыграл свою роль «оазис спасения» Русского музея. Первым поднялся В.Я.Курбатов (не зря прошел школу «Мира искусства») и высказал, что недопустима порубка леса по оси фасада музея. Это совершенно нарушит план музейного парка, который разработан в характере чисто пейзажного парка и рассчитан на посадку деревьев и кустарников таким образом, чтобы они служили рядом кулис, открывающих вид на часть фасада. Открытый фасад резко противоречит художественному замыслу Росси. Можно лишь очистить сад от поздних зарослей, которые нарушают план парка своей запущенностью.

«Запущенное состояние парка недопустимо, — сказал Миллер, — администрация музея сознает это упущение, был разработан план восстановления сада, но война помешала его осуществить, то есть привести в соответствии с планом Росси».

Возразил против проекта — открыть вид на дворец — и С.Н.Тройницкий. В его руках оказался проект архитектора Росси, и он привел историческую справку, что Росси проложил

Михайловскую улицу для того, чтобы открыть вид на лицевой фасад дворца с Невского проспекта. Мне ничего не оставалось добавить и я категорически высказался против прорубки просеки и заявил, что совершенно недопустимо устраивать мосты для соединения Марсова поля с парком Русского музея и Летним садом, так как это нарушит весь художественный и архитектурный проект Марсова поля, участка музея и Летнего сада.

П.И.Нерадовский показал подлинный план, хранящийся в художественном отделе Русского музея — план Росси, в котором видны его намерения: 1) Построить павильон вправо от оси фасада, чтобы он был виден с Марсова поля на фоне старых аллей. 2) Прервать аллеи вдоль набережной с засадкой пустого места в шахматном порядке, чтобы часть фасада была видна в этот пролет. План показывает, что перекидка проектируемого моста с Марсова поля нарушит композицию всех линий по набережной Мойки. С.П.Яремич указал на то, что по плану Росси видно, как остроумно им найден переход от плана музейного парка к Марсову полю, которые идут по разным осям. План дорожек и оставленных им старых аллей служит в его композиции как бы переходными полутонами к плану Марсова поля.

Совет единогласно постановил:

1) Признать проектируемую с целью открыть с Марсова поля вид на фасад музея прямолинейную просеку недопустимой. Просека совершенно исказит парк в самой основе и в центральной части и разрушит всю планировку разбитого Менеласом парка по плану Росси.

2) Недопустимо соединение мостом, устраиваемым на Марсовом поле, парка с парком музея, так как это нарушит цельность характера Марсова поля, участка музея и Летнего сада. Связывание в один цельный ансамбль столь различных по стилю парков, как новый, партерный, разбиваемый на Марсовом поле, и старый парк музея с ярко выраженным характером эпохи, признать недопустимым.

3) На очереди более существенные задачи — прочистка мелких деревьев, кустарников по направлению от центра паркового фасада по оси английской площадки у самого берега Мойки. Эта прочистка может быть осуществлена для восстановления парка Росси.

4) Для окончательного решения вопроса следует создать комиссию в составе Курбатова, Миллера, Романова, Тройницкого, Фомина.

5) Просить Фомина, поскольку у него есть рабочие, провести

очистку и упорядочение парка.

6) Просить Курбатова содействовать музею в поддержании в порядке новых посадок.

Выслушав это, Фомин заявил, что обо всем этом и предстоящих работах он доложит Каплуну. Вопреки его, Фомина, указанию, решено по краям Марсова поля посадить липы, что соответствует партерному характеру поля. Поневоле возник вопрос, целесообразно было ли прорубать просеку, если посадки на Марсовом поле закроют фасад Михайловского дворца.

Постановили: прочистку парка осмотреть на месте в пределах основной мысли, планируя срубить ряд мелких деревьев счетом восемь и два зонтичных дерева пересадить, мелкую поросль возле тополей срубить. Наблюдение за работами возложить на архитектора музея М.А.Критского. Поскольку Фомин располагает рабочими, то просить его очистить аллеи, место вокруг пруда, отремонтировать старый мостик и очистить почву от мусора.

И.Фомин еще раз обратился в Русский музей. Он заявил, что в саду Михайловского сада находится гранитный пьедестал для памятника императору Александру III, который теперь оказался ненужным, на него претендует скульптор Блох и просит представить его для создаваемого им памятника согласно декрету о монументах. Совет не возражает и рекомендовал обратиться в те учреждения, которые ведают подобными памятниками, но выразил опасение, чтобы вывозка пьедестала произошла без повреждения посадок в Михайловском саду.

Вторник, 4 мая

Еще одно полупрощальное заседание Совета Русского музея. Известный в Петербурге антиквар Бартоломео Ксаверьевич Чекато преподнес в дар Русскому музею десять листов академических рисунков эпохи Лосенко-Угрюмова, Кипренского и рисунок «Ассамблея при Петре Великом», приписываемый Хлебникову.

После вручения экспонатов было зачитано следующее письмо Б.К.Чекато: «Проживши сорок лет среди русских художников и деятелей искусства, от них получивший художественное развитие, материальное благосостояние, а главное, видя их душевное ко мне отношение, я чувствую, что должен отблагодарить их, предлагая Совету музея в дар портрет во весь рост жены профессора Басина работы Карла Брюллова, думая исполнить долг благодарной России и ее деятелям искусства за то добро, которое от них получил.

Преклоняясь перед ушедшими в вечность художниками,

поминая их добрым словом, прошу Вас быть выразителями глубокого уважения и восхищения всеми могучими творцами русского искусства. Думаю в ближайшем будущем расстаться с Россией и милыми русскими художниками, я никогда не забуду их ко мне доброго отношения и постараюсь по возможности всегда и везде быть им полезным».

Совет Русского музея выразил Бартоломео Ксаверьевичу Чекато особую признательность. Не у одного меня екнуло сердце при мысли, что мы больше никогда не увидим такого отзывчивого… на российской земле. И опять на душе — словно присутствую при погребении близкого и заботливого друга художников. Так в тиши незаметно рассеивались, исчезали лучшие деятели художественной культуры. На смену им шли грубые, самоуверенные властители от дьявола социализма.

Вторник, 11 мая

Очередное заседание художественного отдела Совета началось с мелких текущих вопросов и переросло в большую проблему организации предстоящей выставки в стенах Русского музея.

Начнем по порядку так, как у меня оказалось записанным в блокноте. Некий Н.Н.Бух предложил 8 крупных и две мелкие модели, оставшихся в мастерской после кончины академика скульптора Н.И.Либериха. Поручено Яремичу и Нерадовскому осмотреть содержимое мастерской Либериха и выбрать то, что достойно музея.

П.И.Нерадовский напомнил, что надо продолжить подготовку выставки в музее, которую намечали в 1918 году. Сейчас это весьма своевременно — показать развитие русской живописи поступательно — и периодически устраивать выставки рисунков и гравюр, которые сейчас приводятся в систему. Прежде всего следует подготовить помещения для экспозиции, составлена смета на 659 323 рубля на ремонт залов и устройство экспозиций. Совет одобрил проект и предложил Пунину, чтобы он добился от Ятманова намеченных сумм.

Нерадовский считает, выставка займет помещения в пределах главного здания музея. Намечалось занять часть флигеля Росси, но ввиду значительного поступления художественных произведений там пришлось занять помещения, два зала выделить для периодических выставок и для служебных помещений.

При размещении картин выявились затруднения с перевеской

картин большого формата. Белоколонный зал отпадает от выставки картин, так как его ансамбль — памятник дворцового убранства 20-х годов прошлого столетия. Картины, помещенные в этом зале среди золоченой мебели и расписных стен, теряют самодовлеющее их значение. Ряд залов оказались недостаточно освещенными, пригодны лишь для рисунков.

План размещения коллекции музея преследует цель — представить ход развития русского искусства с XVIII века до наших дней, то есть служит продолжением коллекции 1-го отделения художественного отдела. В основу размещения коллекций, насколько это позволяет площадь здания, положено размещение их в исторической последовательности по эпохам, в которых коллекции группируются по отдельным течениям, а в этих группах, в свою очередь, художественные произведения размещаются по авторам. Развеска будет носить такой же характер, как устроенная осенью 1918 года (работа не была выполнена), то есть картины будут размещаться просторно, чтобы удобно было смотреть, а соседние картины наиболее выгодно выделяли ее и гармонировали с ней. Ярким художественным произведениям согласно плану отводятся лучшие места, так как не всем выдающимся мастерам удается отвести отдельные залы, то в плане предусмотрено уделять всем мастерам больше места. Произведения художников, имеющих дополнительное значение к течению, отводится второстепенное место. В массе своей коллекция распределяется и по технике. При развеске современных художественных произведений рисунки к масляной живописи помогают наглядному пониманию художественных явлений. Для рисунков и гравюр отведено четыре зала. В залах академического искусства остаются картины Брюллова, Иванова, Ге, Перова, Крамского, Репина, Поленова, Айвазовского. Залы нижнего этажа — для произведений художников XIX века. Скульптура размещается в исторической последовательности. Размещением ее ведает скульптор В.Л.Симонов.

1921 год

Четверг, 20 января

Наконец появился и в Петербурге журнал по истории культуры и литературы — «Начала» под редакцией С.Ольденбурга, С.Платонова, Э.Радлова и А.Николаева. Во вступительной статье пространно говорится, что человеческая жизнь протекает в работе и отдыхе. В них человек осуществляет свои стремления, привязанности и вкусы и применяет свои способности к их удовлетворению, приспосабливает изящное. А в нем отражается духовная жизнь человека и творится сама духовная жизнь. Неплохо сказано для этих слишком тяжелых дней. Открывается статьей С.Ольденбурга о Блоке «Не может сердце жить покоем». Далее следуют статьи Нестора Котляревского о Ф.Достоевском, Л.Карсавина — «Федор Карамазов как идеолог любви», В.Жирмунского о задачах поэтики, Ив. Гревса — «Образы Италии в творчестве Тургенева», затронуты серьезнейшие проблемы времени на академическом уровне.

Помещен солидный обзор журналов «Скифы», «Изобразительное искусства», «Дом искусств», «Записки мечтателя», «Дракон», «Вестник литературы». В этих изданиях автор не видит и намека на отражение жизни, кроме рассказа «Мамай» Е.Замятина. Не затронуты ни психология, ни идеология художника. Поэма Блока «Двенадцать» не является отражением исторического процесса, а лишь его намек.

В.Иванов в статье «Круги» считает, что кризис искусства не преодолен. «Гуманизм обречен, следовательно, исчезнут все грани, отделяющие человека от человека».

О поэтическом журнале «Дракон» рецензент отозвался так: «Много нового и много хорошего, только новое — не хорошее, а хорошее — не новое».

Вторник, 15 марта

10 марта 1921 года вышел в Москве первый номер «Вестника Отдела изобразительных искусств Народного просвещения» и уже поступил в Эрмитаж. Открывается обращением к художникам Запада и сразу предлагается «перестать объяснять мир, надо его изменять, переделывать!». Статья пышет пафосом: «Молодые

художники должны сбросить старую гниль идей и влиться в революционный поток преобразования мира». Молодежь не побежала в архивы, а ринулась к живописи — главному оплоту творчества. Отказались от «картиноделания». Коллегия ИЗО организовала международное бюро, разослала призывы объединиться художникам всего мира, намечает обмены выставками.

Наряду с глобальными проблемами «Вестник» сообщил радостные цифры о своей деятельности. Созданы и оборудованы художественные мастерские в Саратове, Витебске, Екатеринбурге, Оренбурге. Проведены 22 групповые выставки художников, от 415 авторов приобретено для музеев 1926 художественных произведений, из них 1326 живописных произведений. Впечатляет! «Вестник» обещает освещать деятельность этих очагов художественной культуры…

Среда, 20 июля

Вернулся из Москвы Добужинский и привез кипу документов, касающихся зародившегося в столице неведомого нам общества «Мир искусства» — протоколы заседаний и доклад П.Кузнецова, того самого мужичка, которого в 1906 году привез в Париж Дягилев и подарил ему свой орден Почетного легиона, полученный за организацию выставки русской живописи за 200 лет на Парижском Осеннем салоне. Вероятно, сейчас очарованный великими преобразованиями в художественной сфере Москвы, наивный Павел Кузнецов произнес перед собранием московских художников нечто аморфное, не похожее на организационный инструмент, пассивный, далекий от задач выставки доклад.

Ради курьеза следует его сохранить в данном дневнике.

Доклад П.В.Кузнецова на открытии собрания московского комитета общества «Мир искусства» 13 мая 1921 года:

> «По поручению группы художников, членов «Мира искусства», открываю настоящее собрание для обсуждения ряда вопросов, имеющих исключительное значение в жизни русского искусства. Революция, переживаемая нами более четырех лет, разломав все старые формы жизни, в те или иные периоды развития своего с большей или меньше остротой ставила нас перед задачами нового строительства форм художественной жизни. Мы должны были в зависимости

от новых условий входить в различного рода объединения, полагая в основу всех своих действий единственное свойственное нам желание всячески содействовать развитию искусства во всех его значительных и ценных направлениях, способствовать сохранению искусства прошлого и созданию нормальных условий и художественной школы для здорового развития молодых сил.

В периоды стихийного разрушения старого, в периоды гражданской войны и общей разрухи страны, искусство, конечно, не могло иметь благоприятных условий для своего развития. Очень часто экономические тиски наиболее сильно и трагически давили художников, мало приспособленных к борьбе за существование в той форме, которую эта борьба приняла за последние годы, лишая их возможности работать и развиваться в искусстве. Наряду с этим отмечаем отрадные явления: искусство, представленное в музеях Петрограда и Москвы, не только расширялось в своих бесценных собраниях, но и распространялось по многим городам России, лишенных до того рассадников живописной культуры. За время революции явилась новая художественная сила, полная бодрости, веры в себя и преданная безграничной любовью к искусству. Я предлагаю ими пополнить наши ряды.

Старые выставочные организации не досчитывают после пронесшейся революционной бури многих и видных своих сочленов, не говоря уже о том, что нормальные определявшие их внешнюю жизнь условия, построенные на старом законодательстве, исчезли бесследно. Наконец, сами организации прекратили совершенно свое существование. Но четыре года революции поставили Россию перед задачами мирного строительства. Общие условия жизни страны, конечно, отражаются и на строительстве жизни художественной. Если революционное время обязывало входить в возможно широкие общения, то явившаяся на смену этому времени эпоха мирного строительства вызывает необходимость постановки художественных задач в их глубине. Отсюда вытекает повелительная необходимость дифференциации. Общество «Мир искусства» издавна пользовалось славой такого общения, которое включало в себя лучшие художественные силы России высокой квалификации, и под это знамя в настоящую мирную

эпоху должно собрать как все ценное, оставшееся от прошлого периода русского искусства, так и сплотить лучше силы настоящего и будущего искусства России.

Москва стала центром государственной организации, но она всегда оставалась центром русской живописи, и вполне естественно вновь поднять славное знамя этого общества в Москве, созвать общее собрание общества «Мир искусства», хотя в полном составе это не представляется возможным ввиду расстройства транспорта и других затруднений, полной изолированности от товарищей, выбывших за границу за время революции или находящихся в безвестном отсутствии. Тем не менее об открытии деятельности общества «Мир искусства» предлагаем поставить в известность всех товарищей, с которыми возможно войти в личные или письменные отношения.

Павел Кузнецов».

Из довольно путаных протоколов собрания выясняется, что это московское товарищество «Мира искусства» не имеет ничего общего с прежними нашими объединениями. Какая-то имитация, желание прикрыться популярным девизом и провести выставку художников, как живущих в стране, так и за ее рубежами. Совершенно абсурдная мысль. Между прочим, отмечено, что Луначарский не отверг этот замысел, но попросил в первую очередь пересмотреть наш старый устав и обсудить программу ВХУТЕМАСА, что и было сделано на очередном заседании в лице комитета общества «Мир искусства» Коненкова, Жолтовского, Кончаловского, Шевченко, Лентулова, Кузнецова, Коровина, Шестакова. Председателем избран И.Машков. На четвертом же заседании 2 июня 1921 года выяснилось, что Луначарский посоветовал отложить вопрос об организации выставки «Мир искусства» и отозвал своего представителя Д.Штеренберга из состава комитета общества. Тем не менее 13 июня заседание общества снова обращается к организации выставки «Мир искусства» с приглашением художников, живущих как в России, так и за рубежом, намечает устраивать ежегодные выставки произведений художников. 16 июня обсуждается вопрос о создании магазина по продаже произведений искусства членов «Мира искусства». Поднимается вопрос о пайках, составляется обращение к Ленину.

20 июня 1921 года Кузнецов на заседании поднимает вопрос о тяжелом материальном положении художников Москвы, и обращение к Луначарскому осталось без ответа. Кандинский

сообщил, что он составил ряд статей о положении художников и о препятствиях с организацией выставки и передал их Радеку для опубликования в прессе. Наряду с этим Кандинский сообщил обществу о том, что он вошел в сношения с художественным миром Германии и установил возможность устройства выставки «Мир искусства» в Германии в бывшем дворце кронпринца.

Кандинский доложил, что он лично обратился в Совнарком о составлении им материалов о тяжелом экономическом положении художников Москвы, о желательности, чтобы государство закупало произведения современных художников, и желании продавать картины за рубежом.

24 июня также на заседании Кандинский сообщил, что берет на себя инициативу по реорганизации закупок и приобретению государством живописи, скульптур прикладного искусства и в лице председателя Рабиса Славинского [намерен] производить эти закупки от имени малого Совнаркома.

Высказал Кандинский и свое неудовольствие, выразив общее мнение комитета о выставке Коминтерна, устроенной без ведома комитета, он выразил протест, считая этот акт лишь политической демонстрацией, но не явлением мирового искусства, одобренной совнаркомом и Коминтерном. Кандинский сделал доклад о редакционно-издательской комиссии, которая призвана издавать журнал, и поручили этим заняться А.И.Иванову и составить доклад о распаде художественной жизни в России на основе материалов, которыми располагает Кандинский.

23 июня был рассмотрен план журнала «Мир искусства», намечается ежеквартальный выпуск, отражающий поступательное развитие искусства, составлен первый номер, состоящий из статей профессионалов, теория и практика, дневники и автобиографии художников. Теоретические статьи представят Щекотов, Луначарский, Виппер, Херсонская, Сидоров, Бакушинский, Сабанеев, а также Станиславский, Мейерхольд, Таиров, о танце С.Волконский.

27 июня П.Мансуров сообщил коллегии, что по поручению Главмузея выставку «Мира искусства» поручено организовать Грабарю, с ним следует войти в контакт. Наряду с этим Мансуров сообщил, что намечается организовать выставку-продажу произведений «Мира искусства» и поставку их в Англию и в Америку, куда он и едет по поручению Татарской республики.

4 июля Кузнецов сообщил, что из Петрограда прибыл Добужинский, чтобы решить ряд вопросов по организации совместной выставки «Мир искусства», выпуске общего журнала от имени этого объединения. Была создана комиссия в составе

Шагала, Добужинского, Фалька, которая войдет в сношение с Луначарским по поводу выдачи пайков художникам. Кандинский поднял вопрос о создании музея живописной культуры, составили проект для отправки в Главмузей.

Не случайно говорится, что всякое некогда значительное явление может повториться только в виде фарса, что мы и наблюдаем с волокитой московского «Мира искусства». Чтобы не нарушать цельности канители, приведу позднее доставленные мне выписки из протоколов этой затяжной игры москвичей с властью за свое право выставиться и получить какое-нибудь пропитание. Полное поглощение чиновниками всякой самостоятельной инициативы в художественной атмосфере России, и подобная черная тень ложится и на наши музейные дела.

11 июля на очередном заседании общества Кандинский сообщил, что достигнуто соглашение с Внешторгом в лице Буренина об организации выставки «Мира искусства» за рубежом[18], дело в организации, избрали комитет в составе Кузнецова, Машкова, Кандинского.

В Москве же намечается организовать выставку в помещении артели «Кусталь» — в прежнем помещении фирмы «Ралли» Жирардовской мануфактуры.

Петербург, Павловск

Решил снова вести дневник, хотя момент выбран не слишком удачно — ведь мы снова переживаем полосу террора, и как раз всякие записи, зачастую совсем невинные, губят людей. Но столько интересного вокруг и на душе так томительно, что я не могу себе отказать в этой опасной поблажке. Постараюсь к тому же так схоронить эти записи, что их никто не разыщет. Да и обыски ныне, как слышно, стали очень поверхностными.

Вторник, 2 августа

Просьба Нины. Заседание у Ионова, собрание голодающих. Горький. В Эрмитаже. Покровский и Кристи.

Ясный, жаркий день. Убийственно-скучное настроение. Только теперь я осознал всю нелепость той неудачи, которая нас постигла в нашем проекте переселиться в Москву.

Окончательно вчера отравил настроение приход Нины Фроловой с выпущенным из тюрьмы Никитой (пять дней сидел), явившихся крайне некстати, как раз в момент, когда мы ждали Руфа на скромное угощение, устроенное в его честь (что было решено накануне, когда еще считалось, что мы переселяемся). Нина пришла, по совету художника Бродского, просить меня, чтобы я отправился завтра с ним, с Бродским, к всемогущему Озолину, просить за ее мужа. Сама просьба эта совершенно меня расстроила, так как все здесь кошмарно, и более всего то, что я должен войти в сношение с кошмарным Бродским, ставшим недавно коммунистом, и встретиться с ним у Ионова (на редакции по изданию сборника для голодающих), которого я так тщательно до сих пор избегал, видя в нем убийцу нашего книжного дела. Но отказать я не решился, так как мне стало слишком жаль бедную Нину, отчаяние которой выразилось в той инертности, с которой она затем просидела до часу, совершенно не принимая участия в разговорах, вообще не клеившихся, благодаря ее присутствию. Акицу это сидение тоже расстроило. Кроме того, Акицу беспокоило то, что в этом демарше сказывается представление всей семьи Леонтия о моих связях с большевиками, то, что они нас корят с самого 1917 г. и что в случае переворота они же будут нам ставить в тяжелую вину.

Наконец мать с сыном (мальчишка недостойный: уже вполне зрелый российский гражданин, разумеется, в восторге, что он посидел в тюрьме), покушав чудесный черничный компот,

удалились, и тогда были поданы кильки, сыр, винегрет и даже целый графинчик водки (остатки эстонских даров), который при свете коптящей лампы — без абажура — и был распит Руфом и нашими двумя юнцами. Вышло ни то ни се (Альберт уже ушел спать). Впрочем, кое-что интересное Руф сообщил: о полной перемене настроений у знакомых коммунистов в связи с голодной бедой. Во всяком случае, торговле крах — выразился на днях, по словам Дж. Шмидта, какой-то важный сановник Совнархоза.

Тогда же вечером

Все сошло гораздо благополучнее, нежели я ожидал, и эта удача как-то рассеяла мою тоску. Просьба Нины так мне была неприятна, что я почти всю ночь не спал. У меня в подобных с виду пустяковых случаях является прямо мистический трепет. И утром я решил, что не пойду, так откровенно и заявил Кате Шретер, которая мне позвонила по ее собственному делу (театральному). Однако уже через полчаса меня попросила к телефону сама Мария Александровна, заявившая, что она сейчас лично приедет меня умолять. Я ей изложил все свои (едва ли понятные им) сомнения, и она было уже согласилась с ними, но тут меня разобрали угрызения совести, и я спровадил Акицу к сивилле-Добычиной, ответ которой: что-де идти нужно и что ничего в этом худого не будет (ибо-де Озолин очень порядочный человек), она ко мне пришла в Эрмитаж. Проболтав со Стипом до 3-х часов, я, скрепя сердце и действительно терпя настоящие муки, отправился в Дом Зингера. Ужас мой достиг последних пределов, когда, введенный в кабинет И.И.Ионова, я вместо многолюдного собрания, на которое я рассчитывал, чтобы не попасть прямо ему в лапы, застал только его самого вместе с шлиссельбуржцем Морозовым. Я уже почувствовал на себе лапу зверя, но тут и начался розыгрыш — в самый момент моего рукопожатия (Ионова я *вижу* первый раз в жизни и узнаю его по знакомой по описанию вихрастой голове): в дверях появляется Никита, увидевший меня издали, когда я подходил к дому, и с нахальством пробравшийся по моим следам (характерно для юношества наших дней), и делает мне знаки, чтобы я вышел к нему. Оказывается, что назавтра вызывают в Чеку самого Леонтия, и это известие он привез специально, чтобы придать мне больше энергии. Но я уже, пользуясь поворотом дела, в кабинет не возвращаюсь, а остаюсь ждать других заседателей на лестнице. Через полчаса приходят Горький с Ольденбургом, и я с ними возвращаюсь к Ионову, который сейчас же по настоянию

Горького, более чем когда-либо разыгрывающего роль государственного человека, обремененного делом, открывает заседание. К самому концу подходит Бродский и — о, радость, — он вовсе не настаивает на полезности моего визита к Озолину, а рекомендует мне заручиться письмом к нему Алексея Максимовича. Вдвоем мы на него и наседаем. Наш сановник, поглядывая на часы (ему предстояло со своим флигель-адъютантом Ольденбургом посетить еще два заседания), дает мне возможность изложить в коротких словах суть дела и обещает вечером позвонить обер-инквизитору, на чем моя аудиенция и кончилась, и, вероятно, на чем кончится и самое заступничество Ионова. После этого, на радостях, я уже сам вызвался идти с Бродским к Озолину, но Бродский прямо отклоняет (тут же вставляя типичную фразу: «Положим, он мог бы и сам при случае пригодиться, нельзя знать») и говорит, что он один к нему отправится сегодня же, но позднее.

Покидая Дом Зингера (беседы с Ионовым мне удалось и на прощание избежать), я чувствовал себя прямо-таки окрыленным, а тут еще одна маленькая удача: вечером у Павильона Левицкого за Казанским собором, служащего автобазой, встречаю Купера, который отвозит меня на моторе (его самого теперь, на машине или на лошади, я не вижу) до дома и все время убеждает меня (но тщетно) принять участие в тексте программы, которую они хотят издать в день, устраиваемый филармонией к 600-летию торжества Данте. Хорошему моему настроению способствовало отчасти и шутовство самого заседания. Из протокола предыдущего заседания я узнаю, что я представлен к изданию 25 000 экз. в 20 листов текста (с выплатой гонорара) с 50 иллюстрациями наполовину красочных, и этот монумент предположено продавать по 35 коп. Я спрашиваю своего соседа Горького: что же останется тогда голодающим?

И он имеет апломб мне ответить с хитрой усмешкой, которую можно истолковать как угодно: «Наберем, А.Н., наберем, миллиарды наберем!» Но, разумеется, голодающие здесь лишь предлог, и все дело в рекламе Госиздата. И везет же этим «бесам».

В 15-й типографии (бывш. Голике) нашлась масса неиспользованных еще красочных клише, среди коих — великолепные репродукции современных мастеров, приготовленные для второго издания моей «Русской школы живописи». Есть и Сомов, и Бакст, и Бенуа, и Кустодиев, и Репин — все это и решено пустить; так как в Совдепии нет больше специальных красок для трехцветок, то Ионов повезет клише в Берлин, и там с них напечатают весь завод и заплатят валютой, что уже вскочит в цене — дороже, чем 25 коп. Высокого комизма

был спор: кому в его отсутствие (уж не бегством ли оно может оказаться?) быть выпускающим редактором. Все, оказалось, собираются тоже к отъезду туда или сюда. Когда Ионов заикнулся было Горькому, что не возьмется ли он, то Ал. Макс. с величайшей искренностью в тоне проговорил буквально следующее: «Не могу, ведь я тоже уезжаю на днях: посылают — впрочем, я еще попробую поторговаться! Я вот еду завтра в Москву, и, может быть, мне удастся их там убедить, чтобы послали кого другого». И ведь он прекрасно при этом знает, что мы все знаем про то мытарство, которое он проделал, чтобы наконец получить эту «командировку».

Известия о бегстве Гришина и Лаврентьева уже ходят по всему городу. Утром выслушал нашего сотрудника, танцующего турку в «Слуге двух господ», он в полном недоумении, а вечером, — замыкающую Лаврентьевскую эпопею Нину, которая мне сообщила, что взломано бюро Гришина. По просьбе Кати я позвонил Монахову (а это мне не хотелось делать первым), и мы сговорились, что он у меня будет завтра. Судя по тону (тон финала сцены отчаяния Беатриче в «Слуге…»), он вовсю разыгрывает роль, что ничего не знал и что теперь необходимо спасти положение. Но я постараюсь от него получить истину.

Забыл еще записать, что вечером на заседании Совета Тройницкий нам рассказал о посещении Эрмитажа во внеприсутственное время, в субботу, тройкой — Покровский, Кристи и Экскузович. Судя по одному вопросу, заданному первыми двумя, они приходили не столько для «академического центра», сколько чтобы зондировать почву — нельзя ли распродать наши сокровища и тем спасти положение. Тройницкий со свойственной ненаходчивостью их отпугнул, заявив, что за границей никто не станет покупать эти вещи, так как они приобретались по литере А (это очень полезно: в известный момент блефовать какой-то самому малопонятной ерундой), а посему являются собственностью бывшего царского двора.

В воскресенье состоялось в этнографическом Русском музее открытие отделения Сибири и Дальнего Востока. Одна из речей была произнесена «представителем маньчжурских народных университетов», который сам выразил сомнение, существуют ли они еще поныне.

После Эрмитажа я заходил к Добычиной, которую застал сидящей с очень изнуренным видом у окна. Поговорить о моих делах толком не удалось, ибо ее все время охранял вошедший в моду еврейский ее племянник Гриша. Зато она мне нарассказала всяких слухов и, по обыкновению, больше всего — о чрезвычайке и арестах. Она только и мечтает о перевороте и очень огорчена

тем, что моя интуиция до сих пор совершенно *молчит* на эту тему и ничего в ближайшем не предвещает. Приходится утешаться сведениями вроде того, что из Варшавы-де пишут, что «скоро конец», что там-де расклеены уже афиши, успокаивающие население на случай, если бы стали проходить по городу иностранные войска, что-де дозорные в Финском заливе видели на горизонте английскую эскадру, и, вероятно, в связи с этим вызвали Рубена (ее мужа) в Кронштадт. На десерт угостила меня такой фразой: «Могут арестовать и нас с вами, Александр Николаевич, я бы этого хотела, ибо, если нас арестуют, это значит конец!» Вспомнила и о том, как обсуждался при наступлении Юденича в Смольном вопрос: не следует ли, среди прочих знаменитостей, взять и меня в заложники. Н.Е. говорила, что за меня союзники, наверное, отдали бы Зиновьева или Троцкого. Что значит осмысление влюбленности.

Меня сменил у ее кресла сам профессор Федоров. Вечером меня по телефону известил, что он считает вторую операцию лишней.

У Руфа свои слухи: будто не то готовится, не то намечается разрешение торговать всем гражданам от восемнадцати лет до сорока, а также о растяжении часов самого времени, в которое торговлю можно производить. Будет обезличена частная собственность, и у него своя версия о тех речах, которые велись в Коминтерне и которые вызвали особую деморализацию в среде правящих сфер и всего пролетариата. Одному оратору, нарисовавшему убийственную картину состояния Совдепии, председатель пригрозил арестом, но тут поднялся невообразимый шум протеста, а говоривший сослался на то, что он привел слова самого товарища Ленина; очень энергично критиковала меры, приведшие к разрухе, Клара Цеткин, закончившая свою речь уверением, что она собственными руками посадила бы обратно Вильгельма на престол, если б узнала, что введение коммунизма в Германии приведет к таким результатам. Что «время подходит», Руф усматривает из самой паники, в которую впадают постепенно все знакомые ему коммунисты. Особенно презрительно отзывается сейчас о «своей партии» недавний ее апологет Иванов — муж Женечки Лидерит (с этим негодяем вышел скандал, в котором косвенное участие принимает бедный дядя Берта; роль последнего заключается в том, что он познакомил В.А.Мухлинчина, желавшего приобрести платину у Иванова, обладателя известной толики этого драгоценного, ненаходимого металла. Однако уже по совершении сделки обнаружилось, что слиток поддельный, Иванов же отказывается вернуть те два миллиона, которые он за него получил). Сам Руф недавно

приобрел большой бисквитный бюст Александра III. Он очень оскорблен тем, что митрополит обязан испрашивать каждый раз разрешения у местных властей, когда он желает где-нибудь служить.

Но вообще положение митрополита как будто сильно улучшилось. Так, на днях Кока видел его едущим в элегантной коляске (а то он ездил на дрожках), запряженной великолепной парой. Многие перед ним снимают шапки, он же с важностью раздавал свое благословение.

Прибыли вещи наших из Холомок. Принимал их Денис, за что ему скупердяй Юра уделил всего 10 фунтов черной муки. Они привезли 5 пудов муки и массу яблок. У Юры появился тон «кормильца».

Сегодня весь вечер у Коки сидела Марочка — его невеста. От зависти Мотя совершенно скисла.

Среда, 3 августа

Солнце, небывалая за все лето жара. Пишу Владимиру и Леле письма. Акица так деморализована, что мне стоит большого труда, чтобы и ее заставить написать Леле письмецо в Париж. Захожу в сад полюбоваться, как там возится, балует, поддерживаемый бабушкой, заражает радостью других бабушек и ухаживает за барышнями наш Татан. Особенно ему нравится трясти изо всех сил решетку.

На пути в Эрмитаж меня догоняет Эрнст, и мы оба любуемся замечательным зрелищем — тем, как кран выволакивает из воды несколько барок и барочного лома на набережную Зимнего дворца, причем свернули один из больших фонарей, пытаясь вытянуть целый плот с навязанными на нем балками и железными рельсами, и как вся эта музыка вдруг сорвалась и полетела в воду. Несчастий с людьми при этом, вероятно, не произошло, ибо весь многочисленный зритель и рабочие у крана не выразили никакого драматизма.

Нотгафт вне себя от удивления, что в БДТ назначены Монахов и Петров. Пришлось ему рассказать все, что уже вообще известно.

Арестован Пунин. Рассказывают, что к нему явились вчера двенадцать человек и прямо потребовали, чтобы он вынул пакет, лежащий на такой-то полке в его несгораемом шкафу. Затем другой пакет извлекли из его письменного стола. После этого его увели. Юрий предполагает, что это последствия его аферы на золоте и бриллиантах, которую он проделывал вместе с

московским Бриком, может быть, последний его и выдал. Мне же почему-то кажется, что у этого честолюбца и авантюриста должны быть связи в контрреволюционных кругах.

Из лиц, задержанных в связи с делом Фролова, доктор Рулле, Максимов и Кузнецов — выпущены. Первый был задержан и просидел две недели, потому что Фролов означил в своей записке, оставленной Нине, как находящуюся у этого Рулле картину Айвазовского, двое других — потому что их Фролов просто известил о своем задержании как своих коллег по обществу Куинджи. Возможно, что своим освобождением они обязаны тем двум ревизорам, которые приехали из Москвы проверить деятельность чрезвычайки, особенно в связи с массовыми арестами, вызванными делом Таганцева. Рохлин все еще сидит. Его уже собирались выпустить, но он будто бы испортил себе дело слишком широким образом жизни на Шпалерной, где он ежедневно угощал всю сидящую с ним компанию.

Тройницкий прочел нам статейку в «Красной газете», подписанную архипрохвостом М.Лемке, рекомендующим распродать музеи для получения средств на спасение голодающих. Причем этот недавний непримиримый враг коммунистов заверяет читателей, что самое отчуждение культурных сокровищ будет лишь временным, ибо не захочет же западный пролетариат сыграть по отношению к своим русским братьям роль ростовщика, использующего его бедственное положение! Некоторые эрмитажники ставят эту провокацию в связь с посещением Покровского. Решено просить Горького или Ольденбурга написать ответ.

Вернувшийся из отпуска Мацулевич в негодовании на кассира Акмакульта Сутулло, который испортил наладившуюся было между нашим Сусловым и одним старорежимным чиновником Госбанка комбинацию, согласно которой Эрмитажу выдавали бы деньги не в очередь с другими учреждениями из какого-то запаса. Сутулло показалось это обидным, и он донес.

Читаю «Идиота» даже на ходу. Совершенно потрясен сценой на торжестве в Павловске, но она оказывается вовсе не такой объемной, какой она у меня осталась с 1896 г. в памяти. Вообще удивительно, как все мной перезабыто (кроме духа и некоторых персонажей) и как иначе мне сейчас, благодаря обогащенному личному опыту, все представляется. *Вся топография романа иная*.

К завтраку подали печеные яблоки…

В 6 ч. прощальный визит Орга, которому я вручил столь незаслуженную им акварель и две наши фотографии Черкасовской съемки. Он имел с собой четыре карикатуры

Домрачева, две из них довольно удачные: а) Троцкий, Зиновьев и еще один иудей сидят всей своей тяжестью на повозке, которую тащат среди совершенно опустевшей местности русские пролетарии; б) Ленин и Троцкий торгуют всякими остатками раздетым рабочим и крестьянам. Во всех подробностях он рассказал историю, которая побудила его не откладывать отъезд и отставку. Оказывается, после того грандиозного вечера Коминтерна поэт Веснин подал на Орга донос, согласно которому Орг в неточном переводе речи поэта позволил себе слишком расстараться перед русской интеллигенцией. Министр в очень благожелательной форме потребовал объяснения, которое ему Орг дал, но одновременно подал в отставку. Когда же В., вернувшись из Москвы, явился в Петербургский комитет, то Орг не пожелал ему подать руки, следствием чего явился самый дурацкий письменный вызов на дуэль по всем правилам академических корпораций. Орг ответил, что он, как бывший реалист, к корпорациям не принадлежит, традиций не знает, а от суда чести или коронного не уклоняется. Меня этот В. поразил тогда своим хамским и дурацким видом. Простились мы с Оргом очень сердечно. Он и в будущем себя ставит всецело в наше распоряжение. Но Акица уже слышать не хочет снова переживать всю ту сумятицу, которая завершилась в воскресенье таким плоским камуфляжем. Кто поручится, что и в следующий раз все наши мучения не кончатся тем же? Уезжает он завтра. Заезжал он прощаться к Блоку, но несчастный так плох (он третий день без умолку стонет), что жена Блока не пустила Орга к больному.

В 9 ч. пожаловал Монахов (на велосипеде, в рубахе с засученными рукавами, с открытой грудью). Первым делом я постарался узнать, знал ли он о побеге Лаврентьева и Гришина (Орг утверждает, что знал, и сам был кандидатом). Однако Н.Ф. решительно и в убедительных тонах запротестовал против такого подозрения. А начал он сам догадываться неделю назад, когда прошли все сроки, назначенные Гришиным своему возвращению: как раз оказалось несколько хозяйственных дел (разгрузка баржи с дровами), требовавших немедленных решений, а приехавший в поисках Гришина из Москвы знакомый актер подтвердил, что в Москве, во всяком случае, Гришина нет. Тут Монахов собрал Петрова и Щуко, и последний не выдержал и признался, что месяц назад Лаврентьев, встретив его нечаянно на Невском, затащил к Марианне, где они вместе с компанией Орга напились коньяка, празднуя свое отбытие.

Опасаясь, как бы состояние анабиоза не погубило бы театр, — и действительно, на следующий день Юрьев и Карпов протянули к БДТ свои руки — Монахов, захватив под видом инициативной

группы обоих своих товарищей, сразу же полетел к Кузьмину и, изложив все дело, получил тут же утверждение себя в качестве единоличного управляющего театром, а Петров — главного режиссера.

Далее поговорили о репертуаре. Он стал было мне навязывать «Жизнь есть сон» и «Фигаро», но, получив определенный отпор с некоторой даже угрозой и вовсе уйти (мне в виду наших планов это было бы, пожалуй, и желательно), он сдался и, несмотря на первоначальные заверения, что менять репертуар после утверждения его в трех инстанциях нельзя, все же обещал вместе его пересмотреть. Я называю в первую очередь «Тартарена» и «Праматерь». Сидел он у меня до полуночи и без конца рассказывал каботинажные истории и скандалы — они все это обещают. Между прочим узнал от него, что первая идея того, чем стал впоследствии БДТ, явилась еще в 1914 г. ему в компании с Горьким, Андреевой и Шаляпиным, и уже тогда было простерли свои руки к Малому театру, однако тогда все дело лопнуло отчасти из-за войны и отчасти из-за отказа гр. Апраксиной войти в какие-либо отношения с Горьким. С Горьким Монахов давно знаком. Он его и навязал Андреевой, он же и создал ему авторитетность. Действительно, у них с Горьким был проект бежать за границу и там устроить русский театр, с тем расчетом он и распродал в прошлом году свою московскую квартиру, но эти намерения он считает теперь несвоевременными, ибо, несомненно, все идет к ликвидации коммунизма и к восстановлению нормальных условий жизни. Он сообщил мне, что конфискован весь склад продуктов, который здесь накопила контрабанда трамвайщиков. «Комсоставу» грозит расстрел. Снова, значит, вскочат цены на сахар, упавшие было до 20 000 за песок и на рис и прочее. Не попался бы Рубен (муж Добычиной)?

Четверг, 4 августа

Жара и духота. Ничего не клеится. Авось театр вырвется из афазии. В Эрмитаже — публичный день, мало народу и, слава Богу, сократились экскурсии. Из моих субалтернов — никого. Саша Зилоти отправился писать с моста крепость. Говорят, и Стип занялся этюдами. Тройницкий говорит, что у Сидорова был Орг, который принес известие, оказавшееся, как и все его известия, ложным, что-де убит Кузьмин Н.Н.

Хайкин мне пломбирует передний зуб… Он в бешенстве на порядки с выдачей медикаментов, попутно высказал разные упреки нашим правителям, и это, если и вздор, то все же

характерно как уклон мысли. В великом недоумении стоит обыватель и перед всеми угрозами «возвращения к капиталистическому порядку», который производится со странной последовательностью, но шиворот-навыворот. По-прежнему все получают кто 10, кто 20, кто 60 копеек в месяц реальных денег, привилегированные еще имеют всякие безделицы в виде пайковых подачек, и тем не менее в специальном порядке вводятся новые тарифы оплаты всевозможных общественных благ: трамвай будет стоить не то 500 рублей (иначе говоря, полкопейки), что ужасно колоссальная сумма при жаловании хотя бы в 10 копеек (10 000 руб.), не то даже — 4. Столько уже стоит проезд на финском пароходике по Неве; чтобы съездить в Павлово, нужно платить 11 копеек, за телефон — 3 руб. 50 коп., за квартиру по 20 коп. за окно в месяц. Но самое чудесное в этом — покорность обывателя. Он лишь слегка *недоумевает*. Впрочем, последнее объясняется тем, что все эти четыре года (или семь лет, если считать с войны), обыватель не мог вообще найти мерило расценок: брать за него цену на хлеб он почему-то «стыдится», и в известной среде обыденных житейских людей или людишек сказываются благодетельные следствия той свободы торговли, которая у нас за последние недели привела к оживлению на рынках и к открытию сотен кафе и лавочек — иные из них за витринами шикарных магазинов былого времени вперемежку торгуют «продуктами» и всякой дрянью.

Кровообращение понемногу начинает восстанавливаться, и как-никак организм благодаря этому оживает. Несомненно, что будут и вспышки возврата к «чистой доктрине», «искренних убеждений», иногда движимые каким-то алчным аппетитом. При инертности русской массы, при отсутствии в ней потребности, при всей ее дикости и немощности эти вспышки могут растянуться в настоящие пожары, в которых будут добиты миллионы еще не добитых и в которых будут уничтожены последние, что здесь остались (несдобровать музеям, под которые уже подкапывается прохвост Михаил Лемке в передовой «Красной газете», рекомендующий их распродать в расчете на то, что, в случае мировой революции братское объединение пролетариата Европы не захочет играть роль ростовщика по отношению к своему русскому брату). Но все же «поворот к улучшению» как будто на сей раз «взаправду» намечается, и я не отрицаю, что это ощущение, несмотря на все ужасы положения (все мы параллельно втроем снова в жуткой кассе из-за нового перебоя в выпусках денежных знаков…).

Должно быть, это «влияние весны»… Я не переношу катастрофу нашего неудавшегося переезда в Москву[19], свыкся,

что мы здесь останемся…

Итак, я не отрицаю, что дышится, и дышится немного легче, и что нет уже на душе того отчаяния, которое в ней царило еще три месяца назад, когда кончалась эпоха «докафейная». Должно быть, именно оттого, что есть такие «влияния весны» (которая сказывается даже несмотря на приближение реальной осени и вслед за ней зимы, без топлива и с половинной Россией, обреченной на погибание с голоду), я переношу легче катастрофу нашей неудавшейся «поездки в Москву». Во-вторых, третьего дня был кризис, но затем он стал спадать, и сейчас я уже почти свыкся с тем, что мы здесь остались и вообще едва ли, несмотря на посулы Альбрехта Г., отсюда выберемся! Да, жизнь начинает так мощно втягивать в свои сети, что как-то вся та затея, которой я жил целых три месяца, уже представляется ныне простой и далекой фантазией. Надеюсь, что и Акица «отойдет», хотя до сих пор она совершенно разбита, и это сказалось вчера в том, что мне стоило труда побудить ее написать несколько строк бедняжке Леле[20], которая, вероятно, нас уже ждет со дня на день. Я почувствовал первый кризис во вторник благодаря чисто посторонним обстоятельствам.

Пятница, 5 августа

Утром, пока еще все спят (родители Татана должны выспаться, ибо он всю ночь бенефисил). В Холомках Атя его избаловала. Является товарищ Юры, великий нахал Смихович и, не извиняясь, заставляет меня смотреть три дрянные картины, которые он приволок. Одну — копию с ка-кого-то Гвидо «Св. Себастьян», одну маленькую картину из Митты круга Гейземана «Эбон в беседке», подписанную «Фит…» и красивую по композиции и тону и очень грубо написанную голландскую картину, сильно напоминающую Сафтелевена и однако же снабженную как будто не фальшивой подписью: А.Рутгарт Карл Андреас. Не мог ли быть Рутгарт учеником С.? — своеобразная трактовка явления ангелов пастухам. Пастух сидит, запрокинув голову, вдали балуется или играет другой пастух, испугавшись небесных явлений.

Весь день дома, читаю дневник 1917 года, сегодня кончил читать все перепечатанное. В 1 час дня — заседание античного отдела Эрмитажа о переустройстве. Сидим как раз в «кабинете эстампов». Тройницкий уклонился, Стип не приглашен, зато сидел Мацулевич. Я, начитавшись Достоевского, разыграл «идиота» и высказал без обиняков все, чем очень смутил

античников — больше всего злится Ернштедт. Боровка очень мил, сам Вальдгауэр «пытался выйти из себя», но мой тон его обезоружил. Я-де буду до конца стоять на бережном отношении к ансамблю этого прежнего дела, а вы-де попробуйте меня сбить. Мотив Вальдгауэра: «Кленце должен уступить интересам мировых драгоценностей (он здесь собирается расставить римскую скульптуру)». Наконец Мацулевич перевел нас обоих к реальному ощущению действительности, мол, ныне все равно ничего нельзя будет сделать, а посему устройство Рима надо вообще отложить, а тем временем привести к концу все остальное устройство. Авось (это я утешаю) оно будет настолько убедительно (прекрасно), что и уступит им Кленце (пока что это не обещает быть так). Египетский зал — совершенное и явное фиаско, в других слишком мало предметов.

По дороге домой в Александровском саду («Сад трудящихся») встретил Фреда Бентковского, на днях наконец выпущенного и ныне все же отпускаемого в качестве беженца (хотя и не такового) в Польшу. Он в восторге и даже доволен, что не в Париж, где ему, по его словам, все еще состоящем в посольстве, очень трудно было бы найти заработок. Простившись, очень мило обнялись…

У Альберта сегодня были какие-то американцы. По всей видимости, среди них Чарльз Крейн Ричард, мой знакомый по выставке русского искусства на Осеннем салоне в Париже в 1906 году — американский предприниматель и коллекционер. Он вернулся из поездки по китайским городам и Харбину, где встретился с управляющим КВЖД Дмитрием Леонидовичем Хорватом и его женой Камиллой Альбертовной Бенуа и брошенными на произвол детьми (шестеро) Ивана Сергеевича Зарудного, жену которого Елену Павловну, урожденную Брюллову, расстреляли в Омске, а сам И.Зарудный оказался в Токио. Они привезли письмо от Камиллы, рассказали о своем разочаровании в С.Н.Жарновском и уже костили его. Тем не менее тащат нас в Павловск.

Власти одержимы какой-то манией обысков и арестов, а дневники являются при этом всегда самым предательским материалом даже в тех случаях, когда они пишутся безобидными людьми, не принадлежащими ни к какой партии, а лишь записывающие то, что попадается в их узкий обывательский кругозор (как раз к таким людям принадлежу и я). Жизнь сложилась благодаря доктринерскому деспотизму так, что безобиднейшему, далекому от политики обывателю шагу нельзя сделать, чтобы не оказаться преступником, ни одного случая нельзя передать, чтобы не заслужить обвинение в «сеянии

паники» или чего-либо подобное, нельзя двинуться с места, чтобы не прослыть за трудодезертира и т. п. При этом дневниковые записи, оказывается, могут подвести десятки и сотни его близких и просто случайно встретившихся людей, ибо всякий записанный является для пресловутой Гороховой мотивом для задержания во имя контрреволюции.

Простая покупка или продажа вызывает подозрение в спекуляции. Так было на днях с моим свойственником Фроловым. Его заточили на основании найденных при обыске дневниковых записей, сочтенных властями за заграничную информацию на том основании, что в его же комнате нашли 3 английских фунта — якобы гонорар за эту информацию. Кроме того, посажены на Шпалерную еще одиннадцать человек. Пятеро (в том числе доктор Рулле, который покупал у Фролова какого-то Айвазовского) уже выпущены, потому что при вторичном обыске найдена вся остальная домашняя переписка Фролова с указанием, кому снести ту или иную картину на хранение или уже приобретенную данным лицом (так и было с Рулле), кому передать деньги легального общества Куинджи (Фролов был казначеем данного общества) и т. д. Во всяком случае, по вполне легальном обществе Ч К увидела какую-то организацию для сбыта художественных произведений за границу, и вот Фролов сидит, и крепко *сидит* за то, что при всем своем внедоктринальном осмыслении, наконец, это дело может быть сочтено за преступление; и вместе с ним, благодаря такой же безмерности понятия и тому, что я покрываю чернилами, по моим записям, пожалуй, сядет еще ряд знакомых и приятелей. Мало того, на вечер были вызваны мой родной брат Леонтий в чеку, вероятно, по тому же «делу», и я еще не знаю, прошел ли для него допрос благополучно и вернулся ли этот старый и почтенный, прямо святой человек, домой. И тем не менее я начинаю писать, ибо надеюсь найти для моих записей такое место хранения, которое ускользнуло бы от внимания обыска. Каждый вечер каждый русский гражданин отходит ко сну с ощущением, что через час, два, три его могут разбудить звонок или стук властей, вторгающихся в святую святых его обиталища. Ну а если не ускользнет, то тем хуже, поскольку ведь особенно хуже не может быть там, где и без того отчаянно плохо!

Как раз мы переживаем очень любопытное время. Теперь уже все уверены в том, что «конец близок», в этом, говорят, уверены «сами коммунисты» и даже верховники. По проверенным сведениям, в Москве царит полная растерянность. Совдеповские крепостные передают друг другу с затаенной радостью рассказы о тех разногласиях, которые возникли в среде Коминтерна, о том,

как один из приглашенных ораторов предлагал сдать власть ввиду неминуемого краха.

Суббота, 6 августа

Как раз утром, не будучи в состоянии что-либо делать из-за чувства неуюта и темноты, кончил «Идиота» и находился в нервном состоянии, как вдруг приходит Костя и сообщает, что в 5 ч. утра арестован Мишенька. Явился в сопровождении солдат еврейчик, очень вежливый, и сразу попросил провести к М.Н. в кабинет; сделав очень поверхностный обыск и изъяв несколько бумаг, он забрал Мишу, сказав: «На Гороховую», где ЧК по транспорту. Вся процедура ареста была проделана так быстро и тихо, с утонченной вежливостью, что соседи не слышат и. Из этого надо решить, что задержан Миша из-за каких-то служебных дел, вероятно, все по доносу. Я сейчас же отправился к Добычиной, которая обещала свое содействие. Она сообщила, что Мишу с Гороховой, вероятно, переправят в Гвардейский экипаж, но могут отправить на Охотничий полигон. Она просит узнать, кто следователь.

Оттуда я в Эрмитаж, затем к Гржебиным, затем к Мечникову для свидания с недавно приехавшим Анд. Вик. Иельстремом. Мое письмо, отправленное через одного служащего статс-секретаря с приложением маленькой акварели «Черная речка», он получил. Этот «старый гимназист» и типичный «революционер» всмятку (он даже «сидел») понравился мне меньше, чем в прошлый раз, хотя он внешне мил. Он сообщил мне о росте коммунистического движения в Финляндии. В шествии 1 мая социалистов участвовало 800 чел., а коммунистов 10 000. Он уверен, что Европа поможет голодающей России.

Там же у Гржебина меня изловил Щеголев, чтобы я принял участие в сборнике в пользу голодающих.

Арестован Гумилев, и в его комнате в Доме искусств — засада, в которую уже угодил Лозинский и еще кто-то неизвестный. Говорят, что он обвиняется в принадлежности к какой-то военной организации. С этого дурака стало! У Альберта снова были американцы, и я досадую, что застал их. Это оказался мой старый знакомец С.Р.Гране — брат невесты Аргунского мадам Шатхорн с сыном. Старший ее сын — жених Мимы Х. Они уже завтра уезжают на Запад. Здесь у них дела: заводы, концессии, но какие, Альберт не полюбопытствовал. К чаю Стип… Делюсь с ним впечатлениями от «Идиота» и даже читаю ему некоторые пассажи — о бездарности Ганички, лганье генерала

Иволгина про Наполеона. Какой, в сущности, трагический смысл заложен в исступленной аналогии князя Мышкина России и разбитой китайской вазой. И если принять во внимание, что устами героя на сей раз говорит автор, то это все в особом свете выставляет и весь (напускной) оптимизм Достоевского. Как понять вообще, что автор всех «да будет, да будет» в «Дневнике», один раз вложивший свою святую святых в уста эпилептика, другой раз — в одержимого бесом гордости Ивана Карамазова и блаженного Алеши, — просто не справился? И разве вообще настоящего Достоевского не следует скорее искать в Иване, в Ставрогине, в игроке, в Раскольникове и даже в Свидригайлове и в Федоре Павловиче, нежели в том же Алеше?

Да и так ли он выразил, как ему *хотелось*? В ту же Россию так ли он верил? Но, Боже, Боже, какая гениальность! Однако все же он уже склонялся. Настоящие наши вершины — несомненно Пушкин, Гоголь, — тогда-то выкован был и язык (важнейшее *чудо* — это мгновенное дерзновение речи, зависящее от мгновенного осознания мысли), тогда же были изваяны монументальные типы русской действительности. Гениальны герои Достоевского и Толстого, а все-таки они не *монументы*, подобно Фамусову, Чацкому, Борису Годунову, Чичикову, Манилову, Подколесину или хотя бы Коробочке.

Бедному Шуре Серебрякову гораздо хуже — плеврит. Исхудал, как скелет. У него теперь воспаление легких. Он уже больше не улыбается. Эрнст в ужасе от всего хозяйства Лансере-Серебряковых.

Воскресенье, 7 августа

Дождь. Бессонная ночь из-за непрестанного вслушивания. Акица не позволяет для притока свежего воздуха закрывать форточку, и потому все время слышно, как щелкает щеколда калитки в воротах, как ходят по двору, и все кажется, что вот явятся архаровцы, вот они направляются к дворницкой, вот они спрашивают, где домкомбед, затем исчисляют, сколько минут нужно, чтобы им переговорить с Руфом, чтобы спуститься в наш этаж, вот раздается звонок. И только начинаешь дремать, как снова щеколда, снова шаги…

Мы снова без единого гроша. Добычина обещает продать мои акварели новому меценату Шиманскому и его друзьям. Кока узнал в Сорабисе, что Гамалей — за повышение моего гонорара.

Утром раскрашивал иллюстрации «Медного всадника». Днем заснул над романом «Жермини Ласерте» Гонкуров — дал Браз, но

меня будит похоронный марш — опять хоронят коммуниста у нашего Николы. Через несколько минут раздаются звуки Интернационала, очевидно, над могилой (а как я ненавижу эту пошлятину!). Одно это раскрывает суть всего движения, а еще через несколько минут эскорт почета возвращается под самую развеселую дребедень…

Из театра телефон: утром скончался Александр Блок. Я иду на панихиду в 9 часов. Во второй раз в жизни «у него». В первый раз был в 1900-х годах, когда он жил на Галерной. Последнее время они жили в доме № 57 по Офицерской. Очень маленькая, тесная и скорее убогая квартира на третьем этаже с видом на Пряжку. Он лежит на столе, одетый в сюртук, под покровом, как-то странно закинув голову. Лицо неузнаваемо — точно самый бездарный скульптор или театральный бутафор сделал маску, долженствующую изображать Блока, — и «ничего не вышло». Прямо непотешно, непочтенно. У гроба довольно много народу: Браз (его жена — подруга Любовь Дмитриевны — была днем), Нотгафт, Волынский, Слонимский — поэт, которого я встретил у Ионова, много дам.

На возвратном пути Нотгафт сообщает очередной вздорный слух, которому он сам не верит, будто в Полоцке — немцы. Однако то, что две английские эскадры в Ревеле, — это факт.

Бережной очень трогателен, заботится о похоронах Блока, даже советуется со мной, чем бы оббить гроб. В среду Бережной вернулся из Карловых Вар, где он сделал два пуда меду в один месяц.

Смерть Блока я ожидал уже вполне около месяца, и потому она не поразила меня. Странное дело, но при всей симпатии моей к этому чистому и доброму человеку, который с особой симпатией относился ко мне, я не «находил в нем потребности», мне было скучно с ним, меня сразу утомляла затруднительность его речи. Это был человек хорошей души, но не большого ума. Революция его загубила. Он не осилил ее. Как большинство интеллигенции, он считал своим долгом питать культ к ней, к революции по существу, и, застигнутый врасплох ее реальной сущностью, он опешил, а затем пришел в какое-то уныние отчаяния. Сама его поэма «Двенадцать» представляется мне именно отражением такой «истерии отчаяния». Это результат усилия «полюбить их черненькими», какая-то судорога приятия, притом того, что «душу воротило». Но именно после такого усилия ничего больше не оставалось, как умолкнуть и угаснуть…

Я был знаком с Блоком с самого 1901 года, когда он и его приятель «рыжий Иванов» (брат Александра Павловича) были студентами. Особенно сблизился я с ним во время правки текста

«Праматери», который он и переделывал (увы, неудачно) по моим указаниям, так как в первой редакции целыми кусками Грильпарцер был у него искажен до неузнаваемости, а это благодаря крайне недостаточному знанию немецкого языка. При этой работе я оценил необычайное благодушие, терпение и «вообще благородство» характера Александра Александровича. В нем не было ничего от мелкого самолюбия «литераторства». Он необычайно *мило* конфузился (способность конфузиться была вообще одной из чар его). Удивительно скоро и иногда даже слишком покорно сдавался и протестовал лишь в таких случаях, когда ему совершенно по-детски нравилась удача какого-нибудь стиха, хотя бы он шел вразрез и с намерением автора, и просто со «смыслом» всего данного куска. Кое-что из таких оставшихся грехов пришлось уже выбросить при разучивании ролей. В печатном же издании эти грехи, вероятно, налицо. «Косноязычие» (вернее, тугость речи) мешало Блоку принимать участие в спорах. Мария Федоровна (Андреева) его прямо терроризировала своими порывистыми и даже грубоватыми окриками. Впрочем, тут было много и от того, что он был вообще по природе авгур и оракул, нежели мыслитель. Процесс слагания в символы в его мозгу шел быстрее, нежели логический процесс. Ему больше всего хотелось, зналось, виделось, чувствовалось, нежели он это хотел, знал, видел, чувствовал. При этой попытке осознать и формулировать он почти всегда пасовал, и, во всяком случае, эта работа ему давалась с величайшим трудом и с мучительными усилиями рассудка. Из всего этого следует вывести, что он был божьей милостью *поэт*. Но он не был при этом тем мудрецом, какими в своей основе являлись Пушкин или Тютчев. Фатальным для его развития было, по-моему, то, что на самой заре он встретился с Мережковским, влюбился в поэтессу Зиночку. Кровный романтик, автор «Розы и креста», к Западу он тянулся всей душой, но, сын своей среды, отведал его очень поздно, и не по первоисточникам, не на месте.

Понедельник, 8 августа

С 10 часов беседа с Монаховым в бывшем Гришином особняке. Увы, разговор получился «русским», главным образом из-за раздвоенности моих собственных намерений. Начал я с того, чтобы отказаться вовсе, указывая на недостачу гонорара. Монахов попробовал меня убедить, что это не так, стал высчитывать, и вышла за «Праматерь» безнадежная сумма в 75 000 руб. Перескочили через этот вопрос и заговорили о репертуаре. Я

успел сказать, что обстоятельства могут меня погнать за рубеж, на что Монахов развел целую теорию о том, что теперь дело идет на восстановление на основе личной инициативы и ответственности без субсидий, и снова у него мелькнула мечта — использовать эту свободу, чтобы ставить оперетты. Ему Орг это предлагал. Когда подошел Петров, то мы занялись репертуаром и распределением ролей, но к окончательному решению не пришли и решили отказаться от «Цимбелина», и от «Северных богатырей», и даже от «Фигаро». Монахов очень разгорелся на «Тартюфа», но если он идет в Александринке… Решили ставить «Мещанина во дворянстве».

Петров обещает следующий спектакль «Мещане».

Кока начал очень удачно иллюстрации к «Вешним водам». Однако это очень опасная книга для его нынешних переживаний. Я перечел «Фигаро». Готов ставить его, но вообще я раскаиваюсь, что не отказался. Как бы не втянуться, как бы из-за этого не прогулять следующий случай бегства. Не отказаться ли мне завтра в беседе с Монаховым?

Вторник, 9 августа

При осмотре Зимнего дворца мне становится жаль исключать из Александровского зала четыре огромные баталии Наполеоновских войн, очень мастерски писанных Виллевальде, и предложено (что и принято) их оставить на месте, а в соответствии с ними в зале и в соседнем Пикетном расположить арсенал Аничкова дворца, преимущественно относящийся к той же эпохе. Вообще же положение с устройством в Зимнем Эрмитажа довольно безнадежно. Музейный фонд со своим ломаным скарбом все еще продолжает занимать всю 1-ю запасную, а комнаты во двор просто запечатаны, и в них мы, «хозяева», не можем попасть. Написал по просьбе Жарновского письмо Вольфсону с просьбой увеличить гонорар за Джорджоне с 1 рубля до 2 рублей.

Возвращался домой с Бразом. У него вчера был Росс. Он в негодовании на то, что приехал в Москву даром. Его за обратный путь заставили заплатить полтора лимона, считая в марках и по «благоприятному курсу». Он еще не теряет надежду на деловые сношения с правительством. Хочет получить через него новые машины и чтобы ему дали открыть хоть пару старых типографий на концессионных началах. Купил Ахматову и карточку Блока.

За обедом Юрий сообщает сенсацию: отец его товарища по

Академии Иванов — компаньон булочного дела Шмаров-Иванов — получил разрешение открыть свои лавочки на Невском. На днях там станут выпекать сайки, калачи. Несомненно, это все грандиозные провокации, чтобы снова разжечь ненависть у неимущих к имущим, причем на сей раз большинство среди первых окажется из интеллигенции. Способ набрать адептов социализма и коммунизма.

Пришел Михаил Михайлович Добржанский, бывший у меня вчера в Эрмитаже, с письмом от Жени Лансере, привезенным для матери от сестры, сердитое и не без намеков на то, что если меня продолжают любить, то это несмотря на мой большевизм (все еще эта песенка!) и на чрезвычайное признание меня советской властью! Я ему написал тут же ответ, может быть, не совсем осторожный, если принять в соображение, что Добржанский (длинный, черный, тощий поляк с довольно жуткими глазами и короткими усиками) сам себя рекомендует: я — польский социал-демократ, приятель Дзержинского и еще кого-то более важного из ВЧК. Тут же сам вызвался без моей просьбы похлопотать в Москве о моей командировке за границу. У него довольно поэтичный сын — блондин.

Эрнст и Бушен достали номер «Жизни искусства» в пользу голодающих, и мы отплевывались от пошлятины. Совершенно в том духе, который производился в патриотической прессе в первые два года войны. Прочли все важнейшие статьи и довольно остроумный ответ Ольденбурга — Лемке. Особенной пошлостью разит от Шаляпина, Коли Петерс, Стрельникова и Анненкова. Коля Петерс вчера еще на заседании орал, что из «помощи» посредством театров ничего не может выйти. Шаляпин бурчал какие-то почти христианские слова, уже подсев к европейскому табльдоту и налив себе бокал шампанского.

Появилась вдруг Варя Зарудная. Она, кажется, больше уже не называется Лисовской; окатила меня ворохом дел. Первым оказалось требование, чтобы я выписал Сашу За-рудного из Крыма, где он томится. Он остался в живых благодаря тому, что в дни Врангеля там правозащитником спас несколько большевиков. Сейчас он совершенно отолстовился. Вторым — «как известить Ваню Зарудного», который в Токио, что его жена Елена Павловна (урожденная Брюллова) вместе с дочерью Липгардта расстреляна в Омске; третьим — куда обратиться молодому художнику, желающему изучать иконопись. Все типичная зарудинская бурда. Я посоветовал обратиться к Ольденбургу и Околовичу. Но какова моя репутация! Что же это будет, если большевиков заменят «люди нашего круга»?

Кока снова был в Союзе работников искусств. Там

совершенно неутешительные сведения. Гамалей его уверяет, что по новым ставкам оплата еще меньше, чем старая! На сон грядущий в столовой читаю «Мещанина во дворянстве».

Среда, 10 августа

Упоительно свежий день. Похороны А.А. Блока мы с Эрнстом застали уже продвигающимися по Офицерской улице. Как раз с Английской в это время вышел отряд матросов с красным знаменем впереди. Я уже подумал, что власти пожелали почтить этим эскортом почета автора «Двенадцати», но матросы пересекли улицу и пошли дальше. И я только подивился тому кредиту, который я все же продолжаю делать советской государственности. Похороны вышли довольно торжественные. Гроб несли все время на руках (и, к сожалению, открытым, что вследствие уже сильного разложения и жары солнца было не очень благоразумно — тленный дух моментами слышался даже на большом расстоянии). Дроги были старые, режимного образца (последней категории), и кляч в сетчатой попоне вели под уздцы факельщики без факелов в «белых» ливреях и в продавленных белых цилиндрах; несколько венков с лентами. Кто-то всунул в руку автора «Двенадцати» красную розу. Толпа была очень внушительная — человек триста по меньшей мере, и все дошли до кладбища, и почти все отстояли службу, происходившую в новой (до чего уродливой вблизи) церкви и длившуюся часа два, если не больше. Однако речей не было и не должно быть, так как все говоруны готовились к гражданской панихиде.

Даже были экипажи! В одной пролетке ехала Добычина. В хвосте очутилась театральная линия. Церемониймейстером был неутомимый Бережной. Как то всегда бывает, кроме страдальцев, несших фоб, убитой горем вдовы и еще нескольких лиц (среди них совершенно заплаканный В. Гиппиус; о нем дальше), никому на пути следования, как кажется, не было дела до того, кого провожают до места вечного успокоения, а все лишь промеж себя болтали и устраивали свои делишки. Так и я успел перемолвиться с Монаховым, с Петровым (Бродский считает, что если «Тартюф» и назначен, то едва ли пойдет) и представить последнему Гаккеля, побеседовать с Яшкой Капланом, с Величковым, с Шурочкой и с Ромом, пожать руку Изгоеву, посидеть в пролетке с Добычиной и т. д.

Нотгафт потрясен уже распространившимся известием о бегстве Ремизовых. Каплан возмущен тем значением, которое было придано в Париже боксерскому матчу, при котором

совершенно разбили физиономию чемпиону Франции Шарпантье. Добычина обещает освобождение Миши [брат Бенуа] через два дня и наперекор злой интриге его собственного комиссара. Шурочка очень мила, но совершенно гибнет под бременем забот, так как ее мать и сестра вернулись из Сибири и сели ей на шею, да вдобавок прекратилась присылка продуктов оттуда.

Пройдя один по кладбищу, я наслаждался игрой солнца в листве, на стволах и на памятниках. Прав Либих, считая, что зелень на солнце трепещет черно-серым. И, постояв в церкви, я почувствовал, что устал, и с радостью воспользовался приглашением Кунина доставить меня домой на его лошади. Перед этим я имел разговор с В.Гиппиусом и с Ольденбургом. Первый — вне себя от смерти Блока, и он был тем более потрясен этим, что уже год не виделся с ним. Он также считает, что «Двенадцать» явление истерическое, акт отчаяния и что в значительной степени ощущение содеянного греха подточило Блока. В последние дни, в бреду он спрашивал жену: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены, все ли сожжены? До Октябрьской революции Блок был скорее черносотенным…

Когда же Гиппиус навестил Блока после «Октября», то застал его в каком-то «блаженном» состоянии. На вопрос: как надо понимать произошедшую в нем перемену, Блок со смиренной улыбкой указал на номер «Правды», лежавший на столе, и произнес: «Потому что я так думаю, что эта «Правда» — правда!» Оглядевшись вокруг себя, он, улыбаясь, говорил: «Вот это теперь все не мое — и это хорошо». Садясь за стол, Гиппиус пошутил: «Что же, и то, что мы едим — не наше?» — «Не наше», — в том же тоне отвечал Блок. Словом, он, видимо, жил тем настроением, которым и я был полон полгода до того и которое в менее осознанной форме (хотя и в нас было мало осознанного, вероятно, здесь и осознанного по самому существу не должно быть много) стихийно изображено поэтом. Боюсь, что и сейчас этот избранный круг на Западе только-только начинает заболевать этим весьма опасным наваждением. Гиппиуса я снова пожурил за то, что он сжег свои записки. Я мало верю в то, что создаваемая им теперь поэма их заменит, хотя он и утверждает (я думаю, тут не без свойственной поэтам преувеличенности мнения о своем значении и о том значении, которое ему могут придать со стороны), что его за эту поэму «могут расстрелять».

Ольденбургу я передал запрос Саши Зарудного. Он совершенно согласен со мной, что если только там, в Крыму, *возможно* высидеть, чтобы он лучше там и оставался. Сам Ольденбург какой-то преунылый и мрачно смотрит на ближайшее развитие нашей государственной драмы. Основная мысль его мне

близка — все творящееся есть чертовщина. Ольденбург сам сибиряк по рождению, его отец командовал где-то там бригадой. Он имеет от приезжавшего ректора Томского университета сведения, что там власти на местах переживают как раз острый период коммунистического психоза. И это доходит до того, что университету запрещено выписывать «Московские известия», почитающиеся контрреволюционными. Однако такие настроения наблюдаются только в городах, где царит террор, а все остальные интеллигенты не выходят из подавленного настроения паники. Напротив, деревня сплошь враждебна к коммунизму, и невероятное количество молодых загублено… Агитаторов мужики избивают.

По дороге домой «любуюсь» разрушенными домами на 17—18-х линиях. Кунин мне рассказал много любопытного о том, что творится в петербургском порту. Крючники, оказывается, устроили итальянскую забастовку в отместку за то, что их стали преследовать за воровство продуктов. Сначала контроль был слабый, так как каждый уносил фрукты… Обыски при выходе стали унизительными. Собрались на митинг, где раздавались голоса: «Мы воры, а наше начальство еще более вор! Комиссары в кожаных куртках уносят продукты в портфелях…» Чуть было не убили брата Зиновьева — Радомысльского, вздумавшего помыкать грузчиков: «Живей, ребята, живей». Они накинулись на него и сообща положили «под мешок». Насилу спасли. Кунин утверждает, что пароходы возвращаются пустыми — разгруженными, но приобретается все на золото…

Вечером у Купера концерт Бетховена в пользу голодающих. Несмотря на сравнительно скромные цены, зал не был полон. Мы пошли послушать пианистку Юдину, игравшую Пятый концерт, но я не разделяю того энтузиазма, который выпал на ее долю благодаря «расовым особенностям». Говорят, она теософка. Ни настоящего темперамента, ни силы, ни энтузиазма, ни колорита. Но зал рушился от аплодисментов, и особенно усердствовал сам Купер. Среди второго отделения, после Третьей симфонии, мы ушли, встревоженные новостью, сообщенной в антракте господином Бачковым. Отозвав в сторону, заговорщицким тоном вопросил, не послал ли я чего с Оргом. Оказывается, Эдварда Георгиевича в Ямбурге обыскивали в течение пяти часов (много же вез!), и все отобрано. Я, может быть, напрасно поведал, что моего, кроме письма к дочери, ничего не было. (У Бачкова очень подозрительная физиономия.) Но потом уже я напомнил, что Орг должен был везти с собой поднесенную ему мою акварель «Итальянская вилла» и две наших фотографии, на одной из них я даже расписался: «Дорогому Эдварду Георгиевичу на память от

преданного ему с дружеским расположением Александра Бенуа». Ведь этого для наших инквизиторов совершенно достаточный мотив для подозрения, что у меня с ним были какие-то контрреволюционные или иные нелегальные сношения. Меня это так расстроило (только что стал успокаиваться после тревоги, причиненной арестом Мишеньки), что я уже не в силах был слушать музыку.

Четверг, 11 августа

Не сплю до 6 часов. Вариант сопровождающей записки ни на минуту не забывается, пробуждаюсь от кошмаров. В первый раз, будто из «маленького окошка», я вижу ужасно жуткий ночной зимний пейзаж, какую-то стенку вместо решетки Николы и горящий розовым цветом фонарь, и еще второй сон…

Утром Мотя приводит меня в ужас, доложив:

— К вам пришел… Андронников!

Подумал — с обыском, но, оказалось, это какой-то полуартистичный господин в белом кителе и белых штанах с оригинальными пуговицами зашел спросить адрес доктора Рулле по совету Фроловой Н. Сам Андронников себя считает фроловцем, ибо он двенадцать дней отсидел в заточении за то, что его фамилия встретилась в злополучном «Наказе».

По дороге в Эрмитаж читал с Эрнстом текст декрета об отмене декрета прошлого года, обезличившего мебель и предметы обихода.

В Эрмитаже застаю супругов Мезриль с Липгардтом перед гатчинским «Тицианом». Француз, видимо, не вполне уверенный в атрибуции, — в упоении, что может Мозесу сообщить о своих открытиях. Его очень ободрило то, что он получил письмо от Мабузье Воле [?] и Коррадо Ричи. Я показываю Мезрилям строгановские картины в нашей библиотеке, но остальные под ключом у отсутствующего Шмидта.

Сережа Зарудный в ужасе от возможности возобновления переписки со спасшимся его двоюродным братом в Токио — инженером Иваном Сергеевичем.

Дома только что собрался сесть за раскраску «Медного всадника», как вторгаются Катя Бенуа (Грибанова) и Костя. Первая, видимо, считает своим долгом «обивать мой порог», продолжая считать меня всесильным в театрах. Второй явился с очередным докладом, как обстоят дела с освобождением его отца (он его так «отцом» и называет). Оба меня поражают семейной чертой покладистости… Это, вероятно, наследственно от дедов —

мелких забитых человечков. Вторгается (пользуясь отсутствием Акицы, которая с 4-х часов уехала в Павловск смотреть дачу) и Соня, пытающаяся нас заставить купить у себя два десятка «ч-ччуд-ных» яиц прямо из-под кур и два фунта «ччудного» масла, совсем как камень. Моте удается исподтишка выбрать десяток хороших, плохие она унесла… Четверть часа бегала внизу, навязывая масло Катеньке. На улице трясла злополучным остатком… Феноменальная фигура!

От Эрнста слышу, что гражданская панихида по Блоку откладывается и что даже в связи с этим произведена по городу масса арестов. Арестован Ф.П.Кони. Однако он арестован, скорее, в связи с обыском Орга, ведь, кажется последний должен был вести с собой рукопись его «Воспоминаний».

Хайкин приступает к мощению трех моих зубов… Рассказывает о своей нынешней «даче». Они сняли комнату у старухи-молочницы в Графской Славянке в пяти верстах от станции.

Вечером наслаждались балетным танцем Татана под мою игру кэквоки. Акица вернулась домой около полуночи. Дача маленькая, но удобная, кровать на козлах с волосяным тюфяком, но мне обещали настоящий. От «снарка» в упоении — тащит нас, обещает чудесную осень. Я начинаю соблазняться. Прочел «Дмитрия и Шуйского», драму Островского. Хорош язык и хорошая мысль — гибель пламенного авторитета, трагического человека, настоящего государственного ума. Но в драме нет движения и постановочная сторона слишком сложна.

Пятница, 12 августа

Дивный день. Отлично спал. За чаем подробный рассказ Моти о злоключениях Руфовской девочки-витеблянки, пожелавшей съездить на родину: ссадили на станции и вернули… По рассказам Моти о своем путешествии в Псков — это нечто чудовищное, вагон-зверинец: кто везет кур, кто поросят…

Утром захожу в Академию художеств, и снова слезная просьба сестры Кати, и несмотря на протесты Зины, которая в ужасе от поселения к ним Коли и Лели с детьми, можно-де идти до нищенства.

В Эрмитаже у Тройницкого застаю молодого человека из Публичной библиотеки, Лавровского, которого мне С.П. характеризует как друга Димы [Философова] и который хочет в Эрмитаж. Они только что были на Гороховой на приеме у Серова, но тот, узнав, что они пришли хлопотать о Рохлине, только

буркнул: «О деле Рохлина — никаких разговоров!» Уж не испортил ли Е.С. свои дела шикарным образом жизни в тюрьме? Сейчас он староста. Очень поражен Лавровский покорностью Петра Павловича, который ревнует (я был прав), заставляя являться заблаговременно… Он отправил помощницу на отдых в деревню, причем своему брату Михаилу Семеновичу наказал, чтобы он был осторожнее с этим негодяем, и вдруг Л. сообщает, что Рог сам арестован, что у него отобрали все бумаги и что поэтому в городе «идет у многих дрожание». Тройницкий обещал разузнать об этом у тестя О. Уж не из-за этого ли арестован и Кони, который, кажется, дал ему рукопись своих воспоминаний?

Захожу к С.Н., у которого теперь Стип на время отсутствия Марфы Андреевны исполняет роль повара. Накормил меня отличным супом. Выклянчил у Стипа альбом интересных фотографий времен Александра II.

У Добычиной застал Ольгу Валентиновну Серову (вернее, Хариту). Перебирали всякую всячину, а больше всего — вопрос о приобретении Русским музеем офортных досок Валентина Серова. Добычина подробно рассказала, как она убедилась в том, что супруги Грузенберг (брат адвокат, который очень нуждается, в Париже) — агенты ЧК. Я этот рассказ слышу на протяжении года… из чего можно заключить, что это не просто выдумка; заодно в Чеке заподозривается Иозефович, что же касается Ефима Добина, то его прикасательство к Гороховой не может подвергаться сомнению, после того что Тройницкий Сергей там его видел (не будучи узнанным) в виде совершенно «своего» человека, разгуливающего по всем комнатам и со всеми разговаривающим. Когда ушла Ольга, я сообщил Добычиной о всех своих тревогах, и вот ей почему-то меньше всего нравится то обстоятельство, что «там» Ефим. Отчасти как-то на душе посветлело, мы с Н.Е. порешили в случае допроса не отпираться. Она продолжает уверять, что меня «не посмеют» арестовать. Ее я дружески пробрал за все пророчества. еще теперь-де осталось арестовать ее, меня и Яремича, чтобы большевикам настал конец. Это уже пошло в круговерть, и Тройницкий слышал этот парадокс от Е.П.Ухтомской (а он, бедный, все сидит), затем еще говорят: Малевич арестован в Витебске. Этот арест ставят в связь с арестом Пунина.

Последнее время он был занят печатанием ручным способом своей книги о «Черном квадрате». Ох, достукаются, а может… достукались…

По дороге домой встретил только что вернувшегося, очень загоревшего придурковатого Даниилу (сына Добычиной). Дома застаю Стиву. Вид очень важный, прямо Поклен после турне в

Лионе и Бордо. Забегал Костя, Мишу перевели на Шпалерную. Костя находит, что это к лучшему (удивительная слабость — «все благословлять»). Товарищ Фрадкин — это очень важное лицо, к которому Костю направила Добычина, а так лебезит — делает вид, что очень старается, но пока ни с места.

Поздно зашел Эрнст, возбужденный с обеда у Платера в компании со Стипом. Разговор был о поэтах, и я уже стал излагать свое специфическое к ним отношение, как вдруг «в зобу дыхание сперло» — у ворот раздалось пыхтение мотора. Это, оказалось, кого-то привезли. Но уже нить была потеряна. Прочел «Лекаря поневоле». В тиши расхохотался, непременно надо будет поставить. Заходил Стахович с отчаянной дрянью и бородатым приятелем Гризелли с довольно милым пейзажем позднего последователя Пуссена «Христос и ханаанская вдова». Прицелла уехал уже с месяц назад в Италию и женился на очень приятной госпоже Коган.

В газетах «Наказ по поводу нового курса» — необычайно бездарный памятник современности, лишенный той вдохновляющей ценности в формулировке, для которой такие вещи сочиняются и публикуются. Разрешение продажи малопроцентного вина. Леонтий видит в этом особенную уступку и возлагает самые розовые надежды на то, что это приведет к перевороту. Разумеется, «проценты» не будут соблюдаться.

В Румынии коммунистическая партия признана нелегальной.

Суббота, 13 августа

Ужас продолжается и усиливается. Сегодня вечером приходит Дези и сообщает, что только что ее уведомили со 2-й линии № 20, что утром Леонтий Николаевич вместе с дочерьми отправился к Михаилу Николаевичу, а Мария Александровна нездорова, никого не принимает. Что бы это могло быть? Неужели во фроловском деле новое осложнение или это попросту шантаж? Или не приняли ли Леонтия за кого другого, и все дело находится в связи с Оргом, с которым он не был даже знаком? Теряемся в догадках. Марочка после операции лежала в обшей палате и слышала от соседки, которую навешал супруг, что она хвасталась, что занимает огромную квартиру в двадцать комнат в доме Леонтия и своим могуществом. Возможно, что вся махинация идет именно в этой стороне, что этим господам захотелось поживиться обстановкой «бывшего домовладельца», и тут как раз могло случиться, что или прислуга разболтала корреспонденту, или из чрезвычайной небрежности почты. Ведь иностранные радетели

могли удружить и послать в расчете на то, что здесь «идет поправление», глупейшие вещи просто по почте, и такое письмо, брошенное прямо на подоконник лестницы, — теперь такая манера, — могло попасть в руки каких-либо негодяев. Я сейчас же дал знать Добычиной, оказавшейся у Куниных, и она прибегла к иносказаниям, обещая переговорить с кем нужно и принять кое-какие меры. Не пойти ли мне к Бродскому и к Озолину?

Коля Альбертович, приехавший сегодня из Москвы, навестивший нас вечером (совместно с Любочкой и Гауком), рекомендует войти в сношения с Комиссариатом юстиции, который якобы «добрался» до Чеки. Видно, что Коля не в курсе дела, обращение может испортить дело и нас подвести. Про Москву Коля рассказал, что там идет «пир горой» и царит удивительное легкомыслие. Он много ждет от комитета голодающих. Верит, что до коалиционного правительства осталось два месяца, а там неминуемо большевики *уйдут*. И это говорит *он*, еще так недавно чуть ли не боготворивший наших правителей. Когда я ему напомнил о тех расчетах, которые делались по отношению к Троцкому на роль Господаря, то он махнул рукой…

Об Орге новые слухи. Его личный арест опровергается его тестем. Зато у Федора Федоровича такой рассказ, будто он в Ямбурге представил пропуск за подписью Озолина, а ему в ответ показали другой документ с той же подписью, в котором предписан обыск и вещи отобрать. А еще накануне отъезда, узнав об аресте Миши, он собирался мне дать письмо к Озолину, уверяя, что это очень милый человек и что он с ним в приятельских отношениях. Дези еще сообщила кое-что о самом Озолине. Это очень элегантный человек, отлично одетый, причесанный, бывавший со своей приятной женой на концертах и премьерах. Он к тому же поэт.

В Москве Коля Альбертович, имевший случай быть в компании самых выдающихся деятелей революции, приятелей хозяйки дома, так охарактеризовал присутствующих: все видны собой, все самые добрые и сердечные люди, однако же у каждого из них на советскую жизнь поистине ничего нет. Страсти «благодетельного человечества».

У самой Дези тревога, как бы не добрались до нее. Ведь уже арестованы по Таганскому делу ее брат с женой, а на днях арестованы те их друзья, куда был отправлен ребенок с нянечкой. У этих же друзей, наверное, был адрес Дези. Считается, что Ремизовы и Сологуб сидели в одном вагоне с Оргом, что с ними сделалось, неизвестно, но их рукописи попали в руки Чеки.

Днем я был в Эрмитаже. Ж.А. Мацулевич познакомила нас в

общих чертах со своими мыслями об обустройстве скульптурного отдела. Все, кроме Липгардта, за то, чтобы объединить в одно систематическое целое всю скульптуру, включая сюда и кость, и дерево, и мелкую бронзу (но не фарфор). Однако, я думаю, что такой план при нынешних условиях неосуществим, ибо он предполагает устройство специальных помещений, декораций, шкафов и т. д.

Поспел и на заседание в Общество поощрения художеств. Обсуждаем вопрос о досках Серова. Вейнер поругался с Тройницким из-за приобретения коллекции Казнакова (Тройницкий мстит Вейнеру). Дурень Нумелин спрашивал моего совета: стоит ли купить за 1,5 миллиона очень посредственного Айвазовского 1872 г.

Я начал «Неточку Незванову». У нас обедали Эрнст и Бушен. Молодые были на Бетховене, Девятая симфония, с хором работает Гаук.

Воскресенье, 14 августа

Упоительный день. О Леонтии к вечеру новые и крайне смутные сведения сообщил Костя. «Мейстер» на велосипеде, он может объехать и всех предупредить. Но, увы, попал в засаду, и еще двенадцать человек. И мы предполагаем, что один из них — Петя Соколов, часто ходивший туда ночевать. Знакомые просят не заходить даже во двор, ибо у их ворот всегда часовые. Они не с Гороховой, а с Итальянской, 17, где командир Фрадкин ведет менее важные дела. Узнал, что Леонтия спрашивали, не знал ли он княгиню Голицыну, жившую в Пскове. Он не знал, но предполагает, не родственница ли Устинова? А что, вся кутерьма заварилась из-за Устинова? В таком случае могут получиться вещи довольно компрометные. Ведь он его даже хорошенько не знал и понятия не имел, с какими поручениями от своего правительства Иона Устинов сюда приезжал. Добрая Кика очень озабочена тем, как им доставить пропитание…

С Фрадкиным, чуть ли не с ее родственником, познакомились вечером у Добычиной (он ее называет «тетя Надя»), пошли туда с Костей Сомовым и А.А.Михайловой, были и г-жа Мансурова, совершенно изменившийся благодаря бороде Л.А.Коровин, г-н Шиманский, Оль, Женя Михайлов и племянница Женечки.

Фрадкин очень молодой, очень некрасивый, бритый еврей с чрезвычайно оттопыренными ушами, одетый в коричнево-малиновую шелковую рубашку, чрезвычайно любезный и внимательный. Жена его статная, высокая, но тоже некрасивая.

Его Добычина характеризует как «подмоченного коммуниста», да и в его присутствии все время позволяла себе посмеиваться над теперешним «их» положением, грозить скорой ликвидацией и т. д., на что он больше тоже отшучивался. Будет ли он в помощь нам, я сомневаюсь. Так, относительно Миши он узнал только от какого-то верховного начальства. Все это подробно было изложено с названиями всех учреждений, в которые стучался Фрадкин, и с возглавляющими, с которыми он входит в сношения, однако я никак не могу запомнить подобную абракадабру. Одно я только вынес впечатление, что всегда у евреев имеются связи и даже чуть ли не родственники, что на поруки Мишу выдать нельзя, но что этот верховник сделает все от себя зависящее, чтобы пустить дело скорее к разбирательству, и через одну-две недели оно уже будет ликвидировано. При этом верховник высказал почти уверенность, что Миша ни в чем серьезном не замешан, но транспортная ЧК, тем не менее, предпочитает его держать, ибо удобнее иметь под рукой всех замешанных в деле лиц. Так сказать, «изъять их из обращения».

По этому поводу Добычина рассказала о том, как Д.И.Верещагин и сам Тройницкий пробовали освободить Незванова и другого инженера, (кажется?) Хорвата, арестованных в Москве (а на Н.Добычина рассчитывала, что он достанет разрешения на выезд за границу), и для этого обратились к самому Ленину. Тот потребовал к себе дело, изучил его и произнес: «Да, дело пустяшное, но зацепка для ЧК!» Тогда В. заметил Ильичу: «Из этого я заключаю, что вы в столкновении с ЧК бессильны», на что Ленин должен был в косвенной форме согласиться.

Рассказывала и о Менжинском, что он сказал про «представителей общественности», призванных в Комитет голодающих: «Да это единственные, которые оставались еще не расстрелянные», в другой какой-то беседе он высказал уверенность, что коммунизм не утвердится, пока останется хоть один его противник. Напротив, знаменитый Бухарин, говорят, не только теперь уже и против «поправления», но и требует гораздо более решительных шагов в этом направлении. Общий же тон о московских властях (и против этого Фрадкин не спорил!), что они совершенно растерянные и сами отлично понимают, что дни их безнадежно сочтены. Весь сейчас вопрос в том, чтобы как можно менее болезненно сойти со сцены и уйти в подполье. Относительно дела Миши Фрадкин высказал менее оптимизма, но согласился с тем, что здесь пахнет доносом.

Назавтра Добычина проектирует ряд ходов — через комгорхоз, через исполком и еще через кого-то. Я всему этому

придаю мало значения. Ужасно то, что в квартире Леонтия происходит самый подробный обыск, и это всегда ведет к пропаже массы ценных вещей, во всяком случае, к разорению гнезда. Мария Александровна Никитина и часть детей Кати Грибановой ютятся в комнате для прислуги. Как они питаются — совершенно не известно. Одна маленькая, но неприятная деталь: как раз Кися должна была продать один очень дорогой мех М.А., но в последнюю минуту М.А. не пожелала сделать какую-то уступку, и мех был возвращен накануне ареста. Теперь он, наверное, пропал, а между тем на вырученные деньги они бы могли прожить много дней.

Утром я неожиданно для себя совершил прелестную прогулку. Встал для того, чтобы после долгого времени пойти в церковь, и отправился в церковь Св. Станислава, столь знакомую и родную с самых детских лет. Мессы не дождался, но присутствовал, когда священник раздавал причастие и как он, спустя четверть часа, облачившись в простую зеленую ризу, окропил присутствующих и прошел с ними по церкви в предшествии креста под старинный напев. Церковь все та же и довольно тесная, лишь живопись сводчатых потолков от сырости облупилась. На прежнем месте копия со «Снятия с креста» Рубенса, но красивую царицу-святую и грозного Симона в митре я что-то не видел. Народу мало, и все демократические элементы отсутствуют.

Оттуда пошел по Торговой, до нового казенного дома. Это здание мне памятно потому, что, едучи мимо него в автомашине (после посещения К.Сомова) с Е.П.Олив, мы подверглись обстрелу мальчишек, бросавших в нас камни. Это было весной 1916 года. Я вышел к Калинкиному мосту (столь чудесно спасенному стараниями моего отца), а там оказалось недалеко до любимой цели наших прогулок вместе, в счастливые дни расцвета нашего романа с Акицей (впрочем, когда дни нашего романа не были счастливыми и цветущими?) в 1891-м, в 1893 годах — до Лоцманского острова. Вид самого моря (была зыбь) под ровным уже горизонтом, несмотря на утренний час (было 8) и на западную сторону неба, — произвел на меня очень глубокое впечатление. Так ощутилась радость путешествия, свободы. А ведь как раз, может быть, это последний день, что я пользуюсь той относительной свободой, которая дана советскому крепостному.

Долгое время я, выйдя на морской конец острова, глядел перед собой на тот вид, который зарисовал тридцать лет назад пастелью и акварелью. Затерянный домик (род дачи) все на том же месте, но он окружен теперь забором, сараями, влево от него,

прямо на набережной, стоят для починки, вероятно, много лет назад вытащенные из воды два небольших парохода. Справа из-за чахлых деревьев садика виднеются труба и часть верхней палубы большого чужеземного парохода, на котором идет непрестанное и равномерное, как заведенные часы, движение выгрузки. Из канала, начинающегося слева, вдруг выехала зеленая, аппетитно лакированная лодка с четырьмя товарищами и плавно, «точно по маслу», проложила себе путь к Фонтанке.

Вид устья Невы неузнаваем. От величественных верфей на левом берегу остались обглоданные кирпичные стены, от открытых правобережных верфей — ничего, а вместо них торчат в беспорядке какие-то железные стойки. Под ними развалины. Вокруг все носит характер разложения и разрушения, а ведь как раз эти места поражают своим заграничным видом, напоминающим Лондон и Гамбург. У самого устья стоит огромный труп военного судна без мачт и труб. На нем что-то понастроено жалкое. Единственное, что придает виду какое-то подобие жизни, — это флотилия военных судов, которых я насчитал около семи, среди них три у левого берега, огромных, два, покрашенных в белый цвет, одно — в черный.

В сильно разрушенном или обветшалом состоянии и все здания по берегу Фонтанки. От прежней веселой флотилии парусных судов, здесь имевших свои стоянки, нет и воспоминания. На самом Лоцманском острове домики все же целы, несмотря на то что они деревянные. Те же герани в окнах, тот же чистенький (но все же одряхлевший) вид, напоминающий Голландию. На улицах мостки сильно подгнили, по берегу Невы выросли густые, закрывшие вид кустарники. Во всем поселке — ни души, лишь по берегу два мужика в траве и двое удят рыбу у деревянного моста.

Для возвращения путь я взял на Садовую, дабы хоть снаружи увидеть дом тети Жанетт и Катеньки Романовой, к которым мы с папочкой имели обыкновение захаживать после церкви, где меня угощали чудесным пирогом.

Однако на месте трехэтажного ампирного дома моих родственников теперь вырос пятиэтажный в новом вкусе. Дом напротив с головами Меркурия в виде фриза под карнизами все еще сохранился, но вообще в этом квартале почти все старинные дома приобрели характер малоценных особняков за эти годы разрушения. С одного перекрестка за Михаилом Архангелом насчитал таких развалин восемь, а на всем протяжении их по крайней мере встретилось пятнадцать, если не больше.

Татана застал гуляющим в саду. Он общий любимец, но все принимает бедную мою Атю за «жидовку». И не хочет верить, что

он был ее ребенком! Когда я стал уходить из сада, он потащился вслед за мной, до самого дома. И когда захлопнулась калитка, то поднял скандал.

Меня остригла Мотя. Приятно ювелирная работа.

Понедельник, 15 августа

Душный, жаркий день. Я вернулся весь в поту. Ни г-жа Клан, ни Добычина вечером не явились. Акица ожидала первых и не поехала в Павловск. И вообще из Павловска ничего не выйдет.

На возвратном пути из Совета встретил Ольденбурга, который взялся хлопотать за Леонтия. Дома раскрашивал оттиски «Медного всадника» и читал «Неточку Незванову».

У Хайкина встретился с Купером. Он ничего не знал об Орге, Нелидовой, милом Н.И.

Вечером была красавица г-жа Левитан, жена певца, который попал в засаду, сидит второй месяц, извиняется за девочку Цеханович, которую мне хочет привести друг Эллонена Замков, уверенный, что я могу способствовать помещению ее в балетную школу.

Позже — Н.А.Радлов с Эльзой Яковлевной. Они собираются в Холомки и пришли за справками. Он только что провел месяц в Доме отдыха в Павловске, где очень оценил компанию молодых и убежденных коммунистов. По этому поводу спор с дамами. Еще позже — Ф.Ф. Нотгафт, которому я отдал Царские — 4000, и Эрнст. В полночь явился Гаук, и у них с Акицей завязался «обычный Павловский разговор».

Как бы теперь проезд не стал платным. «Дом искусств» 2-го городского района отнят у С.Жарновского и переходит в ведение Политпросвета.

Мы беспокоимся, как бы Альберт, гостивший у Виттенбергов на Лахте, по пути с вокзала не зашел бы на квартиру Леонтия и не попал в засаду. Телефон неисправен.

Сегодня уезжает герр Розе. Так он у меня и не побывал, я мог бы передать через него приветствие зарубежным друзьям.

Вторник, 16 августа

В 4 часа ночи ливень с грозой «воробьиных ночей». И сегодня у нас нет прямых и точных известий о наших заключенных. Известно, что на Итальянской, 17, есть отдел ВЧК, следовательно, Леонтия и дочерей могут еще отправить в Москву. В чем дело?

Добычина откуда-то проведала, будто на границе арестован какой-то генерал Шретер, или Шредер, и у него записка, что «этот путь ему указал Л.Н.Бенуа».

Это так не похоже на Леонтия. Путь мог быть дан в письме дочерям, а может, и Устинову. Добычина обещала, что завтра повидает пятерых властных лиц… Только фантазия и словоблудие, но другого все равно нет, и как раз завтра уезжает за границу Горький, вернувшийся из Москвы вчера, так что и к его посредничеству прибегать уже поздно.

Позже Соколов, он действительно угодил в засаду! Он был у своего приятеля Павлова — напротив дома Леонтия — и хвастался Павлову приобретенными запасами макарон и тем, что у него масса писем для заграницы. Он рассчитывал перебраться (притча во языцех в Академии). Поболтав, набив себе трубочку, направился «навестить стариков». Как бы его арест не осложнил дело Леонтия, создав впечатление, что это штаб-квартира беглецов. Про Орга рассказал, что его художественные вещи лежат в Ямбурге, у него нашли переписку и 10 миллионов золотом — явная чепуха. Слух об арестах в Эстонии за превышение полномочий держится. Говорят, арестованы еще М.А.Коваленская — сестра жены Д.И.Толстого — и какие-то дамы Панчулидзева, и опять за сношение с заграницей. Еще слух, будто Пунин сошел с ума.

Альберт с Лахты не пошел домой, не попал в засаду…

Заходил Тырса с просьбой подкрепить моим отзывом ходатайство Штиглица о пайке Алексею Еремеевичу Кареву. Скрепя сердце, я должен был дать отзыв, хотя он не заслуживает поддержки.

Среда, 17 августа

Натерпелись ужасов. Расстроили Эрнст и Тройницкий, встретив меня словами: «Ну, я в восторге! Вы пришли, а вчера распространился слух, Крыжицкий уверял, что вы арестованы…» Огорчились и мальчики Добычиной. Пришла Добрецова-дылда, актриса, которая не раз обращалась ко мне определить ее в БДТ. И еще досада. С моего согласия кабинет бронз передан Тройницким Айналову, и он меня принял как хозяин дома — подчиненного. Это кольнуло меня. Видимо, Тройницкий придал слишком большое значение моим словам, что-де я могу спокойно бросить Эрмитаж, ибо Айналов меня заменит. Тут-то на расстроенных чувствах и с досады, что еще надо открывать заседание, на котором Ж.Мацулевич обещала сделать доклад об

организации отделения скульптуры, я еще пытался дозвониться до Добычиной и получил: «Они будут у вас сегодня или завтра». Я принял эти слова за предупреждение о посещении ЧК. Тут я посылаю к черту заседание и на дрожащих ногах, прощаясь уже с вольным воздухом и с солнцем, спешу к Добычиной. Получается нечто иное. Она настаивает, чтобы я уехал в Павловск для отдыха. Она допускает мысль, что меня могут допросить для снятия показаний, но о «визите ко мне ЧК» речи не было, и ободрила, что Леонтий будет выпущен, только дочерей задержат для выяснения обстоятельств дела. Может, она меня пожалела.

Четверг, 18 августа

Премилое свежее утро. Отъезд на дачу откладывается по совету С.Тарновского, так как у них из Павловска семья уезжает в Гатчину, и нас некому принять. Я рассчитывал там отдохнуть от своей нервной возбудимости. У Ф.Ф. взял Тэна и на ходу стал читать Гизо как автора истории английской революции. Там три пассажа очень приложимы к нам. Зашел к Фрадкину на место его службы (он занят распределением партийных агентов по военным частям, он сравнялся с образованием строевых команд в былое время), помещающейся в огромном банке, построенном Перетятьковичем. Он сразу очень любезно меня принял, нового он не узнал, тут же по телефону спрашивал, что за учреждение на Итальянской, 17, узнал, что ведомство Озолина, но который отрекся от всякого касательства к делу Леонтия.

Дома меня ожидала приятная новость: Юрий встретил на мосту Петра Ивановича Соколова, выпущенного из засады. Обыск делал матрос. Попали в засаду двенадцать человек — сброд: зеленщица, татарин, три чухонки.

Вечером к Альберту. Он рассказал новое об Орге: будто вещи — шестьдесят один ящик — отобраны еще в Петербурге, и он сидит в Ревеле, обвиненный в спекуляции спиртом.

К ужину В. К.Макаров, поднесший чудесные розы и корзину мускатного винограда. Он только что с заседания у Ятманова, который раздобыл много миллионов и щедро раздает. Макаров отдал Гржебину путеводитель по Гатчине…

Вечером был Стип. Я ему читал выдержки из Тэна. Я набрел на книгу французских пьес, изданных Галлимаром, и теперь читаю их, набрел на перл А.Франса «Маленький бонвиван».

Вероятно, вследствие всех потрясений, тревог и испугов за эти дни чувствую себя совершенно расслабленным и точно меня жестоко избили. Как раз день начался с мерзости: Атя узнала, что

Добычина уехала, а Рубен ее провожал. Вот тебе и участие, и опора!

Мой первый ход был к Ольденбургу в Академию. Он уезжает в Москву. По слухам, арестован Никитин. В Москву прибывает Милюков на заседание комитета помощи… Все же удалось побеседовать. После головомойки Кузьмину он ничего не предпринял. Горький подал от Дома ученых [просьбу о Леонтии]. Он предполагает от «Фроловых» и находит не лишним, чтобы я сам обратился к Озолину или Семенову, и указал пути к ним. К первому через Апатова в КУБУ, ко второму — через поэта Оцупа. Очень забавен был пассаж, что «в тюрьме вовсе не так плохо, и Леонтий даже «отдыхает». В таких же тонах вчера говорил Ратнер, принесший показать эскиз Ге «Царица Марфа перед Годуновым». Надлежало узнать, куда в точности обращаться, и я снова зашел к Фрадкину. Он возился с солдатами, сообщил о результате беседы с Озолиным. ЧК удалось набрести на широкую организацию западной контрреволюции, и теперь идет расследование этого громадного дела, в котором прямо или косвенно участвуют сотни лиц. Без сомнения, Леонтий Николаевич здесь ни при чем. Это сознает Озолин. Поплелся на переговоры к телефону: «У нас принцип брать как можно шире, — при мне жест охвата стола, — и держать, пока все в точности не выяснится». Все же Фрадкин хочет убедить меня в отношении Леонтия.

18 августа (продолжение)

В Эрмитаже я устроил импровизированное заседание о судьбах скульптурного отдела. Тройницкий советует завести совершенно новый инвентарь предметов, которые не выставлены. Могут быть теперь размещены по Зимнему дворцу вперемежку с картинами. От кости, мрамора, дерева решено временно отказаться, на чем настаивает и Кубе, желающий сохранить их за собой, из собраний чисто «экспроприированных» (витрина, охрана). Ж.А.Мацулевич должна все же составить организационный проект, в котором, не считаясь с условиями музейной жизни, был бы изложен «идеальный» распорядок в этой области. Это надо сделать для того, чтобы при каждом удобном случае приступить к реализации этого идеала. Происходило заседание в «кабинете Айналова». Сам он не принимал участия, зато очень демонстративно рылся в книгах Рихардовской библиотеки, при этом разыгралась еще одна такая смехотворная сценка (очень не в стиле наших эрмитажных нравов). Когда появились наши библиотечные служащие с тремя из этих томов

на руках (остальные нес Шмидт), то он вскочил с кресла и вырвал эти книги из их рук, протестуя, что он ни за что не потерпит, чтобы для этого утруждали женщин. Вообще он весь не в нашем стиле и, вероятно, будет держаться своего духа. Перед заседанием он познакомил меня и Ж.А. со своим ближайшим напарником. Дойдя до Афин, он увидел, что пришел в тупик: «Ну какое же это Возрождение? И подумаешь, что в это время работали Леонардо, Веронезе и все великие мастера! Нет уж, лучше обратиться к ним! А там будет время вернуться и к Афинам». Немного погодя он что-то жестоко прошелся по всему, что написано об этих гигантах на Западе: «Вообще же не умеют художественно писать об искусстве!» Сегодня он мне показался почти сумасбродным, и мне думается, что его совсем отуманила честь его «помещения». Тройницкий в тон же ему принес на стол великолепный лучезарный будильник и красивую чернильницу. Кроме того, он сам водрузил на его стол бронзовый бюст Вольтера.

К чаю у нас были Альберт, Эрнст, Зина и Ратнер. Никаких сведений с 3-й линии не поступает…

Пятница, 19 августа

Зачитываемся французскими писателями и Тэном, и аромат прекрасной Франции, исходящий из этих сочинений, несравненно достойных, почти одинаково исполненных остроумия и нежного, столь близко мне знакомого вкуса, совершенно пьянит меня, будит во мне «мое исконное», заставляет особенно остро тосковать по милой, недоступной «родине». О, если бы месяца два назад я бы читал подобное (а не Рескина), быть может, я бы теперь уже был бы *там*, ибо ведь не одни обстоятельства помешали нашему отъезду, но отсутствие подлинной воли. Я считал *нужным ехать*, но мне *не хотелось*.

Утром отправился к Горькому: надо же испробовать все пути. По дороге встретил Н.П.Рябушинского, который теперь старается походить на парижского рапэна. Он проводил меня до дома Горького. Горький принял меня дома страннее, чем когда-либо. Правда, он сам вышел ко мне сразу, в столовую, но, проводив к себе в узенькую библиотечную (где, по-моему, менее шкафов, чем было прежде), он не попросил оставить нас вдвоем сидевших уже там Слонимского, Дидерихса и Шкловского, и мне даже показалось, что он их попросил оставаться в течение нашей беседы, ибо вид у них был именно тот «глупый», который бывает у «свидетелей». Для чего ему это понадобилось, я не понимаю. Сначала я хотел было сам попросить его уединиться, но меня

остановил страх, как бы он мне не ответил слишком грубо (я этого всегда с ним опасаюсь, и это одна из причин моей чрезвычайной скованности с ним, влияющей, несомненно, и на его скованность по отношению ко мне). Особенно меня взбесило присутствие ненавистного Шкловского, но, впрочем, постепенно я как-то успокоился, освоился, а все три свидетеля сидели такие смирные и молчаливые, что я постепенно почти забыл об их присутствии. Лишь изредка меня начинало тошнить от слишком подозрительного вида Шкловского, а дважды он вмешался в нашу беседу: один раз, чтобы засвидетельствовать, что Озолин должен меня, Александра Бенуа, знать. («Он что же, культурный человек?» — спросил я. — «Да, он старается подавать вид, что культурный!» — был ответ.) А второй раз, чтобы умилиться на слова Горького, когда тот к концу беседы уже настолько растаял, что даже решил поделиться надеждой, что «и коммунизму ихнему скоро конец!». Впрочем, великий человек, гранд ом, дошел до этого тона далеко не сразу, и, напротив, по всей первой половине разговора его могли бы принять если не за видного слугу большевиков, то за человека, по существу им сочувствующего.

О предмете моего посещения он в разговоре сразу предложил вопрос, не замешан ли брат в дело о «сапропели» — какое-то очень мудреное слово, означающее общество, посвятившее себя эксплуатации речного ила. Готов пари держать, что и он об этом слове и обществе узнал всего за час или два, но, по своему обыкновению, он просто не удержался, чтобы поразить меня этим новейшим жупелом. Когда я усомнился до ила, то он высказал предположение, не замешан ли Леонтий в дело Таганцева? «Вы знаете, тут профессор Т., так не причастен ли ваш брат к нему?» Когда я и это отвел, то он высказал третью гипотезу: вероятно, Леонтий арестован за сношение с заграницей, и, узнав, что Леонтий сидит на Итальянской, он совершенно в этом убедился, но от того, чтобы войти непосредственно в личные сношения с Озолиным, которому это дело подведомственно, уклонился и посоветовал мне обратиться к профессору Апатову, который хоть и не коммунист, но очень дружен с Озолиным благодаря общей страсти к парусному спорту. Тут же был пущен еще жупел: он-де кое-что еще сумеет разузнать с тем же Евдокимовым…

Из дальнейшего я уже вынес несомненное впечатление, что эта «встреча» государственных людей будет просто-напросто пирушкой, солидной выпивкой, на которой будут присутствовать и разбираться милые сердцу Горького «спекулянты». О спекулянтах он говорит прямо с умилением, особенно его утешили магазины на Арбате, которые отданы на откуп ВЧК… Вообще же Горький смотрит на ближайшее будущее очень

мрачно… Деревня пойдет на город. Она уже теперь идет… Каменев переполошился, получив из Вологды телеграмму, что туда прибыло четыреста подвод с Волги, где сейчас анархия в полном ходу, и Антонов укрепился — торгует с Персией, отправил туда соль, а оттуда пароходы с рыбой… Но до наступления анархии должна погибнуть чрезвычайка. Он ей дает срок не более трех недель. Много еще любопытного рассказал Алексей Максимович, и особенно интересно было передать тон этих рассказов, пророчащий и, по обыкновению, полный глубокомысленными недосказанностями. Но, увы, на это потребовался бы дар Достоевского или самого А.М., но его еще надо сдобрить самоиронизмом, который дается лишь при очень большой культурности, а у меня этого дара нет, и потому довольно и этого.

Проходя через Неву по Троицкому мосту, я упивался красотой видов во все стороны…

Суббота, 20 августа

Утром явился, как всегда на велосипеде, как всегда радостный и великолепный, Н.Ф.Монахов. Его первые слова: «Ну как я рад, что застал вас дома, а то я наслушался таких ужасов… Меня известила Надежда Ивановна (Комаровская), что Бенуа и вся его семья арестованы! Ох, не накликали бы!»

Беседа была посвящена обсуждению театральных дел. На место Лаврушки в «Слугу…» приходится кидать Шпажинского… Хохлову приходится перебиваться в «Руи Блазе» с Музалевским, которому эта роль была обещана Тарковским. Все же рискованно ставить из-за Александринки. Придется остановиться на «Ученых женщинах» или на «Скупом…».

Что же касается моего вознаграждения, то я прямо поставил — 3 млн за постановку или я не ставлю вообще. Монахов надеется это провести… Пусть делает как хочет, лишь бы меня не заставляли подписывать фиктивные счета… Я все еще топорщусь и не хочу вкусить плодов советского просвещения.

Подошла Нина Фролова, даже повеселела от новостей Н.Ф., клонившегося доказать невозможность длительного существования советской власти. И он слышал о приезде Милюкова, о речи Ленина. Бухарин выразил недоумение, однако Ленин повинился, покаялся — без опытов никакого предвидения не наладить, если нам не удалось зажечь пожар на весь мир, то все же костер всюду горит, — в это я вполне верю — нужно, чтобы законы истории и эволюции протекали согласно заключенной в

них органической последовательности. На самом деле (утверждение Н.Ф.Монахова, со слов авторитетов) сейчас уже осуществляется диктатура Ленина. Троцкий в отставке, Зиновьев в отпуске, а другие, слишком рьяные, удалены от дел. Слышал он об удалении ЧК, и его Анджей переводится не в Тосно, а в Архангельск. Это сбило с толку инквизиторов. О вольном городе Петербурге Монахов говорит с полной уверенностью. Будто 7 августа подписаны условия: на границе стоят иностранные войска, готовые вступить в Россию.

Ужасные вещи рассказывает Музалевский, вернувшийся с родной Кубани. Он пришиблен и окончательно разочарован в революции. Там у них кадеты. Страна разорена за эти три года совершенно, и ходит молва: большевики хлеб вывозят на палестинских пароходах. Власти там не пользуются авторитетом, и каждый дом представляет собой цитадель сопротивления — не редкость, когда по углам стоят пулеметы. Население уменьшилось на две трети. Селяне, ушедшие в неприступные горы, оттуда совершают набеги, случаи «выживания властей» происходят ежедневно. Началась же вся эта борьба с Деникина, не только разжаловавшего Екатеринодарскую общеказацкую раду во имя идеи единой России, но даже поставившего главных вождей. После того все казаки покинули фронт, и все «поехало к черту». На Украине уже царит батька Махно со своей дочкой Марусей. Истинный хохол иначе не сядет за стол, как сначала не опрокинет чарку за Петлюру, а вторую за Махно. Популярности последнего в особенности способствует то, что он расплачивается за все самым щедрым образом. Попалась ему в плен компания докторов, так он их чествовал по-царски, отвел их в великолепную палатку и всячески старался их оставить при себе; когда же они все-таки отпросились домой, то он наградил их золотом. Все это, может быть, легенда, но верно хотя бы то, что такие легенды родятся и по народу ходят. Изловить его нет никакой возможности, каждый крестьянин — проводник. Недавно опять большой отряд махновцев прошел под видом Красной дивизии с музыкой, с развевавшимся красным знаменем у самого носа заставы, устроенной для уловления батьки.

В 12 ч. пошел в Эрмитаж специально для того, чтобы с Тройницким отправиться к Апатову. Утром я звонил Фрадкину, он еще, оказывается, с Озолиным не говорил, так как уезжал на два дня в Красное Село. Обещает это сделать, но, я думаю, что это шутовство. До Апатова не дозвонились, он уехал на неделю в Москву.

В Эрмитаже я проштудировал оба тома коллекции барона Денона. Едва ли «Мадонна Бенуа», бывшая у него, идентична с

нашим оригиналом. Это, скорее всего, еще одна из копий и наиболее близкая к оригиналу. Собственно, ее считали за Больтраффио, но атрибуции у него вообще самые фантастические. Дома упивался Тэном, пробовал рисовать букет из даров Макарова и Моти, но на полдороге бросил из-за резей в желудке.

К чаю Альберт. У Татана новая игра: переносить баночки с гуашью с места на место.

Монахов не знал об аресте Орга, и хотя не подал вида, что это известие его задело, однако несколько смутился, даже потерял нить беседы. Вероятно, было при Орге и его письмо. Замечено исчезновение из театра моих эскизов к «Алексею…». Гришин мне признавался, что он их увезет.

Воскресенье, 21 августа

Чудесный, теплый день. Получил настоящий отдых, ибо я нигде не был и к нам никто до самого вечера. Уже в 11 часов пришли Зина, Эрнст, Стип, так что записывать нечего. Впрочем, нет, есть: Татан отважился ходить по комнатам и в сад с мамкой, где, чувствуя уверенность, бегал, рвал траву.

Акица с Мотей ездили в Павловск, приготовили дачу, увезли туда книги, белье. Вернулись разбитые. Атя в восторге от парка, но в ужасе от наших соседей (убийственно скучны). В форточку подслушал беседу Руфа с коммунистом: «Человек не имеет право отнять то, что дала природа». И вот фраза: «Рабочая коммунистическая партия против террора; если бы убили Ленина, то мы на это не посмотрели, а казнили бы всех эсеров… но почему один член партии эсеров отвечает за других?» — «А это уже известно, коли пошел убивать, значит, получил поручение всей партии». Это громкие, тупые, без логики — «неопровержимые истины». Блаженны верующие, но от их веры другим бывает очень худо.

С 22 августа по 2 сентября записей нет — был в Павловске.

Суббота, 3 сентября

Дивный день, проведенный в городе, куда пришлось приехать на репетицию «всей пьесы» «Слуги двух господ» с новым исполнителем. Шадурский определенно противен и к тому же не желает слушать замечания. Царев слишком патетичен и напорист. Едва ли способен исправиться, ибо, будучи юрьевцем, он уже

исповедует «религию театральности». Это от него выведал Гаккель, которого я уполномочил его позондировать!

В 2 ч. у Хайкина, который мне вставил золотые зубы на правой стороне и собирается поставить ремонтную коронку вместо на днях сломавшейся. Каким образом я расплачусь? Он завел себе снова прислугу. Жена у него очень нелепая хозяйка. И даже поставил в приемной занавеску, а в углу чахлую пальму. Все такое теперь не смешно, а «утешительно».

Зашел за ключом от квартиры к Кате. Женя, по моей просьбе, только что побывал у тети Маши и принес последние известия. От Леонтия коротенькая записочка от 30-го, зато от Миши очень тревожные сведения — его, по сведениям Кисы, отправляют в Тамбов, а как раз на днях в Эрмитаже М.Философов сообщил, что такая «отправка» означает приговор к расстрелу. Это, однако, так невероятно, что и не верится. Как раз когда я уходил от Кати, на нашей семейной лестнице появились обе девочки, присланные тетей Машей ко мне, чтобы я исполнил просьбу Кати Грибановой — сообщить в ПТО о ее пребывании. Я это поручил письмом Коке. В той же записочке из тюрьмы (карандашом на оборвыше) говорится, что он «видел папу», что он очень скучает, большей частью лежит, читает, компания милая, передачи получает, что их до сих пор не допрашивали. На наши голоса вышел Юрий, приехавший из Холомок два часа назад. С ним я со всех ног бросился к поезду в 4 ч. 25 м., на который и поспел, несмотря на то, что он нес корзину в пуд весом, полную яблок и битых цыплят. Кроме того, ему удалось привезти еще полпуда яблок — урожай феноменальный по количеству — из Дома искусств и 4 пуда ржаной муки. Больше не смог привезти, но у него и там оставлено немало запасов, а, между прочим, он за Лелино осеннее пальто имеет намерение получить 16 пудов ржаной муки.

Своих мы в доме не застали, что очень его огорчило. Я пошел их отыскивать и, обойдя весь парк, упиваясь необычайной красотой, нашел их у Константиновского дворца. Атя поспешила к мужу, а я повез Татана в колясочке; от бабушки он требует, чтобы она его таскала на руках.

К обеду пришел грустный, усталый дядя Берта, весь день работавший в парке (он в ужасе от «присылаемых»). Я сам видел, как мальчишки пяти лет бросали камни и деревяшки в статую Марии Федоровны при благосклонном попустительстве дуры-воспитательницы. А позже пришел Жарновский. Он советует обратиться к заступничеству всесильной Самойловой. Альберт постарается с ней познакомиться.

На сон грядущий Юрий рассказывал о жизни в Холомках и в соседнем Устье, в котором расположились литераторы. «Венера»

— Екатерина Павловна Пешкова, всех мутящая и очень счастливая тем, что может читать мужичкам какие-то доклады-воспоминания о Тургеневе с Боборыкиным. Рассказывал Юрий необычайно жизненно, и я ему очень советую использовать эти впечатления для литературной работы, лучше всего для пьесы. Больше всего мне запомнился рассказ о Дон-Жуане-дьяконе, ухаживающем за всеми девицами, и об отце-настоятеле, пустившемся на «балу» в пляс. Добужинский с Чуковским окончательно возненавидели друг друга на почве ревности, так как оба воспылали страстью к Сонечке Гагариной. Добужинский даже стал писать баллады, и недурные.

Воскресенье, 4 сентября

Увы, как назло — весь день дождь и сырость… Утром раскрашивал рисунок у Сильвии. К сожалению, на итальянском Фабионе желающие не играют. К завтраку — Альберт, уехавший затем в город. С Юрием во дворце осмотрели развеску картин, произведенную в левом флигеле «зубовцами». Интересного мало: две большие картины Константиновского дворца Теребенева и «Мальчик с разбитым кувшином» Яковлева, четыре Патинира, два Гвидо Рени, два Адриан-сена, два неизвестных голландца или фламандца — «Форум» и «Северный город зимой». Лучшие картины из них, которым не полагается быть в картинной галерее, восстановленной Телепоровским в том составе, в каком она была при Марии Федоровне, развешены на половине Александры Иосифовны. С трогательной заботой расставлены Телепоровским и Конашевичем и фарфоровые коллекции в маленьких комнатах верхнего этажа, но как эти вещи охранять при посещающих с улицы, представляется мне задачей неразрешимой, особенно удаленные комнаты — с Севром и с английским фаянсом в обеих — на *накрытых* столах. С Конашевичем и Юрием пошли навестить Анну Петровну Остроумову-Лебедеву, живущую в общежитии Агрономического института, купившую большую дачу за обелиском.

В гостиной огромный и очень плохой Айвазовский. А.П., которую мы застали в обществе г-жи Черновой на балконе, угощала нас кофеем и яблочным пирогом и обычными *страшенными* рассказами.

Апатов, по общему мнению ученого мира, служит в Чека. Придя домой, сразу заметил, что произошла история. Акица красная, у Моти заплаканные глаза — за отказ обменять два пуда муки, полученных за ее юбку, на сапоги. Вера Ивановна

Жарновская не пришла, она заболела, но сам С.Н. пожаловал, часа два рассказывал о своих доблестных поступках на почве спасения от всяких обнаглевших от расхищения районных организаций отделов.

Я все же забыл записать, что Стип всю прошлую неделю прихварывал. Его лихорадило, и зашалил предмет его главных попечений — желудок. Замечательна, однако, причина этой беды — он вздумал среди бела дня выкупаться в Неве у Биржи. И мало того, перед тем объелся яблоками.

Понедельник, 5 сентября

Весь день серый, но без дождя. Утром я нарисовал мотив с Талией в Сильвии. Днем сделал три рисунка статуи муз там же. Неотступная мысль о Леонтии. О Мише как-то меньше, хотя моментами собирались воспоминания, как истолковывается эрмитажниками «отсылка в Тамбов». Мы совершенно одиноки. Утром поехал в город доставить вещи Юрия с вокзала. Днем — Мотя под предлогом приготовить молодым еду. Вчера еще уехал Альберт. Мы наслаждались Татаном. Он то возится с целлулоидной «дитей», то таскает бабушкины сапоги, то кормит кур и жадного петуха.

Я читаю «Семейную хронику» Ростопчиных, написанную, к сожалению, очень неумелой внучкой Федора Васильевича, изо всех сил старающейся очернить бабку, против которой она имеет лютую злобу за ее переход в католичество.

Вторник, 6 сентября

Утром солнце, и я воспользовался этим, чтобы докончить рисунок у пруда-вольера. Днем начал этот мотив красками. Очень трудная задача.

Около 4-х вышел с Акицей, Атей и Таганом. Акица против Моти за ее фамильярность, за ее сходство с «жидовкой» и т. д. Кое-что не без основания, но беда в той непоследовательности. с которой у нас обращаются с нашими «сотрудниками», которые ее совершенно сбивают с толку.

Я поработал у памятника Павлу. Татан производил обычный свой ритуал обхода, тыкал в статую пальцем и кричал: «Ддя-ддя!» Затем пошел было к трельяжу; но вдруг мне стало (отчасти от холода, но больше из-за гнетущей мысли о братьях) так скверно на душе, что я поспешил домой. По дороге меня встретила

совершенно поседевшая Юлия Вайсберг (все мечты о заграницe), а затем Л.К. Витте, которая указала, что Альбер сидит на этюде и озабочен, как ему получить ключи от дома. Я сейчас же поспешил к нему, и он мне рассказал о событиях в городе. Он был вчера у Марии Александровны, которая сообщила ему, что Леонтий и дочери переведены на Шпалерную, что следствие уже закончено, ничего предосудительного не найдено и они могут быть отпущены, если будет получено утверждение из Москвы. Но могут в Москве и не утвердить. К сожалению, там гораздо хуже, чем было на Итальянской. О Мише ничего нового нет. Зато у нас в доме: Мотя вчера отворила дверь в квартиру, положила черный мешочек на подоконник черной лестницы, а когда хватилась, то его уже не было. Позже благодаря указанию Тани он нашелся, но уже 100 000 руб. больше в нем не было. Пришлось даже дяде Берте снабжать ее маленькой суммой на дневные расходы. Юрий, которого я нашел дома, выставляет эту историю по-иному. Юрий же привез сенсацию, что расстрелян Пунин, но в чем дело, он не знает, не слыхал. Из того же источника: будто «тагановцы» не были присуждены к смерти в Петербурге, а приказ об этом пришел из Москвы с тем, чтобы он был приведен в исполнение в двадцать четыре часа. Расстреливали их, по недостатку китайцев и латышей, добровольцы, и среди них — желающие. Считается, что профессор Тихвинский — друг Красина и приятель Ленина.

Среда, 7 сентября

Утром и днем до позднего вечера работал в парке. Начал, между прочим, рисунок колоннады от трельяжа. Дома застал Мотю с письмами Альберта Георгиевича. Очень смущен фактом его получения (доставлено оно было Флорианом Эринкюлем) и теперь не могу решить, как и что ему отвечать. Вместе с письмом он прислал массу всяких недоступных здесь лакомств: какао, сыр, конденсированное молоко. И это так обрадовало Акицу, что она простила Моте пропажу ста тысяч. Подозрение падает на г-жу Негреус, которая собирается отдать дворовый флигель под кафе. Как бы такая гангрена не расползлась по всему дому.

Вечером заходил к Жарновскому, только что приехавшему из экскурсии в Псков; семинарист рассказывал, что они еле оттуда выбрались, что там паника, никого не выпускают, по городу расклеены афиши, в которых все призываются встать грудью за советскую власть в виду приближения савинковских банд! Оттого и Чека усиленно заработала! Или такие сенсации они же изображают для собственного оправдания?

Четверг, 8 сентября

Мутный день с дождем. С утра в городе. Сначала к Хайкину. Он все же берется переговорить с каким-то своим родственником, занимающим видный пост в комиссариате юстиции и имеющий постоянные сношения с Чекой, дабы он постарался облегчить участь Леонтия и Миши. Этот господин обладает одной моей акварелью («Трианон») и ценит меня. Ну, дай Бог! Вообще же нового в Петербурге о братьях и племянницах не узнал. Говорят только, они помещены, все четверо, на Шпалерной в коридоре, где условия самые тяжелые и содержатся самые матерые преступники.

От г-жи Гунст, имеющей какие-то связи, известно, что их следствие закончено, предосудительного не найдено, и они будут через пару дней отпущены. То же подтверждает уже находящийся на свободе Пунин. Он даже видел список лиц, предназначенных для освобождения. Откуда-то он знает, что вышло распоряжение из Москвы о скорейшем освобождении всех, кого возможно. Как же это вяжется со слухом, что именно Москва, и в частности Менжинский, отменили петербургский приговор «таганцев», согласно которому они должны отбывать наказание на каторге, и приговорил их к смерти? Мотивировал это Менжинский тем, что единственный выход из тяжелого положения и единственный способ укрепить коммунистическую революцию — это совершенно обезглавить интеллигенцию. В связи с этим ходят еще слухи, что не только арестованы все кадеты — члены комитета голодающих, но и сам Горький. В последнем я решительно сомневаюсь, напротив, убежден — он снова помирился с совершившими, и его утешили утверждением вновь всех новых пайков родовспомогательного учреждения. Для чего отправился в Москву и Апатов. В Москве А.М., наверное, уже отлично ладит со всеми и не гнушается пировать у Демьяна Бедного, возмущение перед роскошным образом жизни которого «с шампанским» составляет одну из его любимых тем. Он возмущался Демьяном Бедным при нашем последнем свидании. Приведу его рассказ о том, как он с Шаляпиным, Родэ и своими домочадцами встречали Новый год, и когда не хватило вина, то, по совету пьяной компании, позвонили прямо в Чеку с требованием прислать еще подмогу, и явились два совершенно неизвестных чекиста пировать с Великим писателем Земли Русской до утра. Увы, приходится признать, что это разгульная вольница.

Об остальных узниках Добычина разведала в Москве, что Дима Михайлов в Харькове, где за ним будет ухаживать родня.

Дрампов в Туле, где много родственников Добычиной, так что оба с голоду не погибнут. Но за что моряки сидят, и упорно держится слух, что они эвакуированы ввиду объявления Петербурга вольным городом-портом, о чем, впрочем, точно не объявлено, лишь намеки в прессе. Рутько выпущен три недели назад и, кажется, благородный человек — собирается уплатить свой долг. Рохлин тоже выпущен, но так как он затеял на Шпалерной спектакль, для чего последнее время заключенные ходят по городу, таская за собой конвойных, он там продолжает бывать в качестве режиссера.

В Эрмитаже узнаю, что Альберту Георгиевичу возвращено все, и даже все письма невскрытыми, и после этого я уже собрался навестить миссию, но было уже поздно. В Эрмитаже же нашел документы вчерашнего курьеза. Вот как в РСФСР приглашают на почетные академические должности. Ответ выработан при помощи Тройницкого, который уверяет, что на этом дело и кончится. Предложил меня Жебелев.

С 6 до 9 ч. присутствовал на скучнейшей репетиции «Слуги двух господ». Наружность Шадурского *невозможная*.

Я затронул и с Монаховым, и с Комаровской вопрос о возвращении Лавруши, но, видимо, шансы на это плохи. Монахов, со слов Галунова, приятеля Лаврентьева, продолжает утверждать, что Андрей Николаевич — вор и мошенник, забравший от этого Галунова на миллиарды ценностей для реализации за границей и не пославший оттуда ни копейки, даже собирается начать против А.Н.Лаврентьева процесс за границей. Монахов умиленно этому верит, и в тоне я улавливаю, что он хотел бы, чтобы это было так, ибо создавшееся положение ему во сто крат приятнее былого. Вообще хамоватые начальнические ноты у него проявляются все чаще, но не ко мне. Надежда Ивановна «не хочет верить», но она слишком огорчена за сестру и возмущена «предательством» Лавруши. Здесь его ожидает не театр, а Чека. И дело может обернуться очень плохо. Что его ожидает чека, явствует из того, что это самое ответили Тройницкому, когда он наводил справки: может ли вернуться С.С.Лукьянов, которому все так завидовали и который теперь рвется обратно.

Эрнст показывал мне каталог выставки «Мир искусства» в Париже. Мой «Соловей» очень плохо воспроизведен в красках и вообще. Ох, боязно мне туда вернуться после семи лет! Вообще же от всех, за исключением еще Григорьева, впечатление очень плохое. Отлично сделан «под орех» портрет «Дамы с масками» Саши Яши, но, Боже, как надоела эта «академическая гримаса». Шухаев — просто осёл. «Портрет Иды» Бакста — милая гранд-дама. Нет, этот люкс Востока — не люкс. Говорят, в Париже

образован, — но не Дягилевым и, очевидно, не Петипа, который застрял в Риме, — русский театр драмы, оперы и балета, и для него приглашен и Черепнин. (Как раз от Машеньки Альберт получил письмо из Константинополя.)

Вернулся я в Павловск с последним поездом. В вагоне беседовал с царскосельской мадам Якоби, ехавшей со своей старенькой француженкой, которая сегодня угодила под арест, так как села не в тот поезд. Мадам Якоби рассказывала мне всю дорогу про свою доблестную работу по восстановлению исторических интерьеров Царского. Она молодчина! В большом затруднении они насчет того, как меблировать нижние комнаты старого дворца, о состоянии коих, до лазарета, не сохранилось точных сведений. С другой стороны, соблазнительно там расставить красивыми интерьерами всю ту мебель, которая нашлась в запасе, в комнатах для придворных. Смелости не хватит в данном случае просто отступить от исторических норм.

Пятница, 9 сентября

Утром изумительной красоты туман. Я иду сразу к храму Аполлона, но оказывается, что не получается того эффекта, на который я рассчитывал, и тогда я возвращаюсь к трельяжу. Особенный характер этому виду придавало то, что в воротах его не было видно противоположного берега, а открывались они к кустарнику или на безбрежный простор, и казалось, что переплетенные ажурные постройки, окруженные кружевом разнородных деревьев, кстати, тоже окутанных в молочной мгле, стоят где-то на верхушке высокой горы. Это бы сделать красками! Днем поднялся ветер и стало ясно, но я раскис и ничем толком не мог заняться.

К завтраку и к ужину Альберт, влюбленный в Татана. Вечером он нам рассказывал про свой роман с Марией Карловной (как, встретив ее на концерте немецкого военного оркестра в Михайловском саду, он сразу объявил своему приятелю Брео, что вот эта барышня будет его женой, как он вторично увидел ее сидящей на «Миньоне» в ложе насупротив нашей, как он выследил ее до места ее пребывания — она тогда гостила у тетки Анны Ивановны, как он разузнал о ней у дворника, как вызвал прислугу и дал ей письмо, как вышла, чтобы его отвадить, сама М.К., как он был поражен, когда, приглашенный на вечер в консерваторию, он узнал, что предмет его страсти — превосходный виртуоз). К сожалению, уютное впечатление от всей беседы было им же испорчено, так как он вдруг с

поразительной поспешностью вспомнил какие-то неприятные подробности в жизни дома своей нареченной, которую мы скрывали от своих детей. А тут еще оказался посторонний — Юрий…

Суббота, 10 сентября

Дивный ясный день. Утро тихое и серое. Я отправился к соснам у «белой березы», но успел лишь нарисовать очерком схему — смущали господство табуна и мальчики-пастухи.

Совершенно изумительный выдался вечер. Я рисовал сначала у развалин Аполлона, а затем в Сильвии. По дороге туда отдыхал под липой, насупротив храма Дружбы, и записал свои впечатления в записную книжку. Особенное настроение (полное воспоминаний о прекрасном прошлом) навевали всенощные перезвоны. В Сильвии встретился с милейшим А.П.Ивановым. Он тоже не может опомниться от впечатлений: произведенном убийством ни в чем не повинного Ухтомского. В газетах уже объявили об аресте Калинкина, которому ставят в вину сообщество с Антоновым, участие в каком-то грандиозном пожаре. Еще одна жертва.

Изумительный эффект тумана (в первый раз) с месяцем в небе у острова кн. Ливен. У нас сидела Анна Петровна, которую я с Акицей проводил до ее дачи. Последняя не приобретена Агрономическим институтом. Туда поместили Курбатова, живущего в верхнем этаже; хозяева занимают остальную часть. Сергей Васильевич как раз вернулся из города, решительно отрицает, что Тихвинский был большевиком. Он старый эсдек меньшевистского толка, но, впрочем, последние годы был совершенно разочарован в социализме. Попался он из-за сношений с Нобелем, к нему он был приглашен властями. Многих подвел Таганцев участием в образованном им обществе разработки «сапропеля» — вот слово, слышанное мной от Горького. Это вещество, найденное в его имении, где многие его сотрудники гостили.

Воскресенье, 11 сентября

Райский день, но с сильным ветром. Утром рисовал партию деревьев в парке, на дороге, по которой мы ходим на вокзал, затем дома раскрашивал эти рисунки, досадуя на отсутствие многих ярких гуашевых красок и на то, что у меня, наконец,

совершенно сломались мои комнатные очки — стекло вывалилось из роговой оправы и упало на оселок… Для работы с натуры это не имеет значения, ибо я и так работаю без них.

Днем с двумя Атями, Татаном и Мотей совершили восхитительную, упоительную прогулку к «Супругу Благодетелю» и далее, к прудам и к острову Лебедей. Мотя, в погоне за цветами, спугнула влюбленную парочку, приютившуюся там ворковать на велосипедах.

За мной — приглашение из Мариинского театра на репетицию «Пиковой дамы». Придется впрягаться в лямку.

Понедельник, 12 сентября

Ясно, но сильный, назойливый ветер. Утром раскрашивал вчерашние зарисовки и пошел было в поисках новых мотивов, но ветер не давал сосредоточиться, и к тому же я весь растерянный из-за отсутствия очков. Попробовал порисовать памятник Павла (я очень ценю эту статую, достойную Щадова) и отправился к крепости, но по дороге снова — спускающееся стадо коров, среди которых мне почудился черный бык. Присел у сарая Адмиралтейства, очень романтично паслись на полянке перед богатой «черной» дачей, вокруг мраморной вазы, пестрые коровы. Там еще недавно жил какой-то простой артист, но, видимо, выехал, как те же два жутких гомункула, которые помещались на нашей улице. Без них Павловск очень выиграет. А затем уныло поплелся домой.

Днем мы попытались повторить вчерашнюю прогулку, избрав целью «белую березу», но настроение выдалось иное. Отдыхали у величественных сосен… у «белой березы» задержались, собирая хворост… Набрали вязанку, которую Мотя повезла на коляске Татана. Я от них отстал у Константиновского двора и пошел рисовать Розовый павильон (где ко мне подошел почтенный Телепоровский, желающий, чтобы я принял участие в художественных порубках в парке), а затем — дивный вид на залитый светом остров кн. Ливен с его кудрявым, сильно разросшимся дубом. Как радовался в свои молодые годы бедный Леонтий в 1918 году, когда их дача была цела, и Шура жив, и все дети в сборе!

Вторник, 13 сентября

Пасмурное утро, а затем — дождь. Пасмурное начало дня из-

за скверного настроения Акицы после ее бессонной ночи. Татан всю ночь орал, требуя грудь. Мне сдается, что Акица ревнует к несчастной Моте, что я проживу из-за репетиции «Пиковой дамы» два дня вдвоем с Мотей в пустой квартире. (Кока на работе или у Марочки.) Ее опасения не обоснованы. У меня сердце разрывается, когда вижу, как она мучает Мотю. В этом духе и велась беседа, которая привела к известному прояснению атмосферы.

В 3 часа я отправился к Анне Петровне, у которой собрались ее ученики по Фототехническому институту, деканом художественного факультета она состоит. Ее шустрая племянница Наташа Морозова составила отличный альбом снимков памятников Лазаревского кладбища, он совершенно готов для издания. Симпатичный, длинноносый, слегка заикающийся Г.Н.Парнок собрал решетки, скамейки Павловска, Петергофа, Царского Села; Л.В.Пузырев снимал деревянную скульптуру в маленьком музее Аничкова дворца; хитроглазый Е.Д.Туплинский сделал ряд очень удачных портретов революционных деятелей (для меня все незнакомые; среди них очень характерен Тютчев) по заказу Музея революции. Менее удачны портреты художников и ученых знакомого мне Я.М.Чернова, и совершенно любопытны снимки его жены Августины Давыдовны, «специализирующейся» на съемке детей. Впрочем, сильное впечатление на меня произвела серия ее фотографий, изображающих подростков 12–13 лег, мальчиков и девочек, которых она заставила изображать краснокожих индейцев и для этого случая совершенно оголила. Особенно прекрасна одна уже совсем почти взрослая девочка, видимо, интеллигентского круга. Странные нравы наших дней. В моем детстве ничего подобного не было бы мыслимо. Впрочем, как раз о таких «играх» я особенно тогда мечтал и, становясь в положение одного из снятых мальчиков, я сейчас преисполнен зависти. Я не утерпел даже попросить у нее для себя отпечатки.

Сейчас с уходом Анны Петровны вся компания чувствует себя осиротевшей и желала бы создать фотографический архив, но для этого пришлось бы включить бойкого европейца, председателя секции фотографии Сорабиса, а это им не хочется. Решили не поддаваться модным фокусам «хозяйственной» фотографии, подражающей живописным приемам. Для меня идеал старой фотографии — Надар, Деневьер, Лоране, Бианки, в которых нет именно этого вторжения в чуждую область, этой безвкусной имитации (ох, как надоели все эти Шерлинги).

К чаю пришел Асафьев. Все только о Купере и его интересах.

Среда, 14 сентября

Дождь. С Юрием я еду в город, так как было условлено, что в 12 состоится первая репетиция «Пиковой дамы» с Ермоленко, ныне, очевидно, в зависимости от отъезда Слободской, [она?] не отказывается петь Лизу. Однако репетиция не состоялась, так как весь план работы — вследствие отсрочки начала сезона до 1 октября — изменился. За мной два раза посылали, но я был в Павловске. Пришлось на вокзал и с вокзала тащить тяжеленнейшие чемоданы (начался наш переезд). И это меня совсем разбило.

В вагоне Курбатов нам со всеми подробностями рассказывал про то, как шло Берштенианское празднование в Петергофе. Одна умора. Лучше всего то, что Б. узнал только по прибытии ван Опера в Петергоф со своей виолой да гамба, что он просит за выступление 150 000, сослался на порчу рояля и на невозможность вследствие этого дать концертное отделение. Были угощаемы довольно роскошным обедом. После чего остались ночевать во дворце. Это угощение, во всяком случае, стоило более чем 60 000, которые были собраны с выставки и с «ансамбля», на котором Курбатов прочел свои непременные «Сады и парки».

Затем к Зине, она уже который день не получает хлеба и вынуждена кормиться лепешками из бобовой муки. Мучается она и с волокитой экзаменов. Дети должны ходить то в одно, то в другое учреждение и всюду выстаивать часами (Шура поправился, но совершенный «скелетик»). Кроме того, они еще отстаивают в очередях для получения американских продуктов, и это приходится проделывать в самых жутких санитарных условиях вперемежку с больными и ужасно грязными детьми и родителями. Колю Лансере они все же вызывают, слишком хочет Катичка. Быть может, ей хочется взглянуть на него «перед смертью» (она ужасно изнурена) и передать на его попечение Зине. Уже Эрнст ходил в Академию, и Белогруд послал в Кисловодск две телеграммы с вызовом Коле Лансере.

О братьях моих ничего нового не известно, кроме того, что они переведены в другой коридор, где условия заключения лучше. Я попробовал от Зины позвонить в миссию, но никто на звонок не подошел. Наш же телефон безнадежен. Сегодня Циммерман послал к нам телефонного монтера, но тот заявил, что порча на всей линии — требует генерального ремонта… для этого следует заплатить «полсотни». Я от этого не отказываюсь, но начальник монтировочной части М.А.Лазарев — рослый, со светлыми полицейскими глазами детина, бывший офицер, служивший в ПТО, утверждает, что и это будет ни к чему: через день отрежут, так как монтер изобрел такой способ для

шантажирования обывателей и прямо сознается в этом: «Надо же как-то заработать…» Вся система расшатана до такой степени, что едва ли она в состоянии функционировать.

В этом театре, к моему удивлению, в меня вцепились оба Циммермана, но беспорядок у них чудовищный. Окончательно деморализует существующая рядом консерватория какой-то полуофициальной оперы, где подвизается Пиотровский с идиотской напыщенностью европейской знаменитости, которая проявилась у «скромного» Смирнова после сезона 1909 года. Я прозвал это предприятие «Академией халтуры». Купер же разрывается на театральные репетиции и на концерты филармонии и усердно принялся грабастать деньги. Уж не собирается ли удрать?

Дома поднялся наверх, к Альберу. У них новая катастрофа. Вчера добрые люди доставили из Николаева сына Али — семилетнего Алика, мать которого Тамара умерла от сыпняка. Придется Альберу воспитывать его. Но мальчик одичал, грязный, с волдырями на голове (был в советском приюте). Весь дом в панике: не зараза ли это? Альбер переносит испытание довольно бодро — оно явилось точно в наказание за жестокие слова, которые он произнес в Павловске — впрочем, по легкомыслию, не отдавая себе отчета, — по адресу досаждавших его во время работы с натуры приютских детей. Он устроил мальчика у себя в мастерской, где тот уже изводит бумагу, рисуя броненосцы и всякие предметы, старается его занять. И даже чувствуются в тоне Альбера какие-то ноты — «поделом мне», «заслужил», «надо и мне крест нести». Зато в совершенном ужасе в чужом пиру похмельная Любочка, которая уже думает, не удрать ли ей. Печальнее всего, что мальчик сам ужасно тяготится новым положением, часами лежит на диване и хнычет и даже убегал из дома… Насилу водворили.

При мне Алик досадил еще деду тем, что стал относительно всех его работ утверждать, что это «некрасиво», «нехорошо», презрительно махая на каждую акварель рукой — как раз серии Лахтинских и Павловских — очень удачных. Альбер не выдержал и сделал ему замечание, но тот не унялся.

В 4 ч., по совету Акицы, — в Максимилиановскую лечебницу к доктору Кубли для очков. Почтенный перепрописал прежние…

Дома побеседовал по душам с Мотей (Юрий ушел в поисках работы и, кажется, раздобыл что-то выгодное по части постановки; о, этот не пропадет) и мне удалось утешить ее: она сплошь плачет и иссохла. И выяснить ее положение. Она снова жаловалась на Коку, впрочем, деликатно, намеками, из которых я вынес, что он после ликвидации романа с Берточкой «приставал»,

но она не захотела возобновлять связи. Я убедился, что она, при всей своей деревенской грубости, очень честная и целомудренная от природы. В Коку она влюблена всем своим существом.

Беседу с Мотей прервала Добычина (700 000 — за два Сомовских и один «Ночь» — эскиз обложки). Она в Москве. Оттуда уже два запроса Рубена, уезжает в Тулу, куда его переводят. Надя думает, что временно.

Иду в театр: там генеральная «Слуги…». Шурочка совсем больная. На вокзале встретился с Константиновичем и Юрием. Первый уютен, но весь мелковат и чуть сладкий. Идем домой мимо освещенного луной храма Дружбы.

Четверг, 15 сентября

Сыро, прохладно. Укладка вещей, я с Юрием иду вперед. От вокзала везу колясочку Татана. Изумление И.М.Степанова. Альбер нянчит внука в саду. С Эрнстом в Эрмитаж. Из Академии однозначный ответ из ЧК, что выдать на поруки не могут до окончания следствия. Мария Александровна чувствует себя скверно, все лежит…

В газетах — угроза со стороны Франции и Польши. Военные приготовления, ноты. Айналов без ума от виденных вчера фрагментов фрески Беато (ангел). Предложил реквизировать, за что получил упрек. Воинов рассказал, как угодил в засаду. Влипли три товарки по гимназии. Левинсон-Лессинг просится к нам. Я согласен. Письмо в университет передал Шмидту, а он не дал ходу, вообразив, что это мой отказ.

В 5 часов приехали наши. Татан в восторге от массы бюстов, которые он называет «дяддя».

Репетиция на сцене. Купер бездействует. Проект — реквизировать две голландские очень неважные картины, которые ему предлагают.

Пятница, 16 сентября

В 11 ч. у Ерыкалова. Обещает наладить перевоз картин из загородных дворцов. Что он, работает или важничает? Тройницкий просится в отпуск к Рохлину в деревню. В Эрмитаже М.А.Коваленская с двумя спутниками. Подробно рассказывала о засаде у себя (из-за проживающей у нее княгини Щетининой). Через окно в спальню, где она находилась, взобрался солдат. Она предупредила, но все же человек десять влезло. Среди них два

титулованных и О.Н.Сементовская-Курилко, которая вела себя недостойным образом, отрекалась от знакомства с М.А.Коваленской. Ее сестра Головина. Мадам Вейнер.

Во время обеда — Хохлов. Ищет квартиру. В Строгановском нельзя, так как там живет сам Кузьмин. От Щусева — юноша Григорий Михайлович Миркер, желающий со мной беседовать об искусстве. Я его принял вроде Виланда в «Письмах путешественника», которые читаю с упоением. Констатирую, что я вообще многим обязан этой книге, читанной в гимназии. Юноша рассказал о новых влияниях в московской архитектуре. Приходится рисовать параллелепипед, в перспективе задаваемый простым подчеркиванием ребер. Впрочем, вожди этого движения уже не согласны между собой, и их мастерская распадается. Сам юноша довольно нестандартный, почти нахальный, может быть, впрочем, от желания продолжать работать. Его собственные этюды — архитектурные вещи — приличны, но и только.

К чаю Стип. Сенсация. Лариса вчера на станции Териоки слышала, что Мишу держат отдельно от других, быть может, и к нам приходили, но не застали нас, не провокация ли это? Юрий всерьез принялся за заработок, шныряет весь день по каким-то заказам. При Атиной помощи делает марку и несколько декораций для театрика на Петербургской стороне.

Суббота, 17 сентября

С утра тревога из-за отсутствия Моти. Она забыла дома свою трудовую книжку, значит, арестована. В 3 ч. Акица уже решает ехать в Павловск, однако в 4 ч. появилась Мотя. Вчера она не застала В.И.Жарновскую и осталась там.

Днем бессмысленная репетиция в уборной артистов, но я под впечатлением сна: точно хоронят Глазунова, под уздцы лошадей ведут босоножки, остановка процессии перед Мариинским театром, я навзрыд плачу.

Воскресенье, 18 сентября

Солнце, ветер, рисую костюмы «Раймонды». Днем к Марии Александровне. Новостей особых нет. Машенька бодрее, ее постоянно навещают друзья. Опять были Екимов, Любочка, Макаров, Гунст. Но она не понимает, почему Леонтий ей ничего не пишет.

По другим сведениям, он там рисует. Сидит он, вероятно, из-

за Голицыной, которая всего раз была у них, привозила вещи Устиновых, да и то Леонтий ее вовсе не видел, а принимала Маша. Со стороны она слышала, что это очень вздорная бабенка (недурна собой, жена расстрелянного офицера), что она служила в ЧК провокаторшей по бриллиантовому делу, но уличена в том, что бриллианты присваивала себе, на что и дала объяснение при допросе, будто это она делала из мести! Но при чем тут бедный, чудесный наш Люлечка?! И все же они продолжают получать письма из-за границы и даже фото: и Нади, и Джо, и всего их антуража во время их пребывания на курорте в Виттенберге. Ведь вот же живут как люди! А через три слова — снова колкости по адресу неповинных немцев. Лично М.А. думает, что корень всех обрушившихся на них бед — квартира Фроловых, которая была полна хороших вещей, на ликвидации которых они и жили до сих пор. Ныне ее полиция «чистит», и кроме мебели и картин (значащихся музейным отделом), ничего нет. Особенно досадно за шубы, портьеры, белье. До ареста там поселился человек, заявивший Фролову, что он «шпик», он переехал в дом Леонтия. Что значит эта «чистка» до приговора суда? И зачем было сажать Леонтия? Никита занят отстаиванием имущества.

По дороге домой встретил Клевера. Грязный, еле плетется, но курит сигару и уверяет, что «все время» работает.

Меня едва узнал. Гауш с сенсационной новостью, будто умерла Милечка. Это известие получено здесь от мадам Вони — какая-то француженка, а она узнала от генерала Фудестина. От Альбера необходимо скрыть. Я не верю.

Понедельник, 19 сентября

В Совете Эрмитажа за отсутствием Тройницкого и Мацулевича (которого сам Тройницкий провоцировал на отъезд, чтобы не оставлять его без себя) председательствовал Гесс [?]. Однако Совет длился 10 м. Предложено пожертвовать 10 % жалованья финансовым чиновникам, чтобы получить зарплату.

Возвращался с Бразом. Его снова навестили немецкие капитаны, которых он вместе с Буниным учил уму-разуму. Однако тщетно. Теперь эти моряки повадились увозить русских граждан в трюмах, за что полагается 30 000 марок. Браз не хочет этим воспользоваться, скорбя за свои коллекции. Встретил у Юсупова дворца Грусса с новым комендантом Чисмена. Приходит ежедневно, живет надеждой на досрочное освобождение.

Вторник, 20 сентября

Солнце, довольно тепло. Начал декорации «Раймонды». В 2 ч. — на заседании Академии художеств в первый раз в присутствии Айналова. Ужаснейший резонер! Выспренняя путаница продолжается. Прием Петербурга ему вскружил голову. На третьем слове ссылка на Леонардо или на Микеланджело, в которых он (и особенно в психологии их творчества) ничего не понимает. Прослушана вычурная записка к программе «Общих планов», составленная Белкиным, исполняющим обязанности секретаря. Я стою на принципе приглашения «авторитетов» при общей свободе их работ, все прочее стараюсь применить к требованиям начальства — Профбора, пытающегося найти компромисс, благодаря которому эта свобода почти осуществилась бы, а между тем видимость строго научной программы была бы сохранена. Наибольшую свободу гарантировало бы, пожалуй, предложение Браза — мастерская, на которой сосредоточились бы станковая, монументальная, миниатюрная живописи, а четвертая — экспериментаторская — специально для того, чтобы куда-нибудь деть Татлина и компанию.

Пунин взлетел в негодовании на такую «пошлость», но со своей стороны предложил четыре мастерские «по существу», в которых я уже ровно ничего не понял. Он договорился до того, что Академию надо называть Академией материальной культуры, забыв, кажется, что таковая существует.

Я с ним поговорил об его аресте и о наших узниках. Попался он из-за сношений с сестрой, живущей за границей и пересылавшей корреспонденцию через савинковскую организацию. Его же объяснение — за то, что он не арестовал того человека (провокатора), который ночью к нему явился от Савинкова. Сидел он в одной камере с Фроловым, который открыто вел беседу, оставшись один, с каким-то Сухозанетом. В.А. допрашивался четыре раза — все по поводу сношений с заграницей. У Пунина откуда-то сведения, что ЧК все время следила за этой корреспонденцией и что у нее фотографии со всех посылаемых и полученных писем. Значит, курьеры были мнимые. О Леонтии и он ничего не знает, но, во всяком случае, сведения Горького, — что его держат в крепости, наверное, он должен быть на Шпалерной и его, вероятно, скоро выпустят. Посидеть («лет пять») придется только Фролову за его неосторожность, но и как удастся после приговора «выцарапаться»? Сейчас Фролов довольно бодр. О расстрелах они в тюрьме не знали. Следователь успокаивал Фролова, когда он его спросил, что его ожидает.

Дома Сережа. У него новый предмет паники: приехал с Кавказа Н.Д.Соколов и явился к нему (собирается и ко мне). Он получил назначение юрисконсультом в Китай на предмет получения в советские руки Маньчжурской железной дороги. Рассказывал мне тоже про тюрьму (излюбленная тема всех разговоров советских граждан), особенно ему памятна та простота, с которой тюремщик сообщает узникам о расстрелах. Придешь навестить соседа, а его нет. Опоздали, его вчера… жест щелчка пальцами около уха и при этом самая благодушная улыбка.

Перед тем чтобы пойти на «Слугу…», зашел к Облакову [?]… Екатерина Александровна потащила меня на репетицию ученического спектакля. Посмотрел — ужасная дрянь с недурной ученицей Мандубаевой и учеником Гусевым, очень живая девочка Семенова.

«Слуга двух господ» прошел очень складно, лишь насторожила последняя пантомима с переложением комеди дель арте, вместо Гершуни — Шурочка: с виду так мила, но танцует плохо, и как разит из ее ротика табачищем! Сбор даже сегодня неполный: вместо 8 лимонов всего 6. И это вселяет мне серьезные опасения за «Акварель», которые разделяют Комаровская, Алексеев, но не Монахов. Я вообще предвижу очень тяжелый театральный кризис (во всем, и не только в театре). Это, может быть, «им» не нужно, чтобы вернуться к новой попытке общего огосударствления!

В мое отсутствие был Нумелин. Он получил от Биорка письмо из г. Мальме. Мои вещи в порядке, и он готов их отправить в Гельсингфорс (дальше не может ввиду финансового кризиса). Продать их едва ли удастся. Впрочем, если бы я уступил, то, пожалуй… Не лучше ли их отправить к Аргутону?

В газетах нота Чичерина Франции и Польше, но я ее не читал.

Среда, 21 сентября

Начал в красках «Раймонду». В 2 ч. к Ермоленко для репетиции, однако она только сегодня вышла, и мы лишь прошли всю роль на бумаге (я чертил план и объяснял). Она со своим распухшим лицом больше похожа на Горгону, нежели на Лизу, но на сцене все же будет лучше, чем корова Каза Роза. Ее муж, знаменитый инженер Махонин, тоненький, бритый, довольно милый человек с ласковохитрыми серыми глазами вроде Рыбаковых, с нежными интонациями в голосе, — в общем же жуткий. Щеголяет в малиновой бархатной тужурке. Живут они в четвертом этаже нового дома на Торговой у Михаила Архангела. Верх безвкусия с претензиями на роскошь — золоченая мебель в гостиной, крытая Обюссоном, по стенам — имитация гобеленов (скорее всего, вся обстановка целиком приобретена в Бон Марше), на полу ковры, в кабинете бронза (коллекция Романовских бюстов), совершенно плохие картины, акварели и гравюры. Зато угощение после репетиции было отличное: лещ, борщок, цыплята, мусс, обещанный же чай так себе. Устав от занимательных разговоров мужа (она куда-то удалилась), я воспользовался тем, что Ульрих поспешил на другую репетицию, чтобы с ним удрать. Заказывали лошадь, но мы ждать не стали. Между прочим, Ж. мне показывал изобретение воздушного корабля. Его конструкция из тончайшей стали начинена инертным газом, что дает ему возможность всю материальную часть сосредоточить внутри, а каюты устроить не в подвесной гондоле, а в длинной постройке, приложенной к «брюху» чудовища. Гордится он очень своим электрическим поездом, совершающим рейсы в Москву. Если бы он не был такой чудовищно безвкусный и такой простодушный, я бы подумал культивировать это знакомство, которое даст много интересного.

С Ульрихом и Ермоленко вспомнили милейшего Ф.Блуменфельда, и Ульрих — его ученик — сыграл нам несколько его очень приятных пьес.

Вечером с Акицей в филармонии слушали Баха (в самом начале исполнение было прервано на полчаса — погасло

электричество), «ужасно» эффектно начинает (в стиле «Священной весны»), в дальнейшем представляет собой смесь самых разнородных элементов, рисующих не в очень приглядном свете его внутреннюю жизнь. Концерт Виноградовой более целен по стилю, но, во-первых, очень невыгоден для пианистов (причем вообще здесь рояль?), да и ей я не поверил: все из чего-то составлено, взято напрокат (больше из опер) и без настоящего осмысления того, что дрянь. Нет, обе типичные «консерваторки» (от консерватории), и лишь при поверхностном знакомстве можно их принять за подлинных художников. С нами сидел Зилоти. Он собирается выхлопотать себе командировку за границу. У него сведения (из газет), что Бакст ставит «Спящую красавицу». Это то, что я должен был бы ставить! Во всяком случае, известие это меня ущемило довольно больно. После концерта должен был идти балет драмтеатра, но темнота на улицах так напугала Акицу, что предпочли ее проводить домой. По дороге купил в бывшей Милютинской лавке (теперь там восседает толстая жидовка, заговорившая с нами по-французски) булочки для Татана по 3000.

В газетах возвеличивают победу турок после двадцатиоднодневного боя. Несмотря на вероятность известий, я польстился познакомиться с ними подробнее.

Дома прочел комедию L'allure de Jonarre. Слишком неподвижна, тема долга для русского человека малопонятная, религиозные основы слишком затуманены приторным схематизмом, два последних акта — «из другой оперы».

Четверг, 22 сентября

Солнце. Снова слишком сладкий сон, взбаламутивший полутра моего. Разочарован в декорациях «Раймонды». Особенно досадно, что я *слишком* рабски скопировал портал с гравюры Лапорта. Пустынен и в расцветке.

С 1 ч. репетиция была «Пиковой дамы». Костюмов нельзя было надеть, так как за лето не сшили. Вообще полный хаос. Купер нарочно держится в стороне, чтобы доказать, что без него не обойтись. Экскузович еле меня замечает, тащит его в союз. Леонтьев внес изменения в танцы, но еще более напутал и заключение сарабанды совсем испортил. Упрям и глуп. Лопухов подал мне свою объяснительную записку к «Жар-птице». Он себя возомнил совсем гением и даже отрастил волосы. Общее мнение, что сольные номера ему удались (но они прямо опасны для жизни Манон), зато ансамбли совсем хаотичны. Очень все недовольны идущей вразрез с хореографией затеей костюмов Головина.

Кусочек декорации, который я видел, — смесь моего «Соловья» с «Петушком» Гончаровой.

Альбер вернулся с Лахты и зашел к нам с внуком, который стал совсем благородным, но все же диким, насилу уговорил съесть рисовый пирожок. В битком набитом поезде Альбер встретился с Трилистером. С важным видом тот ему поведал, что он наводил справку о братьях и получил ответ, что в «свое время дело будет разобрано». Тут же справился, последовал ли я его совету — пойти к Семенову. Но это я не решаюсь сделать, ибо совсем не отвечаю за себя, и слишком ярко выраженная глупость и злоба могут меня взорвать.

К обеду Таня. Ее Вейнера и милейшего старичка Борке уволили со службы в музейном отделе, и она в ужасе, что ей придется покинуть свой дом. Я обещал завтра переговорить с Ерыкаловым и Философовым. После обеда — два молодых художника, маленький живчик-еврейчик Шапиро и, разумеется, русский с меланхолическими глазами — Верхов. Их направил ко мне Грузенберг. Не знают, куда поступить. Я им охарактеризовал все наши академические ведомства (действительно, теперь беда с новой академической программой. Туда они из-за математики поступить не могут). Еврейчик очень талантлив. Превосходные рисунки голов, нечто среднее между Сашей Яшей и Альтманом. Кубизм и прочее оба ненавидят.

Приходила Зина Серебрякова. Рыбакову удалось отвильнуть от посылки (на верный расстрел) в Тамбов, и сейчас он уже освобожден, но заболел… Читаю пьески Лабиша и смеюсь до слез. Лучший кандидат для вечера миниатюр — «Соломенная шляпка», но для нее нужна очень талантливая девочка лет двенадцати. В театр снова не пошел, но сходил в аптечную лавочку в подвал дома, где живут Ратнеры (ее там не встретил), купить яблоки — 3000 р. за фунт очень неказистых. Движение по Вознесенскому и Екатерингофскому совершенно прекращено из-за опасности разрушения домов. Стоят проволочные рогатки, милиционеры с ружьями, и выстроены даже во всю длину домов заборы. Откуда берется энергия? Впрочем, она выражается еще в том, что во многих местах города чинят торцовые мостовые, вместо шестигранников кладут теперь бруски четырехугольные, крайне неряшливо. После проезда двух-трех грузовиков получается весьма ноголомкая поверхность. Ура, к ночи вернулся Денис! Был в деревне, жил у жены.

Пятница, 23 сентября

Темное утро. Потом ясно, тепло. Вчера еще вечером лопнула где-то труба, и у нас не идет вода, а у Дениса залило квартиру. У Зины не действует клозет…

Кук у нас взял для своих приятелей партию отличных этюдов. Не дается декорация: в эскизном — одно, а в окончательном — гораздо хуже, мертвеннее.

В 11 ч. А.М.Бродский с предложением принять участие в основываемом им новом журнале «Искусство». Как писатель — отказываюсь, как художник даю разрешение напечатать мои вещи. После вторичного провала его ходатайства об отъезде в командировку он теперь решил остаться и уже утвержден здесь. Не так плохо с замыслом улучшения частной инициативы. С 1 октября будет свободная продажа газет и книг. Ионов ездил в Ригу, поправел и поощряет за вознаграждение то, что он с такой настойчивостью губил.

Я с ним не мог согласиться из-за того, что два моих брата и две племянницы томятся, ни в чем не повинные, в темницах, да и материальная обеспеченность куда меньше, чем в прошлом сезоне.

С Денисом и Эрнстом — в Эрмитаж, где ходатайствуем перед М.Философовым, чтобы Тася была оставлена при деле. Обещает сделать, но опасается, как бы недавно вступивший в РКП Исаков не вздумал подложить обычную свинью. Хуже то, что Боткин дал трещину. Оливова половина — на музейном отделении охраняется, лучше бы обе половины соединить.

Вожу по Эрмитажу Комаровскую и Аленову. Восторги и умные слова милейшей нашей принцессы. Представляю им Жарновского. Н.И. тащит меня к себе пить кофе. Там же мертвенно бледная Софья Ивановна; за угощением разговор о питании… Шувалов в ужасе от Купера (вследствие соединения в труппы он попал под его начало). Дома читаю пьесы. Зашедшая поговорить первая жена Кости Катя рассказывала, как она была сегодня на свидании с Мишей… Они поговорили сегодня в канцелярии. Она очень беспокоилась, не осунулся ли, но он выглядит довольно бодро и лишь очень похудел. Сидит он в сравнительно хороших условиях — в общей камере с двадцатью другими несчастными. К сожалению, ему подселили офицеров, с которыми он сидел первое время, никого из уголовных. Присутствие офицеров навело его на мысль, что и он сидит как бывший в отставке с 1884 г. морской офицер. Его до сих пор только спросили и не допрашивали, и *он не знает, за что арестован.* Большим утешением ему служит работа — он переплетает книги. Вообще он человек очень практичный в житейских обстоятельствах. Напротив, беспомощный,

избалованный Леонтий должен выносить тюремную жизнь особенно тяжело. Ходит слух от человека, сидевшего с ним в одной «одиночной» камере, гораздо худшего разбора, нежели Миши, что бедный наш Люлечка очень опустился, ничего не говорит, не меняет белья и т. д. Вероятно, его особенно угнетает сознание обиды, незаслуженности, уродства такого финала после такой солидной, в своем роде красивой и, во всяком случае, морально-безупречной жизни.

Слухи, что Оленин в отставке, а Купер вместо него.

Суббота, 24 сентября

Днем светло. К ночи зарницы, далекие громы. У меня род ссоры с Мотей из-за нелюбезного «здорования». Следом ссора с Атей из-за нежелания ее и Юрия платить за выгребную яму…

Декорации не клеятся. В 1 ч. на репетиции с Ермоленко. Она очень хорошо запомнила то, чему я ее учил. Купер это объясняет ее непосредственностью. Но, боже, какая она сейчас страшная со взбитым рыжим локоном волос надо лбом. Чтение одноактного скетча Альфреда де Мюссе: для моего вечера одноактных пьес годилась бы «изящно комичная» и проверенная — великолепное объяснение в любви между нерешительным господином и скромницей-вдовой, еще более комический фарс. Скорее всего подошла бы сцена с бескорыстием старого друга для Комаровской…

К чаю Нотгафт с предложением иллюстрировать все, что я бы пожелал. Приходится соглашаться, ибо ничего другого не предвидится. Авось удастся заработать два миллиона, как это сделал Добужинский, сдав очень изящную иллюстрацию к «Бедной Лизе». Условия там невыгодны — оригиналы остаются у издателей «Альционы». Среди них Нотгафт занимает первенствующее место благодаря тому, что его снабжает деньгами тесть из-за границы — сносится он через немцев. Нотгафт полон оптимизма: острый-де период прошел, жизнь восстанавливается. Увы, я этого не чувствую!

Подошел и Эрнст из балета в консерватории. Это у них с Тасей, Бушеном и Зилоти просто болезненная мания. Нотгафт передал мне письмо Дашкова и Добужинского, из которого видно, что они уже произвели выборы для Петербурга (может быть, Замирайло попал в секретари?). Мне эта история с дурнем так надоела, что я едва удосужился прочесть.

В газетах ответ Чичерина Польше или Антанте. Толком не разобрал, кажется, остроумно. И все же говорят: войны не будет.

Воскресенье, 25 сентября

Кончил костюмы «Раймонды». Репетиция на сцене. Бестолочь Купер — не управляющий. Ермоленко сообщает желание мужа приобрести у меня что-либо. Ох, только бы не сорвалось! Начинаю компоновать декорации к «Лекарю».

Наслаждался Татаном. Он в восхищении от всех игрушек и боскетов, развешенных по полкам и шкалам. Называет все человеческие фигуры и головы «дяддзя», всех четвероногих «мууу», и менее всего птиц — петуха вроде «а-а». Очень смышленый, препотешно носится один по комнатам.

Примирение с Мотей произошло сегодня… Пришла Л.П.Гриценко с Александриной. Она в ужасе, если прекратится присылка денег от Бакста или посланец угодит в тюрьму. Ведь посредник-юноша расстрелян среди таганцев.

К обеду Саша Конский. Его домогательства отъезда в Финляндию кончились резким и грубым отказом. Он думает, что надо было дать взятку, но на это нужна большая сноровка, всем «приличным» людям старого закала совершенно недоступная. Сведения о своем имении он получил из Парижа, от своих сестер, которые там виделись с его соседом. Все в порядке. Бедные его старушки устроились было в Париже, но их забрала в свое имение в Бретань г-жа Абрикосова, превратившая их в своих постоянных служащих, приходится даже мыть полы!

Вечером в БДТ. Сегодня «Слуга…» сделал полный сбор с аншлагом. Мои костюмы очень нравятся. Предложение «Грелки» приводит Монахова в восторг. Она бы пошла пятой пьесой, и ставил бы я — такое желание вполне понятно. Зато к одноактным пьесам он отнесся с сомнением и вовсе не обещает найти ту девочку, которая нужна для Лабиша, над которым я дохохотался до истерики.

Комаровская забрала меня к себе в уборную и плакалась на Петрова, который ерундит с постановкой «Рюи Блаза». Королеву он заставляет выходить с голубым цветком… Вместо заболевшего Голубинского Бригеллу играл Музалевский.

Понедельник, 26 сентября

Пасмурно, прохладно. Начал костюмы «Лекаря». В 12 ч. — в Эрмитаж. В саду перед Зимним дворцом лежит чудовище — аэростат. Завтра готовится парад Красной армии. Встречаю Щеголева. Он нашел свою статью к «Медному всаднику», и теперь задержки не будет. Чрезвычайно я взволнован тем, что исчезла в

пятницу Анастасия Чеботаревская. Она с Сологубом даже могла легально ехать, но из-за болезни психического порядка отъезд отменен — опасно просрочивать визы, и вот Ф.К. вышел на полчаса в аптеку, она убежала. Искали ее по всему городу, но тщетно. Вероятно, утопилась.

В Эрмитаже новый рассказ об аресте двух дам из семьи Блока: пришло письмо из-за границы еще в 1920 году с оказией. Затем началось ограбление их квартиры…

Побывал в отделе рисунков, где удалось идентифицировать ряд рисунков Кл. Меллана, шедших за Ф. де Шампеня. Объяснялся с Н.А.Сидоровым насчет его медлительности в исполнении моего распоряжения относительно привоза петергофских картин. Вся задержка из-за материальной стороны, но есть надежда, что Ерыкалов возьмет на себя провоз. У Эрмитажа совсем денег нет. Смешной спор между Стипом и Сережей (Эрнстом; спор повторяется почти ежедневно) из-за выезда в КУБУ. Теперь они по зеленым карточкам дают вещи почти по рыночным ценам. Лучше не брать. Сережа деморализован, протестует против таких слов и берет под защиту копеечную экономию. В то же время он совершенно не может освоить разницу цен. Такая слепота не исключение в русской интеллигенции — правило. Отсюда мы и забрели в тупик.

Дома тревога из-за осмотра жилищным отделом по доносу на Руфа, поданному коммунистом, вселенным в нижний этаж, которого Руф старается выжить. Тот же Руф рассказал, что приятель Альберта является агентом особого отдела ЧК. Соблазняет он его тем, что там подбираются честные, любящие родину люди, и решительно избегают жидков! Намечена гибель в ближайшие дни первейших вождей, и лишь колеблются, как это сделать: расстрелять или дать им покончить самоубийством? Что еще за вздор! Пьяный бред или провокация?

Зинины [Серебряковой] дети, кроме Таты, определены в Демидовскую гимназию. Шуру разделили с Женей и посадили в класс хулиганов. Он заливается слезами.

Вечером с Эрнстом — на спектакле театрального училища. В начале прошли два драматических номера — инсценировка рассказа Чехова и пошлейший водевиль «Женское любопытство».

Ведь теперь драматические курсы объединены с балетными по системе личной уникальности в руководящих директивах Облоно. Этот невежественный, но необычайно добросовестный и благожелательный человек оказался вполне прав (и потом снова Гризелли с Мунгаловой); общий восторг от двенадцатилетней девочки Семеновой — действительно шустрой. Я сидел рядом с несносным Бродским, который находится под чарами Женечки

Лопуховой, и с С.Волконским, недавно переселившимся, наконец, из Москвы, где условия существования стали совершенно невыносимыми (вселение и т. д.). Здесь он с большим успехом прочел уже два доклада о немецком театре (читал он в «Музее», иначе говоря, в своем бывшем зале директорской квартиры), но особенную сенсацию оба раза принесла до конца рассказанная история о том, как он лишился директорства благодаря Кшесинской. Вообще он рассчитывает здесь развить чрезвычайную пропаганду, и может быть, Облаков его даже пригласил в училище. Болтал я и с Лопуховой. У нее письмо от сестры с большим поклоном мне. Она же пишет, что успех Дягилева в Лондоне был таков, что они продолжили сезон на три месяца. Теперь готовят «Спящую красавицу», ставят ее Бакст и Романов. Последний, впрочем, занят как будто лишь переработкой танцев Сирены, которую должна танцевать именно Лопухова (Аврора — Карсавина). Эти новости, особенно поручение «Спящей красавицы» Баксту, снова расшевелили мою рану. Женечка теперь выступает в оперетке, а 7-го зовет нас на открытие мюзик-холла в Палисси [?], в которой она будет играть видную роль.

При выходе из зала перемолвился двумя словами с Апатовым (Медведев сидел от меня через одно место, занятое Вар. Ив. Лихошерстовой). Он произнес следующую фразу: «В интересующем вас деле должен получиться на днях желательный перелом». На днях я пойду к нему. После спектакля нас угощали кофеем и котлетами из риса в общей трапезной вместе с танцевальной молодежью. Я сидел рядом с пикантной Казиной, на председательском месте — Волконский, а рядом Кристи — очень мрачная и прямо темная каторжная физиономия. Бродский поведал мне, что Кристи румын, а румынов он, будучи сам, кажется, оттуда, безмерно презирает. На возвратном пути посетовал Эрнсту о своей влюбленности в М.М.Петипа (папиросная коробочка Е.А.Соловьева) и в Липочку.

Вторник, 27сентября

Воздвижение. (Из-за этого нет газет.) За утренним чаем курьезная беседа с Мотей о праздниках. Она ровно ничего не знает об исповедуемой ею религии, а между тем сама в вере крепится. *Бога чувствует в своей совести*. Была весьма поражена, узнав, что все Священное Писание есть история еврейского народа (и то мы с Акицей очень осторожно ее в это посвятили).

Рисую костюмы Валькирии. В Мариинском на оркестровой

репетиции «Жар-птицы»; однако Купер ее прерывает в самом начале (на дуэте птицы и царевича), так как из-за конференции в Сорабисе не пришли важнейшие инструменты (вместо девяти контрабасов — четыре); то, что видим, не предвещает доброго. Глупо до последней степени вылезание статиста, изображающего ночь, из суфлерской будки (и не на его музыку). Само уловление птицы совершенно не выражено: сначала он кружится, как на карусели, на видимой подставке вокруг дерева (стоящего сбоку, а не посредине), сама птица бросается ему в объятия, а через пять тактов уже танцует врозь с ним. Вот только когда оценишь Фокина! При этом претензий — хоть отбавляй! Грандиозным памятником этой претензии, сдобренной прямо невероятной глупостью, осталось бы объяснение программы танцев (уже набранная рукопись), поднесенная «Васильком» Струве, если бы Астафьев по просьбе испугавшегося Купера не удалил из нее в корректуре все слишком смешное. Над этим бедный «ропщущий раб» и просидел сегодня весь день.

Репетиция с солистами «Пиковой дамы» в Правлении была более плодотворной. Несмотря на свою глупость, Ермоленко быстро усваивает то, что мы от нее требуем. Присутствовал последнее время и Карнер, готовящий эту партию. Вечером пошел на репетиции Салтана под рояль, но в декорациях и костюмах. Просидел два действия. Как-никак декорации Коровина — верх виртуозного великолепия (но лишены всякой поэзии). Хороши некоторые костюмы, несмотря на слишком доминирующее значение этнографических элементов. Очень остроумный прием Гвидона (развивающего знамена в круговерть). Ко мне подсел Экскузович и горько жаловался на бессмыслицу, происходящую на конференции. И он теперь (наконец) в ужасе, что они там болтают о чем попало, игнорируют насущные материальные интересы. Жуткая русская интеллигенция! Я представил ему, что лишь необходимо иметь постоянные места в театре (сейчас при «дороговизне» я покупать никак не могу, а прежний порядок предоставления мест почетным гостям отменен). Но он от этого увильнул.

Среда, 28 сентября

Холод. Серо и сыро. В доме неуютно. Кончаю костюмы. На репетиции «Жар-птицы» (без костюмов, при неосвещенных декорациях, вижу «поганый пляс»). Выражение, предшествующее ему, — выход нечисти из замка Кощея. Ритмичные движения довольно убедительные, особенно действия заклинающих рук, но

есть и непростительные промахи. Так, тему царевича отплясывают четыре дюжих первых танцовщиков, причем впервые введен прием, взятый из женских танцев, — перенесение одного танцора на руках других, что довольно эффектно. Свою репетицию без Купера веду в зале Направника, прелестная «помещичья мебель», откуда-то реквизированная, уже вся разваливается. Вообще по всему театру опять все переместилось. И, несомненно, многое погублено или распродано. Прохожу с Ермоленко и Куклиничем главнейшие сцены.

Дома Катя и соседка. Миша из тюрьмы просит, чтобы ему передали теплое пальто и две смены белья. Из этого заключают, что его куда-то повезут. *Кошмар*!

Вообще я об этом не пишу, мало с кем говорю. Но и заточение моих братьев совершенно угнетает меня и подтачивает последние устои оптимизма и чувств «семейного достоинства». Семье Бенуа в целом от этого уже не оправиться.

Телефон от Анненкова, просит рисовать мой портрет для книги его книжных портретов. Воображаю, какую кикимору он сделает! И в то же время уведомляет, что Гржебин приедет в субботу с тем, чтобы сразу ехать за границу, а посему-де ему нужно выяснить и некоторые вопросы, связанные с изданием моих «Художественных писем». Оказывается, он теперь «выпускаемый» (за границу), и это без всякого моего уведомления. И тоже — назначение Конашевича редактором иллюстрированных изданий. Правда, это объясняется отчасти моим бездействием, однако же я болезненно ощущаю это вмешательство. Но, мало того, мои «Письма» даны были на просмотр ненавистному мне Лернеру, который пристроился в качестве какого-то редактора, и этот нахал осмеливается написать свои резолюции, которые мне Анненков прочел в телефон, в которых он высказывает всякие «пожелания». Я, разумеется, сейчас же распоряжусь, чтобы оставить в силе мое прошение об отставке, о которой давно мечтал, но на которой не настаивал из чисто личных и приятельских отношений и «обязательных» соображений. Но Анненков взял сразу абсолютно мою сторону и умолил ничего не предпринимать. И, действительно, теперь их момент. И без того Зиновию Гржебину тяжело, ибо отвоз семьи ему стоил огромных уступок, да и не хочется с ним ссориться в момент, когда он может снова оказать пользу Леле за границей.

Но когда он уедет, то я, предупредив его, уйду с этой лавочки. Скажу еще себе в оправдание, что у меня там ничего не вышло — и не по моей вине, а по вине всей путаницы и нелепости обстоятельств, с которой Лернер, Конашевич и Анненков, имея

больше свободного времени и меньше культурных навыков, лучше вздумали ужиться.

От Кожебаткина прислали мне на отзыв предложенный «Альционой» для покупки целый ряд художественных книг, судить о которых заглазно очень трудно, а также болтливокуцую рукопись Виппера о Греко, из которой я впервые узнал, что Надар уже в 1914 году успел вернуть «Венских магов» Бассано.

К чаю Нотгафт, пришедший за женскими костюмами «Мнимого больного», до которых у него нашелся покупатель. Дай Бог, чтобы это не было пуфом, ибо мы снова сидим без денег. Правда, я имею возможность еще получить миллион за «Пиковую даму». Но из-за вычетов получил 700 000, и вышла каверза с Сорабисом и ведомствами.

Сегодня в книжном пункте был Сологуб. Он очень спокойно встретил предположение, что Настя (его жена) утопилась.

В финансовом полуподпольном мире идет погоня за золотом, вследствие чего русский империал достиг уже 300 000, а фунт — 200 000. Объясняется это тем, что его всячески скупает само правительство, у которого запасы истощились и которому оно нужно для расплаты с Польшей, требующей в ультимативной форме исполнения этого пункта Рижского договора, а о картинах и библиотеках забыли.

Вообще же денег по городу ни у кого нет. И это сказывается хотя бы на очень скупой продаже билетов на премьеру «Жар-птицы». Черкесовы без труда достали себе два места во второй зоне. Правда, и цены сразу вскочили настолько, что и нам, нищим, нечего и думать теперь ходить в театры за деньги. У Акицы снова отчаянные головные боли.

Четверг, 29 сентября

Эротический сон про женщину, похожую на Марию Карловну… Принялся за первую декорацию «Лекаря поневоле». Хочу сделать зимний пейзаж. В Эрмитаже. Вернулся Тройницкий, довольный своим пребыванием в имении Рохлина. Он был там в полном одиночестве (лишь прислуга) и опивался сливками. На железной дороге Рохлин продолжает командовать, прежним авторитетом сразу добился для Тройницкого, даже вне очереди, отдельного купе. Забавные вещи рассказывает С.Н. и о пассажирах на возвратном пути, когда он ехал в общем вагоне. Особенно хорош был жидок-комиссар, настойчиво ухаживающий за интеллигентной барышней, и все сманивал ее на нем жениться, тогда-де у нее будет все: и меха, и сапоги, и драгоценности, и

мясо, и сахар. Однако он получил отповедь сначала от нее, а затем от многих спутников. Происходило это в полной темноте… Зато железнодорожные свечи продаются на рынке по 10 000 штука.

По сведениям Тройницкого, девальвация готовится, и она будет двухступенчатая, сначала за 10 000 будут давать

1 рубль, а затем — копейку.

Отнес рукопись Виппера (пусть печатает!) Гржебину. Там застал Вальдгауэра и Мечникова. Разумеется, зашел разговор об аресте братьев. Мечников хватался, что он ни одного письма «по оказии» не получал и не посылал, а деловые сношения вел через Шуваловскую ЧК. Вообще этот дядя крепкий и жалкий: никаких расчетов и надежд на поправление России у него нет. Гржебин должен вернуться и уехать за границу. Он даже уступил права на издание учебников.

Заходил к Альберу… Трилистер советует ему со мной обратиться к Зиновьеву, а «коммунист» П.Ф.Шенов, узнав об этом, выразил готовность поручиться за Леонтия. По сведениям Кати-соседки, бедный Леонтий болен и ему отказано в переводе в лазарет. Дело могла напортить Катя Грибанова, которая вела самый безобразный образ жизни, открыто кокетничала и кутила с белогвардейцами. Обеих сестер разделили в тюрьме. Значит, дело осложняется и портится.

Сведения, что дела Коминтерновские в Англии приняли благоприятный оборот.

В театре репетицию «Пиковой дамы» заменили «Демоном». В газетах сообщение, что заболела Ермоленко, но это утка. Спустился к Зине, и в комнате у Эрнста она его рисовала, в который раз! Я рисовал П.Соколова, рассказывавшего всякие занимательные вещи. Он готовится кончить Академию художеств с тем, чтобы получить там же собственную мастерскую. Несколько таких людей, как он, — и от дурацкой реформы ничего не останется. А выйдет ли путное?

По его сведениям, от Леонтия было письмо от 7-го, в котором он просит белье.

Я газет не видел, но Альберт рассказывает, что Зиновьев в Петросовете дал объяснение относительно ультиматума: не собирается платить и две войны вести не будет. Разрушен от взрывов неизвестного газа весь городок Оп[…], причем образовалась воронка в 300 м в диаметре. В Венеции греки продолжают отступать в беспорядке. Телефон снова забастовал.

Пятница, 30 сентября

Начал первую декорацию для «Лекаря поневоле» — зимний пейзаж. Однако уже недоволен композицией. Нужно больше простоты и интима и меньше живописи и поэзии. В театре совершенно бестолковая и бессмысленная репетиция, лишь с частичной декорацией, без освещения и под рояль. Невыносимая фальшь в первой картине…

В Эрмитаже к 4 часам специально для совещания в античном отделе. Но Вальдгауэр еще не поправился от своего второго ушиба — упала статуя на ногу. В сущности, не знаю, что он от меня хочет, на все мои замечания и советы имеет свои отговорки.

В 5 часов у Апатова, узнать, что он обещал мне сообщить. Когда Горький уехал в Москву, то на вокзале оказался г-н Кевеш — кажется, представитель Москвы при Особом отделе. Апатов с ним знаком. Горький, узнав, кто тот, запросил, в каком положении дело Л.Бенуа. Оказалось, Кевеш не осведомлен, но обещал узнать через два дня… Апатов был у него в кабинете, было запрошено дело Леонтия. Результат: лично он не находит Леонтия виновным, но следователь-де упорствует и не хочет выпустить жертву. При мне Апатов еще раз звонил Кевешу, и тот повторил то же самое, он советует ехать к Зиновьеву, который может самолично освободить! Завтра Кевеш обещает дать окончательный ответ. Апатов сетовал на отсутствие Озолина, который в негодовании на исход Таганцева дела.

Портрет жены Апатова, рисованный Верейским, слащав и не очень похож. У нее странное лицо, как будто и очень миловидное, но какая-то ужимка у глаз, в особенности при улыбке, и некрасивые зубы делают ее вдруг почти уродливой и жуткой. Сложена она, как Диана.

На Конюшенной встречаю Л.М.Клячко, которого проводил до Адмиралтейства к трамваю. Я был удивлен, что он жив и на свободе. Он много месяцев сидел, но сейчас — как рыба в воде. Он все предвидел. Московские окончательно погубили репутацию, продав себя задаром. Они должны были поставить условием это в ЧК — что им угодно. Вообще же, по его расчету, ЧК недолго жить.

Вечером на генеральной репетиции «Жар-птицы». Декорации — дешевое декадентство в стиле югенд 1890 года. Костюмчики частично неуместные, этнографические, частью сказочные, пошловатые. И во всяком случае, во всей части Головина нет *ничего русского*. Нет его и в части Лопухова. Кстати, в афише — «Жар-птица» — балет Ф.Лопухова, музыка Стравинского, и все в целом дает впечатление — состряпано в Лондоне художником Empire… Хореография частью содержит два-три интересных момента — жест заключается в «Поганом плясе», но в целом

глупо и претенциозно, главное — никакого соответствия с музыкой (над выражением которого в музыке Игорь бился), полное пренебрежение. И как Купер его не научил, и почему не обратились ко мне? Как мне впоследствии оправдываться перед Игорем Федоровичем?

Возмутительнее всего выползание «Ночи», которую изображает бездарный статист в стиле «Тени отца Гамлета», из суфлерской будки. Интермедия борьбы «Дня» и «Ночи» отмечена гуслями-самогудами и усыплением под колыбельную всего Поганого царства, но это далеко не все. Неузнаваемо звучал и оркестр, благодаря нелепым темпам, взятым Купером.

На «Карнавал» я не остался и, украдкой пробравшись к раздевалке, пустился с Акицей в бегство, чтобы не быть вынужденным разговаривать со всеми провинившимися. Между тем многим высказал совершенно искренне свой восторг. Рядом с нами сидел Асафьев, который тоже в ужасе. Владиславская, словив меня, сообщила, что по новым тарифам я буду получать в зависимости от репетиций три, а не пять, а чем — я не кумекаю!

Дома Добужинский, пришедший потому, что мосты разведены. Он занят переездом на старую квартиру. Переезд стариков Карловых заставляет его это сделать. Делами Академии художеств скорее доволен и считает, что благодаря компромиссам изобразительного факультета удается обезвредить весь вздор, навязанный Петропрофотделом. Меня собираются звать в ректоры. Я, разумеется, не пойду. Вчера был совет (я не знал), на котором Белогруд делал доклад о содеянном и… сложил полномочия, впрочем, временно, до выборов. Хуже с топливом. Экспедиции студентов за дровами кончилась печально, несколько юношей погибли. Им удалось прогнать через Мариинскую систему пять барж с дровами, но оные были по прибытии в Петербург реквизированы Петрокоммуной.

Заходил около полуночи к Любочке, которая именинница.

В газетах обсуждается нота Керзона от 7 сентября. Пикантнее всего — отречение от III Интернационала. Войны с поляками, судя по их ответам, не будет.

Суббота, I октября

Солнце. Работаю над «Зимой».

К 1 ч. в Академию, но пришлось ждать Добужинского и Савинова (не было кворума). Они пришли по «новому времени», но я о нем забыл. На Николаевском мосту встретил папа Молас. Он имеет сведения о Ники в Териоках.

Сегодня оценил и я Бобровских. Он очень ловко провел прием Шапиро и его товарища под предлогом, что они переводятся из Московского училища и требуется им лишь пересдать экзамен по математике.

В Эрмитаже изучаю Абр. Боша, Боннара и рисунки Кал-ло, которыми очень серьезно занимается Воинов. Очень мил Е.Г.Лисенков. Захожу в Общество поощрения художеств за 600 000, которые мне заплатили за раскрашенные оттиски. Выходит, что я у своего Общества на содержании. Менял свои рисунки на альбом декораций… Комитет в тревоге из-за поползновения Сорабиса забрать дом ОПХ. Главными интриганами являются художники-индивидуалисты с Агабабовым во главе, устроившие как раз свою выставку (говорят, ниже всякой критики) в большом зале. Агабабов прямо угрожает Степанову, что они их выживут, несмотря на протекцию Акмакульта, которому-де тоже скоро конец. Грызущиеся черви, поедают друг друга.

У бедного Пути Вейнера уже с неделю — паралич левой стороны (второй раз за год). Захожу к Зине Серебряковой, чтобы поговорить по телефону с Апатовым, но не добился. Тата, дочь Серебряковой, была в школе и испытала тяжелую обиду: ей было отказано принимать участие в уроке танцев, так как нет танцевальных башмаков и неоткуда их достать, вот и шлепает она в чудовищных самодельных мягких туфлях. От Альберта добился Апатова, но он ничего не узнал, беседу откладывает (от «Жар-птицы» в восторге). Меня приводят в нервное состояние все три хулиганчика — альбертовы внуки…

Опаздываю на «Пиковую даму», но там из-за скандала с оркестром репетиции не начинали — не пришел валторнист. Ермоленко хорошо и точно исполнила все мои требования. Спектакль доставил и огорчения. Ничего не выходит с хором, ибо Купер *не хочет* послушать мой совет — чуть приглушить оркестр… Часть спектакля я, не имея своего места, провел в ложе Куниных.

В антракте заходил в ложу Шаляпина, где застал Марию Валентиновну, окруженную великими мира сего — Лашевичем, Евдокимовым (узнал потом, что это фотограф, приятель Луначарского), юным Бакаевым. Сии высокие персоны угощались чаем с блинами и пирожками. И я съел один.

Воскресенье, 2 октября

Начал второй вариант «Зимы». Наши встретили Ольгу Георгиевну на улице. Приговор составлен. Миша признан

виновным, но в чем, не говорят и не скажут, пока нет копии приговора. Второе огорчение от разговора Коки с Музалевским, который утверждает, что театры при новых ставках (я буду получать 300 000, то есть 3 рубля), без субсидий, даже при полных сборах, не могут существовать. Как вообще мы будем жить?!

Утром приходил Леонтьев для экспертизы двустворчатого бра. Дрянь. На обороте фарфорового овала штемпель: Шато, 1840 г. Тайберс. Под короной печать — 1840. На гнусной пасторали надпись «де Мишель». Очень сурово и дружно разбирали «Жар-птицу». Днем снова взялся за «Зиму». Обе Анны с Таточкой в саду. В 4 часа вернулся Юрий, бегавший с утра за деньгами по своим «жидам», театральным и издательским, в поисках денег и, к сожалению, тщетно. Самые основные декорации он уже передал товарищу… Если бы мы уехали, было бы все иначе.

В 5 ч. к Махониным — Ермоленко. До самой двери провожает Саша Зилоти, с которым у нас произошел потешный разговор. У них лукавый поляк, Имеретинский генерал Свенторусский, у которого в начале были «лояльные тона», перешедшие постепенно в осторожную, но абсолютную критику власти. Он знакомый Леонтия и предполагает, что он сидит за невоздержанность языка, поклялся снестись с Москвой и передать письмо Шелковникову и еще кому-то. Но когда я в подробностях рассказал все обстоятельства ареста и наши предположения, то он как-то странно замолчал, и я решил, что всегда очень смущающее впечатление производит путаница с братом Джо и с пресловутой кн. Голицыной, которую он даже не видел. Я вижу по глазам — не верит, что все это было так… За столом этот генерал, а затем уютный Даниил Илларионович Похитонов и П.С.Оленин, умеющий быть довольно уютным «дада». Обед был на славу.

После обеда в холодном кабинете политико-умозрительные разговоры. Махонин всячески выставляет советскую власть как единственно возможную для России в настоящий момент, с чем и я согласен. Их поправление он считает честным (честность по совести он считает совместимой с излишним доктринерством) под влиянием уроков жизни и на пути этого поправления («уклон маятника») допускает, что дело может дойти до бонапартизма, причем номинальным кандидатом является Троцкий, которого он превозносит даже до лидера и еврейство которого ему не представляется препятствием для воцарения на «Святой Руси». (Не случайно посол Дж. Бьюкенен называет Троцкого вторым великим человеком в еврействе после Христа.) Кто знает! Вообще

же у этого довольно примитивного человека (Махонина), типичного, «приспособляющегося ко всяким обстоятельствам» дельца, оказалось довольно смутное представление об истории вообще и в частности о положении еврейства в мире; мистическая же природа этого явления первейшего значения ускользает от него и вовсе.

Девальвация будет непременно расти не только к весне, а теперь вынуждены скрывать ее под новыми названиями купюр в 1 млн, 2 млн, 10 млн — сам видел. Он имеет сведения, что идет террор по всем губерниям и железнодорожному ведомству — масса арестов за неисполнение циркуляра Ленина, согласно которому должны быть удовлетворяемы «ударные предприятия». На самом деле, деньги утекают по артериям ловких жуликов. Я вспомнил о переговорах в Эрмитаже.

Дома застал еще Стипа, пришедшего выбрать из моей коллекции рисунки, которые он собирается навязать каким-то новоявленным московским коллекционерам. Однако я убежден, что из этого ничего не выйдет. Затем явился Браз, полный пессимизма. Наши вернулись с премьеры «Жар-птицы» в ужасе. Успех же очень шумный. Еще позже ввалился Всеволод, или Сева, Кавос, вернувшийся с матерью Верой Константиновной из Башкирии. Очень забавные рассказы, как молодые люди используют среди номадов уроки И.А.Хлестакова. Уверяет, что и башкиры и татары обречены на полное вымирание, ибо уже доедают последнюю скотину. Словом, система для ликвидации инородческого вопроса.

Понедельник, 3 октября

Солнце. Акица в мрачном настроении из-за кошмара с Леонтием. У меня тоже тяжело на душе, но, увы, я совершенно беспомощен на эту тему развивать разговор. С Акицей беседа об оскудении религиозной жизни, и оттого всеобщий развал, как бы совсем иначе все происходящее перенесено на моего отца. Какое утещение и какое подкрепление он находил в тесной связи с церковью. Мы только молимся, но ничего не хотим делать практически. Протестантизм приводит к духовному одиночеству, к бесплодному «себялюбию».

В эскизе «Зимы» не удается ритм деревьев. Делаю второй вариант. В Эрмитаж иду с Эрнстом и встречаем Троупянского. Он очень доволен разрешением конференции Сорабиса — повысить ставки. А кто и как будет платить? В Эрмитаже получаю за 3 месяца жалование 40 000. Даю Нотгафту поручение разменять

оставшиеся с 1914 года мои 5 фунтов — курс 200 000 за фунт.

Захожу к Липгардтам по его просьбе посмотреть эскизы декораций к «Севильскому цирюльнику», которые он делает для московского Большого театра (заказ ему раздобыл П.К.Степанов, который играет вместе с Менцером серьезную роль в академических театрах. Я его видел в «Пиковой даме»). Пишет он его маслом, документируясь своими альбомными записками, и может выйти на сцене очень по-старомодному, но эффектно. Оба старика удивительно трогательны, меня принимали с оттенком подобострастия и потчевали рисовой кашей. О смерти дочери он ничего не знает и считает, что она ночью перед арестом бежала. Старушка уже знает (выболтал О.Миро) и скрывает от мужа. У Нотгафта в зале собирается выставка Липгардта; большинство вещей — вопиющая безвкусица, особенно портреты и религиозные сюжеты, но один эскиз плафона с синим небом и два пейзажных этюда хороши. Даже могли бы сойти за Боннара, которому он очень понравился.

Тщетно пытаюсь поговорить по телефону с Апатовым.

К 8 часам по дождю шлепаю на лекцию Волконского, которую он читает в своей уже бывшей им же отделанной пышной гостиной, почти полной слушателей. А.Ф.Кони на четырех ногах и уезжает до прений, чтобы читать где-то о скончавшемся Боборыкине. Сама лекция, посвященная итальянскому театру, оказалась набором самых глупых анекдотов и неинтересных воспоминаний, среди коих — сообщение, например, что у тени отца Гамлета, зацепленной в люке за полу, плащ разорвался по шву, что тени «умерших» королей Шотландии топали в ботфортах, что сам Волконский играл Ивана Грозного, используя трюк Росси в «Людовике XI». Кое-что более интересное, но несвязно и неряшливо было сказано о Джассоне. Было трогательно прочитано по рукописи вступление к «Лаврам», в котором набор слов и мыслей — прямо хоть подавай Оревильи. В перерыве я представил Сашу Зилоти Комаровской и беседовал с Е.П.Гердт… Пытался было возбудить прения, но за отсутствием желающих высказаться сам приводил В. в объяснениях по вопросу о «Поклонниках и талантах». Это еще было лучше всего. Бродский уже отрекается от своего восторга от «Жар-птицы».

Весь вечер Лидия Николаевна с Севой. Она нам дала погостить привезенного из Башкирии котенка…

Приходил для экспертизы очень посредственный Фихте, изображающий «Христа в терновом венке», и хороший мужской портрет П.Ф.Соколова — родственника жены Державина, блондинчик с повязанным глазом, кажется, Лебедев. Он здесь в сельхозинституте, но занят возкой дров…

Вторник, 4 октября

Буря. На Неве поразительно красиво, особенно у Эрмитажа, когда солнце освещает пятнами противоположный берег: виднеются крепость или мечеть на мутно-сизом фоне, а Нева несется бурная со злыми барашками. В каналах вода поднялась до берегов — удивительно это эффектно на Зимней канавке. Иду к Кустодиеву по заданию «Мира искусства», на набережной меня окатывают брызги.

Утром начал вторую картину «Лекаря поневоле». В 11 ч. на панихиду по Ухтомскому в католической церкви. Евгения Павловна в трауре, довольно бодрая. Старик Татищев подавлен горем, еле ходит (результат былых заслуг перед революционными делами Ленина, с которым он лично знаком, который обещал ему, что сын не будет казнен). Собрались знакомые из Русского музея, Анна Андреевна, Зилоти…

Пошел в Дом ученых искать Апатова. Доклад Медведевой о каком-то пайковом вздоре. По телефону узнал, что дело Леонтия с благополучным заключением передано Агранову, а затем Апатов, действуя именем Горького, выудил: «Дело Бенуа будет закончено через десять дней, может быть, мы его отпустим, хотя дело очень серьезное».

Мечников считает, что было бы полезно повидаться с Зиновьевым, действуя через Пинкевича в Смольном. Попробовал было вызвать его из зала заседания, но после двух домогательств ответил мне через секретаря запиской, что он не может бросить заседание. Испробую завтра поговорить с Ольденбургом.

В Эрмитаже с подробностями в лицах пересказывал — к великому удовольствию аудитории — доклад Волконского. Левинсон-Лессинг все домогался к нам попасть, но после того что Тройницкий его обнадежил, теперь, оказывается, этой вакансии нет.

В газетах ответ Керзону. Я не читал. Отказ от отождествления советского правительства и III Интернационала.

Среда, 5 октября

Вода еще высока, но наводнение исчезло. Горький не приехал, не оказалось его и дома. С Альбертом в КУБУ для взноса денег. Встретил Фреди Бентовина. Он с сестрой уже сидел в вагоне для отправки в Польшу, но, не найдя их бумаг, велели им остаться. С тех пор они хлопочут уже месяц, но все тщетно. Самое ужасное, что они все свое имущество распродали!

В Эрмитаже — пикантная мадам Ададурова с мужем для экспертизы маленького портрета на меди, который я определил как раннего Боровиковского (мужчина в голубом плаще). Заседания моего отдела происходят в моем кабинете в конце Рафаэлевских лож, на мебели Горчаковых. Вспоминаю коньяк! Обсуждали вопросы: перевода к нам Левинсона-Лессинга, о получении картин. Айналов не пожаловал. Только сегодня узнал, что Спесивцева, получив командировку, выступает не без успеха в Риге. Телефонирую Лаховскому. В Риге Лаврентьев — главный режиссер, театр имеет успех, Гришин там, не в Париже. Вечером беседа с Анной Андреевной Михайловой. Были еще Костя (Сомов), Эрнст, Добужинский, Верейский. В Мариинском театре паника из-за низких сборов. «Снегурочка» дала около двух лимонов, на «Жар-птицу» мало надежд.

Четверг, 6 октября

Солнце, но холодно. В 11 ч. в Академию на экзамен ученических работ. Сразу попадаю в лапы Бразу, который пытается всячески меня убедить в достоинствах работ его учеников. Нам надлежит рассмотреть замечания работ учеников, зачисленных в подготовительное отделение. В комиссии — грустный китаец Хамгилов, Бобровский и юноша. У Х. пейзажики в духе Штернберга. Для зачета требуется три этюда, один портрет и одна композиция. Все сводится к самому глупому формализму. Сначала я проявлял интерес, потом овладела тоска и отчаяние, утешаюсь разглядыванием копий Рафаэля…

У Леонтия радость, вернулась Настя — ее освободили, есть надежда, что скоро освободят и остальных. Ее отпустили без всякого допроса, но вначале их всех спросили: не знают ли они лиц с французскими фамилиями? С ними вместе сидела г-жа Лион и еще престарелая дама, считающая себя наверняка осужденной, пока ее содержат на Итальянской довольно сносно.

Особенное оживление тюремной жизни придавал общий нужник, куда все поминутно бегали и где шла настоящая биржа сплетен и новостей. Развлечение — возможно частое посещение докторов, которых разрешали вызывать, а также беседы с тюремщиками. В день привода на Шпалерную они видела Леонтия, и он казался очень осунувшимся. Ему был сделан допрос, как и им. На Шпалерной надзирателей было четыре — все коммунисты, но трое из них оказались довольно добродушными и разговорчивыми, однако. В тюрьме они не знали ничего о Таганцевых и их расстреле. Четвертый же молчал. Попробовала

было ее сестра их раздразнить общением со стукачами, и, догадавшись, что Нина сидит рядом, Катя при помощи одной из дам, сидевших с ней, составила азбуку и препроводила эту записку в последнюю камеру, прибегнув к очень опасной хитрости, а именно: пригласить надзирателя в камеру как бы для осмотра трубы или форточки, и пока он был этим занят, одна из заключенных прошмыгнула в коридор и просунула записку под дверь, но это было обнаружено тотчас же, и явилось начальство со строжайшими угрозами на случай повторения, как и крика из окна — так одна из дам общалась с сыном, пока того водили во двор на прогулку. В камере у них было довольно чисто, но спать приходилось на досках, на полу. Бедный Леонтий спал так же, пока ему не переправили из дома тюфяк. Нужник устроен в камере, но не везде ватерклозеты. По средам обыкновенно приезжает Агранов, и тогда начинается «чистка», вероятно, многие расставались после нее и с жизнью, считая, что их увозят в Москву и в другую тюрьму. Одну даму, игравшую в театре, вызвали во время репетиции, и она очень весело прощалась с режиссерами, считая, что вернется через несколько дней, однако ее потащили на расстрел.

Катю до театра не допустили, так как она, и сестра, и Леонтий считаются особенно тяжелыми преступниками. Катя и сейчас не спокойна за отца (от матери она это скрывает), но, в крайнем случае, рассчитывает на амнистию, ходит слух, что держать такую массу зря — для того, чтоб особенно пышно выразить свое милосердие. Дядю Мишу они не встречали и не знают, что с ним. Бедная Машенька снова больна и лежит…

Дома читал «Мери дилетант» [?], хорош очень неожиданный финал, но в общем слишком сложно, особенно сцена на сцене. Для Гаука иду в «Демон», поет Бронская (Ермоленко захворала). Купер уже отказывается от своего восторга от Лопухова, от Головина. В афише-де неповинен. В комнате у Купера был оптант. Он рассказывает ужас о своем пребывании на юге и в Москве, и в восторге, что вернулся в «Европу». В таких же настроениях только что вернувшийся Кедров, разыскивающий свой библиотеку, часть которой спас театр. Акица в ужасе от нужды Серебряковых. Стряпание отдельно для Эрнста и Бушена окончательно замучает Катеньку.

Пятница, 7 октября

Отсутствие телефонов и извозчиков парализует жизнь окончательно. В 2 ч. на экзамен в Академию художеств. Ватага

учеников требовала присутствия и контроля, но лукавые Бобровский и Браз в достойном тоне вздумали их «переубедить на доверие». Толковые и приятные работы

О.А.Кондратьевой, Сажина, Барсукова (Петров-Водкин), Хрусталева, Шольта, Дмитриева, Лолы Браз, Шуры (цилиндр а-ля Пуни), Толмачевой и в особенности приятны акварельные этюды Эвенбах (пейзажи с древнерусскими постройками), этюды бывших учеников Ати и Юрия, написанные ими. Савинский отсутствовал — у него умерла жена.

Дома читаю. Убийственно действует темнота, не дают электричество.

Вечером отправился с Акицей выяснять дровяной вопрос к Сомову, но по дороге встретили его с Лещей Келлером, который направлялся ко мне с книгой похабных рисунков Гедзи (сомневаюсь, что это оригиналы — больно грубы).

К чаю яблоки в 2300 руб. штука. Беседа о французском театре. И у Кости пиетет и память Гитри, Брендо, Хитте-манса, Андрие и даже меньших величин — Картане и Сари-нуа. Шуре снова хуже. Татану привили оспу, он не плакал.

Суббота, 8 октября

За утренним чаем Акица расплакалась, вспомнив о скудном питании Серебряковых…

Заходил Платер, приглашает на новоселье. Он обиделся на Брюлловых и переехал на Максимилиановскую к новым друзьям, которые ужасно за ним ухаживают. Никак в Эстонию собраться не может, а срок его оптации истекает в январе. Его удерживают коллекции. Его германские знакомые берутся провезти сувениры на пароходе, однако взятка в виде картины его не устраивает…

Захожу на службу к Ерыкалову для дров. В.И. любезно обещает. Обещает и разобраться с альбомом Роллера, остатки которого Платер продал в Москву. Встретил Чехонина, спешащего в эстонскую миссию. Вот человек не боится, но вид у него — наверное, хорошая заручка Чеки.

В 3 ч. у Комаровской. Проходим роль королевы («Рюи Блаз»). Она совсем не выходит у нее: ни то ни се, а более всего какая-то скучная и смешная старая дева, выспренно и бестолково мечтающая вслух стихами. Бедная милая Надежда Ивановна. Она меня угощает котлетами… Шувалов совсем деморализован. Кончил читать пьесу Мейлака и Галеви — дрянь.

Заходит Костя Бенуа с женой. О Мите ничего нового. Все расчеты на амнистию. Дело, кажется, в каких-то растратах. Слух о

состоявшемся приговоре, оказывается, основан на словах мальчугана из канцелярии. Наверное это так, ибо Миша был бы переведен в другую тюрьму.

Воскресенье, 9 октября

Начал третье действие «Лекаря поневоле», набрал массу материалов, а дальше по сюжету… И вспомнился Париж

(почему-то больше всего думаю об ул. 5-й Клоде, какой она могла быть в XVIII в.).

Чувствую себя скверно. Это, очевидно, последствия вчерашнего дождя и того, что вечер вчера и сегодня весь день прогулял в «бабушках» (обувь?) и в них даже ходил к Зине Серебряковой.

Днем Любовь Павловна Гриценко предложила отправить за границу письмо через знакомого англичанина. Однако я не решаюсь. Шуре хуже, несмотря на усиленное его питание Акицей. Но и не мудрено, и бабушка из глупой жалости, как бы ему не было скучно, позволяет детям в его комнате возиться, и я насилу выставил сегодня бушующих вокруг его постели комнатных мальчиков с молодым Бразом во главе.

К чаю Стип и Браз. Последний в панике из-за того, что от музейного отдела к нему явилась дама-ревизор — проверить, все ли вещи по охранной грамоте в порядке, причем она не скрыла от него, что в будущем рано или поздно вещи, оставленные на учете, будут взяты в казну. Что же это еще за отрыжка? Позже Добужинский. Сочиняли (я больше дурил) название для «нашей новой выставочной группы». Стип изобразил ни с того ни с сего обелиск, Добужинский всерьез отставил «Руины». Нас будет девятнадцать, от Москвы совершенно отдельные. Машкову я не в силах отвечать. Все они до тошноты надоели своей грубостью.

Понедельник, 10 октября

Я под впечатлением сна: точно иду по Шпалерной, попадаю в подобие холла, там сидящие хватают меня, приняв за вора, ведут к Летнему саду и говорят: комендант там… Я проснулся. Начал второй вариант улицы… Лежу, читаю, дремлю. К обеду Марфа Андреевна Яремич и Хохлов. Он уже разочаровался в БДТ и в характере его работы, думал после Художественного театра сразу напасть на Колю Платера.

Вторник, 11 октября

Читаю Лабиша… В 6 ч. с Акицей к Платеру. Он живет с двумя молодыми людьми… Коллекция Платера обогатилась: среди новых — Фрагонар (девушка, стоящая у окна) и еще более пленительный и радостный рисунок Патера к галантным празднествам.

Среда, 12 октября

Кока в обиде на Щуко за беспорядок в работе: материал дает фрагментарно, придирается и самодурен до последней степени. Утром Бабенчиков. Жена его получила наследство отца — дом со всей обстановкой в Петергофе — и в то же время ей удалось получить должность народной судьи. Он просит походатайствовать за них перед Ерыкаловым, чтобы ему дали заведование дворцом-музеем в Ораниенбауме. Я с охотой дал ему к Ерыкалову письмо. Последнее время он был очень деятелен, занят в Москве и почти уже составил словарь русской скульптурной иконографии. В восторге от старого ярославского тончайшего художника Белоногова.

Вслед за ним несчастная Ольга Федоровна Серова: она уезжает в Москву, но хотела бы выяснить вопрос об издании басен (Крылова с иллюстрациями В.Серова). Теперь она склоняется их (иллюстрации) отдать Общине св. Евгении, то есть Степанову. Я поддерживаю. Бедняжка «всего Валентина Александровича проела» и теперь не знает, на что жить, ну вот ее и зовет в Москву сын Юрий, да вообще у них там больше связей. Лишь бы Румянцевский музей выдал ей ящики, отданные перед отъездом сюда на хранение. Решаем написать коллективное письмо Луначарскому. Перед обедом появляется Эрик с новой партией лакомств, присланных Оргом. У меня было приготовлено письмо с доставкой в собственные руки. Отобранные у брата Орга вещи не вернули. Эрик изумлен, что расстрел Таганцева не произвел никакого впечатления за границей.

Четверг, 13 октября

С 11 ч. на генеральной репетиции «Рюи Блаза». Коля Петров совсем не вмешивается в постановку. Лаврентьев заставил Щуко придерживаться ремарок автора — тяжелейший грех во мнении Мейерхольда. Часть Щуко исправил, ошибок нет, но нет и

пикантной прелести того, что я хотел дать в «Рюи Блазе», того, что я хотел и что меня особенно пленило, — выявить «черное с серым»; Испании нет и в помине. Максимов — не Рюи Блаз, а просто Максимов, слащавый миньон, но если отстраниться от воспоминаний о Гуритане, от идеи Гюго, то и он не так уж противен; глуповат и Хохлов, давший какого-то опереточного и буйного

Саллюстия, но все же роль у него сделана. Совсем плохи Монахов — дон Сезар (это скорее резонер, городовой, слегка подвыпивший и по-пьяному чванливый) и Комаровская — королева, играющая определенно комическую старую деву и возвращающуюся неприятным образом в последнем акте. Монахов в антракте рассказывал мне с большими подробностями, как в театр вошел Кузьмин и как он теперь его обхаживает. Уже его превосходительство изволил быть раза четыре, и, видимо, все ему здесь теперь нравится, особенно больше всего то, что угощают настоящим чаем с пирожками и не говорят о театре, ничего у него не просят. Окончательно растаял, когда лукавый Н.Ф. его назвал героем за его заслуги перед Родиной, и Кузьмин до поздней ночи рассказывал Монахову, как он воевал на Южном фронте. Теперь К.М. думает, что он уже достаточно задарен, чтобы всерьез повести дела о переходе с тарифных ставок на оклады, что, по мнению Монахова, выгодно, и о субсидии, без которой театру крышка. Экскузович со своей стороны «работает» в том же направлении.

К обеду — Хохлов. Я ему прочел лекцию о непоследовательности в его понимании роли. Я вижу Саллюстия старым, более усталым от жизни, глубоко пессимистичным «государственным человеком». Сбегал на «Пиковую даму», чтобы исправить освещение в спальне. Благодаря поддержке Гаука добился желаемого таинственного эффекта: ныне хор сливается с завываниями ветра во время «панихиды». И сегодня значительный недобор билетов. Словив Лопухова в коридоре, в присутствии Гаука отчитал его за то, что «Ночь» он выпускает из суфлерской будки и позже, чем этот выход имитируется музыкой, в «Жар-птице» у него — не птица, а аллегорическая галиматья. Он сдался и обещал афишу переделать.

Пятница, 14 октября

Сделал еще один вариант третьей декорации «Лекаря поневоле». Утром приходит сотрудник «Красной газеты» Борисов с фальшивым Рембрандтом (несомненно, Вечтомовым). Снова на

репетиции «Рюи Блаза», чтобы видеть в Саллюстии Музалевского. Это больше по-русски и грубо, но по содержанию внушительно. Щуко принужден изменить декорации.

Нина рассказала, что Коке ночью от переутомления сделалось дурно и были галлюцинации…

Внезапно в театре оказывается Добычина. Подумал — нечто катастрофическое (это хроническое состояние театра), оказывается, она получила запрос от Жени из Тулы, не хочу ли я легально ехать за границу, и просит мои вещи ей на премьеру «Рюи…». Рубена (ее мужа) переводят, признали ненормальным — выпускают…

В 3 ч. у Гржебиных я увидел знаменитую Л.И.Самойлову — друга всех чекистов. Мне рекомендовали обратиться для братьев, но, узнав фамилию, она в довольно наглой форме не выразила желания со мной познакомиться, и я, разумеется, не стал настаивать. Вот где мои акции упали! Гржебин обещает навести справки…

Суббота, 15 октября

Переписываю еще раз «Лекаря поневоле», решил первый акт сделать — осенний пейзаж вместо снега.

С Рене Нотгафт на выставке Липгардта, встречаю там Веру Ильиничну Репину; очень мало изменилась, стремится к отцу, который бодр и пишет «евангельский сюжет». Едва ли это вплетет ему новые лавры в венец. Но жалуется, что Куоккала превратилась в захолустье и приходится страдать от холода. Там же живет Юрий (брат) и кое-кто из знакомых.

Думал пробиться к Горькому, чтобы проститься перед его отъездом и расспросить насчет Ленина о Леонтии, но не нашел в себе сил дошагать и увидеть его челядь — Шкловских, Тихоновых… Хоть это и не придает уюта, что нас покидает наш последний патрон, но все-таки приятно подумать, что мне едва ли снова придется подниматься по опостылой лестнице и звонить в квартиру N…

Захожу на заседание Общества поощрения художеств. Там получены остатки работ Нарбута — 15 рис. к украинской «Азбуке» — верх не только штрихового великолепия, но и очень занятные, а иногда и жуткие («Слон», «Черт») вещи. Прелестны также новые литографии Кустодиева. Просто непонятно, как этот человек, не сходя со своего кресла, не подкрепляя память новыми этюдами с натуры, так отчетливо может «срисовывать» сложнейшие отзвуки жизни, сохранившиеся в его воображении. И

какими немощными представляются мне несколько фотографий с моих рисунков к «Медному всаднику», с которых мне теперь надлежит сделать повторение для издания…

Тройницкий подвез к Обществу после осмотра Эрмитажа «итальянским послом» (так его назвал сопровождавший его совдеповец Лигих) Погардо Пико — это очень любезный и вполне буржуазного стиля тонкий и длинный господин. С ними был и какой-то представитель германского водного транспорта…

Эрнст не пошел ко мне домой: нужно на Гороховую, чтобы там обменять муку, полученную в КУБУ, на хлеб, так как печь негде.

Вечером на премьере «Рюи Блаза» все шло совершенно прилично, но без всякого успеха. Даже Максимову не была устроена обычная овация. У нас в ложе сидела Добычина с сестрой, Кунины, принесшие конфет. Гржебин не явился.

Воскресенье, 16 октября

В 1 ч. чистка «Прелестниц». Комаровская будет очень на месте. Это почти она, как в жизни. Покупаю на улице спецвыпуск, вышедший в пользу голодающих номер «Маковца». В нем выдержки из записок о Николае, напечатал свои и Палеолог.

К обеду Стип. Он считает своим долгом отчитываться за пропитание каждый раз книжным даром. Сегодня он принес отличные образцы для меня декораций из Роллеровского альбома.

Позже — Воинов со своими гравюрками на линолеуме. Портрет в профиль и один пейзаж — очень недурны. Рассматривали вместе папку французских гравюр.

В пьесе Лабиша очень забавен трюк, когда все действующие лица начинают ползать по полу в поисках мнимо утерянной брошки. Горький с Гржебиным, говорят, сегодня отбыли.

Понедельник, 17 октября

Пишу черновики заграничных писем. Ветер, сильная угроза наводнения, и власти издали приказ, предписывающий разные меры, среди них — вывод войск за город. В Эрмитаж даже явился и потребовал все из подвалов поднять… За мной зашел Стип. Осматриваем выставку 1-й категории, устроенную С.Сидоровым и очень усердным и милым юношей в Александровском зале.

К чаю Шапиро, бывший у меня в 4 ч., в поисках сотни тысяч,

необходимой ему для поездки в Москву, оттуда он думает пробраться в Екатеринослав, где должен получить новые документы личности, так как таковые обязательно требуются в Академии художеств, а свои он потерял еще во время пребывания у белых. У меня таких денег не нашлось, и я его направил к И.М.Степанову и к Д.И.Верещагину, в комитет Общества поощрения художеств, предлагая за эту сумму купить у него четыре рисунка. Все остальные работы свои (кроме больших масляных) он оставил на хранение у меня. Он очень понравился Стипу, и действительно, в нем трогает еще искренняя, пламенная любовь к искусству, его пиетет к Врубелю, к Серову, к старым мастерам и вообще все его задатки культурности.

Приходил и Конашевич, принесший две фотографии моей семьи, снятые в 1901 и 1902 гг. Резниковым. Одну из них я *никогда* не видел. И это было как-то жутко — себя и своих неожиданно увидеть в таком зеркале времени.

Татана держат в кровати, и потому он неистово кричит.

Прочел Франса — комедию про немую жену. Не годится. Кока, обещавший матери вернуться в три часа дня, вернулся в 3 часа ночи от Марочки. Акица в отчаянии.

Вторник, 18 октября

Вместо циклона — пронизывающий все туман и моросение дряни. Ура! В КУБУ выдали 9,5 фунта сахару, дома взвесили, оказалось 8 фунтов. Вероятно, удержали КУБи-сты. Это дар чехословаков или югославов. Репетиция Монахова меня очень тревожит.

В Эрмитаже сообщаю товарищам свой проект — ограничиться сначала устройством в ближайших к Эрмитажу комнатах Зимнего дворца одних французов. Отберем их.

Зашел к Марии Александровне. Она все еще лежит в отчаянии, что болезнь так затягивается. Положение с заключенными без перемен. Оказывается, при опросе Павла Фролова, который продолжает сидеть, все допытывались насчет Ольги Штейнер, так что, несомненно, корень в ней. Но за что же сидит Леонтий, всегда так неодобрительно относившийся ко всему дилетантствующему заговорщическому стилю, бывшему в моде у них в доме, и даже к самым безобидным разговорам на политические темы?

Меня навестил Эрнст, который в ужасе от легкомыслия Зины Серебряковой.

Среда, 19 октября

Темнота. По пути в театр меня нагоняет мой гимназический приятель Гриша Калин — седой, но, в общем, еще довольно похож на себя. На сей раз был рад встрече. Он секретарь того учреждения, которое прежде называлось городской думой, и имеет большие связи в Смольном — там отделение городской коммуны. Сын — лоботряс, подтвержденный фиктивной справкой, отлынивает от воинской обязанности. Сам Калин склонен к шуткам и цитирует Диккенса на каждом шагу. Ленина называет гением (попал на его сенсационную речь, произнесенную на каком-то съезде политпросветов), но тут же признал его сумасбродство: себя самого (Ленин) назвал пролетарием, а потом поправился… А речь Ленина действительно как будто интересная — признание полного поражения на всех экономических фронтах. Позже слышал, что в Москве эту (напечатанную) речь полиция срывала со стен и заклеивала. Мне ее не удалось прочесть, хотя я ее усиленно искал. Лишь прочел случайно сохранившийся фрагмент. Аналогичную речь через день или два произнес, говорят, и Троцкий, но я узнал о ней, тоже не читая. Полная уничижений пролетариата, невозможность отступления, ибо надежда на заготовки, — все это передано с чужих слов, отчасти Акицы, потрясенной этой речью, которую прочитала у Марии Андреевны. Обрушивается Ленин на коммунистов, заболевших чванством, взяточничеством, и почти все невежественные, надо-де бороться с волокитой, унаследованной от старого режима, и с чисто национальным явлением — взяточничеством. Что же он не видит, как именно «они» искусственно воспитали и ускорили этот порок, возведя в принцип, что никто не в состоянии жить на свое содержание и все принуждены кормиться так или сяк на стороне. И почему ни слова о других двух, еще более тяжелых и чисто национальных пороках — о маниловщине и о дилетантизме? Не потому ли, что этих пороков он и являлся первосвященником? Эта речь отнюдь не утешает меня (ибо я потерял веру в то, что «они» способны дать жизни жить\) и, напротив, наводит на мысль, что и брюмер у нас невозможен, что «циклон брюмера» разрядится в чисто русскую великую и сентиментальную самоубийственную до конца слякоть! С Калина я взял слово, что он посетит меня.

От репетиции я в некоем ужасе. Впечатление, что я учу баранов и медведей быть людьми. Монахов имеет со мной объяснение насчет финансовой стороны. Торгунов, какой-то важный чин от финансов, чуть ли не министр финансов по Петербургу, бывший буржуй, сын почтенной коммунистической

семьи, но предавшийся коммунистам, советует Монахову повысить цены до 100 000 за кресла первого ряда, ссылаясь на пример Москвы, в частности Художественного театра…

Захожу в Эрмитаж. Потом на аукцион в Общество поощрения. Милый корниловский сервиз (у нас остались четыре чашки, и то без ручек) пойдет ниже 400 000.

Вышла моя монография Эрнста. Увы, Александр Бенуа на обложке без «Ъ», а иллюстрации крайне неудачны (краски нет, да и клише перетравили). Общее впечатление мизерное. Но оно, пожалуй, соответствует моему истинному положению в мире.

Дома Гаук, приносит второй номер берлинской «Жар-птицы» и книжку переписки «Мира искусства». Билибин извещает довольно дурацким письмом с еще более дурацким введением обнаглевшего Лукомского, что он начал в Каире, что и там не солоно живется, что арабы — плохие меценаты, что он пишет с двумя учениками огромную картину из византийской истории. После страниц дневника Леонида Андреева, полного паники, — статья о полетах аэропланов… В общем, от текста и иллюстраций веет провинцией. Мы куда зрелее. Под орех отделан портрет мадам Шухаевой Саши Яши, но, боже, какая это глупость. Добужинский (у них Акица была тоже) уже оптирован Литвой.

Захожу в «Кармен» прослушать, что будет петь Ершов, однако пел Куклин. Не нравится мне Марочка — жена Коки, актриса.

Новый скачок цен из-за пошлин.

Четверг, 20 октября

Начал два вида Павловска — вид на храм Дружбы сверху и Сильвия со статуей Талии для выставки…

Чтение газет стало исключительным делом; между театром и домом — только две витрины.

На репетиции огорчен Монаховым: никакой легкости и никакого не получается веселья. Это злой гувернер, а не Маскариль.

В Эрмитаже рассчитывал встретить корреспондента «Нью-Йорк Геральд», но он побывал вчера, и Зилоти его видел.

Дома Кока рассказывает про Союз — кошмарная путаница. За всего «Рюи Блаза» ему вместо 3 млн заплатят 800 тысяч. Анненков, который напросился рисовать мой портрет, не явился. Заходил к больному Бушену. В гостях у Кати сестра Володи Зеленкова — рослая здоровая девка, одетая по-комиссарски, в кожу. Она бывшая бестужевка и, вероятно, какая-нибудь меньшевичка, ибо ее заставляли принять пост инструктора по

районным чрезвычайным отделам. За отказ в два дня изучить инструкцию законов ее засадили на пятнадцать дней в арестантский дом вместе с ворами и фраерами, после этого она согласилась и теперь с успехом хлестаковствует, выведывая от своих же ревизирующих то, что ей надлежит знать.

После обеда Альбер сонный, удрученный тем, что арестовали Кузьмина — отца барышни, привезшей с юга Алика. Играл мне свои стансы. Увы, пальцы у него уже не так гибки. Доктор требует, чтобы Татана держали в кровати…

Стип и Степанов торопят меня с корректурой Эрмитажа, а мне вечером некогда приткнуться, и вечно кто-нибудь придет. Взбесило меня то, что вместо утерянной Степановым обложки Нарбута к «Медному всаднику» он заказал Конашевичу новую, и он сделал на ней виньетку памятника Петра в своей дряблой, развращенной манере.

Пятница, 21 октября

Рисую оба Павловска. В 11 ч. репетиция с Монаховым, Хохловым и обеими переменами. Ссора Комаровской с Монаховым из-за ее опоздания и записи ее в журнал. Монахов взял благодушный тон и все уладил. Она продала свой перстень за 12 млн.

В Обществе поощрения заседание с Ольгой Федоровной и ее крючконосым, бритым, но довольно симпатичным жидком, Хортоном. Втроем с дочерью они составили проект контракта на издание «Басен» Крылова с иллюстрациями ее мужа Серова.

Прочел милую пьеску Лабиша.

Суббота, 22 октября

Начал красками храм Дружбы. Сделал для Кедринского две копии костюмов «Мнимого больного», но дам ему оригинал, ибо копия не удалась. Беседа про ЧК, во время того что Зина писала портрет Ати, остроумный.

Приходила Катя вся в слезах, умоляла, чтобы я похлопотал за Колю, письма которого становятся все более похожи на вопль отчаяния и паники.

К чаю Верейский. Он меня рисовал, пока я читал вслух прелестный первый акт пьесы Лабиша.

Воскресенье, 23 октября

Ужасный снег и слякоть. Работаю над Павловском. Приходили Альбер с Жарновским. Я торопился на заседание Совета в Эрмитаж, перебирали замшелые декорации «Ученого комедианта» Мацулевича…

Ввалилась О.Ф.Серова с Капланом. Последний уже растерял мечту о сверхдоходах от продажи «Басен» за границей, и они пришли испрашивать моего благословения. Я им дал и обещал написать предисловие, но что я напишу, ведь я терпеть не могу этих работ Валентина.

Знакомая Зины г-жа Гильдебрандт просит Зину перевести ее детей в католичество.

К чаю С.Жарновский, без уведомления Музалевского о своих проектах, затеях, интригах. На выставке городских работ побывал сам Зиновьев. Опоздал на два часа, а во вступительной речи обрушился на кафе на Невском, где, о ужас, поют цыганские хоры. Вдруг голос из толпы: «Там, видимо, и задержались?» Самое курьезное последовало на концерте: выступление «Живой газеты», сообщавшей под-текстовые новости, и представление в «лицах» — политический фельетон о трудностях жизни в связи с помощью голодающим. Кончилось все это тем, что «баба-работница» рьяно обрушилась на власть, объявив, что она снимает с себя последнее, чтобы помочь братьям на Волге. Затем была представлена, как водится, «чистка партии». К столу инквизиции вызывались разные господа и браковались за прошлое, за их принадлежность к офицерству и буржуазии, но с восторгом принимались те, кто был пролетариат.

Самого Зиновьева Жарновский встретил гуляющим пешком с женой на Невском и Морской. Здорово же они окрепли. Изумляет способность таких вибрионов, способных без устали возиться со всей этой чепухой. Жарновский особенно увлечен созданием Общества друзей Старого Петербурга, на что он уже имеет благословение властей. Ему из Смольного даже обещали деньги…

Понедельник, 24 октября

Утром забежал В.К.Макаров. Комиссарство во дворце Гатчины уничтожено, и он полный властелин. Все еще надеется, что Ятманов внемлет его старанию. Найден тайный ход от памятника Павла к «Эхо». Он был замечательно заделан и скрыт еще при Александре III. Владимиру Кузьмичу пришлось сделать обложку для его книги о садах Гатчины.

Монахов докладывает о борьбе в Сорабисе из-за окладов и ставок. С каким упоением хитрения, мошенства, система

изматывания. Тупые дикари, берет отчаяние.

Вечером на Салтана, сижу рядом с Софьей Федоровой. Мечтает о Париже, о Дягилеве. Готова на все, только бы он ее взял. Оказывается, они с Олениным собирались разводиться из-за ее увлечения немолодым английским офицером, который решил бежать и которого она надеется снова найти там. С Петром Сергеевичем они все же друзья, и он трогательно о ней заботится. Ее ужасно угнетают условия жизни. Большевики ей ассигновали в нынешнем году 25 000 в месяц и академический паек.

Экскузович избегает меня. Уж не собирается ли он исключить меня по сокращению штатов? Впрочем, я им больше не нужен. Купер с омерзением его называет аферистом, но ладит с ним и обделывает делишки. В театре появилась кикиморочная рожа Оскара Рогера. Он здесь на четыре дня, на чем-то злостно спекулирует. Вещей Оргу не вернули и едва ли вернут.

Вторник, 25 октября

Юрий вместо того чтобы идти спать к матери (живут в общежитии студентов при Кебене — часть дома Зоологического музея), вернулся: там пожар от топки, погиб архив Кебен (Ферсман рад, почему?). Выгорела парадная зала. Квартира Юриной матери не пострадала.

Выйдя из дома, встретил Сашу Зилоти, он в восторге от разговора какого-то инженера о Ленине, который признавал, что они правеют со скоростью 60 верст в час, и чтобы спецы-буржуи шли к ним.

В Эрмитаже получено жалованье — скачок с 40 000 до 80 000 — какие-то премиальные — все гроши. Туда приходит американец Метью Гриттифул — молодой, коренастый, с крючковатым носом еврей и с быстрыми глазами, типичный репортер. Тройницкий ему показывал серебро и фарфор, послышались уже давно не слышанные тончики человека, пожившего в Париже и приобщившегося к его остроумию и снобизму. Говорят, у Вейнера второй удар, отнялась правая сторона. Неужели Путя выйдет из строя? Мало, ужасно мало нас остается.

Вечером мадам Патрикеева с очаровательной Лариной Ольгой Георгиевной. Увы, Кока не появился. Получила свидание с Мишей через решетку, тот ни на что не жалуется. Допроса еще не было, и он решительно не знает, за что сидит. О Леонтии слышно, что настроение его лучше, он весь день раскладывает пасьянс. Карты он сделал сам. Вся надежда на амнистию по случаю

четвертой годовщины. Мария Андреевна еле ходит.

Были еще Верейский, который меня литографировал, причем мне напялил платок а-ля Шарден, и Степанов, принесший мне 500 000 за корректуру Эрмитажа. Позже меня полуинтервьюирует Шура Леви, который приволок с собой доктора Августовича для экспертизы очень плохого пейзажа XVIII в., помеченного И.Б. — совершенно забытого мной двоюродного племянника Ищу Бенуа, сына Жюля. Он уж довольно почтенный, похожий больше на мать (Медею), нежели на отца. Служит он летчиком, долетал до Вологды. Об изобретениях Махонина отзывается очень скептически, — пресловутый газ, добыча которого в Германии стоит колоссальных денег. Стальная оболочка не держит, все испаряется.

Среда, 26 октября

Всю ночь сны о Ларисе. Из Эрмитажа заходит Нотгафт, чтобы ей дать порисовать. В театре дорогие билеты — нет зрителей.

Четверг, 27 октября

Отчаянный холод. Мы топим только у Черкесовых, на кухне. Читаю «Лекаря поневоле», исправляю Гнедичевский перевод. Читаю Лаведана — ерунда на основе культа Людовика XVII.

Днем были Тройницкий, Лавровский, которым поручено от музейного отдела составить в Петросовет докладную записку о дворцах, парках… Забегала Лариса за «Путеводителем по Эрмитажу». Шармированный ее персоной, не устоял и дал, в чем раскаиваюсь, — пропадет и этот последний экземпляр.

Пятница, 28 октября

Переписываю по фотографиям с моих рисунков из Русского музея недостающие виньетки «Медного всадника» для издания. Захожу на репетицию «Петрушки», не выдерживаю положения сумбура — двенадцати главных танцовщиков нет — заняты выгрузкой немецких судов.

Иду на заседание Академии Петропрофсоюза ради создателя ее Таманова, чтобы получить от Белогруда сведения, выписан ли Коля Лансере с Кавказа. Оказывается, там гибель народа, и мне не удается с ним перемолвиться. Но я послал ему записку и

получаю ответ: ничего не сделано.

Открывает заседание Кораблев, бывший учитель словесности в гимназии Шафера, а теперь советский тайный советник и персона — плюгавый рыжеватый господинчик с красным носом и довольно длинными на затылке волосами. Говорит складно величайшие глупости и пошлости, точь-в-точь как говорили в свое время царские чиновники, с абсолютным апломбом, крепким чувством власти и поддержки «сфер», к которым он уже слегка принадлежит. Первая четверть речи посвящена пиетету перед Академией, ее традициям и представителям ее традиций — словом, реверанс вправо, но затем неожиданно «мы» были сравнимы с библейским Голиафом, вышедшим на бой с юным Давидом во всеоружии своей науки, и тем не менее попраны пращей. В дополнение, мимоходом, было воскрешено пожелание, чтобы академическую Голгофу не постигла участь его библейского прототипа. Затем была сказана масса выспренних слов по адресу того самого Татлина, против которого комитет Профбора, главным образом, и ополчился, что и привело к реформе Штернберга и Белогруда, но последний теперь, съездив в Москву, заручился там мощнейшими поддержками, выразившимися в пяти актах, тут же изложенных Кораблевым, причем особый вес придавался резолюции наркома Анатолия Васильевича Луначарского, подписавшему на пятом из этих актов: «Вполне согласен». Теперь он предстал перед Кораблевым художником небывалого значения. Буквально было сказано, что Сезанн и Рембрандт не стоят Татлина, и что мы должны почитать за счастье, что существуем в одну эпоху с таким человеком, перед значением коего все должно склониться.

После этой официальной балаболки начал мычать сам Татлин — истинный гений авторекламы и шарлатанства. Причем демонстрировалась прикрепленная к стойке пестрая, раскрашенная, как полагается, диаграмма, в которой излагалась академическая система левых, требующих не столько своего права на существование с правыми, но и паритетности. Чтоб не отставать от товарищей, они готовы разбиться на три факультета, причем взяты «эстетики», сымпровизированные Пуниным на одном из наших заседаний:

1) факультет материальной культуры;

2) факультет органической культуры;

3) факультет чего-то вроде «Конструкции утилитарной живописи» — и вообще постараются играть всю комедию Мольеровской церемонии.

Тов. Мансуров по мере пояснений Татлина и Исакова (вслед за Татлиным прочитавший самый регламент) водил палочкой по

диаграмме, что представило всему особенно внушительный вид. Белогруд попробовал было опротестовать поворот дела, сдать все комиссии, но ехидна Штернберг, специально привезенный Татлиным из Москвы, тут пошептал что-то Кораблеву, и тот с решимостью чиновника времен графа Дм. Толстого снял протест с распорядка дня, заявив, что власти требуют немедленного обсуждения того, что принято в Москве. После этого я ушел, но Щуко вечером рассказал, что дошло до настоящего скандала. Еще пробовал критиковать проект левых Н.Радлов, но и его Кораблев самым бестактным образом осадил, сославшись на уже готовый декрет, и тогда все «правые» и многие ученики удалились из зала заседания. Белогруд прибегал затем к протестам и стал было убеждать, чтобы они вернулись, но его не послушали. Теперь будет еще одно заседание, но я уже на него не пойду. О, как я досадую, что не удосужился до сих пор подать в отставку. Но вот и сейчас можно было бы, но это так скучно, нужно сочинять какой-то вздор, а в душе не перестает жить надежда, что и так все это марево рассеется.

При выходе встретил Петю Соколова. Он ведь ходит с планом бегства в Англию. Один капитан предложил ему за 5 лимонов переправить в угольном ящике. От Леонтия и Миши письмо. Он видимо приободрился. Раскладывает пасьянс.

Тороплюсь домой принять Н.И.Комаровскую с мужем (у нас же был Женя Михайлов, снимающий для журнала Бродского мои вещи), явившуюся в условленный час. Н.И. сразу же остановила свой выбор на «Виде храма Дружбы», который я ей уступил за 800 000 вместо миллиона. Теперь придется мне сделать второй, для выставки «Семинарии». Михаил Иванович был лирически любезен. Он горько жалуется на дела в Михайловском театре. Публика не ходит, денег нет! Да и в Мариинском немногим лучше. Татан стал конфузиться гостей. Сидели, потчуемые шоколадом, недолго, ввиду вечернего спектакля.

Вечером я с Атей на «Рюи Блазе» с Волконским, который менее сладок, нежели Максимов, но и менее тверд, а оба вообще очень плохи и глупы. Петров, словив меня, жаловался на трудности «Жизни как сон». Вполне убежденно поддерживаю его. Монахов, напротив, вцепился. Что им далось? Кассу он отстоял. Соколов стал кивать на каких-то мальчишек в Политпросвете, но Монахов сразу к ним отправился и мигом отстоял независимость театра. Все «работники искусства» сняты со снабжения натурой, а потому ставки будут (когда еще?) увеличены — минимум 700 000, максимум 3 лимона.

Гришина Людмила Самойловна уехала за границу. Уехал и Лашевич! Разумеется, это массовое бегство!

1922 год

Вторник, 17 января

С выставки поморского искусства в Русском музее украли две иконы. Одна с изображением Петра и Симона, другая — Андрея и Дениса. Завязалась длинная и нудная процедура допроса служителей залов, затем научных сотрудников. Но это ничего не дало для выяснения случившегося. Иконки маленького размера, и их было легко вынести.

Заседание Совета началось с обсуждения каталога выставки поморских икон. Комплектовал выставку А.П.Смирнов, вступительную статью готовит В.ГДружинин. На обложку каталога решили поместить вид Выгорецкой обители с предстоящими старцами.

На этот раз от имени Общества поощрения художеств Степан Петрович Яремич преподнес в дар Русскому музею картину Ивана Мельникова «Поклонение пастырей» 1838 года, раскрашенную литографию 30-х годов XIX века с изображением двоих детей Николая I, оттиск календаря на 1922 год с рисунками Конашевича. Яремич предложил совместно с комитетом ОПХ купить картину Боровиковского «Омовение ног» за 12 миллионов рублей и два портрета Тулубьевых работы Яненко за 5 миллионов рублей. Эти картины представляют исключительную художественную и историческую ценность. Нерадовский намерен добиться от Коллегии ассигнования на эти покупки.

Рассмотрели предложение Д.Н.Буриной о приобретении портрета главного управляющего графа Строганова Густава Гельма работы Воронихина. Портрет находится в Екатеринбурге и пострадал от пожара, подлежит реставрации, следует подождать, когда портрет привезут в Петербург, и тогда решить вопрос.

Воскресенье, 2 апреля

С.Тройницкий показал новый московский журнал «Наш журнал», посвященный культуре и искусству, выпускаемый издательством «Книгопечатник». Редактор Д.Рудометов. Номер посвящен творчеству художника Алексея Кравченко, воспроизведены его гравюры «Пастораль», «Купальщицы», «Мельница на Волге», сама «Волга» и статья «Гравюра» профессора Романова, начинающаяся с первобытных очертаний

мамонта.

Любопытна статья профессора Н.Певзнера «Город будущего». Автор самозабвенно расписывает город без трамваев и осветительных фонарей. Обещает движущиеся площадки из асфальта, встал на нее и поехал. Освещение будет исходить из земли или от стен домов. Техника сольется с искусством. Первыми в мире осуществить это надо нам. Нечто подобное создавал в свое время М.Добужинский, очарованный виадуками Лондона. Певзнер пошел в своих мечтаниях еще дальше по пути слияния станков со станковым искусством.

Понедельник, 10 апреля

Купил на Гороховой за 115 000 рублей блокнот для записей. Солнце. Гольфстрим. Замечательный день. Побывал на «Юлии Цезаре» с декорациями моего сына в Большом драматическом театре. Режиссер К.Хохлов, композитор Б.Асафьев. Актеры в роли героев пока еще тусклы, а Брут в конце спектакля стал багровым. Имеются, однако, новые повороты сюжета. Премьера намечена на 20 апреля, к тому времени подправят, учитывая замечания.

Четверг, 13 апреля Сегодня отправил Юрьеву Ю.М. письмо.

«Дорогой Юрий Михайлович!

Обдумав высказанные вопросы, неожиданно возникшие при собеседовании у Вас в кабинете, я решил Вам письменно изложить мои соображения на этот счет. При этом я уверен, что Вы не откажетесь взять на себя труд — довести это дело до милейшего для нас обоих конца. Разделяю Ваше намерение убедить Н.В.Петрова не отказываться от постановки «Мешанина во дворянстве». Его участие я считаю совершенно необходимым, и оно отнюдь не устраняет привлечения к делу Ф.Лопухова. В данной комедии балет требуется в массовых сценах, вернее, хореографические номера. И вот я считаю нужным поручить Лопухову, с которым я соприкасался во время постановки «Слуги двух господ», такие чисто балетные номера: 1) танец учеников Учителя танцев в первом акте; 2) танец подмастерьев портных во втором акте; 3) танец балета, заказанного графом Дорантом в третьем акте; 4) танец Николы и Ковьелы.

Остаются еще наиболее внушительные номера: 1) выход поварят и присутствующих на банкете; 2) танец турецкого церемониймейстера; 3) весь изобретенный

мною финал. Кроме того, не скрою от Вас, что моим утешением была бы надежда заполучить Н.В.Петрова, который бы изъявил свою готовность быть моим помощником в данной постановке и который в нужном случае служил бы посредником в моих общениях с актерами. В афише можно обозначить: «Постановка Александра Бенуа при ближайшем участии Н.В.Петрова» или «в сотрудничестве с Н.В.Петровым». Напротив, часть работ Лопухова можно выразить так: «Танцы поставлены Ф.Ф.Лопуховым». И я был бы очень тронут Вашей любезностью, а сейчас я очень огорчен тем, что его взяли обратно, приступая к работе с сотрудником, мне назначенным, мне казалось, что можно вести дело с неизменным вкусом. И мы выполнили бы все возложенные задачи (а таковых при ограниченном времени имеется в нашем распоряжении немало, но мне не поспеть все сделать самому).

Вот, дорогой, мои соображения. Думаю, что и Вы совершенно так же смотрите на дело, а потому Вам будет не трудно выяснить то, что было в некотором роде «просто недоразумение».

Пятница, 14 апреля

К двум часам к Милашевским. В 5 часов у меня Край-тор. Для Жени Лансере и Шарлемана набросал схему сцены «Слуги двух господ» и рисунок Шейлока. Вечером посетил Комаровскую, беседа о театральных проблемах. Мне пришлось отказаться от «обещанного в театре золотого дождя». Все больше осознаю пошлость и опустошение. Такие же чувства испытывает Надежда Ивановна К. Свое падение я совершаю во имя прокормления моей семьи. Увы, с годами бремя не облегчается. Это то самое, чего я менее всего ожидал, думая в молодости о своем будущем. Убежден был всегда, что меня не постигнет то, чего я опасался, видя эту ситуацию у других. Но это оказалось и у меня в результате повседневной заботы и дум о своей обязанности перед семьей. Надвигается мое рождение и оно не радует меня.

Четверг, 4 мая

Неожиданно получил письмо от Шагала.

«Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

Только надеясь на то, что Вы искренно не подумаете и поверите: во мне не говорит ни «зависть», ни честолюбие и прочее. Я позволю себе в «последний раз» перед своим отъездом на 3–4 недели на родину написать, что неудержимо мне хочется сказать. Пусть Вы другая натура, Вы, я знаю, поверите, что во мне не говорит, в крайнем случае, «больной», не полубезумец. Нет! Я, к сожалению, очень здоров.

Что я хотел у Вас спросить, Александр Николаевич, неужели в самом деле мне не нужно работать, бросить? Ведь «гордость» наша должна когда-нибудь смириться. Если не толпа, и нечто высшее толпы, и моя преданность учителю, ценимые мной, как все мое прошлое, и целое общество меня не признает. Вы скажете: некрасиво не иметь собственной веры в себя, какой же Вы художник. Нет! Я ее имею — боюсь даже, что уж в слишком большой степени, но это, может быть, еще более не позволяет мне относиться равнодушно к упомянутым голосам. Вы не подумайте, что я ищу одобрения или «похвалы» (я уже просил быть «самого лучшего мнения» о моих намерениях).

Я говорю лишь — мы не вправе оставаться равнодушными вообще, во всех случаях, ни в чем и никогда, по наименее конкретным даже причинам. Вот почему я колеблюсь, вот почему я неспокоен и вот почему я пишу Вам.

Теперь голые факты с наиболее конкретными «недоразумениями». Не то удивляет, что мы кое-какие друзья-художники, «горой» стоящие за свои молодые общества, но люди Вашего общества пустились в «бегство», оставив на произвол и гнев задорный «искания» других.

Нет, Александр Николаевич, меня более удивляет то, что разрез с Вашими словами и мыслями в последнее время, например, выразил Лентулов. Он был все же приглашен и, по-видимому, помимо Вас, вероятно, с почтением к его годам. С другой же стороны, сочувственные слова по моему адресу остались висеть в воздухе и остались непонятными по совершенно противоречивому результату, как, вероятно, для многих людей, так и для меня, сплошным недоразумением.

Я признаюсь. Да! Я мечтал бы работать честно и с божьей помощью рядом с Вами. Я был бы слышнее,

виднее, спокойнее душевно и не так страдал бы, как в других местах, около телячьих «молодых» без молодости и без бога (ведь у нас же нет тридцатилетних Салонов, Осенних, Независимых, у набережных Сены, только маленькие безлюдные балаганчики около могил).

Работать с Вами хочется от того, что в Вашем обществе говорят, пусть дерзко, но членораздельным языком, и также потому, что это привязало бы меня к России — моей семье и не увлекло бы меня опять за границу в нынешнюю ее независимость и неизвестность. И если я один, почти последний из оставленных на посту за «бортом» с Вами, как это стало видно в этом году, то было бы весьма великодушно по смелости и простоте заявление Ваше: «Шагал, верно, нам действительно с Вами не по пути, не обижайтесь». Мне бы отсюда сделать надлежащее заключение, или в подтверждение Ваших сочувственных слов, ког-да-то сказанных Вами обо мне, — отойти в сторону. Ваше общество поступило бы наоборот. И было бы мне ясно.

Дорогой Александр Николаевич, ради бога простите мою откровенность и, кажется, нескромность. Я такой, с чистой совестью без всяких примесей, люблю Вас, хотя мы и очень разные, чему Вы навряд ли поверите. Но я прошу Вас, не откажите сказать два слова по поводу моих сомнений и неясностей по доброте человеческой до снисхождений и резкостей.

Весь преданный Марк Шагал».

Краски как попало, а вдохновения хоть отбавляй. Пишет то, что в голову взбредет.

Вторник, 9 мая

Поляки в Эрмитаже осматривают экспозиции. Приехали они, чтобы вернуть трофейные экспонаты, согласно перемирию. Мы рассматривали свои архивные документы и убедились, кое-что придется вернуть из польских экспонатов.

Но насчет возврата рисунков зарубежных мастеров разгорелся спор в отделении. Стип предложил взамен шедевров подобрать иные рисунки, а из польских экземпляров создать фонд Воробьева. Авось номер пройдет.

Был у Комаровской. Затем осмотрели иконостас Казанского сбора. Иконостас был создан при участии Воронихина, его

композиция сохранилась. Воронихин пытался использовать убранство собора, подчеркнуть его монументальность. Очевидно, повлияло и то, что он еще юношей испытывал благоговение перед немецкими алтарями, и у него получилось в высшей степени удачно, особенно при такой громадине здания.

Четверг, 18 мая

Первый теплый день. Деревья уже в зелени. Надо бы на этюды. Сдал эскиз декорации для фонтана. Экскузович надул. Обещал одни условия работы в Александринском театре, а оказались не те. Намечалось сокращение, но я сам выхожу из штата консультантов. Вышло новое постановление о присвоении почетных званий членам правления, которое меня не касается. Не решен вопрос оплаты труда: гонорар или согласно разрядам, которых установили три. Если я сделал работу режиссера, то какова оплата, и выплата золотым рублем или девальвированными деньгами. Экскузович смог бы сказать определенно, что за постановку в целом мне будут платить 1000 рублей золотом. Можно ли на занятость рассчитывать на все сезоны в Александринском театре? Будут ли обеспечивать лошадь для поездок в театр? Положен ли мне телефон? Вопросы остались без ответа.

По дороге в Эрмитаж купил газету. Дело идет к разрыву отношений между державами. Собираются 26 мая в Гааге решать «русский вопрос» без Германии. Приглашают русскую комиссию. Насчет участия Америки — как будто на сей раз отказ. Чемберлен предлагает идти на разрыв. Что еще скажет Ленин. Но положение настолько безнадежно, что все равно выхода нет. Так уж лучше не храбриться альянсу, а предаться «юдоли печали». Верховский сообщает об убедительности данных о военных заказах Германии и о «встречных исках» в отношении репарации и долгов. Альянс как будто бы внял. Польша заключила договор.

Верховский советует Германии объединиться, но последние стараются отказаться от Раппальского договора.

В Эрмитаже снова тревога Тройницкого насчет лошадей для подвозки дров. Мост через Волхов на 30-й версте рухнул. Дрова предстоит доставлять на баржах и лошадях, но извозчики вздули цены.

По дороге в Академию Яремич поведал, что третьего дня в газете были сообщения о шпионских дневниках литовского издателя Орга, который посетил и нас, многие по его дневниковой записи арестованы. Попали на заметку Фроловы.

Предвидится арест всей его семьи.

От Нерадовского узнал, что французский сервиз Елены Павловны в ОПХ отложен от реализации, в третьей конторе госсклада обнаружен дублет. Страшно за вещи.

Вторник, 13 июня

Сегодня состоялось совещание в Александринском театре. Присутствовали Владимир Андреевич Селиванов, Николай Васильевич Петров (Коля), Николай Николаевич Арбатов, Петр Петрович Гнедич, Григорий Григорьевич Ге, Михаил Петрович Кристи, Иван Иванович Лапшин, Евтихий Павлович Карпов, Дмитрий Константинович Петров, Александр Авельевич Мгебров, Константин Павлович Хохлов, Юрий Михайлович Юрьев, Алексей Осипович Соколов, Иван Михайлович Экскузович и я.

Кристи: Управление театром единоличное (временное явление, нормальным было бы коллегиальное управление), но нужен человек, который должен быть хорошо подкован в этом деле.

Юрьев: Совет театра и есть применение этой системы.

Ге: Положение не меняется что при Зимнем, что при Смольном, как дело шло — тут другой вопрос.

Юрьев: Было директорство

Ге: Дело не в словах.

Карпов: По существу кое-что дельное было, появлялись новые силы.

Экскузович: Существенная разница — функционировала администрация, а сейчас Коллегия.

Мгебров: Предлагаю отложить обсуждение прошлого.

Ге: Мы изучаем фундаментально систему управления.

Петров: Два вопроса смешиваете. Была Дирекция и был Художественный совет. Я дела Совета принял. (Вопрос: Вы согласны с этим?) Возможно, да, надо лишь в деталях поправить.

Кристи. Это не инструкция театра, а инструкция Совета. Надо выяснить природу Совета и непременно самый институт управления.

Экскузович: Систематизация необязательна. Не скрывали свою работу, даже были ответственные лица, а значит — самоуправление, иногда даже принимали самостоятельные решения и доводили до сведения дирекции.

Коля: Я бы предпочел чувствовать себя здесь как приглашенный для работы, согласно инструкции. В таком случае я ее не обсуждаю. Надо привлечь всю труппу.

Экскузович: Реализацию поддержки следует изложить в деталях в виде инструкции.

Гнедич: Во главе должна стоять истинная власть.

Ге: Нет, не исполнительная.

Гнедич: Нет, исполнительная.

Ге: Нет, с законодательством.

Гнедич: Ну хорошо. Она для меня и законодательная. Мы же являемся экспериментаторами. Совет знающих людей. Пример с постановкой «Моцарта и Сальери» и роль Головина.

Кристи: Вопрос разъяснен, а детали отложим. Перейдем к другим делам.

Юрьев: Переходим к плану работ. Актуальность! На открытие сезона нужна русская пьеса и пьесы новые для горожан. «Дон Жуан», но не «Борис Годунов». Столько оттенков. Вторая пьеса Милашевского. Нужно отдохнуть. Многое есть — пьесы «Эгмонт», «Идеал». Декорации, бесполезные костюмы, иллюминации с фейерверками, механический оркестр. Отзвуки наших волнений и интересов, в рамках изъясняющих линию и в высшей степени содержание. «Последние» — пьеса рекомендована Иваном Васильевичем с благословения Москвы. (**Карпов**: Одна из самых слабых пьес.) Я еще не остановился на двух новых пьесах: одну советуют западную, другую — русскую — «Граф Калиостро» Алексея Толстого. Кроме того, Кристи предложил объявить, что можно ставить все пьесы Толстого, кроме «Бориса Годунова». Остаются «Смерть Ивана Грозного», «Федор Иванович», которые следует обновить по Станиславскому.

Гнедич: Они совсем не подходят. Студийная работа в текущем репертуаре, настоящее «Горе от ума», это «Ревизор», «Маскарад», «Смерть Тарелкина», «Свадьба Кречинского», «Дон Жуан», «Сторицын», «Шутники». Кристи предлагает более знакомые, пересмотреть старый репертуар и особенно надо решить, что не должно идти. Просто обсудить новый репертуар.

Петров: Я против трилогии Островского. Надо больше новых. Отлично играют, рекламируют «Бедность — не порок», «Волки и овцы». С чего начать? *(Он колеблется, просит голосования.)*

Ге: Озадачен. Реформа должна реформировать самый театр. Вы настраиваете внимание не на как, а на что, а нужно наоборот. Академический театр — театр достижений. Он не гнет актера под вкус современных требований художеств. Александринский театр не должен «гнуть шею» анонсированием пошлости, а сцена должна быть площадкой достижений. Предлагать халтуру из «Дон Жуана» — нелепо — «горе от ума», потому что это экзамен. Если мы не можем играть, то мы должны сделаться жертвой. Я не вижу из Ваших слов, как мы дойдем до того, что сможем приглашать

новых актеров, а не удовлетворять личные заинтересованности. «Дон Жуан», «Эгмонт» — я не вижу плана настоящей реформы академических театров.

Юрьев (*оправдывается, протестует против выражения «гнуть шею»*): Данная пьеса больше отвечает высшим понятиям духовности потребителя, а заинтересовать авансом вы меня обещаете. Из Ваших слов я не понял, чего Вы имеете в виду, говоря о реформе нашего театра. Укажите на приглашенных: я вместе со Щуко и Головиным.

Карпов: Вы называли художников. Это верно как фон, а важнее внутреннее содержание — актеры. Впрочем, кто будет играть все это? Все пьесы трудные, и причем в разной степени.

Юрьев *(с волнением):* Если не делать попытку ставить, то надо сложить оружие.

Карпов: Можно не начинать с «Дон Жуана». На этом заседание закончить нельзя. Ясно то, что приготовить спектакль за два месяца невозможно.

Экскузович: Юрьев просил освободить его как актера от обязанностей заведующего художественной частью Театра академической драмы (назначен 8 мая 1922 г.). Эти обязанности я на себя взять не могу, поэтому Юрьеву действительно надо бы распрощаться с ролью и начать выполнять новые возложенные на него обязанности.

Ге: Вопрос о репертуаре продолжим

Экскузович: Нет, не продолжим. Собираем материалы для подготовления проекта о заключении условий с художниками. Этот вопрос еще не ясен.

Кристи: Как же так: без материальной части быть академическому театру? Мы руководствуемся именно этими требованиями по выработке условий, которые вызовут отклик у публики в отношении трагического, героического репертуара. Мы переживаем период героического времени. В прошлом мало таких волнующих страниц, когда натура нации выявляется в такой форме.

Коля: Если иметь в виду репертуар русского актерства, то ни одну пьесу нельзя ставить русскому актеру, разучились работать над ролью. Но это не предмет нашего совещания.

Карпов: Есть пьесы и пьески. Но фиаско без фиаско не может идти. Даже в «Чайке» Московского Художественного театра не было «чайки». Я понимаю, что всякому режиссеру приятно «блеснуть очаровательностью». Но без актера нет театра. А потому нельзя сейчас решать вопрос с «Дон Жуаном»!

Кристи: Это хороший вопрос, но лучше бы перейти к обсуждению. У меня вопрос к Юрию Михайловичу: как он

собирается осуществить эти проекты?

Коля: В театре довлеет только тот, у кого больше воли. Нельзя же против воли ломать характер актера.

Кристи (*потешаясь над репликой Ге*): Было все же желательно начать с «Дон Жуана». Но вот Григорий Григорьевич высказывает сомнение: возможно ли в два месяца приготовить такую пьесу, как «Дон Жуан». Итак, сможем ли мы вообще открывать сезон? И с этой ли пьесы мы его открываем?

Гнедич: А.Толстой даже не первосортный русский писатель, а потом едва ли с него можно начинать. Лучше бы с «Эгмонта» или с «Мещанина во дворянстве» Мольера.

Юрьев: Все же важно начать со значительной русской пьесы.

Гнедич: В былое время справлялись к 15 августа, используя питомцев театрального училища.

Коля: Художественный театр начал свою деятельность с пьес А.Толстого.

Экскузович: Большие пьесы необходимо ставить в начале сезона, ибо иначе их не поднимешь. При теперешних условиях поднять такую пьесу за три с половиной месяца невозможно.

Карпов: Сегодня вышел декрет, позволяющий актерам брать отпуск до 15 августа.

Экскузович: Пока не берут, надеются на государственное обеспечение.

(Юрьев дает справку о постановке «Дон Жуана» к 15 июля.)

Карпов: Не пойдет ранее 1-го ноября.

(Кристи, видимо, поколеблен, высказывает снова опасение, что «Дон Жуан» не поспеет.)

Юрьев: Массовых сцен нет, а все интимные легко поддаются репетированию. Музыку Направника осуществит дирижер Купер.

Карпов: Она шла раз 60–70 в театрах. Я, во всяком случае, думаю, что сейчас этот вопрос не может решиться.

Ге: Надо два года подучиться. В ней разноголосица, есть романтика. А у нас нет такого актерского амплуа. Надо студийно ее подготовить.

Юрьев: Тогда надо на два года закрывать театр.

Ге: Нет, не надо. По одежке — протягивай ножки!

Таиров (*дает справку, как в Испании ставят «Дон Жуана»)-*. Спектакли идут в ноябре. Так не руководствоваться ли нам этим примером?

Коля *(дает справку насчет срочности постановки*): В МХТ из-за болезни Станиславского все же не решились давать Карамазовых в постановке Крэга.

Карпов: Это другое дело.

(Коля между тем кивает Карпову, давая понять, что ему с

Юрьевым не столковаться.)

Юрьев: Опять речь не о реформе театра, а о приспособленчестве в предстоящем сезоне.

Карпов: Все же следует начать распределение ролей.

Юрьев: С удовольствием. Только я еще не согласовал этот вопрос с режиссерами. На всякий случай, это выглядит так: Дон Жуан — Юрьев, Лепорелло — К.Яковлев, Анна — Тиме, остальных еще не наметил.

Коля: Нужно это согласовать с режиссерами на Совете с управляющими.

Экскузович: Может быть, режиссерам было бы полезно знать мнение Совета, но он еще не обсудил этот вопрос.

Карпов: Мне кажется, что даже вправе знать пожелание и главного режиссера.

Экскузович: Заколдованный круг. Полезно, быть может, вести подготовительную работу.

Гнедич: Согласен с ним, а не с Евтихием Павловичем.

Кристи: Этого времени у всех предостаточно. Вначале должно быть все решено, а затем представлено Совету. Мы уже будем этим руководствоваться и выполнять. Предлагаю высказаться насчет актеров и режиссеров.

Коля: Этот путь приведет к полному тупику, затору. Мне даже опять стало невмоготу — остается обреченная на неудачу обязанность.

Мгебров: Я просто считаю невозможным обещать выполнять предписание. Режиссерство застало меня врасплох. Предлагаю оставить обсуждение инструкции и плана до следующего заседания, когда со всеми будут утрясены все вопросы.

Карпов: Надо, в самом деле, подготовиться.

Коля: Каждый режиссер ставит по своему плану.

Ге: Нельзя удалять заинтересованных лиц. Следует положить этому конец, говорить с актерами задушевно.

Карпов: А как насчет религиозности?

Юрьев: Я в пьесе богов заменил.

Кристи: Можно сделать вывод, что подготовка к сезону напоминает тот анекдотический характер, которым славится крестьянская Русь.

Юрьев: Сообщаю степень готовности отмеченных спектаклей: «Дон Жуан», с музыкой все ясно — Гаук, художник Щуко, декорации Головина, режиссер определяется. Комедия-балет «Мещанин во дворянстве»: режиссер А.Бенуа, его же декорации исполняет его сын Николай Бенуа, музыка Асафьева. «Посадник» А.Толстого, рекомендованный из Москвы, в стадии подготовки, моя роль — боярин Черемной.

Намечается на конец сентября. «Смерть Ивана Грозного» по А.Толстому под вопросом. Хотя ставить можно — есть старые декорации, но не решен вопрос о дирижере.

Ге: Протестую против этих уверток. Известно, что режиссеры приходят и уходят, а труппа остается. В каком она положении сейчас, если с 1918 года нет спектаклей в Александринке?

Юрьев: Режиссером «Дон Жуана» является Н.В.Петров, комедию-балет ведет Бенуа. Его же перевод и композиция. «Эгмонт» по Гете, музыка Бетховена. Роли еще не намечены. Режиссер К.Хохлов.

Кристи (*снова беспокоится*): Нужно ли ставить «Дон Жуана» и с него ли начинать театральный сезон? *(Предлагает высказаться Коле, но он отказался, так как ему надо еще прочесть последние инструкции.)*

«Раз все настроены на единоличное решение вопросов, то нечего переносить обсуждение репертуара на Совет», — сказал Экскузович и ответил на вопрос о тарифах, что вопрос оплаты актерам передан в отдел труда.

Очередное заседание Совета наметили на 15 июня.

21—24 июня. Пребывание в Москве

Среда, 21 июня. Москва встретила нас жарой и обдала духотой. Направляемся в Третьяковскую галерею, где намечена предварительная беседа представителей Москвы И.Грабаря, Л.Нечаевой, от Эрмитажа С.Тройницкого и меня как художественного эксперта с польскими претендентами на возвращение трофейных художественных ценностей. Первым представился нам Мрачковский, в котором Тройницкий признал своего знакомого и якобы свойственника Юсуповых. Другой поляк — носитель странной фамилии Мебель Михаил Абрамович. Нечаева только что закончила беседу с Мрачковским, вмешался Грабарь, согласованное было мнение подверглось сомнению, и все остались недовольны суждением Нечаевой. Тройницкий, Нечаева, Мебель и Мрачковский удалились, а я остался с Грабарем, который поведал мне подробности претензий поляков. Они хотят получить картины польских художников, а также их академические работы, которые сосредоточены в Академии художеств, в Третьяковской галерее их нет, намерены получить из Гатчины гобелены, когда-то принадлежавшие Польше и т. д. По поводу увезенных москвичами картин из бывшего музея Академии художеств Грабарь ответил, что не сегодня завтра их можно увидеть в Румянцевском музее, где готовится выставка. У

Игоря появился несносный тон. Он стремится обезопасить себя со всех сторон: от нас и от поляков. Между тем он поведал о своем друге Ляпунове, каталог коллекции которого уже издается Третьяковской галереей. Рассказал о профессоре Сидорове, который устраивает танцы с голыми девицами, как в кино. Даже выкликают: «Озирис! Озирис!»

Прошлись по залам галереи, и я увидел свои «Версали» вместе с произведениями Гюбер Робера, Ромбоутса, Рокотова, Тропинина.

Вечером в гостинице читал газеты. Приводятся высказывания англичан о гибели Европы в случае, если Франция не уступит Германии в вопросах репарации. По сведениям Грабаря, Ленин уже поправляется.

Четверг.

Более прохладный день. Утром в отдел снабжения. Здание внутри двора. Тройницкий перещел сразу к делу, высказав беспокойство по поводу отопления Эрмитажа. Аржанов тут же позвонил куда-то и заявил, что Эрмитажу дрова выделены. Дело за транспортом. Обещает автогрузовики, а из Гатчины — мотор. И заверил, что на этот раз музей от морозов не пострадает.

В 10 часов мы в новом здании Гохрана. Шли туда мимо Английского клуба, который уже без забора. Но по панели ходить нельзя. Пропуск оформляем в комендатуре. Как раз подъехал Базилевский, молодой увалень, парень-тюлень, добродушные глаза, пританцовывает от удовольствия: увидел давно ожидаемого Тройницкого. У них особый разговор.

На третьем этаже — масса драгоценностей — ожерелье, короны, «Фонтан», диадемы с жемчугами, бриллиантовые ювелирные украшения, собранные во всех концах страны усилиями Помгола, который намерен ювелирные изделия превратить в лом и таким способом реализовать все эти драгоценности. Против этого выступил Гохран и пригласил специалистов Москвы и Петрограда сделать выборку подлинных шедевров, отделить то, что идет на лом. Эту работу частично предстояло выполнить Тройницкому и Грабарю, последний уже сделал выборку для московских музеев. Присутствующие после беседы вручают Тройницкому фото знаменитых алмазов «Великий Могол» и «Шах». Тройницкий остается здесь, я иду в Художественный театр. Вокруг — грязь, внутри — по-старому — затхло. Встреча с Володей (Немирович-Данченко) и с Костей (Станиславский). Возмущаются наплывом в театры непутевых

художников, режиссеров, актеров. Заброшены когда-то смелые творческие начинания, огромный разрыв с прежними традициями, что их и беспокоит, так как падает уровень культуры. Иногда не поймешь, что изображено на сцене: лес, в котором гуляет герой, или герой в лесу. Театр отдан «фигляру презренному». «И мне, пожалуй, — сказал Костя, — уже не смешно».

Выражают свое тяготение к «Миру искусства». Помянули Алексея Александровича Стаховича, так бесславно ушедшего из жизни (повесился в 1919 г). Вспомнили завет Волконского: «Нельзя учить людей, которые думают, что они все умеют, нельзя прививать хорошие привычки людям, которые укореняются в дурных, — это напрасная трата сил». Или: «Зачем несовершенство одного искусства переносить в другое?» На этом и расстались. Глупо гибнуть в лабиринтах пролеткультовских споров, превращая театры, студии в очаги идеологического абсурда. Это уже человечество проходило на примере французских преобразований времен революций. Здесь же потеря острого театрального зрения у новоявленных деятелей культуры.

В переполненном помещении состоялась встреча с поляками. Мрачковский заявил, что они еще не до конца обдумали свои намерения, и попросил дать им время для согласования, что и было сделано. Я же понял, что вряд ли в такой ситуации пригодится моя справка о принадлежности картин Йорданса и Рембрандта. В беседе с Троцкой — заведующей музейным отделом — мне не удалось выяснить суть вопроса, она в нерешительности, но просит в этом вопросе уступить.

Коварные требования Мрачковского все более запутываются. Тройницкий уже изуверился в разумном решении проблемы передачи. Поляки выставили требование вернуть им из Гатчинского дворца-музея гобелены, некогда принадлежавшие Польше. Посягают на ряд картин из Эрмитажа и Русского музея, даже на те, которые поступили в качестве подарков. Просят вернуть из Эрмитажа ряд гравюр и рисунков старых мастеров.

Пятница.

Не будя Тройницкого, я ухожу из гостиницы в Третьяковскую галерею. Грозовое небо над Кремлем. У Третьяковской галереи сломан забор. Застаю Грабаря за рассматриванием картины Левицкого. Они готовят выставку Рокотова, Левицкого и других живописцев XVIII века. Показывает план научного подхода к экспозиции, направлен на опорочивание Дягилева.

Мои вещи и вообще вся эта экспозиция выглядят так, что хочется поскорее уйти. Грабарь снял с выставки три мои портрета. Стращает ревизией музеев. У них она идет по доносу. В два часа в Наркоминдел. Маята в ожидании поляков. Опоздали на час. Мы сидим отдельно от них. Через час выясняется, что заседания не будет. По просьбе Петра Лазаревича Войкова мы остаемся (совсем как на Гороховой), чтобы не срывать заседания. Последний час с нами сидел Мрачковский и изложил тактику его делегации. Грабарь тем временем выражал свое восхищение французской школой живописи, начиная с барбизонцев, импрессионистов и кончая сезанистами. По его убеждению, на этом фоне другие школы живописи могли бы и не существовать. Наконец явился главный представитель польской делегации. Блондин, словно струятся глаза с уходящими веками, усы, торчит клок. Не без причуд. (Он доктор наук. Мне выразил пожелание дописать «Историю живописи», которой он так очарован.) Стараясь нас обласкать или замучить, он стал обращаться к нам со словами «товарищ», что мне показалось дурным предчувствием в смысле интерпретации взаимных претензий. В счет уплаты долга в 27 миллионов они требуют часть произведений искусства, жемчуг и 30 миллионов репараций. Контрибуцию в 120 миллионов за помощь Петлюре Польша оспаривает, в сумме готова уступить. Пилсудский ведет дело к монархии, Ольшевский его достоин, занимается опорочиванием Троцкого, напускает всех против него. Характерен его триумф с конем Понятовского.

Снова иду в Художественный театр, на этот раз с Марией Андреевной Ведринской — актрисой. «Царевич Алексей» у них никак не Алексей. Его сыграла Елена Петровна Карякина. Барабанов Н.С. в очках едет в Америку. Здесь же Лужский, Качалов с сыном, Леонидов. Оживленная беседа о претензиях поляков, поведении Грабаря и о деятельности БДТ.

Вечером Б. В. Кулешов. Его прямо «обновил» театр, а он — освещение сцены.

Суббота.

Чудесный, ясный и свежий день, густая зелень листвы. В 11 часов в особняке Морозова. Умиляют «Зимнее утро» Сислея, бульвары Моне. В Сезанне же разочарование. Се ля ви. Ужас от М.Дени. Сплошное поучение Грабаря наконец надоедает. Хранительница вынесла картину Моро, и «влюбленные в “Соборы”» К.Моне встрепенулись от восторга. Но многие вещи нам не показали, они таятся в запасниках. Огорчены бесполезно

затраченным временем. Сказалась незрелость вкуса в музейной среде. И как всегда в таких случаях выплыл секрет Полишинеля: в Румянцевском музее инкогнито реставрирует какие-то картины поляк.

Из самовольно захваченных вещей из Академии художеств выставлены в Румянцевском музее 24 июня 1922 года, в комнате перед библиотекой, следующие (названия картин произвольные, не совпадают с каталожными):

Ф.Гварди. Венеция.

К.Коро. Оба пейзажа, кроме того, два маленьких, два средних.

Н.Диаз. Цыгане, кроме того, четыре небольших и два больших этюда. Девочка XVII века, Турчанки, Восход солнца, Луис с собакой.

А.Гийомен. Просека в лесу.

Ш.Шаплен. Ожидание, кроме того, очень хороший портрет дамы.

Э.Мейсонье (оба). В закупочной. Коваль у столба.

А…екан. Автопортрет. Битый заяц и петух. Монах. Турки (не его). Нищие (не его).

Ш.Добиньи. Дома на берегу Сены, кроме — того, один средний и один маленький эскизы.

К.Тройон. Грозовой сюжет с утесом и скотом.

Т.Руссо. Хижина. Вид в Барбизоне.

Г. Робер. Рыбалка.

Э.Делакруа. На берегу Тибра.

Ж.Дюпре. Дубы у дороги.

Ш.Жак. Овчарня.

Ж.Жером. Дуэль.

Эж. Фромантен. Ожидание переправы через Нил.

Ор. Верне. Турок с лошадью. Лошади в лесу.

Э.Изабе. В церкви.

Ж.Милле. Собирательницы хвороста.

Г.Курбе. Море.

А.Гильомен. Дворец в Агре.

Т.Фрер. Пейзаж.

Н.Ланкре. Галантный урок скупой даме.

Ж.Моннуайе. Дама с саком.

И.Бекелар. Страсти Христовы.

Из русских художников мельком увидел П.Федотова, В.Худякова 1837 г., В.Штеренберга «Спорщики», Геймера «Художник под зонтом».

Это нужно:

1. За Левинсоном: получить точный перечень гравюр и рисунков зарубежных мастеров из польских собраний.

Об этом будет речь с поляками 25 июня с Тройницким.

2. За Марка Философова заступился С.Н.Тройницкий. Найти Н.Кондакова и доставить в Эрмитаж.

3. Посетить московских коллекционеров. Недоразумения с Левинсоном.

В последние дни пребывания в Москве в Художественный театр уже не заходил. Утомили бестолковые заседания, на которых так и не решили ни обмен с москвичами, ни возврат польских трофеев. Начались взаимные недопонимания. Слова Войкова в отношении Польши прямо не очень дружественные.

Вторник, 4 июля

Наша домработница Мотя Шаповалова побывала в КУБУ и выяснила цены на продукты. 4 фунта сахара, которые нам выделили,*по 500 000 рублей за фунт, 8 футов муки по 457 500 рублей.

На рынке цены еще более внушительные.

Суббота, 7 октября

Сегодня, наконец, собрался с силами и написал письмо заведующему художественной частью Александринского театра Юрию Михайловичу Юрьеву, в котором выразил негодование за напрасно потерянные полугодовые труды в театре, в который, кстати, был приглашен, но отдан на растерзание бестолковым чиновникам.

> «Дорогой Юрий Михайлович!
>
> Несмотря на свое отвращение к письмам, все же вынужден Вам писать, ибо наши беседы ни к чему до сих пор не привели. Помните, как я топорщился, как Вы сделали мне честь обратиться ко мне, помните, как я Вам пророчил, что именно то и должно произойти, что сейчас произошло и происходит. Однако задача могла быть и не так трудна. У меня слишком *тяжелый* опыт с моей деятельностью в Мариинском театре, и я слишком хорошо успел познать как нашего симпатичного и героического директора, так и всех его аколитов, чтобы рассчитывать на благополучный исход в этом новом случае. Но Вы своей настойчивостью сломали эту косность.

Впрочем, имейте в виду, что я вовсе не иронизирую, когда только что назвал нашего директора симпатичным и героическим. Таким я его считаю всерьез, его обаяние поддается деформации больше чьего-либо (недаром я в нем узнаю многих, но, увы, не всех черт Дягилева). А в его героичности нетрудно убедиться всякому, кто видит его борющимся со всеми стихиями, а среди них с самой страшной — со стихией ничегонеделания и вытекающей из нее деморализации.

Но, дорогой мой Юрий Михайлович, не симпатичность, не героичность — наши друзья. Не манию героичности, что отличает меня от него, чего должен ожидать от Ивана Васильевича (Экскузовича), а именно деятельности, теперь же этого не получается. В случившемся (в нарушении договоренности) Вам могло показаться, что я театру все же нужен, что мной можно даже козырнуть. Вот почему и он принял активное участие в привлечении меня вновь, пойдя на повинную и на все мои условия, на столь для меня долгожданную надежду. Но теперь, когда его захлестывает помянутая стихия, ему требуются усилия и ему не до меня, не до того искусства, которое я представляю. И это до того понятно мне, что я, к собственному удивлению, не нахожу в себе злобы на этого чиновника, уступив его капризу. Я убил свои силы на самую деятельную работу над спектаклем, забросив все свои труды дома. Могу винить только себя, свою слабость, свою недогадливость, а также и Вас, дорогой мой, ибо Вам следовало бы привлечь меня к делу, учесть свойство моего характера и взять меня специально своим исполнителем.

Да, дорогой мой Юрий Михайлович, этого Вы не сделали, что тревожит меня, ибо считали почтенным человеком, опекали как «дедушку» и «патриарха». И вот мне снова приходится переживать весь срам и все мытарства с «Петрушкой» и «Пиковой дамой», то есть я должен конфликтовать, что не в моем стиле. Как можно со мной не считаться, как можно довести все дело до того, что я оказался ненужным, беспомощным и т. д. Разумеется, в глубине души я остаюсь «особа в себе» и вовсе не предосудительного мнения. Но, увы, этого возмущенного сознания своего достоинства не всегда бывает достаточно, и, во всяком случае, я могу быть в претензии на мое твердое одиночество, которым лишний раз подверг испытанию силу моего воздействия на

других, благодаря коим я вижу, что я опять, несмотря на все мои достоинства и сознание их, оказался в дураках.

Вынудила меня высказаться сила моего воздействия, благодаря Вам я вижу на себе очень смехотворный дурацкий колпак.

Однако довольно суесловия и перейдем к сути. Дело это в моем *совершенном убеждении*, что «Мещанин во дворянстве» не пойдет и, во всяком случае, не пойдет в этом сезоне. Зато устроили постановку для кучеров, а нужно культуру театра поднести не как «Дневник сатаны», «Дядюшкин сон» и массу еще другого, не считаясь уже с заказанной и наполовину приготовленной пьесой. Все это в порядке вещей, столь же в порядке и то, что я до тех пор не единым словом не отстаивал интересы «своей» пьесы, молчал во всех тех случаях, когда нередко назревали обстоятельства, явно зловредные для меня, а, следовательно, и для судьбы театра. Моя постановка, по моему внутреннему убеждению, могла бы его уберечь от нудных парадоксов. С подмостков Александринской сцены раздался бы вечно заразительный смех Мольера, поднесенный без выкрутасов на чисто актерском мастерстве и в приличной обстановке.

Но вот, повторяю, я уверен, что этому смеху никак не суждено раздаться, а потому прошу отпустить меня.

Я знаю, Вы будете протестовать. Вас я этой жалобой огорчил, но все же мой этот шаг вызывает чувство облегчения и серьезную настоящую симпатию героизма. Но окончательно затурканная дирекция восхищенно молится на министерство финансов и утешает новых аколитов от «Меблированных комнат королевы», успокаивает, анонсируя «Дневник сатаны», являющийся презентом для гениального Раппопорта, а для остальных спектакль пройдет незамеченным, только иные тоже похвалят дирекцию за разумную экономию. Между тем — более чем своевременно — с этим вопросом накопительства пора покончить. Этой постановкой я хотел залатать все свои издержки за восемь месяцев этого года (я принялся за сочинение эскизов и за разработку текста еще в июне). За все это время я ничего не писал касательно декораций, не сделал ни одного эскиза, я вообще забросил все свои дела (кроме эрмитажных), и с этим теперь пора покончить, ибо я не настолько богат, чтобы бесконечно отдавать даром свое

время на подобные пустые затеи. И Вы, дорогой, должны мне облегчить, как вытащить ногу из стремени. Я же этого не осуществлю, от того, чтобы вообще когда-нибудь поставить гениальную пьесу своего любимого автора на сцене Александринского театра, а особенно удивительно, что я сам ее оставляю при Вашем участии под эгидой дирекции. Я мечтал использовать все то, что я придумал, но именно для всего этого теперь не время, и не потому, что мне так обещано, не потому, что в театре не до меня, но для того, чтоб бездарно отнеслись к моей художественной личности, к моему художественному труду, и между тем без этого никакая работа у меня не пойдет. Подождать более сносной обстановки, возвращения в более культурные условия, ждать более сознательного отношения у наших заправил (в частности у нашего симпатичного и героического директора). К тому, что я из себя представляю, что я могу дать театру? Я могу дать довольно много, но, разумеется, не в том, что будет служить чудовищному блудословию, как то: заседания, на которых до моего настоящего художественного авторитета, до удивления, нет никакого дела, и не в том, что буду тратить свои нервы на переговоры с Божидаром, на ожидания обещанных телефонов…

От всего этого умоляю Вас избавить меня и вообще разрешить мне уйти в ту тень (в отношении Александринского театра), из которой Вам угодно было меня вытащить».

Вторник, 24 октября

Вчера был на собрании в Музее Государственных академических театров. Выслушал доклад управляющего балетной труппой Л.С.Леонтьева. Всего лишь два месяца, как возобновилась деятельность балетной труппы, и она вызвала волну возмущений, создалась, по его мнению, удушающая атмосфера злопыхательства и подвохов. Открытое собрание с приглашением общественности, театрального руководства и сотрудников прессы, которое призвано оживить деятельность балетной труппы, избрало хореографический совет, в который с одобрением и включили меня, узнав о моем намерении участвовать в его работе. Высказывал свои недовольства прессой балетмейстер Ф.Лопухов, которого обвинили в искажении заветов

М.Петипа, в попытках ставить балет на музыку симфонии, в частности, Четвертой симфонии Бетховена, названный «Величие мироздания» (танец-симфонизм).

То, что вчера выслушал на балетном собрании и в беседе с балетмейстерами, то сегодня решил обобщить и развеять те тревожные нотки, которые раздавались и звучали в иных речах. Сейчас балетный мир взволнован одним вопросом, который обсуждается на всех собраниях, при встречах. Можно ли касаться классических произведений хореографии, вносить в них свои изменения? Или же надо сохранять их в полной неприкосновенности, как забальзамированные останки, завещанные славным прошлым? Возник этот вопрос в связи с теми «изменениями», которые внес, «позволил себе внести» Ф.Лопухов в двух балетах Петипа, и нашлось немало людей, как среди артистов, так и в публике, которые усмотрели в этих поступках своего рода кощунство, требующее немедленного пресечения.

О моем отношении к вопросу я сейчас выскажусь, но перед тем мне хочется указать на самый факт этих изменений Лопухова, и даже на факт тех толков, которые ими возбуждены, указать как на отрадное признание возвращения к жизни нашего балетного искусства. Ничего подобного два года назад не могло быть. Слишком были все тогда поглощены заботами о хлебе насущном, о том, как бы только пережить (и выжить) грозивший гибелью кризис. Чудом и благодаря усилиям отдельных лиц и значительной части всей корпорации сохранилась наша гордость — наш славный балет, несмотря на всю сложность и на всю кажущуюся хрупкость. Но «еле прозябая» и сохраняя себя «во что бы то ни стало» для лучших времен, балет тогда не являл той трепетности, того горения, той страстности, которые являются настоящей красотой художественного балета. Напротив, ныне видно: трепетность, горение и страстность вновь сделались возможными. Они уже налицо. И если судить по этим симптомам (наблюдателю современности ими пренебрегать не следует), то как будто и самый кризис подходит к концу, смертная опасность, которая ему грозила, исчезает. Выступают уже элементы, жаждущие движения вперед, проявляются и такие, которые хотят задержать это поступательное движение. Значит, жизнь возвращает себе свои права, а возникающий спор позволяет, с одной стороны, ожидать от ближайшего будущего волнующих поисков новых художественных истин. Он же гарантирует то, что поиски эти будут проходить под бдительным контролем таких людей, которые умеют с пиететом относиться к тому, на чем они воспитывались и что им даровано счастье художественных

наслаждений.

В сущности, в поставленном перед нами вопросе все сводится к этому. Имеются ли у нас подобные элементы, достаточно ли насыщена и богата специальная культура балетного мира для того, чтобы и двигаться вперед, и хранить накопленное? Не может ли обнаружиться и здесь то печальное явление, которому мы бываем так часто свидетелями в разных областях искусства и что вовсе не составляет особенности одной русской (исстари славящейся своей бесшабашностью) жизни, а чем грешит весь балетный мир? Не может ли здесь и обнаружиться то явление, которое в обыденных беседах клеймится словом хулиганство? Не грозит ли и балету все то шарлатанское или гаерское озорничество, которое под знаменем левых исканий действительно разрушает культуру, искусство наших дней и в сугубо безотрадных формах скопляется на подмостках драмы?

Если бы подобное угрожало нашему балету, я бы поспешил присоединиться к самым консервативным элементам, и вовсе не потому, что был бы вообще солидарен с ними, а потому, что надлежало бы в первую очередь отстаивать самое дорогое от случайных посягательств людей, которые избрали бы храм Терпсихоры для своих фокусов и для авторекламы. Пусть делают фокусы и пусть рекламируют себя. Эти фокусы и реклама по своему тоже украшают жизнь и придают ей блеск и остроту. Но не годится, чтоб подобное творилось в святилище, над созданием которого трудились поколения и которое сейчас держится только при самом бережном отношении целого круга лиц, сознающих свою задачу как жизненную миссию, сознающих свои кровные связи с прошлым и как бы давших обет — полученное наследие вручить следующим поколениям.

Итак, если в тех новшествах, которые замечены в балете (в старых балетах), проглядывает гримаса рекламы, если здесь брошен вызов традициям, всему опыту прошлого, если это есть начало той мерзости запустения, которая до сих пор миновала балет, несмотря на все невзгоды, то нужно протестовать всеми силами. Это значило бы, что червь завелся внутри организма, остававшегося до сего времени здоровым. Нужно безотлагательно принять самые радикальные меры, чтобы оздоровить заболевшее тело и по возможности вытравить эти элементы заразы. Напротив, если ничего угрожающего по существу в этих невежествах нет, то следует их приветствовать, увидеть в них как раз выявление того самого пиетета, который нам так дорог, но уже пиетета, не ограничивающегося охраной закоснелой старины и мумификацией некогда живых организмов, а пиетета трепетного, относящегося к этим организмам, как к живым, помогающего им

в дальнейшем развитии и росте.

Я достаточно хорошо знаю балетным мир, чтобы предлагать этот вопрос, не имея готового ответа, подкрепленного опытом многих лет, а в том числе и последних лет. Нет, тем именно мир русского балета и отличается от остального театрального мира, что он обладает необычайно прочной устойчивостью. Уже то, что балет огражден от наплыва дилетантских элементов, что благодаря своему питомнику — балетному училищу — он зиждется на прочных основах целой художественной науки, что в нем элементы ремесла, мастерства, техники, теснейшим образом (наподобие того, как в старое время это было во всех других художествах) сплетены с элементами творческими и чисто эстетическими, уже все это сохраняет за балетным миром великое благо единой и преемственной культуры. Смелые новаторы здесь не появляются извне, а являются такими же питомцами обшей школы, прошедшими всю сложность ее науки, познавшими всю мудрость и целесообразность, готовыми именно ею пользоваться в своем творчестве. И самый дух традиции им не привит механически, а пропитывает их сущность. Иные и способны увлекаться тем, что выявляется в области танцев вне храма академической Терпсихоры, они даже готовы клясть рутину, схоластику «классической» балетной техники, но в то же время они, благодаря своему воспитанию, являются великими знатоками ее, а знаток в громадном большинстве случаев относится с внутренним уважением к тому, что он изучил. Он знает, как трудно все это далось, и даже в том случае, когда он ничего не слыхал об истории своего предмета, то все же он безотчетно чувствует его корни. Для него искусство не начинается с сегодняшнего дня и менее всего с него самого. Он знает, что он стоит в цепи и ценит это свое место.

Вот мне и кажется, что все те страхи, которые возникли по поводу того, что даровитый и пламенный Ф.Лопухов «позволили себе внести» какие-то изменения в мизансцены «Спящей красавицы» и «Раймонды», что весь этот переполох по самому существу ни на чем не основан. Да и не изменения внес он, а поправки. Мне скажут — это сугубая дерзость — поправлять Петипа, того самого Петипа, которого балетный мир склонен «апофеозировать», в котором он желает видеть непогрешимого и абсолютно гениального художника. Я лично этого отношения к Петипа не разделяю и думаю, что ему персонально приписывают очень много, много такого, что было школой того времени, когда он рос и воспитывался. Но как бы то ни было, имеются создания Петипа, всеми нами чтимые, всех нас восхищавшие и восхищаемые, и как раз эти-то шедевры нынешняя

балетмейстерская молодежь решается «поправлять», в чем она и выдает, по мнению многих, неслыханную «самонадеянность». Эти «нынешние» решаются затемнять художественные образы, завершенные гением, своими ретушами!

На самом деле это, однако, не так. Не только я не могу усмотреть во всем, что произошло, признаков дерзости, но мне кажется, что поправки и изменения были продиктованы самым пиететным чувством к этим произведениям, реконструкция была произведена с величайшим вниманием.

В одном случае в «Спящей красавице» Лопухов не столько поставил себе задачу внести что-либо новое, сколько счел нужным вернуть старое к тому, что под действием времен (особенно пагубно сказывающимся на произведениях сцены, которые нельзя повесить на сцену или спрятать в шкафу) изменилось до неузнаваемости, что утратило даже простой и «живой» смысл. Я отлично помню «Спящую красавицу» такой, какой она шла первое время. Только что выпущенная из «мастерской» Петипа, с Брианцей, Гердтом, Стуколкиным, М.М.Петипа, Кшесинской, Чекетти и Никитиной в главных ролях. И вот я отлично помню, что тот балет был иным по самому смыслу, нежели позднейшая его редакция, просто утратившая (отчасти и из-за бездушно-блестящей обстановки Коровина) всякий смысл, превратившая его в одну из тех пошловатых, пустых феерий, которыми угощают в Париже и в Лондоне не слишком требовательную публику. Лопухову было невыносимо тяжело видеть, что чудесная музыка сопровождает бессмысленное действие на сцене, что прекрасные, чисто балетные куски чередуются с нелепейшими рутинными «размахиваниями рук», всегда заменяющими в мертвеющих произведениях настоящую пантомимную драму.

Лопухов слишком молод, чтобы помнить первоначальную редакцию «Спящей красавицы», но движимый тем самым пиететом, который нам так дорог, он «отказался допустить мысль», чтобы Петипа мог в свое время утвердить все те бессмысленности, которые, прикрываясь его именем, водворились в его произведение в качестве губительного паразитного элемента. Лопухов дерзнул освободить все еще живое тело балета от этой наросшей гнили. «Спящая красавица» от этого выиграла и заблистала своей прежней свежестью, она снова отошла от феерии и вернулась к хореографической драме, к ней в значительной степени вернулась ее поэтичность. Неужели же за все это Лопухов достоин кары и правы те блюстители заветов, которые усмотрели в этом соблюдении одно лишь пренебрежение традиций?

Напротив, я желал бы, чтобы Лопухов не остановился на этом, но продолжил свое дело освежения, возвращения к жизни, причем я оставляю за собой право и не согласиться с ним, если бы он (помимо собственного намерения) перешел бы вдруг через границу дозволенного — границу, которую, увы, невозможно вперед установить и которая отмечена тем, что принято называть тактом.

В «Раймонде» произошло иное. Здесь, вслушиваясь в музыку, Лопухов решительно отверг ее балетную «иллюстрацию» в финале второго действия, и тут «дерзание» его пошло дальше, чем в «Спящей красавице». Он действительно придумал новое окончание этого акта, вместо того длительного «недоумения», которым Петипа его завершил. Он постарался придать известный смысл тому, что происходит перед зрителями, после того как сарацин повергнут мечом крестоносца и всякая опасность для героини балета исчезла, самой Раймонде он дал активную роль, и нужно сознаться, что если благодаря этому ничего существенного в «осмыслении» этого, на редкость бессмысленного, балета, не получилось, то все же то тягостное «недоумение» рассеялось, и теперь завершительная сцена второго действия кажется убедительной (или почти убедительной).

Итак, здесь Лопухов решительно вставил свое новое, о чем Петипа как будто не помышлял. Но и в данном случае имеется достаточно оправдания поступку Лопухова, и первым среди них является то, что он ничего не заменял, а лишь «пополнил пустоту», угнетающую своим контрастом с пышностью и великолепием того симфонического номера, которым Глазунов кончает это действие. И вот теперь оказывается, что и композитору такое заполнение пустоты казалось всегда (и еще в самые дни создания балета) не только желательными, но и прямо необходимым. Несомненно, что Петипа оставил это место не разработанным, вероятно, в силу одного из тех приступов «творческой немощи», которая известна всем художникам и которая посещает их иногда, совершенно внезапно решительно парализуя их фантазии. Самые даровитые подвержены этим «приступам бездарности». И иногда лучшие произведения («Раймонду», впрочем, нельзя причислить к лучшим произведениям Петипа) бывают искалечены действием этих приступов. Лопухов из уважения к Петипа постарался заполнить получившуюся пустоту, он сделал это с величайшей бережливостью, с отличным тактом, не позволив себе что-либо, что нарушило бы весь стиль (столь условный) данного балета. Неужели в этом можно усмотреть кощунство, и разве не выявилось здесь скорее то, чем так силен русский (и в частности,

петербургский) балет — пиетет? Но, разумеется, здесь налицо не пиетет буквы и рутины, а пиетет по существу — то самое, что может уберечь наш балет от всех тех благоглупостей.

Вторник, 21 ноября

Любопытные материалы оставил мне В.Воинов, покидая свое ночное дежурство в Эрмитаже. Он же поведал и грустную историю о внезапной кончине мецената, собирателя современной живописи А.А. Коровина, который мечтал создать музей русской современной живописи и передать его городу. Свое собрание картин Коровин хранил в Русском музее.

Записи Воинова относятся к 19 ноября — о банкете по случаю закрытия выставки «Шестнадцать», экспонентом которой он являлся в числе таких художников, как Рылов, Белкин, Фешин, Бобровский, Шиллинговский, ведущих активную творческую жизнь, испытавших влияние как Академии, так и новых течений, но все же стремящихся сохранить свое творческое лицо. Вот записи В. Воинова:

«Сегодня я отправился на закрытие выставки «Шестнадцать» в Аничковом дворце. Познакомился там с Аркадием Александровичем Рыловым. После закрытия выставки пошли в Европейскую гостиницу, пообедать на остатки доходов от выставки. Помещение гостиницы отделано заново. Шик! Европа! Беседовал с П.А.Шиллинговским. Он сетует на падение интереса к гравюрам в обществе, проектирует грандиозную выставку гравюр, к организации которой привлекает меня. Он очень заинтересовался экслибрисом, который проектирует «Аквилон» совместно с Комитетом популяризации художественных изданий.

Был тост за А.А.Рылова, которому исполнилось 25 лет после окончания Академии художеств. Все шумно приветствовали юбиляра — «художника ветра», имея в виду его «Зеленый шум».

Затем стали вспоминать разные эпизоды и анекдоты из художественной жизни и прочие забавные случаи.

А.И.Кудрявцев рассказал про скандал, случившийся на собрании: Прахов попросил слова и начал с того, что недавно они со студентами прошли археологические открытия и прочли египетскую стелу, содержание ее оказалось почти дословным вариантом мифологической басни «Педагог и розга». Речь в ней шла о том чудодейственном фокусе: кому она послужила, из того выходил толк, кому нет, из того ничего не получалось. После такого выступления Прахова, восхвалившего «чудодейственную розгу», часть аудитории аплодировала, но раздался свист. Все

успокоились. Слово получил Манганари. Речь его свелась к тому, что слова Прахова — позор и большой позор. Это были дни свободы 1905 года. Свистел — это я. Раздались крики: «Довольно». Манганари разошелся и закончил речь так: «Удивляюсь студентам, их малодушию и не протестующим подобным речам, особенно перед всей собравшейся здесь сволочью!» И при этом он снял с себя пиджак, швырнул его вдоль стола, посыпались рюмки и тарелки, и заявил, что он уходит из Академии. На другой день он действительно подал заявление об увольнении.

По этому поводу А.Б.Лаховский рассказал аналогичный эпизод, имевший место на чествовании И.Е.Репина. Обедали после выставки в Таврическом дворце. После ряда хвалебных тостов и спичей встает кто-то и произносит полуироническую речь о том, что неизвестно, почему показалось Репину, что искусство у нас так мало ценят: «Я предлагаю всем почтить Репина на радость Отчизне». Тут встает взволнованный подвыпивший Разумовский и заплетающимся языком с плачем выкрикивает: «Что же это такое? Ведь мы чествуем великого Илью Ефимовича, а здесь его оскорбляют публично. На онучи! На онучи его Ивана Грозного!» Крики: «Довольно! Успокойтесь!» Но оратор не унимался, начал будоражить, кричать. Его выводят силой, в чем принял участие скульптор Симонов. Когда инцидент улегся, Репин произнес в задумчивости: «Это у нас в России всегда так кончается!»

Н.П.Сычев рассказал забавные подробности о том, как был написан портрет Вл. В.Стасова в шубе. Сычев встретил на выставке Стасова и выразил свой восторг перед портретом работы Репина. «Да знаете, как был написан этот портрет?» — спрашивает Стасов и продолжает: «Прихожу я раз к Илье Ефимовичу, а он пишет собаку. Увидев меня, он говорит: “Становись!” Снимает шпателем свежую подготовку и на этом холсте пишет меня. Когда я шутливо заинтересовался, все-таки я, мол, не кобель. Репин взволнованно: “Все равно собака!”»

«Сколько во всех этих рассказах смеси каламбуров с эпизодами собственных небылиц», — сказал В.П.Белкин.

Л.В.Руднев припоминает собрание членов общества А.И.Куинджи, где Репин делал свой доклад о проекте памятника Л.Н.Толстому и о своих воспоминаниях о Толстом: «Да! Толстой был великий человек! Очень великий! Я его хорошо знал, а, впрочем, я рассказываю очень плохо, может быть. Вам скучно, так можете не слушать и уйти». Голос: «Просим!» Всю речь свою Репин прерывал этим: «Может быть, скучно». Наконец Куинджи, сидевший рядом с ним, вымолвил: «Говори, Илья, тебя все

слушают!»

«Эпос», — воскликнул Белкин.

Далее Репин рассказал свой главный проект, как он писал в каком-то очерке, соорудил два полушария в одной половинке, опрокинутой в воду, а на воздухе поместил «Льва с головой Льва Толстого» (sic!).

А.Б.Лаховский сообщил интересный факт. Его картина из Академического музея не была продана с аукциона. Когда он спросил у С.И.Исакова: как это могло случиться, если картину заказывали? Тот объяснил, возможно, это довольно просто, вероятно, это было предложение какого-нибудь клуба, которым мы делали картины для украшения помещений. Вспомнили доклад И.И.Творожникова, его совет: «Позолотите, посеребрите — и успех обеспечен».

Вспомнил А.Б.Лаховский еще ряд своих забав-анекдотов: «Этим летом я поехал в Псков. Пишу этюд на одной из улиц. Походят двое мастеровых. Стоят, смотрят, затем один из них обращается с вопросом: “Господин-товарищ, вы как это снимаете Псков — в профиль или фас?”»

Другой раз он работал на реке Пскове. Был тихий вечер, работал примерно полчаса, сорок минут, а потом (он дорожил каждой минутой) как назло мальчики с другого берега стали кидать камни в воду, разрушавшие зеркальную тишь воды и ясное отражение. Сначала он просил, потом прикрикнул, наконец, стал ругаться. Ничто не помогало. Мало того, один из мальчишек, выехавший на лодке, еще больше взмутил воду. Сеанс был загублен. Придя на другой вечер к тому месту, А.Б. увидел одного из своих вчерашних врагов — мальчика-еврея — и говорит ему, что если бы он (Лаховский) не был евреем, то по-еврейски убил бы его. Мальчик вскинул на него глаза, в которых он прочел нечто вроде изумления, только не испуг. Мальчик быстро удалился, ушел во двор, и вскоре оттуда вышла старуха-еврейка в сопровождении мальчика: «Э! Да он же еврей». И они доверчиво и с сочувствием стали следить за работой, молча. А затем последовало восклицание еврейское: «Ой, да у него золотые руки!»

Вероятно, как всегда, около него собирались толпы зевак, среди которых были двое в кожаных куртках с револьверами. Последние вскоре ушли, тогда один из оставшихся с явным озлоблением по адресу ушедших стал распространяться о том, что, мол, вот хотели всех сравнять, нет — всех не сравняешь. Вот человек образованный, сколько часов стоит на одном месте и проверяет, стоит и проверяет, разве наш брат неученый сумеет это сделать? Куда ни сунешься, везде в таком роде разговоры.

В другой раз его зрителями была парочка — она и он, — Лаховский работал, как всегда, не обращая внимания на них, слышит сдержанный шепот женщины: «Пойдем, а то опоздаем». — «Но уж это такой, что надо подождать». Наконец Лаховский не выдержал и посоветовал уйти, а завтра смогут увидеть результат его работы. В ответ: «Да, уйти, а где тебя завтра искать!»

Вспомнил Лаховский свои поездки в Псков на этюды еще в бытность свою в Академии, когда ездил вместе с Бродским и с Горбаневским. В начале все шло гладко, а затем начались придирки со стороны полиции, подстрекаемой лавочниками. Вызвали в полицию. Полицмейстер отрекомендовался любителем искусства, явно намекая на желание получить от них какой-нибудь этюд, но они его «не поняли», и все-таки им выдали необходимые документы в дополнение к командировке Академии художеств. После этого городовые брали под козырек и даже расталкивали толпу слишком назойливых зрителей.

Аналогичная история произошла и в Тамбове, где его отец занимал видное положение. Он был дружен с передвижниками — это были 70-е годы. Они просили его (Лаховского) посодействовать в устройстве их выставки в Тамбове. По этому поводу он написал полицмейстеру, тот отнесся сочувственно, отрекомендовавшись меломаном, имеющим знакомство с Петербургским покровителем. И тут полицмейстер не захотел ударить в грязь лицом и сразу решил завести знакомство с живописцами, предоставил свое двухэтажное здание для выставки.

Поговорили о новой книге Анцыферова «Душа Петербурга», очень хвалили ее. Белкин только удивлялся, что автор не привел очень важные стихи М.Волошина, где, в сущности, чудесно суммированы все выводы самого Анцыферова. Речь была перенесена на необозримую единственную красоту Петербурга. Основанием такого утверждения послужило единственное лето, проведенное Белкиным в Петербурге, когда он поработал с упоением, изучая краски летних закатов, указывая на тот основной красивый эффект весеннего периода, когда солнце стремится к закату, все окутывается золотистым кружевом, например, в Таврическом саду большое смещение золотистого в сером, какой-то пасьянс былого величия.

Рассказывали о занятиях А.Н.Остроумовой в Париже у Уистлера. Когда он спросил ее, у кого она училась, и она назвала Репина, ответ был: «Не знаю». Затем Уистлер предложил своему помощнику (в Париже была отдельная его мастерская, которой руководил этот помощник, сам мэтр бывал наездом) отобрать у Остроумовой все «лишние» кисти и краски, оставить и того и

другого по три-четыре. За год работы Остроумова привыкла к обобщенности и простоте, выявляя главное, и только тогда ее работы были признаны «удовлетворительными».

Еще был забавный эпизод с Горбаневским. Он писал в Пскове пейзаж с видом одной церкви. На его работу смотрел мастеровой подвыпивший, а затем выпалил: «Брось! Ничего не выйдет!» — повторив свой совет через несколько интервалов еще два-три раза. Художник не вытерпел и спросил: «Почему он так думает?» В ответ: «Говорю, ничего не выйдет! Брось!» Приподнятый тон голоса его испугал, эта уверенность «ничего не выйдет» сбила хороший порыв творчества.

А.Рылов по поводу «ничего не выйдет»: рассказал аналогичный случай с художником в саду Русского музея. Те же советы бросить, что ничего не выйдет. Художник попросил его не мешать. Тот побрел дальше и намеревался группу молодых людей, тоже писавших этюды, распропагандировать, но это только утвердило их намерение противостоять. Они заявили: «Мы его знаем, это наш профессор!» (sic!)

Попутно вспомнили Чахрова, его бездарную программу этого будущего метра. Он написал колоссальную панораму наших октябрьских переворотов в Москве. Сейчас он ее привез в Питер в багажнике на попутной. Это же свыше 60 пудов! Воображаю — шедевр!

А.Б.Лаховский вспоминает, как один-единственный раз Репин рисовал при учениках. Моделью служил кобзарь. Репин воодушевился, воспоминая Малороссию, попросил лист бумаги и начал рисовать. Рисовал робко, чуть дотрагиваясь до бумаги, затем стал все больше и больше вырабатывать, и вышел дивный рисунок. Репин встал со словами: «Хорошо провел время!»

Особенно ценил сам Репин портрет Беляева (Русский музей). А.И.Кудрявцев по заказу музыкального общества сделал копию с этого портрета. Репин ее одобрил. Стоит, смотрит на портрет: «А знаете, как он почернел, а ведь в начале был светлый, сверкал. Бриллиант на кольце так был написан, что прямо сверкал. Когда портрет был за границей, то в одном немецком журнале появилась карикатура на него. Был изображен Беляев и весь портрет был исчеркан лучами света, исходящими от бриллианта».

Особенно забавна история с его (Репина) программой, рассказал А.И.Кудрявцев: перед выступлением на конкурс ее Репин потребовал, чтобы ученики представили эскизы. Подходит к нему П.И.Сепп и говорит, что не согласен с его мнением. «Почему?» — «А потому, что эскиз — это есть интимная вещь, которую художник не должен до поры до времени предъявлять на суд публики». — «Что же, это, может быть, и так», — сказал Илья

Ефимович. Так Сепп и не представил никакого эскиза и работал над своей программой у себя в мастерской, никому не показывая. Настало время выпуска. Помню обход Репиным мастерских конкурентов. Кудрявцеву надо было видеть Сеппа, и вот, идя по коридору, он видит, что Репин выходит из его мастерской. Кудрявцев туда, просит показать картину, тот соглашается. Кудрявцев поглядел и ахнул: стоит — ничего вымолвить не может, настолько озадачила картина, на которой изображен был всадник, сидящий лицом к хвосту лошади. Наконец Кудрявцев спрашивает: «А Репин видел? Ну, как она ему понравилась?» — «Кажется, понравилась, — как всегда флегматично отвечает Сепп. — Он сказал: “Вот так штука!”»

Закончился наш обед. Мы вдели в петлички астры, которыми был украшен стол. Причем Белкин предложил считать астры нашим символом. Решили устроить выставку и обязательно собираться раз в месяц, хотя бы в помещении общества Куинджи или в Доме искусств. Первое собрание намечено на пятницу 30 ноября.

Дома печатал гравюры, сделал пять рисунков. Спать лег только в 5 часов. Да! С выставки украли картины Сычева и Руднева».

Записи Воинова интересны тем, что открывают нам Репина с иной стороны. Известны его резкие полемические выступления в прессе. А здесь он выступает в более сдержанном виде. Вероятно, это от того, что Репин не мешал студентам проявлять свою удаль, риск, не навязывал один прием, зная, что подлинный талант все же не обыденность, не подстройка к привычному. А если это «штукарство», то она само собой отомрет, и будущий, если он подлинный, художник все же разовьет свое дарование без оглядки на авторитет.

Четверг, 30 ноября

С.Яремич принес несколько номеров московского журнала «Эхо». Это двухнедельник, задавшийся целью освещать культуру и искусство как России, так и Запада. Просмотрел и остановился на заметке о выставке АХРР. Автор Тис пишет: «Весной этого года сформировался АХРР — Ассоциация художников революционной России. Судя по их декларациям, они «немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут». Выставка слаба и убога. Низкий уровень мастерства. Живописцы все срисовывали машины, а надо было писать людей, желательно ответственных сотрудников и членов правительства». И тут же: «Какое отношение к

революционному пролетарскому искусству имеет Малявин, выставивший свою “Ключницу?”» В самом деле, какое?

Сообщается, что в Вене вышел русский журнал «Искусство славян», который редактирует С.Маковский, бывший издатель «Аполлона». В Берлине открыта выставка Архипенко и Шагала. Сергей Юткевич, побывавший на ней, был восхищен.

Некий Виктор вещает: «Еще до революции чувствовалось, что русское искусство дойдет до «поножовщины» — и дошло. Создало выставку «НОЖ», но это не нож, а перочинный ножичек! Луначарский от всего в восторге: «НОЖ» — нравится, «Союз» — замечательно, «Бытие» — очень хорошо, «Вхутемасовцы» — примечательно!»

Между тем автор считает, что положение русской живописи трагично, художники не организованы, и предрекает — грядет катастрофа, если все художники кинутся к пейзажу, к лунным ночам. Выход он видит в возрождении конструктивного искусства, предметом живописи должна стать техника. К этому призывает и Илья Эренбург, насмотревшийся прогрессивных парижских выставок. Такая вот «четкая позиция» московского журнала.

Понедельник, 4 декабря

Тревожная ночь из-за болей в боку. Утром актер Кондратий Яковлев. Пришел посоветоваться относительно своей роли Журдена в «Мещанине во дворянстве». Насколько созвучен его образ внезапно разбогатевшего выскочки нашему времени. Его приход несколько отвлек от ночной немощи. Но домработница Мотя проявила бестактность в отношении с Акицей и отправилась на кухню пить чай. Это окончательно меня расстроило. Просматриваю газеты. Разоблачение Вельзевула. О, бедный Ллойд Джордж! Открытие конференции назревает в сложной обстановке.

В Эрмитаже перечитываю статью Рериха. Жду Юрьева два часа. Беседую с актером Александринского театра Евгением Павловичем Студенцовым о Лентовском и его водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Крылатая фраза из этого спектакля о том, что «театр — мне отец, театр — мне мать», звучит сегодня как анахронизм. Зашла речь о том, как в Москве театр Мейерхольда драму «Ночь» М.Мартинэ перенял от нас и сейчас ее выдает за современную пьесу «Земля дыбом».

На обратном пути у Альберта. К чаю Шведе и Марфа. Я в ужасе — день платежей, требуется 1200.

С Юрьевым назревают недоразумения, откладывается постановка «Мещанина во дворянстве» на 1923 год. Мне же хочется получить деньги, которые обещают только 17 января, что совсем не радует. Акица беспокоится и изливает свое негодование на бедную Мотю. Боже мой, как Акица теряет в моих глазах. На ночь состоялось нудное объяснение. Полная безнадежность, мало шансов на успокоение.

Суббота, 9 декабря

Открытие экспозиции нижнего этажа Русского музея началось с выступления директора Н.Сычева при большом стечении публики. Супруга Кустодиева Юлия Евстафьевна выражала недовольство подбором и размещением картин и акварелей Бориса Михайловича. Ее мнение разделял и Ф.Ф. Нотгафт, отмечая неудачную экспозицию живописи конца XIX века. Степан Петрович Яремич назвал данное устройство «загубленным XIX веком». И впрямь сетования не лишены основания, так как помещение явно не подготовлено к экспозиции: темное, мрачное, недостаточно освещено. Да и день выдался пасмурным, удручающе «будничным». Под стать этому и наши рассуждения. П.Нерадовский выразил свое беспокойство по поводу коварного совпадения в развеске картин В.Серова. Передавая свой портрет работы В.Серова, графиня Орлова ставила условие, чтобы ее портрет никогда не висел в одном зале с портретом Иды Рубинштейн. Вот это условие и как раз нарушено «самым безжалостным образом» (выражение П.Нерадовского). Мало того, этот портрет Орловой оказался в окружении еще двух портретов Иды Рубинштейн и третьего — акварели Л. Бакста.

Петр Иванович был очень взволнован и шутил: «Вот было бы недурно на одном щите выставить акварели В.Замирайло, а напротив — стенд Е.С. Кругликовой». А потом он вступил в беседу с В.Воиновым и уверял, что рисунки Д.Митрохина навевают эротические мотивы, и, подведя нас к иллюстрациям «Дафниса и Хлои», сказал, что здесь явно выразилось неумение Митрохина рисовать человеческую фигуру (особенно «от себя»). Показывая на Хлою, он с ужасом произнес: «Ведь это гадость! Это не наивная Хлоя, а форменная блядь!»

Разговор переметнулся на «таинственный» дневник профессора Эрмитажа Альфреда Кубе. Оказывается, он скрупулезно ведет записи, кто, когда и по какому поводу его обидел, какие были недоразумения с лучшим его другом Владимиром Кузьмичом Макаровым. Представляю изумление,

когда добрейший Макаров узнает, каким он запечатлен своим лучшим другом!

Вторник, 12 декабря

Оказывается, вчера из Москвы нагрянул десант музейных деятелей — самых боевых искусствоведов, известных авторитетов, таких как А.Эфрос, Н.Машковцев, Н.Романов, Т.Трапезников во главе с И.Грабарем. Последний всегда останавливался у меня. На этот раз уклонился. С.Тройницкий сообщил, что москвичи прибыли не с доброй целью. Они настроены решительно выполнить свою миссию: создать в Москве грандиознейший музей западного искусства. Для него уже подготовили солидную базу: расформировали Музей Александра III, Румянцевский музей превратили в нечто научное, вроде хранилища книг. Даже для Третьяковской галереи подыскали новое помещение, чтобы было куда свозить изъятые из петроградских музеев шедевры. Именно шедевры, на меньшее они не согласны. Наметили взять именно самое уникальное: Из Русского музея — «Смольнянок» и Венецианова, а из Эрмитажа — Рубенса, Рембрандта и непременно Рафаэля, вплоть до того, чтобы из Станцев вынуть фреску. В голове не укладывается, как такое сумасбродство могло зародиться у москвичей, или и здесь вмешался дьявол? Следует отрезвить такие угарные аппетиты. Сажусь за «Открытое письмо москвичам». Завтра зачитаю и выслушаю их реакцию.

Понедельник, 18 декабря

Заседание Совета Эрмитажа совместно с москвичами. На помощь к ним пришел заведующий академическим центром НКП Кристи. Я смотрю на Грабаря и думаю, когда он поддался соблазну дьявола. Поистине неисповедимы блуждания человеческие. Странно видеть друга Грабаря в роли современного чуть ли не мародера. Так ополчаться на то, что было и ему свято и дорого, — это граничит с безумием. Что им двигает сейчас: страх, азарт, трусость, помрачение ума? Неужели и меня могут когда-нибудь науськать, как песика?

Вот она реальность, вот откуда исходят судороги искалеченного сознания.

Грабарь: Мы приехали как друзья, с довольно узкой задачей: выявить произведения искусства для музеев Москвы. Мы не

выступаем как директивная миссия…

Я: Перечисленные вами предметы для изъятия представляют основу первоклассных музеев, что вы из них можете сделать, вырвав из слаженного ансамбля?

Грабарь: На каждое изъятие будет составлен соответствующий протокол…

Эфрос: Безусловно, важно полное согласие. Мы рассмотрим каждый фонд, каждый запасник. Остается лишь сообща определить: что вам, что нам.

Грабарь: Завтра мы должны совместно рассмотреть спорные вопросы, осмотреть фонды и запасники.

Тройницкий: О, тревога не утихает. Эрмитаж и Русский музей бурлят. Необходимо сотрудников успокоить. Они полны догадок, спрашивают, что готовить для отправки в Москву и целесообразно ли это? Одни догадки. На что еще намерены покуситься наши любезные друзья из столицы? В такой нервозной обстановке невозможно осмотреть фонды и запасники, определить судьбу каждого экспоната, веками связанного с Петербургом.

Машковцев: Вполне естественно, что беспокойство растет. Нас не так поняли. Мы задерживаем выполнение нам порученного и нами намеченного. Допустите нас в фонды и запасники.

Макаров: Требую участия в этой неблагодарной затее и представителей загородных дворцов-музеев. Поскольку москвичи действуют исподтишка, просят предъявить описи, инвентари, то заявляю, что они не соответствуют наличию предметов, в них указанных. Одни экспонаты перегруппированы внутри петербургских музеев, иные похищены в годы войны.

Грабарь: Реквизируется музей бывшей Академии художеств. Ставится вопрос о реорганизации московских музеев. Окончательно пересмотрены разные проекты. Работы протекают в сложной обстановке. Нужду массы музеев нельзя удовлетворить без жертв петербургских музеев.

Кристи: Получил сведения, что Луначарский намерен что-нибудь выделить для создания в Москве музея мирового значения.

Вопрос: Насколько планируется обезобразить наши музеи? Сможет ли государство ограничить этот произвол?

Грабарь: Создать в Москве музей, подобный Эрмитажу, не можем. Но Москва не должна быть захудалой провинцией музейного дела. Сейчас стоят задачи пополнения всех музеев России не только количественно, но и качественно. Общие вопросы будут решаться на музейной конференции. Изменится взгляд на строительство провинциальных музеев, созданных

после 1918 года.

Ятманов: Правительство безусловно проявляет заботу о музейном деле. Но многое зависит и от нас, как мы используем эти возможности. Мы уже приступили к деловой работе, но она идет туго. Москва обязана выделить для наших музеев определенное число экспонатов. Комментарии тут не нужны.

Удаленков ратует за сотрудничество с Москвой.

Грабарь: Мы уже пришли к единому решению. Петроградцы вправе искать в Москве то, что им нужно. Сначала сделаем эту работу, а потом решим — по соображениям благородства, помимо Москвы, заняться перераспределением.

Кристи: Нам важно выслушать присутствующих. Принципы их положим в основу деятельности.

Эфрос: По-видимому, первую задачу решили, перейдем ко второй — хранения уже на местах произведений искусства.

Ятманов: Я хотел поддержать наметки, чтобы было ясно до конца, кто займется распределением. Я мечтаю об организации принципиального подхода.

Грабарь: Мы занимаемся подбором экспонатов для музея западного искусства в Москве. Либо вы хотите еще что-то сказать? Не хотите. Но вы должны помнить, что мы не конфискаторы.

Я: Исходит все от вас, из вашего плана. Или это случайный наскок?

Грабарь. Единая музейная воля. И Петроград и Москва должны быть объединены.

Кристи: У нас полное единодушие и общая точка зрения. Мы должны это зафиксировать. Петроград идет навстречу москвичам. Вы обещали собранию рассказать, что делается в интересах планового развития музеев. Что может поступить из московских музеев?

Машковцев: Мы не считаем себя уполномоченными делать такие заявления.

Грабарь: Мы за развитие петербургских музеев, это наша общая и единая цель. Поэтому предоставьте нам инвентари. И мы рассмотрим наличие возможностей для выделения экспонатов и для пополнения.

Тройницкий (*указывает на мою авторитетность в оценке экспонатов, в их взаимодействии в целом, как ансамбля определенных представлений по школам и эпохам разных европейских стран*): Как тут поднимется рука разрушить давно сложившиеся школы, особенно когда претензии касаются таких имен, как Рафаэль, Рембрандт и других ключевых фигур. Осмотр — это предварительная разведка, за которой явно последует

распоряжение о передаче экспонатов в Москву. И вообще эта затея не из умных целей — грабить музеи, за счет одних создавать другие. Ради чего? Ради возвышения главенствующего административного города. Пройдет время, столица переместится, что, тогда снова ради престижа перевозить картины обратно? Нелепость какая-то! Но во всяком случае не во имя искусства, и выполнять такую позорную миссию взялся кто? Наш лучший друг — Грабарь! Как после этого к нему относиться?

Машковцев: Беспокойство растет с обеих сторон. Мы во всяком случае задерживаем исполнение заданной нами цели — создать в Москве музей, равный Эрмитажу. У нас есть то преимущество, что мы обладаем картинами последующего периода, которые не представлены в Эрмитаже. Вы понимаете, что я имею виду коллекции Щукиных и Морозовых.

Романов: Следовательно, нужны выезды на места. Важно непосредственно в музеях вести дебаты, иметь представление об их фондах и запасниках.

Ерыкалов: Поддерживаю это предложение.

Кристи: Состав комиссии уже предрешен, следует лишь спокойно договориться, утрясти спорные вопросы и остановиться на конкретных дезидератах.

Макаров: Многие наши вещи задерживаются в Эрмитаже. Объясняется плановыми работами, что приносит немалые хлопоты. В такой момент приезд москвичей не совсем в благоприятную пору, когда требуется сосредоточенность на том, что есть, и строить экспозицию. И выбирать в этот момент особенно лакомые экземпляры — это настоящее варварство просвещенных музейных деятелей. Хотя не всякое лыко в строку. Однако то, на что претендуют москвичи, — подлинный вздор, ибо это отравляет воздух в еще не оздоровевшей среде, устраняет возможность объединения взглядов, порождает недоразумения, подозрительность.

Я: Мы должны забронировать в протоколах свою точку зрения на эти контроверзы, не дожидаясь конференции, которая не правомочна решать вопросы перераспределения среди музеев, нарушать сложившиеся веками ансамбли экспозиций: обогащать, наращивать к тому, что есть, а не нивелировать музеи под единый канон, прикрываясь тем, что Москва и Петербург — все это едино. Петербург всем городом, всеми владельцами создавал свои коллекции, которые сейчас поступают в Эрмитаж и Русский музей. Это рождено петербуржцами, а не обезображено каким-то неумным декретом о единстве художественного наследия. Его надо нажить, оценить, понять, изучить, а не делить. Этого в мире не делается, нет такого безумия. Мало ли кому придет бредовая

мысль, например, объединить музей Брера с Уффици и создать музей Левиафан. Это должно родиться из недр, из глубин самобытной среды, способной воспринимать прекрасное, коллекционировать его и оставлять потомкам в обогащенном виде, а не размазывать, как жидкую кашу, по тарелке для пролетариев ума.

И наконец, почему бы москвичам не вернуться к незаслуженно заброшенному грандиозному замыслу 1917 года — создать величайший музей «Кремль — Акрополь»? Это был бы чрезвычайно привлекательный центр тысячелетней русской культуры, более гармоничный с историческим обликом столицы, нежели чуждое ей западное искусство.

Воскресенье, 24 декабря, Петербург

Отправил письмо В.Н.Аргутинскому-Долгорукову в Париж.

«Дорогой милый друг!

В отчаяние можно прийти! Вот уже на два моих письма Вы не отвечаете. Не могу допустить мысли, что Вы так к нам охладели или, скорее, письма не доходят. Ведь ответы теряются. На сей раз подготовил это письмо к приезду Горького. Из Москвы он уже изыщет более верный способ, чтобы Вам его доставить и получить от Вас ответ.

Сегодня русская елка, и весь дом у нас кверху дном из-за приготовлений. Больше всех взволнован Татан, который весь извелся от ожидания подарков, а сегодня весь день подходит к закрытой в столовую двери и старается подглядеть в замочную скважину. Волей-неволей этим объясняется истинная правда, и вот когда сказывается пауперизм дедов и родителей!

Ах, дорогой, устройте так, чтобы скорее с Вами так или иначе повидаться! Я так хотел, чтобы Вы застали нашего путти в его теперешней прелести. К пяти и шести годам это уже нечто совершенно другое, без элемента «амурности» и «ангелочности», которые сейчас озаряют весь наш дом, и который больше взволнован, чем в то время, когда Вы были здесь. В разные эпохи разный взгляд на детство, в частности, к концу царствования Людовика XIV — не тот, что сейчас.

О том, что Кока женился, я уже писал Вам. С тех пор мы успели привыкнуть к его жене, которая, при своей

замечательной красоте, очень тихое и скромное существо. Сказать, что она пришлась совсем ко двору, я не могу. Это человек другой среды, другого воспитания, но по крайней мере ничего шокирующего в ней нет, а внешне она весьма приятная, но хорошо то, что ему удается устраиваться (как я того хотел) отдельным домом, но рядом с нами, через площадку кухонной лестницы. Требуется много денег для жизни; в сущности, грошей, но их достать трудно, и это его заставляет браться за слишком многое сразу. Так, он едва кончил одну постановку по эскизу Щуко, как уже принялся за другую, тоже в десять дней расписать большие композиции одного кабаре по эскизам Бориса Михайловича Кустодиева. Тут же изготовил эскизы трех декораций для одной оперетты… Я понимаю, его надо спасать, но как это сделать?

Дела Ати и ее мужа немного поправляются. Они оба занялись иллюстрированием преимущественно детских книжек и уже сделали несколько прелестных серий, которые мы Вам препроводим, как только книжки будут напечатаны.

Сам я работаю без передышки. Только что вышла та книга, которую я прилагаю, в Мюнхене.

Я сейчас занят «Петергофом», который будет, надеюсь, чем-то более достойным Вашего внимания. Ход театральных работ застрял по независящим от меня обстоятельствам. В БДТ Монахов тяжело заболел (поправляется), что заставило перекувыркнуть весь репертуар и побудило совершенно выжившего из ума и погрязшего в опошлении К.П.Хохлова при участии Анненкова выкинуть ряд дурацких комедий, мимо нашего направления, а в Александринке моего «Простодушного» оттесняют окончательно дурацкие постановки длинногривого Раппопорта, «Антоний и Клеопатра». Щуко пустился по этому случаю во все тяжкие, да к тому же ощущается совершенно безнадежный денежный кризис, который может привести театр сначала к ужасному падению, а затем и к закрытию.

Вообще этот неизбежный, непреходящий кризис, непременно висящий дамокловым мечом над головой, ужасно нас удручает и искажает все наше существование. В первые месяцы так называемого нэпа жизнь стала улучшаться и налаживаться. Стало легче дышать, в

будущем у всех засветилась кое-какая надежда настоящего перехода к нормальным условиям. Но, увы, подобные иллюзии за этот год оказались несбыточными, ибо то, что делала одна рука, другая — разрушала. Я, впрочем, не много понимаю в этой сложной путаной механике, орудующей на уже безнадежное опустошение и разорение организма, и только могу констатировать значительную депрессию настроения в нашей хозяйственной среде, что, во всяком случае, является показательным симптомом тяжелейшей болезни, средства врачевания которой лежат вне всяких теоретических констатаций. Одна надежда — надежда всякого безнадежного больного — на благодетельное действие времени. Но выиграем ли мы? Раз мы все то вынесли, что было до сих пор, то авось и это выживем!

В моем прошлом письме от начала ноября я говорил, что мой костюм и шляпа затерялись, но это оказалось неверно. Мне через день доставили их, и я теперь снова на время один джентльмен. Спасибо! Хотел я было просить Вас часть оставшихся денег употребить мне на книги и высылать оные по почте, но состояние кризиса заставляет отложить приобретение до лучших времен. Мы вот теперь заняты посылками АРА, я распределяю, посылаю Н.Ф.Обер, З.Серебряковой, Н.Лансере, А.Рылову, В.Воинову, О.Д.Машуковой, вдове В.Серова.

Что Вам еще рассказать? А впрочем, относительно племянников Сережи Дягилева, детей его брата Линчика[21].

Родители в бесконечной тревоге за их участь и умоляют, чтобы Сережа разыскал их следы и выявил, живы ли они? Что делает Сережа, и остается ли еще какая-нибудь надежда, что наши пути когда-нибудь встретятся? Я бы написал ему прямо, но знаю, что это безнадежно в смысле ответа. Если бы оказалось, что я еще кому-то за границей могу пригодиться (увы, в журналах, в книгах, получаемых знакомыми, говорят о торговле, о всяком юродстве в искусстве и в театре), то еще удастся выбраться на простор, к свежей бодрящей жизни. Я, кажется, начинаю гибнуть, мне необходимо освежиться…

Хочу от Вас теперь слышать о Баксте, об его семье, о Бланш, о Мореас, о Валечке, о Черепниных, о Максиме, о Сереже и Миси, Михаиле Сергеевиче, о Елене Павловне и, главное, о Вас. О Леле я больше не спрашиваю, так как

получил от нее письмо из Висбадена».

Суббота, 30 декабря

В антракте спектакля «Аида» в бенефис хора Мариинского театра подарил Циммерману М.М. только что вышедший из печати альбом «Версаль» и надписал: «Дорогому Михаилу Михайловичу на добрую память об авторе, который был бы очень счастлив, если бы образы ясного и прекрасного Версаля оказались способны заслонить хоть на несколько минут кошмарность наших дней и дали бы хоть отдаленное напоминание о том более благородном мире, к которому тянутся наши сердца и думы»

1923 год

Пятница, 5 января

В канун Нового года невольно всплыло в памяти то, с чего мы начали возрождение Эрмитажа. Запишу сегодня, во что это вылилось.

Накопившиеся за многие годы и особенно за время революции запасы картин и других предметов искусства в Эрмитаже создали необходимость распространить его собрание на соседствующий с ним Зимний дворец, переименованный декретом во «Дворец искусств» и отныне долженствующий являться одним музейным целым с Эрмитажем. Это распространение Эрмитажа в пределы Дворца искусств началось с устроения выставок французского искусства XVII и XVIII веков в ближайших к основному музею помещениях первой и второй запасных половин, заключающихся с одной стороны мостиком, ведущим в Ламотов павильон, с другой — Александровским залом, в котором с 1922 года размещен арсенал стрелкового оружия и форм. Вторая запасная половина обладает большим преимуществом в качестве музейного помещения. Одним из главных ее достоинств является то, что эта анфилада позволяет непосредственно продолжить эрмитажную Картинную галерею. Кроме того, светлость и приятность объема не слишком обширных залов вполне пригодны для экспозиций. Наконец, преимуществом можно считать то, что, превращая эти апартаменты в музей, не приходится грустить перед историей. Правда, эти комнаты некогда были интимным покоем Екатерины II, и в одном из них, служившим спальней, императрица умерла в 1796 году, но от убранства ее времени (после пожара 1837 года) не осталось и следа.

А что здесь стояло в 1917 году в смысле меблировки, то принадлежит к довольно безликому ганзейскому стилю, официозу обстановки Николаевского времени комнат для разных сановников. Между прочим, здесь одно время жили Витте и Столыпин.

Единственным недостатком этого помещения является сохранившаяся холодная атмосфера помещения и соответствующая отделка, которая создаст нам большие трудности, чтобы придать залам нового отделения французской живописи приветливый характер, столь необходимый для настроения XVIII века. Лишь после бесчисленных проб удалось

найти подходящие детали оформления, но все же приходится сожалеть об отсутствии таких комнат, в которых нашлось бы вполне гармоничное окружение для интимного творчества Ватто и Латура. Или тот стиль, на котором имеется креп — панно Натуара. Залы получили бы всю свою королевскую прелесть. Надеюсь, что со временем нам удастся так или иначе исправить эти недочеты. Однако и сейчас благодаря подбору прекрасных предметов меблировки и картин получился ряд ансамблей, дающих представление не только об одной живописи за два века расцвета французской школы, но и создающих представление о французском искусстве во всей его совокупности. Рядом с картинами и портретами эпохи Людовика XIII и Людовика XIV стоят старые кресла, шкафы и кабинеты, они дают в общем исчерпывающее представление о той эпохе повальной фривольности. Постепенно блестящая «разнузданность» успокаивается тем, что в конце XVIII века, накануне революции, образует искусство, проникнутое сдержанностью и холодком античности в понимании того времени. К сожалению, зал, посвященный одному из лучших представителей этого поворота к классицизму — Гюберу Роберу, не удалось укрепить соответствующей обстановкой, да и столы и стены Николаевского времени, облицованные в погоне за византийским стилем, идут вразрез с чудесными изменениями великого декора.

Вполне удавшимися экспозициями следует считать созданный в «комнате с фонариком» ансамбль, в котором выставлены вещи Фридриха II. Великолепна и комната Ватто. К обстановке бывшей спальни Екатерины II подошла серия предметов итальянского и испанского происхождения, очень отличающихся по всему своему духу от вещей французских. Однако гармония благодаря этому сопоставлению не исказилась. Наоборот, получилась неожиданная нота, та самая, которая возникла бы, если бы рядом с Жеромом висел бы Лонги, а рядом с Лемуаном — Пьяцетта и Тьеполо.

Из предметов меблировки обращают на себя особое внимание два шкафа первой половины XVIII века в первом зале, два гобелена, комод с бронзой. В соседней спальне Екатерины II комнате — два книжных шкафа знаменитого Крессана, бюро Рентгена.

В открытых для публики семи новых залах бывшей надворной части Первой запасной половины Зимнего дворца учреждается в составе Эрмитажа отделение XIX века, до сих пор в нем отсутствовавшее. Отныне нить изучения истории европейского искусства не будет обрываться, но будет дана возможность продолжить ее осмотр почти до конца XIX века. Когда же

осуществится постоянный музей с учетом поступления картин из Москвы (в обмен на ряд картин) — образцов живописи импрессионистов и новейших течений, то в Петербурге получится единственный после Лувра музей по своей полноте. Это будет комплекс художественного творчества Западной Европы за последние пять веков. Но и то, что сейчас открыто для обозрения, создает очень внушительное представление о живописи XIX века. Правда, не очень полно представлено классическое направление, которое до некоторой степени можно бы воссоздать за счет изъятия картин из Юсуповской галереи. Односторонне выглядит у нас и романтизм, великим живописцем которого является Делакруа, — и он представлен лишь двумя малохудожественными картинами. Еще слабее представлены Милле, Менцель и Курбе. Печально, что отсутствуют вовсе в Эрмитаже Рунге, Тернер, Констебль, Бонингтон, Швиндт, Дега, Беклин, Ленбах, Барбизонская школа. Частично можно восполнить этот пробел, включив картины из Кушелевской галереи, и это будет выглядеть, как в Лувре. Система, которой мы придерживаемся при размещении картин по залам, следующая: центральный зал содержит картины, большей частью портреты, начала XIX века французских, немецких и английских художников.

Обилие и разнообразие предметов, составляющих недоступный посетителям «запас» Эрмитажа, позволяют избежать случайный характер набора и, напротив, дают возможность группировать их по признакам, отвечающим то известному моменту истории искусства, то определенным техническим приемам, то особым идейным исканиям, то отдельному мастеру. Первая из подобных выставок посвящена первоначальному периоду итальянского Возрождения и обнимает эпоху с начала XIV века до конца XV века.

Предъявлять к такой выставке требования исчерпывающей полноты неблагоразумно. Если бы даже удалось собрать воедино все, что имеется в России из произведений раннего Возрождения, то и тогда мы бы не получили настоящего представления об этом значительнейшем моменте истории человеческого творчества, означающего переход от духовного оцепенения, охватившего европейскую культуру со времени распада Древнего мира, к оживлению всех духовных интересов, выразившихся в искусстве при помощи возобновления традиций античности. Для того чтобы познать искусство Возрождения, необходимо побывать в Ассизии, в Риме, в Сиене, во Флоренции, в Пизе, в Венеции, в Милане и во многих других местах Италии, ощутить непосредственно воздействие традиционных циклов творения Джотто, Гадди,

Лоренцетти, Мазаччо, Мазолино, Беато Анджелико, Кастаньо, Фра Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Мантеньи, обоих Беллини и всех других гениев, едва ли не одной из самых пленительных и ярких глав истории живописи.

Голландскую и французскую живопись мы почти исчерпывающе можем изучать в Эрмитаже, но иначе обстоит дело с итальянцами, которые и до сих пор были слабо представлены в наших музеях, да и впредь не могут притязать хотя бы на ту системность и яркость подбора, которым отличаются коллекции музеев Берлина и Парижа.

Вынужденные ограничиваться репродукциями при ознакомлении с главными произведениями, мы считаем за великое счастье уже то, что, кроме гравюр и фотографий, имеется возможность, не покидая Петербурга, знакомиться с художественным творчеством Ренессанса непосредственно по целому ряду оригиналов, которые, если и не дают представления о высших достижениях, то все же рисуют нам характер исканий, дарований и технических приемов выдающихся представителей искусства тех времен.

Кроме того, среди выставленных в Эрмитаже итальянских примитивов имеются и несколько картин, которые, являясь сами по себе в высшей степени прекрасными произведениями, отмеченными, так сказать, печатью гениальности, проливают в то же время особенно яркий свет на творчество своих авторов и должны быть приняты во внимание для характеристики их искусства всех более выдающихся творений. Сюда относятся «Мадонна» Аньоло Гадди, знаменитая «Мадонна с ангелами» Джентиле да Фабриано, «Благовещение» и «Двое святых» Сандро Боттичелли, «Мадонна» Бартоломео Виварини, помеченная 1490 г., и «Мадонна» Франческо Франчи из Аничкова дворца. Наконец, среди ряда анонимных произведений, которые представляют крупный и многообразный интерес как в смысле художественном, так и в иконографическом и археологическом отношениях, несколько картин достойны особого внимания и являются глубоковолнующими загадками для историка. Таковы величественный «Спаситель мира», приписываемый профессором Айналовым Томмазо Джоттино, «Святой Иаков старший», приписываемый Э.К.Липгардтом одному из Орканья, «Пять святых», принадлежащих какому-то первоклассному мастеру из круга влияния Джентиле да Фабриано (не исключена возможность, что перед нами работа самого мастера). Такова «Мадонна», носящая на себе следы влияния Липпо Липпи. Наконец, прелестным образцом декоративных исканий в духе Пинтуриккио служат две доски свадебных сундуков с сюжетами

из истории Сципиона.

Воскресенье, 4 марта

Получил письмо от Асафьева Б. В.

«Дорогой Александр Николаевич!

Текст получил, примусь вставлять! Завтра очередная поездка в Москву к Экскузовичу. До пятницы вернусь».

Хитрец, намерен избавиться от щекотливого поручения — внести поправки в текст и музыку Интернационала. Верховное начальство недовольно тем, как исполняется Интернационал в академических театрах. А исполняется он плохо, главным образом из-за «скрытого саботажа» оркестра, состоящего из людей, ненавидящих большевистский режим. Порученное дело Борису Владимировичу поставило его в затруднительное положение. Он умолял меня помочь ему в этой неприятной ситуации, а сам старается уклониться от этого коварного поручения. «Очередная поездка» — один из его приемов избавиться.

А по возвращении из Москвы Асафьев прислал мне еще более разочаровательную записку: «Все гадкое в натуральном обиходе выплывает теперь наружу, а все хорошее и привлекательное ушло. Вчера имел неприятное собеседование с Гауком, меня беспокоит осложнение с дирекцией, вокруг которой вертится свинство и т. п.».

Четверг, 29 марта

Состоялась беседа с актерами Александринского театра о принципах постановки «Мещанина во дворянстве» Мольера.

Не в моих принципах излагать так называемые принципы, согласно которым создается то или иное художественное произведение. Слишком много в каждом из них неуловимого, рожденного подсознательными велениями, и все как раз самое ценное и подлинное принадлежит к рожденному таким образом. Но все же я готов побеседовать на тему, как, почему следует ставить Мольера, предупреждая, однако, что и на сей раз я останусь верным своему отвращению к теоретической предвзятости.

Впрочем, нечто вроде принципа придется и мне положить в основу нашей беседы. По-моему, надо ставить авторов так, как они сами того желали: надо, чтобы выявляемое постановкой произведение, носящее определенное имя своего создателя, не вносило бы смуту в наше представление о нем, надо, чтоб то, для чего оно было придумано и выстрадано, обнаружилось с возможной полнотой. Недавно еще все сказанное показалось бы азбучной истиной, сейчас же «Долой тиранию автора!» — есть боевой клич сценических авторов, а новатор сейчас всякий, кому не лень записаться в эту суетливую и тщеславную корпорацию. Мне же по-прежнему (и сколько бы легионов ни выкрикивало этот клич) авторитет автора импонирует, и я придерживаюсь устарелого убеждения, что всякий «иллюстратор» (и особенно театральный постановщик) обязан считаться с волей создателя иллюстрируемого произведения. Если же автор постановщику не по вкусу, если он с ним враждует, то зачем же за него браться, его насиловать, над ним издеваться?

Итак, не «долой Мольера» говорю я, а, обращаясь к тени этого умнейшего и даровитейшего из смертных, посвятившего

себя подмосткам, с полными пиететом, я стараюсь получить от этой тени, от всего представления о Мольере, каким оно сложилось за всю жизнь (а *люблю я* его с самого детства), то, что может служить определенным указанием в данном вопросе. Не говоря уже о таких явных «тестаментах» (завещаниях), как те, которые счел нужным изложить Мольер в «Версальском экспромте», в каждой пьесе таких приоткрытых намерений и пожеланий автора сколько угодно, и их открывается еще больше в процессе постановочной работы над каждой сценой.

Часто приходится слышать от моих соотечественников, что они «не любят Мольера». Он им кажется не то слишком наивным, не то деланным, а в общем устарелым. Но недаром Мольер до сих пор *самый популярный* писатель на своей родине, а во всем мире почитается за истинного родоначальника современного комедийного театра, в частности русского театра в его самых классических явлениях, исполненных поразительным чувством правды. Этим-то чувством правды и полон Мольер, оно и сообщает его творчеству неувядаемый характер актуальности (о нет, этот автор не устарел, всякая его старина может сойти во всех странах и при всех общественных условиях за бичевание существующих нравов), оно просвечивает через все условности так называемого «ложноклассического» театра, оно заставляет забывать оковы пресловутых трех единств, оно сообщает жизненность каждому куску его бессмертных комедий. Это чувство руководило мастером в создании им как типов, так и

положений, оно наполняет убедительностью пафос его обличений и гениальной искрометностью его диалоги. Оно же есть источник всей его неисчерпаемой радости.

Считается, не без основания, что «Мещанин во дворянстве» принадлежит к наименее отделанным и к наиболее условным из больших пьес Мольера. Но именно здесь выступает в особом свете то, о чем я говорю. Вся фабула, все положения пьесы схематичны, а к концу берет верх чисто театральная вычура, «балаганщина», уводящая в мир самой нелепой фантастики. Но вот к этому моменту *правда*, заключенная не столько в самой пьесе, сколько в выведенных в ней персонажах, успевает убедить зрителя, внушить к себе такое доверие, что эту «чепуху» мы склонны принять за нечто правдоподобное. В этом лучше всего и проявляется сила пленения мольеровского гения. В «Мещанине» автор, как бы расшалившись, *бравирует* зрителя и испытывает на нем свою силу внушения. И, действительно, в зрителе умолкают его критические, контролирующие способности, и он становится *жертвой* наваждения, но жертвой счастливой и благодарной — ибо нет высшего удовольствия, как то, которое испытываешь от «удачной» смеси сна и яви, правдоподобия и сказочности.

Вот и ответ на вопрос «как следует ставить Мольера». Самое важное в постановке и его, и Гольдони, и Гоголя — в создании «атмосферы правдоподобия», а лучшим средством для этого на сцене является не реальность «обстоятельств времени и места», не историческая точность (хотя и это все не мешает на своем месте), но тон, живая игра актеров, а, в свою очередь, главное средство для получения той подлинности тона — это то, что Станиславский окрестил словом «переживание». Надо, чтоб актеры верили в то, что они изображают, чтоб они перевоплощались, чтоб в их общении на сцене получалась абсолютная иллюзия непосредственности, и если только все это достигнуто, то задача решена — пьесу можно играть, хотя бы в современных костюмах и без декораций. Над этим-то я в работе с артистами больше всего и стараюсь, как тогда, когда ставлю «Петрушку» или «Пиковую даму», так тем паче тогда, когда ставлю Гольдони или своего любимого «правдолюбца» Мольера. При этой работе, а также в начальном замысле всего плана работы, художник Бенуа вынужден уступать режиссеру Бенуа, и эти уступки обходятся не без внутренних драм, о которых, однако, не интересно распространяться.

Еще два слова о работе «художника Бенуа» — о внешней стороне спектакля и, в частности, о декорации. Быть может, и найдут, что «гротический» зал (в центре декорации был грот — отсюда «гротический»), в котором происходит действие, слишком

роскошен для такого «простого буржуа», как господин Журден. Но в том-то и дело, что героем пьесы выставлен не простой мелкий лавочник, а богатейший парвеню, дерзающий мечтать о том, чтоб выдать свою дочь за маркиза, устраивающий в честь обожаемой дамы великолепные пиры, концерты, балеты и фейерверки, дарящий ей бриллиант огромной ценности. Только с таким экземпляром и стоило возиться Мольеру, и такую карикатуру стоило показать великолепному двору короля-солнца.

Наконец, тем смешнее становятся претензии г. Журдена, чем больше возможностей разыгрывать барина дают ему его деньги и, в то же время, чем менее это ему удается, потому что по всей своей культуре он к этому не подготовлен. А затем, если бы даже не было всех этих резонов, я в бы все же имел право создать в виде сценического фона для действия «Мещанина» какую-то парафразу версальской пышности, ибо эта комедия есть — более чем все другие, — *спектакль*, ибо Мольер, бичуя смешные стороны своих сограждан, в то же время был здесь озабочен и тем, чтоб зрелище получилось бы особенно нарядным и блестящим.

«Мещанин» вовсе не то же самое, что «Мнимый больной», где сторона быта более выступает, где правдоподобие обыденности входит в самое задание представления. В моей постановке «Мнимого больного» в Московском Художественном театре я и мог увлечься картиной жизни мелкой буржуазии Франции XVII века, что особенно пришлось по вкусу моим тогдашним сотрудникам и в чем даже мы местами перешли границы художественности в мольеровском понимании. Насколько же мне удалось на сей раз остаться в этих границах — судить не мне.

Вторник, 10 апреля

Отправил письмо Юрьеву Ю.М.

> «Дорогой Юрий Михайлович!
>
> После того, что произошло сегодня, у меня уже не остается сомнений насчет субботы. Нас ожидает скандал, и ответственность за него падает на нас обоих, в большей мере на меня, ибо кто мне поверит, если дефекты своей работы я буду объяснять всякими независимыми от меня обстоятельствами. Что же Вы глядели, как же Вы позволили — спросят меня друзья с огорчением, а враги со злорадством, и мне нечего будет им ответить. Вы мне, пожалуй, напомнили о том, что

«есть Бог в театре». И авось он еще раз вывезет, как уже не раз вывозил! Ну а вдруг этот Бог пожелает на сей раз нас наказать за неподобающее отношение к делу и за измену нашим же принципам? С нас он имел бы право взыскать строже, чем с кого-либо, ибо мы до сих пор утверждали, что останемся, несмотря ни на что, верными своим идеалам!

Впрочем, все это лирика, а вот и *дело*! Надо во что бы то ни стало спасти положение, а это значит, необходимо отложить спектакль, дабы получить нужное количество репетиций. А может, их нужно иметь две на прохождение (без костюмов и декораций) всей пьесы вчистую, со всеми церемониями — музыкой, балетами (чего ни разу еще не было).

Нужна одна репетиция для *толкового* просмотра декораций, освещения их (иллюминации в 5 акте, фонтан), гримов и костюмов. Нужны две репетиции генеральные, но отстоящие одна от другой на расстояние, по крайней мере, дня, дабы можно было бы произвести те или иные поправки, вторая бы шла в характере прелюдий. Требование последней — это минимум, а его никак и не уложить в оставшиеся дни текущей недели. Если, по мнению каких-то специалистов нашего времени, оказалось бы невозможно отменить спектакль, то в таком случае мне лично нечего больше приходить в театр. Если же меня дисциплинарно можно было заставить это сделать (я человек, и очень ответственный, и боюсь всяких полицейских мер), но такой привод был бы только издевательством надо мной, ибо я действительно при создавшихся условиях обречен беспомощно взирать на то, как попирается мое художественное детище!

Хочется думать, что Вы питаете ко мне достаточно доверия, чувствуете, что подвергаете меня подобной пытке и что Вы из уважения к моим художествам, к имени, можете спасти мои работы от этого позора, который неминуемо постигнет, если не отложить их публичное выявление до настоящего момента зрелости.

Надеюсь, Юрий Михайлович, Вы оцените ситуацию и найдете возможность, чтобы я смог довести спектакль до надлежащих кондиций».

Вторник, 24 апреля

Троупянскому Я.А.

«Многоуважаемый Яков Абрамович!

Мне ужасно совестно, что Вы несколько раз посылали ко мне за моими экспонатами для выставки в Академии художеств. Недоразумение вызвано тем, что выставляться я не собираюсь ни на одной из каких-либо выставок. Я выбыл из состава пишущих картины художников. Меня, как вы знаете, заняли музей, театры, а выставлять те поскребыши, которые у меня в папках, мне не позволяет забота о моем добром имени, особенно в наши дни, когда целая свора бешеных собак только того и ждет, чтобы вцепиться в ненавистных мирискусников».

Четверг, 26 апреля

Шесть часов вечера в ожидании Добужинских, которых мы ждем в виду их отъезда за границу (послезавтра) на прощальный обед.

На дворе ясно, солнечно, верх противоположного дома мягко позолочен солнцем, низ — в сизой тени, на панелях и на мостовой немало снега, который вчера утром выпал, снова на днях добавился, но успел за эти два дня, несмотря на стужу и блеклое солнце, стаять.

Из кухни тянется чудесный запах жареных рябчиков — самое дешевое ныне из всех народных блюд (рябчик стоит восемь лимонов). В соседней столовой мой внук Татан в розовом костюмчике, стоя на коленях на полу, рисует на бумаге, положенной на скамейку. Издали слышны голоса моей жены и двух наших «сотрудниц» — одной постоянной — Моти и коренастой Тани, приглашаемой каждые три дня. Или как сегодня — в случаях особенно хлопотливых — на помощь первой.

Я только что поспал, вернувшись разбитый с выставки русской детской книги, устроенной стараниями Яши Каплана и Е.П.Рейнбот в Пушкинском доме на Миллионной. Выставка мила.

Более, чем выставкой, я очарован овальной (в плане) лестницей в Абамелек-Лазарева доме, в котором я был в первый раз в жизни, и приходит на ум имя самого Ламота.

До этого был в Эрмитаже, куда заходил Л.М.Клячко, издатель, за моим рисунком к его «Радуге» (в точности не знаю: книга ли, сборник или журнал?), заказанным на днях уехавшим, два часа гостившим у нас Чуковским, который напугал до слез

Татана, желая его потешить рассказом с подбрасыванием в воздух стула.

Конечно, уморил меня словоохотливым и необычайно апломбным изложением своих очень глупых так называемых «трезвых» взглядов на искусство, на театр и т. д. Но немного он меня и утешил, разразившись бранью на шарлатанизм Мейерхольда, под знаком чествования которого проходит здесь нынешняя неделя (в воскресенье его подхалимно приветствовали на спектакле «Маскарад» бывшие заклятые его враги — Экскузович и Юрьев) и который в субботу устраивает диспут в Филармонии, на который вызывает всех своих идейных противников, в том числе и меня. (Афиша с этим воззванием расклеена по городу.) Нечего и говорить, что я пойду выслушивать его благоглупости и подвергаться новым публичным оскорблениям, в то время как этого гада защищает заслуженная им систематическим лакейством перед революцией политическая неприкосновенность. Да и не мудро было бы вообще вступать в борьбу с тем началом, которое им представляется и которое является такой же исторической неизбежностью, так же как закономерным плодом всех усилий европейской художественной жизни (какой она сложилась за последние 30–40 лет), как и всякое многое другое, несущее отпечаток одичания и огрубения,

Утром мучился над композицией «Черной курицы» Погорельского, которая мне никак не дается и часть денег за которую я имел неосторожность еще осенью взять от издателя вперед. Вот и пришли гости, надо бросать.

Продолжил вечером после ухода гостей. Обед вышел на славу: котлеты из рябчика, пудинг. После обеда — беседа. Сначала подробный «доклад» Добужинского о всех виденных им в Москве театральных выкрутасах, из которых только мейерхольдовский балет, безусловно, не пользуется успехом и не делает сборов (на «Рогоносец» Добужинский не захотел пойти — скука зеленая). На остальное же глубоко и неисправимо провинциальная публика московская, верная культу «платья андерсеновского короля», валит валом.

Затем Добужинский еще раз во всех подробностях изложил свои мытарства с отъездом. Самый отъезд отложен на будущую субботу (поезд ходит раз в неделю по субботам), чем окончательно отшиб мою охоту затевать то же самое. Сравнительно безболезненно прошла последняя стадия опечатывания его работ, согласно освобождению его от пошлин и налогов, без мен из Москвы. Происходило это в Акцентре. Представитель таможни из любезности очень торопился и уехал, оставив печать. Большой педантизм при подсчете проявил

Школьник. Вот куда этот жуткий Вий пристроился! Но от самой упаковки и он ушел, так что, если бы Добужинский хотел что-нибудь в последнюю минуту вложить, он мог бы это сделать.

К чаю пришли Стип со странным керамическим подарком О.Д.Машуковой, Марфа, Зина, К.Сомов и А.А.Михайлова. Последняя была совсем смущена, когда в ответ на ее заявление (в тоне плохо скрытого злорадства) о получении от С.И.Вышнеградской («от самой Сонечки») письма, в котором-де сказано, что свадьба разошлась (и это благодаря крайне неуравновешенному и несерьезному характеру Лели), мы ей прочли вчера полученное от Ивана Александровича письмо, в котором он говорит, что свадьба состоится в мае и жених в самых восторженных словах воспевает свою любовь к невесте. После этого на целый час затянулся разбор Софьи Ивановны, в котором Анна Андреевна защищала своего «лучшего друга» от безжалостно злобных нападок. Я тем временем в соседнем кабинете обсуждал с Колей Лансере его статью о Камероне для сборника, составляемого Голлербахом. Был еще у меня сегодня балетный сотрудник «Еженедельника» для просмотра записанной им с моих слов (вчера в Эрмитаже) беседы о Фокине. Я из нее выбросил все «неюбилейное», после чего она — статья — превратилась уже в совершенную пустышку.

Из Америки получено письмо за подписью некоего Ветлугина, просящего у меня статью о рисунке. Ничего не пошлю, ибо русская подпись не внушает доверия.

Раз я уже упомянул о вчерашнем деле, то расскажу и о наиболее интересном из происшедшего вчера. По дороге в Эрмитаж встречаю Нерадовского, Свердлова, Израилевича и Браза, только что бывших у нас в канцелярии и просивших Суслова предпринять какие-либо шаги для освобождения арестованного вчера ЭКО ГПУ реставратора Тюляхтина по делу о краже Э.Мейера. Ему предъявляют обвинение в покупке заведомо краденого, причем у следователя оказались и сведения (неизвестно, насколько достоверные), что картина успела попасть за границу, откуда и возвращена. Справедливо указывают при этом Нерадовский и Браз, что арест после добровольного возвращения отшибает на будущее время у кого-либо охоту в подобных случаях возвращать, и скорее вещи будут уничтожаться, лишь бы не иметь дело с юстицией. Но, с другой стороны, я одобрил отказ Суслова предпринять указанные шаги (особенно в отсутствии Тройницкого), ибо это *не наше дело*. Пусть Нерадовский как прямой начальник Тюляхтина еще думает. От М.Философова (ученого секретаря Эрмитажа) узнал, что этот арест, вероятно, дело рук Ятманова, который за последнее время

завел самые тесные связи с Чекой и который был информирован о перипетиях с Мейером до его возвращения, через Ерыкалова. Вероятно, при этом он теперь не устоял перед соблазном лишний раз… ненавистных ему «спекулянтов», «нэпманов» и т. д. Ведь он еще верен своему изуверству и еще не поумнел на опыте жизни.

Вечером вчера я был с Атей в Синема специально, чтобы увидеть свою фототипию на экране. Нас с Монаховым (и отдельно Хохлова!) в субботу утром, в день юбилея Каратыгина и по поводу этого юбилея, у входа в Театр снимали, и очень удачно. Я поражен тем, какой я юркий, подвижный, «неугомонный» — вылитый Татан. Кроме того, видел курьезный «шарж», разыгранный самыми примитивными куколками (от движения исходит убедительность жизни), и итальянскую фильму с хорошей знаменитой актрисой в главной роли и с отличным стариком в роли дряхлого виконта — «Ложа черных масок». После этого пришлось ехать к Жарновским на 6-ю Рождественскую. Кроме нас, никто не был, и было бы очень уютно, если бы не холод.

Слишком жидкий чай при вкусном торте. Зато я насладился книгой о рисунках, сплошь угольных, Тинторетто, очень выясняющих его творческий путь… Очень определилась личность Орацио Джентилески и его близость к Караваджо. Интересны снимки и с Ланцетти, Дзанса и др. Прекрасные статуэтки — балерина Дега в новом журнале.

Жарновского затащили вчера к Дресслерам, к которым меня приглашала м-м Скредлова. Там оказалась масса картин, но все дрянь (Сверчков и т. д.), Грез (голова), может быть, был Грезом, Буше (Лот с дочерьми) — никогда им не был.

Суббота, 28 апреля

Тучи темнеют, южный ветер, облака. Татан после нескольких недель вышел из дому.

Вчера, в мое отсутствие, приходила жена Тюляхтина и в ужасе рассказала Акице об аресте мужа, прося за него заступиться. Оказывается, он со страху подписал бумагу, в которой признается, что покупал заведомо краденое, и теперь его держат в ужасных условиях (спит на полу) и даже угрожают «стенкой». Сегодня приехал Тройницкий. Я ему все передал, но он только подтвердил мое решение: в это темное дело Эрмитажу и эрмитажникам не вмешиваться. Пусть это делает один Нерадовский в качестве начальника Тюляхтина. Сообщил Тройницкому и о желании молодого Сидорова (историк, много

месяцев не может работать из-за грудной жабы) заняться реставрацией. На такое притязание их подвинуло то, что вернувшемуся из деревни И.И.Васильеву поручено несколько таких работ и, не состоящему на службе, будут платить сдельно.

С особой важностью я настаивал и на необходимости «выкурить» Музей революции из Зимнего. После доклада, что это не было сделано к октябрьским торжествам, не сделано главным образом потому, что Тройницкий тогда «весь вышел» на устройство зала серебра, к выставке «церковных ценностей». В то время Щеголев выразил охоту сохранить. Однако его музей разросся на несколько залов, и если мы вовремя его не удалим, то власти привыкнут считать Зимний Музеем революции. И тогда нам начнет угрожать стеснение и выселение с их стороны, тем более что у ловкача и пройдохи Щеголева, наверное, уже успели завязаться теплые отношения с местным пролетариатом и коллективом вышестоящих. Тройницкий как будто проникся доводами и обещает повести дело в быстром темпе. В Москве он был главным образом в Гохране. На «фронтах» московских музеев и польской делегации тихо и спокойно.

Трапезников целыми днями торчит у Реншау, получил трехмесячную командировку за границу. Такую же сейчас выхлопотал и Тройницкий, но он узнал, что это одна из последних научных и денежных. Его чуть было не уволили как бывшего правоведа, но Н.И.Троцкая спасла. Другим эрмитажным правоведам эта мера едва ли угрожает, ибо они не на ответственных должностях.

Женя Лансере в Москве, где он перенес довольно тяжелую болезнь (крупозное воспаление легких). Сейчас он поправился, живет у Трояновского и готовит свой альбом ангорского путешествия. Собирается совершенно перебраться сюда, главным образом потому, что закрывается Тифлисский французский лицей (одна из последних культурных ячеек, в котором воспитываются его дети).

До Эрмитажа я заходил в театральное училище на репетицию «Павильона Армиды», идущего в будущее воскресенье по поводу Фокинского юбилея в Филармонии. На днях чествовали другого «предателя» — Рахманинова. Сегодня не стоило оставаться, ибо Лопухов собирается распустить танцовщиц в обоих сложнейших вальсах, я же могу пригодиться тогда, когда станут вспоминать сюжет, что произойдет в воскресенье. Кстати, я опротестовал название, появившееся на уличных афишах, — «Балет-феерия», но выяснилось, что «Павильон» был уже так назван, когда шел три года назад.

После Эрмитажа пришлось идти в Аничков дворец, куда

Ильин пригласил весь музейный совет для ознакомления с его многоголовым детищем на месте. От скуки я потащил с собой нашего эрмитажного забавника (и опять-таки шута горохового) Ю.Ф.Татищева и И.И.Жарновского, осмотрели и памятные комнаты, кроме третьего этажа, и музей. С огромным апломбом комичного, пищу давали объяснения Курбатова, дух которого и сказывается на всем этом странном учреждении, как в дурную (дилетантизм, случайность), так и в хорошую сторону — положено начало каким-то новым наукам и главным образом «науки о городе». Обозрели и Музей Старого Петербурга и видели здравоохранение, но, увидев, что объяснения почетного доктора-фанатика своего дела угрожают затянуться на два часа, я постепенно со своими коллегами удрал. Больше всего я и на сей раз умилялся старинными фотографиями всех видных европейских городов, так и придворно-семейными.

Музей Александра III в полном порядке, хотя следовало бы оттуда кое-что изъять — «Версали» Гюбера Робера (висят высоко, что-то суховаты), Фальконе, полдюжины деревянных готических скульптур, конскую богиню Селя, марину Изабе и кое-что еще. Однако как-то жаль разрушать этот, в сущности, бессмысленный и плохо расставленный набор. Помня язвительные намеки, что все еще многие картины и предметы не возвращены из музеев (часть нам ненужных), мы давно решили их отдать.

Вечером мы всей семьей в Большом драмтеатре на «Турандот» — гастроли московской студии. Я рассчитывал получить такое же удовольствие, как и в Москве, но ошибся, встретившись с подобным курьезом. В двух первых актах просто скучал и томился. Менее всего прельщает музыка, впрочем, обыденная, ресторанно-опереточная, с весьма умеренными и наивными шуточками, экзотизмами (вдобавок целый номер просто краденые — кроме них, мазурка Шопена). Красив Завадский в роли Тарталя. Постановка в целом не лишена сильной оживленности и остроумных трюков. Но чему особенно можно позавидовать, так это — неведомой за периферией влияния Станиславского — педантичной старательности и совершенно изумительной «срепетовки». Но что это все? Какой смысл в том, что видишь? Но в этом, как и полагается в московском хаотичном, сильно претенциозном и достаточно-таки отдающем провинционализмом, творчества никак не встретишь. Во всяком случае, это «не Гоцци», и не потому, что это не он, что столько тут напихано модернистичного и так снобно-модного (начиная с фраков), а потому, что игра актеров вся пропитана чуждой замыслу автора пародийностью. Почему надо «Турандот» играть, как «Вампуку»? А играют они именно «Вампуку» во всех

же (безвкусно) приподнятых тонах, чередующихся с навязчиво-подчеркнутым и еще более безвкусными кусочками любителей наивности. В Москве на последнее мода — молодые актрисы особенно увлекаются этим приемом, заимствованным от артистов кабаре, парадировавших задушевные тона чеховских простушек. Наконец, какое отношение имеет к Гоцци весь этот «футуризм» и кубизм напрокат! Эти едва ли скосы, линии, «сверло», окрошка из разных форм, покатая площадка и прочая «Пикассо — Мейерхольдовщина», приправленная сладенькой цветистостью «местного Щуко — Нивинского». Наши больше всего и, пожалуй, скорее единственно понравилась начальный «парад», фокус с Одалиской на глазах у публики и последний уход, к сожалению, проделываемый с чисто московским серьезом. Вообще же Акица и Атя были в негодовании.

Кока и Юра скучали, а смеялась лишь одна более примитивная (совсем примитивная) Марочка.

В антракте, в кабинете уже отбывшего вчера в Москву Хохлова (вся труппа едет завтра, я решительно отказался протежировать эрмитажные дела), шло обсуждение спектакля в обществе Н.И.Комаровской, Софронова и Е.Н.Тиме.

Фашисты запретили первомайские празднества. Заключен тайный договор Италии с Югославией против Греции (точат зубы на Салоники). Открывается особая сессия суда по назревшим законам о труде. В спорах, в газетах то и дело читаешь острастки по адресу лиц, не сдавших к 1 мая декларации по подоходному налогу.

Пеструшка [кошка] наверху захирела, и ее вернули на время к Моте, котенок-«профессор» отдан Руфи.

Воскресенье, 29 апреля

Весенняя погода, как бывало в Париже в феврале. Серебристость, чуть туманно, влажно, почти тепло. Утром рисовал с отвращением иллюстрации для «Черной курицы», но *надо* сдать.

Днем прибирал кабинет коллекции, раскладывал накопившиеся из разных папок по своим местам. Татан три раза гулял и наконец-то так устал, что весь остаток дня неистово капризничал. С яростью в сердцах его пришлось засадить под ключ в нашу спальню. Оттуда он благим матом вопил: «Я буду пай! Я буду пай!» Эти сакраментальные слова он произносит всякий раз, как только его за что-нибудь наказывают или собираются наказать (высшая мера — скорее в последнюю

комнату), и вопит их подряд бесчисленное количество раз, до тех пор пока его не простят, а иногда еще и после. Вообще он весь полон причуд, хитростей. Бабушка балует, портит его безгранично.

В 5 часов всей компанией (я в новых сапогах, купленных вчера при участии Акицы в магазине) идем с визитом к Кике. Не застаем их (он в Москве, Тая в Шлиссельбурге) и оставили запуску на фантастическом английском языке с приглашением на чашку чая в пятницу (мое рождение). По дороге обратно встречаем Бориса Рериха. Его Стип устроил кем-то вроде директора полусуществующей и стоящей в Демидовом переулке неизвестно кому подвластной (ибо Тырса отдыхал) школы Общества поощрения. И за это он может поселиться в квартире брата, в которой еще сохранилась мебель (картины взяты в опасное время в Эрмитаж). Я в свою очередь отметил, до чего он, Б.Рерих, определенный немец в разговоре, в манерах, при этом крайне обязательный человек, должен выхлопотать сам для школы средства и прочие «данные утверждения существования». Он это сумеет сделать, недаром брат Рериха! Рерих сейчас на пути в Европу, в Париж, но почему и надолго ли, брат не знает. Зашли всей компанией на аукцион Общества поощрения, уже окончившийся, и я забрал доставшиеся мне: книгу «Le Danule» с прелестным гравюрами с Бертлетта за 35 лимонов и папку целую рисунков. Среди книг — отличная гуашь Ф.Толстого «Цветы», итальянский пейзаж сепией, подпись А.Л.Б. Если бы не странно поставленная точка, можно было бы считать за миниатюру Александра Брюллова.

Настоящее время для коллекционирования, но, увы, ни у кого нет денег. И у нас менее, чем у кого-либо. Главное, никаких перспектив на получение. Впрочем, в четверг мы обедали со Стипом (сосватал Алешка Павлов) у директора «Торнтона» Изюмова. Авось-то он что-нибудь у меня затем приобретет! К чаю Костя Бенуа с женой, Кока с Вл. Милашевским. Со слов какого-то поэта он рассказал о вчерашнем диспуте Мейерхольда (забыл записать, что я получил приглашение туда явиться и от Сорабиса). Оказывается, почти все сводилось к прославлению Красной армии, пролетариата, посылалась анафема психологии и всякой «тяжести». Работники театров должны тоже-де и сами воспитывать принудительность (значение жеста) и насаждать в зрелищах истинно коммунистические доктрины. Возражений из-за страха перед Чекой, разумеется, почти не было. Зато многие, и среди них С.Радлов, цинично подхалимствовали.

Выставка в Академии почти устроена. «Миру искусства» уделена крошечная комната, на пути к «левым». Но члены его уже

разместились врозь. И кое-кто (например. Кустодиев) оказался в гуще «правых». Из-за ловушки… крепко поспорили Татлин с Матюшиным. Приятен Карев, повесивший себя среди мирискусников. Гадкое впечатление опять-таки благодаря подхалимству перед «высочайше принятым» произвел на меня Савинов. В этом «мастихине» оказалась подленькая скорпионская душонка Анненкова. На постоянной выставке у Лиды Корвин висит большой, ранний, очень истинный и хороший этюд берез. А позади них — далекий нужник. Бентовин его чуть было не принял за Бакста!

Забыл записать, что Тройницкий привез известие о скоропостижной смерти москвича Ляпунова. Грабарь убит. Это была его главная опора, но и вообще этот последний коллекционер был очень важным элементом в маленьком кружке, сохранявшем заветы культуры в общем, а не доктринерском смысле. Дом Ляпунова с его многочисленными дамами (как ему мило сочувствовала его самостоятельная жена) и с его еще более многочисленными детьми (один еще ожидается), наделенными древнерусскими именами, с его страстным хлебосольством, являл очень самостоятельное дело, и я себе простить не могу, что в последний свой приезд так его обидел и не явился на его великолепный завтрак. Сам он был круглоголовый, слегка татарского типа, смуглый бородатый человек с наивным глазом, несколько женским голосом и необычайно суетливый, возбужденный, восторженный. Грабарь его нам выдавал за величайшего ученого, но несколько это так, я не сумел бы проверить.

Умер за границей С.И.Шидловский. Ерыкалов рассказал о каких-то необычайно глупых мемуарах Шидловского. Пожалуй, это и его, ибо он представлял из себя довольно обычную у нас смесь известного житейского ума, культурности и глубокой провинциальщины.

Понедельник, 30 апреля

Солнечно. Вечером божественно красиво, особенно у Зимнего дворца. Силуэт ивы, позади на буром фасаде поблескивают стекла, в глубине на фоне нежного холодного неба — голубые дали над серой рекой и яркое солнце закатывается за башню Академии наук.

Альбер сегодня развелся [с женой]. Я его встретил на черной лестнице, как раз возвращающегося из суда. «Tout est fini[22]», — тоном, точно он с кем-нибудь позавтракал. Не понравилось

только очень долгое ожидание. Формальность самая упрощенная. Судья или кто-то из его свиты обращается к каждой стороне с вопросом: не берет ли она обратно свое решение и т. д… Ответ: что не берет; судья произносит: развод. Кажется, Любочка до последнего не была предупреждена. Наши дамы опасаются, как бы Л. теперь не женила его на Мисе или даже на горничной Паше, а в худшем случае, как бы не поселилась к отцу, «преображенцу», или «Симка» не завел бы здесь своих порядков. Впрочем, у «преображенца» новый тон в доме был заведен и для своих мальчиков гувернанткой, которая ходит с этими хулиганчиками гулять за ручку, учит их музыке и другим премудростям и вообще взяла на себя цель — вернуть их из дикого состояния в цивилизованное.

От случайно встретившихся студентов узнал, что Александринский театр собирается гастролировать в Москву: с «Мещанином», «Маскарадом», «Антонием». Марину будет играть Тиме. Я скорее огорчен. Истреплют вконец декорации, помнут костюмы, раздраконят роли.

Утром возился с «Курицей».

В Эрмитаже галерейное совещание, на котором я знакомил с планом работ. У Н.Сидорова снова тенденция тянуть и «создавать затруднения». Затем, кажется, ничего интересного. Впрочем, был, как всегда, Тройницкий, в полуиронической форме знакомил коллег с результатами своей поездки в Москву, о том, как он разным властям втер очки. Намеренье Наробраза сократить еще на 30 % он считает не угрожающим Эрмитажу. Кристи высказался даже в том смысле, что следовало бы еще увеличить штат в виду слишком огромной работы. Тройницкий что-то брешет о том, что он откроет к осени 200 зал! Нерадовский побывал у Байкова и видел сидящего под стражей Тюляхтина, который ему подтвердил, что он подписал бумагу с признанием покупок заведомо краденого. Байков обещал еще тогда же его выпустить, но он сидит до сих пор (и, по сведениям Ятманова, *сидит крепко*).

По Эрмитажу ходил какой-то не старый американский сенатор, оказавшийся коммунистом, со своей невзрачной и не нарядной женой. Уровень культуры такой же низкий, как и у большинства навещавших нас других его соотечественников.

Затем с Бразом и со Степаном к Добычиной, но не застали ее дома. Один знакомый Браза, бывший видный чиновник, получил в качестве казенной меблировки отличный письменный стол. Все ящики в нем были заперты, и когда он их после больших усилий вскрыл, то в нем оказались письма всяких блядей к П.Н.Дурново и среди них самые невозможные (гадливые, про член самого генерала, про то, как он приятен).

Надежда Б. заходил к Альберту отметить сегодняшний вечер, затем в АРА к Реншау, вызвавшему меня к себе во время совета в Эрмитаже. Я уже рассчитывал было получить письма из Парижа, но оказывается, что Гольдер еще не уезжал из Москвы, едет в среду, а что Реншау меня приглашает для трех просьб, из коих две совершенно меня расстроили. Во-первых, он просит, чтобы я написал хвалебный отзыв об АРА, который он мог бы показать в Америке благодетелям, ассигновавшим громадные суммы на поддержку русских мозгов, the brains of Russia. Он клянется, что это дело интимное, он-де понимает, насколько щекотливо. Ему ужасно не хотелось, чтобы кто-либо из друзей АРА пострадал из-за них и тогда, когда они уедут. Просьба еще туда-сюда, хотя из-за нее уже хожу со вспухшей головой. Вторая: чтобы я наметил более пространное эссе о деятельности АРА вообще. Причем он очень настаивал на разнице в характере той и другой задачи, что я не вполне себе усвоил. Во всяком случае, не постарался слишком понять, но моя непонятливость, видно, его отпугнула. Однако мой совет — поручить это более компетентным людям, например, Ольденбургу, Чуковскому — не заставил его окончательно отказаться от поручения мне, и мы порешили это дело отложить до возвращения из Москвы Кинга. Третья просьба более приятная: получить и распределить еще сто пайков учителям и двести — театру. Причем они это представляют на мое усмотрение, и Реншау усиленно рекомендовал мне не забывать ни моих домашних, ни себя, ни друзей. Надо будет снабдить забытых среди балетных александринцев и художников. Весь разговор шел рядышком на мягком диване, причем Реншау только сквозь свои огромные стекла заглядывал мне в глаза, поджимая и без того поджатую свою губу, ворковал и переходил с французского на английский, глотая половину слогов и слов.

Что мне теперь делать?! Опять я этого не умею. А отказываться после стольких благодеяний (как раз третьего дня вчера получил еще одно извещение, кажется, от самого Реншау) немыслимо.

Вечером на музейном Совете В.К.Макаров, потребовавший в прошлый понедельник отменить свой доклад о пятилетней деятельности своей в Гатчине ввиду моего отсутствия, ныне его прочел и произвел им очень выгодное впечатление. Но то, чего он хотел достичь, он не достиг. Он хотел, чтобы Эрмитаж — иначе Совет — высказался окончательно относительно того, что мы еще берем, что оставляем и не отдадим ли что из Улемана: шпалеры для завески тех опустошенных стен, на которых висели фламандские шпалеры, ушедшие в Польшу. Однако на оба вопроса и я, и Тройницкий ответили уклончиво, и,

действительно, еще не время, чтобы дворцы-музеи окончательно самоопределились и осознали себя, не время и нам ставить точку на наших претензиях. Все это в процессе становления! Советом, во всяком случае, признано желательным образовать комиссию по ускорению этого самоопределения — вместо той, почему-то ни разу не собиравшейся комиссии под моим председательством, из одних хранителей. Улита едет. Ну да в настоящих условиях это скорее желательно.

В конце (уже по уходе Ятманова и под председательством сегодня или вчера вернувшегося Кристи) предложил курьезный обмен мнений, вызванный Сычевым, который выступил с ходатайством от художественного отдела Русского музея, чтобы для более успешного собирания намеченных выставок графики моей, Сомова и Добужинского было дано официальное разъяснение декретов, которые убедили бы коллекционеров в безопасности предоставления своих вещей на выставки. Ерыкалов, вызубривший в точности декрет о регистрации произведений, процитировал относящиеся сюда места, из которых явствует (а Кристи радостно об этом заявил), что вещи регистрированные, во всяком случае, не могут быть отчуждаемы. Пришлось этим неисправимым олухам растолковывать, насколько неуместно само слово регистрация в приложении к таким «пустякам», как рисунок, набросок, виньетка. Дельно говорил Тройницкий. Беседа постепенно стала приобретать характер спора, во время которого мне удалось очень верно формулировать разницу между прежним и нынешним обладанием художественных вещей: раньше это обладание доставляло владельцу удовольствие, ныне же — одну неприятность. Отсюда вымирание самого института коллекционерства, а вследствие этого — кризис и агония в художественном творчестве. Не понять этого Ерыкалову, в общем, не глупому, но, например, считающему, что аукционы преуспевают, и это потому лишь, что он вместе с легионом ему подобных идеалистов никак не могут приучиться к реализму в вопросах оценки. В качестве справки я в заключение посоветовал Сычеву вообще отложить эти затеи еще на год, на два, авось декреты станут еще более милостивы, авось наверху опомнятся и найдут настоящие отношения к художественной собственности.

Вторник, 1 мая

Еще с вечера раздавалось с улицы пение, а на некоторых зданиях горела в качестве иллюминации какая-то дрянь. Сегодня

город весь разукрашен красными флагами, по улицам шныряют вперемежку с пассажирскими трамваями авто для привилегированных классов и для детей. Заново раскрашенные в красный цвет с золотыми буквами (стиль пошлейшего рококо), сюда вернулись украшения, в общем наводящие воспоминания о тех жутких красных гробах, в которых хоронят коммунистов. И с утра мимо наших окон в обе стороны шествуют военные части и делегации от заводов, гремящие всякую бойкую пошлятину с оркестром и в предшествии знамен и «лозунгов», писанных золотом по красным материям. Много и автомобилей с властями и «счастливым» пролетариатом. На Садовой видел и огромную калошу-автомобиль, в которой нашли себе место оркестр и человек тридцать рабочих и работниц с «Проводника». Большинство войск и делегаций шли на Дворцовую площадь или с нее. На площади должен был быть парад, на который вчера при мне для восхождения на трибуну были приглашены местным комиссаром Жуковым мэтр Реншау и доктор… Зато почти совсем не было обычной езды. Вся Садовая заполнена пешей пролетарской очень серой или, вернее, черной публикой. Праздничность, впрочем, была налицо. Но это исключительно благодаря прекрасной погоде, яркому солнцу, безоблачному небу и еще не бывшей в нынешнем году теплыни.

Утром я компоновал в третий или четвертый раз сцену, когда мальчик вслед за курицей проходит по комнате старушек-голландок.

Репетиция с Есипович отменена распоряжением Союза в четверг и перенесена на самый день ее выступления в четверг. Завтра эта неведомая мне актриса играет «Грозу». Почему такой ангажемент? Репетиция «Павильона» состоялась в 3 часа, и меня туда вызвал Купер для проверки пантомимной части, с которой мы и поладили, причем я изумился памяти Чекрыгина и Солянникова. Последний в роли юного Рене сейчас смешон, но в гриме он сойдет. Делает все точно. Весь город сейчас читает мемуары и особенно дневник Пуришкевича, содержащий рассказ об убийстве Распутина. И вот Лопухов рассказывает о своей встрече с Распутиным, как Саша Орлов его затащил в какое-то общество под видом своего тапера и как Распутин, сильно подвыпив, танцевал (и очень искусно, по-русски) без устали вприсядку почти час под его музыку и музыку одной артистки. Когда старца совсем развезло от танцев и вина, он стал приставать к одной из бывших там актрис, причем очень серчал на то, что она не поддается: «Чего ты, дура, — попрекал он ее, — под меня всякая баба лечь готова, а ты ломаешься». Кто-то обратил внимание на его белую шелковую рубаху, и он сейчас же

не преминул заявить: «Это она (то есть императрица) мне ее сшила!» Вечер кончился ссорой Сашки с Распутиным. И могло бы дойти до драки, но хозяин спешно спровадил Орлова. Больше всего Лопухова поразила невзрачность Распутина и его небольшой рост. Хмелел он очень туго, и до конца держался с известным достоинством.

Возвращался я в трамвае с Купером и потом проводил его полдороги до его дому. Он очень убеждает, чтобы я ехал за границу. Но главное: откуда взять деньги? Характерно, что в бытность свою в Берлине он написал два письма Сереже и получал два очень внимательных ответа, но когда он написал третье с целым проектом сезона и т. д., он не получил в ответ ничего. Сейчас ему только здесь оставаться, особенно после беседы со следователем Леонтовичем (в связи с найденной у него перепиской с Романовым), который морил его два года очень несуразными, но имевшими провокационный смысл вопросами. Самое это залезание в душу раздражает, вызывает моральную тошноту.

После обеда пришел Стип, и уже так быть суждено, что этот день будет посвящен поминанию Григория Ефимовича. Я вслух прочел всю книжонку Пуришкевича, переизданную в Москве. Чудовищно гадкое впечатление от всех участников этого убийства и более всего от остервенелого Феликса над полумертвой своей жертвой, от хладнокровия самого Пуришкевича и от пилатовского соучастия Маклакова. И какая над всем этим глупость, какая пошлость в таком изложении, свидетельствующая о полном вырождении культуры высшего сословия. Я не мстителен, но в данном случае чувство справедливости заставляет желать, чтобы эриннии мучили и довели бы до безумия и Юсупова, и Дмитрия Павловича, и мерзавца Маклакова.

Забыл заметить, что дня три-четыре назад встретил жену Гржебина. Она совсем сбита с толку произошедшим у них в редакции обыском с последовавшим за ним закрытием издательства и вообще полной остановкой дел. Она собиралась было судиться с горхозом (какие-то недоимки и жилищные недоразумения, кажется), но адвокат ей этого не советует. Из Берлина неутешительная весть о здоровье Зиновия.

Татан ходит иногда с матерью пешком до Александровского сада. Поражен огромностью Исаакия и «Медным всадником». Горячо мне изложил все свои впечатления, но когда дело дошло до слушания, то верх взяли какие-то психологические осложнениям, и он впал в полное молчание. Боюсь, что у него будет ужасно мучительный характер. Но так он мил и прелестен до последней степени. Я его сегодня снимал.

Мотя вернулась с вечерней прогулки с подругами. Никакой иллюминации нет, лишь одно из военных судов разукрашено фонарями. Не слышно что-то и залпов фейерверка.

Позднее узнал, что был неточно информирован. Невский представлял грандиозное зрелище, так как был во всю длину переполнен народом. Через толпу, которая шествовала, депутации заводов, со знаменами, женщины в красных платках, ряд колесниц изображали те или иные заводы (одна — башню-водокачку), другие политические аллегории. На двух покачивался повещенный Пуанкаре, на одном ехали в сюртуках и цилиндрах представители капитализма, которые, поравнявшись с Казанским собором, сняли свои цилиндры, неистово крестились, мол, капитал в союзе с богом. Виденная мною «калоша» была тоже аллегорией, и в ней сидели (по близорукости я не разглядел) не власти из «Треугольника», а «старый строй» и опять Пуанкаре, Керзон, Муссолини и прочие враги Советской России.

Среда, 2 мая

Звонил по телефону В.А.Мухин, что-де намерен мне передать что-то таинственное от дамы из Царского Села. Я сейчас же сообразил, что это провокация (такие подозрения — общая болезнь в России), и убыл от его визита в Эрмитаж, но он туда за мной последовал. Все объяснилось очень просто: дама — вдова адмирала Небольсина, а таинственное дело — желание получить от меня удостоверение, что принадлежащий ей этюд двух голов фарисеев действительно работа А. Иванова. В удостоверении я отказал (хотя и было неловко сделать это в отношении к даме, которая мне когда-то поднесла две акварели моего отца), но подтвердил при виде картины мое убеждение, что это работа (мало приятная) Иванова. Напротив, Яремич назвал этюд «копиухой». Но он не прав. От Липгардта получил в подарок четыре его рисунка пером — очень мастерски сделанные. Из Эрмитажа в Контору театров, где мне набралось жалованья целых 750 руб. Это очень кстати ввиду предстоящих трат по случаю празднования послезавтра моего рождения (но, о ужас, придется и купить дрова, довольствоваться хватит до самого месяца. Четыре сажени уже вышли. Ужас и то, что за электричество в этом месяце пришлось заплатить 7 руб. золотом, то есть 320 руб.!). Затем к Юрьеву, и поболтали с ним о репертуаре будущего года. Я остановил свой выбор (без большого убеждения) на «Соперницах» Шеридана (можно сделать веселый, искрящийся и остро живописный спектакль). Он его признал тяготеющим к

французской ложноклассической трагедии. Но при всем моем уважении к Корнелю и Расину у меня не хватило мужества за них взяться. Видимо, ничего живого у меня не выйдет. Так ничего не решили.

Вечером Юрьев был на «Турандот», и актеры ему сделали там импровизированную овацию. Убеждал я еще Юрьева использовать пока еще возможно Кустодиева для Островского. Но он в ответ плел какую-то ерунду, что-де у Кустодиева «слишком Островский», а нужно раскопать суть самой сути, выявить душу, а поэтому он чуть не сдал Островского Раппопорту. Впрочем, в конце беседы он заколебался. Вечер мы провели у Коки по случаю дня его рождения. Пришедшие ко мне музицировать Асафьев и Гаук (последний в самых нежных отношениях с Алябьевым), — мило согласились присоединиться к нам, были угощаемы всякими сластями (о, горе, половина этих фруктов — ровно на 60 миллионов — сожрала паршивая Кокина собачонка Карлуша, к тому же внизу гадящая) и, в свою очередь, усладили нас превосходным исполнением шотландской симфонии Мендельсона (отличное начало, дивное скерцо, эффектный конец в виде гимна) и плохо мне знакомой, но восхитившей всех нас Первой симфонией Чайковского. Поиграла и Марочка, но немного, Прокофьева. Последний лично окончательно восстановил Асафьева против себя своим дурацким письмом, в котором он продолжает негодовать на пропажу своих рукописей, винит в этом всех и ругает ругмя советскую власть. Асафьев в ужасе.

Сегодня отчаянная погода: то дождь, то мокрый снег. Холод, мразь. Мотя испекла чудесный крендель и провозилась над ним полночи, а в благодарность получила лишь какие-то попреки и раздражительно-барские понукания. Она даже плакала. Это становится противно. Лучше ей просто уйти, но она слишком, несмотря ни на что, к нам привязана. Меня этот стиль в отношении ее изводит. Продолжаю считать инициатором его, главным образом, Юрия.

За обедом приходил прощаться Добужинский.

Четверг, 3 мая

Яркое солнце, но сильная стужа. Идет ладожский лед. Вожусь с «Курицей». Мучительно сочиняю по-французски «Письмо Репмо».

С 11 ч. в Александринке для репетиции сцен маркизы А.П.Есипович, на которой остановился выбор Юрьева (а как же с

подругой Кузмина-Кронштадского?). От Стипа узнал, что его уже выжили из Строгановского дворца. Е. — актриса довольно тонкая и, пожалуй, с успехом заменит двух других. А.А. Усачев всем и каждому рассказывает, как он разрыдался в АРА, куда явился благодарить за clothing, до того растрогал царящий там европейский дух и в частности вежливое обращение г-на Свана.

Придя домой, спал и читал бесконечную, но местами забавную пьесу Шницлера Der junge Medardus (война 1809 г.) — сильные настроения патриотических и обывательских претендентов на французский престол.

В доме тяжелое настроение.

В 6 часов к Тройницкому за Стипом, и с ними к новому меценату, откопанному Алещей Павловым, инженеру при заводе Торнтона И.И.Изюмову на обед. Признаюсь, у меня были виды на то, чтобы он купил у меня Мольеровский спектакль (декорации). Его торгует при посредстве П.К.Сте-панов и монтировочная часть Актеатров в лице Янишевского. У монтировочной части завелись какие-то «свои» кредиты от проката костюмов, а также восковых свиней Обера, дабы выручить Наталью Францевну, которой надо платить за квартиру на Зеленина и вывезти оттуда (ломаные) гипсы Обера. Но и отдельно не пришлось затронуть эти темы, так как г-н Изюмов — рослый курносый мужчина с круглым бритым лицом — весь поглощен покупками у дуры Е.М.Боткиной, которая уже многое продала за бесценок мошеннику Томону, водящему ее за нос и до сих пор тянущему выплату, но у которой все же немало и осталось. Изюмову уже удалось у нее приобрести на черном рынке пределлу (со св. Кларой на коленях перед Богородицей) начала XV века и больший двухъярусный ретабль, стоявший у окна. Кроме того, она ему уступила и знаменитый стол, и ковер с него, и оба бразеро, и много другого. Все это продает с невероятными фокусами, но все же крайне невыгодно для себя. Все наши со Степаном бескорыстные советы пропали даром. Более всего у себя она ценит какие-то кровати и две кареты!

Изюмов уже собирается купить одну из них и выклянчить «в придачу» Пинтуриккио, который оказался здесь, а не за границей. Кроме того, едва ли Изюмов купит у меня что-либо потому, что у него уже масса моих вещей (и даже подделка — вероятно, Бродского — одной иллюстрации к «Пиковой даме»), да и собирается он купить у какого-то

Фролова всю мою «Пиковую даму». Из имеющихся у него моих вещей я нашел сносными лишь костюмы (не все) к «Петрушке» (от Ефимова). Зато скандально плох весь «Версаль» — это то, что я мастерил в холод и в голод на Васильевском острове,

поставляя их для Добычинских клиентов. Такие вещи компрометируют, и меня они удручили. Из русских художников у Изюмова фигурирует Рерих («Три радости», так что ли?), Б.Григорьев, Б.Кустодиев, Бродский, Судейкин. Из стариков интересны: гладкоэмалево писанная «Юдифь», которую я сгоряча принял за повторение «Артемизии» Джентилески, но потом лишь показалось, что это не что иное и более раннее — «Олоферн ревет благим матом» и очень красивая «Блудная жена» — раз та картина, на фоне которой Серовым изображена О.Орлова, которая считалась Солименой. Сейчас, скорее, согласен видеть в ней работу венецианца XVII в., ну, скажем, того же Дзанки. Очень заинтересовал меня фаянсовый кубок с тремя ангелами, держащими гербы. Я определил его как негритянскую или, во всяком случае, колониальную работу с переплетением элементов местного и европейского происхождения (эпоха: начало XVI века). В коллекции (роскошно расположенной в ряде комнат), много и подделок, особенно среди эмалей и серебра. Собирает Изюмов всего два с половиной года. Обед был скромный, но с вином.

Алеша Павлов проводил меня до дому. У него сияющая рожица. Вчера утром он сделался счастливым отцом младенца мужского пола. Свою Шурочку он обожает.

На «Мещанина» я уже не попал. Свое место я дал брату.

Кошечку Мурочку взял сегодня Воинов. Тетя Леля снова уже обнаруживает признаки «гуляния». Это какая-то Мессалина!

Пятница, 4 мая

День моего рождения. Мне пятьдесят три года. Нынче я себя чувствую более усталым, разбитым и удрученным, нежели за все эти годы. Такое ощущение, точно что-то нависло над головой. И ужасно многое надоело. В сущности, все. Хотелось бы куда-нибудь удрать, а лучше всего одному (но, Боже, ведь я себя знаю; после первых же трех дней непреодолимо потянуло бы к Акице!), а может быть, еще лучше было бы просто покинуть сей белый (постепенно для меня превращающийся в серый) свет. И когда теперь мне что-либо квазиугрожает в этом смысле (например, прогрохотавший мимо автомобиль), то я не пугаюсь, и где-то в глубинах моего сознания даже появляется род надежды, авось это конец!

В соответствии с таким настроением я и ощутил сегодняшний праздник. Вечером привалило человек сорок гостей, незваных, но милых, близких. Я беседовал, улыбался, угощал, но одна мысль меня не покидала все время: да когда же вы все уйдете! И,

странное дело, еще менее всего я страдал, беседуя на каком-то интереснейшем языке (ибо шепелявившего английского я не понимаю) с Реншау, явившегося с мадам Кеней. Может быть, это потому, что он как-никак иностранец и обороты его мысли менее ожидаемы, нежели все слова моих друзей, начиная с вольтерьянца Степана и кончая милым, наивным Верейским.

Ушли гости не поздно, около полуночи. Угощение было очень парадное. Акица превзошла себя в пирогах: бисквит с абрикосами и еще какие-то, из которых я не попробовал ни кусочка. В качестве питья давали чай и глинтвейн (сам купил сегодня в казенном магазине две бутылки красного за 90 руб.). Я получил несколько подарков: лучший от Эрнста — «Цепной мост» в Москве — акварель 1839 г., а еще более поразительный от Татана — акварель (sic!) на корзинах с цветами, сделанную под руководством, но без помощи мамаши. Он сам был вне себя от счастья, что это ему так удалось. Кроме того, Альберт подарил мне очень милую акварель «Корейская деревня», Леонтий прислал со своими (самому ему нездоровится) акварель «Конюшня». Юрий поднес приятный этюд-акварель «Букет жасмина». Кроме того, истинным и приятным сюрпризом было то, что он внес в нашу опустевшую кассу 2 миллиарда. Прислал и Клячко (после напоминания) 1100 руб. за «Радугу». Атя — один из рисунков ее детской книжки, Тася — конфеты, Нотгафт (не явился из-за флюса) — чудесный пирог с фруктами, Верейский — две свои деревянные гравюры, Леша Келлер — серию новых стереоскопов и портрет Панчулидзева, Стип — книжку с индусскими костюмами из слюды.

К обеду (с чудесным паштетом) были Альберт с Аликом, незваные, как всегда, Нина Жук, Кока (Марочка пела с Михайловой), Тася. Покушали паштета и Добужинский, сопровождаемый Милашевским, пришедший прощаться. Добужинские завтра едут. Он совсем осовел от сыскных последних работ, от хлопот и отчасти от тревоги, как бы не распечатали его пакеты на границе. А ведь в них тайком положены какие-то нужные пустяки — записные книжки. Пришлось ему и Елизавете Осиповне «прививать» себе холеру, а также оспу, но это обошлось очень просто — ничего им не прививали, а за мелкую мзду доктор выдал или составил сертификат. Простились мы очень трогательно. Теперь я ему ужасно завидую. Дал ему поручение напомнить о себе Аргутону и Сереже, который как раз заканчивает успешный сезон в Монте-Карло и собирается в Париж на восемь спектаклей.

Утром начал (на всякий случай, если бы представилась возможность продать всю постановку) «заказ» основной

декорации «Мещанина», которая в окончательной редакции у меня была сделана в виде макета.

Заходил в Эрмитаж. Там меня посетил Кенисберг со своим аккомпанементом, принесший на экспертизу отличную миниатюру: портрет лежащей красивой женщины в совершенно нагом виде (подпись не абсолютно убедительная). Мадонну неизвестного портретиста XV в. (грубо), но с неплохим куском: дальний пейзаж, аскетический стиль, рука Бронзино? Наконец, портрет дамы в малиновом казакине Левицкого, по-видимому, обкромсанный овалом оригинал портрета, бывшего у С.С.Боткина (ныне он у А.П. в Москве) и всегда вызывавший сомнение в оригинальности.

По дороге заходил в АРА за пайком. Очередь за получкой тянется по всему двору и до Мойки. Реншау мне сказал, что это, главным образом, учителя школ, он им роздал 4000 пайков.

Дома снова та же ко мне какая-то пухлогубая евреечка от незнакомой Андреевой, принесшая две превосходные вещи: 1) пейзаж 1830-х годов с фигурами, тянущимися по долине, отряда конных латников (та самая картина, которую Якобсоны предлагали в 1897 или 1898 году Тенишевой, и тогда считалось, что фигуры — Изабе. Картина эта сейчас слишком «оживленная» в небе и в далях. Получалась известная сладость: писана она сверхъестественно!) и 2) барка рыболовов Евг. Изабе — тоже феномен писания.

После Эрмитажа я побывал у Юрьева, но ни до чего там путного не договорился. Его все время рвут на части. С узколицым, длинноносым режиссером Денисовым составили списки кандидатов на АРА. Вышло шестьдесят человек. Кристи был вчера на «Мещанине». Остался очень доволен, но он обеспокоен слухами, исходящими от Москвы (Мейерхольд?), будто я загримировал Журдена под Ленина. Как это напоминает такие подражания (иногда с оттенком «шапки, горящей на воре») при старом режиме! Н.В.Петров рассказал мне, что цензура ему вовсе запретила «Суд над театрами», да и неохотно разрешила те куплеты, которые поют у него сейчас в «Балаганчике» — шаржи на Раппопорта, Мейерхольда и меня (я «въезжаю на лошади»). Насилу удалось убедить, что под Журденом с ночным горшком отнюдь не подразумевается Ленин, на самом деле подразумевается народный артист Мейерхольд.

Суббота, 5 мая

Солнце, но прохладно. К вечеру заморосило.

Утром делал декорации.

В Эрмитаже имел разговор с Марком Философовым. Ерыкалов торопит его позондировать, не соглашусь ли я быть одним из членов нашей тройки под его председательством, которая будет отмечать (согласно декрету) вещи, не подлежащие — ввиду их чрезвычайного значения — снятию с учета. Я попросил меня от этого избавить, так как стою за абсолютное раскрепощение художественных произведений и, во всяком случае, не желал бы принимать участие в деле, которое в известный момент может вдруг обернуться в ущерб ее владельцам. Марк попробовал было меня переубедить, уверяя, что сейчас реквизиция и все прочее уже отошло в историю. Однако я остался при своем. Тройницкий очень возбужден, хотя и не оставляет иронии, и вдохновлен предстоящей завтра церемонией принятия музеем шефства над армией и флотом! Мы должны выставить сто пятьдесят человек представителей и явиться со знаменем, на котором предписано (кем?) начертать надпись: «Армия и флот творят войну, музеи творят историю!» И это, очевидно, для втирания очков на западе, где, разумеется, не знают, что «шефы» бесконечно менее обеспечены, нежели ими возглавляемые, и что такой блеф может в известном [смысле] благожелательно в предубежденных кругах произвести сенсацию. Однако может из этого произойти и известная польза (если только это можно назвать пользой), а именно: в сознании темных масс это может пробудить известное почтение к предметам и изучению прошлого, а это уже довольно реальный залог культуризации.

По Эрмитажу ходила небольшая комиссия III студии, почему-то приведенная Исаковым. Я вызвался их водить, но присутствие этого (несколько приторно-почтительного) мерзавца меня ужасно стесняло.

Юноши и девы милые, но совершенно московские, с налетом несмываемой провинциальшины. При этом, как полагается, при скромных манерах полны сознания собственного величия. По двум-трем фразам, по аффектированным манерам, по претензии на глубину, я убедился, что это все народ, безнадежно, чудовищно испорченный. И такие люди мнят, что им удастся раскопать суть Островского, отвергнув (как это ныне предложено) «быт», отвернувшись от «традиций» и истории! Они еще раз придут в среду всей компанией.

В 3 часа у Бережного, который выразил желание со мной посоветоваться насчет праздника в пользу безработных, который профсоюзом (или Сорабисом?) поручено устроить ему. Предоставляется материал, вся «живая сила» (по наряду). Это

значит, что все лучшее отлынет, рабочие руки, но нужно придумать нечто, чтобы в один день заграбастать миллиардов 300–400. Просто у театров этого не выколотишь (а, в сущности, грош). И так вот надо сочинить что-то чрезвычайное. Так придумать и эксплуатировать замысел: устроить утром детский праздник, днем — спортивный или концерт, а вечером — смотр всех театров (на отдельных сценах), и в то же время Севзапкино снимало бы публику (а публика повалила бы затем в Пикадилли, чтобы себя увидеть), а на радостях можно было бы слушать концерт, исполняемый в Москве. Все это очень мило, но ведь нужны деньги на устройство (а их у нищенского союза нет), да и времени (а праздник должен состояться не позже Духова дня, 28!). На этих двух пунктах я напирал. Кока, вероятно, тоже бы делал декорации (он же, Бережной, теперь его [Коку] рекомендует тоже в «Тимоти» писать по эскизу Щуко декорации для еврейской оперы, идущей в Малом театре). Из Москвы вести не слишком отрадные. «Алексей» прошел без аншлагов. Живет труппа в самом театре, в сырости, холоде ужасном. Есть слухи, что собираются выписать и постановку «Ужин шуток», и «Горе…». Это, очевидно, Хохлов в связи с психологией деморализации и явившемся желанием угодить Москве Впрочем, кроме «Турандот», не имеют здесь успеха и москвичи.

Вечером с Альбертом (ой, как он постарел!) на «Мещанине». Он же у нас пил чай. К.Яковлев ужасен. Дирижировал Владимиров, и все шло вразброд. Есипова несравненно хуже Соболевской. Был Кугель. Желал бы больше модернизма. Успех большой. Горин сочиняет все новые штучки, но только не все отличаются хорошим вкусом.

Вторник, 15 мая

В Эрмитаж зашел Р.В.Гелеперин [?], поднесший мне давно за мной оставленный силуэт из «Онегина». Жарновский передал мне номер «Нью-Йорк геральд» с интервью Бакста, кажется, в дамском художественном клубе, в котором наш мэтр разглагольствует о том действии, которое на него произвело знакомство в детстве с Патти. Очевидно, все это от начала до конца импровизация.

Захожу с такой же импровизацией к Добычиной предупредить, что не могу уже посидеть, как обычно, так как мне надо сегодня же достать у Александринского театра личные адреса моих кандидатов на пайки АРА. Она целыми днями сидит у окна и раскладывает пасьянсы. Совсем деморализована безработицей, как своей, так и вернувшегося с Кавказа Рубеном.

Она вчера была у меня в Эрмитаже с мольбой определить последнего ко мне в Эрмитаж. Но Тройницкий не согласен из соображений сохранения штатов и т. д… Я сам видел вчера Рубена в Обществе поощрения и передал ему этот неутешительный ответ. Добычина сообщила мне, что на черной бирже в связи с нотой [Керзона] была паника, но упал не фунт, а все тот же рубль. Кое-кто поплатился всем состоянием.

У Юрьева записываю адреса и вношу несколько поправок в свой список. Юрьева прошу представить мне ряд кандидатов-пьес к постановке, дабы мне выбрать, ибо я сам сейчас так настроен, что меня ничего не соблазняет. Захожу с ним в винную лавочку напротив католической св. Екатерины. Туда же захаживает милейший старичок священник. От приказчика узнаю, что церковь все время закрыта, но служба бывает в малой капелле, вход со двора. Набожные полячки часами простаивают на коленях на паперти. Милиционер их сгоняет. В винной лавке (казенной) отличные французские марки. На пробу покупаю полбутылки вина за 64 рубля.

Вечером я у Черкесова, у Н.К.Шведе. Мне думается, что будет уютно — только мы да бывший дипломат и контролер Андрей де Гизелье. Темные лампы (при больших комнатах, квартира, в которой когда-то жил Жюль Бруни, ныне разделенная на несколько) и очень скромные бутерброды с колбасой. Да и беседа скучна. Все воспоминание о былом и хвастанье камергера. Впрочем, он нам подробно пересказал и наиболее интересные места из воспоминаний Жильяра о пребывании царской семьи в Тобольске, о расстреле, о погребении праха и его вывозе в Англию.

Среда, 16 мая

Сыро, темно. Атя в первый раз возила сегодня Татана на трамвае. Так понравилось, что он не захотел слезать и устроил скандал. Вообще он делается все своевольнее и капризнее. Но до сих пор это ему, скорее, только разрешается, ибо это проявление самосознания с ощущением личности. Потешно, что стоит ему во время рева пригрозить, что «мама уйдет» или что его «посадят в последнюю комнату», так он, не преставая плакать, начинает быстро твердить: «Я буду пай, я буду пай».

Доминирует мелкий натиск кругов в отношении ответа на ноту, что это Каносса.

Альберт, наконец, сдал оба свои адреса для Мичуриной. Получил за три недели работы всего 500 рублей, то есть около 5

рублей золотом. Он это не осознает. У нас по дому паника из-за того, что управление вывесило табель, кому платить, и это уже в миллиардах. Но затем выяснилось, что с нас Руф возьмет всего лишь на «законные» 20 % больше, чем за прошлый месяц (что-то не то 200, не то 300 — типично, что я этого не помню), а вывесил он такой ужасный тариф специально для того, чтобы с каких-то пролетариев и нэпманов взять действительно почти прежнюю цену в золоте. А если будет ревизия?

Утром меня навещает Метресса Харден — рослая, бледная, молодая американская дама, отлично говорящая по-русски, заикающаяся. Ко мне, чтобы спросить от имени Крейна, как я живу. Тот же Крейн ей рекомендовал школу в Париже, в которой она быстро бы выучилась свободно говорить по-русски. Впрочем, восемь лет назад она провела чуть ли не год в Петербурге и знает здесь массу народа. Эх, чего я не додумался тут же ей сформулировать письмецо к нему с воплем о своем прозябании, а то едва ли она запомнит мои слова, в которых все же я выразил кое-что о моей жажде вырваться на большой простор. Узнав, что я собираюсь в АРА, она вызвалась меня туда доставить на авто и познакомиться с остававшимся в нем ее мужем, престарелым, иссохшим, жутким дядей с огромным носом и выпяченной нижней губой — американским журналистом. Они здесь всего на два дня. Но прежде чем доставить меня в АРА, мы прокатились до Спасской и обратно до конца Казачьей, дабы передать поклоны и посылку от Московского художественного театра кому-то и от Сорина его брату. По дороге и в ожидании бегавшей по квартирам Метрессы я пробовал говорить с моим «Юлием Цезарем», но это шло туго. Он весь как-то съежился, рассеян, точно напряжен. Он молчаливый, сухой, важный и еле говорит по-французски. Успех Художественного театра объясняет впечатлением не от отдельных актеров, а от ансамбля.

В АРА я передал Реншау список с адресами александринцев. Позже Метресса Харден пожелала в Эрмитаж, и я ее водил около часу, а затем должен был сдать Паппе. Он все же не абсолютный дикарь.

Опять к Добычиной не попал. Все время торчит теперь в передней Эрмитажа жуткий Коршун. Глаза его стали еще более безумными. Он страшно хочет к нам поступить, но я предупрежден Тройницким, что это нежелательный элемент. У него установившаяся репутация доносчика.

Дома приходил Алеша Павлов с предупреждением, что они с Изюмовым будут завтра, а не сегодня. Откуда он все знает? Напоминает нашего Юрия, который ни с кем не якшается, редко выходит из дому, но первый эксперт по вопросам, кто с кем

живет, кто вор, кто у кого на содержании.

Это особая черта. В разговоре выяснилось, что замечательный крест, бывший у Вонлярских, был сдан им же на хранение Пиотровскому и застрял в Шереметевском доме. Надо будет его оттуда достать.

Вечером в качестве гостя на «жидовской» опере «Небеса пылают» в Малом театре. Ничего скандального. Музыка Мильнера нудна, скучна, лишена динамики, небезызвестного скромного благородства. Мне лично надоела эта религиозная национальщина. Это шейхеловщина: опять рабби, цадики, плач на реках Вавилонских. Неплохо пели Левитан, Товальзо, Ахрамцева. Очень плох и безобразен Ашмо-дей-Левик (я сморозил этому важному сорабисту какую-то гаффу). Зал полон иудеев. Добычина несколько сконфужена за своих. Декорации никудышные — делал Щуко — дрянь, постановка Шапиро. Очень обиделся. В антракте беседа с Бережным и с Экскузовичем. Последний снова в ужасе от безнадежных обстоятельств. В месяц ему нужно три триллиона жалованья. И три триллиона на всякие другие расходы, а доходов у него вместе с субсидией не более 800 миллиардов. Выворачивается, однако! Патетически возмущался безвкусием и ерундой модернистской постановки Федоровского «Лоэнгрина» в Московской опере. Могу себе представить: москвичи в восторге. Мечтает забрать Коку в Александринку. Так и вцепился в меня, когда я выразил желание «что-нибудь» поставить в балете или опере. Но что? Я сам не знаю. За обедом выпил полбутылки «Абрау».

Четверг, 17 мая

Чудная, праздничная погода. Международный инцидент, видимо, рассасывается. Кончаю Календарь. Мечтаю до прихода Изюмова (в 4 ч.) хорошенько позаниматься, почитать… Пришел декоратор, жалкий Шарбэ, переселившийся из деревни в Петербург и умоляющий дать ему работу. После часовой «беседы» (моего монолога, ибо он только изредка предлагает вопросы, а то сидит улыбается и трясет головой). Я его справляю к Коке. Следом за ним графиня Литке. Но от нее я прячусь и лишь из третьей комнаты слышу, как она без знаков препинания, быстро-быстро и громко-громко жалуется Акице на свою нужду, взывает к тому, чтобы я продал ее Бруни, расспрашивает о Татане и т. д…

Сейчас же вслед — Оберы, притащившие к нам восковую группу свиней, очевидно, в надежде, что я их продам каким-либо меценатам, и опять пришлось слушать разъяснение политической

конъюнктуры нашего Меттерниха-Обнорского. Наконец явился Изюмов на поводу Алешки. Этот курносый телепень вначале держал себя так по-хамски, но, видимо, сам что-то понял и вдруг стал любезен и внимателен. При таких обстоятельствах нельзя было и думать о том, чтобы ему предложить взглянуть на мои вещи (а я только рассчитывал на Алешку, обнадеживая, что он заинтересуется Мольером), и все два часа, что этот оболтус прождал у меня, я должен был снова поддерживать разговор, рассказывая всякую всячину о М.П.Боткине, о пощечине, полученной им от Врангеля, о последовавшем суде, о всяких проделках М.П.Боткина, все вещи для него как для «наследника» Боткина. И снова Алеша интересно изумил меня своей осведомленностью. Ох, лукавый мальчишка, и, пожалуй, не даром Акица недолюбливает его. Вообще же не умею я продавать!

Вечером дома. Первая гроза. Чуть не погорел Мариинский театр. Я ходил на площадь, но кроме пылающих пожарных факелов ничего не видел. Повстречавшийся П.Петров рассказал, как Быков после первой картины 3-го акта «Лоэнгрина» вышел и предупредил, что по техническим причинам приходится прекратить спектакль. Все мирно разошлись, а между тем вся сцена так наполнилась дымом, что по ней нельзя уже было пройти. Последний застрял в уборной Собинов. Наши прошли к Крюкову каналу и оттуда зрелище было более эффектно: при свете факелов (внутри ничего не пылало) видно было, как пожарные бегают по приставленным лестницам, выбивают стекла, тянут всякую всячину: колонки, фигуры человека и фантастические раковины. Загорелись склады с тяжелой бутафорией и «поддельными» частями декорации. Причина, вероятно, недосмотр.

Пятница, 18 мая

Сыро, прохладно. Зашел в Мариинский. Много истлевшего, но серьезный изъян получили лишь «Конек-Горбунок» и «Армида», у которой погорели задние стенки с окнами. Их не станут для одного раза восстанавливать.

Захожу за Тройницким и с ним, Шмидтом и Жарновским — к Штиглицу, чтобы: 1) проверить, насколько прав Стип в своем скепсисе в отношении Тьеполо, 2) чтобы убедиться воочию, поскольку здание пострадало. Ведь у Тройницкого за последнее время слышалось почти полное отрицание возможности оставлять коллекции в Музее и тенденция их забрать для Эрмитажа: «Потолки лежат на полу», «по стенам — грибы» и т. д… Это

находило подтверждение и в донесениях Кверфельдта, этим должны значительно растрогать власти и получить кредит. На самом же деле оказалось: 1) что Тьеполо, безусловно, оригинал, но до того неприятные, тяжелые, густые мазки (при колоссальном мастерстве), что я бы предпочел не перевозить в Эрмитаж, как о том хлопочут Липгардт и Жарновский, и 2) что касается состояния музея, то оно ничуть не уступает минорному состоянию Зимнего и даже Эрмитажа, в которых опять — в просветленных залах — потекли дожди и т. д… Часть коллекций все еще лежит в ящиках, часть военного хлама (тюки с противогазам и т. д.) все еще занимает некоторую часть Большого зала, но, в общем, мы были потрясены всем тем, что увидели, что за эти восемь лет мы основательно забыли (или, как большинство моих коллег, вовсе и раньше не знали), и особенно серией шпалер начала XVI в. «Романа о Розе», другими шпалерами того же времени и более ранними, образцами готической скульптуры, мраморами Ломбардии, финифтью; что безвкусная роспись Местмахера пострадала, служит нашим только на пользу. Много и совсем нового, например, вывезенные Хозвестом из половцевских «Раптей» экспонаты — среди них «Семейная группа Чернышевых» во вкусе Пукирева, портрет С.Дюлена, мебель, бронза. Шпалеры с сюжетом из истории Язона, большая картина «Сон Ринальдо» во вкусе Ванлоо, многое другое. Два часа прошли как одна минута.

Тройницкий пошел на попятную и заговорил лишь о некоторых перегруппировках с точки зрения «Мирового музея». Нет, я должен отстоять музей Штиглица. К 3 часам я в Эрмитаж, чтобы принять супругов Гартунгов. Но, к счастью, она побывала у нас и об этом протелефонировала в Эрмитаж. Идя по набережной, я встретил всю компанию академиков Аккульта, тянувшихся на актовое собрание, и каждому порознь пришлось объяснять, почему я не иду. Несчастный Сергей Николаевич пошел представлять, как на эшафот.

Сплю как убитый. Обед у Альберта по поводу рождения его пропавшего (ходят слухи, что он в Америке) сына Альберта Альбертовича. На меня натравливает какую-то злосчастную вдову Сапожникову, муж которой был офицер, что-то мазал и дружил с Альбертом и Хорватом. Последнее время она учительствовала в Екатеринославской губернии, и ее оттуда отправили на родину, в Петербург, ввиду ее болезненного состояния (она страдает эпилепсией), и выходит, что здесь надо представить удостоверение в том, что она восемь лет служила на одном месте. Вот она на меня и обрушилась: «Ведь ты всемогущий! Вас все власти слушают (уж не Альберт ли ей этот вздор напел!). Ведь вы

президент Академии!» Насилу от этой несчастной полуюродивой отмахнулся. Тогда как Альберт вызвал Руфа и натравил даму и на него. У того сразу нашелся исход. Он убедил Альберта, чтобы тот ей и выдал, что она у него безотлучно служила все восемь лет. Как бы Альберт не вляпался! Кроме того, у Альберта была еще молоденькая, дважды разведенная, довольно смазливая бабенка (Гаука не могла мне назвать фамилию) с длинными двумя косами за спиной. И откуда он их подбирает? Сам он сейчас занят двухсерийной акварелью для какой-то научной геологической диаграммы. С Гауками самый дружественный тон. А.В. даже поставил на обед бутылку вина, а Любочка ходила закупать всю провизию, ибо сам Альберт, пригласив гостей, вовсе до 2 часов не заботился, чем он будет их кормить. К чаю у нас Альберт, полный розовых надежд, разделяемых Акицей, и Стип, подобно мне, мрачно оценивающий положение. Поговорили с ним и об Эрмитаже. Убеждал его активно заняться оккупацией комнат Зимнего дворца рядом с библиотекой под выставку рисунков (единственное место, где можно поместить картоны Джулио и Снайдерса). Его это раздражает, как все то, что грозит его вывести из того оцепенения, в которое он впал в качестве хранителя отделения рисунков. Вообще он ужасно распустился. Заговорил я и о назревающей необходимости ликвидировать никчемный, на замок закрытый музей Общества поощрения художеств. Тут у него опасение, что-то будет тогда с Машуковой! Господи! Пристроим ее как-нибудь.

В газетах напоминание о карах за сделки на черном базаре и запрещение въезда безработных в Москву ввиду признания «массовой безработицы». У Альберта сведения, что Арсенал на Выборгской совершенно распускается из-за отсутствия заказов и сырья. Вообще отовсюду слух о ликвидациях, о тяжелом экономическом кризисе. Да разве мы из него выходили? Или это все дальнейшие фазы продолжающегося разложения?

У Татана род романа (рано начинает) с прелестной Катей Серебряковой, просиживающей с ним часами.

Суббота, 19 мая

Сыро, прохладно, дождь. Газоны в садах зеленеют, но почек еще не видно.

Иду в АРА. Кини застрял на границе с Финляндией из-за своего начальства; у него виза была на Ригу. М-м Кини приходила одна, сообщила о случившемся и в Наркоминдел. Это скоро устранили. Теперь и Кини, и его начальство — престарелый,

эффектный, бритый господин с бледным лицом и громадными зубами — оба сидят в кабинете и что-то спешно приводят в порядок. Сегодня же они уезжают в Москву, где решается участь представляемой им организации Союза христианской молодежи, кормящей колоссальное количество студентов (в ожидании беседы я читал диаграммы, развешенные по стенам, и поражался!). Возможно, что она остается (несмотря на недоброжелательство властей, больше чем сама АРА).

С Кином я поговорил насчет заказанного Реншау эссе. Авось это вообще минует меня. Реншау я передал список Большого драмтеатра. Но какая пытка с ним разговаривать (а как раз сегодня еще дали получить по извещению пайки).

Захожу в Общество поощрения. Масса соблазнов на аукционе Платера: маленькие саксонские тарелки (Акица давно просила), всякие чашки, «Танец в гондоле» во вкусе Маджоретто (оценены всего в 300 лимонов), альбом с рядом голландских рисунков XVII в., среди коих серия прелестных нервно набросанных городских видов, ряд декораций Роллера и Квалио (уже, увы, превосходящих мои средства), семейная группа Дезарно и его семейство.

В Эрмитаже захожу к Автономову. У него был на днях Ятманов и решительно потребовал удаления портрета Александра I (дабы не получился его «апофеоз»), Я настаиваю, чтобы хотя бы монументальная рама осталась на месте. В передней можно устроить паноптию. В общем, действительно получился «Гром победы, раздавайся!». Тройницкий очень возбужден вчерашним заседанием, подготовительным к конференции комиссий, и Ерыкалов и сам Ятманов прямо и откровенно потребовали, чтобы вместо всяких теоретических докладов Эрмитаж высказал свои пожелания и планы, и это и ляжет в основу дальнейших работ. Все остальное просто игнорируется. Что это, действительно-таки доверие (и мое непрерывающееся, впрочем, вполне убежденное рекламирование всюду Тройницкого), или же желание убить окончательно конкурента Зубова, интригующего через группу хранителей дворцов и музеев? Решено вечером у меня собраться с Нерадовским для наметки основных положений эрмитажного доклада. Ох, зазнается Тройницкий!

Наконец, попал к Добычиной и сижу у нее 3 часа. Шармирую ее тем, что устраиваю им места сегодня на «Турандот», а завтра к Рубену — на «Мещанина». Очень энергично разубеждаю ее в своевременности возобновления деятельности ее бюро! Она все еще мучается аттестацией Сорабиса: будто бы в былое время она эксплуатировала молодых художников (тогда, наоборот, она

многих из этих негодяев-жидков спасла), собиралась ехать в Москву, подавать ка-кую-то бумагу во ВЦИК, дабы «пересмотрели ее дело» с полной готовностью ответить, если понадобится, хоть бы головой, и с надеждой на то, что если она выйдет очищенной, ей удастся осуществить ее сумасшедший проект: сделать из бюро род официозного магазина, в котором она сама была бы на службе — то самое, что она затеяла в Обществе поощрения, но из чего при ее фантастическом способе ведения дела ничего не вышло. Но я ей и это отсоветовал, впрочем, без надежды на случай, что она вообще станет на путь благоразумия и здравого смысла. Всем своим подсознательным, еврейским существом она настоящая торговка. Природное призвание борется с несуразно воспринятой моралью толстовско-коммунистического стиля. Под всем этим — бессмысленное тщеславие. Кончилась наша беседа и на сей раз, как полагается, рассказом о Чеке, о мессианстве, и даже была преподнесена целая импровизированная повесть о том, как она на днях угодила в засаду и была оттуда вывезена на автомобиле прибывшего на место следователя, который обомлел, увидев ее там. Судя по тому, что, несмотря на предпринятое обращение за подтверждением к Добычину, тот реагировал упорным молчанием: я уверен, что все это выдумано. К Рубену она по-прежнему нежна. Он же имеет вид овцы, ведомой на заклание. Труш, по сведениям Добычиной (верно ли?), переведен в Москву и засел крепко. Его арестовали в составе целой организации-шайки спекулянтов, кажется, собирались на квартире у мадамы, за которой он ухаживал и у которой живал.

Вечернее наше совещание выработало ряд тезисов. Я хлопотал о том, чтобы загородные дворцы-музеи не были бы рассматриваемы как один цельный организм, а входили каждый порознь своими представителями в общий Верховный совет по делам художественно-культурных музеев. Это не произошло, так как Тройницкий же придумал нечто, пожалуй, еще более остроумное: чтобы все музеи были разделены на типы динамического и активного (сюда Эрмитаж, Русский музей и музей Старого Петербурга и Штиглица) и статистического и пассивного (особняки, дворцы-музеи), которые по существу не обладают способностью расти и развиваться. Вторые просто подчинены первым. Трудно формулировать «постулат» возглавления всего Эрмитажем, да еще так, чтобы все оставлять и дать какую-то роль музейному совещанию и не лишать видного значения Ятманова (желательно его по-прежнему держать вне Эрмитажа). Между тем для нас троих совершенно ясен факт авторитетного доминирования Эрмитажа (настоящего состава) над прочими однородными институтами. И, пожалуй, это больше

всего ясно Нерадовскому, который только и мечтает поступить под такую высокую руку, совершенно разочаровавшись в возможности для Русского музея вести самодовлеющее существование и особенно в возможности симбиоза с этнографией, которая благодаря Руденко и Золотареву (ученики Волкова) повернули совершенно от «наездного творчества» (идея Могилянского) в сторону самой антихудожественной антропологии.

Нерадовский рассказывал о том экзамене политграмоты, которому был подвергнут весь хранительский персонал Детского Села. Бедняга Яковлев, голодающий, изнуренный (я рад, что не послушал тех, которые, сославшись на его богатый брак, уверяли, будто он не нуждается, все же выписал ему АРА), так перепугался, что впал также в некий лиризм, отдавая во всем предпочтение советскому режиму (вопросы инквизиторства ставятся прямо: когда вам лучше жилось и какой режим вы предпочитаете, какого вы мнения о Ленине, Троцком, Калинине) перед прежним. Ему же в тон говорили и прочие служащие, и лишь один старик Бах совершенно просто и откровенно высказал ряд истин, и так это у него вышло хорошо, что инквизиторы не только не обиделись, но даже рукоплескали (а все же могут и его убрать). Тройницкий думает, что нас это в Эрмитаже миновало.

Воскресенье, 20 мая

Сначала тепло, солнечно, затем облачно и задождило. Весь день сижу дома. Кончаю характеристики прочитанных пьес (завел себе новую специальную книгу). Прочитываю пьесу, предлагаемую Грибовым, редактирую до той степени, чтобы можно было ставить.

В 4 часа иду к Зине Серебряковой. Вчера ее посетила семья Сомовых — Михайловых, пришедшая скопом предлагать в натурщицы жену Жени Михайлова. Теща прямо влюблена в нее. Расхваливала ее ноги, поднимая юбку, расстегнула корсет и трепала грудь! Костя все твердил, что они без предрассудков. Оба они с сестрой, видимо, в том же настроении, как и тетя Леля. Пикантнее всего, что самого Жени с ними не было, а был Дима.

Тревога из-за того, что Руф захотел выкроить квартиру, чтобы в квартире Бушена устроить кухню (как это было лет сто назад). Руф, напуганный отчаянием Зины (а она в отчаянии от истерического отчаяния Эрнста), отказывается от этого, очень выгодного для дома проекта. Совсем измученная бедная Катя в присутствии матери и Эрнста выглядит абсолютной

бездельницей, мнящей себя больной раком (доктора утверждают, что это не так), несчастной, болтливой, капризно-деспотической и, что глупее всего, нелюбимой своим сыном. Туда же пришел Браз, который затем поднялся со мной и просидел у нас 8 часов до самой полночи. Впрочем, мне его жаль. Он так одинок и так страдает из-за отсутствия жены и детей (мальчиков придется взять из того образцового заведения, в которое он их поместил; оно оказалось рассадником педерастии). Обедал и провел у нас вечер и Коля Лансере. К счастью, хозяйка наготовила столько чебуреков, что на всех с избытком хватило.

Понедельник, 21 мая

Солнечно. Акица расстроилась сном про плачущую дочь Лелю в Париже. Почему нет писем от нее и от Аргутона? Положительно под этим какая-то сплетня (мы подозреваем Любовь Павловну, которая могла наговорить о нашем благоденствии). Во всяком случае, судя по полученному вчера письму Саши-Яши (как всегда, милому, но безнадежному), наше письмо, посланное через Гольдера, к ним уже дошло.

Никак не могу справиться со шрифтом цифр на календаре. Вообще, ох, эти вещи в своей экзекутивной части — не мое дело. Еще выдумать и скомпоновать могу, но исполнить культурно (при таких образцах, как Нарбут, Билибин и даже Митрохин), аккуратно, чисто — не в состоянии.

В Совете какой-то мало меня интересующий разговор о международной конференции историков искусства. Эрмитаж обижен, что Академия наук игнорирует, ибо инициатива ее созыва исходит от ненавистного экс-официального института Зубова.

«Архимед» Тинторетто нашелся. Голова действительно его, но в остальном портрет изуродован. Липгардт требует смыть записи и обещает также восстановить недостающие части, как их бы сделал Тинторетто. Наивное хвастанье своими кусками реставрации на других картинах (увы, очень замазанных им). Решено дать ему еще перед отпуском за границу, откуда он едва ли вернется, даже позабавится. Все равно вещь погубленная, а сохранившиеся части он трогать не будет. С залов, в виду все еще грозящей ревизии, снята целая масса еще при царе Горохе наверченных картин. Среди них несколько портретов Елизаветы совершенно нового типа. Кое-что в виде трухи…

Встретил Комаровскую. Рассказы про Москву. С аншлагом спектакли шли всего три-четыре раза, но вообще зал имел

наполненный вид. Успех имела вся труппа, ансамбль! Особенная хвала в прессе за культурность, и даже попутно попреки Художественному театру, что он не сумел меня сохранить. «Алексей» полностью в моей обстановке, и это произвело особенно благоприятное впечатление. Подробности сообщит, когда мы будем у нее в субботу.

Захожу в Общество поощрения. Дурак Платер не сумел мне купить тарелочки, хотя они пошли всего за 220 руб. дюжина (саксонский фарфор 1840-х годов с росписью). У Белого всегда полно анекдотической информации, сведений, что петербургский английский консул простился навсегда со здешними своими служащими и уехал в Москву с тем, чтобы оттуда отбыть вместе с Хадсоном в Англию. Русский ответ не считается удовлетворительным. Красин, перелетевший в 18 часов из Москвы в Лондон, был у Керзона, но тот его принял очень сухо и отказался пойти на какое-либо обсуждение там на месте, на конференции. В то же время газеты выставляют дело так, что вся рабочая Англия требует не порывать с Россией. Керзон и Ллойд Джордж демагогически роют на этой почве яму кабинету, а амстердамский интернационал сознает, что Советская Россия — единственный в мире оплот против все усиливающейся реакции.

К обеду Катя Серебрякова. Зина уже начала писать Тосю Михайлову, и для становления позы была призвана наша Акица.

Вечером я в музейном Совете. Доклад Беренштама, как всегда вздорный, с анекдотическим привкусом («Забавник Марии Павловны»). Пришлось уже нам посредством дополнительных вопросов получить от него признание в том, что дело с Петергофом обстоит катастрофично. Медные листы с Золотой горки сняты, мебель Английского дворца, оставленная в «Большом», расклеилась, во всех павильонах обрушиваются потолки, пропали 2–3 маски с Львиного каскада, дорожки зарастают, птичник грозит развалиться (я настаиваю на том, чтобы плафон целиком перенести в музей), крышу Монплезира ни к чему трогать. Она держится мхом и, если его снять, она развалится, но хуже всего то, что Петергоф в целом начинает вследствие дефектов в канализации заболачиваться. В конце Ятманов устроил Б-у головомойку на тему, что нет хозяина в Петергофе, на что Б. с достоинством огрызнулся (генерал-то, генерал Ятманов очень трусливый). Решено образовать комиссию по изучению Петергофа и принятии экстренных мер (на какие средства?) с выездом на днях на место. После этого идиот Сычев сделал доклад об использовании помещений Академии художеств и, разумеется, несмотря на все мои предложения, заговорил и о проекте Дьякова, да еще таким тоном, что-де пусть почтенное

собрание решит, какой из проектов лучше? Исаков в это вмешался и посеял перекрестный огонь, в котором и я пострелял довольно громкой картечью (дошло у меня до таких слов, как вздор, мерзость запустения, идиотский проект).

Ерыкалов, который вообще за последнее время скрыто виляет (это типично для «них» всех, начало, приличествующее «эпохе Директории», психологии компромиссов), был то за чтение программы, то против. Ятманов хоть и стоял на нашей стороне (всех нас против одного Исакова), но по старой памяти что-то в той буре его соблазнило, но все же Тройницкий, нашпигованный мною, отвел беду, напомнив, что обсуждение педагогических музеев не входит в нашу компетенцию и как вообще надлежит рассматривать вопрос, как думаем мы использовать предоставленные нам по декрету еще в 1918 году помещения. Я оттого принимаю это дело так к сердцу, что болею за самое дивное здание и не желаю его сдать на пристанище какой-то одичалой дилетантской чепухе. В конце все же устали, решили прения отложить до следующего раза. Поговорили еще о входной плате (из Москвы разрешение взимать и с экскурсий, являющихся истым бичом музеев, ошалелые ребята носятся по залам, все трогают, роняют тяжелые вещи, ломают! И все это зря, одно сплошное обезьянство, без настоящего интереса к делу) и о том, что снова милиция, по распоряжению районных советов, стала сбивать орлов с казенных зданий (в тех немногих случаях, где их не удалили после 1917 г.). На днях сбит, по распоряжению пошляка Андерсона, орел с Публичной библиотеки (а одновременно выставляется орел на Александринском театре), а Исаков заговорил о снятии орла с павильона на крыше Зимнего дворца (предложение войти с этим в исполком не принято, так как эта мера еще ускорит вандализм). И это в 1923 году! Неужели заговорят и о снятии памятников? И ведь теперь с этим окрепшим, уже костенеющим безумием несдобровать!

Вторник, 22 мая

Жарко, солнечно. Николин день, храмовый праздник нашего Николы. Весь день благовест. У церкви много нищих, калек, даже прокаженный (если не симулирует), книгоноша, разложивший свой товар — божественные книги и хромолитографированные иконы, пожалуй, уже новые, видимо, запрещенные, прямо на мостовой, у паперти. С ним беседует босой юродивый с клюкой, всклокоченными белокурыми волосами, слепой, смахивающий на традиционный образ Христа. Акица видела днем и крестный ход

вокруг собора с пением. Говорит, что в процессии шла масса мужчин и даже два-три красноармейца (пожалуй, нужно иметь уже большую храбрость теперь новообращенным разным гражданам показаться в церкви, чем в былое время участвовать в подпольной организации).

Татан с бабушкой и мамой поехал в Михайловский сад, ныне открытый для публики. Увы, и там все уже заплевано семечками. Петербургу буквально грозит быть засыпанным этой шелухой. Вообще же горе из-за летнего воздуха прибавится, главным образом, для Татана. На дачу поехать не хватает финансов. Самая скромная хибара стоит 5–6 миллиардов, то есть все, что у меня сейчас в кассе, не считая будущей валюты, которую нужно беречь про черный день, могущий наступить через две-три недели. И которых тоже хватит больше нам на два месяца, в лучшем случае. В Петербурге же гулять негде. В Никольский сад возможно только до 12 часов. И то пристают разнообразные малышки, отнимают игрушки, ругаются. После же полдня становится прямо невозможно: гуляют лихие матросы, девки — и все шелушат семечки. Ходить же по улицам утомительно, до Александровского сада далеко, да и дорога на трамвае — 5 лимонов в 2 конца.

В 1 час попадаю в Союз драматических писателей и получаю там ровно 5 миллиардов за 4 первых спектакля «Мещанина» и один спектакль «Павильона Армиды». Среди бумаг мне подсовывают 5 из 250 миллионов из тех, которых «не принимают» (выкраденная серия), но я замечаю проделку и получаю «хорошие». Покупаю по дороге у букиниста на Колокольной несколько книг. В 2 часа в кабинет Ятманова в Акцентре (крошечный кабинет в 4-м этаже, в одно окно на Гостиный двор). Сначала отсутствуют Бернштам и Телепоровский, но потом подходят (у первого утром был сердечный приступ). Однако Телепоровский демонстративно садится в глубине комнаты, у двери, и через 20 минут вылетает не без скандала, после того что я, раздраженный его хулиганством (почти громко я так назвал), отчитываю его и заявляю, что при таком отношения ко мне и Эрмитажу со стороны дворцовых музеев не может быть и речи о том, чтобы я выступал на конференции в качестве их представителя. Но тут же обнаружилось недоразумение. Оказывается, это было вовсе не «просьба» (как это мне передала Молас), а «пожелание» Григория Степановича. Правда, оставшиеся трое хранителей и убедительнее всего Бернштам принялись меня все вместе с Ятмановым умолять, чтобы я выступил от их имени, и я условно согласился (если мне будут вовремя доставлены все материалы), но внутри себя я считаю, что лучше б мне, если выступать с докладам, то от музейного Совета.

Вообще же все наше сегодняшнее совещание носило очень напряженный характер. Я был в ударе и отлично формулировал все, что было нужно. Раздразнил меня В.К.Макаров, почему-то считавший нужным быть ужасно обиженным на статью (на финал ее) Жарновского в «Среди коллекционеров» и положивший обсуждение этой статьи в основу нашей беседы, и особенно меня раздражал К. Романов, подсевший на низком кресле мне под локоть и поминутно вылезавший со своими замечаниями, поправками, протестом, все из-за Павловских статуй, все это в своей елейной, задушевной, нудной манере загладить один из своих «перегибов» в прошлом и подготовить ему один из своих будущих «перегибов». Я, наконец, напомнил ему, что он вовсе в это совещание не приглашен. Напуганный всем Яковлев только путал и мямлил. Мне пришлось снова, почти от азов, выложить все ту же жвачку о необходимости для центральных музеев получить «мировые» ценности из дворцов и т. д… Ятманов был, несомненно, на моей стороне, все время, кажется, опирается на мой личный и на эрмитажный авторитет, словом, видимо, он переживает какой-то период полного нашего признания и убеждается, что без нас ему ничего не сделать. Жаль только, что поздно спохватился. Зимний дворец все же он успел разорить и погубить. Очень странно себя держал «мой друг» Макаров.

Обедаю у Монахова. Его именины, но именинный вид после московской поездки у всех. Больше всего имел успех спектакль «Грелка». Вообще же по общему их свидетельству — это был «триумф Бенуа», Н.Ф. произнес на эту тему очень трогательный спич, после которого Музалевский предложил мою здравицу. Я сидел рядом с Монаховым и Софроновым. Тот же Музалевский очень поражен «Землей дыбом» и «Рогоносцем» — главным образом игрой актеров (ах, вот как!). Поразительно эффектно выходит конец. По партеру на сцену въезжает с грохотом и в облаках пара автомобиль с красным гробом погибшего революционера. Очень хвалит актера Ильинского, ныне ушедшего от Мейерхольда в 1-ю или 2-ю «студию».

После обеда всей компанией идем в «Сплендид» на «Длинноногого дядюшку». Трогательная лента с очаровательной Мери Пикфорд в главной роли — приютской девочки. Монахов в сцене, когда у нее на руках умирает больной ребеночек, чуть всхлипнул.

Дома застаю Катю Грибанову. Надо будет дать им места на «Мещанина» хотя бы за свой счет. Чиню свой желудок винными ягодами, которых Акица купила специально мне, любителю, во вновь открывшейся, но в виде мелкой лавочки Прохорова, целых 3 фунта по 30 лимонов. Нерадовский получил письмо от

Аргутинского. Ему не дают в АРА назначенный ему мной (паек). По этому поводу сегодня приходила какая-то театральная дама с просьбой использовать этот паек для подношения в день юбилея Мичуриной. Я ничего не могу иметь против, но разве это зависит от меня?

Прочел «Дон Жуана». Хорошая, большого драматического направления пьеса. Но где нам найти такого пылкого, бурного, истинного героического любовника. И уже слишком наивны фокусы, долженствующие характеризовать гениальную политичность Карла V.

Среда, 23 мая

Солнце, потом холод и дождь.

С Акицей иду в АРА получить ее паек. Делаем визит Реншау. Революционная картина вследствие отсутствия средств на проведение над фасадом Зимнего и Эрмитажа настоящего ремонта. Фасады эти самым простодушным образом выстукиваются, и все, что при этом откалывается, летит вниз. Образовались большие плеши, но зато спасены прохожие. Производилась эта операция нашими же служащими и при помощи достигавшей третьего этажа пожарной лестницы. Карнизы таким же образом отбивались с крыш.

В Эрмитаже беседовал с Тройницким о конференции. Вчера вечером он уже (не дожидаясь моего заявления) провел в комиссии гуманитарной секции, чтобы его и мой доклады читались в последний день и чтобы я не выступал в качестве содокладчика Ятманова (а я и не знал, что мне грозила такая честь!).

Работы по переноске картин в третий этаж идут полным ходом, и уже сейчас видно, что нам всего запаса и там не разместить. Придется захватывать и продольный фрейлинский коридор. Крокодил выволочен на хоры Александровского зала, где он очень жутко скалит зубы. Портрет Александра I снят и оцарапан; его заменяют паноптиклеей.

Покупаю для обеда с Добычиной черный хлеб и бутылку Муската Монеля за 75 руб. (в лавке насупротив Александровского рынка). Дома томился, ничего, кроме чтения, не могу делать. Как-то внутренне расстроен, а из-за чего, сам не знаю. И Акица тоже не в духе.

Заходила художница Антонова от К.Сомова, ходатайствующая о том, чтобы я через АРА помог ей. Видная, рослая, молодая, совершенно обнищавшая. Постараюсь. Но мне ужасно не

нравится, что я делаюсь каким-то «представителем АРА». Как раз за ней Шушенька Альбрехт за тем же моим «решением» — передать паек Нерадовского Мичуриной. Но я разве имею право распоряжаться? Впрочем, ей было достаточно и того, что я «ничего не имею против». Тут же рисунок Бенуа, сидящего на стуле, и его по голове гладит женщина: «Не надо сердится, устрой, приятель, иначе грустное безнадежье».

К обеду Добычина с двумя мужами и Стип. Вкусный паштет, компот, халва. Беседа мирная и тихая, без Чеки.

Лишь к концу завязался громкий спор между Н.Е.Добычиной и Кокой о религиозности русского народа. Оба пороли ужасную ерунду. Добычин, всегда молчащий, здесь вдруг в самом конце и когда уже все встали, чтобы разойтись, выступил с необычайным апломбом и темпераментом, как ощетинившийся котенок. Я всех примирил, сказавши из опыта французской революции. Кстати, а ведь митрополит Антоний действительно наш старый знакомый по религиозно-философским собраниям. Я в этом убедился, увидав его страстную поседевшую физиономию среди фотографий, выставленных в Публичной библиотеке.

Забыл приглашение на крестины сына Алеши Павлова, которому я выразил свое недоумение по поводу поведения Изюмова в начале его визита. Наводил его на то: а не имеет ли его барин намеренье у меня что-либо приобрести, но хитрющая образина разыграла недоумение и ничего не ответила. Ох, и этот меценат «надул». Правда, Добычина сосватала мои тринадцать «Версалей» какому-то новому жиду, фамилию которого она не вздумала вспомнить, но, очевидно, это совсем уже блеф.

Мотя в видимой тревоге из-за присылки Кати Грибановой — кухарки, крошечной женщины, очень ею рекомендуемой. (Наша поденщица Таня уж больно неважный человек, теперь вот уже четвертый день, как она без объяснения причин не приходит.) Как это они вдвоем уместятся в маленькой комнатушке? Новое унижение. Однако Акица утверждает, что она сама ее умоляет взять себе на подмогу человека, ибо ей не под силу работа. Как бы не стала эта вторая прислуга поводом к устойчивой сплетне среди домашнего пролетариата о нашей зажиточности и буржуазности. Как бы не посыпались доносы, хотя бы на то, что мы взяли человека не через биржу труда (откуда никто не берет — слишком опасно), что Мотя не занесена в Союзе (чего она ни за что не хочет) и т. д.

Четверг, 24 мая

Холод, дождь.

Пишу доклад о дворцах-музеях.

По дороге в Эрмитаж констатирую (как-то до сих пор не обращал внимания), что половина наоткрывавшихся лавок снова (и в самой категорической форме) закрыта.

Убили налоги. Сережа Эрнст провожает меня до Александринки, беседует на тему, почему мне при всех моих удачах и моей обеспеченной жизни (в сравнении с его подлинной и совершенно беспросветной нищетой), почему мне может быть так нудно на душе? Я объясняю ему свою точку зрения на Запад — я не желаю являться туда туристом, гостем. Вот если бы позвали! Вот если бы я ощутил, что во мне там нуждаются… И тесно мне здесь. Моим корням здесь нет пищи, хотя я и признаю, что вообще почва здесь насыщена соками, да соки-то не те, что мне нужны.

Беру четыре места за креслами для Кати Грибановой. Как-то мимоходом, но все же более активно, чем обыкновенно, затрагиваю с Юрьевым вопрос о будущем репертуаре (вечером должно быть заседание нового художественного совета, но я не могу быть на нем, так как дал давно слово Павлову, что буду на крестинах). Но, кажется, решено: «Царь Эдип» (Хохлов, Головин), «Вне закона» Лунца (Анненков), «Бальзаминов» и «Сон на Волге», какая-то пьеса Кайзера. Два «места» оставлены за комедиями, без определения, каких. Он сам мечтает играть Ричарда II.

Покупаю ландыши по 3 лимона крошечный букетик в 3 стебля. Вечером у Алеши (Павлова). Живет в двух шагах от Львиного мостика, во дворе, небольшая комната с банальной обстановкой. К чему звал, так и не понял. Крестины уже состоялись, и я застал гостей за пустой скатертью после обеда. Мне поднесли блюдечко сливочного мороженого и красного вина. Были Изюмов, Ададурова, Изюмова, какие-то незначительные дамы. Почти все время рассказы про Москву. Ужас от «Укрощения строптивой», поставленной Смышляевым, — сплошной крик, долженствующий выразить темпераментность, и самый дурацкий акробатизм. Несчастная Дурова, пританцовывая, ломается. Уроки акробатики президирует сам Владимир Иванович Немирович-Данченко и готовит с цирковым бичом в руках. Ежедневно два часа в фойе Художественного театра вся труппа упражняется на разостланных тюфяках в кувыркании, сальто-мортале и т. д… Воистину подвигаемся вперед. Посидели до 11 часов, получили еще жидкого чая с лимоном! Наконец увидел и младенца: совершенный Вольтер в восемьдесят лет. Мамаша исхудала, бледная, как покойница. Впрочем, похорошела. Хозяин вышел вместе с гостями и, несмотря на дождь и ночное время, куда-то

отправился.

Был и Стип — очень, очень унылый, Акица на что-то дуется. Теперь понятно почему. Тройницкие едут за границу. Фаберже занял у них в былое время 50 000 рублей золотом, и ныне они имеют из этой суммы в Париже получать целых 20 тысяч франков. Воображаю, какие будут привезены туалеты. Для этого и едут.

Пятница, 25 мая

Холод, солнце.

Пожалуй, судя по сегодняшнему русскому ответу, действительно Каносса. Во всяком случае рука остается протянутой, а гордая гримаса с закинутой головой перешла в чуть жалкую, с головой слегка поникшей.

Чекато, которого я встретил на аукционе, уверен, что они на все пойдут, вплоть до восстановления собственности, требуемой во имя международного права. Думаю, что восстановление может быть провозглашено, но и то не прямо, как таковое, а для иностранцев, но и то на первых порах для англичан только.

Телеграмма от Лели из Парижа.

Акица читает на радостях и уже ликует о совершившемся факте, потом легкое разочарование. Очевидно, что ответ на ее вопрос: когда свадьба? Причем она писала, что в этот день и мы здесь отпразднуем свадьбу.

Готовлю доклад. Акица сопровождает меня на улицу Гоголя для выправления копий с нашего затерянного договора электрического освещения. Нам вчера угрожали, что отрежут кабель, если мы этого договора не представим (а между тем счета представляются за номером и мы аккуратно платим). Пришлось мытарствовать часа полтора от одной бестолковой и нелюбезной барышни к другой. Но, слава Богу, все справили.

Эрмитаж наполнен московскими экскурсиями. Часть их водит дотошный, элегантный, глухой А.А.Сидоров (он же хореографический и литературный энтузиаст и спец), принесший нам на экспертизу ряд плохоньких старинных рисунков, в которых он видит произведения Дюрера, Луки Лейденского и пр. Своим пасомым несет ужасную чушь.

Осматривал в бывшем кабинете Ник. Мих. в музейном фонде остатки Строминской [?] библиотеки, вывезенной по моей просьбе стараниями Ерыкалова. Чудесные серии литографий Домье, Гаварни, Монье, Шере. Масса костюмного материала. Но Надеждин умоляет формы и чисто придворные сюжеты предоставить обожаемой им (ныне закрытой) библиотеке Зимнего

дворца. В Обществе поощрения встречаю Шифрина с собачьи-сконфуженным извинением за объявление о «Петрограде». Мое имя было снято при следующем же его выпуске. Братья меня завлекают на выставку школы ОПХ, снова благодаря отстранению архаровцев из ИЗО постепенно возрождается. Впрочем, стараниями мерзавца Тырсы вывезено и свалено без дела на Фарфоровом заводе все оборудование некоторых мастерских. Кораблев (и нашим и вашим) обещает теперь их вернуть. Выставка очень безотрадна и безвкусна, но приходится удивляться энергии (правда, голодом понукаемых) старых преподавателей, которые все же принялись за оживление этого не успевшего до конца разложиться трупа. Впрочем, до сих пор они все еще ютятся на Демидовом переулке, но у Стипа есть надежда, что если Борис станет во главе дела, он думает отвоевать обратно и старое помещение на Мойке, а также достать средства для его отопления. Учащихся масса. Процветает русский стиль, пошедший еще от Афанасьева, Малютина и И.Рериха, лишь навязанный Кораблевым. Прохвост Мансуров (очаровавший художественную обывательщину своим Манифестом, напечатанным в последнем номере «Жизни искусства» в качестве самостоятельного аппендикса к теоретической самовосхваляющей статье безумца Филонова) заставляет подведомственных ему юношей строить и писать маслом конструкции, делать окрошку а-ля Пикассо. Я решил купить безумно дешево продающийся у Платера хрусталь (мы совсем без стеклянной посуды), пять дюжин очень аппетитных предметов всего за 500 лимонов, то есть за 5 рублей. Соблазняет меня Юрий, внесший сегодня в кассу 1000 рублей, взять еще за 800 руб. и четыре декорации Роллера и Квалио, продаваемые обнищавшим потомком последнего.

Меня до дому провожает Шапиро. Сплошная жалоба на порядки в Академии художеств. Особенно злодействует Гурвич — коммунист из Сорабиса, поставивший себе, по собственному признанию, целью вести борьбу против всякого рода мистицизма, религиозности и в то же время провозглашающий во имя чистоты пролетариата гонение на ню и всякую эротику. Насилу согласился оставить на выставке «Плач» Шапиро, в будущем грозил всяким преследованиями. Разумеется, это все только «вскидывание» среди нахохлившихся, вздутых самолюбием жидков, но приходим и все же к старым русским патроншам: полиции, к цензуре, и, разумеется, у нас всякий, кому не лень, с упоением берет на себя роль городового. Шапиро я усиленно рекомендую переправиться на Запад (ведь живет же даже архинепрактичный, вялый Мейер Шейхель в Париже. Недавно получаю от него письмо). Ведь и здесь он не умирает с голоду

только потому, что его кормит его сестра-белошвейка.

Домой заходил вятич Алексей Иванович Деньшин. Увы, и он бежит из провинции и мечтает здесь поселиться. Берется здесь наладить мастерскую раскрашивания иллюстраций от руки. Хорошо бы для детских книжек.

К обеду суп из щавеля.

Вечером на совещании в Мариинском театре (но не балетного совета, который соберется завтра, я снова не могу быть) для предварительного обсуждения репертуара (кроме меня — Лопухов, Леонтьев, И.Н.Иванов, авторитетность которого я никак не могу себе объяснить, ибо это сама беспомощность и робость). Решили целиком «Щелкунчик» (Лопухов в тесном контакте со мной, обещает слушаться, ну да и Петр Ильич обяжет), авось удастся поставить Лопухову «Священную весну» (это в его средствах), но кто художник? Головин? (За неимением Рериха.) Непременно возобновляются «Времена года» в постановке Леонтьева, но со сдвигом по моему совету в нечто российское (на декорации я с полным убеждением рекомендовал Коку), авось удастся поставить «Нерона», хотя мы так и не решили, кто будет исполнять главную роль (декорации Замирайло). Кроме того, я рекомендовал «Мидаса» Штейнберга, а Леонтьеву — «Саломею». Обсуждали и персональные вопросы. Рещено дать ход Трояновой и Кожуховой. Говорили и о том, как видоизменить, по требованию Экс-кузовича, «Сольвейг», но Пав. Петухова уже не оказалось в театре, и это пришлось отложить.

Среди заседания вдруг приезжает вся в расстроенных нервах А.В.Осокина в сопровождении женщины из месткома, не то на амплуа бледного свидетеля, не то для моей острастки. Впрочем, женщины (г-жа Пугачева!) с виду скромная, вероятно, бывшая какой-нибудь сортировщицей или что-то вроде этого. Еще днем несколько раз звонила Осоки-на и Коке, и Гауку в поисках меня. Оказывается, в Александринке из-за АРА бунт. Все не получившие осаждают местком, кто-де давал адреса Бенуа, ибо то, что я в этом принимал участие, распространилось по всему театру, и, я думаю, более всего благодаря болтливости той же дуры Осокиной. Соков обрадовался (ему надо сводить счеты с Юрьевым) и принял живое участие в обиженных. Я перед местком-шей засвидетельствовал в том, что Анна Валентиновна ни при чем (она только указала еще на несколько лиц, не упомянутых режиссером, забыл фамилию), но затем выяснил честь честью Хохлов все это дело и наотрез отказался допустить какое-либо вмешательство «учреждения», в том числе и месткома. Дамы быстро удовлетворились, зато вдруг другие такие тона, направленные к тому, чтобы меня разжалобить, и было названо

еще несколько пропущенных имен. Среди них самым наивным образом были выставлены кандидатуры Сокова и той же Пугачевой. Я обещал сделать, что возможно, хотя, признаюсь, противно снова лезть с просьбой в АРА, лично мне хотелось бы помочь Павлу и Пугачевой, по нелепой забывчивости мной пропущенных…

Видел в театре и Эксузовича. Осокина как раз мне сообщила, будто он обещал Сокову и обиженным, что он это дело так не оставит, что он его расследует, что он сразу заявил о «клевете диких зверей, которым брошен кусок мяса», негодовал на дух Александринки…

Суббота, 26 мая

Тепло со струями холода. Ясно.

Переписываю свой доклад. Иду в Эрмитаж с Кокой и Марочкой и таскаю их по Зимнему дворцу (Коку снимаю в рыцарском зале и его же в баварской каске в компании со Шмидтом и Жарновским). Но в этом холоде обостряется его скрытое от меня недомогание, и он уходит совершенно больной. Я делаю снимки (для Аргутинского) и на французской выставке. В ОПХ застаю Атю и Мотю за упаковкой купленного хрусталя. На аукционе Платера приятная вещь Петрова-Водкина «Женщины на берегу» оценена всего в 3500 рублей, то есть в 35 рублей. Покупаю альбом прелестных фото гор за 4 лимона (4 коп.). Меня провожает почти до дому кентерберийский Крамаренко. Голая женщина Изабе и миниатюра Сикарди уже за границей, и за них дают 600 фунтов. Советую согласиться. Советую барону взять Изабе, предложенного за 10 лимонов (100 руб.).

У дома встречаю Шапиро, который заходил ко мне, чтобы показать свои рисунки: очень сильный портрет еврейского юноши и проект картины: старые евреи вокруг стола заняты Священным Писанием. Среди них и юноша (автопортрет), полный сомнений и тревоги (все та же их любимая тема, как и «Облака пылают»). Снова о Гурвиче. Я, может быть, слишком неосторожно всех их скопом ругаю. Акица в горе из-за болезни Коки (очевидно, ангина), но все же идет со мной на обед к Комаровской. Покупаем за 40 лимонов фунт леденцов. (Кстати, вот скачок цен за последние 2–3 недели: масло за фунт стоило 13 рублей, сейчас — 36, мясо 12 рублей, сейчас — 19–20, сахар 10 руб., сейчас — 18, яйцо десяток 11 руб., сейчас — 20. В быту все это называется в рублях. Впрочем, извозчики любят называть 10 лимонов, 15, 25 — гривенники, пятиалтынные и четвертаки).

Обед получился и вкусным, и уютным. Кроме нее, одна Софья Ивановна. Разглядывал небогатый, но изящный гардероб Надежды Ивановны и всякие тряпочки. В одну из них зелено-синего цвета я влюбился.

К 10 часам к Гауку, наслаждаться Шубертом, но, увы, среди симфонии — телефон от Осокиной. Она уже считает себя в отставке, она почти не выходит из обмороков и прочая околесица. Я вызвал к телефону Сокова и пытался его постыдить, вразумить. Однако когда он мне почему-то счел долгом заявить, что он, несмотря на свою молодость (хам! да он всего лет на пять-шесть моложе меня), все же больше понимает в общественных делах и

стал, правда, в очень вежливой форме просить, чтобы я познакомил местком с полным списком, то это меня так взбесило, что я принялся на него орать, пригрозил «европейским скандалом» и, наконец, оборвал разговор и повесил трубку. После этого я сейчас же снова позвонил к Экскузовичу, заставил его вызвать с заседания и попросил его принять меры, чтобы оградить меня от таких недостойных безобразий. Сначала он опять заговорил о «клетке диких зверей», но потом пообещал, что завтра постарается урезонить Сокова и компанию. И вот я был уже готов, по совету Анны Владимировны, походатайствовать за эту зажиревшую скотину Сокова и за ее «друга» Пугачеву, а теперь это уже и неловко, и скажут еще, что я «струсил». Все же для Павлова и Кульвичевой постараюсь достать пайки. После этого еще звонок Осокиной: в ужасе, что я так принял к сердцу, но Гаук объявил, что я уже ушел спать и, в свою очередь, отчитал и ее за всю Александринку.

Увы, так я Шуберта и не дослушал в подобающем настроении, а «Шуты» Прокофьева, которых специально для меня принес и играл Асафьев, мне на сей раз благодаря расстроенным нервам показались просто белибердой, и мы дальше первого акта не играли. Асафьев рассказал, что он и его товарищи теперь ушли из пайковой комиссии в КУБУ, что опять и там засели коммунисты (процесс объякобинивания Франции в дни Директории) с Державиным во главе (то же и сволочь С.Исаков). Вместе с представителями некоторой «общественности» (от «Союза» и еще чего-то) ушел и Пунин.

У меня дома все слегли, взволнованные бурей в стакане воды Александринки. Троица прошла как-то незаметно. Впервые у нас в горшках стоят три березы с едва распустившимися листочками. Дивный, дивный дух!

Воскресенье, 27 мая

Жарко, облачно, душно…

Утром кончил переписку своего доклада. Раскрашиваю случайно попавшийся финляндский этюд 1904 года. Не верится, что эта прелесть (которая и сейчас у нас под боком) была там так доступна. Начинаю читать «Голый год» Пильняка. Раздражает тот же тупой национализм, поднесенный в новой форме. Пожалуй даже, эта отрава распространится уже по всему свету. В общем ощущении — эта литература как «пакость». Но ее талантливость пленит, а следовательно, кое-кого и утешает.

В 4 часа с Зиной, детьми, Татаном и его родителями

отправляемся, несмотря на сгустившиеся тучи, в сад Русского музея. Погода сначала разгуливается, и мы блаженствуем на солнцепеке у террасы на Мойке, любуясь многочисленными лодками, разъезжающими по каналу (наем по 30 лимонов в час), а также каким-то гулянием на Марсовом поле с воздушным, так и не сумевшим подняться шаром, но затем надвигается туча, и мы ищем убежище у Нерадовских, где Татана пугает самовар (это его новая затея — «бояться» самовара), но зато забавляет попугай. Петр Иванович недавно приобрел отличный итальянский пейзаж с фигурами.

В передышках между ливнями мы ходили домой. Атю, Татана и девочек сажаем на извозчика, сами же бросаемся к тринадцатому номеру, ужасаясь лохматым местам черных туч, переброшенными над Невским. Доезжаем (в компании с Баланчивадзе и Слевинским) благополучно до Никольского рынка, бегом летим под разрывами бесшумных молний до дому, и, уже когда мы были под воротами, гроза разразилась чудовищным градом величиной в боб. Наши на извозчике подоспели к тому же времени. Татан был в высшей степени перепуган и возбужден.

С Зиной затем рассматривали книги об индусском искусстве, нанесенные (он еще раз приходил) Тубянчиком (странно, я этой фамилии раньше никогда не слышал, а теперь то и дело в разных комбинациях слышу. Вот и Нерадовский рисует детей, каких-то Тубянских). Ох, как уже слащава буддийская современная живопись Индии. Зато, несмотря на усталость, мы пришли в чрезвычайный восторг от индийской скульптуры. Рассматриваю еще папку с работами наших детей. У меня разболелось ухо. Коке лучше. У него легкая ангина. Зато у Марочки ужасно болит зуб.

Понедельник, 28 мая

Духову дню испокон полагается быть ясным, сияющим, но, разумеется, там, где пролетарское 1 Мая проходит во всем великолепии весны, такая «дань религиозным преобразованиям» должна быть в назидание народу отмечена тем сплошным ужасом, каким была сегодня ознаменована погода.

С утра ливнем лил дождь, а днем стало так темно, что пришлось завтракать при электричестве. Меня дурная погода отчасти радовала. Я рассчитывал благодаря ей провести день в тишине и одиночестве. Но не тут-то было. С 11 до 12 у меня просидел Бродский, с 1 до 3 — Рябушинский, а с 4 до 8 — Браз. Ах, какой ужас! Бродский рассказывал мне про вчерашний

юбилей Мичуриной (я не пошел, так как заявил Сокову, что ноги моей не будет в Александринке). Играла она превосходно, но, разумеется, не делала иллюзии прежней сорокалетней женщины. Поставлен «Идеальный муж» с преувеличенным блеском, и особенно ему понравились декорации, исполненные по эскизам Кокой Бенуа. Так, по крайней мере, сказано в афише, не подвергшейся исправлению с момента отказа Коки от работы по болезни. Другие особенности той же афиши, что у имен актеров стоят звездочки, а они отсылают к примечанию: «Все костюмы исполнили в мастерских “Петроодежда”», что, по свидетельству Бродского, едва ли объективному, не мешает этим лордам и леди казаться из Царевококшайска. Не обошлось и без каверзы, вернее, бестактности в отношении юбилярши со стороны товарищей. Давыдов (игравший маленькую роль ливрейного лакея и вызвавший бесконечную овацию) поднес ей фотографию с того ходатайства, которое труппа отправила в Москву на предмет присуждения ей (оказывается, его великое желание!) титула «народной артистки».

Но вот Луначарский уехал в Сибирь, и ответа на ходатайство еще не получено. Бродский добавляет от себя, что едва ли и будет получен благоприятный ответ, ибо и Экскузович, и Луначарский ненавидят благородную Мичурину, главным образом за то, что она в 1919 году получила полное возмещение за отобранные у нее в сейфе бриллианты. Тогда за это вызвалась хлопотать для всех артистов «друг властей» и чекистка Люся Самойлова (как же теперь та же Самойлова будет секретаршей Монахова в нашем театре). Но при этом она из полученного отдавала только малую часть, оставляя себе и сообщникам большую часть. Но с Мичуриной это не прошло. Она подняла скандал и добилась своего. Есть ли под этой сплетней хоть тень правды?

Труппа упросила еще Мичурину принять и вторую фамилию Самойловой (разумеется, не в честь Люси!) для того, чтобы отметить ее происхождение от этого славного рода (сказать кстати, от Комаровской вчера только узнал, что наш Мичурин самозванно так себя назвал. Она даже подозревает, я думаю, без основания, что он еврей). Показывал мне Бродский материалы по иллюстрации его монументальной (и очень безвкусной) книги о Художественном театре. Мне не везет. Два эскиза моих декораций находятся под ключом в доме Станиславского. Дома у меня ничего нет (а что есть, я боюсь доверить). Из Третьяковки и других мест не дадут. Придется довольствоваться какой-то застрявшей в театре дрянью и снимком с открыток. Статью я ему обещал через месяц.

Рябушинский вместе с И.Бродским снова в «Аполлоне». Но на

сей раз взятый на откуп горхозом. На днях в железном ящике, который он перепродавал, не вскрывая, за границу, оказалось на 3 триллиона драгоценностей. Которые и забрал финотдел. Он не прочь мне найти покупателя на Мольера. Я прошу всего 600 руб. золотом за все. Очень настаивал на том, чтобы я ехал за границу.

Браза я угостил номером «Жизни искусства», в котором статьи и манифесты «левых». Читая Филонова, он дохохотался до слез. И сколько под всем этим самой подленькой смердяковщины!

Коке и Марочке лучше. Акица сама сшила себе прелестную блузу.

К обеду была Тася.

Вторник, 29 мая

Солнце, прохладно, облачно.

К вечеру холод. Вследствие того, что Мотя больна, а Черкесовы еще спали, мне пришлось идти в булочную за хлебом. Однако, хотя уже было 9 часов, но ни одна булочная в нашем околотке еще не открылась. Пришлось ждать на улице. Первой открылась маленькая, где пекарями и продавцами евреи. За 5 крошечных калачиков и 5 трехкопеечных булочек заплатил 18 лимонов.

Утром у меня снова Калачева с ответом от Осокиной и адресам тех лиц, кому я обещал еще попробовать что-либо достать. Однако Реншау, у которого я был днем, говорит, что у него пайков не осталось. Увидев мое огорчение, он повел меня к м-м Кеней за тем, чтобы узнать, не остались ли у нее лишки от списка. Однако без последствий. Милая кошечка ничего не смогла сказать и лишь обещала мой список передать, когда (Кеней) вернется из Москвы. Во всяком случае, четырех (больше всего мне хотелось бы удовлетворить Павлова, Кулевичеву, Фролову и прочих мною забытых!) я еще устрою, так как несколько открыток по моему списку вернулось без нахождения адресатов (среди них, помнится мне с былых времен, старая танцовщица Фролова, адрес которой дал Эрнст). В АРА я был днем, после Эрмитажа. В бесконечном хвосте получающих — масса мною облагодетельствованных (но не знающих, что это я устроил им паек. Нахальный мальчик Воронов вцепился в меня: дай-дай!). Я его не включил, он считается благополучным в смысле халтуры. Насилу отвертелся. У дверей Реншау, сотрудник Ершов (тот, что так удачно изображает башибузука на лошади). Он же пришел ко мне с мольбой выхлопотать ему и четырнадцати его товарищам пайки. Но на нет и суда нет. Пристроил еще

актера Шумилова и еще кого-то.

Вечером на заседании у Юрьева. Соков вызвался подавать мне пальто, «мило» извинялся за то, что «вышло так неудобно». Я облекся в благодушие и счел инцидент исчерпанным. Экскузович, кажется, собирается хлопотать от своего имени пайки АРА, но, разумеется, останется с носом.

В Эрмитаже Совет. Ученый секретарь А.И.Макаров опоздал на час, так как его запер в архиве и ушел с ключом матрос-комиссар. Вообще в архиве всевозможные утеснения. Тройницкий считает, что архив в Эрмитаже переживает ту детскую болезнь, которую мы пережили в 1919 году, в достойные дни Пунина. Пришлось Макарову вылезти в форточку! Платонов не вытерпел и ушел из архива, Сиверсу до того дали отставку в качестве бывшего лицеиста или правоведа.

В воскресенье под руководством С.К.Исакова прошла большая экскурсия из музейных работников на пароходе в Шлиссельбург. Была взята масса пива и самогона — ершом все перепились, как скоты. Один Ятманов не пил и был очень сконфужен поведением своих сослуживцев и особенно коммунистов.

Ужасная гнусность получается с «Петербургом» Добужинского. Пришла бумага из Главлита (учреждение, тождественное Главному управлению по делам печати, но еще более жесткое и нелепое) за подписью какой-то двойной фамилии, требующая приезда для объяснения одного представителя от издательства Популяризации. Степанов совсем убит. Едет благодушный герой Чернягин. Везет он с собой рекомендательное письмо к «двойной фамилии» от застрявшего здесь со своими экскурсантами проф. Сидорова и к Каменеву от Щеголева. Вероятно, обойдется штрафом в полтора миллиарда и отеческим выговором за тайное несочувствие советской власти. Но может выйти и нечто худшее, лишь бы не изъяли издание из продажи, что совсем разорило бы наше издательство, и без того на ладан дышащее и не закрывающееся только благодаря изуверской преданности делу Степанова — Чернягина. Но какова вообще вся эта «конъюнктура»? Ведь от здешнего Обллита получено было после всяких придирок и произведенных поправок полное разрешение, и вдруг теперь такой пассаж, да еще с очередным вызовом в «столицу». Это при теперешних условиях жизни, при удушающей дороговизне, при невозможности найти себе пристанище в Москве! А та же Советская власть будет затем кичиться, что в ее время, под ее благословением, выходили такие прекрасные книги!

Вечером состоялось второе заседание (для меня первое) нового художественного Совета в Александринке. В него входят,

кроме меня, и старые члены: Юрьев, Экскузович, Карпов, Смолич, Д.К.Петров, Соков, Кристи, Хейфец, вновь приглашенные — Хохлов, Лешков и Вивьен, выбранные от Рабиса, Сергей Радлов, «сам» Адриан Пиотровский, рожденный великой Пастуховой от великого Зелинского, действительно с виду «очень гениальный юноша» (ему на вид не более двадцати пяти), в бумазейной курточке, безбородый, со сверкающим взглядом мигающих и выкатившихся глаз, с речью хотя и тусклой по звуку, но весьма стройной и производящей (*желавший в этой компании производить*) впечатление совершенной толковости. Спустя первые полчаса, как раз во время одной из бесчисленных инструкций, неумолимых своим разоблачением разобиженного Лопухова, что-то все настойчиво доказывавшего в «интересах актива», я обратился к соседу Экскузовичу с вопросом: а ведь, пожалуй («пожалуй» так, для формы, в глубине же просто *убежден*), этот состав совсем такой же бестолковый, как и прошлогодний, на что получил ответ: «В семь раз больше». Во время пышной, адвокатской речи Хейфица тот же Экскузович обратился ко мне с запиской: «Александр Николаевич, какой прохвост!» Зато Юрьев, вообще нервничавший и обрывавший очень бесцеремонно и. Пешкова, и Карпова, и Петрова, умиленно слушал то, что говорил юноша и даже шептал: «великолепно», «чудесно», когда что-то, впрочем, не очень глупое (но внутренне лукавое, имеющее значение подхалимства) принялся развивать Пиотровский, вероятно, нравящийся ему, кроме того, и в качестве «мальчика». Я финал не слышал и ушел в 10 часов, вызванный (по условию, заранее) телефоном из дома, но и того достаточно, что я наслушался и в чем царила (и по мнению абсолютной бездарности Юрьева, и по милости абсолютной внутренне присущей враждебности всех собравшихся) полная, безнадежная, а в результате совсем, разумеется, и бесплодная бестолочь.

Впрочем, не успел я придти домой, как уже звонила Осокина с сообщением принятого решения: продолжить прения еще и завтра. В начале шло обсуждение намеченного репертуара, затем прения — на выяснение каких-то обид, затем на выяснение задач Александринской и Михайловской сцены; тут-то «юноша» и обнаружил стремление завладеть старой студией и сделать из нее опытную мастерскую новейших поисков, откуда она смогла бы обустраивать старый театр и где она на свой лад исковеркала бы всю молодежь труппы. Я молчал как рыба, но с менее тягостным чувством, ибо я как-никак и в этой среде показал, что я умею и на что-то годен. Дельно сказал Смолич о роли в успехе сезона удачных в распределении пьес по режиссерам, дабы каждому дана была возможность вскрыть существо пьесы.

В ответ на персональный очень глупый выпад Вивьена против Петрова за то, что лучшие свои силы отдает на сторону («балалаечки»), последний вывернулся остроумно, поставив вопрос ребром: или мы здесь должны обсуждать репертуар, или мы здесь будем критиковать Юрьева, а так-де выходит, что мы заняты «свержением власти». Он же служит как умеет, и иного отношения от него требовать нельзя.

Банальщину понес о классиках против Петрова, ему остроумно ответил Пиотровский, требуя поисков «новых канонов», задач через наследство прошлого и во имя «нового строительства сцены» и новой драматургической системы (в ожидании все еще не являющихся новых авторов), Леш-ков вдруг провозгласил преимущество над всеми «Плодов просвещения» и несколько раз возвращался к своему обращению играть Митрофанушек в «Недоросле», хотя о последнем вообще не было речи. По Радлову, «не все классическое — классика», что же касается «Сарданапала» Байрона, намеченного к постановке, «то его нельзя давать, ибо он — апофеоз монархического индивидуализма и никак в тон наших запросов не включается». Интереснее же та пьеса классического репертуара, к которой может быть найден современный ключ (это почти дословно, что и я всегда говорю). Немало трепали и Художественный театр. Кристи свалил беспринципность репертуара Михайловского театра на НЭП и тут же сообщил, что «ведь вот никто не сомневается, что тов. Ленин — гениальный (он произносил г по-хохлацки) человек, однако и ему не удалось провести коммунистическую программу». Я ушел на том, что Пиотровский намеревался прочесть целый исторический конспект истории театра, причем он все различал какие-то «гнезда»: гнезда классики, гнезда романтики…

Политическую ситуацию обсудили до прихода Кристи.

У всех очень пессимистический тон. У Экскузовича даже прямо контрреволюция в том, что у нас не проводится политбесед. В избрании Болдуина видят полное продолжение политики Керзона, приводили цитаты из консервативной прессы Англии, в которой прямо выражено желание поставить Россию на колени. Обсуждали возможности и характер войны. Англия будет воевать до последнего польского солдата, и все оказались уверены в ее поражении и при невозможности для нее вести войну. Цитировали мрачные слова самого Зиновьева. Лишь Соков в заключение встал и заявил: «Россия вам не Германия! Россию никто не победит!» Однако, если посмотреть на карту, то ситуация более сложная.

Экскузович всех тронул рассказом, какая у него во дворе

собака, у которой вырезан язык. Сегодня (я сам не читал) сообщают о каких-то ужасных злодеяниях. Один извозчик вместе с женой убил для ограбления тридцать три человека. Другой в Москве отправил на тот свет более ста.

Среда, 30 мая

Солнце, холодно, деревья туго распускаются. Полдня я на положении совершенно хворого. Остальную часть выздоравливал. Проснувшись, я сразу налег на замысел и даже разочаровал Акицу про только что виденный нелепый сон. Но когда я попробовал поднять голову от подушки, то вся комната пошла ходуном, и в продолжении трех часов это омерзительное, возмутительное головокружение не прерывалось. Хотя мне и положила Акица компресс на голову и горячую бутылочку к животу, и хотя я проглотил свою обычно крошечную дозу алоэ, что причинило недомогания в животе (на который, впрочем, — я купил винные ягоды — не имел за последние недели поводов жаловаться).

К 10,5 часа мне, наконец, надоело лежать, и я в одиночестве прибег к простейшему механическому средству разгона крови — к ножной и ручной гимнастике. И что же — очень скоро головокружение прекратилось, и я смог отдать ночною дань природе. После чего совсем полегчало. Я оделся и вышел в комнаты.

До 4-х часов, валяясь на диване (без дремы), я одно время беседовал с зашедшим А.Н.Морозовым. Он и вся его студия будут жить в Петергофе на двух дачах по 3 и 4 миллиарда и мечтают меня получить туда же, впрочем, если бы я желал вести работу (какую именно из пьесок Клары Газуль мы возьмем — еще не решили. В понедельник я приду знакомиться с труппой, и тогда решим, на чем остановиться, прикинув, какие пьесы «расходятся») в городе, то они могли бы присутствовать и здесь, они все равно играют в «домах отдыха», для чего им надо приезжать. За этот, в сущности, спектакль отколовшаяся часть студии получает свое главное обеспечение в виде 24-х пайков. Вообще же Пролеткульт и особенно сама товарищ Ядвига, поддерживаемая левыми, относится к такому перепеву Художественного театра крайне недоброжелательно и вовлекает Морозова только как квазикоммуниста, состоящего у них в труппе и умеющего ладить с олицетворением духа компромисса Кораблевым. Я постращал Морозова, как бы мое участие окончательно бы не скомпрометировало, но он идет на все и, видимо, по существу, а не по одной рекламе, страстно хочет меня получить. Вообще он

мне чем-то нравится, и даже не столько тем, что я решаюсь согласиться на такое явно невыгодное дело, ибо времени потрачу массу, а творчество свое вынужден буду включать в очень тесные рамы, а в смысле гонорара получу едва ли больше 10 руб. золотом, если я их получу. Да еще клянчит мои эскизы для своего музейчика. Как-никак, а беседа с ним меня развлекла, и уже после него я встал, спустился вниз к Зине и даже полчаса посидел в саду с Татаном и Атей (ужасный холод).

Вечером всякие недомогания исчезли и остался лишь известный Дизель. Иногда причиной является, мы подозреваем, та очень вкусная смесь, которую мы пьем в виде кофе, американское сгущенное молоко, нелуженая кастрюля, в которой варится суп, съеденная мной вчера на ночь порядочная порция изюма, поднесенного В.В.Патриновой, отъезжающей в пятницу с дочерью к другой дочери на юг. Лишь бы только мои подозрения не были бы оправданы и не имели бы, что это идет из области почек, или, во всяком случае, от того, слегка, но непрестанно дающего о себе знать ушиба, полученного во время одной из репетиций Мариинки, когда я треснулся о брусок железного занавеса. О, зачем я тогда же не принял мер, не помазал йодом, не поставил компресс. Но Акица тогда отнеслась к этому в водевильных тонах, и мне было стыдно от нее отставать. Сама Акица тоже сейчас инвалид. Она стукнула о дверь внешнюю сторону левой кисти, и у нее она распухла: или порваны какие-то связки, или внутреннее кровоизлияние. Однако к доктору ни за что не желает обращаться и продолжает заниматься целыми днями рукоделием. Сшила себе, между прочим, прелестную блузу. Кроме того, она поступила в горничные и в кухарки к Коке, который поправляется от ангины, и весь день там возится. Это тем более необходимо, что их прислуга Ксюша тоже болеет ревматизмом (и собирается в субботу уходить), а Марочка как хозяйка никуда не годится и все живет только своими театральными дрязгами.

Тройницкий пришел в восторг от моего доклада. Мне же он кажется путанным и «слишком литературным». Его тезисы созрели, но, вероятно, вызовут большие споры особенно со стороны Сычева, не желающего под влиянием этнографов соединяться с Эрмитажем.

Сенсацию принес вчера Гаук: мать хорошенькой Марочки Комендантовой повесилась. В чем дело? Неизвестно? Может быть, просто ненормальная. Они как раз на днях собирались уезжать навсегда за границу, и у них все было готово.

Днем заходил к Зине, и она меня встретила известием, что ко мне опять собирается кюре, желающий, чтобы я поступил в члены

какого-то церковного общества. Ох, это идет от глупенькой моей сестры Кати. Неловко и неприятно… А между тем мне предоставляются такие игры в общественность, да еще с церковной подкладкой, в наши дни прямо опасными (и нежелательными), расчеты были у них и на Добычину. Зина энергично протестует, чтобы я рисковал и подписывался.

Прочел сегодня историю о тридцати трех трупах. Замечательная тема для фильма. Всего более поражает метод слежки и полное отсутствие совести. Тридцать три раза повторить одно и то же злодеяние — для этого нужно иметь «мужественную душу». Но почему такой человек не поступит в Чеку. Это же призвание! А может быть и то, что если эти строки будут читать лет через пятьдесят — сто, то изумятся моей наивности. К тому времени подобные явления превратятся в нормальные и даже рекомендуемые. Из разбрызга того, что сейчас создают в искусстве, можно вычитать еще не такие мрачные для нас пророчества. А интересно знать, как повлияет на «образование» такого «великого» преступления война?

Татан удивительно за последнее время мужает. Он превратился из бесполого амурчика в мальчишку, и уже у него роман с Катей Серебряковой, которая тоже к нему неравнодушна. В ее присутствии все в нем преображается: голос делается звонче и приобретает особые известные интонации. Он ходит более бойкой походкой и получает особую склонность к запретным шалостям: влезает на стулья, плюется, показывает язык. Сейчас у него мания — запирать за уходящими кухонную дверь на крючок. Делает он это с видом Зигфрида, борющегося с драконом. А когда крючок уже вдет, он повисает на нем и качается. Потребовал сегодня, чтобы я ему нарисовал усы, но был очень недоволен, что я ему их сделал с ангиной — рыжими. «Хоцу цёррные уси».

Третий день хожу под угнетающим впечатлением «Голого года» Пильняка. О да, это похоже!

Четверг, 31 мая

Солнце, ветер, холодно даже в осеннем.

В трамвае брат Экскузовича показывал мне на даму-цыганку лет сорока с широким, плоским, темным лицом и тупым носом, которая, по его сведениям, была любовницей великого князя Николая Николаевича в начале войны.

В Эрмитаже обсуждение тридцати трех трупов и многое другое. Снова угрожают посягательством на библиотеку Зимнего дворца со стороны и Акцентра (в целях нэпманских или попросту

распродажных), и Публичной библиотеки (в целях пополнения пробелов, причиненных политическим изданиям, кстати сказать, на будущей неделе придется передать кабинет Станислава Августа). Тройницкий уже отправился ругаться с Кристи, а я пошел к Надеждину, дабы сговориться с ним о дальнейшей кампании.

Получил в Эрмитаже жалованье: 1312 рублей по реальной валюте — около 10 рублей, по официальной — около 20 рублей, из Большого драмтеатра тоже — 1100 рублей. Тотчас же пошел в Общество поощрения и взял у Платера восемь Роллеров и Квалио (я все еще не выучился их различать) за 900 рублей и заказал в это же время гравюры с ван дер Мейера на аукционе. Продается у Платера альбом Павла Соколова: рукописный текст «Записок сумасшедшего», обрамленный карандашными виньетками. В конце — глава из «Мертвых душ», вставка с пастухом. Петров-Водкин за 500 рублей — не нашлось покупателя. И Кристи, и Григорьев, и Бурлюк, и «Ангел» — гравюра Литке — все еще стоят.

Ирина захаживает каждые три-четыре дня и надоедает Акице мольбой, чтоб я постарался ей продать этюд — довольно неказистая вещь. Разговор с ней ужасно мучительный. Она кричит криком и говорит все сплошь без знаков препинания.

Атя с Зиной были на выставке в Академии и вернулись удрученные, как от правых, так и от левых. Вещи приличные тонут в чудовищном хламе. Татлин и Мансуров вывесили по плакату, в которых они негодуют друг на друга. В одном из них и угроза мордобоя. Татлин как раз громко перорировал перед своими вещами, поучая кучу каких-то серых людей, когда вошли наши дамы. Увидев их, он строго оглядел их с головы до ног и обратился к своим слушателям со словами: «Опять пришли какие-то, придется говорить шепотом». После чего он действительно продолжал поучать шепотом. Не более отрадную картину представляют пояснения глашатая, водящего глупых баранов в безднах отделений выставки. Под «Государственным советом» Репина надпись: «Вот как «они» работали!» Для этого, очевидно, пошляку и гадине Исакову и понадобилось затащить эту картину в Академию.

Кюре Аманде не пришел, но его ожидание испортило остаток дня.

Вечером пришел Тубянский как раз с доклада Сильвена Леви, читанного в кабинете Ольденбурга, — о впечатлениях, вынесенных знаменитым ориенталистом о своем двадцатимесячном пребывании в Азии. Картину он нарисовал безотрадную. Всюду замечается катастрофически быстрый упадок

интереса к гуманитарным знаниям, иначе говоря, ввиду тоже огрубения, опошления. Были еще Сережа Зарудный, читавший письмо Качалова из Филадельфии (восторг от удобств американской жизни, жалоба на неблестящие заработки, «всего» останется каждому три-четыре тысячи долларов), И.И.Жарновский и Ф.Ф.Нотгафт. Тася (она наконец призналась Ате, что собирается выйти замуж за Федора Федоровича), приходившая прощаться Леля с матерью, брат Миша и Альберт, и уже в 11,5 часа совершенно пьяные Стип и Платер. Последний своим дурачеством развеселил мою что-то совсем захандрившую Акицу.

Пятница, 1 июня

Предположительно — день свадьбы Лели в Париже.

Холодно, темно, почти весь день дождь.

Акица в гадком настроении и все жалуется на мигрень. Настрой сказывается на всем доме. У меня болит левый бок.

Захожу к Циммерману исправить адрес посылки АРА (несколько открыток вернулось). Ему стоило трудов убедить

Экскузовича предоставить иностранцам ложу на завтрашнюю «Паковую даму». Я убедил Циммермана, что ему следует самому и отнести в АРА, что он исполнил. Как бы все же не вышло новое недоразумение. Плюгавый и хамовитый адъютантик Экскузовича Иванов может туда все же напустить народу.

В Эрмитаже меня интервьюирует посланец ГПУ, очень невзрачный, тщедушный, молодой и косноязычный еврейчик по вопросу о ряде картин, продающихся в Берлине и вывезенных из России (очевидно, кто-то донес). Только две из них я могу идентифицировать: «Опричников» Новоскольцева, которых я видел в квартире последнего в 1919 или 1920 году (что уже относит дату их вывоза на время после революции), и «Адама и Еву» Пальмы-младшего, очевидно, тот самый фрагмент, который нам предлагали в Эрмитаж для покупки. Но относительно второго я не был уверен. Теперь еще притянут кого-либо. Про списки было целое дело, но его он мне не показал.

В Эрмитаже ждали Сильвана Леви, и по этому случаю Орбели — Боровая вытащили и разложили в кабинете первого все свои главные драгоценности: золото из кладов, сасанидские блюда и прочее. Я так и не дождался французов, но зато насладился этим великолепным случаем — восторженные пояснения Орбели. Между прочим, он мне рассказал хорошую историю про одного армянского царя, который томился в плену у сасанидского царя

(кажется, Шапура). Слуга плененного чем-то заслужил особую милость своего нового господина и, когда последний его спросил, чем бы его вознаградить, слуга пожелал одно: устроить грандиозный пир своему бывшему повелителю. Желание было исполнено: пленник приведен из темницы и «весь день и всю ночь армянский царь и его слуга предавались наслаждениям. К утру же царь поблагодарил своего верного слугу, сказал, что он ему еще покажет, как жил прежде, и закололся, а вслед за ним покончил с собой и его верный слуга». Картинно рассказал Орбели и про триумф одного из Сасанидов — празднование победы над армянским мятежным принцем. Все они были для казни расставлены на площади, и рядом с толпой стояли их жены, совершенно нагие, и вот, на глазах мужей, царь выбирал себе для гарема наложниц. После чего на глазах жен были казнены мужья (последнее, может быть, я сейчас присочинил).

В кабинете «граверщиков» обсуждали сегодняшнюю ответную английскую ноту, которая вызвала слово «лорд Керзон снова лезет с предложениями». Нота составлена в крайне вежливом и почти ласковом тоне. Англичане выражают удовлетворение по поводу взятия обратно писем т. Вайнштейна, но во всем прочем остаются при своем пассаже о компенсациях, даже прибегают к чисто торговой угрозе (если сейчас не заплатите, то потом дороже возьмем), и что не очень вразумительно, говорят о возможных других частных претензиях. В параграфах, озаглавленных «Требуют отзыв послов» говорится не о «послах», а о советских агентах, в отношении которых Англия требует полнейшего запрещения заниматься пропагандой. В общем, войной еще не пахнет, но намерение добиться своего просвечивает. Лишь бы наши очень не занервничали. А тогда сейчас же спустят с цепи Румынию и Польшу.

В АРА исправляю адреса и пользуюсь тем, что некоторые еще не ведают о своем счастье, чтобы попросить Киртнера переправить их фамилии на фамилии пропущенных в Александринке: Павлова, Кулевичевой, самого Сокова, Пугачевой, а также м-м Антиповой. Оставшихся из претендентов авось удастся удовлетворить пакетами Кини, который возвращается завтра. Но ведь может случиться, что явятся еще и еще новые. Сегодня, например, в Эрмитаж пришла с претензией барышня от училища Штиглица. В АРА одновременно со мной (но я спрятался за конторкой Киртнера) были Желунов, Студенцов с Дареллой, которым, имея в виду их благополучное состояния, не послано посылок. Очень горевал Киртнер на то, что по балетному списку прошел А. Пономарев, служащим крупье в одном из игорных домов и имеющий 50 млрд денег. А между тем он, придя за

пакетом, даже наделал скандал: почему ему не дали пастилки. Ох!

В Обществе поощрения встретил Кесслера и убеждал его купить чудный портрет старушки Крафта за 4000. Он же покупает дивный азиатский ковер за 5000 и миниатюрный портрет анг. Массона — героя М.Лейхтенбергского — за 1500. С балетом ничего не вышло. 2000 долларов в день — это не по средствам современной Германии.

К обеду Зина, Тася, наши молодые, Стип. Стол же благодаря дарам Таси и Нотгафта, подошедшего к концу, был уставлен белыми цветами: ландышами, нарциссами и сиренью. Сам обед был довольно скромный, но, как всегда, вкусный.

Сейчас же после обеда мне пришлось уехать на заседание Организационного бюро в Эрмитаже, где я прочел с большим успехом (лишь с совсем легкими и дельными поправками Ерыкалова и Романова) свой доклад. Сообщили и свои тезисы Тройницкий и Романов, но последнего никто не слушал. Впрочем, Ерыкалова это подвинуло к тому, чтобы разразиться целым патетическим воплем в защиту безнадежно погибающих памятников, на что Ятманов, поддерживаемый Ольденбургом, только благодушно ухмылялся и говорил какие-то оптимистические фразы. Ерыкалов и Нерадовский меня затем проводили. Ерыкалов рассказал о необычайно сильном характере Н.П.Рахлиной, о том, как муж ее измучил своим маразмом, как сейчас она томится за границей и рвется обратно, какая она искусная портниха (она даже делает сценические костюмы для балетных). Случайно же в разговоре выплыло и то, что в Строгановском дворце пропала целая масса вещей — все семейные сувениры, и среди них одна из самых интересных вещей собрания — альбом «Путешествующий живописец»! Сейчас Ерыкалов мечтает устроить во дворце (и для оживления его) род памятного отдела Строгановых (с вещами из Мурино). Ну что же, мальчик продолжает образовываться и умнеть. Нерадовский мрачен. Меценаты исчезли. Гущик весь в аферах и, не щадя своего здоровья, ворочает какими-то колоссальными делами — поставкой копий, но к коллекционированию охладел, главным образом из-за того, что музеи не возвращают ему его вещей.

Видел сегодня в Обществе поощрения вернувшегося из Москвы Чернягина. Полянский принял его после слов: «Если это еще раз повторится, то я всех вас арестую, здание конфискую, а издательство закрою!» Но в дальнейшем он несколько смягчился, взял тон более «отеческий» (с виду это небольшой, щупленький, тусклый и бледный господинчик с острой бородкой). Чернягин очень толково (никогда бы не подумал, ибо внутренне не готов,

не дал бы собраться с мыслью), логически ему доказал, что ничего контрреволюционного в рисунках и легкой иронии в словах Яремича «Петербург помолодел и посвежел» — нет. Более всего Полянского возмущает отсутствие человеческих фигур на ведутах Петербурга. Очень был озадачен и тем, что на обложке стоит 1921 год, а литографии помечены 1922 г. (на самом деле Добужинский делал свои рисунки и в 1919, в 1920 и 1921 годах).

Беседа продолжалась с час и приняла настолько мирный характер, что когда на прощанье Чернягин спросил, не понадобится ли отныне всегда посылать издание в цензуру Главлита, то Полянский даже как бы обиделся, что его можно заподозрить в таких «стеснениях». Из всей беседы Чернягин вынес определенное впечатление, что под всем этим — наговор Полянскому, вероятно, от какого-нибудь советского магната: вот-де как Кремль процветает в вашем ведомстве. Это же предположил и А.А.Сидоров.

Суббота, 2 июня

Мелкий дождь, холод.

Курьезные у нас, почти средневековые стычки, иногда и споры с Акицей. Революция не прошла безнаказанно для самого благородного мировосприятия, а, кроме того, она подпала и под влияние Юрия и Ати, величайших по природе мракобесов и гордецов (у Юрия еще много мальчишества), а у меня это тоже было до двадцати двух — двадцати трех лет, но только тоже, правда, у меня это изживалось все время со страстным обожанием к природе и всего к ней ближе стоящего. Как бы то ни было, но меня удивляет Акица, что ни слово, теперь ругает «простых» людей, видит в них одних мошенников, обманщиков… Все, что есть дурного в нашем современном состоянии, она не отличает в этом от когда-то ненавистных ей (особенно в 1917 году) типичных «буржуев», приписывает хамам. Заодно попадает Толстому, и даже в нем она видит один из корней зла. Примерами изобилует для нее и наиболее прикосновенная к ней жизнь, так или иначе, как погром дворника Василия (вчера на глазах у сестры Кати, случайно глядевшей в это время через окно, он, это добродушное существо, ласковый человек, украл из лохани, оставленной на холоде в сарае, лучшие куски мяса, полученное питание из КУБУ), и тем не менее они же не промолвились о виденном, ему потом дали еще кусок в награду за какую-то услугу. Кто здесь больше виноват: голодный ли холоп или вконец разжиревшие господа — Дементий, его дом, Таня и

даже младшая, преданная, тихая, покорная, изводящаяся на работе на нас Мария?

Но что касается последней, то причины здесь иные, и среди них главная — ревность, ни на чем не основанная (кроме как на гуманном, ласковом моем обращении с ней, которое она вполне заслужила и которое, очевидно, не входит в выработанную общую мной и Акицей программу «воздействия быта»), но все более и более прорывающаяся наружу. Между тем до откровенного объяснения у нас никогда не доходило, и это тоже более всего от гордости Акицы. Сегодня утром опять по поводу рассказа о комнатных цветах, которые будто бы не выдерживают соседства с полевыми и сразу вянут, Акица сочла долгом заявить, что она предпочитает первые вторым, так как всю жизнь она умиленно восхищалась именно полевыми цветочками и находила в их запахах неизгладимую прелесть. Разумеется, и я не прочь насладиться розой, гелиотропом или гиацинтом, но все же ничего слаще, волшебнее, божественнее в полном смысле слова ландышей и васильков (в массе) я не знаю.

В 1 час я отправился по приглашению Коли Лансере в новое помещение Бытового музея, иначе говоря, в дом Бобринских на предмет консультации его и М.Фармаковского относительно программы для «визелевщины» (то есть набор самых разнородных предметов, которые дурень Визель расставил в ужасно плохой комнате). Они готовятся использовать предоставленное помещение по-новому и более разумно. Фармаковский составил толстенькую диаграмму, в которой у него горизонтально идут «эпохи» (приблизительно совпадающие с царствованиями, но озаглавленные новыми терминами), а вертикально — не «сословия», а «слои», впрочем, последние не выдержаны: так, рядом с группой «трудовое население» стоят «купцы» или «дворяне». И вот, в идеале, этот чудак мечтает демонстрировать в целых ансамблях быт и городского крестьянина при Петре, и сельского священника при Анне, и военного при Екатерине и т. д. Материалом же он, разумеется, располагает, но таким, который может иллюстрировать, в лучшем случае, Средневековье, если не прямо придворное сословие. Ох, как охочи люди до схем и непригодных в жизни формул! Я постарался выбить его из этих дебрей фантазии и свести к реальному миру. А если оставаться в области реального и действительно осуществимого, если при этом считать недостаточным «культурную экспозицию» сериальных подборов (что, разумеется, достаточно для нас, искушенных, но недостаточно для широких масс, для коих музей как таковой и устраивается), а желать, кроме того, дать и более целостное представление о былом, достижимое при посредстве

сопоставления всех вещей самого разного характера и назначения, когда-то входивших в обиход, и что нужен ансамбль, нужны такие предметные картинки состояния, объединенные известной эпохой и известным классом вещей, но какой именно эпохой и каким классом эти ансамбли могут быть посвящены, покажет лишь наличность предметов и известное практическое с ними оперирование. Кроме того, в Бобринском доме нужно сохранить неприкосновенной только знаменитую, достаточно насыщенную и единую по характеру малиновую гостиную, которая и может служить образцом богатой простой комнаты эпохи Александра I, а во всех же других парадных залах следует расположить в красивом порядке и по всем правилам хорошего музейного вкуса «сериальный подбор». На этом я и покинул их, спеша в Зимний, где нам надлежало целой комиссией осмотреть библиотеку, дабы затем иметь свое впечатление о ней и принять то или иное постановление, которое гарантировало бы ее от разгрома, намеченного Кристи.

Этот обзор (очень поверхностный) и состоялся, причем я только теперь узнал о существовании еще одной секции на третьем этаже. Водил нас Надеждин — бестолковый человек, не умеющий сделать ни одной формулировки, но ценный в качестве ревностного Цербера. Тон у него с нами такой, который указывает на его желание попасть под нашу руку. Прошлись мы заодно и по тому отрезку фрейлинских комнат, которые мои коллеги считают необходимым присовокупить к уже занятым нами, ввиду того, что они уже все заполнены перенесенными из Эрмитажа запасами картин. Как всегда, меня обуял при осмотре внутренний «ужас от пространства» (я чувствую, как я расползаюсь), я знаю, что это так нужно, я предвижу, что придется еще и еще расположить, но при этом одолевает невольное сомнение в том, да удастся ли со всем этим справиться, не потону ли я в этой безбрежности. Впрочем, чувство это не оставляло меня всю жизнь (психология маленького, скромного и тихого французского буржуа, которого во мне очень много и которого я очень ценю, что мешало мне, иногда помимо воли и сознания, расти, захватывать и включать в свою орбиту людей, дела, вещи, целые памятники и даже целые «ответственные перед культурой явления»). Даст Бог, я и на сей раз как-нибудь справлюсь. Ну а не справлюсь, значит, так и нужно. Хорошо, если благодаря мне Зимний дворец будет спасен и превращен в памятник — сокровищницу мирового значения. Во всяком же случае, не я повинен в том, что он потерял свое прежнее значение и даже в значительной степени и внутренний облик. Но жутко, грустно пока видеть всю эту гигантскую пустоту там, где еще в 1919 году были уютные или нарядные, полные

жизненной атмосферы обстановки, хотя бы одна такая «фрейлинская» сохранилась! Ох, товарищ Ятманов…

Посидели на аукционе Общества поощрения. Картины и рисунки идут буквально за копейки, даже когда они в рамках и под стеклом, стоящими во всяком случае *больше рубля*. Аукцион — своего рода клуб: кроме всяких перекупщиков, встречаешь каждый раз и массу приятелей. Сегодня Д.И.Верещагин, А.Келлер, Стип, В.Белый, И.Степанов. Милое лицо у младшей девочки моего бывшего Петра, служащей «разносчицей» вещей во время аукционов.

Дома неожиданное появление Грабаря. Я должен был идти в «Пиковую даму» и потащил его с собой. Увы, он увидел развал того, что было. Печальнее всего обстоит о освещением — нет лампочек (ходили слухи, что из тысяч предоставленных из Москвы Экскузовичу досталось было только несколько сот, да и их воруют нещадно). Летний сад в полумраке. Горит всего одна люстра, но вместо 40 свечей горит 10. В спальне графини не зажигали ни лампады, ни ночника за ширмами (а тени на декорации написаны от них), в казарме поскупились поставить свечку, а, следовательно, таковые и не потухли при раскрытом окне, а продолжали гореть электрические лампочки на столе среди книг Германна. Сбились мизансцены. Настоящее несчастье с ветром. Режиссура уверяет, что его нельзя давать, ибо он испорчен, а поэтому слишком ревет, но я узнал, что виной всему тому Купер, заботящийся о том, чтобы не заглушить хор (панихида). Вследствие этого вопрос Германна: что это, «тени или ветра вой», становится нелепым, ибо ни у кого не может быть сомнения, что это пение. Ах, вообще, какое горе театральных работ, как мало они прочны, как подвержены они бытовому разложению. А что сказать о костюмах, о головных уборах и, наконец, о манерах (особенно на балу). Немудрено, что Грабарь похвалил очень сдержанно. Вообще же и он скис. Смерть Ляпунова его выбила из колеи, продажа совсем остановилась благодаря декрету о регистрации. Ужасна процедура вечером с отличным автопортретом Р.Менгса (гравированный меццо-тинто) на дереве. Писанные на дереве паркеты времен отъезда.

Грабарь здесь для польского дела. Сейчас «мы» хотим дружить с Польшей во что бы то ни стало, а еще два месяца назад мы рвались в бой и рассчитывали, возмутив рабочее население, победоносно дойти до цели (германских границ), а поэтому Грабарю дано поручение к Ерыкалову отыскать все еще недоданные гобелены и прочее. Очевидно, уйдет и кабинет Августа, и вещи Сапеги, а следовательно, все труды Тройницкого и мои пропадут даром. Вообще же Грабарь непохоже на себя

мрачен и уныл. Заботы отца семейства, хотя и несколько компенсируются восторженно им описываемыми радостями от их дивного ребенка, однако все же и удручают его. Всякая продажа его вещей с 1 января (дня опубликования декрета, еще накануне на выставке «Союза…» шла по-прежнему бойко, а теперь сразу остановка, и с тех пор ни у кого ничего, лишь Юону удалось продать свои аллегории и еще кое-что, книги, американцам) прекратилась начисто, издательских же заказов не могут обеспечить. Впрочем, у него есть слабая надежда, что за границей переиздадут его «Историю…». Результатами выставок Левицкого и Рокотова он тоже слишком разочарован (хотя не говорит это прямо). Сопоставление работ последних убедило его, что Рокотов в дни своего успеха изготавливал лишь головы, а околичности отдавал ученикам, но, видно, о «двойниках», «тройниках» Рокотова Грабарь и не подозревает (впрочем, и для меня этот вопрос очень неясен), и, как знать, ничего о нем даже не слыхал. В войну не верит. Нам не на что воевать (это сведения «сверху»), снарядов не хватит и на месяц, а там такие изобретения в области истребления, что союзникам ничего не стоит уничтожить в один день и Петербург, и Москву (какие-то снаряды-ракеты, 40 000 аэропланов и прочее)… Я же знаю одно — вечно печальное для нас лично, для нашего класса: как ни кинь — все клин!

Воскресенье, 3 июня

Солнечно, но ветрено и холодно.

К завтраку Стип и профессор Сидоров, у которого на карточке зачеркнуто «ассистент» и сверху написано «профессор». Европеец с головы до ног, то есть страстное желание и неустанное стремление им казаться, сплошной комплимент и реверанс: «Я ваш ученик». От Петербурга, от его художественной жизни в упоении. Пожелал видеть мои наброски и специально мои «ню». («Я все более и более специализируюсь на рисунках, и вот мы в Москве с моими студентами решаем специализироваться на известных категориях; рисунок человеческого тела — одна из них «ню».)

Я ему дал по папке и того и другого, но смотрел он их с головокружительной поспешностью, останавливаясь далеко не на лучшем. Пришлось ему подарить два очень плохих (сам выбрал) рисунка голеньких и набросок к «Медному всаднику».

С виду он статный, одет опрятно, торчащие зубы, близорукий, не то добродушные, не то слащавые глаза за пенсне. Вкрадчивый, тихий говор, на ухо туг. Стип извлек из него какую-

то пользу и собирается еще извлечь, а потому ведет себя почти подхалимски, даже разыгрывает, будто ему внушают художественные познания Сидорова в рисунках, тогда как на самом деле — это сплошной дилетантизм при известном шарлатанизме, получившийся от общения с сотнями круглых невежд и провинциалов, и оплачиваемых обязанностях перед ним разыгрывать мейстера. Сидоров — один из представителей страшно модной в Москве науки «искусствоведения» (какая-то подделка под Вельфлина), которую они с гордостью противопоставляют все еще у нас в провинции процветающей «истории искусства».

Кто-то из «моих» подсмотрел то, как он вошел в Эрмитаж перед 78 приведенными с собой экскурсантами и нашедшими себе пристанище в доме на Литейном, у Симеоновой — оказывается, там есть такая казарма для экскурсантов-студентов. Эти разведчики рассказывают, что его [объяснение] сводится ко всяким постыдным общим фразам и к самым легкомысленным выводам. Ничего общего ни с идеей картины, ни со стремлениями эпохи, ни с технической «кухней» не имеющее, однако на раскрытие всего этого претендующее.

После довольно приятного завтрака гоголь-моголем (и в него включила какую-то новую выдумку Акица, которую я выдал за «испанское блюдо») мы втроем идем на открытие этнографического отдела. Однако, подъехав до места назначения, Сидоров констатирует, что уже поздно (он вечером должен был отбыть), и продолжает путь в трамвае, мы же идем и вступаем в мерзкое Свиньинское здание, в первый раз через главную дверь. Эффект розового зала с его верхним светом с первого взгляда довольно импозантен, но бездарность начинает проступать через роскошный и идиотски использованный материал. Нарядности торжества много способствовал зеленый ковер во всю длину зала, который был раздобыт к этому дню Ятмановым (сам хвастался) из храма Воскресения. Отличные ковры устилали и высокую эстраду, и стол, уготованные для членов Совета. На эстраду пришлось лезть и нам, вследствие чего и не удался наш план удрать тотчас после того, что мы распишемся.

Впрочем, я не скучал за той бомбочадой, при которой мы присутствовали, ибо и зрелище набитого битком зала, с частью публики на хорах, над колоннадой, было довольно интересно, да и слушать глупости, над которыми можно тут же посмеяться (мы сидели во втором ряду, и моим вторым соседом был Воинов — тоже «не промах на язык»), — иногда довольно нелепое удовольствие. Сначала мямлил (начала мы не застали) какой-то отчет, прославляя «плакающие музеи» Н.П.Черепнин (ох,

слюнтяй, ох, слизень! Зачем-то приплел с целой цитатой и мое письмо о смольнянках). Потом пробормотал более бодро свой отчет Руденко, затем наговорил приятных слов об истории образования и о встретившихся в годы революции трудностях Сычев, упомянув о выставленных «рукоположениях» Климента и Волхова, но зато не промолвившись и словом о главном вдохновителе и устроителе Могилянском, и, тузя по воздуху кулаком (социалистическая традиция), покаялся в нашем нищенстве (это мода). Кристи очень долго «что-то путал об отсутствии наличности» и «наличии отсутствия», о том, что музеи не свалились с неба и не служат небесам. Ятманов (заявив, как полагается в начале речи, что он будет краток), наконец, истошным голосом сказал нечто более связное, дельное, как подобает «кадетнечайшему министру». С.Ф.Ольденбург — о крупнейшей краеведческой организации, о мировом масштабе и т. д.

После этого пошли осматривать сам музей, и вот тут я был обласкан вниманием его превосходительства Григория Степановича. Он все таскал меня под руку, высказывая свой восторг от украинских ковров (приняв их за восточные), и даже увидел в них нечто мистическое, потайное, затем к буддистам и к «раю», заявив, что, «пожалуй, станет и сам буддистом», любезно спорил по вопросу о том, нужны ли или не нужны манекены (его изысканному вкусу претит этот «паноптикум», я же не мог согласиться с тем, что вешать, как он предлагает, одежды плоско на стенку). Насилу отделался. (Вообще же отбытие в целом вышло очень внушительно, и бедный Тройницкий, видимо, «скис». Думает, чтобы Эрмитажу теперь не отстать. А вот «мы» закатим акт какого-нибудь открытия в Эрмитажном театре! Еще польска не сгинела!)

От 4-х до 6 часов Гаук играл мне и Коке «Времена года»… И вообще это дребедень за исключением парочки номеров. Настаиваю на включении другого вальса вместо имеющихся, и как раз в том же мажоре имеется концертный вальс Глазунова.

К обеду снова Грабарь (подробно осмотревший выставку в Академии, более всего он в ужасе от своих школьных товарищей Броваров или от «всяких Кондратенок») и Стип. Вечер я закончил на «Спящей красавице» (последнем спектакле сезона). Посадил на сей раз Акицу. Заходил вместе с ней к американцам. Она была очень эффектная в своей голубой пареори. Танцевала так себе. Акица каждый раз заново возмущена постановкой Коровина. Есть с чего!

Понедельник, 4 июня

Сыро, холодно, потом разгулялось.

Акица нездорова, одолела сонливость, очень кислое настроение, полдня лежала. Это одно накладывает мрачный *покров* на весь наш интерьер. И даже Татану с его шалостями и фокусами не удается его пробудить.

К 1 часу в эрмитажный Совет. Эрмитажу выключили электричество за неплатеж Акцентром (мы-то сами платим). Тройницкий ходил объясняться с Кристи. Ответ: «Ну конечно, теперь светло». Пикантная бумага из Петроградского Управления научных учреждений в ответ на наше заявление о неподобающем поведении экскурсий и порче ими выставленных вещей (у античников снова что-то уронили). За подписью Ятманова и Молес П.У.Н.У. просим сообщить, существуют ли у нас «обязательные для посетителей правила, направленные к предупреждению указанных опасностей, и выработать, в случае отсутствия таковых, сообразно с материалами музея, что и представить на утверждение».

Вальдгауэр сообщил, что в Берлине для нас накопилась масса книг, но представитель РСФСР отказывается их переправить сюда по недостатку средств.

Приходил москвич Лазарев. Ему не удалось уехать за границу, так как ГПУ отказало в разрешении без указания оснований. Был очень этим удручен и даже как-то весь осунулся. Принес нам показать отличную новую монографию о Пармиджанино (но атрибуции не все безукоризненны), в которой меня сразу заинтересовала статья о Лейсе. В ней московский «Туалет старухи» остается еще за Лей-сом, но правильно указал Браз на сходство и со Строцци, который те же одежды написал так же — воспроизведенные в данное статье. Лазарев не сомневается, что это Строцци. Головы двух молодых за старухой действительно похожи, особенно по лицам и прическам, на него, зато сама старуха, ее руки и проч. — все в другом характере.

Заходил в Общество поощрения. За мной на аукционе осталось: три рисунка Чичероне, семь огромных гравюр с ван дер Мейера и мой любимый альбом шаржей 1870 года Лебедева. Все — 180 копеек — или десятки миллионов по официальному курсу. Затем в АРА. Реншау припас для меня еще десять пайков.

С 4-х часов в студию Морозова, где происходили смотрины труппы с чаем. Для ознакомления спектакля мне показали несколько номеров: мещанскую польку, «Хирургию» Чехова и «Ведьму» его же. Все это очень по-любительски, слабо и безвкусно, но люди все же не бездарные, в особенности две жидовки: Опалова-Авербах и Магприл, третья, поразившая меня два года назад в разговоре двух, была Манасейне Ратнер,

оказалась дамой за тридцать лет, щекастой и вообще очень некрасивой. Все же она у них самая умная и зрелая. Русская Е.Волкова, игравшая ведьму, — не без темперамента. Очень плохого вкуса, но все же даровитая. Их лейб-поэт, пишущий на все случаи жизни студии довольно складные стишки, с виду маленький, юркий, горбоносый, смешной человечек.

Морозов готов быть мне помощником, всеми заняться, подыскивая для меня работу по предначертанному плану: «Хоть бы только вы позволили быть в вашем обществе несколько часов». В общем, я от этого сидения в незнакомом обществе, от этого сознательного и напряженного позирования (приходится в таких случаях «разводить усталость», дабы противодействовать слишком нудному и ненавистному «изъявлению почитания») ужасно устал и вернулся домой разбитым.

А тут как раз два москвича-«искусствоведа» (искусствоведение есть нечто, что «они» противопоставляют нашему отсталому историзму). Что же провинция! Из которых один лупоглазый, густокудрый, старческого облика блондин, выклянчивший у меня эту аудиенцию в Эрмитаже, уверяя, что отложил свой отъезд на два дня специально (вся их экскурсия из тридцати восьми человек) для того, чтобы я с ним прошелся по галерее. От последнего я решительно отказался, а уже от личного приема не сумел уберечься. И вышло некое подобие неприятности, так как я был безмерно утомлен и, как всегда в подобных случаях, болезненно словоохотлив и несколько «откровенен». В этих случаях я «живу» исключительно мыслью, как бы скорее избавиться от моих мучителей, а поэтому говорю что попало, причем меньше всего щажу себя. Так и на сей раз я выдал себе диплом в легкомыслии (и даже убежденно и не без пафоса воспел легкомысленное отношение к художественным произведениям, противополагая его «научному», склонному создавать себе под видом объекта изучения такой же материал для оперирования, как располагает анатом, разнимающий мертвеца) и должен был им показаться или сумасшедшим, или пьяным.

Одно время мне показалось, уж не подосланы ли они ОГПУ на предмет распознания моей благонадежности. Причем один — Белов — в роли активного провокатора. Второй, так и не назвавший себя, страшный, с тяжелым, уродливым, налитым кровью лицом с огромным лиловоотвислым носом (от его смазки сапог ужасно пахло, но в то же время этот запах несколько сбивал тот, что шел от самих ног). А второй — на роль свидетеля-контролера. Это ощущение ГПУ, вообще необычайно часто посещающее русских граждан, нашло себе подтверждение

дважды: раз, когда в ответ на мои диатрибы по адресу современного состояния искусства Белов меня ехидно вопросил: а не вижу ли я причину этой болезненности в условиях текущей жизни? На что я «весело» и мгновенно его разуверил, напомнив, что все явления, отличающие нашу художественную жизнь, имеют уже, по крайней мере, двадцатилетнюю давность. А во второй раз, когда среди его рисунков (он оказался художником), я увидел два наброска памятника Александра III в крайне гротескном виде с подписями «Пугало». Кстати, об его работах: все эти рисунки, подкрашенные очень слащаво акварелью, на разных лоскутках бумаги, большинство из них в духе Анненкова (уверяет, что Анненкова до сих пор не знал), с какой-то потугой на эротизм (много раз появляется мясистая женская нога в высоких на пуговицах ботинках), попадаются, однако, и спесименты «лучизма» (окрошки а-ля Пикассо) и уже непременно с надписями: «Париж» и «Кафе», причем именно так, с буквой «К», просто напичканный (слащавыми красками) сумбур, очень непохожие автопортреты. Каждый рисунок обязательно снабжен подписью и датой.

Да и из самого акта демонстрации этой бессмысленной макулатуры явствует колоссальное самообожание, что ведь входит в программу современного самосознания, мироощущения и прочих символов самых разнообразных, но объединенных этим самообожанием «кредо». Я даже вспотел от желания остаться вежливым в отношении этих, в конце концов, ни в чем неповинных юношей — жертв обшей огрубелости и общего всему миру недуга, ведущего культуру (нашу старую, кажущуюся нам все еще единственной) в самый нелепый, бесовской… (поразительно, до чего этот красивый, в сущности, юноша со своими тяжелыми и безумными светлыми глазами являет одним из бесчисленных ликов черта, и тьмы именно чертовых пошлятин так и прут из всего, что он и ему подобные думают, болтают и делают). Итак, я даже вспотел от этих усилий остаться в живых и в то же время не таить правду, ибо я был слишком утомлен, чтобы ломаться, чтобы отдать одну из пар своих светских перчаток и отделаться китайским церемониалом (для вежливости недостаточно и моего навыка, а, кажется, еще и известная физическая крепость, ведь во имя вежливости ужасно напрягаешь рессоры своей воли, а в иных случаях и ума).

Впрочем, я замечаю, что я и здесь слишком заболтался (это еще и старческая черта), но, с другой стороны, беседа эта как нечто очень типичное и для меня, и для нашего времени (ибо сколько я такого вижу, чего я не записываю!). Отошел от этих

впечатлений вечером на музыке «Щелкунчика», но зато явилось другое — усталость — еще более опасная для нервов, и вот я сейчас чувствую, что буду скверно спать, до того я полон звуков и рожденных ими идей, частью уже высказанных мною моим собеседникам Гауку и Асафьеву (великолепно исполнявшим все обсуждаемые номера) и Гоголю-Лопухову, который, к сожалению, уже принялся высказывать всякий вздор, остановившись на случайных мелочах, видящий в каждой повторенной когда-либо форме непременную волю композитора. Пока решено, во всяком случае, Дроссельмейера пустить уже в первом действии (в момент превращения), произвести переход на море на глазах у публики перед самым «снежным видом» (я тут вижу нечто во всем «Лауру» Жорж Санд, то есть путешествие в санях по снегу, в кафе «Эльдорадо»), переставить совершенно большое Pas de deux, вдохновляясь патетическим и меланхолическим характером музыки.

Долго мы останавливались на том, на чем строить, от чего идти — от Дроссельмейера, от Щелкунчика, от Клары или от Драже! Решено, во всяком случае, идти от последнего, ибо этим вводится чисто балетная фигура, чистая Deus ex machina. Заранее я уже озадачен тем, как устроить шкаф с игрушками (вместо теперешнего их лежания вокруг елки), как ему превратиться в крепость и т. д.; при исполнении его бемольного сестерция «каприччио» и следующей за ней баркаролы я чуть было не расплакался, и это не только потому, что я вообще сегодня (и вообще за последние дни сильно) развинтился, но и потому, что действительно эта сладкая музыка содержит в себе для меня лучшие самые, имевшие элемент моих детских ощущений, тех самых, которые остались мне путеводными на всю жизнь, которые я и сейчас склонен считать, рядом с моей любовью к Акице, к папочке и мамочке, единственно совершенно подлинными и такими, из-за которых стоило жить, стоило, несмотря на все муки существования, и дать жизнь новым существам: пусть отведают! Но много ли таких, которым дано отведать?!

Своих: Коку с женой и Атю с мужем (а они уже прихватили Марфу Андреевну) я отправил в городскую думу, где сегодня читал А.Толстой свои впечатления от Парижа. Вернулись в ужасе. Толпища была чудовищная, давка, беспорядок с местами. Мямлил Толстой еле слышно, да и плел он такой протухший, старознакомый вздор — тот вздор, который мололи во все времена завистные русские люди, попадавшие на Запад и не умевшие там найти себе применение, — что моих молодых чуть не стошнило. Тем более что на сей раз эта ругань на гнилой Запад (больше всего этого телепня огорчило то, что везли по

Парижу гигантское чучело Ч.Чаплина) была сдобрена всяческим комичеством (на боках белогвардейцев, очевидно, «графа» Толстого не принявших) по адресу большевиков. К счастью, наши заметили, что людям, не попавшим на свои места, возвращали деньги, и они потребовали свои, и таким образом вернули всего 160 руб. Первый ряд стоил 100 руб.

Вторник, 5 июня

Ясно, холодно. Сады имеют еще совершенно апрельский вид, деревья едва запорошены, верхние сучья и вовсе оголены. Очень красиво. На Марсовом поле баба снимает акации, посаженные три года назад, и местами идет посадка сиреневых кустов. Я это видел, когда проходил по настоянию

Тройницкого в Мраморный дворец на заседание конференции Акмакульта, состоявшейся в Мраморном зале (вообще все во дворце содержат весьма опрятно и напоминает старое время). К сожалению, хуже обстоит дело в неотапливающейся части здания (в личных покоях Константина Константиновича и Елизаветы Маврикиевны), где от сырости стал обваливаться потолок и обнаружились и другие порчи. Я вместе с Романовым, Удальцовым избран в комиссию, которой надлежит признать за этими помещениями музейное значение, дабы можно было исхлопотать средства на их отопление.

Давно не был у этих пиквикианцев (нелепых, нежели подлинных) и заново поразился царящим в учреждении духом самого бестолкового сутяжничества. На сей раз в продолжение трех четвертей часа Богаевский и Золотарев, а в кулуарах и весь надувшийся Б.Фармаковский с одной стороны, а с другой — Тройницкий, Орбели и Жебелев, препирались из-за того, что чему предшествует: выборы — докладу деятельности или — согласно порядку, начертанному в повестке, — доклад выборам. За второе горой стоял враждебный Тройницкому элемент, как будто рассчитывающий сорвать совсем выборы. Напротив, сторонники предпочли выборы, резонно указывая на то, что если отложить оные на после доклада, то может не оказаться кворума, так как многие разбегутся. По выступлениям бесчисленных и очень хитрых (Господи, кому это нужно? Кого это может интересовать? Почему эти люди так друг друга ненавидят и так неустанно друг друга подсиживают?!) контроверз баллотировкой взяло предложение Тройницкого, и тут же мы выбрали, как было условлено, 38 голосами против одного, отсутствующего Марра. Узнав, что Тройницкий «разрешил» после выборов удалиться, я и

еще несколько человек, как только Фармаковский встал читать доклад, удрали с позорной поспешностью. А ну их совсем! М.И.Максимова уверяет, что главный подстрекатель, но и возбудитель всех этих каверз и постоянных историй не кто иной, как столь скромно молчащий «поэтичный» Шилейко.

Дома я спал и видел что-то во вкусе Щелкунчика. Я уже и утром задремал на диване, так как проснулся слишком рано и уже больше заснуть не мог, преследуемый толпящейся массой всяких мыслей и сомнений, рожденных скрытым слушанием, а также манящей сладостью интродукции 2-го действия. Прочел «Щелкунчика» по Гофману. По-прежнему взволнован своим любимым, самым мне по сердцу близким автором…

После обеда идем с Акицей к Джеймсу Шмидту, где мы провели вечер по всем правилам «визита», но не так мучительно, как это ожидалось. У них нашелся какой-то портрет предков с Жениной стороны (вероятно, не по ее отцу-еврею Нахмету, а по матери, исходящей от литовского Редера) и неизвестный мне до сих пор Левицкий (он считал за Лампи) или, скорее, старая и очень тщательная, но все же суховатая копия с него. Кроме того — пастель Мольнера, изображающая дедушку Редера, и портрет его сына-полковника и супруги — небольшие тщательные картинки 1840 года с монограммой А.М. — нечто сродни между «учеником Брюллова» и Тропининым. Джеймс мне поднес оттиск своей диссертации о римских скульпторах конца XV века.

У Акицы гнев медленно сменился на милость в отношении Моти. Она ей даже оперировала сегодня мозоль на ноге. И та, бедная, сразу расцвела и повеселела, а то все эти дни она ходила как в воду опущенная и даже заикнулась мне как-то, что ей лучше уйти, благо ее сманивают Гревсы, а барыня ее за что-то невзлюбила. Грустно, что такой человек обречен на немоту. Она и объясниться со своим обидчиком не сможет, не сумеет, не приучена соблюдению своего достоинства. Да и чересчур много чисто русской покорности. И сколько таких! Сколько именно на этом строится «чисто русского» в государственном масштабе. И вот Акице с ее «чисто европейским» осознанием личности, гордости, независимости, с сильно развитым self-respect, никак не понять ни того, что в этом есть трогательного, насколько нас, *европейцев*, это обязывает первым протягивать руку и этим «униженным», и уже во всяком случае, раз приблизив их, не дать им снова почувствовать их унижение, не потакать их склонности к самоуничижению, в чем гораздо больше какой-то «гордости навыворот», нежели это кажется.

Тяжелая, точно в тисках, голова. Пробую заняться «Щелкунчиком», но ничего не выходит. Слишком много всяких

побочных идей и трюков (уж у меня «заходила» и печь, и часы, и шкаф с игрушками), а вот чего-нибудь цельного, ясного, простого, «очевидного» и, словом, вдохновенного нет. Хоть отказывайся!

Погода ясная, но холодно, деревья распустились вполне, только на правом берегу Мойки, в садах, они же только порошатся.

И вот работать бы, имея в виду уйму самых соблазнительных тем, но я так весь осел, ослаб, раскис, что и думать об этом не приходится.

Иду в контору, теперь за жалованьем. За три полмесяца Художественного совета в Александринке 195х3 = 585 и за три же полмесяца по Мариинскому театру (балетному совету, на котором я ни разу не был, но, правда, один раз, когда был на «предварительном» собрании, я им дал программу всего будущего года) 360х3 = 1080. Это оказалось больше, чем я рассчитывал. Итак, у меня в запасе вместе с 1300, полученного в виде «золотого дождя», снова более 6000, и в расходной книге положено 2000, из которых 1000 я предполагал Коке ввиду его безденежья, но он предпочел что-то продать из своего скарба. Увы, в конторе я снова попал в лапы Осокиной и Пугачевой и Воронова и, наконец, аполитично оскорбленного, что ему ничего не досталось из АРА, Сокова. Вид у него такой изможденный и жалкий (в два года он совершенно изменился), и мне стало так жалко, что я постараюсь ему припасти один из пакетов clothing.

Но как быть с Шаповаленко и с Чижовой — обе они в отсутствии, а я не решаюсь отправить их пакеты на имя кого-либо из служащих (например, Пугачевой) с тем, чтобы они их припасли до возвращения отсутствующих. Захожу в кабинет Янытаевского [?], но он и не заикается о приобретении моих этюдов.

В КУБУ дали мне целых 400 лимонов (около 4 рублей), больше, чем в прошлый месяц. Зато с продуктами (за ними по-прежнему ходит Таня, но это мы себе позволяем такую роскошь, большинство же «ученых» таскает по-прежнему мешки сами) обстоит плохо. Выдавать их будут отныне сразу на весь месяц, и вот ныне выдали по карточкам: двадцать восемь фунтов очень плохой ржаной муки, немного больше двух фунтов горького кухонного масла, около трех фунтов сахара (это вместо мяса) и шесть фунтов пшена — словом, ровно столько, сколько нужно, чтобы не помереть одному человеку с голоду. А как же быть семейным?

Захожу в Эрмитаж. Тройницкий водил каких-то важных спецов тов. Лазарсона (не то Гохран, не то Главвалюта) и нашего офасонившегося — («Петротока») Котомина. С последним такая дружба, что он обещает предоставить С.Н. свою моторную лодку.

Я тем временем (не знал я, что он с Котоминым) завтракал у Марфы Андреевны вместе со Стипом. Марфа вся эксипированная, визжит от восторга перед котиком (Стип тоже одурел в своем обаянии этого дьявольски очаровательного зверька), жалуется на мигрень (вследствие чего ходит с распущенными косами) и встревожена тем, что муж, узнав, что требуется отдельный для нее паспорт к выезду за границу, забросил хлопоты об этом.

Вечером снова в Эрмитаж на последнее заседание оргбюро перед конференцией. Перед этим знакомство с Сильваном Леви и его женой, осмотревшими с Тройницким Эрмитаж. Он симпатичный, тщедушный старый парижанин, еврей; она безвкусная, без расовых особенностей дама. Комплименты, расшаркивания, церемонии — с той самой французской и месопотамской манерой, которую я наблюдал и на Дрейфусах, на бардаках и т. п. (С Ротшильдами не знакомы, но, вероятно, важные, суеверные.) Он и не без блеска, даже в говоре отборно французском. Все же некоторые интонации и какое-то слишком сочное воркование на букву Р. Они тут же отбыли к Ольденбургу, у которого и остановились.

Заседание было столь же бестолково и нудно, как и все прочие. В начале Кристи страшно вскипел против количества двадцати трех членов президиума. Зачем-де этот трафарет помпы и декора, унаследованный от старых обычаев. Под этим крылось желание уязвить автора такого «протокола» Ятманова. После часа глупейших прений (мне не дали отказаться от чести быть среди этих двадцати трех, ибо Кристи заявил: «Мы вас считаем негласно (?) возглавляющим весь аппарат дворцов-музеев») удалось свести с двадцати трех на пятнадцать.

Тройницкий провалил затем участие общества Старого Петербурга в конференции из-за чисто личных антипатий к И.Жарновскому. Тот же Кристи, который только что срамил собрание за его трусливую приверженность к старым навыкам, так испугался запоздалого, а поэтому формально уже не поддающемуся принятию заявления Лунина о своем желании выставить содокладчиками Филонова (и это несмотря на то, что они совершенно дифференцированно вообще говорят все более жестоко между собой), что один против, и, несмотря на горячие протесты Ольденбурга, заставил включить эту несомненную белиберду в программу.

Ерыкалов, провожая меня до трама, рассказал кое-что о своем прошлом. Он уже с пятнадцати лет работал и маляром, и иконописцем в Вологде и, в частности, у очень упадочного, но все же знавшего кухню художника Вахрушева. Революционный подъем 1905 года сбил его с этих иконописных путей. Позже он

попал снова на них, благодаря Райляну, с которым он расписывал церковь Новодевичьего монастыря и которому верит; самой задаче, *размаху, действию живописи* он обязан многим. Когда-то ему казалось, что всякое время, употребленное не на живопись, есть потерянное время, а теперь он уже шесть лет не берет кистей в руки. Сейчас ему тридцать два года.

От Нотгафта Тройницкий узнал, что в «Жизни искусства», редактируемой С.Исаковым, снова появился гнуснейший навет на меня по поводу формирования в здании Академии художеств музея истории Академии. Будто бы при Временном правительстве я был за то, чтобы все это раздать в Третьяковскую галерею и Музей Александра III, а ныне я уже снова мечтаю восстановить все в прежнем составе с возвращением и статуй августейших президентов. Кончается эта анонимная заметка непонятно почему-то пословицей «Курочка по зернышку клюет». Не настал ли момент перестать давать руку этой сволочи? Но вот: устало сердце от связанных с такими стычками, хотя бы и пассивного характера, волнений. И потом как-то грустно одну из этих гадин дразнить и как-то отвечать на их провокации — провоцировать на новые мерзости!

Рассказывал мне в несколько ином освещении Ерыкалов и о лекции А.Толстого. Он сидел близко и хорошо слышал. Все же небезынтересна была характеристика Парижа во время войны — трагический героизм, которым все трепетали в высшей степени. И вот от мира ожидалось тоже нечто столь же сверхъестественное, а тут сразу взяла верх житейская пошлость. Почему-то публика весьма это разочарование почувствовала на знаменитом погребении «солдатки». Самое характерное сейчас для Европы — это полное игнорирование как бы вышедших из моды, «деградировавшихся» понятий о гуманности, братстве, бескорыстном служении человечеству. Понятие чести сводится к платежу долгов, к психологии кредитора, возмущенного «бесстыдством» неоплаченного должка.

Получил сегодня письмо от генерального директора Штутгартского театра, обращающегося ко мне с просьбой предоставить им эскизы декораций «Пиковом дамы». Но, во-первых, у меня их нет, а во-вторых, судя по тону письма, ожидается безвозмездное пользование, а это мне «не по карману». Скука, что придется сочинять по-немецки деловое письмо.

Четверг, 7 июня

Утром сыро, уныло. Холодно с наклонностью к дождю. К 5–6

часам погода разгулялась, но не потеплело.

У меня ужасное настроение. Какой-то приступ ностальгии по Парижу и Западу вообще. Даже всплакнул. К тому же странное ощущение сжимания в голове. Посмотришь на себя в зеркало, на мелкие морщины, которыми, как рябью, стала складываться кожа на руках и на других местах, и видишь воочию позор и ужас старости, ее безнадежность. Время уходит, и с ним последние шансы на то, чтобы выпутаться, чтобы снова зажить прежней привольной жизнью, снова начать учиться (ведь я не могу заниматься своей историей, ибо убийственно отстал), снова поездить по белому свету, чтобы забыть все то, чем здесь за эти годы оброс, чем оплетен.

До 1 часу валялся в какой-то тяжелой дреме, из которой меня на полчаса вызвал бестолковый, слащавый Гордин, приехавший за обещанными костюмами «Мещанина» для воспроизведения их в его журнале при статье М.Кузьмина о моей постановке. От участия левых (Пунин, Тыр-са, Лебедев) он окончательно отказался после того, что познал их гнусную душу и испугался их беззастенчивого желания захватить его журнал в свои все исключающие руки. Вообще же он теперь видит, как я был прав, когда предупреждал его о трудностях, связанных с такой (несвоевременной и несовместной) затеей. Я дал ему на неделю три рисунка.

К 2-м часам поехали в Мраморный, на конференцию.

Утром приходил Платер с великолепным, несколько грубым в цвете эскизом школы Рубенса (или его самого), изображающего апокалипсическую диву. Но эскиз парке-тирован [?]. Ему его предлагают всего за 500 рублей. У нас в Романовом собрании имеется подобный эскиз на холсте, приписываемый Тэдеско. Об этом напомнил Шмидт, но самый эскиз трудно разыскать, ибо картины после перенесения их на 3-й этаж все еще стоят в полном хаосе.

В 2 часа я на конференции, состоявшейся в Мраморном зале. Почти до 3-х пришлось ждать Ятманова, который, очевидно, кончал свой доклад, или пробовал его вызубрить наизусть, но все же прочел он его по писаному с самыми страшными паузами, зато позже, на «чае», он говорил несколько раз и пространно, и довольно свободно. Народу набралась масса. Я думаю, не менее ста пятидесяти человек, и зал был весь заполнен. Среди гостей находился юркий и буквально любезный старичок С.Леви с супругой, которого от имени собрания приветствовал Ольденбург по-французски, на что он своим вкусным, сочным говором произнес надлежащую ехидную речь, в которой не преминул себя назвать другом Франции.

На эту речь уже за «чаем» (и, кажется, уже после отъезда Леви) ответил Симонов пожеланием, чтобы «там» лучше узнали о нас, ибо стали готовить нам не братанье, не общение, а штыки и снаряды. Там-де сейчас наука занята только изобретением средств уничтожения себе подобных. «Не далее как вчера у нас в анатомической аудитории собрались тоже громадные массы народа, и летчик читал об этих новых губительных изобретениях, из которых самое ужасное — газы, способнее уничтожить целый город. Достаточно одного такого снаряда, чтобы погубить такой город, как Петербург, со всеми теми сокровищами, которые вы оберегаете». Для чего понадобилось это пугание, осталось секретом этого тупого человека; несомненно, что он собирался пустить по публике тарелку для сбора на авиацию, но его речь была принята так холодно (даже представители власти оценили ее бестактность во время «дружеской» беседы), что он не решился исполнить свое намерение.

Вообще же самой интересной частью конференции был этот чай, на который были приглашены после окончания официозных докладов Кристи, Ятманов, Ерыкалов, Романов, избранные члены конференции и который был устроен в большом Белом зале Александры Дофины с помпой, которая и дала тему почти для всех речей. Помпа заключалась в том, что были зажжены среди белого и очень яркого дня все люстры и предстали голубые занавеси на окнах, застеленный огромный стол человек на шестьдесят покрыт белоснежной скатертью и уставлены «штукаты» саксонского фарфора 1840-х годов с довольно обильными и изящными, но несколько худосочными цветами, а также блюда с бутербродами и вазы со сладким печеньем.

Но главный трюк заключался в четырех дворцовых лакеях, облаченных в новые, утвержденные Акцентром для музеев, ярко-красные с шитым золотом позументам ливреи. Это сразу придало всему определенный старорежимный тон — и вот последнее обстоятельство, отличавшееся — нельзя сказать, чтобы очень уместным вкусом и тактом, — создало в Григории Степановиче чувство крайнего возмущения (он же эти ливреи для музеев одобрил, но для музея они технически не пригодны, публика будет слишком ясно усматривать недостаток охраны), чувство, вылившееся в целую серию речей, из которых первая была полушутливого характера, а дальнейшие, провоцируемые всевозможными ответами, из которых каждый непременно возвращался к злополучным ливреям, приобретали все большую и большую революционность, «несогласность». Пока, наконец, он не дошел до взрыва негодования, причем уже были произнесены и такие очень дико прозвучавшие в этой обстановке фразы как:

«Что же, мы даром вымели отсюда всю белогвардейскую сволочь?» или «Этих людей порядочно пугали Гороховой!» и, скажу прямо, — «холопами». Несчастная четверка к этому времени уже спряталась в буфетной и, вероятно, очень негодовала на то, что начальство их выставило на такое позорище (тем более что представивший их же коллективу зимнедворный коммунист тов. Васильев, видимо, но, правда, в единственном числе горячо поддержал Ятманова); и вот для того, чтобы ликвидировать эту

16 Дневник. 1918–1924 создавшуюся неловкость, нашлась простая женщина (похожая на Маню Воробьеву), очень неаппетитно копавшаяся у себя в носу и оказавшаяся вместе с зимнедворным прытким блондином с длинным носом Давыдовичем (ох, этот юноша далеко пойдет!) настоящими организаторами всего этого пиршества. Эта женщина как член зимнедворного месткома напомнила обществу, что следовало бы поблагодарить «товарищей», служивших у стола, и что никакая одежда не может изменить существо человека, раз в нем живет настоящее «гражданское чувство» (эту женщину, коммунистку, заведующую в Зимнем дворце бельем, там еще ее зовут Переведенца. На бывшем общем собрании соседнего Зимнего дворца с Эрмитажем она же заспорила с Орбели на тему о равноправии женщин в отношении к Эрмитажу. Я тогда не был. Может быть, и тогда она говорила не бестолково).

После этого четверку вызвали в зал, и им была устроена овация. Один из них, славный малый с солдатской рожей, даже снял свою белую перчатку, очевидно, ожидая, что сам Кристи им пожмет руки, но Кристи, пробравшись мимо них к выходу, лишь гордо покивал головою. Из различных ораторов, принимавших участие в этой гротескной, но в то же время очень характерной для момента (возможно ли что-нибудь подобное в 1919 г.?) дискуссии, мне, кроме самого Ятманова (он осел, но он все же остался прежним честным ослом, и, несмотря на все глупости, которые он говорил, трогает его внутренняя ребяческая убежденность — за это только его, очевидно, и «держат»), понравились Орбели, первый в очень красивой, но сильно отдающей «кадетской идеологией» речи, напомнил о гражданственности; Ерыкалов, подыгравший бестактности своего старшего коллеги, но в то же время щегольнувший еще большей искренностью, так как он всю помпу, начиная с зала, обозвал безвкусицей и уродством; наконец, автор проекта «Живого музея» Новорусский, тучный, играющий в благодушие, но и очень едкий господин, придумавший живые ливреи вообще со специальной прозодеждой, в понятие которой входит и военная форма.

И речь Орбели, и речь Новорусского вдохновили Кристи на ответы о том же, но несколько более приподнятом (психологический двигатель, очевидно, был тот: «А как бы мне не попало сверху за ливреи, как бы Ятманов на этом не сыграл, чтоб меня погубить…»), и вот это все вместе и привело к взрыву Григория Степановича, которого сегодня мне не хочется называть генералом, ибо он был более похож на первоначального Ятманова — на дурного, одержимого революционным пафосом (а это сейчас стало явлением уже довольно редким). Из разных других благоглупостей, говорившихся в объяснение, отмечу истинно холопские три речи: Сычева, всячески и самым грубым образом старавшегося расшаркаться перед Кристи и засвидетельствовать ему свои верноподданнические чувства, произнося всяческие слова о финансовом гении Михаила Петровича и т. п. Лицо его становилось масляным, как блин, и умилительным, как лицо богомолки, взирающей на образ Богоматери. При этом он не постеснялся лягнуть два-три раза Ятманова. Наш Тройницкий (сидевший между мной и Кристи) попытался было повеселить публику шутливыми речами на тему о табаке, но это было поднесено с таким серьезным видом, что никто шуток не понял, и получилась конфузия.

В 6 часов мы, наконец, разбрелись. Меня догнал на велосипеде Марк Философов специально, чтобы выхохотаться вместе над человеческой глупостью. Этим он мне напомнил Диму Философова, то лучшее, что я любил в нем и что меня с ним связывало с юношеских лет. Курьезно вообще, что вся эта чепуха разогнала мою тоску, и я вернулся домой более веселый, нежели был утром. По дороге купил шесть бутылок вина, из коих Токайское дешевле, но вообще цены довольно высоки. Мы пили за обедом.

Вечером обе Ати были на фильме «Театр князя Данникова», снятый немцами во время оккупации Украины. Дома оставался Юрий. Он вообще почти никогда не ходит и все вечера просиживает над иллюстрациями, увы, не слишком удачными.

В официозной вводной речи Кристи отметил только признание в том, что радужные надежды 1919 года не сбылись! «Мы-де ошиблись, не рассчитав свои силы, пришлось-де отступить, как на экономическом фронте (слово «фронт» возвращается у каждого из говоривших сегодня несчетное число раз), так и на фронте культурно-просветительном».

Ольденбург предложил собравшимся послать телеграмму верховному вождю Ленину с пожеланием выздоровления и Луначарскому, о заслугах которого несколько раз заговаривал Кристи. Ятманов что-то мямлил о перерегистрации и намекнул на

то, что собрание музейного фонда надо распределить между музеями, а не только сосредотачивать в центральных музеях — Левиафанах. Вообще свою речь он кончил возвращением к своим стародавним, но теперь уже слишком знакомым, а потому-то более не пугающим заявлениям о том, что музеи не изменили своей природы, что они оторваны от учреждений, от которых зависят, функционирование их не отражается на учреждениях, находящихся в соприкосновении с ними. Нужно-де осознать цель — связь с современной обстановкой и т. д.

Единственное, что мило (кроме Татана и всего моего дома) — это цветы. На обоих полукруглых столах, у окон столовой, стоят большие букеты расцветшей черемухи, а на столе — ваза с прелестными болотными желтыми цветами.

Пятница, 8 июня

Солнце, в заветрии несколько теплее, но в целом на ветру (северо-западном) холодно. Нева вся черно-синяя. Злая. Среди дня — колоссальные тучи и заморосил дождь, сменяясь солнцем. Тревожно и как-то тоскливо.

Передовая в «Правде» под заголовком «Закон любви», или что-то в этом роде. Возмущается господином Бенетом. В «Красной…» будто есть какая-то статья или воззвание, в которых проповедуется терпимость. Записываю это со слов, ибо самому не до чтения газет. Вот «Известия» не купил. Хотя газетчики и обещали, что в них — закон о возвращении имущества владельцам. В лучшем случае очередной блеф, вызванный хитростями перед Западом. Записываю это в таком именно виде, ибо самый вид и характерен для психологии наших дней.

Вернулся Лаврентьев и был у меня сегодня днем в Эрмитаже, а вечером вместе с Хохловым — дома. С виду все такой же, да и внутри, хоть и жалуется, что его жизнь ужасно помяла (отсюда и бежал). Однако все же мало изменился, ибо растерянность, суетливость остались, несомненно, сильно сказывается благодушие, которое даже кажется мне чисто актерской привычкой, нежели чем-то искренним. Все это было ему присуще в той же мере и раньше. Запад возненавидел всей душой. Там-де одна меркантильность и продажность. Искусство только здесь (отчасти это и так, но потому, что мы все еще не выходим из «мира фантастического»).

Особенно достается Парижу, где, видимо, он встретил лишь внешне приветливый прием без всякого душевного участия. Смотрины ему были сделаны у Аргутинского. Собрались кое-кто

из эмигрантов и Сережа Дягилев со своим новым секретарем. Но, видимо, и там он не угодил, так как в недостаточно мрачных красках рисовал жизнь в России, за что вообще вскоре прослыл большевиком и что даже привело его к объяснению с В.Маклаковым (из всех рассказов Лаврентьева этот пассаж больше всего поразил Акицу, и после этого она совершенно убедилась, что Аргутон не поумнел, а поглупел, что он нам не пишет, потому что считает нас «продавшимся» — тут, несомненно, и наговоры в первую голову Любови Павловны Бакст. В этом мы оба не сомневаемся, зная ее фанаберию, злобу, зависть и многие другие подпольные чувства вполне помешанной Третьяковой, отведавшей всех ужасов унижения). В связи с этим Акица уже развивает целую теорию, отрицающую пользу и прелести для нас заграницы (еще накануне она говорила ровно обратное) и проповедует необходимость оставаться в своем гнезде. Языком французским он (Лаврентьев) совсем не владеет и потому был предоставлен себе и тесному кругу эмигрантов-актеров — всей нищей братии. Единственное, кто его принял и угостил с «русским» радушием — это О.Аллегри, с которым он встретился в метро и которого мог порадовать, что Орестик (сын), исчезнувший из Италии, нашелся в Петербурге. Там же у Аллегри обедала жена Коки Бенуа, ездившая в это время куда-то на транспортные работы, но Лели не было.

В Париже, куда Лаврентьев приехал почти сразу после переселения, он пробыл дней сорок (кажется; больше лежал в своем номере на чердаке пансиона Виктора Гюго), Марианна же еще оставалась там, хотя сразу встретила среди своей семьи холодный прием. Мать скупа, как дьявол, старшая сестра графиня Крейц очень богатая, но тоже ни ему, ни ей не пожелала что-либо подарить, принять в ней живое участие, и ограничилась беседой. И таким образом Марианне оставалось лишь поступить на содержание (в великосветских формах) хотя бы к М.Ситроен (так!) — одному из виднейших промышленных богачей, который за ней усиленно ухаживал. Этого она не пожелала, муж, живущий подачками в 20, 40 франков, которые он получает от принца Ольденбургского, тоже не мог ее держать, и вот ей пришлось вернуться на сцену, а к тому же ей успел опостылеть весь этот мир, который она когда-то могла считать своим и от которого отстала. Все же мишура этого мира фокстрота, гольфа, купания и т. д. не способна возместить человеку, отведавшему яда сцены, его настоящей прелести. Она вернулась к нему.

Ужасным годом был год в Риге, когда Лаврентьеву пришлось поставить 32 пьесы и сыграть 32 роли. После этого произошла катастрофа с «Алексеем», абсолютно провалившимся спектаклем,

несмотря на прекрасно исполненную постановку (декорации прекрасно написал некий Антонов), из-за омерзительной игры актеров и особенно самого Алексея, изображавшего самого пошлого неврастеника. Дали и последнюю картину.

Затем год мытарств по Латвии и Земландии, кончившийся нелепейшей передрягой с властями. Всюду в этих маленьких государствах царят мелкие страсти выскочек или провинциальных демагогов. Жизнь (особенно артистов, и особенно русских) задушена сложнейшими и глупейшими полицейскими, часто совершенно произвольными мерами. Словом, он оттуда бежал в ужасе и дал себе слово больше не возвращаться. Однако он и от того, что здесь видит, в некотором смущении. Приехал он в спальном вагоне с другими тоже возвратившимися беглецами; на границе их почти не досматривали. Но вот здесь он от чего-то растерялся. Марианну он оставил пока в Ревеле, чтобы одному произвести первоначальную разведку. Но она уже имеет право вернуться, и он может ее выписать когда угодно. В нашем театре ей едва ли удастся служить. Заклюют бабы.

Рассказывал он и длиннейшую историю про какую-то парсофу его друзей Галуновых, которую Лаврентьев в запечатанном виде принял на хранение в дни обысков. И вот, когда перед отъездом он эту парсофу вернул, то оказалось, что бриллианты превратились в стекло, а золото — в медь. Есть подозрение, что подменил эти предметы бывший за границей брат Галуновых — Андрей (а парсофа принадлежит одной из сестер). Сам же Лаврентьев, правда, однажды развертывал пакет (в обществе Рылова, ныне заподозренного в мошенническом присвоении бриллиантового кольца г-жи Бок), правда, тогда уже Лаврентьеву показалось, что бриллианты слегка желтоваты (они были в пыли, в саже, ибо парсофа лежала в отдушине), но все же не обратил на это внимания и положил вещь обратно. Во всяком случае, сейчас он в тех же дружественных отношениях и с И.Галуновым, а между тем тот выставлял Лаврентьева в качестве вора, увезшего их драгоценности.

К сожалению, все рассказы Лаврентьева абсолютно бессвязные и его трудно понимать. Чаще всего он, введя новые лица в свой рассказ, не трудится их называть, и они начинают путаться с уже «имеющимися налицо». Живет Лаврентьев в театре. На днях у нас с ним предстоит интимная беседа (иногда он мне рассказывал все и о бегстве, и об Орбели, который, во всяком случае, сейчас преуспевает, восстановил свою добрую репутацию, несколько пострадавшую благодаря тому, что масса лиц, доверивших ему свои вещи, лишилась оных из-за

конфискации всего его багажа вплоть до его белья, сейчас Альберт Георгиевич весь ушел в издательство «библиографии», которое у него хорошо поставлено), а во вторник мы обсудим вместе с Хохловым и репертуар года. Кстати, Хохлов был сегодня прямо невыносим. Вероятно, желая маскировать свою неловкость, он взял позу шута и все время дурачился и шутил. Но все это в *невыносимо* безвкусных и «сильно хамовитых» формах. Марфу Андреевну он даже вывел из себя, ибо позволил себе прогуляться насчет «будущих Тройни-кончиков, которые забегали бы по Эрмитажу». Он и с виду ужасно переменился благодаря новой прическе: крутому, плоскому зачесу назад волос, седина которых благодаря этому как-то особенно бросается в глаза.

Утром я что-то писал, составлял последний список АРА в расчете на обещанные десять пакетов, которых, оказывается, у них только три. Можно считать верным, а остальное более чем сомнительным, ибо. в конечно счете, у них вышла какая-то путаница — не хватает пятидесяти пайков. Приходится теперь чинить эту дыру за счет последних выдач. Благодаря этому не получил свой пай и И.И.Жарновский, которого я встретил в АРА, где и я получил свой последний пай, к сожалению, забыв справиться, от кого. За Жарновского мне особенно досадно.

Заходил в Общество поощрения. Там снова Касслер, приглашающий меня с Акицей на обед в среду. Я заказываю какой-то американский географический журнал с массой иллюстраций.

Добавление к нашей половине дюжины хрустального подбора дурак Платер поторопился за гроши спустить (только для того, чтобы тут же барыш спустить на пиво).

На конференцию я не ходил, зато гулял с ее делегатами, осматривавшими Эрмитаж, по его залам. Тройницкий требовал, чтобы я давал объяснения, но из этого ничего из вышло, ибо как раз собралась публика совершенно чуждая и безнадежная (очевидно, все деятели естественно-исторических музеев). Зато я поводил М.М.Хейфеля (господи, что за пошляк и невежда, когда он не прикрыт своей адвокатской элоквенцией), Кристи и его хорошенькую Ольгу Михайловну, у которой, со слов Тройницкого, довольно странная репутация в «языковедении».

По дороге домой я купил для чая в новом, очень опрятном магазине от государственного «Ландрина» два бруска английского печенья за 54 руб., а в «Неве» на Вознесенской (к «другу» Корбу не решаюсь зайти, так как слишком его забросил) — 1 фунт простейшего сыру за 35 руб.

Ужасный переполох в нашем квартале. На Крюковом канале найдена завернутая в полотенце отрезанная голова молодого

мужчины (Мотя не разобралась: то она говорит, что видела ее, когда шла с рынка, и даже подробно описывает, то отнекивается), труп которого затем найден в развалинах Литовского замка. Ограблена начисто таверна моих друзей по школе Гагариной кн. Довгелло, у него похищены, вырезаны из подрамников все картины — явление новое и заставляющее призадуматься.

Вообще же о всяких подобных случаях я не упоминаю, их слишком много. По дому прошел слух под вечер, что скончалась мать Эрнста, которую увезли вчера в больницу после того, что у нее пошла кровь горлом. Я не успел этот слух проверить, сам Эрнст из больницы не возвращается, а сейчас слишком поздно, чтобы беспокоить нижних.

Вышел второй сборник Эрмитажа.

Суббота, 9 июня

Еще утром Акица развивала свою новую теорию о предпочтительности махнуть рукой на недоступный для нас и не столь уж, судя по всем результатам возвращающихся, соблазнительный Запад, при этом попало и Аргутону за его измену, за его легковерие «всяким Любовь Павловнам». И вдруг во время обеда приходит из АРА от Свана пакет, в который вложено длинное письмо от Владимира (Аргутинского), и с первых же строк я уже усматриваю из него, что милый наш друг нас ждет! Сейчас, с устройством мне заказа постановки «Мирейль», комической оперы Гуно, в Монте-Карло за 6000 франков, уверяет, что и сам Стравинский им [Гуно] увлекается.

Значит, имеются проблемы в костюмерии, является надежда выбраться из хаоса снова к ясности и к радости. Как это соответствует нашему «передовому» увлечению Чайковским. Я не премину о такой новости сегодня же сообщить Гауку — Дранишникову, игравшим мне «Весну священную», и, видимо, они были здорово зачарованы ей.

Создать декорации и костюмы — это очень нетрудно, но особенно смущает оплата, если сопоставить гонорар Бакста. Получается за какую-то лекцию в Америке по 1000 фр. в минуту (очевидно, его же магия, но даже если сократить на десять, то получается довольно много). Но Аргутон очаровывает и дальнейшей перспективой, готов дать в долг от себя и друзей. В общем же немедленно рассчитывает, что моя поездка будет совершенным переселением. Последнее меня совершенно смущает. Впрочем, смущает меня все письмо, и настолько, что я с момента прочтения его хожу с опухшей головой из-за

скрещивающихся и путающихся мыслей, желаний, сомнений. Начать с того, что это приглашение является чуть поздно. Правда, я еще вчера буквально плакал в одиночестве из-за чувства своей отрезанности от «родины», но, мечтая о ней, я сейчас, в настоящем своем настроении и состоянии душевных и физических сил, — мечтал на «родине» отдохнуть, пережить также два-три месяца, какие я переживал в былое время летом в Лугано, делая этюды и пописывая свою историю, разъезжая по окрестностям и мелким городам Италии. Здесь же мне прочат великое утомление, что при моей усталости, вполне понятной, меня не очень радует. Дальше я не знаю, как же и на что мне оставить семью — Черкесовых и Коку (положим, у меня имеются еще 50 фунтов — 35 прежних, привезенных в 1914 году в качестве остатка по кредиту, разменянному у Кука на фунты, 15 я получил от Кенигсберга за свои акварели), но часть мы истратим на сборы в дорогу и на самый путь. Смущает меня то, как же я совершенно брошу Эрмитаж, да еще одновременно с Тройницким. Не могу же я поручить работу над устройством XIX века трем моим беспомощным помощникам. Как же мне приготовить «Щелкунчика» и «Марион Делорм», не говоря уже о нерешенной постановке для Александринки.

Наконец, не слишком соблазнительным представляется предложение Сережи Дягилева, и я уже не приложу ума, как я справлюсь с задачей, не имея возможности по идиотским правилам нашего времени (и не только нашего советского отечества) вывезти отсюда необходимые, привычные материалы. Придется Бог знает сколько времени потратить в Париже на сидение в Кабинете эстампов или денег на приобретение необходимых книг. А 6000 фр. — это всего 2000 фр. прежних денег, то есть то, что с трудом хватит на одну нашу жизнь в течение трех месяцев, а следовательно, вообще о каких-то покупках не может быть и речи, тем менее о сбережениях. Очевидно, нужно все же ставить вопрос ребром: ехать или не ехать — и вот на это я должен ответить: ехать, хотя бы уже затем, что это последний шанс выбраться из дыры снова на простор. И упустить этот шанс — значило бы поставить крест на моем будущем, довольно проблематическом, но все же как-никак могущем распространиться на десяток плодотворных лет, не считая дальнейших «позорных» (как всякая старость). Если так, то нужно сделать все усилия и исполнить с энергией, чтобы приступить к мытарствам, дабы исходить еще Смольный и консульства, возиться с разными инстанциями, идиотами, терпеть всякие унижения и т. д. Попробуем. Но как все это странно.

Вернулся Лаврентьев, настает июнь, и снова я вступаю в эти

настроения, в каких я пребывал два года назад в эту же пору. А выпустят ли еще? Вдруг в последнюю минуту задержат, как Лазарева, как Гауша! А каково-то будет расставаться с нашим домашним очагом, с Татаном, со всем нашим, столь милым, столь меня втянувшим traen-traen! Но ехать нужно, и это лозунг дня.

Весь день сегодня дождливый, ветреный, мрачный. К 10 часам сулили чудовищный ураган, уже посетивший Москву, но оный не явился.

Уже с 1 ч. на конференции. Застаю в полном разгаре прения по поводу доклада (к счастью, уже прочитанного) Н.И.Черепнина, об экскурсиях сообщил представитель Губоно (Губ. отд. нар. об.), очень корректный, хорошо стриженый и прилично одетый, солидный господин Федоров — заместитель Лилиной (и в старину были точь-в-точь такие ужасно приличные, усердные и опрятные господа, на которых начальство могло вполне положиться), нервная, солидная дама, «фребеличка с виду», товарищ Краснуха, ее помощница (Молас уверяет, что ее фамилия Желтуха), еврейка с несколько эстатическим выражением лица (из породы «знакомых Добычиной»), какой-то представитель рабочих, как полагается, бледный, желтый, жалкий с виду, но настойчивый и энергичный, холуй Исаков, потерпевший своего рода маленькое поражение, «сама плакальщица» Черепнина и др.

Это было скучно и нудно. Интерес попытался поднять тов. Гурвич: у него поразительно талантливый грим, превративший его жидовскую морду в очень благообразный замоскворецко-американский вид — ни дать ни взять еще один Рябушинский. Кудри на затылке, кучерской пробор, а при этом бородка только по щекам и подбородку. Но и вообще это очень «ловкий парнишка» и, видимо, большой жулик (но и отчасти бездарный художник). У Юрия есть сведения, что он разжился, когда стоял во главе заградительного отряда в Оредежи, славившегося своими сугубыми ущемлениями и вымогательствами. Сегодня его темой в качестве представителя Сорабиса, объединяющего 600 разных профессий, был вопрос о ставках и тарификации. И вот с ловкостью престидижитатора (впечатлению фокусника способствует и его странный жаргон, тоже очень старательно замаскированный на русский лад, но все же выдающий жида с головой, особенно на букву р) жонглировал цифрами, коэффициентами, «ничуть не скрывая ужасного положения», но тут же суля мощную помощь Сорабиса в деле повышения и нормирования заработной платы работников искусств, которую-де пора «выровнять» и координировать соответственно с «заработком промышленных групп». Тут же он постарался нам втереть глаза, что процесс этого выравнивания происходит,

правда, медленно, зато верно. И в доказательство этого с претензией на юмор он привел прежние цифры жалованья и новые, причем прежние он цитировал в довоенных рублях, и выходило «ужасно смешно», что директор Эрмитажа получал в декабре 17 руб. 50 коп. в месяц, напротив, тот же директор благодаря хлопотам Сорабиса получил уже в феврале «целых 550 миллионов» (что на самом деле едва ли не меньше тех 17 руб. 50 коп.).

Ему возражал с необычайным запалом наш смотритель Петров, одержимый вообще страстно публично говорить что попало. Он и сидит весь нахохренный, с тем тупым сосредоточием и злым видом, который имеют некоторые «полухищные» птицы, например, вороны, точно всегда готовые напасть, клюнуть и растерзать. На самом деле он добрейший семейный человек, но на собраниях ужасно злой. И Ольденбургу стоит огромных трудов каждый раз его унимать, осаживать, когда он начинает трезвонить не по предмету, а это случается после всякого оратора и на любую тему. При этом у Петрова поразительный говор, как в смысле произношения (целый ряд букв он не выговаривает, на других шепелявит и сюсюкает), так и в самом лексиконе, изобилующим иностранными фальшиво понимаемыми словами. Поэзию он позывает «позия» и т. д. Сидевший рядом со мной стенограф совсем сбился с толку его записывать. Но трогательное его почитание музеев, особенно Эрмитажа, которые он охотно защищает (иногда от мнимых опасностей), переходит на яростную критику современных явлений искусства.

Однако настоящей целью сегодняшнего заседания были выступления левых групп, а именно товарища Филонова, товарища Татлина и «гражданина» Пунина. Все они говорили об одном (но весьма по-разному): о музее художественной (или живописной) культуры. Филонова я увидел впервые и был поражен его видом. Это громадный безбородый детина, коротко остриженный, с сильно облысевшей головой, с широким жутким лицом, с безумными глазами и всегда полуоткрытым ртом. В общем, он удивительно похож на изображаемые им головы и в то же время он напоминает фотографии в книжках трансцендентных типов преступной психопатологии. При этом резкий, звучный, загробный голос, ровный, неизменно наставительный говор, подобный вбиванию свай, и настолько повышенная нервность, что во время чтения его доклада ноги его неустанно дрыгали. В общем, тип сумасшедшего или «кандидата», находящего уж очень близко к критической стадии, зато отнюдь не шарлатан, а человек насквозь, до самой глубины своего существа, убежденный в той

жуткой кошмарной ерунде, которую он изображает и о которой вещает.

Явился он на наше собрание не просто, а с тем трепетом и ощущением подвига, которыми исполняются вдохновенные миссионеры. За два часа до своего выступления он поминутно (буквально) выглядывал в приоткрытую в зал дверь (очевидно, он собирался и потому не желал сидеть среди публики, перед которой ему надлежало «выступить»), томясь и изнывая в ожидании своей очереди. Впрочем, это ожидание ему скрашивал Татлин, вступивший с ним в длительный и изумительно несуразный спор (кусочки мне удалось подслушать на ходу), и эта гротескная пара во время той дискуссии была необычайно живописна. Она напомнила мне чудовищных американских эксцентриков, которых я видел лет двадцать назад в «Фоли Берже» и которые оставили во мне неизгладимое впечатление. Спорили они нос к носу, глаза в глаза, коряво, поводя вокруг лица пальцами, и причем у Филонова есть склонность вытягивать не указательный, а средний палец, что по личной проверке не так-то легко. Филонов отдавался совершенно, забывая о всем окружении. Татлин же, несомненно, удивлялся, сознавая, что над ним наблюдают, что они «озадачивают» присутствующих, да еще каких — «самых настоящих» профессоров, ученых, буржуев, да еще в такой обстановке, «настоящей дворцовой», раззолоченной, с алым шелком на стульях, с золочеными канделябрами и зеркалами от полу до потолка.

Хороши и их костюмы: у Филонова блуза с очень отрытым воротом из крашенного в черный цвет холста, состоит из какой-то желтой мешочной материи. У «портного» Татлина тоже блуза, но рыжей кожи и особого, не лишенного кокетства покроя, висящая на его исхудалом теле крупными «готическими» складками и подпоясанная кожаным кушаком. Рыжий ее цвет придает особою желтизну его беспородной полусобачьей морде, точно выскочившей из какой-либо кермесы Питера Брейгеля.

Доклад Филонова оказался набором несуразных мудростей и требований и просто провалился в пустоту. Татлину же — этому гениальному шарлатану — удалось «воодушевить» зал, но вовсе не тем, что он говорил (хотя он и говорил вещи не глупые и совсем не страшные, например, об интернациональной природе искусства и т. п.), а тем, как он поднес эту свою импровизацию в лучших традициях площадных шарлатанов (так удачно применяющихся и митинговыми ораторами). С самого же выступления, отвечая на предупреждение Ольденбурга, что с места (Татлин не пожелал влезать на кафедру) плохо слышно, он развеселил аудиторию, гаркнув: «Ничего, услышат, глотка у меня

здоровая». И все дальнейшее было в том же вкусе с применением нарочито простецких, но очень «здоровенных» выражений со смачными и неожиданными паузами, с наставительными ударами по оторопевшим «башкам» слушателей. Такого бы попа на амвон! Такому бы человеку поручить проповедь о чем-либо дельном! А то пропадает силушка совершенно зря!

Меня особенно заинтересовала на сей раз проблема: шарлатан ли он чистой воды или нет, и вот, пожалуй, нет, до настоящего ему не хватает ума, «плакирования над средой» и просто культуры. При том он как хороший, немного наивный актер (толка Станиславского) не может удачно играть, не переигрывая. Но в то же время, я убежден, что этим переживанием он бывает одержим только во время «функционирования», а где-то дома, наедине, и еще, может быть, в очень тесной компании, он отдается хорошему холопству, скапеновскому юмору и вдоволь хохочет над своими жертвами. К сожалению, и такого крепыша может заразить окружающее безумие. Сейчас он, во всяком случае, стал более чем прежде смахивать на форменного сумасшедшего. Да и успех его шарлатанизма для него же самого вышел слишком большим, и, пожалуй, он уже склонен поверить, да навряд ли я гениален, раз все вокруг это утверждают. Фокусник попался на собственном фокусе.

Непосредственно за ним выступил моргач[23] Пунин, с остервенением протрезвонивший свою рацею, исполненную, как всегда, сумбурной парадоксальности и поверхностной игры в научность. И его я никак не могу понять: что ему нужно? Несомненно одно: по существу он и сам не знает, что ему нужно: если только не считать за «нужду» потребность пустого тщеславия, вечно гарцевать, бросая пыль в глаза. Изумляется наивная душа щегольством своих измышлений, выкроенных все из «самых последних слов» (сейчас он цитирует Шпенглера и Эйнштейна).

Если Татлин великолепный ярмарочный шарлатан, то Пунин довольно низкопробный салонный софист и педант. Но, Боже, что за завидная и у этого человека способность болтать языком, на лету схватывая иногда очень замысловатые конструкции оппонентов, и сейчас же заготавливать им ответы, если и вовсе неубедительные, то все же вполне эффектные и подносимые с видом полной уверенности в том, что противник должен быть уничтожен. О чем он болтал, я никак сейчас не вспомню. Но были в этой болтовне и какие-то совершенно наглые обвинения по адресу музейных деятелей — в недостаточной подготовленности. В своей же положительной части речь его сводилась к какому-то

проекту, в котором он рекомендовал выявить в экспозиции развитие форм (например, идею круга, начиная от камня, катящегося с горы, и кончая колесом лимузина), сопоставлять разные способы техники, сопоставлять картины, раз навсегда отказываясь от отсталого хронологического принципа по примеру сопоставления Уолля и т. д.

Говорил после него дурак Денисов, потом великолепно несколько раз выступал наш эрмитажный чемпион Орбели в образцовых академических формах, полных едкости, но непогрешимой корректности, но все это кончилось очень неожиданно скандалом, в котором вскрылись внутренние нелады левого лагеря. А именно: Филонов в своем последнем слове абсолютно отрекся от Пунина и даже назвал его «Распутиным наших дней», морочащим народ так же, как тот морочил царей и аристократов. Татлин в кулуарах грозил Нерадовскому, что он с «этим господинчиком, который с бумажкой», намекая на почему-то его ужасно обозлившего Сычева, и уверял, что теперь он только учится и пробует, а вот в будущем году он покажет себя, и тогда «всем вам не поздоровится».

В общем, я должен сказать, что прошедшее без скуки мне было интересно, и кроме описанных монстров было немало над чем производить наблюдение, начиная от истинно почтенного старичка Карпинского, являющегося всегда первым и досиживающего на одном месте с видом глубокого внимания до конца, кончая юрким, элегантным, несмотря на большевистский маскарад, без умолку острящим на превосходном французском языке камергером Моласом, чувствующим себя как рыба в воде.

Глядя на него, вспоминаю свои сетования по адресу саботировавшего в 1918 году чиновничества. Ведь всюду были такие Моласы, и были в изобилии — это была краса и гордость нашей бюрократии. И вот, если бы эти ловкачи не оставили своих постов, а остались бы на них, то через год или два превратились грозной ятамановщиной в то укрощенное, смирное, почти безобидное состояние, в которое впал и наш генерал Григорий Степанович. Но, увы, Господь отнял у нашей буржуазии разум уже тогда, когда она поклялась воевать до победного конца, отказываться априори и от всякого здравого смысла в каком-то повальном дилетантизме, поверив в благородство своей «верной союзникам» политики. Все же остальное было только логическое следствие этого «безумия».

Приходил Крамаренко с привлекательной картиной давидовского круга (очень смытая), изображающей в лицах мотив: «Что любовь улетает, где появляется нужда».

Воскресенье, 10 июня

Божественные эффекты мощных облаков при ярком солнце. Нева бесподобно прекрасная. Среди дня — крупный дождь. Все время ветер. До сих пор не приходится жалеть, что мы не на даче. Татан два раза гулял, требуя, чтоб его покатали на автомобиле. Я с Акицей еще говорил о своем решении ехать.

Сегодня я выступил со своим докладом о дворцах-музеях, но выступал последним в 11 часов вечера и тогда уже, когда настолько стемнело, что пришлось зажечь свет в люстрах, и это вышло очень парадно. Прочел я громко, внятно, друзья говорят, что во всех отношениях хорошо. Напротив, Тройницкий свой довольно толковый (но несколько наивный, в особенности в своей исторической части) доклад промямлил так, что его с трудом можно было слушать, и Стип, специально для него сидевший (вместе с Акицей и Кокой) с 4-х часов до 10, даже заснул. Впрочем, до наших докладов публику уморил геолог Степанов, часа полтора говоривший о естественно-исторических музеях. Его я просто не слушал, а болтал в это время в «кулуарах» (на самом деле, в гостиной с алой обивкой и с двумя Айвазовскими) с друзьями, стараясь между прочим помирить Жарновского с Зубовым.

Наши доклады не вызвали той бури, которую нам пророчили. «Русские музейщики», к удивлению своему, ничего не нашли в Тройницком непосредственно им угрожающего и припрятали все, что было ими во главе с Руденко и с Богаевским заготовлено, Сычев и вовсе растаял и даже не поддался прямой провокации Зубова, уверявшего аудиторию, что Эрмитаж в своем хищничестве и империализме готовится поглотить и Русский музей. В сущности, вся оппозиция и свелась только к Зубову, после этого Макаров при всей публике выдернул из-под его ног почву и заявил, что Зубов не уполномочен выступать от имени дворцов-музеев. У Телепоровского не хватило куражу самолично поддержать своего патрона. После этого Валечка Зубов сидел красный как рак, растопырив свои безумные глаза, и, видимо, сбитый совершенно с толку таким позорным финалом (ибо это, надо надеяться, финал) своей интриги, целью которой было воссесть самому на трон Тройницкого и главным средством которой было осуждение пресловутого перевода Павловских статуй. Он и на сей раз попробовал вот эту заваруху снова заварить при всем честном народе. Но хотя его и поддерживали прибывшие из Москвы Машковцев (сидевший вчера все время

рядом со мной и беседовавший в самых дружественных тонах), слюнтяй Романов (в то же время ужасно трусливый, как бы ему не навлечь нашей немилости) и идиот Борис П.Брюллов, однако аудитория отнеслась к этому вызову (а у Зубова это вышло именно вызовом, и С.Ф.Ольденбургу пришлось его призвать к порядку) очень равнодушно, и в конце концов тезисы Тройницкого прошли полностью (кроме его 6-го пункта, который он из-за каких-то тактических соображений или из каприза снял), а мои «предложения» (они же тезисы) были приняты с одной лишь поправкой (тоже тактического порядка) Ерыкалова, вред от которой мне, вероятно, удастся парализовать в «окончательной редакции».

Бедные мои Акица и Кока высидели (не желая уйти до моего выступления) целых восемь часов, и у Акицы ужасно разболелась голова.

Огромное удовольствие доставила Акице чертовски остроумная речь Орбели (для защиты Тройницкого он прибегнул к сугубо виртуозному приему: он как бы возражал ему, и даже с тоном некоторого негодования), посмеялись во время выступления «сына крестьян, от сохи пришедшего» Петрова, обозвавшего Пунина и Филонова аристократами, насладились они и «пророческой речью» последнего (на тему об эволюции, причем опять был притянут Эйнштейн), позлились, пока болтал Пунин, договорившийся до отрицания не только истории искусства, но и истории, и, наконец, самого времени и самого пространства, послушали настоящую скуку Степанова и более бодрый, быстрый, но удивительно куцый доклад дотошного гиганта глухаря Шокальского, разбившего себе об угол кафедры глаз и все же безостановочно продолжавшего говорить, «на ходу» прикладывая примочки к ране, поразились изумительному прогрессу Ятманова, который приобрел «подлинную» сановитость и стал говорить вещи почти связные и приемлемые, выражая при этом свое почитание Эрмитажа (двойная работа Ольденбурга, который в нем прямо души не чает, и глубоко его презирающего, но неустанно обрабатывающего Моласа).

Возвратились мы втроем в чудную ароматическую, но очень светлую ночь в компании с четой Мацулевич и долговязой, черной, тощей Крыжановской (вот тип!). Что выйдет из всего этого, трудно сказать. Денег же все равно не дадут. Но при случае ссылаться на удобное для нас «постановление конференции» (в сущности, пассивно принятые индифферентной толпой наши же постановления) можно будет надеяться — и это будет иметь свое действие.

За эти дни я очень оценил лестницу Мраморного дворца и,

напротив, совершенно раскритиковал лишенную конструктивного смысла удивительно разнокалиберную (тонкость пилястр при «толстых» орнаментах и барельефах) по декоративности и действующую лишь красотой материала… Правда, что еще ее ужасно уродует рококо, прибавленное в XIX веке, второго этажа, зеркала, заменившие средние пилястры и кронштейны, с которых свешиваются боковые люстры.

Нотгафт прямо в ужасе от (сообщенного ему одному) моего намерения ехать за границу.

Заходил с Акицей и Кокой в Общество поощрения и заказал оставить за мной одиннадцать английских закусочных тарелочек с синим рисунком (за 160 лимонов, то есть 1 р. 60 к.).

Еще один курьез о конференции. Отвечая на речь Пунина, «представитель власти» М.П.Кристи высказал следующее: «Советская власть всегда идет навстречу всему новому и не желает повторять ошибок старого строя. Вот почему мы вам и дали возможность экспериментально произвести тот опыт, который вы пожелали сделать, результатом чего явился Музей живописной культуры. Правда, судя по слышанной только что критике, никаких новых там приемов экспозиции не выявили и остались при старых, но все же именно там вы еще беспрепятственно можете эти новые приемы продолжать. Советская власть ни в коем случае не допустит, чтоб на них были бы проделываемы всевозможные, еще не подкрепленные опытом, эксперименты, могущие привести к разрушению исторически сложившихся систем и ансамблей!» Но, дорогие мои, разве этим самым, то есть разрушением, вы не заняты вот уже четыре года во всероссийском и даже мировом масштабе? Когда я это заметил на ухо Ферсману, этот лукавый толстяк заблестел глазами и прошептал в ответ: «Слава Богу, слава Богу, что постепенно они сами начинают прозревать!»

Во всех встречах и столкновениях с Кристи и Ятмановым, и Ерыкаловым, Сычевым и всеми прочими нашими художественными сановниками — всегда и очень определенно проявляется самый настоящий страх перед этими бесцеремонными господами, как внешний (как бы еще не погубили), так внутренний — как бы не опростоволоситься и не принять всякое прекрасное за ничтожное. Очень характерно последнее выразилось в словах Кристи: старое правительство не давало ходу молодым силам и смелым поискам, мы же ставим себе задачей всюду помогать и способствовать. При этом он и все ему подобные забывают, что из гонимых эти «молодые силы» и смелые поиски давно уже превратились в достаточно почтенные и чрезвычайно поощряемые, что человеку, желающему делать

карьеру, скорее можно посоветовать удариться «влево, нежели оставаться справа», и легионы следуют этому совету (кто по расчету, вроде какого-либо прохвоста Гурвича, кто по инстинкту), хотя бы их вкус и вся их культура (вообще крайне низкая сегодня у молодежи) и влекли их к основам искусства, которые предопределяют правый уклон. Впрочем, сейчас может начаться и следует ожидать постепенного переползания с «левого» на крайне правый фронт (директивы чему уже дал Луначарский в своей речи на праздновании Островского, провозгласивший, что в драме нужно вернуться к Островскому, а в поэзии к Некрасову, в живописи — к традициям передвижников). Это вполне логично. Но и на сей раз официально поощряемое искусство, как десять, как двадцать, как пятьдесят лет назад, как здесь, так и всюду, окажется в стороне о того, которое создается душой и сердцем, вкусом и интуицией.

Понедельник, 11 июня

Сыро, дождит. Зелень все еще очень туго распускается.

Сегодня утром только узнал, что Эрнст схоронил свою мать еще вчера утром. Провожали фоб, кроме него, только Зина, Бушен и сестра Бушена (сестра Бушена была у нас к чаю вчера, но мы ее уже не застали). Погребение обошлось в 3 миллиарда. Евгения Сергеевна погребена в Александровской лавре. Почему Эрнст меня не предупредил, не знаю. Может быть оттого, что он не хотел видеть меня свидетелем убогой обстановки? Скорее же потому, что ему стало жаль меня. Ведь утром не ходят трамваи, и в такую далищу до Евгеньевской общины пришлось бы тащиться пешком. Он совсем убит (когда я в субботу был у них, он был совершенно обыкновенный и не более меланхоличный, нежели всегда; он вообще не из радостных и упрекает теперь себя за то, что недостаточно нежно относился к матери и не придал болезни ее более серьезное значение). Умерла она вовсе не от рака, которого у нее и не было, а от расширения аорты. Скончалась печальная старушка через три часа после своего прибытия в больницу на руках нашей дворничихи Дуни, которая ее туда и сопровождала в карете скорой помощи (стоившей более миллиарда). Сергей Ростиславович подоспел тогда, когда она уже лежала мертвой…

Объявил сегодня Тройницкому о своем отъезде. Он очень поражен и как-то огорчен, но, впрочем, он вообще весь какой-то страшно кислый, и как будто мысль о собственном путешествии его больше не так уж трогает. Завтра он отправляется в Смольный

сдавать анкеты — свою и Марочки. Я его попросил мне достать оттуда бланки. Но разрешат ли нам троим, «главным» в Эрмитаже — ему, мне, Липгардту, — уехать одновременно? Не вызовет ли это еще каких-либо идиотских подозрений? И еще Нотгафт собирается ненадолго в Берлин, вероятно, для того, чтобы развестись с Рене и затем жениться на Тасе; кстати, от Акицы узнал, что Боткиным возвращают все их имущество, и даже серебро и картины. Это, очевидно, добрый и благородный Ерыкалов. Но дома они на себя все же не в силах взять.

В Совете ничего интересного, кроме юмористических рассказов о конференции. Все в восторге от Орбели. Меня и Тройницкого поздравляли с победой, Ольденбург даже остановил меня на площадке, чтобы выразить свое чрезвычайное удовольствие, полученное от моего доклада. Тут же он мне рассказал о С.Леви и об его впечатлениях от России — Москвы и Петербурга…

Поражен он был удобствами Транссибирского экспресса и абсолютной точностью его прибытия в Москву. Зато от самой Москвы он в ужасе, от ее разгильдяйства, от дикости нравов (какого-то молодого человека на улице он видел в подштанниках), от грязи, шума, суеты, бестолочи, от чудовищного количества нэпманов. Напротив, Петербург его поразил благородством, чистотой, порядком, и главное, — вежливостью его обывателей. Правда, его пребывание здесь скрасило то, что он жил в семейной обстановке, у своего старого друга Сергея Федоровича, посещение которого после тридцать лет разлуки и побудило его вернуться через Россию. Но и он наперед знает, что всему хорошему, что он будет рассказывать, не поверят, сочтут его за «ренди аус большевик». Но по крайней мере поверят тому, что Эрмитаж и прочие музеи действительно целы.

В Обществе поощрения я взял свои тарелочки (за 165 лимонов) и полтора пуда книг, географический американский журнал с чудесными фотографиями, особенно Мексики, Перу и т. д., которые мне достались за 52 лимона, иначе говоря, за 1 рубль по официальному курсу и за 45 коп. по реальному. Этот журнал мы вместе со Стипом, которого я затащил обедать (он очень соблазняется поддаться призыву Аргутона уехать, но в недоумении, на кого оставить квартиру с ее сокровищами), и рассматривали весь вечер. Обещанный же Лаврентьев не явился. Уж не угодил ли он в кутузку? Или запил?

Вторник, 12 июня

Весь день моросит, чуть потеплело.

Пишу черновики писем Аргутону и Сереже (Дягилеву). В 12 ч. захожу в АРА, чтобы предупредить о покупке Нотгафтом для них книг Лукомского и Шамурина (для мистера Квина, заинтересовавшегося ампирными усадьбами). Однако оказалось, что их расторопный мальчик на побегушках, «мистер Алекзандр», им их уже достал всего за 300 за все три.

После Эрмитажа, где я осматривал работу над брендом в 3-м этаже, я снова побывал в АРА, но Киртнера не оказалось, и я не мог сделать последних исправлений в адресах. Кини у нас в четверг не будут, они уезжают на две недели в Москву.

Дома меня уже ждали Монахов, Лаврентьев и Хохлов. Сообщил им о своем отъезде. Это их не особенно тронуло, так как моя постановка попадает на вторую половину сезона. Начинаем с Хохловым Плавта («Близнецов», художница, по моему совету, Ходасевич), затем «Северное божество», которое ставит Лаврентьев (в качестве художника я сам рекомендовал Коку или Женю Лансере), в декабре — «Борис Годунов» (Хохлов — Петров-Водкин), далее моя «Копилка» (все же я предпочитаю ее «Соломенной шляпке»), далее какая-либо мелодрама (скорее всего, «Парижский ветошник» для Монахова) и, наконец, «Снегурочка», для которой я настойчиво рекомендовал Добужинского.

Забавные вещи про наглость III Студии рассказывал Монахов. Хохлов вел себя опять очень странно. Определенное ухаживание за Монаховым. Лаврушка все время тискал свою голую башку, которая у него трещала после какого-то вчерашнего кутежа. Со мной — нюанс сухости. Вообще же очень унылый, потерявший веру в себя, называет себя провинциалом, но, может быть, ему надо освоиться, и тогда он станет прежним. Впрочем, видимо, удовлетворив свою ностальгию, он уже и в ужасе от всего здешнего.

Вечером слушаем с Монаховым и Кокой «Щелкунчика», исполняемого на двух роялях Гауком и Асафьевым. Впечатлению мешают их постоянные остановки (сладострастность музыкальной технологии). Замечания и споры между собой. Тем не менее, я и на сей раз ухожу больной от меланхолии. Особенно от вальса снежинок. Вот бы под такую музыку переселиться на тот свет! Кое-что из усовершенствования фабулы выясняется, и от некоторых моих идей, рожденных музыкой, Лопухов в диком восторге. Спорит пока с «санями» (но и я не настаиваю). Надо быть при этом очень осторожным с ним, ибо он склонен очень нелепо толковать всякое мое слово, иногда брошенное из пустого щегольства парадоксом, иногда просто не продуманное. В его

сумбурной голове, жадной до всякого рассудочного громождения, это все быстро превращается в очень дикие нелепости, за которые затем он склонен держаться. Рассказывал любопытные (про балетную систему) затеи. Настоящий автор ее не Сергеев, а один умерший в юности ученик, секрет которого был усвоен неким Степановым, от того — Горским, впоследствии в системе (действительно слишком схематичной и не гибкой) разочаровавшимся. От Горского уже она унаследована его учеником Сергеевым. Рассказывал и про любовные шашни старого Петипа (до сих пор в театре служит одна костюмерша, от которой он признал дочь. Старушка рассказывает кому угодно, как он ее обманул, обещав 200 рублей и так их ей не дав), об его странности, об эпохе засилья Ширяева и еще кого-то, о том, как Кшесинская воспитала и натравила Волынского, желая из него создать своего чемпиона против меня и моей партии (а разве таковая у меня была? Да — Фокин), и многое другое.

В мое отсутствие был у нас К.Сомов с сестрой, совсем приунывший, узнав, что я еду. Он даже стал уверять, что распродаст весь свой скарб и тоже уедет. Умно б сделал.

Наша Атя в отчаянии. Она получила от своего издателя Мексина из Москвы письмо с сообщением, что ее «столь трогательные рисунки “Детских радостей” не нашли полного одобрения со стороны Госиздата». При письме приложена и книжка Лазаревского, желающего, чтоб: 1) был утилитарный, полезный характер костюмов (конфедератки) на одном из мальчиков, 2) чтобы у двух других были острижены их локоны, так как таковые придают им слишком буржуазный вид (это требование не только глупо, но оно в настоящее время совершенный анахронизм, раз наши улицы заклеены портретами самого буржуазного характера: соблазняющей всякой роскошью в «Европейской» гостинице («избранная кухарка», гриль-рум, два оркестра), зрелищами, покупкой золотых банкнот и т. д. И ведь надо видеть эту огромную тушу самого Лазаревского, посмотреть его типично безвкусную… чтоб оценить вполне такое требование), чтобы: 3) кондитерский «пирог, который несут двое других детей, был с песочком», чтоб: 4) вообще всему был придан более национальный характер — то самое заключение, которое я слышал постоянно в былое время. Но ведь то время было царствованием сына Александра III! Бедняжка хочет вернуть деньги (это можно как-то сделать, так как Юрию за «Щелкунчика» еще не все уплачено) и совершенно деморализована. Зато ее утешило длинное письмо Нади Устиновой из Лондона, в ее самых подлинных чудаческих тонах.

В своем ответе (с грубо-дерзким, для внутреннего

употребления предназначенным заголовком) «наши» идут на дальнейшие уступки Англии, вплоть до согласия на отозвание послов, на уплату всех потерь английских подданных. Правда, тут же говорится и о взаимности, но люди, считающие себя в этом деле понимающими, утверждают, что и это «для внутреннего употребления» и что, разумеется, на взаимности им не настоять. Сам не читал, но говорят, что в Болгарии — фашистский переворот. Очевидно, Европа… и умирать во имя красивых теорий не собирается. Но, Боже мой, какая пойдет реакция! Особенно когда дело дойдет до нашего самодурного Отечества!

Акица жалуется на недомогание в кишечнике. Марфочка принесла анкету для Смольного. Смущающим пунктом является тот, на который придется отвечать про Лелю, и вопрос, с какого года она за границей.

Асафьев в ужасе от своего нового (вместе с Каратыгиным) приглашения в какой-то совет политпросвета. Оказывается, из Москвы идет выработанная съездом профсоюзов директива о выработке той художественной идеологии «энергетического материализма», который считается обязательным для всех русских граждан, занятых искусством. Эта мысль — показатель совершенно растерянной речи изуверившегося во всем Луначарского. Одним можно утешиться — это тем, сколько уже людей на этом сломали зубы и что «поговорят, поговорят и оставят». Однако, к сожалению, при этом интерес к искусству все падает, и в самом недалеком будущем ему, и сейчас здесь еле-еле прозябающему, абсолютно нечего будет делать. Пора и всем нам думать о переселении, «нас» и осталось не так уж много: человек тридцать приличных пластических художников. Это всегда найдет себе применение и более верный кусок хлеба (не думал раньше, что это слово я буду когда-нибудь употреблять в самом буквальном смысле, и не только для себя, но для всего нашего коллектива) за рубежом!..

Еще одно домогательство из Александринского театра: на сей раз от А.П.Пантелеева. Я его хотел включить, но меня Денисов уверил, что старик обеспечен. Об его жене я даже и не слышал. Гадка в этом ответе ябеда на коллег и род скрытой угрозы даже в пассаже, в котором говорится о протекции, оказываемой советским представителем при АРА — Т.Жуковым.

Среда, 13 июня

Погода начинает действовать удручающе. Правда, к вечеру она сегодня разгулялась, да и среди дня была периодически с

солнцем. Но именно эта неверность-то и злит. Уже лучше б круглый день дождь. Теперь я только мечтаю об отъезде.

Утром и после Эрмитажа все время переписывал письма Гольдеру, Аргутону, Леле и Дягилеву. За ними пришел мальчик из АРА, и их повезет доктор Гент, который приехал к вечеру из Москвы и уже завтра покидает Россию через Финляндию (это было отложено до воскресенья). В Гельсингфорсе он должен встретиться с Гольдером. Лишь бы наши власти не выкинули бы и с Гентом на прощание их любимую шутку: не отобрали бы у него его валюту!

В Эрмитаже Тройницкий (очень унылый, переутомленный) в подробностях рассказывал про свои мытарства в Смольном. Большая очередь. Принимаются заявления с заполненной анкетой, чиновник за окошечком особенно заинтересовывается параграфами *о родственниках и работающих за границей*. Вот мы и смущены из-за Лели и ее бегства. «Как бы тут не вышла загвоздка». Добычина, которая была у нас (с двумя мужьями) перед обедом по приглашению Акицы; на предмет быстрого увеличения наших фондов: она взяла на комиссию все двенадцать раскрашенных «Версалей» и пробует без особой надежды на успех их поместить (по 3 и 5 миллиардов за штуку). Добычина (что мне уже меньше нравится) вызвалась сама обо всем переговорить с Мессингом. (Иногда мне кажется, что она его никогда в лицо не видела и все эти рассказы об ее беседах с ним — сплошная неврастеническая выдумка.) Через него же она берется выхлопотать свободный вывоз моих картин, но сама, видимо, мало верит в удачу такого демарша, и я во всем пока не придаю ее словам никакого значения.

Обедали мы сегодня с Акицей у Кесслера. Кроме нас — Браз и Лола, вчера только прибывшая из Германии, очень миловидная, в прелестном новомодном платье, стоившем ей очень дешево. Она рассказывала ужасы про бесконечный досмотр на русской границе, в ответ на что г-н Беккер (один из завсегдатаев Кесслера) рассказал с возмущением случай в Эйдекунене, где с посадки сняли его сапоги под предлогом, что они новые. Характерно для мелочности наших дней, что Кесслер горячо дебатировал этот вопрос и счел, что таможенный чиновник был прав. Этот герр Беккер — юркий, быстрый, тощий, бритый, гладко причесанный немец с сильной примесью иудея, хорошо говорящий по-русски, торговал в Вейсе еще до войны и, кажется, попал у нас в концентрационный лагерь. Он тоже вернулся из большой поездки по «всей заграницe» только вчера и прибыл в посольство на изумительном, точно шлифованном, автомобиле

вместе со своей маленькой рыженькой женой (русской немкой-еврейкой) и с изумительно шустрой дочкой.

Кроме того, посла обеда забрел еще квадратно-круглый пунцовый доктор Шефлер, у которого крошечный нос, слишком большой шрам у виска и совершенная каша во рту. Браз отзывается о нем как о мошеннике и вымогателе. Были случаи, когда он засаживал в подведомственную ему больницу людей, едущих за границу и желающих получить немецкую визу с целью пожить в курорте (единственное, что вообще разрешается, но на что нужно иметь специальное разрешение после докторского освидетельствования), и это чтоб посредством шантажа собрать с них побольше взяток. Вид у него, во всяком случае, вполне подходящий для кинематографических ролей какого-нибудь советского разбойника.

Беседа была очень оживленная и скакала с одного сюжета на другой. За десертом (это уже так полагается) были помянуты все подробности убийства царской фамилии. От Браза пришлось во всех подробностях услыхать бесконечную историю о том, как ему задаром достался Шарден Долгорукова. Герр Беккер развивал какую-то странную теорию, согласно которой очередь на эксплуатацию России сейчас за французами. Однако им при этом придется, за неимением собственных сил, прибегнуть к немцам…

Среди немцев найдутся такие, которые пойдут на такую комбинацию. В совершенном упоении он от Стиннеса, от всей фигуры этого селф-мейд-мена, от его всевозможной мощи (он владеет даже английскими копями и стоит во главе бесчисленных пароходных компаний), от его гениального предпринимательского ума, от его беспринципности. Кесслер развивал ему теорию, что как ни плохи обстоятельства в России, однако она [ситуация?] все же медленно улучшается. Правда, к июню кривая[24] падает почти каждый раз в одинаковой степени, однако по важнейшему движению жизни в целом все же, несомненно, растет, и поэтому уровень этого падения каждый год все же выше предыдущего на долю.

Браз, цепко держащийся за свой абсолютный пессимизм, с этим никак не соглашался и утверждал, что мы спускаемся все ниже и ниже. Однако сам он все же лучше одет, чем в 1919 году, съездил за границу, воспитывает детей и т. д. — все совершенно объективные факты и показатели того, что Кесслер прав. Я с ним, во всяком случае, согласен, хотя и признаю, что ощущение падения становится с каждым разом более омерзительным и досадным. Не успеешь почувствовать, что снова как будто становишься человеком, как новый эксперимент наших властителей делает снова дыру в жизненной ткани, и снова

висишь на каких-то ниточках. С другой стороны, они не делать их не могут. Это их «борьба за существование». Если б они позволили слишком скоро восстановить нормальную жизнь, им бы не удержаться у власти (а следовательно, они рискуют головой), что золота для расплаты с французами и Германией достаточно, утверждали и Беккер, и Браз, и Шефлер, однако немцы плестись не станут, ибо таким образом они быстрее отыграются, хотя бы ценой временной оккупации чужими силами. Будут деньги, будет и власть, и победа. Нашли дурака! Сейчас они всеми силами стараются привлечь как можно больше золота в страну, и им это удается благодаря их феноменальной деятельности. Уже снова на мировых рынках они постепенно начинают играть первенствующую роль.

Возвращались домой с Бразом по чудесной, очень свежей белой ночи. Днем ко мне приходила какая-то курьезная, рыжая, немолодая датчанка Крауп показать прекрасную картину на дереве Дроллинга 1799 г. «Мальчик с фруктами в окне». Я ее отправил к Кенигсбергу.

В газетах, говорят, сегодня статья, что наш «последний меценат» Осипов обвиняется во взяточничестве. Добычина не думает, что его расстреляют, а прочит лишь пять лет принудительных работ, да и то он после года будет амнистирован. Не везет нам с коллекционерами!

Четверг, 14 июня

Погода все та же, лишь чуть теплее. Утром был Костя Бенуа. Он пророчит такую же погоду до конца месяца. Кроме скуки, она грозит и полнейшим неурожаем на всем севере (молочница-чухоня, привезшая нам чудесное молоко из Павловска, прямо в отчаянии), а если к этому прибавить страшную засуху на юго-востоке, то вот и новая продовольственная катастрофа. А тут еще ликвидация АРА! Ликвидируется в каком-то бешеном темпе. Завтра уже все пакеты будут розданы, во вторник Реншау уезжает, до того очистив помещение решительно от всего (сейчас они целыми днями в комнатах сжигают все ненужные бумаги, то есть не доверяют корректности наших властей и предполагают, что и самая ничтожная, ничего не значащая бумажка, может оказаться причиной неприятности тех из российских граждан-илотов, которые входили с ними в сношения). Сам Реншау расцвел и стал неузнаваем. Он даже снискал себе симпатии всех служащих, явившихся на его сеанс, ныне же готовых прославлять его — особенно за щедроты, ибо он заплатил за три месяца вперед и

наделил каждого пакетами. 200 пакетов еще надлежит распределить завтра. Еще семь человек из моего последнего списка будут удовлетворены. Я особенно рад за нашего безумца Стебницкого. Авось удастся осчастливить и И.И.Жарновского. (Внизу листа карандашная запись Бенуа: «Жарновский получил в последнюю минуту пакет. Я страшно рад».)

Кстати: старшие две сестры Кавос пляшут в Берлине. Лола Браз видела этих несчастных в каких-то кабаках, в ужасных полуголых костюмах. Безногий Женя Кавос зарабатывает свой хлеб в Висбадене гаданием на картах. Лишь Катя Кавос вышла замуж за англичанина и живет в Ревеле в сравнительно хороших условиях. Реншау у нас сегодня обедал вместе со своим юным недавним компаньоном Ф.С.Бурлендом (он его нежно-насмешливо называет Франеки) и с А.Л.Киртнером, с которым мне за эти месяцы пришлось посидеть не один час в хлопотах по раздаче пайков (увы, за весь этот труд я не только почти ничего ни от кого не получил благодарности, на что, разумеется, и не рассчитывал, но еще нажил себе смертельных врагов — среди коих супруги Студенцовы и многие другие!)

Обед вышел на славу (Акице он стоил более миллиарда, и сейчас в кассе у нее осталось всего 2 лимонера), с великолепным телячьим окороком: каждый получил часть по меню (Реншау достался мой «Вид на Неву из Эрмитажа», Бурленду — «Крепость» дяди Берты, Киртнеру «Главный штаб» Юрия). Беседа шла из всех языках очень оживленная и бестолковая (мой сосед Бурленд настойчиво убеждал меня ехать в Америку, где я могу будто бы иметь огромный успех с моими постановками, а также лекциями о театре в университетских городах, в каждом из которых имеются группы студентов, отданных изучению театра, и это несмотря на толпы индифферентных больших масс ко всему, что не есть просто «коммерческая пошлятина»), а после обеда под негритянские кэклоки и фокстроты, исполненные Бурлендом на пианино в Кикиной гостиной, Реншау и Киртнер плясали до упаду, причем подвижный (он уже и пришел «на сильном взводе») длинноногий Реншау нежно прижимал к груди дам, в том числе и мою Акицу, которая порхала, как девочка, да и вид имела такой, точно ей не пятьдесят три, а самое большее тридцать лет. Никаких особенных разговоров не припомню, зато запомнилась потешная гримаса поминутно хохотавшего Реншау, который, смеясь, уморительно раскрывал свой имеющий вид клюва рот и поблескивал глазами за огромными стеклами очков. Жирный, розовый Киртнер держал себя с той же важностью, которая приличествует породистому отпрыску «Васильев-Остров». Кроме сих, был дядя Берта, все с большим трудом волочащий свои ноги

(вид же у него вообще отличный, и все, что он делает, не носит отпечаток дряхлости). Кока с Марочкой (она и спела «Пастушку» из «Пиковой дамы», и романс Глазунова). И к чаю Любочка с Гауком, который исполнил насколько номеров из «Раймонды» и «Спящей красавицы». Я при этом слегка имитировал танцы, идущие под данную музыку, чем привел Реншау в окончательное упоение. Разошлись американские гости, не пожелав откушать чая (было уже около полуночи), несмотря на то, что Акица к нему приготовила чудесное варенье из ревеня.

Днем я был в доме Бобринских на заседании Бытового отделения. Растерянные М.Фармаковский, Коля и Сычев чуть ли не молят, чтобы мы с Тройницким им продиктовали, как им быть. Оба мы дали несколько идей о внесенных сериальных выставках.

Коля Бенуа на днях только держит экзамен по политграмоте и с этой целью зубрит «Азбуку коммунизма» Бухарина, составленную еще до нэпа, и тогда, когда доктрина царила без всяких уступок — то-то умора (во всех смыслах) для настоящих пролетариев. Одна немолодая баба-уборщица у них в Обсерватории отвечала по нему и должна была на вопрос: «Что такое религия?» — заявить: «Опиум для народа», на вопрос: «Что такое священники?» — ответить: «Шарлатаны, грабящие народ» и т. д. И не успела эта «сознательная» получить одобрение экзаменатора, перед которым она тряслась, как тут же, повернув ему спину и тщетно поискав по углам икону, она осенила себя крестом и затвердила: «Слава Богу, слава Богу!»

Перед обедом приходила тетушка Молас. «Распятие» ей вернули, и снова наклевывается покупатель. Но вот, как я думаю, не рискует ли она снова угодить в ГПУ? Да, что это, не примет ли она меня за чекиста? Кстати, узнал: арест картины, произошедший вне всякой зависимости от сожительствующей с ней в одной квартире нэпманской конторы, произошел как раз накануне того, что ее должны были посадить по просьбе покупателя — «эксперта Клюге фон Клюгенау “Мазуровский”». Последний-то, видно, и донес…

Пришел вечером и сильно подвыпивший Стип. Он смущен сведениями, идущими от Израилевича (которому все что-то не удается уехать за границу), согласно которому котик Миклашевский готовит для Госиздательства брошюру, поющую отходную искусству вообще и коллекционерству в частности. Что же, от этого хулигана — это станет! При случае он бы продал и родного отца.

Пятница, 15 июня

Жаркая душная погода и каждые четверть часа легкий дождик. Убийственно действует на нервы.

С Акицей в Эрмитаж, где ее снял Ухов. Тройницкий снабжает нас сведениями о демаршах в «Шмульном» (так теперь называют Смольный). Завтра в Акцентре он выяснит, не полезно ли (в смысле сокращения хлопот) мне все же верить в безденежную командировку. А в среду он даже получит ответ относительно Марфы Андреевны, которую он не смог поставить, как в былое время, на свой паспорт. И, видимо, он не очень уверен в этом ответе. Вот он советует отложить начало моих хлопот до этого выяснения, дабы сразу уже предпринять тот или другой обходной путь, если этот ответ будет неблагоприятным. Он вообще какой-то растерянный и смущенный «мутью». Его раздражает и то, что приходится сдавать полякам «Кабинет Станислава Августа». Доктор Рылов уже здесь. Есть при этом соблазн — открытые нами листы Буше и др., лишь нумерованные, но ни в каких описях не означенные (по признаку своевольного толкования понятно, что nullies), заменить каким-нибудь хламом из Эрмитажа, а их забрать себе. Но куражу не хватит, тем более что он не доверяет вполне местному библиотекарю Крыжановскому. Жарновский (которому мне удалось устроить пакет) в ужасе от моего отъезда и не верит, что я вернусь к зиме.

С Акицей же заходим в Общество поощрения, где наталкиваемся на тушу-Богданова, тщательно мной всюду избегаемого. Сразу же жалобы на то, что мы тогда не приехали на чествование для награждения Марии Александровны. А между тем был феноменальный ужин, балет, концерт — все как «в доброе старое время». Но если у человека действительно такой размах (я что-то в то же время не слыхал от бывших на вечере людей, что оный был столь пышен), то зачем он возится с грошовыми делишками. Вот и сейчас собирается судиться из-за картины, проданной кому-то в Москву всего за 10 миллиардов (100 руб. прежних денег), и притянуть между прочим Нерадовского, который дал о картине неблагоприятный отзыв, что и привело покупателя к желанию ее вернуть Богданову. И вообще, что за немыслимый и прямо поганый остолоп.

Аукцион, устроенный Чекато и почти исключительно из его вещей, шел ужасно вяло, что страшно раздражало самого благодушно лукавого Бертело. Он ликвидирует свое имущество (но далеко не лучшее, что имеет), имея намерение вернуться на родину. О чем уже толкует с самого начала революции. Никак не может выбраться из Совдепии и Платер, продающий за гроши вещь за вещью, но тут же — в пиво, в вино да на цветы просаживающий вырученное. Сейчас он уже готов расстаться со

своим чудесным масляным эскизом «Троянского коня» Тьеполо и всего за 10 000 советских рублей, иначе говоря, за 100 рублей золотых.

К Аиде Карловне [Мильман] в лавочку привезли целую мебельную гарнитуру (18 предметов) голландской наборной работы (особенно аппетитны два шкафа), за которые [она] хочет 1000 руб. золотом. Чтобы понять падение цен на художественные предметы, достаточно указать на то, что хорошая большая акварель Трутовского в раме и под стеклом прошла всего за 100 лимонов, то есть за 1 рубль, и эту же сумму мы с Атей истратили, купив для чая 10 пирожных и полфунта пряников. Пирожные уже стоят 7 лимонов. Итак, для «милых» кондитеров уже не копейка!

Вечером у нас Шулепов, Надежда Ивановна, мадам Ададурова (ее все же вблизи лучше не рассматривать: нос слишком торчком и вдобавок коротенький), Лавруша и Стип. Лавруша был на сей раз бодр и мил. Но он очень смущен создавшимся в театре положением. Монахов пропустил (быть может, и нарочно) момент, чтобы сказать Хохлову: «Ну вот, К.П., можно вас поздравить с освобождением от дел, которыми Вы так тяготились!» Сам Хохлов (очевидно, после московского успеха) и *не думает* уходить, а напротив, всем своим поведением показывает, что он продолжает себя считать главным режиссером. Демонстративно, именно в этом смысле он себя держал и у нас, когда первый раз пришел с Лаврентьевым. Монахов, с которым Лаврентьев наконец объяснился, думает выйти из положения, назначив Лаврентьева заведующим художественной частью, которому был бы подчинен и Хохлов. И оно только запутает положение. Насколько фальшив и опасен Хохлов, доказывает то, что он Тасю уверял, будто театр в Москве никакого успеха не имел, пустовал и т. д. Для меня реальной проверкой будет завтрашний мой визит в Союз драматических писателей и то, что я там получу за «Грелку».

Степанова в среду вызывали в обллит (приезжал с повесткой конный вестовой), и так как в тот же день туда был приглашен и Б.В.Фармаковский, то все мы были уверены, что снова идет речь о «Петербурге» Добужинского (ведь бывшее Издательство святой Евгении ныне при Ак-макульте). Однако оказалось, что вызывали с такой помпой только потому, что Книжная палата, которой издатели обязаны предоставлять по одному экземпляру каждой книги, до сих пор не получила экземпляр «Медного всадника» и какого-то издания Академии.

Стип прочел в газете о готовящемся новом налоге. Будут обложены все, получающие свыше 2 миллиардов, иначе говоря, 20 руб. прежних денег. В каком государстве могли бы еще

додуматься до такой глупости. Ведь взимание этих грошей будет стоить дороже, тем более что эти гроши постоянно обесцениваются в течение самого процесса их поступления в главный бюджетный резервуар.

Вдруг перед чаем снова зашел Тубянский. Он по-прежнему полоумный. На сей раз он пришел посоветоваться, как бы сохранить портрет Стефана Джордже (к отчаянному стыду своему, я даже не знал о существовании этого значительного поэта), имеющийся в единственном экземпляре какой-то монографии, которую на днях увозит за границу один его знакомый — собственник этой книги. Я посоветовал снять фотографии. Но, видимо, Тубянский просто ищет предлогов являться ко мне.

Суббота, 16 июня

Теплая, но северная погода, с резко надоедающим, во все закоулки проникающим ветром.

Сегодня меня постигло горькое разочарование. Все это время я лелеял надежду и полную уверенность, что получу с московских спектаклей, где «Грелка» прошла шесть раз, значительную сумму денег, и вдруг, о горе, всего 5 миллиардов, да и из них часть за «Павильон Армиды» и за «Петрушку», за которые я уже как будто раз получал, но я уже не проверял, ибо вообще все операции в этой лавочке мне представляются очень подозрительными, и нужно к ним относиться так, как мы сейчас вообще приручены, именно: бери что дают, а о прочем не спрашивай. За последние спектакли «Мещанина…» еще не получено, и уже игры — несомненно, афера и какая-нибудь игра биржерона и компании на черной бирже.

Нескладно получается и с моим отъездом за границу. Оказывается, без командировки трудно выехать, и уже характерно, что Кристи ее повезет в понедельник в Москву на утверждение. Но как же Акица? Сегодня как раз в Эрмитаж из Шмульного явилась старушка Липгардт. Там не сочли достаточной бумагу, выданную из Акцентра, о беспрепятственном выезде и его, но особенно ее. Над ней даже товарищ-барин, вообще ужасно невежественный и придирчивый, поиздевался: «Видимо, у вас много денег, что можете так кататься по заграницам». А между тем стоит взглянуть не ее исхудалое лицо, на ее драное пальто и обветшалую шляпу, чтобы понять, какая нужда ее гонит отсюда. Выписывает их сын, живущий в Париже, и старушка в ужасе за него, если они теперь здесь застрянут. Она

уверена, что он пустит себе пулю в лоб, и «cela entera trous» (намекая на смерть сына, погибшего на море много лет назад, и на расстрелянную в Сибири дочь). Хлопочет обо всем она, так как сын, «мон Эрнст», снова хворает. В надежде на скорый отъезд он уже отказался от реставрации «Архимеда» Тинторетто. Так вот, очевидно, с Акицей будет тоже целая история: почему-де и ей надо ехать. Между тем я не чувствую в себе сил с ней на такой срок при теперешних обстоятельствах расставаться!..

В Эрмитаж часто на трам меня «проводит» Татан со своей мамой. «Пароходики» его ужасно интересуют, но он их «боится» (вообще трус ужасный, в чем родители и бабушка видят у него особо обостренную восприимчивость). Однако на сей раз и его вожделение их увидеть, и страх перед ними были впустую, ибо за все наше пребывание на набережной (а мы шли медленно и останавливались) на всем пространстве довольно бурливой Невы не появилось ни одного суденышка (если не считать двух-трех пустых барок, стоявших у Зимнего дворца). Здорово обидно! А наши водники еще мечтают забрать в свои руки судоходство, сообщающееся с Западом; ныне иностранные пароходы в порту почти вовсе отсутствуют. Отпугнули новые правила, имеющие в основе все тот же монополизированный внешторг, распространивший ноги на море. О, чудовищная близорукость доктринеров!.. А в связи с этим оскудением портовых круизов нам следует ожидать еще пущего разорения. Да только и слышишь о закрытии лавок, о ликвидациях… На улицах снова, как в 1919 году, появились нищие из интеллигентных людей — в лохмотьях, с темными от голодовки лицами. Трамваи (внутри по мягкосердечности кондукторов) осаждаются непрерывным рядом всяких попрошаек. И опять на каждом углу по безногому мужику — бывшему солдату.

В Эрмитаж привезли первый транспорт из бывшей экспертной комиссии с Мойки. Сейчас это учреждение почему-то перешло в ведение Наробраза, и музеям снова представлена возможность выбирать оттуда вещи для их нужд.

Но, увы, за время абсолютного царствования нэпа распродана на аукционах масса вещей из тех даже, что были нашей комиссией закреплены за нами. Среди них и несколько картин и этюдов Бакста. Между прочим, «Андромеда» (во всяком случае с игрушками). Из пакетов доставленных особенно интересны портрет Давида в профиль, писанный Гро, входивший в курьезную портретную серию, принадлежавшую княгине Долли. Как раз на днях я эту belle femme с трясущейся головой встретил на улице. Она, как всегда, очень звала меня к себе и интересовалась судьбой портретов Марии Николаевны — этот

портрет нам еще не доставлен, а может быть, он даже уже распродан. Не находится до сих пор «Charite», или «Плодородие», Л.Фредерика. Вероятно, их по дороге от Марсова поля до Синего моста окончательно продырявили и, чтобы скрыть концы, — уничтожили. Сколько раз я пытался выяснить этот вопрос, и от Дидерикса и прочих получал лишь уклончивые ответы.

Час просидел у Морозова, знакомя занятых в пьесах (и читавших свои роли, уже им выписанные) с моими исправлениями перевода, попутно я им давал разные объяснения. Вернувшись домой на десять минут, пообедал и снова покатил по приглашению Ерыкалова в Строгановский дворец, который мы весь осмотрели в компании с К.Д.Тревер, Орбели и Тройницким для того, чтобы им помочь решить, какие нужно внести изменения в нынешний порядок экспозиции.

Во имя пиетета к Воронихину и побуждаемый желанием вернуть угловой, славившейся прежним благородством кабинет, решили удалить из него две возмутительные печки 1850-х годов (как бы лет через десять нам за это не попало). Решено выбелить стены соседней передней и перенести в нее портреты Александра I и Елизаветы Алексеевны, которое очень плохо вяжутся с отделкой стен рококо Расстрелиевского зала. А.С.Строганова водрузить в конце анфилады на место ужасно громадного золоченого зеркала, последнего следа безнадежно уродливой меблировки 1860-х годов этого зала (в нем мы заседали с матросами!). (Фотография банкета Бианки, изображающая всю эту комнату, имеется в библиотеке.)

Тройницкий держал себя очень странно. После «успеха» своих тезисов на конференции он с каким-то вдохновением легкомыслия все время возвращается к тому, что все музейное имущество следует считать неделимым, из чего он делает вывод, что оно подлежит самым радикальным перестановкам. Поминутно он возвращается к тому, что покои Николая II в Зимнем надо раскассировать. Я сам ненавижу эту комнату и был бы рад факту уничтожения такого уродства, но мы не должны прикладывать к этому руку, ибо являемся ответственными перед историей. Да к тому же уничтожение их неминуемо породит легенду об их великолепном изяществе. Тот же товарищ Васильев будет эту легенду распространять.

К.Д.Тревер занимает квартиру в 3-м этаже (над Ерыкаловым), очень изящно и опрятно обставленную. Кроме того, в доме живет и «первая» семья Н.И.Кузьмина (сама эта балаболка в опале и отправлена губернаторствовать куда-то на юг), но Ерыкалов этим очень недоволен, так как они очень мало платят за квартиру. Оказывается, вчера стояло обсуждение не только вопроса о налоге

на 20 руб., но и того, что всякая квартирная обстановка подлежит обложению, а с целью оценить — будет ходить по домам особая комиссия. Пропали мы! Ну да Бог милостив, и авось Руф не оплошает. Но вот и спрашивается еще: что же, лучше теперь становится, нежели было два года назад, или хуже? Мерило потому трудно найти, то время совсем не знало *реальных* денег (этого важнейшего экономического термометра). Ведь только за последние месяцы люди стали проявлять известную сноровку — переводить всякую сумму на золото. Да и в этом как раз с весны, с начала *обостренности в кризисе*, от этой привычки снова начали отставать, и опять слышишь дурацкие возгласы: «Подумайте, миллиард!» — не только от людей *достойных*, которые на этом играют, но и от людей, получающих насколько меньше, стало труднее получить хоть что-либо…

Чудесный случай рассказал мне сегодня Б.С.Бентовин. Едет он на днях на трясущемся ветхом ваньке и должен пересекать Невский у Николаевской. А тут как раз поставлен великолепный «милиционер», вероятно, из старых городовых (что является большим исключением, ибо вся наша полиция получила месяца два назад новую обмундировку, черную с красным и зеленым и красными полосочками. Полиция состоит из зеленой и не внушающей никакого доверия молодежи, про которую упорно ходит слух, что она участвует в грабежах, достигающих будто цифры сто в день). Ванька, вместо того чтобы объехать блюстителя справа, проезжает, пользуясь пустотой улицы, перед его носом. «Стой!» Бакенбарда подходит. Ванька обоими лапами снимает шляпу и ломает ее по обычаю перед грудью. «Шапку надеть. Сейчас же надевай, оставь эти старые привычки, знаешь, теперь другое время!» Затем следует отборная ругань и требование документа. «Помилуйте, господин!» — «Что такое?» — «Снова, я тебе покажу, сукин сын, господин!» Снова слетает шапка, снова «товарищ милиционер» велит ее напялить, но, впрочем, смягчается и изрекает: «Ну, так и быть, документа я не возьму, зато изволь, братец, объехать вокруг меня десять раз!» — «Слушаюсь, товарищ!» Бентовин из курьеза не протестует. Извозчик под грозным оком бакенбарды объезжает их раз, объезжает два. Бентовину становится скучно, и уже он обращается к бакенбарду с просьбой сложить вину. Бакенбарда не смягчается. Тогда Бентовин собирается расплатиться и сойти, но бакенбард усерднейшим образом собирается этому воспрепятствовать (во имя интересов седока). Происходит спор между буржуазным, отстаивающим свое право распоряжаться деньгами как ему угодно, и проникающим духом ненависти. Менее склонному к соглашательству с представителем власти

Бентовину все же удается отстоять свое право, но тогда и бакенбарда не желает уже отстать в благородстве от буржуя и милостиво отпускает Ваньку, не требуя остальных объездов. Дивный по своей символичности случай.

Тот же Бентовин мне рассказал про основы нового гражданского кодекса и, в частности, гражданского делопроизводства. Оказывается, в основу разбирательства нужно брать отнюдь не букву закона, а революционное сознание с непременной зашитой слабейших. То-то пойдут шантажные и прочие виртуозности, на которые так талантлива бывшая низшая братия.

Другой господин, сидевший в Союзе писателей, рассказал, как в их церкви на Загородном в течение недели в незанятом гробу стоял труп латвийского епископа, предназначенный для отправки в Латвию, где он пользовался очень большим уважением. Власти ГПУ все не являлись пломбировать, а труп все разлагался, и дошло дело до того, что стало невозможно войти в церковь. Наконец, чекист вчера прибыл, но, переступив через порог, отшатнулся, воскликнув: «К чертовой матери это говно, печатайте так!» — отбыл, предоставив печать соответствующим техникам. Рассказчику пришлось в качестве понятого выстоять, зажав нос, процедуру пломбирования еще двухсот гробов (пломбированных) с поляками, набралось за несколько лет в подвалах католического дома на 1-й Роте, и вот идет торговля между родственниками и нашими властями. Последние требуют громадные деньги за вскрытие и досмотр, без которых они этих покойников не отпускают.

Музыкальный мир взволнован недавно состоявшимся в филармонии концертом оркестра без дирижера. Идут принципиальные споры. Самый концерт, говорят, прошел великолепно, однако и сторонники говорят, что это делается не просто, и особая художественная комиссия, состоявшая по очереди из тех же исполнителей, заседала в день слушания и делала замечания. И это символично.

Гаук рассказал мне в подробностях об этой манифестации. 4-ю симфонию Чайковского они исполнили хорошо, очень слаженно, но, во-первых, они ее и так хорошо знали: для руководства были приняты воспоминания Никиша, и, наконец, потребовалось двадцать четыре репетиции (вместо трех или четырех обыкновенно). «Франческу» же они исполнили вяло, ее «везли», и это несмотря на то, что были пущены всякие трюки для замены тех или иных дирижерских «сигналов». Характерно уже то, что все собрались в кучу «кулаком», а первая и вторая скрипки сидят выше остальных. Они и заменяют в большинстве случаев

дирижера…

Не пошел на спектакли «Гадибука» в Михайловском — гастроли Московской еврейской студии, о чем слышал со всех сторон энтузиастские отзывы. Благонравный Израилевич в Москве был три раза! Хвалят и актеров за их искренность, силу, убежденность. Я совершенно верю, что это так, но мне вообще надоел театр.

Скорее я огорчен, что не пошел на доклад «архиепископа» Введенского, тезисы которого отдают крайним, реформаторским рационализмом. Афишами этого доклада были заклеены несколько дней все окна трамваев вперемежку с афишами о хоре цыган Шишкина.

Воскресенье, 17 июня

Прелестный, яркий день. Теплый, с веселыми облаками. Наконец-то Татан полдня гулял в Александровском саду. Но и бабушка, и мама возмущены густым ковром наплеванных по дорожкам семечек. Несмотря на все распоряжения, шелушение подсолнечников — этот национальный вид повального наркотика (менее, пожалуй, гигиенический, нежели многие другие) — процветает по-прежнему.

Меня начинает беспокоить мой вставленный передний зуб. Вот уже два или три месяца, как я замечаю, что он имеет тенденцию выпирать наружу, причем с задней стороны между ним и десной уже образовалась порядочная щель. Я всячески стараюсь в разговоре и особенно при улыбках скрыть этот позор (Акица еще не заметила, заметил лишь «ястребиный взор» Марфы Александровны, которая страдает тем же, но с настоящим зубом, и приписывает это артриту) и вот от постоянного поднимания верхней губы я ее очень натираю об этот зуб и боюсь, как бы не натер целый желвак. Всего хуже при этом то, что я начал благодаря этому брезговать. Другое дело — это выскочившая на шее бородавка по примеру случая с бородавкой в 1903 году, исчезнувшей после того, что я, послушавшись инстинкта, смазал ее в Анцио соком надломленного алое. Я это уродство стал теперь смачивать раствором нашего любимого слабительного средства.

Письмо от супругов Аллегри. *Свадьба Лели в Париже состоялась*. Ваня «влюбленный, как кот», и оба они нежны. На свадебном пире всего трогательнее был Владимир Аргутинский. Леля имела успех своими карикатурами, демонстрированными Машенькой (которая, значит, не в Аргентине). Письмо Екатерине Павловне необычайно любезно. Все нас очень ждут (увы, Кристи

поедет в Москву только во вторник, и едва ли раньше недели я получу оттуда командировку!).

Утром я, кажется, нашел «формулу» декорации «Щелкунчика». С 4-х до 6-ти занимался с одним Гауком и расшифровал музыкально и драматически весь первый акт, особенно баталию. Получилась логика, последовательность и более убедительная фантастичность. Думаю поручить роль *семиголового* царя мышей взрослому, дабы еще более подчеркнуть героизм маленького Щелкунчика. Перед баталией — выход всех кукол из шкафа и объяснение в любви Щелкуна Кларе. Она его дама. Защищая ее от козней мышиной нечисти, он чуть было не гибнет, ибо саблю, данную ему Кларой (взамен сломанной Фрицем), мышиный царь выбивает ему из рук. Он уже падает среди своих соратников, когда Клара бросает башмак и тем самым разбивает злое колдовство. Царь проваливается, нечисть разбегается и появляется фея Драже в шубе (в это время уже комната стала зимним лесом). Вся компания садится в огромные сани, влекомые золотым оленем, и мчатся в Конфитюринг.

Вслед за ними поднимается снежная метель.

Вечером пришли Тройницкий и пьяный Стип. Тройницкий и сегодня меня поразил своим каким-то фиглярством. Сдача польского кабинета затянется на несколько месяцев. Среди дня я ходил с Юрием к имениннику Мише, но не застал его самого дома. В ожидании его возвращения подробно рассматривал его альбом нашего отца. Что за идиотизм был: вырезать письма, чтобы извлечь оттуда иллюстрировавшие эту семейную хронику акварельки! Вообще этот альбом, в котором самым дивным образом сопоставлялись самые разнородные вещи: фотографии, меню, чудесная сепия Д.Тьеполо, прелестные акварели и рисунки отца и Штернберга, гравюрки, этикетки, пошленькие пастельки, — один из блестящих показателей того, до чего художественная культура есть вещь, плохо поддающаяся наследованию.

Женя и Шура Серебряковы, выехавшие вчера на своих доморощенных велосипедах на острова, еле избегли побоев со стороны шайки хулиганов, а их двоюродного брата Зеленкова мальчики стащили с велосипеда и впрямь избили палками. Акица рассказала, что и пролетарские дети в саду стали необычайно нахальными. Дразнение буржуев в большом ходу. На днях Татан научился слову «хулиган» после того, как девочка четырех-пяти лет, усевшись насупротив скамейки, на которой сидела бабушка, принялась во всю глотку распевать какие-то песенки про «девочек-хулиганочек».

В пятницу в «Правде» было объявлено, что Зубов как бывший

граф и чуждый элемент исключен из партии. Шутники в Эрмитаже собрались ему сделать «визит соболезнования».

На днях под председательством идиота Удальцова собрался Совет хранителей загородных дворцов, вынесший порицание Макарову за его выступление на конференции. Как бы унять этих идиотов?

Забыл, кажется, записать, что в четверг или в пятницу ко мне явился Н.А.Обнорский с сенсационным открытием: среди вещей Натальи Францевны он нашел картину Кейпа (о, если бы можно было передать весь высоко комичный монолог этого карикатурного представителя нашей дореволюционной дипломатии; он пришел на две минуты, но монологизировал целых три четверти часа с пространными экскурсами в сторону от главного сюжета, с массой вздорных анекдотов и технических слов «bon mot»). Он-де пришел к убеждению, что это картина Кейпа, чисто дедуктивным способом, посредством исключения. И уже когда он пришел к этому убеждению, он нашел в правом углу и подпись. Правда, Н.Ф. сначала утверждала, что это только трава, но когда он сделал ей внушение, то и она стала различать «что-то такое». Тут же предложил вопрос, а сколько теперь ценится Кейп, и почувствовал легкое разочарование, когда я усомнился в том, что за небольшую картину мастера могут в Париже дать 50 или даже 100 тысяч франков. Тут же Н.А., юля и улыбаясь, мигал глазами, уверяя меня, что, «впрочем, мы такую картину ни за что не продадим. Это я спрашивал только так, чтобы знать!». А вот после всего этого он приносит мне в Эрмитаж самый предмет, и это оказывается очень паскудная, любительская (вероятно, отца Н.Ф.) работа, которой цена грош. Какое крушение! Однако он перенес его довольно мужественно. Но воображаю сцену дома!

Утром у меня был Тюляхтин с картиной, переведенной им с дерева на холст, «Танцующие девушки» — приятная, но сильно пострадавшая вещь. Я определил ее как нечто около Жилло! Сидел он всего восемь дней, и то три последних — на Шпалерной — по недоразумению. Засадил его Жемчужников, добивавшийся всеми способами получить от него объяснения «дяди Израэлса» в желании отправить Мириса за границу. Никакой подписи под признанием в обвинении покупки заведомо краденого он не давал, но лишь расписался по требованию под препроводительной бумажкой, в которой говорилось, что такой-то *обвиняется* в таком-то преступлении. Жемчужников был очень груб с ним. Между прочим, указывая на «Распятие» ван Дейка, тогда еще там висевшее, он утверждал, будто бы я признал картину за оригинал (это было сказано, чтобы проверить мою

экспертизу). С тех пор и в связи с этим неправильным объяснением будто бы Жемчужников уже удален. Странно вел себя во всей этой истории Свердлов. Курьезно и то, что человек, продавший последнему Мириса, вероятно, самый вор, был тоже привлечен к показаниям, но лишь в качестве свидетеля. Очевидно, это оказался чекист?

Кока говорит, что в Академии объявили: запрещено рисовать на улицах Петрограда и все прежде выданные академистам и профессорам разрешения считаются недействительными.

У Акицы все еще болит левая рука от ушиба кисти. Она почти ежедневно ставит компрессы.

Понедельник, 18 июня

Жарко, ясно, хорошо. Но сирень в Эрмитажном садике еще не распустилась.

Делал предварительный набросок 1-й картины Щелкуна. Теперь дело за материалами.

В Эрмитаже устраиваю на «Археологической» лестнице (наше любимое за последнее время — после того как на ней наставили скамей, шкафов и столов — местопребывание) «летучее» заседание с С.Тройницким, Н.Сидоровым и И.Жарновским. Объявляется жесткий срок — 20 июля, к которому XIX век и итальянцы должны быть устроены! Вырабатываем и условия успешного доведения задачи до донца. Горькое разочарование при осмотре самих помещений. Я все рассчитывал устроить в большой Малиновой гостиной барбизонцев и вообще французов. Примеренные сегодня Дюпре и еще пара картин получились вопиюще. Придется отказаться от всей системы. А не сделать ли в среднем Белом зале (где висели наряды) «трибуну», а остальные расположить хронологически и по направлениям, а не по «школам»? Получились бы любопытные сопоставления. Знакомлю (все для «северных богатырей») Коку с Автономовым. Он получает от него книжку о вооружении.

После Эрмитажа захожу к Юрьеву. Но, какое счастье, — не застаю его. Очевидно, он забыл! Зато ко мне на дом приходит любезнейший П.К.Степанов, с которым я отвожу душу насчет беспринципности Юрьева как поганого духа Александринки (особенно напоследок неаппетитно выявившегося со всей историей с АРА), о трудности там вести постоянную работу, о несносном и недостойном соседствовании с Радловым (затею поставить с ним Шоу «Цезаря и Клеопатру» Степанов благополучно провалил), с Пиотровским и с Хохловым, но С.

умоляет все же, чтобы я не отказывался от работы в Александринке — дабы не сдавать позиций этим сумасшедшим. Но, кроме всего прочего, мне так надоел театр (психология в конце каждого сезона), что сейчас мне тошно подумать об еще новых обязательствах и хотя б о новых поисках пьес.

Сегодня мы чествовали чету Купер — застарелый долг. Кроме них, мы позвали Мишу Циммермана. Был гигантский свиной окорок, купленный Акицей несколько недель назад всего за 200 лимонов (ныне он стоит уже миллиард) и с тех пор пребывавший в копчении. После обеда, затянувшегося до 10 часов, я показывал им свои произведения, от которых они пришли в полный (и, кажется, искренний) восторг. Купер мечтает со мной встретиться в Берлине, где он рассчитывает получить ангажемент в Америку. Он очень хотел бы притянуть и меня. Вообще же он в каком-то психозе негодования на все здешнее, и, видимо, в нем зреет намерение совсем переселиться туда. Вот вздумал же человек еще в прошлом году всю свою музыкальную библиотеку отправить в Берлин! Рассказывал массу анекдотов о своем далеком провинциальном прошлом и вообще необычайно мил и даже утончен.

Жена Купера упивалась Татаном. Кока теперь за время писания ее портрета лучше с ней познакомился и очень хвалит ее доброту и благородство. Разошлись около часа.

Недели полторы или две назад был пожар в Екатерингофском дворце, сгорела знаменитая зала. Говорят, это поджог хулиганов, препирательсгвующих с приставленным к дворцу сторожем.

Акица и Атя, гулявшие в Александровском саду, негодуют на то, что «Медный всадник» (лишившийся уже почти всех надписей на пьедестале) служит «постоянной игрушкой» (или, вернее, «игрищем») уличным мальчикам. Они влезают на него и на землю скатываются со скалы, бросают в священную медь камнями. Общество «Старый Петербург» приставило было оттуда сторожа, но его что-то больше не видать. Характерно, что прохожие (из трусости) не протестуют.

Утром был Н.Пыпин для подписания петиции в исполком для ассигнования 300 руб. золотом на ремонт квартиры Пушкина на Мойке, которую удалось наконец «национализировать» и в которой Пушкинский дом, столь идиотски вселенный Модзалевским на Тифлисскую улицу, рассчитывает устраивать выставки. Увы, за эти годы произошел в этом интересном доме (чего стоили одни аркады его надворного флигеля) вопиющий вандализм. Уничтожается старая передняя на колоннах лестница и построена другая на месте прежней кухонной. Сейчас совершенно выяснено, что Пушкин жил именно в нижней

квартире (не могу простить презренному Лернеру его наглый газетный спор с нами на эту тему)! Однако не в комнате на улицу, а в большой комнате во двор.

Надо еще записать, что с месяц назад (а может быть, и к 1 мая) убран «гигантский рабочий», стоявший (в последнее время без головы — очень жуткое зрелище) перед Ксениевским институтом (ныне Дворцом Труда).

Вторник, 19 июня

Жаркий, солнечный с грозовым настроением день, кончившийся плаксивым дождичком. Тройницкий вывел меня сегодня своим психозом и «нагнетанием на все» из себя. Он не успел мне, подошедшему к самому Совету, сказать о вчерашнем вечернем заседании музейного Совета, на который я не пошел, чтобы не отменять посещение Купера, и изложил происходившее в излюбленном балаганном тоне сразу при всех. Он вчера потребовал от Акцентра заступиться против появившегося вчера в «Жизни искусства» навета и почти доноса на меня по поводу проектов Русского музея использования Академического зала, и вот в завязавшихся вокруг этого прениях enfant terrible Ерыкалов (и у него это становится довольно несносной замашкой) выскочил с предложением отказаться вовсе от этих залов с предоставлением их под школу.

Тройницкий же вместо того, чтобы возмутиться таким неожиданным выкрутасам, стал горячо его поддерживать. Скрытый мотив я угадываю — это желание унизить Русский музей. Но как раз и Сычев (который, как это видно было из всей его политики в отношении Денисова и дурацкого проекта о Музее «живописной культуры», уже тяготится такой обузой и лавировал во имя добрых отношений с Пуниным, Симоновым и тутти кванти) тоже поддержал Ерыкалова, и таким образом, воспользовавшись моим отсутствием, без всякого заранее обдуманного плана эти идиоты провалили дело, над которым я работал с самого 1917 года во имя спасения дивного храма Ламота от варварских посягательств художественной хулиганщины. Но больше всего меня взорвал сам способ изложения Тройницкого, его смех, попыхивание трубкой, идиотские позевывания и беспредельный наплевизм. Я резко его перебил: «Тут нечего смеяться, а надо плакать, ибо вы сразу испортили прекрасную затею», — на что он очень смутился и стал выпутываться, попробовал и меня втянуть в тот же юмористический тон, однако я этому не поддался, продолжал

твердить то же самое, а после заседания вымыл ему еще голову, после чего он сразу (и слишком неприлично сразу) заявил, что все еще можно поправить, что, если я считаю нужным, он еще постарается дело исправить. Курьезно одно то, что он задался целью посрамить Исакова (редакцию «Жизни искусства») и он же сыграл ему в самую руку. Ох, ненадежные и беспредельно легкомысленные русские люди![25]

Приходил в Эрмитаж представитель Карточной фабрики, молодой человек Вильгура с предложением издать (им это будет стоить на 70 % дешевле) книги о старом Петербурге (почти исключительно иллюстрации) и о новых поступлениях в Эрмитаж. Мы с Тройницким отнеслись сочувственно, и, может быть, это осуществится. На 1-й запасной я начал разборку картин XIX века. Утром был у меня Нотгафт и забрал в типографии рисунки Петергофа. Авось удастся раскрасить их оттиски до отъезда. Тщетно мы молили его прийти к нам обедать с Кесслером и Бразом[26].

Видимо, вчера Лола, по поручению Рене Ивановны, ему здорово вымыла голову (за Тасю), и ему (ставшему вообще больным и нелюдимым) теперь невмоготу оказаться снова в их обществе. Здесь ему и без того уже попадет от его прислуги, почтенной, беззаветно преданной Вари, которая ненавидит Тасю и называет ее разлучницей.

К обеду Лавруша. Бесконечные воспоминания о «нашем» бегстве. Оказывается, Эрик — гологоловый молодой человек, бывший офицер, привезший много осенью 1921 года какао и прочее от брата, — скрывался здесь в эстонском консульстве несколько месяцев, затем тайно пробрался на Кавказ и оттуда бежал за границу. Вот почему он к нам больше не явился и, насколько я помню, «надул» нас и не пришел на обед, который мы ему устроили в награду за его любезность. Эрик лишился всего, даже собственного белья, не говоря о бесчисленных доверенных ему для извоза вещей.

Рассказывал Лавруша и о том, как он спас в каком-то немецком курортном городке утопавшую Марианну (в четверг он ждет ее сюда). Но главной нашей темой были дела нашего театра. После бесконечного колобродства он прямо заявил, что я должен стать во главе театра в качестве заведующего художественной частью и направляющей энергией. Я всячески отнекивался (меня еще Дягилев приучил к роли негласного директора-инспиратора и конспиратора).

К чаю был еще Мекслин из Москвы. Подлинным автором идиотских замечаний на Атины иллюстрации был

Лазаревский, всячески подхалимствующий перед властями и

их же провоцирующий на поступки, до которых они сами не додумались бы. Мне на Календарь может быть (дано) заключение завтра, на самый рисунок он не пожелал взглянуть.

По словам Нотгафта, у Голике пертурбация. За последнее время карт-бланш выпал на назначение Анисимову. Евдокимов приставлен соглядатаем от треста. Но трест лопнул (его заправила — пресловутый Лемке — сошел с ума и уже сидит в Николае Чудотворце; а Евдокимов, лишенный поддержки со стороны, арестован с большой помпой. Ему предъявляется обвинение в превышении власти, в распродаже в свою пользу огромного количества экземпляров «Хроники войны», что-то в этом роде). «Голике» переходит на самоснабжение в ведение Промбюро. Анисимов торжествует. Но может ли он быть уверен, что Е. в тюрьме скроет их шашни, от которых и у А. рыльце, по мнению Ф.Ф., в пуху?

Наша домашняя, полукоммунальная, впрочем, за последнее время сильно поправившаяся Нина Жук, служившая в Рабкрине, «сокращена» с целой миссией ее сослуживцев. Она возмущена до глубины души и говорит, что ни за что на биржу труда не пойдет. Среди вопросов, предлагавшихся на экзамене политграмоты, ей между прочим был предложен вопрос: жив ли Карл Маркс? Она ответила, что умер, на что экзаменатор ее поправил: нет, он жив в сердцах пролетариев. Чем же это не формула из «старого» катехизиса?

Татан в первый раз сегодня прокатился от памятника Петра к Летнему саду на пароходике. Сам потребовал, и в такой настойчивой форме, что мать заплакала. Матросы на поплавке заступились за «будущего моряка». Однако когда пароходик причалил и пришлось из него ступить, он поднял рев и его насилу Атя туда приволокла. Когда же пароходик отчалил, он мигом успокоился и после этого уже блаженствовал. Особенное впечатление произвели на него подъезды под мосты.

Приходил фотограф, ученик фототехникума И.К.Кириллов, желающий, чтобы я написал ему предисловие к затеянному изданию фотографий артистов. Хорошие снимки

Глазунова (на одном он снят со своей старушкой-матерью), прочие — довольно вздорные. Я его направил в Госиздат.

Среда, 20 июня

Жарко, душно, потно. Масса моли, масса мух. Стип, по моему поручению, передал вчера русским музейщикам мое негодование по поводу провала на музейном совещании нашего проекта с

Академией художеств. У Сычева оказалась точка зрения экономическая, он-де боится лишних расходов, как будто бы на новое дело не было ассигнования и новых кредитов. Но здесь дело в чем-то ином и, скорее всего, в том, что его «ориентация на этнографов», вызванная нелепой враждебной позицией, принятой в отношении его Тройницким (удивительно падкий на подсиживание товарищей и выражающий это часто в слишком явной или даже оскорбительной форме), эта его ориентировка, может быть, тут играет роль и зависть к Нерадовскому, отвела его вообще от «художественного отдела». Он потерял вкус к его нуждам, к его росту (вообще ведь он человек мелочный и заурядный). Нерадовский разделяет мое негодование. Смышленый Стип, как всегда, утверждает, что вообще «ни черта из ничего не выйдет», что не стоит тревожиться о судьбах наших музеев, так как они все равно обречены. В таких разговорах (я не могу опомниться от предательств Тройницкого и легкомыслия Ерыкалова, который удрал в Марьино), они прошли пешком по солнцепеку от Эрмитажа до самых Миклашевских на Моховой.

Акица затем за мной в Эрмитаж, я ей показал Арсенал. Шмидт (с каплей у носа), Жарновский, Паппе, Автономов и Леша Келлер демонстрировали себя в рыцарских шлемах. Тут же Леша показал ей фотографию с себя в Николаевой каске, в шинели, уверяя, что это полученный из-за границы портрет кронпринца, и моя gaffe use к великому увеселению объявила: «Фу, какие у него противные уши».

В Эрмитаже мы возимся с картинами на 1-й запасной. Баталии, провисевшие всю революцию, сегодня сняты со стен. Отчего залы необычайно выиграли.

У Миклашевских было мило. Чудное угощение, вино. Ходасевич, не так давно вернувшийся из Берлина, рассказывал про Горького (он никак не может получить доступ в Италию, а это ему необходимо ввиду возобновления процесса в легких). Про Б.Пильняка, который уже целый год за границей с советской командировкой: стал необычайно гордым и наглым, тогда как раньше, явившись к Горькому, ломал униженного и скромнейшего, ужасает немцев, ужасает эмигрантов и т. д.

К.Миклашевский в рубашке, без пиджака (с разрешения Акицы) ни минуты не оставался на месте, исполняя (без прислуги) свои обязанности хозяина. Он вовсе не пишет книги против коллекционеров, а занят работой (покамест на карточках — его всегдашний способ), посвященной вопросу об «официозной гипертрофии» искусства, которого стало слишком много, которого все объелись и который уже не может служить своему прямому назначению — непосредственным запросам.

Несомненно, тут много правды, но я же вспомнил, как уже лет двадцать тому назад Дима Философов, отрываясь все больше от органического «Мира искусства», выступил с такими же доводами и признаниями. Но тогда мне было ясно, что он никогда искусство и не любил, оно никогда не было органически с ним связано, оно не охватывало его стихийно. Тем более (безнадежно!) желание приобщиться к искусству, тщетно стучаться в дверь без знания заветного слова. Диму больно ранило то, что искусство так развилось, так наполнило нас, и от него завсегда зависть лисицы у винограда, а знания, наконец, отошли… Но тем не менее факт этот неоспорим: перепроизводство искусства и особенно всех видов его демонстрации, и в этом кроется большой абсурд — ибо все же познание искусства — есть удача весьма немногих единиц.

Я и сейчас продолжаю стоять за самое широкое засевание, за то, что авось среди миллионов зернышек, пропавших даром, по существу, одно достанется избранному (а оно не досталось бы ему, если бы засевание не было излишне щедрым), но, с другой стороны, я не могу не ненавидеть всю ту мерзость запущения, которая сейчас творится с искусством во имя всяких культпросветов, пролеткультов. Меня не может не тошнить от всех этих «институтов», семинаров, студий, экскурсий — всей этой грандиозной фабрики мерзости, от питания коей совершенно естественно происходит все уродство и юродство, все выкрутасы и безумства современных художественных доктрин, течений и производств. Но ведь *выхода* все равно из этого нет, ибо не будет выходом и тот неминуемый надвигающийся срыв и иконокластическое движение в мировом масштабе, предвестниками которых были еще Толстой, Ницше и… Нордау и которые сейчас возвещают всякие мудрецы иудейского пустошного сознания вроде Шпенглера, всяких дилетантов вроде Миклашевского, наконец, даже подлинные художники, среди коих теперь типично русский подрывник и жизнелюб, как Стип, который способен от вящей любви способствовать погибели того любимого, что он считает уже обреченным.

У Морозова с исполнителями «Женщины в белом». Прочли эту пьесу. Неглупый малый Антонио — Ротенберг. Пикешка с виду, но внутренне груба Меринита — Опалова. Не без остроты и поэт Миша, не без таланта телепень-комик. Морозов млеет…

Затем еще на заседание к Юрьеву, Пиотровскому и Рад-лову, снова не удалось провалить (было пущено ими в ход и «обвинение» Байрона в монархизме), сорвать «Сардана-пала», которого ставит К.Петер (Щуко В.), Юрьев хотел со мной выяснить что-то, но я удрал.

Кристи обещает устроить командировку очень быстро. Он весь сам промыслился воспоминаниями о Париже (они всегда жили у Монпарнаса). Провожал меня до трама больной, обидчивый Карпов, жаловался мне (вполне основательно) на беспринципность и несуразность Юрьевского хозяйничанья.

Четверг, 21 июня

Душно, сыро, серые тучи, пыль, западный, нервирующий ветер. У меня среди дня жестко разболелось ухо, но после капель прошло. Гадкое настроение, но больше от погоды.

Разбираем картины XIX века. В Эрмитаж приходит Добычина. Требует от меня и от Тройницкого, чтобы мы шли к «городскому голове» Иванову протестовать против постановки памятника Плеханову перед Казанским собором, порученного Гинзбургу. Не до этого, но все же соглашаюсь, и Тройницкий тоже на завтра готов во имя своих старых клятв защищать Петербург. Добычина уверяет, что уже нашла покупателей на мои вещи — двух братьев Куниных — и будто бы сделка будет заключена сегодня же вечером. Тут же потребовала «предупредить», что она мне сразу денег не выдаст, мол, мы все равно их сразу истратим (классический трюк, чтоб самой на них пожить и обернуться), но я строго пожелал войти в обладание суммой сейчас же, дабы их поместить в валюту. Насилу уговорил ее сегодня не ехать к Мессингу хлопотать о моем отъезде (но не поручусь, что эта ее услуга — чистейшая комедия с самообманом).

Директор Каретного музея затащил меня сегодня к себе на предмет выяснения вопроса, что делать с осевшими и брошенными здесь в музее… Музей, несмотря на пребывание эвакуированных карет в Нескучном, весь набит битком, но в значительной степени чисто «утилитарным» современным экипажем…а также двадцатью золочеными каретами, сделанными для коронации Александра II. Но имеются и более художественные вещи. Лучшие — три кареты с чудесной живописью, считающейся Буше (с инкрустацией перламутра), но, скорее, Лепренса, и огромная четырехдверная карета Екатерины I с бронзовыми частями и сани-розвальни с Георгием Победоносцем. Шкафы почти все пустые: сбруя в Москве.

Карету, разбитую 1 марта, Щеголев уже вытребовал себе. Сани полицмейстера тут. У нас была мысль все это перегнать в Зимний, но сейчас приходится этот вопрос пересмотреть из-за недостатка удобного помещения для этих колоссов и из того соображения, что просто жаль бросать на произвол судьбы столь

образцово оборудованное помещение — Конюшенный музей.

К обеду у нас Кесслер и чета Бразов. Почему-то забыли пригласить Герардовых. Обед в три блюда вышел все же на славу, особенно сладкий пирог. Беседа была сначала натянутая, но потом все развеселились. К чаю подошли наши «молодые» и чета Жарновских. Я снова демонстрировал «Соловья» и «Буржуя», но Кесслер очень мало, меньше даже американца в этом смыслит, и я не продолжал. Кесслер принес мне на прощание статью в немецкой газете о безобразиях в Руре. Вообще он был очень любезен, но все же… лезет вперед. Он ушел в 12. Жарновский еще позже. Много толков сейчас о новом квартирном налоге, согласно которому никто не имеет права больше чем на две квадратных сажени, и все должны платить огромные (при нашей нищете) деньги. Однако как-то никто все же всерьез к этому не относится и каждый считает, что его и эта беда минует.

Пятница, 22 июня

Весь день дождь, и мне как раз, когда он лил сильнее всего, пришлось плестись с Добычиной и Тройницким через весь город из Эрмитажа в бывшее здание Министерства внутренних дел на свидание с «городским головой» Ивановым. Я весь промок, тем более что не имею обычая брать с собой зонтик (по той причине, что боюсь его потерять). Каково же было мое изумление, когда кабинет, в который нас провел секретарь Иванова — юный, бородатый, «нежный» еврейчик, — оказался тем самым, в котором нас в 1917 году принимал Керенский. И тот же диван слева, на котором, развалившись, сидел злосчастный П.М.Макаров, который, говорят, уже отдавши Богу душу в Берлине. Однако наше путешествие оказалось совершенно лишним: Иванов заседал с какими-то двумя сановниками в глубинах здания и так к нам и не вышел. По сведениям секретаря, пытавшегося было его вытащить через полтора часа ожиданий, речь у них шла о работах по канализации, работах, уже изрывших насколько главных артерий, в том числе Вознесенского. Секретарь и Добычина настояли на том, что мы снова обещаем пожаловать во вторник. Сидели мы и ждали втроем, вели довольно курьезные беседы. Я был в очень нервном состоянии (из-за дождя, духоты) и поэтому склонен к парадоксам и откровенностям. Там, между прочим, была произнесена целая обличительная речь по адресу честных людей, которых я, оказывается, ненавижу больше всех на свете, имея, к сожалению, глупость к ним принадлежать (спровоцировала меня Добычина своим восхвалением каких-то

честных коммунистов), и я не без остроумия доказывал, что от честных все зло жизни.

Затем разговор перешел на Ерыкалова, с него на Исакова, с него на понедельничный инцидент в музейном Совете, с этого на всю историю с музеем Академии художеств, и [я] очень удачно этим воспользовался, чтобы, ругая нелепость

Ерыкалова, подлость Исакова, смердяковщину Сычева и т. д., и я лишь обиняком упомянул в присутствии Тройницкого о предательском характере выступления последнего, чтобы устыдить его и довести до того, что он сам (в ответ на мои патетические заявления, что надо выбирать между мной и Исаковым, подлинное интриганство которого мне просто за эти шесть лет надоело) вызвался пойти в Акцентр и постараться убедить Ятманова не брать Исакова себе в помощники, что для меня было важнейшей новостью и чему Тройницкий (как и всему прочему) не придавал ни малейшего значения. Попутно был же восхваляем Тройницким Ятманов и противопоставляем ненадежности и дрянности Кристи (Добычина даже прямо пророчит ему за его стяжания очень дурной конец). В общем, я бы сказал, что эти полтора часа прошли не без проку и довольно занимательно. Разумеется, не обошлось и без рассказов о Мессинге. Добычина прямо влюблена в него и уверяет, что еще сегодня утром прождала полтора часа в его кабинете, причем получила обещание, что мои бумаги на выезд не будут задержаны дольше двух дней. Жаловалась на одиночество этого прекрасного человека, но мы с Тройницким указали ей на то, что это уже такая должность — одиночество есть неминуемое ее сопровождение, хотя бы человек был совершенно идеален.

В 3 часа я зашел к Юрьеву, настоявшему на этом свидании в среду. Но зачем ему это было нужно, я не понял, ибо мы и на сей раз ни к чему не пришли. Попробовал я ему рекомендовать «Дон Жуана», но его пугает «старомодность» автора (вообще он мне абсолютно не верит, чему я скорее рад). Он все мечтает, чтобы я дал «красивый», «нарядный» спектакль. А я просто ни о чем не мечтаю и [думаю] скоро вообще отказаться от Александринки. Хотя бы из-за одной Осокиной, которая меня снова изловила и полчаса еще держала, угощая своими замечаниями про Юрьева (ему-де необходимо ехать за границу, не могу ли я это устроить) и тут же жалуясь на него (на «своего барина»), Несносная баба!

В 5 часов был у Мексина (вчера Юра получил из Госиздата 1150 рублей за «Календарь»), и я ему демонстрировал иллюстрации к «Черной курице» Погорельского. Он пожелал, чтобы я сделал еще несколько масляных сюжетов для разброски в тексте. Аванс обещает прислать на будущей неделе.

Вечером приходил дядя Берта, которого все хуже и хуже носят ноги и который на целую голову осел. Мне его ужасно жалко. И в глазах у него появилось какое-то грустное, ему до сих пор не свойственное выражение…

Черкесова была у Комаровской (для сговора относительно дачи в Саблино). Застала ее, по обыкновению, с чудовищной мигренью и в обществе Анны Ахматовой, собиравшейся ей читать стихи. На возвратном пути, узнав от «швейцара» Дуни, что обвалился дом на Екатерингофском (огромный дом, в котором живет Хайкин), она пошла смотреть эти развалины. Начался этот развал еще три года назад, когда соседний дом, из которого выселились все буржуазные обитатели, пришел в запущение и обвалился на улицу (кажется, даже были жертвы)… Оставшийся дом вот уже целый год как старались починить, залатать подведением новых балок. Но вот эта мера не помогла, и сегодня в большей части днем появилась угрожающая трещина, после чего были немедленно жильцы выселены (они со своим скарбом и сейчас на улице), а сама катастрофа произошла часов около 10 вечера. До Хайкина еще далеко, но все же и ему, вероятно, неуютно.

Кончил читать «Провидение» В.Маргерита. Довольно мерзкий и глупый роман, проповедующий раскрепощение женщины и видящий возможность этого в торжестве «либерального» антиклерикального воспитания. Противно и то, что «клубничка», щедро рассыпанная по всей книге и обеспечившая ее успех, на что был расчет, выдается за благородную пропаганду от лица величайшей добродетели. За эти же дни прочел еще «Дорогу гигантов» (дал Машковцев на конференции). Действие происходит в Ирландии в 1915 году — проигранная война за освобождение. Дублинские дни. Героическая сторона мало убедительна, но у автора достаточно остроумия и малодушия, чтобы главного героя (от первого лица) выставить в ироническом освещении.

Суббота, 23 июня

Совершенно несносная погода. Почти весь день со сменой ярких солнечных сияний, духотой и холодных проветриваний. Моментами темно до того, что хоть свет зажигай.

Закатом изумительной завороженности мы любовались с балкона Куперов, выходящего на сады Козлянникова (Демидовой гимназии и Ксениевского дворца).

Приглашены мы были к Куперам в ознаменование окончания портрета Эсфири Михайловны (Купер), над которым вот уже два месяца как работал Кока. Куперы в восторге от него, но, увы, мы этого восторга отнюдь не разделили, а напротив, я и Акица (она даже в высшей степени) даже расстроились из-за постигшего нас глубокого разочарования! Вечер так и разделился на две контрастные части: первая была вся очень веселая и уютная. Это та, которая предшествовала демонстрации портрета и в которую попал самый обед, изящный, вкусный, украшенный бутылкой русского шампанского (за обедом я совсем освободился от зубного нытья — последствия вчерашнего промокания). Вторая часть получила характер томления и неловкости именно благодаря портрету, оказавшемуся совершенно «Бодаревским». Мальчишка не только не выявил сущности Эсфири — невозмутимой, благородной, но даже милой, сделав из нее какую-то жестокую, жуткую «танцовщицу из борделя», но он и не передал ее красоты, довольно еще привлекательных остатков ее когда-то (как раз Купер показал нам их ранние фотографии; на них он, особенно в виде придворного скрипача Абдул-Гамида, — очень похож на Я.А.Шапиро) очень замечательной красоты… Но главное — беспомощность в выборе позы, «безвкусица» в выборе околичностей и очень плохой рисунок.

Ох, надобно мальчику съездить в Париж, подышать воздухом Энгра и Дега. Мальчик совсем опровинциалился. Акица в полном отчаянии. Перед Куперами мы своего настоящего мнения не высказали и удовлетворились лишь некоторыми формальными замечаниями, но едва ли и от них, а в особенности от Коки, ускользнуло наше настоящее впечатление. Но более как будто благоприятное впечатление произвел портрет и на Черкесовых с Зиной, пришедших к чаю. В общем, сам Купер был необычайно мил, рассказывал анекдоты, дурил, покатывая фокусы с палкой на ниточке, рассмешил нас всех и знаменитым документом на имя Фенимора Купера, выданным в Смольном. Уезжает он недели через две. От России больше ничего не ждет.

За последнее время это как будто становится общим здесь отношением в среде «последних интеллигентов». В частности, Купер в отчаянии от новых путей в музыке, от тональности… От директорства Филармонии он отказался и вместо него избран Асафьев, который на это пошел!

Вообще сегодня был убийственно утомительный день и из-за погоды, из-за моего недомогания и из-за того, что из Эрмитажа пришлось (частью в кампании с Н.Радловым, чувствующим — и по праву — себя героем после только что выпущенной своей отходной «футуристам» и пр.) плестись домой пешком, так как не ходил № 8 из-за того, что дома пришлось сразу засесть за работу со студийцами (Морозов сам не пришел). Ромберг не глупый юноша, но, разумеется, задача ни ему, ни товарищам пока не по силам.

В Эрмитаже обсуждали проект изданий картонной фабрики, доложенный и на сей раз одним Вильгуром. Нотгафт отнесся скептически, да и правильно. Оказалось, что на фабрике еще вовсе не существует фотомеханической мастерской. Решили пока сделать ряд проб (я все настаивал на открытках) фотолитографий.

Говорят, расшалилась Этна, уже погибло много городов и сплошь эвакуируется Катанья. Демчинский читает на днях свой доклад о «возмущениях» климата и он же будто не то прочел, не то прочтет что-то полумистическое — об отмщении земли за культуру (ох, не так! Смысл, как мне передавали, тот, что европейская земля, начиненная кровью своих сынов за войну, отказывается производить злаки, и это грозит общим голодом).

По дороге к Куперам поехали с Акицей смотреть разрушенный дом с другого берега канала, ибо там, под дождем, все еще бивуакируют жильцы. Место оцеплено и проход воспрещен. Больше всего меня поразило количество дерева, целый лес вперемешку со щебнем и кусками стен, балок и полов, дверей. Говорят, в этой массе, лежащей кучей в высоту третьего этажа, похоронены, между прочим, вся обстановка Д.М.Мусиной и ее два Бехштейна. Дворовый флигель, наполовину тоже увечный, стоит с грозно наклонившейся стеной. На стенах комнат, примыкающих к брандмауэру уцелевшей части (это было два дома, объединенных одним фасадом при одном хозяине), висят какие-то картины. Я различил фотографии с Моны Лизы. Слух идет, что и уцелевшей части, в которую ведет дверь из разрушенной, грозит та же участь… Хайкин ожидает с часу на час распоряжения выбираться…

Воскресенье, 24 июня

Несносная, капризная погода. Особенно удручающе действуют внезапные, затяжные, предвещающие проливные дожди, которые и не замедлят «действовать». Тем не менее, работающие люди производили что-то все эти дни. Утром принимался за добавочные виньетки к «Черной курице», днем рисовал «Алешу перед учителем», а весь день извожу на занимательное раскладывание пасьянсов из тех фишек, которые изготовлены для каждой картины новых отделений Эрмитажа. Мне надлежит самому себе выяснить, которая система удобнее и пользительнее: просто по школам и внутри уже по категориям, или только по категориям. Последнее убедило, что первая более подходит к наличному материалу.

Заходил Эрнст, но, правда, кроме него, кажется, никто. Утром я раскричался на бедную Мотю за то, что она назначила Шарбэ явиться ко мне в час. Я бесконечно ценю милейшего «Баконича», но выносить его абсолютно молчаливое общество, вид его непрестанно трясущейся головы я не в состоянии. Акица его и не пустила. Приходил же он только для того, чтобы меня поблагодарить за АРА.

К обеду невзначай Сережа (к счастью, к обеду уже были званы наши «молодые», и Акица, чтобы побаловать их, наготовила в великом изобилии пельмени). К чаю Лаврентьев с Марианной и Монахов, который в среду уезжает в Крым и с которым я простился на лето. С ним и с Лавру-шей двухчасовой разговор о Хохлове и т. д. Монахов фиктивно прячется, чувствует, что момент пропущен, может быть, впрочем, и не прочь удержать обоих и каждого эксплуатировать, но ведь это при мелочном интриганстве и при растлевающем значении для труппы Хохлова — *нельзя*. Как раз он же сам разболтал Монахову о заседании в Политпросвете (не твердо знаю наименования этих никчемных учреждений — словом, в том, в котором хозяйничает Ядвига), на котором обсуждался «производственный план» нашего театра (Хохлов тогда рекомендован в качестве члена Совета тем же Монаховым!). И вот Монахов передает, будто все это постановление одобрено в высшей степени Лаврентьевым. «Северные богатыри» Ибсена приняты, но с оговоркой, что сборов делать не будут, зато настоящее противодействие встретила моя «Копилка». Несомненно, он ее и провалил. Ему это было сделать тем легче, что он сам верит в ничтожность подобных произведений, точь-в-точь как какого-нибудь профессора Академии в былое время нельзя было бы убедить, что Домье и Гаварни выше, художественнее Делароша, и вся компания там такая — ведь революционеры, как правило, глубочайшие провинциалы и тупицы. Монахов, однако, клянется, что

«Копилка» все же будет поставлена, мол, раз субсидий нет, то мы свободны ставить, что нам угодно.

Сколько мы его не расшевеливали и не убеждали, он так и не решился приступить к выяснению вопроса с Хохловым — главным режиссером, и тогда я вызвался сам написать перед своим отъездом письмо-совет, напомнив о заявлении самого Хохлова, сделанном в нашем Совете, о своем желании отказаться от возглавления театра. Ведь *это* и подвинуло театр срочно выписать Лаврентьева, положение которого теперь ужасно неудобное.

За чайным столом, к которому явились еще супруги Лебедевы, уезжающие в Кисловодск, Анна Петровна до слез тронута моей статьей о ней; Тася и Марочка. Монахов занял все общество своими рассказами о болезни. Характерно, что и о своем обращении к Богу уже не было упомянуто. Много он наговорил и всякого смехотворного. Марианна очень похудела, осунулась и, видимо, ужасно растеряна. Мать она должна была покинуть еще в 1921 г., так как та, одержимая скупостью, буквально ее выставила, требуя между прочим, чтобы она играла в gymnase (с чем, вероятно, было соединено и «поступление на содержание», на которое намекал Лаврентьев). Выручил ее Дмитрий Павлович, приехавший на вокзал и давший ей на дорогу 500 франков. Ее муж совсем без гроша и живет на харчах Петра Ольденбургского, играя с ним в бридж. Сам — дурачок и добряк. О.Э. женился на Серебряковой, но уже разочарован…

Сестра Марианны, бывшая гр. Крейц, вышла замуж за овдовевшего Кудашева, и вот они изумительно богаты (хитрая бестия К.). О браках Ксении и Александра Михайловича она ничего не слыхала. Старики Ольденбурга оба живы, но Евгения без ног, только может мычать (при ней какая-то дама, которая ее поднимает), что не мешает ей быть по-прежнему столичной и приятной, тогда как Александр Петрович ее жестоко третирует, не дает ей даже курить и вообще стал совершенно полоумен. Обо всех них и о своей тамошней жизни Марианна вспоминает с омерзением, но что она будет делать здесь, бедняжка?!

Понедельник, 25 июня

Черт-те что с погодой! Утром обыкновенно яркое и горячее солнце, а потом наплывают тучищи, весь день идет безобразие с холодом, ветром, дождями! Все изнервлены. Но, говорят, то же самое всюду, а в Италии даже как-то выпал снег. Ох, прав, пожалуй, Демянский со своим открытием «возмездия»

оскорбленной земли. Уже не готовится ли вариант всемирного потопа, который, во всяком случае, нами вполне заслужен!

В 1 час на заседание в Акцентре, посвященном Архитектурному музею. Председательствовал Удаленков, присутствовали, кроме нас: Романов, Коля Лансере, представитель Академии архитектуры Л.Ильин и в качестве представителя от Академии художеств талантливый, как говорят, архитектор Троцкий. В общем же состав той же комиссии, которая представила проект, но все же эта комиссия считается новой. (Я заявил протест, когда этот проект был назван моим с Н.Лансере; я вовсе не желал, чтобы мое имя было связано с этой бездарщиной.) Узнав в самом начале, что этот проект целиком отвергнут и нам надлежит составить новый, но уже не музея *русской* архитектуры, а музея архитектуры вообще, я объявил о своем отказе участвовать в деле, которое считаю неосуществимым и просто гиблым. И вот все заседание (часа 2,5) прошло в том, что меня всячески все убеждали не уходить, и, однако, из этих же убеждений, из сладкоструйных речей Романова (видимо, несколько испугавшегося ответственности за такой поворот дела), из выкликаний (за меня) милейшего, но глупенького Коли, из неразберихи Удаленкова, из лавирования среди компромиссов Ильина, я все больше и больше убеждался, что мне с ними не место и что надо вытащить ноги из этого болота.

Я твердил одно и то же: проект музея архитектуры, вдруг возникший в течение прений в музейном Совете, очень грандиозен, интересен и т. д., но я просто не верю в его осуществление, я это *не вижу*, и, во всяком случае, меня не может *соблазнить* принять участие в том, что эти господа затеяли, игнорируя, как всегда, стороны эстетические и «впечатлительные», и, преследуя исключительно цели педагогически-технические, у меня центр тяжести экспозиции был бы в оригинальных проектах архитекторов (в архиве и библиотеке нашло бы себе место все остальное, и те же обмеры, и те же заграничные работы пансионеров, и коллизии Даля), и это создало бы специфическое, чисто художественное *настроение* музея (с полнотой представить такую коллекцию мы могли бы, только вращаясь в круге русской архитектуры двух последних столетий, а для остального у нас нет достаточно материала), получалось бы (это я вижу) нечто столь внушительное и изящное, что и Европа пришла бы к нам учиться. У них же экспозиция сложилась бы из сопоставлений самых пестрых и разнородных элементов при неизбежных и чудовищных пропусках с уклоном в технику, в археологизм, в сухость протоколов.

Но самое главное — это выдержать просто почву, на которой

строить. Для такой грандиозной затеи Академии уже недостаточно (тем более что залы на Неву уже *решено* на том же злосчастном заседании музейного Совета уступить училищу для выставок), а потому вся эта очень реальная затея становится дурацкой маниловщиной и толчеей воды, в чем участвовать я не намерен. На этом я и ушел. Впрочем, все споры (если не считать вакханалий Коли, благодаря которому в значительной степени провалился и самый проект) велись в очень корректной и сдержанной форме. Лично я себе нарочно ничего не позволил, хотя и очень было соблазнительно высказать тушилке Романову всю правду.

В магазине на Казанской, где я купил банку черной жидкой туши Фридлянда (большая стоит 25 руб., малая 8 руб. — это дешево), встретил Блэка — зятя Кнебеля. Магазин Наробраза, но он им заведует в полной мере и не может выкарабкаться. Подходя к дому, встретился нос к носу со столь избегаемыми мной Беллочкой Каза Розой и с Шарбэ. Первая, уже побывавшая у нас, напросилась снова в четверг (матери Саши Яши отказали в разрешении уехать за границу, ее предлог был — свидание с дочерью. Саша Яковлев будет в отчаянии). Баконыча пришлось затащить к себе и затем целый час выносить его немое общество. А пришел он, чтобы благодарить за АРА. Это может отшибить охоту «делать благодеяния». Работы он себе никакой не находит.

Вечером я в Обществе Старого Петербурга. Пошел на сей раз сознательно для того, чтобы, наконец, получить давно обещанное Жарновским разрешение на рисование на улицах Петербурга, но оказалось, что эти «мандаты» несколько уже недель как залежались на столе Ятманова, который никак не решится их подписать, опасаясь каких-то подвохов. Как и подобает всякому русскому генералу, в нем сидит заполняющий его на три четверти полицейский (остальная четверть — Манилов). Но и тогда, когда он их подпишет, ими еще нельзя будет пользоваться, а пойдут они для последней санкции в Смольный, который запросит ГПУ. Здоровенные мы сделали шаги на пути свободы!

Зато я попал в лапы всяких фанатиков Петербурга, заседавших под председательством хитрейшего С.Ф.Платонова, которого чем-то вообще хотел пленить Жарновский. В той же компании оказался величественный, как испанский гранд, Д.К.Петров. Тоже кем-то плененный и уже приглашенный возглавлять подсекцию литературы во вновь организованном при Обществе исследовательском институте. Эти ИИ как грибы пошли, второй подсекцией Второго отделения (научно-художественной экспертизы), по их расчетам, должен был руководить я. От этой обузы я, разумеется, отказался и

рекомендовал в свою очередь Эрнста и П.П.Вейнера. После этого мы всем составом вышли и отправились к памятнику Петра I. Для того чтобы решить, где поставить будку для сторожа (таковой в виде мальчика пятнадцати лет пастушеского вида уже ходит около недели вокруг памятника, отгоняя хворостиной мальчишек и хулиганов) и чем окружить памятник. Рещено ограду не восстанавливать (все же прекрасно, что скала на свободе), засыпать овал вокруг (между дорожкой и каменными плитами, коими выложено пространство, прилегающее к скале) песком, а будку поставить уже в саду, придав ей вид в характере тех, очень неплохих будок-ларьков, которыми вот уже год как украсилась наша столица.

Весь день и особенно утром большой перезвон в церквах. Этим ознаменован переход православной церкви на новый стиль. Празднуется Иван Купала.

Отослал в Дрезденскую оперу заказное письмо.

Вторник, 26 июня

Все та же очень эффектная погода. Сирень в садах еле распустилась, все же на улицах ее продают в изобилии, но едва распустившуюся и малоароматную. В ходу еще ландыши. Появилась и земляника (черешни у нас были подаваемы гостям уже неделю назад).

Утром иду к заведующему горкомхоза тов. Иванову. В ожидании Тройницкого и Добычиной беседую с Калиным, занимающим один из столов в большом позднеампирном зале на Театральной, служившем аванзалом церкви (сама церковь «романского» стиля, лишившись иконостаса и проч., тоже отдана под присутственные места). Иванов, упитанный, рыжий, энергичный мужик, грубоват, но, видимо, не глупый вроде Сокова. Принял он нас в своем кабинете, солидно и чисто обставленном кожаной мебелью. Узнав (я должен был докладывать первый), что нас, главным образом, тревожит постановка Плеханова перед «Воронихиным» и среди двух «генералов», он обещал поддержку в смысле подыскания другого места. На памятник ассигновано «колоссальная» сумма — 15 000 рублей. Иванов был очень изумлен, когда я нашел эту же сумму ничтожной (что 500 000 оставшихся ассигнований на ремонт Петербурга после обещанных сначала Наркомфином 5 миллионов — сумма недостаточна, он все же сознает). Вот до чего сейчас даже умнейший и положительный люд (не исключая немцев и здесь, и в Германии!) совершенно утратил представление о

реальных ценностях, возможностях и т. д. Добычина, неистово юля (очень хорош был пассаж про то, что у нее на спине остались рубцы от нагаек, полученных в студенческие годы на Казанской площади. И тем не менее она не допустит, чтобы Плеханов был поставлен перед Воронихиным!), упомянула еще имя Мессинга и мое. Добычина стала клянчить денежное пособие на починку обитаемого и возглавляемого ею дома. Иванов пообещал ходатайствовать о какой-то ссуде.

Тройницкий покатил в Смольный (оттуда им с Марочкой обещали выдать паспорта завтра), а меня Добычина (снова на пути к Мессингу) проводила до Морской, все время рассказывая об истории с провалом Академического музея. Она уверяет, что в прошлый раз от нее уже влетело Тройницкому за то, что он так невнимательно отнесся к моему детищу.

В Эрмитаже работа кипит. Снимаются батальные картины, выбиваются крюки прежних оконных карнизов (самих занавесок мы уже не застали, но, сказать кстати, как неблагоразумно, что Эрмитаж, вступая в эти новые владения, обошелся без акта о состоянии имущества), группируются картины по намеченным мною категориям. Жарновский очень мечтал получить еще штиглицевских Тьеполо, но я, считая, что и без того мы перегружены, не поддержал его. Досадно, что Альбрехт не поспеет с Караваджо и, может быть, даже пустотными ретушами «Бегства в Египет» Тициана.

На возвратном пути зашел по просьбе Кесслера в здание посольства. Под руководством архитектора (здешнего) Лоренцена и там идут большие работы по внутренней отделке. Я был призван для совета, каким цветом выкрасить бывший тронный зал, ибо первоначальная его окраска в крем уж слишком бездарна. Затащил меня к себе и дурачок граф Зацурия, купивший на днях милейшую назарейскую аллегорию, быть может, раннее произведение Шнорра. Покупал этот шедевр за его итальянский Ренессанс.

Дома меня порадовал Крамаренко, приволокший три картины на экспертизу (купил он их себе). Наиболее блестящая и подкупающая «Гондола», вернее, гребная барка (изумительное небо!) Изабе, 1835. Наиболее значительна та, которую я определил как несомненно Д.Фети и которая изображает какую-то притчу или Изабель (я еще не успел проверить по Библии), мертвая женщина навзничь, около нее два старца, в отдалении, за столом, обедают какие-то супруги, за оградой еще двое. В фоне, занимающем $^{5}/_{6}$ пространства, — большой коричневый дом, выделяющийся на прекрасном белом с синими прорезями небе. Третья картина, вернее, эскиз — «Гибель Ипполита» второй

половины XVIII века, но с явным желанием имитировать Рубенса. Быть может, Дуайен?

Среда, 27 июня

Весь день дождь. Холод. Тройницкие получили свои паспорта, но теперь Марочка заныла: на кого они оставят квартиру и кота да зачем ехать и т. д. Воображаю, как она отравит Тройницкому путешествие. Стип до сих пор не может без ужаса вспоминать об их выезде в Лугано и в Италию, как она просиживала днями в отеле, никуда его не отпуская, как вообще она его мучила. Черетти признал ее тогда истеричкой. Сейчас в этой поездке у нее, несомненно, одна мечта: порыскать в Париже по магазинам. Но и эта мечта отравлена всеми рассказами о таможенных трудностях в СССР и в Германии.

После Эрмитажа иду к Н.Радлову. Он живет в качестве проректора (уж эти мне титулы!) в самом Зубовом институте, в довольно пространной, но несуразно выкроенной среди других комнате на задворках квартиры с Эльзой, вышедшей в довольно примитивном летнем костюме. У них дружественный тон. Она же сервировала чай (роман со Шведе кончился?) и принимала участие в беседе, главным образом, восхваляя, в патриотических тонах «Гадибука», Беллочку Каза Розу и т. д. Он угрюмый, унылый… Не пойму, природная ли это скромность, основанная на вялости характера, или это болезненное самолюбие? Показывал свои последние иллюстрации к любимому им Марку Твену. Очень грамотно, остроумно, но пресно. Почти все время — в разглядывании добытой им от того же Оршанского книжки, посвященной модернистскому искусству. Боже, как это приелось! Вот уже поистине соль стала пресной, и после такой глубокомысленной мишуры даже конфеточная картинка «Кушелева» покажется содержащей художественную подлинность и доставит настоящую, хотя бы и детскую мимолетную радость. «Кошмарность и абсолютная выразительность» и все прочее, что нас интересовало еще в дни салонов «Розенкрейцеров», стало теперь просто пошлейшим трафаретом с сильным притом привкусом трупного гниения. Сам Радлов зачитывается Шпенглером и отравляется его идеями о гибели искусства.

Дома застаю Рубена Паатова, после двухлетнего отсутствия снова прибывшего из Персии. И все то же самое: пятифунтовая коробка шоколада, а за то — как всегда обманутая надежда, что я признаю его Рембрандтов, Корреджо, Тицианов и т. д. Тут же были продемонстрированы: один глупейший (но довольно

бойкий) пастиччо (a la technique vermicelle) на первого и ряд фото из имеющихся у него в Москве и предназначенных для его галереи шедевров. Кое-какие голландские портреты неплохи. Собирается за границу, дабы там войти в обладание суммой, которая ему причитается за продажу икры. И которую иначе пришлось бы получать с колоссальными убытками через советские лапы. Тон у него вообще довольно унылый. Правда, в самой Персии коммунизм, искусственный, взращивающийся на русские деньги, ликвидирован начисто (проделана та же операция, как у Кемаля, причем персюкам важно было получить наше золото). Однако товар в Европу и на реальную валюту иначе не спустишь, как через Совдепию, а условия этого сбыта — просто гарпагонские удушения. Рассказывал он, увы, довольно безалаберно и о нашем финансовом кризисе, о закрытии трестов, о грядущем голоде, о продажности наших чиновников и о тупости вождей и т. д. Пикантно, что знаменитый московский «Эрмитаж», в который было вселено какое-то учреждение, все там загадившее, снова с великими расходами приведен в порядок, и там самим Каменевым устроен правительственный игорный дом.

Вчера я встретил в садике перед Исаакием Я.Шапиро, следовавшего с одним актером «Габимы» (студии, играющей «Гадибука»), Он вызвался мне устроить на сегодня билеты и явился в Эрмитаж. Но оказалось, что это места в ненавистной боковой «артистической ложе», и я не пожелал воспользоваться ими. Вообще, несмотря на общие (без исключения) восхваления, мне ужасно было бы тягостно идти снова на эту жидовщину, на этот «Витебский чеснок», осточертевший мне в искусстве всех этих Шагалов, Альтманов и прочих до тошноты! Вместо нас пошли Черкесовы, вернувшиеся после часа и убеждающие нас пойти на окончательно последний спектакль завтра. Акица тоже находит, что мне нужно идти, но когда мне что-нибудь *нужно* сделать, то мне этого не хочется.

Омерзительное впечатление производит «заявление» патриарха Тихона о своем покаянии перед советскими властями. Какая разница с Буткевичем! Какой свет это проливает на его душу (впрочем, мне всегда казавшуюся дрянненькой и серенькой) официального православия. То-то козырь в руки антиклерикалам! Говорят, в газетах стояло на днях о каком-то бурлении в Бискайском заливе и о том, что подводное землетрясение, которое оно предвещает, грозит потоплением всем Европы. По одним расчетам в 1923 году, по другим еще раньше. До чего переродилась моя душа с 1910 года, что такие пророчества, которые могут и не быть одним репортерским шутовством, оставляют меня ныне абсолютно равнодушным.

Четверг, 28 июня

Пасмурно, дождь. Весь день расстроен (разумеется, на основе общего душевного недомогания, ставшего за эти годы хроническим и знающим лишь редкие и короткие передышки. Сейчас в связи с безысходностью здешних финансовых и общеэкономических условий тянется кризис, весь день расстроен из-за, в сущности, пустячка). Из-за внутренней борьбы пойти или не пойти на последний спектакль Гадибука. Черкесовы усиленно посылают. Даже на этих блазированных скептиков-зоилов спектакль произвел отличное впечатление своей простотой, убежденностью, скромной декоративностью, сдержанностью… Очень захотелось пойти и Акице. Но меня одолело такое омерзение к жидовшине, хотя бы самой отборной и прекрасной, что предложить себя я не оказался в силах, и так и застрял дома, хотя вечером и явился еще наш домашний Гадибук (Черкесовы уверяют, что он точно сошел со сцены) Шапиро, который бесконечно и с надоедливым безвкусием извинялся за то, что нам вчера не были представлены более почетные места (оказалось, что Гадибукисты, честно считающие себя превыше всего и просто-таки открывающие эру доселе не существовавшего настоящего искусства, даже не слышали о моем имени), и всячески старался меня побудить отправиться с ним, хотя бы ко 2-му действию. Но я восчувствовал в душе своей такую силу инертности и *такого омерзения* (несомненно, расового, стихийного, не поддающегося никаким рассудочным убеждениям, того омерзения, которое у меня проявилось даже к Иде Рубинштейн, к некоторым сторонам творчества лично милого, в общем, моему сердцу Бакста), что я остался непреклонен, за что и понес кару, ибо домашний Гадибук проторчал у нас весь вечер, мы вместе с детьми рассматривали сокровища искусства. Поразительно, до чего нагло Шапиро высказывал по поводу величайших шедевров европейского гения свои замечания, не имевшими *никакого* отношения к сущности данной картины. При этом по гравюре каждый раз ездил пальцами, грязными, крючковатыми и, даже простившись в половине первого, вдруг еще задержался и стал в продолжении часа со всякими «благородными» ужимками и извинениями клянчить, чтобы я ему дал Екатеринославские ИЗО, так как он там, где «очень любили мое творчество», желал бы устроить выставку, как сказано официально, «его Московского и Петербургского периодов».

В коллекцию «омерзяющих случаев жидовской наглости» поступил как раз на днях еще рассказ Зины Серебряковой о своем разговоре с Эльконеном. Он ни с того ни сего разразился самыми

презрительными речами по адресу русских художников. Он-де считал раньше неприступными и бескорыстными, а теперь он видит, что все они, за исключением одного только Браза (как это типично!), хамы, преследующие одну только наживу. Я себе объясняю такую психологию разочарованием, постигшим нашего революционного мецената в Берлине, когда он удостоверился, что все собранные им за гроши сокровища не являются уже более там стабильной валютой и что даже за Сомова никто не найдется, кто бы заплатил *старыми* деньгами. Кроме того, в том, что Эльконен вообще дерзнул такие вещи говорить, виновата и Зина. Ей все дерзят, и она провоцирует на дерзости своими всегда неуместными, благородными и глуповатыми, во вкусе всех Лансере, вскипаниями.

А еще больше виноваты обстоятельства, то, что все русское искусство, если чем и держалось до сих пор с грехом пополам, то поддержкой этих валютных меценатов, а сейчас и они нас оставляют, ибо видимо, что наши произведения — не та твердая валюта, какой они их считали… увы нам!

В моих расстроенных чувствах единственным утешением и развлечением сейчас является возня в Эрмитаже. Я всегда любил такие «титанические задачи», а сейчас без них просто бы скис. Как раз сегодня у меня явился новый план — начать выставку итальянцев со стороны подъезда Ее Величества. Таким образом мы получили бы семь зал, из коих первая, не очень большая, была б отдана примитивам (при необходимости можно было б достать застрявшие в Русском музее ретабли из Лихачевского собрания), а последняя — «Тистолам» из Штиглица, если еще не вставлены на место. В среднем же, большом зале были б размещены Маньяско и мастера XVII века. Хочу непременно водрузить и гигантский картон Джулио Романо. Но когда мы поспеем! Тройницкий обнадеживает, но ставит условие, чтоб были изданы листовки обо всем. «Печатное слово» было у него до сих пор главным козырем, и на нем он всегда очень настаивает. Энергично взялся за дело развески итальянцев И.И.Жарновский, но у меня идет с ним спор из-за Лондонио. Присущая этой картине нота XIX века, делающая ее особенно интересной для эстетически непредубежденного глаза, коробит наших эстетов (в глубине души неисправимых провинциалов).

Дома не застал уже больше назначенных к 4 часам студийцев, так как Акица с Мотей по недоразумению их спровадили. У нас Петр Соколов, собирающийся к нам принести на хранение — ввиду слухов о смерти Таманова и возможности наложения руки властями и на его наследство — архив идиотских словопрений его Академии 1917–1918 годов. Я его сдам Нерадовскому. Надо

же его убрать, потому что в нем фиксированы многие речи, которые могли бы скомпрометировать разных потешных людей.

Наши балетоманы потрясены известием, что они сократили Данилова, говорят, по распоряжению исполкома, по навету «чекистов» Спесивцева и Семенова. Впрочем, и эта пара переведена на разовые, так же как и Виль, и Романова, да и сам И.П.Ершов. Вовсе отчислена в отставку масса лиц, и среди них — ряд совершенно беспомощных бедняков. Остальных собираются связать трехгодовым контрактом — еще свидетельство полнейшей нищеты.

Впрочем, и я попал под эту меру — получил извещение, что мы, члены Совета, отныне будем получать не жалованье, а по заседаниям (коих двадцать, тридцать, вероятно).

Вчера, говорят, появилось в газетах извещение, что я уезжаю за границу и цель моя — ставить постановки у Дягилева. Кто это удружил? Все наши сразу указали на Хохлова.

Приходил разыскиваемый Михаила Аргутона. Он до слез тронут памятью «князя» (странно слышать в устах этого *матроса* это слово и слово «графиня») и с радостью поехал бы к нему. Но как это устроить?

Кончил читать весьма странный исторический роман Бальзака «Философские этюды» — о Екатерине де Медичи, являющийся апологией ее политической мудрости и попутно магией. Роман относится к 1735 году (последняя глава, в которой изображен великосветский обед 1735 года с Маратом и Робеспьером среди приглашенных, помечена 1823 г.) и мог в смысле склонности к независимости, граничащей зачастую с парадоксом, послужить прототипом Толстому. Та же смесь исторической документальности, изложенной в тоне научного трактата с вымыслом (иногда очень остроумным и тонким), переходящим зачастую в совершенную свободу в духе Скотта или даже Дюма. Крайне небрежная техника или почти отсутствие стилистической, чисто литературной правки, но это не мешает существу. Во всяком случае на меня книга произвела очень сильное впечатление, хотя я и не уверовал в тезис, что Екатерина была великой государыней.

Пятница, 29 июня

Приятная погода. В час пропускаем несколько срочных дел на галерейном совещании. Снова надоедливый вопрос о доставлении вещей из загородных дворцов.

С Лещей Келлером и Федей Нотгафтом, растерянным (от

пылающей страсти), заходим в Общество поощрения. Увы моему безденежью! Платеровского Тьеполо купил за 7 млрд. (70 руб.) Чекато. И сейчас продается альбом (почти пустой), поднесенный моим отцом какому-то Розенбергу в 1846 году, в котором имеются работы папаши: акварельный шуточный титул, сепия, изображающая улицу в Комо, и акварельный эскиз той декорации, несколько вариантов которой имеется в наших собраниях.

Захожу с Лещей на Мойку, 72, дабы взглянуть на продающуюся там с аукциона картину «Изгнание из храма» Луки Джордано. Считаю нужным наложить на него наше эрмитажное вето, так же и на изображение какого-то святого воина, в котором я узнал работу Сурбарана.

Встретил там тушу Богданова. Он совсем приуныл, не выпустили за границу его жену. Встречаю и Крейтора. У него уже выправлен заграничный паспорт, и он на днях едет для устройства выставок. Снова пристал ко мне. Я уклонялся, пока он мне не пообещал заплатить половину вперед. Пригласил его на завтра (надо будет получить «Версаль» от Добычиной), но уже мучаюсь, как бы этот хитрейший человек меня не провел.

Мойка, 72, — неузнаваема: Дитрих сведен на нет. По словам Леши, там теперь «чека из чеки». Во всяком случае, вас при входе чуть ли не обыскивает вооруженный сторож; портфель и пакеты надо отдавать в комендатуру. Милая обстановки для торговли. Встретил теперь бывшего эрмитажного Дмитриева. Он тоже уезжает в Париж, но, увы, паспорт у него украли в момент, когда он (уже все здесь ликвидировавший) садился в вагон. Копии теперь ему в Смольном не дают, а требуют, чтобы проделал все мытарства снова, причем не ручаются за успех!

Собирались отдохнуть в тиши и одиночестве, почитывая дурацкий роман Лаведана «Le bon temps» (предвкушение Парижа) и поглядывая на подаренные Липгардтом (он все ликвидирует, жену все еще не выпускают) виньетки с двумя его этюдами, картины актрис (80-х годов), как вдруг врываются Обнорские (она в самодельной неправдоподобной, расшитой желтыми цветами по черной соломке шляпе), явившиеся с «тем только, чтобы забрать у меня (не купленные Колей Лансере) “Сокровища России”» и утащить их к Лиде Карловне «для округления некоей суммы» (собирается все три тома отдать за 300) в виду надвигающегося зимнего голода. Однако тут же она расположилась, и мне пришлось полтора часа выслушивать сумасшедшую болтовню этого чудака, который продолжает отстаивать авторство своего «Кейпа»… Наконец я ему безжалостно заявил, что «такой случай психоза» меня очень заинтересовал, и это, кажется, избавило меня и от дальнейшего присутствия. И подумаешь, я стерплю эту

чепуху во имя дружбы к Оберу!

Акица с «молодыми» пошла в Сплендид на «Атлантиду» и вернулась в упоении (несмотря на отрицательные отзывы Тройницких и Таси).

Тем временем Атя остригла мою бороду.

Суббота, 30 июня

Чудесный день с дивным, необычайно разнообразным небом. Тепло по-летнему. Думаю, что этот день останется памятным благодаря той прогулке, которую я совершил на возвратном пути в компании Татана, его матери и двух девочек Серебряковой, пришедших к нам на сеанс Юрия, Коки и Марочки, бывших со мной в Эрмитаже и заходивших затем к Тройницким. Жалею, что Акицы не было с нами. Она тоже посетила меня в Эрмитаже, но потом пошла к Добычиной за акварелью, чтобы их получить для ожидавшего в 4 часа Крейтора. Однако Добычина решительно отсоветовала рисковать их ему давать (к тому же и сам Крейтор не являлся).

Итак, прогулка с Татаном по набережной к «Медному всаднику»! Но это была не прогулка, а триумфальное шествие юного… ну, скажем, Бахуса, выступающего с необычайным величием и приветливой важностью, тем временем как младенцы-вакханки нашлись и плясали вокруг, блея, весь этот путь. Иногда мы спускались по сильно разрушенным ступеням к мягко колыхавшей воде у Дворцового моста; взобрались на оставшийся здесь от постройки холмик (это то место, из которого в 1918 году однажды выбежал горностай, за которым все пустились в погоню, в том числе и некоторые из моих эрмитажных сослуживцев, среди них Лисенков, и который ушмыгнул от них в щель Зимнего дворца. В свое время я забыл записать этот изумительный символический случай). У Петра все расположились по каменному парапету, на котором сидел, свесив ноги к памятнику и тем самым выражая свое привилегированное положение, пастух-сторож, поплевывающий вокруг семечки и иногда покрикивающий на игравших вокруг детей. Впрочем, подходя к памятнику, мы как раз застали полдюжины сновавших на самой скале и под брюхом коня.

Вечером я с Черкесовым был на «Атлантиде». Чудесный, эффектный пейзаж, картины пустыни. Приятные восковые типы. И тем более грустно, что они погибают из-за козней любострастной бабы — Стаси Наперковой. Вовсе не такой уж противный, как это рассказывала Марфа, а в угоду ей и сам Тройницкий.

Благородная, сдержанная игра. В постановке всей фантастической части обеднение, безвкусная и менее тщательная, нежели у немцев.

По утрам кончаю иллюстрации «Черной курицы». В наше отсутствие вечером приходила управдомовская комиссия с Руфом во главе — размерять наши комнаты ввиду нового квартирного обложения. Весь город переполошен этими обходами, и уже многие мысленно прощаются со своими квартирами, сознавая, что они не будут в состоянии платить тех миллиардов, которые с них потребует фиск, в той же степени, ибо откуда же достать такие, в сущности, «немалые суммы»? Однако все же я принадлежу к тем, которые утешаются тем, что такого резкого перехода не вызовет: никто платить не будет, и всех сразу выбросить на улицу — тоже вещь неосуществимая. Руф, скорее, радуется этому закону… надеется посредством него выкурить, наконец, из дома нежелательный элемент доносчиков и ябедников, в том числе нашу Таню, его личного врага. В большом ужасе Зина из-за натянутых отношений с Руфом. Сейчас он грозит ей сократить квартиру вдвое, отняв у нее рабочую комнату и обе комнаты молодых. Она при этом лишается сожительства своего «Сережи» (я застал ее сегодня заштопывающей его панталоны и рубашки) — это удручает ее больше всего.

Воскресенье, 1 июля

Хороший день, но к вечеру небольшая гроза и сильное охлаждение.

Вожусь с «Курицей». Днем у меня студийцы вместе с Морозовым. Кончили разбор «Женщины-дьявола». Забавляю их затем книгами и Лелиными «головами». Много смеху. В совершенном умилении от моих иллюстраций пташек, востроносых, с глазами вороны Митя Шифман. Была и Ратнер. Она умная и культурнее других (значительно старше), но уж больно неказистая. Всей компанией заходим к Коке, к которому у них с прошлого лета своего рода обожание. Во время репетиции является Крейтор, но принимает его Акица, направившая его к Добычиной, предупредив его, однако, что мы не расстанемся с вещами иначе как за *полную* выплату. Он сказал, что пойдет к ней. Мне очень неловко, что в эту пору водим его за нос (с ним это всегда так было), но я ему *не верю*, я его как-то даже побаиваюсь, а при личных свиданиях он всегда меня «обсахаривает» своим «славным» тоном, душой нараспашку. Акице он сказал, что уезжает за границу навсегда, что здесь

больше делать нечего. (*Общее мнение*, что он будет приезжать набирать художественного товару, да разве найдется на такой товар сбыт?) Кстати, я был прав, истолковывая перемену в тоне Эльконена его валютным разочарованием. Он так и брякнул об этом Добычиной: мы-де с вами как попались! Думаю, что помещаем деньги, а ведь за границей даже Сомова никто не хочет. И за это она на него раскричалась, назвала «меценатом всмятку» и выгнала вон. Сейчас Эльконен занят снаряжением (по поручению Рене и ее отца) Феди Нотгафта в путь, на предмет — ай-ай-ай — личных объяснений. Федя сам не свой, удручен, сконфужен, но уже влюбленный (целыми днями пропадает на Потемкинской и уже исполняет там все обязанности кухарки), все же делает вид, что собирается ехать. Наши дамы считают, что если он поедет, то Таси ему больше не видать.

После обеда пришли Тройницкие (они водворяют сегодня нам оконченный — очень неудачный — портрет Марфы Андреевны, писанный Зиной). Сергей Н. продолжает интриговать, что ему делать с ликвидацией Юсуповского дворца, полагает, в его отсутствие все растащат (там сейчас заведывает необычайно невежественный человек, архитектор Попов — ставленник осла Удаленкова). Я сопротивлялся ликвидации, так как слишком жаль самого здания, да и куда нам все тамошнее поместить?

По словам Таси, Тройницкий на днях был в Юсуповском для того, чтобы выбрать то, что Эрмитаж мог бы взять для себя (ценой таких жертв Ерыкалов и Философов обещают устроить раскрепощение остального имущества). Он наметил Руанского старика, античную мелочь, кое-какие деревянные скульптуры. Характерно, что, рассказывая об этом, Тася не горюет о таких утратах, а скорее ее тон выражает счастье, что ей хоть что-то оставят! Вот как раскачаны наши владельческие инстинкты. Впрочем, внучке Третьякова и не приличествует другая психология.

К чаю братья Альбер и Леонтий, Кока с Марочкой и с двумя товарищами — новым Сильвенским и Борей Пастинским. Устинов устроил из заграницы визу для стариков и для двух дочерей, но поедет лишь одна Марья Александровна, причем ей придется ехать для свидания с Олей и Надей в ненавистную по-прежнему (пока еще больше прежнего) Германию, так как Олю не пускают в Финляндию, где по первоначальному плану должно было состояться свидание матери с дочерью.

На днях в «Правде» статейка, подписанная А.Пиотровским, «Провал сезона», *несомненно* инспирированная Хохловым, негодование по поводу мещанской пошлости «Грелки». О,

схоластика новейшего ультраэстетического образца! О, ненавистная мертвечина мейерхольдовщины!

Понедельник, 2 июля

Чудесный, не слишком жаркий день. Подчищаю «Черную курицу». Домашние и гости хвалят эту серию. Мне она кажется невозможной. И по выдумке (ничего того, чем я задавался, не выражено), и особенно по технике, беспомощной, пестрой, даже местами дилетантской. Особенно похваливает Юрий, как раз тоже кончающий свои иллюстрации к Гауфу (которые, может быть, и не пойдут, так как, по слухам, Госиздат усомнился в полезности «для пролетариата» и для воспитания в духе коммунизма этих произведений).

Татан с бабушкой пешком меня проводили до Зимнего дворца. Со скалы памятника Петра I снова скатывались дети, но потом пришел сторож и прогнал. Даже пролетариат имеет склонность располагаться семьями на траве. И это-то терпится сторожами, а то вдруг странно преследуется. То же и с грызней подсолнухов. Мальчишки-полисмены, несмотря на постановление начальства, сами с упоением их пощелкивают. Вечером с Кокиного балкона мы наблюдали, как трое таких мальчишек (за хозяйскими шахматами — все ребята восемнадцать-двадцать лет, очевидно, из ускоренных выпусков комсомольцев) с развязным пролетарским шиком «исполняли свои обязанности»: поживившись даром у мороженицы, шли затем пить пиво в «Пивную Бенуа», ухаживать за девицами. Дураки, хлопали друг друга по спинам, снова поживились, снова ухаживали. При этом ноль внимания на езду, на прохожих. Как бы эта молодежь нас бы не ограбила? Замечательно, что их еще столь недавно приведенное в порядок обмундирование пришло уже в полную растрепку, потускнело, засорилось (выцвело? запылилось? Но и пыли там не было). Замечательна и манера носить фуражки, уже утратившие всякую форму, глубоко на затылке — особый российский шик, процветавший и в дни Распутина, да еще и при Достоевском и Гоголе. Кока в сумерках видел, как наш полисмен взасос целовался с екатерингофскими девками. Тот же налет.

На заседании Совета Эрмитажа длительный спор, вызванный запросом из Москвы ко всем музеям, о мнении относительно фотографирования (в музеях): желательна ли монополия и т. п.? Тройницкий в душе заядлый монополист, но боится меня со Стипом. В угоду начальнику А.Н.Макаров (кстати, он вместе с Гревсом и Коревым и многими другими — профессора из

университета) составил проект правил *крайне* монополистического оттенка. Я выступил с возражением во имя более либеральных принципов, особенно важных в таком деле, когда все музейное легко может оказаться сеном под собакой. Тройницкий для виду поддерживал меня, но в те же время необычайно ловко повел дело, возражая ерундовым поправкам Орбели и сумбурной гражданской скорби Голованя, так что вопрос остался в принципе просто невыясненным. Пожелание Вейнера обосновать либеральный принцип в «декларативной части» остался без примечаний, а на проекте Эрмитаж высказывается за абсолютное право распоряжаться своим достоянием по своему усмотрению, что равняется той же монополии.

Мацулевич выступил с резко составленным рапортом о том издевательстве, которому он подвергся в Царском Селе, куда он выезжал специально для ознакомления с золотым сосудом, сделанным для Софийского собора — Арле, которому Яковлев, сказавшись больным, предоставил на осмотр, да и то еще в присутствии четырех охранников, какую-то новую дрянь, изделия Оловянникова. Несомненно, под этой провокацией — Зубов и Телепоровский. Ох, пора эту шантрапу прибрать к рукам. Однако Ятманов «размяк», а Ерыкалов сам так «Остроганился» (последнюю неделю он повадился ездить в Марьино), что ему все, что не Строгановский дворец, трын-трава…

В 4 часа пришли студийцы: Ратнер, Опалова. Ротенберг и Петин.

Я их поманежил по всему музею и свел в Висячий сад. Дамы высказали и здесь большую склонность к пошловатости. Петин — просто чурбан. С трогательным вниманием и не без понимания смотрел Ротенберг.

К чаю Стип, от которого (после обеда с Платером) невозможно несло сивухой. Разглядывали вместе бретонские этюды, так как Коке для «Северных богатырей» понадобились мотивы скал и сосен. Кончил «Ла бон тепмс» Лаведана, случайно попавший мне у букиниста под руки роман и прочтенный не без удовольствия — в виду Парижа. Известный (впрочем, очень характерный для французов) сентиментализм на наш вкус, скорее, неприемлем.

К обеду земляника (35 лимонов фунт).

В КУБУ идет перерегистрация карточек по сложнейшей, совершеннейшей системе (видно, что воцарились коммунисты). Зато мяса в этом месяце они не дадут вовсе.

В газетах крайне пессимистическая речь о будущем (в частности, фраза в связи с Руром): быть может, он и прав, но «не

стану говорить», не его компромиссную, заигрывающую политику можно считать спасительной в такое чудовищное время.

Акица упивается Тэном (пока читает Анри де Ренье). Но, увы, в наших (большей частью утренних, при вставании, за чаем или кофе) беседах продолжает делать те же ошибки, обрушиваясь при обсуждении здешних дел на правителей и на известный класс (она возненавидела «моряка», пролетария и т. д.) и не понимая той простой, но и безнадежной вещи, что мы, весь мир, вся культура «христианской эры» впала в дряхлость и умирает. Разумеется, не мертвой доктриной ее спасти, еще менее выросшим на ней дилетантам, но ведь и доктринеры и дилетанты сами только продукт того же обветшания общего организма, и советский строй *такое же* болезненное явление, как и «великая война» (и особенно ее затяжка), как общая «материализация», как закостенение (переход от мускульной эластичности и гибкой, как бы одухотворенной, органичности к слишком определенной механизации) всего строя жизни, как отупение религиозного сознания и всей области интуитивного и т. д. Причем тут большевики и их грехи, когда они наш общий, уже успевший застареть, но роковой неизбежный *грех!*

Вторник, 3 июля

Чудесный день. На солнце 26 градусов. Вернулся домой весь в поту. От блеска солнца и жары чуть не угодил: раз — под рысака, мчавшегося по Литейному, раз — под трамвай. У Александровой) сада встретил Гревса. Он уже насколько дней как освобожден, но вовсе не уверен, что его снова не заберут. Прежние неунывающие, несмотря на аресты, ссылки и проч. «голландские» превратности на сей раз заменились тоном отчаяния. Даже поговаривает о самоубийстве. «Отчего бы Вам не удрать за границу?» — «А что я там? Там нужны молодые, а главное — жена, как я ее безногую перевезу?» Сидел он три месяца в Бутырках, но состава своих преступлений так и не узнал. Расспросы следователей и здесь, и в Москве клонили к установлению его сношений с заграницей, то есть, знает ли он французов? Нет. А как же это письмо? И подают ему найденную у него открытку от Олеара с приглашением зайти. Он объяснил, что Олеар не француз, а бельгиец, что он известен всему Петербургу. Именно с ним арестовывают массу народа, в том числе Р.Ф.Мекк. Все это лица, которые значились в записной книжке дамы, у которой они с Токаревым снимали комнату под свою какую-то деловую контору. Дама — знакомая Токарева. Токарев сам уехал

на время за границу (оставив здесь все картины) и теперь не может вернуться. Между тем бомбардирует Гревса письмами, чем окончательно может его скомпрометировать.

В трамвае встречаю доктора Шмидта. Он вполне подтверждает неблагополучность Летнего и Михайловского садов, островов и других местностей. Петербург на пути к тому, чтобы сделаться очагом злокачественных лихорадок. Можно утешиться тем, что малярийные бактерии уничтожают туберкулезные. О неблагополучии Летнего я сообщаю А.А.Герардовой, которую встречаю на улице и которая водит свою девочку именно в Летний. Они выхлопотали разрешение на въезд в Москву, это дается легче…через две недели (Куперы уезжают послезавтра). После Эрмитажа отправляюсь в Археологический институт (ныне превращенный в какой-то отдельный Университет, но оставленный по-прежнему в особняке Петра Николаевича). Мне надо было проверить, нет ли среди вещей Ольденбургских и Горчаковых, которые были туда по какой-то весьма странной фантазии отправлены Перовым, вещей, достойных Эрмитажа. Меня водили И.И.Мещанинов, старый вахтер, бывший денщиком генерала Талона (который еще жив в Москве), и А.А., наш бывший зимнедворный делопроизводитель). Мне казалось, что вещей было гораздо больше; то, что осталось, — пустяки. Интереснее другого фамильные портреты (едва ли оригинальные) Ольденбургских, сложенные в темном коридоре и в нужнике. Встретил правнучку Евгения Богарне — княгиню Долли. Снова комплименты, мечты о свидании, расхваливание моих «Версалей», которые она видела на днях у Эльконена (где обедала с Мархуцетти, у которого дела с Эльконеном и Абамелеками и т. д.). Она говорит, что ждет разрешения получить обратно несколько семейных портретов и хочет зайти в пятницу в Эрмитаж, чтобы изучить миниатюры Лихтенбергских. Ей не нужны ценные, а лишь бы получить сувениры о своих дедушках и бабушках.

Но то, что я более ждал, — портрет К.Горчакова работы Кабанеля (который Стип видел у Брянчаниновых) — не нашел. Позже Эрнст мне сообщил, что он как-то чудом попал в лапы М.Фармаковского — в бытовой отдел. Опять надо будет вырывать этот зуб. Опять завопят о хищнических инстинктах Эрмитажа.

Захожу к букинисту на Колокольной, но, увы, за каждый томик словаря художников Бенези он теперь просит уже по 70 лимонов. Не по карману! Ухожу ни с чем, мучаюсь изжогой и потом. Дома должен переменить все белье.

Заходил брат Экскузовича с чудесным шпицем. Возвращает мемуары Вильгельма о театрах. Иван Васильевич все свое время,

даже по ночам, был занят сокращениями. Данилова действительно отставлена по приказу свыше, в качестве дочери генерала Батьянова (ходят слухи, что и Вед-ринская отставлена как дочь священника). Но, может быть, тут сыграла роль и месть того комиссара, который ей сделал неблаговидные предложения и которого она отшила в слишком резкой форме. Тюнина отставлена как невеста графа Шуленбурга (кажется, уже расстрелянного).

Вечером с молодежью на открытии Арсенала, но на самое открытие мы опаздываем, зато наслаждаемся в Эрмитажном садике, и затем Тройницкий нас всех угощает куличами с земляникой. В упоении обе девочки Серебряковы (носившиеся, как феи, в своих коротеньких платьицах с голенькими ручками и ножками, по саду и бывшему Зимнему саду и затем упивавшиеся лакомствами, сидя на подоконниках на фоне заката над Невой); я набросал изумительной красоты вид из форточки маленького салона Марфы Андреевны, выходящего на Зимнюю канавку. На возвратном пути Атя не попала в один трамвай со мной и была тревога, пока она не приехала со следующим. Мотю Акица, остававшаяся с Татаном, послала к Леонтию, которому вследствие нашего безденежья пришлось отказать в просьбе ссудить 3 миллиарда; фунты, присланные Устиновым, она не могла получить из-за того, что Кесслер болен. На возвратном пути Мотя зашла к своей подружке Феньке, продолжающей жить в «нашем» бывшем доме (где муж ее управдомом) и была свидетельницей ужасного случая. Молодая девушка, проживающая у Феньки, беседовавшая с ними за чаем, вдруг удалилась и через 10 минут сбросилась с шестого этажа (по черной лестнице) на двор. Ее, безработную, несчастную, доконала сестра, неожиданно приехавшая с мужем и детьми из деревни искать заработка… Нашу квартиру отделывает на свой счет какой-то доктор. Весь остальной дом занят по-прежнему матросьем, и там идут сплошные брага и мордобой!

В газетах сообщается, что патриарх Тихон служил в Донском монастыре (при сборе иностранных корреспондентов. Итак, инсценировка!) и что он обратился со словами к присутствующим, в котором еще раз отрекся от политики. В беседах он протестует против своего низложения и вообще не признает новой церкви. Вот где и зарыта собака его освобождения. Это сделано для того, чтоб разжечь смуту в церкви и тоже дискредитировать ее. Выступает еще и здешняя древлеапостольская церковь. Костел, кажется, относится к церкви Введенского, как кальвинизм к лютеранству. И все это всего через каких-нибудь сорок лет со смерти Достоевского!

Среда, 4 июля

Жара, ясно, хорошо. У нас по квартире букеты сирени, попахивает земляничным компотом.

Кончил совсем «Курицу», сделал пакет для отправки, написал письмо Мексину, и Юрий должен был отправить через железнодорожную «артель», но таковая в своем прежнем виде перестала существовать, а новая организация не берет таких больших посылок. Да и за небольшую посылку берет 250 лимонов! Что же делать? Пошел Юрий в Госиздат, но курьер в Москву отбыл вчера, и когда поедет следующий, неизвестно. Не видать мне и этих моих денежек! Неутешительно и то, что, говорят, вовсе остановились сделки на золото (как же я продам свои фунты — мой последний запас?). За них арестовывают, таскают в Москву. И все это — чтобы искусственно поднять бумажные червонцы, которые уже и достигли 800 лимонов (реальный их «черный» курс слетел на 1000, а, говорят, он уже достигал 2000).

В Эрмитаже организую первый «ампирный зал». Решил Хессов не выставлять, зато повесить англичан XVIII века. Боюсь, что не удастся выставить Энгра (гр. Гурьева), на нем большая дыра, а Альбрехт сегодня отбыл на полтора месяца в отпуск. Захожу с Эрнстом в Строгановский дворец, где за отсутствием К.В.Тревера водит Орбели. Среди вещей Пекарского и других, неведомо почему туда попавших, находим два портрета Жерара, один Лефебра и кое-какие примитивы. Орбели робко умоляет, чтобы без Камиллы мы не брали вещей из самой галереи. Она пропадает в Марьино, где переписывает уцелевшую там библиотеку. Кто, в конце концов, автор изумительно совершенных, очень свободных копий лоджий Рафаэля? Несомненно, что это француз и скорее середина XVIII века. Ничего общего с сухостью Меттенлейтера они не имеют.

Захожу в магазин Дациара, чтобы поднести (за полученную еще год назад хорошую большую книгу) хозяину один из костюмов. Он выбрал «портного». Как раз в это время компания оценщиков от Наробраза с Лещей Келлером в качестве эксперта была занята переоценкой поставляемых на продажу предметов, оцененных сначала, сгоряча, слишком высоко. Но и теперь никто их не купит. Это все роскошная, безвкусная мишура 50—60-х годов. Не ходок этот товар и потому, что он считается «краденым». Среди картин — противная м-м Полишинель Байара. Играющий роль переоценщика в собственном магазине — бывший его владелец с горем говорит о том, что им приходится торговать этим ворованным товаром. А как раз скоро исполняется столетие

маститой, честной фирмы. Совсем не идут и «производственные» товары — кисти, краски и т. п. Все это не по карману современным художникам.

Разбитый, возвращаюсь домой. После обеда приходит чета Шапориных. С ней, оказывается, я был знаком в Париже и встречался на вечерах у Жоржа Девальера. Их привели ко мне сведения, будто Дягилев пригласил Слонимскую на гастроли в Монте-Карло. Так вот их кукольный театр, в котором, впрочем, действуют застрявшие здесь куклы Слонимской, и ныне подвизается в Театре юных зрителей, а еще лучше следовало бы пригласить ее, а не Слонимскую. Он много рассказывал про свою кантату в шести частях на текст Блока «Куликовская битва». Одновременно с ними явилась очень сомнительная фигура огромного роста — г-н Мазуров, пишущий под псевдонимом Дэм в «Красной газете» музыкальные критики. Эта образина потрясена известием, что Художественный театр получил от правительства 4 триллиона на ремонт, и больше всего его смущает то, что двадцатипятилетие театра (по случаю которого и ассигнована эта помощь) прошло неотмеченным. Так вот он надеялся узнать у меня, столь близко стоявшего к театру, точную дату юбилея. Нашел, к кому обратиться! Да я не уверен в дате собственного своего дня рождения.

К чаю дядя Берта, который меня не на шутку тревожит не только состоянием своих ног, но еще более — разговором о скором конце и особенным, ему не свойственным, ласковым и примиренческим, очень жалким тоном. Но сейчас он милее, чем когда-либо. В упоении от своего сына Коли, от его проектов и т. д. Коля как раз лишь вчера иронизировал над ним. Его теория: идти вместе с большевиками и постепенно их перерабатывать, обращать к жизни.

Татан был с матерью в Эрмитаже (сам потребовал). Рассказывал затем про «рыцарей на индесталях», зал с фонарем (б. Зимний сад) и т. д.

Четверг, 5 июля

Жарко, солнечно, прекрасно.

Написал по открытке Добужинскому, Аргутону, Аллегри, письмо Мексину. Акварелизовал рисунок, сделанный у Тройницкого. В Эрмитаже пробовал Стипа притянуть к активному участию по устройству отдела живописи XIX века, но его не вытащить из его апатии, питаемой самодовольством, ленью и отчаянием. Возвратившийся Костенко сообщил, что А.А.Смирнов

отбыл в Крым, так как прислал известие, что его долго болевшая жена скончалась, а через день после нее — ее мать. Он, говорят, вне себя от горя.

Беседовал с двумя москвичами (они нас наводняют): хранителем Морозовского музея и более юным Стрелковым. Все расспросы о системе развески — в аспекте искусствоведения. По существу примитивы. В студии Морозова пропели начало: «Карета святых даров» Мериме, «Театр Клары Газуль». Дома дочь Сати-барона с ее сухоруким мужем, притащившим на экспертизу большую картину, подаренную им С.П.Дервизом в качестве Поленова. Ныне они, чтобы заплатить взятку домоуправу на Таврической, пристроившего их, собираются ее продать. Может быть, Поленов, но, может быть, и вовсе иной; весьма несвоевременный передвижник. Сюжет: крестьяне переправляют кустарным способом на коленях бревна через реку. Им дают 2000, а они просят 3000. Так вот, не дорого ли? (Они были очень удивлены, когда я им открыл глаза, что это всего 30 рублей старых денег.)

После них Н.Э.Радлов, с которым уютно покалякали, а затем Каза Роза. Пребывает в отчаянии, что она потеряла рукопись Волькенштейна «Далай Лама», порученную ей для передачи мне. Прежде чем попасть к нам, она постучалась в квартиру № 3, и там оказался проживающим хиромант! По этому поводу Мотя мне сообщила, что колдуна-хироманта поселил Руф со специальной целью устроить так, чтобы наш прародительский дом перешел к нему — Руфу. Это-де все равно рано или поздно случится.

Беллочка Каза Роза рассказывала ужасы про квартирные стеснения в Москве, аресты, ночные проверки со сторожем, понятых. Она же и о выставке Кончаловского, Машкова и Фалька, которые, все трое, снова поправели, особенно Машков, стал специально работать под нэпманов — все масляные натюрмортики. Раддов рассказывал, что Володя Лебедев занялся особым жанром для карикатурных журналов. Он вырезает из журналов фотографии головы и руки, располагает в диком, произвольном порядке и пририсовывает к ним личности. Он пророчествует, что через три года Лебедев обратится к самому трезвому и плоскому реализму. Рассказывал Радлов и о редакторе «Жизни искусства» — коммунисте, кавказце Гайке Адонце, убежденном, но шалом, у которого богатая мать, присылающая ему доллары из-за границы, который здесь и в самое худшее время ежедневно пьянствовал (у него пьянствовали Пунин и комп.), который знаменит своим изречением: «Коммунизм — коммунизмом, но без мамы скючно!»

От компании, пировавшей у Павловой где-то в Англии,

открытка. Среди подписавшихся: она сама, Аллегри, Шаляпин, Дандре. По этому видно, что меня там ждут. Ох, завтра приезжает Кристи, и он должен привезти мою командировку, после чего, не откладывая, надо будет приниматься за хлопоты. А надо ли прибегать к посредничеству Надежды Евсеевны? Кстати, как же мне теперь быть — я совсем иссяк, и предстоят большие траты (под долги).

Наши дамы очень смущены признаниями Марочки Ате, что у нее роман с каким-то юношей, к которому она ездит куда-то в конец Невского. Она же молила портниху м-м Пресс (это уже известие от Матрены) достать ей молодого человека, ее-де Сергей Николаевич (Тройницкий) не удовлетворяет: как ляжет в кровать, то захрапит. Значит, не зря доктор Чератти в Лугано (тогда она была женой Яремича) поставил диагноз, что она эротоманка! Ну, а как же С.Н.? Знает и терпит? При его цинизме — это вполне допустимо.

Пятница, 6 июля

Жарко, ветерок, пыльно, небо в великолепных, очень разнообразных облаках. Акварелирую один из версальских рисунков («нотгафтовой серии»). Решил заняться этим, так как после полученной отставки («вычеркнут» Глазунов) не верю, чтоб с «Щелкунчиком» что-нибудь вышло. Гаук все еще путешествует с балеринами по югу. Ходит слух, что антрепренер несет большие убытки.

В Эрмитаже начинаем группировать картины XIX века в пределах отведенных комнат. Возникает сомнение, как бы академическое и салонное искусство, варясь в собственном соку, не показалось бы слишком приторным и банальным и, наоборот, как бы барбизонские пейзажи не сообщили бы этой комнате нудное однообразие. Пожалуй, лучше все же не слишком строго придерживаться системы.

Долли не явилась, но прислала письмо, подписавшись без всякого на то основания «Долли Лейхтенбергская».

Выходя из Эрмитажа, встретил Атю с Татаном. Я их хотел стащить к Добычиной, но Татан потребовал, чтоб его свели к тете Махе. Позже Атя с ужасом рассказала, как тетя Маха продолжала свои конфидонсы с молодым человеком — «настоящим мужчиной», о том, что Сергей Николаевич ее не удовлетворяет, — все с визгом, с закатыванием и сверканьем глазок, щипками. Как был прав Аргутинский, когда он умолял Акицу не позволять Леле бывать в обществе этой украинской менады!

У Добычиной сидел часа два, но денег за акварели не видно. Вместо них все разговоры: то Кук их берет, то Кунины, то Шимоновы, да вот не знает, из какого расчета биржи платить мне… Тут же говорится, что она нарочно не слишком старается, так как еще момент не настал, а как настанет (я, напротив, утверждаю, что он не настанет. У меня в кассе всего 3500, а еще авось завтра из Союза драм, писателей получу 4000), она сразу эти деньги раздобудет. Рубен поступал в нештатные сотрудники к Нерадовскому и очень заинтересован. Весь вечер читал книгу француза Курье де Мере из Шавоньера — заметки простых очерков, дающие, однако, необычайно яркую картину Наполеоновской эпопеи. Вечер завершился подобием драмы: Акица со свойственной ей стремительностью несла по неосвещенному коридору в неосвещенную кухню еще не остывший завар (Мотя в это время ходила к сапожнику) и на пороге оступилась, чуть не упала и ошпарила себе правую руку. После этого четверть часа трагических стонов моления о помощи (Атя помазала йодом), а затем сейчас же реакция в веселую сторону: хохот до слез и т. д.

Суббота, 7 июля

Жара, душно, все время собирается гроза. Но так она и не собралась. Все в поту. У нас в кухне настоящий журфикс, так как идет глажка, а к тому же принялись готовить… Акица спала хорошо, встала бодро, но потом весь день маялась и после обеда сразу слегла. Призванный доктор Шмидт думает, что обойдется, посоветовал прикладывать лед, но мороженщики прекратили его подавать. Придется довольствоваться свинцовыми примочками. Он считает, что есть повреждение хряща и надкостницы шестого ребра. Пузырь на ошпаренной руке он велел проколоть и это место смазывать. Вот и вышел из строя на время мой главный мотор. Но где же мне теперь набраться энергии, чтоб хлопотать об отъезде? Тройницкий тоже как-то размяк. Был сегодня в Акцентре, но не получил своих денег, забыл справиться и о моей командировке.

Утром почти закончил акварелировать «Бассейн Аполлона» (по моему хорошему масляному этюду, а зачем я столько этюдов за эти годы распродал).

В 12 часов ко мне зашел швед Олаф Оттон Джонсон — круглолицый, безбородый, рыжий детина, который у меня был еще на Адмиралтейском канале. Он интересуется живописью, сам рисует и даже преподает в школах, немного коллекционирует.

Привела его третьего дня тревога из-за найденных им в бывшем дворце Павла Александровича (а до этого бар. Штиглица, а после него еще в 1915 г. — завода Паарвиалайнен) картин Макерта. Так как я знал, что в этом дворце имеется и пленэр Ф.Морэса, то выразил готовность туда за ним последовать. И мы сговорились на сегодня. Но не так-то легко это далось. Бывшая учительница помещенной ныне во дворце современной школы не явилась в ожидаемый срок, и мы вдвоем слонялись по пустым коридорам, полуразрушенным кухням, лестницам и комнатам, превращенным в классы, в поисках той двери, через которую можно было бы проникнуть в замкнутые фасадные парадные залы. «Найти бы только дверную ручку, тогда бы я открыл», — приговаривал мой компаньон, но все ручки оказались вывинченными и исчезнувшими. Наконец, оставив меня одного в одном из чудовищно грязных с «эротическими» надписями на стенах классов, Джонсон отправился на поиски «человека с ключами» и через полтора часа нашел целых двух: одного славного мужчину, служившего дворником еще при Николае, и одного матроса с «клошами» — вероятно, комиссара заведения. С ужасным усилием и после всяких еще переходов они проникли на парадную лестницу с мраморными инкрустированными перилами, а оттуда в приемную с двумя огромными пейзажами — «Моренная долина» и «Буря в горах» в духе нашего Мещерского, и через комнату с эстрадой в столовую (без всякой мебели), где и оказался с одной стороны Макерт, подлинный, огромный и довольно еще приемлемая (какой-то венецианский концерт XVI в. с лестницей, спускающейся к воде, дивная роскошь в понимании 1870-х годов), а насупротив его — несравненно менее приемлемая, но столь же огромная картина — произведение-сотрудничество Лиция-Мейера и А.Вагнера, изображающая «дары охоты» сеньора в костюме времен Карла I (тоже из местных), принимающего приношения своих вассалов, состоящие из оленя и всякой дичи.

Но еще гораздо хуже оказался Морес (позже Нотгафт мне пояснил, что эта картина была лишь начата мастером, а кончена чуть ли не тем же Лицием-Мейером) «Прием Эрота и Психеи в сонм богов» — и по композиции очень банальна, жалкая академическая вещь, под которой я не был бы удивлен найти подпись В.П.Верещагина! Да и по краскам совершенно ничтожна: белесоватые с неуместной, негармонизированной, местами пестрой. На Мореса вообще абсолютно не похоже. Несколько приятнее другая его же картина в читальне (без книг) школы, изображающая Persensbrunen в мюнхенской резиденции. Приятно передана бронза самой статуи, но все остальное в характере

робких, трафаретного стиля театральных декораций того же времени. Ее «придется» взять в Эрмитаж, прочее же оставить на местах, но под надзором музейного отдела или фонда. Парадные апартаменты сохранились лучше интимных комнат, и даже сохранился голубой штоф в угловом раззолоченном зале. Дворник Иван Иванович рассказал нам, что в начале революции сюда (по вселении в 1918 г. правления Паарвиалайнен) был переведен Александровский институт Смольного, и под руководством очень дельного директора это многолюдное учреждение устроилось здесь очень хорошо («даже топили Амосовские печи!»), но затем во время переворота директор был в чем-то обвинен, арестован, институт разбежался, здесь засело матросье и другие воинские части, и вот тогда все было опустошено, раскрадено, разломано…

В Эрмитаже остался доволен начавшейся развеской. Эффектно выглядят Деларош и «Березина» Хесса, которую я хочу хоть бы временно в угоду ее огромным достоинством выделить из (разоренной нами) «Военной галереи» и включить в картинную галерею. Позавтракал у Тройницкого. Марочка tres emoustiller. Директор только и бредит об эрмитажном лаун-теннисе, отрытом вчера во дворе Юсуповского дома. Особенно отличились Суслов и Тепленко (сестра В.В.Мухина — наша делопроизводительша). В саду Зимнего дворца снова встретил Татана с маменькой. Дома спал мертвым сном и читал. К обеду Нотгафт и сама напросившаяся Тася (мы и не собирались приглашать, чтобы избежать обвинения, что мы их «сводили»), Ф.Ф. принес оттиски всех моих «Петергофов». Кое-что очень неплохо, эффектный формат. Сейчас он сам горячо раскаивается в том, что поскаредничал на Версаль. К чаю Стип, Альберт с внуком; Стип и «директор» снова с лаун-тенниса и в поисках жены, которая так и не явилась. Было как-то неуютно. Может быть, из-за жары, но особенно из-за отсутствия слегшей в постель Акицы.

Курьезный фельетон Сафарова в «Правде» о каких-то ультралевых комсомольцах, ополчившихся против всей старой науки и беззаветно верящих в какого-то Енчмена.

Воскресенье, 8 июля

Грозовое настроение. Среди дня — дождь. Душно. Акица почти весь день в постели, и благодаря этому ей гораздо лучше. Зачитывается Тэном. У меня все сильнее болит бок.

Скоропостижно скончался в Одессе, куда он поехал отдохнуть, М.С.Циммерман. Мина, говорят, в большом горе.

Марочка уверяет, что хиромант, живущий нашем доме (с ним Кока познакомился на «рождении» у Руфа — это совсем приличный пожилой господин, эстет, хорошо знает про мою деятельность, тон чуть размягченный, «аристократический»), предсказал ему, что он умрет вдали от своих.

Слава богу — весь день никто у меня не был, и я мог спокойно заниматься. Я уже раскрасил пять оттисков «Петергофа», массу прочел, прокорректировал два акта «Копилки» (может, сделать перевод заново, да и соблазнительно получить тантьемы!). Словом, отдохнул, ибо действительно для меня отдых — работа и устаю я только от бессмысленной суеты. К чаю В.В.Мухин, прослышавший, что мы уезжаем за границу и принесший «на дорогу» фунт конфет, и Сережа Зарудный. До полночи беседовали на разные темы. Мухин рассказывал про старую кредитную канцелярию и про намечаемый ею вариант, в котором он и служит, про валюту. Всего 174 лимона за доллар, когда бы им следовало стоить на уровне нашего золотого рубля, по курсу реальному, черному, как будто он и не котируется, почему и как биржи искусственно вздымают бумажный червонец, удобный для внутренних сделок, для расплаты с учреждениями и т. д., тогда как он никак не котируется за границей, и, разумеется, его золотое обеспечение блеф, почему и в какой степени банковые учреждения занимают старые спецы, каким образом поддерживают разорившую их советскую власть и т. д.

Сережа рассказал о подоплеке помилования Тихона, в котором он видит следствие каких-то мировых интриг и сделок (я не согласен, я думаю, что «уступка Керзону» была сделана только потому, что и «нашим» это было выгодно — в целях дальнейшего растления церкви), о церкви вообще и т. д. Мухин рассказывал о целом ряде новых сект и секточек — со «старцами» во главе. Одна из таких сект на Николаевской имеет огромную популярность.

Понедельник, 9 июля

Солнечная, с восточным ветром и пылью погода. Раскрашиваю отпечатки. Решительно предпочитаю чисто тоновую (а не цветовую) раскраску. Утром неожиданно является князь Николай Голицын (архивист) с сыном Кириллом. Я его не видел с самого 1917 года и считал погибшим, но, оказывается, он, просидев полтора года в тюрьмах и оторванный от своего дома, ныне устроился на Северной (Мурманской) железной дороге заведующим шпалами, ремонтом и т. д. Такой же глубоко печальный, но очень корректный и до странности моложавый

господин (всего на два года моложе меня). Пришли они спросить моего совета, кому и за что бы им продать тканый (русской шпалеры, совершенно изумителен по тонкости нитки и по подбору красок) «Портрет Екатерины II» Рокотова, доставшийся им от родителей. Жена князя живет у Свербеевой-сестры. Ничего толком (кроме восторгов) я им по нынешним временам сказать не мог. До войны такая вещь явилась бы лакомым куском для всех коллекционеров и за нее с легкостью можно было бы получить 8—10 тысяч рублей. Сейчас же «неловко» спросить и одной четверти, то есть 2000 руб., ибо это 1000 долларов, или 174 миллиарда, — сумма, о которой никто даже не думает. Князь собирается все ликвидировать и хочет за границу. Вот бы и взять с собой, но, разумеется, ему такую вещь не дадут вывезти. Он собирался ее нести в Русский музей, но я вовремя его остановил от столь рокового шага.

Как раз теперь на прошлой неделе разыгралась такая история. Какие-то предки принесли портрет дамы Рокотова (по слову Степана, той же семьи), очень неизвестный, очень сомнительный, который фигурировал несколько месяцев у Лиды Козаковой и продавался за гроши. Сычев, занявшийся за последнее время историей русской живописи в XVIII веке и уже будто написавший книгу, которая должна опрокинуть «всю систему Бенуа», пришел от вещи в восторг и обратился к Ятманову с ходатайством ее купить. Но в ответ последовал приказ: картину задержать как нерегистрированный шедевр, а предков угрожает привлечь к суду. При этом и у меня, и у Тройницкого уверенность, что в этом повороте дела — не без личного участия Сычева. Ведь это вообще отличительная черта русских музейщиков — собирательская жадность, доводящая и до поступков весьма противных, естественно, кроме признанных советским правом.

К часу иду в Союз драм, писателей — получить задержавшиеся таланы. Мне воздают ровным счетом 4000 руб., но за что, не сообщают (в телефон Бентовин мне сказал, что это за «Мещанина»), расписываюсь я глухо: в счет гонорара. Ох, какие в этой лавочке препотешные дела делаются…

Сегодня же убеждаюсь, что тот хамовитый господин, которого я принимал за Бентовина — г-н Пальмский. Бентовин же любезный, сухонький старичок с усиками, несомненно, еврейского происхождения. Пальмский не без таланта и на сей раз рассказал курьезный случай с цензурой в ГПУ. На днях прибегает к нему музыкальный издатель Давингер в ужасе от того, что его посетил какой-то опер и констатировал: напечатанное в романсе из оперетты «Жаворонок поет» (текст

Пальмского) слово «Бог» — с большой буквы, и рядом слова «ангел мой» в обращении, кажется, отца к дочери (или любовник к возлюбленной), пригрозил тем, что издание будет конфисковано, а сам Давингер притянут к ответу. Пальмский посмеялся над ним и уверил его, что это какой-нибудь шантаж конкурирующей с Давингером фирмы. Однако через несколько дней сам Пальмский был вызван в ГПУ (в качестве свидетеля), и там оказались созваны всевозможные люди — представители от учреждений цензуры и т. п. — все по тому же делу, о Боге и ангеле. Пальмский пытался устыдить следователя, что до известной степени ему удалось, но вслед за тем снова в Союз писателей явился молодой человек в кожаной куртке.

Пальмский и выпроводил его, укоряя за то, что найденная рукопись романса писана по старой орфографии, тот снова грозил конфискацией, и разговор перешел, наконец, на общие политические, довольно-таки скользкие темы, причем прославлялся чистый вкус пролетариата, противопоставлялся испорченному буржуазному и т. д. Какие дивные темы для сатирической поэмы, для новых «Ревизоров» и т. д. Но, увы, настанет ли тот миг общего просветления, когда эти случаи, возможно, будут оценены по достоинству и найдется ли аудитория, которая посмеялась бы от чистого сердца и с настоящим сознанием над собственной (прежней или хотя бы изжитой) глупостью?

В Эрмитаже Совет. Два года мы терзали Голованя тем, чтобы предоставил под центральную библиотеку бывшую фарфоровую галерею («кабинет» Петра), а теперь, когда наступил момент ему возражать, мы вовремя сообразили (не без моих интриг), что слишком неосторожно предоставить такое чудесное, чисто экспозиционное помещение под книги. Предлагаем Голованю вместо этого бывшую квартиру Д.И.Толстого. Ходили скопом и осмотрели, и заодно посетили бывшие царские конюшни — ныне пустые, отсыревшие, но все еще очень внушительные, особенно благодаря своим гранитным дорическим колоннам, к сожалению (вероятно, при Штакеншнейдере), получившие с двух сторон по вспомогательному столбу, которые поддерживают добавочные арки, поддерживающие лоджии под открытым садиком. В еще более сыром состоянии соседний, очень аппетитный «теплый» манеж. Как изуродован фасад Зимнего дворца — пристройкой несуразного Кваренгиевского «Георгиева зала».

В Эрмитаж явился архитектор Аплакшин (лет шесть-семь не видел). Он служит по железнодорожной части, но читает и лекции в какой-то студии сценических искусств, ютящейся в доме М.Кшесинской. Требует, чтобы я ее возглавил. Я всячески

отказывался, он с наглой, обезоруживающей обожанием настойчивостью продолжал требовать. Так и расстались на том вопросе, что я ему назвал в качестве желательных преподавателей Н.Радлова и СА.Евсеева и обещал впредь давать те или иные советы. В этом он увидел столь желанное ему «благословление». Ну да скоро поминай как звали!

Заевшись у Тройницкого холодного киселя из вишен, пошел со Степаном в Общество поощрения художеств специально, чтобы еще раз посмотреть папочкин альбом (оказывается, что он был поднесен доктору, лечившему отца в Тревести в 1841 году, Морицу Богдановичу Розенбергу, который вместе с папочкой и Халоши, поигрывающему им на гармошке, изображен на титуле готовящим для больного ванную. Ох, ведь все это подробно рассказывалось, но ценнейшее не записывалось, и нынче были эти сведения забыты!), и так в него влюбился, что несмотря на Добычинское молчание и вояжное обирательство, решил его за 1500 рублей купить!!! Завтра пойду и куплю, но тайком от Акицы, дабы ее не деморализовать таким безумием!

Вторник, 10 июля

Жара, душно. Утром Крамаренко с большой картиной, выдававшейся владельцем за Буше — голая лежащая женщина (нимфа) с розовой лессировкой. У Сережи будто я подтвердил это авторство. С ним вместе явился и жуткий брат совладельца, черный, иссохший, истинно еврейского вида господин (фамилию не знаю), очевидно, не решившийся предоставить драгоценность в полное распоряжение. Однако в лучшем случае это Пьер, да и это слишком плохо нарисовано. Крамаренко на сей раз подарил мне каталог распродажи Пальева (1914 г.), экземпляр которого мне в свое время уже был прислан Фр. Милнером. К 12,5 часу в Акцентр, по уговору вчера со Скородумовой, специально, чтобы узнать у нее все шаги, кои следует предпринять для получения разрешений вывезти за границу собственные работы. Миловидная Ольга Николаевна в очень легоньком, коленном платье любезно мне все рассказывает и призывает на помощь заведующего этим делом остроносого, бритого М.М.Милашевского (первого мужа Ирины)… Присутствует особая экспертная комиссия под председательством Школьника и с участием представителя таможни. Я уже устал от одной перспективы.

Забегаю в Наркоминдел (подымаюсь в первый раз после пяти лет их лишения), в Азовский банк, дабы повидаться по просьбе Воейкова[27] с пресловутым тов. Вайнштейном об эквиваленте за

«Поцелуй украдкой», там нахожу Тройницкого, С.Ф.Платонова и хозяина кабинета тов. Х. — молодого, стройного, черного еврея с сумрачным, не глупым лицом. Напротив, сам Вайнштейн «керзонский», не внушает никакого к себе доверия. Это седовласый, курчавый, бритый, длинноносый, подслеповатый, бестолково торопливый еврей — типа фармацевта. Поляк? Продолжает настаивать на двух юсуповских Фраго. «Меч» решительно отказывается (я подошел к самому концу беседы, к уже решенному вопросу), и настаивал на своем списке. Сейчас же беседа на этом и кончилась.

В Эрмитаже — по разборке картин XIX века по комнатам. Ой, трудно! Ой, невыгодно…

В 4 часа студия «Карета св. даров». Все, кроме Ратнера, безнадежны… Спешно отбираю свои этюды для вывоза за границу (завтра понесу в Акцентр). Набирается больше восьмидесяти штук. Надо писать список. К обеду Каза Роза. Сплошная скачущая бульварная болтовня. И вдруг телефон от Добычиной. Она-де продала мои акварели Куку и пришлет деньги в Эрмитаж, что сегодня открытие выставки античных камей. Я, несмотря на безумную усталость, лечу туда. Но никакой Добычной! Так и не явилась. Это меня доконало. Придется спешно продать фунты и рублей 20 золотых.

Среда, 11 июля

Жарко, хорошо. Письмо от Е.П.Аллегри. Мечтает увидеть своего Орестика. Последний был на днях у Коки, а я-то считал, что он уехал недели две назад. Все такой же потешный и милый. Страшно, видимо, горд своим положением отца. Почему он так затерян? Однако сейчас уже все с его отъездом улажено, и они только требуют несколько дней, чтобы выехать. По каким-то намекам я понял, что ему в последнее время очень плохо приходится.

Но почему же он не обращался к нам? Ведь его недоразумение с Кокой, в котором, главным образом, виноват нелепый и злой Киря Кустодиев, их стравивший, давно уладилось! Мне хотелось бы обласкать Орестика и тем хоть как-то выразить папе признательность за всю доброту, оказанную четой Аллегри нашей Леле. Кстати, последний год по тому же смыслу увлечена своим романом. Оттого и не пишет. Расстались мы с Орестиком на том, что он у нас перед отъездом на будущей неделе обедает с женой. У меня очень расходились нервы, отчасти из-за жены, отчасти из-за боли в боку. Посылаю Юрия со

списками своих вещей в Эрмитаж на изготовление еще нескольких экземпляров (надо отдать в Акцентр четыре). Сам захожу туда к 12 ч. и вынужден еще диктовать эти списки, так как Суслов (ох, отчаянно одержимый властностью чиновник!) не позволил это сделать Юрию, с которым он даже не поздоровался.

Выходя из дверей, встретил поднимающихся по лестнице к Руфу двух попов. Тем не менее, еще (пока?) в Акцент-ре сошло благополучно. Узкоплечий, больной, поминутно хватающийся за подложечку Школьник старался быть любезным экспертом: оказался «без лести мне предан» Циммерман, и процедура оценки прошла быстро, причем оба старались оценить как можно дешевле, хотя все равно и по самой дешевой оценке мне было бы не по карману 33 % пошлины, и вся надежда на освобождение от нее, для чего Кристи и повезет их в Москву, и мои списки, и мое ходатайство, обнадеживая со слов О.Н.Скородумовой, что это ему удастся устроить с достаточной быстротой. Большие акварели (стоившие в дореволюционное время по 1000 руб.) оценены в довоенных ценах по 30 руб., другие — по 20, небольшие — по 15 и 10 руб. Рисунки костюмов к «Петрушке» — по 5 руб. Сумма не подсчитана. Это единственный раз в жизни, что я был озабочен тем, чтобы мои вещи сколько возможно подешевели… «Заявление» Кристи я подам завтра.

Захожу к Лидии Карловне и покупаю за 1500 руб. альбом Розенберга. Ох, как соблазнительна еще чудесная книга с раскрашенными гравюрами (предложенная за 650) и «Лев» Бари, оцененный в 850 руб. Но у меня нет денег!

Домой является г-н Биляев — представитель образовавшегося в институте кинематографии «Единого коллектива работников кино» с приглашением принять участие в их постановочных работах и в их журнале. После часовой беседы выношу впечатление, что он хороший малый, и даю разрешение напечатать свою фамилию в списке сотрудников.

Татан восхитителен в полуголом купальном костюмчике. Требует, чтоб его пускали ходить босиком.

Вечером Лаврентьев и Марианна, которая за это время еще похудела. Он все время на нее цыкает и обрывает ее. Видимо, больше затем, чтобы у нее «выбить детские фитюльки» и дилетантизм. Была окончательно покорена. Рассказывал про дурацкий диспут в Думе на тему «Гадибук и Турандот». Она относится довольно холодно к спектаклю Гадибука, он, напротив, очень захвачен его проникновенностью. Но оба признают, что становится невыносимым это превозношение над всем еврейского искусства, разбухшая иудейская гордыня. Были они и на вечере нового артистического клуба «Вольных каменщиков» (куда и я

включен, но куда я не пошел). Там Евтихий Карпов публично спорил с кем-то, полукомиссарского типа господином, расшаркиваясь перед Марксом, твердил о своем превосходном и давнем знакомстве с его доктриной и т. д. Ох, лакеи! Вообще же мы провели с Лаврушей вечер довольно уютно, попивая пиво (подошедший Стип так опился им, что уже отказывался), вспоминали о милейшем Альберте Георгиевиче, о «нашем» бегстве в 1921 году и т. д.

Кока сделал новые эскизы к «Богатырям». Хороша и финальная декорация.

Четверг, 12 июля

День нашей свадьбы. За завтраком рассказывал (в который раз) во всех подробностях об этом высокоторжественном дне, как мы с Женей Лансере, облачившись во фраки и сидя в карете, с огромным букетом, купленным у садоводов, обитавших у «Грота» Юсуповых, выходящем на Офицерскую, дохохотались до слез, как Акица явилась пунцовая и дрожащая в лихорадке (ее экстренно вылечил от ангины доктор Цабель), какие каракули она вывела вместо подписи, как я, голодный, на тощий с утра желудок, набросился дома на конфеты и как потом мне было не по себе, как затем оба мы хворали, как Акица была при смерти, как ее лечил рекомендованный Бакстом доктор Клячко, как непредвиденно, наперекор всем мелочным трусливым экономным собраниям родных устроилось наше… перешедшее затем в формальную и восхитительную…

Сегодня духота, жара почти уже тягостная.

На пути в Акцентр заложу в Губфинотдел, то есть в Госбанк (сильно оживший в сравнении с тем, каким его видел два года назад) купить на 60 руб. гербовых марок.

В Акцентре подаю в руки Скородумовой свое заявление. До Кристи она меня не допускает, я, впрочем, и не порываюсь. По выходе встретил болвана Удаленкова и С.Н.Жарновского. Ругаю первого за «сдачу» Академии. Снова уверяет, что это еще поправимо, что он-де под архитектурный музей уже отвоевал и два больших зала, где будут стоять модели. Вообще же музей русской архитектуры останется на втором этаже. Ну и черт с ними. Надоели! Он клянется, что не за пресловутый западный, он был целиком за наш проект, а провалил его Ерыкалов. Тройницкий первый «ухаживает за футуристами».

Тем более что у меня очень сильно разболелось место моего ушиба о железный занавес. Уж и спросить, не серьезно ли это что-

то? Совсем раскисаю в Эрмитаже, когда явился без закуски в расчете на угощение у роженицы Марочки, но тщетно жду этого угощения до 5 часов (беседуя с Зиной, потом рисовал пастелью в верхнем садике и наблюдал за стрельбой из музейных луков, причем один был сломан четой Тройницкий — Автономов и его помощником) и, наконец, ухожу окончательно раскисший домой.

Марк Философов более подробно рассказывает мне то, о чем уже передавал вчера Платер, которого пригласили какие-то податные чиновники оценить скрипку и прочие художественные сокровища Дервизов. Платер отклонил от себя эту неприятность, и тогда они обратились к какому-то бывшему булочнику, что-то и когда-то коллекционировавшему. Все сошло благополучно. Чудесные лабрадорские вазы были объявлены булонскими «трактирными», а прельстился он лишь картиной Серова и ее рамой (остатки барбизонцев уже давно убрали куда-то в другое место). Из этого случая Марк вынес определенное впечатление, что в этих операциях царит одна случайность, движимая доносами, что никакого аппарата у них нет и что, следовательно, все здесь основано на дрянненьком мелочном расчете что-нибудь урвать.

Домой пришел полумертвый и только что заснул, как был разбужен Кокой, приведшим своего знакомого финансиста Пашковского, устроившего нам продажу нашего золота наивыгоднейшим образом. Я к нему не вышел из-за своего состояния, но Акица нашла, что он очень мил и внушает полное доверие (кажется, бывший морской офицер?). Получили мы за 20 золотых и 5 фунтов золотом 7 червонцев и, кажется, около 250 миллионов. Червонцы стоят 850 лимонов. Из этой суммы 4 миллиарда уйдет на паспорта. На остальное авось мы доживем до момента получения денег от Госиздата или Добычиной, которая «гоняется» за Куком, что, разумеется, не вдохновляет.

К обеду жареная лососина (25 руб. фунт, что при прочих ценах и скачках с сахаром с 35 руб. в три дня на 65 руб. — прямо даром).

Вечером Тройницкий, Тася, Федя, Эрнст, Бушен, Зина, Стип, дядя Берта и Алик — почти все с цветами или с лакомством. Тройницкий положительно переживает медовый месяц с Ятмановым. Жена последнего, оказывается, монашенка Новодевичьего монастыря, которую Григорий Степанович выкрал, в то время как расписывал гробницу генерала Мина. Впрочем, она очень скромная, тихая, скорее милая женщина, не чета мадам Ерыкаловой — та, видимо, сильно давит на своего Васю. Целая драма произошла с Петергофом. Кристи забрал себе в корпусе под Гербом для себя и своих десяти комнат с двадцатью

кроватями, и в том числе теплую кисейную комнату с туалетом. Но оказалось, что эту комнату уже себе облюбовала мадам Ерыкалова и на нее же имеет претензии генеральша Ятманова. На почве этих недоразумений Бернштейну от Кристи так попало, что он вышел из его кабинета красный как рак.

Курьезную историю рассказал Тройницкий и об античном отделении. Все тот же Ятманов обратил на открытии отделения камей свое внимание на чашу с рельефным изображением коитуса — превосходную вещь, но действительно слишком уж откровенно. Вальдгауэр сообщил, что эта вещь выставлена по настоянию Е.В.Ернштедт, у которой вообще замечается эротические уклонения. Так она очень серьезно занялась имеющейся в Эрмитаже значительной коллекцией терракотовых фаллосов и требовала их выставить, причем они у нее были расположены в постепенности их эрекции. Настоящей менадой в курьезном этом мирке является г-жа Бич, пишущая ультраэротические стихи. Двух других сотрудниц как-то раз во время дежурства застали в лесбиянских объятиях!..

В «Красной газете» и в «Правде» по фельетону Троцкого о значении церковной обрядности, о театральности церкви. Все хлестко и необычайно плоско. Нет, он не Бонапарт, и не только потому, что он жид («корсиканец» был немного лучше в смысле национального, общественного признания), и не потому, что его погнали от Варшавы, а потому, что это талантливо: но мелко, легковесно.

Неужели удорожание сахара (как следствие вывоза за границу) и бегство меценатов означает то, что надо переходить снова на режим 1919 года?

Пятница, 13 июля

Какой кошмар! Какой кошмар! Утонул Орестик Аллегри. Утонул третьего дня, как раз в день, когда мы получили письмо от Екатерины Павловны. А я еще на днях имел глупость и необдуманность написать, что он уже на пути к ним. Узнали мы это ужасное известие от его пришедшей среди дня жены, от его вдовы, той не слишком серьезной но, может быть, милой барышни, на которой он женился год назад и которая на Пасху его одарила сыном, названным им Бенедетто.

С женой и этим Бенедетто на руках, пешком (ибо у них не было денег на трамвай) в страшную жару, но веселый… он отправился в среду навестить сестру Ольгу, бывшую чем-то вроде сиделки в сумасшедшем доме на Петергофской дороге, чтобы ее

лечить от безумия. Там они плотно пообедали и сейчас же отправились купаться в канале, ведущем к морю. Параскеву Авдеевну с ребенком оставили на берегу, а Орестик и Олеся разделись и среди копошившихся в воде детворы бросились в воду. Орестик плавал очень ловко и несколько раз нырял, но вдруг (каких-то не более трех-четырех сажен ширина) замахал руками и стал биться. Сидевший неподалеку рыболов, которому стоило войти в воду, чтобы протянуть ему руку, сунул ему только свою удочку, за которую он слабо ухватился и которая ушла в сторону. Тут рыболов стал расшнуровывать сапоги, но Орестик, взмахнувший еще раз, погрузился на дно. Олеся в это время подплыла к этому месту, но, не умея нырять, не могла спасти брата, тем более что пришлось бы маневрировать между обломками затонувшей баржи. И вот был мир, радостный, веселый — и вдруг ничего! Бедняжка убита горем и не знает, что предпринять.

И как раз вчера, на следующий день после катастрофы, приходит из Парижа извещение о посылке им 1000 фр. Теперь она в колебании: ехать ли ей или нет (ее что-то в Смольном не признавали за итальянскую подданную по мужу, но потом признали). Но, кажется, она склоняется к отъезду, так как ей слишком здесь тяжело. У ее отца — игрового человека — очень негативное отношение к их браку. А жили они с Орестиком последнее время у него, распродав перед отъездом весь свой последний скарб. Каково-то ей было возвращаться в этот и без того опостылевший дом, из которого утром она вышла в радостный, свежий день на прогулку с молодым, веселым мужем и куда она вернулась одна, опустошенная горем, разбитая, одна навсегда. И с ужасом она думает о милом своем муже, оставшемся лежать там, на дне, в холодной воде, испытав предельный ужас и горе. Как раз в момент, когда не знаешь, что жизнь стала им улыбаться, все в этой короткой жизни Орестика фатально: отъезд этого единственного удачного члена семьи на войну, его искалечение (контузия, от которой он чуть покривел), его возвращение в Петербург, как раз через месяц после того, что его отец отбыл в Италию в расчете на то, чтобы там его встретить. Поистине такой ужас. Я слушал рассказ, глядел на тихо всхлипывающую вдову и не верил, что все это случилось. Убита, убита и за Орестика и за его отца. Параскева уже известила его письмом. Ужас! Мысль об этом меня преследует, и в том сцеплении ужасов, которые постигли семью Аллегри за последний год, — есть что-то жестоко-роковое и какой-то оттенок кары. Кому, за какие грехи, я не знаю, но отделаться от этого впечатления нельзя, и оно навевает особый мистический страх…

Параскева Авдеевна у нас обедала. Еще одна подробность рассказа: весь день Орестик был занят сколачиванием и раскрашиванием деревянного креста, который он собирался поставить на могиле матери вместо недавно украденного. Это крест был первый предмет, который жена увидела, вернувшись домой.

Вдруг явился Макс Дарский, однокашник Экскузовича, с просьбой прорепетировать небольшие пересказы балетов, составленные И.Н.Ивановым для Америки. Оказывается, нашелся предприниматель, вызвался везти. Для нас-де это при полном отсутствии субсидий — единственный выход, но разве это в связи с продолжающимся сокращением не означает полный крах и не означает ли это ликвидацию и музеев? Среди этих текстов оказалась и «Танцевальная симфония» Лопухова и его же «Жар-птица». Первую я не посоветовал везти, от редактирования второй решительно отказался, да и поняв, чем все это пахнет, и не желая прикрывать своим именем глупости, вытворяемые из «мировой сцены» Хлестаковым-Эскузовичем, и я стал вообще отказываться от всего поручения. Однако Д. пустил в ход всю свою нагло-мелкую групповщину, обещал провести отказ от Лопуховых балетов, и я-де надеюсь на то, что просмотренная мной отчасти программа, увы, будет начинаться с упоминания моей фамилии. На это уже пошел Глазунов, открывший оперные сценки составителем картин Стрельниковым. Будет это подаваться отдельными картинами с общим заглавием.

Вслед за ним — Аврамов с просьбой просмотреть французский перевод моей статьи об Анне Петровне и написать новый для затеянного им переиздания книжки Деньшина. Ох, загубят милую, скромную вещь, слишком ей обрадовались. Он не советует посылать пакет с рисунками Госиздату в Москву, так как там нет денег. И рисунки пропадут, и гонорар не получишь. С Женей Лансере уже выходит целая драма. Несколько месяцев как он подготовил для Госиздата на собственноручно изготовленном литографе иллюстрации к своему путешествию в Ангору, а теперь, оказывается, Госиздат не может осилить это издание, берет лишь большие листы, без текста! Безденежье и здесь у Ионова (который сам снова укатил куда-то, кажется, в Кисловодск).

К чаю Добычина, таскающая теперь всюду на буксире помощника нашего лорд-мэра (шутливая, ею выдуманная лесть, которой она потчует самого Иванова и ему в лицо), известного мне лишь по имени и отчеству Бориса Ефимовича. Ему надо было знать мое мнение, как выкрасить здание Публичной библиотеки. Я посоветовал держаться окраски Александринки. Хотя и будет

пробел в ансамбле благодаря бетонно-каменной пристройке Китнера и трем частным домам в углу, но все же эффектнее, и грандиозное объединение получится. Особенно если и Аничков с его павильоном выкрасить так же… Я вообще был здесь против сада, но если уже делать таковой, то непременно плоской лужей на увлаженной почве, без тех четырех дубов, которых новейший проект городского садовника предвидел на местах четырех фонтанов.

Д. умоляет заступиться за старика Сухова благодаря его якшанью с компанией наших художественных хулиганов (Пунин и т. д.), он сделался жертвой чудовищного мошенничества, продав в 1919 году для их «производственного музея» всю свою коллекцию старины и так до сих пор ничего за нее не получив. Между тем старику есть нечего. Но что я могу здесь поделать? При случае поговорю с Кристи, с Ерыкаловым, но ведь это другое ведомство! Деньги за «Версаль» Добычина обещает завтра. Она словила какого-то инженера Теца (инженер-еврей оказался по кондитерской части, представитель макаронной фабрики Пепо-Ландрина и предприятий товарищества «Пекарь») и берет все.

Днем была у меня Студия. До того я был в Эрмитаже. Там эмоции из-за… Акицы. А Н.Макаров очень нехотя приложил руку к бумаге, составленной Тройницким в добавление к командировке из Акцентра. Эрмитаж-де не встречает препятствий к тому, чтобы секретарь заведующего Картинной галереей А.К.Бенуа отправилась за границу. Но Тройницкий смеется и укоряет, что такой текст ни к чему не обязывает. Акица тоже страшно смущена и предпочла бы отказаться от использования командировки. Но таковая подписка (без наших хлопот и по инициативе Кристи) сделана самим Покровским, так чего же беспокоиться!

Вечером наслаждался купаньем Татана! Он это теперь очень любит, кроме наводящего на него трепет последнего обливания. Ох, трудно будет (особенно Акице) расставаться с такой прелестью на три месяца!

Приходил еще вызванный для моего бока доктор Шмидт. Он думает, что эта боль невралгическая. Более серьезное внимание обратил на мою изжогу, пугая язвой в желудке и даже раком. Прописал целый питательный режим с кашей по утрам, но я ведь наперед знаю, что это я не сумею выдержать и изменить свои навыки…

По словам Добычиной, сахарный песок уже 100 лимонов фунт… Рафинад 120!

Суббота, 14 июля

Жара, но барометр падает. К вечеру заволокло, но дождя не было.

Молодые перебираются сегодня на дачу в Саблино, она нанимает три комнаты у Марочкиных (Пашковская), пьют у нас чай. Больше всего озабочены своей собачонкой Карлушкой, совсем как мы в те же годы пеклись о Бойках, Муриках.

Захожу за Тройницким, и он безропотно исполняет обещание, идет со мной посредником в Смольный. Мои сомнения насчет Акицы — мандата из Эрмитажа — он высмеивает. Советская инспекция без всякого с нашей стороны содействия возвела ее в секретари при заведующем Картинной галереей. В приемной уже видим маленького, чистенького, бритого, полненького, розового, с плотно сжатыми красивыми губами, очень похожего на Купера и при желании на Наполеона, товарища Тейхштеля — главного распорядителя-инквизитора в Смольном. Тройницкий ему кланяется, но тот отвечает пренебрежительным кивком.

Перед входом в «палаццо» Смольного идут усиленные работы по сооружению решетки и ворот, статуя Карла Маркса заменена небольшим его выкрашенным в черный цвет бюстом. Самый Смольный более опрятен, нежели каким я его видел в 1917 году. В просторной комнате № 8, в нижнем этаже налево, за глухой перегородкой с отрытыми форточками восседает комиссия ликвидаторов и барышень. Перед форточкой — длинный хвост большей частью оптантов-чернорабочих, но тут же я встретил и Жесселя, отправляющего свою дочь на дачу в Финляндию, грузного г-на Джонсона, жену А.А. Богданова, еще кое-кого. Из окон комнат — вид на залитый солнцем сад, в котором гуляли институткой моя мамочка, Нурина Оля, Маша и Мила, многие другие родственницы, знакомые и просто прелестные создания. Сейчас он пустой и перерезан широкой, унылой, параллельной фасаду дорогой под самыми окнами.

Первое стояние (около часа) — для подачи товарищу Тейхштелю наших анкет. О ужас, его глаз остановился на незаполненной по рассеянности графе 5 Акицыных ответов. Почему? Чем занимается? Не служит? А почему командировку? Все же подписывает на предмет уплаты налога, но строго предписывает все заполнить. Решили с Тройницким написать так: живет на средства мужа (до 1917 года), помогает ему в работе. Длинное стояние в соседней комнате, где платят по 22 рубля золотом за паспорт, так как какое-то сомнение вызывают мои червонцы, можно ли их принимать? Пропадавший 1,5 часа начальник разъясняет бестолковым дурам, что можно. Здесь без перегородок, зато между пишущими бабами сплошной разговор, смех, флирт с заходящим сотоварищем. Выходит 4 червонца и

200 руб. Забавно, что посреди комнаты на столе показано, где какой тариф, выставляется последний курс.

Когда Тройницкий платил, то таковой менялся (повышен). После этого очередь для приобретения марок (уму не хватило взять в долг у Тройницкого). Снова очередь для окончательной подачи. Тройницкий, сначала забавлявшийся сообщениями всяких справок оптанта и проч. перипетий по персидским коврам, не выдерживает и бросает меня.

Позднее Тейхштель строго проглядывает анкеты, интересуется, чем заняты мои с Акицей родственники. Я не могу указать, чем заняты Миша, Володя. От конфузии называю художниками, и он, как будто удовлетворившись, отпускает меня с обещанием, что 20-го паспорта будут готовы. Тут же встретился и заходит за перегородку, как у себя дома, Макс Дарский. Мне бы пришлось прождать еще час (было уже 4), пока меня не вызвали для вручения квитанций, но Дарский проникает в святая святых и достает их для меня сразу, причем вызывается помочь и в том случае, если бы произошла задержка с паспортом. Он же на авто довозит меня в компании с молодым человеком, русским представителем американской компании, которая приглашает наш балет и оперу; меня он спешит успокоить: «Жар-птица» пойдет в фокинской редакции, и, вероятно, согласятся и на фокинскую редакцию для «Петрушки».

Дома радость — письмо от Мексина: деньги за «Черную курицу» высланы и можно их получить. Вот мы и обеспечены до отъезда, и не нужно больше затрачивать фунты. Зато удручает Юрий: ибо его многомесячный труд — иллюстрации к «Щелкунчику» — как будто остаются без применений (и едва ли он за них получит гонорар). Атины «Дивные радости» тоже неизвестно, когда увидят свет. Почти весь вечер сидел на Кокином балете. Были и Зина, Женя, Бушен, и запрошенная по телефону Добычина что-то путает, мол, покупатель был у нее, но она в это время принимала со двора дрова, и тоже обещает, что вопрос выяснится в понедельник.

В газете последний фельетон Троцкого. Все же не лишенный блеска, но очень пустой, болтовня. Вот этот будет помельче Бонапарта! Совершенно гениально интервью с Сокольниковым, в котором самым наглым образом говорится о стабилизации рубля и других небылицах. Падение курса приписывается ввозу иностранных продуктов, ныне обещает повышение благодаря усиленному вывозу (из-за которого сахар дошел до 100 лимонов, а прежние деньги до 1 рубля). На последней странице объявление, приглашающее нянек, бонн, кухарок и проч. публикации, причем уже не требуется санкция «Биржи труда». Это

ли не победа жизни?

Прочел мемуары Боде о своей пятидесятилетней хранительской деятельности. Любопытны анекдоты о старике императоре Вильгельме (выставлен в симпатичном свете: скромность, вежливость, тонкое природное чувство), о супруге кронпринца (мелочное завистничество, сумасбродная, мятущаяся «империалка»), о нелепом директоре, графе Щедоне, «которого знавал и Липгардт». Поучительно, что ряд лучших своих приобретений Боде удалось сделать выгодно благодаря тому, что вещи считались поддельными или малодостоверными.

Воскресенье, 15 июля

Жара, дождь, посвежело.

Утром заходил Беренштам. Рассказывал о чудесах, творящихся в Петергофе благодаря наплыву экскурсий, приезжающих с пароходами. На днях руководителям пришлось на купеческой лестнице вступить в рукопашный бой и энергично побить несколько «морд», чтобы осадить толпу в 1500 человек, требовавшую войти во дворец сразу. И мордобой только и спас, иначе все бы разнесли. В парках без сторожей идет сплошная ломка кустарников, скамеек и проч., влезают на фонтаны, на статуи. Иногда бывают одновременно тысяч пять-шесть, из коих, разумеется, самое минимальное количество чем-то интересуется, что-то изучает и чем-то наслаждается.

Сейчас Беренштам хлопочет, чтобы ему предоставили еще 500 туфлей, в которых посетители обязаны шлепать по залам. Много у него возни и с квартирами, жены Ерыкалова и Ятманова поссорились из-за кисейной комнаты, и та теперь пустует. Вообще-то поселилась на лето масса народу (характерно, что нам так и не предоставили, хотя знали, что я сейчас не прочь устроить там семью), одна супруга устроила даже в светском доме в Александрии лечебницу.

Пишу письма, исправляю перевод своей статьи, приходится его весь сделать заново. Весь день корректирую либретто балетов для Америки. Бесят выражения — Петроградский академический театр, когда речь идет о первых спектаклях, происходивших в Петербурге в Мариинском театре; «профессор консерватории» Глазунов и т. п. Вообще масса исправлений и вычеркиваний. Наибольший восторг от «Раймонды», от самого балета и даже претензия возвести эту ерунду в перл создания. Такое мнение, раскрывающее всю безнадежную провинциальность балетной среды, вообще царит в этом мире, и я должен такие вещи

скреплять своей подписью! Уморился!

К обеду Александра Павловна Боткина, которую потом мы с Тасей встречали у остановки трамвая на Садовой. Она поправилась, но как-то засушилась. Поразила она нас (как и почти все москвичи, на которых гораздо тяжелее лежит гнет советского режима) своим дотошным знакомством со всевозможными современными нормами по части квартирных прав владения и т. п. Тон к Петербургу такой: вы здесь ничего не испытали, ничему не научились, живете, как буржуи, вернулись к своим преимуществам (последнее, вероятно, из-за Моти, которая уже не сидит с нами и с которой гости не считают нужным здороваться за руку). О посылках АРА говорит с умилением (а получила их всего две-три) и с завистью. Крен в Москве отправил посылки только Остроухову, патриарху, Васнецову и Кастальскому.

Любовь Павловна (Бакста жена) перенесла тяжелую (первую, сердечную) болезнь и горько жалуется на жизнь. Бакст колоссально зарабатывает, но едва ли от этого ей с Андреем будет легче, так как для этого он должен выписать из России еще четырех племянников. А ведь, вероятно, мечталось здесь, что будет кататься в собственном авто. Грусть за те несбывшиеся мечты, коими жил когда-то сам Бакст и женившийся когда-то на Любови более в расчете на то, что у них будут «собственные методы». Тягостное впечатление производят на всех непрерывные шпильки Александры Павловны по адресу Таси, ненависть к которой она не скрывает. Приходится изумляться долготерпенью этой жертвы материнской психопатии. При проводах, из-за Акицы, вздумавшей похвалить при матери Тасю, она доходит прямо до жестокого издевательства над ней, над ее наружностью, над ее элегантностью. Разговаривал с Александрой Павловной про два ужасных ливня в Москве. Даже две бабы с детьми погибли где-то на Неглинной.

К чаю Стип и Тройницкий. С.Н., со слов Нерадовского, возвратившегося из Москвы, рассказывал, что Ленин впал в религиозное помешательство, требует священника, обрядов, молится часами. Вспоминал, что подобное случилось и с палачом Азефом, которого преследовали его бесчисленные жертвы. Он, кажется, даже кончил самоубийством. Интересно было бы знать, что во всем этом не привирание кумушек.

Татан горд, что безропотно принял касторку. Меня мучает изжога.

Понедельник, 16 июля

Чуть прохладно. Наклонность к пасмурности.

С Юрием в Госиздат. В трамваях газетчики выкликают о пятилетии со дня убийства Николая Романова. Никто не покупает.

В Госиздате более часу ждем Прессмана. Наконец, является жидок в белой блузе и напротив садится: касса пуста, а из письма Мексина я рассчитывал получить свой гонорар тотчас же, но обещают к четвергу. Я все же передал ему свои рисунки.

В эрмитажном Совете Тройницкий докладывал о новых поступлениях. Из Акцентра получены две николаевские тарелки с фирмой по Висковатому. Это дань одного польского оптанта, которому их не дозволили вывезти под предлогом их музейной ценности. Позднее узнал, что это Смокальский — представитель и владелец фирмы «Обюссон» — вывез колоссальное количество и керамики, и мебели, и бронзы, и фарфора. Дань, вероятно, была подсказана хитрым Моласом только для декорации. Сам Эрмитаж купил у Тюляхтина отличные натюрморты, один из них с рыбами

А. ван Бейерена за 8 лимонов — часть денег оказалась в кассе от входной платы, другую добавили Кристи и Ятманов. Эта «музейная» картина не была зарегистрирована.

И опять сам Эрмитаж купил отличные восточные вещи от своего прежнего поставщика — абхазца или армянина, вдруг недавно здесь привалившегося на извозчике с примитивными корзинами, в которых все это было, как мелочь-пель-мель, сложено, но ничего не побилось. Куплено за 30 миллиардов (и 25, потребовавшихся на эту покупку, дал Эрмитажу тот же Акцентр из суммы, вырученной от продажи каких-то новых церковных риз).

Петрову я уступил свои сокровища, приобщив за одну десятую прежней цены, ибо нет больше сбыта. Человек этот бывал даже и в Париже. Все это мы приветствуем как прецедент, быть может, открывающий новую эру (но, вероятно, Ятманова все же корчит) в нашей деятельности.

Курьез еще: получены от Рахлина известия, что какой-то благодетель ассигновал несколько десятков долларов (или фунтов, сейчас не вспомню) на содержание ученых в его поместье Новгородской губернии, где его «храм-музей». Ятманов неверно прочел имя дарителя и был очень польщен, что лорд Филлер пожелал открыть благодеяния. Однако на самом деле надо читать «Лой Филлер».

На первой запасной половине бьюсь с первым залом французской выставки, где эпигоны-академисты и салонные элегантности.

Беднягу Липгардта постигло жестокое разочарование. Он

считал, что заплатил 5 лимонов в Акцентр при подаче своего списка на беспошлинный провоз вещей. Он был уверен, что заплатил все, и радовался, а теперь оказывается, что ему нужно платить 14 миллиардов за вывоз своих картин и еще 4 миллиарда за свою рукопись эрмитажного каталога (именно цензуре за труд прочтения ее), а те 5 лимонов были лишь ценой гербовой марки. И вот старик уже отказывается ехать. Да и действительно, откуда ему наскрести такие суммы? Между тем он уже почти все свои вещи распродал и раздарил, ибо хотя он и говорил, что едет, выписанный сыном из Парижа, всего на несколько месяцев, однако очевидно, в душе он мало рассчитывал на это. Профитировали и мы с Кокой от этой раздачи его наследия: каждый из нас получил по два его этюда, а кроме того, и массу фото актрис 1870-х и 1880-х годов.

Пошел с Верейским, Эрнстом, Степаном осматривать отбор вновь поступивших в Эрмитаж рисунков, сложенных в одной из комнат Ламотова павильона, а нас там случайно заходившие в павильон рабочие заперли со стороны единственного выхода в галерею, где раньше висели виды Петербурга, а теперь висят гобелены де Труа. Первый момент был очень неприятный (хотя, разумеется, так или иначе криком из окна мы бы дали знать о своем заключении), но затем все это превратилось в комикоромантическую авантюру. Нашлась форточка в комнате (прелестной, но с протечками от крыши) в верхнем этаже, выходящем на крышу Романовой галереи, и Стип туда вылез, а за ним последовал и Верейский. Рабочие, чинящие крышу на здании главного Эрмитажа, криком указали им путь, как выбраться, и вот наши два героя отправились по доскам без перил, лежащих на гребне Аполлонова зала, по борту крыши Георгиевского зала (оказывается, они говорят: изумительный вид) до какого-то слухового окна, через него — на чердак, на какую-то внутреннюю лестницу в самый низ, где их никто не спросил, и таким образом через дворы Зимнего дворца они прошли на Миллионную и снова в Эрмитаж. Через полчаса мы трое были освобождены. Картина шагающего по крыше царских чертогов Стипа была необычайно живописная!

Дома Рубен с первой партией оплаты моих «Версалей», взятых новым меценатом инженером Гоцем. Он берет все двенадцать, но платит часть — немного меньше половины. В мое отсутствие приходил какой-то Гринберг, писавший мне на днях, что он намерен мне передать 1 фунт стерлингов от неизвестного из Берлина. Я ничего ему не ответил, а сегодня он завез этот фунт сам. Он не знает, кто этот благодетель, но я могу узнать, справившись в берлинском банке.

Вечером Леша Келлер — напомнить о нашем обещании быть у него завтра. Акица поражена его развязностью. Тело Ореста найдено. Оно всплыло во время того, как там купался какой-то матрос, вытащил его на берег. Похороны завтра, но неизвестно, в котором часу и где.

Бари «Лев со змеей» в Обществе поощрения пошел за 850 лимонов. Эх, имей я эти деньги тремя днями раньше, я бы его купил.

Вторник, 17 июля

Ясно, прекрасно. Утром Беренштам. Тоже не знает, когда хоронят Орестика. От своего сына, побывавшего в Лигове, знает, что тело найдено в скорчившемся виде. Несомненно, его погубила судорога. Это тем более вероятно, что он вообще ею страдал всегда, опасная, особенно во время купания.

Утром Крамаренко принес мне в дар каталог и два рисунка Блумарта… Но как раз Стип мне жаловался на Крамаренко за то, что он ему не продал этих Блумартов, и посему я счел нужным отдать один (женский) Степану, которого я встретил в Русском музее, куда отправился в послеобеденное время на заседание (для того только, чтобы подвинуть дело с передачей нам Лихачевских примитивов и Горчаковский портрет Кабанеля). Пришел пораньше, но никого из хранителей не застал. Затем подошел Нерадовский и, наконец, к 3 часам сошлись и другие. Среди них и намеченный мной Костенко, который уже заигрывает с футуризмом. Заседание было, как всегда, необычайно нудным и тягучим, и я ушел в 4 часа, не дождавшись конца.

Тягостное впечатление производит глухая грызня Никифорова между Сычевым и Нерадовским. Второй пробубнил какие-то упреки по адресу первого за опрометчивость, приведшей к аресту Рокотова, причем с особым удовольствием проязвил, что злополучный Рокотов оказывается копией с известного оригинала у Фаберже. Сычев неуклюже оправдывался, уверяя, что о приобретении и речи не было. На мою просьбу передать примитивы Сычев повел целую рацею, смысл которой сводился к тому, что Эрмитаж не дал с выставки церковных ценностей С.Ушакова, и это требует репрессалий, но в конце концов после всяких закавык и крючкотворства они оба все же пришли к тому, что я могу осмотреть примитивы и отобрать — благо санкция Совета давно уже имеется — те, которые Эрмитажу нужны. Я бы это сделал сейчас, но торопился домой, где думал, что меня ожидают студийцы. Но, очевидно, я напутал: они не явились.

Меня начинает пугать капризность и нервозность Татана, усиленно опекаемого баловством бабушки. В честь ее они и проявляются. Он не отпускает ее ни на шаг, и, чуть она отлучится, как он уже истерично восклицает: баба, баба, где ты? И начинает ее искать по всей квартире. Что же будет, когда она уедет? Во время обеда милый Альберт с представителем Географического музея, профессором К., пожелали и мне заказать ряд таких же этикеток, какие делает в Богуславском комитете (получу по 25 руб. за 30) Альберт. Я отказался, но направил их к Зине, сидящей буквально без гроша и без надежды его получить. Недавно отказалась от заказа, раздобытого ей Костей Сомовым, — сделать за 25 лимонов портрет какой-то покойницы по карточке, и мы ее за это бранили, в то же время любуясь ее intransigence[28]. То же, но уже с меньшим основанием, ибо работа, предложенная Географическим музеем, гораздо интереснее и приятнее, она обнаружила и на сей раз свой скептицизм.

Вечером я со Степаном у Лешки Келлера (Акица, которая его недолюбливает, не пошла). Изумительно циничная грязь в квартире, в столовой. Лучшие вещи сгруппированы тесно в трех комнатах, другие совершенно пустуют. Словом, иллюзия 1919 года. Мать очень постарела, обрюзгла, но все еще определенная блондинка и говорит детски-сладким голосом. Угостили нас вздутым — брагим — кексом. Несмотря на утрату целого ряда лучших своих вещей (восточных), у них и сейчас масса очень ценного и редкого: целый шкаф саксонской посуды первых эпох А.Р.Бетхера, две китайские вазы с малиновым фоном, бронза, статуэтка Пигаля, Магдалина у подножия Креста (сам распятый сломан), нидерландская резьба из слоновой кости самого начала XVI века, прелестные акварели Джиганте и т. д. К сожалению, удовольствие от лицезрения (и трогания) всех этих вещей испорчено неуютностью обстановки и плоскими шутками самого Лешки, необычайно довольного собой. Акица тем временем пошла к вдове Орестика на Верейскую, но она еще не возвращалась с похорон. Отец ее служит на «Скороходе», зовут его Плистин.

Кончил «Атлантиду» Пьера Бенуа. Мне впечатление от этой вариации на Армиду и Цирцею испортил фильм. Я все то же самое реальное ощутил при помощи экрана — любопытно, что читавшие сначала роман утверждают, что им было испорчено впечатление от фильма.

Среда, 18 июля

Прекрасный день. Вдова Ореста была без меня. Похороны состоялись лишь в 8 часов вечера, и пришлось везти очень далеко на кладбище. Труп нельзя было выпрямить, так, скорчившимся, его и положили. Весь он черный, лишь пятки белые. Параскева Авдеевна уезжает, но хочет по прежнему проекту использовать помощь итальянского консульства и ехать вместе с другими итальянцами. Каковы-то будут условия, как бы не убила ребенка. Акица ссудила ее небольшой суммой. Брат Миша бодрый, хотя и не пользуется дачей, с чем уже примирился. Семья Фроловых и его Миша живут в бывшей конюшне Леонтия, которую они уютно приспособили! Единственное, что беспокоит, — это дрязги молодежи с поселенными на даче Миши рабфаковцами и особенно более многочисленными рабфаковками (почти все иудеи). Как бы не пришлось крестить?

В Эрмитаже вожусь с распределением картин XIX века из половины немцев и нидерландцев. Нотгафт презрительно оглядывает и молчит. Меня это раздражает. Возвращаюсь разбитый. Студийцы. Все же увлекательно работать с молодежью, которая так и пьет каждое слово. Кончил беседой о кинематографе. Все они им увлекаются и в то же время боятся его же конкуренции.

Во время обеда Н.И.Комаровская из Петергофа, от которого в поэтическом восторге. Восхищение от Гадибука! Рассказы о К.Коровине, с которым она не была венчана. «Он ее взял сразу». У нее имеются сведения, что Хохлов сблизился с Канторовичем (Тройницкому же он говорил, что уезжает из Петербурга, будет работать в кино, за границей).

Акица была сегодня у Руфа платить за квартиру (всего 750 лимонов). Он в анкете о жильцах обозначил Тоню как проститутку, и, действительно, она очень падкая на мужчин и заманивает их, сидя в своем окне (в первом этаже). Теперь ее вызывают на Гороховую, и они в заговоре с чудовищной Марьей Максимовой (бывшей кухаркой, ставшей чем-то вроде барыни, выйдя замуж за покойного археолога Пекарского (в фамилии не уверен), и с другим квазипроле-гарским элементом дома собираются на него донести.

Четверг, 19 июля

Душно, сыро. Раскрашиваю последние три оттиска Петергофа. С Тройницким, который ждал меня в Итальянском скверике, к Кесслеру. Очень любезный прием, обещает мне все сделать и не брать с меня за визу, как уже не взял с Тройницкого.

Точных сведений о пароходах не имеет. Но, во всяком случае, устроит меня, если я не уеду до 26-го на Frachhoet'e. Повел нас (несмотря на час приема и многочисленных кандидатов войти в его кабинет) наверх показывать новые приобретения: бюст мадам Дюбари, оказавшийся отвратительной ремесленной копией (с Пажу) какого-то Пуги. Тут же представил супруге — маленькой, робкой женщине с короткими ручками, одетой в пеньюар и занятой корреспонденцией. Разговаривал с большим жаром о затеянной, благодаря энтузиасту Беренсу, иконной выставке в Берлине, которой очень интересуется его приятель Сильверт (к нему он нас направляет для получения бесплатного входа в музей и т. п.), ныне, однако, сильно разочаровавшийся, так как дело вступило на более реальную почву (Беренс сейчас же в кусты), и, оказывается, потребовало бы огромных денег. При этом Кесслер чисто по-гвардиански назвал самые священные экспонаты «diese Biester»! Он утверждает, что Рахлину, благодаря музею, он же все и устроил, но там что-то не вышло, и тогда вплели Евгения Семеновича.

Если в четверг «Шлезвиг» не придет (обыкновенно этот пароход приходит за два-три дня, а в Неве стоит только часов 12, не больше — власти не позволяют), то он предлагает нам ехать на «Клеопатре», в пятницу. Но там билет дороже (8 вместо 6 фунтов с человека). На этой «Клеопатре» прибыл сюда молодой ученый по художественной части, помощник хранителя Любекского музея доктор Банх, направленный к Жарновскому их общим профессором Гольдшмидтом. Прибыл этот довольно тонкий и приятный (несмотря на преступный вид: черные его волосы растут над самыми бровями, раскосо поставленные глаза), ежедневно нас в Эрмитаже посещающий и пребывающий в изумлении от наших сокровищ молодой человек лакеем (стюартом) на пароходе, и когда «Клеопатра» снова отправится обратно, он наденет фартук и будет подавать котлеты. Очень современно! А был он офицером подводного флота.

В Эрмитаже посвящаю себя Жарновскому, то есть тем залам Первой запасной, которые я предназначал итальянской школе, которые поручил ему. Липгардт как-то совсем изнервлен реставрацией, из которой, увы, ему до сих пор ничего путного не удалось сделать. Нотгафт дает мысль, лелеянную мной в самом начале, но на которую у меня не хватало мужества. Весь первый зал отдать Беллотги и развесить там всю Дрезденскую серию. В случае можно добавить Маньяско. Оливовские Тьеполо — Каналетто, его маленькие ведуты, возможно, в следующем зале — среднем. Для Лондонио я заказал новую раму вместо столь грубой 1830 года, которая особенно делает его картину похожей

на произведение XIX века, на Клауса, и что, конечно, вредит ему в глазах двух наших передовых эстетов.

Несмотря на работу в ходу, у меня выклянчили разрешение гулять по этим залам двум каким-то московским дамам-хранительницам каких-то музеев и товарищу Терновцу. По глазам вижу, как в душе они ко всему здешнему и ко мне лично относятся неодобрительно.

Увы, Тройницкий еще не написал Кристи о беде с моими работами, которые я хочу вывезти. Прихожу домой — и горькое разочарование. В Госиздате опять не оказалось денег. Является Деньшин. Увы, Аврамов переиздает его книгу не целиком, а делает ее «производственной», чуть было не «научной». Вместо рукописного стиля текст будет попросту набираться. А я-то в своей статье рассыпался, главным образом, по адресу «очаровательности» перед всеми ее примитивами и т. д. Мне теперь не переделать! Сам Деньшин женился и руководит (но не состоит в штатах) мастерской игрушек при Обществе поощрения художеств. Хотел бы послать экземпляр своей книги в Париж. И вообще, у этого тихого провинциального человечка гораздо больше стремления и деловитости, чем это сразу может показаться. Пожалуй, даже если поцарапать, то окажется и «гений-самородок» во вкусе Татлина.

Рассказывал он мне о больших богатствах в Кустарном техникуме — так называется бывшая Шнейдеровская школа у храма Воскресения (кажется, там занимаются прилипшие к стенам, как мокрицы, Гауши); богатства в смысле изумительных предметов народного творчества — ковров, гончарных изделий и т. д. Однако комиссар-коммунист собирается оттуда выжить директрису Доливо-Добровольскую и коллекцией распорядится по-своему.

К обеду — мой любимый холодец. Купочка (Татан) несносен со своими капризами, вызываемые его обожанием бабушки и весьма поощряемые последней. Впрочем, сегодня она его очень утешила, купив ему (за 30 лимонов) катальный обруч, который он с уморительно неловкими жестами, затрачивая неимоверные усилия, и катает.

Вместе с Зиной Серебряковой и Атей-дочерью идем к Косте Сомову. У разрушенного дома, рядом с тем, в котором живет брат Миша, толпа глазеет вверх и обсуждает только что произошедшее несчастье: обвалился карниз и изувечил троих детей. Таких случаев теперь во всем городе — бесчисленное количество. У Сомова застаем еще Бушена, а гораздо позже подходят еще на огонек Добычина в крашенных вороненым крылом волосах, с Петром и со своим новым чичисбеем Борисом Ефимовичем —

помощником лорда-мэра.

Костя показывал свои новые вещи: небольшой, очень мелко выполненный, не лишенный декоративного смысла натюрморт и вид из окна на деревья канала — запоздалый экзотический шедевр. Да и то все же не хлам, потому что обратился к натуре. Хоть бы обратился в то же время и к акварели, а то меня ужасно раздражает его подносная масляная техника. Показал и композиции в подражание Александру Бенуа или Буше — балетную сцену с оркестром на первом плане. Красиво кусками, но, в общем, чересчур глуповато.

В тоне Анны Андреевны, в ее разговорах о Париже подмечаешь все ту же недоброжелательную (почему?) ноту в отношении нашей Лели. Радуется тому, что мы увидим в Париже… Лобойкова. Костя жаловался на отсутствие «меценатов». С марта он ничего не продал. Его приглашает в Америку какой-то американец. Ох, всем нам нужно отсюда бежать! Зине первой, но безумная и там будет сама портить все свои дела!

Пятница, 20 июля

Сыро, дождь, тихо.

Запрашивал из Эрмитажа Смольный, увы, паспорта еще не готовы! Тройницкий только сегодня послал письмо Кристи. Безумно устал, устраивая Первую запасную половину. Бесят эстеты — Иван Иванович и Федор Федорович. Последний уже нашел презрительный термин для большого малинового зала, где я сосредоточил «германское» искусство средины XIX века: «Искусство кадрилей». Негодует, что среди Ахенбахов и Кнаусов фигурирует наш единственный Фейербах. Точно он так уж от них отличается! И точно Фраго и Буше плохи потому, что они из поколения, сформированного упадком.

Тройницкий видел вчера в Акмакульте Филонова с диссидентским настроением, который отозвался довольно снисходительно обо мне, но пожалел, что я погубил русскую бытовую живопись! О, поневоле комментарий не в мой адрес! Никто не помянет, что я единственный ратовал за бытовую, нетенденциозную, публицистическую живопись. Характерно и то, что Филонов теперь о гибели бытовой живописи плачет. Ох, ирония судьбы!

В Эрмитаж является уже после прогулки фрау Кесслер с двумя очень невзрачными дочками (у одной зубы в ка-кой-то странной оправе!). Мы им показываем серебро и драгоценности. Тройницкий на сей раз распорядился разложить последние в двух витринах, но все же не может утерпеть, чтобы не перебирать их руками, не швырять их. Это у него своего рода кокетничанье, которое меня ужасно бесит. Бушей говорит, что после каждого осмотра ряд вещей изувечен. Дамы глазеют беспомощно, и в общем вся эта суета мне ужасно напоминает приезды высочайших особ в былое время.

Александра Павловна вчера обедала у Тройницких, всех возмутила своим обращением с Тасей. Она при всех грубо ее высмеивает, и вообще тончик у нее озлобленный в отношении всего здешнего.

Явился и Хохлов и усердно поддерживал свою тещу (Кока говорит, что Хохлов сейчас грубо подмазывается к главрежу). По сведениям Тройницкого из Сорабиса, Зубова удаляют из его института и вместо него будет посажен…

Исаков! И этот идиот Тройницкий в своей злобе к Валечке этому радуется! Даже так и выразился Наумову. Тот же Сергей Николаевич специально туда сегодня пошел, чтобы насолить

Л.А.Ильину. О, как прав был Врангель, назвав его Собакевичем. И как путает представление о нем вся его декоративность: борода, прямой рост, великолепие осанки. В общем же, как послушаешь таких самодовольных фразеров, так хочется плюнуть на все и бежать! Но меня он любит и опекает… Еще меня бесит Тройницкий своим культом Марра, которого он сам же все время высмеивает и провоцирует на всякие глупости. Батеньки! Кавказец, помешанный на будто бы сравнительном языкознании, давшем простор фантазированию, имеющему видимость (чисто мольеровской) научности, необычайно легко поддается на эти провокации и по поводу одного слова, а иногда и звука, готов пуститься в дьявольские дебри и жонглировать и богословием, и философией, и естественными науками, и этнографией. Я убежден, что во всем он чистейший дилетант, а местами и не без шарлатанизма. С упоением говорил о международном значении культа св. духа и т. д. И все это по поводу плохо расслышанного им шутливого замечания Тройницкого.

Вечером мы все у Добычиной. Освещение как днем. Масса гостей. Данино рождение. Хозяйка вся радостная, вся светилась, в какой-то белой распашонке с голыми руками, бурливая, крикливая, неистовая. Ужин и выпивка не слишком и черт знает как собранные, но радушия — хоть отбавляй… Меня она познакомила с новым меценатом г-ном Гецем. Разумеется, еврей, но тихий, видимо, не глупый, вовсе не инженер, а кондитер, заведующий фабриками Ландрина «Пекарь». Собирает живопись и эротику. Надежда Евсеевна чуть было все не испортила (и меня не взбесила), когда стала мне снова навязывать уплату дровами и всякой натурой. Но я остался на своем — на требовании денег, и, кажется, он собирается взять не только те двенадцать Версалей, которые у нее на комиссии, но и те, которые он еще не видел (надо будет их сильно раскрасить). За ужином я сидел между хозяйкой дома и Каратыгиным. Вячеслав Гаврилович заседает теперь в тройке КУБУ вместе с Исаковым и Гайдебуровым. К первому не питает никакого доверия.

Браз под музыку, ноты которой он притащил с собой, вместе с Бразихой демонстрировал модные танцы, коими они выучились в Берлине. Надо видеть серьезность, с которой они священнодействовали, что, впрочем, вовсе не отменяет у этого упражнения его ультранеприличный характер. Точь-в-точь наши прародители во время грехопадения, и у Лолы как следует застылое и «еретическое» обостренное сосредоточенное лицо. При этом беспредельное самодовольство.

Возвращались вместе домой (часов около 3-х), он мне все время хвастал, что он-де был всегда отличным танцором, но от

старых танцев у него кружилась голова, а вот эти ему очень по душе, и он им в совершенстве выучился очень быстро. Однако фокстрот и танго у них не вышли. Тут же во второй паре летал и семенил ногами Бушенчик, но Бразу, видимо, эта несерьезная конкуренция не нравилась.

Утром был у меня Володя Фролов. Он восторженно рассказывал о деятельности пылкого энтузиаста Прокофьева, обновившего Радищевский музей. Из Володиной затеи превратить Сапожниковский дом в Астрахани в музей ничего не вышло, ибо того купца, который должен был его субсидировать, расстреляли, да и семейный дом сейчас совсем разорен и запущен. Промыслы по-прежнему в руках правительства, которое их эксплуатирует вовсю и наперекор мудрым правилам, выработанным вековым опытом, и все же они не получают и одной четверти выручки. Ужасный трепотаж вокруг.

Тройницкий рассказал еще сегодня о том, что Воейков как-то в прошлом году вдруг высказал сомнение: убиты ли все великие княжны, и даже уверял, что Анастасия Николаевна целый год укрывалась в Москве, власти это знали, но не могли ее найти. А потом арестовали, но что с ней сделалось, неизвестно. Странно, что это говорит человек, считающийся подписавшим смертный приговор Николаю II. Или это пустое и немного полоумное (чисто расейское) краснобайство!

Акица очень обеспокоена за дом вследствие истории Тони с Руфом. Как бы последнего не притянули по ее доносу. Все какие-то истории с вывозом мебели бывшего правления механических заводов.

Суббота, 21 июля

Солнечный день. Западный ветер. Удивительные облака.

Только сегодня узнали о смерти Володи, случившейся вчера в Крестовоздвиженской больнице. Водянка все же задушила. Мой лучший друг отрочества, компаньон всех шалостей и выдуманных затей, начиная от неосуществившегося, но столь подробно обсуждавшегося путешествия на лодке по всем водным системам до самой Астрахани и кончая грандиозной постановкой «Дочери Фараона» в моем кукольном театре. Этой дружбой, в сущности, я обязан и своим сближением с Акицей. Наш первый период романа протекал одновременно с его романом с подругой Акицы — Лизой… И вот странно: сейчас не чувствую никакого огорчения. Ходят слухи, что его доконала дочь Варя, ушедшая из дома, бросив своего полуслепого (от войны) мужа и маленькую девочку

с тем, чтобы последовать за своим любовником — жестоким коммунистом. Завтра похороны. Не очень приятная перспектива такого смотра родственников. Иначе говоря, людей, якобы тебя близко знающих, недоброжелательных и, в сущности, совершенно чуждых.

Раскраска «Бассейна Бахуса». Весь день потерял в Акцентре. Пошел просить Скородумова о том, чтобы он поговорил по телефону с Кристи о моем таможенном недоразумении. Еще вчера Кристи прислал выписку из добавочного постановления Совнаркома (или ВЦИКа, или чего-нибудь другого Верховного), согласно которому художнику не надо платить пошлину за свои произведения. Кристи ее прислал, считая, что тем самым я уже освобождаюсь от пошлин. Однако, по-моему, в этом же постановлении три слова меняют суть дела: «едущие по командировкам комитета последнего». И вот я хотел, чтобы были получены еще разъяснения, и предпринять необходимые соответствующие шаги.

Бывающий по средам и субботам в Акцентре представитель таможни любезный товарищу Богушевский подтвердил, что я освобожден, и мне тут же приготовил какую-то бумажку, изложив в ней мой список (еще один экземпляр здесь оставил), наклеил на 69 коп. марок, и я, ликующий, полетел в таможенный округ на Михайловой улице к товарищу Ярмоловскому за визой. Возможность отплытия сразу придвинулась: я еще поеду с Тройницким в будущий четверг. И вдруг горькое разочарование. Надменный поляк товарищ Ярмоловский, когда дело, после ряда польских оптантов, у которых были бесконечные списки вывозимых ими вещей, дошло до меня, только взглянув на бумагу, презрительно ее отверг: «Это в Москву, это не сюда». Я попробовал было сослаться на авторитет товарища Богушевского, но это только его раздражило: «Вы русский гражданин или вы оптант?» — «Я русский гражданин». — «В таком случае мы здесь ничего не можем сделать, это подлежит ведению Москвы». Пришлось вернуться в Акцентр, но тут в течение 1,5 часа началась потеха. Товарищ Богушевский, не пожелав согласиться с товарищем Ярмоловским, решил познакомиться с точным текстом присланной Кристи бумажкой. И вот сколько ее ни искали, как друг другу ни объясняли и ни грозили, как ни рылись даже в ящиках уехавшего на дачу Миклашевского, бумажку все же не нашли. Дело дошло до общей ссоры и до скандала. Вспоминаю, что копия с этой выписки была вчера послана в Эрмитаж. По телефону прошу Суслова ее найти и мне прочесть, но и копия не находится, ее-де унес к себе А.Н.Макаров, ушедший вместе с директором в обход по Зимнему дворцу. Проходит еще три

четверти часа в поисках Макарова. Я, наконец, ухожу и только позднее узнаю, что бумажка нашлась у Тройницкого, но уже слишком поздно, и Богушевский ее не дождался. Нет, в четверг не уехать! Теперь вся надежда на то, что Скородумов завтра переговорит с Кристи по телефону и авось он в понедельник выправит мне командировку. По-видимому, и во вторник я ее не получу… Но что за извод нервов для того, чтобы провезти свои собственные вещи! Вот когда чувствуешь себя государственным крепостным…

На заседание (с А.Н.Боткиной, посвященное изданию собрания Сергея Сергеевича) я не в состоянии идти, и с Бушеном на двух трамваях отправляюсь домой. У Тони смущенный вид, и она мне рассказывает о том, что происходило с ней на Гороховой. К ночи разразился страшный скандал во дворе. Подвыпивший Руф решил провести фронтальную атаку и отказался впустить в дом Тониного «настоящего мужа»… Который? Одно время был председателем в пресловутом правлении «Точной механики». Так и не впустил.

Крик стоял на весь дом: «Я не позволю устроить бордель из нашего дома!» — орал Руф. Также и ее полюбовник, которого не сразу удалось спровадить за ворота; осыпали его ужасными ругательствами, грозили судом и расстрелом, разоблачениями какой-то странной вещи в отношении вывоза мебели правления и т. д. В качестве «военной связи» каталась взад и вперед по лестницам жена дворника Дуня, державшая всех в курсе последних новостей.

Приходил Тубянский, но я его не в силах был принять из-за своих нервов. К чаю Эрнст и Миклашевский. Последний мечтает удрать за границу, где у него в Белграде родной отец. Но как ему, военнообязанному, убыть? По уходе гостей составлял опись отборной папки.

В Акцентре встретил сегодня Павлика Шереметева. Несчастный ходит туда, чтобы выклянчить свои этюдики, застрявшие во дворце на Фонтанке, и какой-то сундук с бельем и с «тертым смокингом». Но Етманов, как Павлик его назвал, был до сих пор непреклонен: «Это теперь все государственное», — и никаких. Наконец сегодня Момону удалось ублажить нашего генерала (он ему импонирует своим элегантным подхалимством царедворца и подлинной деловитостью), и милостиво Етманов разрешил этюды. Но более ни за что, тут-де замешано ГПУ. И Брюс, и Бенуа, и Деникин, и Шереметев благородный! Стоптанные сапоги, старенький костюмчик и главное — тон. И уже непременно по-русски нужно *еще оправдывать* своего утеснителя: «Он-де, по-моему, прав, я-де его понимаю!» А тут же

П.Д. очень обеспокоен, как бы получить золотые ключи от Риги, с большим трудом добытые Тройницким из Госхрана, в Шереметевский дворец, а также все лучшее из дома АД.Шереметева. Живут они в Москве друг на дружке, ужасно тесно, но массу хороших вещей им удалось сохранить за собой. Сам он больше живет в Остафьево, где у него масса прекрасного. Да еще сильно похож на государя, и даже брови стали расти такими же пучками, как у Николая II.

Воскресенье, 22 июля

Чудный день. Кончаю «Пирамиду под снегом» и начинаю «Вечер у философов». Конверт с адресом рукой Валечки, а внутри — одни лишь вырезки газет, рассказывающие о каком-то грандиозном празднестве с балетом, устроенном Дягилевым в Версале. Почему-то меня это очень огорчило. Вторжение в мою атмосферу. Да и в отсутствии препроводимого письма усматриваю в Валечке удавшееся желание уколоть. Да и наверное испортил то, что я мог бы сделать действительно хорошо. Зачем не подождали меня? Но еще более злит тон самих заметок — так и пахнут Парижем, эстетической пошлятиной из «Комеди» (одно название!), «Фигаро», «Эхо Парижа». Я это ужасно перерос. Впрочем, я никогда не мог и прежде без омерзения читать и слушать, а теперь это будет уже прямо тошнотворно!

С Акицей и Юриком к 2 часам на похороны. Простились с Володей (так, еще жив отец Карл Иванович), покоящимся в гробу (очень ясный и свежий вид после того, что из трупа выпустили воду). Последнее время он больше пребывал в беспамятстве. Умер совсем тихо. Выпив молока, сказал: «Ну, теперь мне совсем хорошо». Пастор произнес слово и трафарет лютеранской надгробной речи с ее постоянными ударением и задержкой, показалось особенно напыщенной пустыми словами благодаря «русскому языку». Но покойник любил как раз этот стиль. В своей бесконечной сердечности, с наивной доверчивостью он наделял и самые избитые трюизмы новым свежим содержанием (нечто подобное составляют и одну из главнейших прелестей моей Акицы). Сам он на семейных обедах и торжествах любил говорить несколько напыщенно по форме, но совершенно искренне по подбору слов, и очень оценивал подобные же выступления других, хотя бы и самые банальные.

Вообще Володя был чудесный человек, и, может быть, я бы дружил с ним и в последнее время, если бы не его родня по жене — очень почтенная, но чересчур мелкотривиальная, типично

чиновничья («до надворного советника и не выше»). Впрочем, своим дочерям он вздумал передать нечто особенное и более Киндовое, нежели Кузьминское. Все они по матери имеют что-то иностранное — известную деликатность, выгодно их отличающую от матери, добрейшей женщины и прекрасной его подруги жизни. Но из всего вид еще более вульгарный…

Прощание с телом вышло раздирающим. Насилу вдову оттянули от гроба, за который она цеплялась. Духа никакого.

Только чудесно пахло жасмином. Путь за гробом (все было скромно, но комильфотно, не то что похороны Густа Вальдштейна) по великолепной погоде показался не особенно утомительным. Везли его случайно мимо всевозможных мест, в которых он рос, в которых прошло наше детство. Встреча и общение с родственниками оказались менее тягостными, чем я ожидал. Только семейный и примиряющий дух Володи веял над нами. Даже Соня не пустила ни одной шпильки по адресу «богатых, забывающих бедных». Я беседовал с очень приятной дочерью Коли Кузьминского, скончавшегося месяца два назад (его жена, урожденная Тюнтина, скончалась за насколько дней), и с дочерью Володи Маней, у которой очаровательная маленькая, необычайно шустрая и живая дочка, похожая на Акицу. Ее муж — приятный человек с глубокими темными глазами, офицер Красной армии, одно время случайно находившийся в непосредственной близости Троцкого, с восторгом отзывается о нем как о гениальном военачальнике. Мечтает дать дочери образцовое воспитание.

Самое замечательное, что место для погребения нашли на Смоленском кладбище *бок о бок* с гробом Карла Ивановича. На самом Киндовом месте больше нет места, так как похоронена масса братьев и сестер Володи, умерших в младенчестве. Поистине в этом какая-то мистерия! В компании хоронивших не нашлось никого, кто бы пожелал перед отпусканием гроба сказать слово, но какая-то бродившая среди могил немецкая старая дама вызвалась сама это сделать и прочла «Отче Наш». Когда фоб был опущен, могила засыпана и уставлены цветы в горшках, привезенных на дрогах вместе с гробом, то наступила détente[29]. Никто не хотел уходить, все расселись кто куда попало, и началась беседа, скорее пение, причем даже слышался изредка смех. Два внука Володи (старшая Манина дочка, только что у гроба горько плакавшая, зараженная старшими, совсем разрыдалась), шмыгая между могил, бегали по дорожкам. Пронизанная солнцем листва, мягкий ветерок, аромат трав и цветов, а главное — ощущение реальной близости ушедшего давало всему необычайно мирное и ясное настроение; наконец

пришлось разойтись.

К сожалению, остальная часть дня была испорчена обилием гостей (это при моей усталости), один за другим: Верейский, Альбер с Аликом (остались обедать, к огорчению убивающейся в работе Моти), Александра Павловна, Морозов, Тася, Нотгафт, Тройницкие. Последние принесли известие от Скородумовой, что бумаги от Кристи уже пришли (очевидно, он сам догадался хлопотать) и я могу получить их завтра. Пожалуй, еще покатим в четверг! Ох, скорее бы выйти из этой нерешительности! Со всей компанией ходили наверх смотреть последние диорамы дяди Берты (для Географического музея), потом все вниз, где праздновалось рождение сестры Катюши (ей 73 года!). Оказавшиеся там Бразы принялись снова отплясывать уан-степ и фокстрот. Таточка станцевала свою полечку. Господи, как каждый раз в этих случаях нервничает Зина, как вся ходуном ходит от взбудораженного самолюбия, как из того же самолюбия «образумливает» дочку, «идя навстречу критике» и мучительно, и опасаясь! Акица ушла раньше других. Она очень печальна из-за смерти брата. Зачитывается Тэном. Поражена сходством с нашими обстоятельствами и вообще просвещается. Но тут же впадает в свои за эти годы приобретенные и уже укоренившиеся абсурдные обобщения, в смысле какого-то огульного презрения к пролетарию, к «хаму» и т. д. Иногда она развивает эти мысли при Моте, и тогда мне становится ужасно стыдно за свою чудную и жалко бедной женщины, которая, должно быть, оскорблена за «своих».

Забыл занести в дневник вчера: Фролов рассказывал о чудовищных взрывах в Кронштадте, которыми они «любовались» из Бобыльска, несмотря на то, что подоспевшая береговая полиция тотчас же погнала всех обитателей по домам. Взлетали целые куски форта. В газетах признают, что взорвался Павловский форт, куда были сложены отслужившие, негодные мины. Говорят, масса жертв.

Понедельник, 23 июля

Ясно, потом облачно и прохладно. Кончаю последнюю раскраску «Бассейна». А как вдруг теперь мой кондитер и эротоман передумает и вообще ничего не возьмет?

С 11 до 2-х — в складах бывшей экспертной комиссии, когда-то основанной великим писателем № 2 земли русской.

Ныне этот склад как-то иначе именуется и попал в ведение Наркомпроса, что привело к подтверждению прав музеев делать

из этого погребенного в складе имущества выборку вещей достойных и что может сохранить за Россией (а может быть, и за прежним владельцем) ряд первоклассных вещей. К сожалению, во время невыясненного положения многое успело уйти с аукционов (в том числе ряд этюдов Бакста и его портрет Андре Роллетти) и даже попало за границу, где продано, не покрывая даже расходов на перевоз и устройство выставки и содержание переездов. Да и сейчас лица, возглавляющие это учреждение (я ни одного не знаю, да и в старом составе я знал только Дидерихса, Савостина и Молчанова), стараются оттянуть сколько возможно все, что только имеет шансы быть проданным, будучи, вероятно, в этом (по признаку самоснабжения) заинтересованы. Многое, может быть, и сейчас припрятано. Леон Фредерик пропал бесследно. Зато сегодня я развил чрезвычайно бешеную энергию, заставил со своей стороны рыться и Эрнста, и Келлера, и А.П.Циммермана. Мы нашли в полутемных, сплошных пыльных, воняющих сыростью помещениях немало прекрасного, и среди этого всего — мне знакомая картина Д.И.Толстого, оба Токе, Доу, Боровиковского и т. д. Удалось закрепить за Русским музеем и последние остатки Бакстовых этюдов, и среди них хороший пастельный портрет Мариночки Гриценко, который уже стоит без стекла. Но что, но где Леон Фредерик?!

В 2 часа лечу в Акцентр. Бумаги от Кристи действительно получены, одна из них — удостоверяющая мою командировку от комитета Помгола, и направлены в таможню и подписаны Б. Кристи. Итак, с этой стороны я обеспечен. Но предстоит еще подписать Договор (так же как заключение Добужинского), по которому я обязуюсь уполномоченному Помгола уплачивать 10 % с проданных где-либо картин. Ну а если я ничего не буду продавать? А как же быть с подарками, которые я везу Аргутону, Леле? В случае неисполнения условий — всякие кары. Идиоты!

Дома отдыхаю. Снова Тубянский, но, слава Богу, не от Индии. Мне сейчас не до этого, а ему понадобилось познакомиться с литературой о Беклине. Таковую я ему просто прочел в Брокгаузе, но зато, кроме того, с час должен был рассказывать о значении и смысле Беклина вообще. Дело в том, что он напал на Беклина, читая своего любимца Стефлейна и найдя там восторженное восхваление мастера, принадлежавшее к 1890-м годам. Между тем за это время Беклин успел из непризнанных величин возвыситься, превратиться в любимца широчайшей публики, его репродукции теперь висят чуть ли не в каждом номере немецкого отеля. И вот я ему рассказал, кем был тридцать лет назад Беклин, как я его здесь «открыл». Как это открытие связано с «открытием» настоящего Беклина, Вагнера, Нибелунгов и Тристана (как

странно! А вот Стефлейн очень неодобрительно отзывается о Валькирии) и т. д.

По дороге обнаружил еще и другой курьез — Мутер, в представлении поколения Тубянских, уже вовсе более не пионер новейшей критики, основоположник всего «пересмотра ценностей», а человек, придававший слишком большое значение Альма-Тадеме и Жерому! И Бодри. И я убежден, что теперь и в Германии ругают Мутера именно за отсутствие мужества, и ругают как раз те, которые все свои знания набирали только из того, что создал Мутер и все те, кто на нем воспитались. В свою очередь, никак теперь не растолкуешь, какими мировыми величинами, какими мне колоссами представлялись тогда названные художники, ныне смешанные с грязью. Я был ребенком, но помню отчетливо, с каким респектом говорилось о плафонах Бодри в «Опере» даже на семейных вечеринках. Ничего подобного такой популярности нынешним художникам и не снилось. За обедом Зина было окончательно отказалась и от заказа К.Сомова в 25 лимонов! А самим есть нечего, и бедная старушка Катюша убивается.

Вечером в Музейном совете. Я провоцирую обсуждение вновь вопроса об Архитектурном музее. Тройницкий, чтобы поправить свой промах, поддерживает меня, отказываясь даже от собственных слов, но Ятманов стоит строго на невозможности пересмотра раз принятого, и компания Романовых и Удальцовых одерживает верх. После этого я заявляю, что буду отныне всегда молчать, когда речь будет касаться никчемной затеи музея архитектуры. П.И.Нерадовский и Коля Лансере приглашаются в качестве экспертов, голоса не имеют. В первый раз присутствует Марр, но все время молчит. После заседания я обращаюсь вместе с Тройницким с просьбой к Ятманову замолвить за меня слово о скорой выдачи мне паспорта в ГПУ. Он это неохотно и с каким-то фокусом обещает сделать.

Дома застал Костю Сомова с сестрой. Они притащили маленький чемоданчик со всякими замечательностями: шелковые подтяжки, платочки, носки в дар Мефодию Лукьянову…

Кроме того, платиновое кольцо с двумя бриллиантами и рубином и тюбик от аспирина, в который вложена свернутая крошечная масляная картинка (еще одна дама на диване) самого Кости. Кольцо Акица решается взять, но от тюбика мы решительно отказываемся, так как это уже форменная контрабанда.

Вторник, 24 июля

Сыро, дождит. Начинаю кошмарно переживать ощущение отъезда. Из Смольного по телефону: паспорта еще не готовы. А пароход уже здесь и, наверное, уйдет-таки завтра! Ощущение рабства! Аркан снова режет шею. В предвидении тех мучений, которые я теперь переживаю, я и не хотел предпринимать хлопоты об отъезде. Кончил последнюю раскраску Версалей.

В Эрмитаже раздражен бездарностью Жарновского. Никакой помощи. А уже, наверное, думает какому-нибудь доктору Бауху написать, что это он все устраивает, что я только административная фантошка. Мне сегодня показалось, что и все мои атрибуции он присвоил себе, и это послужит укреплению его «мировой» репутации. Милый Липгардт поднес мне детскую книжку с чудесными иллюстрациями.

Дома кончил книгу Ленорта о первых годах дофины Аделаиды. Автору не удалось запятнать, выставить ее менее сухой и чопорной по природе, нежели она была на самом деле.

В 7 часов к Паатову в Гранд-отель. Целых полчаса он меня угощал всякими, и хорошими, и очень плохими, картинами и лишь после этого повел в сад обедать. Причем пришлось еще преодолеть сопротивление прислуги, которой властями предписано по вторникам кончать подачу кофе и пива (ресторацию по вторникам совсем закрыть). Среди хороших картин — превосходный большой поколенный мужской портрет, в котором владельцу хочется видеть Рембрандта (его персидской спеси никак не хочется снизить ниже звезд первой величины) и которого я окрестил Т. де Кейзером, и очень своеобразный по краскам «Христос перед Пилатом», которого П., разумеется, считает за Мемлинга. Магдалина Тициановского круга — совершенная руина, но, возможно, что это и подделка. И вдруг такие вопросы: «А кто выше — Росселино или Сансовино?» Или: «А Т. де Кейзер выше Гальса или ниже его?» — совершенный идиот. Обед был очень средний.

Дома Лаврентьев, Сафонов и Музалевский. Двое последних только что вернулись с кумыса, но желтые, изнуренные, так как их к концу лечения хватила малярия. Они явились, несомненно, для того, чтобы меня понудить исполнить свое обещание и написать письмо в Художественный совет, в котором я бы провоцировал выяснение взаимоотношений Хохлова и Лаврентьева. Но об этом они решились поговорить лишь в полночь (после чего я, борясь со сном, должен был еще сидеть с ними целый час. О, проклятая русская манера!), а до того они рассказывали о жизни среди киргизов. Впрочем, мнения в этих рассказах (особенно Музалевского) были очень интересны, начиная с характеристики всей конструкции Киргизской

республики, являющейся одним из гениальнейших вариантов мошенничества политики большевиков. Глава правительства и все министры — киргизы, но они только для декорации, а реально правят за них московские люди: жидки и русские, приставленные к ним в качестве помощников и товарищей. Русификация края идет полным темпом и прямо-таки грубейшим образом во имя Интернационала и доктрины. Дети больше не знают киргизских песен, а учатся в школах петь какую-то пошлую дрянь.

Жили они в настоящем, заброшенном в стороне ауле, куда их пристроила случайно с ними познакомившаяся в поезде жена «президента», разъезжающая в полуевропейском-полукиргизском одеянии в автомобиле по степи. Постоянно идет и оседание населения, и молодежь, отравленная доктриной, приветствует такой поворот, но наиболее богатые собственники табунов и стад, оставшиеся неуловимыми и для фиска, даже в период террора ушли в недосягаемые дебри, тогда как беднота, оставшись вблизи центров, была разорена в прах и перемерла с голоду. Киргизы в своей покорной мудрости нашли и формулу для этого явления: «Ну что, советская власть ницево, оцень хорошая: у кого было много, стадо мало, у кого было мало — ницево не стало» — и продолжают скитаться в глубинах степей. Много рассказов о полезности и трагичности верблюдов и о том, как они покорны и терпеливы. Их, как малых ребят, таскают за веревку, продетую в ноздри, как они ноют и вопят.

Жили они в настоящей кибитке, питались очень неважно, жара стояла чудовищная при холодных звездных ночах. Ни капли дождя. Иллюзию прохлады дает купание в соленом озере, в котором, несмотря на его семидесятисаженную глубину, нельзя потонуть, так как вода выбрасывает на поверхность. Выходишь оттуда весь осыпанный серебром соленой пыли.

Лавруша рассказывал о спектакле в цирке Дурова. Влетает, ох, при невероятной помпе, выстраивает весь персонал цирка. Сам он в белом с каким-то эполетом. В представлении льстит, но как-то каверзно, и корчит гримасы советской власти. Фокусы зверей и особенно моржей изумительны.

Сегодня в Эрмитаже был П.Шереметев. Ятманов в конце концов все же во всем ему отказал.

Среда, 25 июля

Пасмурно, иногда солнце. Глухая тревога последних дней начинает оправдываться. Взял с собой на очередное мытарство

Акицу (ее нужно было в Гоголевском приписать), и она отведала заодно прелесть российской бюрократии.

В Акцентр свез пакет с книгами: «Версаль» — экземпляр Гржебина, «Медный всадник» — экземпляр Лели и для чтения в дороге Александр Дюма, Дж. Лондон. Но Андреев оказался болен. После всяких колебаний Я.М.Гессен расхрабрился и вместо него под моим заявлением подписался, но после этого оказалось еще необходимо удостоверить мою подпись (оказывается, тот же Тройницкий это сделал не на всех четырех экземплярах), скрепить эту подпись печатью учреждения (это будет сделано в Эрмитаже) и после этого отправить пакет, зашитым в холст, на почтамт, где только и будет таможенный и цензурный просмотр. При этом Школьник меня еще пугает, что моих двух работ там не пропустят, ибо существующий запрет вывоза художественных изданий, права коих монополизировал Госиздат, — безусловен.

Тройницкий вчера лишь после настойчивого его требования вновь разрешил, я еще раз сам при этом говорил: мы поступаем против закона. Заодно пошел к Ятманову (у него происходило заседание идиотской экскурсионной комиссии, в котором участвуют чертовские бабы — общественные фребелянки — тов. Краснуха и т. п.) Не постигаю, как Тройницкий серьезно может с этим сбродом что-то обсуждать. Он ухмыляется и уверяет, что спасает трубка. Спросить, законно ли обещание самого Ятманова. Он немедленно вышел и с «величественной любезностью» что-то стал мямлить, намекая на то, что дела мои плохи: «Вот Сергей Николаевич вздумал завязать в Москве связи, и у него все гладко, а вот вы не сделали — хе-хе, то есть не пожелали хе-хе… Но все же еще можно все поправить!» — «Как, а разве нужно что-то поправлять?» — «Да, как это сказать: хм-хм — надо, но это ничего, это мы сделаем, мы пошлем в Москву телеграмму!» — «Но в чем же дело?» — начинаю я волноваться, наполняясь внутри крайним бешенством. «Этого я вам не могу сказать, но человек из ГПУ, с которым я говорил, указал определенно, хе-хе-хе!» Молас, которому я уже без церемонии излил свое негодование, принялся успокаивать. Оказывается, дело не во мне, а в моей супруге. Ее приняли за Марию Александровну (а хотя бы и приняли, чем плоха моя бедная родственница?), и вот Григорий Степанович и намекал на это обстоятельство. Но эрмитажники уже депешу послали: «Просим не затруднять формальностей при выдаче паспорта Александру Н. Бенуа и его супруге», — и я уже дал для нее деньги, которые на следующий день мне были возвращены с нарочным, так как во всем Акцентре не оказалось 250 лимонов. Но что же, авось еще срочно последует разрешение (в Смольный мы сегодня уже не запрашивали), но можно и не

запрашивать. Таков все же итог… Что же касается до моих работ, то с ними обстоит еще хуже!..

Пошли мы с Акицей с новой бумажкой, подписанной Б. Красиным, к товарищу Ярмолову. Ждем-пождем. И что же — пренебрежительным жестом он мне ее возвращает и заявляет: «Не по адресу!» — «Как так?» — «А так и не по адресу. Здесь стоит таможенный управляющий, а я представляю таможенный округ. Это направлено в центральное учреждение, и оттуда вы и получите разрешение». Я еще попробовал спорить, но гордый полячишко остался при своем. Пришлось возвращаться в Акцентр, где я написал длинное письмо Скородумовой (она уехала еще в понедельник), и срочно вызвал Кристи с мольбой это дело устроить и с приложением всех моих бумаг: копии договора, списка вещей и т. д. Это пошлют завтра (сегодня уже было поздно) с ускоренной почтой. Любезный Я.М.Гессен со своей стороны приписал еще несколько слов и обнадеживает, что к будущему четвергу уже все желаемое будет здесь! Ну а не будет, а у меня будет паспорт, я уеду без вещей, но уже с сильно уменьшенным желанием вернуться в это болото. Тут же сидел профессор Адрианов (вот подпольная рожа из Достоевского), который рассказывал, что сейчас вообще полный застой в выдаче паспортов — со слов каких-то знающих людей (позднее я узнал, что тот рассказ уже был опубликован в газетах третьего дня). Это происходит из-за новой бестактности Гессена, который напечатал в «Руле» ряд писем какой-то дамы, разоблачающей порядок в Красной армии, и, мало того, который приглашает всех приезжающих сообщать ему все им известные сведения о том же предмете. По этому поводу между «Рулем» и «Днями» Прокоповичей завязалась полемика, и «Дни» прямо обвиняют Гессена в неблаговидном, недостойном русского гражданина поступке, в шпионаже в русской армии, ибо-де Красная армия — есть как-никак армия, охраняющая русскую территорию, и т. д.

Убитый всеми этими, прихожу в Эрмитаж. Застаю Федю и Тасю запершимися в последней («жеромской») комнате XIX века. Нотгафт признался, что также имеет командировку, но скрывает, от какого учреждения. Ему это кто-то оттяпает (сам же он в Смольный и носа не кажет). Все меня поздравляют с отъездом. Тройницкие действительно едут завтра в 2 часа. Я передал Сергею Николаевичу сообщенные мне на днях Циммерманом сведения, что краденые у Балашовых картины оказались у Рябушинского, который их продает. Он считает, что нам нечего в эту неприятную историю вмешиваться лично, но находит, что Циммерман обязан об этом доложить начальству, то есть Ерыкалову.

К обеду Сережа Зарудный. Он поражен важностью Тройницкого. Кто такого съест? Я высказал предположение, что Философов, но сам мало в это верю. Во всяком случае, не скоро. Мы снова ссоримся с Акицей, так как у обоих нервы расшатаны, и вдруг являются Александра Павловна и что еще хуже — Хохлов. В панике я лечу вниз, к Зине, и сижу там полчаса (там паника из-за общего распоряжения снимать всюду буржуйки, на чем же они будут готовить?), но потом мне становится жаль Акицу, и я возвращаюсь. Нуднейшие разговоры, и я вернулся к своей прежней норме. Хохлов молчит как рыба. (Я как раз все утро писал на него «ябеду» в художественную комиссию.) Заявился еще Шапиро, но ему отказали, но зато все же проникли пришедшие прощаться Алеша Павлов (он утверждает, что показанные Платовым картины, якобы привезенные им из Москвы, просто ему поставляет здесь Тюнин), Миклашевский, Стип. После их ухода описываю с Атей первую отборную папку.

Политические новости последних дней: «наши» очень негодуют на политику рабочих в английском парламенте и особенно против соглашения «лакея» Сноудена. Однако самый факт обсуждения возможности введения социалистических реформ колоссально показателен, хотя, разумеется, он имеет скорее значение провокации, которая могла бы через сито фазиса привести и Англию к фашизму. Да и в сознании двух интернационалистов, я думаю, достаточно серьезного понимания, что предпочтительнее союз с капитализмом против общей опасности коммунизма, означавшего экономическую разруху. Еще более значительно и чревато последствиями для России подписание договора, разрешающего вход в Черное море военным судам.

Сережа справедливо характеризует это как небывалое поражение!

Получил из Гадибука 6 миллионов, но часть червонцами, которые, разумеется, исчислялись мне в ущерб. Обещают оставшиеся выплатить в недельный срок.

Письмо от Добужинского (у него ничего не вышло с Художественным театром) и от Аллегри. Бедняга удивляется, что я ему сообщаю об отъезде Орестика! О, проклятая моя рассеянность и нелепость!

Четверг, 26 июля

Очень облачно, но почти все время солнце. Все в доме раскисли из-за не налаживающейся нашей поездки. Пришлось с

завистью присутствовать при отъезде Тройницких. На это и ушел весь день. С 12 часов в Эрмитаже, где весь двор ждал выход монарха из канцелярии. Потом торжествовали, любезно Ухов снял группу при выходе. Значительная часть пошла провожать и на пароход, и хотя пришлось ждать с часу до шести, однако многие остались, расположившись группами на дровах, до самого отплытия. Пришли и А.П.Боткина, и Акица с Черкесовыми и Татаном. Последний дичился, потом привык к компании и обнаглел. В доме напротив пристани происходил все это время обыск и досмотр пассажиров.

Их затем под присмотром чекистов и таможенных чинов быстро гнали на пароход. В одной из последних групп появился и Тройницкий, и я успел снять на ходу (у других господ фильму вынули из аппарата и отобрали). Сенсацию произвели три подводы с вещами пана Смокальского, но от него самого я узнал, что уже свыше сорока мест погружено на судно и что ему удалось вывести всю свою обстановку и все свои драгоценности. Он владелец бывшего магазина «Аквариум». Я же его знаю по сцене Мариинского театра, где он в тяжелые годы и для того чтобы иметь хотя какую-нибудь «бумажку» служил статистом, являл пример усердия и точности. Это он радовал мою душу, каждый раз в «Пиковой даме» являясь точно в положенный момент с тем, чтобы сесть на скамейку Летнего сада, развернуть газету и углубиться в ее чтение. А теперь — свыше «шестидесяти мест»! Забавно было также наблюдать за сценами обыска, разыгравшимися в одном из окон дома, где происходил досмотр. Дамам залезали в волосы, расстегивали блузки и шарили в спине. Но всего пикантнее была заключительная сцена, когда досмотрщик с досмотрщицей остались вдвоем, и он в шутку стал ее обыскивать, залезая в груди и под юбку. Я ждал до 5 часов, но у меня должна быть Добычина, и я полетел домой с тем, чтобы вернуться. Добычина действительно приехала с Рубеном и принесла мне остальные 124 доллара (долг за мой «Версаль»), но когда я полетел обратно на пристань, то уже парохода там не было. Он отошел в четверть седьмого. Погода хорошая, ветер не сильный, и начало путешествия складывается недурно.

Пароход не из особенно крупных, но чистенький и «вообще Европа». Неужели же я не вступлю с той же набережной на подобную же европейскую почву? Добычина очень к сердцу приняла мои затруднения с паспортом. Правда, Мессинга нет сейчас, но она переговорит завтра же с Леоновым. Очень бранила меня за то, что я собираюсь везти с собой книгу Гржебину, ввиду его полной опалы. Пассия Петра Ивановича Нерадовского — Мроз действительно хозяйка. Это очень бедовая и злая дама. Благодаря

ей, ее наговорам на свою подругу, которую она приревновала к Нерадовскому, последнюю обвинили в воровстве, и это так на нее подействовало, что она сошла с ума.

После обеда Стип, Альбер, Зина, Бушен и Женя Лансере, которого я уже видел на проводах Тройницкого и который сегодня только приехал. Он сильно исхудал после болезни в Москве, но, в общем, прелестен и мил. Показывал свои чудесные литографии, иллюстрирующие его путешествие в Ангору. По его проекту это должна была быть книга-альбом с его же текстом (вероятно, очень наблюдательным и интересным), но в Госиздате не хватило денег, да и цензура отнеслась к его литографиям не сочувственно. Так, цензор выразил Лазаревскому удивление, что, видно, Лансере — барин, что ему нравятся золотые нашивки на костюмах турок, внизу вычеркнуто слово «благородный», ему поставлено на вид любование старой турецкой исконной культурой. Еще лишнее доказательство, что для этих людей все, что жизнь — враждебно! Теперь Госиздат издает лишь одни большие литографии, но это настоящие шедевры. Выигрывают ли они, однако, от цветности — вопрос спорный.

Рассказывал нам Женя и всякие ужасы о пережитом на юге в дни Деникина и до прихода красных. Особенно поразили рассказы, со слов его, Арцибушевой, которая осталась жить одна в своей деревушке, в глуши, когда уже все соседи были разгромлены и убиты. И вот, кажется, через два дня к ней явились какие-то власти, не то разбойники с обыском. Грабить этим пришельцам помогала самым циничным и благодушным образом ее же прислуга, которая тут же ей выразила свою преданность, когда снова явились белые. Ей удалось отстоять от экзекуции карателей всю деревню, и за это вчерашние ее притеснители, недавние комиссары, с проворством и усердием запрягали ей лошадей и вообще служили изо всех сил. Но когда белые ушли, то ее погнали, но, правда, не без ласки. Из таких ночных обысков особенно страшен был один разбойник, грозивший ей расстрелом за утайку денег; атаман вдруг возгорелся к ней страстью и целый час добивался ее, приставляя дуло револьвера к голой груди, пытаясь разжечь и ее. Наконец она не утерпела и громко крикнула. На крик прибежала мать с двумя огромными догами, и разбойник бросился в окно, очевидно, не рассчитывая в темноте покончить со зверями прежде, чем они его разорвут.

Позже эта совершенно обнищавшая дама жила на юге, кажется в Ростове, и чтобы не умереть с голоду, взяла на себя должность комиссара данного околотка. В качестве комиссара ей пришлось хоронить умиравших всюду на улицах беженцев. И вот, когда она с первым таким покойником явилась к кладбищенскому

сторожу, то застала чудовищную сцену. Вся комната сторожа была уже уставлена трупами, и он с ними «пьянствовал», чокался, «дурил». Хоронил же он «отслуживших» голыми, таскал их за одну ногу, в общую яму, куда и сбрасывал кое-как, как корявые бревна.

Пришлось ей однажды и делить два пуда хлеба, найденных в изголовье матери семейства, умиравшей со всеми своими детьми и мужем в каком-то вонючем подвале от сыпного тифа. «Только ценой этой муки для кутьи» и удалось ей убедить соседних баб убрать тело одной женщины, которая ходила за больными, но умерла раньше их. Свежо предание, а уж верится с трудом…

Пятница, 27 июля

Облачно, но солнце. Первые полдня в удручении, но в 3 часа Макаров по телефону узнает, что паспорта готовы. Кому обязан? Ятманову? Но Добычина утверждает, что и она вчера, встретив в Паласе какого-то чиновника, успела ему напомнить обо мне, и тот уверяет ее, что Мессинг оставил распоряжение не задерживать нам выдачу паспортов. Я ожил, хотя и не вполне.

В Эрмитаже Паатов. Я немного сконфужен. Заглазно мне казалось, что Мордвиновская Мадонна идентична по композиции с «Мадонной» в Лувре, а следовательно, и с той плоховатой копией утраченного Рафаэлевского оригинала, который у Паатова, а вышло, что она лишь отдаленно похожа, да поза младенца совсем другая, весь поворот в другую сторону. Туда же является чета О.Меара показать мне псевдорембрандтовский портрет раввина, как раз покупаемый у них Паатовым. Очень эффектно, бравурно писанное пастиччо с элементом Рибейры и генуэзцев.

Приходил в Эрмитаж Женя. Поражен. В общем же Эрмитаж имеет осиротелый вид. Из Акцентра телефон. Надо приехать подписать присланный из Москвы подлинник договора! Покупаю марки и прихожу. Увы, мое письмо еще не отошло на ускоренную почту, опоздало, господин, вызвавшийся везти его, не доехал и т. д. Пишу новое письмо. Дома наш театральный обер-электротехник Н.П.Бойцов — один из моих любимцев. Он имеет, очевидно, какое-то отношение к финансированию Морозовой студии, ибо пришел узнавать, что я там затеваю, и все подзадоривал не стеснять себя, не считаться с экономией. Тут же влетела «тетя Мотя» и стала при незнакомом человеке (к счастью, он объявился ярым монархистом) говорить всякие глупости. Такие же глупости она могла говорить и в Смольном, что едва ли

может способствовать скорой выдаче ей паспорта. Впрочем, рассказала про Устинова. Как бы то ни было, она ко мне с мольбой — за нее заступиться. Словом, опять те же песенки, основанные на моей репутации «большевика». Я ее направил к Добычиной.

Спустился вниз, где сидел Леонтий. Там же сидел Альбер, который, несмотря на слабость ног и бледность, ребячески благороден. Мне ужасно делается грустно от этой его метаморфозы. К счастью, он по-прежнему владеет красками и кистями. Но, боже, какая пачкотня у Серебряковых, как все неаппетитно. Немудрено было Катечке совершенно одной все делать: и стряпать, и мыть. От Эрнста с Бушеном она в ужасе. Они превратились в настоящих паразитов. Ни за что не платят, а лишь отдают в общее пользование крупу и муку академических пайков. Я объясняю этот упадок порядочности исключительно нелепыми фокусами Зины, которая истерзает хоть кого (а особенно человека, в которого она влюблена, как кошка, и которого она совершенно в себе разочаровала). По случаю же свадьбы Черкесовых у нас обедают Женя, Стип, принесший на руках чудного кота Тройницких — «Катаеси». Он уже успел несколько раз нагадить. Мотя в отчаянии.

Женя рассказывал о Москве, про нашумевшие на весь город распри между Трояновским и Виппером по поводу того, что последний продал первому Маньяско, который оказался украденным у антиквара Желтухина, Трояновский вынужден был отдать картину, но Виппер сразу отказался ему выдать обратно деньги. А как раз в это же время, к великому отчаянию Трояновского, сгорела его оранжерея со знаменитым, единственным в мире собранием орхидей. Другая ссора вышла у Трояновского с Остроуховым из-за того же Желтухина, в котором сумасбродный Илья Семенович просто души не чает и не позволяет, чтобы о нем дурно отзывались.

Письмо с отказом от политики Тихона вызывает огромную сенсацию в Москве. Оно было развешено всюду. Г.Чулков, переживающий кризис полной ортодоксальности, находит всем полнейшее а-ля Достоевский оправдание: патриарх-де вполне искренно от себя дошел до этого (мило рыхлому русскому интеллигенту вообще всякое самоотречение). Ходит и такая версия, что Тихона убедили подписать представители Англии и Америки. По другой версии: очень лукавый следователь настрочил это письмо из выхваченных кусков его показаний. Во всяком случае, почти все население на стороне Тихона, и Новой церкви конец (да и большевикам она — не более активная и менее удобная).

После ухода гостей занимался описью отборной папки. Юрий очень заинтересован.

Большой скачок цен за три дня: масло с 6,5 р. вскочило до 9 р. Яйца до 36, дрова с 950 до 1200 р. Червонец все растет, и репутация его крепнет. О нем слышны иной раз глупые пересуды на улице между буржуазными дамами.

На самом деле он, разумеется, падает, ибо отстает от подлинного курса (черной биржи), но вообще его появление есть тот вид девальвации, который более удобен для расчетов. Все же он падает медленнее, нежели бумажные деньги, нежели растут цены на товары.

Лазаревский отказывается издавать дальше журнал «Среди коллекционеров» (лошадка довезла куда следует). Вообще в Москве мелким художественным изданиям конец. В Госиздате на них прямо гонение. Вечером были Тася и Нотгафт с цветами.

Суббота, 28 июля

Хороший день. Тройницкому — благодать. Как-то будет нам? С утра с Акицей в Смольный. Постройка пропилей очень подвинулась: идет закрепление орла на фронтонах. Тейтел нет, сидит коммунист в кожаной куртке, говорит очень придирчиво, но мы не к нему. Товарищ же, выдававший нам паспорт (пришлось расписаться в книге), только предложил вопрос: «Чем занимается ваша жена, она у вас хозяйка?» (Далась им Акица?) На что я ответил: «Да, но она едет в качестве моего секретаря! Трудкнижку оставила там». Встречаю многих из тех, кто ждал со мной очередь две недели назад. Раздраженные, убитые. Одна молодая дама в отчаянии разрыдалась, получив снова ответ, что ее паспорт не готов. «Хотя бы прямо отказали, а то такое издевательство! Я уже полтора месяца хожу!»

Сейчас же в бюро немецких пароходов — на Итальянскую, 33. Третий этаж, пустынно. Яркие плакаты. Длинная, бледная барышня записывает нас кандидатами на следующий пароход, но когда он пойдет — неизвестно. Скорее, около 9-го, нежели 2-го. Тем лучше, успею получить бумаги из Москвы. И в Русский музей выбирать представленных нам итальянских примитивов из Лихачевского собрания. Ничего «сверхъестественного» нет, но многие все же очень приятные, включить и ими дополнить общее впечатление от XIV века. Впрочем, о «Джоанни» не могу судить вполне, так как он на три четверти заклеен бумажками. Нерадовский отдает все это без огорчения. Очень боятся Мазуркевич, которая уже давно интригует с передачей в Эрмитаж

византийских барельефов. Я отказался даже от италокритов. Но, может быть, со временем было бы правильнее передать всю Византию нам, чем нашу Византию им.

По дороге домой зашел купить (из скрытых миллионов от Акицы) вино 4 бут. за 518 (с понедельника цены удвоятся) и груши. Читаю книгу о Джульетте. Милый роман школы Бальзака. Выставлена черствая фабрикантша, мелочная, сама себя сделавшая, побеждает чувство материнства.

Ятманов высказал высочайшее пожелание поселиться в Боткинском доме. Последний уже получил комиссара, который сначала был вызывающе груб с Тасей, а через две недели помягчел. Оливов квартиру решили было сдавать в наем. Набрался целый хвост кандидатов — все из рабочих, но, узнав стоимость, размеры комнат и отсутствие водопровода, отмахнулись. Теперь там вывешены объявления: «Здесь скоро откроется музей истории культуры». Это еще что? И почему я об этом ничего не знаю? Скорее блеф.

Ллойд Джордж открыто порицает «невозможного» Пуанкаре. Ой, там что-то назревает! В Руре какое-то облегчение. Кстати для нашего проезда. Читали вечером всей компанией наследников о городских работах. Несмотря на официозную похвальбу, чувствуется полная безнадежность. Агитация за подъем червонца (великая афера ускоренным темпом) продолжается. Все же сколько он не пыжится расти, на самом деле он отстает от реального курса золотого рубля и, следовательно, *падает*. Поэтому самому ему не угнаться за ростом цен, и от финансовой катастрофы он не спасет. И тем не менее его раскупают. Акица заходит в Госбанк менять свои и была поражена хвостами людей, стремящимися приобрести червонцы, да и золотой заем. И все эти «жертвы», по ее определению на глаз, пролетарии. Впрочем, все же до известной степени выгоднее вкладывать свои сбережения в эти медленно падающие бумажки, нежели в простые дензнаки, падение коих государством (на доктринерских основаниях) поддерживается.

Сегодня день ангела мамочки и Камиллы. В былое время — непременное ризи-бизи. Иногда мы ездили справлять этот день в Кушелевку — к Камишеньке.

Воскресенье, 29 июля

Черкесовы уехали к Коке на Сиверскую. Из-за них пришлось вставать в 7 часов. Пасмурный день. Утром и днем — уборка. Только что после отдыха, хочу снова заняться, и вдруг является

Сережа, просидевший до 11 ч. Ничего не дает делать, хотя все время приговаривает, что не желает мне мешать. Нудные, никчемные разговоры, какие-то претензии… Акицу злит еще то, что он определенно ухаживает за Мотей, но это как будто исключительно для того, чтобы от нее получить чай с сахаром, булку, масло. Недаром он себя назвал «кумом-пожарным». За чаем тяжелая сцена: он себе отрезал фунт ситного, забрал все масло, положил полчашки сахара и затем уминал это, попивая, с нескрываемым «систематическим упоением». Бедняга, вероятно, опять голодает! 1919 год для него и для всех ему подобных возобновляется. Ходил с ним вниз. Боже, что за грязь, за беспорядок. Нет, пора Жене Лансере сюда приезжать и спасти сестру и особенно мать. Но вот беда, Зина не хочет, чтобы Женя поселился с ними, так как это привело бы к уединению «молодых людей». А для этого, чтобы иметь Эрнста при себе, она готова пожертвовать всем. Катюша дала тарелочку размазни каши, и он с радостью стал ее уписывать. И он голодает? Или это ребячество? У него получились странные выверты, детски-удивленные.

Гаук еще не возвращается. Акица беспокоится за Альбера. Мать выздоровела, на днях поселилась снова у них. Однако Мотя утверждает, что с 5 ч. утра она по-прежнему громыхает по комнатам. Туда же вниз явился Путя Вейнер, все по тем же делам переиздания Врангелевского «Эрмитажа». Почему-то назвал Петербург Петроградом и теперь уверяет, что это с моего благословения. Рамолик. Впрочем, он сегодня хвастал, что недавно к нему после болезни вернулась способность свистать, а вот напевать не может.

После обеда А.П.Боткина с письмами мужа Сергея Сергеевича 1906–1907 гг. Многое вспомнилось. Вот если бы она подобрала таких писем целую серию, мне было бы легче восстановить очень уже схематизированный «портрет» покойного (который я вызвался написать в качестве введения к книге, посвященной его коллекции). Позже — Верейский, Зина, Женя, Стип, поднесший мне четыре (половинных) вида Рима и превосходный рисунок натурщицы А.Иванова. Даю Жене Лансере материал для постановки «Юлия Цезаря» в Малом театре.

Утром приходил Рябушинский, но я его не принял. Не буду к нему звонить, так как, по словам А.И.Циммермана, он продает украденных у Балашова Гварди и Рейсдаля. Циммерману я передал мнение Тройницкого, что ему нужно обратиться по начальству, к Ерыкалову. Пусть решает. Рябушинский уезжает за границу в субботу.

Понедельник, 30 июля

Бессонница из-за грохота на улице. Вот уже полтора месяца, что чинят кусочек рельс на завороте, и благодаря этому весь наш дом не спит. Зина от отчаяния близка к помешательству. В промежутках между грохотами внизу вижу очень явственно сны про Париж, какой-то переулок между небоскребами, когда-то безвкусную балетную школу, и мне становится «скучно». А всегда нечто подобное меня ожидает там!

Чудный день. Утром к Кесслеру. Болтаю с Зауровым. У него в кабинете картина Виллевальде из войны 1870 г. Кесслер готов все сделать, дает мне даровую визу и берется даже переслать мои работы, когда бы бумага из Москвы запоздала. Пароход идет в этот четверг! Спешу домой, чтобы предупредить Акицу, но ее уже нет. Позже она телефонирует в Эрмитаж, что, напротив, в пароходной компании обещают только в четверг выяснить, когда «Шлезвиг» завтра отойдет обратно. Дай бог, чтобы и в четверг, так как авось тогда московские бумаги поспеют и не надо будет прибегать к Кесслеру.

В Эрмитаже осиротелое заседание Совета. Читается полуюмористическое «завещание» директора. Петровский штиль. На галерейном совещании обсуждаем вопрос эквивалента за картины Санти, бывшие в Академическом собрании (об Эрмитажных нет и речи, и, вероятно, их удастся отстоять по признаку их неотделимости от целого мирового значения). Мне особенно хочется отстоять С.Рейсдаля, изумительнейшего Влигера и то, что атрибутировано как Пьетро делла Веккия. Даю директивы на период моего отсутствия. В отчаянии Углова, так как у нее великая теснота в Рафаэлевской галерее (из-за нескладывающихся турникетов Максимовой) и у нее отнимают ряд витрин под другую выставку «Дамского мира» (кружева и т. д.), затеянную

Тройницким и Ж.Мацулевич. Отчаяние берет и меня из-за совершенно невозможного положения с реставрацией. Васильева, по словам Яремича (я ничего не знал), снова выжил недолюбливающий его Тройницкий. Богословский не вернется. Альбрехт очень медлителен и больной, Сидоров — ломовой извозчик! А у нас со всеми «этими» переброскими и выставками, произведенными в силу недостатка средств самым кустарным способом, получился целый эскадрон продырявленных картин, а искалеченным рамам счета нет! Но все же пусть сначала все развесят. Развешенность при невозможности показать развитие в таком виде авось побудит принять более решительные меры. Решаем по инициативе Эрнста устроить выставку портретов в бывшей фарфоровой галерее и в Романовой, куда приходится эскортировать (ибо за них нас вечно попрекают). Решаю и то, как

расставить скульптуру по новым залам. Я не разрешаю передвигать мрамор из Белого зала.

Домой на трамвае. Нотгафт объясняет свое нескрываемое презрение к Яше Каплан. Последний сообщил (из трусости? из усердия?) Меснеру то, что сообщил молодой Мухин про нашедшийся у одного букиниста дневник великого князя Андрея Владимировича. Из-за этого Мухина вызывали в ГПУ.

Дома Руф с экспертизой ужасного «Святого семейства» XVI века. Он убит судилищем конфликтной комиссии при районном Совете, куда он был вызван (по собственной инициативе) для разбора его распри с пресловутой мегерой нашего дома Марьей Максимовной. Она по-прежнему занимает кухню Зининой квартиры, благодаря чему у Зины нет плиты и ей приходится готовить на буржуйке. Теперь буржуйку приходится по декрету снять, и присоединение кухни является неотложной необходимостью (тем более что ожидается поселение вместе с Зиной Жени с семьей). Однако Марья Максимовна, которой Руф подыскал отличную комнату в доме, не желает трогаться. И вот мужик и баба, судившие дело, сегодня постановили по-соломонову: Марью Максимовну не беспокоить, а кухню сделать общей, открыв в нее заделанную из коридора дверь, и, мало того, предоставить ей пользоваться отныне и парадным ходом.

Между тем эти изменения устраивают Серебряковых. До своего отделения были ежедневные скандалы Серебряковых и даже обвинение их в краже своих бриллиантов. Она (Максимова) вовсе не была настоящей женой покойного археолога Писарева. Он на ней женился по-советски в 1919 г. исключительно из-за жалости к дочери, которую она прижила не от него (он был абсолютный импотент). С самого же дня свадьбы началось его мученичество. Не успели они вернуться со «свадьбы» домой, как вышел первый скандал. Он ей по привычке сказал: «Марья, подай суп», а она ему: «Какая я тебе Марья! Я теперь твоя законная жена Марья Максимовна» — и хвать его миской по голове. И с тех пор пошли средневековые буйства, причем у нее вошло в систему бить об его голову тарелки. Бедняга вскоре и отдал Богу душу. Руф эту чету сюда в дом и пристроил, определив их, голодных, в существовавший тогда «Первый объединенный завод точной механики».

Хотели вечер провести в тиши и справить свои дела в виду отъезда, но не тут-то было: сначала брат Миша с внуком смотреть «Коронацию Александра II», от которой малыш пришел в дикий восторг, потом — Эрнст, Н.К.Шведе, Н.Радлов, Нина Жук, Женя. Последний рассказывал про вечер современных танцев в театре Зимина в Москве. Это был род концерта в какой-то студии.

Особенный успех имели «производственные танцы», изображающие паровоз. Топот вереницы на месте и при потушенном электричестве, размахивая папиросами, и целой системы машин, причем одна хорошо сложенная женщина стояла головой вниз, а ногами ритмично манипулировал кавалер. Нет, далеко до этого танцсимфонизму Лопухова.

Влюбленность Татана в бабушку становится угрожающей. Он все время пищит: «А где баба?», «Баба, не уходи!», «Баба, возьми на руки!» — и глупая бабушка вместо того, чтобы ввиду отъезда начать отторжение, только поощряет этот психоз. Сегодня было очень потешно: возвращается с мамой с гуляния и еще в дверях спрашивает: «А где баба?» Я ему показываю на сомовский портрет. Он смотрит, но не удовлетворяется и с прежним видом заявляет: «Нет, это не та баба, здесь еще одна дидишкина бабишка!» Потешный, влез сегодня на площади на кучу мусора и объявил, что это «Памятник Петру Великому». Только тут заметил, что под ним нет лошади.

Снова в газетах о моем отъезде и приглашения Дягилева ставить балеты. Хохлов старается?

Вторник, 31 июля

Последний день выставки в Академии, и все же не собрался. Омерзительна одна мысль увидеть это нелепое принудительное торжище, эту свалку всяких нечистот.

Разбитость; облачно, свежо. В газетах обещают на все ближайшее будущее циклоны! Утром с Акицей у Кесслера. Он решительно не советует ехать через Рур. Через Базель русские зафрахтовали пароход, остаются «Арденны» на Страсбург, поэтому в визе он проставил «Берлин — Дрезден — Баден-Баден». Снова обещает с охотой провести в своей почте мои рисунки, если из Москвы ничего не подоспеет. Гарантирует сохранность и невскрытое здесь. У него есть сведения, что при погрузке парохода «Клеопатра» в пятницу арестован какой-то немецкий доктор, и это не может быть кто иной, как доктор Баух. Его об этом известила длинная, уродливая фрау Герц, коммунистам сочувствующая и очень невежественная эстетка, здесь с некоторых пор гостящая и часто посещающая Эрмитаж. Мы предполагаем, что у него в чемодане нашли купленную им у Платера за 100 фунтов картину Миериса. Кому-то он открылся, что у него поручение делать приобретения для Любекского музея.

Кесслер снова таскает нас наверх, хвастается своим новым приобретением, бронзой С.Менье «Рудокоп», купленным им за

500 лимонов на Мойке. Леша Келлер проглядел! Знакомит Акицу с женой и сразу нам приглашает на завтра на обед! «Шлезвиг» пришел и уже стоит в Неве. В Эрмитаже меня подкарауливает Аплаксин. Я ему вручил его программу и решительно заявил, что ничего в этом не понимаю. Но не так легко от таких нахалов отделаться, и разговор дошел до маленького взрыва, до воззвания к свидетельству всех моих коллег, случайно проходивших по вестибюлю, и мы разошлись (авось навсегда) в примиренческих тонах.

Приезжает студия Крамаренко с С.Радловым и очень хорошая (но уже не столь сверхъестественная, какой Крамаренко мне ее описывал вчера) картина — тондо из собрания Хрулевых и приписанная Врангелем Рафаэлю. Может быть, и смесь элементов Лоренцо ди Креди и Пьетро Козимо. Несколько попорчен грунт, но не смыт и достаточно хорош, чтобы его выдержать и потом продать за границу. «Уже не провокация ли?» Я отвергнул уклончиво. Ищу среди наших запасов эквивалентов. Почти все найдено. Увы, при этом, кажется, где-то затерял Сомовский каталог старых мастеров в Академии художеств, полный моих отметок.

С 4-х часов томительнейшее заседание с Александрой Павловной в квартире Петра Ивановича об ее издании (я несколько раз засыпал). Все же вид отличных оттисков меня пленит. Но еще вопрос, найдутся ли теперь у Голике (где идет губительнейшая и все парализующая ревизия) эти негативы.

На лотке у Никольского рынка покупаю за 12 лимонов грушу и, обливаясь ее соком, тут же на ходу ее пожираю. Вкусный, мелкий виноград 55 лимонов фунт. У нас снова гости — все прощаются. Катя Грибанова, бабушка Лидия, Альбер, позже Женя, Стип, Зина. Удалился перед обедом к себе и дремлю под очень ослабевшую, несколько путающуюся игру милого Альбера. Ужасно жаль, что такой чудный, истинно художественный и жизненный организм разрушается! Вижу какой-то сладкий, не запомнившийся сон.

Зина с омерзением рассказывает о ночевке у Рыбаковых в Царском Селе. Зазывал настойчиво «отдохнуть», «подкрепиться», а положил на дырявый с выступающими пружинами диван, дал совершенно засаленные простыни и кормил ее и девочек, которых он уже держит целую неделю (с отчаяния), впроголодь. Обижен, что Гальперин устроил ей заказы в Англию. Сам стал говорить большевиком. Прославляет советскую слежку, ее деятельность сулит необычайный блеск. Очевидно, самому хорошо живется.

Италия огрызается против гегемонии Франции. В Германии ожидаются крупные антифашистские беспорядки (в Потсдаме).

Среда, 1 августа

Солнце, легкий ветерок. Все вспоминаю мысль Салазино из «Венецианского купца» о морских бурях, вызываемых в нем даже тогда, когда он дует на горячий суп. Чищу свою коробку красок, чтобы ее отнести для печатания в Акцентр. По дороге к Кесслеру встречаю Жоржа Бруни. У него мигом меняется… нищенский вид, нежели зимой, но все же бодрится. Пишет новую книгу о теории музыки.

В консульстве ведают лишь визой. На визе нет фамилии, написанной правильно, а в русской части они поставили Бенуа I. Как бы не вышло пререканий? Всего боишься. Знакомый Нотгафта юрист, консультант Блуменфельд, дает мне адрес, и на сей раз тон хамовитый (по-европейски). Из Эрмитажа — в Акцентр. Богуславский считает, что никаких печатей не нужно, но все же запечатывает мой пакет! При этом никаких бумаг не дает: «И так хорошо!» Захожу в пароходную компанию. Пароход пойдет не раньше понедельника. Это откладывание ужасно! Ну да авось московские бумаги поспеют.

В Эрмитаже вожусь с устройством последней комнаты отделения XIX века, где будут кроме рисунков в двух ярусах и картины. Новая неприятность. Марк сообщает, что наконец сформирована пресловутая комиссия по переучету присланных на хранение вещей и оный переучет скоро начнется. В комиссию входят: Марк, Нерадовский и др. Ятманов был склонен оставить все в крепостной зависимости от государства (грошовое), соображение взяло верх, а именно: за каждую «сохраненную за годы революции вещь государство с владельца будет взимать по гривеннику золотом», и в общем они уже высчитали — это может дать целых 250 миллионов (то есть 250 рублей прежних денег, стоимость одного месяца нашей прежней квартиры!), очень нужных для самоснабжения музейного фонда. Не будут сниматься с учета лишь вещи музейного первоклассного достоинства, и вот в этих вопросах (при целой сети мелких художественных фискалов) решающий голос предоставляется помянутой комиссии. И такие вещи тоже остаются у владельцев, но за них он ничего не платит. Вот хитренький наш Нотгафт и предпочитает оставить все на учете, дабы ничего не платить. В противном случае ему бы пришлось внести за 400 сдуру переименованных вещей его. Я, главным образом, боюсь впустить в нашу квартиру «сбиров». Среди них могут оказаться идиотски усердствующие, а то и просто пакостники. Как увидят папки, картины, книги! Ай, ай, ай! Марк утешает, что меня, во всяком случае, не тронут. Панически настроенный и пламенеющий

искренней дружбой Федя, главным образом, умоляет меня (обнимая и потешно заглядывая в глаза), чтобы я за границей ни с кем бы не разговаривал о Советской России и не дай Бог не отвечал бы в прессе, если (это не подлежит сомнению) будут на меня выливать помои «разные Зиночки [Гиппиус]» и т. п. Я уверяю его, что мне это и в голову не придет.

Дома Паатов с копией группового портрета Греза, бывшего у Белосельских и изображающего маленького Строганова, которому его семья Белосельских указывает как на образец для подражания на бюст барона Сережи Строганова. Стип принял его за оригинал Тренкеса. Самый портрет сгорел, и осталась лишь голова, которая, по словам Эрнста, увезена Белосельскими в Париж, где и продана за бесценок, так как никто не поверил в достоверность Греза. Вообще аукцион всего, что они так хитро отсюда вывезли в 1917 году, дал всего 200, 500 франков. Их Рослены пошли по 5 или 10 000.

Вечером обед у Кесслера в обществе старухи Хвостовой (приятной подруги г-жи Кесслер), Баронен (дама), какого-то приятного женомана, взбухшего доктора, у которого голос удавленника и вся «морда» в шрамах (от студенческих дуэлей), и дочерей консула. Раки, котлета со всем гарниром и «сливочное» (из молока) мороженое. Масса крюшона. Старуха Хвостова — дама в черном, с огромными черными четками вокруг шеи, понравилась Акице. Я же склонен видеть даже в ней шпионку. Уж больно тихоструйно говорит, уж больно почтенна (как ее выпустили и снова впустили? Сын ее служит в банке Татищева в Берлине). Обе дамы приехали только сегодня на «Шлезвиге», которым они не нахвалятся. В течение плавания молодой Баронен пришлось сидеть за столом с коммунистами, которые ее усерднейше обрабатывали, и она «должна признаться даже в оригинальности их».

В Кронштадте пароход был встречен криками и песнями. Здесь же они провели (их продержали на борту) бессонную ночь, а затем полдня, так как шел подробный досмотр вещей, так как явившиеся на пароход власти все время на палубе пировали, орали и гремели. Вообще фрау Баронен в легкой панике. Профессор Зейберт — душа общества, показывал фокусы со стоящей палкой, которая не падает, и играл с дочкой Кесслера ноктюрн.

Папа Кесслер сообщил интересные данные о здешнем чудовищном вздорожании. Хлеб и особенно сахар превысил заграничные цены во много раз. Меня напугала г-жа Хвостова, рассказавшая о количестве русских эмигрантов в Берлине. Она этим думала меня осчастливить.

Пришлось Кесслеров и баронессу приглашать обедать в понедельник. Это долг за всю их любезность. Но что скажет убитая количеством работ Мотя?

Говорят, в «Московских известиях» на днях было сообщение о помиловании бывшего князя С.А.Ухтомского, приговоренного к высшей мере наказания…

Изумительный паек дали сегодня в КУБУ: вместо сахара — обещание, что выдадут через две недели муку, а кроме того, затхлой крупы и горького масла. Это на весь месяц. Немудрено, что люди вроде Сережи, у которых все ресурсы сводятся к этому пайку, снова заголодали! Но каково хозяйство! Какова правильная доктрина, и ведь есть же болваны (даже среди этих голодных и именно среди них), которые продолжают в нее верить! А многие отныне будут ставить в актив коммунизму большевистские всякие улучшения в быту, в финансах и т. д., которые будут совершаться благодаря тому или иному отказу наших доктринеров от своей доктрины в угоду жизненным условиям.

Четверг, 2 августа

Весь день ветер и дождь. Я промочил ноги (хожу без калош). Акицу в Акцентр за бумагами не пустил. Утром докончил черновик огромного письма в Большой драматический театр. Днем в Эрмитаже. Часть скульптур из Елисеева дома поставил в отделение XIX века. Бурдель ужасен, Роден очень напоминает формы для мороженого, но, разумеется, мне бы не следовало об этом говорить в присутствии Ж.А.Мацулевич, Паппе, Нотгафта, так как малые сии с удовольствием подхватили едкое «поношение великих мира сего», не имея в себе того корректива справедливости и той гибкости оценки, которая позволяет при всей жестокости критики все же отдавать должное прекрасному.

А прекрасного и в этих (действительно упадочных, а может быть, совсем Роденом не пройденных) вещах все же много. Чувствуются изгибы пластики, тела, жесты неподражаемы. Жарновский выпалил какую-то мне дерзость, за что ему жестоко попало.

В передней меня снова ловит г. Х., приходивший месяца четыре назад с просьбой дать ему совет по изданию путеводителя для курортов. Я его направил к А.П.Остроумовой, но она отказалась, тогда он достал какого-то жиденка Левинсона, делающего пошлые «графики» во вкусе архитектурных скетчей в «Студио», и притащил эти скетчи, как и самого автора. Ну что

мне с таким подлецом делать и что им от меня нужно? Возможно, и он хотел получить мое «имя»? Какой кошмар! Всесторонне собранный, я. по обыкновению в таких случаях, стал немного гримасничать, превозносить фотографии прейскурантов американцев. А разве на самом деле я первый, если бы мне понадобилось ехать в какой-нибудь Карлсбад, не предпочту купить добротный, снабженный сухим, но дельным указателем и точными снимками «бедеккер»? И не адекватен ли хороший вкус в каждом деле внутреннему содержанию?

Сережа приноравливается ко мне. Я его буксирую до дома, но тут заваливаюсь спать к себе в кабинет, тогда как он, получив от «кумы» чаю, сливочного масла и хлеб, а от меня томик Ретифа де Бретона, устраивается в комнате Юрия. Увы, утомленный ли его присутствием или вообще повышенной вследствие ожидаемого отъезда нервозности, но за обедом происходит глупейшая ссора между мной и Кокой (он здесь гостит третий день) из-за того, что последний говорит о нашем путешествии как о совершившемся факте, что во мне вызывает страх перед «сглазом» (не могу же я очиститься от психологичных навыков всех моих предков), и я резко его останавливаю. Это вызывает в Акице оскорбление как ее материнских чувств, так и обязанности (от которой я ее так и не отучил, несмотря на усилия целой жизни), — горячие протесты и возмущения. Кока, обиженный, перестает кушать суп. Я выхожу взволнованный в свой кабинет, он уходит к себе, и после этого еще полчаса слышу, как Акица продолжает негодовать на меня, не понимая, что она и есть главный виновник (ну, я был, кроме того, разражен на всех из-за новых приказов о мобилизации, впрочем, как будто приказ не касается наших юнцов, так как их защищает Академия художеств. Вообще эту мобилизацию все считают простой проверкой без военных целей), что маньячкам нечего перечить. Бас Сережи ее успокаивает, и по его благодушному тону я понимаю, что он блефует. Ему только дай такие мотивы для умных разъяснений и мудрых умиротворений.

К чаю Лаврентьев и Марианна. Последняя не может рта открыть, как он в грубой форме на нее цыкает. Подробно рассказывает сюжеты «Былой невесты» Метерлинка. Татан влюбляется с Марианну (у него вообще определенная склонность к женскому обществу, и в частности к хорошеньким), и она его в шутку учит «курить» (из свернутого лоскутка бумаги). Подошли еще Альбер, Любаша с кошкой на руках, Верейский, Бразы, брат Миша с внуком и с Амелией. Последние принесли целый ворох Кикиных брусничных котят, чтобы мы их взяли. Кое-как под настойчивым влиянием и убеждением Лолы мы соглашаемся. Кроме того, кружевные рубашки и другие глупости (а я-то все

заботился о легкости наших чемоданов). Лола тоже навязывает Акице какие-то простыни и скатерти для своих мальчиков. Вообще и в самом деле «нас слишком любят». И стакан сахару идет, несут чаю, булок. И все с вопросом: «Когда мы едем, не останемся ли за границей навсегда и т. д.» Безумно раздражает!

Карлуша нагадил на Татанову кровать. Общее возмущение. Придется его отдать Стипу. По сведениям Лавруши, А.Толстой привез всю свою семью. Лаврентьев его, несмотря на хулиганство, любит.

Пятница, 3 августа

Пасмурно. Выспался с вечера — последствие величайшей ссоры — в своем кабинете, после этого боролся до 5 часов. Мотя истомлена гостями, еле держится на ногах. У нас с Атей беспокойство, как бы ее не замучили Черкесовы. Атя так изничтожает всех своей сухостью, и обе при большой своей фанаберии. Хорошо бы ей поехать недели на четыре на дачу (да вот на Сиверской ничего не нашлось), чтобы и Татану быть больше на воздухе. Рассеявшись новыми впечатлениями, скорее бросит тосковать по «бабе», да чтоб Моте здесь немного отойти. Хоть Акица ей и дает за каждое участие известную прибавку, хоть и берет часто на помощь Татьяну, однако все же она совершенно измоталась.

Утром позволил себе побаловаться и расклеивал по пустым страницам альбома Розенберга всякую всячину, гармонирующую с тем, что уже там есть. В Акцентре сразу получил любезное письмо от О.Н.Скородумовой: новые разрешительные бумаги из Москвы на вывоз моих вещей, однако странно: не говорится об устройстве выставки и о Пом-голоде, а лишь о том, что мне разрешается вывезти картины согласно разрешению Акад. центра Наркомпроса от 12 июля за № 4941 без оплаты пошлины на основании постановления Совета Народных Комиссаров от 9 июля 1923 г. Но, впрочем, последнее постановление, кажется, и есть то дополнение об особом комитете. Зашел еще к т. Ярмоловскому, но он сказал, что данного «разрешения» достаточно для таможни.

В Эрмитаже приходится водить фрау Кесслер и ее приятную, но не умную и не культурную подругу. После чего их сплавил и начал болтать с Моласом (с хорошим показом фотографий и очень элегантной Ники на площади св. Марка, окруженной голубями), как явилась герцогиня Лейхтенбергская с австрийским генеральным консулом Кейлем, который обнаружил

чрезвычайный интерес к древним бронзам и особенно к их патинам. Его я сдал на руки Ернштедта и Крюгера, а ей пришлось показать «ее» миниатюры, то есть те, которые поступали к нам в составе вещей князя Кочубея. Она констатировала наличность всего, кроме одного двойного портрета короля Баварского и его супруги. Оказывается, она все время следила за этой коллекцией, когда она попала в руки «комиссии Горького», но все же, вероятно, там эти вещи и стащили. Сейчас, по совету Ерыкалова, к которому ее направил Ятманов, она обратилась за помощью к прокурору (причем указала Ерыкалову на Липгардта и на меня как на тех, кого она знает с детства!) и теперь будет добиваться судом получения своих вещей, в том числе и шпаги с миниатюрой Евг. Богарне на том основании, что она бежала и что эти вещи никогда не были бесхозны.

Но память у нее на вещи поразительная. Я затрудняюсь, как к ней обращаться: «Дарья Евгеньевна» — видимо, ужасно ее оскорбит. После этого еще час вожусь в Зимнем дворце. Степан крайне встревожен сообщением Кверфельдта, что Ятманов распорядился передать библиотеку и все рисунки — Академии художеств. Вот уже и сказывается отсутствие Тройницкого. Другая угроза появляется в лице нового сокращения (на 25 %) штатов. Наконец, неприятно и то, что к Суслову явился чекист и потребовал списки всего личного состава, которые он целый час просматривал.

Дома Леонтий и Маша сидели около часа. В восторге от карточки сына Нади, очень теперь смахивающего на нашего Татана.

К обеду Добычина с Петром и Рубеном и с целым пакетом сладостей — плоды дружбы с г-ном Гецем. Обед был вкусный, беседа довольно уютная. После обеда подошел еще Милашевский (кажется, он уже в третий раз приходит прощаться) с акварельной головой в подарок. Эрнст, Женя и Зина. Я показывал свою папку семейной хроники и адски устал. Читаю Доше — записки кампании 1792 года.

Суббота, 4 августа

Чудный, солнечный день. Но с утра он нам испорчен тревогой: ночью был обыск у Руфа, продолжавшийся с 11 ч. до 5 ч., и он сам арестован. Несомненно, это последствие доноса его домашних неприятелей — любовницы Тони и Марьи Максимовны. Нас это ужасно огорчает, ибо в сумбуре нынешних условий «домовой» жизни и квартирных отношений, в которых

мы сами ровно ничего не смыслим, в нем мы и все порядочные квартиранты всегда встречали самое благожелательное отношение. Об его делах мы не имеем никакого представления, но, возможно, что слухи, исходящие, правда, от тех же его недругов, о всяких его спекуляциях и более или менее сомнительных операциях, до некоторой степени и справедливы. Особенно зудят вокруг устроенной им в доме красильной, в которой перекрашивают в черный цвет старое якобы негодное сукно. Полосы этого сукна мы на днях видели сушащимися на дворе. Как бы эта история не отозвалась на нашем отъезде! Я в большой тревоге. Акица в особенной тревоге.

Позже явилось некоторое успокоение. Причины его очень своеобразного характера для психологии нашего времени: оказывается, Руф арестован не один и, очевидно, не по доносу домашних, а в компании с двадцатью другими членами церковного совета Николы Морского. И арестованы они за то, что всячески противились водворению у нас в Соборе Новой церкви, а когда вышло послание Тихона, то они принуждали этих втируш ехать в Москву с покаянием. Те на них и донесли в Чеку. Авось обойдется. Плохо лишь то, что при обыске у Руфа найдено три письма, которые он писал Анне Игнатьевне из Порхова и в которых он ругательски ругал советскую власть. А еще хуже того дурацкие разговоры, которые он вел с завсегдатаями, заседая часами в портерной. Возможно, что он их вел и с нашим угловым милиционером, с которым он как будто свел (на территории пивной?) дружбу. Но нужно надеяться на то, что он сумеет вывернуться. Вместо него сейчас нами правит Юргенс, бывший офицер, говорят, не менее ловкий человек, нежели Руф. Но к Руфу мы привыкли, а этого пока не знаем. Я даже в лицо его не помню.

Утром пишу письмо в Большой драматический театр и начинаю вчерне «завещание», весьма своеобразное по форме и юридически никуда не годное.

Днем с Акицей в Эрмитаже. Она в полном упоении от содеянного, не хотела уходить. Снова пришлось учить уму-разуму Жарновского в смысле уяснения «гениальных» мастеров середины XIX века и Жерома.

Ходил еще по Эрмитажу жуткий тип — живописец, коммунист Федотченко, хваставшийся Стипу, которому он был почему-то поручен Ильиным, что с него именно и начинается поворотный пункт в истории искусства, что он написал гениальные картины, среди которых «Утверждение коммунизма», что в его картине, написанной им во Франции, где он учился живописи у М.Дени, скульптуре от Бурделя (бывшего без ума от

него) и архитектуре у кого-то, что все его картины до последней распроданы и т. д. С виду сущий разбойник. Смесь Ятманова с Назаренко. То говорит, что из Харькова, то из Войска Донского. При осмотре Эрмитажа «хозяйским оком» заприметил кое-какие дефекты в сохранности картин и, между прочим, пузырение портрета Перуджино (посмотрел бы он на бесчисленные дыры, царапины и побеление лака, которые получились из-за революционных разрух, на всех тех картинах, которые у нас в Зимнем, в запасе!).

Акица купила билеты на пароход, оный действительно идет на Кенигсберг, но это нас не должно беспокоить, ибо пароходная компания, взяв те же 6 франков с человека, как и в Штеттин, обещает зато доставить поездом нас (в III классе) до Берлина, запломбировав, как водится, вагоны при переезде через «польский коридор». Зато в море мы будем всего два дня, а в Берлине уже в воскресенье утром.

Ходила Акица в таможенный округ справляться и относительно провоза драгоценностей, и оказывается, что можно провозить на себе лишь на 200 рублей золотом, считая при этом и золотые часы, и обручальное кольцо. Между тем одно Кикино кольцо с изумрудом оценено Добычиной минимум в 1500 рублей. Теперь Акица ни за что не хочет везти эти вещи, да, действительно, риск большой, и особенно при выезде из Германии. Если там их запретят к вывозу, кому мы их там передадим? Да и здесь, если бы у нас отняли, нельзя быть вполне уверенным, что удалось бы владельцам получить их обратно по доверенности. Ходит слух, что камни здесь могут подменить. Зато забравшаяся вечером вечером Лола Браз навязала Акице еще две простыни. Ох!

У Бразухи имеется от Жени Зубова известие, что он арестован в Кронштадте, а не здесь, и по доносу матроса. Стип уверен, что доносчик — один из пьянствовавших с Платером мерзавцев в пивной на Казанской, в которой собираются немецкие коммунисты и куда повадился шляться М. де Платер, очевидно, в поисках педерастии… Стип, очень мрачно настроенный из-за отъезда Марфы, вообще боится за Платера, за его а-ля Руф неосторожную болтливость.

Огорчили мы Стипа окончательно сообщением о безобразном поведении его Каташа, который гадит всюду, сколько мы его ни учили.

Вечером я ходил с Акицей и Татаном к Альберу. Татан совсем полюбил дедюшку Берту, так как у того оказался старый велосипед, на котором наш клоп и разъезжает взад и вперед по мастерской! Потеха! Альбер кончил все свои диорамы и вот-вот

получит расчет. Его мы стащили вниз и он, попивая чай, рисуя какой-то пейзаж, слегка подремывая, рассказывал нам со слов Серафимы Бенуа (кстати, выкрасившей свои волосы в репейный цвет, «а то я черная успела Коле надоесть») ужасы про лужского разбойника Вальку Саран, которого, наконец, милиции удалось разыскать в лесах и ценой восьми убитых (из восьмидесяти) изничтожить вместе с его двумя подручными. Убили эти разбойники, по крайней мере, двести человек в округе, но среди награбленного находится, главным образом, всякий скарб — платочки, кофточки, сарафаны. Серафима видела сама их тела, которые на устрашение злодеев и на успокоение честных граждан вывешены в здании милиции, где она их сама видела и в котором от их разложения стоит ужасный смрад. Трупы буквально изрешечены пулями. Видела их самогонщика, поставлявшего им водку в лес… Серафима была так потрясена зрелищем, что не вернулась тут же на дачу, к детям, а удрала на первом поезде в Петербург, где уже живет, не подавая оттуда вестей, четвертый или пятый день. Я это страшилище на днях встретил.

Записал ли я, что оба превосходных полированных гранитных монолита, смазанных андесталей для «статуэток» Петра I на набережной, на днях распилили на четыре части каждый. Не уверен я в том, что записал об окончательной гибели весной «Гиганта-рабочего» работы Блоха, стоявшего перед Дворцом Труда. Последнее время он являл весьма грустный вид, ибо у него отвалилась голова. Пророческий символ! Стип сообщил, что наконец развалился и «гордый милиционер» (тов. Блоха), украшавший маленькую площадь перед мастерской св. Екатерины на 1-й линии.

Самое замечательное я и забыл упомянуть. Трупы разбойников выставлены в Луге по нэпманическим соображениям. Власти за показывание их берут по 5 миллионов, и вот стоит толпа на улице перед домом — съезд всяких телег и тарантасов. Словом, «успех сезона». Как бы этот пример не воодушевил на подобное же. Открываются прямо безграничные горизонты.

Воскресенье, 5 августа

Чудный день, и благодаря ему я утром сделал массу вещей: повторил «Фонтан Нептуна» (оригинал уже запечатан), написал массу всякой всячины, подвинул (а вечером и кончил) опись избранных папок. Но, увы, с 4-х часов начался непрерывный поток до самой полночи.

Все являются прощаться, но «обещают» (вызываются сами без намеков с нашей стороны на приглашение) зайти еще. Это кошмар, и самый утомительный. В собственном доме мы узники. Сначала Шапиро, которому я обещал, наконец, вчера, что его приму! Ему надо было показать «офорты» своего приятеля Берлингерфрау (так!), что оказалось наивным надувательством, ибо это не офорты, а очень пошлые рисунки пером с заливкой под офорт (ох, жадюги!), и, кроме того, экспериментировано очень мило. Карандашный портрет девочки, подражание Федотову (действительно его), под которым наклеена курьезная надпись: «Мама, когда ты приедешь» (или что-то в этом роде). Был у него еще и полузаполненный альбом на отличном ватмане какого-то русского архитектора 1840-х годов — очевидно, папиного товарища — с этюдами Альбано (Шапиро думал, что это оригинал автора) и с копиями костюмов Пинелли. Сидел он 1,5 часа. Я его все убеждал захотеть ехать в Париж; и действительно, здесь ему закрыта дорога, здесь слишком много голодных, и голодные бездарности всегда будут иметь преимущество перед талантливыми. Даже ему при всей расовой кумовитости и пронырливости не справиться с нынешним госиздатами, полиграфией, так как ему мешают его повышенная нервность, впечатлительность и, словом, романтичность, о которой он сегодня и распространялся. От позирования ему до отъезда я уклонился.

Затем скоро приятный перерыв — проводы Жени Лансере, который уехал сегодня на Кавказ, точнее в Батум, но с тем, чтобы вернуться сюда с семьей в октябре. Не эта ли перспектива его возвращения так раздражала Зину? Она была сегодня буквально невыносима, как отвечала, «брыкалась» и откалывала даже какие-то дерзости. Насилу упросил ее показать ее новые вещи — очень хороший портрет Таты среди «кухонного развала», отличный натюрморт с гипсовой головой и корзиной и неважный натюрморт с сигом (сига купил Женя). И вот эти три вещи, из которых портрет — в натуральную величину, сволочь-эксплуататор Рыбаков вытянул у нее за 5 миллионов, то есть приблизительно за 35 рублей, за то, что почти стоят материалы! Однако беспросвет этот получается в значительной степени благодаря ее нужде, если оставить вопрос в стороне о том чудовищном положении, в котором оказалось вообще русское искусство, задушенное декретами, общим нищенством, союзами, Ятмановыми с Наумовыми, Штернбергами, легкомыслием Луначарских и тупостью прочих доктринеров, так как она так безвольна и нелепа, что не умеет скрыть от этого хапужника все, что она делает, и, разумеется, он тащит все три вещи за ту же

цену, какую он заплатил бы за одну! Две она за здорово живешь дает ему в придачу. решение Жени вернуться сегодня взяло верх над соблазном пользоваться благами Кавказа, главным образом, из соображения помочь в тяжелом положении сестре и матери, а отчасти и благодаря тому, что очень расхваливаемый им французский лицей в Тифлисе, где еще дети воспитывались, наконец закрыт властями.

К проводам подошел и Сережа, который с места в карьер объявил, что он до нашего отъезда придет еще во вторник и среду. Его ужасно жалко, ибо, разумеется, его гонит голод (он как явится, так сразу начинает клянчить у Моти чай, булку и масло, что ужасно раздражает и деморализует Матрену Васильеву), но, с другой стороны, прямо берет ужас от такого нахлебника и, главным образом, от того, что он будет мучить и Черкесовых в наше отсутствие. Под предлогом интереса, не получены ли письма, он будет приходить каждый день. А это не только в наших нищенских условиях стоит уйму денег (то есть то, что представляется нам теперь уймой), но и безумно утомляет, так как он образцовый «резонер», и его вечные расспросы, упреки, издевательства (с сильным привкусом зависти) и просто какое-то бубнение (отчасти все это наследие «жанра» дяди Миши Кавоса, его притязания на умственную едкость) — принадлежит к чему-то весьма безвкусному.

Мы с Акицей оба его прямо любим (ибо он в душе добрый и ужасно несчастный), но тем мучительнее тот психологический танец, который приходится с ним и в отношении его исполнять. Кроме него, обедала Тася. К концу обеда Хохлов — ниже травы, ниже воды. Совершенно разочарован Апександринкой, вялостью Юрьева, циничным мошенством Берлигара (который собирается ничего ему за четыре месяца работы над «Эдипом» не дать. Придрались к тому, что Хохлов как-то раз в припадке актерского благородства заявил Юрьеву, что он лучше будет работать даром, «нежели за те гроши» — 5 миллиардов, которые ему сулили)…

Ко мне у Хохлова был род «дела»: кому-де поручить роль баронессы в «Грелке» вместо покинувшей труппу М.А.Скрябиной (вышедшей замуж за богача и уехавшей в Берлин и Италию), но, разумеется, это был только предлог, а настоящая причина — просто явление на поклон. Может быть, что-нибудь и дошло до него о готовящемся письме. Характерно и то, что он (теперь только) собирается прочесть «Копилку» — после того, что он со своим другом Канкаровичем (и с этим дрянцом история: он ему устроил заказ музыки для «Эдипа», а когда дело дошло до уплаты, то Канкарович предложил треть установленного, и он с негодованием отверг) в продолжение трех месяцев интриговал с

целью ее вовсе провалить. К счастью, эта образина сидела только до 10, зато он оставил нам в наследство свою belle-mere Александру Павловну, которую мы очень любим, но которая по-своему не менее мучительна, нежели Сережа, ибо она вполне оправдывает прозвище, данное ей Серовым, «каменной бабы». Кроме того, явился еще Бушенчик.

Татан увлекся велосипедом и все требует, чтобы его водили наверх, к «дяде Берто».

Итак, предлагаю текст моего выступления перед коллективом Большого драматического театра 5 августа.

> «Дорогие товарищи, к моему большому огорчению меня не будет с вами, когда вы соберетесь с тем, чтобы после летнего отдыха сообща приступить к работе в новом сезоне. А я уезжаю, потому оставляю вам это «слово», будучи душевно озабочен судьбой нашего театра и в особенности его внутренней жизнью, определяющей, как его внешний успех, так и его общественное значение. Никому из вас не тайна, что в минувшем сезоне и к нам проник тот разнобой, который так характерен для всего нашего времени и который учреждается на не слишком глубоких основах всей нашей, увы, очень хворой культуры, но против которого еще остатка следует принимать решительные меры. Во мне говорит не консерватизм или академизм, но ненависть ко лжи, к выверту и к сумасбродству. В известней пропорции и эта уродливость не является препоной, ибо она «сообщает» неминуемую прелесть существованию, а без них было бы скучно, но горе тому обществу, которое этим уродствам потворствует и создает им культ в ущерб всему, что идет от чистого сердца и здравого ума. Сознавая глубокое значение театра вообще и в полной мере сознавая нашу ответственность перед обществом, я и вздумал воззвать к вам о необходимости подумать о том, как бы выправить не ту линию и вернуться к той внутренней жизни, которая явилась основной силой в начале наших выступлений, которая и создала блестящий репертуар театру, который и впредь сулит создание идеального сплочения и сыгранности труппы, которая должна привести наш театр к торжеству над всем, что творилось вокруг и в чем сказывалась погоня за суетой людской и угрожающим снобизмом, затрагиванием «передовой» (в кавычках) эстетики.

Дорогие товарищи, вы, вероятно, подумали, что, конечно, я имею в виду К.П.Хохлова, с которым у меня завязался чисто принципиальный спор, и отчасти причина подобного недоразумения. Против К.П.Хохлова я лично ничего не имею. Напротив, я был главным инициатором его привлечения в наш театр. Мне и сейчас в чрезвычайной степени ясны все его намерения и все то, что театр может показать из его содружества. Но, с другой стороны, я первый приветствовал решение КП.Хохлова сложить с себя функции главного режиссера, и я с особенным нетерпением ожидал возвращения нашего дорогого Андрея Николаевича Лаврентьева, так как было ясно, что Константин Павлович не подходил для той роли, которая ему выдалась на известный момент совершенно случайно, для которой, по его же собственному признанию, он не создан. Хохлов-актер, Хохлов-режиссер, постановщик того или иного спектакля — это одно. Хохлов — идейный руководитель целого художественного подразделения — это другое. И он в первых случаях может быть полезен для театра, во втором же он способен без всякого желания принести театру непоправимый вред. Константин Павлович сам, в присутствии всей художественной комиссии, это признал и умолял себя освободить от главрежиссерства, соглашаясь сохранить за собой только то, что он назвал опытной лабораторией, что дало бы ему возможность создавать тот или иной спектакль, в котором он дал бы волю своему поиску новых путей, своей склонности к художественному возрождению и на которых он мог бы проверить те или иные новые приемы. Я горячо приветствую создание такой лаборатории. Она может нас спасти от застоя. Она сообщит… большую яркость. Но сможет ли быть лаборатория при театре? Не следует смешивать с переводом всего театра в новую лабораторию. Опыт опытом, а строительство строительством. И эти две категории явлений опасно путать, если же мы хотим строить наш театр на прочных основах.

Вы сейчас приступаете к работе над Лабишем — антиподом Плавта. Вы все знаете, как много значили в истории человеческой мысли ее титаны — Аристофан, Мольер, Гольдони и Гоголь… И вот Лабиш был наделен сложной радостью, он видел смешное в жизни, радовался смешному и заражал ею своих ближних. Сам он был

удивлен, когда его избрали в Академию, вдохновлялся своей способностью разыгрывать это в лицах. Вот уж у кого не найти и намека на пошлость. Вкус Лабиша безупречен и по-своему возвышен. Его комедии хочется преложить в качестве науки филистерам, скучным и бездарным педантам, с ученым видом рецензирующим и рассуждающим о низкопробных постановках. Увы, особенно много подобных породило наше время — время повальных теоретизирований, доктринеров, время «исканий» во что бы то ни стало среди переоценки ценностей на радость и утешение всякой смердяковшине! Да, вкус Лабиша безупречен. И лучшее доказательство тому, что как-то странно об этом говорить, как и о вкусе Буше, Мольера или Гоголя.

Когда мне бывает очень тоскливо на душе от зрения человеческого уродства, я беру томчик сочинения этого благодушного мудреца, который, подобно Гераклиту, всему смеялся, и в один миг вхожу в какой-то особый мир, в котором наш мир отражается со всем тем, что в нем есть мило потешного и из чего слит гений Лабиша (на этот-то подвиг требуется именно сила воли!), исключая всякую мерзость, всякую гнусность и следы пошлости. Мы видим себя в особом преображении, обличающем все наши слабости для того, чтобы нам надо было приходить в отчаяние от своего уродства. Мы на Лабише учимся быть снисходительными к недостаткам человеческой природы и человеческого общества, а еще вопрос: не есть ли лучшее настоящее средство проницательного смягчения — доброта и сердечность нравов?

Итак, дорогие товарищи, будем работать над Лабишем с сознанием того, что мы делаем высокое и благородное дело, как то, которое мы выполняли, ставя Шиллера и Шекспира. Такая постановка — не компромисс, за который могут краснеть только грубые натуры, а настоящая оздоровительная и полезная деятельность для нас и для общества. Обнимаю всех вас и остаюсь душевно с вами».

Понедельник, 6 августа

Где-то облачно, тепло, иногда солнце, днем дождь. «Советский церковный праздник», но не все церкви его

празднуют, да и в публике недоумение, уж не Интернационал ли какой? Календарь не прививается. Как бы то ни было, день неприсутственный, и я использовал его, чтобы съездить после многих лет на католическое кладбище, попрощаться с могилами папочки, мамочки и брата Иши. От Финляндского вокзала шел пешком, все время предаваясь воспоминаниям о тех днях, когда я здесь шагал или ехал на пролетке Эдвардсов, гордый тем, что меня везет «собственная лошадь». Интересна и церковь Тихвинской Богоматери (XVIII век), получившая уродливую пристройку и не менее уродливую колокольню. Деревья богадельни Тименкова и Фролова (два имени, запавшие мне с детства) так запущены, что теперь и не увидишь бродящих под ними старушек в чепцах. Арсенал не дымит и лишился пушек, лежавших грудами вокруг на траве. Зато по-прежнему улица упирается в две избушки в русском стиле (служба набережной) и рядом стоят, но, кажется, не работают бани. Совсем изменилась дорога, заворачивающая на кладбище. Все заросло, какие-то воздвиглись строения, протянулся целый проспект, пролегла какая-то железная дорога. От прежнего приволья и радости нет и следа. Церковь стоит обгорелая, лишенная крыши, и эта ее колокольня скорее к лицу. Впрочем, идут длительные работы по починке, очевидно, на средства Польши. Загорелась она, как думают, от электрического смыкания. Внутри выгорела совсем, но своды и стены уцелели. Окна выбиты. Зато совершенно не пострадал склеп, куда я проник без посторонней помощи, так как дверь в него открыта, очевидно, для просушки. Наша семейная часовня в полном порядке. Накопившиеся за время войны гробы польских магнатов все уже увезены на родину. Я помолился, приложился к плитам, испросив благословения папочки и мамочки, набросал в альбом наружный вид церкви и пошел в обратный путь. Могилу М.Я.Эдвардса я не нашел. Она, как и ее место, будто сравнена с землей.

Днем убирал кабинет. В 7 часов неожиданно рано явился Асафьев, которого мы звали на после обеда. Потом явились дядя Берта с «меню» и со своей экспозицией, как он ее довольно беспутно и представил иностранцам, и, наконец, вся компания Кесслеров: папа, маман, два близнеца — Марианна и Югелло — и эффектная фрау Рихштофен. Обед вышел на славу. Гигантский телячий окорок произвел сенсацию, таких у них в Берлине не бывает. После обеда я и Альбер показывали им (совершенным вандалам) свои работы. Асафьев играл диезы и прелюды. Подошли еще папа Молас, шармировавший всех бархатистостью своей речи. (По-французски он говорит, как парижанин.) Ирина Степановна Асафьева, Люля, Миша, Катя в невозможно пестром

платье и В.А.Фролов. Асафьев наедине мне снова жаловался на интриги Купера, на подлость представителя властей Оссовского (никогда не любил), на дальнейший успех Палиферова, ныне дирижирующего в лейб-курорте Зиновия Сестрорицкого. Неловко вышло с отказом перевезти вещи Валентина Павловича Дягилева, который явился перед самым обедом!

В Екатеринославе обнаружена «Кошмерия» — это так выкликали газетчики сообщение о кошмарном преступлении, совершенном «компанией чинов советской инквизиции», якобы боровшейся с контрреволюцией. Умер Дж. Греди, которого я видел в делегации у Палеолога — английский лейборист, намеревался «удержать Россию в войне». Говорят, он был ненавистен советской власти, но в то же время придерживался политики полнейшего индифферентизма в дела Европы.

Вторник, 7 августа

Хороший день. Свежо. Осенние цветы уже мерзнут на даче. Они как раз привезены рано утром. Кока очень смешной, загорелый, бритый. Марочка тоже черная.

В трамвае вижу княжну Марью Константиновну Трубецкую. Не замечаю ее, чтобы избежать лишних разговоров с этой милой, веселой, но нелепой дамой. Вид самой проститутки. Всегда была такой, а теперь еще исчезла осанка. Пожалуй, где-нибудь играет. Ведь и она также под гербом гранд-дама и каботинка.

В Эрмитаже беспокойство за Тройницкого. Почему он не пишет и даже не послал клятвенно обещанной телеграммы. Уж не случилось ли что? Уж не арестован ли? Все говорят (особенно это распространяет Алексей Толстой, привезший свою семью), что Германия — бурлящий котел, который вот-вот разольется. А мы-то в него! Еще говорят, что здесь теперь ни за что не найти иностранных газет. На Совете Эрмитажа я возбудил вопрос об эквиваленте за картины Камори. Макаров считает, что надо сделать отдельные «секретные» (по способу хранения протоколов) запасы на предмет получения санкций всего нашего синклита, так как это есть первый случай отчуждения вещей Эрмитажа из пределов России, и секретность требуется, потому что все эти польские дела до сих пор проходили секретно. Я устраиваю еще летучее заседание. Увы, вещи из Русского музея и из Строгановского дворца (для XIX века) не удастся добыть до моего отъезда. Зато из Академии художеств доставлена тяжелейшая статуя графа Остермана-Толстого работы Торвальдсена.

Прошу Федю (Нотгафта) — моего издателя «Петергофа» —

ссудить (в счет гонорара за текст к Петергофу) несколько миллионов марок на дорогу. Он мне выдает всего 2 лимона и утверждает, что этого вполне нам должно хватить до Берлина. Что же, там разве совсем люди потеряли меру вещей? Ужасно вообще интересно, что мы там найдем и как-то я после девяти лет восприму все, что я когда-то так хорошо знал и почитал «своим».

Дома пишу начисто вступительное слово для актеров БДТ. Добычина с Гецем в 4 часа не является, а является в 9 часов. Она с утра проморила голодом своего маржере — они куда-то ездили. И, между прочим, была у глазного доктора, который пригрозил Надежде Евсеевне слепотой на один глаз (наверное, преувеличение). Это ей дало повод сделать очень зрелищное антре! Геца она даже таскает, как поводырь медведя. Он же, видимо, несколько смущен, но пока подчиняется. Привез много изделий «Красного пекаря» и конфеты — изделие чего-то тоже «Красного»! Он, оказывается, сам не кондитер, а инженер, закончивший лицей в Дармштадте до отъезда и его женитьбы. Сегодня он мне показался более интересным. Претензия на аристократизм (эротическая коллекция), бархатный пиджачок, черное пенсне, ласково-твердый определенный тон. Мои пять «Версалей» Добычина забрала, но денег не внесла. Неужели будет кормить Атю мелкими подачками? Он сам дал свои адреса и телефон на случай, если бы наши ощутили необходимость в его помощи. Так же быстро она его умчала, как и привезла.

В это время у меня уже сидели Монахов и Лаврентьев. Они пришли к концу обеда (при котором просидел П.К.Степанов, оставшийся затем до полночи. Ох уж это мне русское засиживание). Монахов, сегодня утром прибывший из Евпатории, с открытой коричневой грудью, но заметно поседевший, необычайно весел, возбужден. Без умолку разговаривал про великолепно проведенную в солнце и воде неделю. Почти вся дачная часть Евпатории превратилась в руины, и лишь в нескольких отремонтированных виллах устроены советские «Дома отдыха», в которых одно дорогое питание, нежели в частных превосходных столовых. Голод и эпидемия там были чудовищные еще два года назад, и даже местного населения на большой процент убыло. Но сейчас там прекрасно, хотя пляж усеян необычайной толщины грациями с их детворой. Уединившись, я им прочел (тут-то и произошло антре Добычиной) свое письмо. Монахов очень за него благодарен, но, как я и ожидал, не собирается его использовать в присутствии Хохлова, которого он, видимо, побаивается, особенно в связи с тем, что Сорабис отказал Лаврентьеву в членстве за его предательство дела пролетарской культуры. Это при таких

условиях значило бы создать очень неприятный (и тяжелый для самого Лаврентьева) скандал, если бы мы его — не члена Союза — насильно сделали главным режиссером. Время-де и тонкая политика в связи с «Твердой волей» Монахова сделают-де свое. «Будьте покойны!» Посмотрим. Лаврентьев пробовал протестовать, но сдался.

От чая, украшенного пирогом Гецем и вареньем из белой малины, доставленным сегодня днем четой Кенигсбергов, вернувшихся из Углича, где они прожили лето, актеры отказались. Кенигсберг явился еще поздно вечером в сопровождении Р.Бирчанского (о ужас, этот плюгавый и страшно хитрый человек сообщил мне почему-то по секрету, что он едет тоже в четверг. Показывал и мандат своей командировки от ИЗО — документ величайшего комизма), дабы я при последнем подтвердил свое высокое мнение об автопортрете Р.Менгса, что я сделал с удовольствием. В восторге от портрета и подошедшие Стип и Степанов. Сей последний в ужасе от того, что ему Липгардт вручил огромный и чудовищно уродливый плафон его работы — аллегория «Сирены», на котором изображена м-м Липгардт в обществе сфинкса. Зато он в упоении от своего портрета Павла I, подлинного Щукина, который он считает прообразом всех других.

Много было излито желчи по адресу Экскузовича и Юрьева, но, в сущности, из всей этой диатрибы можно было вынести, что он, Степанов, только умеет пожимать плечами и глотать свое возмущение, не имея мужества выступить открыто во имя интересов искусства. Особенно он возмущался (и с полным основанием), что «Золотой петушок» дан Бейбутову и Раппопорту. Раппопорт снова пролез даже к Экскузовичу благодаря тому, что заявил, что готов получать по «ставкам», и требует, чтобы так платили и всем. Однако когда уже он водворился, то его требование сразу повысилось. Убедили они Экскузовича ставить заново «Петрушку» тем, что постановка будет сплошным «новым словом». Раппопорт же целью имел сотрудничество такого безличного и покорного человека, как Бейбутов, потому, что тогда он и может гарцевать в качестве режиссера дилетантов. Вообще на сцене царь и бог — режиссер, все остальные только фантоши и слуги.

Утром заходил ко мне Ват. Павл. Дягилев. Узнав о моем отъезде, он пришел просить, чтобы я, наконец, сам добился каких-либо положительных сведений об его исчезнувших сыновьях. Но он понимает, что имя Алеши стояло даже в свое время в газетах, а от мужичка, который был захвачен одновременно с ним красными и потом освобожден, они знают,

что его вместе с другим офицером повели расстреливать. Остается только какая-то тень надежды, что приговор не был приведен в исполнение и что какой-то таинственный юноша, состоявший затем, по слухам, при одном из белых начальников денщиком, и был их Алеша. Второй же поехал в Павловск за сахаром, как раз когда там оказались передовые отряды Родзянко, с ними он ушел, но тяжело заболел в Нарве, после чего его след теряется, если не считать путаного показания какого-то полоумного контуженного офицера, который утверждает, что он сам доставил тяжелобольного Павлика в Ревель. Имеются еще сведения, что среди списков умерших в лазарете Ревеля его имени не встречается. Уже опубликовали за границей, но в ответ получили лишь известное им уже по другим источникам…

Вечером забегал еще Костя, принесший не только передачу для Лукьянова, но и пару сапог ему. Акица решительно запротестовала и полуобещала лишь взять какую-то жилетку!

Среда, 8 августа

Солнце при довольно сильном (ай, ай, ай!) ветре, на Неве барашки. Ветер северный, так что довольно прохладно.

Утром Стип за Каташем, которого, несмотря на его плач, он и понес обратно, приготовив ему еще с вечера рыбку.

По дороге я зашел к Кесслеру и захватил приготовленную им визу для сверки с моими работами. Днем как раз собрались в Русский музей, и так как он сегодня закрыт для публики, то я вызвался их туда провести. На автомобиле и доехали, и я их сдал Мрозу и Коноплевой. По дороге меня предупредили, чтобы я остерегался капитана и прислуги парохода; очевидно, придется остерегаться всех, даже собственной жизни!

В Эрмитаже экстраординарный совет (в бывшей спальне В.В.Щеглова), в фрейлиных комнатах 3-го этажа, где сгруппированы были картины Сапеги и их эквиваленты.

Все мои предложения приняты. Относительно «помидор» Караваджо я попросил отправить комиссию из Липгардта, Яремича и Жарновского для осмотра этих двух картин для окончательного решения: стоит ли их (ввиду их ужасной сохранности — так говорит Липгардт) брать в Эрмитаж. Я их очень давно не видел, как-то никогда не изучал. Разговаривая с Джеймсом Шмидтом, я еще раз изложил все свои планы и предложения относительно ближайших выставок (пока он все еще в отпуске в Гатчине).

Для редактирования моего предложения А.Н.Макаров позже

приехал ко мне и навязал мне большой пакет со всякими самыми обыденными лекарствами для одной его знакомой дамы, г-жи Скржинской, болеющей в Берлине и «привыкшей именно к нашим лекарствам». Впрочем, от сопровождающих медикаменты бинтов с ватой я наотрез отказался. Что это за маккиавельство?

Фрау Рихштофен знакома с дочерьми принцессы Елены. Одна (Рейх) уже развелась и вышла вторично, очень счастливая. Замок Михаила Георгиевича предоставила балтийским эмигрантам. Сам принц живет в Дании. Это правда, что она дает уроки пения и даже шьет, но зато она сохранила все свои драгоценности.

После этого под руководством нашего доблестного швейцара Ивана Харитоновича были произведены две съемки моих «проводов Эрмитажа». К сожалению, с Невы дул такой порывистый ветер (ай, ай, ай), что пришлось это сделать во дворе. Все выразили мне самое теплое участие. Нотгафт даже прослезился, благодаря за все мое отношение за последние столь тяжелые месяцы, хотя-де мы самого вопроса и не касались. Таким образом, он оценил уже то, что я молчал, тогда как другие не давали ему покоя и советами, и наставлениями. А нельзя разве счесть наше молчание (преступное в отношении Рене Ивановны) за фактически консенсус?

Дома переписываю «Завещание» и привожу еще всякие дела в порядок. Приходит масса народу, но всех их оттирают под разными предлогами. К обеду все же собираются: Александра Павловна (с птифурами), Альбер с Аликом, Стип. Позже еще подходят: Зина, Эрнст. Последний возвращает лежавшие у него мои дневники. Приходит еще

Параскева Аллегри с маленьким, по мнению наших дам, ужасно на дедушку похожим, очень тщедушным, но жи-веньким Бенедетто. Она тоже получила письмо из Парижа, ее туда зовут, и это ее очень утешило. Но канитель с отъездом будет большая.

Огромной радостью напоследок было большое, как всегда, безалаберно неряшливо написанное, но и необычайно милое письмо нашей Елены. Из него как будто явствует, что они там моего первого, большого послания, переданного здесь Генту, вовсе не получали. Ждут нас с нетерпением. Счастлива со своим Ивушкой вполне. Живут около Фонтенбло. Зовут туда. Авось-то там не будет других русских! Когда все гости ушли, то Атя меня еще слегка постригла и произведены были разные деловые операции — расклейка и т. д. Моте вручен ее золотой, еще утром обещанный рубль.

Марочка, практичность которой поражает Акицу (меня менее: это свойство театральных — быть расчетливыми) настаивает, чтобы Юрий для заработка поступил в контору, и уже нашла для

него место в том же «Отваге», в котором-де служит их семейный друг, но мне еще не знакомый Пашковский. Акица в пароходной компании встретила великого обожателя Володи — Грикурова, который имеет какое-то отношение к таможне и который ее доставил на автомашине домой. Она не на шутку струхнула, когда ей там объявили, что какой-то заведующий или кто-то вроде этого просит ее к себе. Она его и в лицо, и по фамилии не знала.

О Руфе никаких сведений, но считается, что по городу арестовано не менее сорока священников. Огорчает меня то, что я не могу взять с моими пометками Библию из-за ее испещренности, как раз останавливался на очень грозных и к нашему времени подходящих пророчествах Исаии. Надеюсь, что меня пропустят с крошечным французским Евангелием, принадлежащим Жене Лансере. Везем мы всего два хэнд-кофра и еще один маленький для Лукьянова. Я поеду с запонками этой «птички». О, морес!

Приходил еще Ленже. Хотел что-то еще навязать, но Акица отказала. Мне он поднес разрозненные листы Андреевой колонии.

Наказ Романову Николаю Ильичу:

> «Я уезжаю завтра, и мы оба (с Тройницким) пробудем за рубежом около трех месяцев. За это время опять никакого движения в деле продолжения развески вещей не будет… Поступившие через музейный фонд и через экспертную комиссию из частных собраний и картины, переданные по признаку их исключительно музейного достоинства из загородных дворцов, — со временем лучшие из этих произведений будут включены в основное собрание Эрмитажа, который таким образом получит недостающую ему во многих отношениях полноту. Однако грандиозность задачи общего переустройства Эрмитажа сразу заставит ждать несколько лет, и вот, чтобы не лишать публику возможности изучать все это, Эрмитаж обязуется устраивать временные выставки. В залах Первой запасной половины предполагается поместить целиком французскую школу после формирования нового отделения живописи XIX века…
>
> В расчете на это хорошо бы в этой половине картины разместить хронологически так, чтобы ближайшие к лестнице залы содержали наиболее древние образцы живописи — примитивы XIV века, затем будут идти залы

XV, XVI веков… Далее следует живопись и скульптура XVII и XVII веков, два оставшихся — исключительно живопись XVIII в., причем один из них обязаны предоставить любимцу нашего времени — Миньяру, другой же посвятить творчеству Бел-лотто, а именно его изумительной серии Дрезденских видов, до последнего времени хранившихся в Гатчинском замке… По правую от входа в этот зал руку идут три комнаты… В первой сгруппировать романтиков, во второй — барбизонцев, в третьей — эпигонов академического искусства».

Четверг, 9 августа

Облачное утро, но из таких, какие затем проясняются, благодаря сильному, вероятно, северному ветру. Я трепещу.

Вчера как раз Стип наконец получил письмо от Тройницкого (о нас ни полслова и, может быть, потому, что он считает, что мы уже в пути), и в нем рассказывается, что их порядком потрепало. Марфа Андреевна была больная и лежала, но он вдвоем с капитаном пировал (типично еще то, что уже высказывает род презрения к Кайзер-Фридрих-музею).

Сейчас 9 часов. Еще мы не пили утреннего чая. Только что Таня убрала столовую. Появилась и Мотя с распухшей (от волнения) губой. Вот зашагал по коридору Юрий. Он, наверное, сейчас без пиджака, всклоченный, но сейчас войдет, как всегда, элегантным и причесанным. Он очень декоративен и, как говорят, пошел в отца, который был писаным красавцем. Лишь бы не унаследовал дух авантюр и вечного скитания, которые сделали Юрия Александровича очень несчастным и превратили его жизнь в сплошное странствование. Татан еще спит. Он чует, что баба уезжает, и очень интересуется «пароходиком», на котором она поедет. Мы сначала не хотели его брать на пристань, но, пожалуй, лучше взять. Это его развлечет, а обещание игрушек и картинок из Парижа его утешает. Прощаясь вчера, он был восхитителен, и еще перед тем, чтобы лечь в кроватку, он нам показал ряд фортелей, держась ручкой за стул и вытягивая во все стороны ногу.

Чувство у меня сейчас скорее смутное. Волнение глухое. Странное дело — интерес к тому, что предстоит совершить, остыл, спал. Точно я еду в ту самую заграницу, которая мне в 1919 году непрестанно снилась в кошмарах, то есть совершенно такую же нелепую, темную и опасную страну, как та, из которой мы уезжаем. Тревожит и переезд. Как бы мне на сей раз не

заболеть (до сих пор не болел, но чувствую себя все же прескверно). Как-то вынесет переезд Акица? Впереди светлым и отрадным представляется лишь свидание с Лелей и французский пейзаж, но не дай Бог с русскими эмигрантами в нем. О деловой стороне поездки совсем как-то забыл и на нее, странное дело, не рассчитываю!

Ох, флюгарка на губернаторском доме сильно ворочается, и деревья в Никольском саду тоже покачиваются…

Едем, с нами Бог! В соседней комнате-столовой дядя Берта, Платер, Тося, Леша Келлер — все наши. Кушают макароны с томатом. Я обошел весь дом и прощался. Только что явился Ухов, сфотографировал группу. Сильный ветер. Я в ужасе, ибо все трогательно.

Ну, авось еще продолжу свои записи на этих же страницах. Сейчас била пушка. Иду завтракать, а там и на пароход.

* * *

Тихое душевной волнение, затем — жуткое. Радости мало. Прощался с домом. Проводы: семья Кесслеров. Пришли Монахов, Лаврентьев от Актеатров. Отъезд. Постигаю, кажется, тайну. Обед во время прохождения канала, Кронштадт, мимо Толбухина маяка. Прощай, Россия, мы в Европе! Братья Бирчанские — дети старшей сестры Левитана Терезы Ильиничны — двое из двенадцати. Оба с коньяком. Первая ночь.

Пятница, 10 августа

Утро. Далекие острова. Валялся и читал на палубе. Сыро. Ветер крепнет. Оправдывается расчет Зубова. Нервная, издерганная Эннер с сыном. Акица уходит от обеда. Я еле доедаю. Ужин. Акицу тошнит. Вторая ночь.

Суббота, 11 августа

Утро. Буря. Пробую оставаться на палубе. Не выдерживаю. Спускаюсь, слег. Страдания. Крики. Больные причуды. Бирчанские являются пьяные, наподобие клоунов. Пролитый горшок. Посуда швыряется. Малые нужды. В Кенигсберге будем лишь утром. Отчаяние Акицы.

Воскресенье, 12 августа

6 часов утра. Успокоение, но все же качает. Изумительное утро. Я даже пробую порисовать красками — альбом потерял! Кофе нет. Взгляд на косу, на озеро, вдоль косы с маяком, виден скот. Кенигсберг-порт — «Голливуд Европы» встречает глумлением, досмотр. Объявляют деньги миллионами. Обман: не везут в Берлин. Не дают завтрак. Прогулка по городу. Завтрак очень дорогой. Собор. Раритеты Бранденбургов: склеп, фобы, месса историческая Дворжака. Двор замка. На автомобиле за город. Ярмарка. Кофе с марципаном.

Понедельник, 13 августа

Из Кенигсберга за 40 франков в Берлин. Путаница с деньгами, кассир оставляет себе часть сдачи, и это действует! Взятка завораживает!

Берлин

Вторник, 14 августа

Пишу в 5 часов утра, так как не мог дольше спать на горбатом диване с полумягким пуховиком и уступил его Акице, которая среди ночи должна была перелечь со своей кровати на слишком короткий диван, так как на кровати ее заедали клопы.

А отдых настоящий был нам очень нужен после вчерашней чудовищной усталости, получавшейся в результате последних трех бессонных ночей, третья была проведена в полусне на подушках курьерского поезда, на котором мы смогли растянуться, но мерзли от ночного холода. Никаких пломбирований для «польского коридора» не было.

В этот пансион мы попали по рекомендации консула Кесслера, навещавшего здесь какую-то русскую даму, и, главным образом, потому, что рассчитывали здесь встретить Тройницких, но, увы, их мы уже не застали, они отбыли в Дрезден. Как истинные русские невежи, ни полслова нам не оставили. Хотя мы всячески их просили, чтобы они нам морально помогли (пользуясь хотя бы своим двухлетним опытом) пережить первые часы «заграницы». Не досталась нам и их чудная на улицу комната, дожидавшаяся нас два дня, но, наконец, занятая каким-то якобы знакомым товарищем Бондаренко, которого, впрочем, мы и не видели, так как он уехал на день в Свинемюльде (оказалось, что это какой-то Бондаренко, коммунист, бравый детина, немного балда. Он был последнее время заведующим чуть ли не всем сахарным трестом, но за недостаточную «красность» по миропониманию его отставили. Теперь командирован за границу на предмет изучения сельского хозяйства, так как должен получить в свое владение целую массу объединенных поместий).

Мы уже подумывали, несмотря на дешевизну (3 доллара в неделю за пансион), переехать, но нас связывает то, что мы уже написали Аргутинскому письмо с напоминанием о визе для Парижа (ибо таковой мы во французском посольстве не нашли) и дали этот адрес. Этот же адрес дали братьям Рафаэлю и Захарию Бирчанским, которые с нами ехали на пароходе. Сначала раздражали своим чисто иудейским приставанием, а затем во время болезни, распластавшей нас в каюте, неутомимым за нами ухаживанием, что тоже ужасно характерно для их расы. В конце концов мы к этим двум сильно комическим фигурам,

напоминающих цирковых клоунов, привыкли и даже стали на них рассчитывать. Они то и дело забегали, приносили лед, с трудом получая его от прислуги, поили каким-то кислым морсом, просто утешали и приободряли, ступая по лужам разлитого ночного горшка и т. д. Перебита была при этом масса посуды.

Наша вчерашняя (продолжающаяся еще и сегодня) усталость объясняется еще и тем, что мы все время с 12 часов дня до 8 часов вечера сновали по городу и все на ногах, так как на извозчиков не хотелось тратить, а все прочие средства сообщения отсутствовали вследствие забастовки, которая, правда, не приняла характера генеральной, электрический же транспорт и трамы отсюда далеко. Вот мы в душный, полугрозовой день и прошлепали в «город» по всяким учреждениям, по чудесному, но безвкусному Темпельхоф-скверу и обратно, и все это для того, чтобы ничего не получить во французской амбасаде, которая точно вся вымерла и в которой не видно ни одного живого существа, кроме любезного старого швейцара, судя по произношению, эльзасца. Впрочем, нас дальше просторного, но сумеречного, украшенного двумя копиями с Удри вестибюля не пустили. Заходили мы заявлять и в «наше» посольство, куда нам в Петербурге советовали обратиться к Гринбергу, но оказалось, что он принимает в другом здании.

В нашем посольстве тоже угрюмо и как-то приглушенно, точно лишь что-то ожидают. Красное знамя над ним больше не развевается. Сам же дом такой же чистенький, заново весь белым риполином покрашенный, каким был при царях. Народу в нем как будто мало. Впрочем, мы имели дело только с привратниками. Из канцелярских помещений ни малейшего шуму не доносилось.

Однако весь Берлин какой-то раздраженный, насторожившийся и не столько из-за переживаемого острого политического кризиса, который к тому же как будто уже миновал или дошел до временной передышки после подачи в отставку Куно (по объяснению в «Жорнал», не пожелавшего взять на себя ответственность за признание Германией необходимости полной сдачи) и избрания лидера Фолькспрехт Штреземана (как кажется, тоже не собирающегося эту ответственность принять, а скорее готового придерживаться той же системы — прятанья головы в песок), иначе не столько из-за этого кризиса, сколько из-за нелепости всего положения безысходности, в котором (только теперь немцы это начинают понимать, и то не до конца) целый народ во много десятков миллионов душ очутился благодаря военному банкротству и общему мировому оскудению. Эту безысходность мы в России ощутили еще в 1917 году, что и привело к двум революциям и что создало, всего хуже, ныне уже на $^{3}/_{4}$ пережитую фантастику нашего существования в

продолжение пяти лет. И теперь мы в России в привилегированном положении выздоравливающего организма. Напротив, здесь огромное и мощное по своим духовным и физическим силам государство только еще начинает по-настоящему ощущать свой тяжелый недуг. И оно все еще не очень сознает, в чем дело, видит врагов то тут, то там, а на самом деле погибает от внутреннего «истощения», при все еще полном «параде» внешней жизни (чего у нас не было. Скорее, в первые годы революции был другой «парад», правда, сильно «вздутый», но как-никак пьянивший своим пафосом). И правы в своей презрительной жестокости французы: «Это расплата за развязность!»

Вся соль в этом. Однако вопрос еще больший: станет ли тем же французам, станет ли всему миру легче, когда этот могучий атлет мирового машинизма упадет. А наилучшим показателем, наилучшим градусником в этой болезни служит пресловутый курс марки и все еще продолжающаяся свистопляска вокруг этого показателя безысходности. Дело пока непоправимо, ибо кровь из организма продолжает утекать, и не может быть такой пробки (у нас роль пробки сыграла если не сама доктрина, то возможность во имя ее отказаться от обязательств и на сем покончить с войной), которая бы заткнула эту утечку. Вовсе дело здесь не в Руре, игравшем скорее роль «приличного развлечения» (если не козла отпущения), а дело здесь в том абсурде, который опутывает всю жизнь и который начался до Рура, когда доллар стал котироваться в сотнях, а затем и в тысячах марок. Но пока не было «миллионов», немец еще не впадал в панику. Теперь же он терроризирован цифрами. Это видно уже из того, с какой тщательностью, с какой претензией на изящество печатают пятитысячные, десятитысячные и стотысячные кредитные билеты, ныне равняющиеся пфеннигам. Глупее глупого то, что они снабжены портретами каких-то бюргеров, писаных когда-то Дюрером, Гольбейном, Брунком. В этом неуместном эстетизме сказывается вся дряблость политической мысли нашего времени, ставящая всё на счет «буржуазии», тогда как это есть явление более общее — явление старческого маразма и растерянности всей культуры.

Начали мы ощущать здешнее финансовое безумие еще на пароходе, при первых же платежах, когда вещи, только что у нас стоившие какие-то реальные деньги, вдруг стали отдаваться за гроши (например, за стакан пива я заплатил 10 000 марок, что, даже по тому курсу доллара, который был в этот день известен на пароходе через радио, причем больше новых сведений с биржи не поступало, равнялось двум пфеннигам прежних денег). Не

краснея я мог дать на чай горничной за тяжелую трехдневную службу (во время качки и общего блевания!) всего одну марку. Но с особой яркостью я это увидел, когда пассажиры в таможне стали делать декларации того, сколько у каждого с собой денег, и добродушный (очень бестолковый) чиновник стал с величайшей тщательностью записывать каждый доллар и выдавать на него удостоверение, все время изумляясь нашему богатству (хотя и у самого богатого пассажира оказалось не более 300 долларов). Этот же чиновник по старой привычке приговаривал в ответ на всякие (нелепые) жалобы наших дам: «Это вам не Россия», хвастаясь традиционной честностью Германии, но тут же, когда наши патриоты высказали протесты с напоминанием о том, что и в Германии теперь крадут и взяточничество, он благодушно прибавлял: «Такова жизнь…»

Сейчас же получено тому подтверждение. По условию пароходная компания ввиду высадки нас в Кенигсберге, а не в Штеттине (взяв с нас до Штеттина 6 фунтов с человека), должна была пассажиров даром в III классе доставить до Берлина. Однако когда дело дошло до посадки на поезд, то нашлись какие-то отговорки: будто бы вследствие забастовки не доставлено в Кенигсберг достаточное количество ассигнаций, и нам пришлось за проезд платить. Мы утихомирились, когда выяснилось, что во II классе проезд стоит

1 200 000 марок, то есть даже по тому курсу, по которому нам считал кассир (это официальное лицо, заподозрить в трепотне которого не посмел бы в былое время самый лютый враг Германии) равнялось всего 2 марки 40 пфеннигов прежних денег!

Вообще же в Кенигсберге мы могли изучать зыбкость и дилетантизм всей операции с валютой. На станции нам считали доллар в 2 000 000 (у других пассажиров тот же кассир не пожелал его покупать выше 1 500 000 или 1 200 000 марок), в ресторане 3 миллиона, в кафе 2 200 000, шофер, катавший нас за город — 2 000 000, а на самом деле доллар в субботу остановился на 3 $^{1}/_{2}$ миллионах, по другим же — на 4-х миллионах.

В Берлине в единственном в столь утренний час открытом буфете на вокзале (где всегда «безбожно» драли, но тогда безбожностью называлась разница в 10 процентов) мне на 5 долларов дали всего 11 миллионов 300 000. Еще особенность та, что всех обладателей валюты призывают продавать ее лишь крошечными порциями (зато поминутно карманы пустеют, и тогда готов менять хотя бы в убыток). Всего этого я не ожидал от немцев, от толковых, четких, столь реально ощущавших жизнь немцев. Когда у нас только начинались аналогичные явления, я указывал на Германию и утверждал, что там ничего подобного

произойти не может, ибо там люди «слишком хорошо осознают стоимость труда и вещи, не то что у нас, в нашей стране сплошной фантастичности». На проверку же у немцев выходит, что и само представление о реальной цене исчезло. Думаю, что известной категории людей (специально оперирующей с валютой) это очень выгодно, но не им же одним мог удаться такой план — сбить с толку целый народ, а не только «умных финансистов» (на этих «мудрецов» — это доказала война — всегда «довольно простоты»), не только всяких легкомысленных и беспочвенных людишек («интеллигентов», поэтов, художников, прожектеров-доктрине-ров), но и соль земли немецкой — немецкого лавочника, который вместо того, чтобы наловчиться придерживаться той же реальной нормы или все продать поэффектнее, не перестает болтать зря о «дороговизне», отдавая свои товары буквально за гроши.

Вот несколько вчерашних здешних цен: проезд по городу

1 200 000 (то есть столько же, сколько проезд из Кенигсберга в Берлин вторым классом), проезд по Берлину — 1 200 000 (в былое время — 5 марок), завтрак в кафе без салфеток, но впрочем, по-старому — за двоих с пивом и на чай — 3 миллиона, угощение у Кракуллера (сидели на балконе, ибо внизу террасы больше нет), состоявшее из 2 блюд, — 700 000, то есть 1 марка 40 пфеннигов. Тут же такие окончательные абсурды: марка (почтовая) на заграничную карточку стоит 1800 марок, на письмо — 3000 марок. Зато слово в телеграмме (в Париж) обходится в 700 000.

Среда, 15 августа

Снова проснулся без четверти пять и уже заснуть не мог, а потому встал и засел за писанину. Это столь раннее пробуждение — не только показатель старости (недаром в кафе в Кенигсберге продавщица сказала про меня: старик. Я был очень поражен, но, проверив по зеркалу, вполне с таким определением согласен), но и следствие переутомления. Вчерашнее дело ужасной беготни (французское консульство, поиски меняльной конторы, размен 5 долларов в лавочке на Фридрихштрассе по 2–3 млн, завтрак у Кракуллера) сильно нас *приободрали*! Прогулка к шлюзам и Старому музею увенчались двухчасовой беседой с Мефодием Лукьяновым — сердечным другом Кости Сомова, с роскошной коробкой конфет; и уже когда я видел второй сон, появляются без предупреждения Тройницкие. Оказалось, что это Марфа Андреевна заставила его приехать на два-три дня в Берлин,

специально, чтобы повидать Бенуа. Лукьянов возмужал, ему тридцать один год, пополнел, стал гораздо словоохотливее! В общем же обнаружил ту чрезвычайную любезность, «милость» (старался быть милым), готовность быть полезным, которая часто бывает присуща людям его секты. Весь же его разговор сводился к убеждению как можно скорее отсюда уехать, тут-де неспокойно, становишься иностранцем, еще может вылиться в какие-нибудь эксцессы или массовые высылки, обставленные самым должным образом. Мы сами третьего дня на себе испытали эту ненависть от лица хозяина из-за того, что у нас не нашлось мельче бумажки, нежели 5 миллионов (купили же мы почти на миллион). Акица была этим инцидентом до глубины души изумлена.

Лукьянов только из Баден-Бадена, от которого в восторге, в особенности от «избранного русского общества»: «столько титулованных», и вот он настаивает, чтобы мы лучше ехали туда, что «нас поджидают Гиршманы и Надя фон Устинов». Он знает, что Дягилев меня ждал к 15-му, очень волновался, что меня все еще нет. Однако зачем нам еще застревать в Бадене, когда проще сразу ехать в Париж. С заездом в Баден, благо виза во французском консульстве уже лежит, и мы можем ехать… Ох, неуютно здесь. За три дня мы свыклись с «заграницей», кажется, не лежит девять лет между последним ее посещением. Отсюда и отсутствие радости.

В душе я до последнего момента был уверен, что мне не суждено выбраться из России, вернуться в свою «родную Европу». Это у меня было очень глубоким суеверием, и оно угнетало меня. Но вот повторяю: «преодоление такой завороженности» не радует, а где-то зашевелилось уже сомнение в полезности нашего путешествия. Европа-то — Европа! Но уже не та: не достроены и брошены в таком виде, еще с пустыми местами вокруг дома, масса нищих, отсутствие блестящих военных, блестящих экипажей, отсутствие воды в фонтанах — действуют на меня угнетающе. Зато дети, балуясь в сухих бассейнах, между каменными богами, видимо благоприятствуют. Тем не менее общее впечатление от Берлина по-прежнему великолепное: трамваи, омнибусы, всякие моторы снуют во всех направлениях, все чисто одеты, а дамы даже с претензией на элегантность.

Акица справедливо критикует неуклюжесть моды, особенно противно оголение плеч на каких-нибудь тетехах, да и вообще редко кому идет нынешний фасон. Меня, однако, радует модная краска (желтая), которую я предчувствовал уже года за два-три. В Берлине она в ходу особенно на русских девицах и дамах, выглядящих вообще более изящными, нежели немки. Но в Кенигсберге мы застали оргию предыдущего цвета — зеленого. В

магазинах выставлено много товаров, но покупателей очень мало, живой нерв все же отсутствует. И теперь, более чем когда-либо, с оттенком дьявольского издевательства вылезает безвкусие памятников царствования Вильгельма II — кладбище напыщенных предков. Вдоль Зюгеналлее напыщенный памятник Вильгельму Великому, раздавивший и замок, и прекрасный Старый музей, и уютную статую Фридриха-Вильгельма III. Сидя на ступенях Шинкелевой лестницы, мы с Акицей любовались видом этой нами когда-то любимой площади, картиной, залитой светом тихого знойного дня, но при этом старались исключить из поля зрения пятиглавую прусскую пародию на Сан-Пьетро. Трудно нынешним посрамленным и униженным избавиться от воздействия этих монументальных наваждений, тяжело нести посрамление такой чести. То ли дело австрияки, с мудростью древней, искушенной на все лады, ласковой от внутреннего скепсиса культуры, они приняли свой позор, свое несчастье просто и протянули руку бывшим врагам, рассчитывая отчасти этой рукой получить подаяние, и подаяние они получили и даже пустили его в ход. Это мудрое поведение, как говорят, придало уютность жизни. Им приходилось одно время куда хуже, чем пруссакам, а сейчас Вена воспрянула и полным ходом идет восстановление. Здесь же, сдавшись, не хотят и не могут признать свою сдачу…

Четверг, 16 августа

Вчера вечером после убийственно жаркого солнечно дня была гроза. Она несколько освежила воздух и полила не поливаемые, увы, улицы. Поливаются мелкой водяной пылью только изумительные газоны в садах и авеню. Эти уборы гордо находятся в безупречном состоянии.

Я проснулся несколько нормальнее, в 6,5 часа, и чувствую себя довольно бодрым. Вчерашний день вышел не более толковым, нежели два предыдущих. Визы мы в консульстве не получили. Ходили всей четверкой, и вообще с утра с Тройницкими не расставались, вместе завтракали у Лютера. Консульство закрылось за час до назначенного времени по случаю празднования Успения Божьей Матери. Так весь день проваландались и ужасно мало сделали.

Впрочем, заходили регистрироваться в «наше» посольство. Неказистая блондинка в комнатке во двор сделала это быстро, но пришлось подождать, пока она не растолковала другому командировочному, как ему съездить в Финляндию, Швецию, в

Чехословакию (причем, оказывается, что труднее всего попасть в Финляндию). «Визы без конца, визы, фотографии, просрочки, влекущие за собой необходимость хлопотать снова» и т. д. Кстати сказать, товарищ Бондаренко, по словам Тройницкого, был уверен, что этот порядок существовал и раньше, когда он еще не бывал за границей. И думаю, впрочем, что у нее, молодежи, взращенной войной и революцией, не может быть и отдаленного представления о прежней фактически реальной свободе и жизни! В отношении нас блондинка удовольствовалась тем, что быстро внесла номера наших командировочных и паспортов в какую-то книгу.

Заходили мы к другу г. Кесслера герр фон Сикоку, но он сам не удостоил выйти, а принимал нас его секретарь или помощник, кажется, доктор Хасс, который уверил меня, что не нужно формальностей для вывоза моих акварелей.

В складе германского издательства Тройницкий уже сделал большие закупки для Эрмитажа. Он их как-то навязывает Гринбергу, который должен переслать. У меня глаза разбежалась от колоссального количества новых книжек, очень заманчиво изданных в расчете на дешевку. Но при ближайшем изучении громадное большинство оказалось типичной для нашего времени макулатурой, а то, что хорошее, стало на этой неделе уже недоступным, ибо цены успели подтянуться к несколько искусственно стабилизирующемуся курсу. Штреземан работает для своей популярности. Соблазнился было и открытками, но посвященные новому городу 2 серии по 8 штук стоят свыше 5 миллионов. Тройницкий все же успел купить две недели назад буквально за гроши. Авось в следующий мой приезд взаимоотношение цен и курса несколько круто нарушится, что и я смогу «попить германской кровушки» и мне вещи достанутся, как Оршанскому и Тройницкому, — почти даром. Впрочем, надежда на это малая, так как у торговцев есть тенденция перейти на более эластичную систему коэффициента, устанавливаемого прямо по курсу.

После завтрака, который нам обошелся дороже, чем вчера, мы попали в Националмузеум. За вход с иностранцев берут в десять раз больше, чем с немцев, а именно 200 000. У Тройницкого личная карточка свободного входа, выданная ему Фальком.

Вещи развешены согласно идеалам Нотгафта и комп., то есть низко и довольно далеко одна от другой. И что же — общее впечатление скорее известного обеднения, тем более что как раз самым значительным вещам мешают случайные…

Приятно было встретить старых знакомых, но большинство их, увы, отцвело. Приятнее всего действуют картины наиболее

наивных и честных: три пейзажа Менцеля, чудесный пейзаж с козами Тома, несколько пейзажей Люго [?] 1898 г., добротность работы Лейбля, этюды избы (снаружи и внутри) Дж. Шперля, очень интенсивный по окраскам горный пейзаж Хайда 1907 г. и его же прекрасный, несколько сухой (но по хорошему сухой) женский портрет 1877 г., прелестный портрет матери (за книгой) Л.Эйзена, красивый по живописи (а-ля Мункачи) портрет Р.Хирта в ателье Ал. Шпринга — прелесть; прекрасно, сочно (предвещая Мане или Трюбнера) — галантные портреты 1830—1860-х годов Фердинанда фон Райски (о нем вышла недавно монография), прелестно яркие и отчетливые Вальдмюллеры, пейзажи, фантазии, портреты (но его этюдам деревьев далеко до артистичности аналогичных работ А.А.Иванова; а в его жанровых картинках с детьми меня огорчают невозможные их рожи в грязно-желтой гамме — портрет матери Хольсмана, портрет дочери Алоизы в белом платье, портрет матери с девочкой); трогательно изумительно выражены три картины Хуммеля, посвященные берлинскому драм-театру на Грандштрассе перед Старым музеем; изящны в тонах и живописи этюды Блехена (а его большая картина «Романтический пейзаж» дает исключительное впечатление юга) и т. д. Совсем не разделяю новейшего упоения Хагемейстером, которому посвящен весь средний зал (впрочем, лишь мельком виденный, так как его уже закрывали).

«Обитель блаженных» Беклина (чуть потрепанная) остается гениальной, хороши еще «Весна» (с толстыми ивами) — высшее достижение, попытки передать реальность, но почти все остальное у Беклина отцвело, а иное (триптихи!) просто упадочное — это самое мерзкое и грубое, что создала германская культура.

Из французов остались лишь барбизонцы. Но их я не променяю на наших в Кушелевке, а также слабейший из вариантов «Медеи» Делакруа. Сегодня авось удастся осмотреть еще верхний этаж. Кстати, о менах. Я совершенно ошеломлен тем, что некоторые германские музеи пустились променивать свои вещи на другие у частных лиц и торговцев! Так, у Ван Димена на «Линден» доктор Плейш, играющий там роль старшего коми, нам показал «Св. Иеронима» Элигейма из Гамбургского Кунстхалле (они его променяли на ряд Мунхов!) и кое что еще. Он и Эрмитаж соблазняет вступить на этот же путь, обещая отдать прелестную картину Я но Кинда — средневекового мастера первой половины XV века — «за каких-нибудь ненужных нам Гюберов Роберов или Воуверманов». Однако мы эту аферу отвергли, считая ее несвоевременной. Только начни отчуждать наши музейные вещи, найдется слишком много охотников развить это дело, того и

гляди они спустят наших Рембрандтов за локомотивы или аграрные орудия.

Вообще же у этого Ван Димена довольно много хорошего (как раз туда зашел Шенфельд — приятель Жозефо-вича — один из лучших знатоков, по словам Плейша). Так, например, портрет сеньора за молитвенником со святой позади (Бургундия, середина XV века) Сальватора Мунди — немецкого подражателя Рогира ван де Вейдена, «Купальщица» Бакера, большой, очень свежий пейзаж (дорога в лесу с милыми фигурами) ван Лотена, деревушка с колодцем (сродни рисунку у меня) ван Гойена (1631 года), совершенно смытая и испорченная французская портретная картина «Три дамы и кавалер» 1740 г., несколько итальянцев XIV века, и среди них весьма значительное «Поклонение волхвов». Менее всего мне понравились обе Рембрандтовские головы из галереи Ольденбурга. Его же эскиз натурщика для св. Павла в темнице (1632 года) поражает своим блестящим тоном (но скорее он перенесен с картона и, может быть, самим мастером, хотя это оригинал, вероятно), «Старик» в прозрачно красивой гамме при вялом рисунке, наверное не Рембрандт (Плейш верит, что Рембрандт), может быть, ранний Флинк.

Поразительная произошла наша встреча на улице с Наташей Кавос. Сережа Зарудный внушал и мне, и Марфе Андреевне разыскать наших племянниц, но, признаться, я об этом не вспомнил даже тогда, когда на углу Миттелфранс навстречу мне мелькнуло личико Наташи. Напротив, Марфа Андреевна, видевшая ее, и всего раз, у нас, лет восемь назад, не отдавая себе даже отчета в том, что она делает, схватила ее на ходу за руку и завизжала: «Это ваша знакомая, Александр Николаевич, которую надо отыскать». Радость была большая, так посреди улицы к негодованию прохожих мы обнялись и расцеловались.

Вечером Наташа пришла к нам и много рассказала о том, что с ними случилось, оценивая это как «глупость» и поминутно высказывая желание бросить уродливую кочевую жизнь (она состоит в группе странствующего театра типа «Летучей мыши» — «Маски»), — и как раз сегодня подписала контракт с антрепренером, который их повезет по Голландии, Швейцарии, и они надеются, наконец, что-нибудь подзаработать (свое любительское увлечение танцевать она развила посредством систематических уроков) и вернуться в Россию.

Самое их бегство явилось следствием какого-то недоразумения. Жили они, как крестьяне, на 6 десятинах, под Лугой. Неожиданно вошел в деревню отряд белых, устроив там штаб-квартиру. И тут оказалось, что войску на днях в Петербург продвинуться не удастся, а что надо отступать перед

наступающими красными. Пули засвистели у них во дворе. Получилась паника, и они — три сестры, дурак муж Наташи (уже до того раз погубивший удавшееся было их бегство в Финляндию своей болтовней) и девочка Наташи, которую пришлось нести на руках, — бежали кто в чем был. Девочки в тулупах и высоких сапогах бежали до Гатчины, где в сумятице отвода войск они обратились в американский Красный Крест. Они открывают дверь дома, где помещалось это учреждение, а там стоит их двоюродный брат, устроившийся при миссии, Лев Дехтерев. Он их и доставил в Ревель, где они возбуждали своим видом общее любопытство. А там две из них затанцевали, а третья, Катя, принялась рисовать плакаты. Два года их дела в Ревеле шли блестяще. Наташу и Мару приглашали нарасхват. Катя же вышла замуж за англичанина и у нее уже ребенок. Там же в Ревеле жила (живет до сих пор!), борясь с нуждой, давая уроки английского и других языков, «тетя» Соня Дехтерева — в сущности, главная зачинщица всего этого авантюрного поворота, какой принят с момента выезда из петербургского их существования. Сама она, никого не предупредив, бросив на произвол судьбы дом на Выборгской (с бесценными семейными вещами: портретами, мебелью, зеркалами, с живописью Тьеполо и проч. Все это, говорят, погибло вместе с домом, подожженным рабочими, ненавидевшими ее сына Льва — фабриканта), бежала в Эстонию в полной вере, что она вернется обратно через две недели. Как все это вышло типично! Разборчивая невеста выходит замуж за оболтуса Дехтерева (тургеневского Кислякова), увлеченная его аляповатым либеральничанием, «всю свою жизнь забитая, старается угнаться за «революционной популярностью А.П.Философовой», а когда наступает в России желанный момент, она удирает, а сыновья ее становятся махровыми белогвардейцами. Прямо для «российских Ругон-Маккаров». Сейчас Лева в Англии, где он женился на англичанке, которой он построил целый особняк. Ему приходится трудно, все же он зарабатывает. Средний сын — ни то ни се. Младший беспутный кутила, периодически садящийся несчастной матери на шею и мучающий ее.

Итак, у затерянных кавосят сначала все шло блестяще, постепенно Ревель из того интернационального блестящего лагеря, каким он стал на время благодаря стечению всяких элементов, бежавших из России и пытавшихся ее снова завоевать, проводя время в болтовне и в кутеже, Ревель опустился и погрузился в свое прежнее провинциальное прозябание. Заработок стал иссякать. Пришлось подумать о других аренах, и вот образовалась труппа Зона «Маски», которая и поехала в

Германию, и здесь дело разрослось, обзавелись собственными художниками и музыкантами (один из них — музыкальный режиссер, лейб-компози-тор Комаров стал вторым мужем Наташи. Это та самая фигура в поддевке, фуражке и в смачных сапогах, с которым мы ее встретили, она не решилась его представить) и имеют крупный материальный и прессовый успех. Особенно повезло в Данциге (где баснословное количество русских, польских и всяких «жидов»), но по возвращении из Данцига в Берлин начались трения с местной организацией. Они приписывают это все более распаляющейся ненависти к иностранцам. Сначала им запретили пользоваться декорациями под предлогом, что они не удовлетворяют пожарным требованиям, а затем всю их программу разбили пошлостями — вставками своего изготовления (среди них имеется и «русский хоровод», отплясываемым с большим усердием немцами! Ой, кошмар!). И теперь они в отчаянии, так как вся их личная физиономия стерлась благодаря гастролирующими с ними померанцам. Надо еще сказать, что Наташа как истинная сторонница «союзников» — ни в зуб толкнуть по-немецки! Напечатанная со многими фотопрограмма «Масок» меня убедила, что это одна из мизерных и пошлейших имитаций «Летучей мыши». К разряду пошлостей относится и псевдоним Наташи — м.д. Анунцио, изобретенный (но в шутку, для домашнего употребления) Сережей Зарудным в качестве перевода ее мужниной фамилии «Благовещенская». В общем, я был рад, что Наташа сама не стала нас отговаривать пойти посмотреть ее номер. Дочка ее живет в Висбадене у брата Жени, который — о, печаль! — все еще без ног. Одну из них ему скрючило, пришлось два раза делать операции, чтобы ее выпрямить (чудовищные боли потом), и все же она продолжала бездействовать. Зарабатывает Женя свой хлеб (с ним живут еще двое очень буйных мальчуганов) «предсказыванием ближайшего будущего», как это и сказано в карточке, на которой он сам именуется маркизом из Совакии — читай наоборот — Кавос. К своему делу он относится «честно», массу выписывает оккультных книг, «работает» целыми днями[30].

Кроме Наташи, вечером нас, несмотря на дождь, посетила фрау Ландхоф, бельмер Браза. (Кстати, при ней Боде говорил о Бразе: «Первый жид из Петербурга…» Если бы Браз это знал, он, считающий, что Боде к нему *прислушивается*, был бы огорчен.)

Мы у нее были днем и не застали. Явилась она с горничной и вела себя как очень важная дама. Типичная заграничная еврейка, отличный файлер, шляпочка, а жесты все же отдают рынком. Проводив гостей, мы вчетвером побежали в соседний большой

кинематограф. Веселая лента, в которой главный герой японец, прекрасно играющий китайского принца, добивающийся, несмотря на все препятствия, любимой девушки. Все тот же демократический мотив, но он так же действует не только на толпу, но и на меня, «грешного», производя благодаря отличной, абсолютно убежденной игре главных действующих лиц сильное впечатление. После того еще посидели в кафе «Вертс», где любовались вдохновенным, неистовым, похожим на Пронина, еврейчиком-капельмейстером.

Пятница, 17 августа

Только что получили длинную телеграмму от чудного Аргутона. Он передал 54 доллара «сыну Елены Ивановны», торопит ехать и приглашает жить у себя. Приходится идти к этому «сыну Е.И.» (к которому: Сереже, к Володе?), а затем придется навестить и ее. Все это я бы предпочел отложить на возвратный путь, но теперь ничего не поделаешь. И вот вчера день прошел довольно бестолково.

1,5 часа пришлось сидеть в консульстве из-за огромной очереди (нам все равно выдали наши визы). Мы встретили там Шагала с женой: «Здесь невыносимо! Я ничего не могу делать! Уезжаю в Париж!» — но из-за общего медленного темпа, прерываемого бурным выговором опереточного консьержа, у которого, между прочим, милая манера — всех дам хлопать по заду. Юные девы, тихие, вежливые, смущаются… Посетители без конца считают пачки германских миллионов (за простую визу приходится с человека по 3 500 000. С нас же взяли всего 300 000), шепотком шутят между собой что-то, барышня — одна на всю очень просторную и нарядную комнату — еле поспевает исполнять разнообразные лежащие на ней обязанности.

В Берлине мы оставались с неделю, затем через Баден (чтобы встретиться с Гиршманами и с Надей Устиновой) мы приехали на Эльзас, Страсбург (на таможне через Кельнский мост мою коробочку с содой приняли за опий, то есть за кокаин), а оттуда в Париж!

И тогда мы попали к нашим, то есть к дочери Елене, Константину, жившим тогда в обычной квартире (неподалеку от нашего пансиона), вместе с дочерью Лилей, недавно вышедшей замуж за Ростислава Гагарина, Лизой, замужем за бароном Кнорингом, и довольно бунтующей, бездушной Катей.

Остановились мы на первых порах у Аргутона, потом нас приютили (уехавшие на дачу в Бретань) Черепнины на руи

Фирон, и, наконец, мы поселились на руи Сульпиции в отеле «Ронда», где я создавал всю постановку «Дамы с камелиями» и отчасти постановку «Пелиас и Мелисанда» и «Филемон и Бавкида» для Сережи Дягилева. Сережа сам приехал лишь через месяца полтора после нашего прибытия.

В начале декабря мы перебрались в Монте-Карло, а в начале февраля (или в конце января) снова же были в Париже, который через две недели и покинули, чтобы вернуться в Россию.

1924 год

Вторник, 26 февраля

Морозно, снежно. Купил эту книжицу для записей за 35 копеек «золотом». Покупал вместе с Нерадовским, выйдя с заседания в Акцентре под председательством Удаленкова, посвященного вопросу эксплуатации петроградских исторических зданий под дачи и увеселительные заведения. Кажется, удачно все отстоял, но пусть в Екатерининском монплезире устаивают концерты. Попробовал заодно отстоять «комнату Павла» в Зимнем дворце, не поддержали.

Нерадовский рассказывал про гнусности музейных направлений, про фальш Сычева [директора музея], он тоже на минуту появился на заседании (что за рожа!), про ненормальности взаимоотношений между всепоглощающим вооруженным большинством голосов отделом этнографов и художественным, завел меня в музей и показал новости. Прелестен Рокотовский «Фурсик» из Гатчины. Уже выселили Елену Павловну из Ораниенбаума. Вообще все внушительно, но все же картины «убиты» помещением. Это впечатление остается. На первой площадке встала Шубинская Екатерина. Нерадовский провел меня до трамвая. Опять-таки начались высказывания разных своих тревог. Дома застал постаревшую Лидию Николаевну — сватью, которую Татан замучил, заставляя ее разглядывать папку с японскими гравюрами.

К чаю Стип. Он весь в своей работе о ненавистном Бецком и любимом Шувалове. Читали отрывок «Огонька» мая 1915 года. Какая мерзость, ничуть не лучше нынешней. Те же пошляки-германофобы и почитатели Николая Чудотворца ныне заделались самыми ревностными прославителями коммунизма, октябрин и т. д.

Я убирал привезенные материалы по папкам. Сейчас уже все наше путешествие кажется чем-то ирреальным, и, напротив, я совершенно поверил нашей, увы, очень невеселой и нудной действительности!

Среда, 27 февраля

В 11 часов на репетиции «Грелки». Вместо захворавшей Карловой пришлось ввести (по моему совету) Марианну

Эриховну. Репетировала она слабо, растеряв за два года провинциального лицедейства весь светский стиль и приобретя нудность русской суеты. Но я с ней потом позанялся, и она, пожалуй, была неплоха на спектакле (сам я на него поленился поехать, так как меня уморило заседание в Русском музее (теперь они собираются в бывшей библиотеке, в полутесном и прохладном помещении), во время которого я раз пять засыпал). Идет сплошное подсматривание друг друга. Омерзителен чувствующий себя совершенным монархом Сычев (этнографы, ухаживая за ним, так его величают), но еще противнее становится подхалим, слюнтяй и трус Н.Н.Черепнин. Скоро они меня там не увидят.

Стип провел меня до трамвая. Дома меня обуял Татан, заставляя без конца разглядывать папку с японскими гравюрами, и вообще ничего мне не дает делать. Наши ушли на заседание жилищной комиссии: наш жилец художник Тырса не желает платить за коммунальные услуги. К чаю пришел Стип, и мы снова перебирали наши заграничные впечатления. Постепенно они слагаются в «легенду» и приобретают какую-то «литературную жизнь». Кстати, в «Красной газете» мое интервью со Старком, как будто и точно, лишь фамилии литераторов перековерканы, но я все же себя абсолютно не узнаю. Придраться нельзя, а все существенное, весь аромат исчезли.

Четверг, 28 февраля

Кончил раскрашивать вид с террасы Дворца (где стоит Наполеон). В 11 часов П.П.Добычин, едущий в Москву и надеющийся там продать мои акварели. Я ему даю три Версаля (из книги Нотгафта растрепанных) и повторение петергофского Нептуна. Он их оценивает по 12 червонцев. Дай Бог.

В Эрмитаже получил жалованье, милостиво сосчитанное мне с одиннадцатого дня моего приезда. Вышло 26 рублей золотом.

Почти все время в Эрмитаже пропадал в библиотеке, куда поднялся и Владимир Кузьмич Макаров. Я читаю его интересную антологию на гатчинские темы. Начинает получаться какой-то журнал[31]. Очень милы наши дамы Щербачева и Каменская.

С 4-х часов у Кругликовой. Снова приходится излагать свою «легенду» (и снова ее еще раз вечером Мише Циммерману). Приходят «на меня» Воинов, Гауш, Анна Петровна Остроумова-Лебедева, Костенко, Стип и опоздавший Белкин. Кругликовой удалось сохранить свою квартиру, несмотря на интриги ее жильца актера Любоша. Констатировали все вместе, что за последние

месяцы положение изменилось к худшему. В воздухе (при большой всеобщей усталости и деморализации) снова — сплошная тревога ввиду засилья представителей доктрины (большевиков) или просто грубой силы, совсем тяжело совести (хор солдат поет на улице антирелигиозные кощунственные песни).

Возвратились со Стипом, которого обуял Татан с японскими гравюрами.

К чаю Миша Циммерман в отчаянии от дел Мариинского театра. Едва ли царство Лапицкого скоро кончится. Приглашен он был Кристи, когда тот увидел, что Экскузович не может ладить с Купером. Экскузович пошел на это, рассчитывая, что или Купер выживет Лапицкого, или наоборот, но ошибся. Купер поджал хвост (в общем, он «смотрит в лес», но хочет обставить свою ретираду с как можно большей чинностью и избегает скандала). Лапицкий вообще держит себя с предельной наглостью, достаточно хитер, чтобы делать какой-то реверанс перед Купером. Тем не менее, он заставил последнего принять свой новый перевод «Кармен» (всем пришлось переучивать роли), включить танцы из Аргентины во второй акт…

В театре царит уныние, но деньги платят благодаря тому, что заведующий изыскал средства от Петросовета, который ассигнует суммы от клуба в Европейской гостинице специально для Актеатров. Сколько же там должно быть денежного оборота, если этих отчислений накапливается 60 000 рублей в месяц!

В Эрмитаж пробиваюсь в переднюю через густые толпы экскурсий учащейся молодежи, дурно пахнущих. Господи, какое это все уродство, какие глупые недоразумения. Вальдгауэр познакомил меня со списком своих кандидатов для Кики. Оказывается, нужно о каждом сообщить подробные сведения. Но этого мало. Сам Кики вас проверяет, опрашивает благодетельствуемого. Это ново и недостойно. И в общем мне опротивела вся эта американщина. Время ее прошло. Сережа Зарудный забросал меня вопросами о заграничной жизни… Сидоровы поехали в музейный фонд за последней партией картин Салтыковых. Вот и это гнездо разорено, и вся хитрость Герарда и Анны Алексеевны не помогла. Говорят, они уехали в самый последний момент до своего ареста через Москву. После этого вещи остались на местах (там живут служащие Салтычихи), но в общем аппарат государственного ограбления и их забрал. Ох, жутко. Сами Герарды живут в Дрездене, и не плохо. У старика Оболенского каким-то чудом построен там дом.

Старик Ильин, заменяющий Тройницкого, очень взволнован принятым им в отсутствие директора единоличным из-за спешки

(Ятманов насел) решением примкнуть к СССР, а не к РСФСР (почему-то его учреждение зависит от этого, а не дается свыше, тогда как Акмакульт остается в РСФСР), иначе говоря, Фармаковский теряет свое касательство к Ольвии, Орбели — к Кавказу и т. д. Но я уверен, что Тройницкий лишь поблагодарит его.

Заходил к Марочке [жене Тройницкого Марфе Панченко]. Она больна и плохо выглядит… За ней ухаживала мать того молодого человека, которым она интересуется, к которому частенько ходит (Ате она призналась в своей чрезвычайной потребности в молодом мужчине). Тройницкому все это как будто известно. Он друзьям заявил: оставляет Марфе Андреевне полную свободу!

У Альбера был «коммунист» Иванов, принес на экспертизу свернутую в трубу очень приятную картину круга Чима да Конельяно «Сон Магдалины». Ее продает какой-то раскассированный чиновник, имевший касательство к обыскам сейфов и получивший ее якобы в награду за свои труды в этой области. Просили за нее 15 червонцев, что Иванов готов заплатить после моего одобрения. Он не унывает и даже на угрозу установления твердых цен смотрит благодушно: никогда-де цены не поднимутся при колоссальных запасах у государства нормированных средств и больших государственных складов.

Много разговоров о мощах Ленина, о системе бальзамирования и охлаждения трупа. Все видят в этом желание получить нечто новое — культ мощей. И все это может пригодиться, когда лет через пяток решатся ввести и новую эру. Быть может, как бы после этого не пошла мода на эры! Однако это основоположение коммунистического культа мертвых не лишает надежды плодить уйму бесчисленных анекдотов и острот на тему о Ленине, вступающем в рай.

Суббота, 1 марта

Я в очень деморализованном настроении и положительно не знаю, чем мне заняться. Раскрашивание привезенных зарисовок как-то опостылело, с театром все еще не встречаюсь и не знаю, что я буду делать, а впустую не хочется что-либо начинать; заняться уборкой папок или библиотекой тоже не хочется. Ибо ко всему (к тому самому, из-за чего отчасти я сюда и вернулся) у меня странное отношение. Какая-то, я бы сказал, брезгливость. Это ведь не мое, это ведь каждую минуту у меня могут отнять. Так с чего же это я буду «убирать, изучать, сживаться» с этим!

Благо я немного за эти шесть месяцев отлучки и отвык, и позабыл. Но если уж я так раздражен и чувствую, то что же требовать от среднего или случайного любителя, как можно рассчитывать на сохранение категории коллекционеров и меценатов?

Надо быть сумасшедшим маньяком или дураком, чтобы тратить деньги на вещи, которые не станут вашими, которые и держать у себя — преступление, раз о них не заявляешь и раз посредством такого заявления не «отдаешь» их государству (если не де-факто, то уже де-юре). Может, эти мысли и чувства обострились из-за истории с Лещей Келлером, которого третьего дня судили и присудили к конфискации имущества и к месяцу тюрьмы с зачетом того времени, которое он уже отсидел.

Марк Философов был на суде и всецело одобряет тактичность и благожелательное внимание судьи из полуинтелпигентов, критикующего беспардонную глупость обвиняемого, который так и норовил своими дурацкими путаными ответами подвести коллег, а родную мать он даже и подвел, и. возможно, что еще и ее будут судить. Но дело не в том, глуп или не глуп Келлер, а в том, что ему в тяжкое преступление (после того, что сразу выяснилось, что из Эрмитажа он и не крал, как о том донесли его жильцы) вменяется лишь то, что он не зарегистрировал своих вещей, имеющих музейную ценность! Итак, за то, что человек с большим трудом, благодаря всяким лишениям, приобрел (прекрасные для узкого круга таких же чудаков, как он и как мы все) вещи, что они их берег, что он их всем своим существом считал своими, в чем заключается самый смысл его существования, за это самое и за то, что он не хотел допускать в святые святых своего существования жуткую, шарящую лапу фиска и леденящий глаз контроля, за это он лишается того, что было смыслом его существования, и сам он выкидывается за борт, превращается в нищего и опороченного нищего. Но такими преступниками являемся мы все без исключения, и чем больше у нас было вкуса, знаний, любви к прекрасному, родному и трогательному, чем полнее нам удалось собрать эти любимые вещи, тем мы больше преступники, раз мы не хотим расстаться с нашей же коренной психологией (психологией, двигавшей нас на это собирательство) собственников. Какая мерзость, какая мерзость, какой получается осадок на душе! Невольно является желание покончить со всем этим, является к тому, что было самым милым и утешительным и что является нашим источником всяких гнусных страхов и тревог, и, разумеется, у меня к этому сейчас примешивается досада, которой я не позволю выявиться во всей силе, досада на то, что, здорово живешь, вернулся в эту

гнусность!

Марк видит особенную глупость Леши в том, что он, вместо того чтобы сослаться на какую-то отсрочку закона, вышедшую в сентябре и дававшую ему три месяца (дело его началось в ноябре), вместо этого он стал «оправдываться» тем, что его вещи музейного значения не имеют. Между тем эксперты (и среди них гнуснейшим рвением отличился Мстислав Фармаковский) почти все найденное у него объявили музейным, и действительно у него были некоторые китайские вещи и некоторые саксы античные (правда, битые), которые на таковую оценку могли бы претендовать. Но это все уже сутяжничество и фокусы процедуры, от которых порядочного человека (в старом понимании) должно тошнить. Факт же остается фактом — человека разорили и лишили смысла существования за то, что он ценой всяких жертв собрал и хранил вещи, считающиеся прекрасными.

Отсюда выводы и уроки: не люби и не храни такие вещи, пусть идут в мертвые склады, именуемые музеями, служат объектами «изучения» чудовищных экскурсий, пусть лишаются всей своей трепетности и интимности. А заодно и весь класс приготовителей таких же вещей; класс художников поищет себе более полезное и выгодное дело, ибо, разумеется, кто же будет у них покупать вещи, которые приобретать в свою собственность и для собственного употребления нельзя. А над всем этим все та же борьба живого, животворящего, хаотичного и мудро неосознанного с мертвящей логикой доктрины. Каково-то мне, всем своим существом не приемлющем доктринальность, какого бы свойства и характера она не была.

В Эрмитаже меня обуяла Углова. Почтенная дама, привела в порядок миниатюры и собирается устроить выставку их. Кроме того, она изучает моих любимцев Дюпре и Коэльо, но сама она такая нудная, что беседа с ней является пыткой. Трогателен Верейский, находящий для себя новые «источники беспредельного наслаждения» (его выражение). Сейчас он влюбился в произведения Л.Фредерика, наконец доставленные из бывшей Экспертной комиссии вместе с Боткинскими и отдельно проданными на Тенишевском аукционе (1903 год) «Колосьями» и большим «Плодородием». У нас теперь — одиннадцать. Часть из них относится к серии «Альпы», часть — к «Хлебу». Остальные четырнадцать Аргутинский, купивший их у дочери Тенишевой, увез в Париж. Вот таким образом эстет, не лишенный «спекулятивных» соображений, разрознил одно из внушительнейших и благороднейших творений своего времени. Вот где пожалеешь, что не стал этот ансамбль сразу собственностью государства. Но разве где-либо и когда-либо

можно рассчитывать, чтобы у этой машины, у этого Левиафана, хватило бы души, остроумия, вкуса и знаний, чтобы «на корню» оценивать подобные произведения и им оказывать все должное внимание вплоть до приобретения в свою собственность и помещения их в достойные хранилища? Или можно льстить себя надеждой (о, иллюзия), что государство отныне, осознав себя вполне, восполнит и все недостатки «своего образования» в этой сфере, разовьет в себе функции интереса оценки энтузиазма настолько, что не придется и жалеть о проявлениях всего этого в отдельных счастливых выскочках капиталистической хаотичности.

Вот вокруг чего все время вертится мысль.

Все эти дни я перечитываю парижские записки первых дней пребывания, и мне страшно ярко вспомнилось все *тогдашнее* мое отчаяние. Это утешительно в том смысле, *что не так уж там хорошо*. Но, с другой стороны, где же тогда хорошо и как оказаться в таком душевном состоянии, в котором я бы чувствовал себя успокоенным, благодушным?.. А может быть, мне это вообще при бесконечной жажде этого и при полном отсутствии глупого «романтического» и суетливого прозрения к этому не дано? Может быть, все мое ничтожное томление духа — одно самонаваждение, или, вернее, неспособность реагировать против каких-то мелко бесноватых нашептываний.

После Эрмитажа поплелся в Пушкинский дом и никогда бы не нашел вход в это уродливое, втиснувшееся в архитектурную систему старого, на $^{5}/_{6}$ снесенного и перелицованного Гостиного Двора здания, если бы не встретившийся мне милый Щерба — он снова без работы, — принявшийся рыскать по всем направлениям среди сугробов и вопрошать всех встречных (о, какие грустные лица и какие оборванцы ходят теперь вокруг нашего «Храма науки»!). Я шел по приглашению Модзалевского, чтобы отказаться от редактирования издания Пушкинских рисунков, но, увидев там Степанова и Чернягина, вообразил, что это мои милые, «святые от издательства», заинтересованные в данном предприятии, об отказе не упомянул, а дал себя окрутить другому фанатику от пушкинизма — П.Е.Рейнботу. А после, когда мы ехали домой, оказалось, что Степанов и Чернягин потому только не отказывались от этого «гиблого дела», что считали моей затеей. Вероятно, они еще и откажутся, и я попробую («потребую») отобрать из всего предоставленного материала (лишь немногие имеются в фото, 22* остальные в фотокарточках) все более или менее интересное, и мог бы раскачать какой-либо «взгляд в нечто».

Вернувшись домой, я вынужден был пробираться украдкой в

спальню и там сидеть больше часа, пока не ушел Омера [?]. Звал нас обедать в обществе Дольчи Маркизета и ее мужа. Разумеется, под этим кроется экспертиза, и это сейчас подозрительно.

К чаю молодые Нотгафты. Оба они милы. Тося перебралась к мужу (Александра Павловна осталась на своей квартире) и очень счастлива. Он мне поднес новое издание Брокгауза — очень интересная книжка Кубе о венецианском стекле с виньетками Бушена. Чудовищная в своем дилетантстве и бездарная попытка быть современным — альбом Петрова-Водкина «Самаркандия».

Акица опять давала урок французского Коке, Марине и Юрию. Все очень увлечены.

Говорят, привлекается к ответу и В.И.Ерыкалов за попустительство по делу кражи в доме Оливов. Он, кажется, попробовал затушить скандал, когда обнаружилось, что «хранительница музея» Дубинская (коммунистка!) кое-что уже ликвидировала в свою пользу, и составил какой-то незаконный протокол. Может пострадать и Марк, расписавшийся на этом протоколе, и даже Жаннета, случайно оказавшаяся в тот день там и тоже «подмахнувшая»? Какой кошмар. Федя видит во всей серии этих дел мщение уголовного розыска Ятманову, который в присутствии представителя одного из инквизиторов в кабинете Комарова обозвал всю сыскную комиссию ворами и мошенниками.

В полночь, по возвращении из «Северных богатырей» в декорациях и костюмах Коки. Все очень хорошо, поэтично и толково затеяно и тщательно исполнено, но общему не хватает стиля, не объединено одной определенной художественной задачей. Впрочем, впечатлению вредит отчасти достойная старинных балаганов игра. Надежда Ивановна Иордис невозможна с ее отсутствующим видом (как только отговорит свои слова), с размахиванием рук, со всем ее любительством. Еще хуже другие (немного лучше других Музалевский, старик-викинг). Особенно унылы Сигурд и Мичурина и «лабазник» Гуннер — Голубинский. В антрактах, чудовищно длинных (Марина наших дам не пригласила в ложу Лаврентьева, а оставила мерзнуть в зале), Андрей Николаевич так и не коснулся о моей будущей постановке, сам он уезжает в Москву, устраивать весеннюю поездку. Зато он навязал мне какую-то девочку — дочь «нашего посла» в Ревеле Старка, которая рисует какую-то дрянь и которой придется дать наставления, когда она явится.

Монахов два антракта рассказывал про то, как Хохлов его озадачивает с пониманием роли «обывателя» в «Бунте машин». Решено было дать действительный тип мелкого российского

обывателя, не лишенного здравого смысла. Но и подловатого пошляка. Монахову это как раз по вкусу и по плечу. Однако когда он прочел роль Хохлову, не допускавшего Монахова до общих репетиций под предлогом, что эта роль в пьесе стоит отдельно, то К.П.Хохлов только выстучал табак из трубки и произнес: «Это совершенно не то, это абсолютно неприемлемо, как вы не понимаете, что здесь нужен “эксцентрик”». На этих словах и ушел, а до тех пор он продолжал только всячески сбивать смущенного Н.Ф. Все они скользки (и даже хитрит и Лавруша), так заворожены апломбом этого гениальнейшего болвана, что не решаются ему сопротивляться, просто же погнать его нельзя. Он слишком укрепился наверху, и его охраняют блатари, проникшие в самые стены театра, — три коммуниста. Вообще, как и это, все изменилось. Зрителей двести смотрели, харкали. Да и весь аспект зала возвращает к 1919 году. Хроническое состояние нашего хозяйства безденежное. Денег, получаемых из учреждений, хватает на день, на два не больше…

В Эрмитаже галерейное совещание, решено издать краткий путеводитель по галерее, в чем ощущается чрезвычайная надобность. Нотгафт попробует его составить, я проредактирую. Гидони настаивает отказаться в предоставлении ему «Апостолов» Греко — ведь он, говорят, запачкал краской Гальса, когда копировал его.

Затем в ОПХ. Аукцион ведет Лад Карлович (Платера совсем отстранили). Жалкие покупатели, всякое барахло. Единственно милая вещь — это английский несчастный фаянсовый сервиз «Золотой мир».

К обеду — Нина Жук и А.П.Боткина. Последняя снова не знает, что ей делать с момента отъезда Таси, которой в приданое она дала мебель «Петровской столовой». Шура не желает переселяться из Москвы, где как раз теперь, наконец, затеяна и происходит съемка их ансамбля в комическом фильме, изображающем американца в Совдепии (воображаю, какая это будет грубятина и пошлятина), а переселяться — мытарства: это значит бросить на произвол судьбы остатки здешнего имущества.

Кока взбешен на Янишевского. Входит сегодня к нему в кабинет и нацепляет ему какой-то значок с красной звездой, сует перо в руку и требует, чтобы Кока подписался под листом жертвователей в пользу воздушного флота (честь носить этот значок обходится в 1 червонец, что является при трехчервонном жаловании огромной ценой). Кока стал было ежиться, то тут же его приструнили, указывая на двух восседавших в стороне коммунистов, которые явились с этими значками.

Кока был сегодня у Добычиной, чтобы совещаться, как ему

отсюда выбраться. Она ему заказала (за 10 червонцев) свой портрет. Был он у П.К.Степанова. У него много нового — два Сальватора Розы. Встретил у Добычиной В.И.Труса — пришел, чтобы она заступилась за него: отняли всю обстановку.

Не могу исполнить просьбу Сережи [Дягилева] повидать Спесивцеву. Она, говорят, больна, собирается на юг, в Ментону.

Город полон всевозможных слухов о новых стеснениях для торговли.

Воскресенье, 2 марта

Был вызван на репетицию «Мизантропа» в Александринку с Горин-Горяиновым вместо заболевшего (удар) Яковлева. Неприятное впечатление. Особенно от его «нагнетания жизненности» (скороговорка, мямление, глотание слов), для которого он, как всегда, жертвует и точностью текста, и тонкостью в изображении характера. Получается всегда одно и то же и всегда нечто смазанное, беглое, недомысленное. И, разумеется, никаких замечаний. Я-то еще роль не знаю, это бедно сделано, но противен весь дух (хотя играют лучше, чем в БДТ) и особенно гулящий радужным полубогом среди всех прочих Юрьев, очень довольный сезоном и обстоятельствами. Я думаю, это довольство было более деланным и в мою честь, продиктовано завистью к моим европейским успехам. Мол, и без тебя обойдемся, европейская штучка. И, действительно, ни единым словом о моем дальнейшем сотрудничестве он не обмолвился. Пора бы мне начать тревожиться, но мне так надоел театр, что я сейчас готов даже нужды отведать, только бы меня не забрали для этого мучительства. Да еще в таком месте. Только около трех оказался в БДТ, где надо было сниматься группой по случаю пятилетия вместе с техническим персоналом, раз только с артистами.

Явился незваный Сережа, получивший наконец галстук. Все же до обеда выяснял ему свое мнение о «гнилости» Европы и «русском духе», присущим всему, что здесь происходит и что придает этому чисто национальный характер. Это еще одна «имитация» Запада, но, увы, наш Запад — не «Запад» Петра, Лейбница, Гоббса и даже Монтескье, Канта, Шлегеля, Гегеля, Ж. де Местра и т. д. Нынче мы разрабатываем совсем по-своему и в качестве нового верования то, что там оставлено, что умерло или выродилось за давностью лет, и с другой стороны никаких оздоровляющих струй оттуда не идет, ибо там нет веры, нет идеологии класса, доминирующего и дающего всему успех. Мы же

в таком состоянии, что без обновления у нас внедрения веры (большевики — настоящая вера) нам не выпутаться, и ожидать обновления оттуда не приходится. В этом смысле и можно согласиться, что Европа гниет.

Поздно вечером пошли к Анне Андреевне Михайловой. Где было довольно много народа и среди них П.И.Нерадовский, который удручен продолжающимся «высиживанием» Сычева. Я разглядывал «Вояж» (журнал), присланный Костей (Сомовым — ее братом) из Нью-Йорка. Выставка, может быть, уже открылась. Ему Нью-Йорк не нравится. Общая погоня за деньгами. Живет у родственника. Тон письма не слишком радостный. Чтобы идти к Михайловым, нужно все еще у эстонской православной церкви переходить на левый берег канала, ибо правый засыпан развалившимся весной домом.

Понедельник, 3 марта

К 1 часу в Эрмитаж. Вернулся Тройницкий. Он по 10 часов заседал с поляками и очень доволен своими победами, но как бы после них не пришлось отдать и все остальное из того, что мы не хотели отдавать. Привез первый выпуск издания ГОХРАНа «Алмазный фонд», в котором помещены регалии. В статьях Базилевского и Фасмера говорятся всякие пошлости и глупости.

По Эрмитажу ходили сегодня какие-то советские сановники (особы 2-го класса) — дама в белой фуфайке, малый, лупоглазый еврейчик и длинный толстый молодой человек с желто-серым кувшинным рылом. Коего клана они такие? Тройницкого не могли слушать. Едва поздоровавшись, фуфайка величественно обратилась к Щербачевой, приставленной к ним в качестве гида, и объявила: «Не будем терять время, нам нужно еще столько видеть». И пошла. Но директор утешился тем, что об Эрмитаже пишут «нескончаемые статьи» в «Дейли Телеграф». Кто же старается? Убежден, что моего имени не упоминают.

В передней меня ожидали двое юношей (лет 20–25), отрекомендовавшихся как представители Института синтетических спектаклей, выявляющих сущность наших великих поэтов Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Тот, что повыше (тоже с желто-серым кувшинным лицом), залепетал что-то очень быстро-быстро и долго-долго о том, что они без меня не могут быть и что требуют не только моих советов, но и прямого руководства. На мой вопрос о цели они ответили: «Мы именно рассчитываем, что вы нам посоветуете». Мне стоило немало трудов, чтобы отшить этих безумцев, да и то они все же погрозили прийти снова, чтобы

познакомить меня подробно со своей ерундой.

Захожу с братьями Сидоровыми (отца они потеряли месяца три назад) в музейный фонд, чтобы дать санкцию на выдачу Пушкинскому Дому квазипетровской мебели из Митрополичьего дома. Другую мебель Николаевского времени я думаю взять для Зимнего (портреты духовенства уже забрал к себе В.К.Макаров).

Изабелла Адамовна Чайковская по-прежнему сама любезность. Захожу и к Ерыкалову. Он какой-то жалкий, осунулся. Видимо, его чистят за то, что он состоит под судом из-за кражи в доме Олив и из-за неправильности документов в составленных тогда протоколах. Я уверен, что несколько расторопный в своих убеждениях человек если и допустил что-либо, то по тому же доброму чувству, которое обнаружено в других случаях, например, в покровительстве его Тасе. При этом едва ли может делать различие между «снисхождением» одним и попустительством с другими. Ведь по доктрине, которую он исповедует, от которой он как-никак оторвался, он совершал одинаково преступление и тогда, когда давал возможность человеку пользоваться его собственным имуществом, и тогда, когда он смотрел сквозь пальцы на воровство чужого. Эта сбитость его моральных основ объясняет и его борьбу с Рахлиным, доходящую до больших странностей. Перестать верить в личную честность Ерыкалова мне не хочется.

Так, сегодня, рассказывая о всяких ошибках и глупостях Евгения Семеновича, он мне как-то наивно, точно это самая простая вещь, сообщил, что знаменитый Сторгановский альбом «Путешествующий живописец», пропажу которого я случайно констатировал, обозревая библиотеку Строгановского дворца, и тогда же забил тревогу, был изъят с распродажи по частям Рахлиным. За что я его остро возненавидел, ибо вещь слишком замечательная. И он же увез за границу всякие письма, и среди них письма Вольтера, а также два тома гравюр, подаренных Людовиком XV Воронцову Михаилу Илларионовичу. Все это-де может отяжелить обвинительный акт, но главным образом Рахлина обвиняют в шпионаже, который видят в его сношениях с белогвардейцами во Франции, особенно с братьями Игнатьевыми. А явился он сюда с предложением — передать все сохранившиеся казенные суммы и свое материальное имущество и грандиозные запасы советскому правительству на условиях — по возвращении в Россию — поступления на службу. Помню, что Р.Р. в Москве с большим энтузиазмом отзывался об этих сомнительных господах.

Этот несчастный испортил свои дела здесь тем, что нажил себе личного врага в лице учреждения, которое играет роль Государственного контроля. Ерыкалов мне назвал это

учреждение, но прибавил, что оно соответствует госконтролю, и это вследствие полемики, завязавшейся между этим учреждением и публицистом, видным коммунистом Сосновским, выступившим с хвалебными статьями по адресу Р.Р. и его пожертвованиями храму-музею, ныне уже разоренному и лишенному своих коллекций. Помню и то, как Р.Р. хвастался первой из этих дифирамбных статей, показавшейся мне и тогда очень рискованной и бестактной. Но, бедняга, попирая асфальт Парижа и дыша тамошним воздухом европейской свободы, и не подозревал, что носит у себя на сердце роковой документ — первопричину его разорения. Сидит он крепко и едва ли на сей раз выпутается. А как ругал Францию и как превозносил все российское, превозносил искренне, соперничая в этом с Тройницким. Меня поразило еще попутно то, как характеризовал Ерыкалов тот «контроль». По его словам, это действительно всемогучее учреждение, и даже ссылка Троцкого (само слово «ссылка» не было произнесено Василием Ивановичем) сделана по распоряжению его.

Он звал к себе, указывая на ту радость, которую мои рассказы о заграница доставили его жене. По дороге к Хайкину (зубному врачу) встречаю (у руин дома на Машковом) Дмитрия Яковлевича Дашкова. Он обеспокоен тем, что Русский музей (и в частности, Воинов) медлит с отзывом, который он обещал дать о коллекциях Павла Яковлевича как о близко касающихся Петербурга. Дмитрий Яковлевич, наговорив глупость за глупостью, увидел себя окончательно лишенным этих коллекций, которые оказались в Историческом музее в Москве (куда они были эвакуированы в 1917 году, не то национализированы), — выдуман такой хитрый ход: их вернуть ему, но с тем, чтобы он обещал их пожертвовать Русскому музею, но опять-таки с тем, чтобы за эту жертву ему выплачивали бы достойную пожизненную помощь. Ему сейчас семьдесят один год. Я обещал поторопить Воинова, которому поручено составление этого отзыва.

У Хайкина я насладился двумя его пациентами. Одна — писательница Яворовская (когда-то попавшая под грузовик и с тех пор слегка рехнувшаяся). Ей кажется, что все кости ее черепа и часть позвоночника сдвинуты, и она убеждает Хайкина вырвать ей три совершенно здоровых зуба, тогда все станет на место. Для вящего убеждения она заказала какому-то резчику кустарно сделать разъемный череп, по которому она и демонстрирует свой случай. Для той же цели служит и игрушечный крокодил. Обе вещи она таскает всюду с собой в мешке. Хайкин отправил ее к Бехтереву и Павлову. Пусть-де они ей выдадут аттестат в необходимости такой операции.

Другая пациентка, довольно смазливая дамочка, вся в мехах, жена нэпмана. Она во время оперирования у нее во рту неистово кокетничала (особый жанр) с почтенным Наумом Исааковичем и даже сняла брошку с груди и нацепила ему на халат.

После ее ухода Хайкин рассказывал всякую всячину про своих знакомых среди этого мира и, между прочим, о богаче Шлесберге, у которого на дому по крайней мере два миллиона настоящих денег. Как-то он спросил другого своего пациента, юриста, примазавшегося к большевикам и почти состоящего товарищем председателя суда Нахимсона: как это они до сих пор не добрались до такого «матерого». Но ответ был простой: добраться они добрались, но от Государственного банка вышло запрещение его трогать, иначе-де пострадают операции самого банка. Вот хороший пример для наглядного обучения, но, увы, доктринеры никогда не вздумают извлечь из него пользу.

У нас сегодня сидят Стип и Любочка.

Арестован (по сведениям Тройницкого) Щусев. Ему-де приказали произвести работы у могилы Ленина, а он наткнулся на фановую трубу, содержимое коей залило фоб с покойником. Остряки находят, что Ильич в «золоте» купается. Вообще ходит масса злых острот, анекдотов, в которых всякого рода люди возмещают свою досаду на помпу, скрывающую кончину «вождя пролетариата».

Кончил роман «Лево и Ирена» Пауля Моренда. Француз, великосветский аферист влюбляется в гречанку-банкиршу и женится на ней. Ему скучно, он постепенно пытается втянуть ее в свой прежний разврат, она бежит от него… Изложение не без жеманности, но в общем талантливо и не очень глупо.

Прочел по-русски «Человек из зеркала» Верфеля по рекомендации Пиотровского и Хохлова. Пусть ставят эту тяжелую фельетонную, кажется, глубокомысленную аллегорико-символичную абракадабру. Надо только сократить на две трети. Но где Пиотровский увидел «героизацию современности» и тот оптимизм, о котором они так хлопочут?

Вторник, 4 марта

В Эрмитаже заседание Пушкинского дома. Я заготовил мотивы отказа вместо громоздкого издания.

Со Стипом идем к Анне Петровне; снова от меня требуют рассказов о людях, костюмах, о моих парижских воспоминаниях, не лишенных розовой окраски.

Жалобы Анны Петровны на посещающих их с мужем

коммунистов — заправил Медико-хирургической академии. У них отрезали по распоряжению Танкова две отличные комнаты и поместили там… канцелярию. Сколько ни ходатайствовал Сергей Васильевич, доказывая необходимость для Анны Петровны иметь мастерскую, не предоставили. Получили другую квартиру во флигеле, но ее перебивает влиятельный профессор Камков, и она уже подумывает и вовсе съехать из этого заселенного пролетарской молодежью места.

Прелестные акварели Анна Петровна сделала в Кисловодске, и совершенно великолепен ее акварельный, без рисунка сделанный портрет Ершова.

Потеряв Стипа при выходе, добрался домой. О ужас, сидит Петров-Водкин, собирается в Париж и пришел получить от нас нужные сведения. Благодушная безнравственность и низость, а за моей спиной, я знаю, он только говорит про меня всякие мерзости. Впрочем, поборов свое отвращение к нему, я извлек из нашей беседы и известную пользу, узнав от него подробности о смерти Ленина. Как раз Петров-Водкин за несколько дней до этого прибыл в Москву, и его разыскали, как только Ильича не стало и прошел первый момент растерянности окружающих, растерянности, приведшей к тому, что о смерти объявлено было несколько часов спустя после кончины. Пожалуй, даже за границей узнали о ней раньше, чем здесь. Кузьма уже начал рисовать портрет Ленина в гробу, как и сюда вмешался Союз, и после всех контроверз примирились с тем, что до чести рисования было допущено и еще несколько художников. Впрочем, само это рисование уже происходило в Москве в Колонном зале Благородного собрания, где Ильич лежал бальзамированный, замороженный, да и в зале стоял мороз, с вытянутыми вперед руками (один кулак был неловко сложен, и казалось, точно он хочет дать издалека), в новенькой тужурке с черным покрывалом на ногах. Лежал он в металлическом гробу, обтянутом красным атласом, на приступке с невысоким постаментом, тоже обитом красным. Кроме того, украшениями служили несколько жиденьких деревьев и по углам четыре лавра на высоких стволах. Зал был освещен всеми лампами, и каждые десять минут оркестр принимался играть траурный марш. Публика валила валом непрерывно.

Самому Кузьме пришло в голову, что вот лежит «последний могикан русской интеллигенции, наследник Герценов, Бакуниных, Толстых и т. д. Он ушел, а дело, которому он положил начало, получило совсем иной характер» и т. д.

Кстати, сегодня в «Правде» письмо Ильича к Горькому 1913 года по поводу Достоевского, выражающее негодование на то, что

Горький допускает какое-то почтение богоборчеству, вообще ко всякой «возне с богом». Он при этом вводит слово собственного изобретения «труположество», до странности подходящее к тому казусу, который теперь возник как раз вокруг его трупа.

Вокруг мертвеца дежурили всякие высокие чины, которые тут же в комнате рядом (в «артистической») обсуждали важные дела. Тут Кузьма их корил за новое переименование Ленинграда, которое он, видимо, приписывает ненавистному Зиновьеву, якобы это сделавшего нарочно, чтобы насолить покойнику. Но вожди оправдывались тем, что смерть Ильича их повергла в такой пафос отчаяния, что посоветуй тогда ознаменовать его смерть снесением всей Москвы, то и это было бы принято. По сведениям Ольденбурга, поездка в Москву от имени Академии наук была связана с тем, чтобы отменить это необдуманное постановление. По вполне достоверным сведениям, ездила депутация от «Старого Петербурга» с письмом самого Ленина, которое он отправил года два-три назад в ответ на петицию «Старого Петербурга», всполошившихся тогда уже слухами о таком переименовании, а в том письме Ленин заверял, что никогда не допустит, чтобы посягнуть на имя, данное городу первым русским революционером.

Растерянность первых моментов объясняется еще тем, что как раз за день до этого весь Реввоенсовет из чувства солидарности с Троцким подал в отставку, а новый не был избран. Пришлось просить оставаться подавшим в отставку.

Восторг Кузьмы от Ленина, я думаю, вполне искренний, ибо он чувствует в нем и в себе конгениальность чисто российского типа. Отсебятина, доктринизм, склонность к изуверству — все это черты, необычайно пропитавшие всякое истинно русское нутро. И я вполне предвижу время, когда культ Ленина окрасится в определенно национальный цвет — заслуженная его популярность *обнародит* его, и еще именем Ленина будут, пожалуй, козырять какие-нибудь заядлые юдофобы и даже погромщики. Неисчерпаема на иронию старушка история.

К чаю Радлов Н.Э. и Ольденбург. И я обоих спровоцировал рассказать мне про Академию. Присутствие Ольденбурга, понятно, удерживало Николая Эрнестовича от выпадов по его адресу. Он только решился сказать, что Кузьма Сергеевич был председателем того товарищеского суда, о котором речь шла, но с другой стороны я видел, как Петров-Водкин требовал рассказа Николая Эрнестовича. Несомненно, он шел у самого края чего-то весьма для Кузьмы компрометного, а также и оттого, что Радлов с большой похвалой отозвался о прямоте и мужестве смертельного

врага Кузьмы — Браза.

Главный рассказ касался суда, учрежденного по инициативе ученической комячейки, понукаемой крайними левыми элементами и при усердном участии Карева, игравшего роль и следователя, и доносчика (в гнусности этой наседки теперь уже не сомневается и Петров-Водкин), над профессорами Белкиным, Бразом, Радловым. Первый после ка-кой-то драки с одним из обвинителей должен был уйти…

Браза обвинили, а Карев свидетельствовал, что он в контрреволюционных направлениях, против советской власти. В своей речи Браз очень остроумно отвел это опасное обвинение. Меня удивляет, почему вообще они так за Академию художеств держатся, что даже готовы переносить подобные идиотские унижения. Радлов объясняет тем, что уже установилась связь с некоторыми учениками, что жаль их бросать, что опасно и уклониться от суда. С похвалой все отзываются о Беляеве. Всегда в Академии находится такой добровольный мученик, который готов перекраситься в какой угодно цвет, только бы оставаться служить в храме.

Беднягу обворовали — унесли все его с таким трудом сшитые хламиды и прочее, в которых он добивался покрова, дающего складки античных статуй.

С омерзением, напротив того, Радлов отзывался об их верховном начальстве и подлых чиновниках, унаследованных совдепией от старого режима. По сведениям Радлова, в старину этот Васька Кораблев состоял в Союзе русского народа окружным инспектором.

Среда, 5 марта

Захожу с Эрнестом к Кини и отдаю свои 22 листа. Лихачева и Нерадовского все же не включил… По залам Эрмитажа гуляет Патов в сопровождении Стипа с толстозадой блондинкой, которую он нам представляет в качестве супруги. Очевидно, пришел сравнивать каких-нибудь новокупленных Рафаэлей или Рембрандтов с нашими. Ко мне не обратился.

Все не знаю, что бы предложить полякам взамен Фра-го. Безболезненнее всего было бы отделаться «Триумфом Амфитриды» Ж.Б.Ванлоо или «Персеем» Карла Ванлоо, но, может быть, пришлось бы лишиться овального «Концерта» Ланкре, который уже числится за Москвой. Озадачен еще раз тем, что наименее похожий из наших Лепенов подписан Ле Пен.

В 4 часа у Нотгафта (Тасю не видел), куда подходят Стип,

Нерадовский, Воинов. Наслаждались новыми изданиями рисунков Менцеля. Федя Нотгафт дает мне номер газеты «Накануне» с моей характеристикой Голлербаха. Кое-что неплохо. Но почему я его так боюсь? Я вообще боюсь аферистов от искусства.

После обеда всей семьей — на «Петрушку», в ложу, присланную из театра. Отсутствие колонн у директорской ложи не особенно заметно, зачем было их снимать? Зал тусклый (только для апофеоза «Жар-птицы» зажигаются все люстры в зрительном зале). От «Петрушки» совершенно другое впечатление, чем в Монте-Карло. Очень испорченный обветшалый эскиз, но у каждого варианта — свои преимущества, тем более — прорывы. Сказывается спешка созидания, непосредственность. Здесь больше обдуманности, более явственно проходит мысль. И, странное дело, то же приходится сказать о музыкальном исполнении. Леонтьев был хорош, но по глупости режиссера Иванова его слишком рано спустили в люк, и он не сыграть агонию, за что была большая раскачка. В антракте ходил на сцену. Все (кроме Янишевского, молча протянувшего руку) встречали меня с восторгом и с расспросами (вот во что превратилась бедная Ольга Федорова, вероятно, она голодает, ей не дают ходу). У многих заблистали глаза зависти. Пришлось слышать немало сетований на ужасное унизительное здешнее положение. Особенно от Леонтьева о полном разложении дисциплины, о полном равнодушии Экскузовича (его самого не было), все свалившего на местком (совсем красным стал Вольф Израилевич). Чудовище матрос Нецецкий, которого я мельком видел гуляющим в своей грязной куртке в форменной фуражке на лбу, по-прежнему терроризирует и на собраниях Сорабиса. Иван Васильевич разошелся с Коваленко и соединился с Горской.

«Жар-птицу» я не смотрел (меня тошнит от этого зрелища), а лишь слушал юношески гениальную вещь. Наша аванложа набита гостями. Среди них — Добычина, с виду поправившаяся…

Люди, мечтавшие о конце советской власти, или, вернее, коммунистической доктрины, радуются — окончательно-де откроются глаза. Они же надеются и на то, что увеличение числа коммунистов принимает лавинообразный характер. Если все станут ими, то самый коммунизм окажется изжитым.

Четверг, 6 марта

С 9 часов в Эрмитаже, а к 3 часам домой, где меня ждала Марианна, с которой еще раз прохожу «Грелку». Ничего не сделаешь с *внутренним* человеком, с российским ее добродушием

(оказывается, быть может, и ее декадентством, распустившейся на все стороны податливостью, сейчас за спиной у Лавруши у нее два романа с Мичуриным и с… да с Анненковым флиртует).

К обеду А.П.Боткина и молодые Нотгафты. Распили последнюю бутылочку крепкого вина. К чаю Митрохин, Шилинговский (поднесший мне экземпляр своего отличного «Петербурга»), Нерадовский, Тройницкие, Стип, наши молодые (Марфа приходит поздно, очень возбужденная, в парижском пальто, которое на ней сидит, как седло). Наши дамы потешались над ее позами, над новой манерой подавать руку, отставлять ногу, держаться за бок — все заимствовано из модных журналов. Возбуждение ее объясняется тем, что ее «не угощал блинами» «молодой человек». Тройницкий рассказал, как ему Скородумова — секретарша Кристи — призналась, что она ходила к знаменитому предсказателю Раммеру. Тройницкий позволил себе поиронизировать: «Вы напрасно смеялись, это очень сердечно». Сам Михаил Петрович Кристи к нему постоянно ходит и с ним советуется. Бывают у него и другие члены правительства. Но самое омерзительное, что Раммер еще и есть тот хиромант, который живет внизу в нашем доме. У него был открыт прием, но на него донесла одна из наших пролетарских дам, и это ему запретили. Теперь он гадает только «друзьям». Сам он говорит, что был в Индии. Учреждение, преследующее Рахлина (из-за Сосновского), есть не что иное, как Ревизионная комиссия при ЦК партии — орган, стоящий даже выше Чеки и разделавшийся с Троцким в двадцать четыре часа. Сосновский настолько персона нон-грата, что даже был опущен в Волховстрое кессон его имени. Эти ценные сведения идут от Тройницкого, видимо, запасшего более толковые сведениями об аресте коммуниста Рахлина.

Пятница, 7 марта

Рисую, перечитываю парижские дневники, дошел до приезда Сережи [Дягилева]. Каким странным и чужим это все сейчас кажется, и еще никчемным. Нет у меня чувства, что это возобновится, что это нужно возобновить. А здесь никаких перспектив, уныние полное. И никому, в сущности, я не нужен. Начинаю чувствовать себя стариком. И пора. Мне идет пятьдесят пятый год… Но как питать моих птенцов?

Вчера в Эрмитаже, проходя через зал Юпитера, слышу, какой-то руководитель экскурсии воскликнул перед статуей Зевса: «Это чудо! Подлинное чудо! Неужели, товарищи, вы это не видите… Греческое искусство — воплощенное чудо!» Чумазый юноша

пытается возразить. Вообще же несется чудовищная чепуха.

С Тройницким в Акцентре, где под председательством Удаленкова заседание комиссии о работе в Зимнем дворце.

Еврейчик, студент Дрейден (псевдоним?), провожает меня до Монахова, и я ему по дороге рассказываю для заказанной ему (по рекомендации Чуковского) статьи свои впечатления о Большом драматическом театре. Все свелось к тому, что лицо театра сейчас меняется, и нельзя сказать, каким оно будет.

Акицу я уже застал у Монахова, угостили блинами. Мамочка Ольги Петровны — дама восточного типа, и другая дама, блондинка, приятная и простенькая, с сыном Димой. Но самым *почетным* гостем был Анненков. Я бы предпочел кого-нибудь другого, ибо боюсь этого лукаво-фальшивого таракана, однако должен признаться, что он и на сей раз вздумал найти подходящий тон — очень скромный, тихий, ироничный в отношении своих высоких связей (только от Троцкого он в искреннем упоении, и, вероятно, совершенно основательно) — тон, отлично гармонировавший со всем непочтением к власти, анекдотами и частушками, которым подпевал — и нас смешил — Монахов. Особенно досталось Ленину, Ленинграду, погребению и мощам человека. И кто это все сочиняет? В Москве ходят даже стихотворные поэмы, и они так хороши, что нельзя удержаться, чтобы их не записать. Эти «контрреволюционные шутки» сменялись рассказами о последних арестах «паразитов» (официальная квалификация). Целый ряд оказался знакомыми Монаховых — один наш общий — Гольдберг, покупавший у меня что-то за эти годы (ясно я его себе не представляю). Анненкову вдруг стало стыдно того, что он две недели назад по указанию высоких покровителей меня уверял, будто это все только низкопробные спекулянты, шулера и крупье игорных домов, и даже вспомнил: «приходится это пересмотреть». Немножко жутко стало, когда он вдруг сообщил, что третьего дня он пировал в компании, состоявшей исключительно из бывших и настоящих чекистов, — Озолина, Серова, Лаврова и других. Уверяет, что он так напился, что стал вопить: «Вон этих мерзавцев, кровопийц!»

Он в подобострастном восхищении от творчества Мейерхольда последних лет и на слово верит, что «Лес» — архигениальный шедевр, несмотря на отсутствие декораций и даже хороших исполнителей. Сам Анненков собирается ставить «Плоды просвещения» с вертящейся декорацией. Ох, Боже мой, куда мне среди этих сумасшедших? Монахов не только не спорил, но одобрительно кивал головой. Но разве имеет он хоть каплю собственного мнения? Вдруг как раз этот «жанр» и может понравиться публике, сделать сборы, дать ему возможность так

же сладко жить. Я думаю, больше всего его и потрясло то, что Анненков говорил о колоссальном успехе, которым пользуется эта постановка. Театр битком набит. По сведениям Юры, сюда требуется внести поправку. Чуковский ему рассказывал, что зрительный зал у Мейерхольда наполняется красноармейцами, которых туда гоняли, как на каторгу, и держат на местах посредством караулов. К концу надзор ослабевает, и зал пустеет.

Анненков показывал фото, где он изображен вместе с Троцким.

Дома читал нашим выдержки из парижского дневника. На заседание в Александринку не в силах был идти. Да и к чему? Я не включен в «плановую комиссию», которая заменяет уже упраздненный за «громоздкостью» Совет по делам музеев.

Суббота, 8 марта

К 11 часам в Александринку. Там еще никого нет, и я усаживаюсь в кабинете Юрьева, где мне попадается номер журнала «Театра» со статьей Монахова, Максимова и Анненкова о Большом драматическом театре — бросает яркий свет на положение вещей, так как авторы, не стесняясь, выступают, поучают.

Несмотря на все недочеты (в постановках Ходотова, Лебедева и Анненского), сдвиг был произведен и путь намечен: от живописных украшений через служебный станок, уже внедряется в эстетический прием (вот и на орехи Мейерхольду и вообще Москве), к самостоятельно живущим механизмам, подлинному театру современности. До этого есть и снисходительные признаки каких-то заслуг театра в прошлом, его музейных учреждений, он-де честно пронес несомненную культурную ценность сквозь тернии (как пишут!) тяжких лет, ни разу не снизив качество своей работы до макулатуры (а Ходасевич?). Но вот в четвертом сезоне наступил перелом: рядом с «Грелкой». Я учел беспомощность художественных достоинств перед ходячими формулами, появился «Газ», вслед за Бенуа, Щуко и Добужинским пришли Лебедев, Ходасевич и я. Постановкой «Газа» была пробита первая брешь и сделан первый шаг в ногу с молодыми московскими театрами.

Сам же себя критикует Анненков в словах: «Самые тяжелые из оплошностей, допущенных в «Газе», — прежняя декорационная условность», и при этом (лягнув по дороге технический персонал, начиная от Окорокова, кончая Кроче) он завершает лозунгом: «К Андрею Роллеру!»

Но дело не в болтовне Анненкова, а в тоне. в характере и программности этой речи, а его приглашение Монахова вместе со мной приобретает *символическое значение*, не оставляет иллюзий: *моя песенка окончательно спета*, и допели ее во время моего отсутствия при благосклонном участии Лаврентьева, которого я все время подозревал в какой-то хитрости и в *переходе* к врагам — Хохлову и прочим. Самым правильным ходом было бы теперь подать в отставку, но наше финансовое положение так безнадежно (Добычин вернулся из Москвы и убеждает уступить мои акварели за 7,5 червонца штука — я за 10). Теперь ясно вижу, что мой успех за границей мне повредил здесь и вызывает острую зависть и желание мне показать, что «и без вас обойдемся». Недоброжелатели и завистники пустили по городу слух, будто бы я говорю, что застал здесь катастрофическое положение.

Яремич потащил меня в Русский музей, где был отвратительный чай в Художественном отделении. Повидал старых разочаровавшихся и Коноплеву. Пришлось снова рассказать о своих заграничных впечатлениях.

В Болдрамте репетиция «Грелки» началась в 8 часов. Марианна играла плохо, растерянно, вдобавок совершенно изуродовала себя гримом. Вообще пьеса все еще хорошо идет и хохот стоит сплошь. Мичурина даже стала лучше играть. Словом, я уже простился, чтобы уйти до третьего акта (я был очень утомлен). Но так заинтересовался началом «Суда», что простоял до конца спектакля в дверях ложи Добычиной, в которой, кроме трех ее мужей, считая себя и «курчавенького из горкомхоза», сидели сестра, другая еврейка и симпатичная на содержании в ультрачерном теле жена Рубена, на которой он с досады на «курчавенького» женился нынче летом…

До начала спектакля — в уборной Монахова. Он в отчаянии, что не может найти внешнего образа обывателя в «Бунте машин» (несколько монологов Н.Ф. мне воспроизвел). По тексту получается просто мешанина: портерный, лавочник или мелочный писарь, а, видимо, по интриге пьесы нужно быть из «бывших» людей (хороший тон красной России требует над ними издеваться, хотя бы сам принадлежал к тому же классу) и даже, пожалуй, бежавших за рубеж интеллигентов. Кем мог быть этот господин в прошлом, Монахов так и не мог мне сказать. Вообще у Н.Ф. сумбур в голове, и он, видимо, тоже надламывается, его здравый смысл пошатнулся и в тревоге за будущее. Он уже пробует одной ногой «сдвиг». Между тем и до сих пор две кормящие театр постановки — «Слуга» и «Грелка». Но вот где худшая беда: хорошим сбором считается сегодняшний, а он дал всего 200 рублей «золотом». И в то же время решено не давать

моей постановки ныне. Это уже сегодня Монахов не пожелал дольше скрывать от меня. Я попробовал выразить обиженное недоумение: зачем же меня выписывали? Зачем я там бросил выгодный заказ (и действительно, я бы помирился с Идой и сделал бы для нее «Идиота», если бы там остался). Но Монахов пропустил это мимо ушей, и я тут же сознаю, что потеряно мое самое достойное и выгодное. Отмечу еще для характеристики изменения курса театра: странный холодок в обращении со мной моего друга В.Н.Софронова.

Домой возвратился в 11 часов, но все же поднимаюсь наверх навестить захворавшего Альбера, всех встревожившего. Второй день как ноги отказали вовсе его носить. Но все же он бодр и весел. У его одра сидит Любочка, приехавшая сюда подруга Машеньки, Айя, Алик и дворничиха Авдотья. Лежит он в столовой, превращенной в спальню. Встревожен присылкой из Лондона красок и кистей на 7 фунтов, выписанных им через его приятеля Вальдюнера, который только что скончался в Москве.

От наших все еще нет писем, но имеем сведения о них от милейшего Бирле. Это письмо — очаровательный памятник *французской культуры* Машеньки к ее отцу, в котором она описывает случившиеся за три недели до срока роды Лели, очень благополучные — необычайно быстро — дивного мальчишки с курчавой головой и, по словам Бирле, похожего на меня. Странно, что туда не так уж тянет.

Воскресенье, 9 марта

Пишу в Париж Руше в четвертый раз… без ответа. Разумеется, во всех этих вещах все более проникает вкрадчиво подползающее убеждение, что мы совершили величайшую и роковую глупость, что вернулись, и в то же время вырастает уверенность, что и туда больше нет доступа. Принимаю я это, как всякое великое горе, с тупым безразличием. В тоне «туда и дорога», «поделом».

В два часа является злополучный Шарбе и мучает меня своей молчанкой, своей трясущейся робостью целый час. Он пришел в чаянии, не будет ли у меня работы? Но откуда мне ее взять? Решает написать письмо Аллегри, авось ему он может пригодиться. Вот на ком скажется гнусное снобическое шарлатанство Анненкова. Ведь если он победит (а уже сомнений в этом нет — люди всемогущие), то эти люди — как Шарбе — окажутся абсолютно не нужны. Мой Кока среди них!

В 3 часа — Дидерикс и Израилевич — два заговорщика. Дело их заключается в следующем: они получили привилегированное

разрешение торговать художественными редкостями за границей. Разрешение от Красина. Вещи вскрывают в Лондоне, собственник получает половину, а государство 25 %. Остальное — их общество. Высокое лицо, покровительствующее им из соображения «все равно контрабанду не уничтожить, так уж лучше с нее что-либо государство получит»! Какая все мелочная лавочка! Но как же вообще такое дело может у нас существовать при всех стесненных регистрациях и т. д.? Об этом не приходится беспокоиться. Но с другой стороны — это величайший секрет, и, разумеется, Музейный фонд и Акцентр не должны знать! О, проклятое и подлое хозяйство! При этом они предпочитают вещи не зарегистрированные. Все это преподносится (как водится в компании бывших людей Алексея Максимовича) в довольно неясной форме с недоговорами и с молчанием, многозначительными улыбками, а я воздержался от подробностей. Предпочитаю оставаться в стороне еще от одного из уродств нашего тюремного существования. Но вот, оказывается, они уже обладают всей коллекцией Платера. С собой они принесли четыре картины. Но одна из них, мадонна, слишком рафинирована, Диас довольно подозрителен, портрет мужчины в овале, 1792 года, интересен лишь как документ.

Коллекция Платера оценена в 200 [?] фунтов. Ему аванс 300 фунтов. И она отправлена в Лондон, а с ней приложена еще одна коллекция (я догадался, что речь идет о Стипе). Он сам отдал на комиссию свои французские рисунки за 800 фунтов (рисунки идут как Платеровские, аванс не взял, по-моему, глупо, так как опасается служебного положения, от меня скрыл). Они пришли выведать у меня: ценны ли французские рисунки Яремича. Достаточно одного Бларамбера, Моро или Фрагонара, чтобы получить изрядную сумму. Сейчас они гоняются за вещами Изюмова, которые спасены, но перебивают антиквары. Дидерикс любовно поглядывал на мои стены, не решу ли я предложить что-либо.

Вот к чему привели все запреты о невывозе за границу, законы, утвержденные благодаря дурацкой голове того же Горького в дни временного правительства.

Явился непрошеный А.А.Оль приветствовать меня с приездом. Меня это раздражает: никогда не можешь распорядиться временем как хочешь. Сиди, слушай глупости. И он полез в театр. Он ставит в Александринке пьесу Б.Шоу в его переводе «Скандалистки» и не преминул устроить «сдвиг», накривить и накосить, впрочем, меня он насмешил. Поспешил это объяснить как «шутку». Он-де передний портал все же сделал строго по архитектуре и этот кубизм принес для сцены на сцене.

Ох, как все это меня раздражает! Типично для этого дурака (он не то что дурак, но в нем эта дурость, присущая всем архитекторам, что-то тупое, ограниченное и еще что-то покорно-компромиссное соединение со всем непоследовательным гонором. Иногда и сугубо «гражданственно») то, что когда пришел прощаться Татан (я в шутку назвал его «чудовищем»), Оль счел нужным (всерьез) заступиться за него и даже начал меня корить — я, мол, «несправедлив» к прелестному ребенку. Но, может быть, когда-нибудь и понимали в дни

Грибоедова и Гоголя (а вот колоссальный комический дар Достоевского так и не поняли), но с тех пор общество так огрубело, опустилось. После его ухода я еще читал нашим и Стипу выдержки из парижского дневника.

Понедельник, 10 марта

Мы с Акицей вспоминали Монте-Карло. Да неужели это *было*! И какой чудовищной ошибкой было возвращаться, и какой ужас, что мы того недостаточно оценили, а все здешнее слишком забыли. Я как в чаду от всего здешнего: морального и физического. Я и перестал уже работать который день. Утро провожу в каких-то бирюльках, в чтении парижского дневника, в рассматривании папок. А для чего, для кого я буду что-либо делать!

Оказывается, между прочим, что одно из писем наших туда затерялось, ибо, со слов Лаврентьева, они написали мне (как бы в поправку телеграммы Монахова, якобы единолично сочиненной и отправленной), что мне работы нынче не будет! А ведь один такой сигнал мог бы изменить всю нашу ориентацию. И на поклон к Иде пошел бы. И дождался бы летних работ. А там и застряли бы совсем. Теперь же Акица объясняет молчание Лели тем, что она «дуется» на меня за ее преждевременный отъезд (едва ли это так). В зависимости от этого настроения я и написать ничего не могу туда. Акица отправила Леле письмо…

Черновик письма Бирле написал, но в чистое едва ли перепишу. Мне захотелось, чтобы он услышал первые крики моего назревающего отчаяния (написал этот крик на эзоповом языке вроде того, на котором мы писали в 1920 и в 1921 годах, пишу я самое безобидное вещное послание, в которое я не желаю посвящать сыск), но Акица заторопила, занервничала, мой текст нашла компрометным ввиду того, что в своем письме она не скрывает, что мы имеем отношение к «Петрушке» и «Северным богатырям», а следовательно, инкогнито легко может быть

раскрыто, и я так и бросил эту затею. На весь день у меня осталось своеобразное отклонение от порядка. Я особенно почувствовал глухую замкнутость моей тюрьмы.

Явился муж Добычиной, коммунист, провалился на экзамене в Русском музее, не получил права руководить экскурсиями. Объяснение картин слишком эстетически и недостаточно социалистически. Он слишком придерживался моей книги. Да я думаю, она теперь не ко времени, как весь я сам. И в такой мере я это еще год назад ощущал.

Очень скучно, что надо отменять приглашение на четверг гостей: Браза, Верейского, Попова, так как мы приглашены к Кесслеру…

В Эрмитаже — Совет, после которого с Бразом, Стипом и Шмидтом подыскивали (в который раз!) эквиваленты за Фрагонара и… За первого Стип еще советует предложить картину Ватто (но и она обещана Москве).

Дома застаю Марию Александровну, пришедшую проведать Альбера (я слышу его волочащий шаг). После обеда с Акицей — на «Воровство детей» — мелодраму, поставленную молодежью под руководством Дмоховского. У Беюла хороший темперамент, довольно мила не очень казистая Лисянская. Мужчины значительно хуже. В антракте к нам в ложу приходили Монахов, Лаврентьев, Марианна, С.И.Лаврентьева (обе дамы чуть не встретились). Пришлось позвать в четверг чету Третьякова — Ведринскую, так как она сама напросилась (она все же провинциальная претенциозность), Хохлов и Анненков лишь усилили мой сплин. Маленьким утешением явилось лишь то, что вернувшиеся из Москвы Лаврентьев и Шапиро от всего сердца в негодовании от «Леса» Мейерхольда, о котором даже здесь в газетах пишут восторженные фельетоны. Что же, это безвкусица театра снова завоевывает утраченные было позиции? Впрочем, и в Москве находятся еще люди, имеющие смелость восстать против этого безобразия. Так А.И.Южин подал даже в третейский суд на Мейерхольда. А тому, разумеется, и горя мало, напротив, он в восторге (сам Лаврентьеву говорил), только бы о нем говорили. Брр!

Софья Ивановна уверяет, будто из всех музыкальных магазинов изъяты ноты фокстрота из соображений борьбы с безнравственностью.

Забыл записать: когда я был у Юрьева, я видел у него новую пьесу Луначарского. Вивьен спрашивает: «Хороша ли?» Юрьев: «Да это просто плагиат с прошлогодней пьесы Лунца, запрещенной тем же Наркомпросом. Пьеса лишь изуродована и опошлена».

Вторник, 11 марта

Утром на репетиции «Слуги…». Вводится новый Леандро — Б.П.Петровых, не очень «любовник» и с виду, но не плохая искренность. После репетиции беседа в кабинете Лаврентьева с ним и Монаховым. Надеюсь с каким-то начать, что «все-таки следовало бы еще что-нибудь сделать со мной»! Но потом Лаврентьев перешел (как всегда путано) на рассказы о Москве, а Монахов занял нас анекдотами и длинным повествованием о том, до какой степени, почему невыгодна получается пропаганда целого института индивидуализма кредитования. Вмешался Алексей Толстой, и разговор перешел на «Бунт машин» и о переводе его на весну. Я ушел с опущенной головой. Столько снова прозвучало специфически русских ноток, путаного лукавства, холопского испуга и плохо скрываемого желания, если не выслушать, то задобрить начальство.

В Эрмитаже меня поймал А.А.Кроленко, предприимчивый и бойкий юноша, заведующий издательством «Академия» и желающий меня привлечь к изданию его книги о балете. Приглашены Анненков и Лебедев.

Меня проводил Верейский, пожелавший увидеть мои новые этюды. Он подарил мне один из своих — очень привлекательный.

Подошел Стип, а позднее «курчавый» Борис Ефимович (как фамилия?). Стип ушел топить печку — это его предлог, чтобы убраться в полудремотном состоянии домой. Выслушал в ответ на мои рассказы о заграницe и о тамошнем экономически-финансовом положении от Б.Е. длинные, хитрые, очень решительные, уверенные объяснения: почему у нас финансовый кризис и колебания червонца, чему я не верю.

К завтраку у нас Бык (Попов — первый муж Лели). Боже, как скучно и как он провонял табачищем. Ставит сейчас «Креолку» для Феоны. Домрачеев женился и уехал с театром в Курск. Теперь и для Быка ясно, что его товарищ совершенно упал как художник, исхалтурился до того, что потерял всякую способность самокритики.

Днем, наконец, исполнил поручение Сережи Дягилева. И, несмотря на некоторый страх (Монахов уверяет, что Спесивцева — негласная подруга Зиновьева, а Сливкин служит ширмой, по другим сведениям: Зиновьев живет с сестрой Спесивцевой), я отправился к Ольге Александровне Спесивцевой, благо она живет на одной с нами улице, где некогда жила бабушка Лансере — старая баронесса Таубе, а затем друг моего детства Брюн де Сен Ипполит. Ольга Александровна проживает в первом, надподвальном этаже совершенно разгороженной квартиры

какого-то выселенного богатого барина. Сливкин собрался ее было всю расписать фигурами, но денег не хватило, и теперь потолок просто выбелен. Я видел лишь полутемную переднюю и комнату на улицу, столовую, меблированную обыденным карельским ампиром, как у Коки. Кроме того, красуются обветшалые театральные подношения в виде корзин в форме лебедей, остатки букетов. На стенах — ничего.

Хозяйку я застал читающей, прижавшись к угловой печке, русский перевод «Гарсона» П.Маргарит в компании с другой дамой, скорее пролетарского оттенка. Во время нашей беседы, длившейся полтора часа, и то Ольга Александровна не хотела меня отпускать, эта особа ушла в задние комнаты. Я Спесивцеву знаю мало и беседовал лишь при случайных встречах, потому сегодня беседа меня очень заинтересовала. Узнав о моем приходе, она вспорхнула в переднюю и выразила искреннюю радость. Нашел я ее с виду совершенно нормальной и даже непохожей на «покойницу с заостренным носом», нежели год назад. Глаза живые и ласковые. Вся манера держаться — не без известной позы на хороший тон. Но говор все же «театрального училища» с некоторым даже странным акцентом (как Павлова). Бедняжка выдала с головой свою крайнюю необразованность, попав на тему об отношении к русским за границей, она вдруг огорченно забормотала «почему же люди не помирятся, почему никто не найдется, кто бы сам пришел на помощь! Ведь, небось, после Великой французской революции Александр III ездил в Париж, и другие всякие государи были там, и они помогали устроить мир». Я за нее сконфузился и попробовал перевести разговор, но она уцепилась и возвращалась к поездке Александра III после Великой французской революции. Вероятно, это плохо усвоенные отклики — ее собственные и одного из ее высоких покровителей. Но вообще я, рассказывая ей о Европе, избегал чисто политической оценки (иногда она как бы вызывала их), так и определенного сравнения с нашими обстоятельствами. Нельзя знать!

Не передал я ей полностью и поручение Сережи, а лишь ограничился поклоном и уверением, что он ждет с нетерпением [возможности] ее обнять и получить к себе, — благо она и без того едет на Ривьеру, а именно в Монрепо. Сережу она обожает и простила ему все его провинности (он не доплатил и оставил ее телеграмму из Берлина, где она находилась в бедственном положении, без ответа). Несколько раз выражала сожаление, почему его не приглашают ведать здешним театром вместо этого безразличного до всего Экскузовича и ужасного Лапицкого. Что Сережа здесь скис бы в первый час и удрал бы без оглядки — это

она не чувствует, и вообще кому она жаловалась вскользь на общие порядки? Однако все же, видимо, она сама от них не страдает. Гораздо больше она страдает от рутинных мелочных отношений в театре, куда она больше не ходит под предлогом болезни, Лопухова считает не талантливым и особенно ее угнетает полный творческий застой. От «Жизели» ее тошнит. Ей надоело быть марионеткой (само слово она не поняла, а передала жестами пальцев, как бы дергая за веревочки). В общем, беседа была очень оживленная и не лишенная прелести. Одета она была в зеленую вязаную кофту, поверх которой накинуто черное с золотом (скромное) кимоно. В комнате у нее не холодно, но занавесок на окнах нет.

Дома меня ожидала своего рода оплеуха. В мое отсутствие был А.М.Бродский и оставил именной экземпляр своей книги о Художественном театре. Что там пишут обо мне, я не поглядел, но помещение моего портрета и Добужинского на одной странице с Ванечкой Гремиславским и с Симовым я не могу принять [иначе] как тяжелое оскорбление. Кто или что в этом виноват? Немирович ли, желающий уничтожить память об огромной моей работе и о том значении, которое они сами мне придавали в театре, или это глупость Бродского? Но как же связать последнее с теми неустанными заверениями, которые он мне отвешивает? Нет, скорее надо отнести… как инцидент с моими декорациями к «Трактирщице» в Париже, как то, что они, приняв меня на словах, не означили в ведомостях официально. Не заслужил и Добужинский этого соседства с двумя ремесленниками, из коих один еще просто бездарный дилетант. Вот тебе и «художественники»! А какие слова говорились о новой эре, начавшейся с нашего привлечения, как взывали помочь и спасти. Но когда действительно мы им помогли и спасли их от этого маразма, то они поспешили закипеть завистью к нашему успеху и всячески от нас избавиться! Не по плечу оказалось наше искусство и такому славному учреждению!

Вечером новая оплеуха. Вчера Лаврентьев не мог выяснить вопроса о моем участии из-за присутствия А.Толстого, и мы сговорились, что я буду сегодня у Лаврентьева, и не раскаиваюсь, что был, ибо получил настоящее удовольствие от игры Монахова и всех прочих в «Слуге…» (зал умирал со смеху, ах, какая божественная пьеса!), а как сейчас нужны именно такие вещи! Но, увы, большевики, как всякие выскочки, смеха боятся, боятся уронить свои достоинства, как бы еще их за смех не осмеяли! Однако для разговоров о моем сотрудничестве Лаврентьев и на сей раз не нашел времени, показав себя циркулярным и бесцеремонным. Он успел что-то промямлить неодобрительное

про Анненкова, уехавшего в Москву, не дав нужных распоряжений для продолжения работы над проектом «конструкции» в «Бунте машин».

Приход Адриана Пиотровского (который превратился в господина П.) прервал эту комедию, и тот с негодованием отозвался о лекции Ильи Эренбурга, афиши о которой развешены по городу, — «пошлейший буф, призванный подтвердить его советское верноподданничество ценой презрения к капиталистическому западу», и вот это фиглярство и возмущает «глубокого» Адриана. Неужели не найдется, кто бы рассказал об Европе, нежели о дансингах, мюзик-холлах, неужели там нет больше ни науки, ни музыки, ни искусства! Но ведь это в нем (Пиотровском) сказывается кровь его папаши Фаддея Францевича (Зелинского).

Среда, 12 марта

Седьмая годовщина нового строя. Ох, а все же должен констатировать, что назад не хочется, и особенно возвращения людей того времени, с интеллектом коих я снова пришел в соприкосновение за границей. Уже потому не хочется, что существует полная уверенность, что им не справиться, что они снова все растеряют и еще больше напутают.

Сегодня беседовал с Акицей, страшно увлекающейся чтением Р.Роллана. Меня бесконечно трогает та сердечность, та душевная чистота, которая у ней излучается в таких случаях, и все же не могу не спорить с ней, разбивать ее иллюзии. Больно за эти годы во мне накопилась досада и злоба на всякого рода «идеалистов». И как-то у всех у них и у меня влезает их суетная подоплека, их жизненная запятнанность, слишком я во всем разуверился. Ох, разваливается во мне вся моя душевная конструкция! Значит ли это, что ее не было? И что вообще реальность есть фикция…

Четверг, 13 марта

С 12 часов осматривал с Кремером верхний этаж Зимнего, обсуждая, какие переходы надо сломать, где открывать двери. Странно, что маломальская инженерия осталась, вроде фрамуг. Активное участие проявила Щербачева — энергичная душа, распоряжавшаяся распределением картин.

На вечер нас принял Кесслер вместе с Любочкой. Обедали, кроме нас, супруги Белинг, м-м Беккер, персидский и финский

консулы и еще один господин. Мне пришлось сидеть рядом с Фридом, который меня раздражал своей претенциозностью и все время учил, о чем бы речь ни шла. О Ленине, которого он знал еще до революции (а не коммунист ли он сам?) и которого он считает не особенно глубоким умом, но страстным «идеологом» с очень сильной волей (идеей фикс Ленина была тогда всемирная революция), о революции, о здешних ли неудобствах (он очень недоволен своим пребыванием, находит, что все стало хуже), о музыке ли (от всего Вагнера остается лишь «Тристан» и «Мейстерзингеры», «Фауст» и т. д.).

Он еще больше стал похож на Бакста и уморительно кривит губы. Вообще же беседа была очень неинтересная. После обеда полная (но не грудастая) м-м Белинг под аккомпанемент мужа (у него приятные ужимки, когда он играет — точно он каждую ноту смакует, вообще же это скорее приятный парень). Я удивляюсь, почему мы до сих пор при массе общих знакомых не встречаемся. Спели народные песенки — все одинаково залихватские.

Кесслер чуть подпоил за обедом Акицу, и она после этого особенно разговорилась… Персюк — молодой господин, финн — собиратель картин финских художников — большого роста, грубоватый, курносый.

Новая мода: чтобы хозяин не провожал господ дальше гостиной. Любочка была в очень элегантном платье с китайскими вставленными на юбке воланами. Кесслер за ней приударивает. Звал в понедельник, когда у него танцует балетная молодежь: Данилова, Тюнина, Баронова.

У м-м Бокье прочел интересную биографию Мален де Монморанси — французский пандан (минус военная доблесть), почти Строганов. В юности принадлежал к фрондирующей дворянской семье и, будучи учеником самого аббата Сейса, был отчаянным революционером, а затем смерть любимой женщины (жены кузена) его всего перевернула, и он кончил (очень поэтично, молясь у креста в Сан-Тродески) в качестве одного из столпов клерикальной реакции. Прочел «Кофейню» Гольдони в переводе Островского.

Пятница, 14 марта

По дороге на генеральную репетицию в Александринку встречаю Мусину Дарью Михайловну, очень постаревшую, в ветхой шубе. Ее дочь Тамара Глебова погребена при обвале дома, который шесть лет давал трещины, погибли вещи — рояль, книги…

Репетиция прошла благополучно, но Горин-Горяинов мне не нравится. Воронов совершенно и безнадежно плох. Дамы прелестны, особенно Александрова. Ужасен провинциальный актер, заменяющий Юрьева. Последний пожелал со мной побеседовать во время разговора с Осокиной, купившей ему кету, которую он тут же пожирал. В антракте застал, как Осокина журила безумца Ершова, переведенного из дисциплинарных соображений (и во вред театру) в Мариинский и собирающегося подать жалобу на управляющего в РКП, не будучи вовсе коммунистом. «Вот я отлично знаю, что мне здесь не усидеть, если я не запишусь в партию, — внушала ему Анна Владимировна, — однако сама я до сих пор не была коммунисткой, то не стану ей и теперь, хотя бы это было необходимо для того, чтобы остаться!»

В 6 часов Патов с мнимым Клод Лорреном (скорее Локателли) и прелестной миниатюрой «Мадонна» в характере Бенсона, за которую он просит 200 фунтов (я ее знаю с 1900 года, когда ею владел Володя Евреинов). Пейзаж весь зареставрирован. Еще он мне показал фото с картины, изображающей жертвы французской революции в Елисейских полях. Вероятно, это пандан к той картине, которая попала в Эрмитаж вместе с другими вещами из компании Нордика и которая изображает деятелей революции в аду. Фигуры в чарующем пейзаже (посреди Людовик XVI в королевской мантии) приветствуют старца в белом плаще поверх кафтана, написанный Буальи, но это не он.

Весь вечер дома. Читал и исправлял парижский дневник. Но ясно, что перемена настроений там произошла в зависимости от начала работы Сережи [Дягилева], от сознания моей «полезности», воззрела благодаря заказу Иды Рубинштейн и даже от принятия мной этого заказа и, наконец, отчасти благодаря отъезду Тройницких.

Юра [зять] сделал изящную обложку для русского перевода «Предшественника» Роллана и ввернул туда статью Свободы (Бартольди), чтобы олицетворить основную, по его мнению, идею книги. Но Голлербах — арбитр этих дел в Госиздате — просит ее заменить: «Чем угодно, ибо мы ведь не признаем американский демократический строй». Юра убежден, что они текст искалечили. Ионов, оказывается, горький пьяница. Уж не это ли его сблизило с нашим директором… В театре застал Дмитриева, Домрачева, Курилко (ему поручена «Саломея»), Баловень всех изданий — Конашевич, ставший делать чудовищные по безвкусию вещи. От «Конька-Горбунка» и еще ряда новых его изданий меня просто тошнит.

Суббота, 15 марта

В 12 часов за мной заходит Коля Лансере, идем вместе в дом Бобринских смотреть, что они там устроили. По дороге он рассказал про гнусные истории М.Фармаковского, приведшие к удалению Вейнера, и подкапывающегося и под Колю. Вместо Вейнера Фармаковский посадил историка Приселкова, ожидая в нем найти себе союзника, но он оказался более порядочным, и теперь получился довольно сносный симбиоз. Очень досталось зато всему бытовому отделу со стороны (усилия Тройницкого?) после того, что они открыли Бобринский дом, который так и не удалось восстановить полностью (вещи растеряны благодаря Шипову), в котором они не думали устраивать показные интерьеры, по классам и по эпохам и в которых только ограничились серией выставок: бисера, фарфора, книги — как бытового материала, портретов. Сбитые с толку этой критикой, сейчас они провели новое разделение между собой материала по эпохам, а затем на выставках. Для начала Приселков поставил «Чаепитие».

От обзора дома Бобринского скоро вышло благоприятное впечатление. Разумеется, никакого *остроумия* не высказано, получился скорее художественно-промышленный, нежели бытовой музей. Но приятно видеть прекрасные комнаты снова вычищенными. Я с удовольствием разглядывал очаровательные бытовые картинки. Главное достоинство секретного кабинета — мебельные гарнитуры, убраны мужские и женские органы и группами довольно искусно раскрашены. Эти вещи происходят от адъютанта Николая Николаевича Виноградова… (в газетах раскрыт его заговор — переворот в Югославии). Цветной альбом рисунков (этюды с натуры тщательно сделаны) Богданова — серия пенисов всех величин, ряд японской дряни и, наконец, хорошие художественные бронзовые статуэтки, лежащая мастурбирующая женщина — жанр Предье.

Среди портретов я нашел хороший, но грубо исполненный портрет Людовика XVI. Я буду требовать для исторической галереи Гатчинского дворца. Если в Гатчине образуют историческую галерею, то отсюда придется многое взять.

Дома я застал А.А.Кроленко, просит у меня согласия редактировать книгу о балете, затеянную издательством «Аквилон». Согласие я дал, надо же начать зарабатывать. Пойду знакомиться с материалами. От статьи же о постановках наполовину отказался. Не могу же я заниматься авторекламой и вылить свое негодование (вполне справедливое) на Головинские мерзости. Кроленко уверял, что я могу написать «что угодно».

Этот безбородый, с блестящими глазами молодой человек до жути энергичен и настойчив.

Шапиро извещает о переговорах, санкционировавших прибавку для ставки Монахову, и добавил: «За это Монахов должен прекратить свои выступления в опере». Лаврентьев его за это устыдил. Когда-то Шапиро ставил Лаврентьеву на вид, что у него в кабинете не висит портрет Ильича, а это был кабинет Николая I — общий для всех актеров.

Воскресенье, 16 марта

По рассказам Альбера (я у него был около 6 часов), на мистической (довольно бодрой) лекции Митурича было что-то весьма карикатурное. Началась она вместо 7 в 9 часов. Слушать собрался, главным образом, наш прежний демократический элемент. Мария Максимовна (так ее и не удалось выкурить), Полина и дворничиха Евдокия и т. д., кроме того, проворовавшийся некогда Аланиш, однако приглашенный в надежде, что он будет оппонировать. Но он не оппонировал, а дремал, как, впрочем, и Альбер, который от лекции услыхал лишь конец, когда докладчик, покончив с Иисусом Христом, объявил, что в следующий раз он примется за Будду. Тут же сидел Алик, дети Коли (его, кажется, самого не было), Люся и другие младенцы. На минуту явилась жена Николая Альбертовича, но вдруг прыснула и убежала. Говорят, она была подвыпивши (может быть, из-за ожидания налета). Доклад читался не просто за столом, а «профессор», увидев многочисленное собрание, потребовал себе кафедру, которую сымпровизировали из основания громадного граммофона. Всего замечательнее было то, что все это богохульное заседание происходило в той же столовой, в которой три года назад угощали митрополита!

Я весь день провел дома, акварелируя свои заграничные зарисовки и перечитывая парижский дневник. Приходила графиня Литке, но я ее сдал бедной Акице, которая после сидения с этой полусумасшедшей до вечера не могла отойти. Ее интересовало, кого я видел за границей из ее знакомых, в частности, что поделывают великий князь и великая княгиня, на что Акица, разумеется, ничего не могла ответить. Ко мне же приходила мать Саши Яши узнать, как он живет. Она слышала, что он очень похудел, «вышел из моды». Я ее вполне успокоил. Он по-прежнему ее зовет туда, из чего явствует, что его дела неплохи, но она опасается, что ее снова, как в прошлом году, не выпустят. Ее дело взяла в свои руки Добычина, еще вот надеется.

Она болеет, а ей самой она запрещает хлопотать. Софья Петровна (так, кажется) хотела бы взять с собой и Александру Евгеньевну. Бедняжку совсем затравили в Мариинском, Купер к ней охладел, да он и не у власти, а Лапицкий ее терпеть не может. Особенно же она убита тем, что разъединена с мужем. Летом, когда поговаривали о том, что театр закроют, они оба подписали контракт на какое-то турне по Сибири, но в последнюю минуту Экскузович (!) ее не отпустил, а муж все же уехал. Недавно он ее снова звал туда, чтобы вместе с их труппой ехать в Австралию. На сей раз Экскузович отпустил (ибо она совершенно перестала петь, ей не дают петь), но все это дело расстроилось. Пора и внучку увозить отсюда. Правда, она в гимназии Мая, где сохранились кое-какие дисциплины (в казенных — разврат прямо открыто, и даже во время уроков между парочками творится нечто неописуемое). Но все же лучше ее увезти до греха — девочке пятнадцать лет. Сашей она очень недовольна в отношении Каза Розы, к которой она успела привязаться. Особенно во время болезни и умирания маленького. Он ей ничего не пишет. Но тут же старушка рассказала, что то оказалось сущим вымыслом этой безответственной лгуньи.

К обеду Б.Попов, после чая пришли Зина и Бушен. Серебрякова все время жаловалась на безобразное к ней отношение заказчиков, которые, не стесняясь, ей в лицо ругают ее произведения. Но она сама виновата, она не умеет себя поставить (наследственное воспитание Кати, которая в самые благодатные времена разыгрывала «бедную вдову»), вот почему я не сторонник того, чтобы Зина ехала в Париж. Она слишком себе враг.

Читаю драму «Коралл» Г.Кайзера, рекомендованную Пиотровским, — претенциозная дрянь! Кому это надо? Нет, нам не избавиться от худшего, что есть в культуре «бошей»…

Еще подробность о лекции. Во время ее пробрался к Руфу за деньгами извозчик, подрядившийся вывозить снег, но Руф и его затащил слушать. Но тот послушал, да и разразился: «Ты, брат, чего тут врешь, ты молодых-то обманывай, а меня, старика, даром что деревенский, тебе не надуть!» Серафим же убрался, увлекая за собой красноармейцев — помощников брата Руфа, — важной коммунистической шишки и даже военного комиссара. Цирцея, будучи уже сильно на взводе, потащила своих оглашенных в пивную, где они и провели вечер гораздо веселее, чем дурачье наверху. Но что бы на все это сказали мои родители, если бы они увидели все это безобразие, творящееся в их же потомственном, в нашем семейном доме?!

По последним слухам: временно будет замещать здесь Экскузовича — Кристи, а Лапицкого и вовсе уберут. Дай-то Бог

такое улучшение!

Понедельник, 17 марта

Опять валит снег. Местами образовались очень снежные слойчатые карнизы.

В 1 час дня — заседание Совета Эрмитажа. Тройницкие вернулись вчера из Марьино, где пробыли шесть дней, теперь С.Н. поговаривает о том, чтобы отправить жену на восемь месяцев — сначала в Крым с нами, а затем — за границу.

После Совета проходил с Бразом по галерее, чтобы наметить вещи, требующие немедленной реставрации (среди моих функций та, которая связана с решением проверки вещей, починки — наиболее для меня мучительная), следы сырости на очень многих вещах в виде туманных пятен. Но гораздо хуже обстоит с «Обручением св. Екатерины» Тициана, с Чезаре де Сесто. На них выступили следы потеков, коими она была орошена тотчас по возвращении из Москвы. Тогда была наспех зареставрирована, дабы избежать скандала, но вот теперь эти заделки (покрытые лаком до полной просушки) обнаруживаются на Тициане в виде отколупов тех мест. На Сесто — в виде полос пожухлостей. Браз против патенгофирования, ибо это сопряжено с сюрпризом и иногда краски заделанных мест амальгируются с соседними оригинальными. Обошли и вторую половину третьего этажа, но, увы, у нас нет надежды, что все намеченное будет исполнено.

В трамвае меня встретил Крамаренко и проводил до дому. Какой неприятный у него рот. Его патрон уезжает завтра и велит мне кланяться. При обыске ничего нового они не нашли.

Дома прочитываю «Граждане из Кале» Кайзера и по-итальянски «Веер» Гольдони. В первой автор подходит было к вопросу, столь явственно вставшему во время войны, — что важнее: военная ли честь или верность своей культуре? Но это подносится так путано, с такой трусостью (отличительная черта всех «дерзких наших дней»), что проку от этого подхода не получается.

Вантелло очарователен, и я очень не прочь его выбрать для своей постановки, но прежде чем решить, я прочту еще комедию, считавшуюся самим Гольдони за шедевр, — «Казанову».

Кесслер звал нас на сегодняшние танцклассы с нашими балетами (он каждый день кого-нибудь угощает), отказались. К чаю Эрнст, разбирает Зину. Я ему подарил один из этюдов Тюильри. Встретил Лешу Келлера. Он негодует на тех, кто от него отвернулся. Враз критикует Тройницкого, предлагает ему подать

в отставку до суда, а Философов, так тот вел себя на суде совершенно по-советски и на слова Келлера, что он свои «музейные» вещи покупал на разрешенных правительством аукционах и в комиссионных лавках, бросил ему обвинение в том, что как же тот, будучи экспертом, не препятствовал вообще продаже подобных вещей. И ведь при этом сам Философов должен знать, до какой степени растянут, до «нельзя», и сам термин «музейные». А, с другой стороны, мы видим, какой гибелью является для вещей их прятание в музеях — в этих кладбищах, отданных на суетное, развратное любопытство непосвященных!

Наконец переписал в чистую письма Руше, Бирле. Письмо Херсану уже давно в конверте. Но когда я отважусь послать их? Ведь и опять слух — в Москве арестовано три тысячи — последствия этих арестов — мнительность. Ведь и без того, лежа после 12 часов в постели, прислушивался — уж не лезут ли? Прелесть — последствия этих арестов!

Акица с трудом сегодня нашла банку, в которой лежат разменные доллары (снова пришлось разменять 20, но $^{9}/_{10}$ из них уйдет на квартиру, цена на которую вдруг выросла в три раза), и дали всего за 2 рубля на доллар, тогда как на самом деле (судя по ценам на продукты) следовало бы получить 4 рубля.

Вторник, 18 марта

Сколько снега! Весь день дома. Начал прикидывать декорации для «Вантелло» и раскрасил два старых этюда Болоньи, случайно попавшие под руку. Прочел и «Казанову» — очаровательная идея с изумительными диалогами на венецианском диалекте. Я почти все понял, но нет роли для Монахова. В «Веере» можно дать ему роль графа.

Днем явились Израилевич и Дидерикс с дамой, быть может, представительницей генерала Адобальи [?], картины которого они привезли, и один косоглазый господин, привезший показать «Голову вакханки», которая принадлежала Бенкендорфам и которую я не второй ли раз вижу? Определяю как Жилло [?].

Картины, привезенные Израилевичем (сильно осунувшийся, исхудалый и очень плохо одетый, на что он всем указывает) и Дидериксом (налитым, одетым в хороший старый костюм, привезенный его женой из Берлина), оказались на сей раз неплохими: во-первых, два старых знакомца Б.Кастильоне «Сотворение животных» и «Орфей, укрощающий зверей» на меди, последнюю мне когда-то самому очень хотелось приобрести;

«Святая Екатерина с жерновом на шее» — немецкой школы XV века (школа Буша?) — необычайно ловко, бегло, бойко а-ля Буш написанная, в пейзаже, сноровка эта переходит во что-то вывесочное, красочная гамма травянистого цвета, розовый и желто-серый; хороший большой пейзаж со стадом на первом плане, считающийся Сафтеленом, но не есть ли это Сваневель? (мост от Бриля к Лоррену); большой, но скучный портрет с кардинальским гербом (но сей персонаж в черном и считается кардиналом Вольмент — первое десятилетие XVII века); мадонна с младенцем в облаке, очень мирная, по краям картины середина XVI века (скорее всего французская) считается Корреджо, голова Иоанна Крестителя с опушенными очами, которую я (без убеждения) приписал бы Дженовезе (?), собственник считает за Леонардо! Но на это все не разживешься!

Вечером мы у Беллингов, живущих на Максимилиановом, в просторной божеской квартире. В столовой и гостиной — приличная мебель и всякая всячина висит по стенам, особенно же много портретов хозяйки, вероятно, была очаровательная красавица лет десять назад (да и сейчас, если не что-то нахмуренное и кислое на расползающем лице, она может показаться приятной). Но Акица слышала, как мадам Беллинг оплакивала их бывшую квартиру в Певческой капелле, откуда их якобы в 24 часа выставил Купер, конфисковавший и всю их мебель, и два чудесных рояля (хотя Эмиль на все способен).

Кроме нас, была чета Каратыгиных, две сестры Ольбрехта (правильно говорит Акица, что они напоминают наших «гамбургских» кузин), еще Соня Вальдштейн. Кстати сказать, навестившая нас сегодня после обеда, горько жаловалась на положение. Вова (чей Вальдштейн) служит в Мариинском театре, какой-то прыткий юноша, напоминающий нам Митту Ефрон (по сообщению хозяйки, был ранее убежденным сторонником советской власти, был принят у Ленина и даже горячо с ним спорил и журил его, пока же совершенно не разочаровался, и пророчит «им» близкий конец). Другой — очень приличный седой господин, которого мы видели у Кесслера, какой-то обрусевший американец — специалист по лошадям, женатый на хорошенькой танцовщице Григорьевой, танцор Виктор Александрович Семенов (он живет в той же квартире, в просторной комнате, рядом со столовой). Оттуда все время не смолкали плаксивые дрянные звуки граммофона, игравшего один фокстрот за другим.

После ужина хозяйка дома с американцем демонстрировала нам свое мастерство в этом упражнении. Семенов утверждает, что он труднее, нежели любой балет, прикинувшийся необычайно милым и тихим (даже растрогал Акицу), и я с Акицей и

Любочкой. Акица осталась чем-то недовольна и отказалась вкусить от обильного, роскошного ужина. Я же получил то, для чего шел, а именно угодил сразу за рояль Каратыгину и Эрасту Евстафьевичу (какие имена!) и заставил их два часа играть, что они и исполняли с поразительным мастерством, угостив нас сюитой Делиба (1913 год), «Щелкунчиком» и другими очень милыми, невинными вещами, которые я в душе предпочитаю сочинениям Нурока и бар. Ферме, которые этим просвещенным показались очень смелыми, и моего милого Пульчинеллу, который был всеми одобрен.

По залитой солнцем улице проходит отряд солдат и хором галдит нудную песенку, кончающуюся припевом: «За власть Советов!» А вот и другой, и поет частушки с присвистыванием. А перед этим несли красный гроб… оркестр разночинцев играл складно пошлый траурный марш.

Сидя за ужином рядом с Надеждой Петровной, слушал ее рассказы про мытарства: поскользнувшись, она сломала руку. Ни один прохожий не помог, не поднял ее…

Среда, 19 марта

Пишу декорации для «Веера» Гольдони. Хочется сделать нечто очень игрушечное, тщательное, но без нарочито бытового запаха, живое, но не слишком реальное. Труднее всего задача — поместить столько всяких «профи» на ограниченном пространстве сцены.

В 2 часа в Эрмитаж на галерейное совещание. Идет речь о разрешении г-же Конради (этому г. Эмиону экскурсии музея) переснять фото с наших шедевров для ее путеводителя. Неожиданно высказывается против (во имя воздержания от слишком частых передвижений вещей) «демократичный элемент» нашей Коллегии И.И.Васильев, и его протест приводит к тому, что мы обставляем эту съемку большими предостережениями. Тот же И.И. сделал опыт нового скрепления надтреснутой доски «Комедии» Ватто посредством медной привинченной к ней рамочки (дабы не делать пакета и не закрывать обратной стороны картины, на которой имеются надпись и печати). Под ужасающим впечатлением свалки многих шедевров, поступивших к нам за последние годы, в третьем этаже Зимнего дворца я предлагаю лучшие перлы, неотделимо принадлежащие нам, повесить в галерее, не ожидая общей перевески. Все отнеслись к этому с энтузиазмом.

В 4,5 часов поехал в Акцентр и в первый раз после заграницы

предстал перед очи его превосходительства Григория Степановича Ятманова, ставшего еще важнее (с оттенком благоволения) и поставившего и стол свой как-то по-генеральски (вероятно, по совету своего генерал-адъютанта Моласа). Вызван был я для совещания с Удаленковым и В.К.Макаровым относительно того, как прийти на помощь Петергофу (в связи с моим докладом на конференции, напечатанном среди прочих элукубраций этой научно-декоративной халтуры в томе, вышедшем (гм, и, вероятно, единственном номере органа Григория Семеновича) в музее), Петергофу, пришедшему в чудовищное запустение за время управления Бернштамовского (который, однако, сам всюду жалуется на несправедливость своей отставки). Но что сделать без средств? Решено 21-го совершить туда экскурсию. Макаров прочит туда бывшую сотрудницу Телепоровского — Степанову. Кажется, она очень деятельная и знающая. Мне Макаров жаловался на то, что Фармаковский забрал всю случайно еще не довезенную партию митрополичьих портретов (тогда как первый транспорт уже в Гатчине). Да и вообще у этого несносного и жуткого господина цель — забирать все, что только попадается ему под руку. Да, в сущности, где границы «бытового» материла?

В 5 часов — у Нотгафта, где собираются мирискусники. Я пришел ради Голлербаха, который напрасно приходил ко мне раза три в дом и раза четыре в Эрмитаж. Ему поручена книга о «Мире искусства», и он рассчитывает на меня, что я напишу вступительную статью. Придется, хотя у меня ничего не выйдет! От издания же своих «Путевых впечатлений» я решительно отказался. На пошлость в духе Эренбурга я не способен (как раз кусочек их напечатан в сегодняшних «Последних новостях»). А не пошлость, пожалуй, окажется предосудительной с цензурной точки зрения. Все это пришлось разжевать, но памятуя, что Голлербах «свой человек» в Госиздате. От предложенного Нотгафтом издания «Пушкинского спектакля» он уклонился. С удовольствием бы издал что-либо детское, но боится, что их гонорар недостаточен. Волынский провалился на выборах правления Союза литераторов. Но он вообще за последнее время отовсюду отставлен. Кроленко говорит, что весь балет протестовал, чтобы ему (Волынскому) поручить текст книги о балете — до таких глупостей и безвкусиц, грубо оскорбительных вещей он договорился.

Тащу Стипа к нам обедать (в трамвае вор лез в карман ко мне). Стип разразился: «Куда вы лезете!» По приезде к нам

Стип с торжеством рассказывал о своем спасении, считая, что он на сей раз обязан им тулупчику, который он носит под пальто.

Но тут Атя указывает ему на прорез в его пиджаке. Вор все же успел это сделать, но до денег не добрался. Все наши были поражены, и больше всего сам Стип.

Окончательно выяснилось, что Лапицкого берут в Москву директором Большого театра, но он еще здесь поставит «Саломею». На его место едет сюда другой наглец — Лосский. Экскузович становится управляющим на оба города с резиденцией здесь…

Купер получил ангажирование в Аргентину…

Четверг, 20 марта

Письмо от Харсана [?] из Парижа любезное, хочет быть посредником между Идой и мной. Вообще он — несчастный, мелкий артист. Сомневаюсь, что это послание было его самостоятельным. «Идиот» отложен на осень. Меня это несколько приободрило. Но надо будет очень остроумно отвечать.

Вечером на спектакле спросил Кесслера, не возьмется ли он доставить в Париж письмо, и он с радостью заявил о своей готовности мне служить. По его тону нельзя заключить, что он вернется.

С 12 до 4-х часов — на смотре Кокиных декораций к «Временам года». Хорошие в основе затеи, но исполнено очень безвкусно, вернее, слишком «ребяческой культурой» (без прелести подлинного ребячества, какое мы видим в детских рисунках, или гениального, сознательного и совершенно, как у Рунге, Крейдлера, Делава?). Слишком много деталей и нет живописного фокуса. Ох, как пора мальчику освежиться и поучиться у матушки-природы!

Перед началом спектакля посидел в режиссерской и в компании с Яниковским, Леонтьевым, Шведовым. Несмотря на портрет, окруженный красными и черными тряпками, Ильича в рост (в летнем костюме бездарно скопирован с фотографии), вся беседа была начинена презрением и иронией к властям. Это очень типично. Монтировочная часть хвалит Кокину работу. Монтировщиков больше всего беспокоит, чтобы получился эффект светящего в упор «солнца». Но никакой юпитер этого не может дать. Не вышел и транспарант в 1-й картине. Живопись мстит, когда ей изменяют.

Вечером на Моисси, которого никогда не видел в «Гамлете»! От первых двух действий, несмотря на местами немецкую певучесть и сходящие с высоких крикливых нот на скороговорку шепотом и на плюгавую (абсолютно подходящее выражение)

внешность, я почти был в восторге, с большим интересом вникая во все нюансы, получившиеся от глубокого вживания в роль. Прекрасно пользуется он приемом (и это *у него не носит характера приема*) произносить наиболее значительные вещи как бы вскользь, вследствие чего она получает характер неосознанного вызревания. Таким образом говорит он знаменитый «быть или не быть». Превосходен и разговор с актером, издевательство над Полонием. Но зато совсем никчемна сцена на кладбище и финальный бой. Может быть, трудно стало бороться со своим недомоганием (у него был жар, и он сильно кашлял). Максимова очень нескладно планировала. Король и королева задом к публике сидят у самой рампы. Офелия спиной к помосту, где дается представление. Фигура Гамлета прячется то за фигурами отчима и матери, то просто теряется. Партнеры, поддерживая честь Большого драматического театра, отлично вызубрили роли, но все же было тяжело присутствовать при этой четырехчасовой «коллизии» двух культур, ибо тут только обнаруживалось все неустроенное, непобедимо грубое, то, что присуще нашему актеру. Особенно опереточным оказался сам Монахов — Полоний. Получилось впечатление, что Шейлок и жест Труффальдино им необходим. Сравнительно прилична была Ведринская — Офелия. В театре был съезд всяких знакомых и вообще можно было вспомнить время дореволюционное. Мы были с Черкесовыми.

Пятница, 21 марта

Холодно, но ясно. У сада новобранцы играют в горелки, и хочется в этом увидеть радостное ухарство молодежи, но, увы, ведь это из-под палки, ведь это тоже «гонки», какие из баб и мужиков устраивали помещики, это та же Аракчеевская эстетическая солдатчина.

Сделал тушью по старой эффектной зарисовке 1912 года «Замок в Ферраре» так просто, чтобы побаловаться, помечтать об Италии. Заходил Альбер. Был противный А.В.Оссовский, испросивший у меня вчера аудиенции — передать билет в консерваторию. Репетирует Мусина И.А.

В Эрмитаже меня ожидал неприятный сюрприз: вызов на завтра в качестве эксперта в уголовный отдел губернского суда по делу Потатуса. Попробовал было отказаться, но Тройницкий нашел, что это невозможно.

Днем явились в Эрмитаж Свердлов, Израилевич и Кремер — все трое по тому же вопросу. Судят приятеля Свердлова, который

купил обстановку дома, среди вещей оказался портрет К.Маковского «Две дамы» 1862 года.

Приходили еще: юный сотрудник «Театра» Коварский, которому я начал излагать свои впечатления от заграницы, жуткий Коршун, который лез ко мне, вздумал что-либо приобрести (у него-де все художники «Мира искусства», кроме меня, представлены), и, наконец, Слонимский-Гржебинский — рекомендовать актрису в Большой драматический театр, ту самую, которая играла Анну Лей, но Пиотровский ее не одобрил.

На трамвае — к г-же Мор, умоляет меня посмотреть ее Тициана. Стриженая с рыхлым мужским лицом дама. Тициан оказался видоизмененной «свободной» копией в приятных серых тонах (слащавое лицо Адониса и морды псов с известной картины Прадо «Прогулка Венеры и Адониса»),

С опозданием в Большой драматический театр на заседание, посвященное выработке репертуара на будущий год. Монахов, удивительно потускневший и просто даже запуганный (совершенно никчемные реверансы по поводу благоглупостей, по поводу буржуазной идеологии, изреченных Пиотровским), и сумрачный, растерянный Лаврентьев (это объясняется тем, что пировал всю ночь с Юрьевым, празднуя свое примирение с ним). Ох, жуткое лицо у Адриана! Такие лица должны быть у упадочных, полубезумных королей, алчущих власти, безнадежно бездарных, но ласковых и жестоких. Типичная еще для него методичность и психология учителя словесности. Так сегодня он явился с Гольдбергом, с которым, вероятно, только что познакомился, и с Грабе. Как может выйти на сцене, как сыграно, как применено — до этого ему дела нет, но вот есть в патентной библиотеке такие имена, давай их сюда.

Лабиш был мягко, но безнадежно отвергнут, и вот тут и произошла целая тирада о неприятии публикой с пролетарским мировоззрением пьес, в которых представпяются буржуазные классы. Дело другое — Гольдони. Он дальше от нас. Но еще лучше, ближе к нам — современные. Решено, что пойдут «Коралл» Кайзера. Они совершеннее Гольдони. Я стоял за него, но заявил о своей ненависти к Кайзеру. Я не спорил — глупо и опасно. Протест был высказан Монаховым в отношении «Бориса Годунова» Хохлову. Может быть «Человек из зеркала», если Адриан Пиотровский представит сокращенный вариант. Инсценировка «Северного анекдота» отвергнута, так как ее рекомендовал Анненков.

Суббота, 22 марта

День судный.

В 12 часов являюсь в дом № 16 по Фонтанке, в Губернский суд. Это бывший особняк председателя Совета министров Горемыкина. Там же, кажется, помещалось жандармское управление. Дом был дан Горемыкину, заново отделанный, и следы этого видны еще на передней лестнице, но, разумеется, только следы. Сегодня, в общем, это превратилось в такую специфическую клоаку, как… (и сугубо в наши дни) всякое российское присутственное место. Зал, куда я конвоирован, оказывается закрытым, но я случайно набрел на секретаршу, приславшую мне повестку, Веру Ксенофонтовну Либину — девицу лет тридцати пяти, высокую, худую, с изумительным, довольно благородным лицом (и вся манера держаться выдает «хорошее воспитание»), от которой узнаю, что дело отложено слушанием до 6 часов вечера. Я объясняю ей, что приглашение именно меня основано на недоразумении. Раз идет речь о материальной оценке какой-либо картины Маковского, то я себя не могу в этом смысле считать компетентным. «Ну, если Вы не компетентны, то кто же. Нет уж, Вам придется… К тому же Вы приглашены через (что-то очень важное — род Верховного совета при суде, название незнакомое), и это отменить нельзя. Мы не могли основываться на показаниях антикваров, они искусственно понижают цены, чтобы скупить задаром, согласитесь, что червонец — а так его оценил Циммерман и еще кто-то — это не цена за Маковского?»

Может быть, и не цена, но цена художественного произведения есть вообще нечто весьма относительное и регулируется соотношением спроса и предложения, тем, что называется рынком.

«Да, но рынка у нас нет, согласитесь, что его нет», — сказано тоном упрека по чьему-то адресу, как будто не «они» виноваты, что его нет. Между тем где-нибудь он же еще существует!

«Ну вот Вы только что были за границей, за что там идут Маковские?»

Милые иллюзии!

Пришлось объяснить, что вообще русские картины за границей не в ходу и что уж, во всяком случае, Маковские едва ли там найдут себе сбыт. И наша эта беседа (она еще в тех же тонах возобновилась вечером) кончилась на вздохе своеобразного патриотического огорчения барышни: «Значит, все это сказки, что за границей платят огромные деньги за русские картины…»

Придя в Эрмитаж, я все это в канцелярии в присутствии Тройницкого и прочих рассказал, и вдруг Федя Нотгафт, побуждаемый жалостью ко мне, берется еще поправить дело. У него-де в суде имеется хороший знакомый Борис Ефимович

Шехтер — бывший присяжный поверенный, очень порядочный человек, тот самый, который ему «в пять минут» устроил и развод, и новый брак, ныне состоящий помощником юрисконсульта, кстати, и обладатель нескольких моих (как оказалось, очень неверных) произведений, и вот без всякой с моей стороны просьбы милый Федя отправился туда уже в 2 часа (как раз рандеву у Кроленко был отменен), вернулся обратно (мы тем временем всем Картинным отделением рассматривали Шатровый зал, намечая картины к удалению в запас), подготовив своего приятеля, обещавшего мне помочь или вовсе отделаться (если бы я предпринял шаги вчера, что было бы возможно вполне, чтобы дело было отложено до того, чтобы найти нового эксперта), или хотя бы уйти сегодня и в понедельник до конца разбирательства. Кроме всего прочего, Хайкин (они с Шехтером женаты на двух сестрах), у которого я сегодня был в четвертый раз, кончил пломбирование, взяв за это 4 рубля, подтвердил, что Шехтер и есть тот коммунистический родственник, который ему поставляет сведения из судейской хроники и с которым он очень крепко спорит по вопросам политики.

В 5,5 часов я и предстал перед ясные очи этого сановника, его непосредственного начальства. Уже форменного коммуниста не было в том узеньком кабинете инструкторского отдела, который они занимают вдвоем, но, тем не менее, этот старый с проседью человек беседовал со мной, хотя и любезно, но с оттенком официальной сдержанности, видимо, борясь между сознанием, что лишь нужно оказать какие-то особенные почтения, и нежелательностью показаться слишком уступчивым, любезным лично и в отношении представляемого учреждения. Но в общем он выказал больше любезности, нежели служебной непреклонности, и, поговорив с секретаршей и с самим судьей — «страшным» Держибаевым, добился того, что меня отпустили сейчас же после общей переклички, получив на это подготовленное тем же Шехтером согласие прокурора и трех адвокатов. Но это уже было в 8 часов, а до того я маялся более двух часов, сначала ожидая вынесения приговора по предыдущему делу (каких-то портных, воровавших обрезы и шивших готовые платья слишком маленьких размеров. Бедных людей, принужденных к этому голодом, о чем едва ли было дозволено говорить их защитникам, присудили к четырем и двум годам лишения свободы, но с применением амнистии к 6-й годовщине Октябрьской революции и Дня работницы сократили сроки наполовину). Затем — десятиминутный перерыв, затянувшийся на час, и приступили к делу, для которого я вызван. «Мои» обвиняемые — люди старые и жалкие, которых я

вижу в первый раз, — это тощий, жалкий еврей, объявивший себя по профессии и по роду занятий столяром. «Глава» обвиняемых — круглолицый усатый Иван Иванович, по статусу и с виду скорее рабочий, одет в белорусский светлый полушубок, член РКП, состоящий в партии, по профессии — кузнец, по роду занятий — ночной смотритель инвалидного дома. Я обвинения еще не слыхал, но, вероятно, это он был смотрителем детского приюта и продавал оттуда вещи. Моменты ожидания я использовал на изучение места действия и действующих лиц.

Происходило это в зале, подпертом дорическими колоннами без канелюр стиля евро с крестовым камином, *на таком же стуле с крестом черной клеенкой внедрили и меня*. Конец предыдущего дела я просидел у адвокатского стола на случайном стуле. Его мне достал Шехтер, заходивший несколько раз в зал, видимо, следя за тем, чтобы меня «не обидели». Еще заметил вообще крайнее отсутствие эстетического декорума (в русском суде его раньше не было) и в частности в толчее растерянного стада, состоящего из некоторого процента любопытных (для входа ничего не требуется), из родственников (и вообще провожатых), обвиняемых, а также из свидетелей, пока их не вызвали в начале дела судьи и не выпроводили гурьбой в свидетельскую (по предложению следователя, не явившихся четырех постановили оштрафовать на 20 рублей золотом каждого и присудить к «приводу»). Впрочем, после окриков и коменданта, и судьи толпа эта успокоилась, расселась и уплотнилась, так что все пространство по линии первых скамеек оказалось пустым.

Когда после прочтения приговора (Шехтер умиленно указывал мне, до чего мастерски он составлен) судья распорядилась взять под стражу некоторых осужденных, то через волнующееся стадо публики (тут же и происходило лобзание освобожденных, прощание с уводимыми) пробились четыре красноармейца в серых шинелях и в фуражках с револьверами у пояса и, лавируя между этими группами с унылым благодушием, повели их в узилище…

Пешком в Большой драматический театр на «Эдипа». Поспел как раз вовремя. Хохлов очень остроумно наладил постановку, откопав и использовав какие-то тосканские колонны — остатки Суворинского театра, станки, лестницу и «сукна». В начале пущена в полутьме судорожная сцена народного вопля; не без достоинства бродят и вопят в унисон семь старцев хора, и, пожалуй, приходится сказать, что весь этот… античности мало чем уступает главному действующему лицу. Одно то, что он и на сей раз играет «со своим лицом» без грима (тогда не следовало бы одевать греческие костюмы), действует в данном случае почти

оскорбительно (это мнение, мое, Акицы, Юрьева, но последнего с утратой эстетической точки зрения), вообще же публика, вначале озадаченная, разгорелась до упоения и восторгов. Но и вся игра — смесь пластической условности с психологическим и почти патологическим реализмом — создает какой-то настрой двоящегося впечатления, но, во всяком случае, не убеждает… Это даже касается сцены с выколотыми глазами, не вызывавшей во мне (вообще падком до этого) и *тени* того трепета, для которого, в сущности, и идешь на трагедию… *Невольно* вспоминаешь внушительную и жуткую красоту Монсул Салли, и навязывается сравнение его с Пуссеном, а Моисси, с Клингером. Жонглирование жезлом и «пластика» рук — и крикливое пение, смеющееся баском вроде того, к которому прибегают пасторы на похоронах, плохо выраженное внимание к словам партнеров, — все это раздражает. Но кое-чему и здесь можно поучиться. Кое-что *отшлифовано* (а у Клингера этого хоть отбавляй, но это может спасти от «органического безвкусия»), «Плач над детьми» — хорошо сделан. «Наши» были и на сей раз очень приличны, особенно второй вестник Сафонов, Надежда Ивановна старалась не ударить лицом в грязь. Рядом с заморским гостем особенно старалась пластичничать, что, разумеется, ей не слишком удавалось. Бедный мой, милый мой друг, не дал ей Бог подлинного дара, а ее взрывы только еще сушат ее и мешают ей прибегнуть к непосредственности. И сухо, и сухо!

Возвращение в трамвае с Юрьевым, ехавшим на попойку к Бережному. Осокина сама сегодня заговорила с Акицей о необходимости для Коки ехать за границу. Это и мнение Юрия Михайловича, который берется дать письмо Коке для всесильного в делах воинских Пивоварова.

К чаю наши «молодые», оба ликующие, что постановка Лопухова «Лысая гора» еще глупее, претенциознее и пошлее Леонтьевских «Времен года». Дело дошло даже до какой-то словесной интродукции, произнесенной Соляниковым. Нет, с этими обнаглевшими дураками нельзя браться за «Щелкунчика».

Воскресенье, 23 марта

Наконец выдался день почти полного спокойствия, и не приди к чаю чета Бразов, я бы сделал перевод всего первого акта «Ванлоо» (а так не доделал последнего явления). Кроме того, использовал день на компоновку декораций, на поиски материалов и на прочтение всей «Кэтхен из Геимброина». Очень любопытная романтическая чепуха с ничтожной нотой

мистической эротики (беззаветная любовь простой девушки к благородному рыцарю), противопоставление мировым чарам коварной Кунигунды фон Туднек. Верх берет Кэтхен, но замысел автора испорчен тем, что последняя оказывается незаконной дочерью императора (какого, не сказано, вообще же все происходит в рыцарские времена). Но, Боже мой, как же такую махину, с бесчисленным количеством картин с гибелью народа, *поднять* в наше нищенское время? И к чему это? И почему такую мистику разрешают?

Понедельник, 24 марта

Лютая зима. Сошло лучше, чем я думал, хотя мне не удалось найти Шехтера. Стип проводил меня до зала, но его не выпустили, так как во время судоговорения посторонним нельзя ни входить, ни выходить (все же входили). Явившись точно в 3 часа, я направился было к своему пустому месту. Но новый комендант («Ятманов», но длинный и пустой) вежливо не допустил меня до него и попросил сесть среди публики на первой скамье. Шел допрос главного обвиняемого Потатулы. Его тяжелая, мужицкая фигура в белом аккуратном зипуне, навалилась на тот фрагмент полукруглой балюстрады (из трех балюстрад), за которой полагается «стоять перед судом», и я не мог видеть его лица. Говорю допрос, потому что действительно это был допрос с пристрастием. Держибаев всячески ловил его, перескакивая с одного сюжета на другой, вдруг возвращаясь к первому, — все это с необычайным замыслом, иногда прибегая к «ироническому» согласию, который в ходу у гимназистских экзаменаторов, когда они желают особенно хитро уловить прячущего свое незнание ученика. Характерно еще для профессии (говорят, он был товарищем прокурора, а в революцию заделался следователем ЧК и «расстреливал без жалости»): чисто охотничий аппетит, с которым производится эта уродливая, на наш взгляд (но, может быть, необходимая в общей государственной экономике), операция. Жертва, не поддавшись, не покидала спокойного тона (характерный тон дворника), хотя иногда, вероятно, приходилось ей жутко, особенно от вопросов, коварно предложенных следователем (сегодня я явственно слышал, что так судья назвал Даниэль-бека), в расчете ценой этого дяди [?] спасти своего клиента. Речь шла о продаже обстановки из детского дома № 15 на Французской набережной (так в обвинительном акте, но номера домов там четные). Произведена в отсутствие его заведующей г-жи Остроумовой при

попустительстве и даже с согласия этого Потатулы (мельком от судей слышал, что под всем этим обнаруживается взятка, но официально о ней не говорили!).

Картина Маковского и многое другое было выведено Явичем отдельно в придачу. Главная добыча состояла из полных гарнитур кабинета, столовой и спальни — все «стильной и художественной работы». Было вывезено и серебро, но оно возвращено. Измывался Держибаев долго, но вдруг: «Коли Вы усмотрели непорядки, то почему же об этом не сообщили куда следует… Вы все же коммунар (sic!), забыли про железную метлу коммуниста!» Жертва стала заверять, что он про нее не забыл, доносил куда следует… но из этого ничего не выходило…

Меня пригласили в «арестантскую», где приняли не без любезности. Вблизи, в закулисной обстановке, люди не такие жуткие. Даниэль в своей молитвенности и «щупленности» был даже мил (но — ух, жуткий упрямый лоб и наставившиеся, нахохлившиеся глаза). Совсем милы, но и сконфужены, растеряны оба рабочие, меня пригласили туда, чтобы показать картину, замотанную свертком, чтобы я написал о ней отзыв и отдохнул. Было предложено и ознакомление с делом, но я при виде его объема отказался — меня взял ужас, и я только бросил взгляд в несколько скучных мест. Картина оказалась портретом двух сидящих на оттоманке дам, живо напоминает мне мое детство, весь тогдашний вкус, мои детские воображения, то впечатление, которое тогда производили на меня произведения (удачные и менее пошлые) Маковского. Я не мог подавить в себе этого художественного восторга, ибо по живописи — это одна из картин, в которой Маковский не только мог бы соперничать с Карлюс-Дюраном и с другими портретистами, оставляя далеко позади Маккарта, и даже выдал себя в качестве «современного Ренуара». Однако надлежало скрыть все эти «субъективные» моменты и оставаться в строгой исторической объективности, как раз секретарша помогла мне найти тон, ибо она ужасалась перед безвкусием платьев и жеманности, уверяла, что она и даром не взяла бы такую картину для себя (при этом были произнесены даже какие-то французские слова). В духе такой объективности я и сочинил свое показание, указав на то, что Маковский был когда-то любимым салонным, модным художником, но вместе с модой изменилось к нему отношение, особенно к его портретам, от которых стали требовать большей вдумчивости, серьезности. От оценки я решительно уклонился, на этом не настаивали, а я указал на Школьника как на официального оценщика и на антиквара (но вот еще подложит свинью). Судьи приходили и уходили из «совещательной». Одно время появился и бритый,

коренастый, круглолицый, иронического вида юрист в пальто, сшитом из дохи, с которым меня познакомили в качестве «нашего прокурора», но он при судоговорении не присутствовал. У Держибаева дважды в его перемолвленных фразах со мной мелькнула вдруг возбужденная подозрительность, но в общем он был корректен и даже предупредителен. Пока я писал свою рацею, он метался по комнате и со смаком делился с Даниэлем своими впечатлениями от процесса, надеждой на уловление сопротивления и тут же, потирая руки, злорадно размечтался о том, как достанется «этим спекулянтам», когда он до них доберется. (Одно из явлений системы, в которой государство находится в войне со своими подчиненными.)

После перерыва картину вынесли на публику, показали адвокатам, а после этого обратились ко мне, последовали вопросы. Следователи пожелали узнать: имеет ли картина «музейное значение»? В ответ я постарался указать на относительность самого понятия о музейности. Иронический адвокат постарался вызвать меня на более определенную характеристику этой картины в смысле ее чисто семейного и бытового значения, что я не в слишком определенных тонах исполнил. Мое показание пригодилось несчастному Явичу…

Дома переводил «Веер». Альбер разочарован письмом Машеньки, указующей на неудобства в гостинице. Он же сообщает о бедственном положении Маруси Кузнецовой. Сын ее Митя (брат Алика) застрял в Америке — заложником. Сам Аля (отец) оказался в Пекине и дает уроки. Дела самой Милы тоже не блестящи, она завела в Харбине мыловаренный завод, и теперь кризис — «деньги изведены…». Нина вышла замуж за итальянца, и туда Альбера не зовут. Сам Альбер трогательно мил, старается казаться бодрее, но все еще сказывается обветшалость, печет одну за другой маленькие акварельки для Парижа…

Утром был в Эрмитаже. Моисси не «прибыл», будет завтра. Был очень короткий совет. А я и забыл записать о злоключениях с «Мадонной Бенуа». Ее в пятницу снимали для Конради (для съемок), и вдруг она перегнулась (рассохшийся подрамник у полукруга). К счастью, что перегнулась не совсем, и краска отлетела лишь сантиметра три с каждой стороны, не доходя до ликов. Придется ее передублировать, а потом заделать. Возвращаясь с суда, застал Татана с мамашей среди компании таких же карапузов-девочек в Никольском садике. Уже у него род романа с какой-то Галей. Они потешно катались вереницей на самокатах.

Вторник, 25 марта

Густая метель. В гавани, говорят, настоящее бедствие — все засыпано, не пройти не проехать. Что-то произойдет с таянием? Вот я опасаюсь: на набережной у выступа Биржи выросла гигантская гора снежной свалки.

В 12 часов генеральная репетиция завтрашнего бенефиса О.В.Федоровой. Увы, у меня нет достаточно денег, чтобы почтить эту милую женщину, которую я несколько недель считал своим другом, своим присутствием в самый торжественный день. Сегодня я попал в театр благодаря тому, что меня там еще ценят, и даже я получил без хлопот ложу для семьи — единственную, если не считать розданных нынешней аристократии — главным месткомам; и все же я не решился подойти из благоразумия, ибо уже больно для нее не авторитетно, что она подносила, и пришлось бы болезненно кривить душой. Бедняжка, она ввела себя в очень невыгодную сделку. По нынешним условиям он должна дирекции уплатить полный сбор, и лишь все сюрпризы поступят в ее пользу. Однако продажа идет очень туго (все в таком положении, как и мы), и ей еще придется приплатить своего или влезать в долги. Но, видимо, она видит вещи с хорошей стороны, она была очень весела и даже дурила, шалила. Вообще почет заслужен (теперь она уже «femme» — она замужем, и у нее недавно родился ребенок), но, увы, то, что в ней было в молодости, то есть какая-то приятная заражающая, разбитная цыганщина, превратилась сейчас в нечто малоприемлемое. Некоторые ее жесты — бросание корпуса вперед, выворачивание рук, поднимание плеч с головой в профиль — стали чем-то даже «неприличным» и отдающим вкусом другого «времени»! Говорят, она уже «сокращена» (ее ненавидит Лопухов), и, спрашивается, что же с ней теперь будет? Выбрала она для своего бенефиса две новинки: «Ночь на Лысой горе», поставленную Лопуховым (костюмы Домрачева — красочное уродство коих не слишком бросается в глаза, ибо на «сцене» довольно темно), и «Времена года», переставленные Леонтьевым в декорациях и костюмах Коки. Кроме того, она осуществила свою давнюю мечту и изобразила Аспиччио в хижине рыбаков, отбивающуюся от нубийского царя, увы, изобразила очень плохо, а в конце она и все ее перевоплощенные коллеги растанцевали «дивертисмент», в котором Тата Серебрякова довольно мило исполнила роль одной из двух девочек, пританцовывающих при «Девушке с кувшином» из «Баядерки», исполнявшуюся Виль.

Нас больше всего интересовал, разумеется, наш сын, но, хотя мы оба отдаем должное его изобретательности, мастерству, чувству поэзии, однако все же мы не были удовлетворены. Во-первых — перепевы Чюрленизма (надо надеяться, что после этого

Кока расстанется с этим пережитком мальчишества, ибо, увы, проектики его теперь поражают больше всего своим ребячеством и провинционализмом) ужасно надоели. Особенно ерундистика этих «гениальных космизмов» выразилась в занавеси, вдобавок наспех написанной в одну ночь и потому и страдающей особенно неприятной деталировкой. Апофеоз лучше занавеса картинного, но Кока здесь выказал свою чуждость к театру как к таковому, и вместо того чтобы придать этому заключительному аккорду характер чего-то органически вытекающего из всего предыдущего, — *картинность* эта просто появляется как *картина* и без участия действующих лиц. И это вызвало даже известное ощущение сухости, и во всех четырех декорациях слишком много подробностей, иногда (в «Лете» и «Весне») при полном игнорировании общего красочного эффекта и композиционной гармоничности, и это в ложно-характерном стиле. Словом, *ребячество* (отнюдь не наивности, которое могло *быть гениальным*), в то же время слишком сказывается, что Кока уже пятый год не работает на природе. Наконец, костюмы бедной и неприятной окраски, но в этом он уже менее виноват, а виновно нищенство общих обстоятельств. Кричащие краски… и мехов объясняются тем, что пришлось использовать материи со старых костюмов Всеволожского.

Танцы Леонтьева — верх банальности, и даже юродство Лопухова рядом с ними представляется чем-то интересным. Все театральные генералы очень довольны Кокой (что не мешает им дико эксплуатировать и губить его), но больше всего доволен Экскузович, выразивший и безграничный восторг при встрече со мной. Юродство Лопухова достигло своего апогея в интродукции, изобретенной им для «Лысой горы». При спущенном еще занавесе выходит главный скоморох Солянников и восемь его подружек, становятся флангом к публике и при молчании оркестра раз пятнадцать ударяют в бубны с разными интервалами. Затем занавес поднимается (неплохие декорации Клодта, испорченные каким-то сермягами, служащими обрамлением), эти господа присоединяются к прочим, а их долговязый почтенный вождь пошло и тяжело разыгрывает роль шута, приплетая на ложно-древнерусском языке (sic!) (в балете заговорили) — что-де сейчас они покажут действо, как сочетается браком Черномор с какой-то там колдуньей, и только после этого начинается музыка, иллюстрирование на сцене сохой, которой вспахивают землю, и четыре метельщика за ней подметают. Этой идиотской сохой и метельщиками заканчивается «балет», причем, разумеется, совершенно загублен гениальный «Рассвет» Мусоргского. Но в танцах кое-что неплохо и хитро выдумано и налажено. Лопухова

всего передернуло, когда, встретив его на сцене, я ему сказал: «Разговор будет потом, и долгий». На самом деле, понятно, постараюсь избежать этого разговора, ибо это все равно ни к чему: от безвкусия в сорок лет человека не излечить. Да к тому же за эти два года он успел обзавестись поклонниками и льстецами, возомнил себя полубогом, и я уже для него не авторитет.

К обеду — молодые, Стип и случайно подошедший Верейский, ужасно страдающий зубами.

Марочка, нахохленная, страдала за Коку и, видимо, злая на то, что не видит у нас восторга. Она его все время журит и натравливает на нас, как на декадентов определенного типа, и это не то, что сыну надо бы иметь. После обеда она с Атей пробовала играть Пульчинеллу.

Я со Стипом отправился к Крамаренко, у которого уже застали П.Вейнера, и было бы очень мило, если бы остались в своей компании, но затем явился еще какой-то русский американец (седой с молодым лицом), ужасный тип. Он сюда приехал с каким-то автомобилем, имеет отношение к концессиям, полон глупейшего оптимизма («Какое же государство не станет заботиться, чтобы его граждане жили хорошо!»), все время как-то поучает. Очень горд преимуществом американской культуры, рассказывал дрянные анекдоты о неграх, почерпнутые из какого-нибудь журнала, и обладает великой драгоценностью (он не принес с собой). Какой-то синий хрусталь, якобы подаренный китайским богдыханом, во избежание каких-то семейных осложнений поручил французскому послу, который на пароходе (sic!) его доставил во Францию и подарил Людовику XIV. От него но по особому завещанию перешел «его сыну» Людовику XV, а от него снова к «сыну» Людовику XVI, который во время революции успел его сдать своему брату Карлу VIII (sic!). Тот, живя в Митаве, подарил его герцогу Бирону и т. д. Заплатил он за него в 1915 году 5000 рублей на аукционе и вполне верит в его достоверность, полагаясь на то, что аукционист ручался за все вещи, которые он продавал. Я ничего в этих вещах не понимаю, пожалуй, вещь интересная. А не подделка ли это какая-нибудь?

Гостями оказались Юрий Султанов с женой, Иорданский с бывшей женой Шухаева, тонкий, рыжий, восторженный Иорданский и еще какой-то юноша и, наконец, М.А.Потоцкая, которую мы принялись занимать и угощать чаем. На ней был замечательный филигранный с эмалью крест (XVII века, Испания), подвешенный на его оригинальной цепочке, бусы, которые заменяют прорезные сферы. Наконец, была еще тяжело-солидная актриса из Александринки и сама Мария Петровна Крамаренко. Угощение было вкусное и сладкое с крюшоном,

неплохое вино, разговоры не интересные. (Квартира Крамаренко: Пантелеймоновская, 13, кв. 3, второй этаж.) На стене гостиной — большая, хорошая картина Хонхорста «Вирсавия», которую приводит к старику Давиду Абигель — отличная голландская «ванитас» с черепом в корзине, Схютовская «Мадонна» XV века (не подделка ли?) и копия с Балена, с «Голгофы» П.Брейгеля, бывшая ранее у Рейнгольда. У него же находится прелестная «Святая Екатерина» от Абадаша. Кроме того, моя акварель «Дождь в Версале».

В 12 часов мы удрали и доехали до дома на трамвае…

Среда, 26 марта

Настоящая скользкая оттепель. День Кокиной премьеры, которая и прошла с неожиданным блеском, убив «Лысую гору». Каждая декорация встречалась дружными аплодисментами. Многое со вчерашнего он успел исправить (снова его на этот раз покинул верный такт). Многое просто гладко шло, одобрены были даже с прохладцей и танцы Леонтьева. Кое-что из убогой наивности все же лучше претенциозной глупости Лопухова. Бедная бенефициантша имела меньше всего успеха, но все же сама она не кажется чужеродной, «держит специальных депутатов», и лишение богатых даров лишь ее окончательно утомило. Танцевала она плохо, тяжело. Она уже весь последний год из-за беременности и материнства не танцует и не работает. Но со сцены в костюме я узнавал моментами прежнюю чаровницу.

После спектакля, затянувшегося до 12,5, было чествование, но я не него не остался. У нас в ложе бельэтажа, предоставленной любезным М.М.Циммерманом, сидела Добычина с двумя мужьями: русским и евреем. Увы, П.П.Добычин ни словом не обмолвился о моих «Версалях». К счастью, я сегодня получил в Эрмитаже жалованья 38 рублей за весь месяц.

Около 1 часу за мной заехал Н.А.Сидоров и доставил к финскому консулу (имеющему честь присутствовать в резиденции на Невском против Казанского собора), которому я должен был (по просьбе моего ценнейшего подчиненного) подтвердить, что те картины, которые принадлежали одному финну и которые застряли здесь с 1914 года, отданы реставратору Сидорову, и за которые Сидоров просит теперь заплатить, действительно соответствуют тем, которые значатся в расписке. Довольно крупная (ранняя) баталия Ван дер Мейлена, пожалуй, действительно его картина. «Караульня в пещере», приписываемая якобы Дюку, оказалась превосходной П. ван Ларом (но, очевидно здесь ошибка в атрибуции); приписанная Я.Брейгелю «Улица», — действительно копия с него, «приписываемая» Боутсу и Баденвейлеру, — не может быть приписана человеком сведущим (грубая), но «честно» могла считаться за их работу такими невежами, как владелец и Н.А.Сидоров. Означенная «Проповедь Иоанна» подтверждает идентичность картин. Консул был утрированно любезен, очень польстило то, что я, войдя, сказал по-фински: «Приветствую Европу!» — и он собирается побывать у нас.

Затем — в Эрмитаж. В 4 часа я был дома и ждал Голлербаха,

но он не явился. Зато приходил Чепурин (сын того рыжего, бородатого, который в моем детстве часто бывал у нас — свойственник Обера), которому я и передал лекарство, присланное Гиршманом.

Продолжаю переводить «Веер». Прочел страшную и отличную драму З. Вернера «24 февраля. Трагедия рока» — отец по ошибке и благодаря проклятию, над ним тяготевшему, убивает сына, вернувшегося из дальних стран.

Сидим без воды и света. Вода прорвала трубы у нижних жильцов.

Четверг, 27 марта

Чудовищная оттепель. Я два раза ездил сегодня на санках, как по волнам, за водой! Кабинет и столовую Альбера затопила вода, протекающая с дырявой крыши. Узнал вчера от финского консула, что Кесслер уезжает завтра, и мне вдруг явилось желание воспользоваться его предложением и через него послать Аргутинскому письмо более откровенного характера о моих обстоятельствах. На писание его и потратил все утро, но, явившись в консульство, не застал уже Кесслера. В Эрмитаже Федя (Нотгафт) взялся все же его доставить ему, а если его не застанет, передать его заместителю, обычно пересылавшему и Федины письма за границу. В Эрмитаже на «галерейном совещании» решаем под выставку миниатюр взять среднюю часть лоджий, отделить ее от всей галереи гобеленами. Рисунки выставить внизу. В канцелярии меня поджидали А.Эфрос и совершенно обрившийся Бакушинский. Абрам употребил все чары, чтобы убедить меня участвовать на Венецианской выставке. Остался непреклонным. Он же на извозчике доставил меня в издательство «Академия» на Литейном у Бассейной, где состоялось заседание, посвященное книжке о балете. Новые для меня — А.Слонимский, Поздеев, Аплетин и сам Кроленко, который оказался евреем по фамилии Кролик. Мне не стоило особых трудов, чтобы опрокинуть весь их план и побудить — вместо нелепого и неосуществимого «трактата» — издать просто ряд эссе с выделением в отдельную часть всего справочного материала. Увы, с иллюстрациями обстоит плохо. Непозволительные рисунки Эрбштейна, удивительно скучные и портреты — литографии Верейского и Кустодиева. Против Зины Серебряковой какой-то зуб (во всем балетном жанре не сыщешь такого оздоровительного, наивно-детского мира юных актрис, как у нее). Слонимский очень хлопочет о фотографиях, и я сам их

предпочел бы, но это нарушит нарядный стиль книги.

К чаю — Рафа и Вера Михайловна Молас, чета Верейских, Воинов и случайно пришедший Лисенков. Молас рассказывала самые смешные вещи о цензуре и о сокращениях. «Он служил до смерти Ленина в «Погани» — Петербургском отделении Главнауки. И каждый день выбирался на ЛУНУ — Ленинградское Управление научных учреждений». Из цензурных курьезов — в детской книжке из фразы «Давай Бог ноги» вычеркнули «Бог».

Слух — Пуанкаре ушел в отставку…

Пятница, 28 марта

Экспедиция в Петергоф по настоянию генерала Ятманова, который вдруг загорелся реформами в этой заброшенной им вотчине и потребовал, чтобы мы с Макаровым и Удаленковым ему сопутствовали, дабы на месте изучить, что можно там сделать и что должен сделать в календарный срок Измайлов и новый хозяйственный правитель, совершенно спорый работник Тихомиров, от которого Ятманов в упоении и который должен все исправить, что запущено Беренштамом, который, наконец, пристроился на новом месте — в Публичной библиотеке.

…Особенно запечатлелись сверкающие золотом статуи в монплезирском садике и вид на былую пустынность моря. Надлежало решить, можно ли Монплезир «эксплуатировать», то есть устроить кафе без кухни там, где она была при царе, и концертный зал в одном из его департаментов, отделанных Кваренги. Решили, что можно. Я настаивал на украшении главного корпуса картинами. Местами потоки с потолка попортили живопись, исполненную при Александре III, с Пильмановой, но это не так жаль. Все прочее на удивление стоит и даже имеет прочный вид.

В Большом дворце благополучно. Я наметил, как его «оживить» и гармонизировать его убранство, отказавшись от неосуществимой идеи, высказанной в моем докладе на конференции — посвятить Петергоф эпохе Петра I. Слишком мало материала. Но все же можно известной систематической сортировкой наличного придать больше характеру кабинету Петра 1.

Пока другие ходили, я набросал с террасы открывающийся вид в сторону Кавалерских корпусов. Ресторан для нэпманов — настаивает Ятманов — будет устроен в Кавалерских домах. Но я убежден, что нашим экспроприаторам будет не по средствам пировать в этих злачных местах, а рассчитывать на иностранцев

или на местных жителей заштатного городка нечего.

В канцелярии я снова увидел прелестную картину Рейтера «На берегу озера». Среди склада картин — Венециановскую синюю «Кормилицу». Что же их не берет Нерадовский? Для Эрмитажа я наметил серебро из Александрии и другие мелочи, сложенные — по получении из Москвы директивы — в корпусе «Под гербом». Как не раскрали?

В канцелярии же хранятся миниатюры… Среди них — одна подписная Виоле (дама), один герб Павла в треуголке, Александр I в виде камеи Лагорио, Елена Павловна [работы] Изабе 1814 года и Александр Николаевич и другие.

Дворцовые генералы угощали нас роскошной ветчиной, семгой, колбасами, леденцам от ЛОРа. Местный совхоз угнал царских коров, которые музей считал своими. Плетушка из доносов, ябед, скандалов.

О духовном развитии Петербурга заботится клуб имени Карла Маркса. Сегодня вечером Ятманов устроил диспут «Суд над проституцией» (по Купринской «Яме»), в котором принимали участие исключительно местные врачи. Об этом высоконравственном позорище оповещали афиши на всех улицах и стогнах. В петербургских трамваях расклеены афиши о лекции на модную тему: «Аборт и материнство».

Петров-Водкин сегодня в 10 часов (сплошной елей и мед). Лучший друг — Кока — отказался выйти к нему, который открыто меня поносит перед своими учениками в Академии художеств. Пришел он ко мне зондировать почву — удастся ли ему дополучить 150 рублей за «Бориса Годунова». Я ему посоветовал подать заявление Лаврентьеву.

Петров-Водкин с негодованием рассказывает о бесконечных хвостах лиц, женского пола, которые днями простаивают у какой-то комнаты (забыл где), производящей официально операции аборта. Причем это возмущение в газетах. Одним аборт производят по мотиву переобременения семьей, другим — по бедности, третьим по здоровью и особам, зачавшим от своих начальников, то есть как бы снимается с начальников всякая забота о последствиях. Вообще же Кузьма обнаружил чрезвычайное неприятие советской власти, ругал Зиновьева — жидомордой, Лилину — сволочью, неуважительно прошелся по адресу могилы Ильича. Вероятно, и его дела очень неблагополучны.

В 11 часов я поднялся наверх по просьбе Гаука, где нашел Асафьева, И.Иванова (что они носятся с этим милым, но абсолютно бездарным Акакием Акакиевичем Романом Иль-чом Гессеном). Снова Асафьев меня убеждал принять участие в

экскизно-студенческом выявлении талантов, которое он затеял с целью и здесь заняться западной музыкой, — целая программа концертов и инсценировок, будто бы уже обещанных. Увы, Баланчивадзе уже собирается ставить «Пульчинеллу» и три раза забегал к Гауку, чтобы повидать меня и выудить у меня указания. Боюсь, что, уступив им, буду втянут в какую-нибудь пошлятину. Пока топорщусь. Завтра он придет играть к нам.

Пуанкаре действительно подал в отставку, но Мильеран его упросил составить новый кабинет.

Пятница, 6 июня, утро

Солнце через облака. У меня род кацен-ямер (похмелье) после вчерашнего обеда с томатами и виски с содовой.

Снова принимаюсь за свои эфемериды, хотя и принято такие записки считать сейчас несвоевременными и опасными. Но на моем горизонте ничего компроментного не случается. Мое отношение к власти вполне лояльное, уже потому, что я исповедую истину, изреченную апостолом Павлом: всякая власть от Бога. Да и мало шансов, чтобы вообще кто-то сунул свой нос, разве только по какому-либо доносу.

Должен, впрочем сказать, что шансы не увеличились с тех пор, что в нашем доме поселился и распоряжается брат Руфа — Кайсер, оставшийся управдомом, — жуткий, глупый, вечно пьяный мужик из того десятка, которыми была полна жизнь в первые месяцы революции.

Вчера уехал за границу наш единственный, наш сын Кока. Я опасался, что момент разлуки будет очень болезненным, так как мальчик (ему 23 года) никогда надолго от нас не отделялся. И мы жили в самом тесном и сердечном общении. Не помешало этому обычаю и то, что он женился на особе вполне миловидной, не вполне «подошедшей» к дому. Постепенно мы привыкли к ее хорошенькому личику и к тихому (в нашей среде, по крайней мере) нраву. Однако проводы прошли без терзаний и слез, и даже глаза моей божественной Кулечки не увлажнились. Причиной тому было то, что нам слишком хотелось, чтобы Кока поскорее выбрался подышать воздухом Европы, а к тому же у нас надежда там его увидать не далее как через три-четыре месяца (а если верить Добычиной, которая вчера на вокзале шептала, что она нас отправит не позднее 20-го июля, тогда еще раньше). Здесь же за последние дни благодаря осложнениям с квартирной платой, вокруг которой возникла целая тяжба нашего соседа Тырсы, пытавшегося втянуть и Коку, и сериальными арестами, стало уж

больно неуютно. Наконец, помешало излиянию чувств еще и то, что слишком много набралось прощающихся. Как здесь, на квартире, так и затем на перроне Балтийского вокзала, так что получилась чрезвычайная суета и суматоха. Благодаря этому трудно было опомниться, как следует «осознать момент».

И в той же суматохе прошли без всякого заметного огорчения проводы моего старшего брата Альбера, отправившегося под присмотром Коки и в сопровождении своего сынка Алика в Париж, вероятно, без шансов вернуться, «влачащего ноги», вероятно от волнения, а, может быть, и от «дубовых» американских сапог, полученных из КУБУ, которые он с детским упрямством пожелал одеть в дорогу. Вдруг на полдороге по перрону он ослабел и не смог двинуться дальше. Пришлось его посадить на стул и так донести до вагона (оказавшегося «жестким»). Итак, в последний, вероятно, раз я слышал вчера днем его милую, веселую и талантливую импровизацию, то самое, что так меня дразнило и возбуждало в детстве, что было каким-то моим музыкальным солнцем, что в эти годы с 1920 знаменовало мне весну, так как с наступлением тепла Альбер решался проникнуть в свою запертую на зиму гостиную, где у него стоит его старый, видавший лучшие годы рояль! И мы не угостили старика перед его отъездом, мы не устроили того обеда с превкусным ризи-бизи, который был ему обещан! Теперь думаю об этом, и мне грустно, совестно, но вчера провожало столько людей (среди прочих знакомых и родственников — оба брата Келлера и вообще весь наш дом), столько раздавалось поцелуев, пожеланий, так все друг друга теребили, у Альбера был, несмотря на его слабость, такой счастливый вид, что у меня же екнуло сердце в решительную минуту третьего звонка…

129 лет назад наш родной дед тоже бежал от ужасов революционной жизни, но он в то время был полон молодости и сил, тогда как его внук возвращается хилым, дряхлым, абсолютно нищим и лишь сохраняя в душе характерную для нашей семьи черту: бодрость, какую-то органическую неспособность к унынию. Эта же бодрость — есть «безумие», в сильной степени присущее «правнуку», то есть Коке (он от матери еще унаследовал великий дар энергии и легкости и радостности), и вот почему мы с Акицей смотрим на отъезд нашего сына как на его спасение, как на известный шанс спасения. Для нас Кока при его талантах едва ли пропадет, а, может быть, спасет и нас.

Днем состоялось заседание в Большом драматическом театре. Из всех дебатов мы приняли одного Треплева (несмотря на безвкусное его изображение Поприщина. Он все же произвел некоторое впечатление). Протеже Марии Александровны

Верховенскую (урожденную Дондукову-Корсакову) провалили. Гиацинтова своим пронзительным голосом окончательно ее от себя отшвырнула. Да и ничего в ней нет ценного.

Как раз сидя на заседании днем в Болдрамтеатре, я от Н.Радлова узнал, что арестован О.Э.Браз. Все теряются в догадках относительно причин. Впрочем, что-то нависло над Бразом за последние четыре недели, и я из разных мест слышал, что до него собираются добраться. Одна из причин — просто его всегдашнее хвастанье своими приобретениями, другая — что он вошел в контакт с каким-то немецким (здесь, впрочем, легализированным) предприятием, поставившим себе задачи скупать художественные ценности для отправки их за границу (и опять-таки Браз этим иногда хвастал, а музейных деятелей, например Орбели, и подразнивал), третья — та, что он вообще слишком часто бывал у немцев, англичан, то есть у консула Кесслера и у консула Престона, в четвертых — что его даже подозревают в шпионаже. Последнее, разумеется, вздор, но на это как бы указывает то, что явились его арестовать ночью вчера с ордером как на него, так и на Лолу Эдуардовну, уехавшую неделю назад к детям в Германию, а также еще то, что квартиру не опечатали, ограничившись поверхностным обыском. Если бы тут были махинации, Ятманов, движимый непомерной ненавистью к частному собирательству, то, разумеется, квартиру опечатали бы с тем, чтобы произвести затем по какому-либо поводу и конфискацию вещей.

Наконец, Престоны, у которых я вчера обедал (не без чувства большого риска, хотя меня сам Кристи и убеждал поухаживать за англичанином Конвеем, в честь которого этот обед был дан), высказывают такое более на анекдот похожее предположение, что его запрятали специально ввиду этого обеда и вообще всего пребывания здесь Конвея, зная злой язычок Браза и не желая, чтобы он портил впечатление, которым этот член парламента и «личный друг Макдональда» здесь напитывается. Любопытно, во всяком случае, что запрятан в ту же ночь и другой приглашенный к Престонам «Василек» Струве (муж Е.Лопуховой), богатый человек, бывший промышленник.

Перед самым отъездом на вокзал явился Гаук. Заговорил о том, что все же предпочтительнее передать «Щелкунчика» Лопухову. Не спорю, но мне вообще все это так надоело, что едва ли я найду в себе сил заняться этой постановкой. Обсуждая театральные дела, Гаук проронил ряд мыслей, очевидно, отражающих созревшие за последние месяцы общее настроение в Актеатрах: не только предложено свыше «найти социологические (так!) подходы», но оные уже ищутся (Гаук, кажется, даже зачел у

Маркса и политграмоту), Леонтьев — и тот собирается переиначить царя Кандавла в желаемом духе! Курьезно, что тот же Гаук заявил Марочке, что «Щелкунчик» отменен, и это потому, что сказочные балеты вообще запрещены в СССР, а тему о социализации он развивал не без гнева и тут же прибавлял: «С волками надо выть по-волчьи!» Как все меняется. Уже не стал ли и Асафьев «позитивистом»? Говорят, в газетах на днях было сообщение, что Мейерхольду в будущем году поручаются постановки и в опере, и в драме. Для этого, очевидно, он приехал сюда гастролировать (Москве он, пожалуй, осточертел) и теперь этот супостат разрушает последние устои традиционной культуры и охаивает окончательно весь состав труппы посредством введения системы самого беззастенчивого угодничества. А Экскузовичу в объятиях «горькой» на все наплевать, да и он от «заветов» традиций (во имя которых он якобы брал бразды правления) теперь постепенно отказывается. Во всяком случае, нам в Актеатрах больше нечего делать: ни мне, ни Коке, ни кому-либо из «Мира искусства». Что не захватит Мейерхольд, то достанется всяким пошлым бездарностям вроде Утиных, Дмитриевых, Курилок, Домрачевых. И снова *радует* мысль, что Кока уехал.

На обед к Престонам я пошел после некоторого колебания: случай с Бразом напугал, а Акица отказалась (о Бразе она узнала на перроне от Добычиной). Однако не идти было бы слишком неучтиво (после того, что они сами на днях приезжали и приглашали. Тут я его и увидел в первый раз, ее я видел уже два раза у Браза и у Хайкина). К тому же я имел бы как бы официальное поручение от Кристи «поухаживать» за Конвеем. Живут Престоны в довольно унылом, с претензиями на богатство (лепные потолки и камины) особняке, построенном по английскому проекту для себя каким-то подрядчиком. Позади дома стиснутый между высокими брандмауэрами садик, из которого они собираются сделать лаун-теннис (у них двое детей семи и четырех лет, но я их не видел). Миссис Престон приятна и хорошо говорит по-русски. Он с виду очень юный, высокий блондин, с недобрыми глазами и некрасивым ртом. Сам о себе он заявил прямо, что он «интервенционалист», что он пытался, будучи в Екатеринбурге, спасти царя, что сам чуть не был расстрелян. Вообще же от его разговоров повеяло настроением 1917 года…

Напротив, Конвей — само благодушие, веселье и оптимизм. Типичный пережиток XIX века. Ко всему — легкая ирония. О работе правительства отзывается как о какой-то политической шутке, о своем приятеле Макдональде — как о милом, но

беспочвенном фантазере; большевизма с большевистской пропагандой не боится — английский-де здравый смысл всегда предохранит от эксцессов, а что денег на пропаганду столько идет, то это только польза Англии. Он первый готов ссужать большевиков средствами, благо они все притекут обратно. Слегка досадует на то, что снова в Европе разноголосица: не успела Франция вступить на путь известного либерализма, как в Германии обозначился резкий поворот вправо (впрочем, из националистического кабинета ничего не выходит и весь соглашательский состав Маркса снова остается). Мне он рассказывал о Берн Джонсе, с которым он немножко в родстве. С большой похвалой отзывается об его карикатурах (не ожидал). Кроме меня и Конвея, обедали супруги Вальдгауэры. Ее вижу в первый раз — это тучная, квадратная с умным лицом Валькирия. Оскар Фердинандович свободно владеет английским и в общем оказался, несмотря на свой беспорядочный и даже чуть грязноватый вид, просвещенным джентльменом. Обед был безвкусный (пересоленная спаржа), но обилие вин искупало недостатки. Выпив еще на прощание виски с содовой, мы разошлись. Прежде чем нас пропустить через порог дома, хозяин выглянул на улицу, удостоверился, что она пуста (было светло как днем), и только тогда нас отпустил после кока-колы.

До Поцелуева моста я сопровождал быстро шагавшего и как-то по-юношески восхищавшегося белой ночью и Новой Голландией Конвея, а там он уже один продолжил путь к Европейской гостинице. Он был в старомодном фраке, мы все в смокингах.

Вместо электричества подъезд освещался свечами, вставленными в хрустальную жирандоль. Грустно без Коки! Его вертлявая собачка Карла, или Тюлькина, — и та совсем приуныла. Каждое утро в 10 часов являлся красивый и милый мальчик с повязанной головой (для прически), веселый, бодрый. Всегда готовый на одолжения, восторженно нас давивший в своих объятиях и до увечья целовавший. Как-то Акица будет переносить разлуку?

Суббота, 7 июня

Первый день без Коки. Наши весь день сплошь были заняты перетаскиванием вещей из его квартиры. У нас получилась ужасная теснота, и каждая вещь говорит о нем: «Хороший мальчик!» В его уютной квартире уже идет сплошная и ожесточенная ругань между его соседом Федоровым и бывшим

дантистом Коли Албертовича — Александром Ивановичем, вселившимся в комнату Коки. Оба претендуют на угловую, круглую гостиную с балконом на Никольский сад. Наши наслаждаются. Кстати, Мотя — инвалид; третьего дня она себе обожгла руки, туша вспыхнувший благодаря ее неосторожности примус. Поэтому «нижняя» Тоня торчит у нас.

Утром пробую комплектовать декорации «Тартюфа» (уже в воскресенье я обещал ее передать для делания макета новому нашему театральному технику Лерману, бритому, гологоловому, остороносому, в круглом пенсне, господину, смененному от Таирова), но ничего не выходит из-за разбитости.

В 11 часов — на заседание бытового отдела музея в Доме Бобринских. Сычев делает доклад о своей поездке в Москву. Московские «налетчики» успели уже там намутить, представив самую резкую критику на петербургский бытовой отдел и требуя его ликвидации, но Наталья Ивановна Троцкая их требования нашла лишенными «государственного подхода» и не поддержала хранителей московских музеев, норовивших обездолить петербургские коллекции, дабы ими пополнить московские. К сожалению, обер-главный всего нашего ученого ведомства Петров оказывается тупым чрезвычайно, и дальнейшее трудно предвидеть. Разбирали и проект новых выставок, выработанный М.Д.Приселковым. Выдуманные им «чаепитие», «купеческий портрет» отметены, и теперь резкий поворот к выявлению фабричной культуры. Дельные замечания дал (похожий на Горького и на С.И.Шидловского) А.И.Заозерский, а заседавший с ним в первый раз Коля Лансере представил ка-кую-то ерунду, сочиненную его сотрудником Пазухиным. В 12,5 часа я поспешил на заседание Совета Эрмитажа, но таковое оказалось отложенным, что позволило подробнее заняться подготовкой к нему. На сей раз мои недальновидные коллеги вдруг прицепились к очень неказистой картине Прокачини из Гатчины и к еще менее казистому Солимене (св. Винцецо Феррари) и ни за что не хотят их уступить москвичам, хотя обоих даже им обещали. Крайним, колониальным патриотизмом и хранительской скупостью отличается Щербачева, которая начинает меня даже злить. Распустил?

Домой вернулся разбитый. К обеду Стип. На «Саломею» в Мариинском театре из-за настроения не пошли. Черкесовы провели вечер у Михайловых (жена Михайлова Анна Андреевна — урожденная Сомова — сестра моего друга К.А.Сомова). Вся семья собирается переселяться за границу. У Жени (сын Анны Андреевны) кончились всякие заработки. Костя Сомов сообщил, что выставка в Америке отложена до осени и что сам он едет в

Париж.

Оставшись вдвоем, вели длинный политико-философский разговор с Акицей на тему: «Всякая власть от Бога», одинаковая для всех доктрин в своей сути (общее благо) и в своем органическом развитии (пока система проводится в жизнь, она уже вся внутренне изменяется благодаря всяким компромиссам, уступкам или чрезвычайным насилиям), христианский индивидуализм и анархизм.

Тетя Лёля (кошка, так прозванная Татаном) мучается приближением родов и ищет себе подобие гнезда.

Воскресенье, 8 июня

Несчастный Браз! Вчера прошел слух, что его уже видели на улице, но это оказалось фантазией, а сегодня получена телеграмма от Лолы: Эдик умер от гнойного плеврита — их старший сын — Эдя. Мать подоспела как раз к последнему вздоху. Только что приходил Ф.Г.Бернштам посовещаться, извещать ли Осипа Эммануиловича и как бы ей дать знать об его аресте. Просто телеграмму не дадут сделать, а идти к Кесслеру при таких обстоятельствах я не решаюсь. Говорят, арестовано еще несколько лиц, бывавших в консульствах. Ох, безысходный, жестокий, глупый кошмар!

Вчера я сподобился увидеть «Лес» Островского, «33 эпизода», как это возвещается в световой надписи, проецируемой над сценой (пригодилась отделка консерваторного театра). (В первый раз использовал аппарат организационных спектаклей (чтоб не спорить в контромарочной ячейке, или тем паче обращаться к Мейерхольду), два кресла в восьмом ряду мне обошлись в 3 рубля 50 копеек. Доставал их для Эрмитажа один наш молодой служащий.) Пошла и Акица, но в первом же антракте, отсмотрев эпизодов семь, она выбежала до глубины души огорченная, воскликнув на Мейерхольда: «Какой подлец!» и про постановку: «Какая мерзость!» И ее чистое сердце ей подсказало истинную формулу — это «главным образом» подло. В «Рогоносце» есть хоть кое-какое остроумие в изобретении трюков. Да и самой пьесе — этой эстетически декадентской дребедени — «поделом», что ее так коверкают, наконец. Три связных акта еще возможно отсмотреть. Но здесь все выдумано, начиная с превращения Милонова в попа, снабженного золотыми волосами, бровями и бородой, кончая совершенно произвольным ухищрениями, удлиняющими каждую сцену до бесконечности[32], — все это вызвало одну тошноту, и лишь неисправимое «развратное»

любопытство дало мне силы досидеть до конца и скучать вполне на том, до чего человек мог дойти. Негодяй, испаскудил, унизил вконец и с каким-то циничным упоением понесет теперь остатки своего художественного и человеческого достоинства, пожалуй, как раз в последние сцены, от которых добрая треть публики уходит, так как не выдерживает. (Вообще зал был наполнен на две трети. Публика скорее чистая. Очень многие попадают по контрамаркам, платя всего 50 копеек за любые места, но для этого нужно стоять часами у кассы.) Смех далеко не общий и уже, во всяком случае, не раскатистый. Смеются, главным образом, «молодые» люди (последняя интеллектуальная формация), слепо уверовавшие, что это очень «здорово».

Впрочем, я слышал квазиодобрительные отзывы и от нашего Е.Г.Лисенкова (это уже категория передовитости Зубовского института, манера профессора Гвоздева и хитро улыбавшегося Замятина). Наиболее напитаны хамством, смердяковщиной особенно те, которые озаглавлены: «Будущий земской начальник» (француз-портной, прескверно имитирующий французский говор, одевает Алексиса), «Алексис готовится к балу» (объяснение с Несчастливцевым проходит под бездарно раскомикованное разучивание польки, причем непрерывно во всю силу бренчит рояль), «Жених под столом» (последнее объяснение Петруши и Аксиньи происходит при накрытом обеденном столе, под которым Петр и прячется при всякой тревоге) и, наконец, финальная «Пеньки дыбом, еще раз». Несчастливцев, расшвыряв все стулья по сцене, взбирается на стол и говорит, вернее, орет оттуда свой укоряющий монолог: «О, люди, люди!» И вот от этого монолога ни единого слова не слышно, так как в это же время военный оркестр играет туш, а Гурмыжская с гостями мечутся, в панике схватываются друг за друга, вокруг стола.

Публика, специально пришедшая, чтобы посмеяться выдумке горячо рекламированного прессой народного артиста, даже эта публика в этот момент растерянно в недоумении глазеет на сцену, что, однако, не мешает ей затем, когда «все кончено», одобрительно похохатывать, выражать благодарность аплодисментами. Вообще проблема успеха Мейерхольда очень любопытна. Московская Малиновская очень правильно характеризует его. Она сказал, что она все ждет, «до какой степени терпеть?». Это настоящая психология озорничества, без капли вкуса, при природной слепоте к сути изображаемых вещей (он это доказал уже в «Тристане», в «Дон Жуане» и в «Маскараде»), при неисправимой наклонности ко всему пошлому, плоскому. Этот человек одними чисто шарлатанскими приемами добился того, что ему теперь разрешили всенародно совершать

тягчайшие преступления против искусства, тем самым он разрушает основы бытия этого искусства. И добился он еще того, что газетная челядь лижет ему зад, тот самым наглым образом подставляет. Таким образом, при попустительстве суровой системы высоконравственных цензур идет бессовестное растление малых сиих, в самый тот момент, когда эти малые, наконец, «дорвались до благ культуры», до той самой культуры, до которой по излюбленному толкованию революционных людей их не допускало пресловутое «мракобесие царизма». Какой выверт! Какая истинная бесовщина! Какая ирония судьбы!

И все это построено на лести и на самых дешевых приемах заискивания. Когда-то Мейерхольдом был пленен конногвардеец Деляковский, а теперь с таким же успехом пленены всякие комсомолы, наркоматы, рабкоры, люди в кожаных куртках, люди, убежденные, что они являются самой солью человечества, носители полноты свежести, бодрости и чистоты, и неподкупности!

Пятница, 13 июня, Гатчина

Пишу утром за великолепным, николаевского красного дерева столом в просторной, воздушной, в настоящей помещичьей комнате. А я как раз занялся композициями, пропитанными помещичьими настроениями, так как читаю случайно здесь под руку попавшие «Воспоминания бабушки» (Яньковской), издание Благово, до сих пор мной не читанные. В соседней, огромной комнате в три окна, спит Татан с родителями, несчастный, с перевязанной головой. Играя с Катей, он вчера ударился со всей мочи об угол стола и раскровенил себе висок. Бабушка Акица и мать Атя до сих пор не могут прийти в себя. И действительно, жутко подумать, что бы могло случиться, если бы удар пришелся на несколько сантиметров в сторону.

Переехали мы во вторник, 10 июня, вечером, и благодаря тому, что здесь не оказалось хозяев (Макаровых), вернувшихся из города только на следующий день, мы почувствовали себя в первый вечер ужасно осиротелыми. Оказалось, что вода не идет (вот она — электроприслуга!), недостает ряда хозяйственных предметов. Мотю пришлось оставить стеречь квартиру. Здесь же пока приходящей прислуги не найти. Мы не дали до сих пор объявление. Но Татан, начавший во вторник проситься «домой», после первых двух прогулок, совершенных в компании Ди-ди (это я), Кати Серебряковой, которая должна у нас прогостить с месяц, и двух несколько «одичавших» детей — Коли Лансере (еще, к

счастью, Леля Лансере оказалась с детьми уже здесь. Она нас и пригрела на первых порах, угощая чаем и отличным творогом), после этих прогулок и ознакомления со всякими дивными диковинками: гротом-эхо, мостиком, прудами, крытым боскетом, а также всевозможным «зверьем» в прудах: личинками, пиявками, клопами, улитками (несколько экземпляров уже поселилось для создания аквариума в стакане), совершенно освоился и чувствует себя прекрасно. Я бы чувствовал себя тоже хорошо, не будь какой-то привязавшейся ко мне истомы, каких-то полуосознанных тревог (вопрос о квартирной плате все еще в периоде обсуждения в Петросовете), кажется, будет выгоднее отказаться от службы в театре.

Руф снова в периоде нежности, вчера сидел у меня час, расхваливая Коку, Юрия и т. д., и тут же стянул 5 рублей, вероятно, на пивную…

Вчера я ездил в город (поезд туда «ямбургский ползет» 1,5 часа). Отъезд оттуда около 2 часов.

В Эрмитаже работа по развеске картин XIX века в угловом зале идет полным ходом. Кажется, удалось использовать это невыгоднейшее помещение наивыгоднейшим образом. «Армиду» Жевра де Лэрсс помещаю в XIX зале. Там же постепенно сгруппирую всех Снейдерсов и Тенирсов, чем подготовлю окончательное использование этого прекрасного зала.

Сейчас все меня слушаются беспрекословно. Лишь М.И.Щербачева иногда гримасничает, но это я терплю, так как ценю ее усердие и довольно большие познания. Очень мил и полезен Паппе, с чисто сенатской выправкой сидит за работой Нотгафт. Вообще я могу только нахвалиться своим субалтерном. Идет своим чередом, и провожу описи вещам, полученным из Музейного фонда и других мест. И тут больше всего усердствуют трое неизвестных лиц. Напротив, Левинсон-Лессинг особенно пригоден как ищейка для всяких архивных проблем. Менее других способен И.И.Жарновский. Прежние «боевые боевики», генералы — оба Сидоровы, они ведают техникой дела и непосредственно руководят при развеске работами. К сожалению, старший снова отвлечен судом, куда его во второй раз вызвали в качестве народного представителя (или как это называется). Директор Тройницкий уехал на несколько дней отдыхать в Марьино.

В воскресенье, 8 июня, побывал у меня, наконец, Марк Философов. Он дал мне несколько практических советов в отношении регистрации. Но я все не нахожу минуты привести это скучное дело в порядок. Был у меня и г-н Лерман. Это странный фрукт. Он ученик Общества поощрения художеств, но в первые

революционные годы находился на службе у… Англии! В Архангельске! Рассказывал с негодованием, как бритты ограбили все запасы, как мизерно они помогали русским, как цинично уплыли, бросив все на произвол судьбы. Глубоко скорбит Лерман о гибели своего тогдашнего начальника Костанди, в искренности смирения которого после сдачи он не сомневается и который все же после года заключения был расстрелян большевиками. Вообще же Лерман оказался квасным патриотом. Все заграничное хает. Выше Петербурга ничего нет на свете. Бывал в Париже, но ничего в нем не понял. В его рассуждениях относительно технического воплощения моего эскиза к «Тартюфу» (за эти дни я его закончил) все восхваляет, но мне теперь особенно в связи с впечатлением жалкой осиротелости, которую имеют мои вещи на выставке, все кажется, что я далеко нечто совершенно никчемное. Я усмотрел порядочный дилетантизм и оттенок шарлатанства. Ну, увидим! (Приглашен он нашим театром под впечатлением удивительной оборудованности постановки «Человека-четверга». У нас он сейчас примется за радикальное переустройство конструкции «Бунта машин».)

В прошлую субботу (7 июня) состоялось экстренное заседание эрмитажного Совета на предмет окончательного санкционирования отдачи Москве тех вещей, которые уже прошли через наше «галерейное совещание». Джеймс [Шмидт] выступал защитником незначительности картины А.Остаде (он о ней когда-то писал и ее где-то упомянул Боде), препотешно путал и, наконец, сдал свою позицию. В общем же все сошло гладко. Совет высказался (по моему наущению) против отдачи «Несения креста» Тициана. Зато согласился на Ессо Хоме против 2-й лавки Снайдерса (мы отдаем ту прекрасную, которая идет из Яхт-клуба), против Камилло Прокаччини (из Гатчины). Тройницкий считает необходимым, чтобы я сам вместе со Шмидтом отправился в Москву отстаивать эти уже полуобещанные вещи, а заодно и наметить компенсации. Кстати, о последних П.И.Нерадовский составил длиннейший список (обсуждавшийся в Художественном совете Русского музея во вторник) таких наших заявок… и рассчитывает все эти (иногда очень знаменитые) вещи получить, используя разгром Румянцевского музея (превращенного в Дом Иванова) и Цветковской галереи (превращенной в Музей рисунка).

Вечером в воскресенье, 8 июня, были у меня Дибров, супруги Сушкевичи (она в светло-желтом, но темном парике после болезни, который ей скорее к лицу) и Володя Попов. Милая провинция! Сдуру показывал им свои этюды.

В понедельник, 9 июня, навестил Надежду Евсеевну. Она сама

просила. Застал хворой. Какие-то кровоизлияния в деснах. Странная ангажированность: «Уезжайте, уезжайте поскорее!» Но почему такая спешка, я так и не понял. Скорее дело ввиду полного застоя в делах и ее сознание, что она не в силах мне помочь. До сих пор мои акварели стоят у нее непроданные, и шансов на продажу мало…

Впрочем, все же убеждает зайти еще в конце недели. По поводу Браза бесчисленные предположения. И вообще каждое третье слово — ГПУ и Мессинг, которого она называет по имени и отчеству — Станислав Адамович. Рассказывает, будто она в его кабинете нашла донос на Коку («Ох, нехороший у вас двор!»). Но кто автор доноса, так и не сказала. Скорее всего, это она сочинила, но кто ее знает? Во всяком случае, Кока теперь вне пределов досягаемости.

Получена открытка от него из Ревеля. Сидят в кафе, детину Берту водворили в «калошу» (пароход). Через три часа отплывают. На границе их *раздевали*, что тоже «очень не понравилось» Добычиной и что является подтверждением ее стращания! Когда я высказал сомнение, отпустят ли меня, пока Кока там, она только рассмеялась. При всей «своей мощи» она, тем не менее, в ужасе от угрозы перерегистрации вещей. Тут я сколько мог ее успокоил.

Вечером, в понедельник, 9 июня, были Нотгафты. Они остались очень довольны теми акварелями, которые я им отобрал на промен за старинные рисунки. Но на что мне последние! В связи с мыслями об отъезде, с непрочностью всего здешнего, — ощущение суетности стало отравлять все мое существование. Тревожные сведения с запада. Вернулся какой-то знакомый Нотгафта и рассказывает, что в Берлине *чудовищная* дороговизна. Товары из Англии, несмотря на пошлину, и те дешевле местных. Ежедневно слышно про новые разорения и банкротства. Казна поддерживать и кредитовать промышленников не в силах. Очень тяжело ощущается бойкот СССР, так как вся эта главная торговля происходит с нами. «Виновник» нападения на торгпредство был, несомненно, провокатор. Никакого боя не было, ничего не взламывалось, представитель полиции пришел в последнюю комнату, открыл определенный шкаф и из него изъял всего один портфель. Предполагают, что там были документы о функционировании в Штутгарте большевистского ЧК. Бедламом отдает от того, что творится во Франции. Мильеран разразился мотивированным посланием к палатам, в котором ссылается на присягу Конституции, мешающей ему подать до срока в отставку. В том же послании, или в каких-то беседах, он предупреждает об опасности воздействия партии на главу правительства. И после

этого вчера сообщается, что он в отставку подает, что уже в пятницу (то есть сегодня) состоятся в Версале новые выборы президента. Итак, началась чехарда, первый сдвиг сделан, а там постепенно и вся машина разлезется. Какую-то уродливую и подлую игру ведет Эррио, о котором я всюду слышу, что он неверный и пустой человек. Сейчас он спрятался в кулисы. Сформировывает частью из бывших министров Пуанкаре, кабинет Марсаля уже себя раскассировал. Какой курс возьмет государственный корабль, трудно предугадать, но едва ли фашистский. На что Франция слишком раздобрела. А если не фашизм, то через год или два — коммунизм, и с более болезненной ломкой, чем здесь. Сказать кстати, и в Италии идут бои между правоверными фашистами и диссидентами. В Албании новое восстание. Уже не разожжет ли это пожар? Боевые способности Румынии (в которую вообще с трудом веришь) надорвались чудовищным взрывом снарядов в Бухаресте, случившемся недели две назад.

У нас чествуют Пушкина. Курьезная статья «Почему Ленин любил Пушкина». Маяковский — и тот дал свое высочайшее одобрение: брат-Пушкин. Ох, как пахнет в воздухе Хлестаковым! В «Ленинграде» ужасные репродукции с моего рисунка.

Вторник, 12 июня

В «Правде» в фельетоне очень характерная жалоба какого-то Шустера с приведением цифр всех тех поборов, которые ему назначили за полугодие. В каждом номере неистовые призывы бороться с частной торговлей. Новый термин «сенновец» — это значит торговец с Сенной и олицетворение всякой мерзости.

Тяжела военная междоусобица, но едва ли не еще губительнее такая — мирная. Возобновились с новой силой расстрелы и убийства (власти радуются, что все 100 % преступлений раскрываются), и самоубийства. В поезде слышишь, как бабы между собой горячо жалуются на то, что безбожники совращают детей. И тут, разумеется, типичные, чисто русские уступчивые оговорки. Читаю Благово, наслаждаюсь эвокацией прошлого как такового, но и тогда Россия была смесью хамства, жестокости, глупости и баснословного самодовольства.

Суббота, 21 июня

Серое утро в Гатчине. Со вторника 17 стояли райские дни (из

них два — вторник и пятницу — я провел в городе). Напротив, в Троицу[33], 15 июня погода была мрачная, холодная и вечером, даже несмотря на стужу, разразилась гроза. В Духов день (16 июня) — тоже неважно, почти всю неделю я томился желудком (все из-за творога), но теперь поправился и уже ем все.

Новое размещение нашей здешней квартиры. Мой кабинет переехал в нашу бывшую спальню с окнами на север, наша спальня, устроенная в большой комнате — бывшей Черкесовых, из спальни рядом. Таким образом, я получил успокоение от Татана и других домашних шумов и теперь могу заниматься. Это сразу сказалось в том, что я написал вступительную статью о коллекции С.С.Боткина, свой взгляд на судьбы дворцов-музеев (по требованию плановой комиссии) и большое письмо Ятманову (по его просьбе) о московских домогательствах, имея в виду, что он заручился обещанием секретаря Ленинградского исполкома Комарова (которого он даже затащил в Русский музей) поддержать нас в ленинградском Совете. Кроме того, я сделал несколько набросков в «собственном саду» и во Дворце, куда я повадился ходить один, наслаждаясь тем, что могу спокойно и, предаваясь своим мыслям и настроениям, обозревать его как вздумается. Однажды я совершил такую прогулку с Макаровым и Шмидтом (его смешная семья тоже переселилась сюда: папа с вечной каплей у носа, Мата и дочурка).

В среду я занялся мерой комнаты по диагонали, в которой Коля Лансере не мог жить из-за шума, доносившегося снизу из месткома. Желая познакомиться с «кубатурой» свободных помещений, в которых можно было бы расположить историко-портретную галерею. Заодно смотрел всякие картины, могущие послужить пополнением Эрмитажа и Москвы. Продолжаю считать Гатчину вполне подходящим для портретной галереи местом, но все же места здесь недостаточно, чтобы вместить и военные картины Зимнего дворца. Видимо, им все же придется отправиться в Артиллерийский музей в Кронверк… Иногда мне просто хочется эти картины снова повесить на старые места и по возможности восстановить всю унылую обстановку этой анфилады в качестве «исторических комнат».

За эти дни во внешнем мире случились разные события, их которых всех нас больше всего поразила гибель прелестной и высокоодаренной Лидочки Ивановой, поехавшей кататься на моторной лодке с каким-то коммунистическим мальчишкой (она имела склонность к таким авантюрам). Принявшись охлаждать слишком перегревшуюся машину, компания не заметила, как на них налетел буксир. Погиб и инициатор прогулки, остальных вытащили. Тело Лидочки не найдено, и почему-то меня

преследует кошмарное предчувствие о том, как он теперь носится под водой в последнем эксцентрическом *танце*. Курьезно, что я узнал об ее смерти (от Экскузовича по телефону) в том самом кабинете Бережного, в котором я вообще почти никогда не бывал, но в котором я последний раз и встретил Лидочку за несколько дней до того, как всегда дурашливую, мило ломающуюся, очень хорошенькую в своем полосатом летнем платье. Хорошенькой она казалась несмотря даже на свою глупую манеру густо и совершенно размалевывать свое детское, чуть кукольное личико. Балетный мир безутешен, ибо она была самой талантливой, самой трудолюбивой, вообще самой обещающей среди молодежи.

В политическом мире явных больших перемен нет. Президентом (в прошлом пятилетии) избран Думерг. Это здесь комментируется как шаг назад, но достаточно и того, что вообще «ушли» Мильераны и консервативный принцип Конституции надорван. Эррио уже сформировал кабинет, но «наши» волнуются. Заподозрив, что признание СССР останется только в виде программной речи. Немцы льстят себя надеждой, что ослабнет удушение их победителями. Однако скорой перемены в отношении Рурской оккупации не предвидится. Переговоры в Лондоне до бесконечности затягиваются. Некоторые политиканы комментируют это в очень невыгодном для большевиков смысле: они-де приперты к стене, это «крышка» и т. п., но разве может быть «крышка» для доктринеров? Хотя бы все вокруг погибло, но раз *они* живы и могут насаждать свои идеи, они не считают дело проигранным. А к гибели мы, интеллигенция, и вообще все, что не правительство, действительно идем равномерно и неукоснительно.

Безденежье общее, полное, всякие дела останавливаются, хиреют и кончаются. То ли здесь виноваты налоги, то ли общая придушенность, создается новая форма нашего паралича, но факт тот, что у всех ощущение безысходности, а в связи с этим какое-то странное ко всему безразличие. Масса народа (все последние торговые и предприимчивые люди) выселяется за границу. Странное дело, мы же, несмотря на покупку акварелей Добычиной, находимся все еще в стадии пустых посулов раздобыть деньги. Был я за это время у нее два раза, у нее якобы цинга, якобы от недоедания. Мне отбытие в Европу еще не рисуется в соблазнительном свете. Лучше здесь в несколько месяцев разориться и кончиться, нежели там идти на унижения (вспоминаю с омерзением отношение Сережи Кохно, Кокто, Валички, в сущности, Стравинского) и на медленно жалкое умирание. Ну да увидим, что напишет в ответ Ида (ох, и работа с ней меня вовсе не соблазняет!) и что будет писать Кока. Наш

чудный мальчик уже в Париже. Получили от него вторник открытку из Ревеля, а вчера две открытки и длинное письмо с описанием морского, вполне благополучного переезда.

Тут удручение. Марочкины поручения, касающиеся распределения и распродажи оставшегося ее барахла, уже водворенного в нашу квартиру (часть же расхищено их прислугой, летом отбывающей в деревню, и, вероятно, многими другими, входившими в их комнаты). Квартиру снял какой-то «нэпач» из Винторга, с которого Руф собрал 15 червонцев за одно право въезда. Но до этих решительных мер в продолжение пяти дней из-за этой квартиры шел ожесточенный спор между Александром Ивановичем Мартыновым — бывшим денщиком Николая Альбертовича — и Федоровым. Дошло почти до ножовщины, а затем оба вдруг отказались, испуганные назревавшим новым законом о квартирной плате, поехавшем теперь на утверждение в Москву.

Благодетельное, оздоравливающее действие Гатчины сказывается в том, что от меня подобные вопросы как-то отъехали, потеряли свою тревожность. Отъехали и все мысли «категории Браза». Впрочем, сам бедный Браз сидит, и Добычина мне по телефону сообщила, что он арестован по распоряжению самого Мессинга, который ей не счел нужным раскрыть повод к аресту, а лишь высказал род недоумения: с чего это Браз что-то сделал, не то по наивности, не то по злому умыслу. Но пока недоумение выясняется, Браз должен томиться. Думаю, что я не ошибусь в моих догадках. Все дело в его «дружбе» с г. Ярмоленком, которого или заподозревают в шпионаже, или который, чего доброго, и впрямь шпион.

Лаврентьев с Марианной, Н.И.Комаровская и другие из Большого драматического театра отбыли в четверг, 19 июня, в Крым. За несколько дней Марианна всех напугала — вдруг остро захворала желудком, пришлось даже отложить отъезд на неделю. Лаврушу я «убил» предупреждением, что, быть может, из-за моего отъезда в Париж пришлось бы отложить «Тартюфа». Еще более его огорчили Музалевский и Мичурин, вздумавшие принять приглашение, переходя в 1-ю студию. Но это обошлось, ибо в последние минуты сами студийцы отъехали. По этому поводу у меня было объяснение с Музалевским, старавшимся себя обелить жалобами на деморализацию, воцарившуюся в театре в связи с появлением «мальчишек» (Шапиро и его помощники) и с растлевающим влиянием Хохлова. Вообще же я сам переживаю своего рода очень болезненный кризис в отношении театра и моего участия в постановках (от «Щелкунчика» я уже твердо решил отказаться) в связи с тем взрывом (искусственным и чисто

снобическим, но все же *действующим* на меня) «мейерхольдизма», который обюрократился за последние недели. Хотел было об этом писать, но уныние обуяло при мысли, сколько ученых и претенциозных гусей я раздразню (ох уже эти мне умные статьи Гвоздевых, Стрельниковых и прочих пошляков!) и что придется ввязаться ними в очень *опасную* (раньше и понятия о таких страхах не имел) полемику. Пропадает и вкус что-либо воплощать, ибо заранее знаешь, что тебя осудят, обдадут презрением, как строго ненужного, выдохшегося рутинера. Ведь до подлинных переживания и эмоций, до всего того, что нам было дорого, никому теперь нет дела.

Так, например, на выставке «Мира искусства» в Аничковом дворце бывает три-четыре человека в день, и, разумеется, не только ничего не продали, но никто не интересуется о ценах. Сказать кстати, в Обществе поощрения тоже полный застой. Цены на хорошие книги в копейках. Хрусталь начала 1840-х годов и за 3 рубля не может найти себе покупателя. За мое «Царское село…» один букинист предложил… 3 рубля. А я так иначе не мыслю и не могу мыслить сценическую постановку литературной уже существующей пьесы (о совершенно поверхностных вещах я не говорю), как в духе авторской мысли и с воссозданием по возможности той психологии и настроения, которое положило создание данного произведения. Впрочем, авось еще раскуражусь и напишу.

За это время прочел, кроме «Рассказов бабушки» (пересказ Д.Благово того, что ему сообщила его почти столетняя бабушка Елизавета Янькова, урожденная Римская-Корсакова), отрывок воспоминаний (на французском языке в копии неизвестной рукой, найденной Макаровым среди гатчинских бумаг. Он слышал, что оригинал где-то ходит по Москве) фрейлины Тютчевой — дочери поэта и отрывок (Крымская кампания, крестьянские реформы) из записок Ф.П.Литке, начатое мной чтение еще два года назад, сейчас принялся за письма императрицы Марии Федоровны к ее матери, найденные в здешних бумагах и уже стараниями Макарова переведены с датского, 1874, 1875 и 1881 годы. Особенно сильное впечатление произвела Тютчева, все ее отношение к мелочной суете и к праздности Двора, очень явственно обрисована жизнь Николая Павловича, который «плачет, как баба» при получении утешительного известия из Крыма и который оказывается полон нерешительности, колебаний[34]. Зато умереть он вздумал с необычайным достоинством (гипотеза яда как будто устраняется совершенно), не теряя сознания до последней минуты, даже трогательные распоряжения (всегда все чуть по-актерски) и т. д.

Очень эффектно, серьезно появление Нелидовой в большом коридоре, где ждали придворные рокового момента. Сведения записаны, очевидно, из уст Марии Александровны, к которой у Тютчевой был пламенный и как будто вполне искренний культ (дневник ее полон такой критики Николая, которая доказывает, что она не имела желания, чтобы его кто-либо прочел) и которая в ее изображении представляется почти святым, но скучным и безжизненным существом. Курьезно, что в качестве вечерней лектрисы (во время томительного для молодого двора осеннего пребывания в Гатчине) Александр II попеременно с фрейлинами читал романы о директории.

Недовольство Николаем и *разочарование* в нем стало с первых же дней Крымской кампании общим и не миновало придворных кругов. Папа Тютчев был ярым «царь-градистом» и «брандукшистом».

Понедельник, 23 июня

Кислейшие настроения. Все ожидал чего-то. Удручен вздорожанием. В субботу получил 65 рублей из театра за весь месяц, но 10 рублей должны были оставить Моте, здесь. Хватит на 5 дней! И никаких перспектив. Впрочем, сторожа здесь в этот месяц получили по 3 рубля. Макаров получил 100 рублей, и столько же, скрывая от нас, Тройницкий. Это прибавка… по секрету от Акцентра.

Ночью вчера прочел статьи о театре и даже кое-что, пользуясь бессонницей (от света окна без занавески), записал на форзаце «Идиота», но затем написал пять страниц. Видел, что топчусь на месте. Трюк-то мил, а содержания настоящего нет, не знаю, что сказать, и [не] умею говорить по-нынешнему.

Вечером вчера нудный разговор с Акицей на тему о нашем отъезде, о невозможности что-либо захватить из коллекции. Совсем раскис, живо себе представляю новые все мытарства и хлопоты здесь — насколько там я некстати, более забытый за эти восемь — десять месяцев, нежели в прошлом году, когда приподнялась радость друзей меня увидеть после стольких лет. А потом и увидать, и восчувствовать таможенных мейерхольдов, гвоздевых, мокульских, кузнецовых и тутти кванта. Благодарю покорно! Но, увы, здесь тоже нельзя оставаться. Деньги за проданную на выставке в Мальме картину «Итальянская комедия», за которую было получено (после десяти лет!) в Париже 400 долларов, кончаются, и никаких дальнейших перспектив. Ох, тяжко. А покамест «видимость жизни»,

«декоративная сторона» — самая прелестная. Особенно здесь, в Гатчине — чудные дворцовые комнаты. Богатая, солидная мебель (Татан даже спит в старинной прелестной детской кровати, я уверен, служившей когда-то Александру II. Случайно затерялось ее происхождение), роскошный парк, простая, но обильная и вкусная еда. Еще свою [руку?] приложила к моему расстройству Зина Серебрякова, гостившая два дня и вчера утром уехавшая. Она все говорила о своем отъезде, и для этого она должна реализовать что-либо из своей обстановки. Но все вещи у них ломаные, да и никому по нынешним временам не нужны, например, комод XVIII века, картина Скьявоне (XIX). Ведь это то, что *никто* сейчас не покупает. Да и все ее разговоры всегда такие нудные.

Пошел вчера вечером с Атей развлечься в синему по совету Макарова — «Человек без имени», было очень занятно, но картины скорее меня как-то расстроили. Беспокоит еще и та мысль (после совершенной третьего дня вечером с Макаровым, Зиной и Юрием прогулки к Приорату, где теперь экскурсионная станция и пятьдесят чистых кроватей, ожидающих прибытия каких-то студентов), что Макаров ожидал от меня каких-то докладов, лекций. Я уже не способен на это абсолютно. Как же мне «тогда оплачивать ему» за его благодеяния? И бывают же счастливцы (бывали прежде здесь!), знающие на практике, что такое независимость!

Среда, 25 июня

Два дня, понедельник, вторник провел в городе, пришлось переночевать из-за заседания плановой комиссии, но не жалею. Заседание оказалось более оживленным и легкомысленным, нежели обыкновенно бывают. Председательствовал Ятманов, сразу нас порадовавший тем участием, которое высказал исполком к нашим музейным тревогам из Москвы — результат прочтения моего «письма» (не знаю, читал ли он в исполкоме самый мой текст или только использовал его для своей речи). Тем не менее, и несмотря на признание исполкомом необходимости сделать все зависящее для четырех особняков (тогда как Москва настаивает на ликвидации Шуваловского и Юсуповского, напрямую выражая, но пока еще не в официальной форме, Троцкой, с целью использовать заключенные там коллекции для Москвы), как дошло до обсуждения вопросов, как быть с Юсуповским и Шуваловскими дворцами, неожиданно ужасную чушь понес Ерыкалов (это стало его специальностью за последнее

время), вздумавший рекомендовать размещение юсуповских коллекций в «общипанном» Архангельском, с верностью себе Исаков был в оппозиции и, разумеется, в качестве верноподданного за Москву. Были прочитаны и пассажи из моего доклада, касающиеся этих двух дворцов, что расчистило как-то вопрос.

Наконец все как-то примирились на компромиссном предложении, высказанном Удаленковым, спасти Юсуповский тем, что туда перевести весь музейный фонд из Новомихайловского дворца и отдав на эксплуатацию театр. Галерея, да и весь дом в целом, таким образом, хотя бы на время спасены, а там авось что-нибудь еще подвернется, экономические условия улучшатся и т. д., и останется по признанию возможным изъять из галереи несколько картин, которые могли бы пригодиться как для Москвы, так и для Эрмитажа. Вопрос о Шуваловском больше связан с вопросом (тоже на повестке) о возглавлении особняков бытовым отделом. Сам тезис был сразу оспорен Тройницким (мол, как же поручить возглавление учреждению, только что заявившему полную свою несостоятельность, и настолько даже, что сам заведующий И.Фармаковский счел нужным отказаться от своей должности). Однако в дальнейшем между ним и Сычевым завязался спор, в котором [Тройницкий] выступил неожиданно защитником инженерного сохранения всего содержания дома (кстати, о смерти владельца еще никому неизвестно. Ложный слух распространяется благодаря появлению какого-то племянника Елизаветы Владимировны Шуваловой — кн. Барятинского), хотя бы ценой отказа от него Русского музея, и [предложил] передать его Эрмитажу. Опять благодаря моему докладу и разъяснению ценности Шуваловского дворца эпохи русской романтики — постановили его сохранить при предоставлении частичной эксплуатации, но при изъятии ряда первостепенных предметов. Таким образом, как будто еще на некоторое время эти два особняка сохранены. Выбрана еще по моему предложению комиссия для обсуждения использования и так называемого Юсуповского дворца. Увы, кажется, в нее вошел и Исаков[35].

В понедельник происходило обсуждение новых штатов по Эрмитажу. Повышены до ранга помощников хранителей Паппе, вполне заслуженно своим бешеным усердием, Доброклонский, до ранга реставраторов — Альбрехт и Ник. Сидоров. Великая обида Щербачевой, что ей ничего не перепало. Шмидт, оказывается, в наше осеннее отсутствие перевел ее и всю фототеку из отделения библиотеки в наше Картинное. Но об этом нет нигде и следа какого-либо постановления. Тройницкий сейчас переживает

очередное увлечение. (М.И.Максимовой. По его мнению, это настоящая Сибилла!) Женщина она действительно толковая, спокойная, мужественная. Ко мне как будто благоволит.

Мне пришлось вчера написать пространные отзывы относительно шести дрянных картин, забранных идиотом Жарновским из ГПУ, относительно которых нынче это учреждение пересмотрело дела их владельцев: затребовало мнение — музейного или нет значения? Еще теперь выдут неприятности (зачем тогда брали в Эрмитаж?). Дал я (на основании Гиманса) отзыв о нашем портрете сэра Грэшема, писанном (Антонисом Мор ван Дасхорстом), вследствие запроса от Троцкой, не согласился бы Эрмитаж отдать этот портрет в Лондон, откуда, очевидно, в расчете на наше невежество пришел запрос о таком пожертвовании, если я не ошибаюсь, для помещения портрета в Лондонской бирже (строителем которой, как известно, и был Грэшем).

В понедельник, 23 июня, был еще у Экскузовича и у Добычиной. У первого мне все же пришлось антишомбрировать, по крайней мере, полчаса, но в «приятном обществе» Женяки, Тиме (на что она стала похожа! И одета кое-как!), Гердта, Гаука, Корчагиной, Ершова. Почему-то «мой друг» М.Дарский вежлив со мной, но с явным подчеркиванием, что желает остаться в «границах официальных отношений». Или это его отравляет микроб хамской стати, присущей всей театральной дирекции, когда-то так грубо выразившейся в Крупенском, в Дягилеве, а еще недавно в Б.А.Ива-нове, товарище Дарского, ныне оставшемся в единственном числе.

Экскузович меня встретил с театральным пафосом, но, как я и ожидал, ни к чему путному наш разговор не привел, на «Щелкунчике» не настаивал, но вдруг импровизационно возложил на меня поручение поискать что-либо за границей. Он мне сейчас же и деньги вышлет на покупку «материала» (ни минуты не сомневаюсь, что это одна брехня), совершенно полагаясь на мой выбор. Что же касается пьес в Драмтеатре, то он мне на днях пришлет одну из выбранных на последнем заседании (уже не исключен ли я снова? Что-то повестки не получаю!), которые мне незнакомы. Авось я остановлю свой выбор и на одной из них (разумеется, ничего не пришлет).

Но как будто его гораздо больше интересовал вопрос, когда вернутся Кока и Марочка. С этого начался наш разговор (в очень тревожном тоне), и он выразил большое изумление, когда я ему напомнил, что Кока уехал на четыре месяца, во всяком случае, Марочка должна быть обратно к началу сезона, он ее насильно спас от сокращения, но, разумеется, если она не явится, то

вторично это ему не удастся. Уж не пришел ли к нему какой-либо запрос, основанный на доносе свыше?

Что тут имеется что-либо в этом роде, подтверждает и беседа с Добычиной (у нее якобы цинга, она уничтожена *позорностью* такой болезни). Передала свою беседу с Мессингом, содержание которой она мне сочла нужным передать во всех подробностях (на сей раз я поверил, что действительно это была *беседа* и что велась в этом тоне). Началось со слов его: «А Вы уверены, что сын Бенуа вернется?» — и даже высказал сомнение, вернусь ли я, если бы они меня отпустили. Добычина будто бы ответила так: официально я, разумеется, вам отвечу: да. Разве я от вас с глазу на глаз скрывала, что Бенуа вернутся? Но только тогда, когда здесь условия окажутся более достойными Александра Николаевича! В общем, она делает вид, что продолжает быть уверенной в том, что меня выпустят, хотя бы Кока еще к тому времени не вернулся. Но и она уже намекнула на то, что не мешало бы Коку уведомить о разговоре с Экскузовичем, видимо, внутреннее обеспокоена, как бы для моего отъезда не явилась бы препятствием его отлучка. Снова был повторен разговор, как она разорвала донос на Коку в присутствии Мессинга, и на сей раз этот рассказ показался мне более убедительным.

Впрочем, может быть, недели через полторы я сам увижу Мессинга (сейчас он в отсутствии, объезжает округ). Она настаивает, чтобы я шел с ней к нему, дабы ему подтвердить характеристику Браза, сделанную ею («Он Вам скорее поверит, чем бабе»), и тогда я смогу сделать свои наблюдения над ним и выяснить его отношение к ней. Мессинг продолжает быть *уверенным* в *виновности* Браза (числящегося за политической контрразведкой), но до сих пор не может себе уяснить, «было ли тут легкомыслие или злой умысел». В чем именно он обвиняется, он не желает говорить. Еще спросил Мессинг Добычину: «Что это, вся семья Бенуа собирается выселиться за границу?» На такое предположение его натолкнуло то, что и Кися Воинова, и Шура Дорошевская (обе урожденные Мейснер) подали анкеты о выезде, проставив в графе своих родственников, оставленных здесь, нас (вероятно, Леонтия, который у них действительно единственный здешний родственник). Кися не пожелала последовать за мужем, сосланным в Нарымский край (несмотря на то, что никаких прямых обвинений ему не предъявлено).

Вчера пришлось написать письмо в редакцию вечерней «Красной газеты», в которой появилась идиотская заметка о перегруженности русскими вещами европейского художественного рынка, якобы с моих слов, полученных из-за границы А.Н.Бенуа, и, разумеется, имели в виду меня, а не

Альбера, который не мог успеть прислать такую информацию, да и совершенно невозможно, чтобы он, сидя в Шавни, мог собрать подобные, явно меня компрометирующие сведения. Юрий отвез это письмо в редакцию, где Иона Раф. Кугель выразил крайнее свое возмущение на автора заметки. Увидим, поместят ли мое письмо?

В газетах интересен «процесс савинковцев». Господи, сколько людей этот истинный дьявол загубил! Но, верно, он действительно обладает большим шармом, если, несмотря на все свои явные мерзости и на все свои абсолютные неудачи, ему все же верят, он же все же что-то организует, путает, над чем-то властвует. И неужели этот несчастный Дима Философов все еще при нем? Уж нет ли под этим половой влюбленности, игравшей во всех «головных» увлечениях Димы очень большую роль?

Меня вчера в Эрмитаже посетил Чехонин, затем проводивший меня до дому (до чего наш дом сейчас блещет своей новой окраской). Квартирная плата оставлена пока прежней, не решаются власти провести «ленинградский проект» — все откладывают обсуждение его. Я должен был его оставить обедать (подошли еще Юрий и Стип) после того, что он поднес свою книгу с трогательной дидакцией и внутри со вклейками двух оригинальных набросков к переплету моей «Истории живописи». Тоже собирается зимой переселиться в Лондон. Рассказывал, как провезти свои и коллекционные вещи (он недавно выменял за свои рисунки великолепную картину Ш.Жака), и был крайне смущен, когда я ему рассказал, до чего это все сложно и трудно (он, кажется, собирался свои эмали просто провезти в карманах). До сих пор своих коллекций он не регистрировал, но, по словам Марка, Ерыкалов готов на это смотреть сквозь пальцы. Я вчера покончил с добавлением к регистрации моих вещей. Марк уже прослышал, что Рыков в Москве подписал декрет (против которого очень боролись и Ятманов. и Ерыкалов), согласно которому все коллекции деятелей КУБУ (иначе говоря, всех ученых и художников) рассматриваются как их подсобный материал и учету не подлежат.

Кончил читать письма Марии Федоровны. Ужасное впечатление от убийства Александра II. Особенно по контрасту с негодующим отчаянием той второй молодости, которую государь переживал благодаря женитьбе на Юрьевской.

Теперь читаю автобиографические записки Шлётцера, от которых в восторге Стип, кажется, потому особенно, что он в нем как бы видит себя. О гибели Лидочки Ивановой новых деталей нет. Дарский и Экскузович как-то странно отмалчиваются. Но Экскузович негодует на того коммуниста, который был в лодке и

уже через два часа после катастрофы сидел в оперетке. Но про того же жуткого хулигана ходит версия, будто он хвастался, что, вылезая из воды в лодку, он ногой со всей силы оттолкнул товарища, вцепившегося в него. Может быть, это и была Лидочка?

Пятница, 4 июля

Чудесное утро. Но это только второй день столь хорошая погода, а то все лил дождь, свирепствовал ветер, были и две грозы. Обе я пережил в городе: одну у себя дома (Мотя прибежала от страха), одну с градом во время заседания в Юсуповском дворце (на площадке лестницы).

Все как-то не удается записывать, впрочем, вообще бездельничаю, слоняюсь, чувствую себя утомленным, никчемным. Этюдов настоящих не делаю, отчасти сказывается неуспех выставки, а так иногда что-то в парке и во дворце без убеждения и выдержки «начинаю» рисовать.

Общее же настроение чуть поправилось после того, как в прошлую субботу у меня побывал Кёнисберг с женой и он купил две акварели (повторение Марли и вариант Пушкина) за 200 рублей, что позволило отсрочить размен долларов, коих у нас остается всего 182.

Он же, Кёнигсберг, подарил Акице зонтик и парижские духи и красивый чайный сервиз Гарднера, после чего сам же заявил, что этой дряни больше покупать не станет, ибо русский фарфор за границей ничего не стоит. Однако, видимо, вообще он своей покупкой доволен, хотя были и разочарования. Так, за готический складень ему давали всего половину того, что он просил, да и бразовский Гюбер Робер не произвел должного впечатления. За Фетти (одна из «притч») ему дали не так много, но картина имела огромный успех у Фосса и у его ассистентов. Еще больший от так называемого Мазолино, оказавшегося, по мнению Боде, Сассетой (и мое мнение). Эта картина даже приобретена берлинским музеем (а куплена за червонец на аукционе в экспертной комиссии). Вот и плоды всего художественного сыска. Много ему дали в Лондоне за карловарскую слоновую дощечку (забыл сюжет), заказал и впредь такие вещи.

В общем, Кёнигсберг и его Павла произвели впечатление сильно разуверившихся. Европейские народы на устах все время имеют Боде, Фоссе, Фридлендер, Плитшел, и весь тон гораздо более уверенный. В связи с этим огромное почтение ко мне, ибо все мои атрибуции оказались верными, и, наоборот, некоторые промахи бедного Крамаренко (в пятницу я должен был на сытый

желудок у них обедать, как всегда, необычайно роскошно, и тут я видел эти «промахи») совершенно уронили его в глазах патрона. Кёнигсберг собирается снова за границу, мечтает выехать вместе с нами, вызывается все, что захочу, провезти. Но вот у меня нет охоты ехать, да и от Иды все еще ни строчки.

От Коки письмо уже из Парижа, но и в нем об этом ничего, а лишь подтверждается, что на Дягилева нечего рассчитывать. Письмо нашего мальчика очень бодрое, веселое. Денег у него хватит на три месяца, да и надеется уже скоро начать подрабатывать. Нанял мастерскую, зато очень печально то, что он же сообщает о Леле. Она его поразила своей худобой, нервностью, выпученными глазами. Жалкий муж не может ни что-либо заработать, ни получить от отца (влюбленного в своего последнего сына) какой-либо прибавки. Уже Леля перестала кормить Диму грудью. Это ее слишком изнуряло, но раз у них нет прислуги, вероятно, и сейчас она себя постоянно переутомляет. Бедная, бедная наша девочка! Не выбраться ей, видимо, из того кошмара, каким складывается ее жизнь. Напротив, от Нади из Лондона ликующее, радостное, полное излияний письмо к Ате.

Еще одно письмо донельзя характерное к Зине от Марочки. Тип, доходящий до гротеска, пустого и нелепого «идиотного» мотылькания. В голове — одни тряпки. Другая идиотка — Е. К Лансере, наша соседка в Гатчине, над которой могут делать вдоволь свои наблюдения наши обе дамы, так как она готовит свои кушанья в той же кухне (норовя использовать наши дрова, наши запасы, нашу посуду). Но эта идиотка и злая, и черствая. Дети Коли без всякого присмотра, растут хулиганчиками. Прямо жестоко обращается Леля Лансере с прислугой (первая уже не выдержала, ушла), которую она морит голодом. Много характерных анекдотов.

Самое интересное, что я пережил за эти полторы недели — это мое посещение Мессинга, что было устроено Добычиной, нашедшей, что мое заступничество может «воздействовать» на нашего верховного инквизитора в деле Браза. Но это посещение скорее убедило меня в тщете такой надежды. Мессинг с виду скорее приятен, полон, довольно красное, совершенно бритое лицо, русые, коротко остриженные волосы, коренастое сложение. Одет в военную темно-серую (или зеленую?) тужурку со значками на рукавах. Голос сиплый. Взгляд не особенно пронзительный. Но все же внимательный и не глупый. Степень культурности определить трудно, но все же во всем видно желание быть «европейцем» — большая чистота и порядок у него в кабинете (бельэтаж № 4 по Гороховой, на улицу, слева от площадки лестницы), в его просторной приемной, где сидит всего одна

секретарша — щупленькое блондинское существо, но фамилия, кажется, Дьяконова.

Принял он нас скоро (и в самый час, который был назначен по моей просьбе). Стоя позади большого письменного стола, он тотчас же пригласил сесть на два очень покойных кресла перед столом, тотчас же были предложены и папиросы из коробки, а Надежде Евсеевне по несколько раз протягивалась эффектная зажигалка. На улыбки не щедр, но все же, где можно, улыбался и усмехался. Беседу по моей просьбе начала Добычина — мол, в нас, хороших знакомых Браза, никак не может утвердиться убеждение, что этот умный, осторожный, очень в себе замкнутый, скорее эгоистичный человек, мог служить такому казусу, для него чуждому (для нас совершенно неприемлемому) делу — контрреволюции! Вот я и пришел, чтоб его характеризовать, авось мое (Бенуа) личное мнение может воздействовать на следствие. Я попробовал вслед за тем как-то развить то же самое, однако это получилось не слишком убедительно. Если Добычиной в таких случаях помогает ее энтузиазм, ее вера в мою совершенную обособленность и какую-то «абсолютную верховность», то мне, напротив, мешает недостаточность моей самоуверенности, с каждым годом все усиливающаяся и крайне стесняющая меня при всех выступлениях. Словом, я не то что плел и мямлил, но все же ничего дельного и действительно убедительного произнести не сумел.

Станислав Адамович терпеливо все выслушал, совершенно отвел наше предположение, что Бразу могла повредить его невоздержанность языка («на нас обывательские пересуды не действуют»), и затем вдруг проронил: «Дело его очень серьезное, и мы уже имеем его частичное признание. Теперь остается добиться полного, чего мы и добьемся» (при этих словах все хлопал по какой-то папке бумаг, как бы указывая на то, что здесь у него это полупризнание находится). «Что же касается меня, то для меня не ясно только одно: действовал ли он по собственной инициативе или был вовлечен — это отзовется на приговоре». После этого мы еще несколько раз пробовали возвратиться к нашей характеристике. Мессинг терпеливо давал нам говорить, но в ответе каждый раз с тихой настойчивостью снова указывал на признание и каждый раз повторял, хлопая по той же кипе бумаг.

Выйдя от него, Добычина в великой тревоге заявила, что это «пахнет» шестью — восемью годами тюрьмы. Я же смотрю не так мрачно, и гораздо вероятнее, что дело самое пустяковое. А может быть, и дела *никакого* нет, а есть лишь его же дурацкое хвастанье связями, знакомством и общением с консулами, с тем заезжим

австрияком, который пожелал его втянуть в подобие какой-то антикварной концессии. Возможно и то, что Браз или случайно получил на хранение какие-либо компрометирующие документы, или, быть может, Лола что-либо провезла за границу (ведь у нее отобрали какие-то драгоценности, может быть, в них было что-либо запрятано?). Во всяком случае, я напомнил Надежде Евсеевне, что и про моего бедного Леонтия говорили такие же вещи, будто он чуть ли не шпион, а потом вдруг и отпустили, *не предъявив никакого* обвинения.

Добычина спровоцировала меня на такое обращение Мессингу с просьбой в том, чтобы в исполкоме он заступился за Юсуповскую галерею в случае, если бы Москва стала ее требовать себе, на что он, улыбаясь, ответил: «У Питера (sic!) вообще нет склонности что-либо давать Москве». Сама же Добычина к концу аудиенции припасла длинный список «дамских» дел, оказавшихся все просьбами о выдаче заграничных паспортов: какому-то старику Вонлярскому, старухе Вольф, уже ездившей в прошлом году, и др. Была упомянута и Киса Воронова, которую власти отсылают к мужу, в ссылку. При ее имени я заметил, что Мессинг вскинул на меня быстрый испытующий взгляд. В просьбе же Добычиной разрешить детям Вороновой приехать к бабушке (О.А.Мейснер) в Финляндию он решительно отказал. В конце она еще ходатайствовала о сыновьях генерала Козловского, которых исключили как нежелательный социальный элемент из всех вузов. Она же давно о них печется, а третьего дня все трое приходили к ней и прямо заявили: пусть нас уже тогда лучше расстреляют! Мессинг что-то себе на блокноте записал и обещал с кем-то переговорить. Вообще я убедился, что это вовсе не легенда, что он слушает Добычину, как будто ей верит. При прощании она пригласила его к себе в пятницу (вместе с другим бритым чекистом в черной тужурке, с которым она меня познакомила в приемной. С этим она свела знакомство, когда он приходил к ней год назад, с обыском), тут же в шутку (среди разговора она ныла, что сидит без денег и даже готова просить рубль на извозчика) он ей сунул два полтинника, которые она преспокойно прикарманила!

Из других событий за эти полторы недели наиболее интересным представляются еще наши два заседания в Юсуповском дворце. Первое происходило в кабинете молодого Феликса. Меня выбрали председателем. После короткого обмена мнениями, перед которым была принята программа наших обсуждений, выработанная Исаковым (на это он способен, вообще же до сих пор держит себя прилично и с «сочувствием»), мы обошли весь дворец (это было в прошлую субботу, 28 июня). На

втором (присутствовал и Удаленков) обсуждались мои предложения, и как будто все приняты. Хотя и были возражения Приселкова, видимо, испугавшегося чрезмерного расширения сферы своего попечения (он считает, что бытовой отдел явится возглавляющим). Весь бельэтаж и «распутинские комнаты» являются музеем, «идея» которого — сохранить рампу — сценарий жизни сословия аристократии, почти тягавшейся с царским дворцом. Но в удовлетворении Москвы изымаются из галереи шестьдесят — сто картин, отнюдь, однако, не трогая те, которые важны как дополнения к эрмитажным собраниям. Первые могут быть заменены из Юсуповых же запасов, вторые пока остаются на своих местах, но могут быть в любой своевременный момент взяты в Эрмитаж. Мебель и уборы остаются на местах и расставляются согласно акварели 1860-х годов Ухтомского. Об эксплуатации театра речь будет отдельно. Ерыкалов скорее склоняется к тому, что это невозможно. Все остальные помещения дворца отойдут под склады и экспозиционные залы музейного фонда. Такой ценой авось удастся уберечь дворец еще годика два, а там, может быть, изменятся экономические условия и его охрана станет на более прочные основания.

Удаленков, только что вернувшийся из Москвы, привез сенсационные известия — будто бы на наши музейные нужды ассигновано 3,5 миллиона. Это находится в связи с принятым уже решением — сделать из Петербурга столицу РСФСР с переездом сюда всех соответствующих ведомств, так как Москва остается столицей СССР. Уже Эфросы и Романовы в шутку говорят, что они переселятся теперь сюда.

Во вторник я со Стипом был у Чехонина. Накануне тоже доходили до его дома, но Стип не признал последнего, и тогда после часа поисков[36] я его потащил обедать к себе, и явился незваный Сережа Зарудный, съевший земляничного пирога, изготовленного Мотей в расчете на два дня. Интерьер Чехонина (вижу в первый раз; он никогда нас к себе не звал) битком набит вещами, но общее впечатление неказистое и просто даже убогое, что, по мнению Стипа, скорее *умышленно*[37]. Среди вещей особенного внимания заслуживают: отличная «Марина», приписываемая Бразом Бел… [?], две картины цветов (от Мусиных-Пушкиных), Мадонна 1663 года. Три ангела у Авраама, отличный пейзаж, сочная крепкая живопись, довольно беспомощный по рисунку, но оригинально, но интимно по композиции — особенно курьезна поза прислонившегося к дереву Авраама, подписанная 1628, «Рыбы», подписанные 1662 годом. Кроме того, масса хорошей мебели, миниатюр (портрет русской дамы — эмаль, вероятно, Жаркова), люстр, жирандолей, чудесный

шкаф Людовика XIV, купленный на днях на рынке за 30 рублей, коллекция Колокольцевых шалей и коллекция вееров XVIII века. Курьезный Чехонин был вне себя от «восторга показывания». Кроме того, мы были угощены обильным, жирным, вкусным обедом с вином. Сервировала совершенно богемная Лидия Семеновна — довольно моложавая, любезная, но какая-то беспомощная. Он с ней на Вы, но, видимо, влюблен. Сам Чехонин — совершенно нахохлившийся воробей. Боже, какой вздор о нем насочинил Эфрос!

Суббота, 5 июля

Вчера к 12 часам погода испортилась, да и сегодня, сейчас (8 часов) обещает оставаться такой же безотрадной, сырой, холодной, ветреной. Татан очень мало кушает и пьет, все же, видно, поправился, так как в комнатах здесь при открытых окнах чудесный воздух. За последние дни особую прелесть придают расставленные букеты цветов с жасмином. Оба этих «кисленьких» запаха упоительны. Прекрасно здесь и молоко. К утреннему кофею для меня накапливается со всего дня пенка, и это является моей главной усладой. Желудок при этом работает неплохо.

Вчера снова приезжала моя эрмитажная комиссия реставраторов, и я почти весь день путался с ними по кладовым и другим помещениям дворца, где сложены картины запаса на предмет установления степени их сохранности. При этом каждый раз делаются разные открытия. Так, вчера я среди бесчисленных и нудных Роза ди Тиволи нашел три огромные очень хорошие картины этого мастера и один аналогичный сюжет (пастозный) Лука Джордано. Были Н.Сидоров, Паппе и милейший Л.П.Альбрехт, ныне ставший «действительным» реставратором (оказывается, что этот щупленький, раскосый болезненный человечек — страстный охотник). Среди дня я, кроме того, водил по дворцу Моласов (претенциозную Веру Михайловну, ее сына с женой). Всем предводительствовал Татан, не только не уставший от этой для всех прочих очень утомительной прогулки, но даже огорчившийся, когда она кончилась. Вечером я ему и Кате читал «Золушку». Пытливость у него страстная, но и возбудимость чрезвычайная: боится всего.

Юрий из города привез письмо и открытку Коки. Восторг от Версаля, негодование на чудовищное состояние постановки «Петрушки» (Дягилев нарочно дает ей разрушаться), недоумение перед снобизмом Аргутинского, одобрительно отзывается о произведениях Пикассо, Гриса. Что это в Коке —

«провинционализм» или «здоровье»? Сам я уже потерял интерес настолько, что и ответить не в состоянии.

Вернулся Макаров из двухдневного пребывания с женой и Верочкой в Петербурге. Удручен какими-то придирками Исакова, Гагарина и самого Ерыкалова к дворцовым и музейным инвентарям, и даже попало Тройницкому. Увы, я в этих делах *абсолютно* ничего не смыслю и только дивлюсь, как у людей хватает какого-то бюрократического насилия, чтобы вот уже шесть лет страстно и бесплодно обсуждать эту ерунду. Огорчен Макаров и Ятмановым, [тот?] видимо, уже дурно предрасположен кем-то к идее устройства исторической галереи в Гатчине. Эта дубина все еще здесь, в Петербурге, и не уехала в свой третий месячный отпуск.

Кончил [читать] воспоминания И.Гинсбурга. Очень неплохо и толково написано. Милая человечность. Читал с интересом, особенно то, что он рассказывает о собственном детстве, о быте бедного, набожного провинциального еврейства. Этот «священный» быт сохранялся в еврействе в полной неприкосновенности до 1870-х годов, а в некоторых местах до самого 1917 года. Отсюда и особая свежесть и сила еврейского юношества, выразившаяся как в творчестве художников, так и в деяниях революционеров. Но сами эти последние еще не напитались культурой, оторвались от быта, и отныне настоящее моральное питание в еврейских трущобах исчезло, что, несомненно, начинает сказываться и в общественных проявлениях сынов иудейских. Одна кровь и одно семя не спасут, раз «народ божий» отказался от своего бога.

Понедельник, 7 июля

Все ужасные ветры и целые ураганы. Ночью Акица не могла спать из-за рева и воя, и даже Катя Серебрякова страдала бессонницей. Сейчас яркое солнце, но тревожное утро. Вчера был дивный, ясный, тихий, прозрачный, прохладный вечер, которым я несказанно любовался, гуляя в компании с Джеймсом, с тремя барышнями — его ученицами из института Зубова — с М.И.Степановой, с Е.Г.Лисенковым и с дочуркой Джеймса. Мы были приглашены на файф-о-клок на «пасху» и кулич (от первой я отказался, второй был кислый) в уютное обиталище (в антресолях Кухонного каре) этих дам. Джеймс был очень занимателен, баритон изысканно любезен. Лисенков пространно рассказывал о скандалах, произошедших на двух докладах об Египте, прочитанных Н.И.Флиттнер в Общине художников. Какие-то

ученики вроде проф. Боровки не давали ей говорить, а после лекции распушили ее за невежество, причем ссылались на какие-то монгольские рукописи, не только более древние, нежели все египетские документы, но и предвещающие все события всемирной истории. Пробовали говорить и на загробные темы в связи с легендой о появляющемся в Гатчине привидении Павла.

Вообще же я начинаю втягиваться в Гатчину. Но, странное дело, меня больше всего чарует не XVIII век в ней, а сравнительно недавнее прошлое, особенно комнаты Александра II, в которых я теперь и рисую. В них исторические впечатления странно путаются с моими многими воспоминаниями детства, в котором такую заметную роль играл «царь». До него, казалось (благодаря службе и связям отца), было как-то совсем близко, это был «свой человек», правда, не бывавший у нас в доме, но заставлявший весь круг нашей семьи постоянно о нем говорить в тонах скорее благоговейных. И вот я теперь целыми часами сижу в самом святилище этого бога (и даже пользуюсь иногда «местом, куда уже ходил пешком»), В этих комнатах абсолютно тихо, ни с улицы ничего не докатывается, ни внутри никаких нет шорохов и тресков. Благодаря обивке из проклеенного глазированного картона, очаровательных рисунков и красок, нет и пыли, и все это вместе создает впечатление особой зачарованности, какого-то слишком явственного сна или стереоскопической фотографии, в которую удалось проникнуть. Вчера водил туда и Акицу, которая совсем умилилась. Но Татану нужны только *троны* «больсой» и «маянь-кий», и он буквально о них бредит. Откуда это? Увы, сегодня придется ехать в город, вызывает Молас в плановую комиссию. Но разве я в ней состою постоянным членом? Высокого этого назначения никогда я не получал.

Пятница, 11 июля

Гатчина. Дивное, сверкающее солнечное утро. Так было и вчера. Третьего дня, когда я был в городе. Здесь была чудовищная гроза, после которой и настала такая чудесная, не слишком жаркая погода. Бедная моя Акица искусана комарами или мошками. Вся спина и плечи в волдырях. Волдыри и на ладошках и пятках Татана, но у него это скорее какая-то сыпь (у Юрия в детстве все тело покрывалось полосами чесотки). Бедный мальчишка ходит с перевязанной рукой, что ему не мешает быть веселым и (со «вкусом») шаловливым (не со «вкусом» шаловливости и шкодливости детей Коли Лансере). Как раз сейчас я слышу их, он в нашей огромной спальне совершает свою

обычную церемонию карикатурного здорования, подражая в этом рассказу Стипа о каком-то Шульмане, который отвешивал ему на улице такие поклоны, выкрикивая: «Здрасьте!» Уже 9 часов. Мы второй день сильно просыпаем, так что у дверей наших в коридоре набирается сборище чухонных поставщиков молока, сметаны, яиц, творога, что очень конфузит Акицу, вообще поднимающуюся уже в 7 часов.

Вчера мы проспали из-за моего возвращения в 3 часа ночи (я приехал так поздно, чтобы получить четверг здесь в полное свое распоряжение с утра), а сегодня мы проспали потому, что я до часу читал Акице письма Александра III к Адлербергу 1881 году, в которых этот мужлан грубо «прогоняет» в отставку друга своего отца и, не соблюдая воли того же отца, отказывает княгине Юрьевской в ее просьбах, обращается с ней самым недостойным мещанским образом. Кроме того, я прочел еще великого князя Николая Михайловича о романе Елизаветы Алексеевны с Охотниковым — типично для самого автора, что он, говоря кисло-сладкие слова по адресу репутации почитаемой им Елизаветы Алексеевны, намекает на дурные нравы своей родной прабабки Марии Федоровны. Вообще же я продолжаю утопать в каком-то сне наяву о не слишком давнем прошлом, в котором впечатления от мемуаров самым тесным образом сплетаются с моими собственными детскими воспоминаниями и тем, что мне навевают здешние вещи и целые ансамбли.

Вчера снова два часа рисовал в комнатах Александра И, а потом еще часа полтора изучал карикатуры Зичи в Арлекинском зале, в которых благодаря подписям, сделанными Александром III, можно познакомиться с целым рядом приближенных государя. Эти карикатуры сначала (я их знаю уже двадцать пять лет, и трудно прямо ненавидеть их) раздражают царедворской пустоватостью и, в частности, тем, что было в душе самого Зичи, придворно, чуть холопски-шутовского[38]. Но, вглядываясь в них, во-первых, проникаешься изумительной передачей, остротой и меткостью его наблюдений, а затем входишь в какой-то непосредственный контакт с рядом очень характерных лиц, начиная с самого «Е.В.» (так возможно коротко обозначен в виду отъезда Александр), статная, величественная фигура которого мне так знакома по детским воспоминаниям (очень хорош он ввиду его появления в шубе), и кончая всякими «военными куртизанами». Особенно рельефным становится пузанчик князь Радзивилл, надменный французский посол генерал Флёри, толстый страшный князь Голицын-Прозоровский, мямля барон Ливен, вечно встревоженный (обер-егермейстер?), длинный граф Ферзен, сухонький принц Гейс, барон Мердер с моноклем, и,

наконец, сам Зичи. Прелестны его картины — обе акварели, изображающие императора в ночное время, выходящим в шубе на крылечко охотничьего двора, чтобы лицезреть обилие добычи. На одной из (к сожалению, редких) сцен, изображающих интимное существование двора (громадное большинство охоты в Гатчине, Лисино, Ящерах), я увидел своего старого знакомого Рюля, тогда еще не старого полковника, показывающего царской фамилии свои (неподражаемые) фокусы. Позже он совершенно спился, почти ослеп, превратился в руину, зарабатывая свой скудный хлеб показыванием фокусов в домах. Неоднократные случаи изумления его искусством я имел на званых вечерах (с участием юношества и детей) у дяди Сезара и у милого Альбертоса.

В городе получил открытку от Коки и письмо от Ми-течки. Оба несколько огорчительные. Ида не приняла Коку. Он это объясняет тем, что и тут интрига (неужели действительно Ореста?) возымела свое действие: поверив известию, что я «болен» (читай: арестован), она передала заказ «Идиота» другому (одно время был проект передать постановку Баксту, но как раз тогда Левушка заболел). Меня, впрочем, это огорчило только за Акицу, тогда как сам скорее предпочитаю, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы мне не надо было или нельзя было бы ехать, снова себя бередить жизнью, мне все же недоступной (стар я, чтобы там обосноваться) и наполненной встречами не более приятными, нежели здешние. Однако мысль снова вступить в деловые и художественные сношения с Идой возбуждает во мне физическую тошноту. Впрочем, Кока пишет еще о каком-то реальном заказе Путе и еще о двух постановках (у Киры Лапарской). Сам он получил несколько заказов у Балиева, который его толкает в Америку!

Ах, как божественно пахнет свежескошенным сеном через настежь открытые окна!

Огорчение в Митенькином письме касаются Лели, всего ее бестолкового мужа и ее изнуренности. Акица собирается просить Митечку сходить к старику Вышнеградскому и просить у него субсидии молодым. Но разве старик, весь ушедший в возобновление своего супружеского счастья, только и пекущийся о плодах своего второго брака, станет что-либо отделять опостылому Ване? Ох, чует мое сердце *обреченность* нашей бедной, бестолковой, фантастичной Елены!

За эти дни были всякие «важные» события в нашей узкой сфере музейной деятельности. Появился на горизонте Виктор Александрович Никольский из Москвы — представитель Р. К. инспекции по музеям — и объехал все музеи, все дворцы, имея вид, что он обладает возможностью чрезвычайно повлиять даже

на все, что касается программ, целей, природы всех этих организмов. Я (да, кажется, все) плохо разбираюсь вообще во всей еще крайне незрелой конструкции наших музейных дел и поэтому не берусь судить, насколько может оказаться реальным воздействие на наши музеи этого ревизора, но все мои здешние коллеги (Тройницкий в Москве) придали этим посещениям большое значение, непрерывно ухаживали за Никольским и всячески старались на него влиять. С виду это тощий, «борадатый», с проседью господин — скорее приличного и культурного вида. Особенный и скорее неприятный характер его лицу придает совершено беззубый рот. Со мной (я с ним встретился в Плановой комиссии в понедельник) до чрезвычайности любезен, а вообще явное предпочтение он выражал Эрмитажу (перед Русским музеем), что, однако, не помешало ему санкционировать совершенно неожиданную, убийственную для Эрмитажа (непосредственно) с экономическим оттенком и еще более угрожающую в будущем в смысле «территории» — реформу Ятманова, отдавшего исторические комнаты Зимнего дворца в ведение Музея революции, тем самым он нас лишает главного дохода (около 5–6 тысяч в месяц). Особенное значение Никольский придал Орбели, играющему в отсутствии Тройницкого роль его заместителя, несмотря на то, что официально таковым состоит А.Л.Ильин. В сотрудничестве с Эгерией Тройницкого М.И.Максимовой он конспиративно состряпал род программы Эрмитажа (со включением в его ведение Строгановского и, по моему настоянию, Юсуповского дворцов) и привез мне на дом, впрочем, я внес немало поправок редакционных и по существу[39].

Забавный турнир получился между Орбели и Приселковым. Это огромное, но рыхлое расплывающееся самолюбие, при этом злой, встревоженный нрав, абсолютно чуждый искусству и просто вещам. Это одна книжность. Я его особенно ощутил на «юсуповских» заседаниях — последнее в среду не могло состояться, так как никто кроме меня и его не явился. Темой турнира было изложение обновленной программы (с глупейший попыткой придать марксистский классовый характер) бытового отдела и мотивировка необходимости присоединить к нему Шереметевский и Шуваловский особняки. Особенно, вероятно, брезгает Приселков присутствием московского гостя, а также Кристи. Сама «программа» была довольно еще складная (но, как всякая программа, маловразумительная), зато в мотивировке он договорился до чрезвычайных обстоятельств. Шереметевский дворец он желает рассматривать как тип дома помещика-*землевладельца*, а Шуваловский же — как тип дома помещика-

промышленника!. Возражениям Орбели можно было бы и аплодировать (удачнее всего выпад в честь Петра Великого по поводу желания Приселкова устроить в Летнем домике показательную выставку быта начала XVIII века), если бы не слишком прозрачная его ненависть к Русскому музею, усилившаяся под действием подлой, подхалимской политики Сычева, взявшего за последние недели резко курс влево (и даже возглавившего в Новгороде экскурсию 1500 красноармейцев), и больно мелочен мотив, по которому Орбели желает раскассировать Шуваловский особняк, — ему просто хочется получить оттуда арабскую лампу и еще какие-то восточные древности. Об исторической галерее в Гатчине обменялись несколькими словами с Ятмановым (который нас с Никольским провожал до трамвая!). Он никак не может одобрить такую ретроградную затею, напоминающую ему развалины средневековых замков с галереей предков, с привидениями и т. д. Однако все же изъявил готовность ничего сейчас не предпринимать такого, что могло бы роковым образом встать на пути осуществления этого проекта, и отложил вопрос до осени, когда я представлю свой мотивированный доклад (ну как мне при этом кататься по Европам и заниматься всякой ерундой для Иды и т. п.).

Во вторник, 8 июля, происходило в библиотеке Картинной галереи чествование (чай с кренделем) Липгардта. Старик был очень растроган и поделился самыми необходимыми впечатлениями о заграница. Между прочим, он довольно подробно информировал дам о новейших модах. Эти сведения он получил от модисточки, которая, узнав об его бедственном положении, пожелала ему заказать за 2000 свой портрет. Старик удручен своим возвращением. Кажется, он поселился в квартире П.К.Степанова.

В тот же день был у Сережи Зарудного, угощавшего вернувшегося из дальних стран Нестора Котляревского. Я был позван (но от яств, очень приличных и довольно обильных, отказался), чтобы сообща обсудить, что делать с Кавосским имуществом, сданным Марусей Кавос на хранение Пушкинскому дому. Нестор находит, что часть вещей было бы гораздо более уместно держать в Эрмитаже (Философов на следующий день сказал, что эта передача может быть легко произведена). Неужели же знаменитый шкаф дяди Сезара присоединится к другой реликвии моего прошлого — к ренессансному столу Сережи Дягилева. Рассказы Нестора о Западе сводятся к тому, что там идет «пляс на вулкане», царит безбожие (напротив, Липгардт с умилением рассказывал о мессе вон хоммес), и что Болгария (в

которой он главным образом и жил) является падалью, над которой возятся представители великих держав (в том числе и Брус с Каловой). Естественные богатства Болгарии за последнее время необычайно возросли (каменный уголь лежит прямо чуть ли не на поверхности).

В среду, 9 июля, я вернулся из города так поздно, потому что счел нужным присутствовать при чествовании (довольно парадном, в огромных хоромах) Добужинского у Воинова в виду близлежащего отъезда Мстислава. «Юбиляр» был один и довольно сумрачный и расстроенный. Глядя на него, я вспоминал свою психологию, когда готовился эмигрировать в 1921 году, еще раз почувствовал, как это тяжело и нежелательно.

В понедельник ко мне заезжал отбывающий на дачу в Углич Кёнигсберг, притащивший с собой несколько картин и одну слоновую (грубоватую итальянскую?) Мадонну XIII века. Отличная голова Грёза со спины. Отличная копия (если не повторение) портрета… (оригинал в Вене) и Ван Дейка (без подрамника), совершенно непорядочную запись Мадонны XIV века и грубоватый по технике пейзаж с датой, кажется, 1650. Все это, очевидно, пойдет за границу.

Являлся ко мне в Эрмитаж и предпоследний из оставшихся здесь братьев Бирчанских — очень жуткий, длинный, гололобый, с преступной бритой рожей, в черной военной тужурке. Приходил предлагать мне какие-то услуги (сын сестры Левитана).

Стип занят перевозом из Академии рисунков Шуваловского собрания, пролежавших там десятки лет (Беренштам ничего о них не знал), где-то на чердаке. В виде компенсации за это мы Академической библиотеке отдаем несколько дублетов роскошных увражей, что им очень нужно, так как они лишились благодаря изъятию Кабинета Станислава Августа[40] всякого подобного имущества. Вот и Стип, на которого я готов был махнуть рукой, оказал Эрмитажу огромную, несравненную услугу. Сам он сияет, кроме того, он где-то откопал еще серию превосходных рисунков, собственников которых он убедил пожертвовать эти вещи нам! Квартиру Коки, в которую благодаря перекрестным интригам никто еще не въехал, забрал Откомхоз, и туда, наверное, поселят коммунистов! Руф предается пьянству, несмотря на то, что им нечем топить плиту. К Серебряковой въехала сестра Д.Д.Бушена со своим другом Вейдле. По условиям, парадная лестница будет в распоряжении одних новичков, и все же разрешено пользоваться Бушену, но Эрнст вместе со всей семьей Лансере-Серебряковой должен будет ходить по черной! Старушка моя сестра Катенька счастлива, что после долгих усилий удалось из нашей семейной кухни выселить (со

скандалом) пресловутую Марию Максимову, и теперь она в качестве кухарки, и прачки, и судомойки возится у фамильного нашего очага, за которым стряпали искусные кухарки, а в торжественных случаях и специально приглашенные повара.

Суббота, 12 июля

День нашей свадьбы. Собирались вчера вечером всей компанией, и несмотря на усталость после прогулки к Колпинской церкви, — в кинематограф, но, увы, на Владимира Кузьмича вдруг навалилась работа. Пришла бумага, спешно затребовавшая представить эвакуационные списки с угрозой в случае неисполнения этого требования отдать провинившихся в распоряжение военных властей! Он засел за окончание этих списков. О том же самом меня извещал Тройницкий, но я ничего не предпринял, считая, что время терпит. Ну да он сегодня возвращается и все это уладит. Но почему снова заговорили об этой мерзости? И неужели повторятся все глупости 1917 года, над которыми так смеялись Луначарский и другие большевики?

Вчера днем Макаров свел меня в комнаты Александра III. Как понятно в нем это стремление уползти в подполье, но как понятно и то, что такими тепличными вышли Ники и все прочие последние империалы. Здесь же среди картин, в общем неважных, — два Руссо, из которых один отличный. Придется огорчить Макарова и тащить его в Эрмитаж (но сейчас места нет). Миллион фотографий, и очень интересны некоторые альбомы Зичи; Джеймс, который мучается, если узнает, что кто-то куда-то без него пошел (своего рода недуг), пробрался тоже туда. Впрочем, он сообщил любопытную подробность со слов лейб-медика Гирша. Однажды Ники заболел, и довольно серьезно, воспалением легких. Гирш потребовал, чтобы его перевели в «лучший воздух», нежели эти мышиные норы (Александр III мог трогать рукой потолок), в верхние комнаты, но отец разорался на него — нельзя-де мальчика нежить — и оставил его болеть внизу.

Вечером Макаровы у нас пили чай со сладким земляничным вареньем.

Воскресенье, 13 июля

Повторил сегодня с Акицей и братом Мишей, приехавшим к 11 часам, посещение комнат Александра III, а вечером посетили еще вместе с Макаровым комнаты Джорджа и Ники. Ужасное впечатление. Особенно в сумерках, когда в полутьме при массе мебели и всякой дряни казалось, что всюду кто-то сидит и даже шевелится.

Читаю «Поэзию и правду жизни» Гёте (в который раз!).

Собираюсь писать: если собственные мемуары, надо будет непременно это перечесть, так как масса аналогий, которые помогут мне вспомнить факты из моего детского прошлого, увы, кажется, уже затуманивающиеся.

С Мишей, Татаном, Бибишкой и Маняшей совершили поход в окрестности, было восхитительно — сенокос. Экскурсии на скошенных лугах с оркестром. К завтраку — макароны с помидорами. Вечером с В.К.Макаровым на идиотский фильм «Марион-танцовщица» с Франческой Беттини в главной роли.

Пятница, 18 июля

8,5 часов утра в Гатчине. С понедельника, 14 июля, был в отсутствии и только вчера, 17 июля, к ночи вернулся. Во вторник, 15 июля, вечером в 6 часов отправился с Макаровым и Катей (которую они взяли с собой) в Петергоф. Там ночевал и оттуда вернулся в Петербург в среду вечером. Самое замечательное из случившегося за эти дни, кроме восхитительной благодаря райской погоде и милой прогулке с Надеждой Дмитриевной Макаровой по Петергофу, следующее: я начал вчера хлопотать о своем отъезде, а именно — отвез Кристи бумагу Эрмитажа, ходатайствующую о моей командировке на три месяца, и М.П.Кристи взялся ее сам повезти в Москву и там все устроить. Он попробует устроить и командировку Акицы (тоже согласно бумажке из Эрмитажа, которую ему должны доставить сегодня), но не ручается. Командировки нам помогут облегчить процедуру получения разрешения на выезд.

Обозначился у меня этот поворот — от выжидательной инертности к решимости — в понедельник, после двух разговоров: с Добычиной и с П.К.Степановым. Первая с какой-то удвоенной настойчивостью внушала мне необходимость начать безотлагательно заниматься выездом, и мне показалось определенно, что она просто боится за мою неприкосновенность?! П.К.Степанов (к которому я спустился сейчас же после этого разговора. Н. Добычи на и П.Степанов живут в том же доме на углу Марсова поля и Мойки), находясь в крайней панике из-за внедрения к нам, в Актеатры, еще двух очень жутких коммунистов, кроме уже бывшего заместителя Яцко — бывшего тюремного смотрителя[41], высказал и свою чрезвычайную (причем в такой же степени) встревоженность за Коку из-за слухов, ходящих по театру, что он-де уехал навсегда. Эти слухи получили известное подтверждение в письмах самого Коки к Янышевскому, в которых глупый наш мальчик не удержался,

чтобы не похвастать полученным в Париже заказом, наймом мастерской и т. п. Обо всем этом П К. счел нужным мне донести (через Липгардта он выразил желание со мной повидаться), так как он, пожалуй, не без основания опасается, как бы эти слухи не повлияли и на наш отъезд. И вот как раз, вернувшись домой (утром я прямо с поезда приехал в Эрмитаж), я нахожу письмо от Коки, в котором он много снова сулит всяких заказов и тут же сообщает, что Ида (которую он так и не видел, говорил с секретаршей, «балет не существует») меня ждет, а сама уезжает 15-го. Надо, следовательно, быть в Париже до этого момента. И вот я, несмотря на омерзение, которое я чувствую от необходимости обратиться снова к этой коварной бездарности, которая к тому же, чувствуя, что я в ней нуждаюсь, явно «ставит меня на место»… Во вторник же имел беседу на эту тему с Тройницким, который отнесся очень сочувственно и обещал мне всякое содействие (у него в мыслях «нам подбросить Марфу Андреевну», самому же отправиться в сентябре). Во вторник же позвал к себе художника Семена Львовича Минкина, тоже удирающего в Париж (удирает Шильдкнехт П.Н. — здесь не без действия мейерхольдовых спектаклей, «чума уже в городе»), и передал ему подробное письмо Коке. Кроме того, написал Коке и открытку.

Второе замечательное событие — арест Магды Шмидт. Паппе случайно увидел, как ее вели по улице под эскортом. Несомненно, этот арест находится в связи с ранее произошедшим арестом ее начальника по заведованию библиотекой Наркомотдела и еще нескольких библиотечных людей. Это произошло из-за находки среди вещей других политических арестованных книг запрещенного характера со штемпелем названной библиотеки. Дамы их выдавали по знакомству. Но хорош же строй и вся его психология, если за это арестовывают и с позором ведут девушку по улицам! Впрочем, это тот же строй, который расстреливает мелких жуликов, но относится снисходительно к заведомым разбойникам и убийцам. Джеймс (отец) очень расстроен, но утешается тем, что «дочурка» сидит в общей камере и в «хороших» условиях.

Третье событие — генерала Ятманова укусила его собственная собачонка, перекусавшая, кроме него, еще человек десять. Всех их теперь лечат, и «генерал» отменил свой отъезд на три недели. Еще до него и совсем на днях Петербург покидает Ерыкалов, у которого обнаружен туберкулез в такой степени, что его немедленно отправляют на кумыс. Вид у него отчаянный. Наше последнее заседание проходило без него. Мы вполне убедились, что об эксплуатации театра не может быть и речи.

Резолюцию в желательном для меня смысле в общих чертах составил балда Скалдин, исполняющий должность местного хранителя. Пришлось ее, а также протокол исправить, и все же следы его бестолковой (не без претензий в духе Пети Соколова) дури остались, но, во всяком случае, еще на время дворец спасен.

В Петергоф мы отправились вечером во вторник 15 июля. Поездка по морю на небольшом, бойко зарабатывающем (чего раньше в цветущие времена не было, хотя цена была тоже 60 и 30 копеек, смотря по классу) пароходике, поездка эта оставила чудесное и своеобразное благородное впечатление. Вечером после того, что меня угостили вполне приличным обедом, и до хранительницы Татьяны Васильевны Сапожниковой (впоследствии «женя вредителя») мы еще с Макаровым (который в это время получил в свое ведение и Петергоф. Но, к сожалению, это длилось недолго) совершили большую прогулку по Нижнему саду, причем Макаров то радовался порядку, посаженным цветам, то раздражался на пораскиданные местами бумажки. Из-за этих бумажек у него даже возникла ссора с местным заведующим хозяйством (или комиссаром), пролетарием Тимофеевым, поставленным Ятмановым, которому он (Макаров) в повелительной форме предписал эти бумажки подбирать.

Спал я в прелестной комнате в Кавалерском флигеле, примыкающем к «Гербу», в № 22. Утром Сапожникова (Макаровы проспали до 10,5 часа) меня угостила кофеем, причем меня ужасно раздражал ее ультраизбалованный, капризный и дерзкий мальчуган пяти лет — Андрюша.

Затем мы поехали осматривать «Собственную дачу», в которой, как и во всех прочих павильонах, безвозмездно службу хранителей на местах несут барчуки из института Зубова (в коттедже в качестве таковой я нашел Лелину подругу, раздобревшую Элли Фехнер). В хранители Ораниенбаума, куда мы успели попасть, вызвался быть на лето В.Ф.Левинсон-Лессинг. Столь знакомая, столь безгранично мне близкая дача оказалась запущенной (ворота в садик и мраморные музыканты стоят, заделанные в деревянные футляры с 1918 года, Веррокиевский амур разбит, корзины узорчатые, скамьи убраны), но в общем сама дача не в столь дурном состоянии, как мне описал ее В.А.Никольский, решивший, что ее нечего поддерживать, как дворец, а нужно сдать внаем. еще до того я получил сильный удар в сердце, когда в ожидании Макарова и поездок прошел по прилегающей к дворцовой части Петергофа, мимо Кавалерских домов, в которых я провел первые четыре лета своей жизни, и через Пролетную улицу, а оттуда на Золотую, дабы взглянуть на столь знаменитую в анналах нашей семьи и столь памятную по

личным воспоминаниям дачу дяди Сезара, выходившую на обе эти улицы. В 1918 году я ее еще видел, правда, в очень запущенном состоянии, с наполовину содранной верандой (открывавшей бельэтаж с двух сторон), с полусгнившими лестницами, но все же великолепной и монументальной (слишком по месту ограниченной). А теперь от нее остались лишь груда кирпичей, да и флигель во дворе, в котором жила прислуга (знаменитый лакей Тимофей, еще более знаменитый красавец, кучер Ермолай — предмет зависти самого государя) и были комнаты для гостей (в одной из них подолгу живал Обер), да и этот деревянный флигель, который теперь виден с улицы, осел, покосился, а середина его с затейливой крышей в квазирусском стиле наполовину провалилась, зияя пустыми дырами бывших каретных сараев. Для будущих своих мемуаров я снял шагами некоторые размеры этой дачи.

Погибла еще бесследно «готическая» очаровательная деревянная дача 1840-х годов по дороге к «Собственной даче», все время мерещившаяся мне, когда я сочинял декорацию 3-го акта «Дамы с камелиями», с крышей, шедшей раструбами (вроде коттеджа), и вся окруженная затейливым балконом. Я нежно любил этот милый, элегантный «старушечий» домик, обитатели коего мне никогда не были знакомы. Зато по-прежнему стоят лишь слегка обветшалые дачи, снимавшиеся дядей Костей на канале, идущем от Английского парка к Верхнему саду, и также дача Кудлай, на которой жила Акица в 1889 и 1890 годах, когда я был с ней в размолвке, а также дача стариков Малисон. Погибли готические флигели при даче А.Г.Рубинштейна. Но сама она цела. Также как и белая романтическая Томоном сооруженная «дача Крон», в которой теперь помещен какой-то приют, обитательницы коего — подростки, как нимфы, омывают свои ноги в ключе, бьющем среди запущенного сада, местами лишившегося своей железной ограды. Исчез еще деревянный дом у дороги в Ольденбургском парке, с которого я сделал этюд в 1918 году (потом продал), прельстившись его тоном и тем, что через его балконы шел ствол оставшегося дерева.

В «Собственной даче» произошел очень неприятный инцидент. Я накричал на столь гостеприимную ко мне Сапожникову, до крайности меня взбесившую своими бестактными колкостями по адресу Эрмитажа и его «грабительских инстинктов». При этом даже тогда, когда я уже явно начал «гневаться», она еще как-то гримасничала и ужимничала (во вкусе ее противного сынишки). Что именно я наговорил, я не помню, но кончил (из другой комнаты) грозным предупреждением: «Мне надоели эти пережитки Телепоровского,

с этим пора покончить». После этого полчаса, весь дрожа, я едва отошел. Ах, мерзавка! И ведь при этом круглая невежда, но вот такой упорный, помещичий инстинкт! Однако приходится пользоваться этой дурой оттого, что она хозяйственная…

Закусывал и очень вкусно обедал я уже у Макаровых, остановившихся в светлом, залитом солнцем, целиком еще сохранившем свою обстановку 1860-х годов № 15, в том самом, в котором одевали величайших невест, когда бывали свадьбы во дворце!

Днем ездили в Александрию, вечер закончили на Царицынском острове, где заведующая, очень энергичная (с виду Валькирия) г-жа Кнохе мало-помалу приводит все в порядок. Вера и Катя все время носились, как дриады, и, вероятно, у каждой из них на всю жизнь сохранятся волшебные воспоминания от этой поездки. У ног Пименова мальчика (с которого в кабинете отца стояла терракотовая копия Харламова, погибшая затем на Кушелевке) они положили венок цветов, а в руку ему сунули пучок жасмина. Да и я уехал, как пьяный, от впечатлений, особенно чарующих благодаря дивному дню.

Вчера и сегодня такие же чудесные дни, но сегодня я вынужден сидеть дома. Ибо натер себе подъем левой ноги и не могу надеть сапог. Здесь, в Гатчине, гостит Зина.

Макаровы с Катей вернулись сегодня утром, но Акица почему-то недовольна Катей, предпочитает, чтобы вместо нее у нас гостил брат Шура, который уже несколько дней в Гатчине. Прелестный мальчик, но мне ужасно жаль бедной Кати, которой придется перебираться к Коле Лансере, где так бестолково, неуютно и невкусно. Сейчас бьет 6 часов. Мимо наших окон проходит с ревом Татан. Рев из-за того, что упал. Когда он падает, то первым дело смотрит, нет ли крови на коленках, и если есть таковая, то поднимает неистовый и бесконечный вопль. Где-то гремит барабан какой-то экскурсии. Чудно, в теплом ветре шелестит листва. Мне нужно заняться обложкой для бывшего детского журнала «Воробей», с августа переименованного в «Нового Робинзона». Мой эскиз уже одобрен Лилиной (заказ достался через Шафран), но высказала разные пожелания вроде того, чтобы было больше воздуха и чтоб мальчик, летящий на аэроплане (моя идея!), держал в руках № журнала. Должен еще сделать костюмы для Тартакова, но к этому сердце совсем не лежит после вчерашней беседы с Тихоном Дмитриевичем Лерманом, которого я навестил в театре, где он в полном одиночестве склеил неточно макет моей декорации и *вообще выражал полную приверженность Мейерхольду* и прочей чепухе.

Письмо от Лавруши из Евпатории (говорит, дела театра там

очень плохи), в котором он пространно выражает свое горе по поводу моего отъезда. А зачем предал меня? А зачем делал поблажки всякой дряни и заставлял меня с февраля до мая переживать ощущение полной никчемности?

Понедельник, 21 июля

7,5 часа утра. Сейчас еду в город вместе с Зиной и Шурой. Последнему приходится уезжать, хотя и очень ему здесь нравится, и очень ему это в пользу, потому что его спина покрылась фурункулами и его надо показать доктору и подвергнуть лечению. Последнее, впрочем, предлог для того, чтобы вместо него сюда отправить его брата Женю. По поводу пребывания здесь Зининых детей и ее самой — масса разговоров, поводом к которым являются отчасти вечные стеснительность, бестолковость и нелепое фокусничанье самой Зины, отчасти и известный фаворитизм, к которому склонна моя Акица. Так она ни с того ни с сего ополчилась против маленькой Кати (главным образом оттого, что девочка стала неглижировать Татана) и во время ее отлучения поселила на ее место в нашей столовой Шуру, и когда та вернулась, то это положение пожелала сохранить, нанеся тем самым несомненно большую обиду девочке. Ведь дети очень чувствительны именно к подобным колебаниям в отношениях с ними старших. Теперь Акица как бы уже раскаивается в этом и хочет снова взять Катю, и слава Богу, а то ее хотели призреть Макаровы. А это было бы чересчур срамным, да и девочки жаль. Она, правда, легкомысленная, ленивая, неважно воспитана, но зато обладает всей прелестью какого-то майского эльфа.

Из прочих «событий» за эти дни наиболее памятными (для Татана в особенности) останутся, вероятно, смотрины вчера парадных платьев Марии Федоровны и Александры Павловны, в которые оделись барышни из Шмидтовского семинара и из Зубовского института. В этих платьях они гуляли по парадным залам дворца. Татан поверил, что одна из них — хорошенькая, высокая Агафонова, которой очень шла огромная шляпа с темно-зеленым шлейфом, — сама императрица, и был вне себя от счастья, когда я его ей представил. После того он вдруг заявил, что он камер-паж (непонятно, как западают ему такие вскользь при нем упоминаемые термины?). Платья действительно прекрасны, особенно три — конца XVIII века. Всего их, кажется, сохранилось семь. Наряженные дамы были безгранично счастливы (ими была сделана и попытка причесаться по-

старинному). Они накрасились, напудрились, но, увы, корсетов не оказалось ни у одной, и это позорило фасоны. Они не ступали, а плавали, и исполнились не на шутку величием. Особенно красивая картина получилась, когда Агафонова, окруженная всеми дамами, сидела на малом троне и когда «великие княжны» в парадной гостиной заняли своими фижмами всю ширину центрального дивана.

В субботу, 19 июля, к нам пожаловали Нотгафты, проведшие здесь весь день[42]. По требованию Татана пришлось покататься по озеру с высадкой у павильона Венеры.

Дни стоят превосходные (лишь сегодня утром облачно, но и то это, вероятно, разойдется), но гулять я не мог из-за ног.

В пятницу и субботу даже пришлось ходить в одолженных Макаровым шлепанцах. Еще событие: показывая Зине и Шуре дворец, я, отдыхая на Медвежьей лестнице, выронил свое автоперо, которое слетело с 3-го этажа, получило серьезные повреждения. Но Шура починил мне самое перо, и это я им теперь пишу. Пока я считал повреждение непоправимым, я был в большом огорчении.

Читаю, но медленно, Гете. Хорошие куски перемешаны с небрежными бестолковыми дигрессиями. Особенно утомителен пассаж о предшествующем ему состоянии немецкой литературы, в котором он презрительно говорит о тогдашней критике, не давая образцов чего-либо вполне приемлемого. Утомляет и его холодный, бесстрастный парнасизский тон, мало вяжущийся с тем, что он говорит о своей бурной, мятежной натуре. Видно, в то время, когда он писал «Поэзию и правду», в нем черты, унаследованные от старого отца, взяли окончательно верх над бюргерством и над всякой косностью жизни.

Четверг, 24 июля

8 часов утра. С озаренного солнцем, шуршащего листвой зеленого простора льются в мою просторную комнату (кажется особенно просторной после тесноты петербургской квартиры) живительные ароматы, в которых теперь доминирует липовый цвет. Комната же вся надушена лесной земляникой, большое блюдо которой стоит на комоде. Хорошо, слишком хорошо здесь, и трудно будет отсюда уезжать даже за границу. Впрочем, это «даже» здесь неуместно. Менее всего меня тянет туда. Удовольствия, которые, быть может, ожидают меня там, радость обнять Лелю, познакомиться с внуком, побегать по Парижу, *заслоняются жуткими* образами Иды, Сережи, Валечки и всего

снобического мира, к которому за этот год я получил окончательное и злобное омерзение и на помощь которого не приходится рассчитывать. Вообще я чувствую, что страшно постарел и особенно что *мое искусство постарело*. Так зачем же туда соваться? А с другой стороны, это шанс спасения от здешнего мизерного и жалкого прозябания. Ах, если бы здесь получить верных ну хотя бы 250–300 рублей в месяц. С какой бы радостью я отказался от всякой заграницы.

В понедельник, 21 июля, вечером в Петербурге ко мне напросился Джеймс Шмидт; его старые дамы — жена и мать жены — остались в Гатчине, а ему слишком тяжело, после ареста дочери, одиночество дома. Но, Боже мой, что это было за тяжелое испытание. Я за эти годы оценил Джеймса по достоинству. Он вовсе не дурак, он поразительно начитан. Он кладезь разнородных (немецких) знаний, но скучен он все же невообразимо! На сей раз он меня и несчастного Стипа, пришедшего уютно отдохнуть, посидеть со своим старым другом, кормил рассказами о каких-то служебных историях, происходивших в начале его эрмитажной деятельности, еще при добродушном, фривольном, хитроумном Сомове, робком Неустроеве и завистливом Кизерицком. Все это с мельчайшими подробностями и упиваясь чисто бюрократическими заковыками и фокусами. Ужасен самый способ изложения бедного Джеймса, его паузы, иногда разбивающие не только слова, но и слоги внутри слов, и отделяющие согласные от гласных, его причмокивания, все его манипуляции с набиванием папирос, с зажигалкой. Больше всего удручают его лиловые руки, его гнилушки-зубы и всегда висящая на кончике носа капля…

Увы и здесь, в Гатчине, он меня ловит и преследует, причем он и понятия не имеет о том, что художник нуждается в одиночестве. Он лезет прямо в комнаты, подходит к рабочему столу, смотрит, как я рисую и пишу. И все это я должен терпеть — ведь он же теперь мой коллега. А кроме того, мне и жаль его, особенно с тех пор, что «засела» его (тоже неаппетитная) дочурка.

Во вторник, 22 июля, пошел с Сидоровым и Жарновским в Академию смотреть перегородки Кушелевки, которые мне хотелось забрать к себе. Заодно осмотрели выставку-кон курс памятников Ленину, занимающую оба «античных» зала и купольную. Отрадного, разумеется, ничего нет, но в общем все же больше напряжения и художественных исканий, нежели на конкурсах былого времени. Все, видимо, из кожи лезли, чтобы отличиться перед властями, а под этим простая жажда хоть что-либо заработать. Всего эффектнее Фоминские измышления, в которых И.А. (он сам мне пояснил) использовал мотив

фальконетовской скалы со свесом. Один из двух вариантов. Обе модели имеют в виду колоссальные размеры: «В два раза больше Петра». Когда на это я выразил некоторое изумление, то Фомин поспешил засвидетельствовать, что ведь и Ленин куда значительнее Петра. Вот так переменился с 1917 года! Ту же мысль скалы, на которую въехал броневик (самый броневик входил в задание конкурса, это тот броневик, с которого Ильич говорил первую свою речь тотчас по выходе из Финляндского вокзала, перед которым будет стоять памятник), и с той же попыткой в позе Ленина выразить «стихийный порыв вперед» использовал и Троупянский, выставивший без приглашения, «под девизом», но открывший мне свой аноним. И его модели немногим уступают Фоминым. Много ерунды. Так, Шервуд погрузил и броневик, и обступившую его толпу по пояс в какую-то массу, долженствующую изобразить «лучи прожектора» (говорят, эта чушь «как идея» очень нравится властям). «Светлый эффект» использован и другими конкурентами, поместившими за Лениным Зиновьева, держащего фонарь, который, если нажать кнопку, то зажигается. Белогруд, исходя из того, что Ленин был проповедником, нарядил его в схиму с капюшоном, а броневик всунул в трехгранный обелиск, и т. д.

Какой-то осел использовал и «конструкцию», приклеив ни с того ни с сего к своему обелиску ферму. Я бы, пожалуй, более всего приветствовал проект одного анонимного супрематиста, просто водрузившего один гигантский куб на другой и окрасивший верхний в красный цвет. Такая статическая масса среди городской суеты была бы импозантна и давала бы жуть вроде той, которую я испытал в детстве от гигантской глыбы, предназначавшейся для одного из «ангелов» перед Казанским собором и застрявшей в переулке у Павловских казарм (ее в конце 1800-х годов разбил на щебень командор Мёлес).

Перед обедом заходил к сестре Кате, чтобы поднести ей на день рождения конфет. Шура лежит в малярии.

Вечер провел дома за рисованием обложки для «Нового Робинзона» (заказ Шафрана). Три раза переделывал. Мотю одолевает зверье. Потешно, как собачка Карлуша ревнует кошку Лелю, уже неистово облаивает ее, отгоняет от Моти. Котята уже носятся по всей квартире и распространяют прескверный запах. Мотя увлекается чтением «Приключений полковника Жерара» К.Дойля. Она рассказывает чудовищные вещи про Серафиму, как ее среди Невского избил ее… — коммунист, комиссар, неистово требующий, чтобы она бросила мужа. Вообще среди нашего дома выявилось много неуютного.

Впрочем, неблагополучно и у Моласов. Оказывается, папа

Молас — старый французский брюзга.

С Лондонской конференцией ничего не клеится. Теперь в нее вмешались американские кредиторы.

Суббота, 26 июля

7,5 утра в Гатчине. Акица встала без четверти 6 (это у нее вообще такая манера, а сегодня она занята печением кренделя по случаю дня свадьбы наших молодых), да и я, разбуженный ею и не будучи в состоянии дальше спать (хотя и было приказано), улучив момент ее отсутствия, оделся, умылся, вычистил сапоги, открыл окно (это чудесная минута, ибо полным потоком вливается чудодейственная свежеть) и убрал комнату. Сейчас займусь обещанной Макарову (ведь надо же чем-нибудь оплатить за все его несказанные любезности) статьей о Ротари — по поводу моей атрибуции мастера виртуозной фигуры казачка в Арсенале (я думаю, этот казачок был слугой Гр. Гр. Орлова). Я здесь превосходно отхожу с постели. Начинаю более толково распоряжаться своим временем, но отлучки в город, где идет совсем другая жизнь, все же разбивают настроение, и вполне втянуться в местную жизнь не удается. Удручает и мысль об отъезде за границу. Не отказываюсь от нее только потому, что не в силах огорчать Акицу, да и авось там я что-нибудь заработаю. Удовольствия от самого путешествия не вижу никакого. Хоть бы откуда-нибудь достать тысчонки три.

Забыл записать о деле Изюмова. Его обвинили в каком-то мошенничестве и хищениях на заводе и приговорили не более и не менее как к «высшей мере» (это уж так полагается, разбойников приговаривают у нас к пяти годам заключения. Да и то еще кому-то сбавляют, а простых жуликов — к расстрелу), но ввиду чистосердечного признания, но ввиду тирады, в которой он ссылается на свое пролетарское происхождение, «высшая мера» ему заменена менее уничтожающей карой. Вот тебе и еще один меценат!

На днях же состоялось судилище над пресловутым Анжиновым, бывшем одно время вершителем всех дел у Голике и присвоившим в годы сугубой революционной бестолковщины все художественные и иные достояния печатавшихся там изданий. Тоже какое-то хищение бумаг и прочее, на сей раз приговор вынесен был более мягкий — пятилетнее заточение. Нотгафта вызывали в свидетели, и он порядком трусил, как бы ему по теперешнему обычаю не попасть из свидетелей в обвиняемые (ведь малейшее одолжение может быть сочтено за «взятку» —

чиновники).

Нависла гроза и над Ел. Мих. Боткиной, все по поводу поисков (дался им!) Пинтуриккио, который, по ее словам, был увезен братом еще 1918 году в Москву, кому-то продан (после чего брат сразу и умер). Опечатали даже квартиры и описали имущество, причем оказалось, что эта голодавшая, в лохмотьях и чуть ли не на босу ногу шлепавшая девица хранила до сего дня в своих сундуках несметные шубы, белье, платье и прочее. Очень за нее тревожится и покровительствовавший ей Стип.

Я здесь рисую интерьеры в комнатах Александра II и Николая I. Иногда неподалеку работает и Зина. Да и, кроме того, продолжаю всячески отравляться прошлым. За последние дни заходил в комнаты Александра III и в полном одиночестве (а вчера с Акицей) разглядывал до одури, до ощущении физической тошноты альбомы[43] кодаков (фотографий) Марии Федоровны. Изучал Датский дом и «холерное семейство», как свою родню. Вообще же убийственное впечатление от всей этой мелкотравчатой, наивно-буржуазной добродетельной семейной жизни с ее вечными пикниками, унылым удовольствием, ребяческими шутками. Узнал много старых знакомых: толстяка и хитрюгу и обжору

Арс. Кутузова, благого А.С.Долгорукого, благодушного А.И.Смирнова, кисловатого Вяземского и т. д. Несчастного и рокового Ники еще раз понял и еще раз жалел его как человека, не мог пожалеть как монарха. Так нужно было использовать закон. Какой вообще исключительный материал для историка! Как передается атмосфера этих упадочников (смешок Михайловичей, «милость» Марии Федоровны (мнимая), семейное шутовство Мити, озорничество Ольги). Реже всех попадается Владимир, никогда его Михен. В одном из двух… нашел оставшуюся доселе и Макарову неведомую карточку Александра II. Однако Макаров нашел, что он похож на кучера или булочника. Вообще милый Владимир Кузьмич меня злит, когда делает свои исторические характеристики, всегда полные чуть лакейской иронии. Ирония — обязательный стиль русских историков известного Щедринского пошиба. «Все, мол, глупее нас».

Воскресенье, 27 июля

Сегодня, а не вчера, — день свадьбы Ати и Юры. 9,5 часов утра. В соседней столовой Стип дурит с Татаном и Катей, Акица энергично ступает на своих каблуках, возится с уборкой и

хозяйством, делая вдвое больше того, чем наша здешняя прислуга Лиза (жена сторожа, служившего поваром у Макарова), но имеющая вид обыкновенной деревенской бабы в повойнике, впрочем, весьма усердной и толковой особы.

Юрий уже встал и пил кофе, «маменька» все еще возится. Акица успела утром испечь превкусный крендель, четверть которого поел я. Только что разрисовал, раскрасил коробочку для Верочки, — обещание, данное в Петергофе. На крышке — Павел, по борту — представление девочек и Татана императору и его семье. Слышен нервический смех Зины. Она уже раздражает Акицу своими церемониями, фокусами. Все время какие-то непонятные обиды (вплоть до швыряния дверьми и т. д.). Она, кажется, собирается устраиваться у нас со всем семейством, но Акице это не под силу, и отклонила, и вот теперь Зина ходит вся наэлектризованная, юродствуя, пребывая в каких-то сердцах, подпуская шпильки, демонстративно пытаясь какой-то бранью и отношением с особыми ужимками реагировать на малейшее предложение. Чудовищный характер, не мудрено, что Эрнст на краю самоубийства. Сплошной выверт и особый вид безвкусного кокетства, щегольство своей нуждой, униженностью, при безграничной и самой глупой безвкусной гордости. Акица в ужасе от того, что она может присоединиться к нам во время путешествия. Сейчас она пишет портрет Верочки в веночке из колокольчиков, которые чрезвычайно ей к лицу.

Стип приехал вчера вечером и застал нас во дворце и в бывших парадных комнатах Александра III, я и Акица и Юра рассматривали чудесные большие охотничьи карикатуры Зичи. В другой папке я нашел пейзаж Милле. После этого всей компанией прошли в комнаты, где Джеймс со своими семинаристами по всем правилам научной методологии изучает и определяет картины, тщательно вымазывая их скипидаром, а то и слюной. Я его, бедного, ужасно сконфузил, определив портрет дамы (королевской жены Августа III), который он пытался выдать за Ант. Графа, как копию с Ротари. Затем всей компанией взобрались на башню, откуда виды были особенно пленительные, так как только что собравшиеся со всех сторон грозовые тучи стали расплываться, раскрывая тенями бесконечные слои горизонта и пропуская сквозь себя горение уже низко стоявшего солнца.

Оттуда нас В.К.Макаров провел в подземелье и к «Эхо». Стип долго заливался от смеха, так как ему удалось перепугать девочек, как раз подошедших к отверстию и начавших плакать. То же раз устроил великий князь Михаил, до обморока напугавший одну из дам, за что ему сильно попало от отца.

Вечер кончили у Макарова, поедая чудное земляничное варенье. Сегодня к обеду будет клубника (великая нынче редкость!), от которой идет по комнатам бальзамический дух.

Пятница, 1 августа

Уже 1 августа. В сущности, осталось всего пятнадцать дней до нашего отъезда, а между тем еще ничего не сделано. Кстати, срочно вызванный из Москвы (дабы войти в контакт с назначенным без его ведома заместителем, никому неведомым коммунистом Рапоппортом), Кристи не успел захватить мою командировку. Прошла в Москве командировка («в сопровождении») и Акицы, но для этого ему понадобилось выдать Акицу за «эрмитажную служащую», и теперь он сам просит, чтобы Тройницкий «оправдал» эту ложь и как-то причислил Анну Карловну[44]. Тройницкий, уехавший вчера в Москву, обещал мне выслать мою, а, может быть, и Акицы командировку тотчас же скорой почтой. Что касается до удостоверения из Губфинотдела о том, что за мной не числится недоимка, то только написал наши заявления, но не подал, так как Зина обещала предварительно все выяснить через управляющего банком Сергеева (портрет жены которого она писала и которая вообще ей благоволит), что нужно сделать, дабы эти удостоверения получить скорее (для нее самой и заодно для нас). Обычный же порядок берет две недели и больше. Зина поехала в Царское к Сергееву. Вчера Мессинг еще раз подтвердил Добычиной, что все будет сделано для нас без задержки. Словом, эта сторона зреет, но беда в деньгах, и Добычина попробовала было навязать имеющиеся у нее мои вещи (с ними она уже возится четыре месяца) И.И.Бродскому, пришедшему от них в восторг, за 1200 рублей, но Бродский не может внести и половину раньше 20 августа, и поэтому приходится искать другие комбинации. Кажется, она три вещи уже навязала Хайкину, а две еще кому-то. Акица по наущению Стипа почему-то особенно настаивает на обращении к Кёнигсбергу (продать ему старинные рисунки или свои), но его здесь нет, он на даче в Угличе, а об этом писать не хочется[45]. Впрочем, хуже всего мое собственное самочувствие.

Получена еще карточка от Коки с угрозой, страшно рассердившей Кулечку, что он больше не будет писать, так как он не получает ничего от нас. Сказать кстати, меня поражает, что Кулечка как-то совсем охладела к писанию. Она говорит, что на нее так действует сознание, что все письма читают. В этой карточке он говорит, что Ида уезжает 24-го. Итак, получается

шанс, что мы ее там не застанем, но вот именно *это свидание* меня более всего отталкивает от поездки. Передо мной две альтернативы: 1) быть может, она и впрямь хочет ставить «Идиота» со мной. В таком случае, несомненно, получится такая же мерзость, как в прошлом году, и даже еще хуже, ибо что эта дура понимает в Настасье Филипповне? 2) Она теперь финтит только для того, чтобы реализовать максимум мщения на моей персоне. Ведь она лично до сих пор ничем не ангажировалась (снова не приняла Коку!), на мое письмо не потрудилась ответить, и очень возможно, что она со злорадством ждет момента моей окончательной Каноссы или оставить меня с носом[46].

Эти дни я был в городе и лишь вчера вечером вернулся. Акица, сопровождавшая меня на сей раз специально для того, чтобы Моте дать подышать свежим воздухом, осталась еще до завтра там, для того чтобы взять ванну (здесь усердствующий в любезностях Макаров поставил ванну) и вымыть голову; великая мастерица Мотя, вернувшаяся вчера днем, была в восторге от своего пребывания в Гатчине, от Татана, который в нее буквально впился.

В понедельник, 28 июля, снова был у Добычиной, во вторник, 29 июля, вечером, она с двумя мужьями была у нас. С ними же одновременно были и супруги Добужинские. Он совершенно растерян вследствие затянувшейся ликвидации. Она более чем когда-либо жадная и мелочная. Их огорчает брак Стивы с на удивление некрасивой, беззубой особой. Везут они с собой и фрейлину Анну, так как Елизавета не желает сама заниматься хозяйством. Мне в дар ДобужинскийС (как его теперь прозвали по-литовски) принес несколько фотографических карточек и плохих стереоскопов.

В понедельник, 28 июля, днем был Совет Эрмитажа, а затем я с Тройницким отправился в Акцентр (на Садовой) узнавать о командировке, но там ни меня, ни Тройницкого, остававшегося еще часа два, до главного сановника (Кристи) не допустили. У него шло какое-то важное обсуждение. Вероятно, в зависимости от полученного сообщения о назначении Рапоппорта (никому доселе неведомого). Скрасил это ожидание Тройницкому флирт (есть другое русское слово, более подходящее, на «м») с О.Н.Скородумовой, которая кокетничает и строит русалочьи глазки, потягивается и закидывает руки так, что открываются голые подмышки и даже сеточка, в которой лежат груди. Разговорчики довольно циничные. Тройницкий вообще на них не падок, а на флирт вообще тем менее, но здесь он это проделывает «якобы во имя интересов Эрмитажа», причем он берет ее за руки,

играет с моноклем и вообще корчит кавалера. Так, например, на вопрос Тройницкого, как ей показалось новое начальство, она ответила: «Живот уж больно большой», намекая на то, что неудобно делать минетку (искусством оной оная славится, и весь ее фавор у Кристи будто бы держится на этом). Сказать кстати, она показала, но не дала прочесть Тройницкому длинное письмо его, начинающееся с обращения «Милая Оля!». Я из Акцентра пошел в театр, к Лерману. Бархатова теперь не застать весь сезон… обещает к сентябрю. Ох, не внушает мне этот жидок доверия[47].

Вечером у нас был Стип, додумавшийся до одного предложения, которое я отклонил, так как такие комбинации не в моем вкусе — чтобы я продал Кёнигсбергу его увраж (он обладает великолепными экземплярами этого редчайшего увража) за 1000 рублей. 500 рублей взял бы я себе (и отдал бы со временем в Париже). Другие 500 рублей ему на дорогу, так как и он начинает собираться, убеждаясь с каждым днем все более и более в том, что здесь ждет абсолютный голод.

В среду, 30 июля, я со своими сослуживцами на весь день уезжал в Царское (Тройницкий смилостивился и меня в Москву, на что я был уже готов, не потащил), приняли меня там и Яковлев, и г-жа Якоби с подобострастием, почетом, очевидно, до них дошло, что я на них зол за их телепоровщину. Но, Боже, какие это невежи и провинциалы. Они ни на шаг не подвинулись. Он ничего не знает. Зато изо всех сил старается перед начальством — весь Акцентр, Кристи с двумя женами, Хейфиц и др., которых расселил по свободным квартирам и перед которыми он старается себя показать «красным купцом» (его, собственно, выручает преданность Макаровым). Устроенные г-жой Якоби в первом этаже комнаты получились уродливые и бессмысленные. Это не интерьеры и не картинная галерея. Дворец Палей свыше рещено ликвидировать. Это грустно, как всякое разрушение, но все же отстаивать эту имитацию того, что в Париже имеется самого бездушного и банального, не хватает убеждения. Мы около часа ждали своего поезда, рассевшись кружком в ампирной гостиной.

В четверг, 31 июля, утром я, наконец, поспешил на его службу и нашел директора Р.А.Шапиро, у которого как раз сидел и паршивец Хохлов. Моя просьба об отпуске расстроила благодушного юного сановника, но он все же не протестовал. На днях снесу ему свою оформленную пробу. Лаврушу решено выписать, дабы он срочно поставил вместо «Тартюфа» переделку Никитина пьесы «Плащ святого». Забыл имя. Хохлов будет ставить народного Толлера «Гибель Вотана», но он в ужасе, что не

находится художник. Лебедев и Тырса уже оба отклонили заказ. Козлинский уезжает за границу.

Б.Молас, когда я был в Акцентре, рассказал мне массу анекдотов, и особенно об Ятманове. Последний решительно отказался подписать мне отпуск. Но, к счастью, он, наконец, отбыл в Саки на лечение и отдых, и это устроили без него. Задержался он на целых две недели, так как ему пришлось делать себе прививку. После того что покусала их взбесившаяся собачонка, перекусав, кроме того массу народу, в числе коих его секретарь О.Ф.Брандт и, кажется, Шахова. Массу смешного знает остроумный Б.М. про эти прививки. Но всего забавнее, как я упросил Моласа использовать их связи с КУБУ и раздобыть ему оттуда даровое пребывание и лечение в Саках. Молас, уверенный в том, что ничего уже нет, ибо люди записывались с декабря, сначала ехать не пожелал, но затем сдался. И вот как раз у Танковой неожиданно оказалось еще пять новых вакансий. Два в Саках, и вот эти вакансии по ватиканскому списку Молас, зная убеждения своего патрона, сначала не хочет сообщать ему об этом, но потом же телефонирует. Тот не может понять, в чем дело, но Молас ему прямо говорит, что это он будет как бы жить за счет римского папы, от чего он, вероятно, откажется. Проходит пять минут. Ятманов, не отходя от аппарата, молчит и опять изредка откликается на вопросы Моласа: «Вы слушаете?» И, наконец, произносит: «А ну и черт с ними! Беру!» Другая черта этого гранд-человека: О.Ф. Брандт среди зимы была при смерти, ее оперировали, насилу вернули к жизни, приходит в первый раз после двух месяцев на службу, Кристи выходит ее встречать, все прочие всячески приветствуют. Молас бежит к Жоржику, сообщает радостную весть, рассчитывая, что он выразит как-нибудь свое удовольствие. Но глыба не шевелится, и лишь когда О.Ф. входит к нему в кабинет, он привстает, здоровается по обыкновенному, затем молчит минуту, глядя в окно, и, наконец, говорит: «Ну, вот возьмите карандаш и пишите!» (какое-то отношение в какое-то учреждение).

Лондонская конференция все в том же положении и грозит кончиться ни в чью. Мир *очень* тяжело болен.

Суббота, 2 августа

Стоит дивная погода. Илья-пророк чуть погремел и спрыснул мелким дождичком. Крестьяне уже жалуются. По всей России чудовищная засуха и угроза голода (в газетах нас уверяют, что мы хлебом забиваем Америку). Хлеб, во всяком случае, уже

вздорожал. Подняты цены и на некоторые другие продукты.

Вечер сегодня закончился под чарующим впечатлением Татана, уплетающего в нашей спальне у открытого окна лесную землянику, до которой он страстный охотник. Бабушка его только что перед этим гладко причесала, и он имел вид идеального пай-мальчика. Землянику повелел подать на маленький прелестный рабочий столик, стоящий на двух лирах, и так как он оказался ему до подбородка, то притащил две подушки. Все это в довольно густом сумраке, в отблеске серебра зари было прелестно, как чудный сон из собственного детства. Не так хорошо начался с ним день. Мотя прислала с бабушкой обещанный ему арбуз (выкуп за то, что он ее отпустил), и вот мы ждали его пробуждения, чтобы порадовать этим сюрпризом, да и самим присутствием бабушки, вернувшейся вчера поздно вечером, когда он уже спал. Но проснулся он мрачный, с бабушкой даже не поздоровался, от арбуза отвернулся, обидевшись, что он маленький… Потом выяснилось, что он проснулся под впечатлением ужасного кошмара. Он был в «длинной» пещере, и там появились два медведя с усами. Вообще же он чудный. Сладостное удовлетворение он испытывает от гуляния по комнатам «босыми ногами» и в полуголом виде. По-прежнему с упоением рисует «Медного всадника», причем Евгений изображен всегда с исполинским кулачком и с цилиндром на голове. Меня он заставляет рисовать всякие вариации на «бойсой» трон. То на нем восседает Павел (букву П он уже сам умеет чертить), то я, то сам Татан, и все домашние стоят вокруг, в фантастическом характере изображенные им.

Забыл в прошлое воскресенье записать, что Зина кончила портрет Верочки и поднесла его родителям. Последние были скорее смущены. Прелестно переданное выражение «юной вакханки», действительно составившее главный шарм прелестного подростка, особенно озадачило отца, который, видимо, все еще считает ее за бебе. Впрочем, бебе уже во всю флиртует с Женей Серебряковым, который, однако, мало обращает на нее внимания, отказывается играть с ней и презрительно отзывается о «глупых» девочках. Он застрял здесь, так как у бедного Шуры фурункулез все еще продолжается. Бабушка Катя на прошлой неделе снарядила Шуру в Гатчину (она не признает болезней), но, приехав сюда с пудовыми пакетами в ужасную жару, он почувствовал себя совсем скверно, провалялся 24 часа, криком крича от страданий, и, наконец, мать его отправила обратно в Петербург. Несчастный мальчик.

Здесь гостит С.Н.Казнаков. Вчера он у нас завтракал, и потом вечером я с ним сидел у Макаровых, где он старался разобрать

какие-то загадочные письма к Елизавете Алексеевне, найденные в особом небольшом портфельчике в столе у Александра III. Бедняжка совсем глухой, и надо ему орать в самое ухо, чтобы он что-нибудь расслышал. Прямая цель его приезда — определить изображенных на бесчисленных фото в комнате Александра III лиц, что он уже третий день производит. Это я настоял на этой операции, ежечасно оплакивая то, что мы до этого не успели использовать Салтычиху[48], Альбера и других, ныне уже отбывших.

Акица была у Леонтия. Бедняга лежит, у него прорвалась грыжа, и его пришлось оперировать. К сожалению, зарастание идет туго. От Оли Штейнер известия, что она разводится с Осей и мечтает вернуться сюда. Добычина берется это устроить, но не гарантирует, что ее здесь не посадят. Вероятно, и материальное положение Оли очень испортилось. От Коки и от его вида и взглядов она в восторге, про Марочку воздерживается что-либо сказать, но ее поразило, что она, сидя в ресторане, «пускала во все стороны глазенками».

Сегодня утром я кончил, но неудачно (из-за бумаги) этюд в нижней тронной Павла. Днем кончил начатый в прошлое воскресенье этюд с башни. Рядом работала Зина. Она только и говорит о своем отъезде. Часть денег дает Рыбаков, но с тем, что все ее работы в Париже «поступят к нему». Шейлок! А с другой стороны, что поделаешь, когда никого другого нет! Сильно ее беспокоит душевное состояние «молодых людей», особенно Эрнста, валяющегося целыми днями в мрачной прострации на постели. Главная причина этой деморализации — полное безденежье.

Читаю Джима Хиггинса. Интересно (но не противно) перебирать все те глупости, через которые человечество прошло (и продолжает проходить) за эти десять лет! Менталитет самого Синклера не совсем еще выясняется. Во всяком случае, подозрение и в уме автора вызывает его неопределенное недоброжелательство к немцам. Особенно смешно теперь читать призывы к борьбе с немцами во имя спасения цивилизации. И ведь еще немало дураков на всем свете, которые этому верят (с тех пор их только прибавилось), что необходимо было в 1918 и 1919 годах спасти от них (немцев) Россию.

Понедельник, 4 августа

7,5 утра. Хотел ехать с поездом в 7 часов 50 минут, который составляется здесь и отходит отсюда, а, следовательно, в котором

наверняка найдешь себе место, тогда как в прошлый раз на кингиссепском в 8 часов 50 минут пришлось ехать до Петербурга, стоя в тисках, но задержки вечные из-за фатального «причуда», с которым каждое утро воюет Акица. А уехать без кофея значило бы совершенно огорчить ее.

Вчера у нас обедал Казнаков. Рассказывал, как хитро обокрали академика Щербатского накануне его отъезда к Далай-ламе и как Ольденбург его одел, выкрав для этого гардероб Безобразова, находящегося на конгрессе в Канаде. Пикантно то, что чины угрозыска, выследив, как воры влезли в форточку, напрасно прождали их возвращения до самого утра, и лишь когда в 8 часов позвонили к Щербатскому, обнаружили, что похитители давно уже убрались, забрав все платья академика через парадный ход. Ограблен и другой академик — Костычев.

После обеда я с ним (Казнаковым) посидел у Александра III, разглядывая альбомы и определяя лиц. Но он немногим больше знает меня. Надо бы ему завести Д.П.Дашкова, тот расскажет больше. И он едва ли не последний из тех, кто знает еще. Наслаждался стереоскопами, особенно видами Петербурга и снимками Александра II в штатском 1860-х годов. Как живой, жутко, как бы не перевел глаз на тебя.

Со Шмидтом перебирали снова все картины, сгруппированные по третьему этажу Арсенального каре, дабы выбрать те, которые необходимы Эрмитажу. Он эту «необходимость» толкует слишком широко. Впрочем, сейчас не мешает набирать больше, дабы заполнить те помещения Зимнего, которые нам удалось в последнюю минуту из-под носа Щеголева (Музея революции) закрепить за собой (уже к «революции» отошли исторические комнаты, и доход от них по-прежнему идет к нам). С этой же целью закрепления Автономов сильно «развертывает» восточное оружие в Гербовом зале, который теперь уже приглянулся Васильеву и Щеголеву. Гангрена ползет.

Вечером собирались в синему, но я совсем раскис, особенно после визита оказавшихся здесь родственников:

Михаила Александровича Бенуа (сын «барона») и его не очень приятной супруги. Он остался служить в артиллерии, но опасается, что его могут каждую минуту сократить, ибо сейчас от командного состава требуется знание — усердие не по строевой службе, а по политической догме.

Никак не могу всерьез приняться за «Тартюфа». Опять придется сегодня надуть Лермана, которому я обещал новую макетку и не сделал ее. Наши дамы очень заинтересованы новыми похождениями «дилекторши» (Марфы Андреевны), внезапно уехавшей вместо Марьино «секретом» в Старую Руссу.

Оказывается, у нее новый, пламенный роман с каким-то «молодым человеком», к матери которого она и отправилась. Мрачно смотрит на эти шашни Стип. С Тройницким он уже примирился, но эти новые измены бывшей супруги его удручают! Он же утверждает, что Сергей Николаевич не из цинизма (мое предположение) на все смотрит сквозь пальцы, а из безграничного доверия к жене[49]. Но тогда это может вдруг кончиться катастрофой. Говорит он и то, что за последнее время как-то изменился, точно в нем что-то самое существенное поколеблено. Сводней служит вдова Нурока, бывшая проститутка Марья Степановна. А зачем принимали и ласкали?

Пятница, 8 августа

Гатчина. Ровно полдень. Часы на башне, так напоминающие нам версальские (что в данную минуту уже не так меня трогает), пробили свои двенадцать ударов. Десять минут назад (они хронически будят вперед), когда я еще лежу в полузабытьи на «своем», хотя и жестком кожаном, но необычайно приятном диване в «своем» кабинете и пытаюсь вернуться к жизни, побуждаемый к тому налетевшими на лицо (не слишком здесь обильными, не то что в городе) мухами. Их приторное жужжание смешивалось с собственным моим храпом и сонливостью. А спал я, потому что не выспался, ибо поднялся в 7 часов, тогда как лег вчера около 2-х. Лег же так поздно, потому что, сжалившись над девочками (Катей и Верочкой), свел их собственной персоной после отказа всех остальных в кинематограф, который начался вместо 8 часов в 10 и затянулся до 12,5. Увидели же довольно глупую и пошло поставленную чепуху — «Любовь королевы».

Родители Верочки обещали, но должны были остаться дома, так как пришел к чаю гостивший здесь П.П.Вейнер, мучивший все эти дни разные здешние семинары своими добровольными докладами, которые, по отзыву Макарова, ничего другого не содержат, кроме безудержных восторгов и ребячьих криков. Бедный Путя! Но «семинарки» (Шмидтовские и те от Пролеткульта, которые поселены в Приоратском дворце) покорно и с доверием к маститому (крамольность Пути только придает еще мистичность) слушают эти разглагольствования, происходящие на ходу от предмета к предмету по запасам дворца. Я его так и не видел, ибо приехал, когда он еще водил своих жертв по комнатам Арсенального каре, а он отбыл, пока я сидел в синема.

Кстати, о семинарках. С одной из них, очень некрасивой, но

хорошо воспитанной (парле франсэ) я разговорился в ожидании кинематографа (Верочка, узнав, что сеанс отложен, свела нас в Приорат) и от нее узнал, что у них за монастырский и изуверский режим! Какая и в этом разница (и вовсе не от одних большевиков идущая) с нашим временем! Как наше «откровение» прошлого было полно «душистого» поэтического энтузиазма, с нежной любовью сентиментальности, чисто *индивидуального* и свободного общения с миром, когда-то существовавшим и оживавшим в нашем воображении, так их ознакомление с прошлым полно какой-то строгой, даже суровой, базирующейся на вере в «спасительность научного подхода» методологии, к тому же с определенным уклоном в коллективизм. Каким кошмарным и притупляющим гнетом веет (для нас) от всех этих коллоквиумов, дискуссий, от этих «руководительств» экскурсиями (входящих в круг их повинностей, за что их и пригревают и почти задаром кормят), руководительств, подчиненных известному плану, устанавливаемому и после общего обсуждения и применяемому иначе в виде опытных безгонорарных прогулок, при которых ходят по два контролирующих товарища. В свою очередь, эти соглядатаи выступают затем на общем обсуждении прогулки с нарочито строгими придирками и критиками. Такие прения-суды у них иногда затягиваются до 2-х часов ночи. Бедная, бедная старина… Какое ужасное потомство развели мы все и в значительной степени я — родоначальник «Мира искусства» и «Художественных сокровищ России» и вообще всего «интимного обращения» к былому в русской культуре! Но так, видно, *нужно*, таков закон. Обидно только за все эти молодые души и сердца, что они того, что мы получили, *не получат*. Впрочем, уже отношение «старых годов» благодаря своему скопчеству было в своей основе (и несмотря на жизненность Коки Врангеля) лишено этой поэзии.

С понедельника был в городе. Главное содержание этих дней — приготовление к отъезду, и не столько это я готовился, сколько за меня готовится Надежда Евсеевна, которая настаивает пуще прежнего на нашем немедленном выезде (почему-то все приходит на ум: не угрожает ли что?) и которая особенно… при получении телеграммы утром в среду от Коки: «Ида появилась!»

После этого, ввиду неполучения до сих пор командировки из Москвы (во вторник вернулся оттуда Марк Философов и привез такую весть: «Бумаги Бенуа не готовы, и неизвестно, когда будут»), они решили действовать особым манером. Не предупредив меня, она (Добычина) явилась (вероятно, ввиду козыряния своим знакомством с Мессингом) к Кристи и Сергееву, свела их как-то (по телефону) с Цыперовичем, и в результате

получилось то, что: 1) Цыперович для Наркомпроса покупает за 600 рублей ассигнациями часть моих акварелей; 2) Кристи написал в Москву и поручил поехавшему туда Ольденбургу торопить высылку моей командировки. Добычина уверена, что здесь интриги Тройницкого, про которого Мессинг выразился, что он вместе с Ятмановым составляет «хорошенькую пару»; 3) тот же Кристи обещал, в случае чего, если бы командировка все же запоздала, выдать мне удостоверение для ГПУ, что такая командировка мне выдана (при нем ее подписал зам-нарком Ходоровский); 4) Мессинг обещает по получении всех документов моментально выправить паспорт; 5) при помощи Сергеева уже получил удостоверение о том, что за мной и Акицей не числится недоимок.

Во вторник Добычина весь вечер провела в одиночестве со мной (она была на вечере у Абельменов и оттуда прибыла) и наговорилась досыта. Между прочим что-то болтала о громадном значении для советской власти моего приезда на Запад в эту минуту (в связи с переговорами о займе) и что будто бы это вполне сознают и Цыперович, и Сергеев, и Мессинг. Разумеется, я лично этому не верю, но *благодетельное действие все же от этого ощущаю*. Мне вообще нужны утешительные дозы одобрения и хотя бы самой прозрачной лести, чтобы как-нибудь балансировать мою внутреннюю растерянность (растерянность моя в чрезвычайной степени усилилась после мейерхольдовских спектаклей, вернее, после их *успеха*, если не муссированного, но все же столь ловко налаженного Гвоздевым, Евгением Кузнецовым и тутти кванти, что я уже определенно восчувствовал, что здесь моя песенка (песенка всего нашего искусства) спета, или, вернее, безнадежно заглушена), именно за это благодетельное действие всего культа, которым меня окружает Надежда Евсеевна, и я ей делаюсь с каждым днем все более *признательным*. Но как себе объяснят такой рьяный патронаж все те, с кем она входит в соприкосновение по моим делам? И это вхождение делается не просто, а с невероятным напором и с отчаянной прямолинейностью. Она буквально командовала и в кабинете у озадаченного вконец Кристи, и в финотделе. Даже целому ряду лиц сделала выговоры, и случилось то, что всегда случается в подобных случаях, — выговоры выслушивались чуть ли не с трепетом (перед такой видимостью могущества) и дела делались, как по мановению волшебной палочки. Тогда же, во вторник, она рассказала про свой роман с Горьким и привела такие характерные подробности, которые во мне создали убеждение, что он действительно лез к ней, и даже в довольно грубой форме. Заодно от меня и от нее попало всему

горьковскому быту, всей окружающей его фальши, несомненно, отвечающей и его внутренней глубокой лживости. О, как я благословляю небо, что мне больше не приходится входить по лестницам дома № 20 по Кронверскому. Каждый раз, делая эти восхождения, я молился, чтобы это было в последний раз!

В двух словах еще несколько фактов за эти дни: вторник, 5 августа — жара. Рисую новую декорацию «Тартюфа», в которой и не нужно больше ничьей живописи, да и роскошь материала (я сначала думал о бархатных стенах) заменена тоном холста. С этим Лерман справится. Захожу к Шапиро взять отпуск, который и получен не без некоторого колебания (из трусости). Вообще же он мне показался на сей раз милым мельником, раздавленным массой навалившихся на него дел. Ко мне благоволит. Сам заговорил о моем лучшем обозначении, о полном моем переходе в театр (в Эрмитаже он ни разу с революции не был), взял с меня слово, что по возвращении я возобновлю этот разговор.

Первый раз в Эрмитаж приходит Мотя, которую я пристыдил за ее незнакомство с музеем. Сережа совсем в нее втюрился. Длинный разговор с П.К.Степановым. У них в театре не перестают ходить фантастические слухи о Коке. Он выработал целый план, кому Кока должен написать, чтобы эти слухи окончательно разрушить. Он действительно очень расположен к Николаю, но не без стиля «мамушки», да и все их учреждения сильно напоминают «бабий» монастырь с его сплетнями и интригами.

Шильдкнехт переживает ужасные моменты. Он уже совсем собрался ехать, а тут Кандина стала цинично, на виду у всех путаться с какими-то богатыми кавалерами. Поездка отложена.

Вечером у меня Добычина. Кроме помянутых выше тех лиц, она затронула еще Н.Д.Соколова, которому она пророчит печальный конец, так как он якобы занялся «расторговыванием» своего влияния во Внешторге и даже предлагает какие-то комиссионные Рубену. Но Добычина давно его не любит, быть может, и на почве особой ревности, так как они оба состоят в политическом Красном кресте (снова будто возрождающемся). Впрочем, во всех этих разговорах (и особенно о Горьком) меня всегда поражает глубокая провинциальность и не только добрейшей Надежды Евсеевны, но как раз и Горького, и всех наших сановников, и всех наших художников. Придается значение самым мелочным глупостям, и особенно это сказывается в разных «турнирах остроумия», в диалогах, в которых каждый собеседник старается быть вполне на уровне европейского юмора. Та же провинциальная мелочность является одной из главных причин затора всех дел и даже всего государственного механизма. Во имя сбережения каких-то грошей содержат

колоссальный аппарат сыска, контроля, пресечения, тут, разумеется, *сейчас* от нашей пролетаризации, от того, что всюду, и у самого кормила власти, во всех делах, встали люди, привыкшие дрожать над копейкой и жить интересами узкого жалкого круга. Много здесь и от нашей российской вошедшей в плоть и кровь убогости (совершенно вытесняющей прежний российский размах, «широту натуры»), Во всяком случае, именно этот провинционализм придает столь уродливую «форму» и нашей политической полиции, и нашему торговому делу, и нашему искусству, и всем прочим отправлениям нашей государственной жизни, и всей нашей культуре. И вот стоит это как-то остро почувствовать, так начинает безумно тянуть отсюда к большой шири. Или же надо уйти в леса, степи, на что я не способен, ведь я насквозь городской человек. Но, с другой стороны, не слишком ли и я уже отравлен за эти десять лет здешним? Могу ли я теперь стариком приобщиться к тамошнему?

Главный мотив прихода Добычиной было приглашение на завтра к себе «на Мессинга». И вот констатирую огромную разницу с 1919 года. Мне уже это не *противно*: как-никак это человек с обагренными кровью руками, даже скорее интересно, и уж во всяком случае вовсе *не страшно*. У меня совершенно вымерло то мистическое ощущение явлений, которое было у меня прежде, особенно остро в 1917–1918 годах. Однако как подумаешь: необходимо иметь дело с Идой, то мистическое это отвращение, «ужас перед дьяволом» (чувство на лестнице Горького происходило из того же источника) я ощущаю с прежней силой. Фу, какая мерзость.

Однако этот вечер (6 августа) не состоялся. Мессинг куда-то отбыл. Сижу до 4-х часов дома. Блаженствую в одиночестве. Кончаю декорацию, сдаю ее Лерману. В 4 часа иду к Леонтию, которому на днях делали операцию грыжи и который лежит в бараках Биржевой больницы. Трогательно за ним ухаживает Марья Александровна, даже проводит ночи, сидя в кресле у его постели. Швы уже зарастают. Он грустный. Она озабочена судьбой Оли, которая разводится с мужем (Ося стал стращать нищетой) и тоже теперь оказалась без средств: даже собирается сюда. Возвращались часть дороги пешком, мимо Горного (бассейн около него, о существовании которого я узнал из старинных стереоскопов, существует, но он зарастает, и его закрывают забором).

Работы по подъему «Народовольца» идут, и по этому поводу даже выключен проезд «по набережной» (впрочем, там и езды никакой нет!), и вообще эта часть города, ког-да-то кипевшая торговым людом, теперь совершенно пустая.

К обеду Сережа Зарудный. Макароны с томатами. Читал на ночь «Рассказы полковника Жерара».

В четверг, 7 августа, зашел утром к Добычиной. Потом обход третьего этажа в Эрмитаже. Не можем найти С.Рейсдаля от Набокова. Даю инструкцию Шмидту на время моего отъезда. Они уже приехали из Гатчины из-за дочурки, которая все еще «сидит». Очень вкусный обед. В 5 часов на поезд. В вагоне милейшая девочка, нянчившаяся с котенком, как с ребенком. Здесь застаю несколько напряженное настроение между Кулечкой и Черкесовым. Он нас огорчает нежеланием делать какое-либо одолжение. Оба пугают своей черствостью. С девочками — в кинематограф.

В пятницу, 8 августа, уехала в город Кулечка и вернулась только в 12,5 часа, так как поезд запоздал на 2 часа из-за починки моста у Лигово. Я весь день занят, кончаю [читать] Хиггинса, прекрасно изображена война, но омерзительно глупая ненависть к немцам — «гуннам»… Конец очень печальный для социализма: его массовый представитель не выдерживает борьбы с «капиталистами» и сходит с ума.

Очень недурно раскрашиваю костюмы для «Тартюфа». Занимались с Макаровым и Нерадовским изучением Ротари во дворце. К вечеру проливной дождь. У меня приступы паники перед отъездом. Зачем еду? Не по своей воле и желанию, во всяком случае! Отдаюсь судьбе. От усиленной *психической* работы болезненная сонливость, желание забыться. Рисую для Татана и Кати всякие глупости про дворец, Павла I, троны — все по татанову требованию. Он начинает ощущать прелесть жизни на свой лад. В первый раз Акица и Юрий ели простоквашу по моему рецепту — с перцем и солью.

В среду считалось, что торговля СССР с англичанами лопнула. Федя Нотгафт даже впал почему-то в панику. Мол, денег совсем не будет. Немцы допущены до конференции союзников, и так дело как будто слегка начинает проясняться. Не находится ли это под влиянием Юза и его политики, главное острие которой направлено против большевизма?

Суббота, 9 августа

Чудная погода с сильным ветром. Оба в город. Я с Зиной у Кристи. Принят сразу, с почетом. Ежедневно справки по телефону Москвы. Возмущен волокитой. Выдают мне удостоверение о командировке. К Зининым бумагам прикладывает письмо к Соломоновичу и Ходоровскому в Москву, и она еще не теряет

надежды поехать с нами. Бумаги отсылает ускоренной почтой. С удостоверением к Добычиной. Заполняем анкеты, раздобытые Акицей. Получаем деньги. Но Черкесовым нельзя будет оставить более 150 рублей. Билеты до Парижа через Ревель по 90 рублей. Придется ехать 14-го через Ревель и оттуда пароходом, так как оттуда пароход уходит уже 15-го. На него ни за что не попасть. Снова бесконечные и очень уютные разговоры с Добычиной. Она огорчена отношением к себе Черкесовых.

Заходим в Эрмитаж. А.Н.Макаров уже получил мандат для себя, для меня — ничего! Тут не без злого умысла. Дома длинное письмо от Коки. Менкин [?] уже там, и Кока его пристроил к Балиеву. Ида по-прежнему увертывается. Коку приняла мадам Регина. Противное впечатление от рассказа о Валечке. Совсем грустное — от сообщения, что Леля переехала к Кавосам. Какая склонность к убогим уродам, неудачникам, «афушкам». Для чего бежала в Париж? Сергей принял Коку сухо. Владимир ни в чем не помогает. Вообще и это письмо вовсе и не располагает меня к поездке. Но я уже не владею своей особой. Меня что гонит? Так нужно! Мотя в отчаянии от «блуда» Карлуши. Сегодня и мы застали ее на лестнице слипшейся с огромным котом.

Пятница, 15 августа

4 часа 10 минут. Адская жара. Через полчаса уезжаем. Последние дни были сплошным беганием, хлопотами. Командировки пришли (после вторичного окрика Кристи) лишь во вторник (12 августа), но уже до получения их мне (по совету Добычиной) выдал Сергеев, с которым я так лично и не познакомился, удостоверение в том, что моя командировка существует вместе с другими бумагами. Добычина через Сергеева в два дня достала свидетельства из финотдела. Было снесено в бывшее Министерство финансов на Дворцовой площади Юрием, усиленно подгоняемым Добычиной- Он же обращался за ускорением к тов. Семенову, любезному молодому человеку, уже, оказывается, благоволившему и Коке. Действительно, благодаря Семенову и быстрой подписи Мессинга мы получили паспорт уже вчера. Пришлось завизировать у нелюбезных эстонцев. Обе визы стоили 26 рублей. За эти дни я еще устроил разрешение взять с собой около 100 своих этюдов, всяких материалов и 10 книг- Первое я получил сразу в понедельник, где А.С.Школьник собрал на этот предмет специальное заседание. Вещей почти не смотрели. Разрешение на книги мы получили сначала в Акцентре. Но этого мало, и их пришлось еще снести в политконтроль, где их

держат три дня, но затем в доставленную нами парусину зашили и запечатали. Кошмар! Билеты на пароход «Ариадна», отплывающий в субботу из Ревеля, стоят 48 рублей каждый. Вообще до Парижа мы уже истратили на вояж около 200 рублей.

Все же я не убедился в необходимости этой поездки. Но да будет воля Божья. Впрочем, сегодня Кока написал более утешительные письма: Ида приняла его и ждет меня с нетерпением.

Когда-то продолжу?!

* * *

Перечитывал полученную в Париже через одиннадцать лет, в марте 1935 года, часть (очень малую) своих дневников, совершенно неожиданно прибывшую простой посылкой из Гельсингфорса от неведомого мне г-на Винберга.

Стипу (иначе говоря С.П.Яремичу) было однако наказано все мои бумаги, весь мой архив с его бесценными материалами сдать в момент ликвидации нашей квартиры (что произошло в 1930 г.) в Русский музей. Очевидно, он этого не счел нужным сделать, а теперь использовал какую-то оказию и послал (он ли?) эти дневники мне. Разумеется, я этому рад, хотя и сознаю, что там, в хорошем месте, они лежали бы надежнее. Но не предпочел ли Степан еще после просто отделаться (из-за пиетета все же к нашей дружбе не рассчитывая их просто уничтожить) из опасения, как бы многое сказанное в них не повредило бы разным нашим близким людям…

Жизнь наша здесь в Париже — непрестанные томления и тревога (безденежного труда), работа с Идой Рубинштейн в 1934 году завершилась давно предвиденным разрывом с этой бездарной любительницей.

Мы по-прежнему живем на веточке, и если сейчас нас не согнали, не выбросили на улицу, то это потому, что мне «удалось» (увы, случайно!) продать своих фамильных Гварди за 120 000 фр. На них и живем. Европа же пуще прежнего хворает (сейчас идет дипломатическая потасовка из-за «одностороннего» нарушения Гитлером Версальского договора). Единственно, с чем я могу себя лишь поздравить, так это с тем, что Бог меня миловал не присутствовать (и не быть притянутым к участию в этом деле) при разорении на родине всего того, из-за чего, казалось, и стоило жить, главным образом при разбазаривании Эрмитажа…

notes

Примечания

1

И кроме того, Эрнст в хлопотах о предоставлении «гражданке», известной художнице Остроумовой-Лебедевой, кроме помещения в 6 кв. сажен, еще комнаты для ее художественно-культурной деятельности.

2

Тата тоже смущена «приключением мира» — как кричали газетные мальчишки. После чая Сара Семеновна мне играла Куперена. Раздражают акварели (гризетки). Уже были они другие и, на наш взгляд, пустые. Кому понадобится такое искусство? До них был у В.П.Лебедева. Он тоже очень недоволен и Шухаевым, и Григорьевым, но совершенно в иных выражениях. Про наше отсутствие на выставке с забавной наивностью «соглашается», так и говорит: «Вы свое дело сделали, а следовательно, можете отправляться на покой». Пишет он сейчас натюрморт из всяких жестяных предметов, вид крыш и стен из окна (без всякой сентиментальности а-ля Добужинский и всякой колористической задачи) и каких-то размалеванных девок.

3

За чаем Замирайло, доедая свою последнюю картошку, предложил свои услуги. Едва ли это и его дело. Некрасов выйдет каким-то вымученным, выразительным и холодным. Но все же надо будет выставить и его кандидатуру. Он все же сделает «культурно».

4

Я чуть было не раскричался на этого хама за один тон, которым говорит, с хохотом и иронией. Сама же его докладная записка — после вычеркивания годного для декрета об объявлении России республикой вступления с гнуснейшим цинизмом о том, что царь держал под спудом искусство и в намеренном невежестве народ, — неожиданно переходит к самому изложению проекта о том, что нужно как можно шире поставить фотографическое дело и, в первую голову, репродуцирование музейных и дворцовых вещей. И вот в качестве первой конкретной меры предлагается: «Изъять из ведения отдела дворцовых комиссий фотографирование и сосредоточить все это дело в одной лаборатории». Вообще у этих архистратигов свободная трата слов: изъять и запретить, а для того, чтобы что-нибудь распространить, они первым долгом губят источник распространения. А нам как под этими аферами? Ну, скажем, получить музейные фотографии? И я имею еще благодушие излить такой сволочи свою точку зрения даже общеполитического характера. Снова я сижу с Ятмановым. Я счел нужным предпослать в двух словах свой отрицательный взгляд на социализм вообще, и вот тут нахал (интуитивно он, может быть, чувствует сиюминутную наивную сторону того, что я ему это тщусь разъяснить) стал особенно язвительно улыбаться и болтать какую-то чепуху, что-де все это фразы и я с народным делом более становлюсь социалистом. Что именно под этим он — и вообще они — понимают, сказать трудно. Но я думаю: не больше, как утверждение своей физической победы, прочности своей опоры на штыках.

5

Вклеена записочка Штеренберга, написанная карандашом:

«Ко мне переходит чиновник со всеми бумагами всех Академий. Мне необходимо поговорить с теми людьми, о которых вы говорили, что они академики, но желающие внести другие формы в эти школы.

Пригласить запросить или это делается иначе, здесь у вас».

6

Длинный, элегантный и уродливый молодой человек, приходивший просить меня произвести экспертизу тех художественных вещей, которые у них в царскосельском доме и которые он хотел продать. Я обещал назавтра даже поехать с Аргутоном.

7

Кстати, я с Ятмановым снова затронул и тему об антикварах, торговле художественными произведениями вообще и вывозе их за границу. Разумеется, этот палач и здесь стоит на всех своих запретительных и реквизиционных точках зрения. Лукомский считает, что этот еще хуже Макарова. Что хуже всего — полная при этом бездарность и невежество! Ему на самом деле до всех этих вещей дела нет!

8

Это мне напоминает фразу черносотенца Леонтия [брата] во время нашего отбывания снеговой повинности: «Что же, тут худого ничего нет. Это очень здорово!» При этом совершенно забыл, что завтра последует повинность — выгребать ямы. Все те же сапоги всмятку. Впрочем. Путя так и не чистил снег на Воскресенской набережной, сказал, что просто «если буржуи Литейного района уперлись, что не придут. Смольный уступил». Теперь почти всюду чистят снова в массах навалившийся снег, но, видимо, это работают только наемники. Местами попадаются гимназисты и офицеры.

9

Забавно, что и наша Мотя тоже недовольна, что «они говорят, да не делают, и войны не кончили, и мира не делают».

Прим. И В.

11

Забавно, до чего все эти «помещики» почувствовали себя в своей стихии, как только им дали повозиться не с картинами и бронзами, а с продовольствием. Щербатов прямо бастует, Курбатов весь в поисках всяких продуктов, а также бензола и денатурата для автомашин. Знаток комеди дель арте и неплохой исполнитель Вагнера на рояле Миклашевский прямо надоел своими обсуждениями поручений и способами взимания прежних взносов, а В.А.Верещагин очень к сердцу принял, будет ли он тут каждый день есть или он может пользоваться товарищеской столовой лишь когда ему понадобиться. Еще ни о чем так деловито и детально на спорили. Наконец, даже я, чтобы не отставать, внес без всякого расчета на то, чтобы воспользоваться, этот взнос — 10 рублей, в счет коих можно получить на 5 дней краюху хлеба и несколько кусков сахара.

12

Новые приобретения Браза (не считая мелочей): 1) великолепная мадонна Луини (я не уверен в том, что это кто-то из его последователей, вроде того, которого я видел в Лувре!) рафаэлевского порядка с Иоанном и с двумя ангелами позади. 2) Прекрасный натюрморт «Vanitas» — подписанная картина редчайшего фламандца. 3) Небольшая жанровая бронза Джованни да Болонья «Птицелов». 4) Несколько мелких бронз с антиков (античную сидящую женскую фигуру, о которой мне кто-то рассказывал, он мне не показал). Несколько не особенно интересных рисунков обоих Тьеполо.

13

Вероятно, это блокнотная россыпь находится в фонде Яремича № 7 в архиве Эрмитажа среди обезличенных и неопознанных единиц хранения. — И. В.

14

У бульвара перед садиком было поставлено другое полотно (вернее, миткаль), которое, однако, предстало к нашему приходу одними лишь клочьями. Мы попробовали все же разобрать, в чем дело, но это оказалось невозможным. Висели только футуристические зигзаги и очень много сажи. Народ больше всего возмущался, что при отсутствии в городе мануфактуры столько здесь изведено на такой вздор. Все с ужасом говорят о «панно» на Думе, изображающем смерть в немецкой каске.

15

Вероятно, коллекция Салтыковой была осмотрена, так как Аргутинский-Долгоруков и Бенуа на заседании Совета Эрмитажа 1 декабря 1918 года предложили купить у Салтыковой два барельефа, портрет и табакерку за 50 тысяч рублей, и было поручено мастеру Байкееву немедленно перевести вновь приобретенные экспонаты в Эрмитаж. Покупки у Салтыковой этим не ограничились. 5 ноября 1919 года Эрмитаж приобретает из ее собрания серебряную кружку данцигской работы XVIII века, а 18 декабря 1918 года Эрмитаж берет на хранение собрание фарфора Салтыковой.

16

Имеется в виду фарфор фабрики Попова. — И. В.

17

27 февраля 1920 года Луначарский направил материалы в Совет Труда и Обороны, сопроводив таким текстом: «Мне кажется, что прекращение такого варварского употребления исторического здания должно быть выполнено в спешном порядке для того, чтобы открывающиеся регулярные связи с Европой, во всяком случае, не повели за собой новых взрывов осуждения по нашему адресу. Мы с гордостью можем сказать, что сейчас с очевидным успехом защищаем исторические и художественные достояния русского народа.

Варварское отношение к Гатчинскому дворцу-музею является единственным бросающимся в глаза исключением. Об исправлении этой ошибки местной петроградской властью я и ходатайствую».

Заседание Совета Труда и Обороны рассмотрело материалы Гатчинского дворца-музея и дало указание о выводе войсковых частей, что и было сделано. — И. В.

18

Зарубежный «Мир искусства» оформился в Париже в апреле 1921 года. В июне в галерее Боэти открылась выставка. Экспонировали свои произведения Бенуа, Бакст, Рерих, Стеллецкий, Яковлев, Шухаев, Григорьев, Анисфельд, Судейкин. Гончарова, Ларионов. В конце года выставка была повторена на Осеннем салоне. — ИВ.

19

Имеется в виду отъезд Бенуа в эмиграцию — И.В.

20

Дочери в Париж. — И. В.

21

В дневниках Бенуа не раз упоминается о Линчике и о судьбе его сыновей; следует пояснить справкой из «семейной записи о Дягилевых». Речь идет о брате Сергея Павловича — Валентине Павловиче Дягилеве (1875–1929) — втором сыне Павла Павловича Дягилева от брака с Е.В.Панаевой. Валентин Павлович, выпускник Александровского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского училища, в 1903 году закончил Академию Генерального штаба. Во время Первой мировой войны служил на Юго-Западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве. В 1918 г. зачислен как военспец в Красную армию. Преподавал в высших военных училищах. Профессор военной истории. В 1917 г. арестован, обвинен в контрреволюционном заговоре и посажен в Соловецкий лагерь особого назначения. Расстрелян в конце августа 1929 г.

Валентин Павлович тесно общался с С.П.Дягилевым вплоть до его отъезда за границу, помогал в организации выставок. Получил хорошее музыкальное образование, по семейной традиции пел и играл на различных музыкальных инструментах. Два старших его сына — Павел и Алексей, блестяще окончившие пажеский корпус к моменту революции, — в 1918 г. втайне от родителей ушли в войска Юденича, осаждавшие Петроград, и оба погибли. — И.В.

22

Все кончено (франц.)

23

Герой рассказа Тургенева «Певцы» Моргач, портивший пение.

24

Воспроизведена Бенуа в его дневнике. — И. В.

25

Нелепый спор спровоцирован еще в Совете Орбели, предложившим наказать бывшего графа и бывшего коммуниста Зубова за его неприглядную выходку по адресу Эрмитажа, лишив впредь издания Института всего эрмитажного материала, которыми сборники Института исключительно питаются. Тройницкий поддержал его, но на сей раз, как бешеный, вскочил во имя свободы Головань.

26

Как раз за утренним кофе мы с Акицей и Мотей решили в виду ужасных трат отменить этот обед на недели две: авось Добычина что-нибудь продаст, и в это самое время является посланный с письмом, в котором Кесслер в очень вежливой форме просит выяснить вопрос, когда он приглашен: в среду или в четверг? Пришлось ответить, что в четверг.

27

Вчера Тройницкий показывал мне два письма, одновременно полученных от Воейкова. Письма официально «секретного» характера, на бумагах со штемпелем и под номером, а содержание — сплошной фельетон. Издевательство над политиками, негодование на их «грабительские поползновения», характеризирующие каждого члена делегации.

Непримиримость, бескомпромиссность (англ.). — Прим. ред.

29

Разрядка, ослабление напряженности (фр.).

30

Бедняга, совершенно опустившийся, покончил с собой в 1938 году, выскочив из окна в Париже. — Прим. А.Н.Бенуа.

31

«Старая Гатчина», выходил в 20-е годы, в нем А.Бенуа опубликовал статью «Ротари в Гатчине». — И.В.

Среди этих ухищрений особенно примечательно:

1. развешенное белье в первой сцене между Алексеем в зеленом парике и Аксюшей;

2. катанье белья в сцене между Аксиньей и Гурмыжской. последняя в ярко-красном парике, короткой юбке и высоких шнурованных сапогах, как ходили советские кокетки года два назад;

3. одновременно с этим происходило ужение рыбы Аркашкой, и это называется «синтетическим действием»;

4. беганье на «гигантских шагах» в сцене первого объяснения между Аксиньей и Петром;

5. виртуозная игра на гармонике во время второго объяснения. Эта сцена с гармошкой имеет наибольший успех, и после нее на вызовы до окончания акта выходят «работавший» в куплетах профессиональный гармонист и сам Мейерхольд в поддевке с видом Фуке Токвиля. Совершенный идиотизм — чтение писем Несчастливцева попом с церковно-манерным распевом.

33

Чудовищно было мое возвращение в субботу (14 июня) вечером: на поезд 8:40 я совсем не смог сесть, ибо толпа облепила все буферы, висели на подножках, сидя на крышах. Сунулся на Варшавский: там еще хуже, даже в вокзал не давали проникнуть. Пришлось вернуться домой, и, добравшись за 1,5 часа до последнего поезда, прибыл с ним в Гатчину около трех часов.

34

Последнее слово его наследнику: «Держи все. держи все!» — свидетельствует более о принятом им тяжелом подвиге властвования, нежели о призвании к такому делу. Очень правильно делает Литке различие между усилием и случаем, рассказывая о маске, принятой Александром II на первом заседании Государственного совета, посвященном обсуждению крестьянской реформы, когда он, подготовленный как должно и произнеся речь, повел затем заседание «на курьезах», не давая высказаться оппозиции («ерзанье» Меншикова! Заявки Клейнмихеля), которые до заседания необычайно хорохорились. Какие несчастные люди — монархи! И под такой маской задыхаться всю жизнь!

35

По приезде вчера вечером в Гатчину я имел беседу с Макаровым. Он встревожен требованием Ятманова — явиться перед его ясные очи. Он уверен, что это следствие оговоров Исаковской комиссии, приезжавшей три раза в Гатчину. Ведь Исаков создал какую-то новую должность инспектора музей, и к нему на помощь придали заправских сыщиков и фискалов: каких-то Фандикова, ведающего выбиванием из всего доходности, Гагарина и еще кого-то. Здесь в Гатчине она себя вела очень нагло и высказала крайне отрицательное отношение к созданию Портретного музея (ко всем, от меня исходящим проектам, у Исакова всегда враждебное отношение, впрочем, и к другим тоже, этот человек вечно уязвлен в своей абсолютной бездарности). Так как это помешало бы использовать под эксплуатацию Арсенальное каре. Недовольство он высказал и против того, что верхний этаж Кухонного Макаров отдает под музейных деятелей, а не под нэпманов (уже заселивших весь нижний этаж), и я думаю, что тут побудителем в психологии Исакова могла послужить зависть и досада, что именно меня здесь удобно устроили. Еще Макаров пострадает из-за своей преданности мне.

36

В ожидании Стипа, который обежал все близлежащие кварталы, чтобы найти дом, в котором живет Чехонин, я, сидя на заборе деревянного домика по 13-й линии, любовался уютной жизнью этого захолустья с обывателями, выщипывающими, стоя на коленях, траву, с пасущими козами, с детворой, играющей под деревьями лишенных своих ограждений садов, и какие всюду чудесные картины складываются из всяких старых деревянных домишек, разрушенных домов, рощиц, новых, унылых громад!

В Париже в позднейшие годы у Чехонина было то же самое.

Относительная дерзость вышучивания художником высокопоставленных персонажей обезвреживается им же в той верноподданнической почтительности, с которой он трактует самого монарха, членов августейшей семьи, обыгрывает крупицы сановников, их улыбки и… в сторону «благодеяния».

39

Вопрос о присоединении двух особняков к Эрмитажу уже получил свои санкции в конклаве Ятманова. о чем Орбели прислал сюда в Гатчину со Шмидтом выписки. В той же выписке значится нечто очень путаное по вопросу о загородных дворцах, к хозяйству коих присоединяется Исаакий, Петропавловский собор и Меншиковские палаты! О персональном возглавлении уже нет речи (снова Совет хранителей), а между тем и Макарову, и мне находится дело. Явные намеки на то, что такой возглавитель необходим и что он рассчитывает на меня.

Под этим словом подразумевается изъятие из фонда польских рисунков Станислава Августа и передача в Эрмитаж ряда превосходных старинных рисунков, что было произведено (при моем попущении и при содействии нового библиотекаря Академической библиотеки Сахарова). В Эрмитаже все эти рисунки инвентаризировали как дар фиктивного г. Воробьева. Такое хищение оказалось возможным только потому, что [рисунки] не были инвентаризированы Академической библиотекой!

Как, в сущности, логично с точки зрения православного коммунизма: такая «негодность» каждого товарища — лишь бы его партийность была вполне благонадежная. Точь-в-точь, как в былое время назначения генералов на чисто гражданские должности, в министры просвещения и т. д., и требовалось только такая абсолютная благонадежность, вер-ноподданничество. В России эти явления общего социал-политиче-ского закона получают особый оттенок благодаря грубости, вялости, покорности народной массы. Благонадежность — настоящее условие для карьеры в России.

42

По заведенному обычаю Тася привезла коробку конфет якобы от Гурко, но, Боже мой, какая это оказалась гадость. Я захотел полакомиться своим любимым марципаном, но он оказался продушенным какой-то несказанною мерзостью. Насилу ополоскал рот, и хотя не проглотил ни одной крошки, однако потом следовала отрыжка. Не многим лучше конфеты и пирожные у вновь открывшихся «Шанов», ранее называвшиеся Крином.

26 Дневник. 1918-1924

43

Листов шесть, выдранных их этого альбома, В.Бибиков приобрел в 1942 году, кажется, у городничего Гатчины, и я был бесконечно изумлен, увидев их снова у него! — Прим. А.Н.Бенуа.

Зачем вся эта ложь? Когда он мне предложил доставить из Эрмитажа ходатайство об ее командировке, он ни о чем подобном не говорил, и я был уверен, что дело пойдет, как в прошлом году. А.Н.Макаров и составил свою бумагу в таком смысле очень осторожно, ни в чем не выражая принадлежность Акицы к Эрмитажу. И вдруг такая глупость. Тройницкий был, видимо, недоволен, и я его просил отменить эту ерунду. Тем более что для облегчения получения паспорта это не имеет значения. Напротив, даже Добычина утверждает, что такая явная несуразность и повредит!!!

45

Тем временем остатки наших долларов все тают. В Эрмитаже до сих пор не платят жалованья. Ни гроша не заплатил и сукин сын Шафран, переменивший вдруг (в телефоне) тон, очевидно, разобрав, что я нуждаюсь в деньгах.

46

Это в полной мере произошло лишь в 1934 году. — Прим. А.Н.Бенуа.

47

В 1926 году от этого Лермана, пытавшегося в 1924 году играть роль художника на все руки при Большом драматическом театре, как будто не осталось и следа. — Прим. А. Н. Бенуа.

48

Старушку княгиню Салтыкову, скончавшуюся еще в 1920 или 1921 годах. — Прим. А.Н.Бенуа, 1934 г.

49

Едва ли верное толкование Тройницкого, для Стипа — характерное. — Прим. А.Н. Бенуа, 1935 г.